

Ирина Головкина  
(Римская-Корсакова)

# Лебединая песнь

/ ПОБЕЖДЕННЫЕ /



# Лебединая песнь - Ирина Головкина (Римская-Корсакова)

*Головкина Ирина*

В этом произведении нет ни одного выдуманного факта - такого, который не был бы мною почерпнут из окружающей действительности 30-х и 40-х годов.

- [Предисловие автора](#)
- [Предисловие внука автора](#)
- [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)

- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Глава тридцатая](#)
- [Глава тридцать первая](#)
- [Глава тридцать вторая](#)
- [Глава тридцать третья](#)
- **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)

- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)

## Предисловие автора

В этом произведении нет ни одного выдуманного факта – такого, который не был бы мною почерпнут из окружающей действительности 30-х и 40-х годов.

И.В. Головкина. 1957 -1962 гг.

## Предисловие внука автора

Автор этой книги – человек нелегкой и трагической судьбы. Да и могли ли быть в России, в XX веке, легкие судьбы? Революция, годы террора, война нанесли людям незаживающие раны, которые не лечило время. Жизнь текла под знаком безнадежности: старого не воротишь, новое во всех его проявлениях не принимает душа. Сердце осталось в той, старой России. Ее образ, отдаленный несколькими десятилетиями кошмара, ассоциировался с детством, мирной, согласной, гармоничной жизнью, где все было так, как должно быть у людей. Все искажения, несправедливости прошлого бледнели, просто растворялись перед лицом разразившихся вдруг катаклизмов.

Ирина Владимировна Головкина, урожденная Троицкая, родилась 6 июня 1904 года (по новому стилю) в петербургской дворянской семье. Событие это произошло в имении Вечаша, в Псковской губернии. Дом и усадьбу имения много лет снимал как дачу дедушка Ирины Владимировны по материнской линии, великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. В Вечаше Николай Андреевич написал семь из своих пятнадцати опер. В те дни, когда родилась очередная внучка, композитор работал над «Сказанием о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Эта опера стала наиболее значимой для Ирины Владимировны и, впоследствии, для членов ее собственной семьи.

В зимнее время семья Римских-Корсаковых перебиралась в Петербург, в дом 28 на Загородном проспекте. Родители Иры Троицкой, Владимир Петрович и София Николаевна, урожденная Римская-Корсакова, снимали квартиру в том же доме, где жил и Николай Андреевич. София Николаевна была чрезвычайно привязана к отцу, помогала ему в работе, переписывая бесконечные ноты, и даже участвовала в составлении либретто к опере «Кашей бессмертной». Она хорошо пела, но до кончины Николая Андреевича выходить на сцену не осмеливалась. Кажется, лишь в 1914 году в газетах впервые напечатали короткое, но лестное резюме о ее выступлении.

Владимир Петрович в свое время закончил юридический факультет Санкт-Петербургского Университета и служил по своей специальности. Его отцом был генерал Петр Архипович Троицкий – участник нескольких военных кампаний, в том числе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, где он еще в чине полковника осаждал город Плевну. У Владимира Петровича были замечательные сестры. Одна из них, Евгения Петровна Троицкая, закончила Медицинский институт в Милане, затем женский Медицинский институт в Петербурге и отправилась на должность земского врача в сибирскую деревню, где провела пять лет до начала 1-й Мировой войны. Такие люди становились идеалом для подрастающей Ирины Троицкой.

По словам бабушки, годы до революции 1917-го были счастливейшими временами ее жизни. Наступление каждого нового дня наполняло ее радостью. В 1907 году Николай Андреевич Римский-Корсаков купил имение Любенск, которое находилось возле Вечаши, на расстоянии примерно одной версты. С этого времени сильно разросшаяся семья композитора стала проводить летний сезон уже здесь.

Первые осознанные воспоминания о природе, которую Ирина Владимировна очень любила и за которой всегда зорко наблюдала, относятся к окрестностям Любенска. Научившись читать и писать, девочка стала вести дневники, которые наполнились многочисленными сведениями о цветах, расцветших в такой-то день и произрастающих в таких-то условиях, о разнообразных видах птиц, прилетевших такого-то числа и свивших себе гнезда в усадьбе. Все деревья и гнезда на них были пересчитаны и находились под детским наблюдением. Поведение коров, собак, индюков подвергалось психологическому осмыслению. Положение животных находило живой отклик в душах Ирины и Людмилы Троицких и их кузенов. В дневниках содержалось немало описаний разных хозяйственных дел и занятий. Описывается, например, семипольная система посевов, способ пересадки пчел в другой улей, сенокос и так далее. В наше время эти рассказы двенадцатилетней девочки читаются как что-то весьма познавательное и вместе с тем трогательное, а иногда забавное.

Пробы пера не ограничились одними дневниками. Под впечатлением увиденного и переживаемого появились попытки писать художественные сочинения. Одно из них под названием «Крестьяночки» включает около двадцати глав-«картинок», объединенных общим сюжетом, и повествует о жизни крестьянских и помещичьих девочек. Повесть написана с натуры: так и виден Любенск; речь детей и взрослых, крестьян и барышень типична. Произведение было напечатано в домашних условиях в 1919 году.

В Петрограде, в зимнее время года, бабушка с младшей сестрой Людмилой посещали гимназию Стоюниной, «в двух шагах от дома» на Кабинетской улице (ныне ул.

Правды). Рядом с женской гимназией, на другой стороне улицы, на углу Кабинетской и Ивановской улицы (ныне Социалистической), находилась мужская гимназия (ныне школа № 321), где учились внуки Стоюниной: Борис и Владимир Лосские, сыновья известного русского философа. Борис и Ирина были сверстниками, часто встречались на детских праздниках и просто на улице, когда выходили из стен своих гимназий. В 1922 году семью Лосских вместе с семьями других крупнейших ученых и философов выслали из России. Бабушка ходила провожать их пароход, чтобы проститься с другом детства. Могли ли они думать, что их пути снова пересекутся уже в 60-е годы? Борис Николаевич участвовал во французском движении Сопротивления, сидел в фашистском концлагере и выжил, бабушка уцелела в годы массовых репрессий и блокады. Ни о какой переписке в эти десятилетия не могло идти и речи. Письма, дружественные визиты возобновились с середины 60-х годов и продолжились вплоть до 90-х.

Во время своих детских прогулок по городу бабушка не раз видела проезжавшую карету Государя и самого стоящего в ней Императора с Наследником, приветствовавших остановившийся и раскланивающийся народ. Воспоминания об этих встречах и, вообще, всякие упоминания о царственных особах были всегда исполнены у нее глубокого к ним уважения и высокого почтения.

«Грянула матушка революция», – для кого-то долгожданная, а для кого ворвавшаяся непрошенная гостья, принесшая неисчислимые страдания. Голод, безработица, унижения, тревоги омрачили дальнейшую жизнь. Но они не могли изменить устоев этой жизни – напротив, как ледяная вода закаляет горячую сталь, катастрофы революции только законсервировали, укрепили в некоторых людях принципы аристократизма, разожгли угасавшую было православную веру, пошатнувшуюся любовь к царям. Такой настрой сформировался в семье Троицких и во многих других семьях того же круга. Явилась некая внутренняя сознательная и бессознательная оппозиция всем веяниям новой эпохи.

У Ирины Владимировны выковался характер человека, пришедшего в этот мир из прошлого. Ее идеалом стали представители далеких эпох, такие как Жанна Д'арк, святые благоверные

князя, преподобные Сергей Радонежский и Серафим Саровский и вообще люди, исполненные благородства, не допускавшие грубости, какого-либо нечестия. Кто-то старался «перекраситься», слиться с общей массой, а ей наоборот всегда нужно было подчеркнуть свою принадлежность к той старине, которая теперь везде высмеивалась и попиралась. В такой жизненной позиции нельзя не отметить составляющей той самой «классовой борьбы», о которой столько говорили большевики, но только со стороны представителя побежденного класса. Осознавая недопустимость классового подхода в жизни, бабушка все же была несвободна от него. Она являла собой яркого представителя своего класса, гордилась им и по своему вела классовую борьбу. До конца жизни ни в осанке, ни в манерах, ни в разговоре, ни в одежде, ни в обстановке комнат, ни в чем она не могла допустить советский стиль и вместе с тем развязность, небрежность, грубость. Все, что ее окружало, было принесено из старины и жило здесь и сейчас своим порядком, без налета ущербности или недостаточности.

Окончив в 1922 году 10-ю Единую Трудовую школу, так стала называться к этому времени гимназия Стоюниной, Ирина Владимировна занималась еще несколько лет в музыкальной школе для взрослых по специальности фортепиано. В те годы в Ленинграде, при Крестовой церкви Александро-Невской Лавры, возникло православное братство, объединившее религиозную молодежь. Одним из его активистов был родственник Ирины Владимировны, выпускник Пажеского корпуса, Николай Иванович Цуханов, который впоследствии, в 1927 году был репрессирован и отбывал срок в Соловецком монастыре за участие в братстве. Через Николая Ивановича сестры Троицкие тоже вступили в его состав и участвовали в работе.

Девушкам очень хотелось поступить в Университет, но это стало делом почти неосуществимым. Как только открывались анкетные данные, выяснялось происхождение, разговор с абитуриентом заканчивался. В 1927 году открылись Высшие Госкурсы Искусствоведения при Институте Истории Искусств, где требовались только справки с места работы. Воспользовавшись лазейкой, Ирина Троицкая поступила на словесное отделение курсов, где и училась два года. В сентябре 1929 года она уже состояла слушателем Фонетической Школы Новых Языков при Научно-Исследовательском Институте сравнительного изучения Литератур и Языков при Ленинградском Государственном Университете. Здесь ее научным руководителем стал профессор Перетц. Бабушка писала под его руководством курсовые работы, рефераты, посвященные древне-русской литературе, летописям. Профессор отметил способности новой студентки и как-то раз в шутку заметил: «Все бы хорошо, да вот беда – она хорошенькая! Терпеть не могу хорошеньких: сейчас выскочат замуж, а профессорская забота останется втуне».

В 1932 году в институте прошли «чистки». Тучи сгустились над головой студентов и преподавателей. Студентку Троицкую отчислили с III курса за деда-генерала. Вскоре репрессиям подвергся и профессор Перетц. В это время у бабушки появилось грустно-шуточное стихотворение, которое в романе принадлежит одному из героев:

Пра-пра-прадедушки, вы эполетами

Вовсе нас сгоните с белого свету...

В 1934 году Ирина Владимировна вышла замуж за Капитона Васильевича Головкина, в прошлом царского офицера, штабс-капитана, Георгиевского кавалера, участника 1-й Мировой войны. Капитон Васильевич родился в 1895 году и происходил из Рыбинских купцов-заводчиков. Он окончил Коммерческое училище в Рыбинске и в 1912 году поступил в Политехнический институт в Петербурге, видимо с той целью, чтобы в дальнейшем работать на металлургическом заводе, который принадлежал его семье. Когда в 1914 году началась война, он оставил свой институт и поступил во Владимирское военное училище в Петербурге на ускоренный офицерский курс и к 1916 году, а может быть в конце 1915 года, оказался на фронте, под Двинском (ныне г. Даугавпилс в Латвии). Он оказался способным, храбрым и

идейным офицером: командовал «ротой смерти» 141 Можайского пехотного полка, выступал за «войну до победного конца», за печально известное июльское наступление 1917 года он был награжден солдатским Георгиевским крестом 4 степени.

У бабушки сохранился приказ по 141 полку за 17 августа 1917 года. В нем написано: «5 роты Шт-Кап. Головкин Капитон Васильевич № 770830 в бою у дер. Голодайки «Золотая Горка» 10 июля сего года при нашем наступлении, командуя 5 ротой, которая вся почти состояла из новобранцев, только что прибывших на фронт, несмотря на губительный огонь противника, шел впереди роты, ободряя солдат примером личной храбрости и мужества. Подойдя к проволочным заграждениям противника, первым бросился на штурм, увлекая за собою солдат. Когда губительный огонь противника выбил большую половину солдат роты смерти, оставшихся присоединил к себе и несколько раз под сильным огнем противника бросался в атаку, но ввиду неуспеха по приказанию отступил в свои окопы».

Вполне понятно, что такой офицер должен был стать идейным противником фронтовых революционных групп, одна из которых, встречаясь тайно на своих собраниях, постановила «убить или уничтожить Головкина Капитона Васильевича, олицетворяющего собой доблесть царского офицера». В него стреляли сзади во время боя, пытались расправиться, когда Капитон Васильевич случайно вошел в блиндаж, где собирались революционеры. Однако находчивость его вестового, Михаила Филиппова и собственная быстрая реакция спасли его. Выхватив револьвер и обнажив саблю ранее своих врагов, Капитон Васильевич сковал их движения страхом быть убитыми на месте. В это же время вестовой, который не был замечен революционерами, успел скрыться и позвал товарищей по оружию.

Невозможно изложить здесь множество происшествий из жизни Капитона Васильевича, они могли бы лечь в основу целой повести, но из сказанного видно, что он явил собой образ героя, какого много лет ждала Ирина Владимировна, отказывая другим потенциальным женихам. Капитон и Ирина венчались в церкви Симеона и Анны на Моховой улице. В 1936 году у них родился сын Кирилл.

В 30-е годы Капитон Васильевич работал на Ленинградских заводах, в литейных цехах как инженер-технолог. Время от времени некоторых работников обвиняли во «вредительстве» и они пропадали в застенках НКВД. Немногие люди позволяли себе тогда общаться или, того пуще, помогать их родным. Среди этих немногих был и Капитон Васильевич. Не раз он сам оказывался на краю бездны, но на удивление все кончалось благополучно. Счастливые годы жизни прошли таким образом в напряжении, в ожидании чего-то страшного. Врач находил нервную систему Капитона Васильевича совершенно истощенной.

В начале 1941 года Ирина и Людмила закончили курсы рентген-техников и поступили на работу в глазную поликлинику при Институте черепных ранений на Моховой улице. Это новое поступление стало судьбоносным, так как впереди была война и блокада Ленинграда. Капитон Васильевич, анализируя ситуацию, заранее предвидел события: говорил, что будет война с Финляндией, что «будем делить с Гитлером Польшу», что не избежать войны с Германией. Когда началась Великая Отечественная война, Капитон Васильевич ушел на фронт, а семья оставалась на летнем отдыхе в Вырице, в доме его брата Николая Васильевича Головкина. В начале августа они приехали в Ленинград, чтобы не выезжать из него до конца войны.

В первую блокадную зиму совершенно неожиданно подверглась репрессиям сестра бабушки, Людмила. Ее вызвали в «большой дом» и предложили подписать заведомо ложные показания против ее подруги Конопатской. Получив отказ, следователь сказал, что тогда вышлют из города ее саму. Так и случилось: Людмила Владимировна отправилась в ссылку из блокадного города. Очень скоро, в мае 1942 года, из Тюмени прислали серую бумажку с надписью: «Троицкая умерла». Она была тихим, кротким человеком, за всю жизнь не причинившим никому зла; писала стихи, играла на фортепиано. Между тем даже в 60-70-е годы бабушке было отказано в ее реабилитации.

Одновременно с высылкой Людмилы пришло распоряжение покинуть Ленинград и Софии Николаевне. Она должна была отправиться на вольное поселение в Красноярский край. Тогда

Ирина Владимировна пошла в Смольный и сказала: «В 1905 году Николай Андреевич Римский-Корсаков заступился за революционных студентов Консерватории, его даже уволили тогда за это с работы, а теперь за это вы хотите выслать его дочь?» Такого аргумента, видимо, не ожидали, София Николаевна осталась дома, ей было в эту пору уже 65 лет.

У семьи не было вопроса об эвакуации. София Николаевна, например, не мыслила себе, что можно оставить родной дом, где она хранила часть вещей и обстановки своего отца, где была его бывшая квартира, из которой по ее убеждению нужно было сделать музей. Создание музея-квартиры на Загородном проспекте было ее заветной мечтой. Уехать и оставить все на произвол судьбы не представлялось возможным. Естественно, что и дочери придерживались подобных взглядов, тем более, что они не согласились бы расстаться друг с другом, особенно перед лицом грозной опасности. Пережив большую часть блокады, София Николаевна умерла от голода 23 июля 1943 года.

Поликлиника, в которой работала Ирина Владимировна, в дни блокады превратилась в военный госпиталь, куда направляли раненых в область глаз защитников города. После высылки сестры Людмилы бабушка оказалась здесь единственным рентген-техником. Это обстоятельство с одной стороны делало ее незаменимой, а с другой – чрезвычайно востребованной. Большую часть суток она проводила на службе и с замиранием сердца шла домой, не зная, живы ли ее пятилетний сын и мать. Иногда, невзирая на бомбежку, она бежала по пустым улицам домой. Один раз ее догнал милиционер, приказывая: «Гражданка – в бомбоубежище!» Она объяснила: «У меня там маленький сын и старая мать!» – и он не стал ее больше задерживать.

Первое время при объявлении воздушной тревоги семья спускалась в убежище, потом предпочитали оставаться дома, на верхнем этаже. Если погибнуть, то уж всем вместе и с домом. Некоторые не понимали этого стремления во что бы то ни стало быть всем вместе. Бабушку уговаривали отдать сына в детский сад, где бы его стали лучше кормить и он был бы в большей безопасности, уговаривали отправить его в эвакуацию. Все это было бесполезно. Разлука ассоциировалась с концом. Когда Ирина Владимировна заболела желтухой, и ее хотели госпитализировать, она вырвалась и убежала домой, зная, что без нее семья погибнет. Ей пошли навстречу и разрешили болеть дома.

Чтобы выжить при таком страшном голоде, бабушка время от времени рисковала и носила что-нибудь из вещей на «черный рынок», где продавали еду. Два раза при этом она попадала в облаву: ловили всех, и кто продавал, и кто покупал хлеб. Один раз она выскочила из оцепления под брюхом лошади, другой раз впряглась в упряжку с мусором, которую тащили по улице девушки-дворники, которые укрыли ее, выдав за свою.

Как-то раз в здание госпиталя попала бомба. Пробив два этажа, она остановилась в операционной, где убила хирурга и двух медсестер и осталась лежать, тикая часовым механизмом. Весь персонал, сохраняя хладнокровие, переносил и переводил раненых в находящееся рядом здание театрального училища. Бомбу удалось обезвредить, а госпиталь вернулся на свое место. Бабушка с гордостью вспоминала, что в годы блокады не видала в городе паники.

16 июня 1942 года в Московской области, в районе станции Шаховской, погиб Капитон Васильевич. Как говорилось выше, летом 1943 года умерла от голода София Николаевна. Семья из пяти человек потеряла троих. В семьях родственников также было много потерь. Радость победы смешалась с горечью утрат. Впоследствии бабушка не хотела видеть фильмы о войне, не могла слышать звуки сирены, не могла разделить мгновения праздника Победы. В этот день ей хотелось больше тишины, чем поздравительных речей и грохота салюта.

Итак, Ирина Владимировна с сыном остались после войны вдвоем. Все душевные силы последующих лет были направлены на его воспитание и образование. Кирилл закончил школу с серебряной медалью, выучил два языка, хорошо играл на фортепиано. После окончания математического факультета Ленинградского Университета работал в математическом институте (ЛОМИ), стал известным в научных кругах ученым.

Несмотря на безупречную работу в медицинском учреждении, превратившимся вновь из госпиталя в глазную поликлинику (ныне «Глазной центр на Моховой»), в 1951 году Ирину Владимировну уволили с должности рентген-техника, так как у нее не было соответствующих «корочек» об окончании медучилища. Ее, прошедшую войну, еще не пенсионерку, безошибочно к тому времени, лучше врача, определявшую по снимку патологию или инородное тело, имеющую более двадцати письменных благодарностей, медали, решили заменить на специалиста с дипломом. Конечно, это усугубило в дальнейшем и без того хронически трудное материальное положение.

У Ирины Владимировны было много друзей и все они, конечно, были представителями ее «бывшего» класса. Некоторые из них в 50-е годы имели «минус». Это значило, что они не имели права появляться в Ленинграде и некоторых других городах. Рискую подвергнуться наказанию, бабушка принимала их в своем доме, в коммунальной квартире, иногда по несколько дней. Так у нее гостила Тамара Николаевна Римская-Корсакова, жена троюродного брата, Воина Петровича Римского-Корсакова, который долго пробыл в заключении, использовался как военный специалист, а потом был расстрелян в 1937 году. Сама Тамара Николаевна много лет провела в заключении и, получив «минус», жила в Луге. В таком же положении, все в той же Луге, жила другая подруга - Екатерина Константиновна Лившиц, жена репрессированного поэта Лившица. Она тоже тайком приезжала в Ленинград. Летом бабушка с сыном (моим отцом) наносили ответные визиты. Среди друзей было немало и других людей, прошедших лагеря, тюрьмы, ссылки, аресты, допросы. Эти уцелевшие в испытаниях люди и их родные образовывали некую среду, объединенную старыми, еще дореволюционными связями, воспитанием, образованием, общностью судеб, взглядов и интересов.

Кончилось время лихолетья, прекратились массовые репрессии, жизнь внешне успокоилась, но не собиралась меняться советская идеология, не могло поменяться и мировоззрение людей, любивших Россию и ее традиции. В качестве лекарства, видимо, предполагалось забвение всего, что было с ними связано. О многих вещах решили просто забыть - так, как будто их никогда и не было. Народ должен был постепенно погрузиться в глубокий душевный сон. Но не заснули и ничего не забыли те, кто много пережил, испытал и не сломался. Таких людей оказалось немало. Что касается Ирины Владимировны, то она, ее семья и квартира, оставались островком, где жила дореволюционная Русь не только внешне, но и внутренне.

Трудно теперь назвать точную дату, когда Ирина Владимировна начала писать свой роман. Несомненно, он вынашивался и обдумывался ею давно, так как бабушка была очень склонна к литературному творчеству еще с детства, да и будучи взрослой писала разные короткие заметки, стихи. В 1958 году было уже написано несколько глав. Разгар работы пришелся на 1959-1960 годы. Как раз в это время Ирина Владимировна стала бабушкой и должна была нянчиться с новорожденной внучкой. Работать приходилось урывками, но несмотря на это бабушка писала сразу чистовой вариант. Ей не нужно было ждать вдохновения, искать какие-либо формы, долго думать над последовательностью изложения. Она просто брала «вставочку» [1] и писала, писала, пока маленькая внучка не требовала ее внимания к себе.

Роман читали близкие люди, читали подруги. Иногда бабушка скрывала свое авторство и давала читать рукопись как переданный ей кем-то самиздат. Однако друзья тотчас понимали, кто автор, и по типичному слогу, и выражениям, и по идейному наполнению, и по конкретным фактам из жизни героев, о которых они могли слышать ранее от самой Ирины Владимировны применительно к реальным людям. Бабушка постоянно твердила, что в романе нет ни одного вымышленного факта, даже самого мелкого или незначительного. Решительно все, до мелочей, было в реальной жизни. Потому-то, видимо, он и был написан на одном дыхании, хотя и в условиях, когда нелегко было сосредотачиваться.

При всей своей документальности роман все же стал жить жизнью художественного произведения, а не простой хроникой реальных событий. Образы героев, конечно, имеют свои прототипы, связь с которыми очень сильна и ощутима, - так прообразом Елочки стала двоюродная сестра Ирины Владимировны, Вера Михайловна Римская-Корсакова. Однако автор

избежал простой кальки, изображения «один к одному». Все же герои обрели в произведении самостоятельную жизнь, получили художественное воплощение, не всегда и не во всем воспринимаются как их прототипы. Некоторые образы собирательны. В некоторых случаях – наоборот, факты из жизни одного человека распространяются на нескольких героев. Образы Аси и Олега можно спроецировать на автора и Капитона Васильевича, хотя последнему принадлежат черты и эпизоды из жизни Валентина Платоновича, и так далее.

Не стоит теперь тревожить людей параллелями, тем более, что они зачастую могут быть чисто субъективными. Важно, что с появлением романа родились новые герои, отличающиеся от реальных людей, но имеющие схожие биографии; сильно их напоминающие, но не посягающие на зеркальное отображение, не врывающиеся в их жизнь. Несомненно, что в этом сочетании художественных образов с одной стороны и документальности содержания с другой также проявился литературный дар автора, хотя это может быть замечено только людьми, хорошо знавшими Ирину Владимировну и ее окружение.

Книга была напечатана на машинке в нескольких экземплярах и ходила по рукам избранных читателей. Интересно, что в 1973 году бабушке удалось устроить на хранение один из экземпляров романа в Государственную Публичную Библиотеку. Рукопись была положена в сейф с условием, что откроют его через 30 лет! Это был расчет на то, что через такой срок автора уже не будет в живых, а времена изменятся, и роман можно будет напечатать. Ирина Владимировна была уверена, что вскоре после ее кончины роман опубликуют. Так и случилось. Она скончалась 16 декабря 1989 года, а в 1992 году роман (его журнальный вариант) был напечатан в девяти номерах журнала «Наш современник», затем он вышел и отдельной книгой, сотысячным тиражом, в 1993 году.

В настоящем издании читатели впервые познакомятся с оригинальным текстом романа, не подвергшемся редактированию и сокращениям, которые имели место в журнальном варианте. Здесь рельефнее очерчиваются побочные сюжетные линии, становятся понятными отдельные эпизоды, которые были неясны в журнальном тексте из-за пропусков, предстают в неизменном виде лексика, обороты речи, образные выражения, характеризующие не только индивидуальный стиль автора, но и язык его эпохи. Читатель, знакомый с предыдущими изданиями романа, обнаружит эти отличия в тексте буквально с первой строки.

Последние десятилетия жизни бабушки оказались тоже нелегкими. В 1969 году, в расцвете своего таланта, в 33 года, скончался от лейкемии ее сын. На долгие годы это осталось незаживающей душевной раной. Несмотря на удары судьбы, Ирина Владимировна живо интересовалась литературой, много читала и даже путешествовала: четыре раза ездила во Францию, где у нее были друзья детства и знакомые французы, с которыми она познакомилась в Ленинграде. Когда бабушка приезжала из этих путешествий, ее просили рассказать об увиденном. Тогда многие узнали ее как удивительного рассказчика. Бабушка любила читать вслух внукам, и это оставило неизгладимые впечатления. Она умела читать так, что содержание книги казалось сиюминутной реальностью и переживалось очень остро. Бабушка рассказывала нам о таких вещах, о которых большинство людей не имело тогда представления. Лет в десять мы знали правду о коллективизации и массовых репрессиях, о войнах, гонениях за веру и так далее, и так далее.

Когда стали организовываться музеи Николая Андреевича Римского-Корсакова, бабушка вместе с другими внуками композитора участвовала в этой работе. Она передала в музей вещи, сохраненные ее матерью, написала переданные ей устно, матерью же, воспоминания о Николае Андреевиче, составила по памяти подробный план разоренной усадьбы в Любенске. По этому плану и планам других родственников реставраторы смогли восстановить усадьбу в том виде, в каком она была до революции.

Ушло из жизни поколение, родившееся в начале XX века. Это поколение передало нам из первых уст те устои, обычаи, традиции, которые утверждались в России веками. Люди этого возраста, в большинстве своем, будь то дворяне или крестьяне, или другие социальные группы, делали все еще по старым заветам, оставленным нам предками. Это было поколение, носившее

еще в полноте «русский дух». Его они пронесли через все время прямых и скрытых гонений на православную веру, они были последним поколением-носителем традиционной народной культуры, впитанной с молоком матерей, они говорили еще на настоящем чистом русском языке. Пусть эта книга увековечит их память и поможет нам помнить свою страшную, но славную историю, поможет осознать проблемы современности, ведь прошедшее приводит нас к настоящему.

Николай Кириллович Головкин,  
ноябрь 2007 г.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава первая

*...над страной моей родною встала смерть...*

*А. Белый.*

Весь мир окутан траурной вуалью – так казалось Елочке. Она не могла вообразить, чтобы на мир можно было смотреть радостными глазами, чтобы можно было ожидать радостей: их не было и не могло быть с тех пор, как большевики начали проделывать свой преступный опыт над ее Родиной и разрушили все, что она любила. Она чувствовала себя постоянно так, как будто стояла у дорогой могилы, и как у могилы говорят шепотом и не улыбаются, так и она давно подавила улыбку жизни и не тревожила живыми звуками запертый наглухо мир собственной души. Умирала... нет – умерла ее Родина, ее Россия, которую она с детства любила с захватывающей нежностью. Еще в младших классах Смольного она зачитывалась рассказами из русской истории: поход князя Игоря на половцев, Куликовская битва, Отечественная война, оборона Севастополя и война за освобождение славян особенно увлекали ее воображение.

Россия казалась Елочке отмеченной особой красотой; пути ее развития особенно сложны и загадочны, несравнимы с путями ни одной другой страны. Подтверждение этих мыслей она находила у любимых поэтов. Когда в 14 лет она впервые прочитала высказывания славянофилов, она была поражена, что нашла у них точно те же мысли, к которым самостоятельно пришла еще в 13 лет. Точно также она была поражена, когда в одном французском журнале натолкнулась на цитату: «La France c'est une Personne» [2], – ведь она то же самое думала о России! Это была одна из ее самых заветных идей, рожденных в глубине ее собственного мозга: Россия – Личность, необычайной красоты и силы светлый скорбный Дух, иного высшего плана, космического значения. Этот Дух имеет в мире свою великую миссию и свое тело, меняющее формы при каждом повороте истории. Государство – только жалкое несовершенное орудие ее сверхчеловеческих целей. Миссия России исполнена глубин: Россия отразила татарщину и, кровью истекая, спасла Европу и европейскую культуру; Россия стоит между Западом и Востоком и как бы соединяет два чуждых мира; Россия защищает и охраняет славянские народности и призвана объединить их вокруг себя; Россия – защитница христианской Восточной церкви; в Россию потенциально заложено искание истины и тоска по вечной правде; ее народ – «богоносец»; она никогда не станет буржуазной по европейскому образцу: самодовольное и тупое обывательское благополучие слишком бы исказило и унизило ее соборную личность! У нее есть свои избранники – она сама воспитала тех великих людей, которыми гордится страна, гении ли то в области искусства, или великие полководцы, или деятели, подобные Петру Великому, или русские святые, как Сергей Радонежский; она отражает свой лик в русской природе, она наполняет своими эманациями нивы – хлеб, питающий нас!

Как дошла до таких мыслей тринадцатилетняя девочка? Странно бывает встретить напечатанными свои собственные, никому не высказанные самые тайные думы, да еще при

этом узнать, что высказаны они крупными учеными или известными деятелями, пользующимися всеобщим уважением, в то время, когда ты сама от всех слышишь, что ты еще маленькая девочка и должна молчать, когда говорят взрослые! Мысли в некоторых отраслях уже давно вышли за пределы школьных учебников, и приходится насильно загонять их обратно; чувствуешь, что ты зашла куда-то дальше и глубже, а воспитательские приемы старших изучены настолько, что часто знаешь наперед все их замечания и сентенции! «Ни в одной стране нет такой интеллигенции, как у нас – с такими разносторонними способностями, с такой широтой мысли, с такой бескорыстностью! – говорила себе Елочка. – Таких людей, как декабристы, или наши земские врачи могла дать только Россия! А сколько духовной красоты в русских крестьянах! У кого еще можно найти такую? Я это изложу когда-нибудь в дипломной работе на Бестужевских курсах».

Она была сиротой: мать умерла от родильной горячки, отец, земский врач, погиб в эпидемию холеры. Память его вызывала в ней благоговейное уважение.

– Умереть, спасая народ, нисколько не менее героично, чем умереть, защищая его на поле битвы! Я удивляюсь, почему не раздают Георгиевские кресты земским врачам! Это еще будет, когда оценят, наконец, подвиги нашего земства! – толковывала она аристократическим подругам.

В классе она шла первой; держалась всегда очень сдержанно и серьезно; никогда не обнималась и не перешептывалась с подругами о своих или чужих тайнах. Сверстницы не столько любили ее, сколько уважали, и всегда призывали в качестве арбитра в случае недоразумений или ссор, так как ее принципиальность и ум получили среди институток всеобщее признание.

– Елочка не будет выезжать в свет! – Елочка сказала, что ей все равно, сколько сантиметров в объёме у нее талия! – Елочка пойдет на Бестужевские курсы – у нее уже все решено! – говорили о ней подруги.

– Ваша Елочка Муромцева какая-то Шарлотта Корде или революционерка! – сказала раз о ней одна из пепиньерок [3]. Но весь класс тотчас заявил:

– Все не Корде и не революционерка, она – Жанна Д'арк! – и этот стало ее прозвищем, стало не случайно.

В 1914 году, когда началась война, Елочке было только 13 лет; но тотчас всем своим существом она отдалась любви к Родине. Вместе с другими институтками она писала письма солдатам, собирала посылки на фронт, шила платки, щипала корпию и жила ожиданием известий с театра войны. В первый период ее свела с ума героическая оборона Бельгии. Антверпен стал ей дорог не меньше Севастополя, а король Альберт занял в сердце место среди обожаемых героев России – портрет его лежал у нее под подушкой.

Но через год, когда началось отступление русских из Галиции, она забыла о Бельгии: в ее любви к Родине появилась новая нота: она скорбела за нее, как за тяжело больного близкого человека. Проводя лето в имении у бабушки, она забиралась в гущину сада, становилась среди яблонь на колени и подолгу умоляла Бога послать победу русским войскам и совсем еще по-детски давала обеты отказаться от сладкого или от интересной прогулки, при известии о поражениях горько плакала. Надолго запомнился ей день, когда в газетах было объявлено о взятии немцами Варшавы: весь этот день она и гувернантка француженка проходили с красными глазами. Никто из ее близких не был на фронте, и тем не менее все ее мысли были там. Все карманные деньги, которые дарила ей бабушка, она по-прежнему тратила на посылки солдатам и приходила в отчаянье, что по возрасту не может быть принята в сестры милосердия – в мечтах она видела себя в белой косынке, в передвижном госпитале, сначала под Варшавой, позднее под Двинском. Чем трагичней становились события, тем больше страдала она. Раз включившись в эпопею великой борьбы, она уже не мола погасить в себе жажды помочь Родине, и чем старше становилась, тем серьезней и глубже становилось и это желание. Октябрьская революция с требованием прекращения войны и братания на фронте, со своим лозунгом «пролетарии всех стран, соединяйтесь» нанесла жестокий удар ее патриотическому

чувству и национальной гордости. Ей казалось, что она умрет от боли, горечи, злобы и стыда. Она вся съежилась, почувствовав себя раненой в самое тонкое место души. Ее Россия – перед бездной!

Не прозвучит ли тихий божественный голос к русской «Жанне Д'арк»:

– Молись! Россия погибает! Господь избрал тебя спасти Россию! Святые Александр Невский и Сергей Радонежский помогут тебе!

Но своды институтской церкви оставались безмолвны, а в кадилльном дыму не вырисовывались ни меч, ни знамя...

Когда формировались женские батальоны и девушки из дворянских и купеческих семей дрались, как львицы, защищая Зимний дворец, она – увы! – была еще слишком молода – шестнадцатилетних институток не вербовали в эти ряды. К тому же... Легко воодушевить тех, которые скованы страхом и охвачены безнадежностью, но как прикажете увлечь за собою тех, которые кричат о международной солидарности пролетариата и о превращении империалистической войны в гражданскую? которые клеймят Родину «тюрьмой народов»? Скоро Елочке довелось воочию, в непосредственной близости увидеть вот этот революционный пролетариат, который заявлял, что у него нет Отечества! Институт был эвакуирован в Харьков, город переходил из рук в руки, и вот наступило утро, когда толпа красных ворвалась в классы и погнала перепуганных институток по коридорам и лестницам на чердак:

– А ну, быстрее, быстрее, белоручки! Пошли-ка все наверх, офицерские да сенаторские дочки! Сейчас расстреливать будем! Всех вас на тот свет – так-то!

Загнали на чердак и заперли. Где было начальство, где классные дамы – никто не знал. Елочка твердо помнила, что с ними в этот час никого не было. Институтки рыдали; одни звали маму и папу, другие читали молитвы. Елочке казалось, что она одна сохраняет присутствие духа.

– Mesdames, mesdames, успокойтесь! Мы не должны обнаруживать страха! Наши отцы и братья так героически гибнут в офицерских батальонах – неужели же мы не сумеем умереть? Разве можно ронять себя в глазах этих хамов? Медамочки, вспомните, когда Марию Антуанетту вели на гильотину, она настолько владела собою, что извинилась, наступив палачу на ногу, а вы?! – повторила она, перебегая от одной подружки к другой.

Кто-то случайно толкнул дверь, и она распахнулась – их не заперли! Прислушались и, убедившись, что на лестницах пусто, толпой бросились на крышу: перед ними лежал город, и при ярком утреннем свете, как на ладони, видны были вступающие в город колонны белых с одной стороны и уходившие колонны красных с другой. В эту как раз минуту серебром брызг рассыпалась взорванная водокачка. Они были спасены, может быть, ненадолго, но спасены.

Ни тогда, ни после Елочке не пришло в голову, что эти хмурые люди с винтовками, может быть, намеренно не заперли их, а только припугнули – она непоколебимо была уверена, что их в самом деле хотели расстрелять, но не успели, и что спасло их чудо или случай. Эти маленькие личные счеты, конечно, сыграли свою роль, а вслед за этим пришлось пройти через все мучительные стадии гражданской войны и медленную агонию белогвардейского движения. И когда все завершилось победой советского строя, она почувствовала себя морально раздавленной. Изменились все формы жизни, вся идеология! Теперь нельзя было даже произнести имени «Россия». Прошлое России, слава русского оружия, русская доблесть и русские герои стали теперь предметом постоянных насмешек в печати, в речах и на сцене. Лучше было забыть о них вовсе, но она чувствовала себя неспособной забыть... Забыть бои и окопы, забыть море крови, весь пафос и героизм борьбы, забыть роты смерти и атаки офицерских батальонов, забыть Самсонова, который застрелился, чтобы не пережить позора, забыть Колчака, который бросил свою шпагу в море, отказавшись служить большевикам... Нет, она не могла этого забыть!

А между тем годы шли, новая жизнь входила в свои берега и складывала свои формы и люди считали возможным интересоваться этой жизнью. Казалось иногда, что все вокруг действительно забыли о разыгравшейся еще так недавно великой трагедии, которая привела к гибели ее Родину. И она не могла понять, как это возможно и не могла примириться с тем, что

занавес над этой трагедией уже опустился.

На первый взгляд она не понесла потерь, жизнь ее складывалась относительно благополучно. Мечта ее о Бестужевских курсах не осуществилась вследствие коренных перемен во всей обстановке, но у нее был свой заработок, дело, к которому она уже привыкла - она была медицинской сестрой хирургической клиники; у нее была своя комната, обставленная хорошими вещами; приучив себя к самому скромному образу жизни, она не нуждалась; никто из ее близких не был ни арестован, ни выслан, а все это в годы жестокого террора, направленного в ту пору именно против русской интеллигенции, обозначало уже относительное процветание. И тем не менее она не могла освободиться от чувства подавленности и удручающего сознания, что большая светлая деятельность навсегда прошла мимо. Грусть стала ее стихией.

Она не была красива. Несколько высока, несколько худощава, крупные руки и ноги, желтоватый цвет кожи. Лоб и виски слишком обнажены, рот очерчен неправильно. Красивы в ней были только задумчивые карие глаза и длинная черная коса, но она не умела красиво причесываться и не извлекала из своих волос и половины их прелести, закручивая сзади тугим узлом. Одевалась со вкусом и опрятно, но всегда с пуританской скромностью. Всем ухищрениям моды она предпочитала костюм с английской блузой. В двадцать семь лет она поражала полным отсутствием кокетства. Быть может, благодаря этому в облике ее преждевременно появилось что-то стародевическое.

Чувствуя инстинктивно, что природа, отказав ей в женской прелести, лишит ее многих радостей, она еще в раннем отрочестве перенесла их в свой внутренний мир - научилась жить напряженной интеллектуальной жизнью. Эта способность уходить в себя спасала ее от уныния в новых трудных условиях существования. Книги по-прежнему были ее отрадой, но теперь она избегала читать о русской военной истории - это бередило ее раны. Она перенесла свой интерес на мемуарную литературу и исследования по истории русской культуры. В чтении она была отнюдь не беспорядочна: она вносила сюда ту аккуратность, которой отличалась в жизни: каждую книгу изучала досконально, делая выписки и отмечая ссылки на другие труды, чтобы обратиться после к ним. Была у нее еще одна затаенная страсть - опера, и преимущественно русская опера. Быть может, опера привлекала ее чисто сюжетной стороной, быть может, сюжет значил для нее больше чем музыка, но так или иначе опера занимала большое место в ее мироощущении и была единственным наслаждением, которое она себе разрешала. Когда-то в Смольном она училась игре на рояле; потом в период гражданской войны всякие занятия были оставлены; теперь она решила возобновить их, томимая смутным желанием воспроизводить любимые арии на маленьком пианино, доставшемся ей от бабушки. С этой целью она поступила в вечернюю музыкальную школу, куда в тот период принимали независимо от возраста всякого, кто готов был платить за обучение. Два раза в неделю после дежурства в больнице она появлялась в классе. Но толку от этих занятий получала мало, несмотря на то что была очень старательна. Она не была музыкальна по натуре, слух ее не отличался совершенством, а в игре ее отмечалась зажатость и сухость. Аристократическая жилка несомненно отсутствовала. Постоянно можно было наблюдать, как вновь появляющаяся в классе ученица - девчонка, не отличающаяся ни любовью к музыке, ни прилежанием, очень скоро обгоняла Елочку и играла те пьесы, о которых Елочка могла только мечтать. Никогда не обольщаясь относительно себя, она очень скоро поняла это, но с прежним упорством продолжала занятия, быть может, просто из желания хоть в чем-то совершенствоваться, не стоять на месте.

Неудача эта не охладила ее любви к опере, и обязательно два или три раза в месяц, когда в программе значились «Князь Игорь», «Борис Годунов» или «Псковитянка», она появлялась в последних рядах партера, всегда одна, скромно одетая, со старинным бабушкиным лорнетом на цепочке, из горного хрусталя, что придавало некоторую не лишенную изящества старомодность ее облику, исполненному благородства. После каждого посещения театра она обязательно на несколько дней лишала себя завтрака и ходила на работу пешком,

уравновешивая свой бюджет.

Способность веселиться была ей органически чужда. Вечеринки и танцы не только не привлекали ее – они казались ей святотатством. Веселиться, когда Россия во мгле, танцевать, когда она залита кровью?! Театр – другое дело; в ее глазах сцена была искусством, возвышающим душу, и на него она не смотрела как на развлечение, он не нарушал того траура по России, в который она облекла себя.

Чем больше она жила, замкнувшись в своем внутреннем мире, с ей одной ведомыми радостями и печалью, тем дальше отходила от окружающих ее людей. На службе ее уважали, но держалась она особняком, не сближаясь ни с кем. Пошлый, развязный тон, который усвоила себе среда мелких служащих, был ей невыносим. Всматриваясь в их жизнь, как на сцену в бинокль, она спрашивала себя: как может их интересовать весь этот вздор, вся эта суетность, и не столько их политическая настроенность, сколько их интересы – кино, тряпки, зарплаты – были непонятны ей. Еще менее она могла постичь тот грубый флирт, который царил между ними. Каждая служащая позволяла мужчинам при всех хватать себя за плечи и за локти, водить себя в кино и навещать на дому, а через несколько месяцев ложилась на аборт или получала от этих людей алименты. Никогда раньше в той среде, которая теперь сошла со сцены, не увидела бы Елочка ничего подобного. Все теперь было упрощено до грубости.

«Сколько бы я не старалась понять, я все равно не пойму этого, – говорила она себе. – Я слишком горда, чтобы разменивать себя на мелкую монету. Если уже любовь – то одна, большая, а игра с чувствами не для меня».

Иногда ей приходило в голову, что эта ее собственная недоступность происходит только от того, что она некрасива. Но разве все окружающие ее девушки были красивы? Она не могла не видеть, что многие были гораздо хуже ее.

«Здесь все-таки дело в моей гордости, – думала она, – мужчина может любить и некрасивую, если она идет к нему в руки. Но если некрасивая смотрит на себя, как на неприступную крепость, осаждать такую охотников не найдется».

Иногда она говорила себе: «Если бы революция не помешала, я, как первая ученица Смольного, могла стать фрейлиной и появляться на придворных балах. Тогда бы я была окружена гвардейцами и пажами. Интересно, как было бы тогда?» И ей иногда казалось, что и там было бы то же; в другой форме – все гораздо изящнее и тоньше, но то же по существу: дух молодого веселия и кокетства не коснулся бы ее и там. Она и там казалась бы слишком серьезна, сурова и горда, никому не нужная и не интересная.

«У меня есть мои собственные радости, которые я сама нахожу себе; насколько они неизменнее и лучше! Они не обманут, и отнять их у меня никто не может, – говорила она себе, – а счастье... я сумею прожить без него; я уже выучилась».

Иногда, правда, появлялось у нее беспокойное сознание, что жизнь проходит или обходит, и молодость пропадает напрасно, что чего-то как будто не хватает... Но нет, в этой действительности, без красоты, без Родины, без героя ей ничего не нужно!

При людях она сжималась. Несмотря на прекрасное воспитание и способность участвовать в любом разговоре благодаря высокой интеллигентности, она всегда чувствовала, что общение с окружающими людьми с каждым годом становилось для нее все труднее. Особенно болезненно действовало на нее то или иное собрание неспящих между собою лиц, как это бывает в малознакомом доме за именинным столом или в служебном коллективе. Праздничных вечеринок и культпоходов она старательно избегала. Насколько отрадней, казалось ей, уйти одной в свои думы в тишине собственной комнаты, не нарушая словами заветной глубины души, где что-то росло и зрело из года в год. Каждое, самое мимолетное прикосновение к собственным переживаниям казалось ей грубым. Она не могла никого подпустить близко! Удивительно хорошо сказал ее любимец Тютчев:

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь.  
Взрывая, возмутишь ключи:  
Питайся ими и молчи!

И действительно, ни разу, ни одним словом никому не обмолвилась и не намекнула Елочка о тайне, которая лежала на дне ее души уже девять лет. Ей было всего девятнадцать, когда в первый раз шевельнулась в ней любовь, и готово было расцвести чувство большое и глубокое, на которое способны только серьезные и цельные натуры. Но судьба, видимо, в самом деле, не захотела позволить Елочке раскрыться и расцвести и осудила ее проходить жизненный путь всегда неузнанной и неоцененной – этому чувству не суждено было сыграть решающую роль в ее жизни.

В тысяча девятьсот двадцатом году в результате всевозможных передвижений и эвакуации, Елочка оказалась в Феодосии, где был старшим хирургом в военном госпитале ее дядя, который взял ее под опеку после того, как был закрыт Смольный. Томимая жаждой вложить наконец и свои силы в борьбу с теми, кого она считала заклятыми врагами России, Елочка умолила дядю принять ее в штат сестер милосердия. Она была совершенно неопытна и не осведомлена на этом поприще, но в те дни в военных госпиталях так не хватало рук и такое количество людей лежало без помощи, что каждый желавший быть полезным являлся уже находкой, и Елочка очень скоро получила место.

Там, в этом госпитале, она узнала «его».

Это был один из раненых в палате, где ей пришлось работать. Он не в состоянии был оказать ей внимание и со своей стороны добиться ее расположения. Любовь эта не принесла Елочке ни одной отрадной минуты, ни одного оттенка самой слабой надежды на счастье. Она сама не знала, как и почему этот человек стал так дорог ей за четыре дня!

У него были красивые черты, но Елочка была абсолютно уверена, что наружность не сыграла здесь роли – конечно, нет! Она полюбила его за то, что он пришел оттуда – с фронта, из этих бесконечных битв. В самом деле, она настолько сроднилась с образом героя, отдающего жизнь за Родину, что в этом душевном состоянии для нее невозможно было бы полюбить человека, который в такие года бесстрастно пишет ученый труд или творит пусть даже бессмертное произведение искусства. Она всем своим существом преклонялась именно перед героизмом!

Белый офицер, конечно, должен быть героем – как иначе? А если притом у него те черты, которыми наделяет героя воображение девушки, то, даже уверяя себя, что наружность никогда ничего не значит, возможно ли остаться совсем равнодушной, совсем холодной и не связывать с этим человеком затаенных дум? А где конец думам и начало мечтам? Где конец мечтам и начало надеждам?

Сыграло роль и то, что, работая в госпитале впервые, она вся отдалась чувству жалости и заботы, и ни за кого из раненых ей не пришлось переболеть душой так, как именно за этого офицера. Ей понравился его стоицизм: ни разу он не вскрикнул, не позвал на помощь, не упрекнул в неосторожности... И Елочка трепетала от восхищения перед этой молчаливой мужской выдержкой.

Быть может, в жизни это был самый банальный и пустой человек, но Елочке хотелось верить, что, обладая такой волей и мужеством, он прекрасен и в остальном.

Когда она начинала припоминать во всех деталях дни и ночи, проведенные у его постели, все это представлялось ей в следующей последовательности: в один из первых же дней, когда она еще не столько работала, сколько ходила позади более опытных сестер, присматриваясь к их работе, она уже выходила из госпиталя домой, но в дверях должна была посторониться, чтобы пропустить носилки с вновь доставленным раненым. Взглянув на носилки, Елочка увидела закинутую назад голову и красивые черты еще совсем молодого лица с закрытыми глазами. Напугала ли Елочку неподвижность и бледность, была ли случайно особенно изящна поза офицера и недвижно висевшая тонкая рука, или два Георгиевских креста на его груди и

«мертвая голова» - знак «роты смерти» - на рукаве шинели рядом с траурной черной перевязью говорили романтичному воображению недавней смолянки, но она невольно проводила носилки взглядом.

Когда к ночи она снова пришла в госпиталь на свое первое самостоятельное дежурство, ухаживавшая сестра, передавая ей дежурство, сказала:

- В палате новый раненый, очень слаб от потери крови; велено следить за пульсом; в случае, если начнет падать, впрысните камфару. Вот, посмотрите историю болезни и тетрадь назначений.

Елочка испуганно вскрикнула:

- Камфару? А если я не сумею? Я боюсь!

- Да ведь я вам показывала.

- Все-таки страшно. Я не привыкла.

Сестра успокоила ее, что в соседней палате опытная дежурная, которая не откажется помочь и ушла.

Елочка уселась за маленьким столиком в слабо освещенной палате. Все было тихо; раненые спали или лежали в забытьи. Сколько раз, еще в институте, ее экзальтированное воображение рисовало ей такую минуту! Мечта начинала сбываться - она в госпитале, в белой косынке с крестом; сейчас ее позовет кто-нибудь из тех храбрецов, которые не отказались еще от усилий спасти Родину.

«Родина погибает! - вспомнились ей отчаянные воззвания Керенского. - Ее еще можно спасти! Гражданин, если ты русский, если тебе уже минуло семнадцать лет, именем гибнущей Родины мы умоляем тебя - присоединись к нам!» Здесь лежали те, которые это сделали. И она, наконец, с ними! «Я отдам все мои силы, я постараюсь сделать все, что только могу!» - шептали ее губы, и опять на ум приходили подвиги сестер в Севастополе и на Балканах. Только нынешняя минута была еще величественнее - ведь Родина на краю гибели!

Через несколько минут, однако, эти мысли поглотило уже знакомое ей волнение, происходившее от сознания собственной неопытности - это волнение расходилось по ней мутными волнами, щемило в груди и вызывало чувство, похожее на тошноту. Что, если как раз у того или другого раненого начнет падать пульс, а она упустит минуту? Что, если она начнет впрыскивать камфару и сломает иглу? Или кто-нибудь сорвет перевязку, а она не сумеет поправить?

Она взяла пачку «историй болезни» и нашла между ними ту, на которую указала сестра. Там в обычных бесстрастных выражениях стояло: «Рана осколком в левый бок в область десятого ребра, рваные края, ребро раздроблено, кровоизлияние в плевру...» Она перескочила дальше: «Оскольчатое ранение левого виска... расширение зрачков от сотрясения мозга, доставлен в бессознательном состоянии...» Она захлопнула папку и вскочила. «Господи, как страшно! А еще уверяли, что палата легкая, не полостная», - и на цыпочках побежала между постелями.

Это был офицер из «роты смерти», которого она видела утром. Елочка остановилась в нерешительности. «Он, может быть, только что заснул...» - думала она, но в эту минуту он перевернул положение головы на подушке, и она отважилась взять его руку, хотя ей было очень странно позволить себе такой жест по отношению к чужому мужчине. «Раз... два... три...» - считала она и чувствовала, что сама не понимает того, что у нее получается. Отыскав испуганными глазами минутную стрелку на своих часах, она старалась вымерить частоту пульса, но это ей не удавалось.

Раненый пробормотал что-то. Елочка взглянула ему в лицо, но глаза его были по-прежнему закрыты. «Бредит», - подумала она и уже хотела отойти, но он отчетливо проговорил:

- Приказ отступить... разбиты... Россия погибла!

Елочка застыла на месте. «Да! Погибла! А те, которые ее любят, даже в бреду говорят о ней!» - подумала она, чувствуя, что слезы поднимаются к ее горлу.

Тяжело далась юной дебютантке эта первая ночь в палате! Боясь упустить минуту оказать вовремя помощь, она всю ночь перебегала от постели к постели, все дрожа от волнения, и

каждые пять минут возвращалась к запомнившемуся ей раненому, прислушиваясь к его дыханию и замирая от страха, что придется браться за шприц.

Он все продолжал метаться и говорить что-то бессвязное. Только утром он пришел в себя. Подойдя к его постели, она увидела, что он шарит рукой по столу, отыскивая стакан с водой.

- Сестрица, который это день, что я здесь? - спросил он.

Она поднесла к его груди стакан и приподняла ему голову.

- Вас привезли вчера утром. Как вы себя чувствуете? Ваша рана, наверное, очень болит?

Она еще не знала, что такие вопросы в госпитале не приняты.

- Нет, благодарю. Почти не болит, когда не двигаюсь, - как-то странно равнодушно ответил он и более не продолжал разговора.

Она думала, что теперь он начнет призывать ее к себе с мелкими просьбами беспомощного человека, но он ни разу ничего не попросил. Почему-то он казался ей подавленным более, чем все остальные: он лежал слишком безучастно и тихо, и это возбуждало ее любопытство. Однако всецело завладел он ее вниманием только в следующее дежурство.

На этот раз она пришла в палату утром и должна была дежурить до вечера. У дверей палаты стоял солдат на костылях.

- Сестрица, явите Божескую милость! - начал он.

Елочка обернулась, готовая выслушать. На нее смотрело солдатское бородатое лицо - простое, открытое, мужественное.

- Мне про здоровье их благородия узнать. Давеча просил милосердную пропустить - не пускает! Говорит, дохтур не велел; очень будто бы их благородию худо, разговаривать вовсе не могут. Так уж будьте добры, сестрица, коли никак нельзя пройтись к господину поручику, скажите хоть, пошло ли дело на поправку. Я денщик ихний буду.

- Сейчас узнаю, солдатик. Как фамилия твоего офицера?

Он назвал фамилию, старую, княжескую.

«Это тот, молодой, с Георгиями!» - подумала Елочка. Она прошла к столику и развернула историю болезни: «С утра в сознании... Общее состояние по-прежнему тяжелое; дыхание короткое, затрудненное, почти не говорит, отказывается от пищи, жалобы на боль в боку...»

Она вышла к солдату и передала ему подробности.

- Премного благодарен, сестрица. Очинно я за его благородие тревожусь. Умирать-то им еще рано, хоть они и говорят, что им жизни не жалко, потому как горя у их и вправду много...

- Горе? Какое же у него горе? - спросила Елочка и вспомнила траурную перевязь на его рукаве.

- Ох, и не перескажешь всего, сестрица! Спервоначалу, года этак полтора тому назад, его превосходительство, папеньку ихнего, в Питере расстреляли; с месяц будет назад, здесь, под деревней Васильевкой, братец их старший убит был. Очень тогда горевали его благородие. Все мне, бывало, говаривал: «Василий, как я матери сообщу?» А мамаша-то их в Орловской губернии, в своей вотчине оставалась. Мы с его благородием сильно тревожились, как бы красные над госпожой генеральшей чего не учинили, потому как вестей от ее уже давно не было. Вдруг, ден этак пять тому назад, приезжает оттоль офицер и рассказывает господину поручику, что вотчину их красные сожгли, а барыню нашу расстреляли. Нутро у меня все ровно перевернулось! Этакая барыня добрая - и такая смерть! Упокой, Господи, ее душу! Когда мы с господином поручиком в окопах под Двинском сидели, она нам посылки посылала и кажинный-то ящик, бывало, делила пополам: половину ему, а другая - мне. И махорки, бывало, пришлет, и чаю, и сахару, и колбасы копченой. С ума у меня теперича моя барыня нейдет. А какво-то господину поручику лежать с такой лютой думой? Очень они любили мамашу-то.

- Зайди попозже, я сама попрошу доктора и, если позволит, пропущу. А впрочем, не трудись, ведь нога у тебя больная. Я прибегу и скажу, когда можно будет. Ты в пятой палате?

- Так точно. Премного благодарен, сестрица!

Елочка хотела уже отойти, но, движимая теплым чувством симпатии, спросила:

- Вас обоих одновременно ранило?

- Так точно, обоих вместе! Тоже около деревни Васильевка, осколками засыпало, когда с донесением скакали. Пришлось ранеными добираться, думали не доберемся. Его благородию не подняться было - я их на руках донес!

Елочка еще раз взглянула на говорившего... Она была воспитана в безграничном уважении к русскому солдату и готова была бы просиживать ночи у изголовья героя, подобного этому, но все романтическое оставалось для офицера! Здесь неосознанное классовое чувство воздвигало преграду. В сердце уже начинало вырастать что-то... И в том, что вырастало, занимала свое места и точеная рука, и интеллигентные черты, и угадываемая осанка... И чем острее и болезненней становилось ее сострадание, подогретое рассказом денщика, тем деликатнее и пугливее становилась она сама. Боясь показаться навязчивой в своем сочувствии или любопытной к чужому горю, она старалась приближаться к его постели незаметно; и он мог думать и думать, что она вырастает из-под земли; и всякий раз, как только он пытался пошевелиться, ей смертельно хотелось, чтобы он, подобно другим, заговорил с ней или подозвал ее, но он упорно не делал этого. Раздавая градусники, она подошла и, желая хоть чем-нибудь развлечь его, сказала:

- Вас очень хочет видеть ваш денщик.

Его лицо в самом деле оживилось:

- Добрый мой Василий! Как его рана?

- Кажется, лучше. Он уже бродит на костылях. Несколько раз он подходил к двери справиться о вашем здоровье.

- Вы знаете, сестрица, он нес меня на руках версты две или три. Я просил его прислать за мной санитаров, но он не захотел меня оставить.

Елочке показалось, что она предчувствовала что-то в этом роде.

- Я приведу его сюда, только вы не говорите много и не шевелитесь, - сказала она и, прибрав на его столике, пошла за солдатом, хотя врач не раз говорил ей, что с посещениями и разговорами следует подождать. Елочка решила сделать по-своему, лишь бы мимолетным наблюдением над офицером и солдатом насытить немного свой интерес к личности обоих. Однако ей не удалось увидеть хоть издали, как они встретились: ее отозвал дежурный врач, и оставалось только рисовать в воображении это свидание. «Дал ли он ему руку, усадил ли? - думала она, мотая бинты и раздавая лекарства. - Наверное, и руку дал, и усадил - между ними не может быть обычной субординации».

Госпитальный день шел своим порядком: так часто приходилось подходить то к одному, то к другому, а он по-прежнему был безучастен ко всему и не находил нужным ее окликнуть, хотя тоскливо метался по подушке и брался рукой за больной висок. Когда она читала раненым газеты, она несколько раз украдкой взглядывала на него и не могла понять, слушает ли он или не замечает окружающего.

«Наверное, я так и уйду, не сказав ему ни одного задушевного слова!» - с грустью подумала она.

В эту как раз минуту санитар вошел в палату и громко выкрикнул заветную фамилию.

- Есть такой? Письмо из полка пересылают.

- Я, - ответил он, приподнимаясь.

Схватив письмо, он торопливо пытался вскрыть его левой рукой, опираясь на правую, но это ему не удавалось.

- Позвольте, я вам распечатаю, - сказала Елочка.

Он передал ей.

- Число! Покажите скорей число, сестрица! Рука моей матери... Если это письмо недавнее, значит, она жива! - голос его оборвался...

Елочка, сама взволнованная, поспешно распечатала конверт. Секунду она помедлила с ответом.

- Это письмо... Видите ли... Оно, по-видимому, уже давнее. Оно послано полгода тому назад... очевидно, блуждало где-то.

Он молча опустил на подушку. Елочка протянула ему письмо и деликатно отошла.

«Как тяжело ему читать эти строки!» – думала она, прибирая на соседнем столике.

– Сестрица! – позвал ее через несколько минут голос, который она уже не могла спутать ни с чьим другим. Она вернулась к его постели.

– Прочтите мне, пожалуйста. У меня в глазах сливаются все строки...

«Это от расширения зрачков», – подумала она и села у его постели. На всю жизнь запомнилась ей эта минута: слабо освещенная палата, его лицо и каждая строчка этого письма!

– «Бесценное мое дитя, дорогой мальчик! – начала она и невольно остановилась, охваченная волнением; она незаметно повела на него глазами и увидела, что он положил себе руку на глаза... – Уже давно я не имею известий ни от тебя, ни от Дмитрия и совсем изболелась за вас душой! Где вы? Живы ли? Или я уже одна на всем свете? Я говорю себе, что Бог милостив и сохранит мне вас, и тут же думаю, как смею я надеяться на Его милосердие и чем я лучше других матерей, которых постигает несчастье? Меня измучила мысль, что, может быть, один из вас ранен и лежит среди чужих, а я ничем не могу помочь и не могу ухаживать так, как ухаживала, когда вы болели скарлатиной в детстве. Помнишь, как ты любил клюквенный морс, которым я тебя поила? Я молюсь за вас утром, молюсь вечером, а среди дня хожу в лес к моей любимой часовенке Скорбящей, и в этом все мое утешение. Я уже не живу в Вечаше. Я должна сообщить тебе очень печальное известие – нашей Вечаше не существует. Ее сожгла шайка коммунистов – сожгла дотла. Но мне не состояния жаль, а дома, в котором я была счастлива, в котором выросли и родились мои дети. Мне жаль моих цветов и моих яблонь. Они свирепствовали, точно вандалы: грабили утварь, рубили наши тысячелетние дубы, разбивали цветочные горшки в оранжерее, даже воду в пруду выпустили, очевидно, специально, чтобы умертвить золотых рыб. Бог им судья! За меня не бойся, я нашла себе приют у крестьян в деревне. Ты знаешь, как они любят меня и не оставят в беде. Егор и Марья-Красавица наперерыв стараются доказать мне свою преданность. У меня будет хлеб, и я буду под кровом, а больше мне теперь для себя ничего не надо. Ушла я в чем была, не успела захватить ни драгоценностей, ни бумаг, ни денег. Со мной только твоя фотография – та, где Ты годовалым ребенком с медведем, и другая – где ты и Дмитрий кадетами, сделанная при поступлении в Пажеский корпус. Обручальное кольцо со мной, так как я его никогда не снимаю, и это все. Но если Бог сохранит мне вас обоих, я буду считать себя еще неизмеримо богатой. Впрочем, я не совсем точна: со мной еще Рекс. Вчера, когда я пошла на пожарище, я нашла там верного пса – он выл перед останками дома. Видел бы ты, как он мне обрадовался, как прыгал мне на грудь и лизал руки. Я сама обрадовалась ему, как человеку, и увела с собой. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо? Решаюсь послать его с верным Егором в Крицы. Оттуда уезжает один офицер, чтобы пробраться в южные армии через Белого Орла. Если это ему удастся, он, может быть, тебя разыщет... Если ты получил это письмо и если Дмитрий с тобой, передай и ему мою любовь и благословение. Письмо это вылилось на тебя, но относится одинаково к вам обоим. Иногда я верю, что мы увидимся, иногда мне кажется, что я уже никогда не увижу вас. Вкладываю в письмо листочки уцелевшей от пожара яблони – последний привет нашей любимой Вечаше. Я знаю, что ни меня, ни Вечаше ты никогда не забудешь. Твоя мама».

Во время чтения Елочка несколько раз останавливалась, тщетно стараясь справиться с душившим ее волнением. «Это глупо будет, если я – посторонний человек – и вдруг расплачусь. Я только помешаю этим ему остаться твердым», – говорила она себе, угадывая чутьем, что он борется со слезами отчаяния. Когда она кончила, она положила письмо и веточку около него и отошла. Как ни хотелось ей пожать ему руку и сказать несколько теплых слов участия накипавших в ее груди – она была слишком замкнута, щепетильна и стыдлива, чтобы позволить себе выражение чувства там, где его не ждали и не просили. И она опять запретила себе то, что, может быть, без всякого стеснения, просто, сделала бы на ее месте другая, более непосредственная. Незаметно наблюдая за ним, она видела, что он лежит в той же позе, и, подавляя вздох, продолжала свою работу. Закончив дежурство, она подошла к нему и остановилась в нерешительности... Неужели так и уйти, оставить, не сказав ни слова

ободрения? Точно почувствовав ее взгляд, он открыл глаза, которые ей показались необыкновенно большими и блестящими.

- Я уйду. Надеюсь, Вам будет лучше... Господь с вами, - робко прошептала она, не находя слов. Он взял ее руку. Она думала, он пожмет ее или ответит что-нибудь, но он не сделал ни того, ни другого. Быть может, он в своем полубреду уже забыл, что завладел рукой девушки, так как, продолжая держать эту руку, закрыл глаза и беспокойно водил головой по подушке. Она постояла над ним и слегка потянула свою руку из его руки. Он не выпускал ее. Она потянула сильнее и вышла, расстроенная еще больше, чем была до этого.

На следующий день в его состоянии не было никакого улучшения: он дышал опять очень коротко, просил кислорода и метался. Елочка сначала не была уверена, что он узнал ее. К концу дня его потребовали в операционную: дядя Елочки должен был делать ему резекцию ребра. Елочка слышала, как сестры говорили, что это делается без наркоза. Когда санитар рывкнул около самого ее уха, что такого-то раненого следует безотлагательно доставить в операционную, согласно приказу господина полковника - старшего хирурга, она почувствовала, как по коже у нее пробежали мурашки.

- Осторожней! Осторожней! - говорила она санитарам, а сама шла рядом, а он даже не спрашивал, куда и зачем его несут. Но когда его переложили на операционный стол, он поднял веки и медленно стал обводить глазами белые стены операционной и чужие лица людей в белых халатах. Хирург с приготовленными уже руками, которые он держал слегка приподнятыми, стоял около стола, и одна из сестер надевала ему маску; потом глаза его остановились на Елочке. Понял ли он всю глубину ее сострадания, которое не притупила еще ни привычка, ни профессиональность, или, может быть, среди совсем чужих, равнодушных лиц она показалась ему уже своей, знакомой и родной, но он сказал:

- Сестрица, останьтесь со мной... Не уходите.

И опять ее рука оказалась в его руке.

Эту минуту она вспоминала, как самую драгоценную - он, стало быть, ее не только узнавал, но и отличал, если искал у нее сочувствия! Она надеялась, что ей позволят стоять возле, но одна из сестер отодвинула ее и сама уверенной рукой стала разматывать бинты, а дядя неожиданно обратился к ней:

- Ты здесь зачем? Молода для операционной. Иди в палату.

- Я хотела... я только... - начала было Елочка, но дядя не дал ей закончить.

- Никого лишнего! Смотри, Елизавета, отчислю! Ты бросила свой пост.

Елочка поняла, что в операционной не место для споров, притом дядя затронул ее слабую струнку - чувство долга. С печально опущенной головой она вернулась в свою палату. «Я, кажется, дурная сестра: я думаю только об одном!» - говорила она себе, поглядывая на дверь.

Как только санитары внесли ее героя обратно и начали перекладывать с носилок на кровать, она подбежала, и от нее не укрылось, что он кусает себе губы, чтобы не вскрикнуть. Санитар наклонился к нему, чтобы передвинуть поудобнее.

- Не надо... Я сам, - проговорил он сквозь зубы.

- Елочка наклонилась со стаканом чая.

- Не могу... Благодарю... Не надо.

Другой санитар хотел поправить неудачно положенную подушку.

- Не надо... Ничего не надо... Оставьте!

Но как только они отошли, он приподнялся и приник головой к краю столика. Стоять и наблюдать, ничего не делая для облегчения, казалось Елочке невыносимым, неделикатным, невозможным - она послала за дежурным врачом.

- Что тут? - хмуро спросил разбуженный по ее распоряжению врач, измучившийся за день и только что пристроившийся на больничной топче.

- Раненому нехорошо... Я не знаю, можно ли морфий...

- Морфий впрыскивали уже. Часто повторять не рекомендуется, - и врач взял руку раненого. - Ваши слезы неуместны, сестра. Дайте шприц и камфару и попрошу вас повнимательнее

следить за пульсом.

Елочка виновато молчала. Врач сделал укол и повернулся к ней, видимо, уже смягчившись.

- Нам не полагается расстраиваться, сестрица. Это не содействует ни точности в работе, ни уверенности. Будете так переживать за каждого, никаких сил не хватит, издергаетесь и заболаете. Ну да вы привыкнете, когда поработаете подольше.

Елочке показались циничными эти слова. Мысленно она обозвала врача «бездушным». Однако врач этот назначил индивидуальный пост у постели заинтересовавшего ее раненого, опасаясь, как бы тот не сорвал перевязку, как только у него начнется бред, наступавший все предшествующие ночи. Очередное дежурство Елочки кончено, и она вызвалась остаться у постели. Но эта ночь не принесла ей ни одной минуты, похожей на минуту в операционной: всю ночь он метался в бреду, а она держала его руки, не отходя ни на шаг. Только утром, уже перед обходом хирурга, он немного затих, и Елочка смогла сесть. Совершенно измученная, она положила голову к его ногам. Вновь пришедшая дежурная поспешила отправить ее домой. За всю ночь ни одного слова, которое бы можно было вспомнить потом!

Даже в бреду он говорил в этот раз о какой-то Весте - по-видимому, своей лошади, которая была под ним убита.

Нового к его образу прибавилось только то, что, завладевая его руками, она разглядела у него на мизинце кольцо, которое носили только пажы. Это было очень интересно и романтично, но это было все! Она ушла огорченная как его тяжелым состоянием, так и тем, что он даже не будет знать, кто так самоотверженно сторожил его! Ей не пришло в голову, что товарищи доведут это до его сведения; еще менее ей могло прийти в голову, в какой форме это будет сделано.

- А знаете ли, поручик, наша дурнушка положительно равнодушна к вам.

- Вы о ком, господин подполковник?

О той высокой, смугленькой, она всю ночь просидела около вашей постели.

- Я бы не назвал ее дурнушкой. У нее глаза, как у лани.

- Вот оно что! Так, может быть, как в романе - после выздоровления «Исайя ликуй»?

- Зачем же сразу «Исайя ликуй»? Эта мера, так сказать, катастрофическая! Может случиться, все обойдется ему и не так дорого, - отозвался другой офицер.

С ним шутили, желая его развлечь, так как знали о его несчастьях, но он ответил совершенно равнодушно:

- Уверю вас, что это все только в вашем воображении: ее назначили дежурить, и дежурила - в госпитале своя дисциплина.

- Дисциплина дисциплиной, однако она плакала над вами, когда вас принесли из операционной. Дежурный врач даже счел необходимым сделать ей небольшое внушение.

Но юноша не хотел переходить в шутливый тон.

Она еще недавно работает и не успела покрыться полудой. Я во всем происшедшем не вижу ничего, кроме того, что она добрая и милая девушка. Не думаю, чтобы мной можно было сейчас заинтересоваться, - и устало закрыл глаза, желая кончить разговор, который стоил ему усилий.

Проводя этот день дома, Елочка испекла свое любимое печенье по рецепту, написанному рукой ее бабушки на пожелтевшей уже бумажке, а потом раздобыла у одной запасливой дамы немного клюквы и приготовила морс.

На следующее утро, отправляясь на дежурство, она понесла все это с собой.

«Он совсем ничего не ест», - думала она, вспоминая те порции, которые уносили нетронутыми с его столика.

Когда она предложила ему морс, который будто бы принесла для себя, он взглянул на нее несколько удивленно, но, встретив ее смущенную и ласковую улыбку, в свою очередь печально улыбнулся.

- Спасибо вам, сестрица! Вы очень добры. Я тронут.

Для нее огромным удовольствием было лишний раз подойти к нему и поить его, осторожно

приподнимая ему голову, но в этот день она чувствовала себя нездоровой и к концу дня работала уже через силу: болела голова и чувствовалась странная разбитость во всем теле. Ему между тем было в этот день, по-видимому, лучше – не такой лихорадочный цвет лица, не такое короткое дыхание. Операция сделала свое дело, и Елочке уже мерещились дни выздоровления, но доносившийся отдаленный грохот артиллерийских орудий заставлял всякий раз жутко вздрагивать, напоминая о надвигающейся катастрофе, по-видимому, уже неотвратимой, которая грозила все разбить и смять, унося тысячи жизней, а с ними и эти хрупкие мечты. Взгляды сестер испуганно скрещивались, врачи озабоченно переговаривались, санитары угрюмо молчали.

– Без паники. Спокойствие. При раненых никаких разговоров, – несколько раз повторял, проходя по палатам, ее дядя.

Один раз он увидел ее у окна с руками, прижатыми к горевшему лбу.

Елизавета, ты что там куксишься? Смотри у меня! – Но, приблизившись, прибавил вполголоса:

– Придешь домой, передай тете, что я остаюсь на ночь в госпитале. Будь мужественна, девочка!

Она уже сдавала смену, когда раненый юноша окликнул ее... Отдавал ли он себе отчет в приближавшемся? Когда она подбежала, он улыбнулся и протянул ей флакон с духами. Это была «Пармская фиалка» Coty. Елочка вспыхнула и как-то по-ученически спрятала руки за спину.

– Не нужно. Я не ради подарков... Я не хочу...

– Сестрица, не отказывайтесь! Прошу вас! Это не плата – сочувствие оплатить невозможно, это только небольшой знак внимания от человека, к которому вы так добры в тяжелое для него время.

Опираясь на правую руку, он стал откупоривать флакон левой рукой, желая надушить Елочку, и пролил при этом около трети флакона ей на грудь.

Больше она его не видела.

В эту ночь она слегла в тифу и сама бредила не хуже его. Она пролежала семь недель, и когда наконец встала, в городе уже распорядились красные, а госпиталь был раскассирован.

Скоро слуха ее коснулось страшное известие о варварской расправе над ранеными офицерами. Уверяли, что в живых будто бы не осталось ни одного человека; называли имена предателей, которые выдавали чекистам фамилии и чины офицеров.

Елочка была потрясена; при одной мысли, что и его постигла та же участь, ее охватывала дрожь... Убить безоружного, убить раненого, который не может защищаться, убить слабого, измученного, убить... Лучше было не думать, но мысль ее словно в заколдованном кругу возвращалась все к тому же: ведь ему только что стало лучше, только что стал яснее его взгляд, он в первый раз приподнялся, не меняясь в лице от боли... и вот его могли убить.

Выздоровление после тифа осталось в ее памяти как самый тяжелый период в жизни: у нее было сразу две потери – любимый человек и последний оплот Родины! Тогда было навсегда смято в ней что-то свежее, благоухающее. Как будто разом отцвела и поблекла ее юность.

Исхудалая, вялая, апатичная, она целыми часами неподвижно сидела в кресле, без слов, без мысли.

– После, – отвечала она, когда ухаживавшая за ней тетка уговаривала ее поесть или выйти на воздух. – Не хочется, тетя, после!

Когда она немного окрепла, дядя и тетка увезли ее в Петербург. Она не представляла себе, как вернется к жизни, и не видела в ней ни цели, ни смысла, Но жить надо было, и прежде всего надо было содержать себя. Бабушки уже не оказалось в живых, а имение и деньги, положенные в банк на ее имя, национализированы. Все тот же дядя, теперь уже снявший погоны, устроил ее под своим начальством в одной из петербургских клиник. И она начала работать... Уже без воодушевления, без интереса, и без креста на груди!

Понемногу она привыкла к своей работе и приобрела все профессиональные навыки. Внешне она казалась уже вполне спокойной и уравновешенной, но всякий раз, когда ей приходила на

память судьба раненых в феодосийском госпитале, она менялась в лице, у нее судорожно подергивались губы, и она подносила руки к голове, как будто защищаясь от удара.

Объективной в те годы она еще не могла быть. Целостность ее политического credo высилась как неприступная цитадель, в которой никто не мог пробить брешь. Классная подруга – смолянка Марочка Львова – попробовала однажды уверить ее, что своими глазами видела, как белый офицер бил по щекам раненого красноармейца на улицах Харькова. Она уверяла также, что знает семью, в которой дочь – девушка – была изнасилована белыми офицерами. Елочка отказывалась верить! Хамство слишком не вязалось с образом белого офицера, мученики за Родину не могли так поступать! Она заподозрила злостную клевету и прекратила дружбу с Марочкой. Постоянно роясь в своих воспоминаниях, она не давала им меркнуть. Она знала, что больше уже никого не полюбит. Да, ее роман был мимолетный и печальный, зато герой был настоящий! Это не то, что у Марочки, вышедшей за матроса с «Авроры», или у Нади Хмельницкой, муж которой, еврей, заведовал складом... Нет! Ее герой – наследник древнего имени, русский офицер-гвардеец, из тех, которые умирают, но не сдаются! Он защищал Родину сначала от немцев, потом от большевиков, это был Георгиевский кавалер, командир «роты смерти», аристократ, белый офицер! В нем было все, что могло понравиться ей в мужчине. На кого же теперь она могла обратить свои взоры? После него все казались мелки!

– О, если бы я могла спасти его! Пусть это стоило бы мне жизни, пусть бы он никогда не узнал об этом... все равно! Несчастливая моя Россия – если она убивает таких, как он, а оставляет одних троглодитов – у нее нет будущего! С такими, как он, умерла ее слава!

Весь мир окутан траурной вуалью!

## Глава вторая

*Ты пахнешь, как пахнет сирень,  
А пришла ты по трудной дороге!  
А. Ахматова.*

Учительница музыки, Юлия Ивановна, в молодости была приятельницей Елочкиной матери. Вскоре после окончания войны она очень серьезно заболела ревматизмом, и тогда Елочка со свойственным ей чувством долга сказала себе, что в память матери обязана проявить внимание по отношению к этой старой даме. Она несколько раз навещала ее и даже дежурила две ночи у постели. Делала она это тем охотней, что муж Юлии Ивановны был когда-то видным лидером кадетской партии в Киеве и заслужил прозвище «совесть Киева». Елочке этого было довольно, чтобы испытывать живое участие к судьбе вдовы, которая к тому же являлась интересной собеседницей, так как изъездила всю Европу и была знакома со многими замечательными людьми. Именно Юлия Ивановна навела Елочку на мысль заняться снова музыкой и определила ее в свой класс. Отлично понимая, что уровень музыкальных способностей Елочки очень невысок, Юлия Ивановна тем не менее любила часы занятий с нею: ей нравилась серьезность и интеллигентность девушки и она всегда, прежде чем начать урок, заводила с ней разговоры, которые обычно затягивались, а собственно занятия сводились к 15 минутам. Однажды в декабре 1928 года – Елочка навсегда запомнила этот день – Юлия Ивановна, еще не начиная урока, сказала:

– Сообщу вам новость, моя милочка, в классе моем появилась еще одна ученица, очень, по видимому, талантливая.

– Хорошо играет или начинающая? – спросила Елочка, вынимая ноты.

– Трудно сказать, в какой мере она подвинутая, – ответила Юлия Ивановна, – ей восемнадцать лет. Техника у многих в ее возрасте бывает гораздо лучше, но способности у нее очень большие. На приемном экзамене, в среду, она играла «Kinder schenen» Шумана, я была в комиссии и вместе со всеми заслушалась: до такой степени чарующее у нее туше и так хороша фразировка. Чистота звука поразительная! Не хотелось ничего изменить в ее игре, как будто

бы играла законченная пианистка. А вместе с тем она еще очень мало училась, и виртуозности у нее нет вовсе. Она держала экзамен в консерваторию этой осенью, но ее не приняли из-за происхождения. Такую талантливую девушку оставили за бортом!

Елочка тотчас насторожилась:

- Что же именно ей помешало?

- Анкета. Она - Бологовская, внучка генерал-адъютанта, из приближенных к особе государя, а отец ее, гвардейский полковник, расстрелян в Крыму. Другой ее дед, кажется, сенатор... Сами понимаете, что все это значит теперь! Ко мне ее прислал мой друг - консерваторский профессор. Он хотел принять ее в свой класс, да вот не удалось, направил ее ко мне с тем, чтобы раз в месяц прослушивать самому: каждому педагогу интересна такая ученица.

Расстрелян в Крыму! Губы Елочки судорожно передернулись, и она закрыла ладонями лицо. «Занавес над трагедией уже опустился! Мы - за занавесом! Девушка эта тогда была ребенком... Помнит ли она хоть что-нибудь?» - подумала она, а сказала совсем другое:

- Мне хотелось бы услышать ее, если она талантлива.

- Вы здесь еще не однажды встретитесь, - добавила Юлия Ивановна. - Вот с полчаса, как она ушла. Хорошенькая девушка, ресницы до полщеки. Живет она теперь с бабушкой и с дядей; матери у нее, кажется, тоже нет. По-видимому, нуждается: без ботишков, без зимнего пальто. Жаль девочку.

Все рассказанное Юлией Ивановной странным образом заинтересовало Елочку. В следующий раз она нарочно пришла целым часом раньше обыкновенного, так что принуждена была выслушать скучнейший урок с тупоголовым школьником. Он еще не успел кончить, когда в класс вошла девушка, в которой Елочка тотчас признала новую ученицу.

Тонкая как тростинка фигурка в старом джемпере и по-модному короткой, но все-таки недостаточно короткой юбке, две длинные косы без лент; и волосы и ресницы мягкого каштанового цвета и красиво оттеняют белоснежный лоб и прозрачную глубину глаз. Лоб и ресницы невольно приковывали взгляд.

«Да, она мила, но еще почти девочка! Вот и щеки, как у ребенка, розовые. А профиль камеи!» - подумала Елочка, украдкой пристально разглядывая эту головку на длинной шее, словно цветок на стебле.

- Ася, садитесь теперь вы, - сказала Юлия Ивановна, когда мальчик кончил. Девушка, которая в ожидании очереди уткнула носик в книгу, встрепенулась и подошла к роялю. По-видимому, она успела уже покорить сердце старой учительницы. Юлия Ивановна выслушивала вещь за вещью, а во взгляде, с которым она попеременно созерцала поэтическое личико и маленькие легкие руки, Елочка подметила нежность и восхищение. Ревнивое и даже завистливое чувство шевельнулось в груди Елочки.

«Счастливая! Как приятно быть талантливой и как легко располагать к себе сердца, имея талант и такое личико!» - подумала она.

Как только Ася кончила, она тотчас же встала и стала собирать ноты: она еще мало знакома была с преподавательницей и не подозревала, какие в этом классе ведутся интересные и долгие разговоры.

- Вы слишком легко одеты, Ася, - сказала Юлия Ивановна, когда девушка запуталась в разорванном в подкладке рукаве демисезонного пальто.

- Благодарю, не беспокойтесь, я закутаюсь сверху в бывший соболь, - ответила Ася.

- То есть как «в бывший»? Как же это соболь может быть «бывшим»? - с удивлением спросила учительница. Ася вдруг рассмеялась веселым детским смехом:

- Ах, я забыла, вы ведь не знаете! Это было мое mot [4] в двенадцать лет. Я вокруг себя тогда только и слышала: бывший князь, бывший офицер, бывший дворянин... Вот и вообразила, что соболь мой тоже бывший - *si-devant* [5]. С тех пор мы так и зовем его.

И продолжая смеяться, она накинула на плечи старый мех и убежала.

Елочка с удивлением проводила Асю взглядом: она словно чем-то неожиданным была поражена ее веселостью. Ей казалось, что на репрессированной аристократке неизбежно

должна лежать печать горя, тень от потерь. «Этот глупый смех... Он мне давно уже опротивел! У всех одно и то же!» - с досадой подумала она.

И все-таки в следующий раз ее опять потянуло прийти пораньше, взглянуть на эту Асю, которая привлекла чем-то ее воображение. Девушка уже заканчивала игру. Прощаясь с ней, Юлия Ивановна сказала:

- Я должна вас огорчить, дитя мое. Я узнала в канцелярии, что оплату с вас будут брать по самой высшей расценке. Это все решает бухгалтерия согласно каким-то инструкциям.

Девушка слушала ее с испуганным выражением на хорошеньком личике, она даже немного побледнела.

- И вы понимаете, дитя мое, - очень мягко продолжала учительница, - что от меня здесь ничего не зависит. Надеюсь, это не заставит вас бросить уроки?

- Ах, вот что! - сказала Ася. - А я было испугалась, что меня постановили выгнать отсюда. Нет, сама я, конечно, занятий не брошу. Надо же мне хоть чему-нибудь выучиться. Видите ли, нас четверо: бабушка, дядя, я и мадам, моя француженка, - она у нас уже как член семьи, да еще борзая - любимица папы покойного, бабушка ее бережет в память папы. А зарабатывает на всех один дядя: он пристроился в оркестр, а раньше был безработный. Поэтому нам никак еще не свести концы с концами. Я бы могла поступить на службу, но бабушка не позволяет, она говорит: «Увидеть тебя на советской службе для меня настоящее горе!» Я владею французским, но давать уроки бабушка тоже запретила.

- Позвольте, почему же?

- Я с уроками несчастливая! В прошлом году я занималась с внуком нашего бывшего швейцара, дала уроков пять-шесть; пришла раз, а они сидят, пьют чай с пирожными, и бабушка - швейцариха приглашает меня сесть с ними. Я сначала отказывалась, а потом думаю: они еще вообразят, что я из гордости за дедушку - я этого как огня боюсь! Я села и взяла одно пирожное, самое маленькое. А на следующий день мой умный ученик мне же рассказывает: «У нас, - говорит, - вчерась мамка на бабушку кричала. Чего, мол, ты учительниц всяких пирожными кормишь? Ну да теперь мы в расчете - ни копейки она с меня не получит!» Я не поверила сначала и еще целый месяц занималась - не платят! А я боюсь говорить с мамашей ученика. Она крикливая такая, как начнет наступать... Уж лучше я еще несколько лет отзанимаюсь за пирожное. Я так и сказала бабушке, а она говорит дяде: «Сережа, поговори ты». А дядя: «Нет уж, увольте! Я на пролетарские банды в атаку с одним штыком ходил, но пролетарских мегер пуще огня боюсь!» Что тут делать? К счастью наша мадам говорит: «Я француженка, парижанка. Наш народ дал Jeanne D'arc и Charlotte Corde. Я никого не боюсь! Monsieur Серж ходил в атаку со штыком, а я пойду с мокрой тряпкой!» И в самом деле, она взяла тряпку и выгнала и мальчика, и мать. Крик поднялся такой, что я и кузиночка Леля заперлись в бабушкиной комнате. Другой урок - новая неудача! Папаша ученицы, заведующий кооперативом, проворовался и сел. Мамаша пришла, так и так, мол, заплатить не можем, тут же в долг у меня взяла и больше не показывалась. С тех пор бабушка постановила, чтобы у Аси уроков больше не было!

- Ну а к занятиям вашим музыкой бабушка как относится? - спросила Юлия Ивановна, улыбаясь.

- Бабушка говорит, что это единственный вид труда, который она разрешила бы мне в будущем. Но вся беда в том, что играю я еще очень плохо.

- Учиться вам еще много надо, но способности у вас очень большие, Ася!

- Право уж не знаю... Мне почему-то кажется, что толку из меня никогда не выйдет. Вот недавно тетя Зина хотела меня поучить делать бумажные цветы. Мадам живо смастерила розу, а я такая неловкая, и терпения у меня совсем нет - я и десяти минут не просидела и взялась развлекать мадам. Пока она вертела цветы, я сыграла ей «Марсельезу» и вариации придумала, а потом прочла ей вслух Беранже. Вот так все у нас и кончается! Тетя Зина машет руками и на меня, и на свою Лелю: «Пропадете обе, потому что неприспособленные, а средств никаких! Хорошо, если найдутся молодые люди из прежних!» Но всегда тут же вздохнет, что в наших

условиях надежды на это почти нет. Видно, и в самом деле пропадать! Я ведь к тому же еще дурнушка!

И не замечая удивления, с которым взглянула на нее учительница, она схватила свой портмюзик и с сияющей улыбкой пошла к двери.

- Она очаровательна! - воскликнула Юлия Ивановна, как только дверь за Асей закрылась. - Эта живость, это изящество, эти ресницы! Вы слышали, как она сыграла мне шумановское *Wagum*? Я назначила ее играть на ближайшем ученическом концерте - хочу показать педагогам.

Елочка сохраняла несколько угрюмый вид.

«Растаяла, как воск от свечки!» - думала она и вместе с тем чувствовала, что не устоит и сама перед обаянием этой девушки. «А тетка-то неумная», - подумала она при этом.

Собираясь на ученический концерт, Елочка говорила себе, что необходимо хорошенько поаплодировать Асе, чтобы создать свой успех. «Быть может, ей, как аристократке, будет оказан холодный прием, а потом скажут, что сыграла неудачно, и исключат. С такими, как она, все можно сделать. Она почти вне закона в нашей благословенной стране», - говорила она себе.

Все контрреволюционные силы страны уже давно сложили оружие, а Елочка с воинственностью Валкирии продолжала сопротивление! Но в этот раз Валкирия эта собиралась воевать с ветряными мельницами, так как анкеты и происхождение оставались вопросами первой важности лишь в бухгалтерии и дирекции, а в среде учащихся и педагогов не играли никакой роли, в отличие от среды заводской молодежи, где слова «А я рабочий! Я рабочая!» произносились с непередаваемым задором.

Когда Елочка пришла в шумевшее учениками, родителями и педагогами большое зало музыкальной школы, она пробралась между этой публикой совсем как чужая, так как за три года учения еще ни с кем не завязала знакомства. Скоро она увидела Асю. Та стояла у стенки зала со своим порт-мюзик в черном закрытом платье с полоской брюссельских кружев у горла. На затылке у Аси был большой черный же бант, а хвостик косы распущен. Десять лет назад сама Елочка так носила по воскресеньям, и эта манера причесываться очень расположила ее к Асе. Увидев, что девушка смотрит на нее, она кивнула ей и указала на место возле себя. Ася пробралась к ней и села.

- Ну, как у вас дома? Все благополучно? - ласково спросила Елочка после первого приветствия.

- Мерси, не совсем. Борзая наша заболела, у нее паралич задних лапок, она ведь старенькая. Это замечательная собака: она помнит моего папу, хотя уже восемь лет, как папа... как папы нет. Если бабушка скажет: «Диана, где Всеволод Петрович? Хочешь пойти с ним на охоту?» - она оглядывается и повизгивает, ищет папу. Каждое утро, когда бабушка пьет кофе, Диана подходит и кладет морду к бабушке на колени и смотрит так кротко, грустно и задумчиво. У нее глаза такие же красивые, как у вас.

- Как у меня? - воскликнула удивленно Елочка. - Разве у меня глаза красивые? Вот я так в самом деле дурнушка!

- О, нет! Не говорите! У вас в лице есть что-то исключительно-интеллигентное! Теперь не часто можно встретить такие лица.

И так как Елочка смущенно молчала, она заговорила снова:

- Так жаль Диану! Мы вызвали к ней ветеринара, но это оказался какой-то коновал. Он сказал: «Собаку надо усыпить!» А ведь Диана все решительно понимает! Она вся съежилась, прижала уши и задрожала. Я потом сказала ей: «Не бойся, мы тебя не отдадим ему! Ты до последнего твоего дня будешь такая же любимая!» Она тотчас успокоилась и стала лизать мне руки. Она теперь только ползает и озирается виноватыми глазами. Бабушка очень огорчается! У бедной бабушки на память о папе только Диана... Ах, да, а я-то! Себя я и забыла.

Елочка погладила руку Аси, все более и более располагаясь к ней.

- Вы что играете сегодня?

- Две вещицы Шумана и Шуберта. Я играю во втором отделении.

- А кто-нибудь из ваших пришел вас послушать? - спросила Елочка и оглядела зал. Ей хотелось

увидеть человека, который ходил в атаку со штыком: он мог отдаленно походить на ее героя, но Ася ответила:

- Пришла мадам, она здесь. Кузина Леля хотела прийти, но заболела, лежит с горчичником. А дядя не придет: он рассердился на меня.

- Рассердился? За что же?

- Очередная неудача, и виновата, конечно, опять я. Бабушка отправила меня в комиссионный магазин отнести свой *sortie-de-balle* [6]. А там посмотрели, оценили в полторы тысячи, но сказали, что сейчас не возьмут, а только через месяц. Я хотела уйти, вдруг подходит мужчина и говорит: «Я как раз ищу такой мех. Если вы согласны ко мне заехать, я тотчас выложу вам деньги». И представился: Рудин Дмитрий Николаевич. Ну, разумеется, я согласилась, деньги-то нам нужны! Он взял такси и усадил меня, а шоферу сказал: «В Лесной». И тут мне вдруг стало страшно! Уже смеркается, а в Лесном глухо – что, если он завезет меня и отнимет мех? Мне странно показалось, что он меня взял под руку, точно знакомую, а мех сразу же положил себе на колени. Вот я и говорю: «Знаете, я передумала, я лучше выйду». А он отговаривает, и чем больше отговаривает, тем мне страшнее. Чувствую, что сделала глупость! Я схватилась за дверцу, шофер затормозил, повернулся ко мне и открыл. Я выскочила и в сторону – я ведь быстрая! Только бы, думаю, он за мной не выскочил. Такси в ту же минуту умчалось, и только тут я вспомнила, что мех-то остался в машине! Вернулась я к бабушке вся зареванная. Бабушка, видя, в каком я отчаянии, даже не побранила, она только сказала: «Слава Богу, что кончилось только так». Но дядя... Господи, как он на меня кричал: «Безумная! О чем ты только думала! Я тебя одну на улицу выпускать не буду, сиди дома весь день. Ничего не понимаешь, так потрудись запомнить, что садиться в машину с незнакомыми людьми я запрещаю!» Ну, а чем я уж так виновата, скажите? Откуда я могла знать, что это не Рудин, а вор?

- Здесь дело не в том, что он вор, Ася. Надо очень остерегаться чужих мужчин. Ваш дядя совершенно прав: вы были в самом деле очень неосторожны.

В эту минуту объявили начало концерта, и разговор уже прекратился. В антракте Ася убежала в ученическую-артистическую, и Елочка увидела ее, только уже выходящей на эстраду. Елочка чувствовала, что волнуется.

«Господи, да что же это я! Не все ли равно мне-то?» Но ей было не все равно и уже не могло стать все равно.

- Вот это да! Это называется музыкальностью! – сказал кто-то шепотом позади Елочки, когда Ася начала Шумана. Елочка обернулась; говорил юнец лет шестнадцати, весьма демократического облика – без галстука, в рыжем свитере до самых ушей.

- Переливы подает очень тонко, – подхватил его товарищ-еврей в роговых очках, выступавший перед тем со скрипкой.

- А Шуберта-то, Шуберта как начала! – сказал опять первый мальчик. – Молодец девчонка! Откуда взялась такая? Я ее раньше не слышал.

Аплодисменты были дружные и бурные. Мальчики позади Елочки завопили «бис», многие подхватили – Елочка могла быть довольна. Ася выбежала раскланиваться (и это у нее получалось очень изящно) и вопросительно посмотрела при этом на учительницу. Та кивнула, и Ася снова села к роялю. Она взяла несколько печальных аккордов...

- Прелюд Шопена, – прошептал тотчас все тот же юнец в свитере. Он в течение всего концерта безошибочно называл исполняемые вещи к немалому удивлению Елочки.

- Шабаш... Пугается! – услышала она вдруг его шепот. – Эх, жаль! Хорошо начала!

Сердце Елочки тревожно забилося... Ася взяла еще два-три аккорда, прозвучавших неуверенно, и вдруг вскочила и галопом убежала с эстрады.

- Задала стрекача с перепугу! – добродушно засмеялся еврей. – Похлопаем ей еще, Сашка.

Елочка испуганно взглянула в первый ряд, где сидели педагоги: они оживленно переговаривались между собой, и Юлия Ивановна что-то, казалось, им объясняла. Объявили следующий номер. Когда концерт кончился, Елочка увидела Асю уже в зале. Она стояла около пожилой дамы с седыми буклями и симпатичным лицом.

- Что случилось, Ася? Вы сбились? - спросила, подходя, Елочка.

- Да, неудача! У меня всегда так. Видите ли, на бис был у нас приготовлен этюд Мошковского *En automne*, но мне что-то не захотелось его играть. Вчера я слышала вот этот прелюд, а за сегодняшний день он у меня переплелся с глазами Дианы и памятью папы. Вот мне и взбрело на ум - дай-ка сыграю этот прелюд. Начала удачно, а потом... Дома бы я попуталась да и подобрала, ну а на эстраде - остановилась. Это мне хороший урок: не выходи впредь на эстраду, не прорепетировав хотя бы раз.

Елочка с изумлением посмотрела на нее.

- Как? Вы не играли ни разу эту вещь?

- Ни разу.

- И вы, прослушав музыкально произведение один раз, можете его повторить?

- Вот и не смогла, как видите.

Елочка не верила своим ушам. Сама не обладая музыкальной памятью, она не могла вообразить себе ничего подобного.

- А педагоги будут знать, что вы играли без подготовки? - спросила она.

- Юлия Ивановна знает, а другие... Не все ли равно?

- А вы с Юлией Ивановной уже разговаривали?

- Да. Она поймала меня в артистической и строго сказала, что программа должна быть согласована с педагогом, и никакие вольности не допускаются. А я почему-то думала, что бисом вольна распоряжаться, как хочу. Я просила Юлию Ивановну меня извинить. Она поцеловала меня в лоб и, кажется, простила.

«Еще бы не простить!» - подумала Елочка.

- Жаль, что опять неудача! - продолжала печально Ася. - Бабушка и дядя Сережа будут спрашивать... Хоть бы мне их чем-нибудь порадовать. Ну да надо быть храбрым оловянным солдатиком, как у Андерсена.

- *Courage, mon enfant, courage!* - подхватила неунывающая француженка. - *Vene donc. Il fait tard, Son excelance - madame, votre grand-mere - nous attend.* [7]

На следующий день в канцелярии школы Елочка увидела Юлию Ивановну, которая разговаривала с директором. Произнесли фамилию Аси, и Елочка насторожилась.

- На прошлом уроке эта девушка подбирала на рояле отрывки из очаровавшей ее «Снегурочки», которую накануне слышала в первый раз, - говорила Юлия Ивановна. - У нее огромные данные, но нет школы, нет постановки руки и слабая техника. Последнее время она занималась только со своим дядей - бывший офицер, скрипач-дилетант... Какую школу мог он преподать ей, а тем более по фортепиано? Притом она, по-видимому, не сознает степени своего дарования.

- А это бывает чрезвычайно редко, - вставил директор очень выразительно.

- О, да! Еще бы! Ее в этом отношении нельзя даже сравнивать с нашими «вундеркиндами». Полагаю, что когда вы ее услышите, вы согласитесь со мной, что талант ее станет в недалеком будущем украшением нашей школы, и не откажитесь способствовать...

Бухгалтерша окликнула Елочку, протягивая ей квитанцию очередного взноса, и помешала услышать конец беседы. Отрывки из «Снегурочки» крепко засели в воображении Елочки. Лежа в этот вечер в постели, она глубоко задумалась над тем чувством, которое внушила ей Ася.

С детства в воображении Елочки сложился образ женского существа - сначала девочки, а позднее девушки, в котором было как раз все то, чего не хватало ей. Это было как бы противоположное ей начало и вместе с тем то, чем она сама хотела бы быть, если бы могла изменить свою натуру. В этом образе доведена была до максимума способность быть милой и обаятельной - все то женское очарование, которого она была лишена, хотя обладала вполне женской душой. В этом образе должна была быть непосредственность, в то время как она сама всегда ограничивала себя всевозможными условностями и запретами, и непременно - талантливостью, по которой она тосковала, и без которой человек представлялся ей незавершенным, недоделанным, не имеющим цены. Та интенсивная интеллектуальная жизнь,

та внутренняя настороженность, способность к самоанализу и чувство долга, которые составляли квинтэссенцию ее собственной природы – им она не оставляла места в этом образе. Эти свойства были слишком кровно с ней связаны, чтобы иметь интерес или прелесть в ее глазах. Всякий раз, когда она в ком-либо ловила отдельные рассеянные черты этого манящего образа, она говорила себе: «Похоже». И понемногу слово «похоже» стало у нее именем существительным, независимым понятием, определяющим собой всю совокупность признаков того, чем она хотела бы стать, если бы могла отказаться от себя. Но не было еще девушки или женщины, которая соединила бы в себе достаточно цельно и тонко все свойства этого «похоже». И вот теперь Ася как будто разом воплотила их в себе все! Прибавилось еще обаяние аристократического происхождения, к чему не была равнодушна Елочка, и то, что Ася до некоторой степени являлась существом гонимым. Чувство, которое внушила Елочке Ася, отдаленно напомнило ей то глубокое невысказанное обожание, которое в дни ее юности зажглось в ней к раненому офицеру, набросив траурную тень на ее молодость. Тот же захватывающий интерес к личности человека, та же болезненная нежность и обостренная впечатлительность к всему, что хоть отдаленно касалось любимого предмета. Чувство к офицеру было глубже, сильнее, фатальнее, к нему примешивалось сострадание и отдаленные, неясные надежды на то, что может принести счастье... Этот человек тоже являлся сосредоточием свойств, которые ей хотелось найти уже не в себе, а в любимом мужчине. Отсюда и шло родство в ответных вибрациях ее души на очаровавшие ее образы.

Недавно она окончательно разошлась с институтской подругой Марочкой: зашел разговор о музыке, и та небрежно бросила Елочке:

- Ах, оставь, пожалуйста, музыку ты любить не можешь, потому что у тебя вовсе нет слуха. В оперу ты ходишь, чтобы смотреть, как умирает *jeune premier* [8].

Слова эти показались Елочке крайне неделикатными. Она не могла не признаться самой себе, что подруга ее проявила неожиданную пронизательность – герой, и особенно герой трагически погибающий, пусть даже оперный, продолжал сохранять особое обаяние над ее воображением. И то, что это было понято и выражено словами, было всего болезненней.

Думая теперь о себе и об Асе, Елочка спрашивала себя: к чему приведет попытка созидать отношения, когда это приносит с некоторых пор только царапины ее болезненно-чувствительному душевному организму?

«Подругами мы стать не можем: мы слишком разные и по характеру и по возрасту, – рассуждала она. – Ася эта моложе меня лет на восемь и она – «похоже»! Она скоро выйдет замуж, как все они, хорошенькие. Я все равно буду ей не нужна и не интересна. Мне лучше ни к кому не привязываться или повториться опять то же: я вложу себя всю и пусть в ином виде, а все равно получу удар. Я – неудачница. Мне, как улитке, спокойней и лучше в моей раковине, и я из нее не выйду».

Решение было принято, и на следующий раз она пришла на урок не раньше, а напротив, позднее, чтобы больше не встречать Асю.

## Глава третья

*Нашу Родину буря сожгла,  
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?  
Б. Пастернак.*

В комнате, которая представляла собой одновременно и столовую и гостиную и где предметы самого изысканного убранства перемешивались с предметами первой необходимости, сидели обедать.

В сервировке стола были старое серебро и дорогой фарфор, но вместо тонких яств на тарелки прямо из кастрюли клали вареную картошку. Старая дама с седыми волосами, зачесанными в высокую прическу, сидела на хозяйском месте, черты ее лица были как будто вылеплены из

севрского фарфора, как те изящные чашки, которые стояли перед ней на серебряном подносе с вензелем под дворянской короной. Черты эти повторялись, несколько измененные, в лице мужчины лет тридцати пяти, сидевшего по правую руку старой дамы, и в лице молодой девушки, которая собирала тарелки со стола; горничные уже отошли в область преданий в этом доме.

- Обед для мадам придется подогреть. Я послала Асю ее сменить, но мадам отослала Асю обедать и уверила, что достоин очередь сама, - сказала старая дама - Наталья Павловна.

- Мадам - мужественная гражданка, ее героический дух не сломит ни одно из бесчисленных удовольствий социалистического режима, а двухчасовая очередь за яйцами - это пустяки; к этому мы уже привыкли, - усмехнулся Сергей Петрович.

- Ты принес мне контрамарку на концерт, дядя Сережа? - спросила Ася.

- Нет, стрекоза. Но не бойся, мы пройдем с артистического подъезда. Завтра концерт у нас в филармонии, мама, - Девятая симфония. Нина Александровна солирует. Может быть, наконец, соберешься и ты? У Нины Александровны сопрано совершенно божественное, не хуже, чем у твоей любимицы Забеллы.

- Ты отлично знаешь, Сергей, что я выезжать не хочу. Воображаю себе вид зала Дворянского собрания теперь и эту публику... Дома я, по крайней мере, не вижу этих физиономий. Не вздумай меня опять уверять, что там публика интеллигентная - интеллигенции теперь не осталось.

- Но Девятая симфония во всяком случае осталась Девятой симфонией, мама. А солисты и оркестр...

- Мне дома лучше, - сухо перебила сына Наталья Павловна. - Ася ничего прежнего не видела и не помнит, вот и веди ее.

- Обязательно постараюсь устроить обеих девочек и Шуру Краснокутского. Я уже обещал. Посмотри скорей, мама, на Асю - она краснеет и уходит к буфету. Знаешь почему? Наша Ася приобрела себе в лице Шуры поклонника: я уже с месяц замечаю, что юноша неравнодушен к ней.

Улыбка неожиданно проскользнула по мраморному лицу Натальи Павловны и смягчила строгие черты. Полуобернув голову, она взглянула на внучку.

- Зачем ты меня дразнишь, дядя Сережа? - отозвалась эта последняя, перебирая ложки и вилки на самоварном столике. - Ты ведь очень хорошо знаешь, что Шура мне не нравится. Ну вот! Бабушка уже вздыхает! - прибавила она с оттенком нетерпения.

- Вздыхаю, дитя мое, когда подумаю о твоём будущем. Я не представляю себе, кто может обратить на себя твоё внимание? Теперь нет молодых людей нашего круга, достойных тебя.

- Найдутся, мама, - сказал Сергей Петрович, - *trainé* [9] жизни теперь не тот; все по углам попрятались, как мыши; *beau monde* [10] в ссылках и концентрационных лагерях.

- Вот об этом я и говорю, Сергей, мы почти никого не видим и не знаем. Не за выдвиненцев же и комсомольцев выходить Асе? А Шура Краснокутский из хорошей семьи, он вполне порядочный и прекрасно воспитанный молодой человек. Я не хочу ни в чем принуждать Асю, но боюсь, со временем она пожалеет, если откажет ему теперь.

- Полно, мама. Она еще очень молода, еще может выбирать...

- Между кем выбирать, Сергей?

- Ах, бабушка! - вмешалась Ася, - да разве уж замужество так необходимо? Разве нельзя быть счастливой и без него?

- В жизни женщины это все-таки главное, Ася. Как бы ни были тяжелы условия существования, любовь к мужу и детям всегда украсит жизнь. Ты этого теперь еще понять не можешь.

Ася молчала, не поднимая ресниц, но улыбалась исподтишка Сергею Петровичу. У нее были свои мысли на этот счет.

- Посмотри на эту плутовку, мама. Она отлично знает себе цену и, конечно, пребывает в уверенности, что получит не одно предложение. И она права - как-никак ей всего восемнадцать лет. Сейчас мы живем очень замкнуто, но это может измениться. Почему знать?

Может быть, наша Ася закажет себе приданое в Париже и поедет в свадебное путешествие в Венецию.

- О, не думаю, не думаю! Большевики слишком прочно засели в Кремле, - печально сказала старая дама.

- А как дела у Лели на бирже труда? Приняли ее, наконец, на учет? - спросил Сергей Петрович.

- Еще не знаем, - ответила Ася. - Леля обещала прибежать сегодня, чтобы рассказать. Там, на бирже, заведует списками безработных некто товарищ Васильев. Леля говорит, что он ее враг такой же страшный, как в детстве рыбий жир, а у меня - басовый ключ. Товарищ Васильев уже четыре раза отказывался принять ее на учет, а добиться переговоров с ним тоже очень трудно.

- Вот где бюрократизм-то! - воскликнул Сергей Петрович. - Для того чтоб только записаться в число безработных, нужно получить с десятков аудиенций у этой высокопоставленной личности. Сидит, наверно, в фуражке, курит и отплевывается на гобелен - лорд-канцлер новой формации! С наслаждением бы отдал приказ приставить к стенке этого товарища Васильева.

- Это не бюрократизм, Сережа. Это их система, - возразила ему Наталья Павловна, - их классовый подход. Они не хотят ставить Лелю на учет, потому что она внучка сенатора и дочь гвардейского офицера, бедное дитя. Последний раз этот товарищ Васильев сказал ей совершенно прямо: «Мать ваша нетрудовой элемент, а отец и дед были классовыми врагами». При диктатуре пролетариата этих оснований, очевидно, достаточно, чтобы закрыть перед восемнадцатилетней девушкой все двери.

- Вчера Леля, уезжая на биржу, забежала сначала к нам, - вмешалась Ася, - мы все вместе ее одевали, чтобы придать ей пролетарский вид... Знаешь, дядя, мы закутали ее поверх шапочки старым платком, а потом раздобыли у швейцарихи валенки и деревенские варежки, и получилась самая настоящая матрешка. Мы стоим и любуемся, а в это время входит Шура и очень мило заявляет: «В этом шарфике вы очаровательны, Елена Львовна, но вид у вас в нем сугубо контрреволюционный!» - это любимое выражение Шуры. У него все «сугубое» и «контро». Нам осталось только сказать: «Вот тебе и на!»

- Ну, сам Шура выглядит не менее «сугубым», и если бы отправился к товарищу Васильеву он, то потерпел бы точно такое же поражение, - сказал Сергей Петрович.

- Шура на биржу не пойдет, у него нет острой нужды в работе. Он сам мне сказал: «Пока Бог дает здоровье моей тетушке в Голландии, я могу не встречаться с товарищем Васильевым». Почему он так говорит, дядя?

- Мадам Краснокутской, кажется, ее сестра высылает из Амстердама гульдены. Шуру можно извинить эти слова только потому, что он почти мальчик и притом все-таки подрабатывает переводами, - сказал Сергей Петрович.

- Да, он переводит сейчас письма Ромена Роллана. Он очень хорошо знает литературу и рассказывает мне много интересного, но... слишком он весь изнеженный, избалованный - я таких не люблю! Его мамаша всегда боится, что он простудится, и заботится о нем, как о маленьком - это смешно! Мне в нем нравится только то, что он добрый; вчера, когда он провожал меня с урока музыки, к нам подошел человек весь в лохмотьях, но с университетским значком, и вдруг этот человек говорит: «Помогите бедствующему интеллигенту!» Шура выхватил тотчас бумажник и вынул все, что там было, потом он обшарил свои карманы и даже вытащил рубль, завалившийся за подкладку; при этом у него дрожали руки. Меня его доброта так тронула, что я разревелась самым глупым образом. Но для того чтобы влюбиться, мне доброты мало. Вот если бы он хоть немного походил на Говена у Гюго или если бы дрался за Россию, как папа... тогда бы я его полюбила!

- Тогда бы он давно был в концентрационном лагере, Ася. Те, кто любили Родину, - все там.

- А ты, дядя?

- Не был, так буду, - ответил он. Наталья Павловна положила вилку и нож.

- Зачем ты так говоришь, Сергей? Я хочу верить, что тебя хранит Сам Бог ради этой малютки. Что было бы с ней без тебя?

Наступило молчание. Каждый угадывал мысли другого. Первой заговорила Ася:

- Вот шекспировский Кориолан мне тоже нравится, когда он говорит: «Я, я - изменник?» Так мог бы сказать белый офицер!

- А кто тебе позволил читать Шекспира, Ася?

- «Кориолана» сам дядя прочел мне вслух.

- А! Ну, это другое дело! Однако, Ася, мы успеем кончить картофель прежде, чем ты принесешь нам соус.

- Прости, бабушка! - Ася убежала в кухню. Через минуту она уже уселась на свое место, но едва сделала глоток, как положила вилку и снова защебетала:

- Какое для нас счастье, что ты попал в оркестр, дядя. Ведь иначе у нас не было бы лазейки с артистического подъезда, и мы не могли бы слушать так много музыки! Я страшно хочу услышать Девятую симфонию и хор «К радости». Я очень-очень счастливая! Ты, бабушка, часто смотришь на меня с грустью и совсем напрасно. В жизни столько интересного, и каждый день выплывает еще новое, что хочется увидеть, услышать или прочитать. Досадно только, вы мне так часто говорите: «Это рано» или «Это вредно», когда я лезу на лестницу в дедушкиной библиотеке. Вчера дядя вырвал у меня из рук «Дафнис и Хлоя», а я только страничку прочитала. Я боюсь, что вся библиотека будет распродана раньше, чем я ее прочту.

- Кстати, Ася! Мадам говорила, что под подушкой у тебя вчера опять лежала книга, - сказала Наталья Павловна, - а я ведь тебе запретила читать в постели.

- Это не книга, бабушка, нет - это Шопен.

- Шопен? Зачем же он под подушкой?

- Так надо, бабушка. Он вот пролежит ночь, а утром я играю наизусть то, что просматривала вчера.

- Ты и без этой телепатии все играешь наизусть, Ася, - сказал Сергей Петрович, вставая и целуя руку матери.

- А что такое телепатия, дядя? Ну вот, я уже вижу, что ты сейчас скажешь мне свое «рано» или «вредно», а это такие скучные слова!

- А вот и нет! Для разнообразия скажу: «Отвяжись!» - так как объяснить у меня нет времени: вечером я играю в рабочем клубе, и мне надо спешно репетировать «Рондо каприччиозо» Сен-Санса. Попробуй мне проаккомпанировать. Сумеешь?...

Камины еще доживали свой век в старых барских квартирах: в какой-нибудь гостиной, где под хрустальной люстрой втиснута кровать, а кресла и рояль завалены старыми портретами или энциклопедией Брокгаузена из только что вынесенных шкафов, мелькали еще у огня живые тени минувшего времени: вот худая рука старика по ветхозаветной визитке, длинные подагрические пальцы с масонским перстнем берутся за щипцы; вот освещенный игрой пламени заостренный профиль старушки, которая зябко кутается в старую вязаную шаль - безнадежный взгляд остановился на вспыхивающих угольках; а вот две прижавшиеся друг к другу головки - золотистая и другая потемнее, две пары глаз одинаково смотрят в огонь...

Посмеет ли коснуться юности та обреченность, которая невидимо разгуливает между старой мебелью таких гостиных и отмечает все ненужное для новой эпохи, осужденное на умирание, лишнее, как и сами эти каминные, которые скоро заменят газовые калориферы? Посмеет, как показали события.

- Он говорил опять, что папа был классовый враг и что революционный пролетариат не может потерпеть в своих рядах остатки аристократии, дети репрессированных лиц будто бы тем опасны, что они злы. Это я-то опасна, Ася! Чем я могу быть опасна, хотела бы я знать? Когда это говорят твоему дяде, это еще понять можно, но мне!

Леля печально примолкла.

- Да, это в самом деле странно. Тетя Зина очень расстроилась, Леля?

- Мама даже плакала потихоньку от меня. Ведь этими цветами, которые мы делаем, не прожить. Я вчера целый день вертела эти противные розы, исколола все пальцы, а много ли это дает? А продавать их все трудней и трудней становится. На работу маму не принимают, а за

цветы штрафуют. Последний раз мама пряталась от милиционера на пятом этаже какой-то лестницы вместе с бабой, продававшей корешки для супа. А когда они настигают, то берут штраф, который сводит к нулю заработок целой недели. Мама теперь так волнуется, когда идет на улицу с цветами, что вся дрожит, а меня отпустить ни за что не хочет: маме кажется, что если с цветами выйду я, то ко мне непременно пристанет матрос и будет... что-то страшное. А я от милиции сумела бы убежать лучше мамы – ноги у меня быстрее. Вчера мама сказала про твою маму: «Какая счастливая Ольга, что умерла в восемнадцатом и не узнала всех тех мучений, которые выпали на мою долю!» Ну зачем говорить такие вещи? От них никому не лучше! Меня это раздражает.

Ася помешала в камине и при его свете взглянула на огорченное личико сестры.

– Мы с мамой теперь из-за всего ссоримся, совсем ни о чем договориться не можем, – продолжала Леля. – Безвыходность нашего положения хоть кого изведет! У твоей бабушки хоть квартира сохранилась, можно продавать вещи, и Сергей Петрович все-таки зарабатывает в оркестре – очень много значит, когда в семье есть мужчина. А мы с мамой теперь одни, у нас – пустые стены и впереди никакой перспективы! Оказывается, я – дурная дочь: мне и жаль маму и досадно на нее. Вчера мама опять устроила мне сцену из-за того, что я пошла на вечер к нашей евреечке-соседке. Прасковья наша – монстр, так и пышет классовой злобой, а Ревекка, право же, очень симпатичная и всегда рада меня повеселить, она даже ко мне как будто заискивает, не понимаю почему! Но тут, извольте ли видеть, разыгрывается классовая гордость у мамы – это, мол, не твое общество и нечего тебе делать среди этих евреев. *Noblesse oblige* [11] – не забывай, что ты – Нелидова! Но если вокруг нас нет, нет прежней среды, нет *grande tenue* [12], – что нам остается делать? Ася, подумай только, напрасно пропадают, уходят наши лучшие годы, наша молодость, которая уже не вернется! Мы не веселимся, не танцуем, сидим, как в норе. Мне скоро девятнадцать, а я еще ни разу не потанцевала. Если нет прежнего общества, надо довольствоваться тем, какое есть, а мама не хочет этого понять.

– Леля, не говори так! Тетя Зина изболелась за тебя душой – у нее всегда такое измученное лицо, – перебила Ася.

Глаза у Лели на минуту стали влажными, но она тряхнула головой, как будто отгоняя ненужную чувствительность.

– Зачем же мама отнимает у меня последнюю возможность повеселиться? У нее у самой было все в мои годы. Увидишь, Ася, жизнь пройдет мимо нас, и те, которым мы дороги, способствуют этому первые!

– Это ничего, Леля, так иногда бывает: сначала как будто все идет мимо, а потом вдруг придет очень большое счастье, как во французских сказках. Надо уметь ждать, Леля. Если бы все приходило так быстро, было бы даже неинтересно.

– Ты сказочного принца ждешь? Это твоя мадам тебе внушает. Она зовет тебя Сандрильеной, но хоть мы было и заподозрили в ней фею Берилюну под впечатлением Меттерлинга, ты хорошо теперь знаешь, что она не оказалась волшебницей и не может преобразить твою жизнь и вызвать для тебя из тыквы наряды и экипаж, а если б и вызвала – придворных балов и принцев теперь нет, поехать некуда.

Ася по-прежнему смотрела в огонь.

– Я всегда очень любила читать про фей и волшебников, – сказала она, понижая голос. – Я помню, когда покойная мама одевалась перед своими зеркалами, чтобы ехать в театр или на бал, мне разрешалось присутствовать и перебирать ее драгоценности. У мамы был шарф, воздушный, бледно-лиловый, весь затканый блестками. Я куталась в него и, воображая, что я – фея Сирень, танцевала в зале. Я говорила всем, что когда вырасту, стану феей! Теперь, конечно, я в фей уже не верю... Но в чудеса... Не удивляйся, Леля, в чудеса – верю. Как бы это объяснить? Я верю, что когда человек чего-то пожелает всем своим существом, желание это, как молитва, поднимется к Богу, а может быть, оно само по себе имеет магическое действие... Так или иначе, оно должно будет найти свое осуществление, повлиять на будущее. Я верю, что в жизнь каждого человека, который умеет желать и ждать, может войти чудо. К кому –

сказочный принц, к кому – царство или принцесса, к кому – талант, или мудрость, или красота... Ко мне – я в этом уверена – придет если не принц, то рыцарь. Он не будет в доспехах, конечно, нет! А все равно рыцарь «без страха и упрека». Может быть, это будет белый офицер, как папа, или наследник-цесаревич Алексей, который окажется жив... кто-нибудь... я не знаю. Он будет, может быть, гоним или в нищете, и я его должна буду узнать в этом виде, как в образе медведя узнают принцев. И я его сейчас же по лицу, по первому слову узнаю! Он принесет мне большое-большое счастье, и все как бы расцветет вокруг нас! Это будет мой Лоэнгрин. Но для того чтобы это случилось, желание мое должно быть цельным и несокрушимым... Понимаешь, Леля?

– Ты экзальтированная, Ася, а я слышала, что именно те девушки, у которых экзальтированные головы, всего чаще оказываются с рыбьей кровью. Вот ты и есть такая. Не зря Шура зовет тебя Снегурочкой. А мне кажется, что они – наши рыцари заставляют себя ждать слишком долго! Никто еще не влюбился в меня ни разу, кроме этого меланхоличного барона Штейнгеля, который мучил всех нас нескончаемыми философскими разговорами. Мама только теперь рассказала, что он просил у нее моей руки и уехал за границу только после того, как она ему отказала – ведь мне тогда было только пятнадцать, а ему – тридцать пять! Разве это мужчина? Если наши рыцари придут, когда и мы будем старухами или сорокалетними старыми девами, – это будет немного смешно. Иногда я думаю, что они уже опоздали, потому что я уже успела измениться с тех пор, как впервые начала догадываться о любви. Ты способна будешь до седых волос прождать своего принца, а я – нет, мне захочется реализовать свою мечту, и, наверно, придется несколько снизить требования.

Ася вздохнула, как будто почувствовала себя опечаленной.

– Если ты будешь возмущаться и колебаться, Леля, боюсь, рыцарь твой, твой царевич вовсе не придет! В последнее время ты стала как будто другая.

– Может быть... но чем я виновата, если меня не радуют теперь наши прежние немногие радости, которые у нас все-таки были: наши поездки в Царское Село, наши вылазки в капеллу с Сергеем Петровичем, наше пение хором, чтение Андерсена по вечерам... мне все прискучило! Она тряхнула золотистыми волосами и закусила капризные губки.

– Как? Ты не любишь бегать с дядей Сережей по Царскосельскому парку и ходить с нами на концерты? А дядя Сережа всегда так рад бывает доставить тебе удовольствие! – в голосе Аси прозвучал упрек.

– Ты не хочешь понять! Я знаю, что Сергей Петрович хочет повеселить меня, я ему очень благодарна. Но весело мне уже быть не может потому... ну, потому, что это все для меня уже слишком детское. Сергей Петрович продолжает думать, что я такая же девочка, какой была четыре года тому назад. Он не понимает, что теперь мне уже хочется другого...

– Чего же, Леля?

Общества своих ровесников, с которыми можно было бы поострить, подурачиться, пококотничать, а его отеческий тон мне скучен. Я хорошенькая, и это стало меня тревожить отчего то... Я хочу, чтобы за мной ухаживали, хочу нравиться – вот что! У тебя есть твоя музыка, а меня в нашей жизни ничто особенно не увлекает, это тоже кое-что значит! Ася, знаешь, если бы твоя бабушка или Сергей Петрович слышали, что я сейчас говорю, они бы решили, что я тебя порчу, и тогда Сергей Петрович перестал бы так зазывать меня и так со мной возиться.

– Вовсе нет, Леля! Ты слишком мало веришь людям – ты всегда что-то подозреваешь и в себе, и в других, – голос Аси задрожал от обиды. – Ты весь наш мирок развенчать хочешь! Мне так это больно... так больно! Наши мамы были такими дружными сестрами, их даже называли inseparables [13], я думала, и мы будем такими же!

– В обществе их называли «красавицы-Глебовны!» – сказала Леля. – Ты, Ася, хорошо знаешь, как все запрещенное меня всегда особенно привлекало: в детстве – книги, потом – знакомства и тот же фокстрот, а теперь – новая, незнакомая мне среда. Ты вот говоришь мне: «Не мельчай», – а я скажу тебе, что в нашей жизни необходимо что-то изменить: мы словно под

стеклянным колпаком! Надо выйти из-под опеки старших, они всячески стараются отдалить нас от действительной жизни и современного общества, и, боюсь, что сами того не сознавая, наносят нам непоправимый вред. Это одинаково относится и к твоей бабушке, и к Сергею Петровичу, и к моей маме. Я вот бунтую против мамы в мелочах, а в целом выйти из под ее влияния не умею. Для этого надо, очевидно, иметь волю не такую, как у меня, а может быть, в таких случаях человеком должна руководить идея, а у меня ее нет.

- Я слышала, Шура говорил вчера, что идейными среди женщин бывают только некрасивые. Но это, конечно, глупости, - сказала Ася.

- Не знаю, а так как мы с тобой и не идейные, и не уроды, то нас это задевать не может. Я только говорю, что нам с тобой надо приспособиться - взглянуть в лицо жизни и найти свое место в ней, а вот как это сделать я и сама хорошенько не знаю, Это трудно, когда отовсюду гонят. Служба могла бы мне помочь ориентироваться, а без нее... Ася, помнишь эти крупные синие цветы, похожие на иван-да-марью, их много было на дедушкином могильном месте в Новодевичьем монастыре, - как они называются?

- *Viola odorata* [14], - без запинки ответила Ася. - А почему ты о них вспомнила?

- Вот почему: предок этого цветка, кажется - дикая лесная фиалка, которая растет повсюду. Ну а эту культуру уже так облагородили, что она стала махровой, и ароматной, и синева особенная, но зато она требует совершенно особого ухода и непременно погибнет в среде, где отлично уживаются ее предки. Ты вот такая виола одората, Ася.

- Леля, почему ты говоришь обо мне? Сама ты разве не такой же садовый цветок? Я слышала, что род твоего папы древнее рода Бологовских.

- Конечно, я тоже махровая и тепличная, только я не фиалка, я скорее гвоздика; страшно люблю я ее пряный, немного эксцентричный запах. Но ты увидишь: я когда-нибудь переделаюсь и стану опять дичком. Я акклиматизируюсь!

И она усмехнулась, довольная найденным выражением.

## Глава четвертая

*Синьора, ваш конец - на плахе!*

*Д. Ориас (Эллиа).*

В это время Сергей Петрович сидел на низеньком диване, положив ногу на ногу, и курил. Посередине комнаты перед трюмо стояла дама, поправляя на себе тонкие пожелтевшие кружева. На вид ей было лет 30 с небольшим, но в черных, стриженных и завитых локонами волосах уже мелькали серебряные нити. Она была высокого роста и хорошо сложена, несмотря на некоторую полноту. Большие меланхоличные зеленовато-серые глаза и черные тени под ними придавали трагический оттенок ее чертам и невольно приковывали внимание к этому усталому лицу, в котором уже давно потух блеск жизнерадостности и невинности.

Комната имела несколько запущенный и беспорядочный вид: среди стен, увешанных французскими старинными гравюрами - афиши; посреди ваз и запыхавшихся портретов - недоеденный завтрак в виде вареной трески, уют и куча недоглаженного белья на изящном столике с инкрустацией, на другом - мраморном - зажженная керосинка, и на ней кастрюля, в которой варился картофель. Облупившийся грязный потолок и отсыревшие обои придавали комнате оттенок обветшалости, но старинные вещи согревали ее своим неповторимым обаянием, а множество нот и переписанных от руки партий, томик «Нивы» и ваза с засушенным вереском вносили тонкую струю в это заброшенное под рукой нужды и горя жилье. Чарующие зеленые глаза под усталыми веками, похожие на глаза русалки, скользили по комнате и задумчиво останавливались на курившем мужчине.

- Я не задержу тебя. Через минуту я буду готова, - сказала она.

- Я не тороплю тебя, Нина, - и Сергей Петрович взялся за журнал. - Что же, решила ты, наконец, что ты будешь петь сегодня? - спросил он через минуту.

- Ах, не знаю! Что вздумается! Арию из «Царской невесты», а может быть, колыбельную из «Мазепы». Гречаниновскую «Осень» и его «Спи-усни».

- Две колыбельные в одном концерте - не много ли? - спросил Сергей Петрович. - У тебя положительно страсть к ним.

- Да, я это знаю. Уж ты-то должен понять почему. Неужели этого никогда-никогда не будет? - прибавила она, и голос ее прозвучал бесконечно печально.

- Ну, сейчас не время говорить об этом, - сказал Сергей Петрович с досадой.

- Ты хмуришься? Ты эгоист, как и все мужчины. Ты знаешь, я даже во сне вижу ребенка.

- Ну и что же? - спросил он нетерпеливо.

- Неужели его никогда не будет?!

- Ах, Нина! Тебе не двадцать лет. Ты должна была думать об этом раньше, когда была замужем. Ты желала быть свободной и изящной, а теперь от меня ты требуешь невозможного; у меня на руках мать, племянница и француженка; жизнь так трудна, что нам едва хватает того, что я могу заработать в оркестре и на этих случайных концертах. Свои же материальные затруднения ты сама слишком хорошо знаешь. Зачем производить на свет существо, которое нельзя будет обставить так, чтобы и ему и нам существование его доставляло радость? И потом, мы не зарегистрированы, нельзя забывать это.

- До последнего мне безразлично, - и она пожала плечами. - Кто теперь обращает на это внимание? Советская бумажонка о браке никого не интересует. Мы живем врозь потому, что в этих невыносимых условиях я не могу оставить брата, а ты свою мать, ну а обменяться комнатами так, чтобы жить всем вместе, до сих пор не удается. Этих оснований вполне достаточно для родных и знакомых.

- Но не для моей семьи, - сказал он твердо.

- Скажи лучше прямо, что ты детей не любишь.

- Нет, я всегда любил их. Я помню, когда-то в Березовке я приходил смотреть, как просыпается Ася: щечки у нее бывали розовые, тельце теплое. Она протирала кулачками глаза и очаровательно потягивалась. Мы с Всеволодом налюбоваться на нее не могли. Он хватал ее на руки и покрывал поцелуями бархатную шейку и ножки. Я был тогда влюблен в одну барышню и думал, что если женюсь, то непременно у меня будут дети. Но это было тогда. А теперь все иначе, вся жизнь! Я сам уже не тот - слишком утомлен и измучен, чтобы начинать что-то новое. Причем половину отеческого чувства я уже отдал Асе. Да и чувство мое к тебе, хоть и глубокое и прочное, а все-таки надорванное и неровное. Я тебе говорил много раз, честно говорил, что нашему браку препятствует целый ряд осложнений. Ведь говорил?

- Да, да, говорил... Я знаю. Ах, жаль, нет романа на слова Ахматовой:

Все по-твоему будет, пусть!

Обету верна своему,

Отдала тебе жизнь, но грусть

Я в могилу с собой возьму.

И она вытерла глаза.

- Вот ты уже расстроила себя; к чему заводить такие разговоры, тем более перед выступлением? - сказал с некоторым раздражением Сергей Петрович.

- Ну, какое это выступление! Два-три романа в каком-то рабочем клубе... я даже не волнуюсь перед такими выступлениями. А ты что играешь? - и она стала разглядывать принесенные им ноты, чтобы скрыть слезы. - Сен-Санс, Кюи - это хорошо! А вот это, переписанное от руки, что такое? Опять новый романс сочинил?

- Да, набросал вчера. Хотел с тобой посоветоваться.

- После концерта посмотрим. А чьи слова? Майков? - и она прочла:

Над необъятною пустыней океана

С кошницею цветов проносится весна,  
Роняя их на грудь угрюмого титана.  
Увы! Не для него веселия полна,  
Любовь и счастье несет с собой она.  
Иные есть края, где горы и долины,  
Иное царство есть, где ждет ее привет.  
Трезубец опустив он смотрит ей во след...  
Разгладились чела глубокие морщины...  
Она ж летит, что сон... вся красота и свет...  
Нетерпеливый взор куда-то вдаль вперяя  
И Бога мрачного как будто и не зная...

Нина отложила ноты.

- Красивый текст, - сказала она, - но угрюмым и мрачным я бы этого титана не назвала, уж скорей меланхоличным! - и она усмехнулась. - Ну а посвящается этот романс кому? Наверно, племяннице?

Сергей Петрович поднял голову:

- Почему так, Нина? Что за странная мысль?

- А разве я ошиблась?

- Я никому не посвящал его. В твоих словах мне показался намек, которым я удивлен. Кажется, ты меня за доктора Паскаля из романа Золя принимаешь?

- Нет, Сергей, я далека от мысли, что ты можешь соблазнить или увлечь Асю. Благородство твое я знаю. Я подумала только, что ты бессознательно, в глубине души очарован ею.

- Почему ты вообразила? Ты и вместе-то нас видела всего только раз.

- Для женщины и этого довольно. Разве я не права?

- Нет, не права. Я знал ее ребенком, и она для меня прежде всего дочь моего брата. После взятия Крыма красными, когда Всеволод был расстрелян, а меня, как ты знаешь, морили в ямах вместе с другими белогвардейцами, я страшно беспокоился за судьбу Аси. Я едва отыскал ее потом на окраине Севастополя, в мазанке. Она бросилась мне на шею, ободранная, худенькая, голодная... Я дал себе тогда мысленно клятву, что пока я жив...

- Сергей, это трагично, то что ты говоришь! С кем же она была?

- С Нелидовыми и с француженкой. Всеволод сделал большую ошибку, когда взял с собой семью, уезжая в Киев, где тогда концентрировались силы белых. Он втянул таким образом жену и детей в самый водоворот событий! Лучше было им пересидеть это тревожное время в деревне или в Петербурге с матерью: в Петербурге все-таки было тише... Никто, конечно, не мог предвидеть, как сложатся события, но результаты были самые печальные: жена и мальчик Всеволода погибли от сыпняка, а в Крыму, после его собственной гибели, легко могла пропасть и Ася. Теперь многие удивляются, что мы не расстаемся с мадам, а ведь она сохранила нам ребенка в самых тяжелых условиях. Есть услуги, которые забыть нельзя. Нина, понимаешь ты это?

Она вздохнула:

- Да неужели же я не способна понять чувства долга и семейной привязанности? Я прошла через такие же ужасы. Кстати, она догадывается?

- О чем? О наших отношениях? Не думаю, она слишком невинна, чтобы быть проницательной. Притом она видела нас вместе всего однажды.

- Отчего же она смутилась, когда на последнем концерте ты знакомил нас?

- Не знаю, не заметил... Неужели в самом деле догадывается?

Минуту они молчали.

- Если я люблю ее, то только как растением, которое сам вырастил, - заговорил опять Сергей Петрович, по-видимому задетый за живое подозрением Нины. - А если бы иные чувства возникли во мне против моей воли, никогда я не позволил бы себе ничем обнаружить их.

Никогда.

Он вынул портсигар.

- Она вызывает во мне постоянную тревогу и жалость. Моя мать с нею слишком строга. Я почему-то уверен, что она не будет счастлива в жизни. Вот увидишь. Неудачи гонятся за ней по пятам. К тому же она не из тех, которые умеют постоять за себя, а счастье очень часто надо хватать с бою. Леля - маленький хищник, и при случае покажет свои коготки, но Ася...

- Она тоже очень мила, ваша маленькая Нелидова! - сказала Нина, вызывая в своей памяти две очаровавшие ее головки. В помещении какого-то рабочего клуба, в тесной неряшливой комнате, отведенной под артистическую, она поправляла себе волосы перед зеркалом, ожидая Сергея Петровича, с которым по обыкновению «халтурила» вместе с целью подработать. Услышав его голос, она обернулась и увидела рядом с ним двух молодых девушек. Обе были настолько непохожи на окружающую публику, что она тотчас признала в них Асю и Лелю, о которых столько от него слышала. До сих пор Нина не была еще с ними знакома, так как на квартире у Сергея Петровича не считала возможным бывать, а на заводские концерты, где они вместе выступали, Сергей Петрович избегал брать девушек. Их лица показались ей настолько еще свежими, юными, невинными, что она невольно вздохнула о том, что сама уже давно потеряла. Розовые от мороза, они жались друг к другу и не отходили от Сергея Петровича, как будто чувствовали себя несколько растерянными в непривычной обстановке. Вскоре Сергей Петрович увел их, чтобы усадить в зале. Перед тем как выходить на эстраду со скрипкой, он отозвался, потирая несколько лихорадочно руки: «Воображаю, как сейчас волнуется Аська: она всегда сама не своя, когда я выступаю». Когда пришла очередь Нины, она с эстрады отыскивала глазами Асю - та сидела, тесно прижавшись к подруге, и в глазах у нее светилось столько тревоги и тепла, что Нина почувствовала себя согретой выражением сочувствия в этом молодом существе. Но после, в «раздевалке» (как говорили в клубе), она зоркими женскими глазами увидела, с какой бережливой нежностью Сергей Петрович закутывал Асю оренбургским платком. Так можно было одевать любимого ребенка или обожаемую женщину... в этой заботливости чувствовалась любовь самая бережная и благоговейная. И она на минуту как будто задохнулась от острой боли в сердце... Ей показалось почему-то, что никогда она не видела у него такого взгляда, обращенного на нее. Эту же боль она чувствовала и теперь - хотелось заломить руки и разрыдаться.

Сергей Петрович заговорил первым:

- Сейчас, когда я шел к тебе, у меня была встреча, которая оставила грустный след: bella solur [15] моего брата - Нелидова, Зинаида Глебовна, с которой мы вместе бедствовали в Крыму, она стояла у водосточной трубы, как нищая, и продавала жалкие искусственные розы... Боже мой, до чего она показалась мне измученной! Я поспешил у нее купить два цветка и, когда при этом поцеловал ей руку, то вызвал сенсацию среди прохожих; кто-то даже отпустил замечание на наш счет: «Двое недорезанных церемонии разводят». Очевидно, уж очень не вязалась моя галантность с ее лохмотьями, да и с моими. Впрочем, в Зинаиде Глебовне есть тот оттенок порядочности, который позволяет безошибочно отнести человека к категории «бывших». На улице, как нищая... Когда-то изящнейшая дама, жена гвардейского офицера, дочь сенатора! Вот она - наша действительность!

Нина взяла несколько арпеджио... Чистый серебряный звук наполнил комнату.

- Кажется, я сегодня в голосе, наверно, буду хорошо петь: мне невыносимо грустно, а когда мне грустно, я всегда хорошо пою. Но эта публика разве понимает?

Сергей Петрович вздохнул при мысли об аудитории, которая их ждет в прокуренной зале заводского клуба: голые шеи, торчащие из матросских воротников, пиджаки, надетые прямо на свитер, майки и красные платочки, и то нетерпеливо-жадное любопытство, в котором ему всегда чудилось тайное недоброжелательство плебеев. Он рад был бы стать выше такого чувства и все-таки не выносил эту толпу и неохотно выходил раскланиваться перед новыми слушателями в ответ на аплодисменты. Нина была менее постоянна в своих впечатлениях.

- Хорошо слушают! Я чувствовала эти незримые нити, связующие артиста и публику! - часто

говорила она, вынырнув из маленькой дверцы, соединяющей клубную сцену с импровизированной артистической. Но в этот вечер она была во власти иных течений и сказала:

- Плохая нам досталась доля: клуб за Нарвской заставой и отвратительный трамвай! Хотя бы мне раз выйти на эстраду в бриллиантах, шумя шелковым шлейфом, и увидеть перед собою сияющий огнями колонный зал, а после сесть в автомобиль, украшенный цветами, кивая направо и налево поклонникам - музыкальным знаменитостям и прочим господам. Не повезло!

- Пой для меня, Нина! Я никогда не устану тебя слушать и понимать во всех оттенках. Знаешь, я не мог бы полюбить женщину немзыкальную; для меня это так же невозможно, как полюбить глухонемую. Наш роман весь соткан из музыки, не правда ли? Когда я в первый раз тебя увидел два года тому назад, ты пела рахманиновскую «Сирень», и я вспоминал сиреневые аллеи в нашей Березовке. Твое лицо на один миг представилось мне окруженным сиренью, как на картине Врубеля; я подумал, что у тебя голос, как у Забеллы. Я в твой голос влюбился раньше, чем в тебя. Нас сблизили наши выступления. Странно, в детстве мне попадало за скрипку: мать требовала, чтобы я стал военным, и слышать не хотела ни об университете, ни о консерватории. А вот теперь именно скрипка и только скрипка кормит нас.

- Ты университет, кажется, не успел окончить?

- Мне оставался последний курс, когда началась война. Я тотчас перешел в юнкерские классы Пажеского. Ты помнишь, какой тогда был энтузиазм? В семье все приветствовали этот жест. Дома кумиром всегда был Всеволод - кадровый преображенец, а я с моей скрипкой всегда был немножко «блудным сыном», но в те дни восхищение семьи на некоторое время перешло на меня...

Она подошла к нему и запустила пальцы в его волосы.

- А я хотела сказать тебе... Тоже объяснить... Ты не совсем правильно представляешь себе мою замужнюю жизнь: я выходила очень молодой и была такой же невинной овечкой, как твоя Ася, а вышла я в семью самую патриархальную. Ребенка я, конечно, имела, но тогда такое было страшное время... Я очень скоро потеряла моего крошку... Еще прежде, чем узнала о гибели мужа. Я никогда об этом не говорю - тяжело вспоминать... Но я не хочу, чтобы ты думал обо мне, как о легкомысленной женщине.

- Я никогда не считал тебя легкомысленной. Клянусь честью! Ну, подожди, Нина, подожди. Ася такая хорошенькая стала, она, наверное, скоро выйдет замуж, и тогда мы устроим нашу жизнь, а за некстати сказанные слова - прости!

Он поцеловал ее руку. Она продолжала теревать его волосы.

- Опять идут аресты среди бывших военных. Смотри, не попадись, а то твоей Асе придется вот так же стоять с цветами, как мадам Нелидовой.

- Это уж судьба, Нина! Один Бог знает, как я боюсь того, что может ждать ее и мать. Кстати, меня вчера вызывали в три буквы.

- В гепеу? Тебя?!

- Да. Мои не знают, я не сказал. Приятно побеседовали со мной часа два, потрепали имена моего отца и брата. И барона Врангеля. Спрашивали, у кого я бываю. Не пугайся, я тебя не назвал, я сказал, что очень занят и нигде не бываю... Ну и отпустили.

- Мне эта история не нравится, - сказала она озабоченно.

- Хорошего мало, но сейчас хватают чаще кадровых.

- Дорогой мой, да разве недостаточно того, что ты сын генерала и притом белогвардеец?

- Оснований, конечно, достаточно. Да им и основания не нужны: сегодня есть человек, завтра как в воду канул! Препоганое, однако, состояние, когда плетешься туда и воображаешь себе различные варианты разговоров и расставляемые тебе силки. Но не стоит об этом. Спой мне колыбельную, и поедem. Твое пение имеет дар выкуривать серые мысли, как по волшебству. Спой, Нина, и скажи, что ты простила меня.

Он подпер рукой голову и закурил снова. Жизнь не удалась! Мечты и планы юности потерпели крушение: все свелось к борьбе за существование, в которой старуха-мать и эта девочка -

ребенок брата – связывали по рукам и ногам. Но вот вопреки всему сложилось так, что эта девочка и ее иссиня-серые глаза как раз стали самой большой радостью – эти наивные и ясные глаза под темными ресницами... Жизнь приносит не то, чего хочешь и ждешь. Условия существования так трудны. Случись, что со мной – Ася не сумеет устоять в борьбе с действительностью. Она принадлежит к натурам, которых пугает и отталкивает материальная сторона жизни. С ее происхождением...

Пение Нины на этот раз оказалось не властно рассеять серые мысли.

## Глава пятая

*Там корабль возвышался, как царь,*

*И вчера в океан отошел.*

А. Блок.

Рояль стоял в комнате Сергея Петровича. Здесь царствовал постоянный хаос от множества нот, партитур, раскрытых книг и нотных бумаг, разбросанных на рояле, на пульте и даже на стульях, так как ноты уже не помещались в ломившиеся от них шкафы. Сергей Петрович запрещал прибирать и переключать ноты и нотные листы во время ежедневной приборки и был одержим постоянной тревогой, что именно после вмешательства женских рук в хаос его комнаты он не отыщет наброска нового сочинения или места, на котором он остановился в оставленной им книге. Когда Ася и мадам вторгались с пылесосом и тряпками в его «Святое святых», он приходил в отчаяние, уверяя, что подобные чистки наносят удар по творческому вдохновению человека, и обвиняя Асю в измене его интересам.

В один январский вечер Ася, сосредоточенно нахмурив брови и приложив к губам карандаш, сидела за роялем с самым озабоченным видом. «Ничего не получается из моего осеннего прелюда! Я помню – первый раз эти темы пронесли у меня в голове, когда мы с Лелей бродили вокруг арсенала в Царском Селе и листья кустарников были как кровь. Когда она наигрывала их в первый раз, вот эти мотивы были гораздо фантастичнее, а теперь они звучат как-то плоско! Никогда не пойму, как можно записать музыку! Все, что во мне родится, ускользает прежде, чем я занесу на бумагу хотя бы такт. Я никогда не могу повторить ни одной строчки и всякий раз играю по-новому. Что делать! Мадам права, когда говорит, что должны быть люди, которые стирают, шьют и стряпают котлеты. Очевидно, и я одна из них, хотя в груди у меня иногда целый оркестр! Я бы хотела сочинять для церкви – музыка должна говорить о божественном! Если бы у меня был голос, я бы пела «херувимские» и «свят, свят, свят», чудные, небесные, никому не ведомые, всякий раз новые! Шура уверяет, что у меня очень приятный тембр голоса, но это он говорит только из вежливости. А какой чудный голос у той дамы, с которой меня познакомил дядя Сережа – я бы никогда не устала ее слышать! Гречаниновскую колыбельную она спела так задушевно, что я вспомнила, как покойная мама, прежде чем уехать в театр или в гости, приходила, бывало, перекрестить меня перед сном и закрыть своими руками!»

Морщинка врезалась между бровей девушки при этом воспоминании – под ним покоилось старое детское горе... Десять лет тому назад по дороге из Петербурга в Киев братишка ее Вася захватил сыпняк, от которого гибли сотни и тысячи людей в те страшные годы. Ася не слишком беспокоилась, пока Вася болел – совершенно очевидно, что Вася встанет и они опять будут играть вместе. Но он не встал. И только взглянув на застывшее личико одиннадцатилетнего брата, Ася поняла, что такое смерть. Она расплакалась у гроба с отчаянием, которое испугало старших. Через два дня в этом же самом тифу слегла мать. Напуганный Всеволод Петрович поспешил переселить девочку к Нелидовым, которые жили в этом же самом доме, этажом выше. Ася замирала, находясь теперь под впечатлением только что пережитого. Сыпняк представлялся ей длинным серым чудовищем, которое прячется в их квартире, отняло у нее брата и теперь задумало отнять мать. Когда наступали сумерки, ей

начинало казаться, что чудовище это проникло незамеченным в квартиру Зинаиды Глебовны и в темноте протягивает страшные щупальца, чтобы схватить ее и Лелю. По вечерам она не отпускала Зинаиду Глебовну от себя, упрашивая сестр около своей постели.

- Тетя Зина, не туши лампу! Тетя Зина, а закрыты ли двери на лестницу? Папа говорил, что тифы ходят по городу. Возьми меня скорей за ручку.

Но страх потерять мать был настолько силен, что как только в квартире все ложились, она отваживалась вылезти из кровати на ковер и на коленях просила Бога защитить маму от серого страшилища - молитва «на ковре» с детства считалась у нее чрезвычайным средством. Если же случалось, спускаясь по лестнице, проходить мимо квартиры отца, она пробегала как можно скорее, закрывая при этом глаза.

В один вечер Леля уже давно заснула, а она, сжав маленькие пальчики в крестное знамение, чтобы вернее защититься от чудовища, лежала и думала о том, как страшно, должно быть, мадам в папиной квартире: «Прислуги теперь нет, а папа в военчасти; он только вечером на минуту забегае узнать о мамином здоровье. Мадам одна с мамой, которая бредит». И вдруг она услышала голос мадам из соседней комнаты. Она приподнялась на локте, прислушиваясь. Теперь они уже жили не так роскошно, как в Петербурге - анфилады комнат не было, - и она услышала разговор Зинаиды Глебовны с мадам из смежной столовой и поняла из этого разговора, что только что скончалась ее мама. Мадам послала денщика в часть за Всеволодом Петровичем, а сама пришла сюда. Воспитание и выдержка сказываются иногда в ребенке с неожиданной силой: напуганная девочка не закричала и не выскочила из кровати, даже когда Зинаида Глебовна вошла на цыпочках в детскую, чтобы приготовить ложе для измученной мадам, Ася только повернулась лицом к стене, но и тут не сказала ни слова. Через некоторое время она заснула в слезах. Утром, когда они одевались, мадам не было в комнате, и Асю охватила слабая надежда, что все слышанное накануне ей просто приснилось. Тревожным признаком было только то, что Зинаида Глебовна ходила с красными глазами. Уже тогда Ася обладала тончайшим чутьем к интонациям, взглядам и жестам: от нее не укрылось, что тетя Зина была еще более, чем обычно, ласкова с ней - усадив ее и Лелю пить какао, она уговаривала ее есть, а сама не садилась. Одна из многих, прочно засевших в голове Аси заповедей гласила: «Маленькие девочки не должны лезть к старшим с вопросами», и, не смея заговорить, Ася водила тревожными глазами за тетей Зиной, причем у нее постепенно складывалось впечатление, что последняя нарочно отводит свой взгляд... Все это было настолько знаменательно, что Ася спешно переложила ложку из правой руки в левую, а пальцы правой сложила в крестное знамение, готовясь к защите... В эту как раз минуту она услышала, что тетя Зина, подойдя к дверям, заговорила с кем-то полупшепотом... Ася стремительно повернулась и, встретив печальный и пристальный взгляд отца, поняла, что непоправимое несчастье в самом деле пришло...

«Бедная мама! Память о ней в нашей семье как-то растаяла! Папу я больше помню, хотя погиб он только годом позже. Бабушка и дядя постоянно вспоминают его слова, поступки, привычки, а от мамы как будто не осталось и следа... Я помню, собираясь в театр или на бал, мама часто надевала колье с двумя бриллиантами и уверяла, что бриллиантик побольше - Вася, а поменьше - я, и что в театре она будет вспоминать своих детишек».

И вдруг она вздрогнула, услышав шаги за своим креслом.

- Как ты тихо сидишь, дитя - сказал, подходя, Сергей Петрович.

- Я не слышала, как ты вошел, дядя Сережа! - сказала Ася, вскакивая и принимая из его рук скрипку. - У бабушки голова болит, а мадам пошла в костел. Мне поручено разогреть тебе ужин.

А про себя она подумала: «В кухне сейчас темно... Никого нет... Бояться темноты в восемнадцать лет - это, конечно, очень стыдно, а все-таки я не хочу туда идти. Мадам говорила, что видела вчера там мышь».

Сергей Петрович точно подслушал ее мысли.

- Не хлопочи, детка, я сыт: перекусил в буфете. Посидим лучше у камина. Попадало моей

стрекозе сегодня?

- Конечно, дядя! Разве я могу провести благовоспитанно день? Сначала попало и мне, и Леле за то, что мы начали играть в мяч и угодили в самоварный столик. Бабушка рассердилась и сказала, что мы могли попасть в севрскую вазу, и что она уже много раз запрещала игру в мяч в комнатах. Потом пришла графиня Коковцева, а бабушка еще не вышла из ванной; мадам велела нам занимать гостью, а нам с Лелей это показалось очень скучным, и мы стали поочередно друг друга подменять. Получалось иногда, что фразу начинает одна, а кончает другая. Мадам заметила наши маневры и пожаловалась бабушке. Опять попало. Ну, а вечером попало уже мне одной за то, что я опять бросила свой берет и перчатки на бабушкином ломберном столике.

- Неисправимая егоза! А была ты у консерваторского профессора?

- Да, была. Он нашел, что за месяц занятий с Юлией Ивановной я сделала успехи, но рукой моей остался все-таки недоволен и дал мне несколько указаний, как держать кисть во время октав. Зато мое исполнение Шуберта ему, кажется, пришлось по душе - он очень долго и пристально посмотрел на меня, когда я кончила, и сказал: «Здесь мне делать нечего, прикоснуться - значит испортить!» Говорят, он похвал никогда не произносит, а вот, когда надо разносить и критику наводить, тут он беспощаден и бывает резок; ученице, которая играла передо мной, он сказал: «Идите лучше чулки вязать».

- А свой прелюд ты ему сыграла?

- Да. Ему понравился этот повторяющийся каданс, в котором я изображаю шорох падающих листьев, но мне показалось, что он недоволен моими попытками сочинять: он сказал, что лучше мне не разбрасываться и что композиторская деятельность съела уже много талантливых пианистов. И еще он сказал: «Я вот стараюсь вложить в вас истинное мастерство, а через год или два вы выйдете замуж и забросите рояль... пианист должен быть аскетом». Я поэтому решила, что никогда не выйду замуж, я так ему и сказала, чтобы его успокоить. Отчего ты смеешься, дядя?

- Твои рассуждения по-детски забавны иногда, Ася! Я прежде не хотел увидеть тебя профессионалкой, зарабатывающей при помощи музыки, но жизнь складывается так, что теперь это лучшее, чего бы я мог желать! Ты в детстве начинала жалобно плакать при звуках минорной музыки. Я уже тогда говорил, что ты музыкальна. Когда тебе было четыре года, ты не хотела засыпать без колыбельных Лядова и Чайковского. Я помню в Березовке, я войду, бывало, к тебе в детскую, а ты прыгаешь в кроватке и повторяешь: «Хочу гули-гуленьки!» Ты уже тогда была нашей общей любимицей. Ну, а теперь скажи мне, какая кошка пробежала между тобой и Лелей? Кажется, Леле уже наскучили все наши увлечения, весь тот мирок, который мы себе создали, чтобы скрасить невыносимую жизнь?

Она тревожно и озабоченно взглянула на него:

- Дядя, милый, я вижу теперь, что счастлива была я одна и не замечала этого! Как грустно!

Он знал всю изменчивую гамму выражений в этом лице, которое помнил лицом ребенка и маленькой девочки; эти прежние лики просвечивали в чертах, в улыбке, во взгляде... с отеческой лаской он провел по ее волосам.

- Что говорить обо мне, Ася! Мне не так легко быть счастливым: уклад жизни изменился катастрофически и слишком многих людей мы не досчитываемся! Но честью клянусь - все, что я старался в тебя вложить, я настолько люблю сам и настолько еще сохранилась во мне способность к увлечению, что бывали минуты, я испытывал подлинную большую радость при виде твоего восторга, твоего увлечения. А Леля - человек действительности, человек более реальный; у нее будет меньше разочарований, но и светлых минут будет меньше.

- Помнишь, дядя, как мы вернулись с тобой в прошлом году с представления «Китежа» и полночи безумолку проговорили от восторга, подбирая на рояле запомнившиеся нам отрывки, пока бабушка не поднялась с постели, чтобы разогнать нас по углам. Ты был тогда безработный, и на ужин была только вобла с пшенной кашей, а комнаты были не топлены, потому что не было дров... Но мы так были счастливы, что не замечали этих невзгод!

- Я научил тебя любить все прекрасное и вдохнул артистическое чувство вот в эту маленькую головку! - сказал он с гордостью. - Не знаю, что успеют сделать другие и в том числе консерваторская знаменитость. Пусть пробует, кто может сделать лучше! Думаю, что Всеволод, если он может видеть нас оттуда, доволен мной. Может быть, я недостаточно развил в тебе способность к практической деятельности, может быть, ты недостаточно приспособлена, но мне кажется, что то, что я успел сделать, важнее: это даст тебе возможность быть счастливой собственным внутренним счастьем. Больше всего бойся косности, Ася, косности и мещанства - они страшнее даже подлости. Подлость не может быть опасна такой душе, как твоя - она бы слишком жгла твою совесть. Но косность охватывает человека незаметно, а держит крепко. Совесть ее обычно не замечает - тем она и опасна. Она парализует в человеке все, что есть в нем от духа, самую способность подняться вновь. Это - повилика, которая обвивает стебель чарующего цветка и высасывает из него жизненную силу. Запомни, Ася.

В глазах девушки светилось жадное внимание, как у ребенка.

- Весна! - проговорил он с улыбкой и умолк, погруженный в невеселые думы. - Вчера Нина... Нина Александровна, - поправился тотчас он, - пела мне романс, которого я прежде не слышал: «Дух Лауры» Листа, слова Петрарки. Боже мой, как это прекрасно! Вот в ком нет и тени косности - в Нине Александровне! В нетопленной комнате, полуголодная, всегда без денег, затравленная семейными несчастьями и неприятностями - и всегда увлеченная искусством. Это, может быть, самое большое ее достоинство, но оно неопределимо! На земле, видно, так уж заведено, что гении расцветают на чердаках и гибнут от нужды, как Шуберт, который умирал с голоду.

- Нина Александровна очень несчастлива, дядя?

- Она пережила много горя, Ася! Замуж она вышла тотчас по окончании Смольного, совсем юной, а тут - гражданская война; муж ее - кавалергард князь Дашков - убит в Белой армии, в Крыму; отец - у себя в имении отрядом латышских стрелков, которые грабили имение; тогда же она потеряла и ребенка. Как видишь, одно несчастье за другим, а теперь постоянные неприятности за титул: она с ее голосом могла бы быть на первых ролях в Мариинском или Большом театре, а вынуждена петь на окраинах, по рабочим клубам. Хорошо еще, что ее в Капелле держат. Капелла и филармония стали с некоторых пор прибежищем гонимого дворянства: барон Остенсакен, Половцева, Римские-Корсаковы, брат и сестра, многие... Уж разгромят нас в один прекрасный день! Нина Александровна - солистка Капеллы, но это немного дает ей в материальном отношении. У нее брат - школьник, неблагодарный, дерзкий мальчишка; я приберу его к рукам когда-нибудь.

Он остановился. Ася замерла на коленях около его кресла, стараясь проникнуть в то, что скрывалось за его словами. «Этот разговор бабушки и мадам... Мне до сих пор неудобно, что я его слышала. Мадам сказала: La dame de son coeur! [16]» - шелестели ее мысли. Застенчивость сковала ее - она не шевелилась.

- Иногда мне больно слышать, - заговорил Сергей Петрович, - как на дрянном концертишке, в среде, которая не умеет ценить и понимать, звучит и утомляется этот божественный голос. В следующий раз, когда увидишь Нину Александровну, постарайся быть с ней поласковой: она очень в этом нуждается - она так одинока! Ты сумеешь.

- Дядя Сережа...

- Что, милая?

Сидя около него на полу, она положила щеку ему на руку, доверчиво глядя ему в глаза, и он видел, как становились все розовее и розовее нежные щеки...

- Вчера я долго не засыпала, дядя. Ты ведь знаешь, бабушка всегда посылает меня в постель в 11 часов, а мне иногда еще не хочется спать. Я лежала, а дверь была не совсем закрыта... оставалась щелочка, и падал свет; бабушка и мадам сидели в соседней комнате; мадам чинила белье, а бабушка раскладывала пасьянс; они разговаривали...

- Ну и что же?

- Сначала говорили обо мне - бабушка опять грустила, что меня не приняли в консерваторию, -

а потом о тебе; и тут бабушка сказала: «Мне жаль моего сына; филармония и халтура отнимают все его время, а все деньги он отдает в семью; для личной жизни у него не остается ни времени, ни средств; он, конечно, давно бы женился, если бы...» И мне стало так грустно, дядя, что я зарылась в подушку, чтобы не слушать больше и долго плакала.

- Ну и напрасно, дорогая; при советском строе жизнь у каждого из нас идет не так, как мы бы того хотели. Это не новость.

- Я ни за что не хочу, чтобы ради меня ты отказывался от своего счастья, дядя!

- Ася, ты что-то не так слышала или не так поняла. Женщина, которая мне дорога и о которой я только что рассказывал тебе, не такова, чтобы ее могли оттолкнуть материальные или семейные затруднения. Ее любовь выше этого.

- Она, значит, твоя невеста? Да?

Он поднял за подбородок это просиявшее личико.

- Так ты этого хочешь, моя стрекоза?

- О, конечно, конечно хочу! Я бы так ее берегла, я бы так старалась, чтобы она была счастлива! Я научусь аккомпанировать ей и без конца буду слушать ее пение. А бабушка перестанет тогда за тебя огорчаться! Ты уже сделал предложение, дядя?

- Ты еще слишком наивна, Ася, чтобы понять всю сложность взаимоотношений в некоторых случаях. Она давно знает, что я люблю ее, - он остановился. - Что это? Кажется, стучат?

- Да, у нас звонок попорчен, Шура обещал починить завтра. Похоже вышло на стук судьбы в пятой симфонии. Кто же это так поздно? - и она побежала в переднюю, досадуя, что непрошенный стук перебил разговор. На пороге вырос дворник.

- Повестка вашему дяде. Распишитесь.

Она расписалась и закрыла дверь. Вприпрыжку она перебежала большую неосвещенную комнату - бывшую гостиную - и вернулась в кабинет.

- Повестка тебе, дядя Сережа.

Но он почему-то нахмурился, когда взял ее в руки; потом быстро вскрыл, пробежал глазами и остался стоять неподвижно.

- Что ты, дядя Сережа? - спросила она, увидев изменившееся выражение его лица.

Он не отвечал.

- Что-нибудь случилось? Неприятность какая-нибудь? - тихо спросила она и подошла ближе, испуганными глазами всматриваясь в его лицо.

- Предписание немедленно выехать в Красноярский край. Завтра в два часа я должен быть на вокзале. Ссылка! Только, чтоб слез не было, Ася!

В семь часов утра вся семья была уже на ногах. Сергею Петровичу предстояла тысяча необходимых дел: увольнение со службы с «обходным листом», сдача продуктовых карточек и тому подобные формальности, которые неизбежно сваливаются на голову советского гражданина в подобном положении, хотя срок ему дается в лучшем случае три дня, а иногда лишь несколько часов. Наталья Павловна с удивительным присутствием духа распорядилась и складывала вещи сына. Мадам, просидевшая всю ночь над починкой шерстяного свитера, взяла на себя самое ответственное поручение - раздобыть денег - и с этой целью, захватив с собой два серебряных подстаканника и старое бальное платье Натальи Павловны, отправилась на Кузнечный рынок, обещая выручить не менее двухсот рублей и надавать по морде всякому, кто вздумает ей помешать. Асю Наталья Павловна послала прежде всего к Нелидовым, без которых нельзя было себе представить ни одного важного события у Бологовских. Близость эта между Натальей Павловной и Зинаидой Глебовной образовалась за последние несколько лет, после того как обе семьи понесли столько потерь, причем Зинаида Глебовна относилась к Наталье Павловне с почтительностью невестки.

Отправляясь к Нелидовым, Ася после недолгого колебания спросила Сергея Петровича, с которым вместе выходила из подъезда:

- Дядя Сережа, у тебя так много дел... Пошли к Нине Александровне меня, я сбегаю и сообщу

ей, чтобы она пришла проститься.

- Бесплезно, дорогая, Нина Александровна вчера уехала в Кронштадт, где подвернулся шефский концерт. Она вернется только завтра. Я передал бабушке для нее письмо.

Ася остановилась.

- Вы даже не проститесь?! Господи! Что же будет с ней?

- Что будет с ней? Наши русские женщины в обмороки не падают. Проплачет ночь, а утром пойдет в Капеллу и будет петь еще лучше, чем обычно. Вытри глаза, глупышка! У тебя впереди твоя собственная жизнь и еще неизвестно, что принесет она тебе - не расстраивайся из-за судьбы старших. Беги, вон твой трамвай подходит, - и он повернул в другую сторону.

Ася почти не спала эту ночь и теперь от бессонницы и от нервного возбуждения чувствовала, что вся дрожит, когда стучала в черную дверь квартиры, где жили Нелидовы. Парадный вход, как и в большинстве квартир в то время, был закрыт по непонятным соображениям «управдомов», этой хозяйственно-шпионской единицы - самого мелкого представителя власти на местах. Было только 8 утра и на лестнице темно, входная дверь приоткрыта, и из кухни слышался визгливый женский голос. Ася для приличия постучала. Никто не открыл, а крик продолжался:

- Своими глазами я свет у тебя из-под двери видела! Ты всю ночь электричество жгла - цветы свои крутила! Умеешь жечь, умей и платить, вошь старорежимная!

- Я не отказываюсь платить, Прасковья Васильевна! Я заплачу, но неужели же в три раза больше других? Поймите, что мне это очень трудно, - лепетала в ответ Зинаида Глебовна, сохраняя неизменную корректность.

- Плати, говорю! А коли не заплатишь, сейчас сообщу фининспектору. Другие бы давно донесли, это уж мы с мужем такие люди, что терпим. Так умей за то уважать людей и не спорь, а дочку изволь приструнить - больно уж зазнается перед нами твоя бездельница!

Ася решила, наконец, войти сама. Зинаида Глебовна, миниатюрная, почти в лохмотьях, с усталым, худым лицом, еще сохранившим следы былой красоты, и со свойственным ей теперь постоянным испугом в глазах, стояла около керосинки с чайником, а возле нее огромная туша разгневанной бабы занимала, казалось, половину тесной кухоньки.

- Ася, деточка! Иди сюда, дорогая! - воскликнула Зинаида Глебовна, увидев племянницу, но визгливый голос перебил ее:

- Наследила-то, наследила по всей кухне! Вытирать за твоими гостями кто будет? Я, что ли?

Только в маленькой, почти пустой комнате, где ютилась теперь семья бывшего камергера, Ася в первый раз расплакалась, бросившись на шею тете Зине и рассказывая о случившемся.

Зинаида Глебовна опустила на стул и схватилась за голову. Ее крошечные изящные ручки, покрытые теперь мозолями, сжали виски жестом отчаяния. Но она, как и Наталья Павловна, уже знала долгим мучительным опытом, что отчаяние ничему не поможет и что необходимо полностью сохранить ясность мысли, чтобы переделать тысячу совершенно необходимых мелочей. И после первых нескольких минут овладела собой.

- Асенька, сядь и вместе с Лелей выпей чаю. Наверное, ведь ничего не поела сегодня? У меня есть белая булочка. Леля, не расстраивайся, детка! Мойся, одевайся и садись за стол. А я пороюсь тем временем в вещах. Надо Сержу подыскать что-нибудь теплое: там ведь морозы лютые. У меня офицерский башлык сохранился и носки шерстяные; это все пригодится. Сколько у вас денег, Ася?

Глотая слезы и булку, Ася информировала о положении дел, в то время как ее кузиночка, любившая повалиться и почитать в постели, вытирая слезы, выползала из-под одеяла.

- Мама! Ты мне чулки заштопала? - зазвенел капризный голосок.

- Да, да, деточка. Там, на стуле повешаны.

- А блузку выгладила? Мне ведь надеть нечего! - продолжал маленький деспот.

- Сейчас и блузка готова будет. Меня Прасковья задержала - опять мне сцену устроила. Будь с ней поосторожней, Леличка, от нее всего ожидать можно.

- Я с твоей Прасковью не ссорюсь. Это она со мной ссорится. Вчера дармоедкой назвала меня

и еще какое-то словечко прибавила; наверно, очень страшное, потому что я не поняла, - ответила, расчесывая косу, Леля.

- Ах, Боже мой! Старайся не выходить вовсе в кухню. Был бы жив твой отец, эта баба не посмела бы нас оскорблять, а теперь она отлично видит, как мы беззащитны.

Говоря это, Зинаида Глебовна рылась в кованом железом сундуке. Сундук этот с расписной крышкой, на которой были изображены цветы и райские птицы, служил семье Нелидовых еще со времени Иоанна Грозного, а теперь одновременно играл роль кровати, так как на нем стелили тюфяк для Лели.

Через час все трое вышли из дому. Зинаида Глебовна помчалась к обожаемой Наталье Павловне, а девочки побежали сначала в комиссионный магазин с квитанциями от вещей, сданных на продажу. Магазины эти в то время были завалены самой изысканной утварью, и вещи ждали продажи иногда месяцами.

Сергей Петрович вернулся позже всех, только за час до того, как надо было выезжать на вокзал.

- Как ты поздно, Сережа! Мы измучились, ожидая тебя! - воскликнула Наталья Павловна.

- Что же делать, - ответил он, - срок - несколько часов, а человек обязан переделать тысячу формальностей.

- Садись завтракать, - сказала Наталья Павловна, - неизвестно еще, когда ты будешь есть!

Он стал отказываться, она настаивала. Садясь, он поймал и поцеловал руку матери; она прижала на минуту к груди его голову. Нелидова и француженка вытерли невольные слезы. «Она уже стара. Увидит ли она его когда-нибудь!» - подумала каждая.

- Продавайте хрусталь, фарфор, бронзу - все, что найдете нужным, только книги и ноты сохраните по возможности, - говорил он, глотая наскоро завтрак. - Мои романы... Они, конечно, никому не нужны; когда я их писал, я знал, что они никогда не увидят свет. Отдайте их Нине Александровне, она их любит. Ася, ни в коем случае не бросай занятия музыкой. Скоро ты сможешь давать уроки и аккомпанировать. Только музыка поставит тебя на ноги. Как только я получу работу, я тотчас вышлю вам денежный перевод, но я очень боюсь, что для скрипки там работы не найдется, а если они пошлют меня чинить дороги и разгрести снег - я заработаю гроши.

- Пожалуйста, ничего не высылай, Сергей! Ведь мы здесь всегда сможем что-нибудь продать. Напиши, если не будет заработка, и мы тотчас вышлем и посылку, и деньги, - сказала Наталья Павловна.

- Ну, нет! Этого не будет - на хлеб себе я всегда заработаю, - сказал он, а про себя подумал: «Как знать, там могут запретить мне работать. С некоторыми они так делали».

Семейные разговоры были прерваны появлением старой графини Коковцевой. Она жила в том же доме, этажом ниже, и приходила иногда к Наталье Павловне поиграть в вист. Теперь она приплелась, опираясь на палку, поддерживаемая старой горничной, вся в черном, со старинной наколкой на седых буклях. Все поднялись, Сергей Петрович поцеловал ей руку.

- Это... это Бог знает что! Это такое безобгазие! Я напишу в Пагиж бгату! - грассируя, говорила она, точно желая кого-то припугнуть этими словами. Через пять минут она удалилась, чтобы не стеснять своим присутствием в момент расставания. Тотчас вслед за ней состоялось другое появление: в дверь постучала соседка, вселенная недавно по ордеру.

- Там пришел управдом - осведомляется, уехали ли вы?

И тут же на пороге выросла фигура непрошеного гостя.

- Что вам здесь угодно, товарищ! - спросил Сергей Петрович и вложил столько иронии в последнее слово, что человек, вошедший в комнату с фуражкой на затылке, зачуял нелестное для себя в этом обращении.

- Я пришел проверить исполнение приказа. Я при исполнении служебных обязанностей, так что вы, гражданин, не очень-то... - пробурчал он.

- Я должен уехать в два часа, а сейчас двенадцать с минутами. Я нахожусь в своем доме на законном основании, а вас попрошу немедленно отсюда убраться. Вы здесь лишний, могу вас

уверить!

- Serge, au nom de Dieu! [17] - воскликнула Нелидова, хватая его за руку.

- Что вас страшит, Зинаида Глебовна? Это только управдом, а не комиссар чрезвычайки, имеющий власть отправлять на тот свет.

Управдом потоптался на месте и вышел.

- Они изведут всю русскую интеллигенцию! Именно это они поставили себе задачей! - воскликнула Нелидова, вытирая себе глаза.

- Вы несправедливы, Зинаида Глебовна! Меня за мое происхождение следовало бы заморить в одиночке, а меня только высылают. Оцените великодушие соввласти! - и он взглянул на часы. Наталья Павловна стояла около дверей кабинета.

- Поди сюда, - сказала она сыну и отступила в глубь комнаты. Прочие остались около вещей в тяжелом молчании. Когда мать и сын вышли, все невольно взглянули на них, и такова была выдержка Натальи Павловны, что даже теперь глаза ее оставались сухими. Решено было, что провожать поедут только девочки. Сергей Петрович на этом настаивал, уверяя, что поездка на вокзал не даст провожающим ничего, кроме утомления. Нелидова и француженка начали наперерыв объяснять Сергею Петровичу, что положено из теплых вещей и что из провизии следует есть в первую очередь. Они крестили его, он перецеловал им руки и уже двинулся идти, как вдруг послышалось слабое повизгивание: умирающая борзая выползла из-под рояля и делала отчаянные усилия, чтобы добраться до уезжающего хозяина. Все с изумлением переглянулись: неужели она поняла? Она доползла и, лизнув ему сапоги, положила морду на передние лапы и подняла на него кроткие, печальные глаза. В этих усилиях умирающего животного было столько преданности и тоски, что в этот раз у всех женщин глаза на минуту наполнились слезами. Сергей Петрович наклонился к собаке.

- Ну, прощай, бедняга! С тобою, видно, нам уже не увидеться! Да, Диана, плохие пришли времена! - и он почесал ей за ушами. - А где Всеволод Петрович?

Собака взвизгнула и оглянулась. Сергей Петрович повернулся к матери:

- Помнишь, мама, как в Березовке мы с Всеволодом возвращались, бывало, с охоты с полными ягдташами и всегда сохраняли в величайшей тайне, кем сколько убито птиц? Дело-то все было в том, что убивал один Всеволод; я палил мимо, а вот она, эта самая Диана, одна была в курсе событий и презирала меня тогда до такой степени, что отказывалась со мной ходить. Однако пора. Иначе опоздаю.

На лестнице он обернулся еще раз: мать стояла на пороге, а сзади Нелидова и француженка. Все смотрели ему вслед. Наталья Павловна и теперь не плакала, но выражение глубокой скорби лежало на красивом старческом лице, и тонкая рука крестила сына. Сколько раз этим жестом она провожала его сначала на фронт в Галицию, потом в Белую армию и, наконец, в ссылку. Он был единственным из ее детей, оставшимся при ней, - старший любимый сын расстрелян, дочь с семьей пропала во время оккупации Крыма. Была минута - ему захотелось подбежать к ней и, как в детстве, припасть к ее груди головой... но они были не одни, к тому же это могло взволновать ее... а ему не хотелось, чтобы твердость изменила ей. Он сделал приветственный жест рукой и, надев шляпу, пошел вниз, шагая через ступеньку. Девочки шли сзади и вдвоем тащили за ремни тяжелый рюкзак, который ни за что не хотели надеть ему на плечи.

На вокзале у выхода на перрон стоял пикет. Сергей Петрович остановился:

- Ну, девочки, простимся, дальше вас не пустят. Господь с вами! Смотрите - пишите мне.

Обе повисли не его шее.

- Не плакать, не плакать! Хам с винтовкой смотрит на нас. Ася, прощай, родная моя! Береги бабушку. Ты вспоминала Пятую симфонию, а ведь Бетховен говорил, что судьбу, которая стучит в дверь, человек должен схватить за глотку. Вот попробуй. Леля, береги свою маму, и не дерзи ей, да помни, маленькая плутовка - чужих сливок не лизать! Наденьте на меня рюкзак.

Они подняли рюкзак ему на плечи.

- Один Бог знает, когда мы увидимся! Быть может, вы обе уже замужними дамами будете! -

сказал он, с любовью глядя на два юных личика. – Сегодня у тебя урок музыки, Ася: ты на него пойдешь, как всегда. Будьте мужественными оловянными солдатиками. Ну, пустите же меня. Подходя к пикету, он предъявил повестку.

- У вас слишком много багажа, гражданин. Только восемь килограммов разрешается.
- Это оригинально: восемь килограммов, когда я еду в неизвестное место на неизвестный срок.
- А зачем у вас в руках инструмент?
- Это мое «орудие производства», к вашему сведению. Я – скрипач.
- Ладно, проходите. Начальство обыщет и само разберется. Проходите, проходите, не задерживайте.

Но он еще раз обернулся: две девочки стояли, прижавшись друг ко другу, и провожали его взглядом... Они, может быть, подумали, что их детство кончилось! Беспомощность их терзала сердце!

## Глава шестая

Елочка с детства привыкла считать свою семью исключительно развитой интеллектуально. Но теперь, став взрослой, не могла не увидеть, оглядываясь уже назад в условия прежней жизни, что в этой семье были свои странности и свои предвзятые идеи. Это особенно было заметно в женской половине семьи, которая образовала устойчивую твердую породу. С тех пор как помнила себя Елочка, бабушка ее круглый год жила в небольшом родовом поместье, куда на лето к ней слетались ее дочери. Все эти женщины – бабушка Елочки и сестры Елочкиной матери (курсистки-бестужевки) – были несколько сухи и своеобразно аскетичны. Одевались все чрезвычайно строго – иначе, чем в английских костюмах, Елочка даже вообразить их себе не могла. Все ультра-модное вызывало колкие насмешки. «За модой модно следовать только издалека», – провозглашала старшая – бабушка. В деревне считали хорошим тоном ходить без зонтиков и без перчаток, балы и приемы считали ненужной потерей времени. Гостеприимство было не в моде: проводив соседей, говорили друг другу: «Надоели своей болтовней». Не было обидней клички, чем «светская пустышка». При чем кличка эта очень легко раздавалась всем, в ком не чувствовалось самостоятельной интеллектуальной жизни.

Музыкой в этом доме не увлекался никто, балет подвергался насмешкам. Литература, художественные выставки, драматические спектакли – другое дело. Вкус к ним был весьма развит и утончен, а в деревенском доме была богатая библиотека с большим количеством иностранных книг.

Церковных праздников и постов в этой семье не соблюдали и, шутя, говорили друг другу: «Мы потрясаем основы», – однако венчались и отпевали усопших неизменно в церкви. Священников и военных не любили, и погоны Елочкиного дяди, хирурга, вызывали все ту же брезгливую гримаску, в то время как память Елочкиного отца высоко чтилась, и Елочка много раз слышала, как подошел стилю всей семьи этот талантливый земский врач, безвременно погибший.

К придворному миру и аристократии относились несколько иронически; Елочка хорошо помнила такие выражения, как «раздулся от сословной спеси» или «понес аристократическую чушь», но наряду с этим, сколько собственного превосходства вкладывалось в слово «провинциалы», с которым неизбежно связывали нечто отсталое и затхлое. Как великолепно «французили» за столом, не желая быть понятыми горничной!

По политическим убеждениям все были кадеты. Монархисты и большевики одинаково подвергались беспощадной критике. Войну 1914 года приветствовали дружным взрывом патриотизма, как и вся интеллигенция в огромном своем большинстве. В это время, перед лицом опасности, сплотились воедино все партии страны, кроме, разумеется, одной, а в миниатюре – и все члены семьи. Что касается Елочки, тогда двенадцатилетней девочки, то именно в это время она ощутила духовную связь с материнским гнездом наиболее остро.

В этой семье все были сдержанны. Общая крепкая спаянность установила молчаливое

взаимопонимание, при котором разговоры о чувствах и всякая задушевность не поощрялись. Не сюда ли уходила корнями и замкнутость Елочки? Видеть смолянкой единственную внучку и племянницу не вполне согласовывалось с либеральными принципами этой семьи. Много толковали о том, что маленькую Елочку следует перевести в гимназию, и лучше бы всего в Стоюнинскую, как наиболее передовую, но в Петербурге заботиться о девочке было уже некому, и, таким образом, институт оказался незаменимым, как только Елочка достигла школьного возраста. Только каникулы Елочка проводила в семье.

«Смольный принес мне новые веяния и многое во мне переделал, но та резкость в суждениях и манерах, которая нам органически свойственна, осталась. Моей суровости и гордости, а также отсутствию всякого кокетства я обязана вот этой семейной родовой специфике с ее передовыми настроениями. Бабушка и тетки оставались ревностными хранительницами семейного духа, с которым покончить сумела только революция и в котором мне чудится нечто чеховское».

Революция и в самом деле, не прибегая на сей раз к кровавым репрессиям, все-таки нанесла свой сокрушительный удар по этому дворянскому гнезду средней руки: поместье было отобрано; оторванная от родной почвы, очень скоро угасла бабушка на городской квартире. Одна из молодых теток Елочки попала в Финляндию, и известия о ней прекратились. Другая вышла замуж и преподавала теперь вместе с мужем в Свердловском вузе.

Таким образом, родных, кроме все того же дяди-хирурга, У Елочки в Петербурге не осталось. Часто с грустью она говорила себе, что поэтический жребий молодой девушки, оберегаемой и лелеемой всей семьей, от нее ускользнул. Никто не дрожал над ее целомудрием, над ее здоровьем, над ее радостями. Она вынуждена сама прокладывать себе дорогу в жизни, она – служащая!

Погруженная в эти печальные думы, она выходила однажды из клиники, когда уже в вестибюле ее окликнула пожилая, неопрятно одетая женщина, лицо которой показалось Елочке знакомым. Женщина поспешила себя назвать – это была бывшая сестра милосердия феодосийского госпиталя. Именно про мужа этой женщины, доктора Злобина, рассказывали, что он выдавал чекистам офицеров, поименно называя каждого. Она хотела уже отойти, отметив про себя до какой степени изменилась эта, тогда цветущая тридцатилетняя женщина, но последняя задержала ее руку.

– Вы работаете здесь, Елизавета Георгиевна?

– Да, на мужском хирургическом. Простите, я тороплюсь.

– Погодите, погодите, миленькая! Что это вы как будто и разговаривать со мной не хотите. Грешно вам. Видите ведь, что я совсем больная.

Елочка приостановилась:

– Что с вами?

– Ох, не спрашивайте! Недавно из психиатрической выпущена. Признали, будто выздоровела, и бумажку дали, что работать могу, а кому такая работница нужна? Все отделаться стараются, мыкаюсь из учреждения в учреждение – никто не берет.

– Как никто не берет? Вот у нас ведь работаете?

– Ох, нет! Только временно. На постоянную не примут. Я уже все пороги обила – нужда заела.

– А муж ваш? Или его в живых нет?

– Муж меня бросил – на что я ему теперь?

Елочка взяла ее за обе руки.

– Извините, я не знала. Выйдемте вместе, поговорим.

– Я помню, что вы добрая, жалостливая! Иначе я к вам и не обратилась бы. Уж очень много я от людей презренья вижу, – всхлипнула Злобина.

«У нее неприятный тон и что-то есть в ней жалкое, опустившееся!» – подумала Елочка и еще раз оглядела собеседницу: поношенное пальто, из воротника торчит вата, растрепанные волосы выбиваются из-под косынки, глаза припухшие, красные, перчаток нет. Даже странно, что медсестра может иметь такой неопрятный вид! А выражение глаз испуганное и

растерянное – немудрено, что не принимают!

– Давно вы одна? – спросила Елочка.

– Давно... а с ним не легче было – корил меня... неприятности из-за меня были. Он партийный, главный врач больницы, а я богомольна очень – ему на вид ставили; в стенгазете меня нарисовали: в платочке и руки для молитвы сложены, а подписали: «Жена одного хирурга». Ему, конечно, неприятно.

– Ваш муж карьерист, это всем давно известно, – надменно произнесла Елочка.

– Я поняла, о чем вы... – проговорила Злобина. – Всего в двух словах, моя миленькая, не расскажешь... Загляните ко мне, мое золотце. Мне вот сюда, в этот дом. Зашли бы, чайку выпили, а то я все одна да одна!

Елочка заколебалась, тон этой женщины претил ей – Елочка была очень чувствительна к *comme il faut* [18], а вместе с тем ей кое-что хотелось узнать...

Комната оказалась запущенная, неряшливая, почти пустая. Электрическая лампа, засиженная мухами, спускалась с потолка прямо на шнуре, стол оставался неубранным, на стенах Елочка разглядела следы клопов.

– Вот какое жилье-то у меня убогое! Пока сидела у Бехтерева, милые соседи все порастащили, а и было-то немного, – начала та, и только разливая чай, вернулась к вопросу, интересовавшему Елочку.

– Нелады с мужем у меня именно с того времени пошли. Очень уж винить моего Мишу, конечно, нельзя – он по убеждениям всегда был красный и офицерство терпеть не мог... – продолжала та.

– Ну, знаете, – перебила Елочка, – такой поступок иначе, как подлость, нельзя и расценивать, каковы бы ни были политические симпатии человека. Если вы будете защищать своего супруга, я убегу! Я не буду сидеть у вас за столом, – и Елочка уже хотела встать.

– Правильно, миленькая, правильно! Я не защищаю. Я сама с того дня покой потеряла. Вы помните, какой я была хохотушкой? С того дня я смеяться перестала.

– Почему? – спросила Елочка, уловив что-то странное в ее голосе.

– Не знаю, как и рассказать. Вы сочтете меня и в самом деле за полоумную... Только это не сумасшествие, нет!

Она оглянулась и сказала шепотом:

– Они виделись мне иногда... Когда стемнеет, проходят, бывало, по коридору мимо моей комнаты...

– Кто – они?

– То один, то другой... – те, расстрелянные!

Елочка с ужасом взглянула на нее. «Господи! Да она в самом деле ненормальная! Очевидно, помешалась на этой почве!» – подумала она.

– Знаю, что вы думаете. Так и врачи мне говорят: психоз, психуете. Да ведь психоз-то оттого и случился, что я вся извелась. Психоз только два года назад прикинулся.

– Анастасия Алексеевна, я никогда не поверю, чтобы мертвые ходили по коридорам – их души должны быть очень далеко. А кроме того... виноват ваш муж, а вы можете спать совершенно спокойно, уверяю вас.

– Вы это, миленькая, как медсестра мне говорите, я это отлично понимаю. Поведились они ко мне, это точно. Я и мужу рассказывала.

– Ну а он что?

– Ох, как сердится и кричит, и грозитя, бывало, особенно, как я с перепугу по церквам зачастила. Он меня и в больницу сплавил: кабы не больница, я бы и теперь работала, нужды не знала. Все из-за него.

– В этом случае ваш муж прав был, Анастасия Алексеевна! Нельзя было вас оставлять без помощи.

– Нет, нет, голубушка моя! Вы мне этого не говорите! Я ему мешала! Он меня нарочно в больницу упрятал, чтобы скандалы кончились, да чтобы ему свободней было с другими

женщинами водиться. Он и комнату хотел у меня отобрать. Хорошо, я комнату отсудила. В суде, небось, не помешал мой психоз.

Елочка была несколько шокирована таким поворотом разговора и молчала. «Как она опустила, как груба! В ней ничего не осталось от жены офицера!» – думала она. А та продолжала:

- Началось еще с того вечера в Феодосии, в двадцатом году. Я пошла туда... в карантин... Пошла к приятельнице и засиделась. А туда с наступлением вечера привезли расстреливать... и бросали тут же в колодцы... Вы помните, там же много колодцев было... туда. Жители в дома запрятались и ставни позакрывали, а я сдуру в сад выскочила, да к забору... вечер уже, и ветер гудит, и туда их бросают без молитвы, без отпевания... страшно! Доверху трупами колодцы набили и заколотили досками. Когда я потом домой бежала, я слышала, кто-то еще стонал. Я голову платком закрыла и опрометью...

Елочка вскочила:

- О, не говорите, не говорите! Слышать не могу!

- Так вот и я, подкатило мне что-то к горлу... Господи, думаю, и это все через моего мужа! Бегу и дрожу. Ну, а в ночь после того было у меня в госпитале дежурство...

- Как дежурство? Разве после прихода красных госпиталь еще функционировал?

- А как же! У красных свои раненые были, и солдаты наши еще лежали.

- И вы остались работать? Это беспринципно, простите!

- Как сказать! И те и другие – люди, и тех и других жаль. К тому же и увольняться страшновато было – репрессий боялась. Осталась. А вы помните наш госпитальный коридор?

- Очень хорошо помню.

- Ну вот, пошла я ночью по этому коридору в буфетную за кипятком – озябла очень, хотелось чайком согреться. Коридор длинный, темный, совсем пустой. После расправы в коридоре этом по щиколотку крови было, опилками засыпали. Иду это я и думаю, что пол все еще мокрый... И тут, в первый раз... С тех пор пошло: как только одна останусь, так страх придет, что увижу. Особенно когда, бывало, муж на ночное дежурство уйдет. Этак навязывается, лезет в голову – сейчас, вот сейчас! Сердце заколотится, в груди холодно станет, и опять промелькнет перед глазами, а то так встанет и стоит.

Они помолчали.

- Вы тени видели или разбирали лица? – спросила Елочка.

- Тени чаще, а случалось – лица. Полковника с усами помните? Он все, бывало, говорил, что ему нельзя умирать – семья большая, дети. Вот он и сейчас как будто стоит...

- Где стоит?

- А вот там, у печки, в углу... Не видите? Угол-то левый не такой, как правый, – весь сереет и движется. А вот и фуражка николаевская проступила. Неужели не видите?

- Не вижу. Вот сейчас, чтобы доказать вам, что там пусто, пройду и проведу рукой.

Елочка встала и храбро пошла к печке.

- Вот... – никого!

- Ну как так никого – рукой сквозь него прошли.

- У вас освещение нехорошо налажено. Это лампа раскачивается, тени колыхаются, вот вам и мерещится.

Сестра милосердия улыбнулась на слова Елочки, как улыбаются на лепет младенца. Скрипнула половица, и Елочка вздрогнула. «Это начинает действовать на нервы, – подумала она, – с ней в самом деле слишком тяжело, я поторопилась осудить ее супруга». Она еще раз пристально взглянула на Анастасию Алексеевну: та сидела, устремив глаза на печной угол, губы ее слегка кривились, а все выражение лица было такое странное, болезненное, почти юродивое.

- А вот молодой не приходит, – сказала она.

- О ком вы говорите? – спросила Елочка.

- Молодой, говорю, не приходит. Помните, лежал у нас поручик, почти мальчик. У него было ранение в легкое и в висок с сотрясением мозга. Не помните?

Щеки Елочка стали пунцовыми.

- Нет, - прошептала она, застигнутая врасплох.

- Неужели не помните? Красивый такой юноша, гвардеец, с двумя Георгиями... у окна койка... бредил сильно... всегда ведь, кто в голову. В нашей палате он всех тяжелее ранен был. Я забыла сейчас фамилию...

Елочка хорошо помнила фамилию, но подсказать не решалась - боялась снова покраснеть.

- Вы про этого поручика какие-нибудь подробности знали? - все-таки выговорила она и закрыла руками предательские щеки.

- Да, болтали у нас, что их самых сливок общества, паж, кажется. Уверяли, что смельчак; на самые, будто бы, рискованные рекогносцировки вызывался... а по-моему, так маменькин сынок, недотрога...

Елочка возмутилась:

- С чего вы взяли? Он так героически держался на перевязках: никогда не застонет, не пожалуется, не позовет лишний раз.

- Положим, что и так, а из-за пустяков скандалы устраивать мастер был. Сколько раз персоналу из-за него доставалось. Помню, раз отказался взять стакан у санитаря - уверял, что тот пальцы ему в чай обмакнул. А с сестрой Зайцевой скандал вышел.

- Что такое? Я ничего не знаю.

- Вы, помните, уже больны тогда были. Эта Зайцева чересчур бойко держалась, не вашего дворянского воспитания. Какую-то она себе с этим раненым вольность позволила: сказала ли что, или... жест неудачный, а только тот поднял историю - вызвал дежурного врача и потребовал, чтобы эта сестра к нему не подходила. Волновался так, что дежурный врач, перепугавшись, поспешил перебросить Зайцеву в другую палату. Ходила она весь день с красными глазами, боялась, что вызовет главный врач. Зачем такую неприятность устраивать человеку, скажите? Что он - девица красная, которую оскорбили, подумаешь?

Но Елочка с достоинством вскинула голову:

- Если Зайцева была нетактична - поделом ей! Сестра милосердия всегда должна быть на высоте. Еще что было?

- Повязка раз у него вся промокла, а сестра не заметила - получила разнос от дежурного врача. А то раз санитар, не спросив позволения врача, письмо передал ему прямо в руки. Опять была от дежурного нахлобучка из-за него же!

Елочка вздохнула при мысли об этом письме, которое помнила наизусть. Она встала прощаться.

- Анастасия Алексеевна, умеете вы носки штопать? У нас в больнице сторожиха носками хорошо подрабатывает. Хотите, я соберу вам штопку? По рублю за пару дают.

- Спасибо, миленькая. Не откажусь. Дело нетрудное.

- Прекрасно. Я соберу и занесу вам на днях.

Елочка постоянно считала своим долгом патронировать кого-либо, в ком ей чудилась жертва существующего строя или, во всяком случае, жертва существующего порядка вещей. Ни в коем случае она не позволила бы себе быть беспринципной. Она шла домой душевно растерзанная, все как будто снова приблизилось к ней: и отчаянные воззвания Керенского - «Родина погибает»; и те, которые пошли на этот зов; и вся романтика борьбы, в которую она включилась так ненадолго, но так ощутимо; потом - госпитальная палата, ее затаенная, трепещущая, полная сострадания девичья любовь и он, который даже в бреду говорил: «Погибла Россия». Елочка любила воображать. Как паук плетет свою паутину, так она придумывала и рассказывала сама себе длинные истории, в которых действующими лицами были она и он - все он же! В этих историях она продолжала то, что оборвал скосивший ее тиф. В своем воображении она на следующий день опять приходила в госпиталь; ему было лучше, он мог говорить, и она придумывала фразы, которые они говорили друг другу. Вот она поит его чаем, вот помогает при перевязке его ран и наконец, когда город берут красные, она спасает ему жизнь. Он еще слаб, она помогает ему выйти из госпиталя и скрывает в своей комнате, как

скрывали у себя придворные дамы гугенотов – офицеров во времена Варфоломеевской ночи. Потом они вместе бегут из города, и, наконец – объяснение в любви. Это объяснение она воображала себе в самых романтических и возвышенных тонах; ее целомудренное воображение не рисовало себе даже поцелуя. Он говорил ей, что она – героиня, настоящая русская женщина, которая для спасения любимого человека не побоится ничего. И на этом ее история кончалась. Дальше было уже неинтересно, зачем думать дальше! И, кончив на этом месте, она начинала свою историю сначала, с того же заколдованного места, по той же канве, но каждый раз с новыми деталями. Этим историям она отдавалась обычно по дороге на службу и со службы, иногда в длинные часы по вечерам, в тишине своей молчаливой комнаты, когда сидела за починкой белья. У нее была уютная аккуратная комнатка с белой кроватью, старинным бабушкиным комодом красного дерева, книжным шкафом и маленьким пианино. У кровати висели фотографии родителей и ее самой в форме сестры милосердия, а в углу – икона Спас Нерукотворный. В этот вечер вид комнаты успокоительно подействовал на нее. Здесь как будто уже выкристаллизовалась и застыла в воздухе вся та внутренняя напряженная жизнь, которой она жила. Ее думы, ее воспоминания и фантазии, весь ее духовный мирок, запечатлевшийся на окружающих предметах, теперь как будто отдавал ей обратно ее энергию, излучая невидимые токи. Она была здесь в своей стихии.

Раздевшись и поправив волосы, она подошла к комоду, открыла один из ящичков и достала сестринский передник и косынку феодосийского госпиталя, аккуратно завернутые в марлю. Теперь уже не носили такие! Косынки теперь надевали повойничком, а не длинные спущенные, а передники – без красного креста и затянутой талии – просто белый халат. С формой изменилось и название, из сестры милосердия она стала «медсестрой» – работающей за деньги советской служащей, и разом сброшен был ореол романтизма с белой косынки! Медсестра уже не имела того образа, который был у сестрицы в глазах как офицеров, так и самых простых солдат. Если она стала медсестрой, то только потому, что надо было зарабатывать на жизнь. Она развернула передник и косынку: знакомый тонкий аромат повеял от них ей в лицо, она воспринимала его как эманации уже ушедшей души, исполненной того изящного героизма и аристократического благородства, которые ей так нравились.

Пробкой от флакона, в котором еще оставалось немного жидкости, она коснулась своих волос, что всегда делала в минуты, когда особенно остро подступала тоска. «Вот это то, что есть у меня; все, что в нашем воображении гораздо реальней действительности», – сказала она себе. Это был ее символ веры, который спасал ее в минуты душевной слабости, когда вдруг охватывало тоскливое ощущение неполноценности существования. «Сегодня я буду думать дальше! Я остановилась на том, как он говорил бы со мной на следующий день, уже в полном сознании». Но сколько ни пыталась Елочка включить мысль в ритм своего повествования, со всеми разработанными уже ею деталями, ей не удавалось в этот вечер соткать любимую паутину. Словно ядовитая муха попала в нее и жужжала ей в уши о колодцах и призраках. Воображение упорно рисовало страшных комиссаров в кожаных куртках – они приставляли револьверы к груди метавшегося в бреду юноши... А может быть, он уже не бредил? Может быть, уже очнулся и знал, что они пришли убивать? Знал и смотрел им прямо в глаза! «Если бы я была там, я бы не допустила! Я что-нибудь бы придумала! Я бы спасла его! Это все тиф проклятый! Теперь я никогда никого не полюблю, потому что уже никогда не встречу такого! Таких теперь нет. Жизнь такая скучная, такая бесцветная, серая». И сколько ни убеждала она себя в реальности воображения, – глухая тоска подымалась со дна ее души. Она не спала ночь и утром встала бледная, с красными глазами.

Следующий вечер опять принес болезненное впечатление: она была приглашена к Юлии Ивановне, где часто собиралось небольшое, очень интеллигентное общество у круглого стола под оранжевым абажуром. В этот раз среди гостей находился бывший генерал, выпущенный недавно из советского концлагеря. Человек этот своей красивой седой головой и старомодной изысканной вежливостью произвел большое впечатление на Елочку, напомнив своей осанкой тех военных, которых ей случалось видеть в институтских залах в дни приемов. Говорил он

умно и убежденно, и как начинал гудеть его генеральский бас, она тотчас настораживала внимание. Но одна фраза больно врезалась ей в сердце. «Ясно было с самого начала, что из белогвардейского движения толку не выйдет. Оно было нежизненно! Слов нет – офицерские батальоны умирали красиво, но этого еще недостаточно, чтобы повернуть колесо истории», – сказал этот человек.

Елочка, застенчиво притаившаяся в углу в своем темно-синем костюме, не смогла пропустить такую фразу без возражения.

– Почему нежизненно? – и покраснела при этом, как пятнадцатилетняя.

– Движение это не могло увлечь за собой массы. Царизм уже изживал себя, а лозунги большевиков – такие как «братание на фронте», «земля крестьянам» или «долой империалистов» – были слишком многообещающи и ярки. Стихийно всколыхнувшиеся массы, разумеется, ринулись за этими лозунгами. Надо было вовсе не иметь политического чутья, чтобы не понять, что победа большевиков предрешена. Белое движение уже никогда возродиться не сможет.

Елочка почувствовала, как судорога сжала ей горло, но все-таки выговорила:

– А разве мало было среди белогвардейцев героев? – и голос ее задрожал.

Вдруг блеснули глаза из-под нависших седых бровей:

– Больше, чем это было нужно, милая девушка! И когда-нибудь история реабилитирует их память. Ведь это только теперь, при советской идейной узости и нетерпимости, можно всех противников огульно выдавать за презренных мерзавцев. Большевики шли под знаменем интернационала и марксизма – это одно уж возбуждало протест в образованной части общества. Незаслуженное пятно будет смыто, но реабилитирована будет только память, отнюдь не задачи. Запомните, дитя мое.

Красивый старик галантно поцеловал Елочку руку, но царапина, которую он нанес, не закрылась тотчас же. Минутами хотелось никогда больше не слушать никаких высказываний на эту тему, забиться в щель и заткнуть себе уши. Это было горше издевок и поношений, именно потому, что это говорил свой.

Чувства Елочки к монарху и монархии странно двоились. За эти годы она значительно развилась и многое прочла, особенно по части истории XIX-го и XX-го веков. У нее создалось уже достаточно ясное представление, что монархия как таковая обречена, и уже нет ни одного крупного европейского государства, где бы монарх являлся действительным правителем страны, а не декоративной фигурой. При той огромной сложности управления, которую несла действительность, монархический строй не выдерживал критики. И вместе с тем он еще сохранял свое обаяние в глазах многих и многих людей и в ее собственных. Она замечала, что в последнее время среди интеллигенции можно было замечать возрождающуюся симпатию к особе Государя. Даже в такой либеральной семье, как семья Юлии Ивановны, о Николае II теперь говорили, отмечая его исключительный такт и воспитанность, а также ту смелость, с которой он показывался в обществе и перед народом (не в пример Сталину); удивлялись выдержке, которую он проявил в минуту отречения; подчеркивали его непричастность к событиям Кровавого воскресенья, опровергали даже его пристрастие к вину!

– Помилуйте, я сидела в Бутырке вместе с Воейковой. Уж она-то стояла очень близко к царской семье, и сама говорила мне, что Государь вовсе немного пил; вся беда была только в том, что он хмелел после первой рюмки, и этим умели пользоваться.

Или:

– Позвольте! Да в чем же тут виноват Государь? Девятого января он был в Царском Селе, это уже всем известно.

Вот какие высказывания приходилось теперь слышать, и они, очевидно, находились в прямой связи с теми клеветническими выпадами и грубейшими издевками, которыми до сих пор осыпала недавнего монарха советская печать, никогда не знающая ни в чем меры.

«В институте, в первые дни войны, я была влюблена в Государя, – припомнила Елочка. – Он мне представлялся впереди полков на белом коне, и я молилась по ночам в своей кровати,

чтобы немецкая пуля его пощадила. Позднее я поняла, что живу в мире фантазий. Но я и теперь продолжаю думать, что в нашем Государе были прекрасные черты. Помню, я читала, что по своему внутреннему и внешнему облику это был идеальный тип гвардейского офицера. Не его вина, что он не обладал государственным умом; не каждый рождается Петром Великим! Мне жаль его и его детей, но совершенно очевидно, что успешно царствовать он не мог. А Белая армия как блок всех партий против большевиков принесла бы спасение России, если бы установила у нас в качестве победительницы строй, подобный английской конституционной монархии или передала власть Учредительному собранию. А теперь уже ничего нельзя изменить, и горю моему конца не видно!»

## Глава седьмая

А тут еще эта Ася! При всем нежелании ее видеть, она наскочила на эту девочку в музыкальной школе. Ася стояла в коридоре у дверей класса и болтала с теми мальчиками, которые так бешено аплодировали ей на концерте. Глаза еврейчика и Сашки были устремлены на Асю с самым искренним восхищением, но разговор был вполне невинный – Ася и Сашка критиковали Верди, а еврейчик им восхищался.

Незамеченная Елочка несколько замедлила шаг, прислушиваясь к болтовне этих подростков, обладавших такой завидной музыкальностью, и, хотя ничего предосудительного не услышала, осталась тем не менее очень недовольна. «Сенаторская и генеральская внучка, а хохочет по коридорам, как советская школьница, и позволяет этим плебеям ухаживать за собой!» – подумала она, забывая со свойственной ей чопорностью, что Ася еще почти девочка и что у всех троих много общих интересов. В чем можно было усмотреть элемент «ухаживания», Елочка не сумела бы объяснить, но тонкое очарование этой девушки словно пошатнулось.

Окончив урок, Елочка уже вышла из музыкальной школы, когда услышала быстрые легкие шаги, настигавшие ее по темному переулку. Она обернулась и увидела Асю в «бывшем» соболе с порт-мюзик в руках.

– Как вы поздно возвращаетесь? С кем-нибудь разговорились? – спросила Елочка не без стародевического ехидства.

– Юлия Ивановна назначила меня аккомпанировать в «Патетическом трио» Глинки; надо было договориться с виолончелистом и скрипачом, – ответила Ася.

– Как живете? – холодно бросила Елочка.

– У нас несчастье – дядя Сережа выслан по этапу в Сибирь, – печально ответила девушка.

Елочка остановилась:

– Выслан? За что? – и тут же осознала всю глупость своего вопроса.

– Да разве станут объяснять? Дворянин, офицер, сын камергера... Принесли повестку вчера в одиннадцать вечера, а сегодня в два часа дядя был уже на вокзале. Куда-то в Красноярский край.

– А как же ваше материальное положение? На что же вы жить будете?

– Не знаю... Продавать вещи будем... я попробую давать уроки... Не это страшно... Разлука – большое горе для бабушки, и потом еще неизвестно, в каких условиях там будет дядя Сережа, – и слезы повисли на длинных ресницах.

Елочка, не двигаясь, смотрела на Асю, и ей самой странно было, как она могла отказаться от возникавшей с этой девушкой дружбы! Она вновь ощутила странную силу обаяния, которое имела над ней Ася, несмотря на то, что эта последняя отнюдь не отличалась силой воли, ни желанием подчинить себе окружающих, напротив – сама Елочка являлась, безусловно, более волевой натурой. В чем же таился секрет этого обаяния? Все в том же взлелеянном с детства «похоже», в которое как в скульптурную форму выливалась Ася. Они стояли в эту минуту перед репродуктором (передавали «Пиковую даму»), и Елочке казалось, что звучащие, несколько искаженные, темы рока, звучат как рок, соединяющий ее и Асю.

Но Ася думала только о горе, разразившемся над их семьей.

- Дядя Сережа такой талантливый человек... у него такие чудесные романсы... Он столько читал... Неужели он будет грузить дрова или разметать снег с ворами и разбойниками? Без симфонического оркестра и без книг он затоскует и не вынесет такой жизни... У нас в семье гибнут все, все! Один за другим... - и, словно оправдываясь, прибавила: - Я дома не плачу, совсем не плачу!

Елочка обняла ее.

- Царство тьмы! - сказала она и замолчала, так как по пустынному в этот час переулку прошла какая-то фигура. - Царство тьмы! - повторила она, когда фигура удалилась. - Они губят все лучшее, все светлое, творческое! К сожалению, еще не все осознали, что за ними, безусловно, стоит темнота, что их вожди - ее адепты. Им надо убить, понимаете ли, убить нашу Россию, и в частности поразить ее мозг, то есть русскую мысль, иначе - нашу интеллигенцию! Ну, вот они и травят ее. Ваше горе - горе России.

Ася подняла на нее изумленные глаза.

- Видели вы гравюру в Эрмитаже? - продолжала с увлечением Елочка. - Прекрасная девушка лежит, раненная, на спине, раскинув руки, а вокруг собираются хищные птицы, чтобы терзать ее, и подпись: «La Belle France» [19]. Вот так лежит теперь наша Россия, смертельно раненная в мозг и в сердце!

- О, какие оригинальные вещи вы говорите! - прошептала Ася. - Вы, кажется, очень умная, очень образованная!

- Дорогая, да ведь мне уже 27 лет. Конечно, я успела перечитать и передумать больше вашего. К тому же и жизнь моя складывалась так, что мне оставалось только думать и думать.

Рука об руку они пошли медленно по направлению к Литейному.

- Если бы вы знали, как у нас грустно в доме, - опять начала Ася. - А тут еще борзая умирает и стонет человеческим голосом. Вот уже третью ночь она плачет, а я стою над ней, а чем помочь - не знаю!

- Позвольте! Ведь ей же можно впрыснуть морфий, нельзя же вам не спать, - воскликнула Елочка.

Ася тотчас насторожилась.

- Морфий? Это лекарство?

- Нет - болеутоляющее и одновременно снотворное. Я могу забежать и впрыснуть ей.

- А вы разве умеете?

Елочка усмехнулась.

- Боже мой! Как же не умею! Ведь я сестра милосердия еще со времени Белой армии... в Крыму.

Ася взглянула на нее с новым восхищением:

- Вот вы какая! А я тогда была еще девочкой и играла в куклы, и Леля, моя кузина, тоже!

Уговорились, что Елочка придет через час сделать впрыскивание собаке. Ася дала адрес и, прощаясь, спросила:

- Скажите... мне показалось, или в самом деле вы холодны были со мной в первую минуту?

Елочка невольно подивилась ее чуткости.

- Да... была минута. Забудьте. Я одинока и дорожу каждой привязанностью.

И она отчетливо осознала, что краеугольным камнем ее неудовольствия была ревность.

В десять вечера, нажимая кнопку звонка, Елочка волновалась. Тяготее постоянно к одиночеству, она становилась понемногу застенчивой. Если с Асей отношения вырастали сами собой, без усилий, то сейчас предстояло войти в соприкосновение с незнакомыми людьми, войти в чужой дом, и она не могла не испытывать Душевного напряжения, хорошо ей знакомого в подобных случаях. Отворили Ася и Леля вместе. Ася тотчас представила Лелю, говоря: «Моя двоюродная сестра». Это заставило Елочку зорко взглянуть на Лелю, так же зорко она оглянула комнату, в которую ее ввели: в этой комнате все носило на себе след большой и тонкой культуры; нужда придавала особенное благородство остаткам былой роскоши. Пожилая француженка, сидевшая за починкой белья около изящного столика под

лампой с абажуром, переделанным из страусового веера, являлась тоже характерной деталью этой картины, как и тот изящный парижский выговор, с которым переговаривались она и обе девушки. Елочке показалось, что горе этой семьи невидимым отпечатком лежит на каждой вещи, сквозит в целом ряде незаметных деталей. В том, что Ася понизила голос почти до шепота, спрашивая мадам, можно ли будет войти к бабушке, была несомненно эта же деталь. И даже в том, что в комнате было немного холодно и Леля, зябко передернув плечиками, подула себе на маленькие руки, было что-то от того же необъяснимого уму невидимого наслоения.

Леля тоже подходила под мерку «похоже» – изящная блондиночка с пышными вьющимися волосами; черты ее несколько напоминали черты Аси, но капризная линия губ и прикрытый челкой лоб, который у Аси был таким высоким и ясным, придавали совсем иной характер этому лицу. На щеке пикантно улыбалась хорошенькая темная родинка. Видно было по всему, что в семье этой Леля занимает свое уютное место и кровно с ней связана. Француженка называла ее, как и Асю, *chere petite* [20].

Постучали к Наталье Павловне, и Елочкой опять овладело беспокойство. Комната Натальи Павловны имела еще более характерный отпечаток: мебель красного дерева, божница с серебряными образами, из которых некоторые были византийского письма, несколько изящных предметов датского фарфора, а главное – большое количество миниатюрных фотографий в овальных рамках, заполнявших всю стенку над письменным столом; большинство лиц на этих фотографиях были изображены в мундирах лучших гвардейских полков и все это вместе взятое настолько определенно говорило о классовой принадлежности обитательницы, что как-то раз Ася, которой издавна был знаком вид этой комнаты, не удержалась тем не менее от восклицания: «Твоя комната – очаг контрреволюции, бабушка!» Это же подумала сейчас и Елочка.

Сама старая дама, державшаяся еще очень прямо, с красивыми, несколько заострившимися чертами лица и короной серебряных волос, как будто завершала собой эту картину, иллюстрировавшую прошлое семьи. От Натальи Павловны веяло незаурядным самообладанием и чувствовалась аристократическая замкнутость. Говоря, она слегка грассировала – привычка, которая сохранилась у многих дам ее поколения и шла, очевидно, от постоянного употребления французского языка, которым эти дамы владели в совершенстве.

Ася представила Елочку, причем сочла нужным упомянуть, что та была сестрой милосердия у Врангеля. Елочка не ошиблась, что эта часть ее биографии вызовет к ней доверие в семье у Бологовских: Наталья Павловна пожала ей руку и сказала, указывая на Асю и Лелю:

– Там, в Крыму, погибли отцы вот этих девочек.

Елочка наклонила голову.

Перешли опять в первую комнату. Ася и Леля полезли под рояль и за углы тюфячка осторожно выволокли несчастную собаку. Сразу было видно, что парализованное животное пользуется заботливым уходом и ему аккуратно меняют подстилки. Время, когда Елочка замирала от страха при мысли о шприце, давно миновало. Теперь она уверенно и смело отдавала свои распоряжения: в одну минуту прокипятили инструмент, смазали йодом лапку, и Елочка ловко ввела иглу, Диана не сопротивлялась, а лизала руки Аси, которая ее держала.

– Собаки – удивительные существа, – сказала Ася, – они знают вещи, которых не знает человек, и мне иногда кажется, что их понимание тоньше нашего, только направлено на иные явления. Больное животное всегда так жаль – ведь оно не может ни пожаловаться, ни объяснить...

– А помнишь ту собаку? – спросила Леля и сделала ударение на «ту».

– Какую? – спросила Елочка.

– Была одна собака, которую мы забыть не можем, – сказала Ася. – Это было в Крыму, летом 1921 года, когда мы еще были девочками. Нас перегоняли в Севастополь...

– Как перегоняли? Кто же вас гнал? – опять спросила Елочка.

– Я не совсем точна: тогда были арестованы дядя Сережа и лелин папа. Их вместе с другими арестованными вели под конвоем китайцы... Никто не знал, куда... Тетя Зина и несколько

других жен шли сзади, и мы обе с мадам шли за ними... Куда же нам было деваться? Моей мамы и папы моего в живых уже не было...

Она остановилась, видимо, охваченная печальным воспоминанием.

- И что же? - тихо спросила Елочка.

- И вот, когда мы шли так далеко... среди мертвых песков... ведь там, вокруг Коктебеля, холмы и желтые бухты выжжены летом от зноя... к нам подошла собака. По-видимому, в этой партии вели ее хозяина, а она была поранена конвойным, который ее отгонял, и видно было, что она идет из последних сил: вдруг споткнется, упадет, потом встанет, пройдет еще немного и снова припадет на передние лапы и смотрит умоляющими глазами... Она боялась отстать и умереть... Когда мы ее гладили, она лизала нам руки, точно просила ей помочь. Мы замедляли нарочно шаг, чтобы она поспевала за нами, а мы отставали и без того. Тетя Зина и мадам кричали нам, чтобы мы не останавливались и шли, потому что нас ждать никто не будет... Они боялись потерять из виду отряд. Мы шли и оборачивались...

- Я помню, - перебила Леля, - мадам кричала мне: «Погибла Россия, погибло все, а теперь ты теряешь отца и ты плачешь о собаке? И тебе не стыдно?» А я и сама понимала, что если уж плакать, то о папе, но вопреки доводам разума, мне как раз собаку было жаль!

- Со мной вот кто еще был, - сказала Ася и, подойдя к креслу у камина, сняла с него старого плюшевого медведя с оторванным ухом, медведь этот ростом был с годовалого ребенка. - Это мой любимец, - продолжала Ася, - я несла его тогда на руках. Мы в то время многого еще не понимали в происходящем вокруг нас. Помнишь, Леля, на другой день после того, как стала известна судьба твоего папы... мы с тобой прыгали через лужу, которая натекла у порога нашей мазанки, и смеялись так звонко, что тетя Зина выбежала нас унять и обозвала бессердечными...

Наталья Павловна окликнула в эту минуту Лелю, и та с самым беспечным и резвым видом убежала в эту строгую спальню, очевидно, чувствуя себя совсем как дома. Елочка и Ася остались одни.

- Садитесь сюда, к камину, - сказала Ася, - жаль, он не топится, но это потому, что у нас почти нет дров. Расскажите немножко о себе. Ваши мама и папа живы?

- Нет. Родителей я потеряла еще в раннем детстве. Мой отец, земский врач, погиб при эпидемии холеры. Бабушка отдала меня в Смольный. Наш выпуск был последним. Теперь из родных у меня остался только дядя; он хирург, а я - операционная сестра. Иногда по воскресеньям у него обедаю. Вот и все. Говорить о себе я не умею.

Но через минуту она прибавила тише и мягче:

- Я очень одинока.

Ася по-детски ласково прижалась к ней.

- У вас тоже на войне погиб кто-нибудь? Муж, брат, жених?

- Нет. Когда все кончилось, мне было только девятнадцать лет. И с тех пор никто никогда мне не нравился. Я не была замужем.

- Когда все кончилось? - переспросила Ася с недоумением в голосе.

- Ну да! Когда они победили. С тех пор я уже не могла думать о счастье. Какое тут счастье, когда Россия в такой беде...

Большие невинные глаза с недоумением взглянули на нее из-под длинных ресниц:

- Вы совсем особенная! Не думать о себе, потому что несчастна Родина! А я вот только об этом и думаю. Но мое счастье пока еще под покрывалом феи.

- Ну, вы - другое дело! Вы тогда еще были девочка и не могли пережить так, как я, трагическую муку тех дней. Вы почти не помните людей, которые тогда погибали. Россия зывала к своим героям: они шли, падали, вставали и снова шли. Вот и ваш отец был, очевидно, из числа таких же. Я работала в госпитале в те дни и видела, как эти люди умирали, - в бреду они говорили о России. А те, которые поправлялись, едва встав на ноги, снова бросались в бой. И этот героизм остался непрославленным - наградой были только расстрелы, лагеря...

Нервная судорога пробежала по ее лицу и крепче сжалась губы. Ася молчала и пристально

всматривалась в нее.

- Теперь уже нет таких людей! В советской стране никто не любит Родину, нет рыцарского уважения к женщине, нет тонкости мысли, нет романтизма, ничего нет от Духа! Это - хищники, это - троглодиты, которые справляют хамское торжество - тризну на костях и на крови. Среди них мне никого и ничего не надо. Некрасов хорошо сказал: «Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят, где были дубы до небес, а нынче пни торчат!» - говоря это, она печально смотрела в холодную пустоту камина.

- Вы так говорите, как будто был кто-то, кто был вам бесконечно дорог и кого вы потеряли в те дни, - совсем тихо сказала Ася.

Елочка вздрогнула и закрыла лицо руками, пойманная врасплох.

- Я вам напомнила, простите! И все-таки скажите... скажите мне - был такой человек, я угадала?

- Был, - тихо проговорила Елочка, не открывая лица.

- Кто же он? Кто? Офицер, как мой папа?

- Да.

- Он был убит?

- Нет, ранен. Я уже в госпитале его узнала.

- Вы ухаживали за ним?

- Да, у него было тяжелое ранение. Никогда не забуду, как коротко и часто он дышал... Я все время боялась, что он задохнется.

- Он от раны умер?

- О, нет! В том весь ужас. Ему только что стало лучше... и вот...

- Что же?

- Красные взяли город. Они окружили офицерские палаты и расправились с ранеными. А он ведь еще не вставал с постели. Я в это время была больна и ничем не могла помочь. Я даже не могу узнать, как это было. С тех пор все для меня кончилось. Все! - Наступило молчание. - Другие умеют забывать, а я - нет! - сказала опять Елочка, отдергивая руки. - Я видела его всего несколько дней и все-таки не могу забыть ни одного его слова, ни одного жеста! Я всегда о нем думаю, всегда.

- А он любил вас?

- Нет, состояние его было слишком тяжелое. Романа не могло быть - поймите, однако перед операцией он попросил меня не отходить - значит все-таки чувствовал ко мне доверие, симпатию... Раз он подарил мне флакон духов и, откупоривая, залил мне передник. Это все, что осталось у меня о нем на память.

- Если попросил быть рядом - значит любил. А как его звали?

- Ну, нет! Имени и фамилии я вам не назову! - живо возразила Елочка. - Вам знать не для чего, а мне не так просто выговорить. Обещайте, что вы никому не расскажете того, что я рассказала. За все эти годы я не проговорила никому - вам только.

- Обещаю. О да! обещаю! Спасибо, что рассказали. А он был красивый? - Нота наивного любопытства прозвучала в голосе Аси.

- Об этом я тогда не думала. Красивый... но я ведь его видела перевязанным, в постели... И все-таки... по всему - по лицу, по разговору, по каждому жесту - видно было, что это человек очень тонко воспитанный. Храбрец с двумя Георгиями!

- Это было так давно... - сказала задумчиво Ася. - А он ведь не был вашим женихом... Неужели вам не хочется снова полюбить и быть счастливой?

Елочка быстро сделала отрицательный жест.

- Нет, не хочу. Не хочу и не могу, не сумею начать сначала. Я не вижу теперь таких людей, как он, а я могу полюбить только такого. Для меня в этом чувстве заключается все: моя любовь к России, моя любовь к героизму, мое преклонение перед человеком, который отдал жизнь Родине! Это все вошло в меня слишком глубоко. Тоска по нему - лучшая часть моей души. Я не хочу увидеть себя с другим: я бы тогда перестала себя уважать. Лучше всю жизнь прожить

одной, никем нелюбимой, отречься от радостей, работать, чем изменить самому лучшему в себе, загасить искру! Сделавшись счастливой мелким обывательским счастьем, легко стать удовлетворенной, а удовлетворение внутреннего голода – уже мещанство. Мне моя тоска дорога.

Ася смотрела на Елочку, как замороженная, не смея пошевелиться.

– Я очень люблю стихотворения Блока, – заговорила опять Елочка. – Когда я их читаю, мне приходят иногда странные мысли, очень странные... Возможность новой встречи и любовного единения там... после смерти... вне тела. У Блока в стихах о «Прекрасной даме» мысль эта высказана совершенно ясно: «Предчувствую тебя, года проходят мимо...» или «Ты идешь! Над храмом, над нами беззакатная глубь и высь». Вот тогда, при такой встрече, он увидит и оценит мою верность; тогда найдет свое оправдание мое одиночество. Понимаете ли вы, что значит для меня такая мысль и как много она мне дает?

Глаза Елочки ярко светились, каждый нерв дрожал в ее худом и смуглом лице. Ася почувствовала себя совсем маленькой рядом с ней.

– Какая вы вся глубокая, серьезная, а я... какая я жалкая и пустая по сравнению с вами. Никакого отречения, никакой жертвенности во мне нет, ни капельки! Мне всегда хочется только счастья! Он на коленях передо мною, белые цветы... чудные разговоры... полная задушевность во всем. Мне счастье представляется таким светлым, захватывающим, обволакивающим, как туман. Я очень люблю детей; я воображаю себе иногда, как буду купать моего бэби в ванночке, где плавают игрушечные золотые рыбки и лебедки, или пеленать его в кружевные конвертики. В семь-восемь лет я очень любила укачивать кукол. Я пеленала свою Лили или плюшевого мишку и ходила с ними по комнате, убаюкивая. Я любила колыбельную «гули-гуленьки» и еще казачью лермонтовскую. Почему-то мне делалось грустно, когда я пела. Я даже представить себе не могу жизнь без бэби. Это тоже очень большой секрет от всех.

– Это у вас будет – не беспокойтесь! Вы еще юная, хорошенькая, найдется человек, который полюбит вас... Это-то вполне достижимо! – и вставая, чтобы уходить прибавила: – Каждая прачка может иметь детей. Тут даже не нужно вашего таланта и вашего изящества!

Ася почувствовала себя виноватой и свой лепет глупым и растерянно взглянула на эту странную, немного суровую девушку. Вошла француженка и сказала Асе по-французски:

– Сейчас звонила по телефону мадам la princesse Dachkoff. Она вызывала мсье Сержа. Я не знала, что ей ответить, и сказала, что его нет дома.

Елочка дрогнула.

– La princesse Dachkoff? Вы знакомы с Дашковыми?

– Oh, oui! C'est une dama d'une famille tres noble. Elle est maintenant la fiancee de notre monsieur Serge [21], – ответила ей француженка.

У Елочки вертелось на губах множество вопросов, но она не решилась их задать. Ее пригласили к чайному столу, но она стала прощаться, не желая показаться назойливой. В передней, уже у порога, она отважилась, однако, спросить:

– Скажите, у этой дамы... у княгини Дашковой, не было ли среди родственников белогвардейского офицера?

– Ее муж был убит под Перекопом, – ответила Ася.

«Убит! – думала Елочка, медленно спускаясь по лестнице... – значит, не он! Он был ранен и добит, а не убит в бою. К тому же он, конечно, не был еще женат. Ему всего-то было года 22 – не больше! Обручального кольца у него не было, а только перстень пажей. Как странно, что именно в семье у Аси, к которой меня вдруг так потянуло, услышала я эту фамилию!»

## Глава восьмая

*Мы – дети страшных лет России,*

*Забывать не в силах ничего.*

А. Блок.

Нина считала, что она впутана в опасную игру. Она не могла изменить ход событий, ни своей роли в них – все развернулось помимо ее воли, но тревожные предчувствия ее угнетали.

Месяца полтора тому назад подруга ее по Смольному институту, в прошлом Марина Сергеевна Драгомирова, а ныне Риночка Рабинович, гуляя по парку Царского Села, вышла на площадь перед Екатерининским дворцом, около Лицея, и увидела двери любимой петербуржцами Знаменской церкви открытыми. Охваченная желанием перенестись в любимую ей когда-то атмосферу тишины и торжественности храма, она переступила порог почти пустой в этот час церкви. Около Знаменской иконы Божьей Матери красными пятнышками теплились восковые свечи, тихий голос читал канон. Она подошла к образу, встала на колени и на одну минуту припала головой к полу, в смутном порыве повторяя: «Господи, прости мне мои грехи! Я могла бы быть лучше, но Ты знаешь, как я была несчастна». Под грехами Марина подразумевала прежде всего то, что она вышла гражданским браком за еврея, не питая к нему никакого чувства; вышла потому, что он занимал хорошее место и был настолько обеспечен, что она в настоящее время одна среди всех своих подруг могла одеваться по моде, иметь прислугу и автомобиль, между тем как еще недавно она перебивалась с соленой воблы на картофель и работала за гроши регистраторшей в больнице. Но как ни хороши были модные туалеты и автомобиль, а полюбить человека, доставившего ей эти блага, она не чувствовала себя способной, она не могла даже перестать стыдиться его перед подругами. Она упрекала себя за это, и ее тяготило сознание, что она оказалась способной отдаться по расчету. Временами ее охватывали порывы раскаяния и отчаянных сожалений.

Итак, она припала головой к полу, а когда подняла голову, то увидела в нескольких шагах от себя мужчину высокого роста, лет двадцати восьми, с интеллигентным лицом, одетого почти в лохмотья. Ей бросился в глаза жест, которым он держал свою истрепанную кепку – так держали обычно свои кивера с плюмажем блестящие гвардейцы, и ей невольно вспомнились торжественные молебны в Преображенском Соборе. Она взглянула еще раз на его лицо и встретила с ним глазами. «Я видела его когда-то... где я могла видеть его?» – подумала она, тотчас отводя в сторону взгляд. Молитва уже не шла ей на ум, и через несколько минут она снова обернулась на него и увидела, что он в свою очередь пристально всматривается в нее. Глаза их встретились, и он наклонил голову, как будто желая выразить этим, что не может приветствовать ее более почтительно в церкви. «Неужели это Олег Дашков, beau-frere [22] Нины? Быть не может! Как он изменился! Она поднялась с колен и отошла на несколько шагов от иконы, как бы приглашая его этим подойти к себе. Он приблизился. Темные глаза, под которыми лежала тень от бессонных ночей, впились в нее.

– Марина Сергеевна? – спросил он.

Ей трудно было поверить, что этот человек с измученным лицом, одетый почти как нищий, тот блестящий кавалергард-князь, с которым она танцевала когда-то мазурку на свадьбе Нины.

– Олег Андреевич! Вы? Откуда вы? Не с того ли света? Нина считала вас убитым! Где вы пропадали все это время? – зашебетала она.

– Так вы видите с Ниной? Стало быть, мне Вас послал Сам Бог! Я разыскиваю ее безуспешно уже несколько дней. Где она?

– Нина в Петербурге. Она, слава Богу, жива и здорова. Как она будет рада видеть Вас! Господи, страшно подумать, как изменилась жизнь за эти одиннадцать лет, что мы с Вами не виделись, и мы... как изменились мы за это время!

– Вы сравнительно мало, Марина Сергеевна. Вы еще молоды, хороши, элегантны, а я... вот меня, я полагаю, трудно узнать, да это и лучше!

В его интонации было что-то подавленное и горькое.

– Если вас не шокирует разговаривать с человеком, одетым почти в лохмотья, выйдемте вместе, чтобы не мешать молящимся.

– Олег Андреевич, как вам не совестно говорить так! Теперь лохмотья – лучший тон. Я и сама еще недавно была в лохмотьях и уважала себя больше, чем сейчас! – и яркий румянец залил щеки молодой женщины.

Они подошли к маленькой скамеечке под липами, покрытыми инеем.

- Где же вы были все это время? - спросила она, садясь.

Он не сел, а стоял перед ней по-прежнему с обнаженной головой, и в изяществе его осанки было что-то такое, что безошибочно изобличало в нем гвардейского офицера и делало незаметными отрепья, надетые на него.

- Рассказывать о себе было бы слишком длинно и скучно для вас, Марина Сергеевна. Это очень безотрадная повесть. В настоящее время я только что освобожден из концентрационного лагеря; три дня назад я вернулся из Соловков.

- Вы?! Из Соловков? Боже мой! - и она закрыла лицо руками.

- Вас удивляет это? Да кто же из лиц, подобных мне, избежал этой участи? Я провел семь с половиной лет на погрузке леса в Соловках и Кеми и в настоящее время получил освобождение за окончанием срока. Освобожден я, сверх ожидания, без всяких «минусов», а потому приехал сюда, разыскать Нину. Она единственный человек, оставшийся в живых из нашей семьи. Я думал, что могу еще быть полезен вдове и ребенку моего брата.

- Ребенку? У Нины нет ребенка, умер тогда же, младенцем. Она была в ужасных условиях... Вы про это не говорите с ней - это ее трагедия.

Он нахмурился:

- Вся наша жизнь - трагедия самая неудачная. А брат считал себя отцом, и когда умирал... - он замолчал, видимо, вновь подавленный.

«Сказать или не сказать ему, что Нина стала артисткой и что у нее есть любовная связь? Нет, не скажу, пусть говорит сама», - думала молодая женщина.

- Итак, Вы знаете ее адрес? Вы можете проводить меня к ней?

- Могу и с радостью сделаю это через несколько дней. Дело в том, что сегодня Нина случайно уехала на Свирстрой в концертную поездку. Она теперь зарабатывает пением - надо же на что-то жить.

- Через несколько дней? Для меня это новое осложнение: видите ли, отыскивая Нину, я думал отчасти и о себе: мне необходимо получить где-нибудь пристанище. Я без всяких средств в настоящую минуту и не могу снять комнату или угол, а между тем, пока я нигде не прописан, меня отказываются принимать на работу. Получается заколдованный круг, из которого я не могу выпутаться. Ночевать под открытым небом мне не в диковину, но мне нужно начать зарабатывать как можно скорее. Четыре дня - это вечность для человека в моем положении.

- Ну, это пусть вас не беспокоит. Это мы как-нибудь устроим, а остановиться можно у Нины и в ее отсутствие: там ее братишка и тетка. Идемте прежде всего на вокзал, через сорок минут поезд, мы еще успеем на него. В вагоне мы обсудим дальнейшее, - и она быстро пошла вперед.

- Сколько лет вы не были в Петербурге? - спросила она.

- С 1919 года, уже десять лет! Все так изменилось, особенно люди. Я чувствую себя совсем чужим. Никого из прежних родных и друзей я до сих пор не могу найти. Вот и сюда, в Царское Село, я приехал, чтобы отыскать семью, очень близкую когда-то моим родителям... Мне отворили чужие. А между тем на эту поездку я истратил последние деньги. Я точно с другой планеты сейчас.

- А вас арестовывали разве не здесь?

- Нет, в Крыму, вскоре после взятия Перекопа, - сказал он, озираясь, не слушают ли их.

- Вы ранены были, у вас шрам на лбу?

- Да, еще тогда, в Белой армии.

Они входили уже в здание вокзала, когда она заметила, что он вдруг зашатался и схватился рукой за стену.

- Что с вами? - спросила она испуганно.

- Простите, пожалуйста, голова закружилась, сейчас пройдет.

Она смотрела на его бледное до синевы лицо, и с быстротой молнии у нее мелькнула мысль: «Он без денег, наверное, голоден», - и после минутного колебания сказала робко:

- Олег Андреевич, Вы питаетесь теперь нерегулярно. Вы, может быть, проголодались и хотите

закусить в буфете? Я с удовольствием одолжу Вам.

Он понял из этой деликатной фразы, что она угадала причину его дурноты, и густой румянец залил его лицо.

- Благодарю вас, Марина Сергеевна, я буду вам очень признателен, если вы одолжите мне рубль или два, чтобы я мог купить себе булку и выпить стакан чаю – я верну с благодарностью, как только устроюсь на работу.

Она торопливо открыла сумочку:

- Вот, пожалуйста, простите, что я не догадалась с самого начала... – и замолчала, смущенная. Как она, в самом деле, не догадалась? Неужели эти страшные десять лет ничему ее не научили, и нищета и голод в ее представлении до сих пор связывались с человеком из народа, протягивающим руку, а не с человеком ее круга, сохранившим джентльменскую манеру и корректную осанку? Его тон и выдержка, видимо, обманули ее, и она не угадала, что под ними скрывалось, может быть, бездна отчаяния и, что следуя за ней, он, может быть, собирал последние силы.

Через несколько дней положение несколько определилось. Олег был прописан в комнате с Микой – четырнадцатилетним братом Нины. Держа в руках документы Олега, Нина с удивлением увидела, что они выписаны на чужую фамилию. Он дал ей полное объяснение того, как это случилось. В ноябре 1920 года он был без сознания от ран, полученных во время отчаянных боев за полуостров. Денщик, желая спасти его от неизбежного расстрела, в ту минуту, когда отряд красных окружил госпиталь, отобрал у Олега его документы и положил к его изголовью документы только что скончавшегося рядового, по которым он значился уже не гвардейским поручиком князем Олегом Андреевичем Дашковым, а фельдфебелем, мещанином по происхождению, Осипом Андреевичем Казариновым.

Это спасло его от расстрела, которому были подвергнуты почти поголовно раненые, лежащие в офицерских палатах. Когда он стал поправляться, денщик объяснил ему все случившееся, уже *postfactum*. Оставалось принять действительность, какой она раскрывалась перед ним, и, возвращаясь к жизни, забыть не только прежние привычки и образ жизни, но и прежнее имя.

- Скоро, однако, мне опротивело имя Осип, что я пошел на риск и перед получением советских документов залил чернилами имя, оставив заметной лишь первую букву. Подозрений это, к счастью, не возбудило никаких, так как число букв совпало, как и первая буква. Таким образом мне удалось вернуть полученное при крещении имя, и «совсправка» была выписана на Олега Андреевича Казаринова.

Нина слушала все это с невольным состраданием.

- Олег, вы играете в опасную игру. Я понимаю, что она вам навязана всей обстановкой, что у вас нет выбора, и все-таки я говорю это. Уверены ли вы, что вас никто не узнает и не выдаст из тех, кто знал вас раньше? Что ни в ком не возбудят подозрения ваши манеры, ваш разговор, ваше лицо, в котором нет ничего мещанского, вся ваша интеллигентность? Уверены ли вы, что вы не запутаетесь в бесконечных анкетах, которые вам придется заполнить при поступлении на любую службу? Ведь ваша биография теперь вся вымышленная?

- Вся. Но я ее обдумал, исходя из новых данных, и повторяю в одном и том же варианте. Согласно моим документам, я сын столяра. Год моего рождения уже не тысяча восемьсот девяносто шестой, а девяносто пятый; я работал в Севастополе на заводе и был насильно завербован белыми; потом ранен и находился на излечении в госпитале, когда красные занимали Крым. Ну, а потом... Потом картина несколько меняется к худшему, так как Олег Казаринов уже выступает в роли укрывателя «классового врага». Дело в том, что, покинув госпиталь, я и мой денщик пристроились работать лодочниками, чтобы как-то существовать, а жили в заброшенной рыбацкой хибарке. Вскоре к нам присоединился знакомый мне гвардейский полковник, тоже скрывавшийся под чужим именем. Его узнали и выдали – очевидно, кто-то из местного населения, а мы были привлечены к ответу за укрывательство. Наказание я уже отбыл – семь с половиной лет в Соловках! Я полагаю, достаточно! Надеюсь, что за «пролетарское» происхождение вина моя, наконец, забудется. Документы мои, во

всяком случае, советские, выданные в советском учреждении, они были уже в руках чека при таком подозрительном деле, как укрывательство белого полковника, и все-таки сошли за подлинные – еще ни разу не было заподозрено, что я не Казаринов, а Дашков.

– Будем надеяться, что так будет и дальше... – сказала Нина и вздохнула.

Он приблизился к ней с осанкой безупречного джентльмена.

– Нина! Быть может, я своим появлением вношу новые осложнения и беспокойства в вашу жизнь? Быть может, вы не хотите возобновлять родственных отношений из опасений, что возможная репрессия коснется и вас? Скажите мне прямо, и я уйду. Это не разобьет моей жизни, потому что она уже разбита! Когда я разыскивал вас, я говорил себе, что вы – единственный человек, с которым я связан нитями родства и воспоминаниями о дорогих нам людях. Я говорил себе, что вы можете помочь мне в эти первые трудные дни, а я смогу быть полезен вам в дальнейшем и сделаю все, что смогу для вдовы и ребенка моего брата. Но при существующих условиях я чужой и лишний в вашей семье человек. Я вполне допускаю это. Я прошу только об одном – будьте со мной откровенны.

Он угадал ее думы, но она не захотела быть откровенной – ей показалось, что быть откровенной, значило в данном случае – быть бессердечной.

– Нет, Олег, не ставьте так вопрос, не может быть разговора об этом. Незачем нам опять исчезать из поля зрения друг друга. Я достаточно одинока: если будет теперь человек, с которым смогу иногда посоветоваться или вспомнить... и то уже будет хорошо. Никогда не допущу, чтобы вы ушли теперь от меня... куда? Если бы я вам указала на дверь, меня бы замучили после укоры совести, а я и без них достаточно несчастна. Решено – вы остаетесь.

Он поцеловал ей руку, но она заметила тень, омрачившую его лицо. «Я была слишком холодна и заранее слишком ограничила наши отношения, – подумала она, – а ведь у него, кроме меня, нет никого на свете. Бедный мальчик, он, может быть, ждал сестринского участия...» И она сказала тихо:

– Горе сушит человека, не правда ли, Олег?

– Не всегда, Нина, но я ничего больше не мог ожидать – я учитываю обстоятельства, ведь я и сам давно ожесточился и очерствел.

«Да, вот это, наверное, так», – подумала она, вспоминая его красивым юношей, кружившим головы ее подругам.

Однако ей в первые же дни стало ясно, что он хоть и не хотел признаться в этом, а был несколько уязвлен ее холодностью и теперь старался держаться как можно дальше, желая, по видимому, показать, что не намерен докучать ей своей особой. Он ходил на вокзал грузить и таскать вещи и покупал себе на вырученные деньги хлеб и брынзу. Зная, что он не может быть этим сыт, она несколько раз входила к нему, чтобы поставить перед ним тарелку с вареной треской или картофельным супом; два раза он принял это и поцеловал благодарно ее руку, пробормотав: «Я надеюсь, что в скором времени смогу отплатить за все...» Один раз отказался, говоря, что заработал на этот раз больше и более или менее сыт, но ни разу сам не вошел в ее комнату, когда она и Мика садились за свой, тоже скудный обед, ни разу не попросил даже стакана чаю. А с поступлением на работу оказалось не так просто, как думалось сначала. Олег владел свободно тремя иностранными языками – вот это и давало ему надежду получить место, так как после того разгрома, которому подверглась интеллигенция за эти годы, лица, знающие языки, были наперечет, и учреждения расхватывали их, перебывая друг у друга. И все-таки работа ускользала из рук Олега: в каждом учреждении его охотно соглашались принять, но как только дело доходило до неизбежных в то время анкет и автобиографий, картина менялась, начинали говорить:

– Мы вам дадим знать, наведывайтесь.

Или:

– У вас нет нужной квалификации.

И по всему было ясно, что каждый директор крупного учреждения старался прежде всего обеспечить свою собственную безопасность и принимать только самых надежных, проверенных

людей, которые никоим образом не могли быть отнесены к категории классового врага, за которого администратору могло нагореть. От человека с «подмоченным прошлым» каждый старался отделаться как можно скорее.

Дело грозило затянуться и неизбежно затянулось бы, если б не вмешалась Марина. Ее муж, Моисей Гершелевич Рабинович, занимал крупное место в порту, где была как раз острая необходимость в лицах, владеющих иностранными языками. Марина надела на него и после нескольких сцен, устроенных старому еврею хорошенькой женой, последний согласился, наконец, зачислить Олега в штат. Он был заранее предупрежден о содержании анкеты (что она вымышленная он не знал), и, таким образом, в этот раз прогулка Олега в порт не оказалась напрасной. Нина заметила, что Дашкову было неприятно это непрошенное вмешательство женщины в его дела, неприятно, что ради него происходили семейные сцены у чужих ему людей, но при всей своей выдержке он, видимо, чувствовал себя на грани отчаяния, которое начинало пробиваться по капле сквозь мертвящую усталость, покрывавшую туманом всю его восприимчивость. А потому как ни страдала его гордость, он все-таки пошел представляться незнакомому еврею в назначенный час. У него не было выбора. В кабинете Моисея Гершелевича, однако, между Олегом и Рабиновичем произошел непредусмотренный Мариной и Ниной разговор. Подавая ему заполненную только что анкету, Олег неожиданно для самого себя сказал:

- Считаю своим долгом вас предупредить, что анкета эта соответствует моим документам, но не соответствует действительности.

Старый еврей зорко взглянул на него из-под круглых роговых очков, и Олег не мог не отметить пронизательности этого взгляда.

- Ну а вы думали, что я этого не понимаю? - спросил он. - Какой же я был бы осел, если бы не понял сразу, что вы такой же Казаринов, как я князь Дашков? Но к чему нам об этом говорить? Я принял Казаринова и принял потому, что мне не хватает кадров, а это грозит срывом работы - я так и заявлю в парткоме. Я вас зачисляю не штатным работником, а временным. Ну а фактически, если работа пойдет успешно, вы у нас останетесь надолго. И помните - я ничего не знаю.

Эта фраза сопровождалась характерным жестом рук. Олег поклонился и вышел. «А он умен, - подумал Олег, - говорит с акцентом, и интонация самая еврейская, но даже это не делает его смешным».

Таким образом был улажен один из основных вопросов его существования. Оставалась надорванная, измученная душа, лечить которую было некому, и которая замкнулась в своем одиночестве. Но Нина намеренно не хотела ее касаться, боясь разбередить свои собственные раны. Она чувствовала, что с появлением Олега окончательно потеряла спокойствие; ей постоянно чудилось, что приходят их арестовывать. По ночам она вскакивала в холодном поту, прислушиваясь к воображаемому звонку и рисуя себе все подробности обыска. «Я, кажется, с ума от всего этого сойду», - говорила она себе, хватаясь за голову. Отношения ее с братом были очень далеки от задушевности. Мика, рождение которого стоило жизни матери, был на шестнадцать лет младше Нины и еще учился в школе, которую посещал с отвращением, несмотря на хорошие способности и живой, любознательный ум. Отвращение это происходило отчасти оттого, что преподавание велось бездарными и ограниченными, наспех подготовленными людьми, сбивать и путать которых меткими вопросами стало с некоторых пор любимой забавой Мики. Отчасти отвращению к школе способствовало и то, что все молодое поколение во главе с пионервожатой немилосердно травило Мику за то, что его сестра «княгиня» и за «отсталое мировоззрение», под которым подразумевалась религиозность. Религиозность эта проявилась в Мике как-то неожиданно, с бурной силой, удивившей Нину. Он не только ревностно посещал церковные службы, но отправлялся иногда далеко, на правый берег Невы, на монастырское подворье Киновию, чтобы прослушать уставную монашескую службу, и безапелляционно утверждал, что в жизни «правды нет», а только «ложь и суета», что большевизм послан им в наказание за грехи их дедов и прадедов, которые вели слишком

праздную и роскошную жизнь, и что он убежит на Валаам, как только станет взрослым. Он даже уверял, что у него уже составлен план бегства, чем невероятно раздражал Нину. Всякие объяснения между ними почти всегда кончались ссорами, так как оба отличались прямоотой и были «без пробки», по выражению Мики. Нину раздражала замкнутость и самоуверенность брата, резкость и узость его суждений, но очень часто ей становилось жаль эту юную душу, рано почувствовавшую на себе жестокость жизни. Нине было слишком ясно, что аскетическая настроенность Мики явилась под влиянием того безрадостного и однообразного существования, на которое он был обречен в их холодной и темной квартире, при их ограниченных средствах; ей было ясно, что здесь сыграли роль какие-то чужие ей люди, с влиянием которых она не пробовала бороться, и которые лучше нее сумели завоевать доверие мальчика. Следовало оградить его от этого влияния, заняться им, увлечь учением, музыкой, повеселить хоть немного, но она не имела для этого ни средств, ни времени, занятая непрерывной борьбой за существование и своими собственными неудачами. Она старалась по мере сил заменить ему мать, и вместе с тем никак не могла прекратить ту постоянную «войну», которая велась между ними по каждому незначительному поводу. В последнее время она заметила к тому же, что Мика начинает сторониться ее, и поняла почему. Он осуждал ее за связь с Сергеем Петровичем. Для него, нахватавшегося на свежую душу аскетической суровости, в этом было что-то постыдное и запрещенное. Она несколько раз собиралась поговорить с ним, объяснить ему положение вещей и те трудности, которые встали перед ней и Сергеем Петровичем, но гордость удерживала ее. «Он должен бы был сам понять, что я пошла на эту связь не потому, что мне нравится быть любовницей больше, чем законной женой, а вследствие целого ряда трудностей этой невыносимой жизни. К тому же нам, вдовам, даже в прежнем великосветском обществе не возбранялось жить, как мы хотим, все строгости были только для девушек. А этот четырнадцатилетний дурак, кажется, вообразил, что я его позорю, принимая Сергея». И ей делалось досадно на брата. «Ах, все равно, пусть думает что хочет», – и она махнула на него рукой, как махнула уже на многие вопросы своей жизни, не разрешая их. «Лучше не думать вовсе», – говорила она себе в таких случаях.

В первых числах января она уехала на два дня в Кронштадт подработать на шефском концерте, а когда вернулась, узнала в Капелле о ссылке Сергея Петровича. Одиночество цепкими холодными пальцами взяло ее за женское сердце. «Последняя иллюзия счастья разбита», – думала она. «Уже второй раз они отнимают у меня любимого человека». Но необходимость кормить себя и брата брала свое, и с переполненной болью и горечью душой она волею-неволею подходила к роялю. Ей самой было странно, что она могла петь, и что не только голос ее звучал серебром нетронутой юности, но по-прежнему каждая исполняемая вещь подхватывала ее, как на крыльях, и заставляла дрожать все струны ее души, как будто горести еще усиливали дар артистического упоения. «Но ведь это одно, что мне осталось теперь», – говорила она себе, как будто оправдываясь перед собой.

На другой день, после возвращения из Кронштадта, вечером она сидела в своей заброшенной холодной комнате на старом диване за шкафом; на коленях ее лежало старое, крашеное платье, служившее ей для выходов на эстраду; она безуспешно пробовала его чинить, но мысли ее были далеко – в теплушках для перевозки скота, где ехали ссыльные по великому сибирскому пути. Легкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. На пороге появилась Марина, они поцеловались.

– Я все знаю. Пришла навестить тебя. Когда это случилось с Сергеем?

– Три дня назад, я была в Кронштадте, мы даже не простились. Мне в Капелле сказали.

Марина сочувственно взяла ее за руку и заглянула ей в глаза.

– Ну, как же ты?

– Что ж, вот и этот. Немного давал он мне счастья – я чаще плакала, чем смеялась во время его визитов, но все-таки был хоть какой-то луч – был человек, которого я ждала. Он оживлял собой эту пустоту, он понимал мое пение; за роялем у нас бывали чудные минуты. А теперь – никакого просвета. Вот я сижу так, по вечерам, и чувствую, как из этой темноты на меня

ползет холодный, мрачный ужас.

- У него, кажется, есть мать? - спросила Марина.

- Да, мать и племянница. Он был очень привязан к обеим, для них работал. Они теперь в отчаянии. Но я все-таки несчастнее их. У этой Аси - молодость, невинность, будущее, любовь окружающих, у меня - ничего. Мертвящая пустота, и так изо дня в день, как нарыв, который болит и тянет. Знаешь, я эгоистка: я убедилась, что думаю не столько о нем, что он оторван от всего и едет вдаль, сколько о себе, как я несчастна, потеряв последнее. Или я недостаточно его любила? - она задумалась.

- Я понимаю тебя, - сказала Марина, пожимая ее руку. - А Мике ты сказала? Как он реагировал на это?

- С испугом посмотрел на меня, а потом подошел и как баран ткнулся мне в плечо головой, постоял так немного, но не сказал ничего. Мика ведь хороший, но почему-то мне никак не поладить с ним. Ах, Марина, ты не представляешь себе всей трудности моего положения! Нам нечем жить! У меня нет ни полена дров, у меня не заплачено за квартиру, надевать на эстраду мне совершенно нечего. Мика без сапог - каждый день промачивает ноги. У Олега нет ничего теплого: он ходит в рваной шинели, по-видимому, очень изнурен, ему бы как можно лучше питаться, а он голодает, я же ничем не могу ему помочь - вся моя зарплата уходит на питание, и все-таки я отлично вижу, что Мика тоже не доедает. Не знаю, что делать!

- А ты не хочешь участвовать в конкурсе на солистку в Мариинском театре? Там заработная плата гораздо выше, - спросила Марина.

- Да я же прошла через конкурс в прошлом году, ну, и что толку? По конкурсу я получила первое место, а по анкете меня не пропустили - этот несчастный титул! Нет, уж лучше буду сидеть в Капелле, пока держат, да подхалтуривать по вечерам. Теперь с халтурами будет труднее - ведь это Сергей постоянно подыскивал их себе и мне... Ну, а как ты? Всегда элегантно и цветешь, счастливая! - и она поправила на подруге модную блузочку.

- Не завидуй, Нина. Мне эта элегантность дорого стоила!

- В каком смысле, Марина?

- Продалась жиду, вот и одета.

- Марина, зачем так? Ты честная жена, во всяком случае, вполне порядочного человека, который обожает тебя.

- И все-таки этот человек купил меня. Нина, милая, ведь это не секрет, это знают все, а лучше всех - я сама! Вышла я за моего Моисея только для того, чтобы не быть высланной и не умереть с голоду где-нибудь в Казахстане. Ни о какой любви с моей стороны не было даже разговора. Ведь ты это знаешь, зачем ты уверяешь меня в противном?

Она говорила это, вертя перед собой маленькое зеркальце и подкрашивая губки, говорила обычным тоном, как о чем-то давно решенном.

- Но ведь он хороший человек, ведь он любит тебя, - настаивала Нина.

- Любит, да, - она усмехнулась, - но я-то не люблю! Нина, в этом все - не люблю. Это делает мое положение мучительным и фальшивым. Для меня нет хуже, как остаться наедине с мужем, потому что мне не о чем с ним говорить, тяжело смотреть ему в глаза, отвечать на его ласки и поцелуи... мне все тяжело! А потом взгляну в зеркало и вижу, как я еще красива и молода, и делается так обидно и горько. Думаешь: природа дала тебе все, чтобы быть счастливой с любимым человеком, и вот все, что могло бы быть радостью, превращается в пытку!

Она спрятала зеркальце и села около Нины.

- Во всяком случае, ты уважаешь же его? - не унималась последняя. - Разве нет?

- Уважаю, но как-то условно, отвлеченно. Я стараюсь ценить его отношение ко мне, но он мне не интересен. Он не глуп, но мелок как-то - ему не хватает культурных поколений. Мы привыкли насчитывать их за собой и уже перестали ценить, а между тем как это много значит! Нет-нет да и прорвется то грубость, то ограниченность... И потом его окружение... я совершенно не выношу его родню - такие типичные! Когда они собираются, они устраивают настоящий кагал, и эта мелочность ужасная! Я всегда чувствую, какая бездна разделяет меня

и их не потому только, что я интеллигентнее их, а потому, что мы – русские – пережили за это время такое море скорби, которое не снится этим самодовольным жидам. Нет, нет, Нина, это я могу тебе завидовать: ты не разменялась, ты осталась русской, а я... мне чуждо самое имя, которое я ношу... Марины Драгомировой больше нет, есть только Рина Рабинович. Ну, довольно об этом. Что твой beau-frere, расскажи о нем, – сказала она по ей одной понятной ассоциации.

– Олег? Мы мало разговариваем, он все больше у Мики в комнате; мне кажется, что с тех пор, как он узнал про мою любовь к Сергею, он стал меня сторониться.

– Неужели он тебя осуждает?

– Нет, не думаю; он не производит впечатления узкого моралиста. Но он, может быть, считает себя теперь чужим. Вчера, когда он узнал о ссылке Сергея, он пришел ко мне и провел со мной около часа, очень сочувственно расспрашивал, но, безусловно, только из вежливости. Я не хочу сказать про него ничего плохого. Он очень выдержан, корректен и благороден, но он всегда несколько горд и замкнут. Покойный муж был гораздо ласковее, задушевнее и проще.

Она помолчала, вспоминая что-то, и потом сказала с улыбкой:

– А помнишь, как ты была равнодушна к Олегу, когда была девушкой? Ты прибежала как-то раз ко мне излить душу и просила способствовать вашим встречам у меня на вечерах. Кто знает, может быть, и завязался бы роман, если бы революция не разрушила все! Только полгода прожила я с Дмитрием спокойно. Помнишь наш разговор в моем будуаре, когда ты меня уверяла, что в Олеге есть что-то печоринское и необыкновенно интересное?

– Я и теперь скажу то же.

– Теперь? Нет, теперь он этого уже не стоит. Раньше, действительно, он был интересен, и кавалергардская форма шла ему. А сейчас у него вид затравленного волка, и этот шрам на лбу его портит. Марина, ты плачешь? Да что с тобой, моя дорогая? Или ты опять равнодушна к нему?

Марина открыла лицо:

– Все, что было тогда, – пустяки, Нина. Так, девичьи мечты. Разве я тогда умела любить? Я была слишком легкомысленна и весела для большого чувства. А вот теперь... Теперь, когда мне уже тридцать один, когда я уже так истерзана, а счастлива еще не была, теперь я могу любить каждым нервом, теперь это действительно женское чувство. Нина, душечка, ты как будто удивляешься... он не в твоём вкусе, я знаю, но ты послушай, пойми. Помнишь, тогда, в тот вечер, когда я его встретила, – я подумала тотчас же, что он и в лохмотьях смотрится джентльменом. А потом, когда я привела его к тебе на квартиру, Мика очень скоро ушел ко Всенощной, и я, видя, что Олег от усталости почти падает, велела ему лечь на диване, а сама уже надела шляпу, чтобы идти домой, но зашла к твоей тетушке и немножко с ней поболтала. Потом я хотела уже выйти, да вдруг подумала, что ему очень неудобно лежать, а сам он о себе не позаботится. Я взяла диванную подушку, вот эту, чтобы подложить ему под голову. Он не ответил, когда я постучала: тогда я вошла совсем тихо: он лежал одетый на диване и уже спал. Я смотрела на его заостренные черты и темные круги под глазами, и так мне его было жаль! Знаешь, той волнующей, женской жалостью, от которой до самой безумной любви всего один шаг! Мне кажется, что если бы он тогда проснулся и раскрыл объятия – я бросилась бы к нему на грудь и отдалась без единого слова, забыла бы мужа, забыла бы все... но он не шевелился. Я стала подкладывать подушку, тут он открыл глаза и, увидев меня, тотчас вскочил – корректно, с извинением, как чужой. Что мне было делать? Я вышла и ничем не выразила этой невыносимой, душившей меня жалости, не обняла, не положила его голову на свою грудь. Все похоронила в душе, все! – она плакала.

В дверь постучали. Марина встрепелась, как вспугнутая птица:

– Это Олег! Он увидит, что я плакала, – и, схватив любимое зеркальце, спешно стала пудрить свой носик. Нина надвинула абажур и сказала:

– Войдите.

Олег вошел. Он был высокого роста, стройный шатен, цвет лица бледной слоновой кости, черты

красивы, особенно в профиль, но несколько заострены, как после тяжелой болезни. Лоб рассекал глубокий шрам – след старой раны, который шел от брови к виску и скрывался под волосами. В темных глазах, красиво очерченных, светилось выражение какой-то упорной грустной думы, но иногда эти глаза принимали выражение недоверчивости и враждебности, и теряя свою лучистость, перебегали с предмета на предмет, как глаза затравленного зверя. Это выражение глаз Олега было ново для Нины и Марины, они не могли к нему привыкнуть, и оно служило для них как бы подтверждением его скорбного рассказа. Он вошел и, поцеловав руки обеим дамам, не сел, пока Нина не предложила ему. Эта церемонность, по-видимому, была ему свойственна.

– Ваша жизнь, кажется, налаживается понемногу, Олег Андреевич? – спросила Марина, и даже голос ее звучал как-то иначе в обращении к нему.

Он отвечал вежливо, но сдержанно, видимо, не желая переходить в задушевный тон. Разговор завертелся на трудностях жизни и неудачах большевиков: Марина, что-то рассказывая, небрежно перелистывала страницы бархатного альбома с серебряными застёжками, взятого ею со стола.

– Простите, если я перебую вас, Марина Сергеевна, – сказал Олег, – я вижу в альбоме портрет моей матери. Позвольте взглянуть. Я не знал, Нина, что у вас сохранились семейные карточки. Марина протянула ему альбом; он взял его, и от обеих женщин не укрылось, что в лице его что-то дрогнуло; Марина бросила на него быстрый и любопытный взгляд и тотчас отвела глаза.

– Возьмите этот портрет себе. Я буду рада подарить вам его, – сказала Нина.

– Благодарю, – ответил он коротко и вынул карточку.

– Дайте и мне взглянуть, – сказала Марина.

Он передал портрет, но как-то нерешительно, как будто не желал расставаться.

– Какая ваша мамаша красивая! У нее прекрасный профиль и такие кроткие глаза. Давно она скончалась?

Последовало минутное молчание, и Марина вдруг почувствовала, что этого вопроса лучше было бы не задавать.

– Княгиня расстреляна у себя в имении, – сказала Нина.

Марина не удержалась от восклицания ужаса:

– Расстреляна? Женщина?! За что?

– Вы спрашиваете? Вы разве забыли, где вы живете? – жестко усмехнулся Олег, – жена свитского генерала, тоже расстрелянного, мать двух белогвардейских офицеров – разве этого недостаточно?

И, обращаясь к Нине, он спросил:

– А портретов моего отца и брата у вас не сохранилось?

– Нет. Они на всех фотографиях в мундирах, я вынуждена была сжечь все карточки, а вчера я занималась тем, что сжигала записочки Сергея. Я стала труслива, как заяц, – продолжала она, – по ночам я не могу спать, я все жду, что придут за мной или за Олегом, или за обоими. Я вскакиваю при каждом шорохе. Это становится у меня *idée fixe* [23]. Представляешь ты себе мой социальный профиль – ее сиятельство, вдова белогвардейца, у себя принимала другого белогвардейца, только что сосланного, а в квартире у меня... – она запнулась.

– А в квартире у вас, – подхватил Олег, – проживает под чужим именем третий белогвардеец. Вы ведь это хотели сказать? Да, наша с вами безопасность сомнительна!

## Глава девятая

*Он ходил, мировой революции преданный,*

*Подпирая плечом боевую эпоху*

*А. Сурков*

Нина была убеждена, что несчастливый рок, тяготевший над ее жизнью, имел способность

распространяться с нее на всех окружающих близких и даже на живущих с ней под одной кровлей людей. «Не сближайтесь лучше со мной, я приношу несчастье,- часто говорила она. – Радость избегает даже тех, кого я люблю». Старый дворник, единственной отрадой которого были церковные службы, постоянно журил Нину за ее философию, усматривая в ней нечто противное вере в промысел Божий, но пессимизм свил прочное гнездо в душе измученной женщины. И как будто в подтверждение слов о свойствах враждебного ей рока, в квартире постоянно всех преследовали неудачи. Это было замечено всеми ее обитателями и даже стало служить темой для шуток в менее серьезных случаях. Если кто с утра шел в очередь, в кухне предрекали: «Ну, наши не получают, мы ведь несчастливые»; если на улицах начиналась очередная кампания по штрафованию прохожих, говорили: «Уж из наших непременно кто-нибудь попадет, нам так не везет». Кухня играла роль клуба в этой квартире и одновременно служила и прачечной, и прихожей, так как парадный вход был наглухо закрыт, как в большинстве домов в это время по причинам, которых не сумел бы объяснить ни один управдом. Всего в этой квартире было восемь комнат, и все они, не считая кухни и самой большой проходной комнаты, были заселены людьми самых разнообразных возрастов и профессий. Это была так называемая «коммунальная квартира» – одно из наиболее блестящих достижений советской власти!

Самой коренной обитательницей квартиры была старая тетка Нины – Надежда Спиридоновна Огарева. Раньше квартира эта принадлежала ей. Всю революцию старая дева высидела здесь, одна, как сыч. Когда Нина, потеряв мужа, отца и ребенка, вернулась из деревни в 1922 году с семилетним Микой и двумя чемоданами, она прямо с вокзала отправилась к тетке, так как ни от квартиры отца, ни от квартиры мужа не осталось и следа.

Тетка, сверх ожидания, встретила ее крайне недоверчиво и недружелюбно. Дело было отнюдь не в том, что старухе было жалко пустых комнат – пустые комнаты все равно начали брать на учет и заселять по ордерам новыми, никому неизвестными личностями, и с этой стороны появление племянницы давало Надежде Спиридоновне неожиданную возможность избежать вторжения «пролетарского элемента».

И все-таки, все-таки появление Нины с Микой показалось Надежде Спиридоновне покушением на ее спокойствие и благополучие. Она тотчас, как мышь в нору, стала перетаскивать в свою спальню все самые лучшие свои вещи из бронзы, серебра и фарфора, как будто опасалась за их целостность. Она едва согласилась выделить Нине старый кожаный диван, старый шкаф и стол со сломанной ножкой. На счастье Нины, рояль уже не мог войти в спальню к Надежде Спиридоновне. Он стоял в большой проходной комнате – бывшей гостиной, и Нине было разрешено им пользоваться. Быть может, здесь Надежда Спиридоновна руководствовалась соображением, что без рояля Нина не сможет заработать и сядет ей на шею. Это опасение все первое время неотвязно преследовало Надежду Спиридоновну и рассеялось далеко не сразу.

Не меньше опасалась Надежда Спиридоновна и Мики: ей казалось, что мальчик непременно все сокрушит и переломает, что он обязательно будет поднимать шум и не давать ей спать. Мике строго-настрого был запрещен вход в ее комнату, запрещено приближаться к книжному шкафу и буфету, которые, как наиболее громоздкие вещи, остались вместе с роялем в проходной, запрещалось бегать, запрещалось шуметь – запреты сыпались на него, как из решета. Все это привело лишь к тому, что понемногу Мика лютой ненавистью возненавидел старую тетку – называл ее не иначе как ведьмой и жабой, и по утрам, когда Нина уходила на спевки, в свою очередь всячески изводил старуху: то нарочно вызывал ее к телефону, отрывая от вышивания, то начинал мяукать под ее дверь, или подбрасывал ей в комнату дохлую мышь, вынутую из мышеловки, или выпускал на нее таракана; иногда он выбегал на лестницу и давал неистовый звонок, заставляя ее открывать дверь, а потом убежал, показывая язык.

Изобретательность Мики далеко оставила за собой изобретательность Надежды Спиридоновны, и последняя позорно отступила с поля сражения и из положения атакующего перешла к обороне. С годами военные действия между теткой и племянником значительно ослабели, но взаимная антипатия осталась та же.

Когда на горизонте квартиры появился Сергей Петрович, Надежда Спиридоновна всю остроту своей ненависти перенесла на него. Она умела как-то особенно фыркать в ответ на его поклон и, спешно убегая к себе, с легким шипением демонстративно захлопывала дверь. Сергея Петровича очень мало трогали такие выходки старой девы, он пользовался ими, как средством развеселить Нину, уверяя ее, что Надежда Спиридоновна убежденная девственница и принадлежит к тем избранным, глубоко целомудренным натурам, которые даже слово «мужчина» считают неприличным и которых смущает вид этих грубых существ. Уходя от Нины, он уверял, что если встретится в коридоре с этой весталкой, то обязательно, ради опыта, попробует лобызнуть ее, хотя и допускает, что это будет ему стоить жизни.

Появление Олега уже не вызвало со стороны Надежды Спиридоновны никакой особой реакции. К этому времени квартира была заселена до отказа целым рядом чужих лиц, и старая дева покорила необходимости жить с чужими, да еще с неприличными существами, сталкиваясь с ними в самых укромных уголках. Она сложила оружие и ушла, как улитка в свою раковину. Изредка только, когда кто-нибудь дерзал передвинуть или переставить что-нибудь из ее вещей, у нее начинался рецидив воинской доблести, кончавшийся всегда полным поражением, так как считалась с ее вкусами и удобствами одна только Нина.

Кроме Надежды Спиридоновны, Нины и Мики, в квартире очень скоро поселился дворник с женой. Дворник этот был раньше кучером в имении отца Нины; он и его жена были очень преданы Нине и приехали вслед за ней в Петербург. Устроившись Дворником в этом доме, по протекции Нины же, бывший кучер сумел получить ордер на комнату в этой квартире. Чуждый «пролетарский элемент», явившийся с ордером от РЖУ, был представлен двумя лицами, поселившимися сравнительно недавно. В бывшей «людской» жил выдвигенец-рабфаковец Вячеслав Коноплянников, в соседней с ним – тоже маленькой комнатухе – молодая девица, именуемая всеми просто Катюшей. Говоря об этой Катюше, Нина выражалась не иначе, как «наша совдевушка», желая подчеркнуть этим определением характерный налет поверхностного, наскоро приобретенного городского лоска и модности, которыми щеголяла молоденькая кассирша, красившая себе губки и ногти в кроваво-красный цвет и пропадавшая по кинематографам. За ней числились два коротких замужества, два развода и два аборта. Узость ее взглядов и ограниченность интересов всякий раз поражали Нину: если разговор заходил о политике или бытовых трудностях, она тотчас с запальчивостью выступала на защиту существующего строя и при этом, как исправный патефон, высыпала на слушателей целый арсенал газетных фраз и цитат из популярных брошюр. «Ее начинили, словно колбасу, вот из нее и прет», – высказался однажды Мика на своем характерном мальчишеском жаргоне. Полное ее имя было Екатерина Фоминична Бычкова, но она именовала себя Екатериной Томовной, недовольная выпавшим ей на долю отчеством. Ей было двадцать пять лет. В один из ближайших же дней по приезде Олега, когда Катюша визгливо рассмеялась над каким-то его замечанием, вышла из кухни – единственном месте их встреч, Нина, и, проводив глазами ее покачивающиеся бедра, сказала с усмешкой:

- Мне кажется, Олег, что вы без особого труда могли бы одержать полную победу кое над кем.
- Благодарю вас, – сказал он с насмешливым полупоклоном, – эта победа мне столь же неинтересна, как и легка. Я ни в какой мере не собираюсь воспользоваться ее плодами. Эти *demi-vierges* [24], да еще в советской редакции, отвратительны.
- Знаю я ваши гвардейские вкусы: святая невинность под фатой или кутежи с примадоннами и цыганками, и никакой середины. Не правда ли? – сказала Нина, глядя на него умными и понимающими глазами.
- Совершенно точно изволили определить, – полушутя, полусерьезно ответил он, – только я, к своему несчастью, не успел вкусить от кутежей с цыганками, так как прямо из Пажеского попал на фронт в тысяча девятьсот шестнадцатом году.
- Ну, это из всех ваших несчастий еще наименьшее, – сказала Нина, – но за это время, вы отстали от жизни, Олег: в современном обществе нет ни примадонн, ни кокоток, ни ореола невинности. Советские девушки отдаются за билеты в театры и новые туфли, но зато по

влечению. Прогулка в загс желательна, но необязательна, а срок любви колеблется между двумя неделями и двумя-тремя годами. Ну, а так выходить, как выходила я, – так теперь не выходят.

Ей показалось, что он выслушал это с любопытством, как будто и в самом деле считал себя отставшим от жизни.

– Благодарю за науку, – щелкнул каблуками Олег.

Вячеслав был высокий, широкоплечий юноша лет двадцати четырех с густой шапкой русых волос. Черты лица его были довольно правильны, но в них не было той законченности и тонкости линий, которую дети из дворянских семей наследуют при рождении и которая была, например, в чертах Олега. Во всем облике Вячеслава сквозило что-то простоватое, «бурсацкое», как говорила Нина. И действительно – и лицом, и манерами он немного напоминал бурсака. Его комсомольский значок служил своего рода печатью отвержения в этой квартире: при нем старались вовсе не высказываться ни на какие темы, поэтому при его появлении на кухне разговор тотчас умолкал или словно по команде переходил на ничего не значащие мелочи. Даже у себя, в своей комнате, Нина говорила обычно своим гостям: «Мы можем сегодня говорить свободно, наш комсомолец ушел» или «Тише, тише, наш комсомолец сегодня дома!» А Надежда Спиридоновна доходила до того, что при его входе в кухню тотчас бросалась уносить серебряные ложки.

– Меня, кажется, трудно обвинить в пристрастии к комсомольцам, но я позволю себе вам напомнить, что партиец и вор все-таки не одно и то же, – сказал однажды Олег, которого раздражала мелочная подозрительность старой девы.

Трудно было понять, замечал ли общее предубеждение Вячеслав; Олегу казалось иногда, что по его губам скользила быстрая усмешка, но ни разу он не вступил ни в какие объяснения по этому поводу. С Катюшей Вячеслав по обычаю своей среды был на «ты», но между ними, по-видимому, не было ни дружбы, ни флирта. Он останавливал ее иногда в коридоре словами: «Что у тебя на службе, уже проработали решение ЦК?» или: «На вечер собралась? Ишь, губки для вечера подмазала, а доклада Кагановича, наверное, не читала!» А если оказывалось, что и доклад и решение «проработаны», он бросал небрежно: «Знаю я вас – в одно ухо впустила, в другое выпустила!» И в голосе его звучало что-то похожее на презрение.

На дом к Вячеславу ни разу не явилась ни одна девчонка – в виде выдвигенки или работницы, и в этом отношении даже Нина признавала, что он жилец, безусловно, удобный, хотя манеры юноши «хамоваты». Вячеслав и в самом деле не отличался утонченными манерами, но в нем решительно не было той распушенности и зазнайства, которыми отличалась партийная среда – люди, подобно ему вышедшие из темных неизвестных низов и призванные к общественной деятельности, прежде чем они достигли хоть какого-то культурного уровня. Мика уверял, что юный пролетарий с утра до вечера «грызет гранит науки» и что в этом деле настойчивость заменяет ему способности, что было довольно метко, как, впрочем, и все замечания Мики. Вячеслав, в самом деле, с головой ушел в свои занятия, очевидно, поставив себе целью получить образование. Он не был особенно разговорчив, но ни одного антисоветского высказывания не оставлял без яростных возражений. Говорил он теми же стереотипными фразами, что и Катюша, но в его устах они получали характер искреннего убеждения. Дворничиха одна решалась нападать на него и журила за безбожие, называя отступником, между ними завязывались споры, но от этих споров он не переходил к враждебности, и когда у этой же самой дворничихи заболел муж, Вячеслав, к всеобщему удивлению, вызвался доставить старика в больницу. Другой раз он с такой же готовностью донес Нине тяжелый чемодан. С этим человеком, безусловно, можно было ладить, но сблизиться с ним или переделать его на свой лад было, по-видимому, не так просто. Олегу нравилось лицо и поведение юноши: он угадывал в нем твердость характера – качество, которое он ценил. Он говорил себе, что это лучший и редкостный тип комсомольца, но комсомольский билет воздвигал между ними китайскую стену и заставлял его сторониться Вячеслава и относить его к категории людей враждебных, с которыми он сведет счеты рано или поздно. Очень скоро ему

стало казаться, что Вячеслав к нему присматривается. Олег слишком привык скрываться, чтобы переносить равнодушно пристальное наблюдение постороннего человека, это начинало нервировать его.

В один вечер, стоя в кухне возле примуса, он раздумывал над этим ощущением, стараясь дать себе отчет, когда это началось и в чем заключалось? Не было никаких точных фактов или факты были неуловимы, а что-то все-таки было!

Началось с того, что как-то раз Мика вбежал в кухню и сказал, обращаясь к Олегу: «Запутался в логарифмах, спасайте погибающего!» Олег с готовностью пошел за ним и уже по выходе из кухни сообразил, что это было сказано в присутствии Вячеслава, а потому некстати – странным могло показаться, что Мика просит слесаря объяснить ему алгебраическую задачу!

Другой раз он, также в кухне, стоя возле примуса, читал по-французски маленький рассказ Доде из библиотеки Надежды Спиридоновны, которая ему и Нине, в виде исключения, разрешала брать свои книги. В это время Нина зачем-то позвала его, он ушел, оставив открытой книгу, а когда вернулся, увидел, что Вячеслав разглядывает ее. И был еще случай: к Нине пришла старая графиня Капнист; Олег и Нина вышли в кухню ее провожать, и пока графиня и Нина обменивались прощальными фразами, Олег стоял, вытянувшись в струнку и держа обеими руками на уровне ключиц пальто графини. Прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и с почтительным полупоклоном, пропуская ее в дверь, по-военному щелкнул каблуками и сказал: «Честь имею кланяться». Когда он отвернулся от двери, то увидел, что Вячеслав с некоторым удивлением наблюдает его: очевидно офицерская выправка и весь великосветский тон Олега поразили Вячеслава, как не соответствующие манерам рабочего.

Быть может, было еще что-нибудь, не ускользнувшее от внимания Вячеслава. Олег слишком хорошо знал, к чему может привести скрытая враждебность при строе, который поощряет всякие доносы и выслеживания, вырастающие пусть даже на почве личной неприязни, ссоры или ревности. Он размышлял над этим, когда в кухню как раз вошел Вячеслав и начал разжигать примус за соседним столом. Молчание начинало уже принимать напряженный характер. Олег только что подумал, что ему следует заговорить, как Вячеслав заговорил сам:

– Тут у ворот сейчас потешная сцена вышла: какая-то гражданка, увесистая такая, растянулась во весь рост. Я бросился ее поднимать, а она налегла всей тяжестью мне на простреленную руку; я подумал – переломает и вывернет скорее; она снова бухнулась, разлила сметану и ну ругать меня на чем свет стоит.

– У вас прострелена рука? Вы разве были на войне? – спросил Олег.

– Да, вот здесь, в локте, пробил меня пуля белых под Перекопом.

– Вы были под Перекопом? – быстро спросил Олег. – Я потому только спрашиваю, что вам на вид не больше двадцати пяти лет.

– Двадцать четыре. Я шестнадцати лет пошел добровольцем.

В темных глазах Олега загорались недобрые огоньки.

– Ах, вот как! – сказал он только и закусил губу.

– А вы на каком фронте были ранены? – спросил Вячеслав.

Олегу показалось, что к нему прикоснулись электрическим током.

– Я? Я тоже в Крыму... Я был завербован белыми, – ответил он, намеренно придерживаясь анкеты.

– Вы? Завербованы? А вы разве не... Я думал – вы бывший офицер.

– Я – бывший офицер? Откуда это у вас такое странное предположение? Я слесарь Севастопольского завода...

Он хотел прибавить: «...и мои документы подтверждают это», но ему противно было дальше плести эту фальшь. Вячеслав молча смотрел ему в лицо, как будто не находил нужным поддерживать подобный разговор, а может быть, вникал в какую-то мысль, внезапно пришедшую в голову... Странное что-то выросло между ними. «Допытываясь, что он обо мне думает, я только увеличу его подозрения, полное равнодушие, скорее всего, может убить их в зародыше», – сказал сам себе Олег. Олег взял вилку и, выживая из кастрюли сосиски,

проговорил с равнодушным видом что-то по поводу их цены и качества и вышел из кухни.

- О чем это вы так задумались, Олег Андреевич? - спросил Мика, увидев, что Олег с остановившимся взглядом ерошит себе волосы и не притрагивается к сосискам, которые стынут перед ним. Олег перевел взгляд на мальчика.

- Мика, ты ничего не говорил обо мне Вячеславу? Ты не проговорился при нем случайно?

- Разумеется, нет! Я не так глуп, как вы, очевидно, думаете. А разве Вячеславу известно о вас что-нибудь?

- Если он ничего не знает точно, то подозревает во всяком случае.

- Что подозревает?

- Что я офицер и скрываю это.

Мика свистнул.

- Вот так история! Нина права, когда говорит вам, что вы себя выдаете с головой манерой вести разговор - все эти ваши «так точно», «здравия желаю», «я вам уже докладывал» - все это слишком офицерское. На вас достаточно взглянуть, чтобы понять, что вы за птица. Уж если Вячеслав вас раскусил, то опытный гепеушник вас разом накроет и все начнется сначала. Вы должны следить за собой.

- Ты прав, мой мальчик. Но это не так-то просто. Привычка - вторая натура. Да, неприятно было бы, - прибавил он - начнут копать в прошлом... выплывет все: Белая армия, отец, брат... Неприятно.

- Это не неприятно - это прескверно было бы! - горячился Мика.

- Пока, однако, ничего еще нет и преждевременно волноваться не следует. Не говори ни о чем Нине.

- Да, да, - подхватил Мика. - Кто знает? Очень возможно, что он и не выдаст вас. Он вообще не болтлив и если не обозлится за что-нибудь, то, наверное, будет молчать. Смотрите, не ссорьтесь с ним.

- Я не думаю, чтобы он способен был выдать из злобы. Скорее из превратно понятого чувства долга. Ведь им там, на партийных собраниях, каждый день вбивают в головы, что шпионить и доносить - первый долг каждого. Вот чего я опасаюсь. Поживем-увидим! - и он принялся за сосиски.

- Вы так спокойны?

- Дорогой мой, я привык ко всему. Теперь меня, право, ничем не запугаешь, не потому, чтобы я был неустрасим, а потому что жизнь опостылила.

Теперь Мика ерошил волосы:

- Да, вам здорово досталось, что и говорить! Наша матушка Россия стала для нас теперь мачехой. А все-таки, чувство к Родине, как бы теперь над ним не издевались, в нас не искоренить. Знаете, я всегда после всех молитв кладу земной поклон за Россию.

- Мне дорого это в тебе, Мика! Я убежден - будь ты постарше в те годы, и ты был бы в наших рядах. Я сделал бы из тебя храброго офицера.

- Да? Вы думаете? - лицо мальчика просияло, но вслед за этим он нахмурился. - Зачем вы так говорите! Вы искушаете меня. Ведь вы же отлично знаете, что от таких слов лопаются на мне монашеская шкура, и из-под нее выходит совсем другой человек, весь во власти ваших военных предрассудков. Олег Андреевич, вы, право, посланы в нашу семью только затем, чтобы искушать меня. Стоит вам только заговорить и начать рассказывать о войне - что-то словно схватит мою душу и заночует она и больно, и сладко.

И он с чувством продекламировал:

Как весело свою провел ты младость:

Ты видел двор и роскошь Иоанна.

Ты рать Литвы при Шуйском отражал,

А я по келиям скитаюсь, бедный инок...

У Олега заблестели глаза:

- Гениально выразил Пушкин в этих словах мятежную молодую душу, - воскликнул он, - но завидовать мне все-таки не в чем, Мика. Ты знаешь в общих чертах, что мне пришлось пережить, не желай того же для себя. Могу тебя уверить, что это кажется интересным только издали. Я на обломках всего мне дорогого. Будем надеяться, что твоя жизнь сложится лучше.

- Но ваша была полна событиями, вы боролись за Россию, вы видели Двор, видели революцию, видели императора и войну... А мне мою молодость нечем будет помянуть.

- Боролся за Россию - да. А ты помнишь, чем это кончилось? С нас, офицеров, срывали погоны, нас расстреливали и убивали, нас клеймили предателями, и те, кто шли за нами в бой и видели, как мы умирали, дали себя распропагандировать и поверили, что мы враги и предатели своего народа. Это - за окопы, за битвы, за раны! Так нас отблагодарили! А теперь те из нас, которые каким-то чудом избежали расстрела, томятся в лагерях... За что? Воспоминания, говоришь ты! А я хотел бы их вырезать ножом из сердца, да не могу, они преследуют меня днем и ночью, с ними невозможно жить!

Мика, не смея пошевелиться, следил глазами, как он шагал по комнате, словно тигр, запертый в клетке.

- Ну, довольно об этом. Ты уроки уже приготовил? - подавляя волнение, спросил Олег.

- Да, - проговорил Мика, ни разу еще не видев Олега в таком возбуждении и не зная, что сказать.

- Давай, проверю задачи.

Они сели к столу, но по тому движению, каким Олег оперся виском на руку, и по выражению его остановившихся глаз Мика понял, что мысли его еще были далеко.

## Глава десятая

*Верь: несчастней моих молодых поколений*

*Нет в обширной стране.*

*А. Блок*

«Declasse [25]» - говорил себе Олег, - раньше я не вполне понимал значение этого слова, теперь только понимаю: выбит из жизни, выбит из привычной среды... все идет мимо». В последние дни он начал замечать, что тоска стала забирать его глубже, чем раньше. В лагере, где он был измучен непривычным физическим трудом и всегда полуголодный, где каждый его жест был под контролем грубых людей, - самообладание ни разу не изменило ему; нервная энергия поддерживала его истощавшиеся с каждым днем силы. Эту энергию вырабатывал, быть может, инстинкт самосохранения, но, так или иначе, он жил в непрерывном нервном подъеме, стараясь не заглядывать внутрь своей души, чтобы не предаться отчаянию. Теперь же, когда обстоятельства его жизни изменились так или иначе к лучшему, когда он получил минимум комфорта и отдыха и возможность располагать двумя-тремя часами свободного времени, тоска его, задавленная усилиями воли, проснулась и заговорила, словно на волю вырвалась. И вместе с ней он ощущал невероятное утомление, бессонницу и потерю сил. Он не хотел обращаться к врачу, понимая, что это была естественная реакция после чрезмерного напряжения всех сил организма, а между тем состояние это было мучительно. Приходя со службы, он бросался на диван с ощущением странной разбитости во всем теле - каждое движение стоило ему усилий, и не было желания приняться за что-нибудь: встать, заговорить, пойти куда-нибудь, да и куда бы он мог пойти? Друзей и знакомых у него теперь не было; общественные места - кинотеатры, рестораны, красные уголки - были приспособлены к вкусам и требованиям новой среды, с которой у него не было ничего общего, и которая была чужда ему и противна. Притом он чувствовал себя еще слишком истерзанным душевно для развлечений и не мог разбудить в себе интерес к кинофильму или опере, которую любил раньше. Часто, очень часто бродил он по городу и как будто не узнавал его. Улицы были

насквозь чужие! Дома, силуэты, лица – все изменилось. Ни одной изящной женщины, ни одного нарядно одетого ребенка в сопровождении няньки или гувернантки. Исчезли даже породистые собаки на цепочках. Серая, озабоченная, быстро снующая толпа! Ни парадных ландо, ни рысаков с медвежьей полостью, ни белых авто, ни также извозчиков, – гремят одни грузовики и трамваи. В военных нет ни лоска, ни выправки – все в одних и тех же помятых рыжих шинелях, все с мордами лавочников, и ни один не поднесет к фуражке руку, не встанет во фрунт, не отщелкает шаг. Хорошо, что они не называют себя офицерами – один их вид слишком бы опорочил это звание! Вот Аничков дворец без караула. Вот полковой собор, но нет памятника Славы из турецких ядер. Вот Троицкая площадь, но где же маленькая старинная часовня? Вот городская ратуша, но часовни нет и здесь. В Пассаже и Гостином дворе зияют пустые окна вместо блестящих витрин... Цветочных магазинов и ресторанов нет вовсе. А вот здесь была церковь в память жертв Цусимы... Боже мой! Да ведь все стены этого храма были облицованы плитами с именами погибших моряков, висели их кресты и ордена... Разрушить самую память о такой битве – какое преступление перед Родиной! Еще одна обида.

Душа города – та, что невидимо реет над улицами и лежит, как печать на зданиях и лицах, – она уже не та. Этот город воспевали и Пушкин и Блок – ни одна из их строчек неприложима к этому пролетарскому муравейнику. И как не вяжется с этим муравейником великолепие зданий, от которых веет великим прошлым и которые так печально молчат теперь!

Вот вам особа женского пола из автомобиля высаживается. Язык не поворачивается сказать «дама»: кокетка, и то много чести, шика никакого. О Боже! Да она с портфелем! И шаг деловой – вон, с какой важной миной вошла в учреждение. Бывшая кухарка, наверное, – ведь теперь каждая кухарка умеет управлять государством. А вот еще портфель – наверно, это студент нынешний, второй Вячеслав Конопляников. А давно ли Белый в своих стихах нарисовал портрет студента: «Я выгляжу немного франтом, перчатка белая в руке...». До чего много этих «пролетариев»! Отчего их так много? Легион! Все это на бред похоже. «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром?» Вот они. Они все здесь, а этот шум – их чугунный топот. Не зря пророчили поэты, но никто не внял им вовремя. Из заветных творений, наверное, не сохранится скоро ничего. И в самом деле, всколыхнется поле на месте тронного зала, а книги уже теперь складывают кострами – завернули же мне это подлое пшено в страницу из Евангелия. Остается появиться белому всаднику или Архангелу с трубой. Может быть, я начинаю сходить с ума? Какое-нибудь последствие ранения?

Несколько раз он заходил в церковь на углу Моховой. Его тянуло туда не потому, чтобы ему хотелось молиться, – со дна опустошенной души не подымалось молитв, но сама обстановка храма, давно знакомая и родная, казалось, одна только не изменилась за эти страшные десять лет. Она напоминала ему детство, переносила в прошлое, смягчала и успокаивала тревожные думы.

В один из своих «выходных» дней он стоял утром в храме, погруженный в печальные думы, и вдруг заметил, что в боковом пределе идет исповедь: как раз в эту же минуту церковный хор грянул «Дева днесь». Тут только он вспомнил, что это канун Рождества. Целый рой воспоминаний детства нахлынул на него и затопил теплой волной. И вдруг охватило желание подойти вместе с другими к Причастию, как ходил мальчиком, когда вместе с другими кадетами пел на клиросе и выносил свечи из алтаря. «Быть может, это, как не что другое вернет мне душевные силы, а то я словно вывихнутый», – подумал он и уже хотел присоединиться к исповедникам, но... Точно страшное земноводное, зашевелившееся на дне прозрачного ручья, зашевелилось на дне его души мучительное воспоминание, побледневшее с годами, но не изгладившееся. Воспоминание о жестокости, проявленной им однажды... Это было в разгар гражданской войны. Отряд, которым командовал Олег, проходил по только что занятой территории, ликвидируя отдельные очаги сопротивления. Они поравнялись со старым помещьем, и Олег увидел березовую аллею и две белые колонны у ворот – все, что так ему напоминало отчее гнездо. Внезапно две старые женщины – по виду служанки – с криком выбежали из ворот и, признав в нем начальника, бросились к нему. Ломая руки и причитая,

они нескладно рассказывали, что, толпа пьяных красных, безобразничавших в поместье, изнасиловали нескольких горничных, а сейчас поволокли за руки барышню... Олег тотчас со своим отрядом ворвался во двор поместья. Отдав приказ оцепить дом, он в сопровождении нескольких солдат вбежал в комнаты. Неизменно вздрагивая от отвращения, вспоминал Олег ту разнузданную картину грабежа, насилия и пьянства, которую он застал в господских комнатах, и тех темных личностей с красными, пьяными физиономиями, с которыми ему пришлось сцепиться. Когда потом он вышел из дома на крыльцо и оглядел уже окруженных его солдатами и обезоруженных «красных», он почувствовал, как мутная злоба клубком душит его за горло. Никогда до сих пор он не чувствовал ее ни в одной битве. Вид этого поруганного семейного очага, этого беззащитного грабежа и зверского насилия впервые вызвали в нем ту классовую ненависть, о которой до 1918 года он никогда не слышал и не подозревал, которая стала чем-то вроде лозунга у большевиков и как заразная болезнь перебросилась и к белогвардейцам. В тот день ее усугубил дошедший до него накануне слух, что Нина, оставшаяся с новорожденным ребенком в имении отца, была окружена там красными, которые убили ее отца и будто бы изнасиловали ее. Он так, наверное, и не узнал, было ли это в действительности, но одна мысль, что так могли поступить с женой его брата, которая кормила новорожденного сына, приводила его в бешенство. Быть может, она так же билась и ломала руки, как эта незнакомая девушка... и ненависть его разрасталась до чудовищных размеров. «Вот он – восставший пролетариат в полной красе! Пьяная банда!» – с омерзением говорил он себе.

В полку с ним был капитан – чех, который имел репутацию жестокого, так как отправлял поголовно на расстрел пленных комиссаров. Он плохо говорил по-русски, и, отдавая этот приказ, обычно очень лаконично выговаривал «за полятно» (то есть приказывал отвести пленных за полотно железной дороги, где в течение последних нескольких дней производились расстрелы). Это «за полятно» вызывало осуждение со стороны более гуманно настроенной части офицерства, в том числе и со стороны Олега. Однако в этот раз, стоя на крыльце перед толпой задержанных им людей, он не чувствовал и следа жалости и сказал негромко, но повелительно, подражая чеху: «За полятно». Это слово как будто стало уже условным шифром и было понятно солдатам, хотя в этом месте никакого железнодорожного полотна не было.

Через полчаса, выезжая из имения, Олег еще раз увидел осужденных им людей, их вели через аллею для выполнения приказа. Они, по-видимому, уже знали, зачем их ведут, их лица больше не были ни красными, ни безобразными, а только злобными и угрюмыми; они уже протрезвели. Особенно запомнилось Олегу одно лицо, лицо юноши его лет – еще безусый паренек, смертельно бледный с расширенными, полными ужаса глазами. Большинство смотрели в землю, один показал кулак Олегу, но этот мальчик приковался к нему глазами – как-будто надеялся, что Олег еще возьмет назад свое приказание. Вспоминая лицо этого юноши, он не мог не чувствовать, что был жесток. Быть может, этого мальчика напоили, и он сам не понимал что делает; быть может, он не участвовал в насилии, а только вертелся около товарищей; быть может, удерживал их... Олег не захотел разобраться ни в чем. О, это «за полятно»! Рассказывать это священнику было бы слишком тяжело и больно. И была еще одна причина: он не верил теперь священникам. Он знал, как их расстреливали сотнями. Один из его товарищей сам видел, как расстреляли разом 140 священников, и невольно возникала мысль, что погибли самые идейные, лучшие, а те, которые остались – среди них добрая половина провокаторов. Рассказывать такую вещь могло означать осудить себя на смерть, не только на смерть. «Они могли затеять гнусный "показательный" процесс, выставляя перед всеми жестокость белого офицера, – думал Олег, – они не дадут труда вникнуть в мои чувства, в то, как гибель моей семьи озлобила меня, не захотят узнать, как я любил солдат раньше, как еще мальчиком любил денщиков отца и брата и потом своего денщика. Я не побоялся бы даже теперь встретиться ни с одним из солдат моего взвода; да ведь эти же солдаты и спасли меня, когда я лежал в бреду. Но "они" ничего не захотят узнать, они будут только кричать о том, что я расстрелял девять человек, что я "белогвардейское охвостье" и "подлое офицерье"», – говорил

он, приводя себе на память любимые выражения советской печати, пересыпавшие тексты даже такого официального органа как «Ленинградская правда».

Он издали видел, как вынесли Святые Дары, и слышал чудную молитву, которую помнил с детства наизусть, она кончалась словами: «...не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзанья Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

«Господи, я был честным боевым офицером, а вот теперь не смею приблизиться, как разбойник. И нет мне утешения даже здесь».

Дома он застал Нину одну; они редко разговаривали задушевно, каждый замкнувшись в своем горе. Но в этот раз он сказал:

- Говорят, что советский служащий имеет право на отпуск после того, как проработает сколько-то месяцев. Если против ожидания я продержусь этот срок и получу отпуск, поеду туда, где был наш майорат и попробую найти могилу мамы.

Нина с удивлением взглянула на него:

- Что вы, Олег! Вам не следует показываться там, да еще с расспросами что и как. Ведь вас признают.

- Крестьяне не выдадут меня. А где могила вашего отца?

- В Черемухах, около деревенской церкви. Но я туда не поеду, нет!

- Как это вышло, Нина, что вы оказались в Черемухах, а не с моею матерью?

- Отец увез меня в Черемухи, когда узнал, что Димитрий у белых. Он говорил, что ему спокойней, когда его дети с ним. Кто мог знать, как сложатся события.

- Александра Спиридоновича арестовали там же, в имении?

- Да. Нагрянули чекисты и комиссар, латыш. Требовали, чтобы отец сдал немедленно оружие, уверяли, будто бы он сносится с белыми, которые стояли на ближайшей железнодорожной станции, а этого не было, я-то знаю. Помню: обступили Мику и стали допытываться, не зарывали ли чего-нибудь отец и сестра. А Мике было всего четыре! Слышим, он отвечает: «Зарывали!» А они ему: «Веди!» Вот он и повел их, а мы с отцом, стоя под караулом, со страхом следили через стеклянную балконную дверь: мы боялись, что он приведет их к месту, где у отца были зарыты сабля и наган. Но оказалось, что он вывел их к могиле щенка под кленами. Никогда у меня не изгладятся из памяти эти минуты... Отец... Его крупная фигура, закинутые назад седеющие кудри и та величавая осанка, с которой он объяснялся с чекистами. Он отказался выдать им ключи от винного погреба... Уж лучше было бы не препятствовать...

- Ваш батюшка, очевидно, опасался, чтобы они не перепились и не начали бесчинствовать, - сказал Олег, и в глазах его она увидела страх - страх за нее, как переживет она тяжесть воспоминания... Она вдруг закрыла лицо руками...

- Так вы, значит, знаете? - вырвалось у нее.

- Я? Нет... ничего не знаю... - но растерянность в интонации выдала его.

Прошла минута, прежде чем она опять заговорила:

- Кучер и садовник отбили меня - все-таки успели спасти, но отец уже был мертв... Из-за них... Из-за этой пьяной банды я потеряла и отца, и ребенка. Тогда... от этого ужаса... от страха... у меня разом пропало молоко.

Он обратил внимание, какой трогательной нежностью зазвенел ее голос при слове «молоко».

- Кормилицы под рукой не было... пришлось дать прикорм, а ему было только три месяца... И вот - дизентерия, - и она уронила голову на руки, протянутые на столе.

Он подошел и поцеловал одну из этих беспомощно уроненных, бессильных рук.

- Вы вот сейчас, наверное, думаете, - проговорила она, поднимая лицо, - «она не оказалась русской Лукрецией и все-таки осталась жить...»

Олег схватился за голову:

- Что вы, Нина! Я не думаю этого! Нет! Ведь тогда еще был жив ваш ребенок - имея малютку, разве смеет мать даже помыслить... и потом вас успели спасти. А вот что мне прикажете думать о самом себе - меня, князя Рюриковича, Георгиевского кавалера, офицера, выдержавшего всю немецкую войну, меня хамы гнали прикладами и ругали при этом словами,

которые я не могу повторить. Нина, я помню один переход. Я отставал, у меня тогда рана в боку не заживала – она закрывалась и снова открывалась... конвойный, шедший за мной, торопил меня... потом поднял винтовку: «Ну, бегом, падаль белогвардейская, не то пристрелю, как собаку!» И я прибавлял шаг из последних сил...

Теперь она посмотрела на него с выражением, с которым он перед этим смотрел на нее.

– Не будем говорить, – прошептала она, утирая слезы.

– Не будем.

И каждый снова замкнулся в себе.

В следующий свой выходной день Олег с утра вышел из дома. Накануне он получил «зарплату» и в первый раз мог располагать ею по своему усмотрению, покончив с уплатой долгов Марине и Нине. Пока долги не были сполна уплачены, он тратил на себя ровно столько, чтобы окончательно не ослабеть от голода. В это утро, сознавая себя впервые свободным от долгов, он решил, следуя советам Нины, пройти на «барахолку» и поискать себе что-нибудь из теплых вещей, так как до сих пор разгуливал по морозу в одной только старой офицерской шинели с отпоротыми погонами; в этой шинели он проходил все шесть лет в лагере и выпущен был в ней же. Январский день был морозный, яркий, солнечный, в нем была жизнерадостность русской зимы, которая какой-то болью отзывалась в сердце Олега. Войдя на «барахолку», он тотчас попал в движущуюся, крикливую, беспорядочно снующую толпу. Выискивая фигуру с ватником или пальто, он ходил среди толпы, когда вдруг до слуха его долетел окрик:

– Ваше благородие, господин поручик!

Совершенно невольно он обернулся и увидел в нескольких шагах от себя безногого нищего, сидевшего на земле около стены дома. В нем легко было признать бывшего солдата, и даже лицо его было как будто знакомо Олегу; впрочем, он так много видел подобных лиц – и это было такое типичное солдатское лицо. Нищий смотрел прямо на него, и не было сомнения, что этот возглас относился к нему. Олег подошел.

– Из какого полка? – спросил он. И в ту же минуту подумал, что безопаснее было бы вовсе не подходить и не откликаться на компрометирующий оклик. Если бы говоривший не был калека, он так бы и сделал.

– Лейб-гвардии Кавалергардского, Ефим Дроздов, из команды эскадронных разведчиков! А вы – господин поручик Дашков? Я с вами на рекогносцировки хаживал.

– Тише, тс... смеешься ты надо мной, что ли?

– Никак нет, ваше благородие. Очень даже рад встрече. Поверите, даже дух захватило, как вас увидел. А я ведь вас в усопших поминал, недавно еще записочку подавал за вас и вашего братца. Замертво ведь вас тогда уносили в госпиталь.

– Да, я тогда долго лежал, ранение было тяжелое, но с тобой, я вижу, обошлись еще хуже, бедняга, – и Олег наклонился, чтобы положить ему в шляпу десятирублевую бумажку.

– Очень благодарен, ваше благородие. Пусть Бог вас вознаградит за вашу доброту! А меня ведь в тот же день, что вас, немногим позжехватило; думал, помру, а вот до сих пор маюсь. Теперь бы уж я и рад, да смерть про меня забыла.

– Чем же ты живешь, мой бедный?

– Да промышляю понемногу – то милостынькой, то гаданьем; книга тут мне одна вещая досталась от знакомого старичка; по ей судьбу прочитать можно. Сяду, раскрою – подойдут, погадаю, заплатят. Не погадать ли и вам, ваше благородие?

– Нет, благодарю, я свою судьбу и сам знаю, – и он усмехнулся с горечью.

– А то перепродам что, – продолжал солдат, – вот и сейчас товарник хороший есть, как раз бы для вас.

– Что именно?

– Да товар такой, что на людях не покажешь, за него пять лет лагеря по теперешним порядкам. Я уже много раз приносил его с собой на рынок, да боязно и предлагать. Не знаешь, на кого нападешь, на лбу у человека не написано. Уж очень теперь много шпииков развелось, ваше

благородие.

- Оружие?

- Револьверчик, хороший, новенький, - не желаете ли? Сосватаю.

Словно от капли шампанского теплота разлилась по жилам Олега - как давно уже он не держал оружия, а ведь он с детства привык считать его символом благородства, власти и доблести. Первое время, после того как он лишен был права носить оружие, ему казалось, что у него отняли часть его тела, и вот теперь предоставлялась такая редкая возможность!

- Пять лет лагеря - совершенно верно! А за сколько продашь?

- Да сколько дадите, ваше благородие. Цены на его я не знаю, никогда до сих пор не продавал. И теперь не слухавлю - хочу сбыть с рук, больно опасно держать. Ну, так чего я буду запрашивать? Может, он вам и беду принесет. Сколько не пожалеете, столько и дайте.

Олег вынул портмоне.

- У меня при себе девяносто, довольно тебе?

- Премного благодарен, ваше благородие.

- Бери, только помни, ты не проговоришься никому, что ты меня видел и что я здесь. И о револьвере тоже. Слышишь? Полагаюсь на твою солдатскую честь.

- Так точно, ваше благородие, - и солдат протянул ему что-то обернутое в тряпку.

- Я не могу здесь развернуть его. Он заряжен? В порядке он?

- Да уж будьте благонадежны. Заряжен.

- Прощай, - Олег протянул было ему руку, но солдат быстро поднес свою к истрепанной кепке, похожей на блин. И Олег невольно ответил ему тем же жестом, который в нем был настолько изящен, что разом изобличил бы его гвардейское прошлое опытному глазу. После этого он, не оглядываясь, быстрыми шагами ушел с рынка, говоря себе, что осторожность требует удалиться как можно скорее от места неожиданной встречи и замести следы. Чтобы проверить, не следят ли за ним, он свернул в проходной двор и, только убедившись, что никто его не сопровождает, направился к дому. «Теперь, - думал он, - я уже не попаду живым в их руки!»

Письменного стола у Олега не было, и он невольно задумался, где будет держать револьвер, не имея своего угла. Только днем, когда Мика ушел, он заперся в комнате, чтобы осмотреть револьвер, и, убедившись в его полной исправности, перезарядил вновь. Целый рой воспоминаний детских и юношеских возник в нем, пока он возился с револьвером. Он задумался, держа его в руке. Нерешительный стук в дверь прервал его мысли. Сунув поспешно револьвер подушку дивана, на которой он спал, Олег подошел, чтобы отворить дверь, и увидел на пороге незнакомую девушку в пальто и меховой тапочке, всю засыпанную снегом, свежее личико было розово от мороза, во взгляде ее он заметил нерешительность.

- Чем могу служить? - спросил он, беря руки по швам. Ему одного взгляда на эту девушку было достаточно, чтобы определить, что она принадлежала к несчастному разряду «бывших», и это тотчас вызвало всю его изысканную вежливость.

- Простите, я не туда попала... Я искала Нину Александровну Дашкову.

Его собственная фамилия, произнесенная при нем, болезненно резанула его слух.

- Нина Александровна дома. Сию минуту я провожу вас к ней. Если желаете снять пальто, пожалуйста, здесь, - сказал он, выходя к ней в коридор, а сам еще раз мельком взглянул на нее, потому что она показалась ему замечательно хорошенькой. В полутемном коридоре на него серьезно взглянули большие глаза из-под длинных ресниц, на концах которых повисли снежинки.

«Знакомая Нины, интересно, кто она?» - подумал он и постучал в дверь Нины.

- Ася, вот неожиданность! Войдите, милая, - воскликнула Нина, появляясь на пороге.

«Ася! Что за милое имя! В нем что-то тургеневское!» - подумал Олег. Ему захотелось войти к Нине, чтобы взглянуть еще на заинтересовавшую его девушку и проверить впечатление. Он вернулся, было, в свою комнату, к безотрадным думам, но не высидел и четверти часа. Придумав какой-то предлог, он направился к Нине. «Там сидит Марина Сергеевна, она любит болтать со мной и, наверно, удержит в комнате», - думал он.

Случилось, как он ожидал: его представили Асе, и через несколько минут он уже участвовал в общем разговоре, незаметно оглядывая Асю: «Благородная посадка головы... Шейка длинная и горделивая, как стебель у лилии... глаза, как лучи, мерцают из-под ресниц, а на висках голубые жилы... Коса – это стильно! Мне так приелись уже стриженные женские головы и бритые затылки! Тонкие запястья и тонкие щиколотки – это тоже очень важно! Но за всем этим остается еще какое-то очарование!» И перевел глаза на Нину и Марину, чтобы уяснить, в чем оно заключается. Их лица тотчас показались ему изношенными и банальными – лица поживших уже женщин – рядом с этим лицом, свежим как весенний цветок. У обеих дам были по-парикмахерски уложены волосы, слегка подбриты брови и накрашены губки, а в этом полудетском лице не было ничего неестественного, как печать лежало на нем незнание своих чар, своей привлекательности. Ненакрашенные губы казались немного бледными, незавитые волосы скромно отведены за ушки и открывали прозрачный лоб, особая чистота линий сквозила в рисунке этого лба, губ и носа, только ресницы бросали выразительную тень. Платье спускалось ниже колен, хотя мода разрешала открывать их: Олегу показалось, что даже сидела она особенно изящно и скромно и что ее, с ее лицом, нельзя даже вообразить себе в развязной позе или с папиросой. В ней было что-то специфическое от девушки из дворянской семьи лучшего тона. Даже в ее разговоре, который пересыпали слова «если бабушка позволит», «бабушка сказала», было что-то юное, невинное, полудетское...

«Она – Бологовская, очевидно, племянница того Бологовского – амап Нины, стало быть, безусловно нашего круга... Но ведь теперь даже в лучших семьях упадок и распущенность. Десять лет назад я бы не удивился, встретив такую девушку, но теперь... откуда могла взяться теперь такая!» И он стал прислушиваться к разговору.

– Бабушка всегда очень мужественна, – говорила Ася, – она никогда не жалуется и не плачет, но я знаю, как ей тяжело: дядя Сережа один остался из троих детей.

– У вас нет отца? – очень мягко спросил Олег.

– Папа расстрелян красными в Крыму. Папа был полковник, – ответила Ася (она, по-видимому, считала, что с человеком, которого представила Нина, можно быть откровенной).

– А вы помните отца, Ася? – спросила Нина.

– Помню, мне было уже десять лет, когда папа погиб, – ответила та.

– Как же вам объяснили его исчезновение? – спросила Марина. – Десятилетняя девочка еще дитя: не могли же вам сказать правду?

Ася, припоминая, нахмурила лоб, на который ни горести, ни заботы не наложили еще следа:

– Не помню... тогда столько было перемен... сказали, что убит. Я уже могла понять это и знала, что не увижу ни его, ни маму.

– Как? У вас матери тоже нет?

– Нет, мама умерла от сыпняка во время гражданской войны. Тогда же умер и мой брат Вася, а я была с ним очень дружна, – в голосе ее зазвенела печальная нота.

Наступила минутная пауза. «Как тогда, когда говорили про мою маму», – подумал Олег, и ему показалось, что этот траурный фон еще больше оттеняет белоснежность девушки и придает что-то трогательное ее образу. «Лилия на гробнице!» – подумал он, а между тем лицо Аси засветилось счастливой улыбкой:

– Воробушки! – воскликнула она, и в голосе ее зазвучало столько неподдельного оживления, что Олег и Нина с невольной улыбкой взглянули сначала на нее, а потом на окно, где воробьи суетились на карнизе за стеклом.

– Молодой душе никакое горе не мешает радоваться жизни, – сказала Нина, любуясь девушкой.

Ася слегка покраснела.

– Я себя упрекаю за это, засмеюсь, а потом стыдно становится.

– Напрасно, – сказал Олег. – В том, что юная душа не потеряла жизнерадостность при первом же испытании, нет ничего дурного. Я уверен, что ваш дядя только бы порадовался, услышав ваш смех.

Ася подняла на Олега глаза и в течение секунды не отводила их. «Ты думаешь? Я тебе верю. Я верю, что ты желаешь мне добра. Я всем верю», – сказал этот взгляд.

– Вся олицетворение весны, не зря Сергей Петрович вас называл весною, – сказала Нина, с присущей ей светскостью.

– Дядя не называл меня весной, а только весенней почкой, – невинно возразила девушка. – Это потому что, однажды в апреле мы гуляли вокруг Арсенала в Царском Селе, а там кусты ольхи стояли все в розовых почках, готовые распуститься, такие настороженные; я целовала их, а дядя Сережа смеялся, уверяя, что я на них похожа.

«Весна! – подумал Олег. – Даже странно думать, что она существует и продолжает радовать кого-то». И на одну минуту он вообразил себе лес в имении отца, себя юношей и своего понтера Рекса, с которым ходил на охоту. Как хороша бывала весна в березовых перелесках, и как радовал его тогда талый снег, первые фиалки, пробивающаяся трава... Куда девалось все это?

– Я тоже люблю Царское Село и особенно Знаменскую церковь, – сказала Марина и покосилась на Олега своими черными глазами, но не встретила его ответного взгляда, потому что он смотрел на Асю, и это ей показалось обидно.

– Знаменская церковь особенная, – подхватила Ася. – Мы всегда туда заходим из парка, я приношу ветки и листья и ставлю свечи.

– Сергей Петрович говорил мне, Ася, что вы неисправимая патриотка и постоянно бегаете ставить свечи за спасение России, – сказала Нина.

Щеки Аси вспыхнули ярким румянцем, как будто ее уличили в чем-то постыдном.

– Ну, зачем дядя Сережа говорил так! Вот он всегда дразнит меня. Нельзя рассказывать о таких вещах!

Марина взглянула на Олега, и ей показалось, что светлые мягкие лучи пошли из его глаз, опять повернувшись на девушку. А у той от смущения даже слезы выступили на глаза.

– Я не хотела смущать вас, Ася, – сказала Нины, – мы не смеялись над этим, напротив: и мне, и Сергею Петровичу это показалось очень трогательно и мило.

– Дядя Сережа очень любит шутить, а я не люблю шуток. У меня душа живет где-то очень близко, совсем снаружи, и до нее доходит все, о чем говорят, даже шутя, и от этого бывает очень больно.

– Ах вы, девочка моя милая! Душа живет снаружи... какой, в самом деле, тяжелый случай! – сказала Нина, привлекая к себе Асю и целуя ее. Олег улыбнулся.

«Это я в первый раз вижу его улыбку!» – сказала себе Марина.

– Вот что, Ася, – сказала Нина, – я столько слышала от Сергея Петровича о вашей музыкальности, что я не выпущу вас, пока вы нам что-нибудь не сыграете!

«Неужели она играет? Как пойдет к ней музыкальность», – подумал Олег. Она не стала ломаться и послушно пошла вслед за другими к роялю в соседнюю комнату. Он проследил за ней глазами – ему захотелось увидеть ее фигуру. «Тоненькая, как козочка... Вся очаровательная, вся милая, вся!»

Первый звук рояля был нежный и чистый, как голос души, которая залетела в комнату из лучших сфер. Олегу показалось, что этот звук касается обнаженных нервов его сердца. Он встал со стула и пересел в темный угол комнаты на диван; Марина, сама не зная почему, отметила этот жест. «Warum? – это кажется, Шумана... Warum? Зачем?» Она уже кончила «Warum» и после минутной паузы начала отрывок из Крейсleriаны, а потом Арабески, но для Олега все эти звуки сплетались по-прежнему в грустно повторяющийся вопрос: «Warum?»

«Зачем? О, зачем все так сложилось? Моя жизнь, словно под колесо попала. Боже мой, что "они" из нее сделали!»

Как будто музыка отворила давно закрытый наглухо самый потайной уголок его души, тот, в котором еще оказались живы и закружились вереницей, как феи в руинах, мечты о счастье. Ведь и он мог бы быть счастлив и любить девушку с таким лицом, как эта, любить той возвышенной и чистой любовью, о которой он мечтал когда-то в юности под обаянием

любимых поэтов. Эта затаенная мечта, не связанная тогда еще ни с чьим образом, неясная, но уже смутно предчувствуемая, ожидаемая, реяла над ним, пока кровавый туман не застлал собой всю его жизнь. О, зачем, зачем все это так сложилось!

Он слушал и не сводил глаз с чистого профиля Аси. Несколько раз он пробовал отвести глаза, но они тотчас снова поворачивались на нее, как будто притягиваемые магнитом. И он не замечал, что Марина в свою очередь не спускала с него взгляда, в котором он мог бы прочесть многое, если б хотел. Когда Ася кончила на каком-то обрывистом прекрасном аккорде и встала, его охватило отчаяние, что сейчас она уйдет, и он снова останется в той же холодной пустоте, из которой не было выхода.

Ася подошла к Нине и подставила ей для поцелуя свой лоб. Он слышал, как Нина говорила:

- Тот же лиризм, что у Сергея и редкое туше.

Когда он подавал ей пальто и надевал ботики, он чувствовал, что руки его почему-то дрожали, и не мог совладать с непонятным ему самому волнением. Уже у самой двери Ася повернулась к Нине и, внезапно краснея, сказала:

- Бабушка просила вам передать, чтобы вы непременно навестили ее и что горе легче переносить вместе.

По-видимому, она только теперь собралась с духом сказать то, зачем ее прислали.

- Передайте Наталье Павловне, что я приду и что я очень тронута и благодарна за приглашение и за то, что она отпустила вас ко мне, - сказала Нина, целуя Асю, а Олегу осталось только сказать: «Честь имею кланяться», - и закрыть за ней дверь. И ему тотчас показалось, что в комнате сделалось темнее, как только не стало светлого лба и глаз, похожих на фиалки.

- Не помните ли вы, в каком это романсе Вертинский поет о ресницах, в которых «спит печаль»? - спросил он Нину.

Она ответила с досадой:

- Ох, уж эти мне гвардейские вкусы! Романсы писали такие гении как Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, а вы мне будете припоминать Вертинского! - и ушла к себе с Мариной.

- Ну вот! Я так и знала! - воскликнула эта последняя, как только они оказались вдвоем. - Я так и знала, что он не придет сюда; ему уже не интересно с нами, когда она ушла!

Нина с удивлением взглянула на подругу.

- Да, да - она понравилась ему! Неужели ты не заметила? ненаблюдательна же ты! Он, всегда такой мрачный, сдержанный, был так разговорчив, так оживлен! Его глаза поворачивались за ней, и только из приличия он обращался иногда к тебе и ко мне. А как он смотрел на нее, когда она играла, как подавал ей пальто, как надевал ботики... Павлин, который распускает свой хвост!

- Да, в самом деле... Пожалуй, что-то было...

- Вот видишь! А Вертинский? Эти ресницы... Господи! Неужели еще это досталось на мою долю!

- Марина, будь же благоразумна! Чего ты хватаешься за голову? Ничего серьезного еще нет. И потом... для меня это новость, что ты мечтаешь о взаимности... А муж? Разве ты решишься на все? - она взяла руки подруги.

- Нина, тебе тридцать два года, а рассуждаешь ты как в восемнадцать. Конечно, если я замечу в нем хоть искру чувства, я... пойду на все! Не говори мне о необходимости сохранять верность моему Моисею. Я не рождена развратницей и могла бы быть верной женой не хуже других, но теперь, когда жизнь так надругалась надо мной, когда я волею судеб оказалась за старым жидом - я не хочу думать ни о долге, ни о грехе. Пропадай все, - она махнула рукой. - Все, за минуту счастья! И вот только что я стала надеяться, только начало возникать что-то задушевное, как вдруг эта Ася! А ты, словно нарочно, еще удерживаешь ее, усаживаешь играть... Обещай мне, клянись на образ, что ты сделаешь все, чтобы он не увидел ее больше, что ты не будешь звать ее и ни в каком случае не представишь его старухе Бологовской. Обещай!

- Успокойся, Марина, все будет, как ты хочешь, он будет твоим, я уверена.  
- Полюбит меня, ты думаешь?  
- Оттенки чувства его предсказывать не берусь, а покорить его, я думаю, труда не составит... Это верно, что нам с тобой не восемнадцать лет, и мы отлично понимаем, что молодой мужчина после заточения, где его морили без женщин семь лет, вряд ли устоит против искушения... А привязать его потом к себе всегда в твоей власти.

Марина тоскливо заломила руки:

- Господи, это все так поворачивается, точно я какая-то Виолетта, которая соблазняет неиспорченного юношу. Но разве я такая? Нина, скажи, ведь я же не такая?

- Ты не Виолетта, да и он не мальчик, - сказала Нина.

Когда Марина ушла, Нина быстро прошмыгнула к роялю, в знаменитую проходную; эта комната, давно не отремонтированная, с грязными обоями и грязным потолком, холодная и мрачная, эта разнородная, тяжелая мебель из числа той, которая не уместилась к Надежде Спиридоновне, пыльные бархатные портьеры и китайские вазы с сухими желтыми травами, которым, наверное, было лет двадцать, но которые старая тетка запрещала выбрасывать - все это было какое-то затхлое, ветхое, угрюмое. Но не это заставило сжаться сердце Нины: здесь все слишком напоминало Сергея Петровича, с которым она проводила около рояля так много времени по вечерам, когда пела ему вновь разученные романсы и пыталась аккомпанировать, если он брался за скрипку. Сколько здесь было переговорено о деталях исполнения и о музыке вообще! Казалось бы, комната не располагала к вдохновению, но они приучили себя не замечать обстановки. Это он подарил ей маленькую лампочку, которая стоит на рояле, и сам подвел к ней электричество. Часы за роялем были самыми лучшими в ее безотрадном настоящем, теперь и они отняты. Он теперь без музыки - как он по ней тоскует! Наверное, больше, чем по любимой женщине.

Посидев некоторое время за роялем с опущенной головой и руками на коленях, она вздохнула и заставила себя взяться за ноты - нельзя было предаваться унынию! Ее с утра тянул к себе один романс, слышанный ею накануне; весь день он заполнял ее воображение, возвращаясь из Капеллы, - она сделала крюк, чтобы зайти в нотный магазин и купить его, вот он. Она положила руки на клавиши, и пробуя разобрать аккомпанемент, стала напевать. Спела раз, спела еще... Голос звучал все лучше и лучше, но почему-то она никак не могла сосредоточиться и войти в эту вещь. Из-за этого текста и этой музыки упорно поднимались другие звуки и другие слова. Она не могла больше противиться их обаянию, она вскочила и, порывшись на пыльной этажерке, вытащила старые, пожелтевшие листки, поставила на пюпитр, расправила и запела. И даже голос ее задрожал от прорвавшегося откуда-то из глубин чувства, и слезы зазвенели в нем:

Я помню чудное мгновенье -  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты!

Она пела и скоро почувствовала, что вся находится под впечатлением девического светлого образа и восторженных мужских глаз. Она стала перебирать в памяти - откуда идет это впечатление, которое так вдохновило ее, и вдруг поняла: да ведь это Ася и Олег, который не сводил с нее глаз... Углы в этой комнате были всегда темные, там водились пауки; бывало даже жутко иногда, когда она оставалась одна, когда портьеры как будто шевелились и темнота выползала из-за них. Кроме того, здесь всегда было холодно, вот и сейчас она вся слегка вздрагивает, но, может быть, это не от холода, а просто от увлечения - это тоже бывает: слишком хороша эта тонкая, нежная романтика слов и музыки... Бедный Олег! Ведь и он мог бы сказать о себе: «В глуши, во мраке заточенья, тянулись тихо дни мои, без Божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...» Бедный Олег! Он еще молод. Так понятно, что у

него сердце загорелось, когда он смотрел на это юное, прелестное создание. Его очарование Асей было гораздо лучше и чище, чем то, чего от него хотела Марина. Там было что-то от Духа, а здесь... Зачем же насильно обламывать его, когда он и так уже покалечен жизнью? Она вспомнила свой разговор с Мариной, и он вдруг показался ей таким пошлым сейчас, когда она была как бы вознесена над привычным уровнем, когда музыка окрылила, утончила ее, когда она почувствовала себя втянутой в красоту этого чувства... «Кажется, я ненадежная союзница», – подумала она.

Олег слушал ее пение из своей комнаты и, чтобы лучше слышать, открыл дверь и стоял, прислоняясь к косяку. «Как она замечательно исполняет, – думал он, – это все прямо ко мне». И он весь отдался во власть тоскливых ощущений, которые все острее и острее сжимали грудь. «Нет, мне лучше всегда быть занятым, на ненужной и скучной работе, но занятым. В свободное время меня одолевают мысли и воспоминания, а они для меня, как острие ножа», – думал он и даже обрадовался, когда Нина кончила петь и все стали собираться спать. Но ночь не принесла ему успокоения: в темноте и тишине, установившейся в доме, как будто с новой силой пошел на него в наступление его душный мир. Музыка разбудила все до одной мучительные думы; они росли и роились, как призраки, и над всем поднималась тоска о загубленной жизни. Ему мерещилась Ася: ее образ как будто олицетворял собою все те чистые земные радости, которых он был лишен. Он видел ее перед собой как живую: видел ее лицо, глаза, волосы, ее плечики, откиннутые несколько назад, ее тонкую фигурку, как будто созданную для движения, он слышал ее голос. А в голову ему стучали слова романса – в них была вся та красота идеальной любви, которая с утра преследовала его с силой искушения. «Лучше бы я не видел ее! – думал он. – Увидел и потерял последний покой. Если бы я не жил под чужим именем и был спокоен, что меня не прогонят завтра же не только с работы, но вообще из города, я просил бы Нину теперь же представить меня ее бабушке, а потом сделал бы предложение. Тогда я был бы счастлив хоть в личной жизни. Но разве я смею даже мечтать об этом, когда мои свобода и благополучие висят на волоске». Неожиданно ему в голову пришло циничное соображение: «А может быть, это все чисто физиологическое явление? Я еще слишком молод, чтобы вести аскетический образ жизни, и вот одного взгляда на красивую девушку было довольно, чтобы возмутить мое оцепенение». И едва он это подумал, как воображение нарисовало ему нечто, что через минуту он уже отогнал от себя с чувством жгучего стыда: ее нельзя было оскорбить даже мысленно, ничто грубое и земное не должно было касаться ее. Он сам себе показался грязен и гадок. «Она весталка, а я... я грубый язычник. Что она сейчас делает? Наверное, спокойно спит в белой кровати и не подозревает, что вывихнула всю душу одинокому человеку. Она ставит свечи за Россию, милое дитя! Но что могут сделать вздохи ребенка, когда вся страна бессильна!...»

Оклик Мики неожиданно оборвал ход его мыслей. Усевшись на постели, Мика крикнул ему:

– Да что вы все мечтаете и вздыхаете? Спать не даете! Блоха вас кусает – зажгите свет и поймайте!

Олег несколько минут молчал.

– Тоска... – проговорил он тихо и прибавил: – Послушай, а ты бы мог говорить со мной немного повежливее?

Но Мика оставил без внимания последнее замечание.

– Тоска? – повторил он иронически. – Встаньте и прочтите молитву, коли так. Тоска – тоже искушение дьявола, не лучше всех прочих. От нее верное лекарство: «Да воскреснет Бог» – вот что!

Мика повернулся на другой бок и всхрапнул.

«Он со своим аскетизмом становится нетерпимым, – подумал Олег. – Молиться я уже разучился, лучше постараюсь заснуть».

Но ему не суждено было в эту ночь заснуть – пронзительный звонок внезапно прорезал тишину комнаты. «Звонок среди ночи! Что-то недоброе!» Олег сел на диване, прислушиваясь; что-то часто и тяжело стучало – это тревожно билось и замирало измученное сердце.

Звонок повторился. Он вскочил и стал торопливо набрасывать одежду. «Они! Кто еще в такое время? На рынке проследили или Вячеслав выдал?... Опять лагерь... Нет, довольно!» С лихорадочной поспешностью он выхватил револьвер. «Теперь, или уже будет поздно! Нет у меня ни Родины, ни имени, ни семьи, ни деятельности, ни славы! Пропадай бесполезная жизнь!» Он приставил револьвер к виску: «Господи, прими мою душу», – и спустил курок. Но выстрела не последовало. «Что такое? Разряжен! Но каким же образом? Ведь я сам заряжал его! Или я начинаю сходить с ума, или сам не помню, что делаю!»

Дверь распахнулась, и в комнату без стука ворвалась Нина в халатике с растрепавшимися волосами:

– Гепеу! Боже мой – револьвер! Олег, не смейте! Отдайте его, сейчас же отдайте! Безумный, безумный, что вы делаете! Аннушка, сюда! Помогите! – и она повисла на его руке.

Звонок повторился в третий раз, Олег вырвал руку.

– Он не заряжен. Пустите, Нина, – и, подойдя к отдушине, открыл ее и засунул туда револьвер.

– Олег, что будем мы говорить? Что делать?! Они за вами или за мной! Я знала, что это будет, – она хваталась за голову.

– Успокойтесь, Нина, возьмите себя в руки. Теперь уже поздно что-нибудь предпринять. Идемте. Одевайся, Мика!

Мальчик смотрел на обоих широко раскрытыми глазам и послушно потянулся за бельем. Они вышли в коридор; оттуда было видно, что в кухню входят незнакомые люди с револьверными кобурами. Вячеслав и дворник открыли им.

Нина остановилась.

– Олег, если за мной, так Мика... Вы Мику... – начала она прерывистым шепотом.

– Да, Нина, конечно! Но, даст Бог, не за вами, уж лучше, чтоб за мной!

Явившиеся люди потребовали «квартироуполномоченного». Нина, бледная как полотно, обрывающимся голосом отвечала на их вопросы, что из посторонних, непрописанных лиц в квартире никто не ночует. Потребовали документы, жильцы стали их предъявлять. Подавая свои, Олег закурил и спросил, усиливается ли мороз; он тем более старался быть спокоен и небрежен, что чувствовал на себе замирающие взгляды Нины и Мики. Ему казалось, что и Вячеслав внимательно наблюдает его. Документы протянули ему обратно и заявили, что обойдут квартиру, дабы установить, не присутствуют ли посторонние лица. Кого они искали – оставалось неясным. И Олег, и Нина страшились убедиться, что ищут бывшего князя гвардейского офицера Дашкова. Только когда непрошеные гости двинулись из кухни в коридор, дворник и Нина спохватились, что Катюша не появлялась в кухне и не предъявляла своего удостоверения личности. Они поспешили сказать, что забыли еще одну жилицу и стали стучать ей в дверь. Катюша выползла с заспанными глазами, полураздетая – она одна во всей квартире не слышала возни и суетни, поднявшихся в доме, и теперь, к удивлению всех, облизываясь и улыбаясь, объявила, что у нее ночует ее подруга, с Васильевского острова. Агенты тотчас потребовали «подругу» и, когда та назвала себя, объявили ей, что уже являлись к ней на Васильевский остров, где им сказали, что ее следует искать на Моховой, 13; затем велели неведомой девице следовать за собой и пошли к выходу. Как только дверь за ними захлопнулась, Нина стала истерически кричать на Катюшу, глаза которой еще слипались.

– Как вы смеете? Вы обязаны были известить меня! Как вы смеете приводить сюда спекулянтов или проституток! Так переволновать всех! Вам все нипочем, а вы посмотрите, на кого мы похожи! – и разрыдалась.

Дворничиха бросилась подать ей воды. Понемногу взбудораженная, словно муравейник, квартира стала успокаиваться; скоро в кухне остался один Олег. Он сел на табурет и, облокотив руки на стол, опустил на них голову. Он вдруг ощутил страшную усталость, очевидно, в результате чрезмерного нервного напряжения и минуты под дулом револьвера. Голова у него кружилась. «Вот мое существование все под дамокловым мечом, и так без просвета», – думал он. Дворничиха вошла в кухню и, увидев его одного с лицом, закрытым руками, подошла.

- Устал, поди! Накось, какая передряга. Ах, они - воры, разбойники! Изматывают человека, да еще пугают без толку. Может, тебе чайку заварить крепкого? Согреешься, заснешь лучше!

- Благодарю вас, мне ничего не нужно.

Но она не уходила.

- У меня вот сыночек твоих лет был бы, да белые под Псковом уходили. Может, через то мне тебя и жалко. Другой раз, как я погляжу, какой ты худой да бледный, да завсегда невеселый, - так за сердце и схватит. Надо ж судьбу такую: и война-то, и раны-то, и тюрьма-то, и все напасти на человека, да еще и пожалеть-то некому.

Олег так давно не слышал задушевного тона, что от этих простых, бесхитростных слов что-то поднялось к его горлу, и непрошенные слезы готовы были навернуться на глаза. Он молчал, не отрывая рук от глаз.

- Матери-то нет у тебя?

- Нет, у меня нет матери, - с усилием ответил он.

- А ты бы хоть женился, все ж лучше, чем одному, было б хоть кому о тебе позаботиться.

- Кто за меня теперь пойдет, Анна Тимофеевна? Кому я такой нужен? Оборванный, прострелянный, кандидат на высылку; У меня даже угла своего нет.

- Не всякая девушка выгоду соблюдает. Другая - пожалеет, захочет пригреть и утешить. Ты еще молод и пригож - понравиться можешь.

Он не говорил ничего, погруженный в безотрадные мысли.

- Так принести чайку-то?

- Нет, Анна Тимофеевна, спасибо на добром слове, пойду лягу.

Когда он пошел к себе, то, не раздеваясь, бросился на диван. Мика, уже забравшийся снова под одеяло, исподлобья наблюдал его, не решаясь заговорить. Глаза их встретились.

- Мика, ты разрядил револьвер? Отвечай!

- Не я. Вячеслав. Я не сумел бы.

- Как, Вячеслав? Так он, стало быть, знает, что я держу оружие? Мика, в уме ли ты!? Да разве можно вмешивать в такое дело партийца!

- Я не стал бы ему рассказывать. Я уронил перочинный нож под диван и попросил Вячеслава помочь его отодвинуть, а револьвер выпал. Ведь я не мог же предполагать! Вячеслав повертел его в руках и говорит: «Ну, заряженным я его не оставлю», - и вынул и пулю, и патрон. И выходит, что правильно сделал.

- Отчего же ты не рассказал мне?

- А вам жаль, что вы не сделали трупом? Вот из-за недоразумения какого-то, из-за этой дуры, Катюши, вы бы лежали сейчас с простреленной головой. А ведь самоубийство - грех непростительный, за самоубийц даже не молятся. Вы это понимаете?

- Нет, Мика, я этого не понимаю; от твоих слов веет схоластикой. Бог и святые должны видеть насквозь мое сердце и видеть все, что заставило меня взяться за револьвер. Если есть вечная жизнь, тогда где-то в сферах существует душа моей матери, и она будет молиться за меня, дозволено это или не дозволено по церковным канонам. Это все, что я знаю, и, пожалуйста, помолчи, Мика, не вздумай читать мне проповедь.

Мика озадаченно ерошил волосы.

«Это все случилось, пока я любовался ею. Из-за нее я забыл о револьвере, и это спасло мне жизнь», - подумал Олег.

- Можно? - послышался за дверью голос Нины. Олег быстро спустил ноги с дивана.

- Лежите, пожалуйста, лежите, - сказала она, входя, и села к нему на край дивана, - я так переволновалась, что не могу заснуть. Какие мерзавцы! Если они искали определенное лицо, эту девицу, зачем не назвали ее сразу? Зачем проверяли документы у мужчин?

- Ах, Нина! Неужели вы не понимаете - это их излюбленная система заводить неводом - авось попадетсЯ золотая рыбка; и в самом деле, едва не попалась. - Он злобно усмехнулся.

- Олег, я хотела вам сказать... Мне невыносимо думать, что вы покушались на свою жизнь! Обещайте мне не повторять эту безумную попытку.

- Меньше всего я хочу обсуждать это, - сказал он.

- Олег, послушайте. Вы младший брат моего мужа, могу я хоть раз говорить с вами как старшая сестра?

- Как сестра? - переспросил он, и в его интонации прозвучало подчеркнутое удивление.

Она поняла, что он хотел сказать этой интонацией: почему же раньше, когда я пришел к тебе как брат, ты была так не по-родственному холодна со мной? И этот невысказанный, но заслуженный упрек, вызвал в ней укол совести. Несколько минут она молчала.

- Олег, все-таки послушайте: вы не должны считать свою жизнь конченной. Мало ли какие могут быть перемены и в политической жизни, и в вашей личной. Ведь вы еще молоды. Может быть, у вас будет большая любовь, семья. Зачем думать, что впереди один только мрак?! Ну а то, что вы хотели над собой сделать, уже непоправимо было бы.

Он молчал.

- И еще я хотела сказать, - продолжала она, - вам необходимо показаться врачу. Вы выглядите совсем больным, да и не удивительно - разве оттуда можно выбраться здоровым? У вас наверняка переутомление, малокровие, цинга, может быть... Со всем этим еще можно бороться, а если не будете за собой следить - навсегда потеряете здоровье.

- Мне не для кого беречь его, - сказал он.

- Опять, опять, - сказала она и положила свою руку на его руку. И вдруг ей пришло в голову предложить ему сопровождать ее к Бологовским и быть представленным Наталье Павловне. Если Ася действительно понравилась ему, это будет лучшим лекарством, какое только можно придумать, чтобы разом встряхнуть его. И тут же вспомнила Марину и свое обещание. И опять их разговор показался ей пошлым, и какая-то досада на подругу закралась ей в сердце. Марина устроилась, как хотела, ей не хватает теперь только объятий и поцелуев красивого, молодого мужчины, она думает только о себе и хочет получить это от него, а ему сейчас, может быть, совсем не это нужно, а любовь полная нежности и заботы, иная, чистая, здоровая. В половых отношениях, по-видимому, он не слишком искушен, окопы наступления, госпиталь, концентрационный лагерь - все это не составляет подходящей почвы для легкомысленных романов, и если она действительно старшая сестра, она не должна была бы делаться союзницей Марины. Как неудачно переплелись все эти нити! Она задумалась, потом взглянула на брата. В ее памяти отчетливо возникла страшная, постоянно угнетавшая ее незабываемая минута в Черемушках, когда они набросились на нее и нанесли смертельный удар отцу, который пытался заслонить собой дочь. Мика тогда весь затрясся от испуга и долго потом заикался, иногда и теперь это заикание возвращалось к нему... Она подошла к мальчику, обняла его:

- Перепугался?

Мика понял, что, спрашивая, она вспомнила гибель их отца, то, что могло случиться (а может быть, и случилось) с ней - он тогда понять не мог; теперь, вспоминая, мог только подозревать. Он сел на постели и порывисто обхватил сестру обеими руками, но уже в следующую минуту поспешно оттолкнул.

- Да ну тебя, Нинка! Всегда ты со своими глупыми нежностями! Ничего не испугался! Сама ты трусиха известная.

Нина с материнской заботливостью поправила на нем одеяло. Олег смотрел на обоих.

Клены... уже красные сентябрьские клены, могилка щенка в траве, ветер гонит свинцовые тучи, а испуганного мальчика обступили люди с револьверами и дубинами... Агония помещицкой жизни...

«Нет, они все-таки не совсем чужие и немного дороги мне!» - думал Олег. Нина подошла к нему.

- Постарайтесь теперь заснуть. Мы все нуждаемся в отдыхе. Олег поднес к губам ее руку и сказал:

- Благодарю вас, - но так и не перешел в задушевный тон.

Утром, заряжая вновь револьвер, он говорил самому себе: «До следующего звонка!»

## Глава одиннадцатая

*Какую власть имеет человек,  
Который даже нежности не просит.*  
А. Ахматова.

Через два дня в семь утра, в кухне, как обычно в этот час, столпились почти все обитатели квартиры, собираясь на работу: кто мылся у крана, кто грел себе спешно завтрак; угрюмая торопливость лежала на всех людях; перебрасывались короткими, деловыми фразами. Олег, в противоположность обыкновению, вышел позже других. Он вообще не выносил общей суеты, поднимавшейся по утрам в кухне, и умывания на виду у всех, когда один торопил другого. Он предпочитал вставать на час раньше, чтобы мыться на свободе, а потом уходил к себе. «Эти коммунальные квартиры по санитарным условиям немногим лучше лагерей, – говорил он себе, – и надо же так усложнить жизнь. Почему раньше этого не было?» В этот день он вышел, когда кухня была уже полна парода, и спросил, обращаясь ко всем вместе:

– Кто мне скажет, что должен делать советский служащий, если идти на работу он не в состоянии?

Все повернулись к нему.

– Что с вами? – спросила Нина, ожидавшая с полотенцем своей очереди у крана.

– Никак заболел? – спросила дворничиха.

А Вячеслав ответил за всех, как-то догматически:

– Если советский служащий заболел, он обеспечивается бесплатной медицинской помощью на дому и ему выписывают бюллетень, который он предъявляет на своей работе. По этому бюллетеню он получит позднее свою зарплату за дни болезни. Неужели это вам неизвестно?

– Нет, неизвестно. Я знаю, что у нас в лагере болеть нельзя было, можно было только замертво свалиться к ногам конвойного; тогда вас уносили в лазарет и там всевозможными уколами в два – три дня наспех восстанавливали вашу трудоспособность и снова гнали вас на работу. Вот это мне хорошо известно.

– И вы поставили себе задачей рассказывать об этом? – спросил Вячеслав опасным тоном.

– К случаю пришлось, – ответил Олег, и взгляды их опять скрестились. Нина за спиной Вячеслава отчаянно махала Олегу руками, призывая к осторожности, но он как будто не замечал ее сигналов.

– А где же я достану этого доброго гения, который выпишет мне бюллетень? – насмешливо спросил он.

– Из районной амбулатории, – в каком-то даже восторге торжественно возвестил Вячеслав. – Вы сейчас спросите, где она, – тут, недалеко; мне идти мимо, так я могу сделать вызов, а вы, коли больны, не выходите.

Олег с удивлением взглянул на него и хотел ответить, но Мика, стоявший на пороге с ранцем, перебил его:

– Мне тоже по дороге, давайте я сбегаю.

Олег потянул его за рукав:

– Сбегай, Мика. Только не забудь, что я Казаринов, – тихо прибавил он.

– Не бойтесь, не забуду, – и Мика съехал по перилам лестницы вниз.

Олег ушел к себе, а за ним по пятам пошла Нина.

– Какая вас муха укусила? Зачем вы так говорите с ним! Вы его словно дразните. Или вы хотите, чтобы он окончательно убедился в вашей ненависти к существующему строю? Смотрите, если он сообщит об этом, кому следует, вас опять сцапают и тогда уже до всего дознаются.

– Он и так знает обо мне достаточно, чтобы донести, однако пока не доносит, – ответил Олег.

– То есть, что он, собственно, знает?

– Знает, что я держу оружие, подозревает, что я офицер и ваш родственник, а не пролетарий,

вопреки анкетным данным. Почему не сообщает - не знаю. Притворяться перед ним я, кажется, больше не в состоянии.

- Смотрите! - серьезно сказала Нина и спросила: - А что с вами?

- Лихорадит сильно и бок болит: я, наверное, простудился.

- Немудрено, что простудились, когда по такому морозу ходите в одной шинели. Я эту вашу шинель видеть не могу: от нее за полверсты веет белогвардейщиной. Ложитесь скорее, вы дрожите. Досадно, что комнаты не топлены, - и она ушла.

Олег был несколько шокирован, когда к нему вместо невольного воображаемого им седого профессора явилась молодая, разбитная еврейка. Однако она оказалась достаточно внимательной и бюллетень выписала. Успокоившись на этот счет, он лежал, тщетно стараясь согреться, когда к нему заглянула дворничиха.

- Вот я тебе чайку принесла и кусок пирожка горячего, сейчас из печки. Кушай на здоровье. Ишь, руки-то у тебя холодные, зябнешь, поди. Истопить мне, что ли, тебе печечку? У Нины Александровны ни полена дров, придет с работы, пошлет еще Мику за вязанкой на базар, да еще с полчаса поругаются, не раньше вечера истопят; так и пролежишь в холоде, а я мигом.

- Какая вы добрая женщина, Анна Тимофеевна, спасибо вам!

- Чего там спасибо! Да давай прикрою тебя ватником - ишь, ведь трясется весь.

- Анна Тимофеевна, у вас есть иголка?

- Как же не быть иголке-то, а на что тебе?

- На мне все рвется, хочу попытаться зашить.

- Нешто сумеешь? Я тебе ужо вечером поштопаю, а теперь спи, - и, затопив печку, она ушла.

Нина пришла действительно поздно, как всегда усталая, и между ней и Микой началась тотчас обычная «война».

- Накрой на стол и сбегай за хлебом, Мика!

- Погоди, потом.

- Не потом, а сейчас.

- Не пойду, пока шахматную задачу не кончу. Отвяжись со своими глупостями.

- Как тебе не стыдно так отвечать, Мика! Я целый день бегаю: все утро я пела в Капелле, а вечером мне петь в рабочем клубе; я \_ кляча, которая тащит непосильный воз, а ты ничем мне помочь не хочешь!

- Ну, затараторила! Ладно, уж так и быть, накрою, только дудки, без скатерти, а то опять ругать будешь, что залил соусом; скатерть - это дворянские предрассудки.

- Ах, ты вот какой! Ты ведь это мне назло говоришь! Я тебя знаю! Все равно: умирать буду, а есть буду со скатерти!

Однако, несмотря на всю агрессивность военных действий, она все-таки не забыла забежать к Олегу и принести ему их обычное «дежурное» блюдо - треску с картофелем.

- Что сказал врач? - спросила она.

- Четыре болезни с длинными названиями написала. Вот, извольте видеть: Pleurilis sica, neugosis cordi, anemia, scorbut [26] в начальной стадии. Звучит устрашающе и непонятно.

- Отчего же вы не спросили у врача, что это такое?

- Я спрашивал, она говорит, что мне знать совершенно не для чего: важно только, чтобы в карточке было написано. Очевидно, так полагается при советской власти.

- Олег, вы шутите, а тут вовсе нет ничего забавного, - озабоченно сказала Нина, созерцая загадочный иероглиф.

На следующий день Олег точно так же лежал один с книгой, когда кто-то постучался в дверь, и голосок Марины спросил: «Можно?» Он стремительно вскочил с постели, поправил ее, провел рукой по волосам, потом открыл дверь; она стояла у самого порога - очаровательно одетая, розовая, хорошенькая - и улыбалась ему. Почему-то у него мелькнула мысль, как мог бы быть рад такому посещению всякий другой мужчина на его месте.

- Это я, - защебетала она, - муж говорил мне, что вы не вышли на работу, а Нина звонила по телефону и говорила, что позаванной ночью пережила что-то ужасное. Вот это так

взволновало меня, что я прибежала узнать. А вот Нины-то и нет. Скажите хоть вы, в чем дело? Он предложил ей стул и сам сел уже не на постель, а на табурет, коротко ответил на вопрос о здоровье и рассказал ей о ночном приключении, не упоминая ни о револьвере, ни о разговорах с Ниной.

- Боже мой! Какой ужас! Воображаю, как испугалась Нина! - восклицала она. - А вы не подумали, что за вами?

- Я всегда к этому готов, - ответил он.

- Это ужасно, то что вы говорите, - сказала она, - я не могу слышать этого, - и вдруг закрыла лицо руками.

У него почему-то заколотилось сердце, точно от ожидания чего-то, что должно последовать теперь, после того, как она этим жестом давала ему понять, что он ей не безразличен. Она приоткрыла руки и взглянула на него из-под ладони, он не смел пошевелиться... Она, может быть, только сочувственно пожала ему руку, но ему показалось, что невидимый электрический провод соединил их в эту минуту. Он все-таки не шевелился.

«Не может быть, - думал он, - мне показалось, Бог знает что... не может быть!» - и чувствовал, что весь дрожит с головы до ног. Она еще что-то говорила о том, что если бы его взяли, тогда она бы... тогда... и вдруг замолчала. Он быстро поднял голову и взглянул на нее: она опустила глаза, слегка краснея, и наклонила головку, как будто говоря «да» или «можно».

Он вскочил, быстро перешел комнату и сел на подоконник, глядя на засыпанный снегом, пустой дворик.

- Марина Сергеевна, не шутите со мной... и лучше... лучше уйдите!

У нее на губах мелькнула блаженная улыбка.

- Подите сюда, - прошептала она совсем тихо и протянула к нему свои лапки, но он не шел.

- Марина Сергеевна! Я не гожусь в возлюбленные. У меня нет никаких средств, чтобы вас побаловать... Я нигде не могу бывать. Вы же видите - я почти в лохмотьях.

- Олег Андреевич, на вас не видны лохмотья, для меня вы всегда остаетесь изящным кавалергардом.

Он все-таки не шел. Слишком долго его продержали в этом аду, где не было места ни любви, ни даже грубой связи, и вот теперь, в двадцать девять лет, он не приобрел еще никакого опыта при объяснениях, никакой уверенности в себе, и как мальчик, которого соблазняли в первый раз, не решался приблизиться. Ее удивила его сдержанность, и от одной мысли, что все вдруг так приблизилось и может от нее уйти, она, не отдавая уже себе ясного отчета в том, что делает, вскочила, подбежала к нему и обхватила его шею руками, привлекая к себе, чтобы сломить его сопротивление.

- Я вас люблю... Я хочу любви, хочу счастья! У меня ничего нет. Всегда только со старым, некрасивым, нелюбимым евреем! Олег, если вы любите меня, берите, берите! Задушите меня поцелуями. Должна же и у меня в жизни быть хоть одна счастливая минута!

Когда Нина вернулась с работы, дворничиха мыла пол в кухне, подоткнув подол; она была чем-то очень недовольна.

- Приходила тут, без тебя, твоя вертихвостка, - начала она, когда Нина, надев передник, расположилась у стола чистить картошку.

- Какая вертихвостка?

- Сергеевна твоя.

- Да что вы! Марина? Как жаль, что она меня не застала!

- Ну, она, почитай, не очень о том жалела. Бойка! Уж больно бойка-то! Сладила уж свое дельце!

- Не понимаю, Аннушка, о чем вы?

- Дельце, говорю, сладила с Олегом твоим, за тем и прибежала.

- Аннушка! Как вам не стыдно! - Нина чуть не выронила нож.

- Как ей не стыдно, скажи. А мне-то чего? Я не солгу. Коли говорю, то, стало быть, знаю, - и

Аннушка энергично выжала тряпку над ведром.

- Перестаньте, Аннушка. Я не хочу слушать сплетен.

- Да уж какие тут сплетни! Пришла, да тотчас к ему и - шась! Шу-шу да шу-шу. Слышу, в дверях задвижка - щелк; я прождала этак минут с пятнадцать, туфли сняла, да и прошла по коридору послушать у двери - тишина у их... Какие уж сплетни! А выползла - волосы трепаные, щеки розовые: «До свидания, Аннушка, засиделась я», - и бегом. У, бесстыжая!

- Ну, даже если и так, никого это не касается, - сухо сказала Нина. - Стоять у замочной скважины некрасиво, и бранить Марину не за что: Олег не мальчик, он сам первый начал, я полагаю.

- Ну да, рассказывай! Так и поверю я. У нее все наперед обдуманно было. Говорю, на то и приходила, знает она очень хорошо, что тебя в это время нет. Она, видать, ловкая. Муж пушай одевает, да на машинах катает, да в театры водит, ну а целоваться с молодым приятнее, чем со старым. И негожее это дело. Олегу бы жениться на хорошей девушке, а не шашни заводить с балованной барыней, да где уж устоять, когда сама идет в руки, соблазн такой... он же после тюрьмы напостившись.

- Довольно, Аннушка! Как вы не понимаете, что есть вещи, которых нельзя касаться. И зачем вы говорите «тюрьма» - точно он уголовник какой-то; он был интернирован, был в лагере, а не в тюрьме, - и она вышла из кухни. Однако она не могла не сознаться самой себе, что Аннушка частично высказывала ее собственные мысли и сама ловила себя на досаде на Марину. Она постучалась к Олегу. Он все так же лежал на диване, кутаясь в рваную шинель, и совсем не имел вида торжествующего любовника.

- Опять лихорадит и усталость, - ответил он на ее вопрос.

- Вы спали?

- Нет, больше читал. Приходила Марина Сергеевна, хотела вас видеть; просила вам передать, что придет вечером.

- Ах, вот что! - и волей-неволей Нина удовольствовалась этой весьма сокращенной редакцией.

Через полчаса у двери Олега в коридоре разыгрался новый эпизод домашней войны:

- Мика, ты ходил за дровами?

- Как же, ходил. Принес две штуквины, приткнул у двери.

- Мика, да ведь это метровые бревна! Надо было вязанку взять, а с этими еще так много возни!

Я от усталости падаю, а придется пилить и колоть. Ты совсем меня не жалеешь, Мика!

Олег с усилием поднялся с дивана и вышел в коридор.

- Идем, Мика. Бери пилу и топор, - сказал он, надевая шинель, и вспомнил почему-то, как в вестибюле отцовского дома произносил небрежно: «Шапку и пальто!» - и вскакивавшие при виде его денщики бросались исполнять приказание.

Нина запротестовала:

- Олег, вам выходить нельзя: вы получите воспаление легких.

- Успокойтесь, Нина! Пилить было моею специальностью в Соловках все шесть лет. Для меня здесь работы на пять минут. Но что за жизнь! - прибавил он с раздражением. - Певица с таким голосом, как у вас, не имеет самого необходимого! В царское время мы могли бы иметь особняк и вас осыпали бы цветами! Я поднес бы вам «белую розу в бокале золотого, как небо, Аи».

Она слегка прищурила ресницы, как будто всматриваясь в картины, проплывающие перед ее умственным взором, и неожиданно разразилась тирадой:

- Совершенно верно! Певица с таким голосом, как у меня, могла бы в царское время утопать в роскоши; но я-то не была бы певицей - ни мой отец, ни ваша семья не пустили бы меня на сцену. Мой голос ушел бы на то, чтобы петь колыбельные в детской и романсы в салоне. А вот теперь - измученная, усталая - я пою, пою без конца все и везде, и только в эти минуты я счастлива!

Марина шла по набережной Невы в своей хорошенькой беличьей шубке, запрятав в муфту

ручки в лайковых перчатках. Пушистые локоны стриженных волос выбивались из-под шапочки, ямочки на розовых щеках как будто подчеркивали выражение счастья. Изредка улыбка слетала, и брови хмурились, потом опять расцветала улыбка. Мысли ее разбивались на два русла. Одно из них было заполнено счастливыми воспоминаниями. «Как он схватил меня и понес, как тигр свою добычу! Откуда силы взялись! Как приятно, когда тебя несут, как соломинку! А этот бесконечно долгий поцелуй... как будто я выпила кубок шампанского – так тепло стало в крови и в сердце... у меня голова начала сладко кружиться, показалось – я падаю. Я думаю, я была хороша тогда. Это комбине с розочками, которое я надела на всякий случай, мне очень идет; хорошо, что я догадалась надеть его! Я была душка, я знаю, он, наверное, сейчас без ума!»

Но за этими мыслями вырастали другие, менее отрадные, несколько смутные, уяснить которые даже самой себе было больно: ведь она так и не услышала от него слова «люблю», а между тем она сама сказала это слово. Кроме того, она не могла не понимать, что сама, своими собственными усилиями придвинула это. Воспоминание о том, как она подбежала к нему и прижалась всем телом, чтобы вернее обеспечить себе победу, наполняло ее острым чувством стыда: в этом было что-то нескромное, напоминающее приемы слишком опытной женщины, что-то даже циничное... неужели она могла быть цинична? «Я сделала ошибку... надо было иначе: дожидаться, чтобы он сам умолял, чтоб на коленях... уже тогда. Но нет! Он умолять бы не стал, как бы сильно не желал меня – все дело в том, что он без средств: у него нет костюма, нет денег, чтобы веселить и дарить подарки – он сам сказал. Он не понимает, что мне ничего не нужно, мой глупый кавалергард. Вот именно из-за этого он не смел добиваться меня. Ну, а раз так, я великодушно должна была первая сделать какой-то знак. Дело вовсе не в моей испорченности: я должна была быть чуткой, когда он в таких стесненных обстоятельствах». И она опять возвращалась к воспоминаниям о поцелуях и о своей красоте. «Вечером у Нины буду тише воды, ниже травы. Сама – ничуть, ни одного взгляда, как будто я негодую. Пусть думает, что все уже потеряно, пусть помучается. Я еще заставлю моего кавалергарда умолять и томиться. Все это еще не ушло, исправить ту минуту всегда в моей власти».

Короткий зимний день начинал уже погасать, когда она опомнилась немного и сообразила, что ей давно надо быть дома: усталый муж, наверное, уже вернулся с работы и ждет обеда, а впрочем, Домработница подаст ему – не обязательно самой!

Только около десяти вечера она постучалась в дверь Нины.

– Душечка Нина, здравствуй! Я ведь приходила сегодня. Я так жалела, что не застала тебя. Вот я принесла торт: зови Мику и Олега и давайте пить чай.

– Жалела, что не застала? – переспросила Нина, и оттенок недоверия помимо ее воли прозвучал в ее голосе.

– Конечно, жалела, а что? – и щеки Марины предательски вспыхнули.

Нина вертела в руках нож для разрезания бумаги, и на ее выразительном лице лежала тень.

– Ты только не играй со мной в прятки, прошу тебя, – сказала она, глядя куда-то мимо подружки.

– Ты что-нибудь знаешь? Откуда ты знаешь? – несколько смущенно спросила Марина.

– Это все равно, откуда. Знаю.

– Так ведь не он же сказал тебе?

– О, Боже мой! Конечно, нет!

Они постояли молча.

– Ты недовольна мной, Нина?

– Мне жаль Олега. Я знаю, что душевное состояние его очень тяжелое сейчас. К нему надо очень бережно относиться, а ты... ты для своего удовольствия поиграешь с ним, а его запутаешь... ему так трудно было устроиться на работу, а теперь ты этой связью можешь осложнить его положение на службе. Хоть бы об этом подумала! И вообще, что, кроме осложнений, может дать эта связь? Никаких развлечений Олег предоставить тебе не может, пойми же. А муж? Ты что ж, обманывать его собираешься?

– Вот ты какая, Нина! Хорошо тебе говорить. Ты вышла по любви, в двадцать лет, вышла за

блестящего офицера, целовалась с ним, сколько хотела, а потом целовалась с твоим Сергеем. А я? У меня никого не было. Ты отлично знаешь, в каком положении оказались девушки, которые не успели до революции выскочить замуж: нищета, никаких выездов и балов, никого из нашего общества, никакого выбора... Ты только подумай: я сегодня в первый раз узнала, что такое поцелуй мужчины, который нравится. А ведь мне уже тридцать два года! Пусть ты потеряла своего мужа, пусть потеряла Сергея, но ты была любима и любила, а я пропадала зря. Ты горечи этого чувства даже понять не можешь. И ты еще меня осуждать будешь! – у Марины от досады даже слезы выступили на глаза.

– Да я не осуждаю, Марина, я беспокоюсь только. Всегда все складывается так, что я должна за всех беспокоиться. И Моисея Гершелевича жалко, ты его, по-видимому, даже за человека не считаешь, а он так всегда добр с тобой!

– Моисей Гершелевич получил меня, и пусть с него этого будет довольно. Ты, Нина, всех жалеешь, кроме меня.

Нина помолчала.

– Ну, а беременности ты не боишься?

– Нина, почему ты, во что бы то ни стало, хочешь окатить меня ледяной водой?

Нина молчала.

– Нинка, ты ведь меня не разлюбишь? Ну, ругай меня, сколько хочешь, дорогая, только люби! Это все, что мне надо.

Она знала власть своей кошачьей ласки над одинокой подругой, ей было достаточно обнять Нину и, взглянув ей в глаза, потереться щекой о ее плечо, чтобы получить ответную улыбку.

– Ты знаешь отлично, что не разлюблю. Но ты безумная какая-то, Марина.

– Безумная – вот это верно! Хочу быть счастлива и буду!

Через несколько минут они уселись за чайный столик и по настоянию Марины кликнули «мальчишек». Но пришел один, с неожиданным известием: «Не знаю, что такое с Олегом Андреевичем, он чего-то разговаривает сам с собой, уж не бредит ли?»

– Ну вот, я так и знала! – воскликнула Нина, вскакивая.

Марина метнулась было к двери, но Нина, поймав ее за руку, выразительно сдвинула брови и повела глазами на Мику; Марина поняла и опустилась на диван.

– Садись и разливай чай, а я пойду к нему, посмотрю, что такое, и сейчас вернусь, – и она вышла.

– Да, бредит, не узнал меня. Боюсь, не воспаление ли легких. Придется звонить в больницу – дома ухаживать некому, а он целый день один, и в комнатах холодно, у меня нет денег даже на лишнюю вязанку дров.

Марина вытирала глаза.

– Это глупо, что я плачу, – пролепетала она, встретив удивленный взгляд Мики, – но мне так жаль тебя, Нина, на тебя сыплются все несчастья! Нина, дорогая, позволь мне – вот сто рублей, это для вас всех. Смотри, какой Мика бледный. Возьми, пожалуйста. Неужели я ничем тебе помочь не могу?

Нина начала возражать. После небольшой перепалки решили, что Нина вернет эти деньги, когда будет продан только что снесенный в комиссионный магазин маленький Будда слоновой кости. Нина уверяла, что этот Будда приносит несчастье, и что ей не жаль расстаться с ним.

– Чудак Олег Андреевич, – сказал Мика, увлекаясь тортом, – бредит почему-то по-французски: сначала так, какие-то несвязные слова бормотал, а потом вдруг говорит: «Le vin est tire, il faut le boire» [27], – вина какого-то ему захотелось, видите ли!

Нина незаметно покосилась на Марину: щеки Марины вспыхнули и губы задрожали, как у обиженного ребенка.

Проводив Марину, Нина велела Мике лечь в ее комнате, а сама пошла спать к Олегу и села около него в ожидании санитарного транспорта, который вызвала по телефону. В этот день она очень устала и была полна множеством впечатлений. После пилки дров, которая, по-видимому, дорого обошлась Олегу, она, покончив с печкой и другими хозяйственными делами, собралась

наконец нанести визит Наталье Павловне. Совершенно для нее неожиданно ее встретили очень тепло, как невесту Сергея Петровича, о чем говорилось открыто. Наталья Павловна обнимала ее, Ася бросилась на шею, а француженка осыпала ее любезностями. Наталья Павловна передала ей письмо Сергея Петровича, читая которое она расплакалась, и это еще больше сблизило их. Вернулась она только за пять минут до того, как к ней постучала Марина, но ничего не рассказала ей, так как Марина была слишком полна своим собственным романом, а говорить мимоходом о таком важном событии в своей жизни Нина не хотела. К тому же сообщить о своем будущем браке как раз в тот день, когда ее подруга очертя голову решила на измену, показалось ей неделикатным. Теперь, сидя в тишине комнаты, она припоминала все подробности своего визита и чувствовала себя отогретой и очарованной отношением этой семьи. Ей захотелось перечитать письмо. Она вспомнила, что оно осталось в ее муфте, принесла и, усевшись снова у постели Олега и заслонив от него свет лампы, развернула письмо.

«Милейшая и лучшая из женщин, свершилось: еду в неизвестность! Мать и Асю оставляю на произвол судьбы без всяких средств к существованию, с тобой лишен возможности даже проститься, а между тем многое бы хотелось сказать. Слова твои о потере тобой ребенка совершили какой-то переворот во мне. Все последние дни я все время думал об этом, и если ты еще хоть немного любишь меня – считай своим женихом. Делаю тебе формальное предложение. Матери и Асе я уже сказал, что считаю тебя своей невестой, уверен, что они окажут тебе какое только смогут внимание. Счастлив буду, если это принесет тебе хоть каплю радости. Я и раньше ничем, кроме любви, не мог бы украсить твою жизнь, а теперь как жених я не имею ровно никакой цены. Всякая другая женщина не колеблясь отвергла бы предложение человека в моем положении, но ты не из таких. И все-таки, считая себя связанным данным тебе словом, я оставляю тебе полную свободу ждать с решением, сколько ты захочешь. Может быть, этим я искуплю свою вину. Пишу письмо ночью. Не знаю, когда мы увидимся, когда я опять обниму тебя и услышу божественное сопрано моей Забеллы. Не могу представить себе жизнь без любимых людей и без оркестра!»

Она опустила письмо на колени, и опять слезы полились из ее глаз.

«О, как хочется быть счастливой, хоть месяц, хоть день один! Но мне даже не поехать к нему из-за Капеллы и концертов, которые не могу бросить, потому что жить нечем. А если ему не дадут там работать, надо будет и ему помочь. Нет, службу бросать нельзя».

Олег начал водить головой по подушке и что-то бормотать... Она оглянулась и, что-то сообразив, поднялась и поспешно стала шарить около его изголовья. «Вот он! Хорошо, что я вспомнила, – если бы санитары обнаружили, немедленно составили бы протокол и передали дело в гешеу». Она спрятала револьвер в муфту и энергично задернула молнию. «Завтра же брошу его в Неву: пока он здесь, мне не будет покоя». Она чувствовала, что, вопреки намерениям, все больше и больше привязывается к Олегу и что эта сломленная молодая жизнь возбуждает в ней с каждым днем все больше и больше сестринского участия.

## Глава двенадцатая

В начале февраля Наталье Павловне сделалось нехорошо, когда она подымалась по лестнице, возвращаясь домой.

Вызванный на квартиру старый врач, лечивший ее еще в добрые старые времена, нашел упадок сердечной деятельности, прописал несколько сердечных средств и покой и велел несколько дней полежать.

Когда мадам раздевала ее, та проговорила, обращаясь больше к самой себе: «Попались в сети наши оба сокола... Кажется, это у Пушкина?» И француженке ясно стало, что мысль о судьбе сыновей не оставляла ее ни на одну минуту.

Аси не было дома, когда она и вышедшая ей навстречу мадам шепнула, что бабушку пришлось уложить. Ася в первую минуту так испугалась, что расплакалась; но после уверения старших дам, что ничего особенно-тревожного пока еще нет, ее успокоили. Весь День ни она, ни мадам

не отходили от Натальи Павловны. Вечером пришла Зинаида Глебовна с Лелей и Нина, но, несмотря на всеобщие старания поддерживать веселую и бодрую атмосферу около постели Натальи Павловны, отсутствие Сергея Петровича слишком остро чувствовалось, и ясно было, что как раз покоя, в котором всегда так нуждается сердечная больная, ей нельзя дать. На третий день болезни бабушки Ася выудила, наконец, из почтового ящика первое письмо от Сергея Петровича. Он писал:

«Дорогие мои!

Я все еще в дороге. Едем очень медленно, постоянно стоим на запасных путях. Везут нас в закрытом наглухо вагоне, но сквозь решетку окна мы, когда поблизости нет конвойных, выбрасываем письма на станциях и полустанках, в надежде, что кто-нибудь из добрых людей их подберет и опустит. Таким образом, я уже бросил два письма к Нине и два к вам. За меня не беспокойтесь – я здоров. Вагон, разумеется, не слишком благоустроен, зато общество самое избранное. Очень многие из моих спутников прямо из мест заключения. Нам, более счастливым, пришлось поделиться с ними запасом провианта, конвертов и папирос, а теперь мы договорились с одним из конвойных, чтобы он за небольшую мзду покупал нам на наши деньги эти необходимые вещи, которые он передает, влезая на станции под вагон, через трубу в уборной. (Извините за такую деталь.) Хорошо было бы, если б нашу компанию не разъединили, а поселили в одном месте. Освещение в вагоне очень тусклое, темно и тряска, читать невозможно. Коротаем время в бесконечных разговорах на самые разнообразные темы, вплоть до философских. Я организовал маленький хор, и мы поем иногда «Очи черные, очи жгучие», «Как ныне собирается» и другие общеизвестные песни. Посередине вагона стоит жаровня, около которой мы греемся и на которой кипятим воду – нам ее приносят в медном чайнике три раза в день. Я был бы почти доволен, если бы не постоянное грызущее беспокойство за всех оставшихся.

Ваш Сергей».

Это письмо читала вслух Ася, так как у Натальи Павловны задевались куда-то очки; когда мадам подала их, Наталья Павловна сказала: «Дай мне, я хочу увидеть его руку». Ася молча протянула письмо, в котором ее больше всего поразили слова «сквозь решетку окна» – ей вспомнилась картина «Всюду жизнь». «За решетку такого человека, как дядя Сережа!» – думала она, чувствуя, что слезы сжимают ей горло, и, отвернувшись, разглядывала давно знакомые ширмы лионского бархата со сценами из жизни аркадских пастушков.

Наталья Павловна перечитывала письмо в полном молчании, и когда взглянула на своих домочадцев, встретила с тревожным взглядом Аси, устремленным на нее из-под ресниц, и озабоченными глазами француженки. Она сложила письмо и спокойно проговорила:

– Приготовливайте чай и садитесь сюда, ко мне. Ася бледная, ей надо пораньше лечь.

Этими словами она вновь установила тот градус выдержки и спокойствия, который считала необходимым. Ни разу не было произнесено ни одного слова о том, что Сергею Петровичу никогда не разрешат вернуться, что не сегодня-завтра Наталья Павловна получит точно такую же повестку, что двери консерватории для Аси окончательно заперты, а средства к жизни отсутствуют. Если говорили, то только о событиях текущего дня или, напротив, о предметах, не имеющих отношения к действительности. Мадам любила поговорку: «Il faut faire bonne mine a mauvaise jell [28]». Казалось, фраза эта стала девизом в семье.

Ася болезненно переживала в эти дни свою неспособность к жизни. В течение одной недели она потерпела крах в двух попытках заработать и начала считать себя дурочкой, неспособной к труду. Первая из этих попыток состояла в уроке музыки, который ей предложили в музыкальной школе. Семья рабочего получила по разверстке комнату репрессированного «бывшего», посередине этой комнаты стоял брошенный рояль, теперь бесхозный. Поселившаяся вновь семья завладела им, и старая бабушка – мать рабочего – порешила учить музыке маленького внука. Мальчик оказался маленький, кругленький,

русоголовый, стриженный в скобку и подпоясанный ремешком – ни дать ни взять мужичок-с-ноготок! Ножки его еще не дотягивались до педали, а пел он очень чисто и с голоса мог повторить любую музыкальную фразу.

– Как приятно, что у тебя такой тонкий слух, Витя! – радостно восклицала Ася. – Я не выношу фальшь! Мы с тобой будем песенки петь вместе.

Учительница и ученик просидели за роялем больше часа, а старая бабушка, подперев рукой щеку, с нежностью созерцала их.

– Сподобил Бог сыскать учительницу! Не напрасно я маялась. Больно уж молода, да видать ласковая, и в роялях понимает... Пошли теперь, Господи, разумение Витеньке!

Когда учительница уходила, старушка вынесла ей корзиночку собственного изготовления.

Ася возвращалась сияющая: одна деталь всецело завладела ее воображением – уходя, она столкнулась с рабочим, отцом ребенка, и увидела, как Витя тотчас же прыгнул на сундук так, что головка его пришлась на уровне головы отца, и обвил ручонками его шею. «У меня тоже так будет! – решила Ася. – Мой сынок будет прыгать на бабушкин кофр, который в передней. А пролетарии вовсе не троглодиты, как уверяют бабушка и мадам, а такие же хорошие, как мы». Только когда она уже подходила к своей квартире, ее пронзило печальное соображение: уходя из дому, она без умолку щебетала о том, сколько сможет заработать уроком, но увлеклась слухом и голосом ребенка настолько, что подрубила сук, на котором собралась усесться; когда выяснилось, что старушка приравнивает оплату за урок к тому, что получает сама за мытье полов, Ася, не подумав хорошенько, брякнула:

– Мне денег не надо вовсе! Ваш Витя такой способный, я буду заниматься бесплатно!

Эти великодушные фразы легко слетели с ее губ, но где, спрашивается, был ее разум? «У нас не заплачено за квартиру и музыкальную школу; доктор велел покупать бабушке творог и сметану; мадам любит крепкий чай, а в последнее время пьет ради экономии почти воду; мои ботинки "просят каши", если я их не почию, то на школьном концерте не в чем будет выйти на эстраду... Ах, какая я глупая! Эти люди живут, по-видимому, лучше нас – за один пакетик чаю для мадам стоило бы съездить на этот урок, а я от всего отказалась разом!»

Другая попытка была предпринята уже без ведома Натальи Павловны. Выходя на следующий день из подъезда, она увидела пожилую даму, державшую закутанного младенца. Ася придержала дверь, пропуская ее пройти, и с готовностью вызвалась подержать младенца, пока дама эта дошла до булочной и обратно.

Благодаря Асю, дама сказала, что очень устала нянчиться с внуком.

– Не можете ли мне порекомендовать какую-нибудь женщину, которая согласилась бы выносить на ежедневную прогулку нашего Алешу? – спросила она.

– Возьмите меня! – выпалила Ася и покраснела, как рак.

– Вас? Это ведь ваша бабушка живет в бельэтаже по одной с нами лестнице – вдова генерал-адъютанта, неправда ли?

– Да, – шепнула Ася. И в голосе ее тотчас послышалась виноватая нота.

– Я знаю вашу бабушку в лицо. Весьма достойная дама, всегда в трауре. Разве она разрешит вам зарабатывать в качестве няньки?

– Бабушка сейчас больна, а нам очень нужны деньги. Возьмите меня, пожалуйста, я очень люблю детей, я его не обижу.

– Попробуем. Приходите завтра в три часа, если не будет метели, – было ответом.

Ася ликовала: такой легкий и приятный заработок!

Под предлогом репетиции глинкинского трио, ей удалось уйти из дому в нужный час, и вот она спускается с лестницы, бережно держа на руках укутанного бутуза. В подъезде стояла группа молодых людей, по-видимому, студентов.

– Расступитесь, товарищи, молодая мать идет! – сказал один из них.

– Ай, ай, какой хороший бутуз! – сказал другой.

– Мальчик? – спросил третий.

– Сын, – ответила с важностью Ася.

- Новый защитник революции, стало быть! А как имя?

- Алеша.

- А по бабушке?

Ася встала в тупик. Кажется, чего проще – скажи первое попавшееся имя, и все тут; но, как нарочно, все мужские имена вылетели из ее памяти. Эта заминка была воспринята как симптом весьма специфический.

- Да зачем ему отчество! – воскликнул один из компании. – Он и без отчества будет хорош! Да здравствует товарищ Алексей, защитник мировой революции!

- Ура! – загалдели все, а один из них, положив руку на плечо Аси, сказал:

- Молодец. Так именно должна поступать истинная коммунистка. Семья – пережиток.

Глаза Аси с наивным недоумением обратились на него. «Как поступать?» – уже готово было слететь с ее языка, но она инстинктивно почувствовала, что запутывается в нитях разговора, к тому же жест студента показался ей слишком фамильярным, она поспешила отойти в маленький сквер напротив подъезда и села там на скамейку; Алеша широко улыбался беззубым ротиком: новая няня, видимо, ему очень нравилась. Две пожилые женщины, сидевшие тут же, с любопытством оглядели Асю, живой пакетик на ее руках и даже «бывшего» соболя.

- Сын?

- Сын.

- Только со школьной скамьи – и уже мамаша! А что, роды-то трудные были? Таз-то у вас, надо думать, узкий, а может, ребенок и лежал-то неправильно? Где рожали-то?

Широко раскрыв глаза, Ася с ужасом смотрела на них, не зная что отвечать. В эту минуту молодые люди махнули ей за изгородью уроненной перчаткой.

- Бегите, возьмите, а ребенка отдайте пока нам, – покровительственно сказала одна из женщин, и едва Ася передала им Алешу, который сейчас же сморщился и запищал, и выбежала из сквера, как дама, бабушка ребенка, показалась в подъезде.

- Это что же такое? Вы уже поспешили отделаться от ребенка? – и, отбирая Алешу, она прибавила: – И это девушка из порядочного дома!

Ася растерянно оглянулась и, почувствовав в этих словах что-то еще непонимаемое ею ясно, но оскорбительное для себя, вспыхнула от обиды. Ничего не объясняя и не оправдываясь, она убежала в подъезд. Эта вторая неудача расстроила ее больше первой, а уже подстерегало новое огорчение.

Во второй половине дня она возвращалась из музыкальной школы в сопровождении Шуры Краснокутского; этот юноша с томными глазами и изысканными манерами, бывший лицеист, окончивший неожиданно для себя вместо лица советскую трудовую школу, ухаживал за Асей довольно безнадежным образом – она неизменно потешалась над каждым проявлением его любви, и ему никак не удавалось заставить ее взглянуть серьезно на свои чувства. Сам Шура, однако, очень редко умел говорить серьезно, что ему постоянно ставила в вину Ася. В этот раз, разговаривая очень мирно, они только что повернули с Литейного на Пантелеймоновскую, когда высокий сумрачный человек в рабочей куртке и кепке почти столкнулся с ними и, смерив их недоброжелательным взглядом, громко сказал:

- Всех бы вас – аристократов – перевешать!

Юноша и девушка растерянно взглянули друг на друга.

- Господи, что же это?! – воскликнула Ася и остановилась.

- Пойдемте, пойдемте скорей! – воскликнул Шура и повлек ее за руку. – Не оборачивайтесь!

Впрочем, он не идет за нами. Какое у него было злое лицо!

- Шура, что мы ему сделали? Они ведь уже расстреляли наших отцов... Неужели же и наше поколение надо резать и гнать? Неужели же мало крови?

- Это называется классовой борьбой, Ася. Мы хотим жить, учиться, быть счастливыми, а мы уже приговорены – вопрос о сроках только. Вот мы хватаемся, кто за иностранные языки, кто за науку, наша образованность пока еще якорь спасения, но они хотят иметь свои кадры «от

станка», и когда создадут их – нас, бывших, будут выкорчевывать, как пни в лесу.

– Шура, да в чем же мы виноваты? Мне, когда началась революция, было семь лет, а вам десять. И еще, как мог он знать, кто мы? Если бы мы прогремели мимо в золоченой карете, но мы – как все, мы одеты ничуть не лучше окружающих!

Он прижал к себе ее локоть:

– Тут не нужно кареты, Ася! Вас выдает ваше лицо – оно слишком благородного чекана. Я всегда повторяю вам, что у вас облик сугубо контрреволюционный. А мой вид... да мой вид тоже очень характерный! Недавно я зашел в кондитерскую, а продавщица говорит: «Вид господский, килограммный, а покупаете вовсе незаметную малость».

Ася засмеялась, а потом сказала:

– Милый килограммный Шура, мне очень грустно!

– Не расстраивайтесь, Ася! Я для вас все на свете готов сделать – даже перевернуть земной шар!

В глазах Аси мелькнул шаловливый огонек:

– Шура, переверните земной шар, пожалуйста! Не можете? Вот и попались! Вы очень, очень добрый и милый, но вы любите говорить расплывчатые ничего не значащие фразы, а я, хоть и совсем несерьезная, пустых разговоров все-таки не терплю!

Она ничего не сказала дома о страшном человеке, который хотел увидеть ее повешенной, но не могла отделаться от жуткого впечатления... ее – Асю! – повесить на трех столбах с перекладиной... За что?

В этот вечер неожиданно раздался звонок – редкость в опальном доме. И когда любопытный носик выглянул в переднюю, глазам представилась невысокая худощавая фигура молодого скрипача-еврея из музыкальной школы.

– Доди Шифман! – радостно воскликнула Ася и вылетела в переднюю.

– Здравствуйте, Ася! Я пришел сообщить, что репетиция нашего трио состоится не в пятницу, а завтра; заведующий инструментальным классом поручил мне вас предупредить. И еще... у меня вот случайно билеты в «Паризиану», идет хороший фильм... Не пойдете ли вы со мной? – застенчиво пробормотал юноша.

– С удовольствием, конечно, пойду! – Ася подпрыгнула и уже схватилась за пальто, но, обернувшись на француженку, встретила с ее суровым взглядом.

– Вы разрешите мне, мадам? Или следует спросить бабушку? – Растерянно пролепетала она.

– *Laissez-moi parler moi-meme avec M-me votre grande mere* [29], – ледяным тоном отчеканила француженка и вышла.

Напрасно прождав две или три минуты, Ася выбежала в соседнюю гостиную и оказалась перед лицом выходящей из противоположной двери Натальи Павловны.

– Это что? В пальто прежде, чем получила разрешение? Ты не советская девчонка, чтобы бегать по кинематографам с неведомыми мне личностями.

– Бабушка, это Доди Шифман, скрипач из нашей музыкальной школы.

– Что за непозволительная интимность называть уменьшительным именем постороннего молодого человека? Выйдешь замуж, будешь ходить по театрам с собственным мужем, а этот еврей тебе не компания.

– Бабушка, да ведь Доди слышит, что ты говоришь! За что же его обижать! А по имени у нас в музыкальной школе все называют друг друга.

Ася выбежала снова в переднюю и, увидев, что Доди там уже нет, вылетела вслед за ним на лестницу.

– Доди, подождите, остановитесь! Мне очень неприятно, что вас обидели! Бабушка – старый человек, у нее много странностей; меня она ни с кем никогда... – и, настигнув молодого скрипача, ухватилась за рукав его пальто.

– Я все отлично понял, товарищ Бологовская, бабушка ваша не дала себе труда даже снизить голос, – проговорил юноша, не оборачиваясь на нее.

– Доди, милый! Не подумайте, что я в этом участвую и тоже думаю так! В первый раз в жизни

мне стыдно за моих! Евреи – такой талантливый народ – Мендельсон, Гейне... Пожалуйста, не обижайтесь, Доди! Иначе мне тяжело будет встречаться с вами, и трио потеряет для меня свою прелесть. Извиняете? Ну, спасибо. До завтра, Доди!

И избегая обратно она думала: «Попадет мне сейчас... бабушка любит только своих родных, а я никак не могу к этому привыкнуть!»

В этот день Наталье Павловне дано было еще дважды выявить всю неприступность своих позиций и величие своего духа, которого не могла коснуться тень упадничества. Этот день поистине был днем ее бенефиса.

Вскоре после того как она указала надлежащее место молодому скрипачу, зазвонил телефон и трубка попала в руки Натальи Павловны. Говорил профессор консерватории – шеф Аси, который просил, чтобы Ася явилась к нему на урок в виде исключения в один из: номеров Европейской гостиницы. Дело обстояло весьма просто: маэстро был в гостях у приезжего пианиста – гастролера и, сидя за дружеским ужином, внезапно ударил себя по лбу и воскликнул:

– Ах, Боже мой, я забыл, что через десять минут у мен урок! – и рассказал собеседнику о своей неофициальной ученице.

– Так пригласите ее сюда, и тогда это оторвет у вас какие-нибудь полчаса, кстати, и я ее послушаю, – отозвался второй маэстро.

Сказано – сделано. Но для Натальи Павловны вся ситуация представилась совсем в иной окраске...

– Что? Девушку в гостиницу? Этому не бывать. Нет. Нет. Если ваш гость желает послушать мою внучку – милости просим к нам. И никаких исключений!

Оба маэстро вдосталь посмеялись за своим ужином: «Она, кажется, заподозрила в нас ловеласов, эта величественная особа!» – повторяли они.

Но завершающее выступление Натальи Павловны было великолепно в самом истинном значении этого слова: она уже сидела за вечерним чаем со своими друзьями-домочадцами, когда навестить ее явился один из прежних знакомых. Разговор зашел о положении эмигрантов.

– Как бы ни было оно тяжело, а все-таки несравненно легче нашего, – позволил себе заметить гость. – Мы с вами, Наталья Павловна, сделали очень большую ошибку – нам следовало уже давно уехать с семьями. В двадцать пятом году в Германию выпускали очень легко, и я уверен, что там наша жизнь шла бы нормально.

Наталья Павловна нахмурилась:

– Я никогда не желала делаться эмигранткой. Нормальной жизнь на чужбине быть не может. Мне, русской женщине, просить убежища у немцев? Мой муж, мой брат и оба мои сына сражались с немцами.

– Помилуйте, Наталья Павловна, вы предпочитаете иметь дело с большевиками? Кажется, они уже достаточно себя показали!

– Я бы отдала все оставшиеся мне годы жизни, лишь бы увидеть конец этого режима, – с достоинством возразила старая дама, ~ но это наша, домашняя беда. Пока я в России – я дома и лучше кончу мои дни в ссылке, чем буду процветать за рубежом.

Головка Аси слегка вскинулась от радостной гордости за бабушку, а черные на выкате глаза мадам восторженно сверкнули.

«Дядя Сережа уже в ссылке, но думает, конечно, только так!» – подумала Ася. Она чувствовала себя странно растравленной впечатлениями этого дня, когда перед сном потянулась поцеловать маленький эмалевый образок, стоя уже раздетая на коленях в своей кровати. Эмалевый образок этот и плюшевый старый мишка – две только вещи принадлежали лично ей во всем доме. Однако сознание ни разу не фиксировало этот момент. Мир ее мыслей был еще по-детски целостен, но быстрота и верность реакций не оставляли места ограниченности.

## Глава тринадцатая

*Льстецы, умеете сохранить*

*И в самой подлости оттенок благородства.*

*А. С. Пушкин.*

Печальное оцепенение этих дней было прервано неожиданным событием: к Наталье Павловне явился молодой человек – Валентин Платонович Фроловский, внук ее приятельницы еще по Смольному институту, а потому всегда желанный гость, и сообщил следующее: находясь в командировке в Москве, он зашел по служебному делу в одно крупное учреждение и, поднимаясь по лестнице, столкнулся с сотрудником учреждения, лицо которого показалось Фроловскому знакомым. Он обернулся еще раз и узнал в юноше кадетика Мишу Долгово-Сабурова – внука Натальи Павловны от дочери, которая пропала без вести со всей семьей во время оккупации Крыму.

«Уверю Вас, Наталья Павловна, что я не ошибся, – говорил Фроловский, – Миша младше меня по Пажескому корпусу на несколько классов, но как часто мы танцевали на именинах и елках у вас, у Котляревских, у Нелидовых...он тоже обернулся на меня, стало быть, и ему показалось что-то...»

Наталья Павловна была поражена – до сих пор люди только пропадали, и вот наконец кто-то нашелся! Хоть одна утешительная весть! Она хотела тотчас писать внуку и спросила адрес учреждения, но Валентин Платонович разразился речью, исполненной дипломатических тонкостей:

– Разрешите мне выступить в качестве советчика, раз я волей-неволей уже вмешался в это дело! У меня составилось впечатление, что Михаил не захотел узнать меня; впечатление было настолько определено, что я не стал окликать его. Вместе с тем выпустить его вовсе из поля зрения было бы весьма неутешительно для вас. Я решился поэтому запросить в окне для справок работает ли здесь Долгово-Сабуров и узнал, что Долгово-Сабурова нет, а есть Сабуров; так как имя и отчество совпали, я заключил, что Михаил, по всей вероятности, нашел удобным несколько изменить свою фамилию... Быть может, он точно так же изменил и кое-что в своей автобиографии. Этим, может быть, и объясняется его нежелание узнать меня. Все это очень извинительно в наше время и в нашем положении. Чтобы как-нибудь Михаила не подвести, лучше не писать ему на учреждение. Мне кажется, вернее всего было бы съездить в Москву и, не называя ни родства, ни громких фамилий, вызвать Михаила, именуя просто Сабуровым и договориться о встрече во внеслужебное время, а потом уже выяснить, что сочтете нужным.

– Я прежде всего желаю знать жива ли моя дочь и, если нет – я в этом почти уверена – вызвать мальчика сюда, чтобы он жил семьей, а не один, – сказала Наталья Павловна.

– Вот это все следует объяснить только в личном разговоре, уверяю вас, – ответил молодой дипломат, целуя руку Натальи Павловны.

Очень быстро составил план действий. Валентин Платонович через три дня уезжал в новую командировку в Москву. Порешили, что Ася едет с ним и прямо с вокзала он отвозит ее в учреждение, где работает Михаил. Оттуда Ася должна была проехать к старой приятельнице Натальи Павловны, у нее остановиться и там же ждать Михаила. Обменялись телеграммами со старушкой: она отвечала, что будет рада видеть Асю и что Ася может переночевать в ее комнате на диване. Железнодорожные билеты туда и обратно взялся достать тот же Валентин Платонович. Все складывалось очень удачно, к тому же в комиссионном магазине продано хрустальное блюдо и ваза баккара – еще одно осложнение было, таким образом, устранено. Наталью Павловну несколько беспокоило, что Ася поедет одна, но условия жизни настолько изменились, что требования хорошего тона в некоторой своей части становились невыполнимыми. Охрана Аси, во всяком случае, была обеспечена, а отдельных купе в поездах теперь не было – следовательно, во время пути ей не могло угрожать покушение со стороны самого Валентина Платоновича, если можно было брать под сомнение то рыцарское уважение

к Асе, в котором он поклялся Наталье Павловне все в тех же туманно-дипломатических выражениях. Наставлений Ася получила величайшее множество от всех окружающих, но Наталья Павловна изложила ей свои только перед самым отъездом, когда позвала ее к себе в комнату. Говорила она очень определенно, ясно и сжато:

- В Москве, кроме учреждения, в котором служит Миша, ты будешь только на квартире моей приятельницы, нигде больше. Ни в какие театры или рестораны ты не пойдешь, даже с Валентином Платоновичем, если он вздумает пригласить тебя. Ночевать будешь только в комнате моей приятельницы. По пути - никаких знакомств, чтобы истории, вроде истории с Рудиным - не было. Теперь о Михаиле. Зови его сюда. Скажи, что я послала тебя за ним и хочу взять его в нашу семью. Если служит - все равно, пусть бросает службу и едет - семья дороже. Только в случае, если он студент - пусть остается пока в Москве: попасть в высшее учебное заведение настолько трудно в нашем положении, что бросать его было бы легкомысленно. В этом случае пусть приезжает на первые же каникулы, а потом будет хлопотать о переводе. Передашь ему от меня 200 рублей, объяснишь, почему я не могу прислать больше. Расспроси все, что ему известно о родителях. Христос с тобой! - и Наталья Павловна перекрестила внучку.

На вокзал поехали провожать Асю француженка, Леля и Шура Краснокутский. Девушки в этот день были озабочены по поводу своих шляп: в картонке у Натальи Павловны неожиданно нашлись несколько *esprits* и обе поспешили украсить им свои шляпки, но Наталья Павловна категорически воспротивилась этой затее и велела Асе тотчас отцепить перо, говоря, что эта деталь туалета не для молодой девушки. Леля ускользнула на вокзал еще в полном параде и, стоя на перроне, мысленно прикидывала, как отнесется к делу ее мать, и тревожно посматривала на темное небо, грозившее мокрым снегом ее перу. Ася сияла, заранее воображая себе встречу с двоюродным братом и гордясь ответственностью поручения. *Esprit* уже улетучилось из ее мыслей.

- Да, да, я все запомнила, уверяю вас, что все отлично сумею! прерывала она последние наставления француженки.

- Передай Мише, что я раздумала выходить за него замуж и что обещала я это ему от моей великой глупости в десять лет, сказала ей Леля.

- А от меня передайте Мише, - подхватил Шура, - что я жажду продлить с ним старое единоборство, которое началось на елке у Лорис-Меликовых и закончилось тем, что он подбил мне правый глаз. Обещаю подбить ему левый по заповеди: око за око, зуб за зуб.

Ася засмеялась:

- Ну, если я приеду с такими дипломатическими нотами, как эти две, Миша мой, пожалуй, вовсе не захочет приехать, - сказала она, а француженка воскликнула: «*Oh, mon Dieu! Pourquoi donc etes-vous si cruelle, chere pigeon*» [30]

Когда поезд двинулся, Ася сияла, махая провожающим, но Валентин Платонович за ее спиной, по-видимому, готов был растерзать на части каждого, кто вздумает к ней приблизиться, по выражению все того же Шуры.

Но в Москве, однако, все сложилось не так, как ожидали. Как только Ася явилась в учреждение, дальше vestibюля ее не пустили. Она написала записку и умолила швейцара снести ее Сабурову. В записке стояло: «Дорогой Миша! Пишет твоя сестра Ася. Мы с бабушкой страшно рады, что ты нашелся. Скорее выйди, я внизу у лестницы». И подписалась: Ася Бологовская. Курьер принес ей ответ: Весьма рад и изумлен. Не имею возможности сейчас выйти, занят на спешном совещании. Кончаю работу в 5 часов. К этому времени жди меня в сквере напротив учреждения. М.». Она удивилась, что он так отсрочивает свидание, но после сообразила, что он не мог знать плана, разработанного Натальей Павловной, и сообразоваться с ним. Оставалось пять часов времени! Старушка жила на другом конце города - новое непредвиденное осложнение (непредвиденное, потому что новое название переулочка ничего не говорило петербуржцам). Что ей предпринять, чтобы не мотаться зря по городу? Мысль отправиться в Третьяковскую галерею, которая оказалась поблизости, вывела ее из

затруднительного положения: она давно мечтала ее осмотреть, к тому же она получала возможность провести время в помещении, отогреться и перекусить в буфете. Долго потом она не наслаждалась в музее так, как в то утро. Состояние душевной открытости обострило впечатлительность. Нестеровское «Видение отроку Варфоломею» особенно завладело ее воображением. Русь времен Куликова поля... ночь... летняя, голубая... молодые тонкие березы... деревянный простой сруб бедной часовни... мальчик-пастушок со сложенными руками, с одухотворенным лицом – во всем чудилось что-то необыкновенно родное, задушевное, светлое, что связывалось в одно с любимыми напевами всеобщего бдения «Свете тихий» и «Слава в вышних Богу». Картина эта была овеяна воспоминаниями: она была воспроизведена на стене домового церкви, куда Асю водили в детстве, и всякий раз Ася старалась встать так, чтобы видеть ее, и неизменно целый ряд ощущений, неясных, но сильных завладевал ею. Теперь, стоя перед подлинником спустя 10 лет, она с новой силой ощутила его обаяние. «В музыке за одной мыслью вырастает другая, их нельзя остановить, – думала она, – они затапливают душу, а картина статична, но в нее можно погрузиться, как в море, и на дне найти свои чувства и думы, как жемчужины в океане. Неужели красота останется скоро только в искусстве, а в жизни не будет ничего кроме борьбы за существование – очередей, пайков, арестов, службы?» Юная идеалистически настроенная душа содрогалась от ужаса перед действительностью. Звонок, возвещающий о закрытии музея, заставил ее очнуться. Она не заметила, как прошло время, и не успела поесть. Через полчаса она уже бродила по расчищенной дорожке сквера и скоро увидела через решетку, как из учреждения начали быстро выходить люди. Одна фигура завернула к скверу. Да, это он! Но какой же он стал высокий и худой! Сердце ее тревожно заколотилось.

– Миша, милый! – она бросилась навстречу и сжала обеими руками его руку.

– Ася? Здравствуй! Рад, очень рад встрече. Я тоже ничего не знал о вас. Необходимо поговорить. Плачешь? Ну не надо, не надо, успокойся. Не о чем. Как видишь, жив и здоров. Ну, покажись, какая ты? Изменилась, похорошела, выросла! Сколько тебе теперь лет, Ася?

– Восемнадцать, – прошептала она, вытирая глаза.

– А мне двадцать два. Ты не замужем еще?

– Что ты! Конечно нет. Я живу с бабушкой, – и она сконфуженно спрятала лицо в «бывшего» соболя.

– С бабушкой? А твои родители?...

– Мама умерла от сыпного тифа, а папа расстрелян.

– Расстрелян дядя Всеволод? Печально. А мой отец в эмиграции, мама же... Пропала без вести.

– Миша, милый, бабушка прислала меня за тобой, чтобы ты жил с нами. Она так ждет тебя, так обрадовалась известию о тебе. Вот она прислала тебе двести рублей, чтобы ты мог выехать к нам. Ты больше не будешь один...

– Подожди, не торопись! Надо все обдумать и обсудить. Все это не так просто. Дело не в деньгах. Спрячь их пока в свою муфту. Пойдем со мной в кафе: скушаешь пирожное и выпьешь чашку какао, тем временем поговорим. Я должен перед тобой извиниться, я не могу пригласить тебя к себе домой: я – женат. Жена моя – человек несколько иной формации, чем ты, может быть, думаешь: она из рабочей семьи, комсомолка; я от нее пока скрываю, что я сын гвардейского офицера и сам – бывший кадет... Не хочется ворошить то, что удалось замять. Поэтому я не хотел бы вас знакомить. Ну, чего ты удивляешься? Отрекомендовать тебя просто знакомой я не могу – ты слишком молода и хороша собой! А представить как кузину – неосторожно! Ты, конечно, не сумеешь маневрировать в разговоре, который легко может принять нежелательное направление. Итак – в кафе?

Ася секунду медлила с ответом: пойти в кафе было бы очень интересно для нее в другое время, она еще никогда не была в кафе; но что-то в содержании слов и в самом тоне Михаила было такое, отчего мгновенно потухла ее радость, стало холодно и неудобно. Движимая деликатностью, она поспешно ответила.

– Пожалуйста, как тебе удобнее.

Но странная ей самой мысль – «А вдруг он не рад нашей встрече?» – зашевелилась в ее мозгу. Он взял ее под руку.

– Ну, пойдём. Рассказывай. Сначала скажи про бабушку: такая же она подтянутая, выдержанная и строгая или горе согнуло ее?

– Нет, бабушку не согнешь. Пережито было, конечно, очень много, и голова у бабушки совсем серебряная, но она не поддается, ум у нее до сих пор такой светлый и ясный, что подивиться можно и даже держится бабушка по-прежнему прямо.

– Не могу себе представить Наталью Павловну в современных условиях. Такая grand-dame [31] заперта в одну комнату и, очевидно, вынуждена стоять в очередях за керосином и картошкой, или мыть посуду в переднике. Просто представить себе не могу! Где же вы все живете?

– В прежней бабушкиной квартире, где всегда бывала такая чудесная елка, помнишь?

– Помню, конечно. А другие дети? Что с ними случилось? Где Вася, твой брат?

– Васи нет... Тоже тиф. Тогда же, когда мама.

Они примолкли на минуту, охваченные как будто холодным дуновением.

– А я им командовал когда-то на правах старшего. Помнишь, как мы играли в разбойников в Березовке? Мы делали себе украшения из гусиных перьев и прятались в парке. Ты Березовку помнишь?

– Березовку помню и никогда не забуду. Я до сих пор постоянно вижу ее во сне. Аллея к озеру, дубовая беседка, балкон, увитый виноградом... Вот закрою глаза и вижу. – Она сощурила ресницы, а про себя подумала: «Я ошиблась. Он – прежний, хороший! Придется еще раз огорчить его известием о дяде Сереже».

Но прежде чем она начала говорить, он спросил:

– А ты где-нибудь учишься, Ася? Как у тебя с образованием? Я воображаю, какая поднялась у интеллигенции паника, когда благородные институты и великолепные гимназии, вроде Оболенской и Стоюнинской, превратились в «советские трудовые школы», широко доступные пролетарским массам. Закончила ты среднее?

– Нет. Меня только в двадцать втором году привез из Крыма дядя Сережа, да я еще долго болела тифом. А потом бабушка отдала меня во французскую гимназию г-жи Жерар. Там все было еще по-старому: экзамены, классные дамы, реверансы, а преподавание велось на французском, поэтому поступать туда могли только дети из интеллигентных семей. Эту гимназию охраняло французское консульство. Все просили принять туда своих дочек, вот и мы с Лелей попали туда. Но окончить не успели: гимназию все-таки закрыли за идейное несоответствие.

Он усмехнулся:

– Я думаю, французская гимназия – это не то, что тебе было нужно: бабушка не поняла серьезность момента! Ну, а потом что было?

– А потом выяснилось, что у меня способности к музыке, и решено было все силы бросить на занятия роялем. Я хотела попасть в консерваторию: там я могла бы и среднее закончить. Но меня не приняли – даже к приемным экзаменам не допустили: я – дочь расстрелянного полковника – на что могу я надеяться? Учусь теперь в музыкальной школе.

– И служишь?

– Нет. Бабушка не хочет, чтобы я служила.

– Так на что же вы все живете?

Она стала рассказывать про Сергея Петровича. Он слушал, и лицо его становилось все сумрачнее и сумрачнее. Пришли в кафе. Когда они сели за маленьким столиком, стоящим несколько в стороне от других, Миша сказал:

– Да, все это очень неприятно: сослан, конечно, за прошлое, – и опер на руку нахмуренный лоб.

– Я должен поговорить с тобой очень серьезно, Ася. Я хочу, чтобы ты поняла меня. Я все время думал об этом с той минуты, как получил твою записку. Видишь ли, тот класс, который нас создал, уже сыграл свою роль и сходит со сцены. Пойми: он уже не возродится, а мы – дети этого класса – еще только вступаем в жизнь и должны отвоевать себе право на существование,

если не хотим быть выброшенными за борт. Ты понимаешь: если до революции перед нами за заслуги отцов распахивались все двери, то теперь мы расплачиваемся уже не за заслуги, а за грехи отцов, и наше происхождение превращается в своего рода печать отвержения, которую мы должны стараться сгладить. Не будем обсуждать, справедливо это или несправедливо – это факт, с которым необходимо считаться, а кто прав, кто виноват, рассудит история. Задача наша усложняется еще и тем, что готовили нас к существованию гораздо более изысканному, чем та суровая борьба, в которую мы теперь брошены. В нас развивали утонченность мысли, эстетическое чувство, изящество манер, обостряли нашу впечатлительность, а теперь вместо всей этой культуры тела и духа нам нужнее была бы здоровая простота чувств и непоколебимая самоуверенность, которая часто происходит от ограниченности, но за которую я теперь охотно бы отдал всю свою и развитость и щепетильность. Что делать! Мы должны приложить все усилия, чтобы наша неприспособленность не оказалась губительной. Не давай себя уверить, что большевики скоро взлетят на воздух. Нельзя жить как в ожидании поезда, нет. Они устроились здесь надолго, и нам остается только приспособливаться к новым условиям существования.

Он остановился и посмотрел на Асю, которая внимательно слушала его.

– Чего же по твоему не достает мне? – спросила она спокойно.

– Многого, Ася. В тебе слишком светится вся твоя идеалистическая душа. В твоих словах, в твоих движениях и манерах есть что-то сугубо несовременное. Ни практичности, ни бойкости, ни самостоятельности. Ты производишь впечатление существа, случайно заблудившегося в нашей республике. Тебе необходимо изменить если не душу, то хоть манеры – переокрасить шкурку в защитный цвет. Я знаю, что это нелегко с аристократической отравой в крови, а все-таки это необходимо. Когда-нибудь ты убедишься, что недостаточно солгать в анкете (если вообще возможно солгать), надо суметь в жизни перед окружающими поставить себя так, чтобы никто на службе или в учебном заведении не смог заподозрить в тебе дворянку. Вот я заметил, что ты всякий раз отвечаешь «мерси» вместо «спасибо» и при этом очаровательно грассируешь, обнаруживая идеальный парижский выговор. Будь уверена, что одним этим словом ты можешь предубедить против себя всю окружающую тебя среду. Я говорю это все на основании собственного горького опыта, так как однажды уже вылетел с треском с рабфака потому только, что не сумел держать себя так, как это было необходимо перед своими же товарищами да этими местными и парт-ячейками. С тех пор я стал иначе говорить, иначе смотреть. Отчасти это пошло мне во вред, но я предпочитаю лучше покраснеть перед бабушкой, нарушив правила хорошего тона, чем обнаружить свое подлинное лицо перед любым рабочим. Ася, пойми, достаточно одного только промаха перед кем-либо из «сознательных» товарищей, и вот в стенгазете появляется колкая заметка, где на тебя не то чтобы доносят, нет, зачем, – тебя высмеивают, на что-то как будто намекают, и этого уже довольно, чтобы на следующий же день тебя вызвали в комсомольское бюро или в местком, и началась травля, в которой ты непременно будешь побежден, так как опровержений твоих не выслушают и не напечатают.

Она молчала. Видно было, что она мобилизовала все свое внимание, слушая его, и это его тронуло – он наклонился к ней и внезапно теплая нота прозвучала в его голосе:

– Да ты не обиделась ли на меня? Ты вся такая, как ты есть, мне очень нравишься, я не желал бы лучшего от кухни, но... нельзя забывать, в какое время мы живем.

– Нет, я не обиделась, Миша. Я отлично понимаю, что у тебя это все выстрадано, но эта твоя теория – защитная шелуха, как вокруг каштана или ореха. Я пока не вижу сердцевины, ради которой стоило бы в нее облечься.

– О, да ты не глупа! Ты очень хорошо мне ответила! – воскликнул он, как будто чем-то удивленный.

К ним подошла официантка, и разговор прервался на несколько минут. Оба корректно выждали, пока она не удалилась.

– Ты говоришь – выстрадано. Да, выстрадано! – начал он. – А вот отчего же они, старшие – ну,

если не бабушка, то хотя бы дядя Сережа – не сумели понять того, что понял я – мальчишка? Отчего дядя Сережа не сумел найти место в новом обществе? Подумала ли ты, в какое положение поставил он тебя своей ссылкой?

Бархатные, как персик, щечки Аси покрылись нежным румянцем.

– Нет, об этом я не подумала! Я думала о том, что он, по все вероятности, попадет в очень тяжелые условия, что у него, может быть, не будет угла и что он затоскует без музыки и книг. Нет ночи, чтобы засыпая, я не вспоминала, что дядя один работал все эти годы и теперь я должна помочь ему и бабушке, но я еще не представляю себе, как это сделать!

Тени печали легли на нежное лицо.

– Я никого не хочу обвинять, – прибавила она. – Ты говоришь, что дядя Сережа не сумел занять место в новом обществе, но он был полезен, он работал, как вол – сначала в «оркестре безработных» и в рабочих клубах по вечерам – они это называли халтурой, а потом в Филармонии.

Ее кузен молчал.

– Что же ты ничего не говоришь? – спросила она, чувствуя себя в чем-то виноватой.

Он встрепенулся:

– Прости, пожалуйста. Я бываю несколько рассеян.

– Ты ведь еще ничего не рассказал ни о том, как ты жил, ни о том, что передать бабушке и когда ты приедешь к нам? – сказала она и почувствовала, что уже не ждет ничего радостного и задушевного.

– Видишь ли, Ася... скажу откровенно – да ты и сама могла бы уже понять, после всего сказанного... встреча с Натальей Павловной не входит в мои планы, и меня очень озадачивает... Ты росла под крылышком родных и, конечно, не представляешь себе, какую суровую школу прошел я за эти годы! Отец думал только о себе, когда бежал с полком в Константинополь, а меня бросил тринадцатилетним кадетиком отвечать здесь за моих предков! Я едва не умер с голоду. Я продавал газеты на улицах, я чистил сапоги; приходилось доказывать едва ли, что я не наследник-царевич или что я не верблюд, а двуногое! И вот только что я встал на ноги, сумел отбросить «Долгово» и навсегда покончить с прошлым, я узнаю, что у меня есть родственники, которые жаждут раскрыть мне объятия! Пойми: для тебя бабушка и дядя Сережа – близкие и дорогие люди, а для меня – враждебные призраки, которые являются опять возмутить только что налаженную жизнь. Мое происхождение уже достаточно мешало мне!

– Миша, Миша, не говори так! Это очень грустно, что тебе было так трудно, но ведь мы не знали, где тебя искать. Бабушка, конечно, взяла бы тебя к себе, как сына, если бы раньше напала на твои следы. Она и дядя Сережа сделали бы для тебя все – ведь сделали же для меня! Ты говоришь так раздраженно и сухо, точно ты не рад нашей встрече. Миша, вспомни, как бабушка всегда баловала нас: помнишь, как ждали мы всегда ее приезда в Березовку и какую кучу игрушек она привозила? Помнишь живого ослика и колясочку, в которой мы с тобой катались, когда был пикник? Помнишь твоего пони и того чудного араба и мою куклу Лили, которых бабушка привезла из Парижа? А «серенький ящик» со всевозможными штуками, которые бабушка показывала нам только в утешение, когда кто-нибудь из нас бывал нездоров?

– Я все помню, Ася. Память у меня очень хорошая. Но дело все в том, что баловать меня тогда не стоило бабушке Наташе никаких усилий и уж, разумеется, никакого риска. А мне теперь возобновлять отношения с ней – значит поставить на карту все! Репрессированные родственники и громкие фамилии для меня – петля! Я занимаю хорошее место, весной мне обещана путевка в ВУЗ с сохранением содержания, и вдруг на горизонте появляется бабушка – ее превосходительство и его благородие опальный дядюшка – белогвардеец в ссылке – тут призадумайтесь!

– Миша, ты говоришь недостаточно уважительно... точно с издевкой! Как смеешь ты так говорить. Бабушка стара, у нее такое большое горе, если ты прибавишь ей огорчения еще хоть каплю – будет уж слишком много!

- Мне тоже тяжело все это, Ася; но с теми, с кем я могу говорить прямо, я предпочитаю не изворачиваться. На меня не рассчитывайте! Я сам выбился на дорогу, ни одна живая душа не пришла мне на помощь. Я ни у кого ничего не просил, и теперь прошу только одного - оставить меня в покое.

Ася порывисто встала.

- Будь спокоен, Миша, совсем спокоен: ни бабушка, ни дядя Сережа, ни я больше никогда не потревожим тебя. Я могу уйти сейчас же.

- Подожди, торопиться тоже ни к чему. Ты этим только меня обидишь. Все, что я сейчас говорил, относится больше к бабушке, чем к тебе. С тобой я бы с удовольствием встречался иногда на нейтральной почве. Переписываться не предлагаю, потому что в своей записке ты ясно показала, что не имеешь понятия о конспирации. Но провести с тобой вечер, раз уж мы встретились, я буду рад.

- Мерси, мне очень некогда. Я хочу сегодня же уехать, а у меня еще нет билета... И потом... если ты не хочешь быть родным бабушке, я не хочу быть родной тебе. Меня и бабушку разделять нельзя.

И она потянула руку из его руки.

- Неудобно здесь препираться на глазах у всех. Подожди, я выйду тоже.

Он бросил деньги на стол и вышел вслед за ней.

- Я не хотел с тобой ссориться, Ася. Я отлично понимаю, что обманул твои ожидания, но и ты должна понять, что я не мог говорить с тобой иначе.

- Извини, Миша, но я этого не понимаю и никогда не пойму,- ответила она, одеваясь. Губы ее дрожали. При свете фонаря ему было видно это взволнованное личико, на которое он так часто смотрел в детстве. Что-то сжалось в его груди, воспоминание опять дохнуло теплом в заолодевшую душу.

- Ася, ты обиделась, и совершенно напрасно. Повторяю - мне тоже очень больно. От всех прелестей жизни я стал неврастеником и уже знаю, что не засну всю ночь. Ты многое недооценила: другой на моем месте стал бы вором и гопником или просто спился.

- Лучше бы ты спился, Миша.

Он вторично удержал ее за руку.

- Подожди! Ты истратилась на поездку, а у вас, наверное, денежные затруднения. Я сам того не зная, ввел вас в заблуждение. Вот, возьми, пожалуйста. Я не знал, что ты привезла мне деньги, и в свою очередь еще утром приготовил для бабушки. Здесь все, что у меня при себе сейчас.

- Михаил. Если ты хоть немного сохранил чувства джентльмена, ты сам понимаешь, что не желая считать нас за родных, ты не смеешь предлагать нам денежную помощь. Не принуждай, а то я убегу, а ты, наверное, помнишь - я очень быстро бегаю.

- Ах, Ася, это все громкие слова! Я предлагаю от души: передавая из рук в руки, я ничем не рискую, надо же понять.

- Ты уж слишком умен, Миша, и конечно, умнее меня. Я никогда не сумею устроить свою жизнь так, как ты. Ну и будь счастлив, если можешь. А меня оставь, пожалуйста, оставь. Прощай!

И с быстротой козы она перебежала на другую сторону улицы.

Старая приятельница Натальи Павловны с утра ожидала Асю и давно уже беспокоилась, куда девалась девушка. Только в восемь часов Ася наконец прибежала. Она показалась старушке очень хорошенькой, очень милой и воспитанной, но, несомненно, чем-то расстроенной. Старушка даже забеспокоилась - не было ли у девушки какой-то тайной встречи и не случилось ли чего-нибудь непоправимого... Не считая себя вправе расспрашивать, она только обласкала ее и усадила обедать. Едва только Ася кончила обед, во время которого успела рассказать все, что ей поручила Наталья Павловна сообщить о себе и о сыне, как раздался звонок, и в комнате появилась длинная тощая фигура и прилизанная голова Валентина Платоновича. После обычной процедуры представления он сообщил Асе, что успел кончить

служебные дела и уезжает с десятичасовым поездом; билет у него уже есть, на всякий случай он достал и для Аси. Этот билет он вернет в кассу, если Ася желает остаться, но Ася заторопилась уезжать. Скоро они вышли на лестницу.

- Не пожелал поддерживать родственных отношений? -спросил Валентин Платонович, пристально взглянув на молчаливую девушку.

Она с удивлением обернулась на него.

- А вы откуда знаете?

- Я с самого начала допускал эту возможность! Уже потому, как он отшатнулся от меня, можно было это предвидеть.

Ася молчала. «Вот этот ведь не отрекается же от родных и от своего круга, - подумала она, - а между тем он сын члена Государственного совета, и его мамаша сама говорила бабушке, что у нее всегда готов чемодан с бельем и сухариками на случай ареста Валентина Платоновича».

Все так же молча они спустились вниз. Перед подъездом стояла элегантная машина, Валентин Платонович открыл дверцу.

- Прошу вас, Ксения Всеволодовна. Мы сейчас покатаемся по Москве.

- Как? Ведь у нас же поезд в десять часов?

- Поезд не в десять, а в двенадцать тридцать. Я присочинил немного, боясь, чтобы вам не стало скучно со старухой. Мне хотелось показать вам белокаменную, пользуясь случаем, что знакомый академик предоставил мне на этот вечер машину.

- Да как же вы распорядились за меня?

- А что ж такое? Ведь смотреть Москву интереснее?

- Конечно, интересней... но мне однажды уже попало за автомобиль, кода я ехала с Рудиным.

- Простите... с кем?

- С Рудиным. Дядя уверяет, впрочем, что это была вымышленная фамилия, но я не совсем уверена.

И она кратко рассказала случившееся. Он кусал себе губы, чтобы не рассмеяться.

- Ксения Всеволодовна, уверяю вас, что все эти запреты относятся только к случайным знакомствам. Впрочем, если вы сомневаетесь, что я есть я, или опасаетесь за целостность «бывшего соболя», я тотчас остановлю машину.

- Да нет, я не сомневаюсь... совсем нет... - и она замолчала, смущенная.

Покатались по Москве. Было и в самом деле интересно, сквозь это в сердце все время чувствовалась боль от разговора с Михаилом, но все-таки было интересно. Возникло только одно осложнение: в середине какого-то пустого разговора она проиграла *pari a discretion* [32], которое предложил Валентин Платонович. Теперь ой прочел ей целую лекцию о том, что оплата *pari* - такой же долг чести, как карточный долг или всякий другой. Причем прибавил:

- Да вы не опасайтесь, Ксения Всеволодовна: ничего особенно страшного я от вас не потребую. Под машину вас броситься не заставлю.

- Ну, так говорите же скорее, что вам надо, чтоб уж не беспокоиться, - сказала она с тревожной ноткой в голосе.

- А вот сейчас выйдем из машины и скажу.

Они вышли, и когда он отпустил машину, то, наклонившись к ней, сказал тоном волка из «Красной Шапочки»:

- Вы должны поцеловать меня!

Она вспыхнула и отшатнулась:

- Что вы, я не хочу! Придумайте что-нибудь другое.

- Нет, Ксения Всеволодовна, только это! Отказываться нельзя никак - долг чести! Да и что тут страшного? Коснетесь моей щеки прелестными губками. У меня нет ни кори, ни скарлатины - никакая зараза к вам не пристанет. Дешево отделаетесь, уверяю вас. А впредь примите мой совет: ни с кем не заключайте *pari a discretion*.

Ася растерянно смотрела на него.

- Господи, до чего же неудачная вышла эта поездка в Москву! - со вздохом вырвалось у нее.

- И в самом деле неудачная. Разрешите выразить сочувствие. Но так как времени у нас мало, приступимте к делу немедленно. На улице целоваться несколько неудобно... Зайдемте хотя бы в этот подъезд.

Вошли в подъезд.

- Поднимемся повыше - в верхних этажах тише, никто не помешает.

Ася уныло поплелась сзади, опустив голову.

- Ксения Всеволодовна, я вас точно не эшафот веду! Повеселей немножко!

Они остановились друг против друга на площадке пятого этажа. Было уже поздно, и на лестнице стояла полная тишина.

- Ну-с, я жду!

Ася стояла с поникшей головой.

- Смелее, Ксения Всеволодовна! Минута - и все будет кончено, - так говорили мне в детстве, когда держали передо мной ложку ужасного лекарства.

Он шагнул к ней, и она заметила в нем внезапную перемену: глаза у него как будто загорелись, дыхание стало прерывисто, исчезло насмешливое выражение. Инстинктивно почувствовав опасность, она попятилась, но он уже обхватил рукой ее шею и приник к ее губам, насильно разжимая их. Трепеща, она пыталась высвободиться. Когда наконец он выпустил ее и, как ошпаренный, сел на подоконник, она возмущенно напустилась на него, встряхиваясь, как зверек:

- Гадкий! Как вы смеете? Кто же так целуется? Не умеете, так лучше не пробуйте!

- Не умею? Я не умею? - искренно изумился бывший паж. - Позвольте, почему же это я не умею? Впрочем, если вы искуснее меня, вы, может быть, дадите мне несколько уроков? Я буду очень счастлив, - он уже овладел собой и вернулся к обычной манере разговора.

- Сколько я целовалась со всеми, и никто не целовал меня так!

- То есть как это со всеми? С кем же, например?

- Ну, вы прекрасно знаете всех, с кем я живу!

- Ох, Ксения Всеволодовна, ваше счастье, что я не обладаю *esprit maletourne* [33]. А вы не допускаете, что женщины целуются одним способом, а мужчины другим?

- Я не только с женщинами целовалась, я и с мужчинами!

Вот оно что! Интересно - с кем же это?

- Ах, Господи. Каждое утро дядя Сережа целовал меня в лоб, а в Светлое Воскресенье я христосовалась с Шурой Краснокутским! и с бабушкиным старым лакеем, который всегда приходит поздравлять, и все целовались нормально, а не как вы!

- Прекрасно! Умозаключения ваши преисполнены мудрости, но несколько скороспелы. Когда-нибудь, вспоминая эту сцену, вы отдадите мне должное во всех отношениях, а теперь бежимте скорее, иначе опоздаем на поезд и надолго застрянем в Москве из-за этого злосчастного пари. Испуганная этой перспективой, она припустила вниз.

Стоя у окна в коридоре вагона и глядя на исчезающие одно за другим предместья, она потихоньку вытирала слезы. Валентин Платонович, вышедший из купе с папиросой, подошел к ней:

- Не плачьте, Ксения Всеволодовна. Не стоит Михаил ваших слез. А ну его! Скрывать от собственной жены свое происхождение! Хотел бы я знать, о чем он говорит с ней. Ренегат! Право, если бы меня спросили, что я предпочитаю: сесть за первомайский стол с махровым пролетариатом и неизбежной водочкой и икотой или на расстрел со всем *beau mond'*ом - я выбрал бы второе!

Ася недружелюбно покосилась на него исподлобья. «Нет, я о пролетариях думаю все-таки не так! Почему они должны быть хуже нас?» - мелькнуло в ее мыслях. Но он начал в это время длинную тираду, клонившуюся к тому, что рассказывать дома о поцелуе невыносимо: расплата за пари всегда должна оставаться втайне; к тому же он рискует навсегда утратить расположение Натальи Павловны и тогда не сможет бывать в их доме и забавлять ее и Лелю в дни рождений и именин. Требование это возмутило Асю. Она не сразу дала слово и в самом

мрачном расположении духа ушла на свою койку. Мысли ее снова перебросились к Михаилу. «Ее превосходительство и grand dame! Разве этим исчерпывается содержание бабушки?» - и мысль ее тотчас натолкнулась на детское, но горькое воспоминание.

Двадцать второй год, Сергей Петрович и мадам везут ее из Севастополя в Петербург к бабушке. Грязные продувные теплушки кишат: вшами и битком набиты людьми в полушубках. Люди эти пьют, гогочут, курят, ругаются и называют друг друга «товарищи». Она еще никогда не видела таких людей с таким бесцеремонным отношением друг к другу. Страшнее всех матрос Ковальчук, который то и дело рассекает топором поленья для «буржуйки» посередине вагона. Угодив щепкой ей в лицо, он закричал на Сергея Петровича: «Замолчи, белогвардеец недострелянный! К стенке приставлю!» Совершенно измученные, оборванные и больные, они все трое дождаться не могли конца этого переезда, длившегося четверо суток, и еле живые дотащились до Натальи Павловны, которая все годы гражданской войны провела в Петербурге одна, со старой преданной служанкой. «Я помню, бабушка тут же, в передней, сорвала с меня все тряпки и велела своей Пелагее сжечь их, а меня на руках перенесли в ванну. Вечером дядя Сережа уже лежал в бреду, а на другой день заболела сыпняком и я. Мадам видела, как тяжело ухаживать за двумя беспмятными, и когда через несколько дней пришла ее очередь свалиться, умоляла отправить ее в больницу. Но бабушка так не сделала: вдвоем с покойной Пелагеюшкой они и днем и ночью переходили от постели к постели, из комнаты в комнату. Зарабатывать было некому, и приходилось продавать вещи, а теперь я знаю, что такое продавать вещи! Как только очнусь, бывало, всегда вижу бабушку рядом. Как она ласкала меня! "Моя бедная крошка! Моя птичка! Ну, открой ротик, глотни воды!" Мне так аккуратно меняли белье! Пелагеюшка почти не отходила от корыта. Дядя Сережа все порывался в бреду куда-то бежать: два раза его настигали у выходной двери и находили силы тащить обратно и укладывать снова в постель. Когда пришли трудные дни, grand dame никакой работой не побрезговала и заразы не боялась. А через год, когда случился удар у Пелагеюшки, бабушка точно так же ухаживала и за ней и меня заставляла около нее дежурить. Пелагеюшка целовала бабушке руки и все повторяла: «Моя барыня - ангелица!» Ей, наверно, представлялось, что ангел - это мужчина. Вот тебе и grand dame, ее превосходительство!»

## Глава четырнадцатая

*Мы говорим на разных языках.*

*Д. Бальмонт.*

Забавные гримасы иногда преподносит советская действительность! Они похожи на анекдоты, и их рассказывают, смеясь и оглядываясь тут же на дверь - как бы не услышал сосед-пролетарий или гедеушник, который - не дай, Господь, как раз подходит в эту минут к двери!

Вот, например, маленькая Ася Бологовская побежала в лавку получить макароны, и ей завернули их в лист, который оказался вырванным из трудов Лихачева и как раз на странице, повествующей о предках бояр Бологовских! А вот другой случай: праздновался чей-то юбилей в Академии наук - банкет, произносились речи на банкете, и вот поднялся с бокалом высокий седой Перетц. Легкий трепет пробежал по лицам присутствующих, ибо упомянутый академик упорно не желал проявлять должную лояльности в своих речах: говорил, что в голову приходит, а в голову ему всегда приходили мысли и сопоставления слишком смелые! В этот раз Владимир Николаевич пожелал нырнуть вглубь истории и припомнить времена татарского владычества и поездки князей в Орду. Закончил он свою речь следующим апофеозом: «Мы все любим и уважаем вас, дорогой коллега, за то, что вы в Орду на поклон не ездите и ярлыков на княжение не выпрашиваете». После этих вдохновенных слов наступила тишина; все глаза опустились в тарелки, многие присутствующие съежились, как будто желали исчезнуть вовсе... А бедный юбиляр?

А вот анекдот еще забавней: председатель Верховного Совета Калинин в юности служил

казачком в имении сенатора Мордухай-Болтовского; молодые господа, которым он приносил червей для удочек, снабжали его книгами и первыми познакомили будущего столпа революции с творениями Маркса и Энгельса. Впоследствии, когда поместье Мордухай-Болтовских уже было отобрано, бывший казачок заступился за внуков сенатора, которых не принимали в университет, и дал им возможность получить высшее образование. Недавно явились арестовывать одного из Мордухай-Болтовских, и вот, перерывая книги и вещи, агенты гепеу внезапно меняются в лицах и подталкивают друг друга локтями – на стене перед ними портрет председателя Верховного Совета с надписью «Дорогому Александру Ивановичу от благодарного Калинина».

А вот анекдот еще острее: молодой человек, студент, сын профессора, увидел на улице уже дряхлую даму с лицом, испачканным сажей, и в черной соломенной шляпке, съехавшей набок. Однако черты этой дамы и жест, которым она придерживала рваную юбку, изобличали даму высшего общества. Несколько мальчиков гнались за ней с хохотом, выкрикивая обидные слова. Молодой человек отогнал мальчишек и с манерами рыцаря предложил старой даме руку, предлагая проводить ее домой. «Кто вы юноша? Теперь редко можно встретить таких воспитанных молодых людей. Вы, должно быть, из хорошей фамилии?» – спросила старая дама. «Римский-Корсаков», – представился, кланяясь, юноша и увидел изумленный взгляд незнакомки. «Однако... Позвольте... Римская-Корсакова - я», – проговорила в ответ несчастная леди. Немедленно нырнули в генеалогию и выяснили, что старушка – Полина Павловна – приходится кузиной покойного композитора и grand-tante [34] юноше. Вошли в квартиру Полины Павловны, и глазам студента представился огромный портрет одного из его предков – градоначальника Петербурга – рядом с закоптелой временем посередине бывшей гостиной. Усадив родственника, старая дама начала сетовать на бедственное положение и при этом обмолвилась, что подает прошение в Кремль, чтобы ей как бывшей фрейлине ее величества установили наконец заслуженную пенсию... Молодой человек вскочил, как ужаленный: «Склероз мозга! О, да! Она уже не понимает, что делает». Прямо от неожиданно обретенной тетушки бросился он к отцу и прочим родственникам, и скоро на семейном совете было постановлено выплачивать Полине Павловне пенсию по пятьдесят рублей с каждого гнезда, лишь бы она не напоминала кому не следует о былом величии рода...

Много ходило трагикомических анекдотов по поводу заселения квартир недопустимо разнородным элементом; даже в газете раз промелькнула статья под названием «Профессор и... цыгане!»

Наталью Павловну всего более беспокоили именно такие рассказы. Весьма возможная перспектива заселения ее квартиры пролетарским элементом превратилась у нее в последнее время в *idée fixe* и лишала ее сна. Она чувствовала себя как под дамокловым мечом, и беспечность Аси в этом вопросе раздражала ее.

Великолепная барская квартира Натальи Павловны с высокими потолками и огромными окнами уже несколько лет назад по приказу РЖУ была разделена на две самостоятельные квартиры: пять комнат вместе с кухней и черным ходом отпали. Теперь оставался один парадный вход, а бывшая классная была превращена в кухню с плитой и краном. Мадам содержала эту кухню в величайшей опрятности и чувствовала себя в ней полной хозяйкой. Но и оставшиеся шесть комнат показались РЖУ слишком обширной площадью для одной семьи, и скоро столовая – одна из самых больших комнат, отделанная дубом, – была отобрана и заселена красным курсантом и его женой, явившихся с ордером, как снег на голову. Теперь за Бологовскими осталась спальня Натальи Павловны, бывший кабинет ее мужа, который стал комнатой Сергея Петровича, бывшая библиотека и маленький будуар. В библиотеке спала на раскладушке мадам, в будуаре на диване – Ася. Попадать в библиотеку и будуар можно было только через гостиную, где была еще дверь в переднюю. Комната эта, как проходная, на учет не бралась и не подлежала заселению, но за «излишки» площади приводилось платить вдвойне. Вся семья предпочитала платить, лишь бы сохранить комнату, благодаря которой можно было избежать тесноты, и которая служила теперь одновременно и столовой, и

гостиной. Небольшой зимний сад, отделенный от коридора стеклянной стеной, представлял теперь собой беспорядочный склад ломаной мебели и ненужных вещей, но вследствие стеклянных стен не мог быть использован как жилая площадь. Отобрать для заселения могли только кабинет или спальню.

Опасения Натальи Павловны оказались не напрасны: через два дня после возвращения Аси из Москвы явилась комиссия из РЖУ, сопровождаемая управдомом, и беззастенчиво вторглась в комнату. Не снимая фуражек, с папиросами в зубах они обошли комнаты, и жертвой был выбран кабинет, который велено было очистить тотчас же. На вопрос Наталии Павловны – не разрешат ли ей заселить кабинет по собственному выбору, ей очень грубо ответили, что заселением ведаёт РЖУ и что новые жильцы явятся завтра же. И Наталья Павловна и мадам были очень расстроены случившимся. Чувство изолированности и уюта исчезло уже при водворении красного курсанта полгода тому назад; теперь – с новым вторжением чужеродного элемента – квартире предстояло сделаться «коммунальной». Стали спешно разгружать кабинет.

В гостиной стоял огромный концертный беккеровский рояль, в кабинете – Мюльбах, которого страстно любил Сергей Петрович. Порешили переставить его в гостиную, а концертный отправить в комиссионный. Письменный стол, нотные и книжные шкафы и портреты предков перетаскивали частично в библиотеку, частично в гостиную, где все еще находилось место; все ненужное – в зимний сад. Наталья Павловна несколько раз входила в кабинет и с невыразимой грустью обводила глазами разоряемое гнездо сына. Ася, пробежавшая туда и обратно в передничке с пыльными руками, всякий раз озабоченно останавливала на бабушке тревожный взгляд. По телефону был экстренно вызван на помощь Шура Краснокутский. Он находился в опале у Аси: накануне скончалась, наконец, знаменитая борзая, и Шура был приглашен сопровождать девушек на кладбище, где предполагалось зарыть Диану на семейном месте под скамейкой. Несчастливая звезда юноши внушила ему в ту минуту, когда выносили тело собаки, насвистать траурный марш Шопена. Ася, расстроенная смертью собаки и всеми предшествующими событиями, с несвойственной ей резкостью набросилась на Шуру, требуя, чтобы он тотчас замолчал и обнажил голову, и хотя и то и другое было послушно выполнено, оставалась крайне немилостива к верному поклоннику. С похорон она не пригласила его в дом; поэтому получив теперь приглашение помочь при передвижении мебели, юноша прибежал бегом и проявлял бурную энергию, надеясь заслужить, наконец, прощение. К вечеру все уже было готово, начищено и прибрано, только концертный рояль – очередная жертва – стоял неприкаянный посередине комнаты: за ним должны были приехать из комиссионного магазина. Продажа этого рояля сулила новый выход из материального тупика. Мадам причитала над великолепной ванной – комната эта, вся в мраморных изразцах, с мозаиковым полом, теперь переставала быть собственностью семьи.

Новые жильцы явиться не замедлили – это было нечто, превзошедшее все самые тревожные ожидания. Во время утреннего завтрака после звонка, в передней послышалась громкая икота и чей-то грубый бас начал что-то доказывать, все повышая и повышая голос. Неожиданно, без предварительного стука, дверь гостиной распахнулась и в комнату ввалилась крупная фигура в засаленной гимнастике, с замотанным вокруг шеи грязным шарфом и взлохмаченной головой. – Так что я явился с ордером на вашу комнату. Выделите мне ключи без проволочек, потому как переселяться надо. Даром, что ли, мы кровь проливали? – заговорила неведомая личность. Наталья Павловна вышла из-за стола.

– С кем я говорю? – спросила она с достоинством.

– Отставной матрос, потомственный пролетарий – Павел Хрычко! – гаркнул тот. – Коли ежели хотите увидеть ордер – пожалуй, поглядите, а чинить себе препятствия я не позволю. Я – инвалид; у меня в боях с буржуями кисть изувечена, у меня жена и дети. Я жаловаться буду!

– Никто не собирается чинить вам препятствия, – тихо сказала Наталья Павловна, – если у вас ордер, вы вправе переселяться. Ключа от комнаты у меня нет, так как мы жили своей семьей и комнат не запирали, а ключ от квартиры я вам дам. В свою очередь, прошу вас стучаться,

прежде чем входить.

- Ну, это можно, ежели непременно желаете. А только спесь-то с вас еще не сбита, как я погляжу. И чего смотрит товарищ Дзержинский? Ну, да это потом. Благодарим, через час будем.

Вслед за этим началось «великое переселение народов», по выражению Аси. Неизвестные женщины в валенках и платках перетаскивали домашний скарб: тюфяки, подушки, табуретки, кружки, корыто, пустые бутылки, портреты вождей... попеременно раздавались то ругань, то детский плач; харканье и плевки создавали, так сказать, основной фон этой симфонии. Едва только водворили вещи, по-видимому, тотчас сели за стол, так как послышалось нестройное пение и пьяные мужские и бабьи голоса. Кто из примелькавшихся лиц являлся членами семьи этого столпа современного общества - отставного матроса, а кто приглашенными им гостями - сказать пока было трудно.

Наталья Павловна, мадам и Ася поспешили закрыть задвижки из гостиной в переднюю и из спальни в коридор, чтобы изолироваться в своих комнатах, как в осажденной крепости, а выходя в ванную или в кухню, с робостью осматривались, свободна ли дорога и конвоировали друг друга. Чувство незащитности, покинутости и сиротства все усиливалось и щемило сердце каждой из этих трех женщин, когда неожиданно подоспела помощь в лице Валентина Платоновича и Шуры. Оказалось, что обоих послала мадам Краснокутская, которая в этот день разговаривала по телефону с Натальей Павловной и была осведомлена о тревожных событиях в их доме.

- На экстренном заседании решено было произвести мобилизацию на случай, если потребуются вмешательство вооруженных сил дружественной державы, - отрапортовал Валентин Платонович, целуя руку Натальи Павловны. Прибывавшее подкрепление явилось очень кстати. Все несколько оживились; мадам отважилась выйти в кухню поставить чайник, чтобы напоить гостей, но тотчас прибежала обратно с сенсационным известием: из кухни исчез самый большой медный чайник, а из коридора - круглый стол черного мрамора, на котором стоял телефон, переставленный бесцеремонно на пол неизвестными руками. Это вызвало всеобщее возмущение, особенно волновалась мадам. Одна Ася пыталась заступиться и, перебегая от одного к другому, тщетно восклицала:

- Не надо поднимать шума из-за таких пустяков! Пожалуйста, не надо! Он такой жалкий, с больной рукой! Вспомните Достоевского - может быть, эта семья вроде семьи Снегирева или Мармеладова!

- Ксения Всеволодовна, согласитесь, что с первого же дня брать без спроса чужие вещи - бесцеремонность исключительная, - воскликнул Шура.

- Которой надо сразу же положить конец, или эти наглецы сядут вам на голову! - твердо закончил Валентин Платонович. - Александр Александрович, приглашаю вас в атаку отбить трофей! - смеясь обратился он к Краснокутскому. Тот выпрямился и, отбивая ногами такт, стал насвистывать марш Преображенского полка. Способность Шуры все превращать в шутку всегда раздражала Асю. «Под этот марш когда-то ходил папа, а он профанирует его!» - подумала она, надувая губки. Через пять минут стол был водворен обратно, а одна из женщин, по-видимому супруга «потомственного пролетария», явилась объясняться по поводу чайника:

- Так что мы очень просим... Гости, видите ли, у нас - не в чем подать... Уж будьте так любезны, мы новоселье празднуем! А если кого из гостей вырвет в коридоре, так уже вы не беспокойтесь - я завтра весь пол перемою, - говорила она.

Это была еще молодая женщина тридцати пяти лет, круглолицая мещаночка, достаточно миловидная, но что-то приниженное и подобострастное было в ее манерах в противоположность вызывающему тону супруга. Слова о рвоте у гостей произвели настолько ошеломляющее впечатление, что несколько минут все совершенно ошарашенные молчали. Наталья Павловна первая нашлась и сказала, что согласна оставить чайник на сегодняшний вечер, но просит впредь без ее ведома ничего из ее вещей не трогать. Женщина проворно убежала.

- Ну и публика! - воскликнул Валентин Платонович.

- Ну и сброд! - подхватил Шура, и опять закипело возмущение. В эту как раз минуту дверь гостиной распахнулась и на пороге выросла фигура самого «потомственного». Жена, видимо, удерживая его, тянула его за руки обратно.

- Вы уж очень зазнались тут! - зарычал он, вырываясь. - Ишь ты, со скандалами являются! Что же мне с семьей в подвале, что ли, оставаться? За что боролись? Да я, если захочу, всех вас упеку! Нашли кого пугать, офицерье переодетое! Ваше время прошло!

Наталья Павловна поднялась, вся дрожа от бессильного негодования, остальные замерли. Один Валентин Платонович не растерялся. Он сделал шаг вперед и толкнул в грудь непрошеного гостя:

- Вон, или сейчас вызову милицию по телефону и привлеку к ответственности за хулиганство! Угроз ваших здесь никто не боится. Здесь все советские граждане. Я сам был красным командиром! - и, схватив гостя за шиворот, он выволок его в переднюю. Тот ударил Валентина Платоновича с размаху кулаком, но подоспевший Шура, захлопнул дверь на задвижку.

- Наталья Павловна, не расстраивайтесь, он пьян. В трезвом виде он этого не повторит, - сказал Валентин Платонович, держа платок у глаза.

- Он получил хорошее ассажэ и впредь будет смирен, как ягненок, - сказал Шура.

- Получил ассажэ, но не от вас! - не удержалась, чтобы не съязвить Ася. Оказалось, что у Валентина Платоновича порядком подшиблен висок и глаз. Его усадили, стали делать ему примочки арникой. Шура, не без зависти, наблюдал, как хлопотала около него Ася. Но Валентин Платонович не пожелал воспользоваться полученным преимуществом, одержимый постоянным желанием острить:

- Ксения Всеволодовна, если мне суждено погибнуть во цвете лет от этой смертельной раны, умоляю Вас, в память обо мне, никогда не заключайте *pari a discretion* с вашим новым соседом, - улучив минуту, голосом умирающего проговорил он; девушка с досадой отвернулась.

Пьяные крики начали смолкать, и скоро наступила тишина, нарушаемая только заглушёнными звуками богатырского храпа. Молодые люди собрались уходить, и Шура взял уже под руку раненого героя, как вдруг снова послышался на этот раз женский визг. Разведка показала, что вцепились друг другу в волосы жена красного курсанта с женой Хрычко, которая забралась в ее бочку с квашеной капустой, помещенную в коридоре. Валентин Платонович был очень доволен этим известием и объяснил Наталье Павловне, что междоусобные войны всегда ослабляют противника и что это значительно улучшает их положение, после чего молодые люди удалились.

Проверили на всякий случай все задвижки, три женщины собрались спать. Перед тем как нырнуть в постель, Ася тихо стукнула в дверь бабушкиной спальни.

- Entrez [35], - отозвалась Наталья Павловна, которая все сидела в кресле. Свет от лампы, затемненной голубым абажуром, падал на ее лицо, которое показалось Асе осунувшимся и печальным. Она бросилась на колени около кресла Натальи Павловны.

- Бабушка, бабушка, не грусти! Все еще будет хорошо, я уверена!

- Нет, дитя. Ничего хорошего я уже не жду. Я больше не увижу Сергея. Здесь, в комнате моего сына, валяется пьяный хам, в то время как мой сын пропадает в тайге в глухом поселке, а мой внук не хочет меня знать! Трудно примириться с этим. И мне страшно, Ася, за тебя и за твою судьбу: теперь, когда в семье нет мужчины, мы беззащитны, материальной базы никакой, и мысль о том, как сложится твоя жизнь, не дает мне покоя.

Ася прижалась щекой к руке Натальи Павловны.

- Я люблю твои руки, бабушка. Ни у кого нет таких изящных длинных пальцев. Не волнуйся за меня. Знаешь, бабушка, когда я лежу совсем тихо в постели по утрам и вечерам, мне часто кажется, что на меня идут сверху длинные серебристые лучи; это так приятно, что я боюсь пошевелиться, чтобы не порвать их, как паутину. В такие минуты я очень хорошо знаю, что буду очень счастлива. Меня ждет что-то очень светлое! Оттого я так люблю играть Consolation Листа. Я никогда не сказала бы этого - такие вещи лучше не выговаривать, но мне хотелось

утешить тебя, бабушка!

С наступлением утра новые жильцы показались хоть и не очень приятными, но не столь устрашающими. Гости их удалились, великолепный глава семьи отбыл на работу. Осталась только его жена с двумя мальчиками четырнадцати и четырех лет. Она суежилась, мыла пол, визгливо кричала на детей и на кошку, но, в общем, не выходила из границ приличия. Чайник был возвращен вычищенным и блестящим.

Столкновение за весь день было только одно – по поводу грязного белья, замоченного в ванне. Соединенными усилиями мадам и жена курсанта новую жилищу принудили вынуть белье и вымыть ванну. Вечером, когда мадам заглянула в кухню, обе женщины мирно стирали белье и вели разговоры, весьма притом поучительные. Они делились впечатлениями по поводу аборт: одна имела их пять, другая – три. Мадам постояла, послушала и сказала себе, что Асю и Лелю теперь вовсе нельзя выпускать в кухню.

## Глава пятнадцатая

*Томно-порочных*

*Нельзя, как невест, любить...*

Олега выпустили из больницы только в начале марта. Воспаление легких прошло скоро, но плеврит затянулся, что оказалось отчасти к лучшему: за время болезни, впервые после лагеря, Олег получил возможность отдохнуть и отоспаться. Кроме того, в больнице обратили внимание на общее состояние организма – истощение и малокровие – и подлечили впрыскиванием мышьяка с железом и глюкозой, а также регулярным питанием. Заключение врачей о плеврите было неутешительно: Олегу объяснили, что застрявший в плевре осколок, неудаленный при прежних операциях, дает и будет давать постоянное воспаление плевры. Вячеслав ошибался, когда с таким азартом доказывал, что заболевший советский служащий обеспечивается зарплатой: выяснилось, что правило это относится лишь к тем, кто проработал более или менее значительный срок в одном учреждении, а Олег, проработавший всего месяц и притом внештатным работником, не имел права на получение зарплаты, и бюллетень имел значение только как оправдание за пропущенные дни.

За все время болезни его только раз навестили Нина и Мика; в последующие впускные дни вследствие очередного гриппа, блуждавшего по городу, доступ посетителям в больницу был воспрещен. О Марине он не знал ничего, так как при Мике не решился расспрашивать о ней. Нина упомянула мимоходом, что Марина Сергеевна здорова и передает привет, и это было все! Думая о ней, он испытывал недовольство за то, что было между ними в последний день. Он понимал, что не влюблен, и не пытался себя обманывать. Вместе с тем он говорил себе, что она – порядочная женщина, с которой нельзя было после такой сцены обратить отношения в ничто. Вопрос, как сложатся теперь их взаимоотношения, и как ему следует себя с ней держать, стоял перед ним, требуя разрешения. Если связь между ними упрочится – он должен будет уйти из порта: он чувствовал себя не в состоянии, обманывая ее мужа, встречаться с ним на службе. Старый еврей, являясь его прямым начальством, явно благоволил к нему: всегда был с ним исключительно вежлив, а при партийцах постоянно подчеркивал знания Олега, его работоспособность и умение себя держать, по-видимому, желая создать ему репутацию ценного работника. Олег не мог не быть благодарен ему за это. И вот между ними встала Марина!

«Я не должен был идти на близость с ней ради этого старика и ради самого себя – мне дорого это обойдется, если придется бросить работу», – думал он и вместе с тем чувствовал, что у него нет никакой уверенности, что он устоит перед ее чарами при следующей встрече. Вспоминая во всех подробностях все, что было между ними, он не мог не видеть, что инициатива принадлежит ей... Зачем это ей было нужно? Со скуки? Такое легкомыслие не вяжется с достоинством порядочной женщины, смолянки, подруги Нины. А может быть, она действительно его полюбила и будет настаивать на браке? Но Марина не подходила под тот

идеал женщины, которой он в мечтах отдавал свою любовь и которую считал бы достойной себя тогда... в юности; а он сообразовался с этой меркой. Он был из тех мужчин, которые выше всего ставят в женщине чистоту, а Марина уже не была девушкой; мало того: она оказалась способной вызвать на близость, намеренно воспламенить, раздражить страсть в мужчине – пусть этот мужчина он сам – все равно; если так, он не хочет видеть ее своей женой!

Постоянно возникал в его мыслях другой образ, в котором так хороша была белизна лба, гущина и длина ресниц и невозмутимая чистота взгляда. Тонкая и юная, с особым неповторимым очарованием в словах и в движениях она властно вторглась в его мысли, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Он гнал от себя этот образ: «Я не рожден для счастья! Такая девушка теперь не для меня. Я не должен думать о ней». Марина не затронула тех потайных струн его души, которые сами собой пробудились и зазвучали при первом взгляде на Асю. Когда он сопоставлял Марину и Асю, он думал – сколько бы потребовалось усилий: ухаживания, душевных разговоров, объяснений с бабушкой флердоранжа, коленопреклонений, клятв, влюбленного шепота, чтобы склонить Асю к тому, что так легко позволила Марина, и это уменьшало цену Марине и окружало ореолом Асю!

В день, когда его выпустили из больницы, была оттепель; он вышел все в той же шинели, калош у него не было и он тотчас промочил себе ноги. Идти пришлось пешком, так как не было даже тридцати копеек на трамвай. Нина, разумеется, охотно одолжила бы ему, но он не попросил, а ей некогда было вспомнить. Отвыкнув ходить, он очень устал и еле добрался до дому. Подымаясь по лестнице, он мечтал, чтобы ему отворила Аннушка. Он знал, что она его жалеет, и надеялся, что она его тотчас покормит и просушит. Но дворничихи не оказалось дома – отворила ему Катюша. Ей, по-видимому, уже было известно, что выбора его удостоилась Марина. Сердито фыркнув, она повернулась спиной и вышла. Нина была в Капелле, Мика – в школе. На столе в комнате Мики, которая была не закрыта, лежала записка: «Олег, согрейте себе суп, вы найдете его в кухне за окном, в маленькой кастрюле, хлеб на столе. Я приду только вечером. Рада буду вас видеть, Нина». Он нашел суп, но устал настолько, что не стал разогревать, а поставил холодным на стол. Вся его тоска и одиночество как будто подстерегали его в этой комнате и с прежней силой тотчас обрушились на него. «Лучше было мне умереть в этой больнице. Кому я нужен? Кто мне рад?» – подумал он. Правда, было одно существо, которое радостно вертелось около его ног, – это был лохматый щенок, дворняжка, с висячими ушами и безобразным хвостом, он жил у Аннушки. Олег любил собак, привыкнув к ним с детства, и собаки его чувствовали. Он ни разу ничем не подкупил этого щенка, и тем не менее тот со свойственной собакам бескорыстностью, бросился к Олегу, как будто его возвращение сулило неистощимые собачьи радости. Олег погладил щенка и слегка отстранил, но тот снова стал приставать к нему. Олег сел, и щенок тотчас положил ему на колени передние лапы. Встретив собачий взгляд, исполненный немого обожания, Олег снова потрепал его по голове, тронутый выражением любви.

– Ах ты, глупый пес, хорошее животное! Ну чему ты так радуешься? Скажу я тебе, поправился и совсем некстати. Ну, да нечего делать! Давай вместе обедать, вот бери кусочек хлеба. Не хочешь? Э, да ты сытее меня! Впрочем, ты на харчах у Анны Тимофеевны, а уж она-то не даст голодать. Ну, тогда не мешай мне самому есть, слышишь?

Щенок смотрел на него все с тем же обожанием.

– Чего ж ты, дурачок? – и вдруг мысль, что одна только со«бака рада ему и встретила его, с такой остротой стеснила ему грудь, что он уронил на стол голову и несколько минут не подымал ее. Щенок, встревоженный этой позой отчаяния, напрасно теребил его лапами.

Чьи-то поспешные шаги раздались около двери. Олег быстро выпрямился. В комнату стремительно вбежала Марина и бросилась ему на шею.

– Вернулся? Здоров? Ну, слава Богу! Я так расстроилась, когда узнала! Я так скучала! Я не могла дождаться!

Что-то теплое, искреннее, идущее от души, услышалось ему в ее ласке. «Есть все-таки человек, которому я дорог», – думал он, целуя ее руки, а потом губы, благодарный за ее теплый порыв и

вновь захваченный страстью, забыв все свои колебания и соображения. В этот раз он не мог бы сказать, что инициатива принадлежала ей! Когда, поправив себе волосы, вся розовая и счастливая, она села и, прижавшись к нему, сказала: «Ну, теперь поговорим», он был уверен, что она заговорит о том, какую форму примут их отношения. К удивлению его, она сказала:

- Я все думаю: где будут происходить наши встречи, когда ты опять начнешь работать? Ведь по вечерам Мика дома и наедине нам негде будет видеться.

Он с удивлением взглянул на нее: эта фраза ясно показывала, что она смотрела на их отношения, только как на связь, и не думала о браке! Она продолжала:

- В ближайшие дни мы не сможем видеться, и за это время надо будет что-то придумать - относительно места наших встреч...

- Почему не придется видеться? Разве вы... разве ты не придешь в один из вечеров к Нине? - спросил он. - Если не наедине, то при Нине, во всяком случае, увидимся.

- Нет, видишь ли... В ближайшие дни - нет. Меня не будет дома.

- Ты уезжаешь куда-нибудь?

- Нет, - и она как-будто слегка смутилась

- Я не понимаю в чем дело?

- Мне придется лечь в больницу на несколько дней.

- Ты больна? - испуганно спросил он.

- Ах, глупый! Да нет же - не больна! Неужели ты не понимаешь? Ты был слишком неосторожен прошлый раз, и вот теперь... Ну, пойми же!...

Только теперь он понял и схватил ее за руку:

- Ребенок?

- Да! - и она припала головой к его плечу.

- И ты уверена, что мой?

- Конечно, уверена. Я мужу не позволяю... так. Я его держу в ежовых рукавицах. Это тебе только... Одним словом - я знаю! Да пусти же мои руки, ты мне пальцы сломаешь!

- Ты не пойдешь в больницу, я не позволяю! Нет, нет - не позволяю.

- Как не позволяешь? Ты в уме? Чего же ты хочешь?

- Марина, как можешь ты даже думать об аборте?! У меня нет никого на свете. Мне не для кого жить. Теперь же поговори с мужем, завтра же! А я подам заявление, что ухожу из порта. Большевики во всем невыносимо осложнили жизнь, но уж по части расторжения брака у них дело налажено блестяще - ведь довольно желания одной стороны, и в несколько дней все будет кончено... Получишь развод, и мы зарегистрируемся. Не пушу в больницу.

Теперь она с удивлением посмотрела на него.

- Знаешь, ты безумный какой-то! Тебе в твоём положении только жены и ребенка не хватало!

- Марина, ты меня любишь?

- Обожаю! - она потрепала его волосы, которые нравились ей своей гущиной и волнистостью.

- Почему же ты так отвечаешь?

- Милый, ну взгляни же трезво на вещи. Если я разойдусь с мужем, а ты уйдешь из порта, у нас не будет ни службы, ни зарплаты, ни жилплощади, ни вещей... ничего. Как же мы будем жить?

- Зато будет семья! Не бойся, Марина, не бойся! - и он бросился к ее ногам. - Дорогая, согласись! Увидишь, я найду себе работу. Понемногу все наладится. У меня будет теперь вдвое больше энергии. Ты увидишь!

Но она покачала головой:

- Это все не так легко! Верить, что с милым рай в шалаше, может только тот, кто не испытал нужды, а я уже достаточно намучилась, когда осталась вдвоем с мамой после революции. Знаешь, я служила регистраторшей в какой-то гнусной поликлинике; на меня кричал каждый, кому было не лень. Получала я только пятьдесят рублей, домой возвращалась только в шесть часов, ела воблу и картошку, стирала сама большую стирку, сама мыла пол, ходила вся драная... Только два года, как я сыта и одета - с тех пор, как Моисей Гершелевич женился на

мне. И опять возвращаться к тому же!

- Ах, вот как ты говоришь! Ты, значит, так боишься лишений и трудностей?

- Я не боюсь, это не то слово. Какое же это счастье, если всегда нужда, всегда грязная работа, всегда опасения?

- Ну а моя любовь? Ты в ней никакого счастья не видишь?

Она повертела золотой браслет на своей руке - он до сих пор еще не видел на ней этого браслета...

- Ты сам сколько раз говорил, что твое положение ненадежно! - сказала она.

- Марина! Я могу обещать тебе, что отдам все свои силы, всю жизнь тебе и ребенку, но поручиться, что я не буду сослан или снова заточен - я не могу. Это может случиться в любой день! Если ты этого боишься, тогда делай аборт и оставайся с Моисеем Гершелевичем.

Она молчала.

- Так, значит, один пролетариат будет множиться, а мы осуждены на вымирание! - в каком-то отчаянии воскликнул он. - Мы уже боимся иметь потомство! Бедная Россия! Если ее женщины измельчали, тогда, в самом деле, конец нашей Родине! Русские женщины были всегда на высоте!

- Какой ты неблагодарный, что так говоришь! Я так тебя желала. Я тебе отдалась, зная, что ты после лагеря, что так давно не было у тебя ни минуты любви! А ты меня же упрекаешь!

- А я в ответ на все это делаю тебе предложение. Ты этим недовольна? Так чего же ты хотела от меня?

- Я не «недовольна», я очень тронута, но я не могу. Пойми, не могу пойти на такое безумие. Оставлять ребенка, когда нет никакой уверенности в завтрашнем дне, никакой уверенности в безопасности, никаких средств к жизни!

Он встал с колен.

- Как хочешь. Я сказал все, что может желать услышать женщина в такую минуту! Больше мне сказать нечего. Но знай, если ты сделаешь операцию, а разорву с тобой.

- Это почему?

- Не хочу. Ты не хочешь от меня ребенка, ты мне отказываешь в своей руке, ну а я не хочу этих встреч. Мне твой отказ оскорбителен. Вот и все.

- С операцией уже решено: я записана на койку. Завтра в двенадцать часов Моисей Гершелевич повезет меня.

- Моисей Гершелевич? А как же он понял все это?

- Ну... Я сумела представить дело... втерла ему очки... - и она повертела рукой перед его глазами.

Его передернуло от этой фразы, которая показалась ему циничной.

- Я не могу поверить... это не может быть, чтобы ты в самом деле решил разорвать со мной! - сказала она после минуты раздумья.

Из коридора послышался звонкий голос Мики, препиравшегося с дворничихой, которая кричала, что он не снял калош и наследил по всему коридору. Марина вскочила и пошла навстречу мальчику, который весело поздоровался с обоими.

- Поцелуй Нину, Мика, и скажи, что мне очень хотелось с ней поговорить. До свидания, Олег Андреевич.

Олег подал ей шубку и надел ботики. Как будто затем, чтобы закрыть дверь, он пошел следом за ней. В кухне вертелась Катюша, бросая любопытные взгляды. Он вышел за Мариной на лестницу.

- Марина, еще раз прошу тебя - одумайся! Ты потом пожалеешь! Оставь ребенка, разведись с мужем, и я отдам тебе жизнь!

Она стояла, опустив голову и разглядывая хвостики своей муфты. Он взял ее руку:

- Ну? Согласна?

Не поднимая глаз, она отрицательно покачала головой. Он выпустил ее руку и пошел наверх, она - вниз. «Никогда он не разорвет со мной, - думала она, медленно спускаясь, - достаточно

мне будет на одну минуту остаться с ним наедине и броситься ему на шею, и он снова мой. Теперь я его уже знаю. Как страшно будет завтра!» И слезы все-таки наворачивались на глаза. Он не вошел в кухню, а сел на подоконник грязной лестницы, забывая, что окно выбито, а он без шинели. «Так. Отказ! Впредь мне урок – в моем положении в любви не объясняются! Боже мой, какая пустота впереди!»

Вечером Нина сказала Олегу:

– Вы можете поздравить меня – я официальная невеста Сергея Петровича. У меня установились самые лучшие отношения с его матерью, и при первой возможности мы обвенчаемся. Только когда это будет – я не знаю! – и она вздохнула.

Он поцеловал сначала одну ее руку, потом другую:

– Очень, очень рад за вас. Значит, не перевелись еще на Руси женщины типа жен декабристов, которые готовы идти за любимым человеком даже в Сибирь.

– К сожалению, я не могу сделать этого, – сказала она, – у нас в СССР даже добровольная ссылка – непозволительная роскошь. Если я оставлю работу, нам нечем будет жить: и Мике, и мне, и ему – у него пока нет работы.

– Всего важнее, что вы не побоялись связать с ним свою судьбу. Из этого он может видеть всю глубину вашей привязанности. Какая моральная поддержка! Я уверен, уверен, что у вас еще будут счастливые дни, – и опять он стал целовать ее руки, а сердце у самого болезненно сжалось: «То, чего не получил я! Та – другая – побоялась!»

– Я не ожидала, что вы будете поздравлять так горячо и искренне. Я думала... память брата...

– О нет! Сначала, когда я вернулся у меня было это чувство; но когда я присмотрелся к вашей жизни и увидел какая вы мученица, я всей душой стал желать вам только счастья. И потом, если бы вы выбрали человека из враждебного лагеря – преуспевающего большевика – была бы профанация памяти... но для белогвардейца, сосланного... Я рад!

Зазвонил телефон и по репликам Нины, Олег понял, что с ней говорит Марина.

– Да... а что с тобой? Потом скажешь? Хорошо, приду. Непременно сегодня? Но ведь сейчас уже 9 часов. Да что случилось? Пришлешь за мной машину? Спасибо, – и она повесила трубку. «Может быть, Марина передумала и хочет передать это мне через Нину?» – подумал он.

Нина не возвращалась долго, но он не ложился, дожидаясь ее. Услышав ее шаги, он вышел в коридор снять с нее пальто и надеялся, что сейчас наедине она передаст что-нибудь ему. Но она сказала только:

– Сейчас такой холодный ветер – я зазябла! – и прошла к себе.

«Ни слова! – думал он, стоя в коридоре, – ей скучно стало со стариком, поиграла со мной и только! Она, конечно, сказала Нине про беременность. Зачем бы иначе она вызывала ее? Теперь Нина вправе считать меня подлецом! Но не оправдываться же мне перед ней! Как бы мужчина себя не держал в этом случае – в виноватых всегда окажется он!»

Нина вышла в коридор с чайником.

– Хочу согреться, выпить горячего, – сказала она.

Он вопросительно взглянул на нее: «Знает ли она, что я честно предлагал брак?» Она встретила его взгляд и, по-видимому, угадав его мысль, пожала его руку:

– Вас ни в чем нельзя упрекнуть. Марина сама не знает, чего она хочет.

На следующий день Олег должен был идти в поликлинику выписываться на работу, но, против ожидания, его задержали еще на три дня, которые он провел то за книгой, то за шахматами, то за 196 колкой дров, и, наконец, вызвался исправить электропроводку в комнате Нины, не зная, чем заглушить тоску. На третий день, находясь на кухне, он подошел открыть дверь на звонок и увидел перед собой Моисея Гершелевича в прекрасной шубе с каракулевым воротником. «Сейчас будет объяснение!» – подумал он, и в уме его уже составила фраза: «Готов дать вам удовлетворение, в какой бы форме вы бы ни пожелали!» Но еврей протянул ему руку и, улыбаясь золотыми зубами, сказал:

– А, уже дома! Ну, как здоровье? Ждем, очень ждем. Вас заменяет один юноша, с работой

плохо справляется. Когда думаете выйти?

- Завтра иду в поликлинику. Буду просить выписать на послезавтра.

- Нет, нет. Торопить врачей никогда не надо - здоровье прежде всего. А к первому мая я постараюсь выписать вам премиальные, чтобы вы могли поправить свои дела.

- Благодарю, не надо. Я еще так недавно работаю... На вас нарекания будут из-за меня.

- Устроим все, устроим. Как-никак, имею некоторые права. А скажите, Нина Александровна дома? Меня командируют в Москву, а у меня жена больна - хочу просить, чтобы Нина Александровна ее навестила.

Олег повел его к Нине.

- Ну, что Марина? - было одним из ее первых восклицаний.

«Ну, я при таком разговоре могу показаться лишним», - подумал Олег и пошел из комнаты, но у двери намеренно задержался, закуривая. Муж отвечал:

- Не совсем благополучно. Выскабливание делал сам профессор, а между тем она температурит. Хотел просить вас навестить ее завтра. Там впускной день. Передайте ей эти груши и виноград.

Олег вышел.

Он стоял на табурете в коридоре, натягивая провода, когда Нина и Моисей Гершелевич вышли из комнаты и остановились у вешалки. Он говорил:

- Как я умолял ее не делать этого! Согласитесь, что уж мы-то при нашем материальном положении можем позволить себе иметь детей! Я специально поехал к ювелиру, купил ей браслет за пятьсот рублей, обещал после родов серьги - ничего нельзя было с ней поделать. А теперь вот целый день плачет и только температуру себе нагоняет. - При этом он весь как на дрожжах подымался от гордости - одинаково, как за материальное преуспевание, так и за мнимое отцовство. Олегу показалось, что было что-то недостаточно корректное в том, что он говорил все эти интимные вещи, не стесняясь присутствия постороннего человека; было что-то несколько бестактное в том, что он упоминал о материальном положении и привел цифру за браслет; была излишняя самоуверенность в том жесте, каким он перебросил одну из груш Мике; почему при этом он целовал руку Нине?

«Прцветающий еврей среди разоренных, обездоленных русских дворян! Знамение времени!» - думал Олег. И все-таки не мог не чувствовать большую человечность и отзывчивость в этом еврее.

## Глава шестнадцатая

Доктор прописал Наталье Павловне укрепляющие сердечную мышцу впрыскивания. Решили обратиться опять к Елочке, так как Наталья Павловна питала ужас перед районной амбулаторией, в которой никогда не была. Елочка охотно согласилась делать инъекции, но заранее предупредила, чтоб об оплате речи не было. Материальное положение Елочки было не слишком затруднительно: кроме обычной зарплаты операционной сестры в больнице постоянно подворачивался частный приработок в виде ночных дежурств у послеоперационных больных, которые хотели обеспечить себе индивидуальный уход. Это не запрещалось, и таким путем Елочка всегда могла подработать, как только ощущала необходимость. Визиты к Бологовским давали ей возможность ближе сойтись с Асей и понаблюдать заинтересовавшую ее семью, но та натянутость, которую она ощущала в этом доме, не ослабевала. Елочке импонировало достоинство, с которым держалась Наталья Павловна, тем не менее, она скоро вывела заключение, что старая дама деспотична в обращении со своими домочадцами. Француженка кружилась вокруг нее, словно фрейлина вокруг императрицы: она, по-видимому, еще глубже Аси усвоила родовую иерархию, и видеть Наталью Павловну горделивой матроной, командующей своим маленьким двором, доставляло ей своеобразное тщеславное удовольствие. «Она готова, кажется, вовсе забыть о собственном отдыхе ради того, чтоб «son excelance [36]» была во всем величии и чтобы все бывающие здесь видели, как соблюдается в этой семье

родовой этикет», – думала Елочка. Каждый раз во время ее визита по знаку Натальи Павловны Ася или француженка вкатывали в спальню маленький чайный столик, как если бы дело происходило в великосветском будуаре девятнадцатого века. Этот архаический столик с северским сервизом на фоне давно не отремонтированной, несколько запущенной комнаты, и усталая француженка, раскладывая жалкую повидлу на очаровательные блюда, а рядом – Ася, натирающая паркет или стирающая пыль с бабушкиных бесчисленных овальных миниатюр, казались Елочке очень характерными штрихами и вызывали иногда досадливую жалость и тревогу за будущее Аси.

В одно из таких чаепитий около несчастного столика в комнату вбежала девушка, закутанная в деревенский платок и в валенках, и Елочка с удивлением узнала кухню Аси.

– Что? Что? Рассказывай! – бросилась к ней эта последняя, а Наталья Павловна, ставя чашку на блюде, осведомилась:

– Eh bien, Helene? [37]

Девушка разразилась жалобными восклицаниями.

– Я больше не буду переодеваться! Ни валенки, ни платок нисколько не помогают. Он меня уже запомнил, а прежде чем давать направление, все равно смотрит в анкету! Он такой противный, этот Васильев, такой противный! Если б вы его только видели!

Трудно было понять что-нибудь из этих детских причитаний, Елочка стала расспрашивать, и ее тут же ввели в курс дела.

– Чтобы такое придумать? – проговорила она, разбирая свой шприц. – Являться с дальнейшими просьбами бессмысленно. Вам надо бы приобрести каким-либо путем очень дефицитную специальность – вот тогда можно было бы действовать иначе... Мне пришла сейчас в голову одна мысль... – и она изложила план, который состоял в следующем: в больнице, где она работала, было три рентгеновских отделения с очень квалифицированным персоналом. Рентгенотехники были перегружены работой и год назад с разрешения заведующего взяли к себе в ученицы стажеркой молодую девушку, она проработала у них бесплатно год, а затем при первом расширении штатов устроилась у них же на службу, так как работой ее все были довольны, а с биржи на их обязательный в то время запрос никого не прислали за неимением специалистов. Хорошо, если бы удалось проделать тоже с Лелей! Дядя Елочка – старший хирург, весьма уважаемый в больнице, – наверно, не откажется попросить своего приятеля-рентгенолога взять Лелю к себе в ученицы, а как только она овладеет специальностью, можно будет устроить ее работать, минуя биржу с тов. Васильевым, поскольку специальность дефицитная и рентгенкабинеты переманивают друг у друга рентгенотехников. Все пришли в восхищение от этой выдумки. Леля и Ася стали вырывать у Елочка шляпу и муфту, упрашивая еще посидеть и поболтать с ними, но Елочка все-таки убежала, преследуемая своей преувеличенной деликатностью и самолюбивым опасением показаться навязчивой.

«Эта семья, конечно, не из передовых, – думала она, выходя из подъезда, – не из тех либеральных помещичьих семей, где дочери-девушки шли на Бестужевские и медицинские курсы и работали после в земских больницах и школах, как покойная мама, например. Военная аристократия! Совсем иная социальная прослойка, чем наша семья. При прежних условиях Ася и Леля блистали бы в светских салонах, а в настоящее время дезориентированы настолько, что не могут уяснить себе обстановку и найти место в жизни. Да это и в самом деле нелегко при классово-политической борьбе, поставленной у нас во главу угла». Раздумывая над своими странностями, Елочка видела в себе готовность на любую жертву не только ради Аси, но и ради окружающих Асю, и в частности ради Лели, – неудачи на бирже и изящество этой головки с челкой на лбу и с капризной линией губ упирались в знаменитое «похоже», и Елочка начинала испытывать и к Леле чувство, родственное чувству к Асе. «Как это вяжется с моею замкнутостью и откуда берется? – спрашивала она себя. – Добиваться и просить мне с моею гордостью противно настолько, что я неспособна отстаивать собственные интересы, а вот ради чужой мне девушки – могу. Как только затрагиваются тайники моей души, где покоятся обожание героизма и «похоже», начинают звучать струны совсем иные, чем на поверхности,

где я колючая и злая. Для тех, кого я люблю, я, по-видимому, могу быть самоотверженна, но таких избранных немного! Доброты лучистой, изливающейся безразлично-одинаково во мне нет». Ей вспомнилась женщина, которую она видела накануне, пробегая через приемный покой больницы. Это была крестьянка, в домотканой холстине, цветном платке и зипуне, с котомкой за плечами. С ней был мальчик – загорелый, русоволосый с темными, печальными глазами. Ему было лет двенадцать. Мать привезла его на операцию и теперь прощалась с ним около санпропускника. Глаза ее были такие же темные и печальные, как у сына. Вековая скорбь и страшная тревога смотрели из них, когда она обнимала мальчика, который в свою очередь обхватил руками мать, как будто ища у нее защиты. Когда Елочка пробежала обратно, мальчика уже увели, а мать сидела на скамейке, и слезы текли ручьями по загорелым худым щекам красивого лица... Толстая равнодушная санитарка сидела тут же и урезонивала ее:

– Ну чего ты? Чего, глупая? Медицина нонече сильна, лечат хорошо. Сперва, вишь, осмотрит ординатор, завтра поутру; потом, глядишь, прохвессору покажут – не сразу на стол. Нонече все для народа! Уход за им будет, какой тебе и не снится: с кровати встать ни в жисть не позволят! Все подносить станут; потому – медицина! А ты плачешь!

Елочка остановилась, и санитарка увидела ее.

– Вот и сестрица тебе то же скажет. Ейный папаша первеющий какой ни на есть хирург. Вот проси, чтобы он твоего сынка сам резал, дюже горазд в этом деле.

Женщина обратила испуганный и умоляющий взгляд на Елочку и бухнулась ей в ноги...

«Я была слишком суха, – думала теперь Елочка, – я заторопилась сказать: «Хирург вовсе не мой отец, а только дядя. Трудные случаи он и всегда оперирует сам. Встаньте, это не принято», – правда, я пожалала при этом ее руку, но этот жест непринятый в простонародье вряд ли сказал ей что-нибудь! Нет во мне сердечности и простоты, а вот теперь забыть эту женщину не могу! Я никогда ничего не забываю – счастливые люди, которые это умеют!»

«Странно, что мое сострадание заснуло теперь. Я стала прекрасным профессионалом и только!» Ей на память пришел еще один случай: в операционную принесли на носилках залитого кровью человека. Это оказался испытатель гранат. Ореол храбрости, который не мог не сопутствовать такому человеку, и знакомый вид военной травмы расшевелил немного сердце Елочки, пока она впрыскивала обезболивающее и помогала стаскивать разорванную в клочья одежду. Но только на несколько минут. Когда она села заполнять историю болезни, она увидела в рубрике слово «партийный с 1918 года» – и все в ней снова омертвело. «Конечно, я всегда готова исполнить свой долг по отношению к каждому, но души моей пусть с меня не спрашивают. Я властна вложить ее куда сама захочу. Если придут опять великие бои – воскреснет сестра милосердия, а сейчас я – медсестра, и пусть этого довольно будет тем, кто так искажил, заштемпелевал и прошнуровал нашу жизнь! Идеалы всепрощения и кротости меня не привлекают, они хороши только при великой всечеловеческой любви, а у рядовых людей терпимость, например, происходит очень часто просто от безразличия и безыдейности. Вот у нас в больнице независимо держаться только дядя да терапевт Ипатов, все остальные – жалкие людишки: куда ветер дует, туда и они. Впрочем, вот еще один и этот, кажется, всех независимей!» Она думала это, входя в подъезд больницы и встречая взглядом величественную фигуру больничного швейцара. Швейцар этот – бывший кучер Александра III, богатырски сложенный старик, с красивыми благообразными чертами, весь был преисполнен чувства собственного достоинства. За свою жизнь он столько перевидел высокопоставленных особ и так наметал свой глаз, что лучше любого агента огепеу распознавал «господ» от «простых», в каком бы виде господа не появлялись перед ним. Он считал для себя унижением приветствовать партийцев и, напротив, радостною обязанностью – поклониться «бывшему» человеку. Из всего персонала больницы поклоном своим он достаивал лишь несколько лиц по своему выбору, главным образом старых профессоров. Дядя Елочки пожилой хирург, еще сохранивший манеры и выправку царского офицера, также попал в это число. Молодых врачей-ординаторов нового времени швейцар глубоко презирал и упорно титуловал «фельдшерами», на которых некоторые и в самом деле ходили; на врачей-женщин он откровенно фыркал.

Елочке имел обыкновение кланяться, перенося на нее частицу уважения, выпавшего на долю ее дяди, а также зная, что она из славной стаи прежних «милосердных». Их объединяла притом угадываемая ими друг в друге непримиримая ненависть к существующему строю. Швейцар стоял обычно не у наружной двери, а у внутренней лестницы близ лифта, бездействующего со дня великой революции, как и все лифты в городе. Тут же помещалась вешалка для нескольких привилегированных лиц, снимать пальто с которых швейцар почитал высокой обязанностью.

- Пожалуйста, Елизавета Георгиевна! - сказал он теперь, - Дяденька ваш уже ушли недавно. Наказали передать вам, чтобы вы к им обедать завтра пожаловали». И снимая с Елочки пальто, прибавил: - Зять из Москвы вечер воротился; рассказывал, что Страстный монастырь и Красные ворота вовсе снесли, Сухареву башню и Иверскую Матушку тоже срыли, а в Кремль не только что не пускают, а у ворот караулы стоят, и по Красной площади милиция шмыгает - спокойно не пройдешь. Зять приостановился было, чтоб взглянуть на Спасскую башню, а милиционер к нему: «Гражданин, здесь останавливаться воспрещается!» Трусы они, Елизавета Георгиевна, как я погляжу. Покойный император Александр Александрович всегда-то повсюду езживали: и в церковь, и в Думу, и на гвардейские пирушки. Я на козлах, да два казака позади - только и есть! А ведь знали же они, как убили их папеньку. И сами Александр Николаевич после десяти покушений все один езживали, а как в одиннадцатый раз бомбу в Их Величество бросили - и только были с ними адъютант и те же два казака. Ни в жисть не прятались, русские были люди - не то что нынешняя мразь: жида да прочие грузины!

Елочка оглянулась и прижала палец к губам, но швейцар не пожелал снизить голоса:

- А я не боюсь! Меня и то моя старуха донимает: я, говорит, домой спешу и слышу через открытую форточку, как ты в комнате советскую власть ругаешь. Голос больно у тебя зычный, говорит, и уж будет нам от твоего голоса беда неминуемая. А я так полагаю, что это все в руках Господних.

- Вы молодец, Орефий Михайлович, побольше бы таких, как вы, - сказала Елочка и подумала: «Завтра же у дяди переговорю по поводу Лели».

Ходатайство ее увенчалось успехом. Хирург обещал не откладывая поговорить с рентгенологом. Елочка тотчас побежала сообщить радостную весть, но в нескольких шагах от подъезда Бологовских ей мелькнуло свежее личико и кокетливая шляпка, увенчанная esprit; старенькое пальто не вносило диссонанса, оно усиливало интерес.

- Леля!

Девушка обернулась. С ней был долговязый молодой человек, который тотчас потянул руку к фуражке. Леля представила его, говоря:

- Валентин Платонович Фроловский, мы знакомы еще с детства.

Она выслушала и поблагодарила Елочку очень мило, но сдержанно, если не холодно.

- Довольны вы, милая маркиза с мушкой на щечке? - спросил молодой человек.

- О да! И больше всего тем, что, наконец, нанесен удар домашнему монастырскому режиму: у нас все знакомства просеиваются, как сквозь сито, а Сергей Петрович даже музыку насаживал только самую возвышенную, начиная с этих скучных фуг и кончая Китежем, - капризные губки по-детски надулись.

- Милое дитя, могу вас уверить, что на советской службе не слишком весело.

- Поживем - увидим! Вон там идет полковник Дидерихс, - и, кивнув Елочке, Леля ускользнула в сторону, как изящное видение. Молодой человек сказал, скандируя:

- Гвардейский полковник продает газеты на улицах, - красивым жестом поднес к кепке руку и поспешил за Лелей приветствовать полковника.

Елочка взглянула ему вслед и увидела высокого худого старика. У него было странно длинная шея, большие скорбные глаза под мохнатыми бровями напоминали чем-то глаза затравленного зверя. Сумка почтальона, надетая через плечо, не могла скрыть военную выправку и остатки гвардейского лоска.

Направляясь к Бологовским, Елочка рассчитывала на задушевную теплую минуту и веселый

щебет за чайным столом и, брошенная теперь посередине тротуара, почувствовала себя разочарованной и уязвленной.

«Аристократы! Как они замкнуто держатся!» – с неожиданной досадой подумала она, забывая, что до сих пор щетинилась сама, упорно отказываясь от приглашений сесть за чайный стол. – В этой Леле что-то декадентское!»

Идти к Асе теперь было не для чего, и она направилась к Анастасии Алексеевне, чтобы передать ей приготовленные для штокки носки. Анастасия Алексеевна по своей привычке тотчас начала охать и жаловаться, при этом она упомянула, что проработала несколько дней сестрой-хозяйкой в больнице имени Жертв революции.

– Понадеялась я, что поработаю там, но сотрудница, которую я замещала, почти тотчас поправилась. А мне там обед полагался, и работа нетрудная – сами знаете – порции больным раскладывать, – две слезы выкатились из красных глаз.

Елочка озабоченно смотрела на нее, и чувство неприязни опять перемешивалось в ней с жалостью.

– А как здоровье? – спросила она.

Анастасия Алексеевна поднесла руку к голове.

– Нехорошо... Все что-то мерещится. Темноты боюсь, одна в квартире оставаться боюсь. Недавно соседи все поразошлись, и от единой мысли, что я в квартире одна, такой на меня страх нашел, что я вылетела на лестницу, а дверь, не подумавши, захлопнула. Ключа с собой у меня не было, а замок французский – два часа это я на лестнице в одной блузке продрожала, пока соседи не подошли. Странные рожи какие-то лезут: раздуваются, ползут из углов. Только и мысли, что, как сейчас, там, в углу на кофре надуется страшный лиловый старик, повернусь, увижу – так уж лучше не поворачиваться! А то, как бы в кухне под столом та рожа, вроде скользкой большой лягухи, не затыкала опять: плюнь на икону, плюнь на икону!... Ничего этого другой раз и нет: я повернусь – кофр пустой, и под столом никого... а вот навязывается в мысли... что тут будешь делать! Я ведь с детства с темнотой путаюсь. Впервые это ко мне пришло, когда я еще гимназисточкой была: билась, я помню, раз над арифметической задачей. Знаете, какие бывают сложные, к концу арифметики... Вдруг это откуда ни возьмись пришло мне в голову попросить, шутки ради, помочь мне нечистую силу: «Помогите, – говорю, – уж как-нибудь рассчитаюсь!» Только сказала, и так это быстро уяснилась мне вся задача, а за ней и другая. Ровно занавесочку в мозгу отдернули. Ну, решила и решила. А ночью вижу около своей кровати огромную рожу и пасть раскрыта: «Дай мне есть», – говорит. Жили мы тогда на самой окраине Пензы, мать сама пекла хлеба. В этот день как раз испечены были, лежали накрытые полотенцем. Я отхватила и бросила ему. Утром проснулась и думаю: «Экий противный сон привиделся!» Вдруг слышу, мать кричит: «Дети, кто хлеба трогал? Не могли ножом отрезать? Обезобразили буханку, и полотенце на полу!» Она ругается, а я ни жива, ни мертва! Весной причащаться пошла, вдруг кто-то мне ровно бы в самое ухо: «Выплюни, а ну-ка выплюни!» Дай, думаю, попробую – взяла и выплюнула. Ага, вздрогнули небось?!

– Да, вздрогнула, ведь это кощунство – плюнуть на портрет человека и то непростительно, а Дары – святыня для такого огромного числа людей! Не понимаю, зачем вы это сделали? Пустая, проходящая мысль – зачем давать ей ход?

– А сама не знаю для чего. Так просто. Тогда все нипочем было – бегаю да хохочу, а вот теперь расхлебываю. Кабы муж другой человек был, думается мне, и теперь ничего бы не было. Крымская история очень уж нервы поиздергала. Помните, говорили мы с вами про поручика Дашкова? Я тогда фамилию его вспомнить не могла?

Елочка мгновенно выпрямилась, как струна.

– Помню. И что же? Его видели?

– Представьте! Как раз ведь толковала, что его никогда не вижу, да тут-то и увидела!

– Как это было? – брови Елочки сдвинулись, и голос прозвучал строго.

– Разливала я больным чай, а санитарки разносили; после ужина это было; взглянула этак вперед, да за дальним столом вдруг вижу – сидит среди других, в таком же сером халате, что

остальные; ну как живой, совсем как живой.

- Однако какой же? Одно из ранений у него было в висок, голова была перевязана. Таким и видели?

- Нет, перевязан не был, да только - он. Помню, след от раны мне в глаза бросился - шел от брови к виску. Кабы не знала я, что убит, подумала бы, что живой человек. Малость только постарше стал.

- Странно! - прошептала Елочка. - Стал старше, зарубцевалась рана... Не похоже на галлюцинацию. Неужели же не подошли, не заговорили? Не справились в палатном журнале? - а про себя она подумала: «Ничтожная! Жалкая! Эти клопы на стенах - ее достойные атрибуты».

- Анастасия Алексеевна, отвечайте же мне!

- Испугалась я, Елизавета Георгиевна. Помнится, чашку выронила и расколола. Засуетились санитарки; дежурный врач подошла и спросила, что со мной, а когда я снова взглянула - никого за столом уже не было.

- Ну, а на другой день?

- А на другой день я уже не работала - это было в канун расчета.

Мысль Елочка работала лихорадочно быстро: если бы она видела его в один из многих дней, это была бы явная галлюцинация, но его появление в последний день могло произойти оттого, что ему с этого только дня разрешено было выйти в столовую. Неужели в самом деле он? Надо сбегать в больницу «Жертв революции» и справиться, не было ли там на излечении Дашкова. И как будто мимоходом она спросила:

- А вы там на каком отделении работали?

- Подождите... Вот и не припомнить... Плоха я стала... На терапевтическом.

- Этот случай показывает только одно - подобные разговоры вам безусловно вредны, - сказала авторитетно Елочка.

Раздался стук в дверь, и Анастасия Алексеевна подошла отворить, Елочка услышала ее восклицание: «Ты? Вот не ждала!» Она обернулась на дверь и увидела человека, которого там, давно, в Феодосии, ей приходилось видеть ежедневно в часы работы. Она, как ужаленная, вскочила. Он успел измениться с тех пор: она привыкла видеть его в офицерской форме, а теперь он был в сером помятом пиджаке; не было прежней выправки, слегка облысели виски, и какое-то выражение гнусности показалось ей в слегка обрюзгшем лице... Он выглядел теперь почти мещанином. Вот он обвел глазами комнату и увидел ее.

- Кого я вижу? Сестра Муромцева! - и сразу же, быть может под наплывом им самим неосознанных ассоциаций, что-то прежнее, офицерское, мелькнуло за обликом измочаленного советского служащего: по-офицерски он выпрямился, подходя к ней, щелкнул каблуками и вытянул по швам руки.

Елочка схватила пальто, брошенное на стуле, и поспешно пошла к двери с гордо поднятой головой... Чтобы она пожала руку предателю Злобину, который выдавал палачам «чрезвычайки» последних русских героев? Никогда! Этой чести он не удостоится!...

Муж и жена взглянули друг на друга.

- Что это она? - спросил он. - А впрочем, понимаю: ты тут вероятно напевала ей в уши, что я бросил больную жену. Я ведь знаю, ты жалуешься на меня всем и каждому.

Она молчала, несколько сконфуженная.

- Мне это, однако, безразлично. Когда она получше к тебе присмотрится, она сама поймет кое-чего. Вот я принес тебе пятьдесят рублей, - и он выложил на стол деньги.

- Спасибо, Миша. Я знаю, что умереть с голоду ты мне все-таки не дашь, - нескладно пробормотала она.

- Налей мне чаю. Устал я, - сказал он и сел к столу.

Она угодливо засуетилась около буфета. Он пил молча и как только отодвинул стакан, тотчас взялся за фуражку. Она загородила ему дорогу:

- Как? Уже уходишь?

- А ты чего еще захотела? - усмехнулся он. - Ну, нет, голубушка: своими разговорами о мертвецах и лягухах ты мне давно весь вкус отбила. Кстати, никакого Дашкова в больнице Жертв революции на излечении не было, я осведомлялся: при мне просмотрели списки за весь месяц всего терапевтического отделения. С ума окончательно сходишь, моя дорогуша! Ишь, какие красавчики видятся ей наяву! Больше я тебе заместительств подыскивать не буду: с тобой недолго в историю замешаться!

Елочка между тем была вся охвачена тревогой: «Неужели жив? От этой мысли можно с ума сойти! Что я должна делать, если скажут - такой был? Не думать, не думать! Сначала я узнаю. Завтра же сбегаю туда». Но когда на следующий день она забежала со службы домой, намереваясь тотчас отправиться в справочное больницы, то увидела Анастасию Алексеевну, ожидавшую ее в передней.

- А я к вам... Вы ушли, не простились. Не рассердились ли вы? - как-то униженно начала она. Елочка отворила ключом дверь своей комнаты и попросила нежданную гостью войти.

- Вы вольны принимать у себя кого вы желаете. Странно было бы, если бы я сердилась. Но, я полагаю, вы поняли почему я не захотела пожать его руку?

- Это я поняла, но и вы поймите, что я не могу не принимать его, если он время от времени все-таки приносит мне деньги.

- Совершенно верно, если вы берете от него деньги, вы не можете не принимать его. Но я лично нахожу, что брать деньги можно только от человека, к которому питаешь очень большое уважение.

- То, Елизавета Георгиевна, вы! Вы, известно уже, - первый сорт, отборные чувства! А я о себе не обольщаюсь: второсортная я. Это как в магазине чая пакеты: этот - цейлонский, этот - экстра, а этот - дешевенький.

Высокомерный взгляд Елочки не смягчался. «Как легко она себя принижает. Ее представления о первом сорте чем-то напоминают мое «похоже». Только я-то не считаю себя ниже Аси, напротив, я совершенно уверена в высокой пробе моих чувств». Анастасия Алексеевна между тем продолжала:

- Я и круга не того, что вы: мои родители простые лавочники были. Им невесть какой честью показалось, когда я за врача замуж выскочила. Кабы он кадровый военный был, а не по призыву, мне бы и не видать его, как своих ушей. Зачем я от него деньги беру? Да ведь я, как-никак, с ним прожила двадцать лет, я его от тифа спасла: сколько около него бодрствовала, насильно на постели удерживала... А теперь болею я. Мое состояние никуда не годится, он сам говорит. Почему же не принять помощь? Вот этот... как бишь его? Дашков, поручик - муж осведомлялся - такого на излечении не было; значит, опять галлюцинации.

- Что? Не было? Не было! - голос Елочки оборвался. - А вы зачем рассказывали вашему мужу?

- Почему же не рассказать? Рассказала.

- Так, очень хорошо! Вы рассказали, а он отправился наводить справки, - и молодая Валкирия грозно засверкала глазами.

- Ох, уж вижу я, что вы, Елизавета Георгиевна, опять сердитесь, а вот за что? Ну пошел, спросил; там просмотрели по книгам за текущий месяц и ответили, что такого не было. Только и всего!

- А зачем он осведомлялся? - воскликнула она. - Ведь не зря же пожилой, занятой человек таскался за сведениями? Безусловно, он имел цель: он хотел снова выследить офицера, который однажды каким-то чудом ускользнул из его рук. Допустим, ему сообщили бы, что такой человек был, и при нашей невыносимой системе протоколирования выложили бы тотчас и адрес, и место работы. Что ж было бы дальше - как вы полагаете?

- Да ведь его же не оказалось! Стоит ли толковать? - хныкая, твердила Анастасия Алексеевна.

- Да, его не оказалось, зато гнусность вашего супруга оказалась налицо! Готовность свою к новому предательству он доказал со всей очевидностью, - яростно обрушивалась Елочка. - И вот что я вам скажу, Анастасия Алексеевна: наши с вами отношения кончены. Я больше не хочу ни видеть этого человека, ни слышать о нем, а вы, по-видимому, не так уж редко видите.

Вы способны передавать ему и наши с вами разговоры... Вы удивительно беспринципны! Нам лучше прекратить знакомство.

- Ох, Елизавета Георгиевна! Легко вам говорить о принципах, вы молоды, здоровы, квалифицированы, твердо стоите на ногах... А вот были бы в моем положении, не то б запели!

- Всегда буду говорить то же самое!

- Не зарекайтесь! Ну что ж, я пойду! Оттолкнуть человека очень просто - чего проще-то! Обещали помочь: собирали работенку, жалели, угощали, а чуть раздосадовались - и гоните! И никакой жалости. А еще мужа моего за жестокость осуждаете, он добрей вас, как посмотришь. Это ведь уже не в первый раз, что мне от дома отказывают, все знакомые открестились, - и она всхлипнула.

Елочка боролась с собой.

- Извините мне мою горячность, - сказала она наконец, протягивая руку. - Останемся друзьями. Я приготовлю вам работу. Только на квартиру к вам я больше не пойду. Приходите вы сами. Я буду вас ждать ужинать через неделю в пятницу. Согласны?

- Ну, спасибо вам, миленькая. Не сердитесь, моя красавица. Ведь я одинокая, - и она опять всхлипнула.

- Вы только должны обещать мне не говорить мужу, что мы с вами видимся, - продолжала Елочка

- Вот вам крест. Хотите икону поцелую?

- Нет, не надо. И запомните, поручик убит, забудьте все это.

Когда Анастасия Алексеевна наконец вышла, Елочка опустила на стул и закрыла лицо руками.

Больного с такой фамилией не было! Конечно, не было! Безумно было надеяться. Она - сумасшедшая. Мы о нем говорили, вот ей и померещилось. Мир так пуст! - Под холодными пальчиками показались слезы. - Что это я? Неужели я еще не научилась плакать? Перестань, глупая! Мертвые не воскресают!

## Глава семнадцатая

Олег опять начал ходить на службу. Работа и дорога из порта и в порт с бесконечными ожиданиями трамвая занимали так много времени, что домой он возвращался не раньше семи часов вечера. Стараясь заглушить безотрадные мысли, он брался за книгу, роясь в библиотеке Надежды Спиридоновны, которая сверх ожидания к нему благоволила, то есть отвечала более или менее милостиво на его поклон и допускала к заветным шкапам, а иногда простирала свое благоволение до того, что спрашивала его какова погода? Обедал Олег на работе, в столовой для служащих, а ужинал вместе с Ниной и Микой по желанию Нины, которая нашла более целесообразным общее хозяйство. Теперь, когда он мог вносить свой пай, он с радостью согласился на это.

Недели через две после того, как он начал работу, он услышал раз в коридоре голосок Марины, которая, здороваясь с Ниной, чему-то смеялась. Впрочем, смех ее показался ему несколько искусственным. Как только она прошла к Нине, он поспешно оделся и вышел из дому. Весь вечер он проходил по городу и только к двенадцати часам, когда, по его расчетам, Марина уже должна была уйти, вернулся домой. Ни в каком случае он не желал ее видеть, не желал ни близости, ни объяснений. Он чувствовал, что она и как человек, и как женщина потеряла уважение в его глазах. Не любовь, и даже не уязвленное самолюбие, а уничтоженный хирургическим ножом ребенок, который мог привязать его к жизни и отогреть сердце, и сознание, что положение его настолько неустойчиво и опасно, что ему отказала даже та, которая была им безусловно увлечена, - угнетали его. Ведь она ради близости с ним пошла на измену мужу и все-таки предпочла нелюбимого старого еврея и операционный стол союзу с ним. «Не думаю, чтобы нашлась в прежнем Петербурге девушка, которая бы мне отказала! - думал он, вспоминая свое положение в обществе, своих родителей и себя в офицерской форме.

- Но это было тогда! Теперь - все иначе! Оставь надежду навсегда, оттуда вышедший!» - говорил он себе, перефразируя Данте.

Когда Марина пришла в следующий раз, он поступил точно так же. Нина, конечно, поняла его маневры, хотя не заговаривала с ним об этом; точно так же она ни разу не упомянула при нем об Асе. «А ведь, по всей вероятности, теперь она нередко видела ее. Очевидно, я не жених и с точки зрения Нины - не удивительно!» - думал он. Из гордости он не спросил ни разу ни о Марине, ни об Асе и оставался в мучительной пустоте.

Однажды вечером он услышал из своей комнаты, как Нина разучивает романс: последняя фраза прозвучала, как вопль: «О, одиночество! О, нищета!» Впечатлительность его была теперь обострена - вскочив с книгой в руке, он стал ходить по комнате, повторяя про себя эту фразу. Мика сидел в это время над шахматной задачей и довольно грубо крикнул ему:

- Да сядьте же вы, наконец! Чего вы в глазах мелькаете!

Олег пристально посмотрел на мальчика и, не сказав ему ни слова, вышел. «Мика, очевидно, в качестве хозяина комнаты считает себя вправе кричать на меня! - думал он. - Этого еще не хватало при всех прелестях моей жизни. В первый же выходной день съезжу в Лесное: быть может, хоть там по коммерческой цене найду небольшой закуток. На это будет уходить половина моей ставки... Ну что ж! Опять сяду на хлеб и брынзу, но зато буду застрахован от грубостей». В проходной за роялем занималась Нина. Не желая ей мешать, он прошел в кухню, сел там на окно и взялся за книгу, стараясь успокоить взвинченные нервы. В кухне был только Вячеслав, который, стоя у примуса, по обыкновению зубрил что-то. Через несколько минут вошла, позевывая, Катюша и, увидев себя в обществе двух молодых людей, тотчас сочла необходимым уронить платочек. Олег, в которого слишком глубоко въелось светское воспитание, автоматически сорвался с места и поднял ей платок. «Боже мой, ну и духи! Это тебе не L'origan и не «Пармская фиалка», - подумал он и уткнулся снова в книгу. Катюша между тем просияла и присела на табурет, обдумывая следующий ход.

- А у меня пол-литра есть! Я бы угостила и сама выпила - одной-то скучно! - сказала она куда-то в пространство. Оба молодых человека продолжали читать.

- В «Октябре» идет «Юность Петра Виноградова». Вот кабы один из мальчиков хорошеньких сбежал за билетами, я бы, пожалуй, пошла.

Ни Олег, ни Вячеслав не шевелились.

- Ишь, какие кавалеры-то нонеча пошли непредупредительные! Уж не самой ли мне пригласить которого-нибудь?

Глаза Олега скользнули по ней с таким выражением, как будто он увидел у своих ног жабу. Вячеслав оставил книгу.

- Эх ты! Постыдилась бы! Комсомольский билет позоришь! Тут, поди, с балеринами водились, Кшесинскую видывали, а не таких, как ты. Нашла кому предлагаться!

Катюша немного как будто смутилась, но стала отшучиваться, Олег делал вид, что поглощен чтением. «Он меня за великого князя, кажется, принимает... Вот еще не было печали! А все-таки юноша этот мне положительно нравится, - думал он. - Куда, однако, деваться. Каждый атакует по своему... вот тоска! Пойти опять шататься по улицам? Пойду. Посмотрю на наш особняк».

Как только он вошел в комнату, чтобы положить книгу, Мика тотчас вскочил и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

- Олег Андреевич, извините меня, пожалуйста! Я был груб и очень об этом сожалею.

Олег был приятно поражен.

- Я рад, что ты имел мужество признаться, Мика. Я извиняю тебя, но скажи: почему ты так мало за собой следишь? Ты до сих пор не усвоил самых простых правил поведения, которые я знал в 7 - 8 лет. Несколько раз я с трудом сдерживал себя, чтобы не вмешаться во время твоих стычек с Ниной. Пойми, что не давая себе труда быть корректным, ты вредишь в первую очередь самому себе.

Пристыженный Мика опустил голову.

- Олег Андреевич, я ведь вас очень уважаю и я, право, же очень рад, что вы с нами живете. С вами и поговорить и в шахматы поиграть можно. Я сам не знаю, отчего у меня иногда так нескладно получается! А с Ниной... раздражает она меня и трусостью и суматошностью... Вот и вырывается досада. Не умею я владеть собой. Вы как будто удивляетесь, а у нас в школе все такие. Я еще из лучших - уверяю вас! Между собой у нас все без церемоний: толкаются, бранятся, галдят... никто не здороваётся, вот как вы - ноги вместе и руки по швам; все этак попросту. Я все время в этом котле варюсь, вот и делаюсь грубым. Самому другой раз тошно!

- Не оправдывайся, Мика; ты не можешь сказать о себе, что не имеешь понятия о хорошем тоне, ты просто распускаешься. Большевизированный дворянин... совсем новое явление! В царское время гимназисты были вымуштрованы немногим хуже, чем мы - пажи и другие кадеты. Вот семинаристы - те уже были тоном ниже. Теперь же школьники имеют вид в лучшем случае приютских детей, а то так просто шпана. Неужели тебе нравится такая манера говорить и держаться?

Мика поднял голову.

- Вы смотрите только на наружную сторону, Олег Андреевич, а я вот думаю, что с моей стороны грешно быть таким недобрым с Ниной и вами. Придется, видно, каяться отцу Варлааму.

- Ну, в это я не вхожу. Это - дело твоей совести.

Но мысли Мики уже повернули в другое русло:

- А теперь я смываюсь! - заявил он. - Побегу на каток: кажется, немного подморозило; если же каток закрыт - махну ко всеобщей. Передайте Нине, что уроки у меня уже сделаны, а то у нас и в самом деле не обходится никогда без скандалов, - и Мика живо «смылся».

Минут через пять к Олегу постучал Вячеслав.

- Товарищ слесарь! Я вот тут в прогрессиях путаюсь - не поможете ли?

Олег быстро взглянул на него. Что это? Насмешка? Но глаза юноши смотрели на него выжидающе, в руках была книга.

- Садитесь, - сказал Олег.

Вячеслав слушал его объяснения, мобилизуя, по-видимому, все свое внимание - с нахмуренными бровями и сжатыми губами. Выражение Мики - «грызет гранит науки» - было очень метко. Олег невольно сравнил его с Микой, который схватывал все на лету и шел к нему за объяснениями только потому, что на уроках математики занимался чтением или игрой в шашки с соседом.

- Спасибо, - сказал Вячеслав, собираясь уходить, но взглянул на портрет матери Олега.

- Это кто ж, мамаша ваша или сестрица будет? Сразу видать, что вы с ей похожи.

В каждой черте лица и в каждой детали туалета у дамы на портрете была такая тонкая, аристократическая красота, которую никак нельзя было отнести к жене столяра. Тем не менее Олег ответил:

- Да, это моя мать.

Вячеслав еще несколько минут всматривался в портрет.

- Красивая дамочка! Вся, видать, в бархатах, а на шее жемчуга, надо думать?

- Вот что! - сказал Олег, бросая на стол карандаш и сам удивляясь тому, как властно и жестко прозвучал его голос. - Вы, по-видимому, уже знаете - я не сын столяра и не слесарь, я - поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, князь Дашков. Считаете нужным доносить на меня - сделайте одолжение! Запретить не могу, но изводить себя слезкой и намеками - не дам. Предпочитаю сказать прямо.

- Так вы в открытую перешли? Ладно. Я ничего определенного не знал - подозревал что-нибудь в таком роде. Плохие вы конспираторы, господа офицеры!

- Плохие - не спорю! Ну-с, что же вы теперь намерены делать?

- Да ничего. Доносить я пока не намерен.

- Что значит «пока»? Сколько ж это времени желаете вы оставить меня на свободе?

- А причем сроки? Пока чего дурного не запримечу, пока не станете нам вредить.

- Вредить? Странное какое-то слово! Я не вредить умею, а бороться! Пока, к сожалению, не вижу возможности.

- Ах, вот как! Вряд ли и впредь будет у вас эта возможность! Наше огепеу молодцом работает.

- А если вы сигнализируете касательно меня – будет работать еще лучше.

- А я уже сказал, что сигнализировать не буду. Коли что запримечу, тогда другое дело, а напрасно зачем. Хватит с вас семи лет лагеря за белогвардейщину-то. Может, вы нам еще и пользу какую принесете. У вас преимущества еще очень большие.

- Преимущества у меня? Теперь? Смеетесь вы? Какие же это преимущества, хотел бы я знать?

- Умны, а не понимаете? Знаний у вас много, говорить и держаться умеете! А мы вот с азов начинаем. Ну, спасибо за задачу, пойду пока.

И Вячеслав вышел.

«Я теперь в руках этого рабфаковца! – подумал Олег. – Сколько я мог заметить, он не лишен некоторого благородства, но разве он может перенестись в наше положение – в эту полную безнадежность – и учесть все опасности? Он вот делает намеки и такие прозрачные, что даже куриный ум этой девки может понять кое-что. Уж ни на ее ли великодушие рассчитывать? Игра, по-видимому, приходит к концу. Не хотелось бы только подвести Нину».

На следующий день, когда он вернулся с работы, Нина предложила ему контрамарку на концерт в Филармонию.

- Я достала ее для Мики, а он не хочет идти из-за церковной службы, – сказала она. – Имейте только в виду, что придется стоять.

- Этого я не боюсь, меня смущает мой вид.

Она принялась уверять его, что теперь в Филармонии не только мундиры, но и фраки и смокинги повывелись, хотя публика в Филармонии более пристойная, чем во всяком другом месте, туалеты более чем скромные, и никто уже ничему не удивляется с восемнадцатого года!

- Я не этого боюсь, – прибавила она. – А того, что музыка на вас очень действует. Смотрите же, чтобы вы вернулись целым и невредимым после Шестой симфонии.

- Чего вы опасаетесь, Нина? Револьвер мой при вашем благосклонном участии покоится на дне Невы, а это единственный способ, которым я мог бы действовать наверняка. Бросаться под машину и сделать себя в довершение всего инвалидом у меня не хватит храбрости.

- Странное признание из уст Георгиевского кавалера! – сказала она и вручила ему билет.

Когда он вошел в знакомый зал бывшего Дворянского собрания и обвел глазами его белые колонны, он опять почувствовал, что ему не уйти от боли воспоминаний, а начать вспоминать значило вспоминать слишком многое! Он занял место около одной из колонн и стал осматриваться. «Памятника Екатерине нет, красных бархатных скамеек тоже, гербы забелены. Да, публика выглядит совсем иначе: многие вроде меня – такие же общипанные и затерроризированные. Ни блеску, ни нарядов! Если бы покойная мама могла появиться здесь такой, какой бывала прежде, она привлекла бы теперь всеобщее внимание». И он вспомнил ее со шлейфом, с высокой прической и в фамильных серьгах с жемчужными подвесками. Как он гордился ее утонченной красотой, когда, бывало, почтительно вел ее под руку. «В зале нет ни одной дамы красивее моей матери», – думал он тогда. «Расстреляна! Сбродом под командой комиссара «чрезвычайки»! Никого рядом – ни мужа, ни сыновей, ни преданных слуг! Не буду думать. С этими мыслями можно в самом деле под машину броситься».

Он снова стал оглядывать зал. «Странно, что военные сидят! Раньше садиться не смели до начала. Как все было стройно, изящно, изысканно, и как бедно и уныло теперь! Что за количество еврейских лиц! Откуда повыползли? Здесь, кажется, весь Бердичев! Одеты добротней русских, а вот здороваться не умеют – только головами трясут, как Моисей Гершелевич. Рассеянные остатки «бывших», евреи и наспех сформированная советская интеллигенция «от станка» – вот что такое современный свет, в котором никто друг друга не знает и все чужие».

Начавшаяся музыка прервала его мысли. Шестая симфония должна была исполняться во втором отделении. В антракте, стоя по-прежнему у колонны, он снова и снова наблюдал толпу,

выискивая интеллигентные лица и стараясь прочесть в них следы пережитого. Внезапно глаза его становились на одном лице – это была девушка, не слишком молодая, которую никак нельзя было назвать красивой; внимание его привлек неуловимый оттенок порядочности и благородства, который чувствовался и в том, как она сидела, и как держала руки, и даже в том, как лежал белоснежный воротничок около ее горла. Прирожденная культура чувствовалась во всем ее существе. Но не только этим несовременным отпечатком приковала она его внимание – чем больше он всматривался в нее, тем неотвязней донимала мысль, что она кого-то напоминает, что эти черты ему знакомы. «Где мог я видеть ее?» – спрашивал он себя, продолжая всматриваться в этот профиль. Но вот она повернула голову, и он увидел ее лицо en face...

«Сестрица из госпиталя, где я лежал! Та сестрица, та – особенно милая, особенно заботливая!» И мысль его разом перенеслась в сферу воспоминаний, которые он обычно от себя гнал, где боль душевная и боль физическая сливались в одно, и трудно было решить, которая из них мучительней.

Это тогда он выработал в себе ту стойкость, с которой мог теперь принять равнодушно все; именно тогда залегла в его душе та скорбная складка, которая – он это чувствовал – уже не разгладится. Невыносимо было лежать пластом без движения, нельзя было сделать ни вдоха без острой боли в боку, ни поднять головы без мучительной тошноты. Невозможно было отогнать мысли, что у него уже никого нет, что все, кто ему дороги, – погибли. Свет заслонен! ной лампы, белые косынки, письмо, которое она читала. И над всем этим надвигающаяся конечная катастрофа... Если бы можно было все это забыть!... Он был тогда еще очень молод, в госпиталь попал впервые, ему не хватало матери и материнской заботы. Тоска по ней душила, а лежать одному среди чужих было непривычно странно. Он ни в чем не мог упрекнуть окружающих: они исполни ли все, что требовалось, он видел, что они сами измучены и переутомлены, но отсутствие живого, теплого, личного отношения к себе угнетало его. Он всегда был несколько замкнут с посторонними, но с детства особенно дорожил теми, с кем его связывали незримые нити душевной привязанности. И такого человека рядом не было! Но вот понемногу на фоне этих чужих лиц, как среди теней на экране, выделилось и запечатлелось в памяти одно лицо – то, на которое он смотрит сейчас. В этой сестре было что-то непрофессиональное, домашнее, милое, отличавшее ее от всех. Видно было, что она тревожится и огорчается за него; забота ее была более тонкая и нежная. Ни разу выражение усталости, раздражения или безучастия не мелькнуло в ее лице. Стоило ему сделать малейшее усилие – приподнять голову или пошевелить рукой, – тотчас она появлялась возле: «Что вы хотите? Не шевелитесь! Нельзя, надо позвать, для чего же я здесь?» Она никогда не дожидалась зова, и вместе с тем забота ее была полна застенчивой сдержанности и ни разу не перешла в навязчивость. Утонченность его воспитания помогла ему, несмотря на его юность, оценить и понять эти нюансы. Когда его завтрак оставался нетронутым, она садилась на край его постели и кормила его с ложки, уговаривая и упрасывая есть. Она всегда находила время, и казалось, каждый его глоток доставлял ей радость. Он припомнил одну из самых мучительных перевязок, когда он искусал в кровь все губы, чтобы подавить стон, считая неприличным малодушием позволить себе выразить страдание. Врачи и сестры говорили: «Еще минуту терпения, поручик. Сейчас все будет кончено, сейчас. Мы знаем, что вы у нас всегда герой» Но это звучало заученно и, очевидно, повторялось каждому изо дня в день. Конечно, и они жалели его, но жалость эта была притуплена привычкой и обезличена. За этими словами он не слышал ничего, кроме желания, чтобы сопротивление раненого не осложнило и не замедлило дела... Но вот эта сестрица... ее он тотчас узнал по той особенной бережности, с которой она приподняла ему голову давая глотнуть из рюмки. Он открыл глаза и увидел, что она плачет... Так могла стоять над ним мать или сестра! Он уже начинал поджидать часы ее дежурства, но она вдруг перестала приходить, и на его настойчивые вопросы ему отвечали, что эта сестра заболела сыпным тифом. И вот теперь – через девять лет – она неожиданно снова перед ним.

«Я подойду к ней! Тогда, в Крыму, в сестрах были дамы и девушки из лучших семейств. Не допускаю, чтобы могло быть опасным заговорить с ней. Жаль упустить встречу с человеком из прежнего мира, с этой милой девушкой, которая была так добра ко мне». На минуту ему вспомнились шутки офицеров по поводу того, что девушка эта с глазами газели равнодушна к нему. Но жизнь не дала развиваться в нем самоуверенности привычного победителя женских сердец – ни тогда, ни теперь он не верил этому.

Дирижер взмахнул палочкой.

«После окончания тотчас подойду к ней», – и стал слушать. Стихия безнадежности, разлитая во всей симфонии, так завладела им после охвативших его печальных мыслей, что несколько минут по окончании он простоял неподвижно, а когда встрепенулся, публика уже начала расходиться. Это мешало ему видеть ее. «Пойду скорее оденусь и подожду в вестибюле». Но вестибюль был полон народа. «Здесь я могу упустить ее – пойду встану лучше у выхода». Он выбежал на улицу и встал у подъезда. Люди шли и шли, выходя из большой двери, а ее все не было. «Неужели ушла раньше?» Он прозяб на ветру до костей в своей шинели, но все-таки не уходил.

## Глава восемнадцатая

Как могло случиться, что эта девушка, полуребенок, выманила у нее тайну, взяла над ней такую власть? Она, конечно, очаровательна – талантлива, чутка и ласкова, но легкомысленна и шаловлива; в ней нет тех глубоких подводных течений, которыми умеют жить те, для которых явления внутреннего мира значат больше внешней проходящей действительности. Она не живет на большой глубине, на действительность она смотрит с ожиданием. Если бы не ее талант и изящество, она бы была банальна. Это «если бы» заключает в себе очень многое, но...

«Мне не следовало открываться ей! Начнет, пожалуй, чирикать налево и направо о моей тайне!» – думала Елочка, слушая музыку. До сих пор она посещала только оперу. Послушать Шестую симфонию она решилась под впечатлением слов Аси: «Чистая музыка, не связанная ни со зрительными впечатлениями, ни с текстом, выше, глубже, абстрактней оперы», – сказала раз при ней Ася. Оказалось, однако, что Елочке отвлеченная музыка говорит мало – когда во втором отделении концерта началась Шестая симфония, сколько она ни старалась вслушиваться, она никак не могла перестать думать о посторонних музыкальных вещах... Чудесные звучания скользили мимо. «Как я бездарна! – с горечью подумала она. – Одна я такая во всем зале». Она стала обводить глазами соседние кресла, а потом взглянула на людей, стоящих за барьером между колоннами. «Вот эти ради музыки даже стоять готовы. Все слушают и понимают, кроме меня!» И вдруг она вздрогнула: глаза ее скользнули по одному лицу, черты которого слишком врезались в ее память, чтобы их можно было не узнать.

«Боже мой! Неужели он? Нет, не может быть? Мне показалось!» Трепещущей рукой она схватилась за лорнет – несовременную, но неизменную деталь своего туалета. «Кажется, он... Он или кто-то исключительно на него похожий!» Она вспомнила приметку, по которой Анастасия Алексеевна узнала его. «Шрам! Да! Должен быть шрам от раны! У него было ранение левого виска... Да, левого! Ах, если бы он повернулся немного, и я могла увидеть». И она продолжала лорнировать его. Он стоял, прислонясь к колонне, с руками, скрещенными на груди, мрачно сдвинув брови, и, видимо, весь находился под впечатлением музыки. Но Елочке было уже не до музыки: почти каждые пять минут она наводила на него лорнет, и вот, наконец, он слегка повернул голову, и она увидела шрам на левом виске. Сомнения не оставалось – он! Так, значит, жив, спасся! Она оставила лорнет, и целый вихрь чувств и мыслей закружился в ней... Что было с ним за все эти годы? Какой он теперь? Кто он? Она считала его погибшим, всю свою юность она его оплакивала... «Я никем не интересовалась, никого не ждала, ни на кого не смотрела! Я забыла о себе, я не думала о том, чтобы устроить свою жизнь! Я все свои ожидания перенесла на ту сторону жизни, а он оказался на этом берегу. Может быть, он счастлив и доволен жизнью, может быть, он! женат. Обо мне, конечно, не вспоминает!»

Странная обида накопилась в ее груди. Опять она схватилась за лорнет... Но он не выглядел счастливым: от нее не укрылись его худоба и бледность, заштопанный китель, по-видимому, еще старый – офицерский. Он несколько старше, чем был, но опять такой же измученный и печальный... очевидно, он после болезни. Теперь уже ясно, что это его видела Анастасия Алексеевна. «Боже мой, что же мне делать? Ведь я не решусь подойти, а больше уже не выпадет такого случая... Роковые минуты не повторяются – нельзя упускать их! Если я не подойду, я опять потеряю его след, и жизнь поползет безотрадно серой». Она понимала, что будет очень трудно снова перенести все чаяния на мистическую встречу в загробном мире и успокоить возмущившуюся, словно море, душу.

Прозвучали последние аккорды, раздались аплодисменты, публика стала подниматься. Елочка опять взялась за лорнет и увидела, что он смотрит в ее сторону. Испуганно выпустив лорнет, она опустила головку, словно страус перед опасностью. На одну минуту ей как будто захотелось убежать, спрятаться перед неизбежным... «Что же я делаю? Он мог бы увидеть меня и подошел бы может быть», – и снова, уже без лорнета, обернулась в его сторону. Но его на том месте уже не было. Она сидела не шевелясь... Может быть, он пробирается к ней через эту толпу? Прошло минут пять-десять, он не шел. Ясно было, что он покинул зал. Безнадёжная тоска легла ей на сердце, точно могильный камень. Конец. Неповторимый случай упущен. Остается сказать «аминь» на эту встречу. Люди расходились, она все сидела, не в силах встать и уйти. Она еще ждала чего-то... Изредка подымая голову, тоскливо обводила глазами пустевший зал. Но вот потушили свет, последние группы стали выходить. Ей тоже пришлось встать. Она медленно вышла, окинула глазами лестницу, прошла в гардероб; медленно оделась, спустилась вниз, безнадежно оглядела вестибюль и пошла к выходу. Она была одна из последних. И вдруг в ту минуту, когда она закрыла за собой тяжелую дверь, она услышала голос:

– Разрешите приветствовать вас! Мы были когда-то знакомы? Вы узнаете меня?

Этот голос она узнала! Она вся задрожала и подняла глаза: он стоял перед ней с фуражкой в руке! Каждая жилка в ней затрепетала. Она прижалась к стене и молча, не отрываясь, смотрела на него. Он иначе объяснил ее волнение.

– Это уже не в первый раз, что при встрече на меня смотрят, как на выходца с того света, – сказал он. – Тем не менее, это все-таки я.

Она не шевелилась. Строчки из стихов Блока звучали в ее сознании:

Падет туманная завеса,  
Жених сойдет из алтаря,  
И из вершин зубчатых леса  
Забрезжит брачная заря.

Так эта встреча все-таки осуществилась здесь, по эту сторону!

Оборванные тучи то закрывали звезды, то открывали их; деревья сквера раскачивались от ветра, за реальным вставало нереальное. Сердце бешено билось, голоса не было, чтобы отвечать.

– Вы меня не узнаете? Но ведь вы были, не правда ли, сестрой милосердия в Феодосии в двадцатом году?

– Я вас узнала... я... я только удивлена. Я вас считала погибшим, – прошептала она.

– Как видите, я не погиб. Не знаю уж для чего, но жив остался. Я увидел вас в зале и осмелился подождать. Вы были так добры ко мне когда-то, что я не мог уйти, не засвидетельствовав вам своего глубокого уважения. Я надеюсь, вы извините мне мою смелость?

Она кивнула головой, довольная этой корректностью.

– Вы разрешите мне немного проводить вас, чтобы поговорить хоть несколько минут?

Она отделилась от стены и пошла по тротуару. Он пошел рядом, он не взял ее под руку по

советской моде, характерной своей бесцеремонностью, и ей это понравилось.

- Сестрица... ах, что это я?! Извините за старую привычку.

- Это слово мне дорого. Им вы меня не обидите, - ответила она, и голос ее дрогнул.

- Я ведь не знаю вашего имени и отчества; не откажитесь сообщить, - проговорил он опять с той же почтительностью.

- Елизавета Георгиевна Муромцева.

- Я с очень теплым чувством смотрел на вас в зале, Елизавета Георгиевна. Я вспоминал, какой вы были замечательной сестрой - всегда терпеливой, внимательной, чуткой, - вот таких описывают в литературе. Ведь я, бывало, ждал и дожидаться не мог ваших дежурств.

«Так вот что!» - подумала Елочка, и слезы полились из ее глаз. Пришлось вынуть из муфты платочек.

- Я так любила всю мою палату, - прошептала она, вытирая глаза, - для меня таким горем было, когда я узнала о расправе с моими ранеными... Я была тогда больна тифом. А потом, когда поправилась, я так терзалась...

- Вы были больны... да, я помню, я о вас спрашивал.

- Даже теперь горько вспомнить, - шептала она, - это была жестокость свыше всякой меры.

- О да! Жестокими они быть умеют, - сказал Олег, и подумал: «Она не боится быть откровенной, она смелее меня».

- Я была уверена, что и вы... Что и вас тоже... Как вы спаслись? - спросила Елочка.

- Меня спас все тот же мой денщик. Он подменил мне документы и перенес меня в солдатскую палату. Там нашлись предатели, которые многих выдавали, но меня это каким-то образом не коснулось. Елизавета Георгиевна, я вижу, я вас расстроил; эти воспоминания, по-видимому, вам тяжелы... извините.

- Пусть тяжелы. Я хочу знать. Вы долго еще лежали?

- Всего я в госпитале был около трех месяцев, последние три недели уже при красных. При первой возможности - едва я смог встать на ноги - я поспешил оттуда убраться. Мы с Василием укрылись в заброшенной рыбацкой хибарке. Василий устроился лодочником на пристани, а у меня сил еще совсем не было. Я почти все время лежал. Он приносил мне хлеб и воблу. У нас был план перебраться на лодках в Голисполийский лагерь, как только я поправлюсь настолько, что смогу грести и минует полоса штормов... Но мы этого не осуществили: хотя Россия стала для меня мачехой, но ведь еще недавно была матерью!

- Я понимаю, понимаю вас! Что же дальше? Эта предательская регистрация - являлись вы на нее?

- Нет, на эту удочку я не попался, что, впрочем, ничему не помогло: нас все равно выследили и задержали.

- Как «задержали»? Так вы все-таки подвергались репрессиям?

- Да, Елизавета Георгиевна: семь с половиной лет я провел в Соловецком концентрационном лагере. Я совсем недавно вернулся и почти тотчас попал в больницу. Вы видите, мне рассказывать нечего: я все эти годы не участвовал в жизни.

Она остановилась.

- Соловки! Соловки! - и схватилась за голову. Муфточка и маленький платочек упали к ногам. Олег быстро поднял.

- Какие чудесные духи! Из тех, которые я любил раньше. Вы вся прежняя, не теперешняя, Елизавета Георгиевна.

Щеки Елочки слабо вспыхнули при упоминании о духах.

- Я надеюсь, Елизавета Георгиевна, что с вами жизнь обошлась милостивее - надеюсь, что вы репрессиям не подвергались?

Она рассказала о себе, но очень коротко. Тысячи вопросов к нему вертелись на ее губах, но она опасалась показаться навязчивой и не решалась их задавать, на один все-таки отважилась.

- А как ваше здоровье? После такого ранения концентрационный лагерь... Как вы выдержали?

- Я и сам удивляюсь. Выдержал как-то. Рана в висок зажила, а рана в боку несколько раз

открывалась. Мне сказали, что в ней остался осколок, который дает постоянный плеврит. Но плеврит привязался ко мне после «шизо».

- Что такое «шизо»? - спросила она с недоумением.

- Вы не знаете? Слава Богу, что не знаете! Так называются в лагере штрафные изоляторы, в которые сажают за провинности. В Соловках шизо был большой избой без крыши - один сруб, туда в морозное время запирали на ночь людей, предварительно заставляли снимать верхнюю одежду и обувь. Я дважды повергался этому.

Лицо Елочки потемнело.

- Изверги! Палачи! Сатанисты!

- Тише, тише, Елизавета Георгиевна! Нас могут услышать.

Она умолкла, в недрах ее души опятьросло, подымалось прежнее чувство к нему - живому: помочь, пожалеть, согреть, утешить, отдать всю жизнь, лишь бы только помочь! Но надо было держаться в рамках условности. Через минуту она сказала дрожащим голосом:

- Да разве же можно с плевритом так легко одеваться? Вы зябнете в этой шинели.

- Что делать! У меня нет пока многого необходимого. Хорошо еще, что моя belle-soeur [38] приютила меня в комнате моего брата, а то и жить было бы негде.

- Вы служите?

- Начал, но поправить свои дела и обзавестись необходимым еще не успел. Вот и вынужден пока что ходить в таком виде, что совестно перед вами.

- Передо мной, пожалуйста, не извиняйтесь. Мне сейчас противны как раз все те, кто имеет расфранченный вид.

Мы четыре дня наступаем,

Мы не ели четыре дня!

Та страна, что должна быть Раем,

Стала логовищем огня, -

неожиданно продекламировал Олег.

- Это ведь Гумилев? - улыбнулась Елочка.

- Да. Из нашей стаи - русский офицер.

- И расстрелян, - добавила девушка.

В эту минуту они подошли к подъезду дома, в котором она жила.

- Мне сюда, - сказала она тихо.

Они остановились у подъезда и несколько минут молчали. Оба думали об одном и том же - как продлить знакомство.

- Елизавета Георгиевна, - сказал он, понимая, что сам должен сделать первый шаг. - Неужели же мы с вами расстанемся, чтобы больше не увидеться? Теперь так редко случается встретить людей из прежнего мира. Я лично бесконечно одинок. Я был очень рад еще раз увидеть вас.

Она молчала, опустив глаза.

- Есть у вас родители, которым вы могли бы меня представить?

- Нет, я живу совсем одна, - прошептала Елочка.

- Вы можете быть уверены, Елизавета Георгиевна, что мое отношение к вам всегда будет исполнено самого глубокого уважения, - сказал он опять с той же почтительной покорностью. Легкий румянец покрыл щеки Елочки: никогда еще ей в жизни не приходилось объясняться с мужчиной, хотя ей было уже 27 лет. Принять его у себя она нисколько не опасалась: в ее представлении мужчина такого типа должен был быть рыцарем в самом высоком значении этого слова, а следовательно, никаким опасениям не могло быть места. Ее останавливало другое: назначив свидание после первой же встречи, она могла показаться легкомысленной или доступной как в его, так и в своих собственных глазах. Это не вязалось с ее принципами. Она стояла молча, растерянная. Он видел, что она колеблется, но ему это нравилось. «Благородная девушка! С прежними устоями, с гордостью!» - думал он, покорно дожидаясь.

Внезапно находчивый ум Елочки скоро отыскал выход из создавшегося тупика.

- Я не об этом думаю. Меня беспокоит ваше здоровье, - сказала она. - Приходите ко мне на службу в больницу, я свожу вас на рентгеновский снимок, и, если осколок в самом деле есть, покажу снимок дяде. Он - прекрасный хирург. Это он оперировал вас когда-то. Пусть он скажет свое авторитетное мнение.

Олег понял, что она все-таки не захотела принять его на дому и таким образом нашла выход, но понял также, что разговор об осколке не был только предлогом в ее устах, и что к его здоровью она по старой памяти не могла отнестись безучастно. Поблагодарив ее, он спросил:

- Елизавета Георгиевна, вы помните мою фамилию?

- Да, князь Дашков. - Елочка умышленно употребила титул.

- Si-devant [39] прибавьте! Так вот теперь по документам я уже не только не князь, но и не Дашков, а всего-навсего Казаринов. С того времени я так и застрял под этой фамилией. Выявить свое подлинное лицо - значит попасть снова в лагерь, если не на тот свет. Признаюсь, пока еще не имею желаний. Это все надо держать в очень строгом секрете.

- Я понимаю, - сказала она очень серьезно.

После нескольких слов, уточнявших время и место встречи, они простились. Входя в подъезд, она еще раз обернулась на него, он тоже обернулся и, встретившись с ней взглядом, поднес руку к фуражке. Этот офицерский жест заставил сладко заныть сердце Елочки; институтская влюбленность в гвардейскую выправку, в пустое движение еще уживалась в ней рядом с культом благородства, рядом с сестринским состраданием и мистическими чаяниями и еще вызывала затаенный девичий трепет во всем ее существе.

Она вошла в свою комнату и в изнеможении бросилась на кровать. «Жив! Нашелся! Узнал! Пришел ко мне! Я буду его видеть! Господи, что же это! Могла ли я думать, собираясь на концерт здесь вот, в этой комнате, что меня ждет такое счастье!» Она вдруг бросилась на колени перед образом:

- Господи, благодарю Тебя! Благодарю, что Ты спас его! Благодарю за эту встречу! Ты справедлив - теперь я знаю! Ты видел мою тоску, мое одиночество, мою любовь! Ты все видел! Не знаю, какой Ты, Господи! Такой ли, как учит Церковь, или Такой, как пишут индусские мудрецы, но Ты велик и мудр, а любовь к Своим созданиям Ты мне дал почувствовать на мне же самой. Ты дал мне сегодня так много, так много! Ради одного такого вечера стоит прожить жизнь!

Порыв прошел, она опустила сложенные руки и опять задумалась.

Соловки! Странно, святое, многострадальное место. Монастырь со славным историческим прошлым, древний монастырь с белыми стенами, окутываемый белыми ночами, омываемый холодным заливом. Белые древние стены смотрятся в холодную воду... Еще со времен Иоанна Грозного ссылали туда опальных бояр, которые жили, однако, настолько весело, что игумены посылали царям отчаянные грамоты с просьбами взять от них бояр, которые образом жизни соблазняют братию. Этот монастырь рисовал Нестеров на картине «Мечтатели»: белая ночь, белые стены, белые голуби и два инока - старец и юноша - на монастырском дворе грезят о подвигах подвижничества. А вот теперь этот монастырь стал местом крестного страдания русской интеллигенции. Коммунистическая партия и Сталин пожелали устроить «мерзость запустения на месте святом». Они разогнали монахов и место спасения превратили в место пыток... О каких только ужасах, творящихся там, не шептались втихомолку испуганные люди... Она видела раз это место во сне - вот эти самые белые стены и холодную воду, а над ними стояло розовое сияние как эманация молитв за тех, которые очищались в страдании за этими стенами... И он был там! Не потому ли всегда так больно сжималось ее сердце всякий раз, когда она слышала об этих Соловках! Ей хотелось бы теперь узнать все подробности быта узников и обращения с ними, но расспрашивать было бы неэтично: ему, может быть, тяжело вспоминать. Сдержанность Олега не обманула ее: из отрывочных намеков она сумела сделать вывод, а за корректной интонацией уловила ноты безнадежности и поняла всю глубину его надорванности и усталости. «После такой войны, таких ран - семь лет лагеря! Боже, Боже!

А когда наконец выпустили – некуда идти! Нет ни дома, ни родных... опять заново переживать свои потери! Нельзя отдохнуть, согреться, подкормиться под крылом у родных! Надо опять с невероятными усилиями отвоевывать себе право на жизнь. Гражданской специальности у него нет – он зарабатывает, наверно, гроши, а ведь надо устраиваться, надо одеться. Теперь трудно даже тем, у кого сохранились кров и близкие, а когда человек был вырван из жизни, лишен всего, измучен, истерзан – это вдвое, втрое трудней. Как бы помочь ему? Я многое могла бы сделать, да ведь он не позволит». И только тут она вплотную подошла к мысли, что лишь одним путем она получила бы возможность помочь ему – если бы стала его женой. Вот тогда только! «Как бы я берегла его! – с невыразимой нежностью думала она, смакуя в памяти жест, которым он простился с ней. – Я бы сделала все, чтобы поправить ему здоровье, я бы отгоняла от него каждое огорчение, каждую тревогу. Я бы все взяла на себя, лишь бы он был спокоен и счастлив. Пусть буду в окружении забот, хозяйственных и материальных, пусть придется забросить мои интересы и книги – для него я на все готова!» Она забыла, с каким пренебрежением фыркнула на Асю, когда та заговорила о «земной» любви; думая о счастье жить для него, не находила уже это счастье мещанским. Внезапно ее целомудренное воображение содрогнулось: за двадцать семь лет своей жизни она не узнала даже поцелуя; в своем намеренном аскетизме она преждевременно подвяла, подсохла на корню. В ней уже начала вырабатываться стародавническая нетерпимость. Одна мысль о близости с мужчиной заставляла ее вздрагивать от отвращения. И даже сейчас, влюбленная в его лицо, голос, осанку, в упоении вызывая их в своей памяти, она содрогнулась при мысли о том, что делают с девушкой, когда она становится женой... Но тотчас отмахнулась от этой мысли: «Ах, все равно! Ради счастья заботиться о нем, я, кажется, пошла бы на все – даже на это!» Она принесла себя мысленно в жертву, совершенно уверенная, что в объятиях и поцелуях мужчины никогда не найдет радости для себя, хотя одна мысль об этом мужчине заставляла ее влюбленно трепетать. И снова погрузилась воображением в зарисовки тех забот и того внимания, которым стала бы окружать его. Прежний привычный строй вытканых в воображении картин заменялся теперь новыми – такими же альтруистическими.

Бронзовые часы на камине пробили два часа, потом три, четыре, пять – она даже не раздевалась: сидела на постели, напряженно глядя в темноту и не замечая ничего. Нервы были взвинчены до предела. Ее душа цвела внезапно раскрывшимся чудесным цветком в тишине и тайне этой ночи.

## Глава девятнадцатая

Она надеялась, что встреча на работе закрепит их знакомство и перебросит мост к дальнейшему. Он думал о том же, направляясь в больницу. Но возвращаясь к себе в этот вечер, уже был полон другой.

В больницу он поехал прямо со службы; великолепный швейцар, стоявший у лифта, зорко взглянул на его лицо и простреленную многострадальную шинель... так зорко, как будто что-то заподозрил... однако необыкновенно вежливо поклонился ему:

– Пожалуйста! Кому прикажете доложить?

Узнав, что требуется сестра Муромцева, швейцар тотчас же вызвал Елочку по коммутатору и накинул на Олега белый халат, без которого его бы не пропустили дальше. Олег нащупал в кармане рубль и, обрадовавшись находке, протянул швейцару. При этом он с удивлением заметил, что около швейцара на полу стояла большая картина, по-видимому, голландской школы – курица с цыплятами на темном фоне. «Как она могла сюда попасть?» – подумал он.

Елочка выбежала к нему навстречу с розовыми щеками в белом халатике и форменной косынке. Тотчас она повела его по лестницам и коридорам, что-то говорила о нем людям в белых халатах, в результате чего его тотчас вызвали на снимок, которого в районных амбулаториях приходилось дожидаться неделями и который не выдавался на руки. После снимка они условились о новой встрече, когда он должен был явиться сюда же узнать

поставленный диагноз. Вслед за этим она вернулась к себе заряжать автоклав, а Олег спустился к швейцару и на этот раз уже у выходной двери снова увидел ту же картину, а рядом стояла, надевая перчатки, молодая девушка с длинными косами. При взгляде на нее Олега словнохватило электрическим током.

- Ксения Всеволодовна! - воскликнул он, вытягиваясь со свойственным ему изяществом и невольно вкладывая в свое восклицание слишком много чувства для простого приветствия. Он увидел, как ее глаза, которые он не мог забыть, смотрели в течение секунды с недоумением, потом приветливая улыбка осветила лицо.

- Извините, я не сразу узнала вас! Олег Андреевич Казаринов, так, кажется?

- Так точно, - отчеканил он с интонацией, которую она не поняла. - Каким образом вы здесь и притом одни, Ксения Всеволодовна?

- Это целая история! - доверчиво зашебетала она.- Бабушка послала меня в Эрмитаж, в закупочную комиссию с этой картиной. Кузина Леля взялась помочь мне ее донести. Леля работает здесь со вчерашнего дня практиканткой в одном из рентгеновских кабинетов, я зашла посмотреть на Лелю в медицинской форме, а теперь пойду по бабушкиному поручению. Вот только картина очень парусит - как бы не унесла меня в стратосферу.

- Разрешите мне вам помочь! - подхватил он тотчас, с радостной готовностью забирая картину. И они вышли.

Связному разговору очень мешала несчастная курица, которая действительно все время парусила и норовила вырваться из рук, к тому же Ася призналась, что проболтала с Лелей и боится опоздать: закупочная комиссия заканчивает работу в семь часов. Припомнив, что у него в кармане двадцатирублевка, на которую он рассчитывал жить до следующей получки, Олег махнул рукой на все соображения материального порядка и предложил нанять такси, но лицо девушки приняло такое испуганное и настороженное выражение, что он тотчас же оборвал фразу:

- Вы не желаете ехать, Ксения Всеволодовна?

- Да я бы очень желала, но бабушка запретила настрого. Я уже два раза не послушалась, а сейчас бабушка нездорова и волновать ее нельзя.

- Вы правы, Ксения Всеволодовна... Я далек от желания подбивать вас на непослушание. Я как-то не сообразил, что еще не представлен вашей бабушке. Извините, но не относите меня к разряду совсем чужих людей. Я все-таки не первый встречный, а beau-frere Нины Александровны и познакомились мы с вами в ее комнате.

Ася остановилась.

- Как beau-frere? Каким же образом? Ведь Нина Александровна - княгиня Дашкова, а вы... Казаринов?...

Олег спохватился, что запутался. Секунду он колебался, но встретив недоуменный взгляд ясных глаз, сказал, останавливаясь и прислоняя картину к фонарному столбу около Александровской колонны - они пересекали в это время пустынную площадь Зимнего дворца:

Я вижу, что проговорился, и хочу вам сказать прямо: я не Казаринов, я - Дашков, - и опять ему пришлось пересказывать печальные события своей жизни; он делал это умышленно коротко, но факты говорили за себя.

- Отдаю свою тайну в ваши ручки! Вы еще очень юная и, может быть, не осознаете, что о таких вещах нельзя ни при ком упоминать, это мне может стоить свободы, а может быть, и жизни, - закончил он.

- О нет, я понимаю! - и личико приняло самое озабоченное; выражение, даже морщинка легла между бровей. - Я вам не дам нести картину, отдайте, если так! - прибавила она очень воинственно. Заключение это было для него совершенно неожиданно.

- Позвольте, почему?!

- Нельзя носить такие тяжести, если было ранение!

- Ксения Всеволодовна! Это ведь было девять лет назад! Сколь ко с тех пор я грузил тяжелейших бревен в Соловках и в Кеми с ут ра до ночи, да еще по пояс в воде. Я привык ко

всему, уверяю вас!

- В Соловках? Ой, как страшно-то! И долго вы там были?

- Семь с половиной лет. Я только теперь вернулся.

Быстро, пугливо и тревожно взглянули на него ее глаза, по-детски - исподлобья. Так, наверно, смотрела маленькая малиновка на прекрасного Пленника, вырывая шипы из его тернового венца! Странные были у нее глаза: их светящийся центр, казалось, находится впереди орбиты и, накладывая голубые тени, озаряет лицо и лоб, а ресницы служили как бы защитным покрывалом лучистому взгляду.

- У вас кто-нибудь оставался здесь? Кто-нибудь встретил вас, когда вы вышли из лагеря: мама или папа, или сестричка?

- Никто. У меня все погибли.

Секунду она не сводила с него испуганного взгляда и вдруг залилась слезами, прижавшись головой к фонарному столбу:

- Я не знала, я ничего не знала! Простите, что я говорила с вами, как с чужим! Мне вас так жаль... так жаль!...

«У меня душа живет слишком близко!» - вспомнилось Олегу.

- Не огорчайтесь, девочка милая! Не я один. Я думал, вам это все известно, иначе не заговорил бы. Вытрите ваши глазки и пойдете, а то в самом деле опоздаем. Обо мне лучше не говорить - слишком невесело.

Она все еще всхлипывала.

- Неужели и дядю Сережу вот также заставят грузить бревна вместе с ворами и разбойниками?

- Нет, Ксения Всеволодовна: высланные, конечно, очень заброшены и несчастны, но они не работают под конвоем, им грозит другая беда - отсутствие работы и голод в глухих отдаленных местах. Это касается тех, у кого нет близких, но у вашего дяди есть мать и невеста - они не дадут ему пропасть.

- Да, конечно; конечно, не дадут! - с уверенностью повторила она, вытирая слезы.

Олег опять поднял картину, и они пошли. Желая развлечь Асю, он заговорил с ней о музыке, она улыбнулась и скоро снова заверещала.

В Эрмитаже он остался ждать ее в вестибюле. Очень скоро она вернулась, волоча за собой картину.

- Эта курица такая несчастливая. Который раз я ношу ее в разные места, и всегда неудача! Сначала сказали: прекрасный экземпляр, подлинная Голландия, семнадцатый век, оцениваем в две тысячи. Я, как на дрожжах, подымаюсь и вдруг слышу: «Но...» У меня душа в пятки! «Семнадцатый век у нас представлен очень многими экспонатами, и в приобретении данного Эрмитаж не заинтересован, предлагайте любителям». Как вам это понравится? Где я возьму этих любителей? Что же мне теперь делать?!

- У вас острая нужда в деньгах? - спросил Олег, готовый предположить бедствия и уже прикидывая в уме, каким путем сделать ее обладательницей своей 25-рублевки. Но ответ был совсем в другом роде, чем он ожидал.

- Через неделю день моего рождения - мне будет девятнадцать лет. Недавно были мои именины, но их не праздновали: было «не до того». А день рождения бабушка обещала отпраздновать и обещала мне к этому дню белое платье. Мне английские блузки уже так надоели. Теперь я боюсь, что раз картина не продается - ни платья, ни вечеринки не будет! - Она была так очаровательна в своем трогательном детском огорчении, что он не в силах был свести с нее глаз.

«Бог знает, что со мной делается, когда я вижу ее! Я голову теряю! О, если бы я мог выложить ей эти деньги, я с радостью сел бы потом на хлеб и воду!» - подумал он и сказал:

- Ксения Всеволодовна, я могу посоветовать только одно:несите картину в комиссионный магазин. Здесь поблизости есть один. Бежимте!

Он зашагал саженными шагами, она рысцой побежала рядом! Увы! Курицу и здесь принять не захотели! Указывали, что магазин перегружен товарами, что картина с дефектами и вряд ли

найдет покупателя. Оба печально вышли.

- Ну, теперь кончено, - сказала Ася. - Повезу домой эту противную курицу.

- Не огорчайтесь, Ксения Всеволодовна, быть может, ваша бабушка ассигнует для вашего праздника другую вещь.

Она вздохнула:

- Уж не знаю. У нас стоит в комиссионном беккеровский рояль, но бабушка сказала, что выручка за него пойдет дяде Сереже, а если бабушка что сказала - так и будет.

Она повернула на Морскую, и через несколько минут они остановились у подъезда.

- Я был очень счастлив встретить вас, Ксения Всеволодовна! Надеюсь, что мы еще увидимся. Надеюсь также, что праздник ваш состоится.

- И я буду надеяться! Знаете что? Приходите к нам в день моего рождения, - и тут же смутилась и до ушей покраснела:

- Ах, что я сделала!

Он понял ее и улыбнулся:

- Вы и в самом деле непослушный ребенок, Ксения Всеволодовна. Разве можно приглашать в дом человека, не представленного бабушке? Но я надеюсь исправить это в скором времени. Всего хорошего. - Она улыбнулась и исчезла за тяжелыми дубовыми дверями старинного подъезда.

«Боже мой, как она хороша! - думал он, глядя ей вслед. - Какая чистота линий в ее лице, а на лбу как будто лежит луч света. Не могу более противиться ее обаянию! Сегодня же попрошу Нину представить меня Наталье Павловне. Я хожу по краю бездны, но ведь не все думают и чувствуют, как Марина. Кристальные души бывают очень чутки: внутренний голос безошибочно говорит им правду о человеке - эта девушка поймет, как я несчастлив, как я тоскую без любви и без семьи, как глубоко я умею любить. Если же счастье пройдет все-таки мимо, тогда... тогда не стоит больше тянуть эту лямку».

Весь вечер он думал только о том, согласится ли Нина ввести его в дом Бологовских.

- У меня к вам просьба, - сказал он, воспользовавшись удобной минутой.

- Какая? - спросила она.

«Откажется!» - подумал он.

Она стояла перед туалетом, роясь в ящичке; в ответ на его смущенное молчание она повернулась и секунду фиксировала его взглядом.

- Представить вас Наталье Павловне - так ведь?

Он с удивлением на нее взглянул.

- Особой проницательности не нужно, чтобы заметить впечатление, произведенное на вас Асей, - усмехнулась она. - Ну, так слушайте: я вас представлю, но с условием.

- Каким же?

- Я объясню Наталье Павловне, переговорив с ней предварительно наедине, кто вы по происхождению, и сообщу ей вашу биографию. Я уверена, что вы, очертя голову, броситесь ухаживать за Асей, и не хочу, чтобы потом упрекали меня в скрытности или в неосторожности, мало ли в чем? Понимаете ли вы меня?

- Вы вправе поставить эти условия, Нина, но я и сам в этой семье не хочу лукавить. Всецело полагаюсь на ваш такт.

Между тем Асю ждала буря. Как только француженка открыла ей двери, она тотчас объявила, что Наталья Павловна беспокоится, так как Ася вернулась позже, чем предполагалось, и повела ее пред очи бабушки. Ася стала рассказывать, что Леле очень идет форма медицинской сестры и что в Эрмитаже получилась неудача.

- А потом мы понесли курицу в комиссионный магазин, - закончила она.

- Кто мы? - спросила тотчас Наталья Павловна.

Ася покраснела, как рак, и замялась. Наталья Павловна приподнялась на подушке.

- Как? Опять с кем-то разговаривала? Опять пристал кто-нибудь? Говори сию минуту!

- Все не пристал. У него манеры самые изысканные. Он - настоящий джентльмен.

- Ася, ты себя доведешь до беды! - воскликнула Наталья Павловна. - Ведь я раз навсегда запретила тебе разговаривать с посторонними мужчинами.

Зинаида Глебовна, сидевшая около Натальи Павловны, присоединилась:

- Ася, это и неприлично, и недопустимо, и опасно! Уж поверь нам. Мы больше тебя знаем жизнь.

- Тетя Зина, почему опасно? Я ведь не с громилой разговаривала! Это князь Олег Андреевич Дашков.

- Что? Кто? Какой князь? Муж Нины Александровны давно убит, а больше нет никаких князей Дашковых.

- Есть, оказывается! Он сам сказал.

- Чепуха! Тебе можно наговорить что угодно, ты всему веришь. Ясно, что опять выдумки, как с Рудиным. Ты не дала адреса, надеюсь?

- Адрес он знает, потому что проводил меня до подъезда. Мы чудесно поговорили о музыке, только мы не во всем согласны: он выше всего ценит музыку Чайковского, а я как раз Чайковского считаю слишком земным, не воспаряющим.

- Боже мой! Теперь этот тип будет подстерегать ее! - воскликнула Зинаида Глебовна.

- Ты, Ася, не слушаешься меня уже не в первый раз, - сказала Наталья Павловна. - Я должна тебя наказать, я это так и оставляю.

- Наказывай, бабушка, а я все равно знаю, что ничего плохого я не сделала и что он в самом деле Дашков; я наказанья не боюсь.

- Посмотрим. Отложите ей, мадам, белье для починки, и пусть целый день штопает - ни рояля, ни разговоров, ни книг. По-старинному - на хлеб и воду. Лелю к ней не впускать. Ни слова больше. Уйди.

Ася вышла, мадам за ней.

- Для меня совершенно очевидно, что ее нельзя одну выпускать на улицу. Она слишком хорошенькая и к тому же доверчива сверх меры. Придется ее провожать, как маленькую, а между тем наша бедная мадам и так разрывается на части, - сказала Наталья Павловна, опускаясь на подушки.

- Не кажется ли вам, Наталья Павловна, что следовало бы немножко просветить Асю, чтобы она поняла, как может поплатиться за свою доверчивость? - сказала Нелидова.

- Нет, Зинаида Глебовна, дорогая: я останусь верна нашим дворянским традициям - девушка должна быть чиста не только телом, но и мыслями. Помните ли вы слова: «Гряди голубица» и «Сам благослови деву чистую» - она под венцом должна быть такой же голубкой, как мы с вами в наше время, а не как эти советские девчонки, о которых сами родители не знают, девушки ли они. Ни в каком случае я не приподыму завесы.

Ася просидела весь вечер и весь следующий день одна. Она не унывала, предвидя свою победу, и с нетерпением поджидала Нину. Желая более неожиданной и эффектной развязки, она не делала новой попытки доказать свою правоту. Сидеть было скучновато, тем более что иголку она органически не выносила. Желая развлечься, она напевала вполголоса все, что ей приходило на память.

В середине второго дня мадам, выходя в булочную, наткнулась в подъезде на высоченного рыжего детину в кепке, сдвинутой на затылок, с косматым чубом, выпущенным на лоб. Он стоял, запустив руки в карманы и тараща глаза на лестницу. Француженка покосилась на него, обошла сбоку и опять покосилась. Возвращаясь из булочной, она снова увидела его на том же месте.

- Le viola! [40] - сказала она себе, и закипело ретивое. Она замахнулась на парня корзиной:

- А ну пошел! Пошел! Вот нашелься князь! Prince Dachkoff! Я тебе покажу, какой ты князь! Не лезь к благородной дьевушка! А ну - пошел!

Детина вытаращил глаза так, что они у него чуть на лоб не вылезли.

- Пошел! - наступала неугомонная мадам. - Наш дьевушка не по тебе! Ты - du [41] простой, так и не лезь! Милиций вызовю! Вот нашелься князь!

Терпение рыжего детины лопнуло.

- Вот привязалась, заморская ведьма! - пробормотал он, отмахиваясь руками. - Какой я тебе князь?! Пошла вон, немецкая рожа!

От последних слов мадам взорвалась, как бомба.

- Я немецкий рожа?! Я?! Mon Dieu! [42]" Я француженка, парижанка! Я тебя в милицию, в милицию! - и она хлопнула его с размаха по физиономии. Детина бросился вон, очевидно, считая, что имеет дело с сумасшедшей.

Явившись домой, мадам с торжеством изложила происшедшее Наталье Павловне, но последняя не была столь уверена, что личность противника установлена достаточно точно: она полагала, что человек, привязавшийся к Асе, был более интеллигентный.

Вскоре мадам, войдя к Асе, поставила перед ней очередной чай и хлеб, и объявила, что уходит по делам и что бабушка задремала, а ей надлежит по-прежнему не выходить и штопать. Ася вздохнула: заключение начало ей надоедать.

- А как же мой урок, мадам? В шесть часов я должна быть в музыкальной школе.

- Cela ne m'interesse point! [43] - ответила мадам и вышла.

Ася вскочила и стала ходить по комнате. Терпенья у нее было очень мало, а Нина, как нарочно, не шла. Дела в музыкальной школе складывались не благоприятно: плата за март месяц не была внесена, и она уже видела себя в списке лиц, с которыми преподавателям предлагалось прекратить занятия до погашения ими задолженности. Если в течение ближайших дней плата не будет внесена, ее могут исключить. Было еще одно осложнение, тревожившее ее несколько не меньше: до дня рождения оставалось всего несколько дней, пока она в опале, переговоры по поводу вечеринки и платья заброшены, а потом уже будет слишком мало времени! Пометавшись тревожно по комнате, она решила, что события для своего ускорения нуждаются в могучем толчке, и на цыпочках выскользнула в коридор к телефону.

- Можно Нину Александровну?

- Нины Александровны нет дома. Что прикажете передать? - услышала она мужской голос. Сердце ее забило с удвоенной частотой.

- Тогда попросите, пожалуйста, Олега Андреевича, - отважилась выговорить она, точно в воду бросилась. - Ах, это как раз вы! Говорит Ася, то есть я хотела сказать - Ксения Всеволодовна. Олег Андреевич, выручайте меня! - и она описала ему, как ей попало за встречу с ним. - Теперь я сижу наказанная и вот штопаю белье, а это невыносимо скучно! Гораздо интересней разучивать фуги. Вы любите фуги? Мне задали новую, так хочется ее проиграть, а вместо этого надо вырезать ножницами круглые дыры. Олег Андреевич, пожалуйста, расскажите Нине Александровне, что случилось со мной, и пусть она идет скорее на выручку, только пусть не говорит, что я ее вызывала. А теперь надо кончить: я боюсь разбудить бабушку. Вы передадите? Ну, спасибо! - и с пылающими щеками повесила трубку.

«А все-таки я поговорила с ним! Посмотрим, что будет теперь!»

Нина прибежала в этот же вечер, информированная Олегом о случившемся. Усевшись в качестве бесспорной любимицы на край кровати Натальи Павловны, она тотчас спросила: «А где наша малютка?» - и как только Наталья Павловна начала рассказывать историю с Асей, сказала:

- Сейчас я удивлю вас, Наталья Павловна, это действительно мой beau-frere, князь Олег Дашков, и познакомила его с Асей я. В силу некоторых чрезвычайных обстоятельств у меня уже вошло в привычку никогда ни с кем не говорить о нем. Для вас я изменю этой привычке, - и она рассказала свекрови трагическую судьбу Олега.

Послали за Асей, которая все еще сидела за бельем. Асю ждал приятный сюрприз. Кроме объявленного ей прощения, сопровождавшегося милостивым поцелуем в лоб, ей сообщили, что сейчас она будет мерить платье. Ася не знала, что, несмотря на «опалу», переговоры о платье продолжались, и накануне вечером мадам вынимала из сундуков и раскладывала перед Натальей Павловной всевозможные сборки, нижние юбки и лифы, обсуждая, что можно сделать из этого для Аси. Мадам умела мастерски переделывать и обладала большим вкусом,

как истинная француженка. За день она успела подготовить платье к примерке. Восхищенную и раздурманенную Асю поставили на маленькую скамеечку перед трюмо в уютной спальне Натальи Павловны, и мадам стала закалывать на ней что-то легкое, белое, отделанное кружевами валансьен, которые были еще очень хороши, хоть и спороты с нижней юбки. Нина и только что прибежавшая Леля принимали самое горячее участие в обсуждении деталей. Ася и Леля умоляли сделать платье немножко моднее, чем все, что они носили до сих пор, но решающее слово осталось за Натальей Павловной – она не разрешила увеличить вырез и потребовала прибавить еще два сантиметра к длине платья. В середине этой процедуры Нина спросила:

- Будете приглашать на день рожденья?

- Мы хотели сделать маленький вечерок для молодежи, – сказала Наталья Павловна, – но ведь у нас почти нет знакомых. Будет Леля и еще одна девушка.

- А молодые люди есть? – спросила Нина.

- А молодых людей у нас двое: Шура Краснокутский и Валентин Платонович Фроловский, бывший паж. Я обоих знала еще мальчиками – внуки моих приятельниц.

Решили, что beau-frere Нины Александровны непременно должен быть в числе приглашенных.

- Il doit etre distingue, se monsieur [44], – вставила свое слово и француженка. Она была несколько разочарована тем, что неведомый незнакомец оказался подлинным князем Дашковым, а не тем парнем, с которым она имела этим утром столь успешное столкновение. Теперь ей пришлось срочно перестроиться и окружить Олега романтическим ореолом. Патриотка и республиканка во всем, что касалось Франции, мадам была яростной противницей революции в России и была влюблена в русскую аристократию.

- Est-il beau, monsieur le prince? [45] – спросила она Асю, чрезвычайно заинтригованная.

- А вот увидите сами, – ответила Ася, сияя торжествующей улыбкой. Она чувствовала себя совершенно счастливой; ей хотелось петь и прыгать, и даже судьба Сергея Петровича и плата за учение перестала ее беспокоить. Вечеринка состоится – это было сейчас всего важнее! За спиной у нее зашевелились крылышки.

Устроить хотя бы самый маленький вечер для дочки или внучки в те годы становилось проблемой. То, что так недавно было реальностью, встречающейся на каждом шагу – а именно тот неоспоримый факт, что человек интеллигентной профессии мог в царское время содержать большую семью, – казалось теперь легендой, настолько изменились условия жизни. Жить на заработок одного члена семьи было невыносимо: юристы, врачи, музыканты, педагоги, канцелярские служащие получали теперь меньше, чем ломовой извозчик или водопроводчик. Обеспеченными являлись одни только крупные ученые – академики и профессора. К тому же большинство семей бывшего дворянского круга в период войн лишились мужей и отцов и остались без мужского заработка. Пенсий за прежние заслуги мужей и сыновей ни одна из прежних дам не имела, так как царская служба, даже гражданская, в то время в счет не шла. Почти все жили на продажу вещей (разумеется, те, кто не потерял квартиру и обстановку), более счастливым удавалось иногда получить частные уроки иностранных языков или подработать шитьем и вязаньем. Часто можно было видеть седую даму самой аристократической наружности, сидящей у порога магазина в качестве сторожа. Жить на продажу вещей было нелегко, так как комиссионные магазины были переполнены до отказа предметами былой роскоши, к тому же угнетала бесперспективность такого существования. И все-таки даже продавая вещи, каждая мать или бабушка старалась повеселить свою молодежь, обреченную на самое безрадостное и безнадежное существование, лишенную и отцов, и состояния, и прав, а очень часто и возможности получить образование. За финансовыми затруднениями вырастали другие: теснота и загроможденность помещения, так как очень часто целая семья оказывалась втиснута в одну комнату, дабы освободить место рабочим семьям, переселяемым с окраин. Если танцевать было негде – обходились без танцев, но все-таки собирались. Возникали и другие осложнения: стоило лишь собраться тесным кружком, как тотчас это кому-то казалось подозрительным – враждебно настроенная соседка или

бдительный рабочий давали знать управдому или прямо в гепеу о подозрительном собрании «бывших», и часто в минуту веселья звонок возвещал о непрошеном вторжении управдома (в лучшем случае) или гепеу (в худшем). Чтение собственных стихотворений, чтение Гумилева, Блока или Бальмонта, мистические или философские разговоры, рассказывание политических анекдотов – все считалось предосудительным и могло служить достаточным основанием для обвинения в политической неблагонадежности или прямо в контрреволюции и кончиться ссылкой или лагерем. Известен случай, когда в вину было поставлено переодевание в старорусские костюмы: двое юношей оделись рындами, а девушки – боярышнями, в результате чего хозяин дома был обвинен в великодержавном шовинизме. Другой случай: за рассказанный анекдот юноша получил семь лет лагеря, из которого не вышел, а мать его и сестра отправились в ссылку в Туркестан, причем квартира и обстановка погибли.

Почти на каждом вечере узнавалась какая-нибудь страшная новость – тот посажен, тот сослан, тот расстрелян, кого-то не досчитывались. Собираться старались по возможности незаметно; разговаривали вполголоса, а расходились поочередно, осматривая, пуста ли лестница. Трудно было сохранить жизнерадостность в таких условиях, но жизнь брала свое: к постоянной опасности привыкают, и молодежь находила возможность веселиться под этим дамокловым мечом. В сороковые годы общество несколько перемешалось, но в тридцатые интеллигентные круги еще не сближались с пролетарским элементом, и порожденный большевистской пропагандой антагонизм был чрезвычайно обострен. Достаточно сказать, что слово «интеллигент» было широко применяемым бранным словом. Нечего уже говорить о таких кличках, как «офицерье», «буржуй», «помещица» – они превращались в клеймо, с которым человека можно было безнаказанно травить под улюлюканье печати. В свою очередь, в противоположных кругах слова «пролетарий» и «товарищ» произносились с насмешкой и становились синонимами тупости, хамства и зазнайства.

Наталья Павловна и мадам, как ни трудно им это было теперь, решили во что бы то ни стало повеселить Асю. Места в квартире у них все еще было достаточно благодаря планировке комнат, но с прожиточным минимумом дело в последнее время обстояло очень остро. Выручил продавшийся из рук на руки бинокль, и вопрос о вечеринке был решен.

Если для Аси и Лели предстоящее торжество было предметом ожиданий и каких-то неясных радужных надежд, то для мадам оно было предметом целого ряда хлопот в кухне и комнатах, особенно теперь, когда Наталья Павловна лежала. Но добрейшая француженка, вырастившая Асю с 4-х лет, никогда не жалела себя, чтобы доставить удовольствие своей Сандрильоне. В этот раз, заинтересованная появлением на горизонте загадочного «принца», за которого она мысленно уже выдавала Асю, мадам с особенным рвением занялась приготовлением кренделя и кекса, а обе девочки были мобилизованы в кухню в качестве подсобной силы. Наталья Павловна сказала, что непременно встанет в этот день, чтобы занять хозяйское место за праздничным столом.

## Глава двадцатая

У Елочки появилось много забот: с самого начала этого года в ее прежде одинокую жизнь вплетались чужие горести и тревоги. Недавно в списке неплательщиков, намеченных к исключению, она увидела фамилию Аси, и, ужаснувшись этой возможности, спешно внесла за нее требуемую сумму, а потом записала на себя несколько сверхурочных дежурств в больнице, чтобы пополнить месячный заработок. В рентгеновском отделении она опекала Лелю, кроме того постоянно приходилось подкармливать и снабжать работой Анастасию Алексеевну. И вот теперь – Олег! За него больше, чем за всех остальных, болела ее душа, но всего сложнее было помочь как раз ему. Она изводилась от мысли, что он не допустит никаких одолжений в силу предрассудков, основанных на мужской гордости.

На рентгеновском снимке действительно был обнаружен осколок неправильной формы с зазубренными краями 5х7 миллиметров. Хирург сказал, что если этот осколок не вызывает

болезненных явлений - лучше его не трогать, в противном случае он должен быть удален. Елочка ухватилась за эту мысль. Если бы она могла объективно разобраться в своих чувствах, она бы увидела, что ею двигало главным образом желание заполучить его в сферу своего влияния: если бы он согласился лечь в клинику, у нее была бы тысяча возможностей окружить его своей заботой и вниманием, которые при этом были бы так естественны, что ему почти невозможно было бы оградить себя от них. А в самой глубине ее мыслей уже притаился план подежурить около него ночь после операции и воскресить таким образом былые дни, как будто отсюда могло вырасти продолжение того, что было прервано на девять лет. Когда она пересказывала Олегу мнение хирурга, она, сама того не замечая, нажимала на необходимость операции несколько больше, чем это делал сам хирург.

Тем не менее Олег решительно отказался от операции. Он сказал, что более не в состоянии находиться в казарменной или больничной обстановке, подчиняясь тому или иному режиму. Это наскучило ему свыше сил! Бог знает, долго ли ему доведется быть на свободе... Надо воспользоваться этим временем! Он хочет послушать музыку, он хочет загород и побродить по лесу - эти пустяки значат для него очень много, после того как он так долго был лишен свободы. Главного соображения он не высказал: ему наконец мелькнула возможность более близкого знакомства с Асей, и отказаться от этой перспективы или отсрочить ее он чувствовал себя не в состоянии, даже если бы осколок причинял ему гораздо большие неприятности.

Елочке неудобно было настаивать, хотя она почувствовала себя огорченной... У нее из под ног как будто выбивали почву! Она старалась не выдать своего огорчения, и, по ее мнению, ей это удалось. Они разговаривали, сидя на скамье в вестибюле больницы, куда он пришел по уговору, и вышли вместе.

- К тому же мне надо работать, - продолжал Дашков. - Мне необходимо поправить мое материальное положение. Вы сами заметили, что я недостаточно тепло одет. У меня нет даже перчаток, как вы можете видеть. В настоящее время я только что начал сколачивать сумму на костюм, откладывая от каждой полочки. Потеря места поставила бы меня в положение самое безвыходное, тем более что устроиться снова очень трудно - анкета меня губит.

- Вы не потеряли бы места, - возразила Елочка, - пока человек на бюллетене или в больнице, сократить его не имеют права. Это одно из немногих гуманных нововведений новой власти.

- Удивительно, что таковое имеется, - ответил Олег. По-видимому, ему захотелось переменить разговор, так как через минуту он сказал:

- У нас с вами есть общие знакомые! - и заговорил о Бологов-ских. Елочка насторожилась: «Какое счастье, что я все-таки не назвала Асе его фамилию и не упомянула о ранении виска... В какое неудобное положение я бы попала теперь!» - подумала она и сказала:

- Я как раз буду у них завтра, - сказала Елочка

- Завтра? На рождении Ксении Всеволодовны? Я тоже буду - я получил приглашение. Итак - мы увидимся!

- Я еще не знаю, приду ли... - начала было Елочка... - Танцы, новые люди... это не для меня.

- Приходите, Елизавета Георгиевна! Я почти ни с кем не знаком в этом доме, мне очень было бы приятно вас встретить там. А возвращаться одной вам не придется: я вас провожу до вашего подъезда, не беспокойтесь.

Это послужило приманкой, перед которой Елочка не устояла. Четвертая встреча с ним, и притом в частном доме и таком респектабельном, как дом Натальи Павловны, могла окончательно закрепить их знакомство, и она обещала прийти.

Ася была необычайно мила в своем новом платье с легкими воланами и полукороткими рукавами. Шею ее обнимала тонкая нитка старинного жемчуга, подаренного ей в этот день Натальей Павловной. Этот подлинный фамильный жемчуг напрашивался на сравнение в теми безвкусными имитациями, которые, следуя моде, таскали все девчонки из «нуворишек» и все богатые еврейки, он еще оттенял аристократизм девушки. Ее пушистые пышные волосы, закрученные ради праздника в греческий узел, легкость и стремительность ее движений, темные ресницы были настолько очаровательны, что наталкивали на мысль: почему одной дано

так много, а другой – ничего! Разве нельзя было ей – Елочке – дать, ну если не ресницы, то хотя бы улыбку Аси или кудри Лели? Только хорошенькая девушка может так непринужденно двигаться, смеяться, говорить, она знает, что ей все можно, потому что она от всего хорошеет, она инстинктивно чувствует, что ею любят, и это ее окрыляет, ей не приходится опасаться неудачного слова или неудачного жеста – в ней мило все, ей все прощительно!

Наряду с этими мыслями Елочка сделала открытие, что ее трагический герой, несмотря на все свои злоключения, остался великосветским донжуаном, который легко поддается очарованию и готов поухаживать, как только попал в гостиную. Расцветающая юность, улыбки и волны волос, легкость бабочек здесь значат больше, чем вся долгая и бездонная глубина ее сочувствия! Вот если бы он был в больнице, никто бы не мог соперничать с ней: там она легко установила бы душевный контакт с ним, а здесь... Хорошо, что эти вечеринки не часто будут повторяться!

Как только Олег вошел в гостиную, инкогнито с него было тотчас сорвано; один из молодых людей, тот, которого Елочке представили под фамилией Фроловского, тотчас пошел к Олегу навстречу с восклицанием:

– Ба! Дашков! Старый дружище! А меня уверяли, что ты убит!

Они оказались однокашниками по пажескому корпусу. Это тоже взволновало Елочку: не следовало знать эту тайну широкому кругу лиц! Если нельзя было в таком кругу ожидать предательства, то легко можно было опасаться неосторожности, характерной для молодежи, а неосторожности могло оказаться достаточно, чтобы погубить Олега. Надо было заранее все обдумать, надо было оговорить... Елочкино сердце забилося беспокойно. Она органически не умела быть спокойной и отрываться от своих дум. Некоторое время она была втянута в общий разговор, приняла участие в всеобщем восхищении крошечным щенком, которого подарил Асе Шура Краснокутский. Но как только начались игры, она отделилась от общего кружка: игру в фанты она не переносила с детства – одна мысль, что ей придется играть, петь или декламировать перед всеми, наводила на нее ужас. Она вымолила себе разрешение не участвовать, а наблюдать.

Игра между тем обещала быть интересной. Фроловского усадили на стул, и он с необыкновенной изобретательностью выдумывал штрафные наказания для каждого фанта, вынимаемого из передника мадам. Больше других проштрафилась Ася: в переднике лежали две ее вещицы, и обе заработали очень страшные задания – она должна была ответить настоящую правду на любой вопрос, заданный поочередно каждым из играющих, а также сознаться перед всеми, кто из присутствующих нравится ей больше и меньше всех. Леля получила задание рассказать историю своей вражды к кому-нибудь, Олег, как и Ася, – ответить правду на любой обращенный к нему вопрос. «Интересно: как он из этого выпутается?» – подумала Елочка. Сам себе Фроловский приказал изобразить выступавшего на митинге пролетария. Шура получил обязательство выступить с игрой на рояле и пришел в отчаяние, умоляя разрешить ему поменяться фантом с Асей. Но Фроловский был неумолим!

– Никаких мен, или это неинтересно! *Mesdemoiselles, messieurs prenez vos places* [46]. Начинаем с виновницы торжества. Пожалуйста сюда, в середину, Ксения Всеволодовна! Садитесь на этот стул. Итак, извольте отвечать правду. Кто желает спрашивать первым? Все молчат! Извольте, начну я, ибо я за словом в карман не полезу. Желаете ли вы выйти замуж, Ксения Всеволодовна?

Леля испуганно ахнула, Ася зарделась, как маков цвет.

– Валентин Платонович, вы ужасный человек! – сказала она, глядя на него без улыбки.

– Весьма польщен. Однако же отвечайте.

Ася секунду помедлила.

– За свой идеал хотела бы, – сказала она очень серьезно, – только не теперь, попозже, теперь мне еще так у бабушки пожить хочется.

– Точно и ясно, – сказал Валентин Платонович, но Шуру Краснокутского этот ответ почему-то задел за живое.

- Уточните же, по крайней мере, что за идеал и каковы его отличительные признаки? - воскликнул он.

- Александр Александрович, если я правильно понимаю, вы задаете ваш очередной вопрос? - пожелал навести порядок Фроловский.

- Да, пусть это будет мой вопрос! Воспользуюсь своим правом, уж если до этого дошло! - воскликнул с отчаянием Шура.

Все улыбнулись.

- Мы ждем ответа, Ксения Всеволодовна, - сказал Фроловский.

- Да не торопите же! Дайте хоть подумать, - пролепетала сконфуженная Ася.

«Милая, чудная девочка! - думал Олег. - Она, кажется, в самом деле готовится выложить нам свою душу.

- Мой идеал... Это такой... человек, который очень благороден и смел, а кроме того, обладает возвышенным тонким умом. Он должен глубоко любить свою Родину и, как папа, за Россию отдал жизнь.

- Ксения Всеволодовна, - сказал Олег, улыбаясь и не спуская с Аси ласково засветившихся глаз, - как же так: «отдал жизнь?» Выйти замуж за мертвеца только в балладах Жуковского возможно.

- Ах да! В самом деле! Я, кажется, сказала глупость... Ну, если не погиб, то во всяком случае много вынес за Россию - бедствовал, скрывался, был ранен... - Она вдруг поперхнулась и снов вспыхнула. Ей пришлось в голову, что слова ее могут быть отнесены прямо к Олегу, и, опустив голову, она не смела на него взглянуть.

- Тяжелый случай! - безнадежно сказал обескураженный Шура.

- Ваши дела плохи! - сказала ему Леля.

Но Асе хотелось поскорее уйти от этой темы, и она спросила:

- О какой балладе упоминали вы, Олег Андреевич?

- О балладе «Людмила». Девушка роптала на Провидение за то, что жених ее пал в бою. И вот в одну ночь он прискакал за ней на коне. Был ли это он сам или дьявол в его образе - история умалчивает, но он посадил ее на своего коня и умчал на кладбище.

Олег не продолжал далее, но неугомонный Валентин Платонович закончил за него:

- И могила стала их любовным ложем.

- Monsieur, monsieur! - предостерегающе окликнула француженка, хлопотавшая около стола.

- Mille pardons! [47] - воскликнул Валентин Платонович. - Но это сказал не я, а Жуковский!

Шура между тем не мог успокоиться по вопросу о «герое».

- Ксения Всеволодовна, вы несправедливы! - воскликнул он. - Я по возрасту моему не мог участвовать в этой войне и проявить героический дух. А теперь господа пажи попадают в выгодное положение по сравнению со мной потому только, что они старше меня.

Олегу стало жаль юношу.

- Успокойтесь, Александр Александрович, еще никто никогда не жалел, что он молод. У вас еще все впереди, а наша молодость уже на закате, - сказал он.

- Аминь! - замогильным голосом откликнулся Фроловский. - Будем, однако, продолжать. Спрашивайте теперь вы, Елена Львовна.

- Какое сейчас твое самое большое желание? - спросила Леля Асю.

- Вернуть дядю Сережу, - это было сказано без запинки, и ее лицо стало серьезным.

Очередь была за Олегом.

- Я буду скромней моих предшественников. Что вы больше всего любите, Ксения Всеволодовна, не «кого», а «что»?

- Что? О, многое! - она мечтательно приподняла головку, но Фроловский не дал ей начать.

- Учтите, что собаки, овцы и птицы относятся к числу предметов одушевленных - не вздумайте перечислить все породы своих любимцев.

- Какой вы насмешник! Я грамматику немного знаю, - на минуту она призадумалась. - Люблю лес, глухой, дремучий, с папоротниками, с земляникой, с валежником, фуги Баха, ландыши,

осенний закат и еще купол храма, где солнечные лучи и кадильный дым. Ах да! Еще белые гиацинты, вообще все цветы и меренги...

- Ну, вот мы и добрались до сути дела! - тотчас подхватил Фроловский. - Теперь вы начнете перечислять все сорта цветов и все виды сладкого. Что может быть, например, лучше московских трюфелей?

- Трюфели я последний раз ела, когда мне было только семь лет, и не помню их вкуса, - было печальным ответом.

- За мной коробка, как только появятся в продаже! - воскликнул Шура, срываясь со своего места, и даже задохнулся от поспешности.

Все засмеялись.

- Коробка за вами. Решено и подписано, а теперь переходим к следующему пункту, - провозгласил, словно герольд, Фроловский. - Ну-с, кого из числа играющих, Ксения Всеволодовна, любите больше всех?

- Что ж тут спрашивать? Ясно само собой, что Лелю. Ведь мы вместе выросли.

- А кого меньше всех?

Наступила пауза.

- Я облегчу ваше положение, Ксения Всеволодовна! - сказал Олег. - Меньше всех вы любите, конечно, меня, так как меня вы только теперь узнали, а все остальные здесь ваши старые друзья.

Он сказал это, желая подчеркнуть, что не принял на свой счет ее высказываний по поводу идеального мужчины, и дать ей возможность выйти перед всеми из неловкого положения, но она в своей наивной правдивости не приняла его помощи.

- Вот и нет, не вас вовсе, - ответила она с оттенком досады.

- Меня, наверно, - уныло сказал Шура.

- И не вас! - сказала она тем же тоном.

- Так кого же?

- Вас, - и взгляд ее, вдруг потемневший, обратился на Валентина Платоновича.

- За что такая немилость, Ксения Всеволодовна? - воскликнул тот.

Все засмеялись.

- Мораль сей басни такова, не задавать нескромных вопросов, сказал Олег.

Исповедь Аси кончилась наконец. Наступила очередь Лели.

- Враг у меня один - товарищ Васильев, - объявила она.

- О, это становится интересно! Друзья мои, слушайте внимательно, - воскликнул тот же Фроловский. - Кто он, сей товарищ?

- Инструктор по распределению рабочей силы на бирже труда. Он восседает в большой зале на бархатном кресле в высоких сапогах, в галифе и свитере, а поверх свитера - пиджак, на лбу хохол, на затылке кепка. Посетителю он сесть не предлагает. Я стою, а он говорит: «Вы, гражданочка, дочь врага рабочего класса и элемент нам по всему враждебный. Ежели вы этого понять не желаете, моя ли то вина? Я охотно верю, гражданочка, что работа вам нужна, но доколе наши кровные пролетарии еще не все получили направление, никак не могу я, минуя семьи красных партизан, заботиться в первую очередь о семьях белогвардейского охвостья. Возьмите это в толк и не мотайтесь сюда зря, гражданочка», - Леля остановилась.

- Передано с художественной правдивостью. Bravo, Елена Львовна! - сказал Олег. - Некоторые выражения вы, по-видимому, заучили наизусть.

- Почти все. Я столько раз все это слышала, - сказала со вздохом Леля.

- Страничка из истории! - подхватил Валентин Платонович. - Валенки и платок тут не помогут - родинка на вашей щечке, Елена Львовна, слишком напоминает мушку маркизы; не хватает только седого парика.

Ася держала на коленях щенка, которого все время тискала и ласкала:

- Щенушка, милый! Ты спать захотел, мой маленький? Сейчас я тебя пристрою в колыбельку.

Ушки вместо подушки, хвостиком прикроем нос, и заснешь сладко-сладко!

Олег остановил на ней взгляд. «Она болтает с этим щенком, точно с младенцем. Она создана для любви и для материнства! Как очаровательна будет она когда-нибудь с младенцем!» Он заметил, что Валентин Платонович тоже смотрит на Асю; глаза их на минуту встретились, и Олегу показалось, что его товарищ думает совершенно то же самое... «Не уступлю! Я достаточно долго был несчастлив!» – подумал он.

– Господа, я как признанный церемониймейстер предлагаю продолжать, – заговорил Фроловский. – Садись сюда теперь ты, князь.

– Не трепли, Фроловский, пожалуйста, мой титул, – сказал, усаживаясь в круг, Олег. – Не следует заново привыкать к нему, чтобы не сказать при чужих. К тому же – он бередит мне слух.

– Извини. Не буду, – ответил Фроловский. – Кто желает задать вопрос? Видно, начинать опять мне? А ну-ка скажи, старый дружище, которая из присутствующих девушек тебе нравится больше других?

«Как бы не так! Не воображай, что я выложу душу на блюдечко!» – подумал Олег. В эту минуту взгляд его упал на молчаливую печальную Елочку, сидевшую в стороне; ему почему-то стало жаль ее, захотелось втянуть в игру и поднять во мнении окружающих...

– Вот уже не думал, что попаду в положение Париса! – громко сказал он. – А нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна!

Елочка вздрогнула и в свою очередь вся загорелась. «Так я тебе и поверил!» – подумал Валентин Платонович, но был слишком тактичен, чтобы выразить свое мнение вслух.

Ася, как попугайчик, спросила Олега то же, что он спросил ее:

– Что вы любите больше всего, не «кого», а «что»?

– Россию, – ответил Олег после минутного молчания.

– Россия не «что», а «кто», – неожиданно для всех строго и серьезно произнесла Елочка, и странный оттенок глубокого, сдерживаемого чувства зазвенел в ее голосе.

Все умолкли на минуту, как будто прозвучало имя недавно скончавшегося близкого человека.

– О! – воскликнул Валентин Платонович. – Мысль интересная, но обсуждение отведет нас слишком далеко от вашей прямой задачи. Эту мысль мы обсудим за чайным столом.

Шура, который никак не мог успокоиться в вопросе о героизме, спросил Олега:

– Считаете ли вы себя героем – таким, как охарактеризовала Ксения Всеволодовна?

– Героев рождает эпоха и обстановка, а не всегда личные качества, – сказал Олег. – Я видел сотни и тысячи героев среди офицеров и солдат и даже среди оборванцев-пролетариев во враждебном лагере. Героями в наше время были все, кто не бросил оружие. Думаю, что я был не лучше и не хуже других.

«Ну, уже нет, – подумала Елочка. – Оценка слишком скромная! Командир «роты смерти» и два Георгия!» – но вслух не произнесла ни слова.

Между тем Леля, Ася и Шура напали на Фроловского:

– А вы-то сами, наш церемониймейстер? Свой номер вы, кажется, зажуливаете? Теперь ваша очередь!

Фроловский взял из передней фуражку, надел ее на затылок, взлохматил себе волосы и принял тупое и угрожающее выражение лица.

– Товарищи, – начал он зычным голосом, делая ударение на последнем слове и словно выдавливая из себя слова, – в дни, когда все советские граждане, в том числе и мы – ударники нашего завода, с небывалым подъемом трудимся на пользу социалистического строительства, капиталистические акулы и их прихлебатели замышляют погубить молодую советскую республику. С помощью кулаков, буржуев и белобандитов всех мастей они хотят насадить нам снова ненавистный капиталистический строй. Но этому, товарищи, не бывать! Подлые капиталисты просчитались – мы не дадим им сунуть к нам свои свиные рыла! Даром, что ли, мы кровь проливали? В ответ на их происки мы – пролетарии завода «Красный Выборжец»

заверяем партию и правительство, а также товарища Сталина, что будем работать еще лучше и еще бдительней будем следить, чтобы в наши ряды не закралось ни одного предателя-контрреволюционера, особенно из белогвардейского охвостья. Товарищи, будьте бдительны!

Аплодисменты прервали эту вдохновенную речь, которая с исключительной меткостью передавала ходячие стереотипные фразы и выражения, принятые на митингах, почти ежедневно происходящих на заводах и предприятиях.

Шура Краснокутский, отбывая свой фант, сел к роялю и стал наигрывать кое-как «Дон-Грея», охая и жалуясь на свою судьбу. Услышав звуки фокстрота, Валентин Платонович насторожился, словно боевой конь, и расшаркался перед Лелей, но та растерянно пролепетала:

- Я не танцую... Наталья Павловна и мама не позволяют... фокстрот.

- Господи, прости мне! Кажется, я уже во второй раз нарушаю благонравие этого дома! - сказал Валентин Платонович. - Пройдемтесь разочек, Елена Львовна, пока старших нет. Уж неужели вовсе не умеете?

Леля робко положила руку ему на плечо.

- Попробую, только не проговоритесь при маме, пожалуйста! Я у нашей соседки-евреечки танцевала раз... Если мама узнает, она меня к ней не пустит.

Оба танцевали очень хорошо с налетом изящной эксцентрики, не выходящей из рамок хорошего тона. Но как только у двери послышался голос француженки, Леля вырвалась из рук Валентина Платоновича.

- А ты, Дашков, что же не танцуешь? - спросил Фроловский, подходя к Олегу.

- Не умею и я, - ответил Олег. - Просидев семь с половиной лет в чистилище, не имел возможности научиться, а в те годы, когда я был в числе живых, этого танца еще в заводе не было.

- В чистилище? - повторил Фроловский, и лицо его стало серьезно. - Так ты уже отбыл это? А я пребываю в приятном ожидании. Моя мама не засыпает раньше шести утра, все ждет... Даже сухарей мне засушила и чемодан собрала на всякий случай.

Звуки вальса прервали их разговор. Валентин Платонович живо поймал Асю и закружил по комнате, но почти тотчас им пришлось остановиться, так как Шура сбился. Воспользовавшись паузой, Ася сказала тихо:

- Валентин Платонович, я вас хотела предупредить: не спрашивайте Олега Андреевича - у него все погибли, и я заметила, что ему тяжело говорить.

Олег видел со своего места, что они переговариваются вполголоса и что Валентин Платонович взглянул раза два в его сторону. Опять ревнивая досада всколыхнулась на дне его души. «Не уступлю! Если есть справедливость и милосердие, она полюбит меня! А он всегда был циником; я помню, как он просвещал меня по некоторым вопросам... Когда он рядом с ней, они напоминают сатира и нимфу!»

Между тем Ася и Леля побежали в спальню, где разговаривали старшие, и вытащили оттуда Нину, умоляя ее сыграть им вальс. Нина должна была в этот вечер петь во втором отделении какого-то шефского концерта и уже собиралась уезжать, но, уступая просьбам молодежи, села за рояль. Если звуки фокстрота ничего не говорили сердцу Олега, то звуки знакомого вальса расшевелили в нем воспоминание о вальсах в доме отца под эти же «Маньчжурские сопки». Однако мысль, что Валентин Платонович сейчас подойдет к Асе и опять обнимет ее талию, подхлестнула, и он поспешил пригласить ее.

«Какая прекрасная пара! - подумала Нина, проследив за ними глазами. - Ну, слава Богу, что хоть сегодня он доволен и весел!» Наталья Павловна тоже наблюдала за порхающей внучкой; глаза ее и Нины встретились, и обе без слов поняли друг друга: если бы не постоянная опасность, нависшая над головой Олега, можно было бы мечтать о том, чего приходилось опасаться теперь.

Француженка смотрела с умиленной улыбкой:

- Ma pauvre petite Sandrillone va bientôt devenir une princesse et plus tard une dame d'honneur - apres la restauration! [48]

Елочка из своего угла смотрела с укором: «Танцевать, когда Россия распята? Когда в лагерях томятся его товарищи? Он после всего, что пережил, может танцевать?» Вечеринка все менее и менее делалась ей по душе. «Все это очень мило, но почему, если в гостиной присутствуют девушки, в разговорах следует придерживаться шутливо-пустых тем? Неужели нельзя поговорить серьезно? С ними обращаются как с куклами или с фарфоровыми вазами, и им это, кажется, нравится! Как будто ничего, ничего не изменилось! Как будто не было ни войны, ни революции и мы в салоне 80-х годов».

Когда гости уже расходились, Валентин Платонович со шляпой в руке провозгласил с порога:

- Итак, еще раз до свидания, глубокоуважаемый и достопочтенный «Леась».

- Леась? Что это означает? - переспросил с удивлением Олег.

- А это, видишь ли, мой друг, очень глубокомысленное изречение покойного братика Ксении Всеволодовны, Васи. Ему было только 5 лет, когда он изобрел этот термин, обозначающий вот этих двух кузиночек одновременно, так сказать, в виде одного неразрывного целого.

Олег тотчас просиял улыбкой: «Очень мило и очень остроумно!»

Елочка хмурилась: «Куклы! А у него за этот вечер даже улыбка стала глуповатой!» Он нравился ей измученным и пламенеющим ненавистью, и ей хотелось видеть его всегда именно таким. Когда же он кружил по гостиной хорошенькую девушку или с улыбкой отдавался салонной болтовне, он в ее глазах менее заслуживал уважения и менее был интересен ей. А между тем его горе было гораздо глубже ее собственного; но беречь его или рисоваться им он не считал нужным: для него в минувших бедствиях не крылось ничего кроме боли, в то время как для нее - обильная пища для неутоленного действительностью романтического воображения. Эту разницу в их душевном состоянии она поняла позднее. Она не поверила бы, если бы кто-нибудь ей сказал, что на данном этапе ее отношение к нему можно было сформулировать следующим образом: «Все сделаю, чтобы спасти его и утешить, но не хочу видеть его счастливым настолько, чтобы мое сострадание вовсе не нужно было ему!»

После встречи на вечеринке в ней поселилась странная тревога и настороженность: «Мне ли? Скоро ли?» Но скованная, как цепями, своею гордостью, она знала очень хорошо, что не предпримет никаких шагов, чтобы обеспечить себе скорую и верную победу: она могла только ждать.

## Глава двадцать первая

*Молодость, доблесть,*

*Виндея, Дон!*

*М. Цветаева.*

Через два или три дня после вечеринки к Олегу зашел Валентин Платонович. Они долго разговаривали, перебирая имена погибших и пропавших друзей и делясь фронтовыми впечатлениями. Олег только в этот вечер узнал, что Валентин Платонович состоял в союзе «Защиты Родины и Свободы» и после разгрома организации некоторое время вынужден был скрываться.

- Выслеживали меня, как хищного зверя. Ночевал я то в лесу, то на стогу сена, то на крестьянском дворе. Перебегал с места на место. Мать больше года не знала, где я нахожусь, а я не мог подать ей о себе вести. Наконец один из товарищей по полку выручил: самый, понимаешь ли, провинциальный офицеришко, грубый мордобойца, которого у нас в полку все сторонились, оказался нежданно-негаданно партийцем - сумел вовремя переменить курс. Преподносит мне этак покровительственно, с важностью: «Я тебя вытащу, если станешь нашим. У меня людей не хватает, а я знаю тебя как лихого офицера. Хочешь - бери роту, только уж не подведи, дай слово». Ну, от этой чести я, разумеется, отказался и попросил самое ничтожное местечко, чтобы только заполучить красноармейский документ и таким образом замести следы. Получил справку, надел шлем с «умоотводом» и шинель со звездочкой и

сделался легальным. Дрянненькая эта бумажонка до сих пор меня безотказно выручала и ни в ком не возбуждала подозрений. Чин, правда, у меня незавидный был – каптенармус! Ну да мы люди скромные – довольствуемся малым. В той же роте на должности заведующего снабжением тоже был офицер. Свой свояка издали видит – скоро мы с ним сблизимся и вместе изобретали остроумнейшие трюки, клонившиеся к наивозможно лучшему снабжению родной и любимой Красной Армии: крупа у нас систематически подмокала, бутылки бились. Отправим, бывало, отряд стрелков бить рябчиков в Вологодской губернии и хохочем вдвоем до упада. Такой метод борьбы не в твоём вкусе, я знаю, но если иначе нельзя – хорошо и это! Наша аристократия проявляет часто излишнюю щепетильность, а большевики не брезгают никакими методами.

Олег с некоторым раздражением перебил его:

– Да неужели же нам по большевикам равняться? Разве аристократизм только привилегия? Если так, он уже не существует! Я считаю, что аристократизм понятие столько же внутреннее, сколько внешнее; благородная порода осталась – у лучшей части дворянства ещё надолго сохранятся рыцарские черты и чувство чести, и это отнять у нас никто не властен! Такие люди вызывают к себе доверие больше, чем люди другой среды. Я – офицер. Теперь часто говорят «бывший» – почему? Никто не снимал с меня этого звания и не ломал шпагу над моей головой. Это звание обязывает.

Валентин Платонович усмехнулся, и в усмешке его Олегу почудилось что-то вольтеровское.

– Вполне с тобой согласен, напрасно ты горячишься. Но *a la guerre comme a la guerre* [49]. я не считаю, что, получив документ и обличье красноармейца, я был морально обязан прекратить борьбу. Я никому не приносил там присяги, я был и остался семеновским офицером; это как раз то, что говоришь ты. Если бы попал к красным ты сам, полагаю, и ты бы стал радеть им на пользу.

– Я прежде всего старался бы ускользнуть от них.

– Эта задача, разумеется, первоочередная, но она не всегда удаётся. Что прикажешь делать тогда?

– Ты прав, Валентин: линия твоего поведения может оказаться единственно возможной. Я возражаю только против твоей фразы о щепетильности в методах.

– Я дважды пробовал ускользнуть к белым, как только оказался в прифронтовой полосе, – продолжал Валентин Платонович, видимо, задетый за живое. – Оба раза неудачно. В Пскове вижу: стоит бронепоезд, готовый к отходу, уже дымит, а командует знаменитый Фабрициус. Я к нему. Шлем и знаки отличия долой, а для пушного пролетарского вида подвязал платком щеку: кланяюсь в пояс, прошу подвести к своим на соседнюю станцию. Дурачком прикидываюсь. Разыграно мастерски было. Неустрашимый коммунист сжалился и разрешил, с отеческим, впрочем, напутствием: «Смотри же, паренек, не трусь – дело будет жаркое!» Я забрался в вагон и поспешно забился в угол с самым робким видом. Очень скоро начали свистеть пули – свои тут, близко, а как прикажешь перебраться? В эту минуту Фабрициус проходит через вагон: «Ну что, парень, трусишь? Наклад, поди, в портки?» Я ему в ответ в том же тоне, а при первой возможности – к смотровой щели. Как на беду, Фабрициус прибегает обратно. Я шарахаюсь, будто бы насмерть перепуганный, он смеется, но, видимо, что-то заподозрил и решил наблюдать. Я только что метнулся на буфер, выжидая удобную минуту, чтобы спрыгнуть, как слышу у себя за спиной: «А ты, парень, не очень-то трусишь! Говори, кто таков?» – и хватить меня сзади за обе руки. Казалось бы, пропала моя головушка! Ан, нет, выкрутился! Повинился, что дезертирую, чтобы похоронить мать, и, проливая крокодиловы слезы, протянул красноармейский документ. Фабрициус был человек с сердцем – опять я сухим из воды вышел, только что к своим не перебрался. Последнее в конечном результате, пожалуй, вышло к лучшему.

Олег в свою очередь рассказал товарищу то, чему был свидетелем в Крыму. Валентин Платонович выслушал, потом сказал:

– Со мной, кажется, вышло несколько удачнее в том смысле, что обошлось без ранения и без

лагеря, хотя бедствий и голодовок было достаточно. Тем не менее оба мы в любой день одинаково можем свергнуться в пропасть. Много ли надо? Чье-нибудь неосторожное слово, а то так непрошенная встреча и – донос! Вот недавно зашел я в кондитерскую купить коробку пирожных Елене Львовне, с которой мы вместе были в кино. Девушка спрашивает: «Кто этот человек, который вас так пристально разглядывает?» Я поворачиваюсь – батюшки мои! Один из союза «Защиты Родины». Едва только он заметил, что и я на него смотрю, тотчас отвернулся и вышел. Испугался меня – я тебя уверяю! Вот каково положение вещей! Однако все это ни в каком случае не должно нам мешать жить полной жизнью. Во мне лично опасность только обостряет жизнерадостность, а если я в один прекрасный день загремлю вниз – недостатка в компании у меня не будет.

И после нескольких минут молчания он сказал:

– Очаровательные девушки у Бологовских, не правда ли? Я знал обеих еще девочками. В них породы много. У лучших кавалерийских лошадок, – помнишь, щиколотку, бывало, обхватишь двумя пальцами, – ножки этих девчонок нисколько не хуже. Тебе, вероятно, более по вкусу Ксения. Ты любишь девушек в стиле мадонн, в ореоле невинности. А я нахожу, что маленькая Нелидова интересней, пикантней. В ней есть, как теперь говорят, «изюминка».

Олегу показалось, что его приятель, говоря это, дает ему понять, что не намерен соперничать с ним и не хочет, чтобы что-нибудь помешало их дружбе. Расставаясь, они обменялись крепким рукопожатием, и Олег приободрился. «Не я один в таком положении: у Валентина, как и у меня, все построено на песке, и, однако же, он считает возможным радоваться жизни и надеяться! Пора встряхнуться и мне».

Он, наверно бы, не подумал этого, если бы слышал разговор, который вели два человека как раз в этот вечер неподалеку от его дома.

– Ваше благородие, господин доктор! – окликнул безногий нищий человека лет сорока в штатском, который быстро проходил мимо.

Тот обернулся:

– Какое я тебе «благородие»?! В уме ты?

– Да ведь вы – господин офицер, доктор Злобин?

– Ну да. Только не господин и не офицер, а товарищ доктор. Господ у нас с восемнадцатого года нет, пора бы уж запомнить. Ты из моих пациентов, что ли?

– Так точно, товарищ доктор! В Феодосии ногу вы мне отнимали вместе с господином хирургом Муромцевым, сперва левую, а после и правую. Сколько потом перевязок выдержал... Как мне забыть-то вас?

– Понимаю, что не забыл, а только не нравится мне что-то твой разговор – не по-советски и говоришь, и держишься! Вот и георгиевский крест нацепил... Ну для чего?

– А как же без Егория-то, ваше благородие? Егорий только и выручает. Прежние-то дамочки как его завидят, так сейчас в слезы, да трешницу или пятерку пожалуют; вестимо, те, что постарше. Молодые – тем все равно!

– Эх, ты! Ничему тебя жизнь не научила! Обеих ног лишился, а все еще не вытравилась из тебя белогвардейщина!

– Так ведь, ваше благородие, товарищ доктор, война-то война и есть! Вот как мы, убогие калеки, у храма Господня Преображения рядами сядем да начнем промеж себя говорить, так и выходит: кто у белых, кто у красных – одинаково и ноги, и руки, и головы теряли.

– Пожалуй, что и так, а все-таки возразить бы тебе я мог многое, да некогда мне с тобой тут философией заниматься. Скажи лучше, отчего ты не протезируешь себе конечности?

– Как это, ваше благородие?

– Отчего, говорю, искусственные ноги себе не сделаешь?

– Ваше благородие, товарищ доктор, да как же сделать-то? Денег-то ведь нет. Сами видите, милостыней живу. В царское-то время, может, за Егория мне что и сделали бы, а теперь – сами видите, заслуги мои ни к чему пошли.

– А теперь у нас медицинская помощь бесплатна, и всякий имеет право лечиться. Пойди в

районную амбулаторию к любому хирургу, и тебе будет оказана квалифицированная помощь. Пожалуй, я дам тебе записку в институт протезирования – я там кое-кого знаю.

Он вынул блокнот и вечное перо.

– Фамилия как?

– Ефим Дроздов, разведчик.

– Звания твои старорежимные мне не нужны, дурачина.

И он стал писать.

– Вот, пойдешь с этой запиской по адресу, который здесь стоит. Я попрошу сделать что можно, чтобы протезировать тебе хотя бы одну конечность. Только Георгиевский крест изволь снять и «господином» и «благородием» меня там не величай. Я ничего о себе не скрываю, но в смешное положение попасть не хочу, слышишь?

– Слушаю, товарищ доктор! Премного благодарен. Посчастливилось мне за последнее времячко: месяца этак два назад его благородие поручика Дашкова встретил, а теперича вас. И с им тоже все равно как родные повстречались.

– Дашкова? Князя?! Ты уверен? Ты узнал его?

– Вестимо, узнал. Ведь я с их взвода. Постояли, поговорили...

– Дашков! Это тот, у которого было тяжелое ранение в грудь, кажется?

– Так точно, ваше благородие! Вы же их и на ноги поставили, дай вам Бог здоровья!

– Дашков... Он назвал себя?

– Никак нет! Я сам их окликнул, как и вас, а они тотчас подошли и ласково этак со мной говорили. Сотенку я получил с их.

– Он не дал тебе своего адреса?

– Никак нет. К чему ж бы? Попросили о их не рассказывать, что здесь находится, я запомнил. Ну да ведь вы свой человек – тоже крымский, худого не сделаете.

– Так, все ясно. Ну, прощай. Завтра же поди с моей запиской.

И разговор их на этом кончился.

В этот же вечер двумя часами позже в одном из «особых» отделов по особому проводу состоялся следующий разговор:

– Привет! Говорит осведомитель Злобин. Важное сообщение. Имею все основания предположить, что в Ленинграде скрывается опасный контрреволюционер – офицер-белогвардеец, бывший князь Дашков. Активный контрреволюционер: командовал «ротой смерти», отличался храбростью в боях, идейно влиял на окружающих. Был ли у Деникина, не могу сказать, а у Врангеля был – могу совершенно точно заверить, так как он лежал в Феодосийском госпитале, где каким-то образом избежал репрессий. Какие основания предполагать? Видите ли, его примерно в одно и то же время опознали в лицо бывшая сестра милосердия и бывший солдат – нищий. Оба сообщили мне... Что? Извольте, повторю: бывший князь Дашков, имени и отчества не помню. Гвардии поручик. Возраст... Теперь примерно должно быть лет тридцать... Наружность? Я его девять лет не видел! Тогда был высокий красивый шатен, гвардейская повадка... Особые приметы? Да, пожалуй, что и нет... разве что рубцы от ран... Было ранение черепа и, кажется, грудной клетки... Точнее локализовать не берусь – забыл... Адрес медсестры? Это, видите ли, моя жена. Очень больная... Мне не хотелось бы ее тревожить, притом и болтлива не в меру. Я попробую сам ее расспросить, и если что-либо поточнее узнаю – сообщу дополнительно... Адрес нищего? Не спросил! Дал маху! Впрочем... погодите... его можно отыскать через институт протезирования. Берусь это сделать. Он и для очной ставки может вам пригодиться. Я зайду потолковать в ближайшие же дни. Завтра не могу – занят. Всего наилучшего! И он повесил трубку.

## **Глава двадцать вторая**

### **ДНЕВНИК АСИ**

30 марта. Во всем виноваты фиалки! Если бы не они, я, наверно бы, не сидела бы за этой

тетрадкой. Было так: в субботу я в первый раз пошла к Елизавете Георгиевне Муромцевой. Бабушка сама послала меня, говоря, что пора и нам оказать ей внимание. Я купила на улице несколько букетиков фиалок (это еще не здешние фиалки – одесские). В комнате Елочки как будто сконцентрирована та настроенность на высокую ноту, в которой она живет: порядок, тишина, книги – здесь царство мысли! Я не утерпела и заглянула в две книги, где лежали заложки. Это были «Три разговора» Соловьева и «Роза и крест» Блока. Ни того ни другого я не читала. Как мне нравится в Елочке возвышенность ее мысли! Я терпеть не могу разговоров про новую шубу, про зарплату, про тесто и магазины, а вот у Елочки этого совсем нет – она всегда au-dessus [50].

Когда Елочка вышла в кухню приготовить чай, я осталась на несколько минут одна в комнате. Я подошла к ее столику, чтобы поставить фиалки в вазу, и тотчас же, засмотревшись на портреты в рамках, толкнула нечаянно вазочку и разлила воду; рядом лежала раскрытая тетрадь, я взглянула, не расплылись ли чернила, и совсем нечаянно прочитала несколько строчек. Это оказался ее дневник, и там под сегодняшним числом было написано: «На меня каждую минуту наплывает мир моей любви, в котором тысяча и тысяча глубин. Меня сводят с ума его горечь, его интонация и изящество жестов, и вместе с тем я знаю, что люблю в нем не внешний облик, и будь он изуродован или искалечен, я бы любила его не меньше!»

Я остолбенела, когда прочитала – столько показалось мне большого чувства в этих строчках, и только прочитав, сообразила, какое преступление сделала. Бабушка мне сколько раз говорила, что прочесть чужое письмо – такое же воровство, как вытащить деньги из кармана, а тут еще, как нарочно, попалась такая большая значительная фраза... Я решила, что достойный выход из этого положения лишь один – тут же попросить у Елочки извинения, чтобы снять с себя этот позор и избежать лжи и притворства. Я так и сделала. Елочка простила меня, но пожелала узнать, какой именно текст стал мне известен, и когда я процитировала, сказала очень серьезно: «Если уж вы заглянули в мою душу, знайте: эти строчки относятся все к тому же человеку – никого другого я не люблю и любить не буду». И рассказала, что пишет дневник с 16-ти лет и всегда запирает его в ящик, а ключ носит на шее рядом с крестиком. «В этом дневнике моя душа, – сказала она, – до сих пор еще ни единый человек не прочел из него ни единой строчки, а перед моей смертью я сожгу его». Все это меня очень заинтересовало. Я решила тоже писать дневник, тоже носить ключик на шее и сжечь все перед смертью. То, что я рассказала сегодня – пусть будет вступлением.

31 марта. Часто говорят вокруг меня, что теперь жизнь скучна и прозаична, и что из-за трудных бытовых условий мы погрязаем в мелочах. А мне кажется, что многое зависит от нас самих, и что те, которые так говорят, сами не умеют или не хотят сделать себе жизнь достаточно прекрасной. Мелочам нельзя отводить значительного места – иначе они засосут! Надо уметь жить искрой небесного огня, как говорили египтяне, или уж навсегда оставаться в квашне, как Хлеб у Метерлинка. Я очень люблю «Синюю птицу» и, когда играю без воодушевления, всегда кричу бабушке: «Я сегодня в квашне!» Вчера вечером я много и с увлечением играла сначала «Арабески» и «Wagum» Шумана, потом «Баркароллу» Шуберт – Лист. Юлия Ивановна не позволяет мне играть эту «Баркароллу», а я все-таки играю потихоньку. Бабушка сначала читала, а потом оставила книгу и заслушалась. Новый жилец испортил нам вечер, так как стал стучать кулаками в стену и кричать: «Надоела ваша шарманка! Прекратите безобразничать!» А было только десять часов... Бабушка очень огорчилась, я понимаю, почему: ей так грубо дали понять, что она не хозяйка в своем доме.

1 апреля. Странное явление: я очень хорошо помню, что в раннем детстве я умела летать, только я летала не так, как птица, а как бабочка, порхая над кустами в саду в имении у дедушки. Я помню даже некоторые подробности, помню, как Леля стоит на лужайке – той, где были ульи, – и говорит мне, что я не смогу подняться выше сирени, а я перелетела сирень и увидела под собой ее чудесные, бледно-лиловые кисти, потом помню, полетела во двор и опустилась на крышу каретного сарая. Вася и Миша стояли во дворе и увидели меня. Они показывали на меня друг другу и даже целились в меня из игрушечного ружья. Братишка Вася

это хорошо помнил. Когда он умирал от сыпняка, он бредил, я раз вошла к нему, а покойная мама сидела с ним рядом и спросила: «Ты узнаешь сестричку?» – а Вася сказал: «Ты все еще летаешь или уже ходишь по земле, как все?» Мама приняла это за бред, а я отлично поняла! Леля тоже еще недавно помнила во всех подробностях мои полеты, а теперь вздумала уверять, что этого никогда не было! Как же так – «не было»?! Я этих ощущений никогда не забуду! Теперь я летаю только во сне, а это уже совсем не то, что наяву.

2 апреля. Господи, до чего же хорошо жить и сколько тепла и приветов находишь в окружающих! Я не знаю, совсем не знаю ни злых, ни плохих людей – или это мне так посчастливилось? Из книг я знаю, что они есть, но в своей жизни не встречаю, разве что Хрычко, но они скорее жалкие, чем дурные. Все вокруг меня так согревают своей любовью. Я уже не говорю о бабушке, о мадам и о тете Зине, но вот те, кого я узнала за последнее время, – Нина Александровна, Елочка, Олег Андреевич – какие они замечательные! Олег Андреевич пришел к нам вчера вечером – его прислала Нина Александровна, чтобы передать мне контрамарку в Капеллу на концерт, который будет в среду. Я играла на рояле по просьбе Олега Андреевича. Мне кажется, ни Леля, ни Елочка, ни Шура не любят и не понимают так музыку, как Олег Андреевич. Елочка и Шура не музыкальны, но у Лели хороший слух, а между тем в ее восприятии музыки чего-то не хватает, и в суждениях, и в вкусах есть какая-то банальность. У Олега Андреевича вкусы еще не установившиеся, но мне кажется, это потому, что он совсем не слушал музыки эти десять лет и судит о ней по впечатлениям, вынесенным из детства и ранней юности. По природе его музыкальность очень тонкая, и видно по всему, что музыка производит на него неотразимое впечатление. Я не всегда охотно играю, когда меня просят, а уж если играю, совсем не выношу, когда, слушая, начинают разговаривать, а Олег Андреевич, когда слушает, всегда сосредоточен. Несколько раз, когда я, играя, взглядывала на него, то встречалась с его взглядом – он так долго, ласково и внимательно смотрел на меня и как будто хотел разгадать...

3 апреля. Я почему-то уверена, чутьем безошибочно знаю, что никогда не буду эстрадной пианисткой. Все словно сговорились уверять меня, что я талантлива. Даже мой профессор, который всегда очень строг, прошлый раз подошел ко мне, взял меня за подбородок и, глядя мне пристально в глаза, сказал: «У вас большой талант, потрудитесь запомнить это! Вы себя недооцениваете». Талант! Я рада, что у меня талант! От радости мне даже «в зобу дыханье сперло», и все-таки я совершенно уверена, что никогда не стану известностью. Прежде всего я не слишком люблю эстраду. Присутствие слушателей меня волнует, и всякий раз при этом я играю хуже, чем могу, и после недовольна собой. Кроме того, часто бывает, что какая-нибудь вещь мне вдруг не по душе. Для того чтобы сыграть действительно хорошо, мне нужен час... минута... не знаю что... условия, которые связаны с душевным состоянием. У меня еще не выработалась профессиональная дисциплина, и я почему-то уверена, что и в дальнейшем ее не будет. Овладеть в совершенстве роялем – мое заветное желание, и слово «талант» прозвучало как обещание, а эстрада, успех... Я о них до сих пор как-то не думала...

Вечер. Ох, какую трудную бабушку послал мне Бог! Всегда то мне попадает! Посидим мы с Лелей в уголке, пошепчемся – институтские замашки! Слишком звонко рассмеемся – вульгарность, дурной тон! Выскажу неудачное суждение или растерянно промолчу – ты держала себя, как провинциалка.

Случится проявить недостаточную корректность – современная разболтанность! Выскочишь на улицу без перчаток или с непокрытой головой – мещанские привычки! Подойдешь с земным поклоном к иконе или под благословение к священнику – от этого веет монашеством! Вернешься домой на полчаса позже назначенного времени – ты совершенно по-советски не считаешься с требованиями старших! Расплачешься над книгой – оказывается, ты барышня из романа Чарской! А уж назвать Лелю Лелькой, а ей меня Аськой – это не приведи Бог – чисто пролетарская привычка, nepозволительная упрощенность. Вот так и вертись целый день между постоянными выговорами и запретами.

4 апреля. Сегодня Леля сказала мне, что узнала теперь, откуда берутся дети, но ни за что не

захотела рассказать мне. Еще недавно я была совсем глупа и думала, что для этого достаточно чувства любви или даже любовного письма, но теперь я уже понимаю, что все происходит от инфузории, которая должна попасть в женщину. Это, наверно, делается от очень длинного поцелуя в губы. Я потому так думаю, что во всех стихах и романах о поцелуе говорится как о чем-то завершающем, соединяющем и немного опасном, а родители запрещают девушкам целоваться до свадьбы. Отцы и мужья даже на дуэль вызывают мужчину, который поцеловал чужую жену или дочь. Это все, все из страха инфузории – теперь мне совершенно ясно и, конечно, я до замужества никогда не буду целоваться с мужчинами. Одна неосторожная минута и – трах! – беременность, а бабушка меня, наверно, тотчас из дому выгонит. Хорошо, что от поцелуя с Валентином Платоновичем... ничего не случилось!

5 апреля. Вчера у нас был Шура Краснокутский со своей мамашей, которая пожелала навестить бабушку. Мадам Краснокутская очень хочет, чтобы мы с Шурой поженились, и уже намекала об этом бабушке. А к чему это, если я ни капельки не влюблена? Мне всегда невозможно казалось полюбить нерешительного, неволевого мужчину, а вот Шура как раз такой – немножко тюфяк, немножко Сахар из «Синей птицы». Вчера за чаем я так и сказала ему. Бабушка и мадам стали выговаривать мне за невежливость, а Шура сперва пытался возражать, а потом говорит: «Правильно, Ася: тюфяк – принимаю, расписываюсь!» – и круглые черные глаза его так виновато, по-собачьи, посмотрели на меня, что мне его жалко стало. Вот я и говорю: «Знаете, Шура, вы так героически сознались в своих недостатках, что я, кажется, изменю свое мнения по поводу тюфяка». Все засмеялись, а Шура сказал: «Разрешите высказаться и мне: из вас, Ася, вырабатается со временем прекрасная Ксантиппа, у вас все задатки!» Все опять засмеялись и я, конечно, тоже. Нет, мой герой таким не будет. Вот Валентин Платонович – тот не тюфяк: глаза смелые, держится прямо, был на войне, на коньках во весь дух носится, распахнет на морозе шубу, плавает как рыба, не растеряется, не дрогнет. Но он мне не нравится – он недобрый! С ним никогда не поговорить просто – непременно шутка или остроты, как тогда – на лестнице. Леле Валентин Платонович очень нравится за то, что он будто бы остроумен необыкновенно и прекрасно танцует. Да разве же это так важно? Мне больше нравится Олег Андреевич: он сердечный и глубже. У него печальный взгляд, и это почему-то тревожит. Кажется, Шатобриан сказал, что большая душа и горя, и радости вмещает больше, чем заурядная. Прошлый раз, встретившись с ним взглядом, я вспомнила эти слова.

6 апреля. Была вчера на концерте с Олегом Андреевичем и Ниной Александровной. В ушах у меня до сих пор звучит величественное: «Sanctus, Sanctus, Benedictus!» [51] Я уже пробовала подобрать это на рояле. Несколько раз вспоминала вчера дядю Сережу. В оркестре место его – во вторых скрипках – уже занято, а какое бы ему наслаждение доставил этот концерт! Нина Александровна сказала, что карточка дяди Сережи с ней в сумочке. Голос ее звучал в этот вечер совершенно божественно. Мы с Олегом Андреевичем сидели сначала на приставных стульях, а потом просто на ступеньке, но это ничему не мешало. Мне очень хорошо с Олегом Андреевичем. Он не говорит общих вещей и любезностей, как Шура, и не упражняется в остроумии, словно в спорте, как Валентин Платонович. С ним разговор такой, как я люблю – содержательный и задушевный: на смех он никогда не подымет, впрочем, он вообще не смеется. Когда он провожал меня после концерта домой, он сказал: «Вы – волшебница! Когда я с вами, моя душа обновляется. Я опять начинаю верить в свои силы и в будущее. На меня точно новые светлые одежды надеваются, точно я переносюсь в храм перед заутреней». Когда он это говорил, я чувствовала себя как струна рояля, на которой гениальный пианист сыграл божественный ноктюрн и которая готова порваться от чрезмерного напряжения и еще звучит, еще рыдает. Это чувство сопутствовало мне и во сне – проснулась я с ощущением, что накануне совершилось что-то светлое, точно я ходила к причастию... Я не сразу сообразила – это «Месса» и слова Олега Андреевича о светлых ризах и обновлении. Он должен быть очень тонким человеком, чтобы думать и говорить так! О, насколько это выше всего мелочного, житейского, насколько это ближе моей душе, чем любезности Шуры! Высоко, так высоко, светло и грустно! Я знаю цену его словам, что человек, который всегда так серьезен и

сдержан, не преувеличит и не подсластит. Я знаю, наверно знаю, что слова эти вынуты из самых глубин души. Если бы он в самом деле мог забыть хоть ненадолго свое горе! Если бы я могла поделиться с ним моей жизнерадостностью! Я бы от этого не обеднела. Я вспомнила последний акт «Китежа», весь затопленный светом. Все утро я просидела за роялем: сначала подбирала мотивы «Мессы», потом наигрывала «Сказание», а к уроку не подготовилась вовсе. Я даже отвечала рассеянно. Бабушка спросила: «Что с нашей Стрекозой сегодня?» – а Юлия Ивановна на уроке разбранила за невнимательность. Когда мы увидимся? Он ничего об этом не сказал, а мне неудобно было спросить.

7 апреля. Вчера вечером пришла Нина Александровна. Я пулей вылетела ей навстречу. Я очень хотела ее видеть, и еще я думала, что она пришла с Олегом Андреевичем, но его не оказалось. Нина Александровна пришла с письмом, полученным от дяди Сережи. Он пишет, что живет на окраине местечка, в хибарке, на днях пойдет на работу в тайгу. Скрипкой там ничего не заработать, но он все-таки просит выслать ему тот ящик с нотами, который он упаковал, уезжая, так как он будет играть для себя, чтобы не потерять техники и не свихнуться с тоски. Я весь вечер вертелась около бабушки и Нины Александровны. Я хотела услышать побольше о дяде Сереже, а кроме того, все ждала, что Нина Александровна передаст мне несколько слов от Олега Андреевича, но она ничего не передала, а только уходя и целуя меня, сказала: «Вы что ж это, моя душечка, смущаете покой человека? Ведь эдак ему и свихнуться недолго!» Я сразу поняла, о ком она говорит, и покраснела до того, что не знала, куда мне деваться. А старшие, как нарочно, еще взглянули на меня. Так глупо вышло!

8 апреля. Ура! Ура! Олег Андреевич вызвал меня только что к телефону и сказал, что завтра поведет на «Князя Игоря». Слушать с ним оперу и опять так чудесно разговаривать! Господи, какая же это радость! Я так взвинчена, что ничего не могу делать. Какая-то лихорадочная светлая тревога носится во мне... Не могу писать больше!

9 апреля. Этот день нестерпимо долго тянется! Ему, кажется, конца не будет. Все еще только два часа. Смотрелась сейчас в зеркало – я в самом деле очень хорошенькая. Не зря Олег Андреевич сказал, что у меня головка Грезы. И еще он сказал: «У вас такие маленькие очаровательные ушки, мне нравится, что вы не закрываете их волосами». Вот ведь, в самом деле, какая бабушка – она всегда уверяла меня, что я некрасивая! И дядя Сережа туда же! Он дразнил меня безобразным утенком. Уверял, что у меня ресницы, как метлы, и зрачков не видно. Даже говорил, что глаза смотрят как у совы, когда она иногда вдруг среди дня проснется. А бабушка еще прибавляла: «Для нас ты мила, потому что эти черты для нас родные, но это для нас только». А вот оказывается не так. Вот и Шура, и Миша, и Олег Андреевич – все сказали, что я очаровательна! Вот тебе и безобразный утенок! А я до 18 лет пребывала в уверенности, что я дурнушка, и только теперь открыла их козни. Ну да уж прощу на радостях. За сегодняшний вечер я готова отдать полжизни – ту, вторую половину, на старости. Не нежна она мне вовсе. Кончаю. Надо идти давать урок Вите. Я люблю эти уроки, но сегодня не до того мне!

10 апреля. Он пришел наконец и кончился этот чудесный, неповторимый вечер! Как только я отзанималась с Витей и получила свободу, я вихрем помчалась домой. Бабушка позволила надеть новое платье и жемчуг. Мне нравится, как новое платье лежит – оно клубится, как облако, а на плечах как легкие крылышки – я в нем похожа на стрекозу. Вот только волосы мои меня огорчают: их слишком много, чтоб закрутить красиво, а обстричь по моде бабушка не позволяет. Я смотрела на себя в зеркало и думала, что он посмотрит на меня опять тем же взглядом, в котором любованье, преданность и грусть, и опять скажет, что я хороша, и что-то томительное, сладкое подымалось во мне! Но мадам не оставляла меня в покое: она все ходила и ходила вокруг меня, поправляла что-то на мне и давала спешные наставления, чтобы я как-нибудь, видите ли, не нарушила хорошего тона, и все прибавляла свое: «*Monsieur le prince est si distingue!*» [52]

Когда Олег Андреевич позвонил, я помчалась открыть и тотчас нарушила этикет: узнав, что мы сидим во втором ряду партера и что Игоря поет Андреев, я подпрыгнула чуть не до потолка.

Мадам сделала страшные глаза, но бабушка только улыбнулась.

Сочетание его присутствия и музыки – нечто необыкновенное, я вам скажу! Особенно мне запомнилась одна минута: во время арии Игоря я вдруг подумала: не отзывается ли она в его душе воспоминаниями о боях, кончившихся таким поражением? Я обернулась и встретила с его серьезным, грустным взглядом... Чуть коснувшись моей руки своею, в которой он держал бинокль, он сказал шепотом: «Голубка Лада!» – так как Игорь в это время пел: «Ты одна, голубка Лада, сердцем чутким все поймешь». Эти слова он относит ко мне за мой взгляд, за то, что я поняла все, что пришлось ему пережить в беде, которая пришла на Родину. Мне стало до боли жаль его и папу, и дядю Сережу, и того офицера, которого любит Елочка... Судьба русских военных трагична! Я как-то по-новому это поняла. А потом, когда мы гуляли в фойе, он сказал: «В юности каждый из нас создает в мечтах образ девушки, которую полюбит; мне хочется сказать вам, что вы вся – воплощение образа, созданного моим воображением». Как сладкую музыку слушала я эти слова и вовсе не потому, что в них заключается похвала мне, – я уж не так узко самолюбива. Эти тончайшие неуловимые оттенки чувств очаровывают меня, как высокая тоска по всему лучшему, по всему идеальному!

11 апреля. Я как-то вырвана из привычного строя, как-то потревожена. За роялем я не могу сосредоточиться: начну фугу или пассаж и обрываю, опускаю голову на пюпитр и улыбаюсь, сама не зная чему. А то так вскакиваю и бегаю по комнате... К уроку опять не приготовилась, и Юлия Ивановна была недовольна уже во второй раз. Читать тоже не могу, только все думаю и припоминаю. Да, этот вечер был волшебным, но я хочу еще и еще таких вечеров. Мне хочется лететь навстречу этим переживаниям, как летели, бывало, бабочки на огонь свечей, когда мы ужинали на веранде в августовские вечера, а вокруг тихо шелестели дубы и липы. Мне кажется, я не могла бы жить одними воспоминаниями, как Елочка. Он, по-видимому, любит стихи. Он спросил, знаю ли я стихотворение Блока «...мне не вернуть этих снов золотых, этой веры глубокой, безнадежен мой путь!» Эти строчки он, наверное, относит к себе. Безнадежен! Неужели безнадежен? Я не хочу, чтобы так было! Его поколению слишком досталось, слишком! А ведь в молодости были же у него «золотые сны», которые до сих пор еще тревожат мою душу, и все погибли, как ранние цветы от мороза: ускоренный выпуск Пажеского в пятнадцатом году – и в 18 лет уже под огнем на фронте. С тех пор четыре года в огне, а потом – госпиталь и лагерь... Как это страшно! Когда я с ним, я точно у постели больного; я боюсь каждого неосторожного слова, боюсь спросить, боюсь напомнить... Никогда еще не бывало, чтобы разговор хоть с одним из мужчин так западал в душу, чтобы я слышала слова, в которых звучат такие большие настоящие мужские переживания. У него бровь и висок исковерканы раной; все находят, что это его несколько уродует, но мне он делается все дороже, как только взгляд мой падает на вдавленную бровь.

12 апреля. Я совсем забрасываю свои занятия в музыкальной школе. Сегодня опять играла не то, что задано, – один из этюдов Шопена, который гармонировал с моим состоянием, и напевала: «Все, что распустилось, умертвил мороз...» И весь день прошел под этим впечатлением.

13 апреля. Вчера... Я видела его вчера. Ведь у меня день теперь начинается с того, что я думаю: увидимся ли мы? Вечером вдруг раздался звонок, и я услышала голос Нины Александровны в передней. Я вылетела навстречу и позади нее увидела высокую фигуру. У нас сидел в это время Шура, а потом пришла Елочка – получилась, таким образом, небольшая *soiree* [53]. К ужину была подана только вареная картошка, но все уверяли, что очень вкусно, а Шура заявил, что это блюдо богов. Я не помню точно, что происходило и кто что говорил; я разговаривала с ним не больше, чем с другими. Я ко всем одинаково обращалась, но с кем бы я ни разговаривала – я говорила для него, мысленно вся настороженная, воображала, что он думает, что чувствует, слушая меня. Каждое слово приобретало большой, исключительный смысл, а когда он говорил, я слушала, а если в эту минуту со мной разговаривал кто-нибудь, я выслушивала, улыбалась, отвечала, но главная, лучшая часть меня слушала другой голос, другие слова, и я не пропустила ничего из того, что он говорил. Разговор каким-то образом

зашел о лошадях, и он упомянул про свою лошадь, которую звали Вестой, и о том, какая она была умница; она была ранена одновременно с ним, и его денщик выстрелил ей в ухо, чтобы она не мучилась – бедная лошадка! Кто-то сказал, что по радио передают романсы Чайковского. Шура включил репродуктор, и Сливинский запел «Страшную минуту». Между Олегом Андреевичем и мной тотчас же словно бы натянули провод. Я почувствовала за этими словами его мысль. Я хотела не выказывать смущения, набралась храбрости и подняла глаза, но как только встретила его взгляд, тотчас покраснела, как рак, и от сознания, что я покраснела, я почувствовала себя уличенной в чем-то... моя голова совсем поникла и никакими усилиями я не могла выйти из наваждения, что мысленно он говорит мне: «Я приговор твой жду, я жду решения!» А тут еще Нина Александровна, как нарочно, взглянула сначала на него, а потом на меня. Очень не скоро решилась я снова поднять глаза, и тогда он мне улыбнулся ласково и ободряюще; он всегда со мной так бережен, так корректен. Но я уже не могла встряхнуться после такой бани и провожала гостей жалким комочком. Неужели он в самом деле меня любит? Любит – я знаю! Знаю также хорошо, как если бы он сказал мне это. Любит его душа и вся раскрыта мне, любит его голос и звучит тепло и ласково, любит его взгляд и так грустно, задумчиво устремляется на меня из бесконечных глубин. Пришла великая любовь – та, которую все ждут, о которой мечтают. Мне она все время казалась далекой сказкой, а вот она уже здесь – стучится в дверь! Как странно! Мадам всегда называла меня Сандрильоной и с детства меня уверяла, что ко мне придет «принц», и теперь, когда она говорит о нем или ему «Monsieur le prince» [54], мне все время кажется, что к нам протянулась нить из сказки, и что он и есть этот «принц». В сказке принца узнают иногда в образе медведя, а я, может быть, должна узнать его лишенным богатства, блеска и титула. Что суждено? Если бы я могла приподнять хоть край таинственной завесы и увидеть свою судьбу! Что суждено?

13 апреля. Вечер. Только что говорила с ним по телефону. В воскресенье мы пойдем в Эрмитаж; он свободен в воскресенье, а не в эту глупую пятницу, так как он работает в порту. А завтра вечером мы решили ехать в Царское Село. Вдвоем, я заметила, всегда лучше говорится, но бабушка не захотела отпустить нас вдвоем, она настояла, чтобы ехать компанией, и сама пригласила Лелю и Шуру.

14 апреля. Жду Олега Андреевича. Сейчас он должен за мной зайти. Он кончает работу в 6. Жаль, времени для прогулки немного! Бабушка велит к 11 вечера быть дома. Сегодня чудесный, солнечный день – в этом году весна ранняя. Мое демисезонное пальто такое старое и куцее, шляпа без пера, тоже куцая – вид Золушки. Перчаток тоже нет. Старые – фильдекосовые – изгрыз щенушка. Я хотела ехать вовсе без перчаток, но мадам заявила, что это дурной тон и устроила «бурю в стакане воды». Она стала с азартом доказывать, что лучше мне вовсе не ехать, чем показаться без перчаток, что это дурной тон, и что я перешагну только через ее труп. Я ответила, что будь я в лохмотьях, я все равно поехала бы, и что Олег Андреевич не из таких, чтобы обратить на такие пустяки внимание, он одет не лучше меня. Тут мадам напустилась на меня: «Mais il est poursuivi m-lle! Il faut, donc, comprendre!» [55]; она, кажется, сама равнодушна к Олегу Андреевичу. Шум у нас поднялся такой, что бабушка вышла нас разнимать. Она тотчас велела нам снять одну из старых картонок со шкафа и, порывшись там, вытащила пару стареньких, но еще целых лайковых перчаток. При этом бабушка сказала: «Привкус дурного тона в туалете хуже лохмотьев, Ася. Лохмотья могут быть благородны, а вульгарность – никогда». Теперь, когда я в перчатках, я, пожалуй, согласна с этим. Они мне пришлись как раз впору, и ручки в них кажутся совсем маленькими. Сейчас должен прийти Олег Андреевич. Каждые 5 минут я смотрюсь в зеркало. Господи, Господи, какая захватывающая история – его Любовь!

15 апреля. Я! ЕГО! САМА! ПОЦЕЛОВАЛА! Что же это такое, и как мне теперь быть? Если бы бабушка знала, что я уже два раза целовалась с мужчинами и оба раза на лестнице! И отчего это со мной что-нибудь непременно случится не как со всеми? А между тем, если бы надо было начать сначала, я сделала бы то же самое, и даже в мыслях моих я не хочу взять назад этого поцелуя. Сейчас расскажу все подряд. Вошли мы в Екатерининский парк и очень скоро

подошли к озеру против Чесменской колонны. Было чудесно, вода неподвижная, розовая от заката, деревья в почках, тишина... Мы тоже затихли. Вдруг кто-то запел. Голос был слегка разбит, но красивый и верный, манера петь странная – артисты не так поют. Песня незнакомая, полная тоски. Я запомнила только отдельные фразы: «Я вор, хулиган, сын преступного мира! Меня невозможно любить!» и дальше: «Пускай луна светит своим продажным светом, а я все равно убегу». Это пел человек, который сидел неподалеку на скамье один, развалясь в небрежной позе. Волосы у него были растрепаны, кепка набекрень, грудь распахнута. Шура оглянулся на него и сказал: «Пойдемте, незачем нам слушать эту хулиганскую лирику». А Олег Андреевич прибавил, нахмурившись: «Эту песню я часто в лагере слушал, ее любили петь уголовники». Мы уже двинулись было, но у Лели подвернулся каблук, и ей пришлось снять туфлю, а Шура стал приколачивать гвоздик камнем. Тем временем незнакомый человек снова запел, опять с той же тоской – в этой тоске было что-то артистическое! Надо было вовсе не иметь ушей, чтобы такое исполнение назвать хулиганским! «Люби меня, девочка, пока я на воле! Пока я на воле – я твой! Когда меня поймают, меня ведь расстреляют, а тобой завладеет кореш мой!» Олег Андреевич связывал в эту минуту мой bouquet [56] из тополя и вербы, и вдруг глаза наши встретились... Он схватил мою руку и стиснул ее... Леля и Шура не могли этого видеть, занятые туфлей. В следующую уже секунду он мою руку выпустил, но я поняла, о чем он подумал. Мне так страшно стало за него, что я вся задрожала – так породистые фоксы трясутся иногда. Леля, надевая туфлю, спросила: «А что такое кореш?» Олег Андреевич объяснил, что «кореш» – это хулиганское слово, обозначающее друг. Тогда я возразила, что именно друг-то не станет жениться на невесте дорогого ему человека, попавшего в беду. Мне показалось при этом, что Шура и Олег переглянулись между собой, и я поскорей замолчала, чтобы не сказать глупость. После этого мы пошли. Я попробовала было воспротивиться, убеждая, что надо подойти к этому человеку и уверить его, что у него талант, чтобы он поступал в консерваторию, а не с топором ходил, но оба мои спутника возмутились: «Вам говорить с таким типом?! Никогда! Это нахал, хулиган! Мы не допустим». Я послушала, послушала и сказала: «Вы забыли, что в Евангелии сказано: Дух дышит, где хочет!» Однако мне пришлось уступить, и мы ушли, но я уже не могла быть веселой. Эта песня и взгляд Олега Андреевича переполнили мою душу, я была рада, что несу ветки тополя и вербы и могу спрятать в них лицо. Вокруг арсенала было дивно – кусты черемухи и ольхи стояли все в розоватых почках, но мне становилось все грустней и грустней. Мне хотелось взять его руку и сказать ему что-нибудь хорошее, утешающее, вынужденное из самых бездн души, но почему-то я не смела. Сколько чудных слов говорит он мне, и все остаются без ответа. Я всякий раз молчу, молчу, как рыба, молчу, как сосулька замороженная! Вся моя душа полна, как чаша, полна желанием утешить, но почему-то оно остается в глубине, внутри, не выходит наружу, слова замирают на губах. Когда, разыскивая первые цветы мать-и-мачехи, мы забрели в кустарник, он оказался рядом и спросил: «Отчего загрустила наша фея?» Я ответила: «Я не хочу, чтобы ваше будущее казалось вам безнадежным!» Он на это ответил: «Я знаю, что у вас "душа живет слишком близко" и, как эолова арфа, отзывается на чужую грусть. Я уже покалечен жизнью. Если бы мне пришлось теперь потерять свет, который "блеснул на мой закат печальный", это было бы слишком много для меня. Вы даже представить себе не можете ту бережную и благоговейную нежность, с которой я, прошедший через огонь, воду и медные трубы, отношусь к девушке, тонкой, как эолова арфа, и чистой, как кристалл. Я только от нее жду обновления». И вот на такие слова я опять ничего не ответила! То сдерживающее начало опять запечатывало мне уста! Я чувствовала, что на нас надвигается что-то огромное, заволакивающее, откуда льются волны грусти, любви и света. И я стояла растерянная перед этим... Я, всегда во всем слишком живая, молчала там, где до боли сильно чувствовала! Подошел Шура и напомнил, что мы обещали бабушке вернуться к 11 часам. Мы пошли к выходу из парка, и только когда мы уже вернулись в город и в присутствии Лели и Шуры простились в подъезде нашего дома, только тут я вдруг почувствовала, что нельзя отпустить его без утешения. В эту минуту как раз он крикнул мне снизу, что я забыла свои вербы, и

побежал за мной наверх по лестнице. И вот, когда он подбежал я, от натиска затоплявшего меня чувства, стремительно бросилась ему на шею и поцеловала! При этом все так быстро, что задела его веткой по лицу и тотчас бросилась наверх, точно наутек. Я очень боюсь теперь, что он будет меня считать дурочкой или невоспитанной, или нескромной. Я не знаю, что будет теперь, и как мы встретимся. Мне кажется, что мы уже дошли до грани, ничто теперь не остановит стремления друг к другу. Сейчас уже поздно, а мне не хочется спать. Я все думаю, все о том же! Этот короткий разговор показал мне еще раз, что лежит для меня в душе этого человека. Я знаю, наверно знаю, что его чувство ко мне особенное, возвышенное, выстраданное, чудное! Все, что он говорит, идет вглубь моей души, где что-то начинает шевелиться... Право, совсем не так уж глупо думать, что от слов может зачатся ребенок: я вот чувствую, как каждое его слово творчески меняет меня - так ваятель касается мрамора своим резцом. Если не ребенок, так музыка - что-то должно родиться во мне от его взгляда. Любовь в самой своей идее должна быть жизнодательна! Напрасно думают, что я еще девочка и ничего не понимаю, я очень много понимаю, я понимаю все! Знаю, чувствую, что я нужна ему. «Я уже покалечен жизнью» - не могу забыть этих слов. Мне хочется отогреть его и утешить, хочется молиться за него, отдать за него жизнь... Моя душа выросла, раскрылась. Господи, сохрани же человека, для которого родился этот новый мир во мне! Этот мир чудесней всего, что я до сих пор в себе создала. Большое, очень большое счастье идет ко мне. Не страшно, что оно идет по «безнадежному» пути - на вершине чувств ничего не страшно. Мне кажется, что по комнате моей носится странный ветер, и уносит меня к нему... Я даже ощущаю его веяние на своем лбу. Это ветер с вершин. Я знала, что если любовь придет, я переживу что-то очень большое, высокое, что среднего, серенького чувства во мне не может быть. Я буду собирать звезды!

В эти же дни в другом дневнике каждая строчка шла из недр души и дышала глубоким подземным огнем.

...На меня каждую минуту наплывает мир моей любви. В нем тысяча пустяков и тысяча глубин. Меня сводит с ума горечь его интонации и изящество жестов, и вместе с тем я знаю, что люблю его не за наружность, и если бы он был изуродован или искалечен, я любила бы его не меньше. Любовь моя, любовь моя заветная, сокровенная... годами лились ее слезы, а вот теперь хочется всю свою жизнь до самозаклания отдать этой любви.

2 апреля. Я до сих пор как в сладком чаду: «Нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна». Пусть это была игра, но ведь игра в «правду».

3 апреля. Эти девочки - Ася и Леля... Есть в них что-то слишком уж несовременное, что-то салонное! Никакой идейности, никакой интеллектуальной жизни, а только уверенность в собственной неотразимой прелести. Ася хлопает ресницами и смотрит исподлобья, как наивный ребенок, и так будет смотреть, наверно, лет до 30. И это у нее естественно - кривлянья в ней нет (бабушка живо вытравила бы кривлянье). То же и Леля со своей капризной манерой вскидывать голову и надувать губки. Уверенность, что это мило, коренится где-то в их женском инстинкте. Но мужчина умный и серьезный ценит в женщине прежде всего идейность и героизм, которыми всегда отличалась русская женщина...

4 апреля. Когда он провожал меня домой после вечеринки, мы шли сначала все вместе и только понемногу расходились. Валентину Платоновичу, по-видимому, хотелось поговорить с моим Олегом. У них, наверно, много общих воспоминаний, но при мне они не начинали серьезного разговора, а только обменялись адресами. Фроловский - тоже настоящий тип прежнего военного, но в нем и следа нет того байронического оттенка, который так пленяет меня в Олеге. Расстались мы с Валентином Платоновичем уже недалеко от моего дома и с глазу на глаз говорили недолго. Я спросила Олега, видится ли он со своим денщиком. Он ответил: «Это одно из моих больных мест! Человек, который дважды спас мне жизнь, пострадал из-за меня. Я покинул госпиталь, едва лишь мог встать на ноги, чтобы не быть узанным. Василий отыскал заброшенную рыбацкую хибарку, где укрывал меня, а сам работал лодочником на пристани и приносил мне по вечерам хлеб и воблу. В первый и единственный

раз, когда я, желая испытать свои силы, вышел сам из хибарки и добрел кое-как до хлебного ларька, я увидел знакомого полковника, который в рваной рабочей куртке стоял около этого ларька, безнадежно ожидая, что кто-нибудь подаст ему хлеба. Вы поймите, что я не мог пройти мимо человека, который бывал в доме моего отца, а теперь оказался в еще худшем положении, чем я сам; я привел его в нашу хибарку. Но встреча эта оказалась роковой – за ним, по-видимому, следили, так как в эту же ночь нагрянула ЧК. Как только я вышел наконец из лагеря и поселился у Нины Александровны, я написал Василию на его родную деревню и подписался: "Твой друг рядовой Казаринов". Забыть эту фамилию он не мог, а из лагеря должен был освободиться раньше меня – так получил только три года, тем не менее он не ответил мне, не ответил ни на это письмо, ни на повторное, почему – не знаю!» Этот короткий разговор вывихнул мне всю душу, живо напомнив ужасы тех дней. Боже мой, что тогда было!

5 апреля. Большевики молчат о том, что сделали в Крыму, и, по-видимому, надеются, что это забудется, и Европа никогда не узнает их подлостей... Не выйдет! Найдутся люди, которые помнят и не прощают! Они напишут, расскажут, заявят когда-нибудь во всеуслышание о той чудовищной, сатанинской злобе, с которой расправлялись в Крыму с побежденными. Желая выловить всех тех белогвардейцев, которые уцелели при первой кровавой расправе (немедленно после взятия города), большевики объявили помилование всем, кто явится добровольно на всеобщую перерегистрацию офицерского состава Белой армии. Ведь очень многие офицеры перешли на нелегальное положение, скрываясь по чужим квартирам, сараям и расселинам в городе и окрестностях. Многие, подобно моему Олегу, обзавелись солдатскими документами, многих выручил химик Холодный, он в имении Прево под городом устроил мастерскую фальшивых паспортов. Любопытно, что однажды к нему нагрянули с обыском, но кто-то из его домашних успел набросить тряпку на чашку, в которой мокли паспорта, и чекисты не заинтересовались намоченным грязным бельем... Этот великодушный человек своими паспортами выручил множество лиц. И вот теперь чекисты путем перерегистрации задумали выловить всех. Я никогда не забуду этот день! Из наших окон было видно здание, где должна была происходить перерегистрация. Мы с тетей стояли у окна и смотрели, как туда стекались измученные, раненые и больные офицеры – кто в лохмотьях, кто в рабочей куртке, кто в старой шинели, многие еще перевязанные! Наш знакомый старый боевой генерал Никифораки прошел туда, хромя, в сопровождении двух сыновей-офицеров. Моя тетя сказала: «Ох, не кончится это добром!» И в самом деле, едва только переполнились и залы, и двор, и лестницы, как вдруг закрылись ворота и подъезды, и хлынувшие откуда-то заранее припрятанные отряды ЧК оцепили здание (гостиницу около вокзала). Я помню, как рыдала Л... – моя подруга по Смольному, она проводила туда жениха, отца и брата, радуясь, что они дожили до прощения! Наше офицерство оказалось слишком доверчивым. До сих пор оно имело дело с царским правительством, которое было немудрым, близоруким, легкомысленным, но было воспитано в рыцарских традициях. Кто мстил побежденным? Дедушка рассказывал, что когда сдалась Плевна, раненного султана усадили в экипаж и пригласили к нему русского хирурга. А Шамиль? Его сыновья были приняты в корпус и в качестве пажей допущены ко двору. В нетерпимости большевиков есть что-то азиатское! Никакого уважения к противнику, а уж о великодушии нечего говорить. Ни один человек оттуда не вышел. Хорошо, что мой Олег заподозрил и не пошел. Сегодня я весь день воображаю себе его в темной хибарке, на соломе. Никто не перевязывал его ран, никто не ухаживал за ним. Он так нуждался в моей помощи, он был так близко, а я этого не знала! В те дни я плакала о нем с утра до ночи... Видит Бог, если бы я знала, где его искать, я бы не побоялась – я бы пришла. Но я не знала, не знала. Так было суждено!

Полковник, который стоит в ожидании подачи, не решаясь просить... Он, наверно, прекрасно понимал, что, выходя из убежища, где скрывался и направляясь к ларьку, страшно рискует, но голод... Голод решил все! Хорошо, что в черепную коробку никому не проникнуть, и никто не может видеть моих мыслей и той мощной яростной ненависти, которая душит меня сегодня. Неужели ненависть эта не принесет никаких плодов?

6 апреля. Я не спала сегодня всю ночь под давлением все тех же мыслей. Я без конца воображала себе нашу встречу в хибарке. Вот я приблизилась, огляделась... никого! Вот вхожу и тихо окликаю. Он приподымается на соломе... Я рисовала себе даже этот жест. Я осторожно меняю ему повязку... Он кладет мне на грудь голову... Я замечаю, что у него холодные руки, и закутываю его своим плащом... И на каждой такой детали я замирала, затягивая мгновение... Всю мою действительную живую любовь я изливала на него в моем воображении... Узнает ли он когда-нибудь, как я люблю его? Пройдет еще и еще время, будут еще встречи и чудные слова, и когда, наконец, он скажет мне, что полюбил меня, я скажу ему, что люблю, давно люблю, но в этих грезах, в том, что ночи не сплю, воображая, как он держится раненым и гонимым, в том, что я влюблена даже в его жесты, даже в оттенки его голоса - я не признаюсь никогда! Это умрет со мной. А ведь есть натуры как раз противоположные - такие, которые, не чувствуя и сотой доли того, что чувствую я, найдут потоки слов! Я не такая. Мне легче отдать за него жизнь, чем описывать эти глубокие тайные оттенки чувств, тем более, что иногда мне кажется - не просачивается ли незаметно для меня самой женская страстность в мои упорные думы о нем? Впрочем, глупости! Ведь никаких объятий я не хочу, и сколько бы я не рисовала себе... разных минут, никакой интимности между нами я не вообразила ни разу... Ну, поцелуя, например! Это мне не приходит в голову, а я не стану лгать сама себе.

7 апреля. Могла ли бы я полюбить кого-нибудь другого! Нет, нет! Еще и еще раз переживаю отрадную уверенность, что эта встреча была предназначена и, что оплакивая его, я проходила какой-то испытательный срок. Какое же счастья, что я выдержала этот искуc и все эти годы прожила в полной чистоте - никого не любила, никого! Я не хотела размениваться на мелкое, дешевое. Он - первый, он же - последний. Ничем не поколебать теперь моей уверенности, что встреча, пришедшая после такого испытания верности, - предназначена, таинственна и значительна, это было мне ясно с первой минуты! Она должна быть коренным образом связана с задачей всей моей жизни. Она должна углубить мой путь. Как неясная звездочка, мелькает мне вдали надежда, что здесь же кроется связь с освобождением и спасением Родины. Я хочу, чтобы так было! Да будет так!

8 апреля. Никого! Первый! Со мной говорят сейчас об этом те любимые поэты, которые выучили меня ждать и грезить. И прежде все, конечно, Блок! Спасибо тебе, учитель, за чудные строчки: «Я сохраню свой лед и холод, замкнусь в хрустальном терему».

10 апреля. Я видела его, я была у Аси, и он там был. За чайным столом разговор зашел о Шекспире. Он сказал, что больше других произведений любит «Отелло», так как его привлекает образ Дездемоны. «Там есть одна замечательная по психологической правдивости фраза, - сказал он, - "она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним!" Конечно, только одна я поняла значение этих слов, у меня даже дыхание захватило от мысли, что они сказаны для меня. Когда после чаю он провожал меня домой, я решилась спросить, за что он получил Георгиевский крест. Он сказал: «Я получил Георгия за те шесть безумных атак, в которые я увлек моих храбрецов». Но ничего не стал рассказывать подробно, из скромности, наверно. Это было под Двинском, он тогда только что кончил Пажеский.

11 апреля. Любовь смотрит ясными неослепленными глазами, хотя про нее и говорят, что она слепа. Я знаю, что именно я постигаю и правильно постигаю его индивидуальность со всеми ее тончайшими особенностями. Именно мне, которая любит, один жест его или слово открывает доступ в глубины и может объяснить сложнейшие движения души. Идеализация любимого человека - выдумки! Любовь, как раз любовь снимает покровы и позволяет проникнуть на дно другой души. Только любовь!

12 апреля. Мне показалось... Боже мой, как мне больно! Мне показалось... Я только что вернулась от Бологовских. Он был там... опять был. Я заметила, что он смотрит на Асю так долго, так особенно. Они улыбались друг другу, как люди, которых соединяет что-то, которые понимают друг друга без слов. Потом, когда передавали по радио «Страшную минуту», они переглянулись, и она смутилась, а он улыбнулся ей. Я никому не нужная была, чужая... О да! Любовь смотрит неослепленными глазами, и я увидела ясно, совсем ясно - они влюблены друг

в друга! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать это, но ведь это правда!

13 апреля. Боже мой, неужели?!

14 апреля. Если бы оставалась хоть капля сомнения, но сомнения нет. Я вспоминаю сейчас еще одну фразу, которая подтверждает открытие, сделанное мной, – открытие, которое засыпало пеплом всю душу! Случайно за столом заговорили о том, как мало теперь не только интеллигентных, но просто благообразных лиц. Ну хотя бы таких, какие бывали раньше у наших крестьян, лиц, исполненных патриархального благородства, с высоким лбом, с правильными чертами, с окладистой бородой – иконописных лиц. Теперь такие лица остались только у стариков, а лица молодежи тронуты вырождением. С этим согласились все, а потом заговорили о женских лицах, и тут он сказал: «Красивые женщины, может быть, и есть, а изящных нет. Не знаю, как другим, а мне слишком яркая красота кажется иногда вульгарной. Мне в женском образе нравится одухотворенность, изящество, нежность!» Он взглянул при этом мельком на нее, и она тотчас опустила ресницы. Она, конечно, великолепно знает, какие они густые и длинные, и пользуется каждым случаем показать их. Природа дала ей слишком много. Неужели нельзя было разве дать мне хотя бы эти ресницы, которых, по-видимому, довольно, чтобы свести мужчину с ума. Я никогда никого не хотела пленять, ничьей красоте не завидовала, а теперь... Теперь меня словно ядом опоили. Обида и зависть клопочут во мне. Я привыкла всегда говорить самой себе правду и сознаю это.

15 апреля. Зачем все ей одной? – красота, очарование, талант, любовь окружающих и теперь его любовь? Пока я думала и воображала, эта девочка сумела покорить его – быстро и ловко прибрать к рукам. Так вот она какая! Отнять у меня, у неимущей – ведь у меня кроме него ничего, никого, я всю жизнь отдала ему, отнять мое единственное сокровище!

16 апреля. Зачем он ей? Она еще такая юная, она еще сто раз полюбит, а я... я никого никогда! Для чего же это все было? Для чего же была эта встреча со мной после стольких лет неизвестности? Я не знаю, что думать. Мысль зашла в лабиринт, и чей-то змеиный ум водит меня по безвыходным коридорам.

17 апреля. Так, значит, не мне суждено утолить его скорбь, сберечь для спасения Руси, вырастить в нем эту мысль, вернуть ему силы? «Те, кто достойны, Боже, Боже! Да узрят Царствие Твое!» Или это мое самомнение безгранично, но я считала, что эту миссию заслужила, выстрадала я – я, с моей великой скорбью за родную землю, я, которая как икона Скорбящей, впитывала в себя все горести, разлитые вокруг, я, а не она, не эта девочка с ее улыбками и легкостью бабочки; она еще ничего не пережила, ничего не понимает. Наше идейное родство, наша давняя встреча – все оказалось для него пустяками по сравнению с ее физической прелестью! Это какое-то чудовищное искажение божественной мысли, это неслыханная ошибка... Это... Я не могу поверить! Если так в самом деле будет, я, кажется, превращусь в дерево, в камень. Я не знаю, как я теперь буду жить: все стало серым, скучным, ненужным. Отчего я всегда должна страдать?

## Глава двадцать третья

Девушки смотрели друг другу в глаза.

– Говорите же, Ася, что вы хотели сказать мне?

Длинные ресницы опустились под взглядом Елочки:

– Мне это очень трудно! Прежде чем прибежать к вам, я всю ночь плакала.

Брови Елочки сдвинулись:

– Прошу вас говорить, и говорить прямо – это единственная форма разговора, которую я признаю. Случилось что-нибудь?

– Нет, ничего, а только... – ресницы поднялись и снова опустились.

– Ася, уверяю вас, мне можно сказать все!

Опять поднялись ресницы:

– Видите ли, я ненавижу хищничество... там, где оно появляется, уже нет места ничему

прекрасному... Каждый хватается себе, отталкивает другого... Это безобразие!

- Согласна с вами. Но хищничество это лежит в человеке очень глубоко, и формы его очень разнообразны...

- И все одинаково отвратительно, - перебила Ася. - Хватать... Отбивать... Я не хочу, чтобы так было в моей жизни, - она остановилась, точно ей сдавило горло.

- Что ж дальше? - тихо спросила Елочка, уже предугадывая, что последует.

- Дальше? - Ася как будто задохнулась.- Олег Андреевич говорит мне чудесные слова, и я... Мне кажется, что он... мы... Скажите, Олег Андреевич не тот ли офицер, который?... Скажите правду! Если тот - я ему откажу, я отвечу - нет, никогда! Вы спасли ему жизнь, вы узнали его раньше, чем я. Он дорог вам. Я ни за что не хочу отнять у вас... кого-нибудь.

Наступила тишина. Только тикал будильник. В гордой, замкнутой девушке два чувства, как заостренные копыя, боролись между собой. Она смотрела мимо Аси в окно. Прошли минуты три, потом четыре...

- Глупый ребенок! - прозвучал вслед за этим ее голос. - Откуда могла вам прийти в голову такая фантазия? Ведь я уже говорила вам раз, что тот, которого я любила, погиб от удара дубины или приклада.

- Да, говорили, но видите ли... Олег Андреевич лежал тоже в вашей палате, и его тоже все считали погибшим... Могли и вы думать, что он погиб, а он нашелся... В тех строках вашего дневника, которые я прочла еще тридцатого марта, мне уже показалось, что вы о своем любимом говорите уже как о живом - не так, как говорили мне в первый раз. А сегодня ночью мне вдруг пришла мысль: не он ли этот человек?

- И опять наступила тишина.

- Не он. Тот, кого я любила, не воскрес. Я ведь неудачница -4 для меня не случится чуда. Ну а если б даже это был он, - и отте|нок горькой иронии зазвенел в голосе Елочки, - что бы вы могли изменить в ходе вещей? Вы не сумели бы заставить его полюбить меня вместо вас, а только сделали бы его несчастным. Это по меньшей мере было бы глупо, Ася. Я отвыкла уже от мысли о замужестве, мужчины мне противны. Мне жертв не нужно, можете спокойно наслаждаться жизнью.

Ася подняла ресницы, на концах которых дрожали слезинки:

- Вы так суровы со мной... Почему? Не думайте, что я болтаю зря, я в самом деле уйду, если...

В третий раз наступила пауза.

- Так как это не он, то и уходить бессмысленно. Не бередите моих ран. Вам показалось странно, что он из той же палаты? Еще странней было бы, если бы единственный спасшийся оказался как раз «мой».

- Да, в самом деле! Не знаю сама, почему я вдруг вообразила... Извините, Елизавета Георгиевна, что я вас взволновала. Вы так добры со мной и с бабушкой, - худенькие руки протянулись было обнять Елочку, но она отвела их.

- Он уже сделал вам предложение? - спросила она, глядя в пол.

- Нет, - ответила Ася шепотом.

- Говорил, что любит вас?

- Да... вчера мы ездили в Царское Село... Я была счастлива... Так счастлива, в кустах!...

- Не будьте легкомысленны, Ася. Если вы согласитесь выйти за Олега Андреевича, вы обязаны думать не о себе, а о нем. Нет никаких данных, чтобы он доставил вам благополучие и процветание. Не смотрите на жизнь сквозь розовые очки. Его вымышленная фамилия, его анкета, его здоровье... Осложнений может быть множество. Взвесьте, чтобы не упрекать потом - недостойно, по-бабьи. Этот человек очень горд и издерган.

Девушка приложила палец к губам, как будто говоря: «Все это еще под покрывалом феи - не надо слов». Она бросилась Елочке на шею и убежала... От нее пахло свежестью, как от сирени или молодой березки.

«Так вот что, вот что! Весь мед и аромат его души - ей! Вся его мужская страсть - ей! А мне... мне - дружба в тяжелые минуты, и только! Он теперь не вспоминает, как искал мою руку, -

зачем вспоминать? Воспоминание не из приятных». Ей представились на минуту кровавые тампоны, которые вынимали из его ран, и от которых у нее зазеленело в глазах... «Тогда были боль, жар, бред, отчаяние. Тогда была нужна я. А для счастья, для поцелуев – другая, хорошенькая. Мужчины все чувственны. Она молода, мила, женственна, мечтает о младенце... О, это она получит! Она получит все, но хватит ли у нее самоотвержения, нежности, внимания? Он весь на нервах, а она порхает как бабочка. Где ей в восемнадцать лет понять всю глубину его издерганности и усталости? Как бы она не оторвала его от мыслей о Родине! Запутает его в семейной паутине. Со мной было бы иначе, совсем иначе!» Она встала и подошла к зеркалу. Разве легко примириться с мыслью, что ты некрасива, что нет в тебе очарования? Голые виски, сухие, сжатые, не улыбающиеся гулы, слишком большие руки, которые не знаешь куда деть, рост приближается к мужскому, движения угловаты и без следа грации... «Я должна была бы быть другая, совсем другая! Я не в своем облике. Это ошибка, недоразумение! В жизни нет справедливости – стой теперь и смотри, как счастье проходит близко, совсем близко, но мимо... Мимо! С тоски хоть на стенку бросайся, а до старости еще так далеко. Сколько еще будет летних вечеров и лунных ночей, которые своей непрошеной, ненужной прелестью будут кричать мне в уши: "И ты могла бы быть счастлива!", а счастья не будет. Ничего не было, и вместе с тем – все позади!»

В дверь постучали.

«Вот эта тоже некрасива, – подумала Елочка, увидев на пороге Анастасию Алексеевну, – но этой все равно! Ее мечты не залетают далеко... второй сорт чаю! К тому же, она уже немолода».

А та залопотала:

– Елизавета Георгиевна, извините, голубушка, что я к вам опять суюсь без приглашения. Я к вам по делу.

– А что такое? – Елочка продолжала стоять в дверях и не приглашала гостью войти. «Как противна ее навязчивость! Какое у нее может быть дело? Клопов давить и носки штопать? Тоска, о, какая тоска! Она разлита во всем: в чистоте и аккуратности этой слишком знакомой комнаты, которая выскоблена, как кухня голландской хозяйки; в одинокой чашке крепкого чаю, допить который помешало появление Аси; в томике Блока, который загрыз ей душу мечтами; в сестринском белом халате, который напоминает госпиталь; а больше всего в портрете матери, которая передала ей свои интеллигентные, но некрасивые черты, однако сама все-таки была счастлива. Впрочем, виноват не портрет – всего интенсивней источает тоску флакон на туалете с остатками духов «Пармская фиалка».

Анастасия Алексеевна мялась на пороге:

– Подумала я, что следует вам рассказать... опять... этот... как бишь его?... Аристократическая фамилия... Дашков, поручик...

Елочка вспыхнула:

– Зачем вы треплете это имя? Я вас просила забыть о нем!

– Знаю, знаю, миленькая! Дайте рассказать, не сердитесь! Я для вас же стараюсь, когда выслушаете, так еще похвалите. Ох, задохлась я и устала. Сесть-то позвольте?

Сконфуженная Елочка поспешила усадить Анастасию Алексеевну и притворила двери.

– Чудное дело, голубушка! – заговорила та. – Сдается мне, что этот гвардеец, Дашков, жив. Может, вы что и знаете, да мне не говорите?

– Как так жив? С чего вы взяли? – Елочка уже овладела собой и была настороже. – Рассказывайте, рассказывайте все, что знаете! – повторила она.

– Видите ли, Елизавета Георгиевна, пришел ко мне вчера муж. Не в урочное время, приветливый этакий... О том, о сем покалякал, а потом давай спрашивать про поручика. Гляжу – норовит незаметно выведать, ровно кот меня обхаживает. Думает, что я вовсе дура, а я хоть и припадочная, а сейчас смекнула, что ради этого только он и пришел.

– Что ж он спрашивал? – с невольным содроганием спросила Елочка.

– Начал с того, точно ли, что два ранения. Незаметно этак подъехал – вот, дескать, помнишь

ли, какие случаи тяжелые бывали? На этом я попалась - поддакнула, ну а после насторожилась. Всякие это подробности подай ему: имя да отчество, брюнет или блондин, да верно ли, что красив, да локализацию ранения. Это, говорит, раненый из твоей палаты, мы, врачи, с утра до ночи в перевязочной да в операционной. Перед нашими глазами все равно что калейдоскоп - носилки да носилки... Где уж запомнить каждого! А ты должна помнить - он лежал долго, сколько ты около него вертелась! Ради вас взяла я тут грех на душу - понапутала! Сказала, что кроме виска ранен поручик был в правую руку, с волосами тоже сбила - уверила, что рыжеватый блондин, а он ведь темный шатен. Ну а имени и отчества я и в самом деле не помню. Потом пристал муж ко мне, точно ли в больнице «Жертв революции» Дашков мне померещился? Может быть, это было у Водников, говорит (оттого, что я примерно в эти дни у Водников замещала). Это мне было на руку: у Водников, отвечаю, у Водников! Нарочно и коридоры, и выходы водниковской больницы ему расписала.

- Поверил?

- Поверил всему, насчет раны только усомнился. Сдается мне, говорит, что путаешь ты что-то! Задышался он, помнится, - ранение было легочное. Нашлась я и тут: нет, говорю, задышался Малинин - подполковник, который рядом лежал. Запутался он, заходил по комнате... Потом говорит: «Слушай, ты видишься с сестрой Муромцевой - устрой мне возможность с ней поговорить, позови ее и сообщи мне. Я бы порасспросил ее незаметно. Я твоей памяти не очень доверяю. Мне, говорит, в научном докладе нужно сослаться на легочное ранение с оперативным вмешательством - не достаёт фамилии. Устрой это мне, только ей ни слова - навяжешь ей свое, коли натрещишь, а мне важно первое ее слово - свежий след в памяти, поняла?» - «Поняла», - говорю, а сама, как только он ушел, сейчас к вам. Знал бы он, какая передатчица, может, поколотил бы меня!

- Он не должен знать и не узнает, - твердо сказала Елочка. - Ну, спасибо вам, дорогая, - и она крепко стиснула руку Анастасии Алексеевне. - Я приду завтра же. Постараюсь быть поприветливей, говорить буду то же, что и вы. Перепутать его с Малининым вы удачно придумали, только, пожалуйста, уж стойте на своем, не подведите! Он может начать проверять нас на клинических деталях, на уходе. Все, что вспомните про Малинина, относите к Дашкову, и наоборот. Не спутайтесь, пожалуйста, не спутайтесь! - она нервно ходила по комнате,

- Спутать не спутаюсь, а только хотела я спросить вас... Стало быть, жив Дашков, коли розыск идет?

Елочка молчала, обдумывая ответ.

- По всему видать, что жив, - продолжала Анастасия Алексеевна, - и понимаю уже я, что дорог он вам. Жених ваш или, может?...

Красные глаза с любопытством поворачивались за девушкой.

Елочка, все так же молча, завернула остатки колбасы и масла и прибавила к этому неначатый пакетик чаю.

- Вот, возьмите это с собой, а теперь я с вами прощусь. Мне пора на дежурство собираться. Итак, до завтра!

- До завтра! Да вы не беспокойтесь, Елизавета Георгиевна! Сделаю, что смогу! Видите, как привязалось ко мне это имя. Теперь, если что случится с этим человеком - если поймают да к стенке, - ведь он от стенки прямо ко мне, уж ведь я знаю. Счастливая вы, Елизавета Георгиевна, счастливая, что спите спокойно, что ничего-то у вас на совести нет. А я вон с таким Иудой связалась и духу не хватает разделаться.

Она вышла. Елочка стояла не шевелясь; опертая о стол рука дрожала, брови образовали тревожную морщинку.

«Началась травля! Заулюлюкали! Разве он опасен сейчас? Не сомневаюсь, что если б началось, он был бы в первых рядах... Но все мертво и глухо... все в оцепенении, а человека все-таки надо травить! Предупредить его? Опять ведь трепка нервов, он такой усталый, такой издерганный... Сейчас, когда он наконец счастлив - особенно жаль его расстраивать. Подожду. Посмотрю, как повернется разговор и что известно Злобину. Придется, очевидно, пожать этому мерзавцу

руку... Куда ни шло! Говорят, цель оправдывает средства. А союзница у меня все-таки ненадежная. Господи, помоги мне!»

## Глава двадцать четвертая

Олег стоял у телефона, обсуждая с Асей планы на ближайшие дни; а Надежда Спиридоновна, нетерпеливо вздыхая, демонстративно ходила около. Обычная корректность изменила Олегу: он ничего не замечал, и счастливая улыбка не сходила с его губ.

- Итак - в воскресенье в 11 утра я заеду за вами. Чудесно! А как ваш щеночек? Огорчаетесь, что он без воздуха? Какая вы заботливая мама! Если вы желаете, мы можем опять съездить загород и взять с собой вашего младенца. Бабушка не пустит? Я сам попрошу Наталью Павловну. А когда я услышу Шопена? Еще не разучили? А fuga? Скажите, неужели же до воскресенья мы не увидимся?

Как только он повесил, наконец, трубку, Надежда Спиридоновна тотчас протянула к ней руку, похожую на лапу аиста. Но как раз в эту же минуту раздался телефонный звонок, и девичий голос спросил: «Можно Олега Андреевича?» Старая дева с легким шипением окликнула уже удалявшегося Дон-Жуана и пробормотала что-то о том, что для таких длительных разговоров с девицами телефон следовало бы иметь свой собственный, а не общего пользования, но Олег, по-видимому, пропустил это мимо ушей.

- Я слушаю, Елизавета Георгиевна! Рад слышать ваш голос! Дело? Приду с удовольствием. Когда прикажете? В воскресенье я целый день занят. В понедельник? Прекрасно, я буду. Надежда Спиридоновна только плечами пожимала: «Боже мой, второе randevu! Современные девушки совершенно бесстыдны! Если мужчина мало-мальски недурен собой, они уже готовы ему на шею броситься!»

В это время он повесил трубку и, очень галантно попросив у нее извинения, отыскал ей по справочной книжке требуемый номер и принес к телефону для нее стул. Этими мерами он в два счета восстановил пошатнувшуюся благосклонность.

Когда он вернулся к себе, его ждал сюрприз: там, за письменным столом Мити, расположилась, как у себя, Катюша и встретила его самой приятной улыбкой, объясняя ему, что явилась с просьбой: она, видите ли, записалась у себя на службе в кружок французского языка и первые два занятия уже пропустила... Так не может ли он помочь ей? Это было не по душе Олегу, так как он отлично понимал, что французский язык был только предлогом... Не желая оказаться с Катюшей наедине и вызвать всевозможные пересуды по своему адресу, он, не входя в комнату, прислонился к косяку открытой двери и старался всячески «отбить атаку», ссылаясь на недостаток времени. «Неужели кому-нибудь может нравиться такая? - думал он, с отвращением оглядывая ее. - Если б я не приучился держать себя на узде, так лучше бы пошел к "прости Господи", там, по крайней мере, заплатил и ушел, а здесь еще разыгрывай любовную комедию неделю или две!» Он вспомнил стихи Бальмонта, которые читал накануне и в мыслях относил к Асе: «Но я люблю воздушность и белые цветы; прекрасная, запомни, что мне желанна ты!» - «Да! Вот та - вся белая, вся воздушная, вся чистая, а эта!»... Попросить женщину покинуть его комнату казалось ему слишком грубым и не согласовалось с его правилами, он вяло тянул разговор, не делая ни шагу в комнату. Проходившая к себе Надежда Спиридоновна оглядела их с таким удивлением, что Олег закусил себе губы, чтобы не рассмеяться. Зато Нина, пробегая по коридору, обменялась с ним взглядом, по которому он понял, что ей была совершенно ясна создававшаяся ситуация. И действительно: через минуту Нина окликнула Катюшу, очевидно желая выручить его.

- Благодарю вас, - сказал он, когда Нина пробежала обратно.

- Не стоит благодарности! - засмеялась она.

Олег взялся было за книгу, но в эту минуту, словно стайка воробьев, налетел Мика с двумя товарищами - «зубрить» дарвинизм. Олег уступил им поле действий и пошел на кухню, куда ему постоянно приходилось спасаться за неимением угла. В кухне в этот раз было светло,

тепло и оживленно: Аннушка в белом переднике пекла пышки из белой муки на молоке! Около нее в ожидании подачи сидели, разложив хвосты, кот и щенок, а позади них, томимый, по-видимому, теми же надеждами, Вячеслав с неизменной тетрадь. Олег присоединился к обществу, усевшись с книгой на подоконник. В этой квартире Аннушка являлась самым зажиточным элементом. Все прочие по сравнению с ней были просто голь перекатная. У Аннушки водились крупчатка, сало, квашеная капуста, варенье и тому подобные деликатесы советского времени. По воскресеньям она неизменно пекла пирог; если она жарила блины, то они плавали в масле. Нередко она отливала в миску собаке великолепных щей такой щедрой рукой, что вызывала завистливые взгляды по адресу собаки со стороны молодого, полуголодного мужского населения квартиры. Она была очень добра и когда что-нибудь пекла – тут же раздавала половину. Так и в этот раз: вытащив из духовки лист, на котором сидели красивые разрумьянившиеся пышки, она тотчас отложила две для Мики и Нины, а затем обратилась к Олегу и Вячеславу, которые пользовались ее особенной симпатией:

– Забирай кажинный ту, какая на его глядить.

Олег взял небольшую с краю, Вячеслав ухватил самую крупную и, засунув кусок за щеку, сказал:

– Эх, вкусно! Душа вы человек, Анна Тимофеевна!

В эту минуту на пороге показалась Катюша.

– Чего выползла? Никто здесь по тебе не соскучился! – тотчас напустилась Аннушка. – Глаза б мои на тебя не глядели! Опять свою линию гнешь? Сколько раз говорила тебе: крути с кем хочешь, а мальчиков моих не трожь!

Олег невольно улыбнулся при мысли, что он кому-то может показаться мальчиком и что эта добрейшая душа заботится о его нравственности.

– Вы, Анна Тимофеевна, очень уж любите не в свои дела нос совать, – сказала Катюша, садясь на табурет.

– Ах ты, паскудная! Нет в тебе никакой уважительности к старшим! Даже барыни наши бывшие – и Надежда Спиридоновна, и Нина Александровна – завсегда во всем со мной считаются, а эта в глаза грубит! В комсомоле, что ли, вас так учат? Проституток там, видать, из вас делают, вот что!

Олегу показалось, что Аннушкахватила через край.

– Что вы, Анна Тимофеевна! Разве можно так оскорблять женщину! Это не похоже на вашу обычную доброту! – сказал Олег.

А Вячеслав, вскочив, как ужаленный, гаркнул:

– Проституток в Советском Союзе нет, запомните, Анна Тимофеевна! В комсомоле же нас учат, что женщина в чувствах своих свободна, и выказывать их для нее не зазорно! Ясно? – и снова сел, словно бы урок ответил. Катюша сморкалась и вытирала глаза.

«До какой же степени она глупа и бестактна!» – подумал Олег. Речь Вячеслава задела, однако, его за живое.

– Так вы полагаете, что советская власть покончила с проституцией? Смелое заключение! – и помимо его желания едкая насмешка прозвучала в его голосе. – Вчера я позднее обычного возвращался домой; так по дороге три или четыре раза неизвестные особы заговаривали со мной. Одна попросила закурить, другая осведомлялась, как пройти на какую-то улицу, третья поинтересовалась, нет ли у меня билета в кино. Кто же были эти ночные тени на тротуарах, как по-вашему?

– Кто они были? – и глаза Вячеслава сверкнули искренней ненавистью. – Наследие проклятого царского режима, вот кто!

И взгляды их опять скрестились.

– Набаламутила, перессорила всех! – заворчала Аннушка.

Олег решил уйти, чтобы не продолжать ссоры, но в эту минуту кто-то очень энергично постучал в дверь, и так как он стоял всех ближе, то поспешил открыть. Оказалось, что принесли повестку для Катюши, в которой она расписалась тотчас же.

- Ай, ай! - вскрикнула она, распечатав конверт, и тотчас выронила повестку, которая как будто обожгла ей пальцы.

- Что такое? - спросили все тотчас. Олег, уже выходявший, обернулся.

- В гепеу вызывают! В гепеу, меня! Уж, кажется, я своя! Уж, кажется, советскую власть я всегда уважаю! Я - дочь рабочего! Никто никогда не слышал, чтобы я...

Вячеслав строго осадил ее:

- Ты, Катя, и в самом деле дура. Ну какие у тебя могут быть основания для паники! Если советский гражданин нужен по какому-либо делу органам политуправления, он должен прежде всего сохранять это в тайне, а не трепаться направо и налево. Тебя и вызывают-то, может быть, только для того, чтобы собрать о ком-нибудь сведения, пойми ты, наконец!

Неприятное чувство внезапно шевельнулось в душе Олега. В самом деле, может быть, только для сведений, но вот о ком?

Едва успел он перекинуться несколькими словами с Ниной, которая остановила его в коридоре, спрашивая, все ли здоровы у Бо-логовских, как из кухни послышался испуганный вскрик Вячеслава и вопль Аннушки. Оба бросились в кухню: Вячеслав опрокинул свой примус, и на полу уже растекался вспыхивающий керосин. Аннушка и Вячеслав уже бросились с ведрами к крану.

- Нельзя воду! - закричал на них Олег и сильным толчком повалил на пол шкаф. Все вздрогнули от грохота и замерли в ожидании. Огонь не показывался.

- Все, - сказал Олег и подошел было подымать шкаф, но из коридора выскочила Надежда Спиридоновна с двумя картонками, а за ней по пятам Катюша с узлом и подушкой.

- Куда вы, сумасшедшие? Паникерши несчастные! - заорал Вячеслав.

- Остановитесь, огня уже нет! - крикнул Олег и подхватил Надежду Спиридоновну, которая чуть не упала.

Обе женщины трусливо озирались. Потревоженные мальчишки вбежали в кухню и в свою очередь оглядывались, не понимая, что случилось. Олег и Вячеслав стали подымать шкаф.

- Эх меня угораздило! Чуть было беды не наделал. Ну, спасибо вам, Казаринов, - сказал Вячеслав.

- Запомните, что керосин нельзя заливать водой, - сказал ему Олег.

- Господи-батюшки! Уж и напужалась же я! Ажно ноженьки мои затряслися! - заголосила Аннушка, опускаясь на стул.

- Мой шкаф! - завопила Надежда Спиридоновна, только теперь получившая способность ориентироваться. - Почему на полу мой шкаф? Там простокваша, суп на завтра, фарфоровая посуда...

Несчастный шкаф поставили на место и, когда открыли дверцы, обнаружили крупные разрушения: главным образом за счет разбившихся на мелкие кусочки кузнецовских блюд. Старая дева схватилась за голову.

- Мои блюда! И мясные, и рыбные! Все пять штук! А я как раз намеревалась отнести их в комиссионный! У других, небось, все цело! Такой уж в этой квартире порядок завелся, чтобы обязательно подгадать старому человеку, - она с ненавистью покосилась на Вячеслава.

- Виноват я! - вступился Олег. - Преднамеренности никакой у меня не было: я не знал, чей это шкаф, но если б и знал - медлить было нельзя!

- Мне здесь урону рублей на триста, а ведь я на продажу вещей только и живу! - не унималась старая дева.

- Успокойтесь, Надежда Спиридоновна! Я вам верну эти деньги из следующей полочки... - начал было Олег, но Вячеслав яростно обрушился на обоих:

- Посмеет эта старая ехидна получить их с вас - шею ей сверну! Еще немного - и нам не выскочить, а она блюда свои старые жалеет! Запрудила тут все углы своим хламом! Старая барыня! Крыса царская! Сидит на своем добре, и ни единому человеку ни от нее, ни от ее добра пользы нет! Завтра же все пораскидаю, чтобы ни единой вещи ее на общей площади не осталось!

Надежда Спиридоновна расширившимися, обезумевшими глазами уставилась на Вячеслава:

- Крыса?! Это я крыса?! Мои вещи пораскидать? - пролепетала она, вся дрожа.

- Ваши! Ишь, какая персона! Чтобы человеку спасибо сказать, ан нет - ругается! Видно, мозги заплесневели!

- Вячеслав, прекратите! - резко сказал Олег. - Как вам не стыдно!

- Господи, Микола Милостивый! - вступилась в свою очередь Аннушка. - Богом, видно, проклята наша квартира! Нет у нас никакого порядка, никакого ладу! Руготня одна с утра до ночи! Всяк-то тянет в свою сторону! Да нешто так жить можно? Я давно говорю: с той самой поры, как домовый вышел, одни только беды и напасти!

- Как домовый? Почему вышел? - и все повернулись к Аннушке, ожидая объяснений.

- А вестимо как. не житье ему у нас стало. Домовой, он, может, в которых домах десятками лет держался, ну, а при советской власти вмиг повывелся. Нешто он - сударь-батюшка - станет в коммунальной квартире гнеститься? Он должен с хозяином душа в душу жить. Он другой раз любит котом прикинуться, придтить на груди помурлыкать, да незаметно, за мурлыканьем, смотришь, что и присоветует и дело скажет. Ему любовь да уважение нужны. А у нас что? Кто у нас хозяин? Где порядок? Уж вы мне поверьте: ни в единой коммунальной квартире домового не будет. Оттого и жисть в них не ладится, оттого и тошно в них кажинному, и квартиры разваливаются, и во всем обиходе безобразия. Эти домоуправления ничего-то не смыслят, а послушать старых людей не хотят.

Олег и Нина с улыбкой переглянулись. «Прелесть эта Аннушка!» - подумали оба. Катюша и мальчики откровенно фыркали, а Вячеславу было не до домового - он угрюмо собирал поломанные части своего примуса и казался озадаченным.

На следующий день Нина, вернувшись из Капеллы, прилегла на диване, чтобы отдохнуть перед концертом, в котором ей предстояло петь. Едва она задремала, как к ней постучался дворник, муж Аннушки.

- К вам я, барыня-матушка! Уж простите, потревожу. Дело больно важное. Попрошу только я вас ни единой душе о нашем разговоре не сказывать, даже его сиятельству без нужды не говорите.

- Никому не скажу, Егор Власович, - ответила Нина, приподымаясь, и усталым движением поправила волосы. - Не надо титуловать Олега, дорогой мой. Сколько раз мы говорили вам это.

- Так ведь мы, кажись, вдвоем, барыня-матушка! При посторонних я в жисть не скажу. Я человек верный, сами знаете.

- Знаю, голубчик. Садись и говори, в чем дело.

- Видите ли, барыня-голубушка, вызывали меня сегодня в ихнюю гепеушную часть...

- Что?! - Нина почувствовала, как вся похолодела. - Обо мне? Об Олеге? Говори, говори!

Ни кровинки не осталось в ее лице.

- Дознавались все больше про супруга вашего, про князя Дмитрия Андреевича покойного. Взаправду ли убит князь Дашков, али, может, только так показываете? Как же, говорю, не взаправду убит, когда известие получено было, и сам он с той поры ровно бы в воду канул. При мне, говорю, и известие пришло, сам я тоже свидетель, присягнуть могу. Сколько слез Нина Александровна пролила, цельный год траур носила. Откуда же ему живому быть? Потолковали они меж собой и сызнава ко мне приступили: а кто этот молодой человек Казаринов, что в вашей квартире проживает? Кем он гражданке Дашковой приходится? Может, он и есть ейный муж князь Дмитрий Дашков? Да Господь, говорю, с вами! Я мужа Нины Александровны в лицо хорошо знал. Жилец у нас всего-навсего этот Казаринов. К Нине Александровне касательства вовсе не имеет. Как так не имеет, говорят, если меж собой они по именам, и ужинают, и чай пьют вместе, и все это у нас уже установлено свидетельскими показаниями. Из вашей же квартиры люди подтверждают, что же ты, старик, будешь нас уверять в противном? Стал я тогда втолковывать, как вы в домоуправлении при прописке отвечать изволили: молодой, говорю, человек, сын столяра, молочный брат Дмитрия Андреевича. Его очень, говорю, любили

в семье их превосходительнейшего папеньки. Он в Белой армии с Дмитрием Андреевичем вместе был, и как из лагеря ослобонился, пришел к Нине Александровне рассказать про кончину Дмитрия Андреевича, а так как жить ему было негде, Нина Александровна по доброте своей и прописала его в комнате со своим братцем, там он и спит. Все это я доподлинно знаю, а коли кто другое что говорит, тому должно быть стыдно, семейных делов не знаячи, чернить напрасно Нину Александровну, потому как она дама гордая и благородная.

- Спасибо, Егор Власович, что вступились за мою честь, но страшит меня не мнение о моей нравственности, а лишь как бы они не узнали подлинную фамилию Олега - тогда, сами знаете, не поздоровится и ему, и мне. Так они его за Дмитрия приняли? Стало быть, им неизвестно, что молодых князей Дашковых было двое?

- Да видать, неизвестно, барыня! Это счастье еще, болезнь вы моя. И кто это наговорил им, что вы с Олегом Андреевичем так коротко знакомы? Уж не Катенька ли эта паскудная? Коли Олега Андреевича вызовут, пусть он говорит то же, что я, точь-в-точь. Думаю я, обойдется это дело. Не тревожьтесь, барыня милая! Побелели вы, ровно бумага.

- Спасибо, Егор Власович, родной мой! Сколько раз вы уже выручали меня. И отца помогли похоронить, и из Черемушек выбраться, и прописку мне устроили, а потом и Олегу. И теперь выручаете... Все вы! А мне вот вас и поблагодарить нечем.

- Что вы, Нина Александровна! Я и слушать таких речей не хочу. Я довольно милостей видел от покойного барина Александра Спиридоновича. Век не забуду, как задарили они нас с Аннушкой на нашей свадьбе и посаженным отцом ейным соизволили стать -этакую честь оказали. Хоть тому уже скоро тридцать лет, да ведь для благодарности нет срока. Всегда у меня мой барин перед глазами, как они в своей чесунчовой толстовке, с бородкой, с тросточкой по аллее идут, а за ними ихний таксик Букашка плетется. А коли завидят Александр Спиридонович окурок брошенный или бумажку конфетную, сейчас концом тросточки в песок заруют - не выносили они ничего такого в своем саду. Коли норка кротовая али сухой лист на дорожке - это пускай, это ничего, лишь бы не след человеческого присутствия, так и втолковывали они и садовнику, и мне. Поди, Мика уж и не помнит отца-то? Теперь, когда оба вы сиротинушками остались, сам Бог велит мне о вас позаботиться. Не кручиньтесь, барыня, Бог милостив. Минует чаша сия, как в церкви читают. Вы вот, барыня, в церкву ходить не желаете, а теперь дни такие подходят - страстная седмица...

- Я на Бога обижена, Егор Власович. Стоя у гроба отца, я сказала себе, что никогда больше не пойду к Причастию.

- Напрасно, барыня! Ох, напрасно! Великое это утешение -церковь Божия. Как войдешь в храм - ровно душ принял, только душ не для тела, а для духа нашего. Ну, я пошел, барыня. Отдыхайте покамест.

И дверь за стариком затворилась.

Нина сидела не шевелясь. «Как близко! Рядом ходят! Протянули свои щупальца! Эта версия с молочным братом не слишком удачна... Я изобрела ее для жакта, чтобы мотивировать прописку... Я думала она останется незафиксированной, а теперь... Теперь придется держаться именно ее, если начнут трепать по допросам. Ну, покой мой, видно, надолго потерян!»

Она решила поговорить с Олегом, предупредить его, но до концерта оставалось слишком мало времени. Вечером она вернулась поздно и, проходя мимо комнаты Олега и Мики, увидела, что свет у них уже погашен. «Не буду будить», - подумала она.

Утром, во время чая, оба торопились на работу, к тому же в комнате был Мика, и она отложила разговор до вечера. Вернувшись из Капеллы, она собралась с духом и пошла к Олегу. Он был в шинели с фуражкой в руках. Ей бросилось в глаза новое, оживленное, почти счастливое выражение его лица.

- До свиданья, Нина, я - к Бологовским. - С огоньком в глазах, с улыбкой он показался ей юношей - так изменилось его лицо!

Сердце Нины болезненно сжалось: в течение уже десяти лет у него не было ни одной радостной минуты, и вот теперь она должна прикосновением змеиного жала омрачить эту

радость, это оживление. «Потом, попозже! За два часа ничего не изменится!»

Библиотека Надежды Спиридоновны принадлежала, в сущности, отцу Нины, старая дева перевезла ее во время гражданской войны из опустевшей квартиры к себе и этим спасла от расхищения. Вследствие этого Надежда Спиридоновна считала библиотеку своей собственностью и без всякого угрызения совести запрещала Мике притрагиваться к книгам его отца. Для Нины и Олега она делала исключение. Книги уже не помещались в шкафы, стоящие в гостиной, и частично были расположены на полках в коридоре.

Вернувшись в этот вечер домой, Олег остановился перед одной из полок, чтобы выбрать себе книгу на ночь. Он стоял около самой двери в кухню и услышал слова, произнесенные голосом Вячеслава:

- А ты зачем на Казаринова наплела? С досады, что ль, что в свою постель его затащить не удалось? Сводить свои счета таким образом слишком уж несознательно.

Олег невольно замер на месте.

- А ты почему знаешь, что я говорила? - сказал голос Катюши.

- Как почему знаю? Следовательно мне весь разговор про балерин привел от слова до слова. Только ты да я, да он тут были - кто ж кроме тебя?

- Почему ж «наплела»? Я одну правду сказала.

- Правду! Порасписала: столбовой дворянин и офицер, и в родстве с Ниной Александровной, а ведь ничего ты про это не знаешь. Ну, а следовательно, конечно, ко мне как с ножом к горлу: что да что вы о нем знаете? Ничего, говорю, не знаю. А вот другие же в вашей квартире знают? И прочел: «Казаринов держит себя не по-советски, постоянно нападает на наши порядки, все повадки изобличают в нем бывшего гвардейца. С гражданкой Дашковой - бывшей княгиней - он явно в родстве...» Вон сколько понаписала! А я что должен делать? За тобой повторять или прослыть за укрывателя классового врага? Нет, я свою правду выложил. Коли это показание Катерины Фоминичны Бычковой, говорю, - грош ему цена, она за этим Казариновым гонялась, да успеха не имела, вот и отплатила ему по-своему, по-бабьи. Учтите, товарищ следовательно. Получила? Другой раз осторожней показывай. Следовательно руку мне пожал, отпуская.

Олег повернулся и пошел к себе. «Что ж я стою? Не подслушивать же мне! И так - сыск. Уже двоих допрашивали, - он закурил и стал ходить по комнате. - С какого же конца они меня выследили? С чего началось? Опасно не то, что наговорила очаровательная Катюша, опасно, что они заинтересовались мной. Честный, хороший мальчик этот Вячеслав! Я правильно рассчитал, что лучше самому сказать все - это благородного человека больше свяжет». Он ходил, курил и чувствовал, что радостное восприятие жизни, которое появилось у него после праздника у Аси, улетает безвозвратно! Как будто он легко плыл по красивой, залитой солнцем реке, и вот привязали ему на шею свинец и тянет его вниз, под воду! Сквозь сетку безрадостных соображений - как миновать расставленную западню и какие пустить в ход уловки - просачивалась убийственная мысль, та, прежняя: он должен уйти от Аси, и чем скорей, тем лучше, чтобы не затянуть и ее в эту пучину.

«Нельзя ходить к ним - я могу навести агентов. Если станет известно, что я бывал у Бологовских, едва ли кто мне поверит, что Наталья Павловна принимала меня, не зная кто я». Образ Аси проплыл перед его глазами... «Все! Остается только забыть! Она еще дитя и забудет легко, а для меня с этим кончится все на свете!»

Вошел Мика, говоря, что Нина зовет к чаю. Он вспомнил, как панически боится Нина гелеу, а между тем переговорить с ней совершенно необходимо. Когда он сел за стол и, принимая из ее рук чашку чая, взглянул ей в лицо, то обратил внимание на темные круги под глазами и тревожный опечаленный взгляд.

«Что с вами, Нина?» - хотел спросить он, но молниеносно мелькнула мысль: «А может быть, она уже знает? Может быть, ее вызывали?»

Несколько раз он взглядывал на нее и всякий раз встречался с тем же озабоченным взглядом... Мика начал было что-то рассказывать, но скоро тоже смолк. Вставая из-за стола и свертывая в

кольцо салфетку, он сказал:

- Спасибо за веселую трапезу! Удивительно веселые собеседники вы оба! - и убежал.
- Вы ничего не имеете мне сообщить, Нина? - спросил тогда Олег.
- Имею. А почему вы спросили?
- Я тоже имею кое-что и уже вижу, что сведения эти одного порядка. Говорите же, Нина, не жалейте меня.

Они проговорили до полуночи, сопоставляя все данные и разрабатывая детали на случай, если вызовут одного или обоих. Сошлись на том, что показания были даны в значительной степени в их пользу и что особо-опасных улик еще нет; всего грозней был самый факт сыска - от этого веяло холодом, как от раскрывшейся могилы!

Вставать раньше других настолько вошло в привычку Олега, что даже по свободным дням он подымался первым, желая избежать общей суеты на кухне. Но в это воскресенье он не встал, а, лежа на своем диване, курил папиросу за папиросой, тоже против обыкновения. В этот день у него была назначена и рушилась теперь встреча с Асей.

- Вы больны, Олег Андреевич? - спросил Мика.
- Здоров, - сумрачно ответил он.

В дверь постучали.

- Вам повестку принесли, выйдите расписаться, - сказал голос Вячеслава.

«Ах, вот как! Недолго заставили ждать!» - хмуро усмехнулся он и, накинув на плечи старый китель, вышел в кухню. Никто из женского населения квартиры еще ни разу не видел его таким - небритым, в подтяжках... Он молча расписался и повернулся уходить, но тут увидел Катюшу, которая стояла около своего примуса, наблюдая его. Прищурившись, он смерил ее пристальным насмешливым взглядом. «Отомстила? Довольна?» - сказал этот взгляд.

Она покраснела и отвернулась.

- On ne perd pas du temps en notre troisieme bureau [57], - сказал он Нине, показывая повестку.
- Получил приглашение на завтра!

После чая Олег подошел взять горячей воды для бритья. Нина удержала его руку:

- Не брейтесь ни сегодня, ни завтра... Этот ваш джентльменский вид...
- Думаете, лучше будет, если отрастет щетина?
- Ну, все-таки! Хоть одичалым, что ли, покажетесь...

На следующее утро она вернулась к той же теме:

- Олег, вы уходите прямо туда?
- Нет, сначала еду в порт. В гепеу к двум часам.
- Олег, этот ваш джентльменский облик, когда вы кланяетесь, когда берете папиросу... Это все слишком, слишком гвардейское! Это во сто раз убедительней Катюшиной болтовни.
- Ну, что поделать? Я ведь себя со стороны не вижу, Нина.
- А все-таки постарайтесь, хотя бы в отношении жестов. Вы хорошо помните, что надо говорить?

- Урок зазубрен раз и навсегда. Все дело в том, какими данными располагают «они». Я ведь не знаю, какой мне сюрприз преподнесут, быть может, имеется кто-то из прежних слуг или прежних солдат, с которым мне будет устроена очная ставка. Быть может, имеются сведения о ранениях или моя фотокарточка. Я ничего не знаю.

- Олег, я сегодня вернусь только вечером. Чтобы мне не изводиться от тревоги, позвоните мне в Капеллу, как только выберетесь оттуда. Скажите мне... ну, скажите что-нибудь!
- Слушаюсь, - он двинулся уходить, но она опять остановила:
- Олег, будьте начеку! Все время будьте начеку, умоляю!

На службе для того, чтобы уйти с половины дня, пришлось предъявить повестку. Моисей Гершелевич, всегда с ним очень приветливый, сказал только:

- Что там? Ага, так. В час можете уйти, - но лицо его как-то вытянулось, и во всех последующих разговорах с Олегом он был подчеркнута официален, даже обращался к нему по фамилии, а не по имени и отчеству.

«Трус! Вот и выявилась вся твоя жидовская натура!» – подумал Олег и в свою очередь начал склоняться по всем падежам: «товарищ Рабинович»...

Перед тем как войти в мрачное здание, он остановился взглянуть на залитую солнцем улицу, на весеннее небо... «Ну, да что там! При них мне все равно нет счастья! Они все равно душат мою жизнь!» – и вошел в двери.

## Глава двадцать пятая

*Черных ангелов крылья остры,  
Скоро будет последний суд*

– Вот, явился по вызову, – сказал он, входя в указанный ему кабинет и протягивая повестку следователю, который сидел за столом. Тот зорко оглядел его.

– Садитесь.

Олег сел и, стараясь подражать манерам Вячеслава, угрюмо и равнодушно уставился на следователя, и стал трепать свои густые волосы. Полицейские приемы сказались тотчас: следователь сидел спиной к окну, а Олега посадил против света.

– Казаринов? Так. Расскажите кратко свою биографию, – и, откинувшись на спинку стула, следователь закурил.

– Да что же рассказывать? Обо мне уже все известно. Был в Белой армии, не скрываю. Я ведь из лагеря, там не один раз проверяли все сведения.

– Не скрываете? Очень хорошо, что не скрываете. А все-таки говорите!

Олег стал повторять заученный рассказ, но следователь очень скоро перебил его:

– Скажите, а каким образом вы, пролетарий по рождению, так хорошо владеете иностранными языками? Вот у нас есть сведения, что вы свободно говорите и по-французски, и по-английски.

– Ну, свободно не свободно, а говорю. Видите ли, я в детстве... – и он выложил версию, которая была ему невыгодна благодаря близости к аристократическим сферам и своему собственному имени, но она уже была вплетена в его рассказ другими людьми, и обойти которую теперь не было возможности.

– Мальчиком я постоянно слышал французскую и английскую речь, когда учили молодых господ, а я к языкам очень способен, меня постоянно в пример господским детям ставили, – закончил он.

– Допустим, что так, – сказал следователь, – но вот нас как раз очень интересует семья Дашковых. Расскажите все, что вы о них знаете.

– Да какие ж такие Дашковы? В живых ведь осталась одна только молодая княгиня, и та неурожденная – перед самой революцией княгиней стала.

Недобрые глаза пристально уставились на него.

– Из кого состояла семья Дашковых? – твердо отчеканил следователь.

Олег подавил невольный вздох.

– Ну, говорите же. Перечисляйте членов семьи.

– Сам князь, генерал, командир корпуса, Андрей Михайлович, – он остановился. Ему показалось, что какая-то рука сжала ему горло.

– Дальше.

– Княгиня, жена его, – он опять остановился.

– Имя княгини! Что же вы молчите? Не знаете, что ли?

– София Николаевна, – тихо сказал Олег.

– София Николаевна? Так... так. Запишем, София Николаевна...

– А вы зачем повторяете? – вырвалось у Олега с нетерпеливым жестом.

Ему показалось кощунственным, что имя это произносит язык, с которого так часто слетают угрозы и ругательства.

- А почему же я не могу повторить? Или надо было спросить разрешения у вас? Да ведь она вам не мать родная! Или, может быть, я должен был прибавить «ее сиятельство»?

Олег молчал.

- Ну, дальше! Кто еще? - сказал следователь.

- Сын их, Дмитрий.

- Других детей не было?

- Была еще девочка Надя, она умерла в детстве от воспаления легких. Больше никого...

«Скажет или не скажет: "А второй сын, Олег?" - думал он и чувствовал, как в нем напряжена каждая жилка, каждый нерв. Но следователь сказал совсем другое:

- Этот корпусной генерал был, говорят, отчаянный мерзавец и он избивал денщиков и был жесток с солдатами.

- Что? - вспыхнул Олег, забывшись. - Этого не было и не могло быть в нашей армии! Генерал был строг, но чрезвычайно справедлив, и за это очень любим солдатами. С офицеров он взыскивал гораздо строже, чем с рядовых, - это было его правило. А всего строже он был... - он остановился, так как чуть не сказал, - с нами, с сыновьями.

Следователь все так же пристально всматривался в него.

- А он, видно, вам дорог, этот генерал, если вы так горячо заступаетесь, - сказал он.

Олег спохватился, что проявил излишнюю горячность, - эти слова были, очевидно, просто ловушкой, в которую он и попался тотчас. Он постарался принять равнодушный вид:

- Да не то, чтобы дорог, а все-таки... Я ведь привык с детства к этой семье - худого не видел. Денщики у них жилами годами, никогда не жаловались, их задаривали. Отчего не сказать правду?

- А какова, скажите, конечная судьба этого генерала? - спросил следователь.

- Расстрелян в Петрограде в девятнадцатом году, - говоря это, Олег поставил локоть на стол и положил лоб на ладонь. Он понимал, что этот жест с точки зрения конспирации вовсе неудачен, но, предвидя следующий вопрос, чувствовал себя не в состоянии выдержать взгляд следователя.

- Ну а княгиня? Что же вы молчите? Не знаете что ли? У вас голова, кажется, болит? Хотите, дадим порошок?

- Не надо, - и Олег отвел руку.

- Ну, тогда отвечайте.

- Когда молодой князь уезжал в добровольческую армию, была еще жива. Я только теперь узнал, что погибла. Подробностей не знаю.

- Так-таки совсем не знаете? Да неужели же? А до меня вот дошли некоторые подробности. Расстреляна была неподалеку от имения на железнодорожном полустанке. Дамочка, по видимому, задумала улизнуть из-под чекистского надзора, который был учрежден над ней в имении после расстрела супруга. Однако не удалось! Находившийся на полустанке отряд комиссара Газа задержал беглянку. При аресте задержанная с княгиней горничная выходила из себя, кричала и грозила красноармейцам, но сама княгиня не произнесла за все время ни слова. Не слышали об этом? Ходил слух, что обе были изнасилованы конвойными, прежде чем расстреляны. Княгиня ведь была еще очень красива, несмотря на свои сорок пять лет, и горничная - присмазливенькая.

Олег молчал... «Он врет, он нарочно издевается, чтобы заставить меня выдать себя, как с отцом», - думал он, стискивая зубы. - Дать ему по физиономии и сказать: "Это моя мать! Арестовывай!" Но вот Нина и старик дворник... подведу обоих и уже не выйду отсюда! Лучше застрелиться, чем снова попасть в их руки».

Следователь, сощурившись, пристально всматривался в него:

- Там была еще княжеская собака. Говорят, она выла всю ночь над телом княгини, пришлось покончить с ней ударом дубины и бросить там же, на мусорной куче... Что вы так повернулись вдруг?

И внезапно он перешел в участливый тон:

- Вы очень нервны, Казаринов. Вам не худо бы полечиться.
  - Посидите семь лет в Соловках, так, полагаю, будете нервны и вы, - отрезал Олег.
  - Весьма вероятно. Допускаю также, что сама тема разговора вас волнует. Ну, а что вы можете нам сказать про молодого князя?
  - Он... кончил Пажеский корпус в тысяча девятьсот тринадцатом году. Гвардейский офицер.
  - Какого полка?
  - Вышел в Кавалергардский. В пятнадцатом году попал на фронт, в конце шестнадцатого, после контузии, получил отпуск и приехал в Петербург, в январе семнадцатого женился... Погиб в Белой армии, в Крыму.
  - Что вы можете сказать о его жене?
  - Я знаком с Ниной Александровной еще с семнадцатого года. Когда меня выпустили из лагеря, я пришел к ней, я не знал, известно ли ей о гибели ее мужа, имел в виду сообщить... Кроме того, я надеялся, что она разрешит мне у себя остановиться, так как мне негде было жить, а никого из прежних друзей я не мог найти. Она и в самом деле согласилась прописать меня в комнате со своим братом-мальчиком. Пока все еще живу там.
  - Что вы можете нам сообщить об этой женщине?
  - Сообщить? Да право не знаю... Это талантливая певица, артистка Государственной Капеллы, кроме того, постоянно выступает в рабочих клубах...
  - Ее отношение к Советской власти, должно быть, резко отрицательно?
  - Я никогда не слышал ни одного антисоветского высказывания у этой дамы. Подождите... Я припоминаю сейчас ее подлинные слова: «В царское время семья не пустила бы меня на сцену. Только революция дала мне возможность выступать перед широкими массами».
- Следователь усмехнулся:
- Ловко состряпано! Ну а почему вы, пролетарий по рождению, так прочно связались с белогвардейским движением и ни разу не попытались перейти на сторону красных?
  - Да ведь я с самого начала попал через Дмитрия Андреевича в белогвардейские круги. О красных знал только понаслышке. Думал, если перейду, расстреляют как белого... Ну и держался белых. Отступая с частями, попал в Крым. Сказать «перейти» легко, а как это сделать?
  - Делали те, которые хотели. А скажите, вы присутствовали при смерти Дмитрия Дашкова? Вы это почему-то обошли молчанием. Ну! Чего же вы опять молчите? Тому, кто говорит правду, раздумывать нечего. Видели вы его мертвым?
  - Да, - сказал Олег и почувствовал, что непременно запутается.
  - Это странно. У нас вот есть сведения, что он был не убит, но ранен и после поправился. Что вы на это скажете?
- «Эти сведения обо мне! - лихорадочно проносились мысли в голове Олега. - Да, они путаются между мной и Дмитрием, поскольку фамилия одна, а сведения отрывочны. Что отвечать? Если я буду настаивать, что Дмитрий убит, то натолкну их на мысль, что есть другой Дашков, к которому относятся сведения из госпиталя...»
- Как вы нам можете объяснить эту неточность? - настаивал следователь.
  - Не знаю, что вам сказать, - ответил он. - Я видел его на носилках без памяти, его уносили в госпиталь. Я думал, он умирает... Может быть, он прожил еще несколько часов или дней, но, во всяком случае, не поправился, так как к жене он не возвращался.
  - Вы в этом уверены?
  - Уверен. Она всегда говорит о нем, как о мертвом. Все, кто ее окружают, знают, что муж к ней не возвращался. Свидетелей достаточно.
  - А вы не осведомлялись о его здоровье тогда же?
  - Нет. Я сам был ранен через два дня и еще не успел поправиться, когда пришли красные.
  - Вот этот шрам на вашем виске, очевидно, след ранения?
  - Да.
  - Забавно! Два неразлучных друга, Казаринов и Дашков, оба ранены в висок, один - в правый,

другой - в левый.

Олег настороженно молчал, стараясь проникнуть в значение этих непонятных для него слов.

- Вы только в висок ранены или было еще какое-нибудь ранение?

«Ну, конечно, - подумал Олег, - очевидно, у них имеются сведения, что Дашков лежал с осколочным ранением ребра и раной в висок, кроме того».

- Было еще второе, - пробормотал он сквозь зубы. И увидел при этом, что следователь заглядывает в какие-то бумаги, лежащие перед ним на столе.

- Ага! Второе! - и какой-то блеск, напоминающий глаза кошки, когда она играет с мышью, мелькнул в глазах следователя, обратившихся опять на Олега. Он нажал кнопку коммутатора: - Алло! Попросите в тринадцатый кабинет дежурного врача. Без промедления.

На ногах следователя были коричневые краги. Он бойко переменял положение ног, и ботфорты скрипели. Звук этот задевал по нервам Олега и надолго запомнился ему.

- Раздевайся! - сказал следователь и прошелся по кабинету. Он уже обращался к Олегу на «ты» и всякое подобие корректности оставило его, очевидно, он уже считал Олега пойманным.

- Для чего это нужно? Ранение у меня было в правый бок. Я не скрываю.

- Раздевайся, говорю, - повторил следователь и, вынув револьвер, щелкнул им перед носом Олега.

Олег знал этот прием и не мог испугаться, но понял, что на него уже смотрят как на арестованного.

В кабинет вошел пожилой мужчина, тоже в форме, поверх которой был накинут белый халат.

- А, доктор! Простите, побеспокою. Вот осмотрите-ка этого молодчика. Тут должны быть рубцы от ранения левой почки. Ну, левая и правая сторона могут быть спутаны... Этому я значения не придаю... Почки, одним словом. Освидетельствуйте его, да снимите пробу с волос - не выкрашены ли. Должны быть рыжие.

Олег с удивлением поднял голову. «Почки? Рыжие волосы? Так госпитальные сведения, стало быть, не обо мне?» - мелькнуло в его мыслях.

Доктор приблизился к нему.

- Товарищ следователь, попрошу вас сюда, - сказал он через минуту. - Вот, взгляните сами: здесь было разбито ребро и, очевидно, повреждено легкое. Но это не то ранение, о котором говорите вы, - и обратился к Олегу: - Вам резекцию ребра делали?

- Да, - процедил сквозь зубы Олег.

- Плевали кровью?

- Да.

- Клинически тоже совсем другая картина, товарищ следователь, - авторитетно продолжал врач.

- Да мало ли что он вам скажет, товарищ доктор! А тем более при подсказке, - с досадой возразил следователь. - Он тут с три короба врал. Не верьте ни одному его слову. Я вам повторяю: здесь должно быть ранение почки.

- Я вовсе не его словам верю, а собственным глазам. Почки расположены ниже, эти рубцы не могут относиться к ним, - возразил опять врач.

- Ага! Ниже! - и следователь опять повернулся к Олегу. - А ну! Снимай пояс!

- Вы больше ранения не найдете. С меня и двух вполне достаточно! К чему это? - начал Олег, но револьвер опять щелкнул перед его носом. Пришлось раздеваться. Заметно было, что следователь очень удивился, не обнаружив более рубцов и выслушав уверения врача, что цвет волос натуральный. Он попросил врача зафиксировать на бумаге результаты осмотра, а сам тоже сел к столу, сказав Олегу:

- Можете одеваться.

«Ордер на арест выписывает», - думал, одеваясь, Олег, и какое-то оцепенение нашло на него - все равно до всего стало в эту минуту.

Следователь обратился к нему снова:

- Скажите, гражданин Казаринов, лежали вы в больнице Водников в феврале этого года? -

спросил следователь.

- Нет, - мгновенно настораживаясь, ответил Олег.

- Предупреждаю, что врать вам смысла не имеет, так как мы пошлем в больницу запрос.

- Запрашивайте сколько хотите, - ответил Олег и уже хотел прибавить: «Лежал в больнице Жертв революции», но неясное чувство удержало его. «Чем меньше о себе сообщать, тем лучше! К тому же есть еще неясная мне связь между моею болезнью и вопросом о больнице», - подумал он.

- Скажите еще, каковы у вас отношения с гражданкой Бычковой? - опять спросил следователь.

- Никаких отношений нет, мы живем в одной квартире и только.

- Нет у нее каких-нибудь оснований быть недовольной вами?

- Сколько мне известно - никаких, - сухо ответил Олег и почувствовал, что даже нависшая опасность не может заставить его изменить тем джентельменским правилам, в которых он был воспитан.

- Подойдите сюда и подпишите свои показания, - сказал следователь.

Олег внимательно прочел протокол: записано было более или менее точно. Он подписал. Следователь отпустил врача и стал ходить по кабинету, скрипя ботфортами.

- Вот что, Казаринов, - сказал он, останавливаясь перед Олегом. - В вопросе о гибели Дмитрия Дашкова есть странные противоречия. Вы здесь чего-то не договариваете. Вы у меня на подозрении, и положение ваше очень шаткое. Вполне возможно, что вы не пролетарий и не рядовой, а такой же гвардеец, как и Дашков, а может быть, даже... - Он остановился.

- Весьма странно! - сказал Олег. - Такие документы, как у меня, никто бы не стал добровольно выдавать за свои! Наведите справки в Соловецком концлагере, где я был - нас там проверяли и фотографировали сотни раз. Вам пришлют самые точные сведения, что то был я собственной персоной.

- Это все ничего не значит, - ответил следователь, закуривая. - Это будут сведения, начиная с двадцать второго года, а я говорю о том, что было до этого.

- Не могу запретить вам подозревать меня, - возразил Олег, - но моя вина была установлена по свежим следам боевыми отрядами чека, и мне было инкриминировано только то, что я не выдал властям белогвардейского полковника. Наказание за эту вину я уже отбыл. Разве в Советском Союзе можно арестовывать человека на основании самых неясных подозрений и личной неприязни?

- Можно, если это делается в интересах рабочего класса, - ответил следователь. - Вы - махровая контра. Я это чую носом. Лагерь ничему вас не научил, и вы напрасно принимаете такой независимый вид - приказ о вашем аресте уже готов. - Он подошел к столу и помахал какой-то бумагой, однако Олегу ее не показал. - Отсюда два выхода - в тюрьму и на волю!... - и, подойдя к Олегу, он потушил папиросу о его руку. Олег не шевельнулся. - Однако у вас все-таки есть один шанс сохранить свободу, но это будет зависеть от вас.

- Как так от меня?

- А очень просто. Если вы согласитесь приносить нам пользу, мы могли бы с вами договориться.

- Я приношу уже пользу там, где я работаю. Какая же еще польза?

- Может быть и другая, если вы захотите.

Смутная догадка шевелилась в мозгу Олега, но он не находил нужным обнаруживать ее. «Пусть выговорит все до конца подлым своим языком», - думал он.

- Если вы желаете, чтобы я вас понял, говорите яснее, гражданин следователь, - сказал он.

- Могли бы уже понять. Я предлагаю вам заключить с нами некоторое условие, помочь нам кое в чем. У нас есть несколько лиц, за которыми нам необходимо установить наблюдение. Ваши давние знакомства и симпатии в бывших дворянских кругах, ваше умение себя держать с бывшими господами могли бы нам пригодиться. Желаете вы сотрудничать с нами?

- Нет, не желаю.

- Почему же это, Казаринов? Напоминаю вам, что положение ваше весьма шаткое. Ваша

готовность служить интересам Советской власти изменила бы к лучшему ваше положение во всех отношениях. Знать об этом никто не будет. Тайну мы вам гарантируем – это в наших интересах столько же, сколько в ваших.

Олег молчал.

– Вы, очевидно, предполагаете, что мы попросим вас наблюдать за гражданкой Дашковой? Это было бы очень желательно, особенно ввиду неясности в конечной судьбе ее мужа, но если в вас еще так сильны прежние привязанности, мы можем вас освободить от этой обязанности и дать вам список других лиц.

– Не трудитесь! У меня к этому делу нет ни навыка, ни способностей. Хитрить и изворачиваться я не умею. Короче говоря, я не желаю.

Следователь подошел совсем близко.

– А дрова в гавани по пояс в воде грузить желаете? – прошипел он почти над его ухом и опять притушил папиросу о руку Олега.

– Я уже семь лет грузил – привык. Этим вы меня не запугаете.

– Показалось мало? Еще захотели?

Олег не отвечал.

– Ну, так как же, Казаринов, в тюрьму или на волю?

– Агента гепеу вы из меня не сделаете! А запрятать меня, конечно, в вашей власти.

Следователь вынул револьвер и приставил его к виску Олега. Сохраняя бесстрастное выражение, Олег смотрел в окно.

– Вам, что ли, жизнь надоела?

– Да, пожалуй, что и так.

Следователь спрятал револьвер и подошел к столу.

– Вот вам пропуск, чтобы выйти из здания, а вот ваше удостоверение личности. Подпишите, что разговор наш останется в тайне. На днях я вас вызову еще раз. На досуге обдумайте мое предложение. А теперь – уходите.

Олег не верил своим ушам.

Когда он вышел, то удивился, что все еще был день и светило солнце: ему казалось, что он пробыл в этом здании, по крайней мере, полсуток. Странно было опять увидеть залитую солнцем улицу, воробьев и детей, радовавшихся жизни, после этого мертвящего прикосновения бастилии. Он остановился, было, у подъезда и, охваченный внезапной усталостью, прислонился к стене, но тотчас мелькнула мысль, что лучше скорей уйти от этого здания, где, может быть, наблюдают за ним в какую-нибудь лазейку и делают свои собственные выводы. Он побежал за трамваем и вскочил на ходу, лишь бы убраться скорей от проклятого места.

Если бы он знал, что ушел навсегда, он мог бы вздохнуть всей грудью, но Советская власть никого никогда не прощает! Она следит за своими жертвами до последнего их часа и мстит до седьмого колена: лагеря, анкеты, ссылки, лишения прав, «минус шесть», тайный шпионаж, отказ в работе и в прописке – это все идет на всю жизнь за тем, кто раз попал в число врагов, хотя десять раз уже было отбыто положенное наказание! За ним теперь наверняка будет установлено наблюдение: Катюша первая не устоит против приманки или угрозы... ему и Нине придется взвешивать каждое слово.

Он увидел, что трамвай завозит его куда-то в сторону и, выйдя на первой остановке, пошел, не думая о том, куда идет.

Кого напоминал ему этот следователь? Напоминал кого-то, знакомого с детства... И вдруг он вспомнил кого... Когда восьмилетним мальчиком он поправлялся после скарлатины, мать читала ему вслух Киплинга. И он и маленькая сестричка особенно любили «Рики-тики-тави», который охотился за Нагом – страшной коброй с зелеными глазами и гипнотизирующим взглядом. Наг этот казался Олегу необыкновенно отвратительным, особенно когда он обвинил шеей кувшин и заснул. Образ этого Нага настолько прочно завладел тогда его воображением, что позднее стал для него олицетворением нечистого духа, с которым ассоциировалась мысль о

загробных мучениях. Если жизнь его будет греховна, он будет отдан после смерти во власть этому Нагу, и тот обовьется вокруг его груди и станет медленно душить. Это не описано в дантовском «Аде», но эта та казнь, которая будет для него!

«Это все, но это будет вечно!» – говорил он себе словами любимого Гумилева. Этого-то Нага и напоминал теперь следователь, который явился душить его жизнь, если не мог душить за горло! Глаза тоже холодные и злые, и тоже гипнотизируют, и весь он как будто все время хотел, но только не смел извиваться по-змеиному – не смел выдать родство с Нагом. Задавая вопрос, он всякий раз начинал ерзать на стуле, как будто примеривался прыгнуть на свою жертву, и вместе с тем ерзанье это его, по-видимому, распаяло, являлось способом привести самого себя в ярость.

«Я воображаю, каков он в застенках, где уже ничто его не сдерживает», – думал Олег. Легкая боль в правой кисти заставила его взглянуть на руку и он увидел красное пятнышко от папиросы, точно укус змеи! Жить в ожидании нового вызова, новой встречи с этой ядовитой коброй, одна мысль о которой вызывала дрожь омерзения... «Нет, больше я туда не пойду! Плохую услугу оказала мне Нина тем, что выбросила мой револьвер. Он бы теперь пригодился! Но где же это я?» Он остановился и огляделся – почему-то он оказался около греческой церкви. Куда идти? Что делать с собой? Он знал, что тоска пойдет за ним, куда бы он ни пошел. Эта тоска только стала расходиться, светлеть, а вот теперь опять сгустилась и словно стена сплошным мраком встала вокруг него, почти физически давила грудь.

Тело матери, брошенное на кучу мусора, и воющая рядом собака... – неотступно стояли перед его глазами.

Был уже седьмой час. В семь он должен быть у Елочка – у нее какое-то дело, придется идти. Он вспомнил, что небрит, и завернул в первую попавшуюся парикмахерскую, потом позвонил Нине из автомата. Усталость все усиливалась, он чувствовал, что еле идет. Со вчерашнего дня он ничего не ел, так как утром и у него, и у Нины кусок останавливался в горле. Силы его после лагеря, по-видимому, еще не восстановились: раньше он мог не есть и не спать несколько дней подряд, а теперь всякий раз при этом охватывала мертвящая усталость, переходящая в потерю сил. Чувство одиночества и обреченности усиливалось тоже.

«Войду ненадолго, придумаю какой-нибудь предлог, извинюсь и уйду», – думал он, нажимая кнопку звонка.

Ему отворила незнакомая женщина неинтеллигентного вида, в платочке. Еще три женщины в этом же роде стояли здесь же, в кухне, в которую он попал прямо с лестницы. Когда он спросил, можно ли видеть Елизавету Георгиевну, все повернулись и в упор уставились на него самым бесцеремонным образом. Точно так же они продолжали пялиться, пока он кланялся выбежавшей навстречу Елочке и проходил следом за ней. Оживленный говор послышался позади них, как только они вышли из кухни.

– У вас здесь, кажется, любопытная публика, – сказал Олег. – Может быть, я своим появлением скомпрометировал вас?

– Было бы перед кем! – с невыразимым презрением отчеканила Елочка. – Никакого внимания не обращаю на этих кумушек и их толки! – и пропустила его в комнату.

– Как у вас хорошо! – сказал он, оглядываясь. – А вот этот образ – Нерукотворный Лик, кажется, еще византийского письма?

– Да, старинный, семейный – ответила Елочка. – Вскоре после того, как он был вывезен из имения – там сгорел дом, и между крестьянами ходила молва, что так случилось, потому что «Спас ушел». Садитесь, пожалуйста.

Едва они перекинулись несколькими словами, как послышался стук в дверь. Это был политический акт, разработанный экстренным собранием кумушек в кухне. Они были уверены, что Елочка появится на пороге не тотчас и несколько в ином виде... скорее всего в халатике. Было очень заманчиво пристыдить эту гордячку, и ради такой высокой цели одна из них взяла на себя смелость постучать. Елочка, предчувствуя что-нибудь в этом роде, в ту же минуту выросла на пороге.

- В чем дело? - спросила она.

Женщина замялась, потом пробормотала:

- Одолжите стопочку подсолнечного масла.

Пожав плечами, Елочка извинилась перед Олегом и вышла. На ней были мягкие туфельки - возвращаясь, она подошла к своей двери неслышно и с порога увидела, что Олег припал лицом к бархатной спинке дивана. Это была секунда; услышав скрип двери, он мгновенно принял корректную позу, но она успела заметить.

- Что с вами? - очень мягко спросила она, подходя. - Не болит ли у вас голова?

- Нет, нет, благодарю! - ответил он, вскакивая.

- Вы очень бледны. Я с самого начала заметила. Что-нибудь случилось?

- Ничего, уверяю вас, устал немного.

Но она пристально и тревожно всматривалась в него:

- Пожалуйста, садитесь и скажите... скажите мне правду! - и видя, что он колеблется, прибавила: - Вас не вызывали ли в гепее?

- Елизавета Георгиевна, - сказал он тогда, - вы не только умны, вы очень проникательны. Да, я как раз оттуда, но вы не беспокойтесь, я не привел за собой никакого шпики. Я специально проверил. Есть один безошибочный способ...

Но она перебила его:

- Ах, это неважно! Я вовсе не так пуглива. Говорите, зачем вас вызывали. Мне можно сказать все, уверяю вас.

Он начал рассказывать, очень коротко, как всегда, когда говорил о себе: это хоть и согласовалось с требованиями хорошего тона, всякий раз не удовлетворяло Елочку, она предпочла бы, чтобы он был в этом случае менее воспитан. После нескольких слов он остановился - тоска и отвращение мешали ему говорить.

- Это возмутительно! Нигде ни при какой власти так не было! - воскликнул он. - Для них не существует разницы между политическими и уголовниками. Они третировали меня, как вора или убийцу. Вы не представляете себе этого обращения! Щелкнут револьвером у самого лица: «Молчи! Раздевайся! А ну, раздевайся!.. молчи!» Что-то неслыханное!

- Ах, вот что! Раздеваться заставляли, - сказала она.

- Да, осматривали следы ранения, очевидно, в виде особых примет. Даже врача вызывали. В этом пункте мне кое-что неясно: я ожидал, что тут-то меня и уличат - а вот отпустили. По-видимому, сведения из госпиталя, перепутаны.

Елочка молчала. «Невеликодушно будет рассказывать, что это я спутала следы. Я бы точно напрашивалась на благодарность! - думала она. - Я хотела его предупредить, но предупреждение мое запоздало».

- Подлецы! - продолжал взволнованно Олег и стал ходить по комнате. - Они осмелились мне предложить стать их агентом и бегать к ним с доносами... пытались застрашать! Они не понимают, что такое чувство чести, которое с детства заложено в нас. Я еще не арестован, а они уже приставляют револьвер к виску. Безнаказанно убить, задушить - им все нипочем! Ответ один: в интересах рабочего класса! Они еще во время гражданской войны показали свою жестокость! В Ростове они подожгли госпиталь с ранеными и оставили их погибать в огне. В Харькове пленным офицерам вырезали глаза и уши, прежде чем расстрелять. В Киеве... Киев они затопили кровью. Когда мы его отбили, все городские сады оказались полны казненными, на площадях красовались десятки виселиц... В Липках, где в одном из особняков обосновалась чрезвычайка, были обнаружены горы трупов и все стены забрызганы мозгами и кровью. Это рассказывает вам очевидец! Тела свозили потом день и ночь в анатомический театр для массовых захоронений, сколько было девушек, дам! По всему городу шли непрерывные панихиды... А в Петербурге после взятия Зимнего? А в Ярославле? В Крыму цвет русской интеллигенции расстреливали по приговору чека китайцы, и Европа допустила это! Ну а теперь? Ведь теперь нет военных действий; нет сопротивления, никакой остроты момента, и, однако же, эта недопустимая, неслыханная, небывалая жестокость продолжается. В ней есть

что-то не русское, не наше. Русские жестокостью никогда не отличались. Наша толпа может расщипать, и тогда она страшна, как и всякая толпа, но жестокость толпы – нечто стихийное, проходящее, а ведь здесь жестокость преднамеренная, входящая в систему. Эти сети лагерей, эти пытки в подпольях, где оборудована вся аппаратура вплоть до глушителей... Во всем этом что-то несвойственное нам, что-то чужое!

- Чье же? – спросила, трепеща, Елочка.

- Не знаю. В цека очень большое количество евреев, вообще в партии. Сейчас они, несомненно, в чести, очевидно, как угнетаемое нацменьшинство. Директора крупных учреждений, политруки, лекторы по марксизму – евреи в огромном большинстве... Но они не жестоки! Я их терпеть не могу – они способны высосать из человека все соки, как пиявки, но они не жестоки, даже отзывчивы, когда можно, когда неопасно. Нет, эта жестокость скорее азиатская, а все в целом – гнусный сплав нашего отечественного хамства, еврейского самого злостного вампиризма и азиатской свирепости. России больше нет! Даже имя ее не произносится! Недавно на службе я сказал нечаянно: «У нас в России», и мой начальник-еврей меня поправил: «У нас в Союзе». России больше нет! А с моим поколением безвозвратно погибнет и белогвардейская идея о ее возрождении, – идея, ради которой полегло столько жертв!... «О, Русь, забудь былую славу!»

Елочка следила, как он взволнованно мерил шагами комнату, словно тигр, запертый в клетку.

- А вы не думаете, что за всем этим стоят оккультные силы, что этот сплав – продукт темноты!

- дрожащим шепотом решила она высказать заветную мысль.

- Бесы? Не знаю... Может быть, – ответил он.

Елочке показалось, что он недостаточно оценил эту мысль, но усталый звук его голоса коснулся ее сердца. Она встала выключить электрический чайник, который уже в течение нескольких минут шипел и плевался, и сказала опять с той же мягкостью, которая звучала в ее голосе только в обращении к Олегу:

- Вы прямо «оттуда» и устали. Вам надо поддержать силы. Я вам налью стакан крепкого чаю...

Пожалуйста, не отказывайтесь, -и стала накрывать на стол.

Через несколько минут Олег сказал, мешая ложкой чай:

- Теперь я в приятном ожидании: следовательно сказал, что прийдет на днях новое приглашение. Жить, предвкушая новый допрос... Благодарю покорно! Впрочем, я туда больше не пойду!

- Как не пойдете? Если получите повестку, придется идти. Иначе ответите за уклонение. Олег Андреевич, не теряйте благоразумия.

Он молчал, как будто что-то обдумывая.

- Ну, да об этом рано говорить, поскольку приглашения еще нет, – сказал он через несколько минут.

Она коснулась его руки:

- Да вы о чем думаете? Вы должны беречь себя, для России беречь. Быть может, придет минута, когда будут нужны как раз такие люди – с военным опытом, с именем, с несокрушимой энергией и преданности делу!

Он взглянул на нее загоревшимся взглядом.

- О, если б такая минута пришла! Россия, Родина! Если б я знал, что доживу до ее освобождения, что еще могу быть полезен! Кажется, только в этой мысли я могу почерпнуть желание жить. Бог свидетель – я совсем не думаю о своих выгодах, о том, чтобы вернуть потерянное состояние или привилегии, или титул. Пожалуй, я даже не хотел бы реставрировать монархический строй. Я был связан с ним семейными традициями и привязанностями, но этих людей уже нет, а действительность показала, что эта форма правления уже отжила. Я думаю теперь только о России. Нужен строй, при котором наш великий народ действительно получил бы возможность выправиться и расцвести и развить свои лучшие свойства. Погибнуть в боях, которые сметут с лица земли это подлое цека – на три четверти нерусское, – вот все, чего я хочу для себя, в этом все мое честолюбие! Вы знаете, там,

в лагерях, мне мерещилось иногда всенародное ополчение, подобное Куликовской битве или Смутному времени, – могучая, светлая устремленность всего народа, решающая великая битва, хоругви, знамена, звуки «Спаси, Господи, люди твоя» и колокольный звон! Но прежде чем это осуществится, я, наверное, погибну на дне их подвалов. Все глухо, все оцепенело – ничего, что могло бы предвещать желанный бой!

Елочка слушала как зачарованная, не смея пошевелиться, каждая жилка в ней дрожала. О да! Он способен на подвиг! В нем еще не сломлен дух его великих предков. Он такой, каким она хотела его видеть: «мой Пожарский!»

Кто-то постучал в дверь. Елочка с досадой пошла отворять и едва не ахнула: перед ней стояла Анастасия Алексеевна, а за ней, подталкивая друг друга локтями, три кумушки.

В одну минуту Елочка учла всю сложность положения: она отлично поняла, до какой степени она себя скомпрометирует, если не разрешит войти Анастасии Алексеевне, но поняла и то, что нельзя допустить ни в каком случае, чтобы она увидела и узнала Олега. Она пошла ва-банк – встала перед дверьми, заслонила их собой и сказала:

– Анастасия Алексеевна, милая, извините меня, я не могу вас принять сейчас.

Но когда, проводив обратно в кухню, сконфуженную и извинявшуюся гостью, она закрыла входную дверь и повернулась, то оказалась лицом к лицу со всем женским составом квартиры: все, хихикая, оглядывали ее – туалет Елочки был в загадочном порядке, вплоть до белого воротничка и черного бантика у горла, однако в комнату она не пустила... «Из постели выскочила...» – долетели до ее ушей шепотом сказанные слова.

Она быстро обернулась и смерила взглядом говорившую. «О, женщины – ничтожество вам имя» – вспомнилось ей. «Молодой мужчина пришел к одинокой женщине... Для них это то же, что оставить вдвоем кота и кошку. Им даже присниться не могут отношения более тонкие. Дальше комариного носа они не видят. Да я такого разговора, какой был сейчас у нас, ни на какие объятия и поцелуи не променяю».

Подымаясь, чтобы уходить, Олег спросил:

– У вас было какое-то дело ко мне? Рад быть полезным.

– О нет! Пустяки: мне предложили урок французского, а я к этому не привычна. Не хотите ли бы взять?

Он поблагодарил, записал телефон, и у него не мелькнуло догадки, что она отдала ему заработок, которому очень обрадовалась сначала, имея в виду тратить его специально на книги.

Сколько теплых слов хотелось ей сказать Олегу, когда она прощалась с ним! Как хотелось ей крепко сжать его руку! Но она ничего не посмела, лишь отрывисто шепнула:

– Держитесь! Думайте о грядущей битве! Все остальные мысли – слабость!

Вечером она глубоко задумалась около уже приготовленной на ночь постели. История не идет назад! Совершенно очевидно, что реставрация монархии явилась бы нелепостью, как реставрация Бурбонов во Франции. Странно, что он сказал: «Пожалуй, я не хотел бы реставрировать монархический строй», – а вслед за этим: «Монархические формы правления явно отжили». Тут есть идейное несоответствие. Какая нужна Тебе форма правления, какая? – прибавила она и закрыла глаза, мысленно обращаясь к потустороннему дивному Лику, взлелеянному на дне воображения. – Знаешь, я боюсь за Тебя: боюсь и текущей страшной действительности, и новой гражданской войны и вмешательства иноземцев. Они, как шакалы, бросятся расхватывать лакомые кусочки, они вернут Тебя к пределам времен Иоанна Грозного. Я этого не хочу. О, если б знала Ты, как я болею за Тебя душой! Исцели Свои раны силами Своего же народа, Сама, изнутри. И да не вступит никто, никто на нашу землю. Омой, очисти Себя Сама, моя Русь, моя Святая!

И встала на колени, закрывая руками лицо.

В этот же момент в сознании ее отчетливо проплыли строчки любимого стихотворения, нарочито измененные:

Ранят тело Мое трисвятое!  
Мечут жребий о ризах Моих!

Елочка замерла, не смея пошевелиться, чтобы не спугнуть очарование минуты. Она отнесла ее к числу неповторимых, как минуту, напоминающую общение с сознанием высшего плана. Но нашла ли еще хоть одну послушную мембрану эта нежная жалоба, упавшая с высоты, запечатлелась ли еще хоть в одном сознании?

## Глава двадцать шестая

### ДНЕВНИК АСИ

19 апреля. Я так много ждала от этого воскресенья, а оно принесло мне только грусть. Ожидая Олега Андреевича, я уже совсем готовая стояла перед бронзовыми часиками, которые на камине и, глядя на стрелку, думала, что она, словно нарочно, почти не двигается! В эту минуту вошла мадам и сказала, что monsieur le prince звонил только что и просил передать мне свое извинение, он не может идти со мной в музей, так как занят. Я тотчас спросила, когда же он теперь придет? Мадам ответила, что он ничего не сказал об этом. А почему же вы не позвали меня – спросила я; мадам объяснила, что она готова была идти за мной, но он уверил ее, что не стоит беспокоиться, так как ничего больше не имеет мне сообщить! Как это вам понравится? Сразу все словно бы померкло для меня, стало так серо и пусто! Не пришел и даже передать ничего не захотел... что же это? Мне теперь кажется, что я не должна была целовать его: может быть, он считает теперь меня дурочкой или невоспитанной? Или разочаровался во мне и не хочет видеть меня? День тянулся таким тусклым и вялым, я бродила с места на место, не зная чем заняться, играла без одушевления, вечером пошла рано спать и даже немного поплакала в постели. Как это могло выйти, что я росла около моей бабушки, под неусыпным надзором мадам, и вот до сих пор не научилась прилично вести себя? Очевидно, я очень испорченная! Ведь не целуются же Леля и Елочка!

20 апреля. Сегодня с утра так же серо и скучно, та же тоска, а вопросы бабушки и мадам «Что с тобой? Здорова ли?» – невозможно раздражают. Я знаю, что все это делается из очень большой любви ко мне, но уж лучше оставили бы меня в покое. Мне сейчас ничего от них не надо, мне хотелось бы, как раненому зверьку, спрятаться в свою норку, чтобы никто меня не тревожил. Вчера весь вечер неподвижно высидела на диване, не спуская глаз с телефона; сегодня предавалась этому же занятию, и опять напрасно. Сейчас пора идти спать; я знаю, что опять буду плакать ночью!

22 апреля. Со мной делаются иногда странные вещи: в некоторые дни я просыпаюсь иногда с ощущением света. На каждой вещи в моей комнате словно бы лежит невидимый отблеск, во всем особенная прозрачность и легкость. Это чувство обычно сопутствует мне в течение всего дня, если что-либо особенно неприятное не спугнет его. Откуда оно приходит – не знаю, я не умею управлять этим ощущением. И вот сегодня утром я проснулась с ним; оно было так сильно, что мне не хотелось двигаться и разговаривать. Я лежала, боясь пошевелиться, отдаваясь этой странной блаженной легкости. Потом, конечно, пришлось вставать, умываться, одеваться, пить чай – чувство это ослабело, но не ушло совсем. И вот, во власти этого чувства, я вдруг ясно припомнила, как Олег Андреевич, стоя на лестнице, смотрел на меня, когда я, убегая после поцелуя, взглянула на него сверху. Он стоял, слегка закинув голову, и провожал меня взглядом, и из глаз его шли на меня большие, светлые, длинные лучи, которые ласкали и золотили. Я так и вижу эти лучистые глаза! В них совсем не осталось печали, в лице не осталось обычных скорбных теней. Если бы он разочаровался во мне, не мог бы он так смотреть! Мне вдруг это стало совершенно ясно. Как могла я забыть его лицо и дать такое толкование случившемуся? Ведь тогда вечером, после поцелуя, я сто раз приводила себе на память выражение его глаз, а потом, после телефонного звонка, от досады и обиды попала в круг самых банальных, мелко-самолюбивых мыслей – не хочу даже вспоминать их. Я знаю, что

минута поцелуя была прекрасна, и если он не пришел, были другие причины, другие, - но не разочарование... Что-то идущее извне и временное, но вот что?

23 апреля. От Олега Андреевича по-прежнему нет вестей. Я мучительно остро чувствую, что мне сейчас ни до кого и ни до чего нет дела. Я хочу любить только одного, думать только об одном. Мне хочется просить всех оставить меня в покое. И вот, словно нарочно, как раз в этот день заговорил о своей любви Шура и сделал мне предложение! Он пришел в музыкальную школу, чтобы проводить меня домой, на что уже давно имеет разрешение бабушки. Погода уже несколько дней как испортилась, шел грязный мокрый снег, под этим снегом он бежал следом за мной, стараясь занять разговорами, а я все ускоряла шаг и через силу отвечала ему, погруженная в свои собственные думы. В подъезде мы остановились, отряхиваясь. Он снял с меня бывшего соболя, а потом, надевая его мне на шею, вдруг говорит: «Я люблю вас! Вы это уже давно знаете. Будьте моей женой, и счастливее нас не будет никого в целом мире». Ну уж нет! Как же так мы будем самыми счастливыми в мире, когда, конечно, будем ссориться с утра до ночи! Ведь если он говорит «белое», я сейчас же скажу «черное». Сам же он назвал меня Ксантиппой. Я хотела все это объяснить ему, но его круглые черные глаза смотрели на меня так умоляюще, что я сказала нечаянно совсем другое: «Вы такой добрый, умный и милый, Шура; вы заслуживаете большой любви, а у меня ведь ее нет - и я не смогу дать вам счастье. Пожалуйста, не обижайтесь на меня». Прощаясь со мной, он поцеловал мне руку - это было первый раз в жизни - и сказал: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Цитата эта и вся корректность его поведения заставили меня как-то по-новому на него взглянуть: он словно вырос в моих глазах, но чем же я виновата, что полюбила другого? Если вообще можно неудачно выбрать время для предложения, то он выбрал наименее удачное - бедный неудачник Шура!

24 апреля. Вчера в 9 часов вечера раздался звонок. Я вообразила, что это он, и меня охватило сумасшедшее волнение - сразу бросилась к иконе. Но пришла всего только старая графиня Коковцева. Она отлично могла бы остаться у себя дома: никто по ней не соскучился.

25 апреля. Еще один день без весточки! Что же разъединяет, что?

Эти Хрычко очень мало любят своих детей: на закуску и водку у них всегда есть деньги, а дети голодают. Младший мальчик, Павлютка, такой худенький и бледный. Ему только пять лет, а мать постоянно оставляет его одного. Она уходит то в гости, то в баню на целые часы, а ребенок тоскует. Мне слышно, как он скулит, не плачет, а именно скулит - жалобно, как больной щеночек. Сегодня я не выдержала: я вошла в их комнату и спросила: «Что с тобой? Болит что-нибудь?» Он ответил: «Мамка ушла и сказала, что Едька (его брат) принесет мне булку, а Едька не возвращается, я знаю - он пошел не в булочную, а в кино». Я принесла ему французскую булку, а бабушка рассердилась, она сказала: «Мне не жаль булки, но я хочу, чтобы ты поняла, что мы должны держаться как можно дальше от этих людей. Это не наш круг. Мальчишка расскажет, что ты входила в комнату, и еще неизвестно, как это будет перетолковано. Твои самые лучшие чувства могут быть оплеваны этими людьми». Может быть, это и так, но зачем иметь «самые лучшие чувства», если нельзя давать им ход? Этот мальчик такой заброшенный и бледный до синевы - неужели мы должны приучить себя смотреть на это равнодушно? Бабушка сказала недавно: я очень люблю детей, но не пролетарских! А мадам прибавила, что у пролетарских детей всегда текут носы. Конечно, это некрасиво, но я все-таки не могу согласиться ни с бабушкой, ни с мадам. Нет, бабушка детей не любит.

26 апреля. Страстной понедельник. Неужели все кончено? Неужели он решил, как ножом перерубить нить отношений? Почему он не хочет видеть меня, почему избегает? Моему уму кажется, что я имею неопровержимое доказательство его холодности, но другое, более глубокое чувство говорит мне, что он меня любит, любит, любит, что его отсутствие и молчание коренятся не в равнодушии или холодности, а в чем-то другом. Есть какая-то причина, неизвестная мне! Он, уже так много перестрадавший, такой сдержанный, не стал бы говорить те слова, которые я не могу забыть, если бы никакого действительного чувства не было для меня в его груди. И глаза его не светились бы, если б он не любил меня! Отчего же

он не приходит?

«Я уже покалечен жизнью», – не могу забыть этих слов! Меня волнует, тревожит, мучит его состояние! Отчего нельзя пойти к нему и прямо просто сказать: «Я вас люблю также глубоко, как вы меня, возьмите мою жизнь, чтоб быть счастливым!» Почему же это нельзя? Это можно, и, наверно, есть женщины, у которых достаточно смелости поступить так и спасти, может быть, жизнь человеку... А вот я не могу... не могу! Что-то сильнее меня самой заставляет меня не только ни в чем не идти навстречу при нашем сближении, но даже как будто защищаться, свертываться. Что это за сила? Инстинкт ли, нечто ли привитое воспитанием, что, передаваясь из поколения в поколение, во мне образовало целый кокон шелковых нитей, которыми я вся опутана – не знаю, не могу понять. Иногда это мной ощущается как нечто досадное даже! И вот потому, может быть, что я запрятана в этом коконе, он не подозревает о том, что я чувствую, и не решается, не смеет или просто считает тщетным приходить, говорить, писать? И я это понимаю, и все-таки не могу обнажить своей души и выйти из кокона, где рощу крылья, превращаясь в бабочку. Я точно боюсь порвать эти тончайшие ниточки – бабочка еще не готова!

27 апреля. Страстной вторник. Дома уже начинаются приготовления к Пасхе. Утром мыли окна и выколачивали ковры. Творог уже куплен и лежит в столовой под толстыми книгами. Когда я была маленькой, я всегда бегала смотреть, сколько накапало из творога, когда он так же отжимался под лоханкой, и звуки капель напоминают детство. Я была у вечерни и слушала «Чертог Твой» и «Се жених». Эти песнопения такие красивые и такие грустные! Вернувшись, я забралась в кресло в бабушкиной спальне и долго смотрела на огонек в голубой лампадке перед старинной божницей. Я чуть не плакала – так мне было грустно! Я не переставая думала об измученном одиноком человеке. Я чувствую, что его душа ищет, зовет мою. Я знаю, что я нужна ему. Его судьба была трагична, а я была счастлива почти каждый день моей жизни! Меня истомило желание утешить его и согреть. Неужели он не понимает, что когда любишь в первый раз, не можешь обнаруживать своего чувства легко и свободно? Неужели он не умеет проникать в душу через оболочку, через манеры, через слова и ничего не увидел во мне такого, что подало бы ему надежду? Если бы он только знал, что целый день с утра до ночи я только о нем думаю, что холод мой только наружный, что я не могу забыть ни одного его слова! Если бы он это знал, может быть, светлее бы стало в его душе. Я точно вижу, как бегут его слезы – они непривычны и странны этим глазам. Только я могу их остановить, только я! Одинокий... Да знаешь ли ты, что я люблю тебя? Не придет... И никогда больше не засияют, не засветятся эти глаза? Я не хочу, чтобы так было!... Не хочу!

В страстную среду вечером Нина сидела с Натальей Павловной в ее уютной спальне. Дрожащий огонек лампадки освещал полные слез глаза и растрепавшиеся волосы Нины. Этот трагический отпечаток, характерный для ее лица, составлял оригинальный контраст с мраморными чертами Натальи Павловны.

– Иногда мне так хочется бросить все и теперь же уехать к Сергею, – говорила она, вытирая глаза. – Но Мика... Как оставить его? И как жить без заработка? Ведь для скрипки там работы нет, очевидно, и для пения! Это, по-видимому, просто село. Сейчас я все-таки содержу себя и брата. И на посылки Сергею могу выделить, а если я все брошу и уеду, мы окажемся без средств. Кроме того, я потеряю комнату – комнату в Ленинграде! Это значит остаться навсегда бездомной. Теперь все так невыносимо осложнено. Боже мой! Когда-то институтками мы проливали слезы над судьбой Трубецкой и Волконской, насколько же хуже наш собственный жребий! Им было кому оставить детей, на которых не ложилось никакого пятна, их личной свободе ничто не грозило, и в любую минуту они могли вернуться к родным, их дом оставался полной чашей... А мы! Несколько квадратных метров жилплощади и несчастная зарплата превращаются в неодолимое препятствие, перед которым ты волей-неволей останавливаешься, хотя готова отдать человеку жизнь!

– Ну, успокойтесь, успокойтесь, Ниночка! Сколько бы вы ни плакали, слезами не поможете, –

Наталья Павловна говорила со своим обычным самообладанием. – Поезжайте сначала на время, а там видно будет. Как только устроится продажа рояля, я всю эту сумму тотчас отдам вам на поездку к Сергею. Он все эти годы заботился только о нас, и я дала себе слово устроить вашу встречу. Возьмите очередной отпуск и дополнительно за свой счет и поезжайте на месяц или полтора. А Мику вашего я возьму к себе на это время. Только не ждите церковного венчания, Ниночка: это новостройка, и церкви там, конечно, нет, зарегистрируйтесь и поселяйтесь вместе, иначе ваш брак отложится на очень неопределенное время.

Тонкая улыбка скользнула по губам Нины: до чего наивна была, несмотря на свои 66 лет, эта старая дама! Она не представляла себе, по-видимому, их отношений и в своей материнской любви хотела сама сблизить их, лишь бы скрасить жизнь сыну.

А Наталья Павловна продолжала:

– Если позднее окажитесь вместе там, где будет церковь или хотя бы священник, – повенчаетесь. Мы поставлены в такие условия, что волей-неволей приходится изменять самым заветным традициям. Но ведь говорит же апостол Павел, что браки священны и у язычников, то есть как союз двух любящих, независимо от вероисповедания. Понимаете ли, Ниночка?

Нина поцеловала руку Натальи Павловны с тем покорным видом послушной девочки, который она часто принимала в этом доме, невольно вспоминая себя в 20 лет перед княгиней Софией Николаевной.

– Постараюсь устроить отпуск, думаю, что дадут. Надо мной ведь еще один дамоклов меч, – и она рассказала разговор с дворником и вызов Олега в гепееу.

– Если они дознаются, кто он, они дадут мне лет пять лагеря, ну а его... Его прямым сообщением на тот свет. А может быть, меня вышлют, но совсем в другое место, не туда, где Сергей. Сибирь огромная, страшная и от нее веет такой тоской!

– Мне кажется, что со стороны Олега Андреевича было несколько неосторожно поселиться у вас и открыто встречаться с вами, – задумчиво сказала Наталья Павловна. – Этим он навел гепееу на след и сделал хуже себе же.

– Может быть, но, видите ли, он уже с двадцать третьего года Казаринов, и до сих пор в этом отношении все обстояло благополучно... потом... Олег говорил, что когда был убит Дмитрий, он успел подбежать к нему и Дмитрий повторял, умирая: Нина... ребенок... Нина, как будто поручая нас ему. Воля умирающего... Нельзя винить Олега, что он разыскивал нас. Когда же он узнал, что ребенок мой скончался, а я невеста Сергея, он хотел уйти от меня, но куда? Наталья Павловна, куда? Ведь такие тиски, такие препятствия со всех сторон! Он почти умирал с голоду, я сама не пустила его. Надо было скорее прописать его, чтобы устроить на работу. Нельзя же было вытолкать за дверь обессиленного человека!

Тихие шаги послышались за ее креслом...

– Ася, ты, деточка? Ты уже вернулась?

– Да, бабушка. В церкви народу было так много, что тете Зине дурно сделалось. Я хотела принести огонек, но на улицах группы каких-то людей останавливают богомольцев и задувают свечи, а милиция им содействует. Тетя Зина сказала, что нельзя нести огонек или придется иметь дело с ними. Пришлось задуть мою свечечку, – и после минуты молчания, она спросила тихо: – Вы про Олега Андреевича говорили?

– Да, – и Нина бросила на девушку внимательный взгляд.

– Его там очень... очень мучили? – и голосок Аси дрогнул.

– Он неохотно рассказывает, но кое-что все-таки говорил. Знаю, что грузил дрова, стоя по пояс в воде по десять часов, конечно, был впроголодь... Потом там чрезвычайно жестокая система наказаний: деревянные срубы без окон и дверей, куда запирают на ночь в лютые морозы без верхней одежды и обуви. Да, да! Поверить трудно, но это так! Он сам это испытал два раза. Запирают, да еще приговаривают: «Вам не нравится власть советская, так вот отведайте власти соловецкой!»

– В чем же провинился Олег Андреевич? – спросила Наталья Павловна.

– Один раз, когда они шли строем на работу, старый мужчина, шедший впереди Олега,

выронил какую-то бумажку, а Олег наклонился и подал ему. Разом подняли свист и тревогу: конвойные вообразили, что они обменялись секретными сведениями и затевается побег. Всех тотчас окружили и обыскали, и хотя ничего не нашли, но и Олега, и старика засадили на всю ночь, а мороз был 20 градусов.

- Ужасно, - сказала Наталья Павловна.

Ася молчала.

- Другой раз при нем поволокли в карцер женщину, - продолжала Нина, - тоже политическую - эсерку. Олег говорил - еврейка. Она громко кричала: «Мы не за это боролись! Вы - узурпаторы революции! Вы давно превзошли жестокостью царских жандармов!» Тогда они, чтобы заставить ее замолчать, очень грубо навалились на нее, зажимая ей рот. Тут несколько мужчин из заключенных, в том числе Олег, бросились на ее защиту. Получилась потасовка. За это им прибавили по полтора года каждому к назначенному сроку, так что он вместо шести лет высидел семь с половиной.

- А еврейка? - обрывающимся голосом спросила Ася.

- С тех пор как в воду канула. Расстреляли, наверное.

Несколько минут все молчали.

- Я этих лагерей боюсь как огня! - продолжала Нина с остановившимися глазами, полными ужаса. - Счастье, что Сергея миновал этот жребий.

- Когда же выпустили Олега Андреевича? - спросила Наталья Павловна.

- Этой только осенью, в октябре. Месяц он проработал там же вольнонаемным, чтобы собрать хоть немного денег на дорогу, так все делают, а потом в течение двух месяцев добирался сюда. Дорогой окончательно измучился: надо было огромные расстояния идти пешком по тракту. Там, около Кеми, в ноябре уже снега, от деревни до деревни много верст, одежды теплой у него не было, а крестьяне не хотят пускать на ночлег: принимают всех прохожих за беглых лагерников и боятся отвечать за укрывательство. Видно, тоже напуганы. Один раз даже комический случай был: в одно село Олег вошел ночью, никто его не хотел пускать в дом, гонят от ворот, даже камни бросают, как в собаку. Все село спит, ворота на запоре, сугробы... а он страшно прозяб и изголодался. Говорит: думал, что упаду тут же на улице. С отчаяния стал разыскивать отделение милиции. Вдруг его кто-то хват за ворот - «Стой! Откуда взялся? Предъявляй сейчас свои документы!» Милиционер! Олег обрадовался ему, как другу: вас-то, говорит, я и ищу! Ну, взяли его на ночь в часть, усадили у печурки и даже щей горячих дали. Добрые милиционеры попались. Другой раз он на одном переходе волка встретил. Волк был, по-видимому, такой же голодный и полуживой, как сам Олег, - тащился сзади, а нападать не решался. Олег хромал - у него нога была стерта от негодных сапог, а волк тоже припадал на лапу - из капкана, что ли, вырвался? Олег рассказывал: «Я иду, да время от времени обернусь и посмотрю на приятного спутника, а он остановится и тоже посмотрит на меня - лязгнет зубами да слюну проглотит: дескать, рад бы съест и уже съел бы, да маленько опасаясь».

- Чем же это все кончилось? - спросила Наталья Павловна.

- Олег набрел на палку, которая валялась на снегу. Он замахнулся и по-охотничьи заулюлюкал, волк убежал. Но вы представляете себе, в каком виде Олег вернулся после таких удовольствий? А здоровье уже не то, что было раньше: ведь у него ведь в боку осколок. Его хотели положить на операцию, да он не хочет.

- Почему не хочет? - спросила Ася.

- Говорит, что зарабатывать нужно, говорит, что здоровье его никому не нужно... Мне иногда кажется, что он близок к тому, чтобы покончить с собой. Он однажды уже делал попытку застрелиться... К счастью, неудачно.

Ася перехватила ее руку:

- Стрелялся?

- Да. Это было примерно на Рождество. Револьвер дал осечку. Я выкрала после этого его револьвер и забросила его в Неву.

- Но ведь он может еще раз... иначе!

- Этого и я боюсь. Видите ли, Ася, у него было слишком много потерь и горя. Если бы он мог найти в ком-нибудь утешение... хоть какая-нибудь радость, цель в жизни... а так...

Нина опять покосилась на девушку.

- А почему он перестал бывать у нас? - и щеки Аси запылали.

- Его на днях вызывали в гепееу, по-видимому, заподозрили подлинность его документов. Пока туча прошла стороной, но он считает свое общество опасным и не хочет подводить друзей.

Часы на камине пробили десять.

- Ася, твоя ванна, наверно, уже готова, простись с Ниной Александровной и иди, - сказала Наталья Павловна. - Она не будет пить с нами чай, Ниночка.

- Отчего же? - спросила Нина.

- Она ведь завтра причащается.

Ася подошла к Нине и обняла ее за шею, прощаясь.

- А сегодня... сейчас он ничего над собою не сделает? - прошептала она дрожащими губами.

Утром Ася стояла в церкви в ожидании Причастия. Ее глаза смотрели вперед, на алтарь, за которым только что таинственно задернулась завеса.

«Господи, прости меня! Я знаю, я очень дурная! Я ленюсь помогать мадам и так часто оставляю ее одну возиться и в кухне, и в столовой. Я совсем бросила штопать чулки - все одна мадам. На днях я не захотела даже сбегать в булочную. Я и к бабушке недостаточно внимательна: часто она грустит у себя в спальне, а я хоть и знаю, да не иду, если книга интересная или на рояле играть хочется. Иногда бывает, что я целый день даже не вспомню о дяде Сереже. Я раздражаюсь на Шуру Краснокутского, а он так любит меня, так всегда терпелив и бережен. Я слишком много смеюсь, когда кругом так много несчастий. Я люблю наряды и постоянно мечтаю о новом платье или новых туфлях. Прости меня, Господи! Вот опять Ектенья... Это за усопших! Спаси, Господи, души мамы моей Ольги с отроком Василием, воина Всеволода, убиенного, и папиного денщика воина Григория, убиенного! Какой он был хороший и добрый! Никто лучше его не умел надуть мне мяч. И дедушку, и всех воинов, и ту бедную еврейку, которая так храбро кричала в лагере... Упокой их всех со святыми... И мою собачку умершую - мою бедненькую Диану, она была вся любовь! За животных тоже можно молиться, я уверена. Ведь говорит же Христос, что ни одна из птиц не забыта у Бога. Вот опять отодвигают зазесу... Сейчас запоют «Херувимскую». Ах, если бы спели Девятую Бортнянского - это совсем небесная музыка, точно слышишь шорох ангельских крыльев, таких, какие Врубель нарисовал царевне Лебедь. Ангелы должны быть в куполе - вон там, высоко, где солнечные лучи. Это туда подымается кадыльный дым. Шорох ангельских крыльев... Я напишу когда-нибудь увертюру и назову ее так. Там будет слышаться вот этот шорох и неземные голоса. Если бы я сидела сейчас за роялем, я бы начала сочинять. Во мне уже забродило... Сколько света под веками, когда закроешь глаза, и кажется мне, Господи, что Ты меня слышишь, или кто-то из Твоих Святых... Господи, спаси Олега Андреевича! Светлые, чудные гении, помогите совсем исстрадавшемуся человеку! Не дайте ему погубить себя, остановите! Неужели же никто не придет ему на помощь? Человек, который молится, сам должен быть готов сделать все. Ну, что ж, пусть берет всю мою жизнь, я не боюсь, совсем не боюсь «безнадежного пути». Только бы он не бросился в Неву или под трамвай. Надо на что-то решиться... Как мне поступить? Написать? Я напишу сегодня, сейчас напишу!»

Отпели «Отче наш» и Ектенью, причастники стали подвигаться к амвону.

«Сейчас!» - говорила себе, дрожа от ожидания, Ася.

Она расстегнула ворот темного синего жакетика, перешитого из английского костюма Натальи Павловны, и вытащила наружу отложной воротничок белой блузки, поправила на шее медальон с портретом отца и сложила на груди руки крест-накрест.

«Господи, прими меня причастницей и мою запричастную молитву: спаси Олега! Я причащаюсь за него! Я не знаю, можно ли это, но для Тебя, Господи, нет ничего невозможного. Пусть вся Твоя благодать и радость прольются в его душу! Помогите мне спасти его!»

Отдернулась таинственная завеса, открылись Царские врата. Вместе со всеми она опустилась на колени и, повторяя за священником шепотом предпричастную молитву, меняла местоимения «мя» и «мне» на имя Олега. Потом тихо пошла за другими к Чаше.

«Ближе! Уже совсем близко! Сейчас прольется на меня из алтаря та чудная свежесть, в которой веянье рая. Как хороша эта фраза в Китеже: "Не из сада ли небесного ветерки сюда повеяли? Прямо в душеньку усталую, прямо в сердце истомленное!", и все скрипки, как бы вздыхают со стоном».

За ней кто-то пробирался и задевал ее. Она обернулась и увидела безногого калеку – очевидно, старого солдата, – в петлице у него висел Георгиевский крест. Солдат полз, двигаясь при помощи рук. Она смиренно посторонилась, чтобы пропустить его.

– Ксения, – ответила она перед Чашей. «Олег», – повторила она в душе.

Причастившись и выпив теплоту, она вышла из потока тихо передвигавшихся причастников и отошла в сторону. В кармане нашелся карандаш и листочек бумаги. Она прошла в конец храма и села на ступеньку у подножия иконы, пока в церкви продолжал струиться не прекращающийся поток причастников. Она быстро написала несколько слов и сложила записку.

«Страшно, но медлить нельзя! Что если он наложит на себя руки? Напишу. Надо уметь иногда жечь свои корабли. Папа всегда был храбр, а я дочь своего отца. Русская женщина не должна бояться. Пусть день Причастия решит нашу судьбу». Она быстро написала несколько слов и сложила записку.

«Конверта нет, – размышляла она, – но это ничего: я забегу на почту. Я быстро бегаю. Завтра он получит. Если он тот, каким я его почувствовала, он все поймет, а если он не такой... тогда это письмо не к нему относится, и тогда мне все равно, чтобы он обо мне не подумал. Но он – тот, тот, тот!»

Мимо нее проходили две пожилые дамы в старомодных накидках и шляпках – тоже «зубры из Беловежской пуши». Одна – Вера Михайловна Моляс, бывшего камергера, находящегося ныне в Соловках. Другая – дочь генерала Троицкого, Анна Петровна. Она осталась с двумя детьми младшей сестры, которая была взята в концентрационный лагерь по той только причине, что муж ее, морской офицер, был белогвардеец и эмигрант. Дамы делились горестями. Моляс, грассируя, жаловалась на материальные трудности, но в печали старой генеральской дочки звучали патриотические ноты: она до самых последних дней, как святыню, хранила доставшиеся ей от отца трофеи – турецкие малахитовые полумесяцы, снятые со стены Плевны и поделенные в свое время между русскими генералами, бравшими крепость. Она не продавала их, хотя бедствовала с двумя детьми, которые к тому же болели. Но в коммунальной квартире разве можно уберечь что-нибудь? Соседи выкрали ее полумесяцы и продали их на барахолке.

– Я снесла бы их в музей, если бы знала, чем кончится! Ведь это память о славе русского оружия. Ах, ma chere [58], русские потеряли теперь всякую любовь к своему прошедшему! – и она прикладывала платок к глазам.

Воспитанная в самых строгих правилах вежливости, Ася встала, едва только увидела приближающихся дам. Она услышала, как Анна Петровна сказала Вере Моляс:

– *Viola la fille du colonel Bologovskoy, qu'on a fusille a Crimee. Elle est charmante, cette orpheline!*

[59]

«Зачем они называют меня сироткой? – думала Ася, отвечая на их вопросы о здоровье Натальи Павловны. – Все люди словно сговорились напрасно жалеть меня. У меня есть бабушка, есть дядя и тетя Зина. Я как раз очень, очень счастливая.

Когда старые дамы прошли, она вернулась к своим думам, ей хотелось скорее отнести письмо, но она знала, что нельзя уходить, пока не отнесут в алтарь Чашу, и ждала. «Завтра вынос Плащаницы, – думала она, – будут петь "Разбойника" и "Даждь ми Сего странного". Как я люблю эти напевы! Даждь ми... Господи, даждь ми Олега! Без него я уже не могу быть ни радостна, ни спокойна! Я хочу утешить его и сделать счастливым. Я буду заботиться, любить

его и ласкать. Я возьму его голову к себе на грудь и поцелую израненный лоб. Я поцелую ему руку и скажу: это за мою Россию. А когда он будет заниматься за письменным столом, я подойду совсем неслышно и пролезу головой под его локоть. Дажь ми сего странного, иже не имеет, где главу преклонити – у него как раз даже дома нет».

Мимо нее проковылял на руках искалеченный солдат, она остановила его, сунула ему три рубля, проговорив:

- С принятием Святых Тайн, солдатик.

- Спасибо, добрая барышня! И вас тоже, – ответил он.

Вот, наконец, осенив толпу высоко поднятой Чашей, священник унес ее в алтарь. Она склонила вместе со всеми голову, а вслед за этим протеснилась к двери и, как коза, помчалась по улице. Она и в самом деле очень быстро бегала.

## Глава двадцать седьмая

Солдат, причащавшейся вместе с Асей, долго после не уходил из храма, все ковылял от иконы к иконе. «Отпусти мне грехи мои, Господи, – шептал он перед Распятием. – Знаю я все ничтожество мое – грешен, ох, грешен я! Но за убожество и за скорби мои прости меня, Господи! Ибо ведаешь Ты, сколько намаялся я, калека, без семьи, без дома, без лишней копейки. Все это Тебе, Господи, ведомо, за то и не увидишь Ты в суд с рабом Твоим. Погляжу вот я – все это люди из церкви домой торопятся, кажинного хозяйка егоная, али детки, али другие родичи дожидаются, а я, убогий один, как перст, и нет на земле человека, который бы пожалел меня, пригрел, али порадовал чем к празднику. Кабы я только одну ногу потерял, мог бы еще жить припеваючи. Да, видно, лютое горе – как привяжется, так и конца ему нет. Была бы жива моя Аленушка – не посмотрела бы она, сердечная, что я, как червь, по земле пресмыкаюсь, не погнушалась бы – еще пуще меня призревала и жалела, оттого, что сердце было золотое ей в грудь Господом вложено. Но ведь Господь дал, Господь и взял! Со святыми она, поди, радуется теперь на небесах, может, и на меня другой раз глазком взглянет: как-то, дескать, Ефим мой мытарится? Погляди, погляди, Аленушка, да помолись за меня святым, чтобы послал мне Господь кончину – мирную, непостыдную и упокоил в месте злачном, да сподобил с тобою встретиться – гостышкой желанной мне тогда покажется смерть!»

«Помяни, Господи, усопших! – говорил он перед кануном. – Жену мою Алену и сынов моих, иже без вести сый! Помяни родителей моих Симеона и Авдотью и полковника моего – раба Твоего Константина, благоверного императора Николая, убиенного со чадами, и всех товарищей-однополчан. Как начнешь припомянать, все-то уже все – на том свете! Пора бы и мне! Не радостно, больно стало мое житие. Опостылел весь Божий Свет! Опостылел и угол мой грязный, да нетопленный. Лучше бы мне, кажется, в гробу лежать. Ноченьки стали больно длинные да холодные на одинокой постели, в людях нет ни Божьей радости, ни сердечности, человек человеку нонче ровно волк. Недобрые, ох, недобрые времена!»

Церковь опустела, он все не уходил.

«На трехрублевку, что дала мне барышня, куплю себе чайку, заварю крепенького да горяченького, побалую грешную душеньку. Добрая барышня! По всему видать из бывших – енеральская или полковничья дочка. Пожалела солдатика – за Егория, видно, дала. Из себя-то больно пригоженькая – беленькая, как сахар, и вся этакая тонкая, куколка-фарфорка, а ресницы – что покрывало. На смотрах я, бывало, в каретках таких барышень видел, а теперича и нет таких. Царскую дочку Ольгу Николаевну она мне малость напомнила. Как теперь, покойница у меня перед глазами, какой подходила ко мне христосоваться в Светлое Воскресенье. Полковник – его превосходительство Константин Александрович – в первый ряд нашей роты меня тогда поставил: знали, что я поведения смиренного и собой складный – не стыдно показать. Был ведь и я не из последних... Да – было времечко. А мне, выходит, и на судьбу роптать грешно, когда вон сама великая княжна пристрелена или придушена в двадцать лет! Упокой, Господи, ее душу! Россию любила: за царевича румынского сватали ее – не пошла!

"Хочу русской остаться!" Вот и осталась: вместо царского венца – могилка, да поди и могилки-то нет. Ох, грехи наши, грехи тяжкие!»

Сторожа пришли затворять церковь, и волей-неволей он заковылял к выходу.

– Никак Ефим Семеныч! Ты, земляк? – окликнул его пожилой, со степенной осанкой мужчина, стоявший около церковного ящика.

Он узнал в нем своего однополчанина и соседа по деревне, с которым видался время от времени. Обменялись несколькими фразами.

– Вот и я сподобился приобщиться. Пойдем ко мне, Ефим Семеныч. Моя жена с чайком поджидает. Чайком с сахаром побаловать себя можно. Почитай, и коржики постные у ней припасены. Пойдем поговорим, вспомняем добрые старые времена.

Разговор и в самом деле все время возвращался к старым временам: вспоминали смотры и великих княжен; вспоминали бои с немцами под Кенигсбергом и под Двинском, и с большевиками под Перекопом; вспоминали генералов и солдат – даже выпили по рюмочке за их память. Согласились на том, что Россия-матушка нонче не та – ровно бы подменили. И лета-то бывали раньше теплые, и зимы морозней, и рожь-матушка стояла прежде стеной, не то что нынче, и печки-то горели прежде жарче – видно, дров в них тогда не жалели, и косы-то у девушек были длинней и лучше, и песни протяжней, и блины масляней! А главное, люди веселей и добрее!

– Да, не та нынче Россия, не та! Спортилася. Это все жида проклятые. Пей чай, земляк, не вешай голову, такая уж, видно, нам с тобой планида выпала.

– Да твоя-то планида, смотришь, еще ничего, Макар Григорьевич. У тебя вот комнатка есть, жена, дети выросли. Не гневи Бога. Нас с тобой и равнять нельзя.

– Дети? Эх, земляк, не знаешь ты наших семейных делов – знал бы, не сказал. Как уходил я в германскую на фронт, Егорке моему еще шел тринадцатый годок. А в двадцатом году при взятии Феодосии довелось мне с им повстречаться. Гонят это нас красные на разоружение да переформировку. Гляжу: никак мой парнишка? Точно, он! Идет с винтовкой в красноармейской шинели и шапке, да статный, пригожий такой, нас окарауливает. Ну я его окликнул по-отечески: дескать Егорка, дескать – сын! А он мне: «Тяпка! Вот ведь где нашелся! Ишь, развоевался, старый хрыч! Смотри, как бы наш комиссар не велел засадить в тебя малую толику свинца. Вот при товарищах скажу: мне царский унтер-врангелевец – не отец!» Вот оно как натравили-то, понял? С тех пор и не заявляется. А на след напасть нетрудно – в деревне наш городской адрес знают. Это, вишь, сын. Ну а с дочкой друга беда. Поля наша за партийцем уже пятый год. Парень непьющий и на всякую работу горазд, да безбожник первостатейный и к старшему уважения вовсе не имеет. Дети народились – им прозваний христианских мало показалось, они Кимом сыночка нарекли, а девочку Электрофикацей. Ким – это, изволишь ли видеть, коммунистический интернационал или другое что-то коммунистическое. Внучку-то мы с женой потихоньку от родителей в церковь снесли да окрестили, а внучок так нехристом и остался. Кабы мне кто мне в прежнее время наперед сказал, что у меня внук некрещеный будет, – я бы того человека, кажись бы, из избы вытолкал, дескать – не жида мы и не татары. Не поверил бы я, что возможно такое дело. Ни в жисть не поверил! Вот оно как! А что крику и ругани у нас было, как проведали они, что девочку мы окрестили! Насмерть они с нами переругались – с тех пор и глаз не кажут. Жена моя Аграфена Кононовна по полу каталась: «Не хочу, – кричит, бывало, – Электрофикации; Кима твоего, нехристя, с лестницы спущу!» А сердце-то болит; спечет что аль состряпает – сейчас охнет: вот бы внучаток попотчевать! В баньку соберется: ах, внучаток бы прихватить, веничком попарить! Каков то мой внучек теперь? Ким! Ах, они, безбожники! Ким! И завоет. Опять же и от фининспектора нам покоя нет: я малость сапожничая, зачинаю дыры, да подметки переменяю – так он житья не дает, в любой день и час открывай окаянному! Лезет колодки пересчитывать. Налог прислал – думал, век не выплачу! Продали женин салоп, самовар да кольца обручальные – рассчитались. «Довольно, – думаю, – пойду-ка лучше на завод». И уж был устроившись, так ведь выгнали! Подал я, видишь ли, в союз, проработав положенное время, ну а там, прежде чем принять,

собрание актива, и меня, значит, на проверку, да как дознались, что унтер царского времени, пристали: где был в гражданскую, зачем служил в Белой армии? Ты-де изменил рабочему классу. Я, говорю, служил верой и правдой, кому присягнул: рабочим до тех пор я никогда не был; коли вы теперь меня в свою рабочую среду примете, буду и на вас работать так же верно, как служил моему государю императору. Вы, говорю, по моей царской службе видеть можете, что я не перебежчик и не проходимец, а человек верный. «А зачем сапожную мастерскую держал?» – кричат мне. Дураки вы, дураки, говорю, жить мне чем-то надо? Тут один безусый паренек как вскочит: «За тобой, – кричит, – выступает звериная морда врага рабочего класса!» Ничего, говорю, за мной не выступает, окромя твоей глупости! Разгалделись они, и пришлось мне брать мое заявление обратно. Ну а ден через пять сократили как враждебный рабочему классу элемент. Снова за сапоги взялся, малость только похитрей стал: готовую обувь держу в печке али в буфете горохом засыпаю. Всю молодость провоевал – вот уж не думал, что под старость ровно вору какому изворачиваться придется. Опять же и квартира коммунальная – соседка заела. Ни к плите, ни к ванной жену не допускает, поедом ест. «Только сунься, – кричит, – я ваших заказчиков считаю, сейчас фину сообщу!» Что ты тут будешь делать? Вот и сидим тише воды ниже травы. Ночью с боку на бок ворочаюсь: «Господи, – думаю, – кабы я что дурное делал, а то за свой же труд такую муку терплю». Отчего ж это раньше ни коммунальных квартир, ни фининспекторов не было? Заработал человек, и слава Тебе, Господи! Захочу – один в целом доме живу, и никто мне не указчик! Да и то сказать, во всех странах, слышал я, памятник неизвестному солдату поставлен, а у нас вот как травят бывших фронтовиков... Да ты что это, Ефим Семенович, так призадумался, что ровно и не слушаешь?

– Дело такое, браток... Посоветоваться мне с тобой, что ли? Своего ума ровно бы и не хватает. Помнишь ты, был у нас в полку Дашков – поручик, сын нашего корпусного генерала?

– Помню, как же! Дмитрий Андреевич, не поручик только, а капитан.

– Э, нет! То старший братец егонный. А этот только из учения вышел, когда к нам в полк прибыл. Мы тогда под Двинском стояли. Я в его взвод попал, коли помнишь, да потом так с ним и провоевал не только немецкую, но и всю гражданскую. Ничего, в нашем взводе его любили. Чтобы этак попросту, по-свойски с солдатами – нет, этого за ним не водилось; с нашим братом особенно не якшался, но в обиду своих людей не давал – очинно всегда заступался, а как получит посылку из дому, так всегда раздаст – и сахару, и табаку, и чаю. И себя не берег, надо правду сказать: на всякое опасное дело вызывался. Говорил, бывало: я заколдованный, меня пули не трогают. И в самом деле, четыре года под огнем и все цел оставался – ни царапинки. Зато потом и досталось же ему разом. Наш взвод без шапок стоял, как укладывали его на носилки. Думали все, помирает. У него денщиком был Василий Федотов. Он его на руках в часть принес – в секрете они, что ли, были? Ты Василия помнишь?

– Помню! Рубаха парень! Он, говорят, в лагеря исправительные попал, да там и сгинул. Ну, так чего же ты начал про поручика?

– Так вот, видишь, месяца этак три тому назад в самые-то это морозы повстречал я его благородие на базаре. Подивился, завидевши: я его в «заупокой» вместе с их превосходительством папенькой поминаю, а он жив, оказывается! Шинелишка заплатанная, сам -краше в гроб кладут. Тоже, поди, из лагеря – ведь их, господ офицеров, хватают безо всякого сожаления: вы-де оплот старого режима, а этот же еще генеральский сынок. Ну, постояли, поговорили, да и разошлись всяк в свою сторону. А вот теперича... – и солдат рассказал про Злобина и его настойчивые расспросы по поводу Олега. – Сдается мне, не следит ли доктор за моим поручиком? Нашел меня в больнице, заговорил о том, о другом, да все норовит свернуть на поручика. Адрес спросил, на дом ко мне заявился, выложил на стол десять рублей, да снова на то же поворачивает. А теперича вон что выдумал: послезавтра, в Великую субботу, должен это я в полвосьмого как из пушки явиться на Моховую улицу к воротам дома тринадцать. Там меня посадят у стенки. Ровно в восемь выйдет из подъезда человек и агент ихний переодетый, остановит его и попросит закурить, а я должен глядеть в оба и после отлепоровать, кто этот человек – поручик ли Дашков али кто мне незнакомый. Хорошо, коли

нет, а коли и в самом деле окажется поручик Олег Андреевич, как бы мне Иудой перед ним не выйти? Почему знать – может, он скрывает свое имя? Он просил меня никому о нем не рассказывать, а я вот по дурацости моей сболтнул доктору, да не в добрый час, видно, сболтнул и не доброму человеку. Спервоначально я думал, может, приятели они с доктором, что он этак разыскивает поручика, да теперь выходит, что-то не то, чем-то другим пахнет! Что скажешь, Макар Григорьевич?

– Скажу я тебе, дело дрянь. Беспременно выслеживают. Ничего другого и быть не может. Услышал от тебя, что знаешь в лицо, ну и пристал, как банный лист. Советую тебе, браток, вон выходить из этого дела, а то и в самом деле предателем соделаешься. Сегодня вон об Иуде в церкви читали... Теперича у нас шпики этих самых до черта развелось. Деньги, говорят, зашибают большие, за то и творят дела. Видно, и доктор твой из таких же. Посулил чего?

– Для начала – место на койке и хороший санаторий. Подлечим, говорит.

– Ну, это для начала, а там подговорит пособлять ему, и из трясины этой ты ввек не выпутаешься. Берегись, браток! Не дело для старого солдата выдавать боевого товарища – генерал ли, солдат ли, поручик ли – все едино.

– Вестимо, не дело, я про то и толкую. Сегодня, как к Чаше подходил, так меня ровно что в сердце – толк: к Святым Дарам подходишь, а завтра будешь человека губить? Ему же никак не больше тридцати; почитай, жена, дети маленькие... К тому же и по книге моей, только на его раскрою – сейчас выходит насильственная кончина. Это все одно к одному! Никак нельзя выдавать! Только как бы мне это половчей спроворить? Вовсе к им не пойтить – так ведь завтра же явится каналья доктор и снова начнет нудить.

– А ты пойдешь, отлепортуй: явился, мол. А потом говори: не знаю и не знаю этого человека. Как они тебя уличить смогут? Легко, что ль, в оборванце узнать офицера, да еще десять лет спустя?

– Ладно, так и сделаю. По крайности, хоть совесть будет спокойна. Только б он сам не заговорил со мной, а уж без санатория обойдусь. Старому солдату предателем соделаться, да еще в Великую субботу – ни в жисть не будет этого! Спасибо, браток, что поддержал ты меня на добром решении. Не пора ли нам к двенадцати евангелиям собираться?

## Глава двадцать восьмая

Мысль, которую он высказал Елочке: «Больше я туда не пойду», – крепко засела в голове Олега. «У меня не осталось ничего, чтобы могло привязать меня к жизни. Ася одна могла это сделать. Эта девушка такой высокой пробы, что даже в прежней среде ради нее стоило бы перестреляться не одному десятку мужчин, а теперь это драгоценность редчайшая. И в ней начало просыпаться ко мне что-то: доверие, ласка, сочувствие... Ее светлые излучения могли бы возродить меня от тоски. Я только что поверил во что-то лучшее впереди... И вот все кончилось, едва только успело начаться. Зачем жить? Чтобы каждый день мучить себя мыслью, что я мог бы провести его с ней? Или: что было бы, если бы не было Октябрьской революции? И каждый день ждать нового приглашения к Нагу? Нет, больше не хочу! Все религии утверждают, что самоубийство не выход, а страшная ошибка, которая повергает душу человека в самые темные слои потустороннего мира... И все-таки это одно, что мне осталось!» Он пробовал читать, но взятый им томик стихов о прекрасной даме снова возвращал его мысль к Асе. Как человеку, у которого поранен палец, кажется, что он задевает им о каждый предмет, так ему казалось, что каждое стихотворение берedit его душевную рану.

Своей душе, давно усталой,

Я тоже верить не хочу.

Быть может, путник запоздалый,

В твой тихий терем постучу, -

Говорил он ей.

Мой любимый, мой князь, мой жених, -

Говорила она ему.

Он оставил книгу и лег лицом в подушку. Но если он не думал об Асе, он думал о матери. Издевки следователя расшевелили старую, незаживающую боль. Он представлял себе, как это было. «Мама извелась от тоски и беспокойства за нас. Она, может быть, надеялась, что в Петербурге что-нибудь сможет узнать или хотя бы увидеть родных и друзей. Одиночество, надзор и эта жизнь в избе стали невыносимы. И вот однажды, как только смерклось, мама стала собираться. Одеда, наверно, ту тальму с капюшоном, которую обычно носила в Вечаше, а в руках у нее был бисерный ридикюль и в нем наши фотографии. Она и ее Василиса побежали глухими тропинками на полустанок. Рекс, конечно, сзади. А там кто-то из железнодорожных служащих выдал... Они нас знали, всегда бывали так подобострастны... но... времена переменялись! Комиссар Газа... латыш наверно... Эти комиссары почти все латыши и евреи. Может быть, если бы не этот Газа, маме удалось бы спастись: ведь она не была приговорена трибуналом, как отец. А этот Газа со своими полномочиями, конечно, счел долгом расправиться. Революция была бы в опасности, если бы он не расстрелял одинокую замученную женщину! Мама, моя святая! Моя красавица! Что она пережила, когда эта свора набросилась на нее! «Княгиня не произнесла за все время ни слова», – узнаю маму в этой выдержке! Небо было, наверно, по-осеннему, багровое, и слышались железнодорожные гудки... Одна Василиса пыталась заступиться... Ни мужа, ни сыновей, ни преданных слуг... Буду верить, что расстреляли тотчас же!»

Но хоть он и говорил «буду верить» – против воли возникали сомнения: следователь упоминал о полустанке, о горничной и о собаке – стало быть, что-то знал.

«Нет, не могу! Кончать, скорее кончать! Теперь же, завтра же! Эх, жаль револьвера! Это единственный способ, которым я мог бы действовать с полной уверенностью. Все остальные ненадежны, и уж хуже всех городской транспорт: всегда не во время явится спаситель, который помешает, или шофер затормозит в последнюю минуту, а там – больница, и майся инвалидом. Нет, тогда уж лучше веревка. Это немного по-плебейски, но зато ничем не рискуешь: ни толпы зевак, ни увечья, не удалось – пробуй еще раз. В лесу деревьев довольно – всегда можно найти крепкий сук!»

Голоса Нины и Мики привлекли его внимание:

– Нет уж, в школу ты не суйся! – кричит Мика. – Мне и без княгинь достается, а ты, с твоими ухватками, только покажешься, так мне и вовсе житья не будет! Оставайся лучше дома, ваше сиятельство!

Натянутые нервы Олега не выдержали, он сорвался с дивана, выскочил в коридор:

– Мика, иди сюда! – и втащил мальчика за плечи в комнату. – Ты как смеешь издеваться над сестрой и трепать с таким неуважением наше имя и титул? Твоя сестра вышла по любви за благороднейшего человека, который отдал жизнь за Родину! Разве было что-нибудь позорное в ее браке, что ты смеешь ее так попрекать? Ей нелегко было вырастить тебя. Другая на ее месте давно бы отправила брата в детский дом. Посмотрел бы я на тебя тогда – каким ограниченным и забитым ты бы вырос! Ты непомерно неблагодарен и дерзок!

– Олег, Олег, нельзя так говорить! – воскликнула Нина, вбегая вслед за Микой.

– Я не вмешивался до сих пор в ваши отношения с братом, Нина, но он затронул наше имя, а с меня довольно издевок над нашей семьей. Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, Мика, ты получишь от меня такую затрещину, что своих не узнаешь! Хочешь на кулачки? Ты, кажется, воображаешь, что у меня сил нет? Да я справлюсь с тремя такими, как ты! Подойди только!

– Олег, успокойтесь! Что с вами? – твердила испуганная Нина. – Уверяю, что эти издевки только по моему адресу: он не хочет допустить меня поговорить с учителями, а между тем к нему настолько несправедливы, что пора уже вмешаться кому-нибудь.

– Нина не хочет понять, что сделает только хуже, – вмешался запальчиво Мика. – Они занижают мне отметки, а на мои возражения откровенно заявляют: «А зачем носишь крест на

шее?» или: «Не первым же учеником делать княгининого братца!»

- Это говорят с кафедры педагоги? - перебил Олег.

- Педагоги. Особенно политекономша и физик.

Нина и Олег смотрели друг на друга

- Что за возмутительная травля! - воскликнул Олег. - Разрешите, Нина, вмешаться мне. Я не стану объясняться с педагогами, а добьюсь директора и заставлю его ответить мне, есть ли распоряжение сверху, из роно, травить мальчика за происхождение и родство? Посмотрим, что он ответит мне на ребром поставленный вопрос! Если нужно будет - пойду в роно.

- В качестве кого же вы пойдете? Не знаю, удобно ли? Родственником вы называться не можете... - Нина возражала, а Мика молчал. Олегу ясно стало, что они опасались бури, которую он намеревался поднять, и предпочли обойтись без нее.

- Впрочем, как хотите, я не настаиваю, - сказал он тотчас же и подумал с горечью: «И зачем я вмешиваюсь в чужие дела? Если бы Мика был сын Димитрия - тогда другое дело! Но судьба мне не оставила даже этого ребенка. Я с моими услугами не нужен никому».

Мика прервал его мысли:

- Вы лучше скажите Нине, чтобы она сама-то меня не грызла. Сколько мне от нее достается за крест! - сказал Мика.

- За крест, от Нины?!

- Да! Она каждый день приступает ко мне то с просьбами, то с угрозами, чтобы я снял его с шеи.

Олег повернулся к Нине, которая начала бормотать оправдания, которые сводились к тому, что она хочет оградить от неприятностей Мику же.

- Не мешайте мальчику, Нина, остаться честным перед самим собой. Его принципиальность послужит примером для других. Нельзя же всем до одного измельчать и исподличаться.

И не дожидаясь ее ответа, он вышел из комнаты.

За ночь, которую он провел без сна, план его окончательно оформился и утрамбовался в его голове: завтра после работы он пойдет купить веревку покрепче и поедет в Царское Село, как будто затем, чтобы подышать воздухом. Там пройдет в Баболовский парк, который всегда такой пустынный, и там... сделает, что задумал. Перед этим опустит в почтовый ящик письмо для Нины, в котором объяснит все... Решение было твердо, но утром, когда он поднялся, ему внезапно пришло в голову одно соображение: через два дня зарплата, Нине так трудно с деньгами, Надежде Спиридоновне он должен за разбитые блюда... С какой стати дарить ненавистному правительству выслуженные им деньги? «Промаясь еще два дня, получу зарплату и оставлю ее Нине, а если за это время придет приглашение к Нагу - просто не пойду. С того света к ответу не притянет: руки коротки!»

Это было во вторник, на Страстной. Вечер вторника и среду он провел все в тех же мыслях и как мечту носил с собой свой план. Вечер в парке представлялся ему непременно ясным и тихим. Там серебряные ивы и вековые дубы напоминают Вечашу; он пройдет под ними спокойно, совершенно спокойно, гуляя. Никто его не увидит, не будет торопить... Но в четверг вдруг замучили воспоминания... Они шли, как морская волна, одно за другим: придет, подержит на гребне и отхлынет... Почему-то с особенной силой вспоминалось раннее детство: прогулки в Вечаше, приготовления к Пасхе, игры, шалости... Несколько раз его мысль возвращалась к тому, как дорого стоило его рождение матери: боясь повредить младенца, она отказалась от наложения щипцов после тридцати шести часов мучений, когда все окружающие уже отчаялись в благополучном исходе... А он вот теперь собирался прекратить эту жизнь, данную ему с такой любовью! Но он заглушил в себе голос совести и, назвав малодушием все эти мысли и колебания, запер их на ключ.

В пятницу утром он получил, наконец, зарплату. «Итак - сегодня!» - сказал он себе, расписываясь в получении денег. «Постараюсь уйти пораньше».

Моисей Гершелевич назначил производственное совещание в своем кабинете. «К чему мне оставаться? - сказал себе Олег, - комедия этих совещаний, в которых все заранее решено, меня

нимало не интересуется, а неприятности, которые могли бы меня ждать в случае неповиновения, мне уже не страшны!» И на виду у всего правления, собиравшегося в кабинете шефа, пошел к выходу.

- Казаринов, вы куда? Попрошу остаться! - начальственно окликнул его Моисей Гершелевич.

- Куда вы, товарищ? - окликнула его еще другая портовая шишка.

Олег обернулся на них, и вдруг на него нашло озорство: «Нате, скушайте!» - подумал он и сказал громко:

- Куда я тороплюсь? Сегодня ведь Страстная пятница - хочу приложиться к Плащанице! - и посмотрел на всех, как будто желая увидеть, не сделаются ли корчи с этими жидо-азиатами и русскими отступниками.

Корчи не сделалось, но лица у всех вытянулись и глаза опустились. На каждом из этих лиц, казалось было написано: «Товарищи, да никак он с ума сошел. Караул! - не знаю, как реагировать». Олег усмехнулся, оглядывая их. «В моем положении есть, однако, и свой плюс, а именно: мне нечего опасаться! Оригинальное для советского служащего состояние! Я осмеливаюсь им напомнить о большой тысячелетней культуре старой России, которую они ненавидят и желали бы вовсе вычеркнуть из памяти и в которой этот день был единственным и неповторимым в году», - думал он, выходя из учреждения.

Он говорил с ними шутя, чтобы их побесить, но пока он ехал в трамвае, мысль о вынесенной на середину храма Плащанице, на которой лежат живые цветы, около которой горят свечи и толпятся молящиеся, встала настойчиво в центре его сознания. Он не был у Плащаницы все те же десять лет, роковые в его жизни. «Зайду на минуту в церковь, приложусь сначала, а уж потом...»

Поразительная картина ждала его около церкви: ему еще не случалось наблюдать ничего подобного, так как все последние годы он провел вне города. Вокруг церкви, извиваясь вдоль садовой ограды, стояла очередь к дверям храма. Пожилые интеллигентные мужчины, простолюдины, бабы в платочках, дамы в туалетах, которые 15 лет тому назад были последним криком моды, сшитые у Вога и у Брисак - все серьезные и тихие, терпеливо ждали своей очереди под медленно накрапывающим дождем. Многие стояли с детьми, мужчины почти все стояли с обнаженными головами - даже те, которым было еще далеко до церковных дверей. Олег тотчас уяснил себе, в чем тут дело: ведь в этом огромном городе осталось 11 церквей вместо нескольких сотен - вот почему такое стечение народа. Это та Русь, которая не дала за полтора десятилетия изменить себе и лицу, и сердцу. Он тотчас же занял место в очереди и подумал при этом, что если бы он был неверующим, он встал бы ради этого молчаливого протеста. Но торжественная тишина ожидания сообщилась понемногу его душе, и сонм воспоминаний опять закружился в сознании. В детстве у него был хороший голос - высокое чистое сопрано, и когда он поступил в корпус, он был отобран в хор кадетской церкви, где пел, пока в 14 лет не пропал голос. Он вспомнил, как на Страстной пел в трио в стихаре посередине храма «Да исправится молитва моя», и мать приходила в этот день в церковь послушать его. Какие они были тогда еще невинные, все трое, - и ему вспомнились херувимы, которые сидят у ног рафаэлевской Мадонны! Фроловский выносил свечу из алтаря, тоже в стихаре, с самым благоговейным видом, но это не помешало ему вечером этого же Дня, заманив Олега в пустой класс, наговорить ему всевозможных вещей по поводу того, откуда берутся дети... И как будто разом что-то разрушилось в восприятии мира, целая гамма невидимых лучей угасла, что-то словно подменили во всем окружающем. Отправляясь на Светлое Воскресенье домой, Олег думал, как будет смотреть в глаза матери: ему казалось, что она при первом взгляде на него поймет, что он уже не тот. Теперь он мог только улыбнуться, вспоминая свою душевную растерянность в те дни. Когда после двухчасового ожидания подошла очередь Олега приблизиться, он, вспоминая свое преступное решение, не осмелился коснуться губами священного изображения, а приник к нему только наклоненным лбом...

Когда он вернулся домой, то запечатал прежде всего письмо к Нине, которое приготовил накануне: «Дорогая Нина, я не вернусь - так будет лучше для всех вас. Я не вижу ни цели, ни

смысла в своем существовании. Простите, если я огорчаю вас. Я думаю теперь, что мне лучше было не появляться вовсе на фоне вашей жизни: этим я бы избавил бы вас от многих тяжелых минут, которые подошли к вам со мною. Не упрекайте себя ни в чем: вы сделали для меня все, что могли. Вы найдете в ящике стола мою зарплату – пусть это будет для Мики на лето, за вычетом долга Н. С. Ваш Олег Дашков». Запечатывая это письмо, он думал: «Бросив его в ящик, я этим отрежу себе дорогу к отступлению». Впрочем, он не видел в себе ни капли колебания – церковные веяния слегка освежили душу, но не изменили ничего. Он взглянул в последний раз на комнату. Стал шарить по карманам. «Веревка здесь. Так. Денег на обратную дорогу не нужно – эти три рубля лишние, прибавлю к Мининым. Авторучку оставлю Мике, портрет мамы возьму с собой, посмотрю в лесу. И пусть будет на мне вместо иконки или креста». Он только что хотел снять со стены портрет, как вошел Мика. Взглянув на лицо мальчика, он подумал: «Мальчик симпатичный, честный, живой и умный, немного запальчив и груб, но это пройдет с годами. Я мог бы пригодиться ему, но ведь он мне чужой». И он опять подумал, что если бы остался жив ребенок Нины – сын Димитрия, ему было бы для кого жить, а так все, решительно все гонит его из жизни! Ему не хотелось заводить разговора, но Мика заговорил первый:

– Вы знаете наши последние школьные новости? В Светлое Воскресенье мы обязаны с десяти до двенадцати утра ходить по квартирам собирать утиль, и это уже третий год подряд такая история! Нарочно, конечно, чтобы вырвать нас из домашней обстановки и испортить нам праздник! У, злющие! Ну, да мы в этот раз устроили им хорошую штуку – я и мой товарищ Петя Валуев, мы написали в классе на доске крупными буквами: «Металлом и ломом по суевериям и предрассудкам», а в другом классе: «Товарищ, ну стань же скорее ослом, поди, собери-ка металлолом!» Боже мой, что тут поднялось: шум, крики, комсомольское собрание, негодующие речи... Пионервожатая из кожи вон лезла: «Как так?! Кто посмел издеваться? Контрреволюция! Черносотенцы, белогвардейцы, сыскать!»

Нина, вошедшая вслед за братом, хоть и засмеялась, но спросила с тревогой в голосе:

– А не дознаются? Никто не выдаст?

– Никто не видел, а буквами мы написали печатными. Раньше хлам собирали татары, ну а теперь русские школьники – достижение: дорога нацменьшинству!

Но Олег слушал их рассеянно, думал, скоро ли они уйдут. А Нина, как нарочно, спросила:

– Вы куда это собрались, Олег?

– Я? Загород... Хочу подышать воздухом, – ответил он. Они заговорили снова и все не оставляли его. Наконец Нина пошла к двери.

– Прощайте, Нина! – воскликнул он тогда с неожиданным для себя волнением: ведь она была одним из осколков прошлого! Она быстро обернулась и пытливо взглянула на него.

– Я вернусь, когда вы уже ляжете, – поспешил он прибавить и поцеловал ей руку. Она вышла, вышел наконец и Мика. Ему он не сказал даже «до свидания», боясь возбудить подозрение. Оставшись один, тотчас схватил портрет и остановил глаза на прекрасном лице. «Видишь ли ты сейчас своего сына? Если ты не хочешь, чтобы я попал в темноту, – соверши чудо! А так – я больше не могу». Если он ощущал идею бессмертия, то только через ее любовь, через мысль, что эта любовь не могла исчезнуть, прекратиться. Ее возвышенная душа оставила после себя неуловимый след – чистую струю, которой он иногда умел коснуться внутренним напряжением. И вот это, неясное, но сильное ощущение не давало ему разувериться в истине бессмертия. Более очищенной и тонкой душевной структуры он не встречал ни в ком. Нечто похожее показалось ему в этой девочке, в Асе, – она тоже словно бы освещена изнутри... но с Асей все кончено.

Он вынул портрет из рамки, надел шинель, взял конверт, адресованный Нине, и двинулся к двери. Теперь все уже было готово, обречено, назначено: только доехать да выбрать дерево – два-три часа жизни! Чудес в наши дни не бывает, и ничто уже не спасет его!

В дверях он столкнулся с Аннушкой:

– Письмо к тебе, – сказала она.

- Повестка, вы хотите сказать? - поправил он, переносясь мыслью к Нагу.- Требуют, наверно, расписки.

- Да какая така повестка? - возразила она. Письмо говорю, сейчас из ящика вынула. Бери вот, - протянула письмо и вышла.

Он взял его с недоумением: от кого? Почерк был незнакомый и как будто несколько детский... Перед фамилией стояло большое «Д», вычеркнутое, и уже после было поставлено: «Казаринову» - стало быть, писал кто-то, кто знал тайну его происхождения... но кто? Приговоренное сердце заколотилось тревожно и быстро - разве что-то еще могло волновать его в этой жизни? Он разорвал конверт.

«Я вам пишу в церкви. Я только что причащалась. Сейчас поют «Тело Христово примите», а я сижу на ступеньке и вот пишу. Я за вас молилась и поняла, что необходимо скорей открыть вам одну мою тайну: я не боюсь «безнадежного пути» - вот эта тайна! Ваша Ася».

Он стоял с этим письмом неподвижно... Что это? Ведь это как раз то единственное, что могло удержать его от непоправимого преступного шага, что могло разбудить желание жизни, перестроить все струны. Отчего именно сегодня, сейчас написала ему письмо эта милая невинная девушка? Ведь она же не могла знать, что он задумал, или все-таки знала, чувствовала, уловила в воздухе? Ее душа живет «слишком близко», ее душа - эолова арфа, ее душа - тончайшая мембрана! Задержишь это письмо на несколько минут или пролежи лишнюю секунду в ящике, и он бы ушел из дому, и все было бы кончено... «Ну тогда измени что-нибудь в моей жизни, а так я не могу», - сказал он только что матери - и вот все изменилось! Это - чудо, это на самом деле чудо, что его все-таки остановили, задержали, спасли в самую последнюю минуту. Кто-то оттуда, сверху, оберегает и защищает его, не желая его гибели. В безнадежности, в темноте как будто зажегся факел и осветил ему путь. В этом письме был призыв к жизни, оно было обещанием любви, в нем был порыв, нежность и все та же очаровавшая его чистота - «Ваша Ася». С бесконечной нежностью смотрел он на эту подпись, которая обещала ему все те радости, по которым так тосковала душа! «Все знали, что я на грани отчаяния, - думал он. - Но день и час угадала одна, и руку помощи протянула она же!» Убивать себя сейчас было бы кощунством, было бы подлостью, маловерием, он видел перед собой опущенные ресницы и точеное лицо... Спрятав письмо в карман, он бросился из дому, вскочил на ходу в трамвай, выскочил тоже на ходу, едва не попав под колеса огромного грузовика, и вбежал в знакомый подъезд. На звонок отворила Ася. Она была в хозяйственном переднике поверх юбки и блузки - очевидно, занята пасхальной стряпней.

- Вы? - воскликнула она и умолкла; он тоже молчал, дыханье у него захватило... Она отступила из передней в гостиную, он вошел за ней и огляделся: они были одни в комнате, залитой светлыми весенними сумерками. Он упал на колени и обхватил руками ее ноги.

- Милая, чудная, дорогая! Вы мне спасли жизнь! Спасибо вам! Ведь я хотел, вот она... веревка! Она еще здесь, в кармане! Вы меня с петли сняли: я не мог больше жить без вас! - и он прижался головой к ее коленям. Она уронила ручку на его голову.

- Вот! Я угадала! Я знала! Это святые внушили мне, когда я подходила к Чаше! Божья Матерь, наверно!

- Я знаю, кто внушил вам! - сказал Олег, чувствуя слезы в горле. - Не Божья Матерь, а всего только моя! Ася, вы любите меня хоть немножко?

- Люблю! - прошептала она, и ярко вспыхнули нежные щеки.

- Вы будете моей женой?

Она молча кивнула и стала теребить его волосы. Он опять прижался лицом к ее ногам.

- Слишком, слишком много счастья после этой мертвящей пустоты! Ведь у меня никого, никого не было! - и потом, оторвав лицо, взглянул на нее снизу: «Святая Цицилия! Снегурочка! Царевна Лебедь!»

На пороге показалась Наталья Павловна. Олег стремительно вскочил с колен.

- Наталья Павловна, я только что сказал Ксении Всеволодовне, что люблю ее, и просил быть моей женой. Я, может быть, должен был сначала обратиться к вам, но все вышло

непредвиденно... Я прошу у вас ее руки...

Наталья Павловна опустила в кресло. Ася приподняла руки, которыми закрыла лицо, и взглянула на бабушку.

- Подойдите оба ко мне, - сказала Наталья Павловна.

Они подошли, она справа, он слева.

- Наталья Павловна, я знаю, что это очень большая дерзость - добиваться такого сокровища, как ваша внучка. Я в моем положении не должен был решаться на это - я почти обреченный человек. За меня говорит только то, что я безумно люблю ее... Ничего больше!

Ася молчала и только припала головой к груди Натальи Павловны, опустившись на колени около ее кресла. Наталья Павловна стала гладить ее волосы.

- Я рада, что вы ее любите, Олег Андреевич. Я знаю, что вы благородный человек. Не доказывайте мне, что вы плохая партия: я не знаю, кто может быть теперь хорошей партией для моей внучки. Вы должны понимать, что я не хотела бы увидеть рядом с ней партийца из пролетариев или еврея, а люди нашего круга... все не уверены в своей безопасности, и один Бог знает, чья очередь придет позже, чья раньше. Будем надеяться, что Бог смилуется над вами ради этой малютки: она в самом деле сокровище, - и прибавила с нежностью: - Как рано расцвел мой цветочек!

Мадам, вошедшая в комнату с какими-то рассуждениями по поводу творага, положила конец этому разговору: увидев Олега и Асю на коленях около кресла Натальи Павловны и ее, обнимающую их головы, она наполнила комнату восклицаниями и поздравлениями, причем ее доброе лицо все сияло от радости. Она, по-видимому, уже рисовала себе в воображении, что в недалеком будущем, как только la restauration [60] завершится, Олег водворит Асю в особняке предков и представит ее ко двору.

Заговорили о том, когда назначить свадьбу. Ася, вырвавшись из объятий мадам, закружилась по комнате, напевая на мотив арии из «Дон Жуана»:

- Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро!

- Как не скоро? - с отчаянием воскликнул Олег. - Не огорчайте меня, Ксения Всеволодовна!

Если вы назначите слишком далекий срок, неизвестно, доживу ли я!

- Mais taisez-vous, donc, monsieur! [61] - замахала на него руками француженка.

Ася приостановилась и взглянула на него с внезапной серьезностью:

- Вы остались живы - вот главное! А мне еще немножко с бабушкой пожить хочется! Ведь видеться мы будем каждый день - чего еще нужно?

И закружилась снова; косы ее и передничек развевались по комнате. Наталья Павловна сохраняла вполне корректным выражение лица, но француженка, гордясь тем ореолом невинности, которым сумела украсить воспитание Аси, как на дрожжах поднималась.

- C'est un tresor, monsieur, voyez-vous? Un tresor! [62] - повторяла она, сияя.

- Согласен с вами! - ответил он, следя восхищенными глазами за кружившейся девушкой.

- Я вас помирю! - сказала улыбаясь Наталья Павловна и предложила сделать свадьбу перед отпуском Олега, с тем чтобы они могли поехать куда-нибудь вместе. Олега оставили пить чай, к которому, точно по заказу, явились Нелидовы. Зинаида Глебовна со слезами поцеловала Асю, повторяя:

- Как бы счастлива была сейчас твоя мама!

Но в карих глазах и хорошеньких губках Асиной кузины можно было заметить недоумение: «Странно, что Ася, а не я! Ведь я же интересней - это все говорят! У меня каждая прядь волос отликает по-своему и все волосы в локонах, а у Аси прямые, у меня родинка, как у маркизы, и еще... Это все виноват Сергей Петрович со своим «не лижи чужих сливок». Ну, да не беда - я теперь буду умнее: остальные все будут мои!» Ася, очевидно, смутно что-то почувствовала. Она оттащила сестру в угол и, точно извиняясь, шепнула:

- Знаешь... я не виновата... я очень его жалела и молилась о нем сегодня... оттого все вышло!

Когда Олег поднялся прощаться, он остался на короткое время вдвоем с Асей в передней.

- Что с вами? - спросила она, заметив тень, омрачившую его лицо в ту минуту, когда он взялся

за ручку входной двери.

- Я подумал: если в эту ночь придут за мной или дома повестка ждет, я не увижу вас больше! Сегодня меня спасло чудо, но ведь чудеса не повторяются изо дня в день.

- Тише, неверующий! Чудеса все время вокруг нас, но они любят совершаться в тишине: о них нельзя говорить громко. Святые спасли вас сегодня не для того, чтобы погубить завтра!

- Дорогая, следователь сказал, что вызовет повторно. Они, по-видимому, что-то заподозрили. Я каждый день жду повестки, и при мысли, что мое счастье висит на волоске... Позвольте мне, чтобы унести о вас память в тюрьму...

Он клонил к тому, чтобы выпросить у нее поцелуй, но она перебила его:

- Слушайте! С тех пор как я стала большая, я еще ничего никогда не просила у Бога для себя. Я всегда всем была довольна. Сегодня я попрошу! Не беспокойтесь, спите всю ночь спокойно - я все устрою! Я это беру на себя, слышите?

Он благоговейно поднес к губам тонкое запястье и вышел, странно успокоенный этими доводами, но несколько пристыженный.

## Глава двадцать девятая

Затворившись у себя в этот вечер, Ася, уже раздетая, опустилась на колени на коврик у постели. «О, что за день! Он весь был полон любви и света! Я буду умирать и будет помнить этот день. Я очень устала и засну, как только положу голову на подушку, но это нельзя - надо молиться: мне опять страшно за него! Старец Серафим всегда всех слышит, уж если он слышал меня за крокетом, то тем более услышит теперь». И перед глазами Аси на минуту возникла Березовка и крокетная площадка, где шла ожесточенная битва между ней и кузеном Мишей с одной стороны и братишкой Васей и Сергеем Петровичем с другой стороны. Битва была ожесточенная, но силы явно неравные. Это было в 1916 году. Сергей Петрович - в те дни молодой офицер - приехал на несколько дней в отпуск с фронта и, появляясь между детьми на крокетной площадке, производил неизменный фурор: метали жребий, кому из них играть с ним в одной партии, и приходили одни в восторг, другие в отчаяние от каждого удара его молотка, так как бил он без промаха и производил неизменное опустошение в лагере противника. И вот в этот знаменитый вечер шар его по обыкновению прошел с первого же хода весь путь и, став разбойником, объявил крокировку шару Миши; крокировка эта грозила тем, что новоиспеченный разбойник, забрав себе ходы, сгонит с позиции шары противной партии и под своей опекой в одну минуту поможет закончить Васе. Ася, страстно увлекавшаяся игрой, приходила в отчаянье от этой мысли. Шары стояли на таком коротком расстоянии, что даже среднему игроку легко было попасть, а такому чемпиону, как Сергей Петрович, удар этот, казалось, не стоит усилий. Спасения не было - Сергей Петрович уже взялся за молоток с артистической небрежностью и изящной самоуверенностью. Замирая от страха, семилетняя Ася надвинула на лицо пикейную шляпку и, закрыв глаза, на минуту сосредоточилась: «Старец Серафим! Милый, чудный, родной старец! Помоги мне и Мише! Сделай так, чтобы гадкий, злой дядька промазал! Защити от него!»

Она услышала короткий сухой удар и вслед за этим всеобщий вопль, в который слились и восторг, и ужас. Она отодвинула шляпку от лица и оглядела поле сражения: шар Миши стоял невредимым, сам Миша прыгал и визжал от радости, а у Васи глаза были полны слез - оказалось, что Сергей Петрович не только «промазал», но и умудрился каким-то образом задеть собственным шаром колышек и теперь должен был выйти из игры. Дело кончилось полной победой Аси и Миши. Вот этот случай вспомнился Асе теперь.

«Даже в таких пустяках старец слышал меня, тем более услышит теперь, когда я буду молиться за жизнь человека! - говорила она себе. - За крокетом он это сделал не ради пустяшной игры, а ради славы своей: он явил могущество молитвы, чтобы на всю жизнь запомнила я, с какой любовью относятся к людям там. Старец, милый! Я знаю, какой ты добрый - ты даже медведя пожалел. Пожалей моего Олега! Олег такой хороший! Устрой, чтобы

они спутались со следа. О, пожалуйста, пожалуйста, старец Серафим! Сделай это для меня, для Аси».

Однако молитвенного напряжения хватило ненадолго, голубой свет лампадки придавал фантастические очертания предметам, и скоро она задумалась, глядя на причудливые тени на потолке. «Как трудно быть сосредоточенной! Надо все время делать усилие. Наверно, нужна очень большая внутренняя дисциплина. Попробую еще раз». Были ведь молитвенники – она слышала о них и читала, – которые умели всю полноту мысли и чувства вкладывать в молитву Иисусову или иные славословия – и достигали озарения: у них открывались внутренние очи, и дивные потусторонние лики становились доступны их взгляду...

«Вот оно – это сияние под веками, которое я так люблю! Вот это веяние на лбу... точно кто-то коснулся меня крылом... Я приближаюсь к черте, за которой неведомое... Еще одно усилие, и я ее перейду!»

Но молитвенный взлет, при всей его интенсивности, не мог у нее быть длительным – достигнув наибольшего напряжения, он стал постепенно ослабевать. Нет, не проникнуть! Не вырваться мне из теней земного сознания... Только тем, которые достигают святости, это дано – они могут слышать нездешние голоса и видеть невидимые облики, а я... В «Consolation» [63] Листа и в «Китеже» Корсакова есть что-то от этого состояния... Экстаз Скрябина? Нет, там не то – там усилие сверхчеловечности, но нет умиления! Я люблю Римского-Корсакова за благородство его мелодии. А Глинка? Кто это сказал: «Глинка, Глинка, – ты фарфор, а не простая глинка!»?

Голова ее склонилась к подушке, и она заснула на коленях около кровати. Когда она очнулась и с недоумением огляделась, в комнате было уже совсем светло, и доносился городской шум. Она озябла и, дрожа от холода, поднялась с колен. «Седьмой час! Что же это? Я проспала 4 часа и оставила его без охраны! А вдруг его взяли?»

Страх за любимого человека сжал сердце, и опять она бросилась на колени.

«Господи Иисусе Христе! Я не хочу верить и не верю, что, пока я спала, черная карета приехала и увезла его! Я не хочу верить, что Ты можешь быть так жесток, чтобы украсть его у спящей! Я нечаянно заснула – я устала! Господи Иисусе Христе, Сам, Сам услышь меня, Сам! Будь милосерд к нему и ко мне! Не отпускай его в тюрьму, не отдавай его этим страшным людям – довольно уже они мучили его. Дай ему немного счастья, хоть один год чудного светлого счастья! Господи! Ты слышал разбойника и Магдалину – услышь же теперь и Асю!»

Она сжимала маленькие руки. «Мучительно это беспокойство! Неужели так будет всю жизнь? В 9 часов он должен быть в порту, ехать туда очень долго, наверно, он теперь уже встал. Позвоню ему по телефону».

Она накинула на плечи халатик и босиком выскользнула в коридор. Вздох облегчения вырвался из молодой груди, когда она услышала его голос.

– Вы? Слава Богу! Простите, что я так рано. Я... видите ли... я в середине молитвы нечаянно заснула... так вот поэтому я хотела узнать, все ли благополучно... Да, да – молилась. Да, всю, всю ночь... Ничего, не заболею... Любите? И я люблю. А теперь до свидания, мне хочется согреться и заснуть. Меня в постели ждет мой щенушка... Не расслышали кто? Щенушка! Бабушка не позволяет мне с ним спать, а я беру его... Все-таки не расслышали? Ну да, собачка, щенок, поняли? Наконец-то! Ну, я бегу. Приходите обедать прямо из порта.

В восемь часов француженка пришла будить Асю. Спутанная головка с розовыми щеками приподнялась с подушки, а рядом зашевелилась кудрявая мордочка пуделя.

– Мадам, не гоните его и не говорите бабушке. Я так люблю с ним спать. Мне без него скучно. Мадам, душечка, можно мне заснуть еще часочек, пока не встанет бабушка? Закройте меня хорошенько.

Француженка заботливо поправила на ней одеяло и перекрестила ее. «Право, можно подумать, что малютка решила заспать вперед за все те бессонные ночи, которые у нее будут после свадьбы, когда молодой муж не даст ей покою. Вот тогда ей скучно не будет», – подумала она и, воображая себе поцелуи, которыми Олег станет осыпать Асю, вся расплылась от умиления.

По той или иной причине, но с этой ночи Ася уже не знала, что такое спокойный сон.

Повесив трубку после разговора с Асей, Олег поспешно допил чай и вышел из квартиры, торопясь в порт. В подъезде, едва он открыл дверь, к нему под ноги кубарем подкатился ребенок, споткнувшись о приступку подъезда, и пронзительно разревелся. Олег подхватил его на руки.

- Что ты, мальчуган? Ушибся? Да не кричи так - визжишь, как поросенок, которого режут. Разве мужчины плачут? Э, да ты, наверное, девочка! Девочка в штанишках, да?

Ребенок обиженно и озадаченно смолк.

- Все не девочка. Я - мужчина! - ответил он.

- Да как же так? Мужчины-то ведь не плачут и не кричат, - и желая отвлечь внимание ребенка, Олег прибавил: - Видишь, какая у меня дыра во лбу? Это была рана, а я не плакал.

- Нет, плакал!

- Нет, не плакал!

- Ну и я не плачу!

- Не плачешь? Ну, это - другое дело! Мне, значит, только показалось! А что ты здесь на улице делаешь?

Продолжая разговаривать с мальчиком, он посмотрел на тротуар, где шагах в десяти от себя увидел безногого нищего, в котором узнал солдата, продавшего ему револьвер. Как он попал к моему дому? Случайно? Странно! Нет, это не случайность - подстроено. Он и есть тот доносчик, который заварил всю эту кашу. Зашифрованная очная ставка, по всей вероятности. И все продолжая разговаривать с ребенком, он зорко обводил вокруг глазами, по-военному оценивая положение. «Нищий здесь, конечно, по приказанию Нага. Но где же сам Наг? Притаился в соседнем подъезде, наверно. Попробую пройти. Всего вернее, что подлец-нищий окликнет, и вряд ли поможет, если я не обернусь. И все-таки: ни на фамилию, ни на «господин поручик», ни на «ваше сиятельство» оборачиваться не следует... Дело плохо. Напрасно молилась моя сказочная царевна! Но так или иначе, идти надо».

Он спустил с рук ребенка, потрепав его по щеке, и пошел вперед быстрым шагом с видом равнодушного, торопящегося человека. Он не смотрел на нищего и все-таки видел его. Ему показалось странно, что нищий смотрел мимо и тоже как будто не хотел его узнавать - отсутствующим, безучастным взглядом он обводил вокруг себя...

- Гражданин! - услышал вдруг Олег чуть ли не около своего уха. «Так и есть, останавливают!»

Он обернулся - незнакомый человек в штатском подходил к нему.

- Извиняюсь, товарищ, нет ли прикурить? Спички забыл, - сказал этот человек. «Условный сигнал. Нищий должен опознать меня опознать - все ясно! Сейчас окружают: тут, конечно, шныряют переодетые шпики», - думал Олег, протягивая спички.

Человек закурил.

- Благодарю, товарищ, - и пошел в сторону.

У Олега было странное чувство в спине - какая-то связанность, каждый нерв позвоночника словно ощущал на себе пристальные недобрые взгляды, которыми, очевидно, провожали его. «Не останавливают пока. Дошел до угла... Прибавлю шаг. Оборачиваться не следует ни в каком случае. Как только поверну на Симеоновскую - побегу за трамваем - это покажется вполне естественным. Таким образом, выясню, идут ли следом. Поворот уже близко... есть!»

Никто не остановил его.

На работе с минуты на минуту он ждал, не вызовут ли в спецотдел. «Быть может, сразу не остановили только потому, что задержали переговоры с нищим? Да и зачем им спешить? Куда я денусь? Я ведь разыграл полнейшее неведение, ребенок помог сориентироваться. Да и куда бы я мог скрыться, если бы даже намеревался? Заграницу не убежишь, как было принято раньше!»

День прошел благополучно. «Дома может быть засада?» Подымаясь по лестнице в свою квартиру, он встретил Мику, который «сыпался» вниз (патент на это выражение был собственностью мальчика).

- Что скажешь, Мика? Все благополучно дома?

- Все, кроме того, что мне опять вlepили три! - крикнул Мика, не останавливаясь.

«Странно! - подумал гвардеец. - На какой-то срок опасность, по-видимому, миновала; что же мог сказать им обо мне нищий?»

А нищий сказал: «Не знаю я этого человека, товарищ следователь. Это не поручик Дашков. Прикажете доктору не тревожить меня больше».

Вечером Олег стоял с Асей на площади перед Преображенским собором. Площадь была полна народа, который уже не умещался в церковь. Не жгли свечей, колокола молчали, крестный ход не выходил наружу - все было запрещено. Но толпа вокруг храма все-таки росла и росла: каждый шел с надеждой, что до него долетит хоть один заглушённый отзвук, с надеждой что-то все-таки уловить и почувствовать. И сколько ни старались подосланные со специальным заданием люди встревожить торжественную тишину свистками, давкой и хулиганскими выкриками - она тотчас водворялась снова. В одном месте в ответ на какую-то выходку в толпе закричали: «Шапки долой!» - и зажатые со всех сторон провокаторы волей-неволей должны были снимать их. Конная милиция теснила толпу по краям, милиционеров было так много, что можно было опасаться облавы - примеры чему бывали. Но толпа не расходилась и постепенно заполняла все ближайшие переулки. Велосипеды и даже мотоциклы буравили ее, она молча размыкалась и смыкалась снова.

Олег стоял около ограды, на которую ему удалось поставить Асю и Лелю. Он опять обнимал ножки Аси, придерживая ее. Ни одного звука не долетало из-за наглухо закрытых дверей, и все-таки им было хорошо! «От Пасхи в царское время всего ярче в памяти у меня остались белые гиацинты и колокольный звон», - думала Ася. «Хрустальная, чистая царевна моя! Если бы не ты, я бы качался сейчас на суку», - думал Олег, прижимаясь головой к ее коленям, с нежностью припоминая, что на шее ее он увидел в этот день ожерелье из пасхальных яичек на тонкой золотой цепочке. «Это было принято раньше, а теперь давно уже я не видел ни на ком такого ожерелья. Что-то особенно родное и нежное есть во всем, что ее касается». С глубокой внутренней радостью он сознавал, что в нем молчит в эту минуту мужская страсть, и только глубокую умиленную нежность чувствует он к этой девушке. «Как хочется верить, что встречу с Асей мне даровала душа мамы, воскресшая после своей Голгофы!»

Идея бессмертия носилась в эту ночь над толпой. Перед этой величайшей идеей красный террор был бессилён.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава первая

Еще в восьмом классе - а теперь он был в девятом - Мика несколько раз говорил своему товарищу Пете Валугеву:

- У меня идейный кризис! Эта пустота Теречеллева, эта безыдейность вокруг нас угнетают! Никто из окружающих меня этого не хочет понять! Ну жил бы я, допустим в Х1Х-ом веке - сделался декабристом или, может быть, народником, или редактором вроде «Современника», а то так сбежал бы на Балканы или к Гарибальди. А теперь что? Идейных людей днем с огнем не сыскать. Знаешь, я прихожу к мысли, что всякая доктрина, едва лишь она принята и канонизирована, страшно теряет в своей первоначальной чистоте. Взять христианство первых веков до Константинополя и сравнить с тем, какое оно теперь; или социализм: пока он был в подполье, у революционеров он был хорош, а вот во что выродился теперь! От наших комсомольских собраний и пионерской линейки уже тошно делается, а партия со своей генеральной линией просто тюремщик. Душевный голод грозит моей жизни; и вот в такое то время Нина не дает мне проходу со всякой ерундой, я всегда виноват: то салфетку не сложил, то сапоги не вычистил, то не встал при входе тетушки... Она не хочет понять, что до этих

мелочей мне вовсе дела нет, я не могу о них помнить.

- А я тебе скажу вот что, - в свою очередь исповедовался Петя, - если кто вообще ищет правду и заглядывает вглубь вещей, так это именно мы в 14-15 лет. Эти самые взрослые словно шелухой обросли: кто карьеру строит, кто за семью трясется, а кто уже обмещанился по самую маковку... Ничего они не хотят знать, не хотят видеть. Соль земли - мы с нашими острейшими запросами, с нашим душевным голодом... А вот нас-то и презирают и в семье, и в школе.

Аксиомой раз навсегда принятой двумя философами было: дома в кругу родных ничего захватывающего, большого, заслуживающего интереса быть не может. О домашних делах говорилось всегда в презрительном тоне. С комсомолом дело обстояло еще острее: комсомол насаждался, навязывался и этим уже набивал оскомину. Туда шли по проторенной дорожке один за другим, как стадо баранов, шли, чтобы не отстать от других, чтобы облегчить себе дорогу в вуз, чтобы не прослыть антисоветскими. Комсомол бросал иногда лозунги, которые, казалось бы, могли увлечь юные умы, но престиж этой организации был уже настолько загрязнен в глазах мыслящих людей, что набрасывал тут же тень на свои великие слова и они не загорались огненными буквами! В рядах комсомола в данный момент не находилось ни одной сильной, яркой личности, которая способна была бы увлечь собственным примером или хотя бы искренним словом. Высказывания, дословно почти повторяющие передовицу «Правды», заставляли мальчиков только насмешливо переглядываться. К тому же для них не оставались в тайне методы, идущие за красивыми лозунгами. Вражда с комсомольской организацией школы началась еще с дней пионерской линейки. Месяца за два до предполагаемого перехода в комсомол был взят в концлагерь отец Пети Валуева - бывший правовед. Через несколько дней пионервожатая сделала мальчику какое-то замечание на линейке и прибавила во всеуслышание:

- Не бери пример со своего отца.

Петя, вспыхнув до ушей, со злостью уставился на пионервожатую, подыскивая достойный ответ.

- Вы по какому праву так говорите? Ведь его отец не уголовник, - в ту же минуту задорно отчеканил Мика.

- Папу взяли как правоведа! - в свою очередь крикнул Петя, - сейчас всех правоведов хватают! - и голос его оборвался.

- Правоведы - враги трудящихся. Истинный пионер не должен заступаться за них, - догматически возвестила пионервожатая и велела выровнять ряд.

- У нас все враги как посмотришь!

Пионервожатая приняла вид крайнего изумления. Воспитательница, Анастасия Филипповна, поспешила к месту «чепе».

- Товарищи, мы где находимся? Мне кажется, мы в советской школе, - предостерегающим тоном сказала она. - Я убеждаюсь, что в семьях у наших школьников еще не вытравился антисоветский дух.

В ответ на такую фразу не замедлила наступить тишина. Тридцать два подростка замерли на месте в своих красных галстуках и спортивках.

На другой день мать Пети пришла объясняться с воспитательницей. Та очень холодно выслушала опечаленную даму и ответила, что препирательства с пионервожатой не входят в ее обязанности, мальчики проявили очень большую несознательность, это пойдет, так сказать, по комсомольской линии.

С того дня Петя и Мика перестали являться на линейку. Как раз подошел срок вступления в комсомол, но они не подали заявлений, закусив удила.

- Меня заставят отмежеваться от папы, а тебя от сестры! - повторял Петя, более всего опасаясь, чтобы Мика не покинул его в оппозиции.

Мика фыркнул:

- Франкфуртский парламент! Говорильня старых баб - это наше бюро комсомольское! Стану я унижаться перед ними! - и, не стесняясь, повторял эту фразу в классе.

Через несколько дней его вызвали в бюро и поставили ему на вид эту цитату. Секретарь сказала:

- Имей в виду, Огарев, что мы не потерпим в наших рядах гнилого либерализма. Изволь переделаться, или нам не по пути.

Это было достаточно серьезной угрозой, и Мика понял, что на него уже составлен кондуит. Вечером он с возмущением говорил Пете:

- Мои слова о франкфуртском парламенте были сказаны только при мальчиках, посторонних не было - стало быть, между нами завелись доносчики. Этот комсомол расчленил нас, поощряя ябедничество. Разве можно сейчас сказать, как в Александровском лицее: «Друзья, прекрасен наш союз!»?

Дома он постоянно возвращался к той же мысли: «Идея! Она должна захватить человека! Должна доминировать над всей его жизнью! Только тогда можно сказать, что человек принял ее. Как я хочу, чтобы такая идея вошла в мою жизнь. Почему раньше были люди, а теперь пресмыкающиеся?»

В какой форме могла найти применение его кипучая энергия теперь? Кто мог стать теперь его героем? Признанный герой эпохи - пролетарий? Лет 12-13 тому назад этот пролетарий, может быть, заслуживал уважения, когда увлеченный новыми лозунгами, распевая интернационал, ломился в бой. Но теперь, получивший свое, распоясавшийся и опьяненный властью, он был слишком безобразен со своими неизменными атрибутами - классово-борьбой, марксизмом и доблестным гепеу, заменившим чека. Ум, хоть сколько-нибудь облагороженный и развитый не мог искать себе героя в этих рядах. К тому же момент борьбы уже миновал: теперь весь героизм сводился к трудовым вахтам на стройках, где при помощи тысяч и тысяч рабов в лице заключенных, рылись каналы и воздвигались заводы. Принять активное участие в стройке? Но его душа не лежала к технике, способности его были чисто гуманитарные, к тому же надежды попасть в вуз, который сделал бы его инженером, почти не было. Всякая административная деятельность была ему противна: распорядиться бесплатными армиями первой пятилетки? Не лучше ли уж прямо идти в работники гепеу? Недавно он прочел статью, в которой молодежи рекомендовалось следовать примеру нескольких высокосоциальных граждан, подвиги их описывались со всей тщательностью. Школьница-комсомолка часто бывала в доме своей одноклассницы и заметила, что родители ее настроены не по-советски. Она стала следить, что ей было тем легче, что в доме этом ей явно доверяли. Оставшись как-то раз одна в чужой комнате, она воспользовалась случаем и показала себя на высоте комсомольской морали: поспешно порылась на этажерке и вытащила давно замеченные ею тетради с какими-то мемуарами. Этим она помогла органам гепеу разоблачить замаскировавшихся контрреволюционеров. Или другой пример: юноша-комсомолец, всецело захваченный идеей «бдительности», следил за соседом по комнате, продолжая поддерживать с ним дружескую связь, он прочитывал его корреспонденцию и в результате длительных сопоставлений, навел гепеу на след опасного контрреволюционера.

Таковы были подвиги, которые предлагались вниманию юношества как образцы гражданской доблести в эпоху диктатуры!

Невольно сопоставляя эти образцы с внушениями Нины, которая постоянно твердила, что прочесть чужое письмо, хотя бы и распечатанное, ничем не лучше, чем украсть деньги из кармана, Мика не мог не видеть, насколько мораль уходящего класса была достойней! Хотелось не только полезной деятельности, но идеи, которая бы стала руководящей нитью всей его жизни, а такой, по-видимому, не могла стать деятельность сугубо лояльная, связанная с партийной средой. Так может быть, побежденные? Белогвардейцы из Крымской армии, из «Союза защиты Родины и свободы», или от Колчака? Их клеймили предателями и подлецами. Мика понимал очень хорошо лживость этих кличек, которые так щедро раздавались советской властью каждому идейному противнику. Он знал, сколько было среди белогвардейцев героев, двух-трех знал лично, он не мог не видеть их культурного и умственного превосходства. Но сомнение в жизненности их идейной программы, в возможность вложить свои молодые силы в

их дело все-таки было заброшено в юный мозг. Притом сословное чувство, казавшееся ему обратной стороной классовой «сознательности» пролетариата, претило ему. А главное – среди них он не видел единства: все были разобщены, разбросаны, за каждым установлена тщательная слежка, и, что еще важнее, среди населения не было той прослойки, на которую могли бы опереться недавние герои. Готовности к борьбе он тоже не видел: все были слишком утомлены и замучены войной, репрессиями, разорением... Не было вождя, не было знамени, лозунга... С ними идти было некуда! В этот момент на арене не было такой партии, в которую он мог бы кинуться, которой мог бы отдать себя! Он был без идеи, он был без героя! А между тем он чувствовал себя способным на подвиг, энергия клокотала в нем, как в запертом наглухо паровом котле и с каждым месяцем жизни давление становилось интенсивней – 300 атмосфер! Нина недавно пела: «Есть у подвига крылья!» – неужели эти крылья не развернутся у него? Неужели ему предстоит серенький, будничный путь и никто не явится одушевить его? Старшие часто упрекали его, что он небрежно относится к учению – стоило ли распинаться, когда он не знает, на что это нужно?

Временами ему начинало казаться, что идея придет, что он – накануне: какие-то силы вот-вот должны овладеть им... Странное это было чувство! Он сам доказывал себе несостоятельность таких надежд – откуда?... Горизонт пуст – ни молний, ни зарниц, ни северного сияния! Темно. Все темно и беспросветно.

Долго ли еще протянется эта пустота?

Петя часто жаловался ему на своих домашних:

– Ты пойми! Каждое утро в 7 часов дикое завывание будильника, а ведь мы все в одной комнате с тех пор, как взяли папу. Мама и Мери, как ошпаренные вон с кроватей! «Скорей! Обедня сейчас начнется! Скорей, я сегодня каноннару. Петя, поспеши, не то будешь пить чай один!» – Одеяло с меня стащат, за хохол волокут в ванную, в одну минуту что-то проглотят и – смылись! А я один – пей чай и мой посуду! Даже в воскресенье не дадут в постели помякнуть. У нас все не по-человечески с тех пор, как взяли папу!

В одно прекрасное утро оказалось, что мать и сестра Пети одновременно заболели гриппом. Озабоченный и немного растерянный мальчик бестолково суетился в их загроможденной красным деревом комнате, выслушивая распоряжения:

– Сбегай в кухню и поставь на керосинку чайник! Свари себе яйца! Налей маме в рюмку воды для лекарства! Чайное полотенце на гвоздике за шкафом: ничего никогда не знаешь! Не разбей мамину чашку – это ведь севр!

Он еще не покончил с сотней обрушившихся на него забот, когда черноглазая Мери крикнула ему из-за буфета, разделявшего их кровати:

– Сделай мне одолжение, Петя!... Впрочем, ты, чего доброго, струсишь!...

Петя гордо выпрямился:

– Поосторожней оскорбляй! У меня свое достоинство все-таки есть!

Взгляд, который она на него бросила, наверно, был ужасен! Никто не умеет смотреть так презрительно, как пятнадцатилетние сестры на четырнадцатилетних братьев. Хорошо, что он не видел этого взгляда из-за угла буфета.

– Ты, Петя, всегда был глуп, таким и остался! – уверенно возвестила она. – Меня в классе все девчонки жалеют за то, что у меня младший брат: всем известно, как братья дразнят и мешают и как они невыносимы.

– Вы опять ссоритесь? – устало спросила мама, подымая голову с подушки.

Оба сконфуженно умолкли. Когда Петя принес, наконец, сестре в постель чашку чая, то угрюмо спросил:

– Что я должен сделать? Говори...

Она ответила, заплетая косу:

– Сбегай вот по этому адресу. Тебе откроет дама, вся в черном – сестра Мария. Она ждет меня и маму. Я напишу, что ты мой брат, и она передаст тебе пакет, который ты отнесешь в тюремную больницу имени Газа... Да нет же! Не для папы! Глупости спрашиваешь: ведь ты

отлично знаешь, что папа в «Медвежьей Горе». Смотри: я здесь нарисовала, как найти эту больницу. Только помни: ты никому не должен говорить об этой квартире – что и кого ты увидишь там. Мы ходим туда на тайные собрания. Смотри, молчи: а то и маму возьмут, как взяли папу.

Мальчик с изумлением смотрел на сестру, ошарашенный неожиданным открытием, а она продолжала:

- Это для арестованного священника. Понял?

Петя прибежал к Мике, задыхаясь:

- Секретная организация! Тайные собрания! Доверяю тебе, как другу! Смотри, держи язык за зубами! – тараторил он.

- Здорово! – воскликнул Мика, когда наконец понял, в чем дело. – Молодец – твоя мать! Всякая другая на ее месте, проводив мужа в лагерь, кудахта, как курица: не ходи туда, не ходи сюда, будь осторожен! А она не прячет детей за печку. Тайные собрания! Это открытие!

- Несгибаемая римлянка! – воскликнул в восторге Петя.

- И в самом деле римлянка, а вот моя Нина – только «ии».

- Что такое «ии»? – с недоумением спросил Петя.

- Дурак! Неужели не понимаешь? Советское сокращение! Заместитель комиссара по морским делам – «замком по морде», так ведь? Понял теперь что такое «ии»? Испуганный интеллигент! Вот что такое! Самый распространенный термин. Бежим, надо оправдать доверие. Я, конечно, с тобой, – Мика схватил пальто и, сделав несколько механических движений, попытается застегнуть отсутствующие пуговицы, бросился к двери.

Их приняли в маленькой тесной кухне. Оба с любопытством косились на даму в черном, пока она упаковывала передачу. Она была уже пожилая, с белыми волосами и благородной осанкой. Она спросила Петю о здоровье матери и сестры и сказала: «Я постараюсь прислать вам на помощь кого-нибудь из наших девушек», – потом спросила, не было ли писем от Петиного отца и прибавила:

- Передай матери, что мы всегда поминаем его имя на вечерней молитве.

Потом спросила:

- Это Мика?

Мальчику ясно стало, что ей известны все подробности жизни Валуевых.

Вручая передачу, дама протянула Пете незапечатанный конверт и сказала.

- Твоя мать хотела иметь предсмертное письмо владыки Вениамина – вот, я переписала для нее.

Петя взял все так же озадаченно. Дама улыбнулась и сказала:

- Если хотите прочесть, можете это сделать, – и, закрывая двери, прибавила: – Спасибо вам, мальчики.

Оба Аякса переглянулись.

- Тайная христианская община!

- Да, да, только не сектантская – если священник и митрополит.

- Конечно, нет – церковная, как во времена Нерона.

- Прочтем письмо?

- Прочтем.

Уселись на окно.

«В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым одушевлением. Я глубоко сожалел, что дни мученичества уже миновали. Времена переменялись – открывается возможность снова страдать за свою веру...»

Мальчики переглянулись: мученичество!... Люди, которые осмеливаются не подчиняться директивам партии и остаются верными религиозным идеалам, люди, которые умирают за идею, – они есть!!!

То, что они прочли дальше, было уже не столь интересно и важно, – все, что было нужно для них, заключалось в этих нескольких строчках, которые словно приоткрыли перед ними новые

дали.

Религиозные чувства Мики были в то время еще очень смутны: они все покоились на одном воспоминании, идущем из раннего детства. Как-то раз он расшалился и раскапризничался, не слушаясь няни, ударил ее несколько раз кулаками; когда его, наконец, загнали в кроватку и он встал на колени перед образом, чтобы прочесть вечернюю молитву, но глаза его, поднявшиеся на образ, вдруг опустились... Несколько раз он хотел и не мог поднять их на лик Спасителя, точно встречал Чей-то строгий испытывающий взгляд. Постояв на коленях с опущенными глазами, он забрался под одеяло, присмиривший и растерянный... Ощущение это было настолько сильно, что он пронес его через все детство и отрочество. Религиозного воспитания он почти не получал, молиться его учила только старая няня. Он рос несколько заброшенным – это были годы гражданской войны, отца уже не было в живых, они безнадежно застряли в Черемухах, но жили не в большом барском доме, который был спален, а в маленьком мезонине, где прежде помещался управляющий. Жили втроем; он, Нина и няня. Мика видел, что сестра чем-то пришиблена: она напоминала подбитую птицу. Няня шепотом объясняла ему, что сестра его теперь вдова и тоскует по мужу и ребенку. Это набрасывало тень на всю их жизнь: не было гостей, смеха, удовольствий. Он играл один с собаками и лошадьми, животные принадлежали уже совхозу, организованному в имении, но ему было все равно, чьи они. Когда в 23-м году сельсоветы начали выселять последних помещиков с мест бывших владений, Нина стала собираться в Ленинград. У Мики мелькала надежда, что теперь, когда он пойдет в школу и встретится с другими детьми, жизнь пойдет веселее, будут шумные игры, товарищи, проказы. Вышло не совсем так: в квартире, где они поселились, наводила террор сухая злая тетка, сестра не развеселилась и здесь, а дети оказались не совсем такими, какими ему хотелось их видеть. В школе он тотчас подвергся антирелигиозной пропаганде. И вот здесь обнаружилась странная вещь: проповедь безбожия, словно корабль на скалу, наткнулась на незыблемое основание на дне его души, где покоилась несокрушимая уверенность! Кто-то невидимый, встретивший с образка его взгляд, был около него однажды в детстве, дал ему почувствовать Свою близость. И об эту уверенность разбивались все антирелигиозные доводы. К тому же назойливость этого насильно насаждаемого материалистического мировоззрения, преподносимого в готовенькой дешевой форме, и часто довольно грубые кощунственные выходки безбожных кружков, организованных в школе, вызывали в нем постоянный протест, переходивший все в то же отвращение. Церковного мира он в это время совсем не знал, ему казалось, что это все уже давно раздавлено, в первые же дни революции сдалось без славы. Теперь оказывалось, что это не совсем так... Он сказал сам себе, что должен узнать, что несет приоткрывшийся им новый мир. Идея, которой можно было отдать жизнь, мелькнула ему пока еще издали. Оба мальчика по собственному уже побуждению сбегали еще раз на квартиру на Конной. Дамы в черном не оказалось, открыла им девушка в платочке и дальше кухни их не пустила. Они помялись на пороге и ушли.

– Здесь, как в каждой нелегальной организации, наверно, нужны какие-либо ручательства других членов», – сказал Петя, который был, по-видимому, тоже заинтересован. Мика задумчиво кивнул.

– Я мог бы кое-что узнать, если бы расспросил маму и Мери, – продолжал Петя, – но я как-то разучился разговаривать с ними. Мери только командует: иди, принеси, ешь, спи, делай уроки – как с собакой все равно!

Мика усмехнулся:

– Ну а ты с ней?

– Я? Правда, что и я в этом роде, я ей говорю: отстань, не твое дело, не командуй. С мамой все-таки иначе, мама крестит меня на ночь, а я целую ее руку, – так уж повелось с детства. Маме я всегда выкладываю все школьные отметки, но говорить с глубокой искренностью не умею, не привык. Я просто бы не знал, как начать!

Мика вздохнул: он говорил со своей сестрой не лучше, хотя Нина была много старше, и решительно не знал, как выйти из этого бранчливого тона.

Через две недели праздновалось шестнадцатилетие Мери. К Валугевым собралось несколько родственников и знакомых. Со времени ареста мужа Ольга Никитична Валугева еще ни разу не устраивала у себя никакого торжества. Не было ни оживления, ни смеха. Сама Мери в школьном платье, с гладко зачесанными волосами, разделенными пробором-ниточкой, совсем не имела праздничного вида.

- Она сказала мне, что будет монахиней и никогда не выйдет замуж! - шепнул на ухо другу Петя, уже в оттенком некоторого уважения. Мика с любопытством поглядел на девушку, которая до сих пор так мало интересовала его. Как раз в эту минуту Нина ласково тормошила Мери, говоря:

- Что-то бледненькая, и прическа уж слишком скромная, зачем ты прилизываешь волосы? А сюда, к вороту хорошо бы узкую полоску кружев и все платьице тотчас оживет.

Мика от досады покраснел:

- Фу, какие банальные вещи она говорит! В этом доме не думают о красоте.

Желая немного развлечь молодежь, Нина положила на стол карты «Почта амура». Мика взял их неохотно. «Дудки! Не унижусь до комплиментов!» - подумал он. Внезапно его внимание привлекла одна фраза, он перечел ее раз, другой и быстро перебрал карту Мери, говоря: «Рубин». Девочка прочитала фразу, подняла головку и пристально, серьезно посмотрела на него черными глазами. Этот взгляд весь вечер занимал мысли Нины: «Что мог Мика телеграфировать Мери? Я рада была бы, чтоб он увлекся в первый раз в жизни, по крайней мере, ногти бы свои привел в порядок, - да что-то не похоже!»

А под рубрикой «Рубин» стояло:

От ликующих, праздно болтающих,

Обагряющих руки в крови

Уведи меня в стан погибающих

За великое дело любви!

Через несколько дней после празднования дня рождения Петя опять ворвался к Мике:

- Скорей одевайся и бежим, если хочешь идти с нами «туда» и увидеть «их». Мама прислала меня за тобой. Она обещала, что все расскажет. Бежим!

Она рассказала, что выпущен из тюрьмы на один день иеромонах отец Гурий Егоров - тот, которому они относили передачу. Сейчас они пойдут на квартиру, где соберутся все, кто хочет проститься с ним, так как его отправляют в ссылку на Север. Необходима очень большая осторожность, чтобы гепеу не накрыло собрания. Сердце Мики тревожно забило, настороженное ожидание прикоснулось к каждому нерву. Необычайность момента, казалось ему, сообщает странную тишину и торжественность каждой самой простой подробности: лица были серьезны, переговаривались в полголоса, в обращении с Ольгой Никитичной проскальзывал новый оттенок иерархического послушания, Мери смиренно одевала платочек вместо обычного берета... Эти маленькие штрихи уже заключали в себе что-то неповседневное, и неповседневность эта нарастала. У Пети, по-видимому, было заключено перемирие с сестрой - это тоже что-нибудь да значило! Они шли рука об руку, а ему пришлось идти с Ольгой Никитичной и, пересиливая застенчивость, он отважился спросить по поводу письма, которое заинтересовало его.

- Это письмо митрополита Вениамина, который расстрелян по обвинению в контрреволюции несколько лет тому назад, - ответила она, понижая голос. - Советская власть обычно расправляется со своими жертвами тайно на дне своих казематов, но с владыкой им было слишком неудобно поступить так, как они поступили с Савинковым. Был организован публичный показательный суд, который производился с некоторым подобием прежнего суда в зале бывшего Дворянского собрания. Муж сумел раздобыть мне билет благодаря своим прежним юридическим связям. Сколько было грубости и надругательства! Я раз не выдержала и крикнула со своего места: «Не издеваться!» - и несколько голосов закричали со мной.

Адвокаты боялись каждого своего слова. Я невольно вспоминала суды царского времени. Засулич была настоящей политической преступницей, а между тем какие пламенные речи лились в ее защиту, сколько выражений сочувствия в публике! А теперь, когда собравшаяся у подъезда толпа закидала владыку цветами, – в ту минуту, когда его высаживали из «черного ворона» – тотчас откуда ни возьмись хлынули конные гешеу и увели под конвоем оцепленных людей! Я как-то сумела проскочить между мордами лошадей и ускользнула. Были и другие штучки: в день приговора залу до отказа набили агентами гешеу, которые, согласно приказу, разразились аплодисментами в ответ на объявленный приговор. Эта достойная выдумка должна была иллюстрировать народный восторг. Власти, очевидно, боялись, чтобы не повторились выкрики с мест, и приняли свои меры. Но вся площадь и вся Михайловская в этот вечер были полны народом, в глубоком молчании стоявшего в ожидании приговора, и эту толпу, остановившую движение транспорта, нельзя было ни выловить, ни оцепить... Был конец лета, и небо, помню, все пламенело от заката. Запомни эту картину, Мика, чтобы она сохранилась для потомства. Ведь «они» уничтожают все мемуары и наша, такая трагическая эпоха будет так бедна воспоминаниями.

И через несколько минут она прибавила:

– В последние два-три года, с усилением власти Сталина, прекратились уже всякие высказывания и выкрики; молчание даже в очередях перед тюрьмами. Усиливающийся террор покончил со всеми изъявлениями гражданских чувств.

Мика молчал под впечатлением рассказа, в котором, кроме содержания, его поразила идейность и смелость этой женщины. Ведь он постоянно видел Ольгу Никитичну, он привык слышать ее разговоры: «Мальчики, идите пить чай», «Ты опять не вымыл руки, Петя», «Мика, возьми пирожок», – и почему-то в голове его уже сложилось убеждение, что если человек говорит эти и подобные им слова, то других, более интересных, от него уже ждать нечего, они должны были исчерпывать содержание человека! А вот теперь оказывалось, что параллельно с заботами о семье и о доме, у этой женщины была своя собственная идейная жизнь. Как он не замечал этого?

Когда подошли к дому, где находилась таинственная квартира, Ольга Никитична запретила какие бы то ни было разговоры и велела подыматься поодиночке. Из уже знакомой им кухоньки их провели по узкому коридору в комнату, где Мика увидел освещенные образа, аналой и множество девушек и юношей, сидевших на стульях и просто на полу посреди библиотечных шкафов и стеллажей. Понемногу заполнился даже коридор; осторожные звонки и тихие шаги продолжались непрерывно, переговаривались только полусшепотом.

Мика искал глазами священника, ему невольно приходили на память портреты Гуса и Саванаролы, но он увидел еще молодого человека с интеллигентным лицом, ни во взгляде, ни в голосе которого не было ничего фанатического. Он был в монашеской рясе, очень худ и бледен и напоминал больше древнехристианского пресвитера, который беседует со своей паствой в дни гонений: он просил не разъединяться, не отходить душевно, поддерживать друг друга, рассказывал о жизни в заточении... Потом все начали подходить к нему поочередно под благословение. В одиннадцать вечера он обязан был явиться обратно в тюрьму и теперь прощался с каждым двумя-тремя словами. Все тихо передвигались в молчании при колеблющемся свете лампад, и каждый, получивший благословение направлялся тотчас к выходу, так как расходиться можно было только поочередно. Картина эта окончательно воспламенила воображение Мики. Тональность, на которую настраивалась эта молодая душа звучала все полнее и торжественнее. Ему мерещились катакомбы во времена римских кесарей, а Петина мать представилась благородной матроной, женой опального патриция; она пришла на тайное христианское собрание со своей виллы на Тибре и привела с собой двух неофитов...

«Все тихо, таинственно и полно значения... Совсем не так, как кричат и галдят в прокуренной комнате на комсомольских собраниях, причем каждый боится неосторожного слова и как попугай повторяет газетные фразы. Сюда не идут те, кто хочет преуспевать: тот, кто здесь, рискует собственным благополучием, стало быть, здесь все искренни».

Когда пришла их очередь подойти к священнику, «римлянка» пропустила вперед Мери, а сама встала за мальчиками и, положив одну руку на плечо сына, а другую на плечо Мики, сказала:

- Это новенькие. Их привела я.

Мика робко поднял глаза на священника.

- Даст тебе Господь по сердцу твоему!

«Если он так сказал, то понял, стало быть, как я душевно изголодался и обещал мне этими словами утоление моего голода. Я, кажется, нашел свою идею».

Выходя с Петей, он спросил его: сказал ли ему отец Гурий что-нибудь?

- Он сказал слова Зосимы: «В миру пребудешь, как инок». А Мери: «Да будешь ты сохранена лилией сада Гефсиманского!» Мама говорила о нем, что он даст себя четвертовать за свои идеалы.

- Таким буду и я,- сказал себе Мика и невольно поднял глаза на звездное небо.

В первые же годы советской власти, несмотря на притеснения и прямые гонения, устраиваемые на Православную Церковь, и даже, может быть, именно вследствие этих гонений, религиозная жизнь в Петербурге очень оживилась. Почти при каждой церкви образовалась своя небольшая ячейка глубоко верующих людей, которые ушли очень далеко от мертвой обрядовой церковности, готовы были преобразовать всю свою жизнь согласно требованиям религии и дойти, если нужно, до мученичества. И доходили. Гонения очистили церковную среду. Одно из ведущих мест заняла Александро-Невская лавра: там, при Крестовой церкви, образовалось так называемое Александро-Невское братство. Это было движение молодежи «комсомольского» возраста и в основном интеллигентной молодежи. Руководителями были три священника: отец Иннокентий, отец Гурий и отец Лев. Гурий и Лев были два родные брата, оба с университетским образованием, а Гурий - в миру Вячеслав Михайлович Егоров - успел, кроме того, окончить Духовную Академию, закрытую советской властью. В период империалистической войны оба брата (тогда еще не имевшие священного сана) пошли на фронт санитарями и собирали под огнем раненых, не желая ни проливать крови, ни держаться в стороне от происходившего. Приняв священство и монашество в самое трудное для Церкви время, оба встали во главе молодежи как духовные руководители объединения. Первое время братство сгруппировалось вокруг Крестовой церкви, на территории лавры; оно включило в себя молодежь обоего пола, девушки в те дни носили белые косынки, которые очень скоро пришлось снять в конспиративных целях. Перед братством была поставлена задача осуществить христианские идеалы и воскресить дух древнехристианских общин. Члены братства полностью обслуживали Крестовую церковь: пели, читали, прибирали, ухаживали за больными, о которых удавалось узнать, носили передачи заключенным, собирались для совместного чтения святоотеческой литературы, соблюдали церковный устав - исповеди, посты, посещение богослужения; занимались Законом Божиим с детьми (так как предмет этот был запрещен в школах). Очень многие поступили студентами в Богословский институт, только что открытый вместо разгромленных академий. Задачей ставили себе миссионерскую деятельность. Одушевление было очень большое, но осторожности, как и следовало ожидать, слишком недостаточно. И Крестовая церковь очень скоро привлекла внимание гепеу. Осенью 1923 года был закрыт Богословский институт и разом арестованы все его руководители и профессора, а также все три священника и другие наиболее выдающиеся члены братства, которое оказалось, таким образом, обезглавлено. (Такие же расправы происходили и среди других братств).

В течение первых нескольких дней опечаленная молодежь еще собиралась в Крестовой церкви, и многие в глубине души уже мечтали о мученичестве, но церковь почти тотчас была закрыта. Очевидно предполагалось, что члены братства связаны между собой главным образом территориально и с разрушением очага «контрреволюции» братство легко распадется, но связь успела уже упрочиться, идея пустила слишком глубокие корни! Собираться стали на частных квартирах, украдкой осведомляя друг друга, на общие средства носили передачи арестованным

«отцам». Собрания на квартирах бывали многолюдны, иногда до сорока человек, и часто чей-либо запоздалый звонок заставлял тревожно настораживаться. Но предательства внутри братства не было, и гепеу не удавалось накрыть братского собрания и выловить таким образом братство полностью, хотя они всячески охотились на него. Скоро в братстве образовался своего рода боевой штаб – в одной из квартир на Конной улице удалось устроить нечто вроде монашеского общежития: путем обменов и самоуплотнений удалось заселить всю квартиру братчицами из числа бессемейных девушек и женщин, все числились на советской службе – учительница, бухгалтер, библиотекарь, медсестра... По документальным данным это была типичная коммунальная квартира. В каждой комнате жило по две девушки, центральная комната служила монашеской трапезной, туда были собраны образа, уставленные наподобие иконостасов, а посередине стоял длинный стол. Стены этой комнаты были сплошь уставлены стеллажами с книгами, принадлежащими арестованным отцам. В этой комнате совершали трапезы, читали молитвенное правило утром и вечером и принимали проходящих. Квартира эта действительно играла роль главного штаба: туда стекались все новости из церковной жизни, отсюда исходили директивы членам братства, туда прибегали за сведениями, братские собрания происходили всего чаще именно там. С потерей Крестовой церкви братство уже не имело своего храма, но несколько раз пристраивалось временно при какой-нибудь церкви, являясь туда со своим хором и чтецами для безвозмездных услуг. И это являлось одним из объединяющих моментов.

Из недр братства вышла героическая пара – священник Федор Андреев и его жена Наташа. Оба были членами кружка по изучению монашества, сформированного при братстве еще в дни Крестовой церкви, и вот совместное изучение монашества закончилось счастливым браком! Андреев был инженер по образованию и занимаемой должности и успел кроме того прослушать три курса Духовной Академии, продолжая работу инженера, он читал по вечерам лекции в Богословском институте. Когда стало известно о ссылках огромного числа священников, он героически заявил о своем желании принять священный сан. Молодая жена дала согласие, зная, на что идет, а сама в это время уже ждала ребенка. Деятельность Андреева была очень недолга: он был вскоре арестован и погиб, выпущенный из заточения за три дня до смерти, вслед за этим пропала в ссылке его жена. Так же скоро был сметен с лица земли другой священник, пытавшийся заменить братьев Егоровых – отец Варлаам: это был еще совсем молодой человек из очень интеллигентной семьи, племянник адмирала, он также героически принял священство и также скоро попал в Соловки.

Священники появлялись и исчезали молниеносно, но братство не распадалось. Живучесть его была поразительна: на десятый год после первого разгрома оно еще продолжало подпольное существование. Одному из священников на допросе в 1932 году было сказано: «А ведь мы отлично знаем, что Александро-Невское братство все-таки существует». Это знали, но накрыть хоть одно братское собрание, так чтобы выловить братство полностью, не смогли. Оно распалось из-за все возрастающих трудностей подпольного существования и слишком многочисленных арестов и ссылок в своей среде – ставились в вину кому происхождение, кому религиозность, кому родство... Связь между отдельными членами стала медленно таять. Еще в 36-ом году квартира на Конной кое-как поддерживала эту связь. 37-ой год окончательно разбросал всех в разные стороны.

Такова была организация, в которую жажда подвига и религиозный голод привели Мику. Со дня собрания на Конной улице он весь отдался братству. По субботам и воскресеньям отправлялся за Неву в Киновию, где братство в тот период опекало и обслуживало небольшую церквочку, и не пропускал ни одного братского собрания.

Старые-старые иконы с их потемневшими, застывшими ликами, золотые нимбы и овейные ладаном песнопения, красота старинных уставных служб – все это было тесно связано с прошлым его Родины, это было новое и забытое в одно и то же время, это было гонимо, стало быть, очищено от всего подкупленного и насильственного. Это одно не изменилось, не распалось, осужденное на смерть, и это одно явило ему идейных людей! Оставалось сказать: я

ваш!

Он ничего не рассказал Нине. «Она в прошлом своей Родины видит только дворянские особняки, люстры, паркет, мир изящных манер, страуса и лайковых перчаток, да еще поэзию старинных усадеб, но прошла мимо подвижников и монастырей, и не поняла значимости всего, что этот мир. Она говорит, что потеряла веру, так как Бог был с ней слишком жесток, как будто Бог – работник на нас, обязанный доставить нам процветание за то, что мы не отрицаем Его! О, какое убогое понимание религии! Она ничего не поймет, нельзя делиться с ней!» В этот период жизни он познакомился с Олегом. О нем он говорил Пете так: «Поздравь меня с новым родственником: сейчас объявился из Соловков. Бывший гвардеец, человек умный и волевой, внешняя отделка – ну там манеры, жесты, разговор – доведены до совершенства, а вот глубокой духовной жизни – нет. Понимаешь, нет возвышенного стимула: Родина, честь, погоны – вот его содержание. Тонет в предрассудках, старых – феодальных». Юному христианину не пришло в его многомудрую голову обратить внимание на тяжелое душевное состояние этого гвардейца и собственной сестры и с евангельской любовью попытаться помочь: он был занят собственным усовершенствованием, готовил себя к мученичеству.

Перед Пасхой, однако, волей-неволей, пришлось пересмотреть отношения с сестрой: все члены братства говели, и Мика понимал, что прежде чем приступить к Таинству, должен помириться с Ниной. Для него этот момент был сопряжен с очень большой трудностью, главным образом потому, что он очень давно не входил с Ниной в искренний, душевный тон. Однако это было необходимо. «Сумел же перейти Рубикон Петька, а тоже по самую маковку в сплошной пикировке плавал. Неужели же я струшу?» – думал он. Несколько Дней он собирался с духом, наконец, в Страстную Среду – канун Причастия, сказав себе «теперь или никогда», постучался к сестре.

– Нина! – и вспыхнул яркой краской, но не опустил глаз, – я иногда... часто... всегда почти... был с тобой груб и несправедлив. Завтра я иду к Причастию – прости меня!

– Мика, милый! – воскликнула пораженная Нина. – Я не думала, что ты так заговоришь со мной. Я тебя прощаю, конечно, прощаю! Я и сама виновата, – и слезы хлынули из ее глаз. – Мика, ты не знаешь, как ты мне дорог, ведь тебе было только несколько дней от роду, когда умерла наша мама. Это было первое из наших несчастий! Я только что кончила тогда институт. Папа одной мне доверял возиться с бутылочками, в которых мы стерилизовали тебе молочко; мне одной разрешалось кормить тебя с рожка. Я так тебя тогда любила! Потом в Черемухах я была плохая мать, я сама упустила нить привязанности. У меня тогда было слишком много собственного горя. Ты ведь и не знаешь всего, что на меня обрушилось. Я совсем забросила тогда своего братишку. Прости и ты: у тебя не было счастливого детства! Папа мог бы меня упрекнуть, – и слезы ее полились ручьями. – Не вырывайся, дай хоть раз все сказать! Мика, ты осуждал меня, но... этот человек, Сергей Петрович, – он в самом деле любит меня. Я скоро поеду к нему на месяц, и мы регистрируемся. Для тебя ведь это очень важно, ну вот, ты можешь не краснеть за меня больше, мой Мика!

Он высвободился из ее объятий, чтобы взглянуть ей в глаза.

– Ты замуж выходишь?

– Да, Мика.

– Это хорошо, а то я все время думал, что как только мне минет шестнадцать лет, я войду к вам и ударю его по лицу. Тогда волей-неволей он примет мой вызов.

– Мика, да ты рехнулся! Ведь я же не девушка, я старше тебя на 16 лет! Даже в прежнее время честь вдовы не опекалась так, как честь девушки, а теперь все так спуталось: венчаются уже немногие, а советская бумажонка о браке так мало значит! Бога ради, брось эти мысли, я хочу, чтобы вы были друзьями. Он теперь в ссылке, его можно только жалеть.

– Если он с тобой повенчается, я с ним примирюсь, конечно. А что мое детство было несчастливое, не ты виновата. Да и лучше, что несчастливое: не избаловался, по крайней мере и пришел к истинному пути. Я долгих объяснений не люблю: нежным я никогда не стану, а грубым постараюсь не быть, хотя поручиться за себя трудно. А теперь все!

И он убежал, больше всего опасаясь как-нибудь расчувствоваться.

«Таким, как Нина – с нами не по пути. Вот Ольга Никитична – это человек! Благодарю Тебя, Господи, что на грани моего отчаяния Ты одушевил меня!»

## Глава вторая

Нина всегда чувствовала себя растерзанной тревогами; это состояние стало с некоторых пор ее хронической болезнью. В последнее время ее пугала и расстраивала предстоящая ей поездка в Сибирь. «Я люблю его, конечно люблю, но Боже мой, как это страшно и сложно пускаться в такой далекий путь, тратить такое количество денег и сил и для одного только месяца счастья! Даже и этот месяц весьма проблематичен: быть может Сергей в таких условиях, что вдвоем и жить не придется. Измучаюсь по дороге, а приеду туда и только еще больше расстроюсь». И она с некоторым страхом ждала известия о продаже знаменитого рояля.

В последнее время у нее появился поклонник – уже пожилой музыковед-теоретик, восхищавшийся ее голосом и глазами русалки. Он несколько раз провожал ее с концертов, покупал ей цветы и шоколад, а в последний раз напросился в дом и оказавшись с ней в ее комнате протянул было лапу к ее талии. Как раз в эту минуту к ней постучался Олег; развязка отсрочилась, и теперь ей было ясно, что отношения с музыковедом следовало категорически пресечь, если она не желала легкомысленного романа. И она было собиралась это сделать, но каким-то образом дала втянуть себя в нелепую авантюру. В Капелле кто-то рассказывал, что на одной из платформ по Московской железной дороге, в полуверсте от путей, с наступлением сумерек заливаются в кустах соловьи. Несколько молодых сопрано заявили, что поедут их послушать; присоединились два-три тенора – и собралась компания молодежи. Позвали и Нину. Пожилой теоретик оказался тут как тут и заявил, что поедет тоже. Молодые сопрано смеялись, что в эту поездку не возьмут никого старше сорока лет. Нине было совершенно ясно, что старый плут едет ради нее и что все это отлично понимают. Предполагалось, очевидно, что после слушания соловьев разойдутся парами по лесистым окрестностям в ожидании утреннего поезда, и объятия теоретика предназначались ей. Она была неприятно поражена тем, что не чувствовала того благородного негодования, которое должно бы было кипеть в ней, как в порядочной женщине. Поездка и атмосфера ухаживания интересовали ее больше, чем следовало. Она ни словом, ни жестом не показала, что поняла намерения относительно себя, однако и не отказалась от поездки, а между тем ей было совершенно ясно, что с тех позиций, на которых она стояла до сих пор: с позиций дамы прежнего общества, бывшей княгини и в настоящее время невесты человека, принадлежащего к ее же кругу, достойный выход из создаваемого положения был только один – немедленно отказаться от ночной прогулки, и ей было досадно на себя, что она не сделала этого. «Если бы Сергей был здесь, я бы позвала его, и мы бы чудесно провели время! Белые ночи, соловьи, сирень... и вот все складывается так, что я не должна ехать; никогда ни капли радости на мою долю! Разыграть неприступность очень легко, но просидеть потом вечер и ночь в полном одиночестве у себя будет слишком невесело, а молодость проходит год за годом!» Она рассказала свои колебания Марине, которая по ее мнению одна только могла ее понять; Марина убеждала ехать:

– Повеселишься, погуляешь, подышишь воздухом, ну, а если будет слишком агрессивен, дашь, в крайне случае, по физиономии. Потом расскажешь мне, похохочем, – она почти убедила Нину. На следующий день, в разговоре с Олегом, желая соответственно обработать его мнение, Нина сказала:

– Я хотела предупредить: в субботу вечером у нас в Капелле организуется поездка за город. Может быть, я не вернусь до утра; не беспокойтесь, если меня не будет.

– Вот как?! И мужчины едут?

– Одним дамам было бы несколько рискованно... разумеется, и мужчины – наши тенора, – самым невинным тоном ответила она.

– Скажите, а кто этот господин, несколько семитского типа, который был у вас на днях? Это

тоже артист Капеллы? – спросил Олег.

Она слегка смутилась.

– Да, это музыковед-теоретик, из тех, что заседают в президиуме в знаменательные даты и произносят вступительное слово, – и прибавила для чего-то: – Сергей не выносил людей этого сорта.

– А он случайно не едет?

«Однако ты становишься слишком проницателен, мой милый», – подумала Нина и спросила:

– А вас почему интересует это?

– Мне показалось, что он поглядывает на вас, как кот на сливки. Я постучался к вам, чтобы предупредить ваш зов и из того, как вы старательно удерживали меня в комнате, вывожу, что он уже успел заработать по морде. Очевидно, соловьиные трели его мало интересуют, иначе, я полагаю, вы бы не согласились ехать.

Нина невольно прикусила язычок. Мысленно она себе сказала: «Слышишь, глупая», – а вслух с выражением глубокого достоинства и слегка обиженной добродетели: «Разумеется, не согласилась бы».

Этот разговор показал ей, что она уже успела несколько отклониться от стрелки барометра, которая показывала хороший тон в прежнем светском обществе. Олег по-видимому или вовсе не допускал в ней колебания, или весьма деликатно подтолкнул ее в нужном направлении. Неужели второе? Весь этот вечер она продумала над тем, как могло случиться, что она была уже на волоске от такого неразумного шага и едва не скомпрометировала себя в своем самом близком семейном кругу! Наталье Павловне, которая вся «Prude» [64], показалось бы немыслимым, недопустимым, что невеста ее сына, бывшая княгиня Дашкова уехала на всю ночь слушать соловьев в компании хористов! Видно годы одинокой жизни и советской службы не проходят даром, и вот как далеко уже проникла порча, которая в артистическом мире почти неизбежна! Она вынула из сумочки фотографию Сергея Петровича и долго всматривалась в его лицо, как будто ища у него защиты против себя самой.

На другой день она решительно отказалась от поездки, а проходя мимо теоретика, не ответила на его поклон.

Судьба как будто ждала ее решения: в этот же день Наталья Павловна вызвала ее к телефону и сообщила ей, что рояль продан за четыре тысячи. Отпуск ее должен был начаться в ближайшее время и был предоставлен на месяц. Она назначила было свой отъезд на конец июня, но неожиданно получила приглашение петь на летних концертах в саду Отдыха. Недостаток средств слишком остро давал себя знать, чтобы отказаться от такого заработка, и она стала хлопотать об отсрочке отпуска. В Капелле пошли солистке навстречу и отпуск был перенесен на сентябрь. Это было связано с некоторыми неудобствами, так как сентябрь на Оби не так поэтичен и хорош, как под Петербургом, кроме того это лишало ее возможности присутствовать на свадьбе Олега, назначенной на первые числа сентября; тем не менее она решила ехать в Сибирь осенью.

Наталья Павловна не могла отправить в это лето на дачу Асю, все из-за той же материальной нужды. Радуюсь возможности не расставаться с женихом, Ася ни мало не была этим опечалена, тем более, что Нина постоянно устраивала ей и Олегу пропуски на концерты, в которых пела. Таким образом они могли вдосталь насладиться музыкой.

Чем больше смотрела на Асю Нина, тем проникалась все большей и большей симпатией к этой девушке. Понемногу исчез всякий оттенок недоброжелательства и зависти, свивших было гнездо где-то в тайниках ее сердца. Впрочем, под лучами того искреннего восхищения и того самого нежного уважения, с которым относилась к ней Ася, могли, казалось, растаять глыбы льда, а не эти еле заметные образования в уголках исстрадавшейся души! Кроме того Нина была слишком тонким человеком и артисткой для того, чтобы в свою очередь не подпасть под очарование таланта девушки, аромата ее искренности и невинности. Конечно, Ася с детских лет была слишком проникнута понятиями хорошего тона для того, чтобы от нее можно было ожидать каких-либо ужимок или кривляний теперь, когда она оказалась в роли невесты.

Естественность и гармоничность интонаций и жестов были усвоены с детства раз и навсегда, и все-таки Нину удивил такт Аси: капли обдуманного кокетства, даже слабого оттенка вольности или игривости нельзя было обнаружить в обращении ее с женихом, а между тем Ася не была суха или неприступна, напротив: она вся светилась лаской и нежностью к Олегу, встречаясь с ним взглядом она неизменно расцветала улыбкой, невозмутимая чистота одна воздвигала несокрушимую преграду. «Немудрено, что он обезумел и смотрит на нее глазами преданного пса, – думала Нина – была ли я такой в ее годы? Нет, я по природе другая: думаю, что при всех навыках хорошего тона, которые и мной были усвоены в той же мере, и при всей моей неиспорченности, я все-таки обладала тем внутренним огнем, который ничем не затушишь, и скрытыми чарами, действие которых я знала инстинктом, а эта – сама чистота». Ася несколько раз приходила к Нине и была представлена Надежде Спиридоновне. Когда незадолго перед этим Нина сообщила о предстоящей женитьбе Олега, Надежда Спиридоновна переспросила «жениться?» таким удивленным тоном, как будто говорила «повесился?»

– Да, тетичка; отчего вас удивляет это? – спросила Нина.

– Да зачем же, Ниночка, помилуй, теперь такая трудная жизнь!

– Как вы странно рассуждаете, тетичка! Какова бы не была жизнь – каждому хочется счастья. Ведь Олег еще молод!

Старая дева несколько минут в упор смотрела на Нину и вдруг сказала:

– Да, я забыла: ведь мужчины... они не могут жить без этого... этого... – и тут она остановилась, не зная как лучше охарактеризовать, без чего не могут жить мужчины.

Нина едва сдержалась, чтобы не фыркнуть, и, намеренно невинным тоном и с безмятежной ясностью глядя на тетку, переспросила:

– Без чего не могут мужчины, тетичка?

– Без романтических приключений, я хотела сказать. Им непременно нужны какие-нибудь развлечения. Живут же в полном одиночестве женщины, например, я... а мужчина... ему непременно надо выкинуть какую-нибудь историю.

– Почему историю? Желание быть счастливым так понятно! Вы поздравьте Олега, тетя, а то неудобно.

Старая дева обещала поздравить, и Нина, успокоенная, вышла. Через несколько минут, однако, Надежда Спиридоновна сама постучалась к Нине; вид у нее был очень испуганный.

– Ниночка, мне только сейчас пришло в голову... Ты ни в каком случае не позволяй Олегу Андреевичу поселиться у нас с молодой женой. Знаешь ведь, года не пройдет – и уже ребенок, который не даст нам спать. Начнется увяканье по ночам, в кухне нашей развесят пеленки. Я без ужаса подумать не могу! Обещай, Нина, что ты, как квартуполномоченная будешь против. У него собственной площади нет, и настаивать он права не имеет. Слышишь, Нина?

– Успокойтесь, тетя, Олег не из таких, чтобы настаивать. К тому же у Натальи Павловны и Аси хватит для него места, – и раздосадованная Нина захлопнула перед носом тетки дверь.

Когда Олег привел Асю с официальным визитом к Нине и Надежде Спиридоновне, последняя, запрятав подальше свои опасения, проявила весь свой светский такт: она с очень милой улыбкой великосветской дамы поцеловала Асю в лоб. Правда, в ту минуту, когда она прикоснулась к этому белоснежному лбу, вид у нее на одно мгновение стал такой, как будто она прикоснулась к лягушке. «Очевидно, вообразила себе будущего младенца, – подумала, глядя на нее, Нина. – Для нее Ася – фабрика увякающих существ».

Тем не менее Надежда Спиридоновна очень мило участвовала в разговоре и даже поинтересовалась, у какой портнихи шьют Асе подвенечное платье, и посоветовала сделать его со шлейфом, далее она осведомилась о фамилии и происхождении шаферов и, услышав фамилии Краснокутского и Фроловского, удовлетворенно улыбнулась.

Когда молодая пара вышла, Надежда Спиридоновна сказала:

– А она очень мила, хорошенькая и держится вполне пристойно. Что значит, однако, порода! Надо будет подарить им что-нибудь к свадьбе, – и более к вопросу о браке Олега она не возвращалась.

Но сюрпризы, как и печали, не приходят порознь: существует непонятный закон повторяемости. Недаром и народная мудрость гласит: «пришла беда, растворяй ворота». Скоро выяснилось, что не только мужчины, но также и дамы, к притом самого хорошего тона не могут жить «без этого». Нина ничего не говорила тетке о предстоящей поездке к Сергею Петровичу, не желая волновать ее преждевременно. Но в один августовский вечер, когда она, возвращаясь домой, размышляла как раз о том, что пора заговорить с теткой, Надежда Спиридоновна вышла к ней взволнованная, с красными глазами:

- Нина, Ниночка, это что ж такое? Я вдруг от Аннушки в кухне узнаю, что ты едешь куда-то в Томскую губернию на целый месяц. Как же так?

- Извините, тетя. Я как раз сегодня хотела поговорить с вами и сама бы рассказала вам все, - корректно сказала Нина.

- Тебе не стыдно, Ниноч? Из-за мужчины скакать в такую даль?! Все отлично понимают, что ты едешь ради этого господина: ведь всем известно, что он там. Аннушка говорила при мне, не стесняясь. Боже мой, какой стыд!

Нина вся вспыхнула от обиды:

- Почему стыд, тетя? Жены декабристов в свое время вызывали откровенное восхищение всего общества. Отчего же, если еду к мужу в изгнание я, это стыд?

- К мужу? Как - к мужу?

- Я выхожу за Сергея замуж.

Надежда Спиридоновна широко открыла глаза, минуту она постояла молча, потом ушла к себе. Неизвестно, какие чувства волновали ее, пока она сидела у себя, но, как и в первый раз, очень скоро, она опять постучалась к Нине. «Сейчас заговорит об увякании, которое не даст ей спать еще с другой стороны», - подумала Нина, открывая дверь. Но Надежда Спиридоновна сказала:

- Поздравляю тебя, душечка! Вот тебе в подарок браслет. Видишь, на нем надпись: «Dieu te garde [65]». Это наш семейный браслет: мой дед, твой прадед, подарил мне его к моему совершеннолетию. Желаю тебе счастья! - она вдруг всхлипнула и обняла Нину; седая голова в старомодных шпильках прижалась к ее плечу.

- Ты ведь дочь моего единственного брата, кому же и благословить-то тебя, как не мне? - прибавила она совсем другим старческим, размягченным голосом, звук которого тронул Нину не меньше, чем содержание слов.

День отъезда приближался; две недели должно было занять путешествие туда и обратно и только две недели - для пребывания на месте!

За дни, которые оставались до отъезда, Нина еще больше оценила семью, которая ей становилась теперь родной: Наталья Павловна снаряжала ее, как могла бы мать снаряжать дочь-невесту, она даже подарила ей два нарядных гарнитура. Это тем более тронуло Нину, что накануне она слышала разговор: Ася, собираясь в ванну, тихо, просительным голосом обратилась к мадам: «А что же я одену после ванны? У меня и голубое, и розовое комбине - оба в дырочках?» - «Опять! - строго перебила ее Наталья Павловна и стукнула по столу косточками пальцев, - я сколько раз говорила, что о своем белье ты должна заботиться сама! Сейчас же бери иголку!» Теперь, когда Ася восторгалась обновками, Нине показалось очень естественным, что молодой девушке-невесте самой хотелось бы иметь эти красивые вещи, но Ася, ласкаясь как котенок, ничем не выражала беспокойства по поводу своего собственного приданого.

Накануне отъезда, роясь в зеркальном шкафу, Нина наткнулась на младенческую распашонку. Несколько минут она задумчиво созерцала ее, потом окликнула Олега:

- Вот, возьмите! Это крестильная рубашечка, в которой крестили уже шесть поколений мальчиков в семье у Дашковых, в том числе и вас, и моего малютку. Теперь вещица эта по праву принадлежит вам, а у меня если и будут еще дети, то ведь уже не Дашковы.

- Спасибо - сказал он, с нежностью рассматривая крошечное одеяние, -... Только... видите ли... моя невеста такая мимоза, что я не могу показать ей это.

- А вы и не показывайте сейчас - потом, когда придет время; я хочу отдать вам еще одну

фамильную реликвию, Софья Николаевна подарила ее мне на свадьбу. Я уже давно попродавала все мои bijoux [66], но эту берегла на черный день, все думала: если высылать будут... тогда пригодится. Вот, возьмите, – и она протянула ему бархатный футляр. – Нет, нет, не отказывайтесь! Эта драгоценность принадлежала вашей матери и вашей бабушке и должна быть у вас! Пусть это будет ваш свадебный подарок Асе.

В футляре оказались чудесные старинные серьги с длинными жемчужными подвесками. Олег горячо благодарил.

Вечером к Нине забежала попрощаться Марина.

– Хочешь, я возьму к себе на этот месяц Мику? – спросила она.

– Спасибо. Наталья Павловна тоже предлагала мне, но Мика не захотел никуда переезжать. Олег обещал присматривать за ним, а моя Аннушка – готовить ему и Олегу. Я почти спокойна.

Марина обняла ее:

– До свидания, моя дорогая! Я на вокзал не приеду, не хочу видеть тех двоих... ты понимаешь. Желаю тебе хоть на этот месяц любви и радости... Но смотри, будь благоразумна, теперь пришел мой черед сказать тебе: не попадись! Могу уверить, что аборт – вещь весьма неприятная! Я ведь люблю тебя всей душой, хоть вы все и считаете меня эгоисткой.

Когда вечером следующего дня Нина появилась на перроне в сопровождении Олега и Мики, тащивших каждый по чемодану, Наталья Павловна, мадам и Ася были уже там. Мика со дня объяснения с сестрой держался с ней подчеркнуто холодно, как будто желая показать, что разговор, происшедший между ними, не должен повторяться и что никакое подобие сентиментальности не входит в число его многочисленных пороков. Но на вокзале, когда все провожающие уже выходили из вагонов, он в последнюю минуту прыгнул на подножку и быстро обнял сестру так, что выскочил уже на ходу. Когда Нина подошла к окну и еще раз взглянула на провожающих, она увидела, что Наталья Павловна осеняет ее крестным знаменем и это в том состоянии душевной приподнятости, в котором она находилась, вызвало тотчас слезы на ее собственные глаза.

«Кажется, кончается мое одиночество! – подумала Нина. – Теперь у меня есть муж, есть мать, есть мой Мика и Олег с этой прелестной девушкой – большая, любимая семья!»

На столике купе лежали принесенные Асей розы и, благоухая, обещали счастье – короткое и печальное, но прекрасное!

## Глава третья

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

22 августа. Наконец-то я дома! Я провела месяц отпуска на кумысе в доме отдыха «Степной маяк», в нескольких верстах от Оренбурга. Место красивое – холмы, покрытые степной травой, в долочках – березовые перелески. Пейзаж украшают табуны, которые еще остались кое-где и которых раньше было великое множество. Дом отдыха в виде нескольких маленьких коттеджей раскинулся на большом холме, в центре столовая и красный уголок (ненавистное мне место, куда я ни разу не показала носа). Среди отдыхающих ни одного интеллигентного лица – махровый пролетариат! Я, конечно, деражалась особняком, очень много гуляла одна, а находясь на территории курорта, утыкалась носом в книгу, чтобы не слушать плоских шуток и фривольного смеха, и не видеть грубого флирта, от которого тошно делается. Распушенность дошла уже до того, что обратила на себя внимание медицинского персонала: отпечатали от имени главного врача строгое запрещение отлучаться по ночам; это-де тормозит выздоровление отдыхающих и, таким образом, без пользы пропадают затраченные на их выздоровление государственные средства. В одну ночь я была испугана внезапным светом фонаря, наведенного на мою постель дежурным врачом, который в сопровождении медсестры обходил палаты, проверяя, все ли на своих местах. Он сказал при этом: «Пока первая, которая на своей постели». Пригрозили, что будут списывать с лечения тех, кто блуждает по ночам. Отдыхающие в большинстве были с закрытой формой tbc [67]. Одну меня нашли здоровой.

Замечательно, что я всегда и везде представляю собой исключение: если дворян высылают, меня премируют; если все больны, я здорова; если все развращены, я целомудренна. Зато я всегда, везде одинока. Никто не попробовал за мной поухаживать, как будто на лбу у меня красовалась надпись: «жизнеопасно». Я пользовалась большой симпатией только у официанток – простых девушек из местных крестьян, они даже прозвали меня «наша умница». Первое время я радовалась возможности отдохнуть на всем готовом и гулять по живописным холмам, но очень скоро вся эта обстановка так опротивела мне, что я дожидаться не могла конца отпуска: стосковалась по своей комнате и тишине, и... Как только выйду на работу, узнаю у Лели, все ли благополучно.

23 августа. Не понимаю, каким образом, рассказывая о курорте, я забыла описать картину, которая интересна даже с исторической точки зрения: курортная столовая представляла собой отдельный павильон, и каждый раз, когда мы, отдыхающие, выходили после наших завтраков и обедов, около дверей в два ряда стояли местные крестьяне – русские крестьяне: мужчины, женщины, дети, девушки и парни и... просили хлеба! Я не поверила бы, если бы узнала это из рассказов, но не могла не верить собственным глазам! Случись такая вещь в царское время в одной из губерний после неурожайного года – какой бы поднялся протест в обществе, какая шумиха! Студенческие сходки, добровольные пожертвования, благотворительные базары, лотереи, бесплатные столовые... Но советской власти все сходит с рук, все разрешается – это, видите ли, колхозы насаждаются, это так называемый «крестьянский саботаж» – вот и все! Слишком дорого обходятся твои опыты, проклятая власть!

24 августа. Была на работе, встретили меня очень радушно. Старая санитарка сказала: «Ну, теперь все пойдет правильно». Великолепный местком преподнес очередной сюрприз: наша общественность оказала мне честь и выбрала меня в культсектор. Отказалась, конечно, наотрез, так как вся эта пошлая хлопотливость, заменяющая подлинное дело и сопровождающаяся неизменным бряцанием языка мне невыносима. Пора бы это уже запомнить нашим активистам. Надо сказать, что мое происхождение мне ставится в плюс: считается, что отец отдал жизнь за народ (отца даже противопоставляют дяде – офицеру и белогвардейцу). А покойная мама, которая из любви к крестьянам преподавала в сельской школе (как многие помещичьи дочки) в анкете у меня зафиксирована, как сельская учительница – еще того демократичней! Забегала в рентгеновский кабинет к Леле: Олег цел и невредим, свадьба будет в первых числах сентября. Узнала, что Лелей в кабинете все очень довольны и уверяют, что всячески будут стараться провести ее со временем в штат. Я могла ожидать этого от рентгенолога – друга дяди, тоже бывшего полевого хирурга, но его ассистентка, старая врачиха-еврейка, относится с не меньшей отзывчивостью, и это меня трогает.

24 августа, вечер. След от разговора с ним – тогда, после его визита в гепеу – до сих пор как яркая полоса в моей душе, хотя прошло уже четыре месяца. Этот разговор определил мне мое значение, мое место в его жизни, смысл нашей встречи. Я призвана стоять около него идейным стражем, пусть целует и обнимает другую, если не может еще подняться выше земной формы – я буду помогать им обоим, чем только смогу, чтобы сохранить его жизнь и силы для моей Руси. Я буду следить за тем, чтобы в нем не ослабевали любовь к Родине и желание борьбы. Разговор этот показал нашу идейную близость и возможность и впредь подобных разговоров освещает мне сумерки одинокого пути! Я буду его другом, он будет приходить ко мне в минуты тоски... Как часто рядом с великим человеком стоит такая женщина – друг, и как редко таким другом бывает жена. Я рада, что не возненавидела Асю. Был момент, когда злоба закипала во мне, но Ася меня обезоружила в то утро, когда прибежала ко мне вся взволнованная, вся раскрытая, и не побоялась заговорить прямо. В ней очень много сердечного обаяния, против которого невозможно устоять. Ненависть мучила бы мне душу. С ненавистью в сердце я не могла бы выполнять идейное руководство, это достаточно грубая эмоция, чтобы омрачить ясность понимания. Я должна бороться с каждым самым слабым оттенком ревности, которая так унижает и будоражит дух.

25 августа. Новая волна террора! Я узнала от Юлии Ивановны, что 1 августа выслана в северные лагеря плеяда ученых: Платонов, Тарле, Болдырев и еще многие, многие. Юлия Ивановна, которая близка с семьей Платоновых, сама была на вокзале и видела, как цвет нашей мысли провели к поезду между двумя шеренгами вооруженных гепеу. Такая картина впервые поразила наше общество еще в 22-м году, я сама провожала тогда пароход, на котором высылали за пределы России философов: Лосского, Бердяева, Лапшина, Корсавина и талантливейших математиков, от которых соввласть пожелала освободиться! С тех пор это повторяется из года в год, с тою только разницей, что высылают теперь в лагеря, а не за пределы страны. Во всем таком большом прекрасном мире как будто все спокойно, а между тем в России планомерно истребляют потомственную интеллигенцию – русскую интеллигенцию, революционнейшую в мире! Интеллигенцию, которая создала Толстого и Достоевского, Глинку и Чайковского, Врубеля и Репина! В XIX веке гении сплетались у нас в созвездия: «Могучая кучка», «Современник», «Передвижники», «Символисты», труппа Станиславского, каждое имя в этих созвездиях – наша слава, и вот теперь... теперь подрываются самые корни культурных растений, а Европа равнодушно созерцает это! Прекрасный лик моей Родины, всегда сопутствующий моим думам, видится мне залитым слезами. Хожу по комнате, злюсь и реву потихоньку.

26 августа. Я видела «его»: пошла навестить Бологовских, пошла, конечно, с тайной надеждой на встречу с ним, и не ошиблась. Он показался мне очень усталым и бледным; впрочем, мне теперь все кажутся такими после курортных красных лиц. Лучше мне было вовсе не видеть его, потому что я опять вся растравленная! Ася была такая хорошенькая, такая резвая, легкая, щебечущая; он глаз с нее не сводил. В ней есть что-то озаренное – это Психея, и вот к этому-то оттенку я ревную всего больше, больше, чем к красоте, я боюсь, что он и душу ей отдаст без остатка и я окажусь обобрана до конца. Уж не знаю, что она сможет понять в его мыслях, не думаю, чтобы ее интеллект представлял собой что-либо ценное, но что-то дает иллюзию понимания: игра духа в глазах, в улыбке, в белом лбу. У меня мысли, которых, может быть, нет ни у кого вокруг меня, но они меня не украшают – остаются во мне. У нее их нет, нет, нет, но они словно светятся через ее оболочку – что за наваждение? Она играла одна, потом аккомпанировала княгине Нине Александровне. Когда та запела: «О ком в тиши ночей таинственно мечтаю», – Ася подняла из-за рояля глаза и улыбнулась... их взгляды встретились... Нет, видеть их вместе все-таки выше моих сил!

27 августа. Вчера, записывая, я расстроилась, и главного не рассказала: ведь я с ним разговаривала! Мы вышли все вместе: он, княгиня и я. Княгиня его спросила: «Вы опять не обедали? – и потом, обращаясь ко мне, сказала: – Елизавета Георгиевна, на правах сестры милосердия и старой знакомой пожурите Олега Андреевича, объясните ему, что шутить со своим здоровьем нельзя! Он получает теперь пятьсот рублей в месяц, но не желает ничего почти из этой суммы тратить на свое питание: купил себе френч, рубашки и воротнички, а в настоящее время охотится за полуботинками, а между тем он голодал так много и долго, что следовало бы в первую очередь вернуть себе силы. Ася вас будет любить и без новых ботинок, не беспокойтесь!» Мне показалось, что эта милая дама права, и я горячо ее поддержала, он на это ответил очень решительно: «Я не могу вступать в приличный дом оборванцем; если б я зарабатывал втрое больше, я, разумеется, с удовольствием, съедал бы каждое утро бифштекс и *baire Alexandre*, но я вынужден выбирать, а мой вид мне слишком опротивел». И заговорил о другом. Я узнала из их разговора, что Нина Александровна на днях уезжает на Обь к высланному Бологовскому, своему жениху. По рассказам Аси у меня составилось впечатление, что это очень изысканный и умный джентльмен. Княгине выпал на долю романтический и красивый жребий – ехать к ссылке, а я вот слишком много думаю о подвигах и жертвах, зато они все идут мимо! Такова судьба!

28 августа. Княгиня уезжает послезавтра. Я решила, что пойду провожать на вокзал. Я уверена, что он будет, но дело не только в нем на этот раз: она едет к ссылке и следует выразить тахтит сочувствия. Я по крайней мере считаю себя обязанной солидаризироваться!

Чтобы мне снести ей: цветы, конфеты? Я попала в круг аристократии и должна признаться, что эти звонкие старинные фамилии, утонченность манер, грассирующий говор и французские фразы – все это теперь, в ореоле террора и нужды, импонирует мне. В сущности, это чужой мне круг: мы скромные, мелкопоместные дворяне – трудовая интеллигенция. В прежнее время наша семья никогда не искала связи с высшими мира сего. Около нашей усадьбы было имение князей Кисловских, они рассылали иногда приглашения соседям, в том числе и нам – ни отец, ни мать, ни бабушка не желали у них бывать; в Смольном со мной училась княжна Оболенская – титул ее не играл никакой роли в моих глазах; уверена, что и теперь было бы также, если бы не было революции. Но если русскую интеллигенцию, и в первую очередь дворянскую, так оплевывают и так терзают, если аристократию уже почти всю извели, а слова «паж», «лицеист», «камергер», «гвардеец», «сенатор» звучат почти как приговор – моя симпатия на стороне гонимых, как и всегда! В их лице гибнет класс, который дал России слишком много великих имен для того, чтобы не простить тех нескольких, которые были не на высоте, и я отстаиваю честь этого знамени! Не говорю уже о том, что мне посчастливилось встретить в их среде людей с исключительными душевными качествами, не говорю о человеке, которого люблю.

1 сентября. Дежурство в больнице помешало мне быть вчера на вокзале. Сегодня, когда я возвращалась домой, я увидела его и Асю у нас на лестнице: в квартире им сказали, что я скоро вернусь, и они дожидались меня, сидя на окне. Они пришли, чтобы пригласить меня на свою свадьбу! Улыбнулась и сказала, что буду; хотела усадить их пить чай, но они торопились еще к кому-то. Прощаясь со мной, он сказал: «Мы сегодня были в загсе, можете поздравить Асю с получением высокоаристократической фамилии!» И только услышав ироническую ноту в его голосе и увидев его усмешку, я поняла, в чем дело: ведь ее записали Казариновой! Загс для них, конечно, пустая формальность, которая нужна только потому, что без нее теперь не венчают. Свадьба назначена в день именин Натальи Павловны.

3 сентября. Была у Бологовских. Меня тянет туда, как к месту казни! Нашла всех в предсвадебных хлопотах. Олега не было. Наталья Павловна отдает Асе свою чудесную спальню: гарнитур -парные кровати, изящнейший туалет, гардероб с раздвижными дверцами, ширмы с амурчиками и веночками... В комнате этой, говорят, все осталось неизменным еще со времени ее жизни с мужем. Теперь все это она отдает внучке, вплоть до прелестного туалетного прибора гараховского стекла с пудреницей и вазочками, а сама переходит в библиотеку, где помещалась француженка, а та, в свою очередь, переселяется в проходную, кажется, в бывшую диванную, где до сих пор спала Ася. Я нашла всех взволнованными этим переселением. Ася даже плакала, повторяя, что ни за что не хочет лишать бабушку ее удобств и привычек. Она с очаровательным видом уверяла, что отлично устроится с мужем в проходной, где ему можно раздвигать на ночь дедушкину походную кровать. Француженка в азарте кричала, что слышать этого не может; Наталья Павловна убеждала очень мягко: «Это мой свадебный подарок вам обоим, я хочу, чтобы тебе было уютно и спокойно и чтобы у тебя все было, как должно быть у молодой дамы! А я отлично устроюсь в библиотеке».

Олег Андреевич, кажется, еще не посвящен во все эти подробности, чтобы помочь в перестановке был вытребован старый лакей – очень благообразный тип прежнего слуги, Наталью Павловну величает «ее превосходительство» и брякнул это в кухне при соседях к ужасу мадам, которая при всех подскочила к нему, махая руками. В общем, у них было очень оживленно, но как-то беспокойно: все были слишком взвинченные, я скоро ушла, чувствуя себя лишней. Леля тоже была там и занималась перевешиванием бесчисленных фотографий и миниатюр, которые помещались над письменным столом Н.П. Столик этот, втиснутый в спальню после потери будуара, переезжает с Натальей Павловной в библиотеку. Леля в этом доме совсем своя, и это вызывает во мне иногда досаду, не понимаю почему.

5 сентября. Сегодня у нас в больнице была операция такого типа, какую делали когда-то ему, вспоминались с мучительной ясностью минуты в госпитале; я заново переживала все и домой пришла совсем разбитая.

7 сентября. Завтра моя Голгофа! Я верю, что ничем себя не выдам; знаю, что у меня хватит сил, я уже себя знаю.

8 сентября. Совершилось; этот день кончился, они вдвоем сейчас, а я... вот, сижу за дневником... Расскажу все подряд.

Я пошла к ним пораньше, чтобы помочь в хлопотах и, по просьбе Натальи Павловны, присутствовать в качестве подружки при одевании Аси. Наталья Павловна продала для этой свадьбы бриллиантовую брошку и, по-видимому, хочет, чтобы все было как можно лучше и был соблюден весь ритуал. Когда я пришла, обеденный стол был уже раздвинут, к нему приставлен ломберный и самоварный, и все это закрыто огромной старинной белой скатертью. Около стола хлопотала француженка с незнакомой мне дамой, которая хоть и была в штопанном платье, однако выглядела исключительно *distinguee* [68], это оказалось мать Лели – Нелидова. Меня встретили известием, что Ася, несмотря на запрещение отлучаться из дому, куда-то незаметно убежала, пользуясь суматохой. Надо сказать, что от Аси очень мало толку при общих хлопотах: она все делает очень охотно, но вместе с тем чрезвычайно легко отвлекается и расшаливается, а деловитости не вносит ни во что. Я стала помогать перетирать хрусталь и расставлять бокалы. Прибежала Леля с корзиной серебра и рюмок, за которыми Наталья Павловна послала ее к своим друзьям Фроловским, так как десертное серебро и бокалы частично были уже давно распроданы, и теперь их не хватало; стол накрывали на 25 персон – в прежнее время накрывали бы, наверное, на сто! Старый слуга явился во фраке и белых перчатках, приглашенный прислуживать за столом; я сразу подумала, что он будет самый парадный из всех мужчин, так как ни у кого из этих пажей и лицейстов фраков теперь, конечно, нет. Все время раздавались звонки – это доставляли корзины из цветочных магазинов; от Нины Александровны принес чудесную корзину ее брат – славный мальчик лет 14 с живыми умными глазами; он застенчиво помялся на пороге и почти тотчас убежал, сколько ни уговаривала его Наталья Павловна. Я смотрела на карточки, прикрепленные к корзинам, все известные русские фамилии; меня удивила только одна: «супруги Рабинович». Кто бы могли быть эти евреи? Корзина одна из самых роскошных, я поставила ее Асе на туалет, их комната – сад! Мадам Нелидова велела дочери разбросать на кроватях нарезанные левкой. Леля убежала в спальню, но через минуту вернулась, показывая медведя с оторванным ухом, которого нашла под подушкой на новом ложе Аси. Дамы дружно рассмеялись. Как раз в эту минуту прибежала Ася: в старой бабушкиной тальме и легком темном шарфе, она как-то растерянно остановилась посередине комнаты. Тотчас приступили к ней с вопросами: «Как смела она уйти, да к тому же еще с мокрыми после ванны волосами?»

– Я только на минутку... Я к образу старца Серафима... мне... стало страшно! – пролепетала она.

– Хороша наша невеста! С медведем собралась спать, как маленькая девочка! Перед мужем не стыдно будет? – сказала Асе Нелидова. Ася вдруг сделалась розовая-розовая... Мне стало ее очень жаль, я бы, кажется, сгорела от смущения на ее месте! Не знаю, смогла ли бы я перенести свадьбу: все время быть в центре внимания, да еще при такой специфической настроенности окружающих... Я бы, наверно, умерла со стыда при первом самом отдаленном намеке или любопытном взгляде. Вслед за этим Леля и я стали одевать Асю (девицы, как полагается по обычаю). Свадебное платье, перешитое из парижского кружевного платья Натальи Павловны, сделанное в талию со шлейфом, с закрытым воротом; в этом платье и в фате с флер д'оранжем, бледная, с опущенными ресницами, она была похожа на лилию и так трогательна, что у меня опять вся душа к ней повернулась! Когда Наталья Павловна стала ее благословлять, она встала на колени и смотрела снизу вверх взглядом испуганной овечки. Нелидова и француженка даже прослезились. Одна из них отозвалась шепотом: «*Elle a peur... Oh, la petit bijou!*» [69] Леля была тоже очень хорошенькая и нарядная. Ей поручалось в качестве шаферицы взять в церкви букет из рук невесты. Букет этот был весь из белых роз; его привез по обычаю шафер жениха, Фроловский. Появление его было очень эффектно: он вырос на пороге гостиной, где мы стояли вокруг Аси, и, щелкнув по-военному каблуками,

отрапортовал: «Имею честь доложить вам, что жених в церкви. Прошу принять от него букет!» – это прозвучало сигналом к началу церемонии. Ася затрепетала, а я подумала: «От скольких обедов отказался Олег, чтобы купить такое количество роз!» У подъезда ждали два автомобиля; в один села Наталья Павловна с Асей, шафером и Нелидовой, в другой – французенка со мной и Лелей. В церкви появление Аси было встречено торжественным пением «Гряди, голубица», – и я опять подумала, что в образе невесты есть что-то трогательное, особенно в такой, как Ася... голубка, которая сейчас достанется в когти коршуну! В первый раз за все время я смотрела на Олега с неприязнью, в первый раз чувство сострадания в его присутствии было отдано не ему! Я думала о нем толь ко как о торжествующем самце и угадывала в Асе страх. Все говорили, что это прекрасная пара, они и в самом деле были очень красивы, когда стояли со свечами и после под руку на амвоне, принимая поздравления. Дома Наталья Павловна и Нелидовы, выехавшие из церкви на несколько минут раньше других, встретили молодых с хлебом и солью, и посыпали их овсом. Потом начался свадебный ужин. В это время мне совсем не было весело: приехало много гостей, правда, это все круг «бывших», державшихся очень корректно, но я при большом количестве чужих сжимаюсь, я в достаточной мере умею себя держать и спокойна за каждое свое слово и каждый жест, но наличие незнакомых людей само по себе стоит мне душевных усилий и убивает всякую непосредственность; к тому же я все время боялась, что вот-вот крикнут «горько» и волновалась так, как будто целоваться предстояло самой мне. И несмотря на всю респектабельность все-таки крикнули – не пожалели Асю; зачинщиками, кажется, были шафера. Я поймала себя на том, что вместе со всеми кинула на молодых любопытный взгляд: он слегка смутился, но тотчас с готовностью повернулся к ней, она же глаз не подымала! Я заметила кроме того, что Олег, за исключением первой рюмки шампанского, ничего не пил и при последующих тостах только касался губами рюмки. В 12 я была уже дома. Я знаю, что не засну и не пробую ложиться. Странно, что сегодня я вся полна не им, а Асей! Или это чувство девичьей солидарности? За все время свадебной церемонии я ни разу не ощутила ни одной капли ревности. Даже обычного сострадания к нему во мне не было... впрочем, когда после венчания пели «многая лета», я подумала: «Он обречен... не сегодня – завтра», – и сердце заныло. И еще была минута, когда священник возгласил: «Помяни, Боже, и воспитавшие их родители», – а ведь из четверых трое расстреляны! По-видимому, все гости это знали, потому что легкий вздох или шепот пронесся в ответ по церкви. Я со сжавшимся сердцем взглянула на них: оба перекрестились. Но то были два коротких мгновения, остальные были отданы Асе! Вот и сейчас я вспоминаю ее в ту минуту, когда они стояли, прощаясь с гостями: он таким властным движением продел ее ручку под свою, а у нее был вид жертвы, ресницы опущены и на бледном личике казались совсем черными... Нет, я не хочу быть на ее месте! Лучше, спокойней быть в своей комнате одной... «Только утро любви хорошо, хороши только первые встречи!»

9 сентября. Моя способность вынашивать в себе все впечатления, перемалывая их в воображении, несносна! Я опять отдаю ей дань.

10 сентября. На меня напала тоска: механически хожу на работу, ни о чем стараюсь не думать. Хорошо, что есть книга, читаю «Во власти прошлого» Кржановской.

11 сентября. Сегодня на службе Леля сказала мне, что вчера провожала Олега и Асю: они поехали дней на десять в Новгород посмотреть старину. Странное чувство у меня к Леле: я не могу отдать себе в нем отчета. Она меня интересуется и мне жаль ее, а вместе с тем меня охватывает всегда досада, что она у Бологовских совсем своя, а я все еще чужая! Я как будто ревную их семью к Леле, а иногда и Лелю к ним. Ее у них все ласкают, как кровно близкую, про Сергея Бологовского, которого я и узнать не успела, она говорит так, как будто с детства к нему привыкла. Все дамы – гости тоже знают ее и ласкали, по какому-то поводу она произнесла: «Дедушка, приезжая из дворца всегда говорил про государя: он очарователен». Она сказала эти слова а ргоров [70], не жонглируя ими, и я хочу только отметить, что ее любят отчасти за деда и за мать, и она это считает естественным. А я вот сколько бы не оказывала

услуг этим людям, все равно стою в стороне, потому только, что их предки чужие мне; я сама же ударяюсь о родословный принцип! Леля к этому кругу принадлежит органически, но мне кажется вовсе не ценит его. «Похоже» в Асе меня восхищает, а в Леле задевает лично, а могло бы, казалось, быть как раз наоборот! С собой Леля тоже очень хороша, даже рядом с Асей. Лицо Аси поэтичней: гущина ресниц, белоснежный лоб с голубыми жилками на висках и длинная шейка придают ей удивительное очарование, она напоминает лилию. У Лели глаза карие, которые составляют оригинальное сочетание с золотистым отливом волос, кожа имеет несколько матовый оттенок; нос у нее с горбинкой и тонкими подвижными ноздрями, которые раздуваются как у породистой лошадки; у нее несколько впалая грудь, но это не портит ее фигуры; она тоже очень изящна и одевается с большим вкусом, несмотря на нужду и заплаты. Если Ася – лилия, то Леля – чайная роза, они обе похожи на редкие цветы и когда я вижу, как заботливо охраняют и ту, и другую от каждого грубого или загрязненного прикосновения – у меня возникает одновременно чувство зависти и восхищения, и неослабевающего интереса к обеим; но люблю, несмотря на все, я больше Асю, которая гораздо искренней и сердечней Лели.

13 сентября. Откуда эта тоска, которая постоянно с такой силой овладевает мной? «Власть прошлого» и «В дебрях Индии» натолкнули мои мысли на многое... Я, кажется, верю, что настоящая жизнь только ступень космических нескончаемых периодов. Божественная мудрость указывает туда, где нет конца... что значит наша встреча и моя любовь в цепи бесконечных перевоплощений, цель которых развитие и усовершенствование человеческого духа? Быть может в следующее существование я снова встречу его, быть может он уже сто раз любил меня, а не ее, и стоит ли так грустить? Тоже самое и с моей Родиной: ведь все лучшее и великое, что она создала, запечатлелось в вечности, нашло себе отражение там, где все нескороаемо, где живут все великие формы, застрахованные навсегда от разрушительных неосторожных прикосновений. А я вот, ломая руки над гибелью всего, что любила – от героизма русских старых полков и их погубленных знамен до фресок и стен древних церквей – тревожу большие старые флюиды уходящего прошлого, которые берегут мои же раны и тормозу свое восхождение! На протяжении тысячелетий, может быть, мой дух выбивался из темноты полуживотного состояния, из невежества и себялюбия, и вот, когда я уже начинаю прозревать в дали бессмертия, когда я уже многое постигла, я присосалась, как пиявка, к отживающему прошлому временной Родины и кармическому образу мужчины, которому в этой жизни суждено пройти мимо меня! Мимо. Надо же иметь силы взглянуться правде в глаза. Он проходит свою эволюцию, при следующей встрече он, может быть, будет и очищенной, и возвышенной, и мудрее, но вот меня терзает и убивает мысль, что гонимым русским аристократом он уже не будет, так как этот именно момент уже не повторится в смене существований: у него уже никогда не будет именно таких черт лица, такого склада губ, такого изящества в движениях, такой интонации! Сколько поколений из гвардейцев должно было предшествовать ему, чтобы дать такую законченную кристаллизацию формы! Один раз в нем соединилось все, что я люблю, и он пришел не для меня! Ну, плачь же над этим, глупая, если ты не можешь подняться выше формы! Через любовь к нему я прорастаю ввысь к самоотречению, и эта же любовь держит меня в тисках классовых предрассудков. Я запуталась, запуталась.

14 сентября. Сегодня ко мне приходила Анастасия Алексеевна, как всегда, ныла и охала. Она поступила было на постоянную работу в детское отделение больницы имени Раухфуса, но в одно из первых же дежурств, укладывая детей спать, перекрестила каждого перед сном. Санитарка видела и сообщила кому следует. Раздули историю, вызывали в местком, крыли на общем собрании и, конечно, уволили за «вредную идеологию». С такой характеристикой ей уже никуда не поступить. Уж не знаю, как рассматривать ее поступок: как идейность или как глупость? Вернее второе. Идейность не вяжется с образом Анастасии Алексеевны: шпик-супруг, у которого она клянчит деньги, ее манера прибедняться в разговорах со мной... даже в религиозности ее есть что-то ханжеское, убогое. Недавно в их больнице умер видный

профессор, хоронили его с помпой – с речами и с оркестром, и вот она вздумала меня уверять, что профессор этот «недоволен» тем, как его погребали; будто бы ей это известно по некоторым признакам... этакая чепуха! Бог с ней! Я невысоко ее ставлю и не могу отделаться от чувства тайной неприязни по отношению к ней, хоть она и оказала мне услугу огромную, неповторимую. Ходит она ко мне, конечно, не из любви, о которой так много говорит, а чтобы попользоваться кое-чем – это ясно. Накормила ее и подарила ей старый шерстяной платок, – так как она жаловалась, что зябнет. От нее пахнет сыростью, чем-то обветшалым, я долго проветривала комнату после того, как она ушла. Жалкое существо!

16 сентября. Все та же тоска.

18 сентября. Пошла к Бологовским навестить двух старых дам, которые теперь остались одни. Наталья Павловна не вышла: на свадьбе она переутомилась и теперь чувствует себя опять хуже. Француженка была со мной очень приветлива, но много болтала лишнего, обсуждая детали свадьбы. Например, она рассказала: «К утреннему кофе он вывел нашу Сандрильену в ее персидском халатике, она была хороша и стыдлива, как Греза». Оказалось, что отцу Аси, когда он еще в 1913 году ездил с поручением в Персию, хан подарил халат, который так и лежал на дне сундука Натальи Павловны, теперь его перешли для Аси. Только зачем француженка это говорила, не знаю, и что-то в этой фразе мне не понравилось. Потом она сказала, что от Аси получилось письмо и дала его мне с обещанием вернуть. Это письмо лежит сейчас передо мной и мутит мне всю душу. Вот оно:

«Дорогие бабушка и мадам! Вы за меня как всегда беспокоитесь, а между тем мне очень хорошо! Олег мой чудный, и я живу как в волшебной сказке. Он мне сказал, что будь другие времена, он бы повез меня в Италию, но я даже головой замотала: почему надо смотреть Италию, а не русские красоты? Вчера мы видели «Спаса-Нередицу» – собор 11 века. Какие на старинных фресках мистические и вдохновенные лица, в линиях Нередицы какое благородство! Потом мы по древней дамбе, обсаженной серебряными ивами, прошли в Георгиевский монастырь, который на берегу Ильменя. Я видела заветный Ильмень и его тростники, откуда появлялась царевна. Георгиевский монастырь теперь закрыт, но мы дали денег сторожу и осмотрели собор и колокольню, с которой чудесный вид. Старый рыбак говорит, что раньше в субботние вечера над Ильменем гудели звоны новгородских церквей, а иногда можно было слышать колокола из Старой Руссы. Как жаль, что они молчат теперь! Завтра Олег обещал повезти меня на лодке в Николу на Липне – это очень старая церковь на другом берегу Ильменя, у его притока. А сегодня я каталась по Волхову на парусной шлюпке до самого Новгорода, и там мы обошли по старому валу башни Кремля. Гостиницы в Новгороде все препротивные, и мы поселились в рыбацкой деревушке около Нередицы. Покупаем у крестьян молоко, а кормимся картошкой и рыбой, которую они нам согласились готовить. Живем на сеновале – в избе нам не понравилось! Господи, как хорошо на этом сеновале – гораздо лучше, чем в самом роскошном палаццо на канале di grande! Сено душистое, мягкое, милое, положено почти доверху, а под самым потолком балка, на которую легко можно залезть и броситься опять в сено вниз головой; мы так и делаем, а иногда скатываемся по сеноу же до полу. А сколько у нас приключений в этой замечательной квартире! Вчера вот я проснулась среди ночи и в полной темноте чувствую, что я куда-то лечу или падаю. Я испугалась и кричу: «Олег!» – а он мне: «Не пугайтесь, княгиня! Ваш верный мажордом перевозит вас на новую квартиру!» Оказывается, пошел дождь и на меня стало капать, Олег держал сначала надо мной плащ, потом руки у него затекли, тогда он потянул за кончики простыни, чтобы перевезти меня в другой угол, тут я и проснулась. А сегодня ночь была очень холодная, я среди ночи села и говорю: «Я озябла!» – а Олег откликается откуда-то издали: «Ползи сюда, я нашел уголок, где нет щелей, здесь будет теплее». Я крикнула: «Чиркни спичку!» А он мне: «Спичек на сеновале не зажигают! Ползи на северо-восток!» Я в темноте ничего не понимаю и кричу: «Я заблудилась!» А сама до того смеюсь, что со смеха умираю! Он мне опять: «Ползи, и уж достанется тебе от меня!» Приползла я, наконец, а подушку забыла и уж потом мы в темноте ползали-ползали, пока не столкнулись лбами так, что набили себе шишки! Кроме того с

Олегом страшно весело гулять: он уходит часов на 6-7 подальше и берет с собой хлеб и бутылку молока. Заблудиться с Олегом нельзя: он чудесно ориентируется, а если я устану – я сажусь к нему на шею верхом и вцепляюсь моему коню в волосы. Один раз я чуть не упала, и если бы у моего мужа была хоть маленькая лысинка, я бы сорвалась в лужу. Итак, вы видите, что беспокоиться за меня совсем не стоит. Целую вас обеих. Я никогда не думала, что замужем так весело!»

Француженка таяла от этого письма, она говорила: «Chers enfants, ils sont tellement amoureux, tous les deux! [71]» Но меня в этом письме возмущают целые абзацы. Что такое эти шалости в сене? Ему скоро 30 лет, человек столько пережил – и вдруг все забыто для игр аркадских пастушков! А она? Не стесняясь, описывает, как сидит на нем верхом и ползает по сеновалу раздетая... Что ж они, дети или котята? Он и без того худ, как скелет – в каком же виде он вернется, если будет гоняться по лесу с таким грузом на шее! Я думала, она оплакивает свое девичество, и ожидала найти в письме грусть, а она, оказывается, очень довольна! Я совсем разочаровалась в обоих и больше думать о них не хочу. Пусть хоть амурчиков с крылышками изображают! Мне все равно! И над чем умиляется эта глупая француженка? Наталья Павловна, наверное, не дала бы другим такого компрометирующего письма. Надо скорее вернуть его.

19 сентября. Тоска. Мир кажется совсем пустым. Письмо вернула.

20 сентября. Я сегодня совсем раздавлена морально. Вчера вечером я ложилась спать и, заплетая косу, задумалась. И вдруг поймала себя на мысли, что в этом барахтанье на сене вместе с любимым человеком есть, наверное, очень большая прелесть, которую я с моей суровостью даже понять не могу, потому что всегда чужда смеха и шалостей. Я поняла, что где-то в самой глубине души завидую Асе. Отсюда все мое негодование. Только потому, что я завидую, я осуждаю там, где любовно улыбаются другие.

Я это ясно поняла!

## Глава четвертая

До Томска Нина доехала без приключений. В Томске она села на пароход, который по Томи и Оби доставил ее до селения Калпашево. С этого места начались мытарства. Она знала теперь только то, что ей надо добираться до мыса Могильного, а оттуда уже до поселка Клюквенка. На ее настойчивые расспросы, далеко ли до мыса Могильного и как туда добраться, ей указали на баржу, стоявшую на якоре, и объяснили, что через час придет буксир и потянет эту баржу к мысу. Нина села на берегу. Вспомнив советы Олега, она сняла шляпу и повязалась по бабьи – платочком, а на ноги надела русские сапоги, которыми ее снабдила Аннушка. Понемногу стали собираться пассажиры – простолюдины с корзинками и мешками, все грызли кедровые орехи, которые здесь очевидно играли роль семечек. Не менее чем через два часа появился маленький буксир с командой из трех матросов в засаленных гимнастерках:

– А ну, садись, которые ежели на Чайну!

Нина вскочила было, но снова села.

– Гражданочка, ты, что ли, Могильный спрашивала? Что ж не садишься? – крикнула ей приветливая круглолицая бабенка.

Выяснилось, что Могильный мыс не на Оби, а на ее притоке Чайне. Все оказалось гораздо дальше, чем предполагала сначала Нина.

Двинулись и ехали по крайней мере часов пять. Была уже черная ночь, когда баржа подошла к мысу с печальным названием. Кроме Нины вышла всего одна только женщина. Предстояло вскарабкаться на крутой берег; под ногами была глина, в которой увязали ноги; облепленные сапоги Нины стали пудовыми. В довершение начал накрапывать дождь, а в темноте слышались какие-то странные охи и вздохи. Спутница объяснила Нине, что они в самом центре коровьего стада, оставленного на берегу. В детстве и юношестве для Нины не было слова страшнее «корова»; впоследствии ей пришлось познакомиться с более серьезными

опасностями, но все-таки слово «корова» до сих пор сохраняло для нее грозный оттенок, напомиравший слово «гепеу». Сжав губы, она старалась не отставать от своей спутницы. Та несколько раз озиравлась на Нину.

- Не здешняя, чай?

- Не здешняя.

- Откентелева ты?

- Из Ленинграда.

- Чего ж так далеко заехала?

- У меня здесь в Клюквенке муж.

- Во как! Подневольный, значит? В этой Клюквенке все подневольные. Добром туда никто не поедет, в эту самую Клюквенку-то, не-ет!

- Это очень плохое место? - спросила Нина.

- А вот сама увидишь, родимая, сама увидишь. Чего хорошего-то! Вот и этот Могильный: он и зовется-то так потому, что первые поселенцы все до одного тут повымерли. Года этак три тому назад привезли сюда ссыльных: тут тогда еще ничего не было - один бор шумел. Ну и полегли они здесь, сердечные! На косточках их нынешний поселок вырос. Вон там могилки ихние. Мы туда и ходить боимся. Неотмоленные, неотпетые они там позарыты, ровно собаки брошены. Во как!

Наступило молчание.

- Детей-то у тебя сколько же? - спросила женщина, и Нина инстинктивно почувствовала, что ответить «детей у меня нет» значит разом отвратить нарастающую к себе симпатию.

- Двое, - ответила она, думая про сына и про Мику. - Два мальчика.

- Сколько ж годочков-то?

- Один школьник, а второй маленький.

- На кого же оставила?

- Соседка у меня добрая, обещались приглядеть, да брат мужа остался, - склеивая кое-как различные периоды своей жизни, говорила Нина.

Женщина, казалось, удовлетворилась; потом опять начались нескончаемые расспросы.

Вскарабкались, наконец. Замелькали тут и там огоньки несчастливого поселения. Решено было, что Нина пойдет вместе с женщиной и переночует у нее. В избе встретили их приветливо, напоили чаем с шанежками. Нина заснула как убитая, на перине, постланной на полу, закрываясь овчиной.

За утренним чаем она собрала необходимые сведения: до поселка Клюквенка 30 верст; идти тайгой по проселку, одной не найти, да и опасно одной по тайге, но сегодня понедельник, а по понедельникам комендант, который живет в Могильном, как раз выезжает в Клюквенку, чтобы производить переключку среди ссыльных. Она может ехать с комендантом, если он разрешит; кстати хорошо бы ей выпросить у него дорогой освобождение от работ на день-два для своего муженька, не то она его почти не увидит: мужское население часто угоняют далеко в тайгу, и они не всегда возвращаются даже к ночи. В понедельник, однако, все должны быть на месте, потому - переключка! Все как будто выходило довольно «складно». Препятствие впереди выставлялось только одно: комендантская собака!

- Дюже злая псица у коменданта! Ни единого человека не подпускает! Скачет по двору без цепи, а с языка - пена! Волк матерый, да и только! А кличка ей - Демон! Пуще всего берегись, Лександровна, этого Демона! Нипочем заест, - таковы были напутствия.

Нина только усмехнулась: сколько уже было сделано, что останавливаться не приходилось, хоть и страшно, а надо идти!

Гостеприимные хозяева сунули ей пакетик пельменей, чтобы задобрить опасного врага. Нина заспешила выходить, опасаясь, чтобы комендант не уехал прежде, чем она придет. Объясняя ей, какими дорожками пройти к жилищу коменданта, местные жители всякий раз, словно по уговору, понижая голос до таинственного шепота, твердили о собаке, и это неприятно действовало на нервы.

Вот и резиденция – длинное деревянное здание, обнесенное частоколом, с погребом и конюшней; а вот и прославленный Цербер!

Злобный хриплый лай, оцетинившаяся шерсть, глаза навывкате, высунутый язык – все соответствовало описаниям. У калитки не было ни дневального, ни звонка, ни хотя бы колотушки: установка коменданта сводилась, по-видимому, к тому, что проникнуть в его резиденцию может только тот, кто не побоится упасть с перегрызенным горлом. Робкий да не вступит в великолепную резиденцию советского вельможи!

Нина перекрестилась и отворила калитку.

– Собачка, собачка милая! Ну, не сердись же, моя хорошая! Вот тебе, – и она швырнула подачку. Пельмени исчезли в горле собаки, и она тотчас же снова набросилась на Нину, успевшую за это время сделать всего лишь шаг по направлению к неприветливому жилью.

– Вот тебе еще! Кушай, моя хорошая! – лепетала она, дрожа.

Ася как-то раз уверяла, что собаки очень чутки к интонации, и теперь Нина старалась всячески подлизаться к собаке. Пельмени с загадочной быстротой снова исчезли в горле животного, и Нина успела сделать опять только шаг.

– Демончик, Демончик, Демаша, кушай, родной мой! – опять залепетала она. – «Ах ты, обжора! Голодом тебя, что ли, морят, чтобы ты была злей?» – одновременно проходило где-то позади ее сознания. Нет, она не Ася! Она положительно неспособна завязать контакт с подобной тварью и собаке это, по-видимому, совершенно ясно. Она прошла только полпути от калитки до крыльца, а в пакете уже оставались две жалкие пельмени; во дворе же по-прежнему не было видно никого, даже к окнам никто не подходил, несмотря на то, что этот дикий лай, казалось, мог разбудить мертвого.

«Ну, кончено! Сейчас она на меня кинется и разорвет в клочки!» – думала Нина, бросая пельмени и держа в руках самую последнюю.

В эту минуту на деревянной веранде показалась чья-то громоздкая фигура.

– Возьмите вашу собаку! Сейчас же остановите собаку! – завопила Нина, дрожа, как осиновый лист. Но вышедший человек, заложив руки в карманы, равнодушно созерцал происходившее, по-видимому, не собираясь вмешиваться.

– Сейчас же телеграфирую в Кремль, что комендант травит собаками лиц, командированных к нему из Центра! – опять завопила Нина, окончательно теряя голову. «Что я говорю? Я, кажется, сошла с ума?» Она бросила последнюю пельмени и закрыла глаза.

Кто-то схватил собаку за ошейник.

– Проходите в дом, гражданочка, проходите быстрее.

В комнате Нина почти упала на стул.

– Что вы так кричите, гражданочка? Коли вы командированы, предъявите о том удостоверение, а зачем скандалить попусту? Мы вас и без скандала выслушаем.

Нина окинула взглядом невозмутимого вельможу, облаченного в форму гепеу. Вот он – «грядущий хам», генерал-губернатор нового режима, вышедший на арену общественной деятельности прежде, чем получил одну каплю – если не воспитания, то хоть понятия о том, как принято себя держать людям, облеченным властью! И мгновенно она почувствовала свое превосходство над его медленно и тупо варившей головой. К ней вернулись самообладание и находчивость.

– Кому же, скажите, предъявлю я удостоверение, когда во дворе никого, кроме собаки? Я держала бумагу наготове и со страху выронила... Как смеете вы так обращаться с публикой?

– Осмелюсь вам доложить, гражданочка, что мы знать не можем, какая, извиняюсь, персона вступает на наш двор... От этих ссыльных другой нам и защиты нет, кроме собаки. Они со своими жалобами мне ни сна, ни покоя не дадут. Вчера еще камнем стекло разбили ночью. Мне по моему званию никак без собаки не обойтись.

– А! Так вы ею ссыльных травите! Если бы правительство пожелало отдать кого-нибудь на растерзание вашей собаке, то и оговорено было бы в приговоре! – воскликнула Нина, но тут же подумала: нельзя, однако, обострять отношения! Придется переходить в дружеский тон.

И прибавила спокойнее:

- Оставим это. Поговорим.

Комендант сел, неуклюже расставив ноги.

- Изложите поживей ваше дельце, гражданочка. Мне уже седлают лошадь.

- Вам, товарищ, предлагают оказать мне содействие. Я заслуженная артистка РСФСР и прибыла сюда из Ленинграда дать несколько концертов в вашем районном центре. Должна признаться, что согласилась я на это только при условии, что мне разрешат повидаться с моим «фактическим» мужем, который находится в Клюквенке. В настоящий момент он на положении ссыльного, но дело это пересматривается, и он должен быть в ближайшее же время освобожден. Так вот, я прошу вас доставить меня в Клюквенку и отдать там распоряжение освободить его на несколько дней от работ. Для известной артистки, приехавшей издалека, вы, товарищ, я полагаю, сделаете соответствующее распоряжение согласно предписанию из Центра.

- Извиняюсь, гражданочка! Я этого предписания не видел и не знаю, кто бы это в Ленинграде мог приказывать мне. Для знаменитой артистки я готов и постараться, если захочу, но начальству надо мной только районный центр – Колпашево то есть. Коли бы вы мне от Ягоды самого бумагу мне привезли, оно бы еще куда ни шло. А других командиров я над собой не знаю. Вот оно как, гражданочка.

Нина почувствовала всю хрупкость своих позиций. Ни в каком случае не следовало дать почувствовать это ему – спасение было только в самоуверенности.

Она положила на стол союзную книжку, в которой стояло: «Солистка Гос. Капеллы» – единственный документ из числа тех, которыми она располагала, могущий произвести хоть некоторое впечатление.

- Вы напрасно обижаетесь – это не «приказ». Вас просят оказать содействие два учреждения – ленинградская Госкапелла и Филармония. Если желаете проверить мои слова, свяжитесь с ними по телефону и запросите по поводу меня.

Одновременно она подумала: «Завязаю все глубже и глубже, да авось не станет проверять!»

На ее счастье, комендант сказал:

-хлопотно будет, да и особой нужды не вижу. Ежели желаете в Клюквенку ехать, пожалуй, поедем. Я пропуск вам дам. Ну а насчет освобождения от повинности – уж это вы, гражданочка, оставьте.

В эту минуту в соседней комнате чей-то звонкий женский голос запел:

В продолжение трех лет

Я ношу его портрет.

Я ношу его портрет,

Может, зря, а может, нет!

«Боже мой, какая пошлость! – подумала, морщась, Нина. – Голос, однако, не так плох!» – и внезапно ей пришла мысль:

- Кто это поет? – спросила она и сделала вид, что прислушивается.

Комендант усмехнулся:

- Дочка!

- Прекрасный голос! Послушайте, товарищ комендант, у нее прекрасный голос! Уж я-то кое-что понимаю! Вы учите ее?

- Нет, гражданочка! Где учить-то? У нас здесь музыкальных школ не имеется.

- Жаль. А в Колпашево?

- Не знаю, гражданочка, не справлялся.

Нина сказала небрежно:

- Когда я буду там выступать, я соберу сведения и нащупаю, каковы педагоги, чтобы указать вам наилучшего. А то пусть в Ленинград приезжает – я устрою в Консерваторию. Ну, да мы

поговорим об этом позднее, после того, как я ее прослушаю, чтобы определить, каковы способности.

- Ну, спасибо, гражданочка. Вот вы какая любезная дамочка оказались, а начали с крику. Я со своей стороны тоже готов вас уважить: пожалуй, и освобождение от работы подпишу. Вы со мной ехать решаете или попозже?

- С вами.

- Да ведь я верхом, гражданочка.

- Я могу и верхом, если дадите лошадь.

Комендант посмотрел на нее, выпучив глаза. Когда к крыльцу подвели лошадь, Нина невольно вспомнила красавицу Лакмэ и себя в амазонке... Дмитрий и Олег бросались, бывало, к ней, протягивая ладонь, на которую она ставила свою ножку, вскакивая на седло. Она взглянула на свои ноги в сапогах, облепленных глиной... Они так мало походили на ножку светской дамы, как неуклюжий комендант на изысканного гвардейца.

Поехали, и почти тотчас же по обе стороны дороги встала непроходимая тайга. Две угрюмые фигуры, украшенные значками гепеу, следовали за ними, оба вооруженные. «Что это? Охрана? Или «чиновники особых поручений» при губернаторе? - думала Нина. - Жуткие типики! Не хотела бы я встретиться с ними один на один».

Комендант, однако, и в самом деле оказался добродушным и даже несколько раз весьма галантно запрашивал Нину, не желательна ли ей остановиться для какой-либо надобности. Раз он даже сделал попытку занять ее разговором:

- Видите вы эту дорогу, гражданочка? Она выводит на речку. Мне довелось раз ехать берегом этой речки, с отрядом, по служебному заданию. Что же я увидел на этой, извиняюсь за выражение, звериной тропе? Стоит маленькая келийка, а в ней отшельник; завидел нас да бегом в чащу! Едем дальше - опять келийка, и не одна, а, почитай, целый скит. Спешил я в тот день, не до них было. Ну а этак через недельку привел отряд - переловлю, думаю. Неподходящее дело, чтобы у нас в Союзе неизвестно какие люди скрывались по лесам. Оцепил я большую площадь да стал сжимать кольцо, вот как на волков другой раз охотятся; собаки с нами были. Да только никого мы не поймали: уж предупредомили они, видать, друг друга. Полагаю я, гражданочка, что то были не монахи - нет! Те бы не оставили так легко насиженные келийки. Это были люди, которые знали, что их ожидает, коли попадутся! Люди с прошлым - ну там колчаковцы али чехи, али другие какие белогвардейцы. Да вот не пришлось выловить, а уж была бы мне за это благодарность в приказе, надо полагать, шпалу лишнюю получил бы. По усам текло, в рот не попало... Эх!

Нина воздержалась от выражения сочувствия.

Отвыкнув от верховой езды, она очень устала и, когда после трехчасового пути приехали, наконец, в Ключвенку, она едва встала на ноги, чувствуя ломоту и боль в бедрах.

Селение протянулось по обе стороны грязной немощеной дороги: убогие домики, напоминающие украинские мазанки, зеленая темнеющая полоса тайги, и над всем этим серое, уже вечернее небо, которое показалось печальным Нине.

Едва только она успела слезть с лошади, как ее окружила орава ребятишек, к которым подбегали все новые и новые.

- А вы к кому? А вы откуда? А вы к нам зачем? Вы кто?

Видно было, что появление незнакомого человека - событие редкое и весьма достопримечательное в этом селении отверженных. Дети были почти в лохмотьях, хотя между ними можно было заметить большой процент интеллигентных личиков. За детьми стали появляться и взрослые, и скоро она была окружена плотным кольцом:

- Вы из Москвы? Скажите, вы - ленинградская? Ах, вы к высланному! Скажите, не знаете ли вы в Ленинграде Ширяевых? Скажите, а как там жизнь? Неужели продолжают высылки? Что, отменили, наконец, карточки? Скажите, вы надолго? Нельзя ли будет через вас передать в прокуратуру просьбу о пересмотре дела? Ах, если бы вы знали, как несправедливо поступили с нами!... А с нами уж чего хуже! Но это потом! Она ведь измучилась! Да вы к кому?

И вдруг опять визг детей:

- Вот идут мужчины высланные! Их ведут на отметку, они сейчас из тайги! Бежимте, мы вам покажем, где комендатура! А мы вперед побежим, мы первые скажем! Мы вперед!

Бросив свои вещи на землю около лошади, Нина, прыгая через лужи, помчалась за детьми по деревенской улице, как бегала когда-то в горелки в имении отца.

Тесная прокуренная комната была уже вся до отказа набита людьми, собранными на переключку, и, когда, повторяя фамилию Сергея Петровича, Нина протиснулась, наконец, к нему - они только схватили друг друга за руки, зная, что на них устремлены десятки глаз. Час по крайней мере пришлось им выстоять в этой давке, закидывая друг друга нетерпеливыми расспросами и сжимая один другому руки, а когда, наконец, покончили с отметкой, пришлось еще с час ожидать коменданта у выхода, так как выяснилось, что на рассвете партия опять уходит в тайгу. Комендант дал Сергею Петровичу освобождение на неделю. В поселке уже зажигали огни, когда они пошли, наконец, в свою хату, через всю длину единственной улицы. Мазанка Сергея Петровича была самая крайняя, вся осевшая, кривобокая; вместо трубы на крыше был прилажен продырявленный чугунок, маленькие сенцы вели в единственную комнатку, окно покосилось, глиняная печь занимала половину площади. Чтобы сварить ужин и вскипятить чайник, пришлось прежде пилить дрова, топить печь и идти к колодцу. Ужинать сели только в одиннадцать часов. Несмотря на то, что оба были страшно утомлены, проговорили почти до рассвета: Сергей Петрович, устроив Нину как можно удобнее на лежанке, сидел с ней рядом. Сначала говорила больше Нина, рассказывая во всех подробностях все, что произошло без него в семье; особенно долго и подробно рассказывала она про Олега: сообщать по этому поводу что-либо в письмах было невыносимо, а между тем всем хотелось, чтобы Сергей Петрович имел самое точное представление о новом родственнике.

- Что же могу рассказать тебе я? - заговорил Сергей Петрович, когда пришла его очередь. - Произвол и хамство удручающие! На работу гоняют в тайгу, но это меньшее из зол: ты ведь знаешь, как я люблю природу - это я с молоком всосал, перешло от предков, от старых дворянских усадеб. Если бы мне пришлось отрабатывать эти же часы в заводских цехах, я бы, кажется, не вынес! Природа оздоравливает, вливает силы. Я ведь ее люблю во всякое время года, даже в туман и в дождь. Вставать иногда приходится до зари, и я в таких случаях заранее радуюсь, что предстоит переход, во время которого можно будет наблюдать красоту утра в лесу. Ранней весной тайга была прекрасна; в июне замучила «мошка» - набивается в нос, в рот, в уши; все тело от нее зудит немилосердно; измучились, пока не приспособились мазаться керосином. В тайге мы по большей части собираем смолу: пристраиваем к соснам особые дренажи, в которые собирается смола, а потом ходим и сливаем в бидоны, которые нам привешивают на грудь. На участках расходимся по двое, но оружия нам не дают: боятся, чтобы мы не сбежали! Если когда-нибудь нарвемся на крупного зверя - победителями не выйдем! Нам велят стучать по алюминиевым бидонам, наивно уверяя, что медведь убежит от шума. Никогда этого не делаю - предпочитаю лесную тишину. Условия быта очень тяжелы: ты вот видела, сколько усилий нужно затратить в моем жилище, чтобы вскипятить немного воды, а возвращаемся ведь мы измученными. Наша жизнь напоминает жизнь негров на плантациях; нас, правда, не бьют, но обращение самое грубое, и денег не дают, только паек, самый нищенский. Вот здесь против моего окна льняное! поле, туда каждый день гоняют дергать лен художницу, жену некоего лицеиста; он взят в концлагерь, а она выслана сюда с тремя детьми, которые постоянно болеют. В тайгу ее по этому случаю не гоняют - милостивое исключение! - а вот не гонять на лен считают возможным. Она не может выработать нормы и принуждена приводить на помощь двух старших девочек десяти и восьми лет. Как тебе понравится такое зрелище? Лицеисты со времен Пушкина ежегодно собирались отмечать свою дату - это стало священной традицией, на которую не посягал никто, но советская власть сочла контрреволюцией нелегальное собрание! Здесь был один лицеист, недавно его перевели в Колпашево, это наш районный центр. Это дрянной и грязный городишко, но мы вздыхаем о

нем, как Данте о Флоренции. Там телеграф, медицинская помощь, магазины; быть может, есть возможность играть на скрипке в кино или преподавать скрипку, а ведь здесь я, в конце концов, разучусь, и руки загрубеют. Говорят, комендант переводил туда некоторых ссыльных, если из Колпашево приходило требование на работу по специальности. Но для того, чтобы устроить перевод, необходимо сначала попасть туда и договориться с каким-либо учреждением, чтобы прислало вызов, а как туда попасть?

Нина села.

- Сергей, это надо устроить теперь же, пока я здесь, и даже, знаешь ли, за эту неделю, пока ты свободен. Необходимо попытаться, иначе ты пропадешь: или заблудишься в тайге, или заболеешь, и уж во всяком случае, разучишься играть. Зимой здесь будет ужасно! Не очень-то ваша ссылка отличается от лагеря, как посмотришь!!

- Здесь есть барак, где за колючей проволокой живут осужденные на лагерь. Те, конечно, все время под конвоем. Нас иногда прикомандировывают к ним, когда ходим за зону; иногда работаем отдельно, а бывают дни, когда вовсе не работаем. Большинство высланных здесь хуторяне, осужденные за кулачество. Есть и интеллигенция. Я подружился с одним евреем - интересный человек! С собой непривлекателен: неопрятный, бородатый, с крючковатыми носом... но удивительно одухотворенный и умный. По образованию; он философ, ученик Лосского, поклонник Канта. В последнее время работал педагогом. Что другого оставалось делать в советское время? Сюда попал за то, что на предательский вопрос одного десятиклассника: «Есть ли Бог?» - ответил: «Да, дети, есть!» А было это при всем классе. Рассмотрели как религиозную пропаганду. В обычное время Яков Семенович молчалив, но в беседе на душевную тему язык у него развязывается, и он начинает говорить гениальные вещи из области философии, метафизики и других высоких материй. Он не сионист и еврейскую религию критикует безжалостно, скорее он - антропософ. Я иногда боюсь перебить его вопросом, - так захватывающе интересны его сентенции. Я его тебе продемонстрирую. Жаль его: одинок, стар, заброшен, для себя ничего сделать не умеет; у него болят ноги, и на всех переходах он плетется позади всех, через силу; слышала бы ты, какими словечками угощают его конвойные! Я еще симпатизирую одному юноше: славное открытое лицо, совсем простой, но чувствуется одаренность - играет на баяне по слуху деревенские песни. И голос прекрасный. Зовут его Родион Ильин. Взят, знаешь, за что? Отбывал он службу в царской армии, а когда вернулся, дом свой нашел снесенным, а отец оказался в заточении. Они - хуторяне. Он возмущился и давай кричать: «Мерзавцы вы с вашими советами! При царе таких дел не водилось, чтобы нарочно разорять крестьян!» Кричал, кричал, ну и попал сюда. Еще совсем юный - двадцать два года; приятно, что в нем хамства нет: невежественный, но не испорченный, и застенчивость еще сохранилась. Он у меня почти каждый вечер. По вечерам мы с ним часто концертируем в избе-читальне, которая здесь заменяет и клуб, и филармонию. Он имеет колоссальный успех, и должен тебе признаться, совершенно затмевает меня. Скрипка моя не выдерживает конкуренции с его баяном. Знаешь, Нина, ведь я раз был пьян: с тоски, не удивляйся. Нашло с отчаяния и распили втроем: Яков Семенович, Родин и я. Шел от Яши домой и не мог отыскать дорогу, вроде каленника из Майской ночи. Чуть не заночевал в канаве, это я то!

- Сергей, ты не вздумай опускаться!

- Не бойся, больше это не повторится. Есть черта, которой я не перейду. Ты, однако, устала, у тебя закрываются глаза.

На следующий день Нина увидела новых друзей своего мужа: все были званы на ужин. Нина поставила на стол привезенную с собой копченую треску, напекла картошки и печенья из черемуховой муки - местное лакомство. Это примитивное угощение вызвало самый искренний восторг у несчастных клюквенцев, пробавлявшихся обычно пшенной похлебкой.

- Родион, пой! - командовал Сергей Петрович. - Он у меня с голоса все песни «Садко» выучил. Моментально перенимает все, что я ему намурлыкаю. Пой «Дубравушку» и «Дно синя моря». Вот, послушай, Нина, как у него получается.

Юноша взялся за баян.

- При Нине Александровне боязно, потому они певица ленинградская...

- Вздор! Моя Нина отлично понимает, что ты не учился. Валяй, а потом мы исполним вдвоем «Не искушай!»; я переложил это, Нина, для скрипки и баяна. Оригинальное сочетание, не правда ли?

- Голос хорош - прекрасный лирический тенор! - сказала Нина, выслушав песни «Садко». - Но я хочу услышать его теперь в его собственном репертуаре: пусть споет, что разучил сам.

- Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой, - залился ободрившийся баянист, и Нина заслушалась.

«Какой в самом деле талантливый! Немного бы поучиться и смог бы петь в опере», - думала она, не спуская глаз с открытого симпатичного лица.

Играли на скрипке и на баяне, вместе и порознь; Нина пела одна и с мужчинами, и конца музыке не было.

- Ах, как рояля не хватает! - несколько раз говорил Сергей Петрович. - На рояле можно исполнить все. Ты, Родион, этого еще не понимаешь. Господа или товарищи! Как вас назвать, не знаю! Поймите, Нина, пойми: нас могли загнать в сибирскую тайгу, но никто не свете не властен оподлить наш дух! Я топором работаю и все равно я тот же! Я пришел сюда и в этой избенке на краю тайги звучит скрипка и баянист поет Римского-Корсакова! И куда бы нас не загнали, мы всюду за собой понесем зажженные свечки. Не в этом ли высокая задача русской интеллигенции в тяжелые для нее години? Не знаю, впрочем, для кого я произношу этот спич: Яков Семенович задремал, а Родион не понял... Для дам только!

Художница сидела на стуле, обхватив обеими руками колени.

- Вчера, когда я опять до одурения дергала лен, я опять обдумывала свою картину; вы знаете, Нина Александровна, я задумала пастель, которую назову «Русь советская и Русь праведная»! Будут два лика, составляющие как бы два аспекта одного лица: лицо Медузы и лицо русской девушки в боярском кокошнике - прекрасное лицо, в ореоле святости, с глазами мученицы. Конечно, до поры до времени картина эта останется стоять лицом к стене в моей мастерской, но когда-нибудь... когда-нибудь... вы меня понимаете? - она опасно покосилась на Родиона. - И это будет моя месть за все наши разбитые жизни.

- Прекрасная идея, Лилия Викторовна! Только зачем месть? Месть не может быть творческим началом! Я против мести, и потом... не надо кокошника - это придает излишнюю тенденциозность, - сказал Сергей Петрович.

Родион дергал его за ватник:

- Сергей Петрович, а что такое «спич» и что такое «медуза»? Потом забудете, коли сейчас не скажете. Давеча обещали рассказать, что такое «самум», и забыли.

- Расскажу, подожди: вот когда начнутся зимние вечера с метелями и в тайгу перестанут гонять, времени у нас будет слишком много, - тогда наговоримся. А теперь - пой.

Родион тронул баян:

Есть одна хорошая  
Песня у соловушки,  
Песня панихидная  
По моей головушке!

- Товарищ жид, дорогой вы наш, не дремлите! Вы мочите усы в вине. Товарищ врангелевец, не вешайте голову. Эх, хорошая у вас женушка, видать сразу человека, не гнушается нами и песни любит, а обличьем что твоя русалка. Очи и вовсе русалочьи. И давно вы слюбились?

- Знакомы уж три года, да вот в загс не попасть никак. Придется видно завтра коменданту кланяться, чтоб отпустил в Колпашево меня с моей русалкой.

- Э, так мы здесь, стало быть, свадьбу празднуем?!

Но Сергей Петрович, подняв руку, указал на Яшу, который вдруг зашевелился. Все притихли.

- Говорите, говорите, Яков Семенович! - и Сергей Петрович подсел к еврею. Нина с любопытством повернулась к молчаливому старику, который вдруг забормотал:

- Человечество определило себе слишком узкие границы! Надо быть слепым или безумным, чтобы одну из ступеней развития принимать за всю полноту жизни! Мы должны выявить подлинный образ человека, отыскать новое выражение! Друзья мои, восхождению нет конца. Каждому из нас дан шаг гиганта, а мы пресмыкаемся в пыли.

Сергей Петрович незаметно тормозил руку Нины:

- Слышала? Поразительный полет мысли? Слышала?

Но Родиону непонятное бормотание старика показалось скучным.

- Товарищ Яша! Да вы бы лучше поздравили Сергея Петровича и Нину Александровну: они у нас заневестились, в загс собираются...

Старик повернулся было к молодой паре, но, по-видимому, никак не мог отрешиться от своих мыслей и вновь перенестись на Реальное, он опять пробормотал:

- Поручено каждому найти путь к лучшей сфере, но вздыхает вечные времена душа мужчины о нежной женственности.

## Глава пятая

### (Памяти Родиона Ильина)

На третий день пребывания Нины в Ключевке комендант снова приехал туда. Выяснилось, что в Колпашево отправляется оказия: несколько заключенных и два-три прикомандированных к ним ссыльных; сопровождаемые конвоем под командой младшего коменданта должны были выйти туда на следующее утро. Среди них Родион, которого вызвало колпашевское гешефт: туда после годового ожидания пришел ответ на его жалобу, адресованную в Москву. После короткого разговора, улыбок и папирос Сафо, привезенных Ниной для Сергея Петровича и полностью перешедших к коменданту, Нине удалось уговорить последнего прикомандировать и Сергея Петровича к отправляемому отряду с обещанием вернуться с ним же. За день, проведенный в Колпашево, Нина рассчитывала подыскать подходящую работу и выхлопотать перевод.

- Я подумать боюсь оставить тебя здесь. В Колпашево у тебя будет зарплата, медицинская помощь, телеграф... Это сравнить нельзя с твоей Ключевкой, ее медведями, выюгами и пшенной похлебкой, - говорила она, собирая рюкзак.

- Нина, а ведь ты измучаешься по дороге, да еще в этих сапогах! Нас ведь погонят солдатским шагом.

- Кроме меня будут и другие женщины, и больной старик... Не бросят же нас в лесу! Дойдем как-нибудь. В загсе я буду в бабьем платке и высоких сапогах, но ты ведь не разлюбишь же меня за это?

- Ты у меня оказывается, героическая женщина, Нина! - ответил он, поднося к губам ее руку. - Я только теперь узнал тебя: я и не предполагал, что ты такая самоотверженная и верная!

Румянец вдруг залил ее лицо.

- Я не хочу, чтоб ты попал в когти медведя или разучился играть - вот и все.

У здания комендатуры уже стояли заключенные, построены в три ряда; ссыльных выстроили позади. Младший комендант вышел несколько вперед и зачитал выписку из приказа о правилах поведения в дороге. Оканчивалась она словами:

- Шаг вправо, шаг влево считаю побегом. Стреляю без предупреждения.

- Это что еще за угрозы? - возмущенно шепнула Нина.

- Положено по уставу: зачитывают перед каждым переходом. Твой Олег, наверное, помнит эту формулу наизусть, - ответил Сергей Петрович.

- У этого коменданта злое и какое-то раскосое лицо, - шепнула опять Нина, - «мой» хоть и хам, а добродушный.

Как только вышли за зону, она подошла к человеку с раскосым лицом и, предлагая ему закурить, сказала:

- Товарищ комендант, разрешите мне идти в строю под руку с мужем?

Он кивнул, запуская пальцы в ее папиросы.

Переход продолжался двое суток, так как шли медленней обыкновенного: мужчины, равняясь по слабым, нарочно замедляли шаг, несмотря на понукание конвоя. Пришлось пройти 60 верст лесами до самой Оби, и уже там, в виду Колпашево, переправиться на другую сторону паромом.

На пристани в Колпашево комендант опять зачитал приказ, согласно которому ссыльные отпускались из отряда для выполнения своих частных дел с обязательством быть на пристани к семи часам вечера.

- Неявка в указанное время будет рассматриваться как побег, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Получив свободу, Нина и Сергей Петрович поднялись на высокий красноватый берег по сорока размытым глиняным ступеням, и здесь перед ними открылись пустые, заросшие травой улицы и низкие деревянные лачуги глухого городка.

- Вот моя Флоренция! - печально сказал Сергей Петрович, созерцая этот вид.

С загсом дело устроилось сравнительно быстро; расставшись с фамилией, которая принесла ей столько горя, Нина вздохнула:

- Ну, теперь я хоть не «сиятельство»! И то слава Богу!

- Хрен редьки не слаще! - ответил на это Сергей Петрович и прибавил, беря ее под руку: - А теперь ты у меня попалась! Я потребую с тебя сына; отсрочки не дам: довольно уже мы потеряли времени.

- Что ты, Сережа! Сейчас не до этого! Слишком неустойчивое положение! Если б я только знала...

- Ты бы не записалась? Мы с тобой поменялись ролями! По-видимому, ты давно колыбельных не пела. Я сыграю тебе моцартовскую, когда мы вернемся. Уж пожертвуй мне одну зиму. Может быть, Ася составит тебе компанию.

К ним подошла девочка, предлагая осенние цветы.

- Вот, получай свадебный букет, а будет все-таки по-моему!

- Но ты забываешь, Сережа, что я должна работать и что без моего пеня...

- Кажется, мы начинаем ссориться, едва выйдя из загса. Может быть, вернуться и развестись? - и оба засмеялись.

С музыкальной школой не посчастливилось: сколько ни запрашивали и в райисполкоме, и на почте, никто не мог дать никаких сведений. Оба уже отчаялись, когда вдруг увидели человека с виолончелью на другой стороне улицы; бросились догонять. Виолончелист оказался тоже ссыльным, скитавшимся без работы; он играл иногда в единственном кино под аккомпанемент плохонького пианино. Музыкальной школы, по его словам, в городе вовсе не было; тем не менее, он очень обрадовался неожиданной встрече, появление скрипача дало бы возможность составить трио. На всякий случай обменялись адресами, но уже ясно было, что план с переводом на работу в Колпашево рушится, тем более что в общеобразовательной школе они узнали о существовании циркуляра не вербовать в школьные преподаватели репрессированных лиц. Все это огорчило обоих.

Когда в семь часов вечера собирались на пристани, Родион подошел к Сергею Петровичу:

- Устроили перевод в Колпашево?

Тот отрицательно покачал головой.

- Сергей Петрович, видать, дурной я человек, чтобы за вас огорчиться, а я радехонек: без вас мне тоска смертная в Ключвенке, сопьюсь запросто.

- Глупый мальчик! Это так понятно! Меня с перспективой зимовать в Ключвенке мирит только возможность заняться твоим развитием. А спиться я тебе не дам.

- Сергей Петрович! Я такого человека, как вы, отродясь не видывал! И во сне не мерещилось,

что бывают такие. Не знаете вы, что они для меня значат, Нина Александровна!

- Не говори «они». Называй имя и отчество, - прикрикнул Сергей Петрович.

Но юноше хотелось выговорить свою мысль, и он пропустил мимо ушей поправку.

- Мне бы должно благословить ссылку за встречу с вами, да я бы, может, и благословил, только вот мать у меня на старости лет одна по чужим избам, бедная, шатается. Ну, и заропщешь другой раз.

Сергей Петрович пожал ему руку.

- Что сказали тебе об отце?

- Сказали: заточен без права переписки; коли помрет - известим. А обвинен, мол, и ты, и тятка твой правильно: кулаки вы, и поблажки вам никакой не будет. А какие же мы кулаки, когда к наемной помощи в жисть не прибегали? Ну, да я не унываю, Сергей Петрович: везде есть хорошие люди. Удалось вам записаться с Ниной Александровной? - и открытое лицо просияло улыбкой.

Ночевали третий раз под открытым небом, на пристани по ту сторону Оби. С реки дул ледяной ветер; посреди ночи Нина, дрожа от холода, постучалась в хижину паромщика, умоляя впустить ее отогреться. И несколько часов провела на печке в обществе детей и теленка, который, не тратя даром времени, пережевывал в темноте уроненную ею косыночку; нашлись одни объедки, когда Нина, уходя на пристань, хватилась косынки. На заре построились для перехода. День выдался ясный, солнечный; туман расходился золотистой дымкой. Шли бодрым шагом, чтобы согреться. Родион все время запевал то одну, то другу песню; никто, однако, ему не подтягивал. На одном из поворотов дороги, оглядывая лес, который весь золотился в преломлявшихся сквозь прозрачный туман утренних косых лучах, Нина воскликнула:

- Ах, как красива эта огненная кисть рябины! - и указала на молодое деревце несколько поодаль от дороги. В одну минуту Родион выбежал из строя, подскочил к рябине и схватил ветку. Грянул выстрел, и схваченная ветка откачнулась обратно... Крик ужаса вырвался у людей, и вся партия разом остановилась, - юноша, как сноп, повалился на землю. Нина, вся похолодев, закрыла лицо руками. Сергей Петрович и еще один мужчина бросились к упавшему, забывая опасность.

- Назад! - рывкнул комендант. - На прицел! - крикнул он конвою. Четыре револьверных дула тотчас устремились на двух мужчин. Сергей Петрович даже не обернулся.

- Жив? Отвечай! Жив? Что с тобой? Где рана? - повторял он и дрожащими руками начал расстегивать на упавшем ватник.

Второй мужчина, стоя под дулом, сказал:

- Товарищ комендант, я - врач: разрешите мне исполнить мою обязанность, - и, хотя револьверные дула остались в прежнем положении, припал ухом к груди юноши, держа его неподвижную руку в своей. Все замерли.

- Кончено, - сказал он и встал с колен. Наступила тишина. Мужчины снимали шапки.

Сергей Петрович тоже поднялся и с бешенством крикнул коменданту:

- Вы не имели права стрелять! Мы все видели, что это не побег!

- Молчать! - крикнул злобный голос. - Сомкнуть строй! Стреляю в каждого, кто не будет повиноваться!

Нина бросилась к мужу:

- Сережа, молчи! Ты - безумец! Разве ты не видишь: это звери, не люди! Они убьют и тебя... Молчи! - шептала она, вся дрожа, и втащила его в ряды. Кто-то поднял и протянул уроненную им шапку, Нина нахлобучила ее ему на голову.

- Шагом марш! - крикнул комендант.

- А как же он?... Вы его бросите...- срываясь, пролепетал один женский голос.

- Вперед! - пролаяла повторная команда. Люди двинулись в полном молчании с угрюмыми лицами; конвойные еще держали револьверы наготове. Комендант пошел сбоку, оглядывая строй.

«Он чем-то напоминает голодного озлобленного волка!» - только успела подумать Нина, как

«волк» обратился к ней:

- Гражданка, вы эти сантименты оставьте! Извольте-ка выйти из строя!

- Я сопровождаю партию с разрешения старшего коменданта, - отважилась она выговорить, бледнея.

- Знаю, что с разрешения. По дороге вам идти не запрещено, а из строя извольте выйти.

Нина и Сергей Петрович молча взглянули друг на друга; он пожал и выпустил ее руку. Лица стали как будто еще сумрачней; за весь переход никто не сказал ни слова, только шаги звучали по лесу.

Комендант сделал остановку в Могильном и ходил к своему начальнику, очевидно, с докладом о происшедшем. Вернувшись, он отдал приказ ночевать в Могильном и увел отряд в здание комендатуры. Нина, не зная, куда деваться, прошла в тот дом, где ночевала по прибытии. Усталая и потрясенная, она не скоро заснула и с трудом поднялась, когда встававшая к корове хозяйка разбудила ее на рассвете. Кутаясь на ходу в ватник, она побежала к комендатуре и в сырой мгле утра увидела отряд выходящим из ворот.

Она не посмела вмешаться в ряды и пошла сзади; сапоги натерли ей ноги, и она с тоской думала о предстоящем дне пути. Только в полдень, во время остановки, когда она подошла ближе к партии, она обнаружила, что Сергея Петровича, а также молодого доктора не было среди других. Страшно испуганная и растерянная, она хотела повернуть назад, но побоялась быть застигнутой сумерками в тайге и, следуя за отрядом, все-таки дошла до Клюквенки. Когда она переступила порог своей мазанки и опустилась на деревянную скамью, ею овладело отчаяние.

- Господи, что же это? Что я теперь должна делать? Его, наверное, перебросят в концентрационный лагерь... я его не увижу больше!

Клюквенка показалась ей теперь насиженным мирным местом... Как хорошо было еще несколько дней назад, когда они пели и играли вот в этой самой комнатке, и вот что теперь!... Она озябла и проголодалась, волей-неволей пришлось растапливать печь, варить картофель и кипятить воду. Поужинав в полном одиночестве, она устроила себе постель на лежанке и накрылась всем, что было теплого, трясаясь в нервном ознобе. Страшно будет провести одной ночь: ее хата на краю, за ней пустое поле, а за полем тайга, которая глухо шумит. Вокруг - ни души. Пошел дождь, но она не могла заснуть даже под этот равномерный, убаюкивающий звук. То ей чудились шаги за дверьми, и она, замирая, прислушивалась, не зная сама, чего ждет и чего боится, то чудился вой волков. Детский суеверный страх все больше овладевал ею: наводили ужас темные углы пустой хаты - они, казалось, жили угрюмой, таинственной жизнью, казалось там, в глубине, в паутине, роились и прятались все призраки, которым пугали ее в детстве -буки, ведьмы, кикиморы... Скоро над ней начала протекать крыша; сначала падали отдельные редкие капли, потом забарабанило частой дробью; она не шевелилась - страшно было выйти за освещенный круг. Однако течь скоро стала настолько сильной, что волей-неволей пришлось вылезти, чтобы сохранить сухими теплые вещи, которыми она была накрыта. Когда она встала и осветила дальние углы, то увидела, что течью захвачен еще один угол и могут промокнуть ноты и скрипка. Сердце ее больно сжалось при взгляде на скрипку:

«Я сыграю тебе Моцарта!» - вспомнилось ей. Пришлось переносить все вещи в единственный сухой угол. Весь остаток ночи она просидела, поджав ноги, на скамье, слушая дробь дождя и шелест тараканов, к величайшему ее ужасу перебравшихся из мокрых углов поближе к ней к величайшему ее ужасу. Ноги ее скоро совсем онемели, но она боялась опустить их на пол и не решалась переменить положение, окруженная черной армией.

О, Господи! Долго ли еще будет тянуться эта ночь? Она, кажется, никогда не кончится! Надо отговорить Асю от брака с Олегом: он не сегодня-завтра попадет в такую же ссылку, Ася же так молода и такая еще дурочка! Она, конечно, тотчас же нарвется на беременность, а потом окажется с ребенком в таком же медвежьем углу. Завтра же пошлю телеграмму - это моя прямая обязанность теперь, когда я познакомилась с жизнью ссыльного.

Забрезжило, наконец. Она решилась встать и взялась за топор, чтобы подогреть себе воду в чугушке. Топор не слушался непривычных рук, дело не ладилось, слезы досады наворачивались на глаза.

- Дверь отворилась, на пороге показалась баба в ватнике и в сапогах и остановилась у притолоки, подперев красную щеку рукой.

- Что вам? - спросила Нина.

- Ничаво, ничаво, родимая. Поглядеть на тебя пришла. Уж не прогневайся.

Нина подивилась и занялась снова дровами и чугуном. Когда она снова взглянула на дверь, баб было уже двое, и обе глядели на нее, подперев щеки руками. Нина налила себе чай, поставила чашку на подоконник и села, досадуя на непрошенных посетительниц и стараясь уяснить, в чем кроется неожиданный интерес к ее особе. Внезапно ее озарила догадка: слух, что она только что зарегистрировалась с ссыльным, к которому приехала, очевидно, уже докатился; в представлении этих баб она была молодой девушкой, у которой сорвалась брачная ночь! Вот именно это и возбуждало их любопытство. Она повернулась: баб было уже три, и все перешептывались, кивая на нее. Нервы Нины не выдержали: она ударила рукой по подоконнику и вскочила:

- Да что же это здесь, театр, что ли? Уйдите! Мне никого не надо. Я хочу быть одна! - и захлопнула за ними дверь.

«Ну! Что делать? Идти в Могильное к коменданту? Остается только это или я не узнаю ничего! Опять эти 30 верст, опять собака... Ну да уж ничего не поделаешь!

Она повязала платок, влезла ногами в сырые сапоги и вышла на холодный туман. «Хороша же я сейчас вся заплаканная в зипуне, в сапогах», - думала она, и, не подозревая, что скорбь, разлитая по выразительному лицу, делала его лучше, чем она знала его в зеркале в обычные дни. Теперь при свете дня, вновь пересматривая свое решение отговорить от замужества Асю, Нина пришла к тому, что рассуждала неправильно. Подобной телеграммой она только бы непоправимо скомпрометировала Олега и, может быть, навсегда поссорилась с ним, а цели своей по всей вероятности не достигла. «Когда мы влюблены, мы все делаем глупости, и я сделала величайшую, приехав сюда. А впрочем, глупость эта, может быть, самое большое и лучшее, что мне довелось сделать!»

Приближаясь после пятичасового пути к логовищу коменданта, она купила дешевого студня. Повторилась прежняя, уже знакомая ей история, с тою только разницей, что после третьей подачи собака уже не скалила зубы, угрожая наброситься, а стояла, выжидая следующего куска и глядя на Нину умными глазами. Нина протянула еще кусок, и собака, вильнув хвостом, взяла его из ее рук.

- Демон, Демончик, хороший Демаша! - завела уже привычную песню Нина и, все еще робея, направилась к крыльцу, а Демон побежал рядом. Встречаясь с умным и внимательным взглядом животного, Нина невольно сравнила этот взгляд и своеобразное благородство собачьей морды с лицом хозяина дома: сравнение было не в пользу человека, настолько грубо были высечены черты коменданта и настолько тупость этого лица вызвала впечатление примитивности и чего-то скотского, впрочем, не злого.

- Здравствуйте, товарищ комендант! - стараясь говорить как можно приветливее, сказала Нина, собирая всю свою волю на предстоящий тяжелый разговор. - Вот решила заглянуть к вам, чтобы прослушать вашу дочку, а также выяснить одно недоразумение. Вы позволите мне войти?

Рука, похожая на медвежью лапу, неуклюже протянулась к ней:

- Просим, просим, товарищ артистка!... Садитесь. Не желаете ли пивца холодного? Дочка уж мне житья не дает: когда же твоя знаменитая певица меня послушает?

Нина поспешила мило улыбнуться:

- Это очень понятно, товарищ комендант. Я с большим удовольствием займусь с ней; я сегодня не тороплюсь. Но прежде я хотела бы переговорить с вами по поводу вчерашнего инцидента. Ваш помощник, очевидно, уже представил вам рапорт?

Тупое лицо как будто слегка насторожилось.

- Вы это о чем, гражданочка?

Он до сих пор еще не потрудился узнать имя и отчество Нины.

- Ваш помощник стрелял в ссыльного. Я шла с этой партией согласно вашему разрешению и была невольной свидетельницей.

Спазма сжала горло Нины. Комендант наблюдал ее немного пристальнее, чем раньше.

- Так, так, гражданочка, точно. Что ж дальше? Подчиненный мой действовал согласно инструкции. Над нами ведь тоже начальствуют, доложу я вам. Когда ссыльные находятся в пути, большого числа конвойных мы предоставить не можем, и существуют особые правила поведения, о которых мы предупреждаем конвоируемых. Эти правила были зачитаны. По всей вероятности, и вы их слышали. Никакого упущения по службе не было, могу вас уверить! Нам с вами говорить-то об этом не для чего. Ну, разумеется, вы человек непривычный: вам оно... страшновато показалось. Забудьте думать, гражданочка; забудьте - вот и вся недолга! Мой вам совет: от ссыльных лучше держитесь подальше; особенно от пятьдесят восьмых - беспокойный народ! Должен я вам сказать: с уголовниками куда легче, свои ребята! А эти пятьдесят восьмые нас, советских людей, презирают и все в лес смотрят.

Глухое, больное возмущение, накопившее в Нине, комком давило ей в грудь и сжимало виски до дурноты. «Упущения по службе не было! - со злостью подумала она. - Ему все равно, что погиб талантливый, милый, жизнерадостный юноша! Важно, что соблюдены все правила, при которых разрешается безнаказанно стрелять в человека. А мой Сергей с этой смертью будет еще более одинок!»

Она сделала усилие, чтобы овладеть собой, и сказала спокойно:

- Я не собираюсь обвинять вашего помощника в нарушении правил: это меня не касается. Я хотела узнать, за что вы задержали двух других из этого отряда? Один из них мой муж, ради которого я так далеко приехала. Могу вас уверить, что ровно ни в чем не провинился. Я здесь могу пробыть считанные дни, поэтому решаюсь обратиться к вам с просьбой освободить его как можно скорей.

И опять ей перехватило голос.

- Подождите, подождите, гражданочка, дайте я справлюсь в рапорте, я не упомянул фамилии. Минуточку.

Он вышел из комнаты и вернулся с листом бумаги и с очками на носу, придававшими ему несколько комический вид.

«Свинья в ермолке», - подумала Нина.

- Как фамилия вашего супруга, гражданочка?

- Бологовский, Сергей Петрович.

- Так, так; совершенно верно; Бологовский под арестом: «Пытался возмутить против конвоя...», видите ли, какая штука! Это вам не фунт изюма, гражданочка! Вы извините, я попросту. Есть у нас в гепеу новые ученые кадры; те выражаются и действуют, так сказать, по всем правилам полицейской науки, а я на переподготовке еще не был и привык этак попросту, по-солдатски. Зато уж вы мне неудачное словцо в строку не ставьте.

Его, по-видимому, смутило выражение «фунт изюма». Нина усмехнулась.

- Это ничего, что попросту. Я тоже с вами буду говорить попросту. Товарищ комендант, вы информированы неправильно! Снимите показание с меня, допросите всех шедших в партии, и вам станет ясно!

- Я не собирался заваривать дела и чинить допрос по всей форме, гражданочка; домашним образом думал справиться. Тут, чего доброго, нагореть может, ежели пойдет по законной линии. Число конвойных я, видите ли, выделил недостаточное и в Калпашеве людей отпускал только по моей мягкости: одолевали меня с просьбами: кому к доктору, кому просьбу подать, кому устроить вызов по специальности... Ну, и соглашался; вот и вас прикомандировал, а по всей строгости оно бы не следовало, да где уж, думаю, вам одной по тайге шататься... Ну, а начальство может косо на это поглядеть: мирволит, скажет!

Невольно шире открылись глаза Нины: так этот держиморда опасался обвинений не в самоуправстве или жестокости, а напротив – в мягкосердечии и гуманности! Хороши же были типики, сидящие над ним, уже кончившие школу палачей! Но так или иначе, а огласки этот великолепный администратор не желал! Нина тотчас это учла и очень дипломатично сказала:

– Могу вам обещать, что если мне случится говорить о происшедшем в Томске, я приложу все усилия, чтобы не повредить вам.

– А с кем вы там говорить намерены?

– Я знакома кое с кем в Томске, – храбро солгала Нина. – Я отнюдь не желаю бегать по учреждениям, но придется, по-видимому, выручать мужа, если вы не пожелаете его выпустать.

– А вы меня, гражданочка, уж не припугнуть ли желаете? Из этого, доложу я вам, ничего не выйдет: я в партии с семнадцатого года, старый чекист, и заслуги мои всем хорошо известны; партийных взысканий не имел, стою твердо – не подкопаются.

– Припугивать вас я не собираюсь, но если вы не хотите дать делу законный ход, тогда прикажите выпустить задержанных, а что значит «кончить домашним образом» я не понимаю! Ведь вы должны же будете отчитываться перед Томском в гибели ссыльного и в аресте двух других?

– Никак нет, гражданочка! Ссылных у нас тысячи, и они вверены мне бесконтрольно. У нас в тайге и на дорогах задаром, без следа, пропадают люди самые полноправные, а не то, что высланные! Конечно, когда идет судебный процесс, за каждого из подсудимых тюремный персонал отвечает своею головой, но у меня здесь или осужденные, или административно-высланные. Таких тысячи в каждом из здешних районов. Где тут отчитываться в каждом? Погиб и погиб – довольно, что знаю я.

Нина вся дрожала от негодования, а тот продолжал:

– Для знаменитой артистки я всегда готов стараться! Засадил я тех двоих за нарушение дорожной дисциплины; вот завтра выберу времечко и допрошу. Тогда сам увижу, что мне с ними делать. На моем участке я могу распорядиться, как сам нахожу нужным – запомните, гражданочка! Хоть повесить, ежели заблагорассудится; но я, имейте в виду, не суров.

Нина поднялась и взяла рукой забрызганную грязью юбку как взяла бы шлейф, спускаясь с эстрады. Ватник и платок были незаметны на ней.

– Я вас поняла, товарищ комендант, благоволите теперь привести меня к вашей дочери.

Два часа она просидела с кривляющейся, намазанной, завитой девицей, пробуя ее голос, исправляя постановку, прививая навыки. И когда, наконец, вышла – почувствовала головокружение от усталости и нервного перенапряжения, а надо было до сумерек пройти опять тридцать верст. Великолепный хам не догадался предложить ей хоть какой-нибудь вид транспорта. Утешая себя, что эта дорога сравнительно людная, благодаря постоянному сообщению между Могильным и Клюквенной, и что вследствие этого встреча со зверем или с бродягой маловероятна, она вышла из поселка и потащилась по грязи в злосчастную Клюквенку.

«Бедный Сергей! Как я боюсь, чтобы он не повредил себе на допросе: он слишком горяч! Я могу здесь пробыть еще неделю... если комендант не выпустит его теперь же, и я уеду, не зная его судьбы, что я скажу Наталье Павловне? Злой рок преследует меня и в новом замужестве!»

Она шла уже часа три, время от времени присаживаясь на камень и съедая кусок хлеба, которым запаслась, чтобы не ослабеть в дороге. Затянутый холодной осенней дымкой лес хмуρο молчал. Она шла, не глядя по сторонам и стараясь не думать, что идет одна через тайгу. Натертые ноги мучительно ныли. Вдруг на одном повороте она увидела неподвижную мужскую фигуру, стоявшую впереди на дороге.

«Кто это? Уж не бродяга ли – беглый уголовник?»

Со времени травмы, пережитой ею в Черемухах десять лет назад, она панически боялась чужих мужчин, каждая незнакомая мужская фигура, встреченная в уединенном месте, внушала ей опасения. Этот постоянный страх портил ей все прогулки. Теперь при одном

взгляде на стоявшего впереди человека сердце у нее заколотилось сто раз в минуту.

«Почему он стоит? Никто не услышит, если я закричу. Надо было дожидаться в Могильном, пока не выпустят Сережу. Бежать в чащу? Но я запутаюсь, а дело к вечеру, там звери...»

Она увидела, что прохожий решительно направился к ней. В эту минуту взгляд ее остановился на большой палке, валявшейся на дороге, и она быстро схватила ее.

«Одна на один я, может быть, с ним справлюсь».

Человек подходил все ближе и ближе, и вдруг она узнала этого неуклюжего бородача:

«Кажется, это философ Яша! Слава Богу! Но что он здесь делает?»

- Нина Александровна! - сказал старый еврей, подходя неуверенной, шаркающей трусливой походкой, - ну, как это вы ушли одна? Ну, сказали бы мне. Я, правда, стар и плохой защитник, но таки лучше, чем никто! Не бросайте палку, через час будет темно, почем знать? Идемте.

Они пошли рядом, причем этот скромнейший человек не решился предложить Нине руку, как будто не был уверен, что русская дворянка примет ее. Выслушав про Сергея Петровича, Яша сказал:

- Немножко утешу вас, Нина Александровна! В вашей мазанке сейчас чинят крышу. Несколько женщин из здешних крестьянок подняли гвалт, что у вас заболочена вся хата; у одной из них муж плотник; она потащила его чинить, потом подговорили еще одного и обещали, что все будет готово к вечеру.

И, взглянув еще раз на расстроенное лицо своей спутницы, спросил:

- Нина Александровна, вы верующая?

- Я понимаю ход ваших мыслей, Яков Семенович. Отвечу вам правду: нет, давно нет! Всенощное бдение в институте, Причащение с другими девочками - все это поэтическое воспоминание, и только! Христос, который учил человечество милосердию или бессилен и, стало быть, не Бог, или не милосерд вовсе!

- Не произносите даже шутя таких слов, Нина Александровна. Душа ваша открыта навстречу всему прекрасному, почему же в религии вы так поверхностны и рассуждаете по-обывательски плоско. Если бы наградой за веру и праведную жизнь служило процветание здесь, на земле, в земных формах - все вокруг были бы верующие, но грош цена была бы этой вере! Из века в век заботливо выращивают наш дух светлые Учителя, и на этом долгом пути скорби служат нам искуплением и очищением. Есть люди, которые благословляют их, - они начинают интуитивно постигать неисповедимость Божественных путей. Вы, Нина Александровна, может быть, и сами с любовью и умилением оглянетесь когда-нибудь на нынешний день и этот крестный путь в Могильное, который дал вам выявить на деле вашу любовь и верность. Цените ниспосланные вам минуты, которые глубоко и неразрывно, нитями родства потустороннего, связывают вас с любимым человеком.

- Яков Семенович, вы теософ?

- Нет, Нина Александровна. Не знаю, кто я. Вернее будет сказать - христианин или антропософ. А разве в названии дело? Родился в иудействе, я сын виленского раввина. Я мальчиком был, когда мне в руки случайно попало Евангелие и, когда я стал вчитываться в строчку за строчкой, вырос из них передо мной образ Христа и завладел навсегда моими мыслями. Я понял роковую ошибку моего несчастного народа, я понял, насколько христианство человечнее, светлее и шире нашего узкого иудейства, - я многое понял тогда. Помню, что делалось со мной, когда, спрятавшись за шкафом, в углу моей бедной комнаты, я читал: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, Еже за вы проливаемая...» Наступила Страстная; занятия в гимназии были прерваны, и вот потихоньку, как вор, побежал я, еврей, в христианскую церковь, не в нашу гимназическую, нет - разве я бы посмел туда явиться? - в монастырское подворье на окраине. Шла литургия, и когда я робко переступил порог храма, я услышал голос из алтаря: «Пиите от нея вси сия есть Кровь Моя», - те как раз слова, которые переворачивали мое сознание. Я слушал, слушал и, знаете ли, что я сделал? Я подошел с другими к Чаше, движимый самым горячим желанием. Я несколько раз делал так, не зная сначала, что это недопустимо. Много было после пережито тяжелого: и страшный протест

окружавшей меня среды узкого провинциального еврейства, и косность ваших священников, и порочность вашего христианского мира – все это обрушилось на меня еще в ранней юности и едва не затушило отблески дальних сияний, которые нашли место в моей душе. Но дивный Образ, раскрывшийся однажды моему воображению, укреплял мой дух. Крестился я много позднее, уже когда окончил университет. Крещение давало мне права гражданства наравне с русскими, а я не хотел ни перед своей совестью, ни перед людьми, чтобы вера моя перепутывалась с вопросами материальных благ, и лишь когда окончание университета дало мне право и жить и работать в Петербурге, я принял Крещение. Здесь выплыли новые трудности: священники, к которым я обращался, после бесед со мной отказывались меня крестить, находя, что я, выйдя из иудейства, заблудился в безднах теософии и по существу моих воззрений не христианин. Среди них были очень образованные, и они соглашались, что в русской интеллигенции есть множество лиц, отстоящих по своим воззрениям еще далее меня от Православия в самой его сути, но крестить заново обращенного с такими воззрениями, тем не менее, отказывались. И все-таки, великая Церковь ваша, обладая таким сокровищем, как Евхаристия, не может быть полностью во власти заблуждения, как бы ни были погрешны отдельные представители. Один из священников обратился за разрешением вопроса к епископу, и тот меня понял! Больше того; мое самовольное Причащение он рассмотрел как особое призвание. Он согласился меня крестить и сказал при этом: «Храните символ Веры и не порывайте с Причащением, тогда, исполняя по мере сил заповеди Господни, вы пребудете в Церкви. На исповеди кайтесь в том, что вам укажет совесть, но не вступайте в богословские прения». Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я, близорукий, страшился упрека в материальной заинтересованности при переходе в Православие, и даже помыслить тогда не мог, что моя вера повлечет за собой, напротив, гонение и исповедничество, а Христос в Своем милосердии послал мне жребий, о котором я не смел мечтать! Кто бы мог это предвидеть в те годы? Вот теперь я в ссылке, одинокий, больной и уже старый; у меня нет ни угла, ни семьи, но поверьте мне, Нина Александровна, что я счастлив и что мне в самом деле ничего, совсем ничего не нужно! Долгое время горем моим была потеря моей библиотеки: книги были моею страстью, и на них я тратил все мои средства; за годы петербургской жизни мне удалось собрать огромную библиотеку религиозно-философского содержания, ее опечатали при аресте, и случайно мне стало известно от соседей по квартире, что книги были погружены в огромный грязный грузовик, который умчал их прямо на свалку, – это говорил соседям лично увозивший книги шофер. Теперь и эта боль отошла; не осталось ничего кроме радости идти за Распятым Учителем. Эту радость уже никто не может у меня отнять. Вы, Нина Александровна, еще молоды и хороши собой, да пошлет вам Господь счастье с избранным вами человеком, но не падайте духом и не унывайте в дни печалей. Они не так страшны, как кажутся сначала: как раз в их гуще и толще нас посещают новые и самые дивные радости. Где крест, там они вьются вереницами.

Молодая женщина молчала, озадаченная и удивленная.

– Не отвечайте мне ничего, а только запомните мои слова, сохраните их в своем сердце. Быть может, когда-нибудь они найдут в вас отклик. Мы сами не знаем минуты, когда в нас просыпается тайное, лучшее, внутреннее, – и он прибавил с улыбкой: – Странно, не правда ли, что вы – христианка по рождению – выслушиваете о Христе от еврея? Случается и так!

– Нет, Яков Семенович. Я этого не думала... Спасибо за хорошие слова и за участие. Мой муж и я, мы оба вас так уважаем... Я сейчас вспомнила своего брата... вот бы вам поговорить с ним, вы бы друг друга поняли, а я...

Она заговорила о библиотеке своего отца, которой завладела тетка, и о некоторых уникальных изданиях, хранящихся в ней, и за этими разговорами дорога прошла незаметно.

Когда, уже в сумерках, они подошли, наконец, к Клюквенке, и Нина вошла в свою хижину, починка и в самом деле была закончена, пол подметен и даже печь вытоплена; а чугунок полон печеной картошки, аккуратно закрытой вышитым полотенцем; очевидно, женщины предполагали, что она вернется из Могильного с мужем, и решили обеспечить молодым

счастливый вечер. Нина была тронута неожиданной заботой, однако, она так устала, что не могла есть, а тотчас улеглась на лавке и в этот раз проспала всю ночь как убитая. День не принес ей ничего нового. К вечеру она опять затопила печь, вскипятила чайник и села у огня, настороженно прислушиваясь: может быть, и в самом деле отпустит после допроса! Стук в оконную раму заставил ее вздрогнуть, но это оказался всего только десятник, который обегал ссыльных, вызывая на переключку к коменданту, так как был понедельник. Она села, и ей стало еще грустнее после минутной надежды.

Поднялся ветер и завыл в трубе, нагоняя тоску, ей опять делалось жутко; неужели начнут повторяться все ужасы предшествующей ночи? Черные тараканы начинали опять выходить из своих углов, а свеча, колеблясь неровным светом, уже рисовала устрашающие тени на закоптелом потолке, когда ей показалось, что кто-то шарит рукой за дверью.

- Кто? - спросила она, вскакивая, но не снимая крючка и дрожа.

- Нина! Открой! Это я! - услышала она знакомый голос.

Она выскочила под дождь и бросилась на шею мужу.

Пароход издавал протяжные гудки в знак того, что не придет больше - не придет до весны! Этот прощальный сигнал всегда звучит на Оби, как только шуга, первый мелкий лед, проявляется на могучих волнах. Затерянные в лесных селеньях ссыльные с грустью вслушиваются в этот заунывный гудок. Стоя на борту парохода, покидавшего Колпашево, Нина всматривалась в полосу тайги на противоположном берегу и вытирала слезы.

В Томске, прежде чем пересесть на поезд, она несколько дней обивала пороги некоторых учреждений. Этот город, обросший сетью лагерей и тысячами учреждений по управлению лагерями и тюрьмами, стал ей невыносим. Она побывала по крайней мере в десяти присутственных местах и не могла найти конца и начала этой сети. Ее безжалостно гоняли с места на место. По сравнению с агентами, которых она видела здесь, хамоватый комендант казался ей теперь очень человечным: он давал себе труд выслушивать ее и питал наивное уважение к званию заслуженной артистки, самовольно присвоенному ею. Тогда как в Томске она оказалась совершенно бессильна перед привычной черствостью персонала и хаосом канцелярий. Единственно, чего она достигла, - это частного обещания директора одной музыкальной школы, где она дала бесплатный концерт, попытаться вытребовать скрипача Бологовского на педагогическую работу, как только школа получит расширение штатов. Успех этого предприятия был весьма сомнителен, но это было все, чего она добилась.

Измученная и душевно, и физически, она покинула Томск в последних числах сентября.

## Глава шестая

Дни, проведенные с Асей на берегу Ильменя, показались Олегу райским блаженством: очарования любви, ранней осени и седой старины как будто соединились, чтобы закрыть от него безотрадную действительность. Он отлично знал, что гепоу может найти его на Ильмене так же легко, как в Петербурге, и, тем не менее, закрывая по вечерам двери своего «палаццо», он ни разу не подумал о том, что среди ночи может раздаться стук в эти двери, как не думал и о том, чтобы не выдать себя неосторожным словом. Здесь его личность ни в ком не вызвала ни любопытства, ни интереса: вокруг были только крестьяне-рыбаки, занятые полевыми работами и рыбной ловлей. Ася была прелестна, и все заботы и опасения таяли в лучах ее любви. Он был свободен от службы, где приходилось все время быть начеку и взвешивать каждое слово. Наскучившая пошлость задающей тон партийной среды, дешевая агитка, преследующая в новом обществе каждый шаг человека, и газеты, которые действовали на него как змеиное жало, сюда не долетали. Все это властно прикоснулось к его нервам в поезде, как только они помчались в направлении Ленинграда.

«Как странно, - думал он, - влияние большого города так могуче, что распространяется далеко за его пределы. Мы как будто уже попали в орбиту Ленинграда, и вот я чувствую уже

отравленное дыхание среды, которую не переношу! Я люблю крестьян и могу с ними жить душа в душу, они всегда почти мне глубоко симпатичны, но городской пролетариат под партийным соусом мне чужд и враждебен». Первый вечер дома прошел, однако, очень оживленно и даже весело: Ася за чаем щебетала без умолку и была очаровательна, нисколько не меньше, чем в деревне; Наталья Павловна и мадам были с ним очень ласковы, и он чувствовал себя все таким же счастливым. Правда в бесконечных думах о том, что ждет его на работе и как обернется к нему ближайшая действительность, он провел почти всю ночь без сна. «Ведь у этой семьи в сущности средства к жизни отсутствуют, – думал он. – Очень большая удача, конечно, что у Натальи Павловны сохранились вещи: возможность продать то или другое всегда может выручить, но нельзя допускать систематической распродажи; я должен вносить в дом сумму, достаточную, чтобы содержать четверых, а между тем в советской действительности ставки хватает на одного, в лучшем случае на двух человек! Необходимо подработать уроками, если их удастся найти... Лишь бы с гешеу не было осложнений. О, этот вечный гнет!»

В шесть утра, когда он стал одеваться, Ася пошевелилась и открыла глаза.

– Дай мне мой чудный халатик, я приготовлю тебе завтрак, – сонным голосом отозвалась она.

Он стал убеждать ее, что все сделает сам, а она пусть сладко спит до восьми и пьет кофе, как прежде, с бабушкой и мадам. Педантичная заботливость оказалась не в характере Аси: не возражая, она потянулась, улыбнулась и с самым безмятежным видом закинула руки за голову, тотчас же забыв про завтрак. Он стал покрывать поцелуями эти плечи и локотки и в первое же свое деловое утро убежал, не сделав ни одного глотка.

«Как она беспечна! Совершенный ребенок! И лучше мне не делиться с ней моими вечными тревогами, чтобы сохранить ее подольше такой ясной и солнечной», – думал он, мчась вниз по лестнице.

По-видимому, он еще находился до сих пор во власти благоприятного течения: на работе все складывалось благополучно, Моисей Гершелевич встретил его милой начальственной улыбкой, сослуживцы приветствовали, видимо, довольные его возвращением; дела было много, но дела он не боялся, знаний и способностей в области языков у него было больше, чем требовалось, и он опять стал успокаиваться. Целительным бальзамом против всяческих тревог и огорчений было сознание, что у него теперь есть свой очаг, а в нем «своя белая Киса с голубым бантом». Эту истину он объяснял ей каждый вечер, усаживая к себе на колени.

– Она совсем такая, как ты хотел? – спрашивала Ася.

– Такая, какую я только в мечтах мог себе представить.

– Она красивая?

– Это определение к ней не совсем подходит, хотя она умопомрачительно хороша.

– Она умна?

– Это тоже не в ее стиле, хотя у нее бездна чутья и такта.

– Так может быть деловая?

– Фу, какая гадость! Конечно не деловая! Терпеть не могу деловых женщин.

– Ну, так какая же она, наконец?

– Очаровательная и это все, что мне надо.

Ася сияла.

Когда он в первый раз после женитьбы получил заработную плату, он спросил: «Кому я должен передать деньги – жене или grand madame?»

– Ой, только не мне! Конечно, бабушке или мадам.

– А proros, тебе не кажется, что ваша милейшая мадам находится в некотором заблуждении относительно меня: она, по-видимому, считает, что я имею косвенные права на русский престол, – сказал Олег.

Ася засмеялась.

– Да, в самом деле: в глазах мадам ты – принц крови, она постоянно журит меня за промахи в манерах и повторяет при этом, что ты привык к придворному этикету. А сегодня она послала

меня на рынок за клюквой для киселя, уверяя, что не прилично подавать обед без десерта, хотя до тебя мы отлично обходились без третьего блюда.

Олег привскочил на месте:

- Только не ради меня! Я вношу в дом недостаточно и первый заинтересован в том, чтобы не выходить из бюджета. Объясни мадам, что я всю молодость провел сначала на фронте, а потом в концентрационном лагере, а потому не избалован. А что касается этикета, меня, правда, очень муштровали и в корпусе и дома, тем не менее, я не обнаруживаю ни одного недочета у моей жены - на совести у мадам ничего нет, она может спать спокойно.

Ася улыбнулась, а потом сказала нерешительно:

- Нина Александровна говорила мне, что твой отец всегда был очень строг, но с мамой тебя соединяла очень большая задушевность.

- Да, Ася. Сядь ко мне на колени. Ты знаешь ведь, что мама погибла при очень трагичных обстоятельствах, еще не выясненных точно... Это было такое больное место в моей душе, которое никогда не заживало. Только теперь, когда в мою жизнь вошла ты и принесла мне столько тепла и света, боль эта начала затихать. Наша особенная нежность завязалась у меня с мамой еще в детстве во время японской войны. Отец был тогда в армии, брат - в корпусе; мы проводили зиму в имении: мама не хотела выезжать в свет одна. Когда пришло известие, что отец ранен, вокруг были только слуги и они растерялись. Я узнал прежде мамы от гувернантки. Помню, я ждал выхода мамы к утреннему кофе, стоял около своего места, как это было принято при отце, и думал, как бы мама не догадалась о чем-нибудь по моему виду. И в самом деле, она, едва только вошла, целуя меня, спросила: «Ты плакал?» Тогда я сказал, что сломал свой новый заводной поезд. Мама сказала: «Сбегай и принеси; посмотрим вместе». И мне в моей детской пришлось раздавить любимую игрушку дверью! В своей наивности я, по-видимому, воображал, что горе может совсем миновать маму. Но вечером она уже все знала; она пришла ко мне в детскую и села на край кровати: «Олег, проснись, помоги мне, я не перенесу одна! Папа умирает, может быть, за тысячи верст от меня!» С этого времени я почти не отходил от мамы: мы гуляли, читали, сидели у камина вместе, я совсем забросил свои игрушки, мама даже спать меня укладывала в своей спальне на кушетке. Так длилось около года, возвращение отца переменяло все: он заявил, что за время его отсутствия я стал изнежен и впечатлителен, как девчонка, и все мое воспитание надо в корне изменить. В один из первых же дней после его возвращения я, бегая в саду, расшиб себе колено и прибежал к маме за утешением; увидев меня в слезах, отец сказал: «Через год ты должен стать кадетом, а ты похож на слезливую девчонку! Чтобы я больше не видел твоих слез!» На другой день к веранде подвели пони, чтобы учить меня верховой езде; я неосторожно быстро подошел к нему, и он лягнул меня, да так, что сбил с ног. Мать и адъютант отца бросились ко мне с веранды, но я думал только о том, что отец смотрит на меня, и повторял: «Я не плачу, я не плачу», - и удивлялся, что меня окружили и тревожно расспрашивают. О, да, он был строг и сумел закалить во мне и здоровье и волю! Он не прощал ни одного промаха ни в манерах, ни в учении; было время, я пребывал в убеждении, что отец не любит меня, и, только став офицером, оценил, наконец, его заботу. Если у нас с тобой когда-нибудь будет сын, я знаю, как его воспитывать.

Он в первый раз заговорил с ней о будущем ребенке и промолвил эти слова с глубокой нежностью, взяв ее ручку в свою. Ася молчала, притаившись, как мышка: застенчивость сковала ее. Ни ему, ни ей в голову не приходило, что этот вопрос мог обсуждаться еще кем-либо, кроме них, тем более, что сами они еще ни разу не пробовали обсуждать его; а между тем несколько пожилых дам, навещавших Наталью Павловну, живо интересовались этим пунктом.

- Ваша пара очаровательна, - говорила мадам Фроловская, - я бы не желала для Аси лучшего мужа, если бы не эта неустойчивость его положения. Посоветуйте им не иметь детей, чтобы в случае осложнений, Ася не осталась с семьей на руках. Это было бы настоящей катастрофой.

Мадам Краснокутская высказывала ту же мысль:

- Надо непременно посоветовать им повременить с ребенком. Ваша Ася так неприспособлена, а под ним никакой твердой почвы.

Но Наталья Павловна возражала:

- Я не вмешиваюсь. Пусть будет так, как они хотят сами. Я лично нахожу, что присутствие маленького существа даже в самых неблагоприятных условиях украшает жизнь, а потому жаль было бы лишить Асю радостей материнства.

Младший ребенок «потомственного пролетария» - Павлютка был всегда бледен до синевы; череп у него был неправильной, несколько удлиненной формы, с низким лбом, уши торчали в разные стороны, а в карих глазах, смотревших несколько исподлобья, застыли обида и огорчение. Этот наивный взгляд побитого щенка продолжал тревожить сердце Аси. В одно утро, прислушиваясь в паузах между разучиванием фуги к тому, как он упорно и жалобно скулит, она не утерпела и, захлопнув крышку рояля, побежала в «пролетарскую» комнату: она знала, что ребенок один.

- Что ты все плачешь, Павлик, или Эдька опять обидел? - и голос ее прозвучал глубокой нежностью.

Выяснив, что «мамка ушла, а кушать не оставила», Ася тотчас принесла чашку киселя и сухарики, мастерски приготовленные мадам в честь кандидата на русский престол. Ася полагала, что это останется никому не известным, но не тут-то было! За чаем Наталья Павловна попросила подать ей любимую ложечку; Ася и мадам метнулись к буфету - ложки не оказалось: тут только Ася спохватилась, что снесла ее с киселем ребенку. Красная, как рак, предчувствуя, что ей попадет, она бросилась опять к «пролетарской» комнате.

- Извините, Бога ради, за беспокойство! Я угощала сегодня утром киселем вашего мальчика и оставила у вас кружечку и ложку, позвольте мне взять их, - робко сказала она.

- Как же, как же, видали, благодарим. Вот я намыла вашу кружечку, берите! - круглолицая Хрычко просунула Асе в дверь кружку.

- Была еще ложечка серебряная, бабушкина, с надписью «Natalie»

- Ложки что-то не видала... Да точно ли была-то? Может, вы и забрали уж, да запомнили?

Ася почувствовала, что дело плохо.

- Простите, я совершенно точно знаю, что ложечка здесь. Поищите, пожалуйста. Ведь ты ее видел, Павлик?

- Едька ложечку забрал, я ему говорю «не тронь», а он мне язык показал да вышел.

Реакция Хрычко на это сенсационное сообщение была самая непредвиденная.

- Ловок ты на брата наговаривать, мерзавец мальчишка! Так уж ты небось и видел, как он ее в карман сунул? Язык попусту чешешь, а люди слушают! Вам, гражданка, незачем было и соваться сюда с вашими киселями да ложками. Одни только неприятности нам через это.

Ася медлила на пороге, не зная, что сказать. К ужасу ее, из глубины пролетарского логова послышалось в эту минуту грозное рычание:

- Чего там? Какие еще ложки? Мой сын с голоду не околевает. Закройте дверь и не суйтесь! -

На пороге показался сам Хрычко, но жена живо втолкнула его обратно, увидев приближавшегося Олега.

- Пошел, пошел, ложись! Не связывайся! Оставьте его, гражданин: выпил ведь он, потому и куражится. С пьяного-то что спрашивать?

- Я в драку вступать не собираюсь: можете не тревожиться за целостность вашего супруга, - насмешливо бросил ей Олег и повлек Асю обратно к чайному столу, где предоставил гневу Натальи Павловны. Оправдываясь перед бабушкой, она робко оглядывалась в сторону мужа, но взгляд его глаз, в которых появилось что-то ястребиное, не обещал ей помощи.

- Ты дождалась, что хамы выгнали тебя из комнаты, и провоцировала их ссору с Олегом Андреевичем, а между тем, ты отлично знаешь, сколько зла приносит теперь нашему кругу внутриквартирная вражда: иметь в лице соседа врага - значит постоянно опасаться доноса. Олег Андреевич, о ложке более ни слова. Я ни в каком случае не хочу обострять отношений, -

говорила Наталья Павловна. – Неужели этот слюнявый мальчишка дороже тебе моего спокойствия, Ася?

– C'est donc un proletaire, un troglodyte! [72]- повторяла мадам, в ужасе вращая круглыми черными глазами.

– В этом ребенке что-то вырожденческое! Во мне он вызывает только брезгливость, – ввернул Олег.

Ася внезапно вспыхнула:

– Слышать не могу! Когда мы с тобой были детьми, нас окружало все, что только было лучшего! Нам стать noble [73] было легко, а этот ребенок видит одну грубость, и никто, кроме меня, его даже не пожалеет. Брезгливость по отношению к пятилетнему малютке возмутительна!

Белая киса показала свои коготки. Олегу пришлось убедиться, что помириться с ней не так-то легко; они допивали чай втроем, а когда он вошел в спальню, то нашел ее уже свернувшейся калачиком в постели, она не сделала ни одного движения в его сторону, как будто бы не видела его.

– Довольно сердиться. Помиримся. Дай мне свою лапку, – сказал он, садясь на край кровати и с нежностью глядя на ее белье и полосатую блузку, повешенные на стуле и вверенные на сохранение плюшевому мишке, который сидел тут же с глупо вытаращенными глазами.

Ася не шевелилась.

– Лапку.

Но белая киса ушла с головой под одеяло, как в норку, и он не дождался от нее более ни слова. Утром он попытался завязать дипломатические переговоры, но опять тщетно, а так как времени было в обрез, то пришлось уйти, не примирившись.

Посередине своего служебного дня он вошел с бумагами в кабинет шефа и увидел пожилую даму в трауре, которая стояла около стола Моисея Гершелевича, прижимая платок к глазам.

Что-то небрежное, недостаточно почтительное было в той манере, с которой выслушивал ее старый еврей, развалясь в своем кресле. Это сразу бросилось Олегу в глаза, как и то, что незнакомая дама, безусловно, принадлежала к хорошему кругу. Увидев Олега, Моисей Гершелевич тотчас перебил незнакомку:

– Уже перевели частично? Имейте в виду, что без этой инструкции нам не закончить прием оборудования, так как мы не можем подвергнуть механизм испытанию. Покажите.

Но Олег не протянул бумаг.

– Я могу подождать, пока вы закончите ваш разговор, Моисей Гершелевич. Не беспокойтесь.

Еврей тотчас принял повелительный тон.

– Мы не в гостиной, товарищ Казаринов. Дело прежде всего! Давайте сюда перевод и садитесь. А вас попрошу подождать, – последние слова, сопровождаемые небрежным кивком головы, относились к даме в трауре. Олег сел, досадуя на очередное, постоянно им наблюдаемое отсутствие джентльменского обращения, всегда шокировавшее его.

Несколько позднее, проходя по двору учреждения, он опять увидел эту же даму, которая направлялась к проходной. Группа инженеров и Моисей Гершелевич стояли тут же и, хотя она шла мимо них, никто ей не поклонился, а между тем ее, по-видимому, знали.

– Скажите, пожалуйста, кто это? – спросил Олег одного из этой группы.

– Супруга бывшего начальника отделения. Он, видите ли, был арестован по обвинению во вредительстве, – и тут инженер понизил голос, – обвинение это, кажется, не подтвердилось; по крайней мере, кое-кто был по этому делу выпущен, а он вот скончался прежде завершения следствия – не осужден и не оправдан; вдове разрешили взять его тело из тюремной больницы, и она пришла просить, чтобы местком помог ей в этом деле. Наивная женщина!

– Да почему же наивная?

– Помилуйте! Да разве местком пойдет на это? Разумеется, местком отказал; она – к администрации; Рабинович тоже отказался; она к одному, к другому. Ко мне тоже обращалась: не приду ли я помочь ей доставить тело из морга в церковь. Разве я могу пойти на это? Ведь

человек был скомпрометирован! Позвольте, Казаринов, вы словно удивляетесь! Да ведь меня тотчас же возьмут «на карандаш», а то так в стенгазете продернут!

- Но вы, очевидно, бывали же в его доме, если вдова решила обратиться к вам?

- Бывать - бывал, и не я один! Новый год, помню, у них всей нашей компанией встречали; так слоеные пирожки такие водились, что пальчики оближешь! Бывал, как же!... Но при других обстоятельствах! Что ж я - враг сам себе, что ли? Ведь у меня семья!

Олег отвернулся и быстро пошел вслед удалявшейся даме, которую настиг у самой проходной.

- Мадам! - проговорил он со своей безупречной вежливостью, поднося руку к фуражке. - Я к вашим услугам: располагайте мной, как находите нужным!

Удивление мелькнуло на измученном лице:

- Простите, я вас не знаю! Вы, кажется, никогда не бывали у Семена Ивановича?

- Так точно. Я еще недавно работаю и не имел чести знать вашего супруга; однако это ничего не значит: готов служить вам -приказывайте!

- Вы, очевидно, не знаете обстоятельств дела и потому так говорите! Мой муж был привлечен по пятьдесят восьмой, скончался в тюремной больнице. Я совершенно одинока и просила помочь мне взять его тело; эта миссия настолько неприятная... притом она может скомпрометировать вас: при входе на территорию больницы надо предъявлять удостоверение личности...

- К вашим услугам, - перебил Олег, - куда я должен явиться?

Только в 11 вечера он вернулся домой; навстречу вниз по лестнице вихрем сбежала Ася и бросилась ему на шею.

- Наконец-то! Я беспокоюсь, жду! Караулю на лестнице! Куда ты делся?

- Да ведь я же говорил по телефону с мадам и просил передать...

- Она передала, что ты опоздаешь, но так надолго! Я уже стала думать, что ты рассердился и не идешь нарочно, чтобы наказать свою белую кису.

Он вошел и устало опустил на стул.

- Иди, мойся. А я побегу греть обед, - сказала Ася.

- Спасибо, я не хочу есть.

Она быстро и зорко взглянула на него:

- Что с тобой. Ты огорчен чем-нибудь? Я знаю, что была злюка и виновата, прости, что спряталась... ты тоже был виноват немножко.

Два больших глаза блеснули около его лица; он уже не видел ее, а только эти два глаза.

- Сейчас пошли золотистые теплые лучики из меня в тебя и обратно, а значит, всякая обида тает. Говори же, что случилось на службе. Я все равно знаю, что было что-то... Милый, милый, никогда не пробуй скрывать от меня что-нибудь: у меня очень хороший нюх, я догадаюсь все равно!

Он убедился еще раз, что ее детская беспечность касалась лишь материальной стороны жизни; во всем остальном тонкостью своего понимания она воспринимала каждое колебание невидимых струн. «Это все благодаря ее музыкальности: ее тончайший слух распространяется и на область духовного. Как Эолова арфа она отвечает мне», - думал он, целуя опускавшиеся ресницы. Они, как виноватые отскочили друг от друга, когда мадам постучала к ним, приглашая к вечернему чаю.

На следующий день они возвращались вдвоем от «дамы в трауре», которую пошли навестить после похорон. Ася шла молча и не подымала головы. Полагая, что она находится под впечатлением чужого горя, Олег попытался развлечь ее разговором, но она сказала:

- Мне сегодня с утра что-то нездоровится, у меня такое чувство, как бывает на корабле: мутит и голова кружится. Это препротивно.

- Ты говорила бабушке? - тревожно спросил он.

- Нет не стоит ее беспокоить, пройдет.

- Хочешь, я возьму такси, чтобы скорей быть дома?

- Нет, не надо. Приятно пройтись. Я люблю первый снежок.

Утром, уходя на службу, он спросил ее, как она себя чувствует, и она призналась, что, как только зашевелилась и подняла голову, это чувство вернулось.

В столовой Олег, против обыкновения, увидел обеих дам и накрытый стол: оказалось, что Наталья Павловна собралась к обеду. Глотая наскоро чай, он стал им говорить о нездоровье Аси и увидел, что они переглянулись, а француженка заулыбалась и погрозила ему пальцем. Только тут внезапная догадка осенила его.

- Да разве это так начинается? - спросил он, ставя стакан, и охваченный целым роем ощущений, от которых сжалось сердце, закрыл рукою глаза. «Если бы жизнь шла нормально, как бы я счастлив был сейчас. Но у нас за каждой радостью тысяча опасений! Это вечное беспокойство присасывается ко всему!» Обе дамы молчали, по-видимому, испытывая то же самое.

- Может быть, и не то, - сказала наконец Наталья Павловна, - во всяком случае, за здоровье ее страшиться особенно нечего: она молода, здорова и переносит, по всей вероятности, будет прекрасно.

Ася удивилась, когда Олег опять ворвался к ней и, покрыв поцелуями ее руки к великому негодованию щенка, уже пристроившегося в кровать, так же стремительно умчался. Как бы рано Олег не подымался, он всегда оказывался перед угрозой опоздания и приходилось гоняться за автобусами и прыгать на подножки трамваев.

«Ну, теперь, я не буду спокоен ни на одну минуту! - думал он. - Она - не Марина, и, конечно, не заговорит об аборте. Уверен, что она даже не подозревает, что это такое. И старые дамы, конечно, тоже об этом и думать не станут. Но... ведь теперь необходимо охранять от всяких волнений, беречь, питать... а между тем каждую минуту может случиться если не катастрофа, то осложнение... Все висит на волоске! Уверен, что сегодня же судьба приготовит мне что-нибудь, чтобы меня помучить!»

Судьба как будто была его личным врагом - человеком, которого приходилось опасаться! На службе, входя в кабинет Моисея Гершелевича, он всякий раз проникался убеждением, что тот имеет сообщить ему нечто, могущее омрачить видимый горизонт его существования. В середине дня, закончив деловой разговор, Моисей Гершелевич сказал ему:

- Подождите уходить, Казаринов, мне необходимо переговорить с вами еще по одному поводу.

- Слушаюсь, - ответил Олег, садясь на окно, и тотчас его охватила уверенность, что это и будет тот разговор, которого весь день ждали его обостренные нервы.

Отпустив двух служащих, ожидавших его подписи, Моисей Гершелевич указал Олегу на кожаное кресло около своего стола и несколько минут молчал. Пытливо всматриваясь в черты еврея, Олег видел, как обычное, деловое и несколько самоуверенное выражение его лица заменялось более мягким и становилось симпатичным.

- Послушайте, Олег Андреевич, ну, скажите мне, друг мой, отчего это вы себя так не бережете, а? Ведь я принял вас, несмотря на очень веские доводы, говорившие против вас; я пошел на риск и мог, казалось, ожидать, что, не желая подвести ни себя, ни меня, вы должным образом будете взвешивать каждое слово и каждый шаг. А между тем, в то время, как я всячески стараюсь создать вам репутацию и незаменимого работника, и советского, своего, проверенного человека, вы с непостижимым легкомыслием вредите себе на каждом шагу - не берусь сказать, сознательно или нет. Продолжая так, вы доведете до того, что я вынужден буду перестать заступаться за вас: не враг самому себе и я.

Недостатка деликатности в этих словах оказалось довольно, чтобы в Олеге мятежной волной всколыхнулись постоянно дремавшие в нем желчь и обида:

- Чрезвычайно благодарен вам за все, что вы для меня сделали, Моисей Гершелевич, но в чем же вы усматриваете мое легкомыслие?

Голос его прозвучал жестко, и на лицо легла тень.

- За примерами недалеко ходить. Например, в понедельник, по отношению к жене заключенного... а еще раньше, весной, что-то по поводу религиозного обряда... Ведь это

бравата, вызов окружающим! Я не имею права разглашать, но из сочувствия к вам не скрою: о вас был весной запрос из Большого дома. Я дал блестящую характеристику, против которой наш парторг возражал, что она раздута и явно пристрастна; однако я настоял. Ваша личность возбуждает постоянные пересуды и в отделе кадров, и в парткоме. Попрошу несколько изменить линию поведения. Сегодня у нас общее собрание: повсеместно проходят бурные митинги, приветствующие смертный приговор этой группе вредителей; хорошо было бы и вам высказаться с трибуны, приветствуя мероприятие, чтобы ни в ком не осталось сомнений по поводу ваших идейных позиций. Во всяком случае, на вашем присутствии я настаиваю категорически: за вами будут наблюдать, поймите.

Олег со злостью посмотрел на эту сытую, холеную фигуру.

«Еще недавно Россия была моя Родина – не твоя! – подумали он. – Ты здесь был ничто! И вот скоро, так скоро изменилось все!; Теперь, в СССР у себя дома – ты, а я – лишенец, каторжник, не смеющий назвать своего имени! А между тем, когда Россия была в опасности, ты сидел в спокойном теплом местечке, в то время как меня, истекающего кровью, нес на руках денщик. 5 лет мук – и в награду 6 лет лагеря, и вот теперь ты мне предписываешь свои требования, ты смеешь меня третировать за мою же работу, за мои знания?»

Он чувствовал, что ненависть просвечивает в его лице и вот-вот прорвется непоправимым словом... Он сделал над собой усилие и сказал спокойно:

– Моисей Гершелевич! За ту зарплату, которую я получаю, вам принадлежат мои знания, моя энергия, мое время, но не моя совесть! Есть вопросы, в которых я оставляю за собой право поступать как сам нахожу нужным.

Он встал.

– Антисемит... несмотря на все! – сказал себе старый еврей.

Огромная, плохо освещенная зала кишела массой служащих; Олег сумрачно уселся в дальнем углу и, вынув блокнот, стал набрасывать черновик порученного ему текста. Выбирали президиум, и скоро на трибуну поднялся пышущий самоуверенным величием Моисей Гершелевич, за ним два-три рабочих и широкая, как масленица, физиономия завхоза.

«Всегда одни и те же!» – с досадой подумал Олег и снова уткнулся в блокнот.

«J'ai l'honneur de vous informer, nous fondons espoir d'une reprise rapide de votre service» [74], – писал он быстро.

– Товарищи! Разрешите считать открытым наше собрание, посвященное обсуждению приговора над группой вредителей, – услышал Олег голос председателя; он поднял голову. «Конечно, это лишь гнусная комедия: с приговором все уже решено, а может быть, он и в исполнение давно приведен, голосованием нашим мы ничего не изменим. И все-таки омерзительно! Открытое голосование по одобрению смертного приговора – небывалый трюк, неслыханный до сих пор в общественной истории», – думал он.

Один за другим брали слово и подымались на трибуну.

– Товарищи, я уверен, что выражу чувство всех, находящихся в этой зале, если скажу, что среди нас нет ни одного, который бы не пылал ненавистью к врагам партии и товарища Сталина – белогвардейцам, меньшевикам и прочей сволочи...

Олег взглянул на говорившего, и быстрая усмешка скользнула по его губам. «Мели Емеля, твоя неделя! Выучился бы только прежде по-русски прилично разговаривать!» – и он опять углубился в французские фразы.

Внезапно его слух поразила его собственная фамилия, громко произнесенная с трибуны, правда, не настоящая, а фальшивая, однако же неотъемлемо с ним связанная. Он опять насторожился:

– ...Казаринов и другие, которые не спешат войти в нашу рабочую среду, товарищи! С важной наглостью они даже подчеркивают свою обособленность и, работая уже не первый месяц, а вот, как товарищ Казаринов, например, уже без малого год, не спешат подавать в союз, чтобы стать его членами. А может быть и то, товарищи, что они не уверены, захотим ли мы принять

их в свою рабочую семью, так как прошлое их не очень чисто, товарищи! Поэтому в день, когда товарищ Сталин призывает нас всех сплотиться вокруг партии и бдительно блюсти единство в наших рядах, не худо бы и нам выявить эту самую бдительность и запросить нашу администрацию, известно ли ей, какие темные личности прокрадываются в наши штаты...

Олег отыскал глазами Рабиновича: сидя в президиуме с выражением важного достоинства и сознания серьезности происходящего, тот смотрел на свои руки, разложенные на столе, и не только угадать, но заподозрить по его виду подлинных его мыслей Олегу показалось невозможным.

Однако, когда вдохновенный оратор смолк, Рабинович попросил слова. Его бархатный баритон начал нанизывать фразы так свободно и небрежно, точно для него не существовало разницы между высказываниями с трибуны и обычным разговором в его отделанном кожей кабинете: чувствовалась давняя, верная привычка. Он преклонился перед генеральной линией партии, далее отдал дань «высокосознательному» выступлению своего предшественника и только тогда перешел к пункту, который для него был, очевидно, важнее прочих:

- Товарищи, наш предместком в своей пламенной речи лягнул нас - администраторов и, возможно, небезосновательно. Я только хочу внести ясность в один пункт: в настоящее время, товарищи, у нас очень остро обстоит дело с кадрами специалистов, без которых нам не обойтись там, где требуются большие углубленные знания. Специалисты нужны нашей молодой республике для построения социализма. Я не сомневаюсь, что в очень скором времени наша страна будет иметь собственные кадры, заботливо выращенные нашей партией из среды нашей комсомольской молодежи - плоть от плоти рабочего класса, но в данный момент, товарищи, мы еще не имеем таких кадров. Это факт, с которым необходимо считаться. «Кадры решают все», - сказал товарищ Сталин. Исходя из этого, партия предоставила нам, администраторам, неотъемлемое право подбирать себе любого работника, лишь бы он подходил по уровню своих знаний, и, разумеется, в том случае, когда биржа труда не может удовлетворить наших запросов. Ведь приглашаем же мы к себе иностранных специалистов, хотя в большинстве случаев они представляют собой далеко не дружественный нам элемент. У нас есть верный страж - наше гепеу, которое неусыпно и зорко следит, чтобы не вкралось вредительство; каждый человек, принятый нами, заполняет в отделе кадров анкету и проверяется органами гепеу; а раз так - не я отвечаю за классовые особенности тех или иных лиц, допущенных к работе. Здесь называлось несколько имен... например... ну, например, товарищ Казаринов, это очень толковый работник и пока незаменимый специалист в области языков. Всем известно, что он был репрессирован, и он не скрывает этого, однако гепеу нашло-таки возможным разрешить ему пребывание в Ленинграде и не лишило права работы. И если я не имею до сих пор равного ему специалиста и с ведома органов политуправления пользуюсь его услугами, я ни в какой мере не могу подвергаться упрекам по этому поводу. Дайте мне человека из вашей рабочей среды, товарищи, человека, который бы владел французским, немецким и английским языками и одновременно разбирался в голландских и шведских текстах, - я с радостью приму его вместо Казаринова! Только дайте мне такого человека! Вы можете сами решить, товарищи, желаете ли вы принять Казаринова в союз, и на собрании месткома каждый из вас вправе задать товарищу Казаринову любой вопрос касательно его прошлого. Я сам за бдительность! Но сейчас у нас не собрание месткома, товарищи, - мы очень далеко отклонились от повестки дня! - и так далее, и так далее говорил и нанизывал бархатный баритон.

«Опять заступился! - сказал себе Олег. - А вопрос с союзом придется решать в ту или иную сторону - еще один Дамоклов меч! Лисица этот Рабинович - мастерски разыграл скорбь над отсутствием кадров».

Клеймили, порицали, приветствовали и, наконец, благодаря родную партию за высокое доверие, приступили к голосованию.

- Кто за смертный приговор? - грозно запросил с трибуны завхоз. - Товарищи, кто «за»? Подымайте же руки!

После минутной заминки поднялся лес рук; подняло несомненное большинство, но все-таки не все. Олег видел со своего места Моисея Гершелевича, который стоял, высоко подняв короткую руку, с лицом, выражающим пламенный гнев, и смотрел в залу, точно отыскивая кого-то глазами...

«Нет, не могу! Это слишком для меня! Эти люди такие же офицеры, как я», – и Олег заложил руки за спину. Один из считавших голоса приблизился, переходя от ряда к ряду; Олег бросил на пол свой портсигар и наклонился, делая вид, что поглощен разыскиванием.

– Кто против, товарищи?

Олег чиркал зажигалкой, упорно глядя в пол.

– Таковых нет.

– Кто воздержался?

– Таковых нет.

– Принято единогласно.

Олег выпрямился. «Видали или не видали – не знаю! Если бы я решился поступить согласно чести, я должен бы был поднять руку против, но... я теперь дорожу жизнью!»

Собрание объявили оконченным, и публика стала расходиться.

– Скажите, пожалуйста, кто этот товарищ, который так ратовал за усиление бдительности? – спросил Олег у знакомого служащего, столкнувшись с ним у двери, но тот, по-видимому не расслышал и быстро прошел вперед.

– А вы, товарищ, не знаете ли? – обратился Олег к другому, но и тот заторопился и как-то боком прошел мимо.

«Ого! Вот как! Со мной уже остерегаются разговаривать: сочли неблагонадежным... мило!»

В эту минуту один из пожилых инженеров, спускаясь рядом с ним по лестнице, сказал:

– И вы, Казаринов, нежданно-негаданно в темные личности попали? У нас клеймить человека может совершенно безнаказанно каждый, кому взбретет на ум.

– Остается только пренебречь! – ответил Олег. – Жаль потерянного здесь в зале времени.

Дома он застал Асю сидящей на скамеечке у камина, вытопленного в первый раз.

– Как ты себя чувствуешь?

– Лучше. Бабушка сказала, чтобы я встала и что дурнота эта скоро пройдет, и еще бабушка сказала, что чем меньше я буду думать, тем лучше, – ответила она, не подымая глаз.

– «Понимает, кажется!» – подумал он и поднял рукой ее подбородок, чтобы взглянуть ей в глаза. Ресницы опустились.

– У нас будет сын или совсем маленькая белая Киса, – шепнула она. – Надо теперь же попросить мадам починить моего детского мишку: из него сыпятся опилки. А знаешь, мадам поздравила меня и сказала: «Итак, мы скоро будем иметь счастье нянчить маленького дофина!» – и засмеялась счастливым детским смехом.

Взглянув на своего зятя, вышедшего к чаю с Асей на плече, и на нее, треплющую волосы мужа, Наталья Павловна лишней раз убедилась, что правила хорошего тона теперь нарушаются даже в ее собственной семье – себя она не могла вообразить на руках у мужа перед глазами всех домашних; она появлялась в столовой даже в возрасте Аси только под руку с мужем. Однако, со свойственным ей тактом, Наталья Павловна не стала чтением наставлений спугивать веселие молодой пары и расшатывать те мирные и доброжелательные отношения, которые установились у нее с зятем стараниями их обоих.

## Глава седьмая

В эти же дни в одной из больниц произошло совершенно необыкновенное событие: на общем собрании, после всеобщего бурного одобрения смертного приговора, на вопрос «кто против» поднялась рука – рука в белом медицинском халате, худенькая и смуглая женская рука. Все были поражены; в президиуме вполголоса обменивались мнениями по поводу неслыханной дерзости и, наконец, председательствующая собранием коммунистка, заведующая кабинетом

массажа, возгласила:

- Мы попросим медсестру Муромцеву изложить нам сейчас с трибуны те мотивы, которые руководили ею.

Елочка встала и, сжав губы, с достоинством поднялась на эстраду; необходимость говорить перед аудиторией пугала ее гораздо больше, чем последствия оппозиции, на которую она отважилась. Но, сжимаясь внутренне, она не терялась.

- Я не обязана отчитываться перед вами, но, так как скрывать мне нечего, я скажу! Я вообще категорически, принципиально против смертной казни. Жизнь слишком драгоценна, а смерть непоправима. Как бы ни был человек вреден, его всегда можно поставить в такие условия, что он не сможет нанести вреда ни другому человеку, ни стране. Но убивать - жестокость непростительная! Это ведь не моя мысль: сколько людей высказывали ее издавна! Если бы я была сейчас в капиталистическом обществе, где собирались бы казнить коммуниста, я бы сказала то же самое: нет, с человеком нельзя так поступать! - и с пылающими щеками сошла с эстрады; ее провожали глазами; несколько минут стояла тишина, выступление произвело впечатление. Одна санитарка всхлипнула и утерлась концом косынки, в заднем углу кто-то зааплодировал было и растерянно смолк. Члены президиума тихо переговаривались между собой.

- Обсудить в райкоме... да, да... я доложу и попрошу инструктировать... Да. Ну, как же можно на себя брать! Вынести порицание легко, а потом нам заявят, что мы не учли обстановку и взбудоражили общественное мнение... Ни в коем случае!

Один из президиума встал и громко возгласил:

- Кто еще желает высказаться, товарищи?

И собрание пошло своим чередом со всей обычной рутинной.

На другой день председательствующая в компании с одним из членов месткома совещалась по этому делу с секретарем райкома; тот взял девушку под свою защиту и вовсе ополчился против них: они допустили несколько оплошностей одну за другой! Прежде всего: выступление не было предварительно согласовано с месткомом - сколько раз уже он рекомендовал им договариваться и заносить на бумажку основные тезисы, которых обещает придерживаться получающий слово; давать же слово без предварительной договоренности можно лишь проверенным постоянным ораторам, так сказать «своим в доску», остальным всегда можно отказать за недостатком времени. Тема была исключительно важна, а они сами принудили высказаться человека, ни разу до сих пор не выступавшего публично! Это было весьма недальновидно. И, наконец, собраний по кабинетам, собраний, имеющих целью обработать общественное мнение, предварительно проведено не было! Почему так? Девушку трогать нельзя, - это произведет слишком неблагоприятное впечатление, тем более, если она в самом деле весьма уважаема; напротив, хорошо бы ее премиривать, выделить и, так сказать, приручить, с тем, чтобы в ближайшее же время подготовить новое выступление с ее стороны, подвергнутое предварительной обработке и вполне правоверное. Ею вообще следует заняться: по-видимому, она представляет собой весьма ценный материал, из которого куются общественные работники, и они пропустили незамеченным такого человека! Все это секретарь райкома ставил им на вид и, заканчивая разговор, просил поставить его в известность, когда состоится следующее общее собрание, которое он желает посетить, чтобы лично убедиться, в каком, так сказать, стиле протекают у них эти собрания. Члены президиума удалились весьма сконфуженные. Один из них сказал другому:

- Я знала, что в виноватых останемся мы. А тут еще как нарочно пересмотр конфликта товарища Кадыра с хирургом Муромцевым; как бы не получился вид придирки, если заденут боком медсестру.

- Бросьте, товарищ! Это дело совсем другое, которое началось прежде; оно гораздо серьезней и к этой Елизавете Георгиевне отношения почти не имеет. Не мы и подняли его, а не дать ему ходу было невозможно, поскольку хирургу брошено такое обвинение, как расовый и классовый подход при подборе сотрудников.

Елочка шла с собрания домой с горевшими щеками и тревожно колотившимся сердцем. «А вдруг придут арестовывать? Я была, пожалуй, слишком смела! Это прозвучало как вызов! Придут! Я не, боюсь за себя: я одинока и все равно несчастлива, но в дневнике"; упоминается его имя, намеки на его прошлое... нетрудно будет установить, о ком идет речь... Погубить его теперь, когда он, наконец, счастлив... немисливо! Сжечь дневник? Но я точно спалю свои крылья, свое сердце, которое на дне этих строк. Нет. Надо спрятать на некоторое время. Если придут – так в ближайшие дни. А вдруг они уже там?»

Увидев зеленый глаз свободного такси, она подозвала его и через пять минут уже вбежала в квартиру – все спокойно! Прощмыгнула к себе и схватила дневник: шесть толстых клеенчатых тетрадей! Куда их деть? Она присела на стул, обводя глазами комнату. «Снесу в дровяной сарай, благо он только мой и ключ только у меня. Тетради упакую и заложу в дрова, а ключ запрячу, чтобы на глаза не попался. Решено!»

Выполнив задуманное со всеми предосторожностями, она несколько успокоилась, но все-таки не спала ночь, тревожно прислушиваясь. «Лагерь! Всегда на людях, все время под конвоем! Непосильный труд, голод, издевки! Когда подошло так близко – делается страшно! Я больше всего ценила всегда тишину и одиночество... Но ведь страдал же он и тысячи других! Почему мой жребий должен быть лучше?...»

На следующий день было воскресенье, по обычаю она обедала у своего дяди. Не слишком любила она эти обеды. Тетка была холодная и несколько чопорная дама; разговор шел обычно принужденный; но это был единственный родственный ей дом, в котором родными казались даже темно-ореховые строгие стулья, мрачный буфет и обеденный стол, даже кружево у горла тетки. Сам дядя, Владимир Иванович, вызывал в ней чувство не столько любви, сколько уважения и родственного тщеславия. Ей нравились его офицерская осанка, ореол незаменимого специалиста, которым он был окружен в больнице, и повелительная манера разговора на операциях, когда в перчатках и в маске он отдавал короткие отрывистые приказания ей и окружающим его ассистентам. Неуклюжие молодые врачи, похожие больше на фельдшеров, составляли фон, на котором он так выгодно выделялся; двое людей во всяком случае – Елочка и швейцар – хорошо понимали это!

С дядей ее связывали воспоминания о Белой армии и Крымской трагедии; и только она знала, до какой степени непримиримо он был до сих пор настроен в отношении «красных». Он оперировал когда-то Олега и, быть может, подозревал частицу ее тайны, хотя никогда ни одним словом не касался этой темы. Она шла и думала: рассказать ему о случившемся или умолчать? Старая домработница из прислуг царского времени приветливо закивала ей, открыв тяжелую дверь. Елочка любила эту женщину, которая частенько совала ей пирожки и булочки собственного изготовления, чтобы она могла полакомиться ими дома. Во всем этом было что-то свое, давнее, пришедшее еще из детства; заново ни с кем не могли бы установиться подобные отношения при ее нелюдимом и независимом характере. Войдя в столовую, где уже был накрыт, стол и стояли аппетитные закуски, Елочка увидела тетку, которая тотчас зашептала ей:

– У нас неприятности, Елочка! Очень большие неприятности! Боюсь загадывать, чем это кончится! Они попросили у нас чернила и бумагу и написали донос на нас же!

Вышедший в эту минуту из соседней комнаты Владимир Иванович поцеловал ее, по обыкновению, в лоб и сказал:

– Сядь и выслушай.

Донесли соседи по квартире, хирург и его жена не сомневались в этом.

Прежняя большая квартира Муромцевых давно уже была превращена в коммунальную, но две комнаты еще оставались за ними и были предметом зависти. Столяр с женой и рабочий-путиловец, занимавшие меньшую площадь, уже несколько раз грозились, что «упекут» старого буржуя, и вот на днях сфабриковали донос, сообщая, что Муромцев «терпеть не может советскую власть и завешан портретами Николая II»; одновременно они отправились в больницу и заявили о том же в местком, а между тем, незадолго до этого назначенный к

Муромцеву в ассистенты молодой врач Кадыр счел нужным сигнализировать туда же, что Муромцев заядлый расист, который терпеть не может нацменьшинства, строит ему всевозможные придирки, а себя старается окружить только русскими, выбирая их из штатов прежней царской армии: бывшую сестру милосердия, свою племянницу, и бывшего военфельдшера, которого до сих пор будто бы заставляет вытягиваться перед собой. Этого оказалось достаточно, чтобы местком заварил кашу. Завтра дело это должно разбираться на расширенном собрании месткома в присутствии администрации, и он обязан явиться со всем штатом своей операционной. Елочка только тут поняла, как некстати было ее выступление! В течение всего обеда обсуждали и перетолковывали варианты нападок, приготавливаясь к защите. Никто, однако, не предполагал возможности обыска или ареста, и Елочке стало совестно за свою панику.

На следующий день после окончания работы явились в помещение месткома на разбор дела. В белом халате и косыночке, закусив губы и сжав сложенные на коленях руки, Елочка сосредоточенно вслушивалась в ту! паузину, которой старательно опутывали старого хирурга. «Это правда, он их ненавидит, правда, что он деспотичен и не выносит противоречий, но они ничего не прощают ему за то удивительное мастерство, с которым он спасает людей; они воздвигают преграды из мелочей и не видят главного. Можно подумать, что они целью своей поставили подвести под него мину», – думала она. Своей величавой осанкой, серебряной головой и седыми холеными усами дядя ей напоминал затравленного льва. Три главных противника – предместком товарищ Иванов со своей тупой плоской физиономией, злобный киргиз Кадыр и маленький местечковый еврейчик Айзюкович – изощрались, как только могли, в ехидных вопросах.

– А вот расскажите-ка нам, товарищ старший хирург, как вы там, в Белой армии у черного барона, всем вашим операционным штатом спасали царское офицерье.

– Спасал. Я – врач и целовал крест, кончая Академию, что никогда ни одному человеку не откажу в помощи. Я эту работу продолжаю и теперь, и какая бы власть ни была – останусь при ней. Тут говорили про портреты Николая Второго, я знаю, от кого это исходит: мой сосед, столяр, видел у меня монографию Серова, в которой есть портрет государя-императора. Уж не должен ли был я вырвать его и тем испортить издание?

– А отчего вы никогда общих собраний не посещаете? Как-то это не по-советски выходит.

– Не хочу: я привык делом заниматься, а не язык чесать. Вы на этих собраниях из пустого в порожнее переливаете, а мне это не интересно. Мне время слишком драгоценно.

– Вот говорят о вас, что вы не любите слова «товарищ» и никогда не произносите его. Тоже очень показательно! Советскому человеку это слово дорого.

– А я не советский человек. Мне шестьдесят пять лет: пятьдесят лет моей жизни приходится на Царскую Россию; у меня сложились определенные привычки, и я не намерен ломать себя в угоду вам. Советское государство нимало не пострадает, если я назову мою санитарку Пашей, а не «товарищем». Наша почтенная Пелагея Петровна, во всяком случае, на это не жалуется.

– А правда ли, что санитар Михаил Иванович эксплуатируется вами на дому и до сих пор вытягивается перед вами в струнку, именуя «высокоблагородием»?

– Чепуха! «Высокоблагородием» никогда не называет, а выправка военная у Михаила Ивановича останется до последнего дня жизни, как и у меня, – это не забывается у старых служак.

– Штат-то вы себе подбираете все из царской армии, своими людьми себя окружать желаете, а человеку, которого к вам назначила парторганизация, с вами житья нет!

– Этот человек не годится в хирурги. Я сам видел однажды, как он уже приготовленными к операции руками почесал себе нос, а после поднял их и держал как стерильные. Я сначала не показал виду, что заметил, и он уж готов был начать оперировать, если бы я не устроил скандал. Это – нарушение хирургической этики, неслыханное в нашей практике, это – преступление! Моя врачебная совесть не разрешает мне допускать такого человека к операционному столу. Другой раз я сам увидел на нем клопа; в таком виде не являются в

операционную - надо сначала вырасти в культурном отношении. Мне все равно, кто он - русский, еврей или киргиз - я бы и русского так же осадил. Было ведь, что я забраковал товарища Синявина, которого вы так же опрометчиво подсунули мне в ассистенты. С врачами-евреями я всегда великолепно ладил: ваше обвинение в расизме не имеет под собой почвы. А что касается племянницы - мы с ней сработались, как и с Михаилом Ивановичем. На операциях она понимает меня с полуслова; она безошибочно угадывает, какой по ходу операции требуется инструмент, и протягивает мне его, не дожидаясь просьбы; вы - профаны в этом деле и не понимаете, сколько значат в нашем деле секунды, когда человек лежит под хлороформом и я слышу от врача-наркоотизатора, что пульс слабеет! С Елизаветой Георгиевной мы довели до минимума процент послеоперационных нагноений. Ни с кем мне уже не наладить так работу! Дело не в родственной опеке: в другой операционной ей было бы и спокойней и выгодней, я требователен и строг; я ни разу не отметил ее в приказе ни премией, ни благодарностью, которую она, безусловно, заслуживает огромной добросовестной работой, - я боялся обвинений в родственном пристрастии, я знал, что вы сейчас же готовы загалдеть и заулюлюкать. А между тем мне хорошо известно, как заискивают хирурги перед операционными сестрами. Я уже стар, чтобы привыкать к новому человеку в такие невероятно ответственные минуты, я работать могу только с ней. А впрочем, вы, с вашими деревянными нервами, разве можете понять хоть что-нибудь?

Елочка в первый раз слушала оценку себе из уст своего дяди, и радостная гордость зажгла румянцем ее щеки. На еврейчика речь старого хирурга, по-видимому, произвела впечатление, он завертелся на месте и заговорил уже гораздо мягче, забавно разводя руками: - Да вы не волнуйтесь, товарищ хирург! Берегите свое здоровье! Вы этак сердце себе уходите. Мы умение ваше очень даже ценим, мы еще с вами договоримся, и все будут нам завидовать.

Но двое других не столь склонны были к уступкам.

- Товарищи, взвесьте, что мы имеем на сегодняшний день в доверенном нам партией учреждении, - заговорил, подымаясь, предместком, - мы имеем ячейку царской армии, которая образовала содружество, не допуская в него посторонних. На собраниях они не бывают, профорга между ними нет, сборщиков мопра и союза и рабочий контроль хирург из операционной прогоняет, не стесняясь, заявляет: «Вон с моей территории». В соцсоревновании они не участвуют. Недопустимое в советской жизни явление! Конечно, без специалистов царского времени нам еще лет десять-пятнадцать не обойтись, но ведь нельзя же их держать такой сплоченной массой! Взгляд партии на это известен: прослоить рабочим элементом, разбросать в разные точки и - контроль, контроль, контроль! Я ничего не говорю: товарищ медсестра Муромцева и Михаил Иванович еще молодые люди, старательные работники, подают большие надежды, их еще перевоспитать можно, но заведующий операционной создает обстановку недопустимого самоуправства, вредно влияет на окружающих и упорно изолируется в своей среде. Нельзя допустить, чтобы он продолжал свое вредное дело! Явный подбор сотрудников, товарищи! Вот недавно, когда пустовало место фельдшера приемного покоя, он нам рекомендовал одну гражданочку: латинский-де знает, ну, и грамотность абсолютная, примите за моим ручательством! А на деле что оказалось, товарищи? У дамочки этой муж взят недавно в лагерь как вредитель, а сама она в прошлом тоже царская сестра милосердия, и притом церковница: дочка и сын к ней на службу забегают; мне их разговоры передавали: «Мы тебя, мамочка, будем ждать на трамвайной остановке, чтобы поспеть на всеобщую к «Господи воззвах». А раз дочка прямо из церкви сюда; да втихомолку просфору сует: «Мы за здоровье папочки вынули...» И это в стенах учреждения, товарищи! Вот каковы ставленники нашего хирурга! Уж лучше мы обойдемся без абсолютной грамотности, своими силами. Не пробуйте отрицать, гражданочка, верные люди передавали!

Елочка взглянула на даму с проседью, сидевшую у самой двери: она работала еще недавно, и Елочка сначала удивилась ее присутствию на собрании, так как прямого отношения к операционной она не имела. Все время, пока говорилось о ней, эта дама оставалась спокойна, но при последних словах предместкома встrepенулась и попросила слова.

- Товарищи, я отрицать не собираюсь, я действительно посещаю церковь и не перестану этого делать. Но старший хирург Муромцев не имел понятия об этом; он знал, что мне трудно без мужа с детьми – вот все, что ему обо мне известно!

Елочке понравилось то спокойное достоинство, с которым незнакомка произнесла эти слова, и она с возрастающей симпатией еще раз оглядела ее лицо и силуэт.

Когда предложили высказаться санитару Михаилу Ивановичу, тот вскочил и заговорил с манерой старорежимного унтера; целью своей он, по-видимому, ставил защитить хирурга, но, в сущности, только напортил:

- Так что мы от товарища старшего хирурга плохого никогда ничего не видали! Коли говорят, я перед ним вытягиваюсь, могу доложить, что никто меня к этому не вынуждает; а я сам рад стараться, потому как приобвык почитать товарища господина хирурга смолоду. А ежели я им по выходным дням паркет на квартире натираю, так это по моей доброй воле, и за то они мне платят со всей щедростью. Могу доложить, что ни с кем работа так складно у нас не пойдет, как с их благородием... товарищем Владимиром Ивановичем, - и сел.

- Пожалуйста, молчи хоть ты, - тихо сказал Елочке Владимир Иванович.- Всему, что ты скажешь, они придадут вид родственного заступничества, а сделают все равно то, что задумали!

Они так и сделали.

На следующее утро, раздеваясь в вестибюле, Елочка увидела даму с проседью – фельдшера приемного покоя, которая надевала шляпу перед зеркалом, собираясь уходить. Они поклонились друг другу, и дама сказала:

- Возвращаюсь домой: меня отчислили с работы даже без предупреждения.

- Как? Уже!

Она кивнула и двинулась, чтоб уходить.

- Подождите... у вас дети... что же вы будете делать?

- А это – как будет угодно Богу! Я только беспокоюсь, что из-за меня получились неприятности у Владимира Ивановича! -и кивнув Елочке, она вышла.

В операционной в этот день все как будто еще оставалось по-прежнему, и даже Михаил Иванович продолжал вытягиваться, отвечая: «Так точно! Извольте видеть... слушаюсь...» Кадыр в белом халате угрюмо косился на хирурга и фельдшера, но молчал, безропотно исполняя все распоряжения. Но на следующий день сотрудники были поражены неожиданностью: пробило десять, а идеально точный хирург не показывался. Испуганная Елочка побежала было к телефону, но на пороге столкнулась с директором и Кадыром, который следовал за ним по пятам; предчувствуя недоброе, она остановилась. Директор Залкинсон, худой, длинный, с вкрадчивыми манерами, заискивающе-вежливо поздоровался с каждым сотрудником, начиная с санитарки, и представил всем нового заведующего. Вслед за этим он повернулся к Елочке, которая словно приросла к стене, и спросил:

- Вы читали приказ по больнице от семнадцатого ноября?

- Нет, - пролепетала она.

- Согласно этому приказу вы переводитесь в операционную на женское хирургическое, где, смею надеяться, будете работать с тем же рвением и аккуратностью.

Она молчала, вся дрожа от бессильного негодования.

Через полчаса, прощаясь с сотрудниками, Елочка расцеловалась с санитаркой и Михаилом Ивановичем и молча прошла мимо Кадыра, не удостоив его взглядом как пустое место.

Прямо после работы она побежала к дяде и застала все в доме вверх дном: ей показали повестку о высылке в Актюбинск в трехдневный срок. Что было началом чего: пошло ли дело в гепеу из месткома или жакта или как раз обратным путем – трудно было сказать, притом это не меняло дело. За три дня, предоставленные на сборы, Елочка совершенно измучилась: она бегала по комиссионным магазинам, где распределяли вещи и получала квитанции, которые выписывались на ее имя, так как ей поручалось высылать деньги в Актюбинск по мере распродажи вещей. Множество мелочей из фарфора и бронзы дядя и тетка подарили ей,

несмотря на ее горячие возражения, многое из обстановки было запаковано и приготовлено к отправке, а ей вменялось в обязанность выслать это Муромцевым, когда они найдут себе помещение и известят, что устроились.

- Я нигде не пропаду, - говорил старый хирург, - а вот они еще не раз вспомнят меня, когда в палатах у них начнутся смертные случаи от послеоперационного сепсиса. Бог видит, как я опасаюсь этого.

На вокзале, прощаясь со стариком, Елочка поцеловала ему руку. «Ведь это та рука, которая спасла жизнь «ему» и стольким другим!» - подумала она при этом. Как ни мало были они близки, что-то все-таки оторвалось от ее сердца, когда тронулся поезд, и за стеклом в последний раз мелькнула седая голова, в которой были родные черты. Теперь она оставалась совсем одна, а рвение и интерес к работе были снова подточены.

Вернувшись с вокзала в свою комнату, она ощутила приступ острой тоски, а множество красивых безделушек на комоде и на пианино не утешали, а ранили сердце. Пометавшись по комнате, она вспомнила, что сегодня урок музыки, и ухватилась за мысль увидеть Юлию Ивановну и рассказать о случившемся: Юлия Ивановна, единственная во всем Ленинграде, знакома была с ее родными и могла посочувствовать ей. Схватив ноты, она побежала в музыкальную школу. В классе за роялем, как обыкновенно в этот час, сидела Ася. Елочка забила в уголке, отложив разговор до той минуты, когда придет ее собственная очередь. Ася показалась ей в этот раз немного бледнее, но опять исключительно хорошенькой, может быть потому, что сидела она к ней *trois quarts* [75], который так выгодно выделял точеный носик и длину ресниц; так же, как в дни первого знакомства, она очаровательно щебетала, и трудно было поверить, что эта девочка с косами - замужняя дама. По-видимому, играла она очень хорошо. Юлия Ивановна молча прослушивала вещь за вещью, всецело захваченная артистичностью исполнения. Когда Ася кончила, старая учительница сказала:

- Мне хочется вас поколотить!

С наивным удивлением поднялись на нее ясные глаза.

- Да, да! - продолжала, отвечая на этот взгляд, Юлия Ивановна, - у вас такой большой самобытный талант, а вы его зарываете в землю. Я говорила о вас вчера с профессором: он вполне согласился со мной и, кажется, разобрал вас на последнем просмотре?

Ася засмеялась:

- О! Да еще как! Он стучал кулаком по роялю и кричал: «И зачем вам понадобилось выходить замуж в девятнадцать лет!» Как будто мое замужество может мне в чем-то помешать! Мой муж так любит музыку; каждый раз, возвращаясь со службы, он спрашивает, достаточно ли я играла, и огорчается, если меньше положенного времени.

- Я вам вполне верю, дитя мое; но усидчивости вам все-таки не хватает. Вы все берете минутным вдохновением и очень большой музыкальностью. Но техническое совершенство не придет само собой. Вот этот пассаж у вас шероховат, потому что вам не хватает беглости - и это при такой удивительной, волшебной легкости вашего прикосновения! Если мы огорчаемся вашим ранним замужеством, то только потому, что новые интересы и обязанности отвлекут вас еще больше от рояля, которому вы и так отдаете недостаточно времени. Если у вас будет семья - кончено!! В наших условиях достаточно одного ребенка, чтобы на занятиях поставить крест! Теперь такая трудная жизнь!

Ася, вся розовая, молча собирала ноты. Елочка пошла было к роялю и вдруг с ужасом увидела, что Ася, вместо того, чтоб уходить, садится на ее место в уголке. Играть при Асе ей, с ее деревянными пальцами и фальшивыми нотами, которых она не слышит!... И она тревожно спросила:

- Почему вы не уходите домой?

- Я жду Олега и Лелю: мы сговорились встретиться здесь, чтобы идти всем вместе к Нине Александровне на день рождения, - ответила Ася и, по-видимому, угадав своим тонким чутьем, что Елочка стесняется при ней играть, выхватила книжку, в которую уткнулась. Елочка села, но почувствовала себя закрытой: она уже не могла говорить о себе! Минута шла; все, что

принадлежит ей, показалось ей опять непередаваемым: облеченное в слова, оно никогда не покажется так значительно и красиво, как все, что касается Аси, оно не будет «похоже», а параллельно с этим ей самой оно слишком дорого, чтобы растрчивать почти напрасно перед чужими. Она уныло принялась за инвенцию, заранее извиняясь, что ничего не успела выучить. К ее счастью, Ася почти тотчас выскочила из класса, услышав легкий стук в дверь. Через четверть часа, однако, в подъезде музыкальной школы Елочка снова наткнулась на Асю же – та стояла вместе с Лелей, поджидая Олега, задержавшегося на службе. Невольно вместе с ними всматриваясь через стекло в заснеженную улицу, Елочка медлила в настороженном ожидании. Вот он появился, наконец, весь засыпанный снегом и, наверно, промерзший в той же старой шинели. Она занесла в раскрытую душу – прямо в бездонную глубину – жест, которым он приветствовал ее, черты и голос... но словно нарочно в этот вечер, когда она была так покинута и печальна, они, все трое, затеяли глупую возню в сугробах у подъезда на обычно пустынной улице имени Короленко, где помещалась школа. Девочки вдвоем набросились на него, стараясь повалить в сугроб, и стали засыпать снег ему за воротник. Елочка с досадой наблюдала эту молодую возню, которая, с ее точки зрения, так не шла к нему. «Они забывают, что у него плеврит, и простудят его этим снегом!» – думала она с болью в сердце.

Внезапно Ася отделилась от остальных и, подбежав к раскатанной ледяной дорожке, лихо прокатилась по ней, звонко смеясь; но у самого конца поскользнулась и кувырнулась в снег. Олег бросился к ней.

- Ушиблась? Страхнулась? Надо быть осторожней! Сколько раз все объясняли тебе! – повторял он, отряхивая ее пальто. - Вот теперь пойдешь под конвоем: берите ее, Леля, за одну руку, а я за вторую!

Елочка вслушивалась в эти тревожные реплики, и смутное подозрение зародилось в ней; через несколько минут оно превратилось в уверенность: поравнялись с кондитерской, и Олег вошел, а девочки остались около двери; Ася вздохнула и сказала:

- Сколько у Нины Александровны будет, наверно, вкусных вещей, а мне опять ничего не захочется!

Леля сказала:

- А ты не думай про «это». Бабушка ведь тебе говорила, что есть непременно нужно и что натошак мутит еще больше!

«Так вот в чем дело!» – подумала Елочка. Простившись на ближайшем углу, она шла и раздумывала над новым открытием с неожиданно возродившейся злобой: «Вот и дошалилась в своем «палаццо»! Вольно же! Как ей теперь неловко и стыдно, а в перспективе уродство и эти ужасные роды, о которых и подумать-то страшно! Ну что ж, каждый выбирает то, что ему нравится! Дети – такая тоска беспросветная! Вот тебе и красота и талант! Ну, да и его осудить можно: не сумел уберечь ее. Ведь живут же другие, не имея детей! Я в этом ничего не понимаю, но какие-то способы есть!»

Решительно все складывалось так, чтоб доконать ее! Из музыкальной школы она торопилась на службу, где в восемь вечера должно было состояться общее собрание; Елочка очень редко посещала эти собрания, но теперь решила почтить его своим присутствием, и не потому, что испугалась обвинений в антисоветской настроенности, – нет! Она подозревала, что на собрании станут опять трепать имя ее дяди, и считала себя обязанной вступить за честь отсутствующего теперь, когда его запрет уже был не властен над ней. Она терпеливо высидела все собрание, но ничего достопримечательного не произошло; под конец стали раздавать премии особо отличившимся работникам: кому «Капитал» Карла Маркса, кому ордер на костюм, кому путевка в однодневный дом отдыха; Елочка только что встала, чтобы уйти, как вдруг услышала свое имя... остановилась, не веря ушам! Она в списке премируемых, она!... В эту минуту на эстраде показались калоши, которые, передавая через головы, торжественно вручили ей – вот благодарность, которую она заслужила! Ничто, стало быть, не угрожает ей, никто даже не считает ее «враждебным элементом»! И вместо того, чтобы облегченно вздохнуть, она почувствовала, как вся желчь всколыхнулась в ней! Что же это? Насмешка? Не

нужно ей этой жалкой благодарности хамов, которые только что так расправились с человеком, который один стоил больше, чем все они вместе! Зачем ей эта благодарность, и неужели они не видят, как она презирает их, неужели мало презрения звучало в ее недавней речи? Чаша мученичества опять проходила мимо ее уст! Она словно бы навсегда застрахована от «их» гнева – да почему же это? Ее яростная ненависть никого не тревожит, ее не считают ни опасной, ни враждебной... Да неужели же она уж такое ничтожество?! Вот обида горше всех прежних!

Она подымалась по лестнице в свою квартиру, когда услышала детский голос:

– Здравствуйте, тетя Лизочка.

Восьмилетняя школьница, дочь соседки, догоняла ее, подымаясь через ступеньку. Елочка равнодушно пробормотала: «Здравствуй», – и одновременно подумала: «Какая я тебе «тетя»! Чисто пролетарская замашка обращаться так к каждой особе женского пола».

Покрасневшие от холода ручки цеплялись за перила, и девочка упорно равняла шаг по шагу Елочки, по-видимому, желая заговорить.

– Ты отчего сегодня так поздно возвращаешься, Таня? – выдавила наконец Елочка.

– А у нас сегодня тоже собрание было, посвященное смертному приговору, – с важностью ответила девочка.

– Что?! – Елочка остановилась, как вкопанная.

– Да, мы тоже руки подымали. Наша классная воспитательница объяснила нам, какие эти люди враги Советской власти, и мы все до одной проголосовали «за», – лепетал детский голос.

## Глава восьмая

Нина переживала тревожное время. Первый месяц по возвращении она пребывала на высотах собственного «я», в ней напряженно пульсировал ее внутренний душевный мир и большая, горячая любовь. Вспоминая свою поездку и трудности, которые ей пришлось преодолеть ради любимого человека, она с радостным удовлетворением сознавала, что заслужила то уважение, которым ее окружили Наталья Павловна, Ася, мадам, Олег, Аннушка, даже тетка и Мика; впрочем насчет последнего она не была уверена – возможно, ей это только казалось на первых порах. Рассказывать Наталье Павловне все детали пережитого и перевиденного доставляло ей невыразимое наслаждение, а нежность старой дамы частично вознаграждала ее за отсутствие любимого человека. Каким вниманием ее окружали всякий раз, когда она приходила в дом к своей свекрови, и как приятно было слышать ее голос, спрашивавший по телефону: «Здоровы ли вы, Ниночка? Я уже два дня не видела вас», или щебет Аси: «Бабушка велела передать, что вы сегодня у нас обедаете!» Нина была одинока так долго, что теперь каждая самая небольшая забота еще и еще отогревала чуть не погубленное морозами сердце, отходившее в тепле. Ей нигде не хотелось бывать кроме этого дома; в угоду Наталье Павловне она перестала подкрашивать губки – привычка, которую приобрела на сцене, а волосы стала причесывать *à la cavaliery* [76], как в юности, ни на каких поклонников она не желала обращать внимания; даже пение всего больше доставляло ей наслаждение в присутствии Натальи Павловны, под аккомпанемент Аси.

Так длилось весь первый месяц. Вслед за этим начались осложнения, они поползли как грозовые тучи и обложили все небо с четырех сторон. Началось с очередной анкеты, которую ей пришлось заполнять новыми данными в связи со вторым замужеством. Заполняя графу за графой она, содрогаясь, замечала, что картина получалась еще хуже, так как сведения о Димитрии вписывались по-прежнему, а к ним прибавлялись новые, столь же сомнительные! Раньше графу «где и на какой должности работает в настоящее время муж» она прочеркивала; теперь ей пришлось черным по белому писать: «В настоящее время муж находится на положении ссыльного в Томской области». Анкета испортила ей день; едва лишь усилием воли она отогнала хмурые мысли, как нашла у себя на столе приглашение в гепеу. После тревожного совещания с Олегом и бессонной ночи она отправилась туда и высидела

длительный разговор *tete-a-tete* [77] со следователем, который выслушивал, высматривал, вынюхивал, не доверяя, по-видимому, ни одному ее слову. Детальные придирчивые расспросы по поводу ее мужа и беглые скользкие по поводу личности Олега составляли основу допроса. Выручало лишь то, что гибель Дмитрия, как неопровержимый факт, о котором она могла говорить, не боясь запутаться, была вплетена в ее жизнь, и она могла сослаться на многих свидетелей своего горя и вдовства. Заранее инструктированная Олегом, она выпуталась, не противореча его показаниям, и, стараясь ободриться, говорила себе: «Будь, что будет! Надо стать такой же фаталисткой, как Ася и Наталья Павловна!»

Но как раз на другое утро на репетиции в Капелле появилась новая солистка сопрано, которая разучивала те же партии, что она сама. Голос ее значительно уступал голосу Нины и диапазоном, и качеством звука – на этом дружно сошлись все – тем не менее, новая дива очень уверенно продолжала разучивать партии Нины, и у администрации, видимо, составились какие-то планы относительно нее. «Может быть хотят иметь дублершу-заместительницу, а может быть намерены спихнуть меня в недалеком будущем!» – думала Нина и, вспоминая свою анкету, начинала против воли волноваться. В хоре новую артистку прозвали «гробокopatельницей» и относились к ней неприязненно; Нина была этим тронута, но это не рассеивало ее опасений. Так длилось с неделю. Вслед за этим случилось, что она встретила раз у графини Капнист пожилого моряка – человека из прежнего общества судя по его манерам и по дому, в котором они встретились. Он работал педагогом в военно-морской академии, но оказался любителем музыки и, узнав в Нине солистку Капеллы, расцеловал ей ручки, выражая восхищение ее голосом и спрашивая, когда он сможет опять ее услышать? Не подумав, она дала ему свой телефон, разрешив осведомляться о дне концерта. И он, вот уже три дня подряд названивал ей, уверяя, что не может дожидаться концерта, в котором она будет петь. К такому факту вполне можно было отнестись безразлично, но Нину тревожило и смущало, что она опять с некоторым интересом думала о новом поклоннике, а этот последний от телефонных звонков перешел между тем к визитам; она задумала было его остановить и шутливо, но с твердостью сказала:

– Оставьте ваши попытки... С некоторых пор я холодна, как рыба.

Но старый волокита, наклоняясь к самому ее уху, шепнул:

– Сударыня, что может быть лучше холодной рыбки под старым хреном!

Это ей показалось настолько остроумным, что она против желания рассмеялась, и вся серьезность ее отказа сошла на нет.

Весь последующий вечер она и Марина обсуждали эту милую и элегантную дерзость, находя ее очаровательной, и хохотали рядышком на диване, причем обе уже понимали, что холодной рыбке неминуемо быть под указанной приправой. Мало того: Нина поймал а себя на мысли, каким образом устроить половчее знакомство этого человека со своей *belle mere* [78] и Асей, которые, конечно, будут на ее концерте... Отрекомендовать своего поклонника старым знакомым неудобно, так как эта заведомая ложь всегда может выплыть наружу – Не знакомить вовсе? Но это означает выказать пренебрежение... Притом она несколько опасалась пронизательных глаз Олега. Короче говоря, целость и ясность ее духа были нарушены. Четвертое осложнение было самое серьезное: несколько дней она подозревала, потом уверилась, что у нее началась беременность... Как давно и упорно мечтала она о ребенке! Сколько было ссор с Сергеем Петровичем из-за его «осторожности», и вот она получила то, чего хотела, и в качестве зарегистрированной жены могла не страшиться ни упреков, ни пересудов. И вот теперь, когда это, наконец, совершилось, тоскливое смятение охватило ее! Как пойти на новые трудности, которых и так больше, чем она в состоянии вынести! Прежде всего: она очень скоро не сможет петь и придется брать полугодовой отпуск, а «гробокopatельница» тем временем пустит корешки и войдет в силу... А потом? Средств к жизни нет, бросить службу невозможно, оставлять же ребенка не на кого; отдать в ясли – значит таскать по трамваям в любую погоду и доверить чужим людям. Молока у нее может не оказаться, а с прикормом так много возни... Правильной семейной жизни у нее никогда не

будет: Сергею Петровичу вернуться не разрешат, – ребенок свяжет ее по рукам и ногам...

Но вот другая сторона дела: на днях ей исполнилось тридцать три года; если не быть матерью теперь, то, в конце концов, станет поздно: неизвестно, когда она снова встретится с мужем. Ребенок... девочка! Ей всегда хотелось девочку... Короткое платьице, кудряшки, большой бант на голове... Дочка сидит у нее на коленях и обнимает ее шею мягкими ручками... От радости с ума сойти можно! Почему же она молчит и не шлет мужу восторженного письма, хотя ей известно его желание? В ее молчании уже есть что-то предательское по отношению к крошечному существу, которое кристаллизуется в глубине ее тела: она не жжет позади себя мостов, чтобы сохранить за собой возможность отступления! Что же она задумывает? Истребление?

«Во мне два человека: одна – та, которая была в молодости с Дмитрием и с Сергеем в Сибири, другая – артистка, уже подпорченная. Если бы Сергей был здесь, я бы не стала изменять ему – Бог видит, он мне дороже всех! Но я одна; горя было так много, а жизнь коротка. Лучшие мои годы уже позади, я похоронила их в Черемушках, заливаясь слезами... Теперь уже недолго я буду красива! Наталья Павловна и Ася – весталки с рыбьей кровью – с их точки зрения существует муж и больше никаких мужчин в целом свете, а измены – выдумки бульварных романов... А мне так мучительно хочется счастья! Если оставить беременность, новый флирт отменяется сам собой... Решать нужно теперь же: шестинедельную беременность прервать легко, а потом самой уже ничего не сделать!»

Она открыла свою тайну Марине и ожидала, что Марина повторит ей все те доводы, которыми она себя убеждала, но Марина долго молчала.

– Не знаю, что сказать, что посоветовать... Минута, когда я лежала на этом ужасном столе и слышала скребущий, хрустящий звук, с которым скребли мои внутренности, самая тяжелая в моей жизни! Помни. Совет могу дать только один: если ты не решила, что сделаешь, подожди говорить о беременности Наталье Павловне и ему писать подожди. Поняла?

– Да, да. Конечно, – ответила Нина, но потом, вспоминая эти слова, видела в них что-то недостойное. Особенно остро она почувствовала это, когда пришла на другой день к Наталье Павловне. «Я не заслужила ни любви, ни ласки этой благороднейшей матроны! – сказала она себе – Мы с Мариной говорили как заговорщицы».

Ей было как-то не по себе: она не могла смотреть старой даме в глаза и довольно быстро простилась. На следующий день она больше обыкновенного устала и издергалась на работе и, возвращаясь, чувствовала себя совсем разбитой. Идти к Наталье Павловне или домой? Дома будут осаждать те же мысли, но если идти к Наталье Павловне, то уж тогда открыться ей, иначе она не сможет встретиться с ней глазами, как накануне, и все равно убежит под тем или иным предлогом. В ночь на этот день она видела во сне морду Демона, которая совалась к ней, насторожив острые уши, и лизала ей руку. С собакой этой у Нины связывалось воспоминание о собственном мужестве и самоотвержении и оно было отрадно ей! «Решиться все-таки на подвиг: стать матерью в этих труднейших условиях? Мужественно скрывать от Сергея свои трудности и радовать изгнанника известиями о ребенке, а на всем своем, личном, поставить крест? Во всех меня окружающих близких я найду моральную поддержку и не только моральную. Наталья Павловна ничего не пожалеет, чтобы помочь мне. Притом ведь не выдумка же это, что лучший, очищенный поступок несет великую награду сам в себе, а дурной – внутреннее возмездие, от которого бежать некуда. Решиться?»

Подымаясь по лестнице, она воображала себе, как будет сейчас ласкать, ободрять и утешать ее Наталья Павловна, если она ей скажет. Ей так хотелось любви и ласки!

«Скажу. Отрежу себе дорогу к отступлению».

Она не ошиблась в полноте участия, на которую надеялась.

– Не бойтесь, Ниночка, все будет хорошо. Я помогу всем, чем только смогу. Все, что у меня есть – ваше. Сократить с работы вас теперь не имеют права, а через месяц после родов вы отлично сможете петь. Ася тоже в положении. Будете приносить ребенка к нам, а мы тут повозимся одновременно с обоими. Вместе незаметно вырастим. Увидите сами, сколько вам это

принесет счастья. Сергей рассказывал мне, что вы до сих пор не можете утешиться в потере вашего первенца – только новый ребенок залечит эту рану. Не надо волноваться и расстраиваться. Отдохните на диване, через полчаса мы будем обедать.

С чувством большой победы над собой Нина покорно вытянулась на диване. «Решено. Прочь все сомнения: дочка у меня будет! Сейчас во мне что-то вроде червячка, но это сокровище, которое мне станет дороже всех на свете».

Когда в комнату весело вбежала вернувшаяся из музыкальной школы Ася, Нина подумала: «Вот эта чистая душа не знала и минуты тех сомнений, которые трепали меня, грешную», – и почувствовала прилив умиления. Ася тут же попала в водоворот дел: ее послали в булочную, после в кухню помочь мадам, после велели накрывать на стол. Напевая, она бегала по комнатам и, по-видимому, была очень далека от мысли требовать особенного внимания к своему положению.

Нина поймала ее за руку и привлекла к себе:

– Дай свое ушко, стрекоза: я скажу тебе секрет.

Головка с двумя длинными косами и блестящими глазами склонилась над диваном, и после нескольких слов, сказанных шепотом, тотчас, как из решета, посыпались восторженные проекты, сопровождаемые прыжками и кружением по комнате:

– Вот хорошо-то! Чудно! Чудно! Я буду его нянчить вместе со своим! Вы будете приносить его сюда, а я буду их забавлять, кормить, носить гулять! Олег хочет сына, а вам надо девочку! Чудно! Чудно!

На следующий день Нина встретила на улице моряка, которым была заинтересована. Зачем это случилось? После, много раз вспоминая эту встречу, она видела в ней что-то роковое: именно тогда, когда она уже решилась на самоотречение, именно тогда! Разумеется, она не допустила ничего интимного: только позволила проводить себя и угостить пирожными в кафе; но устремленный на нее восхищенный взгляд мужских глаз имел могущество яда или гипноза. Природа словно мстила ей за аскетическую чистоту тех лет, которые она провела молодой вдовой в Черемухах. Теперь у нее было постоянное тревожное сознание уходящей жизни, недостаточно полного использования своей женской прелести и жадное желание радости. «Сергей сам виноват, он содействовал моему первому падению: мне не снились подобные отношения, пока не появился он; через него я отошла от той строгости, в которой была воспитана. Он не знал тогда, что делает это на свою же беду! А теперь что делать мне с моей мятущейся душой!»

В этот вечер к ней пришла Марина, и почему-то, увидев ее, Нина сразу поняла, что все сегодня же будет кончено. Когда они уселись на ее диване за шкапом, их разговор и в самом деле напоминал разговор двух заговорщиц.

– Ну что? – спросила шепотом одна.

– Не знаю, что делать! – ответила тоже шепотом другая.

– Решилась на что-нибудь?

– Нет.

– Так ведь надо же решать, или будет поздно.

– Я понимаю, что надо, да не могу! Одну глупость я уже сделала: я сказала Наталье Павловне.

– Сказала старухе?

– Да. Нашла минута. Марина, я – дрянь! Как она ласкала меня и ободряла! Она строга с Асей, а со мной так необычайно мила! Это человек очень большой воли: ты не представляешь, сколько в их семье значит ее благорасположение!

– Сколько бы ни значило, решать должна только сама ты. Она тебе, положим, кое в чем поможет, но она стара; подожди, еще тебе же придется вертеться около нее, если ее хватит удар или сердечный приступ. Что она с тобой нежна – неудивительно, она больше всего на свете боится, чтобы ты не сбежала от ее сына. Пойми, это материнский эгоизм: ей жаль сына, а не тебя!

«Его и в самом деле жаль!» – подумала Нина, глядя на оранжевый круг, падавший от абажура.

И опять та же мысль, что в ней борются две души и что сейчас выходит на поверхность худшая, мелькнула в ней. «Я еще могу повернуть сейчас в хорошую сторону, еще могу... но, кажется... уже не захочу!»

Они помолчали.

- Я отговаривала тебя спешить с признанием для того, чтобы в случае, если ты решишь ликвидировать ребенка, сохранить тебе полностью уважение и Натальи Павловны, и твоего Сергея. Я думала только о тебе! - сказала Марина.

- Да, да, Марина! Я понимаю, но теперь этого уж не поправить!

- Пожалуй, поправить еще можно: скажи Наталье Павловне, что подняла что-то тяжелое: шкаф передвигала или белье в прачечную относила... никто не удивится в наших условиях. А может быть ты предпочитаешь сказать прямо и лечь на официальный аборт в больницу?

- О, нет, нет! Что ты! Они не простят мне! Если уж ликвидировать то... замести следы!

- Ну, тогда решай! Сегодня всего удобней: у тебя выходной день завтра и, таким образом, ты сможешь отлежаться, а я могу остаться переночевать и за тобой поухаживать: Моисей Гершелевич в командировке. На всякий случай я захватила три порошка хины - проглоти, а потом затопим ванну, полежишь в горячей воде. Только помни: я тебя не уговариваю! Помочь тебе я, разумеется, готова, но я не уговариваю!

Утром все было кончено. Для правдоподобия решили, что, не дожидаясь, пока забьет тревогу Наталья Павловна, Марина сегодня же позвонит ей и скажет, что беспокоит ее по поручению Нины, которая лежит, так как неудачно подняла белье, но раньше, чем они привели в исполнение этот план, кто-то постучал в комнату. Марина только что подала Нине в постель утренний чай; еще не причесанная, в халатике Нины, она подошла открыть дверь и увидела перед собой Олега.

- Ах, это вы! Извините, сюда нельзя, Нина Александровна нездорова. Может быть, вы пройдете пока в комнату Мики? - и женским жестом ухватилась за еще спутанные локоны.

Отступив на шаг от порога, он смерил ее быстрым взглядом, и в его внезапно сверкнувших глазах ей почудилось что-то такое подозрительное и гневное, что она невольно опустила свои, интонация его был как всегда корректна.

- Благодарю, я не буду задерживаться и беспокоить вас. Наталья Павловна прислала меня с известием, что театральный магазин купил ее страуса, и просила меня передать Нине Александровне это письмо. Что должен я сообщить Наталье Павловне о здоровье Нины Александровны?

- Подождите минуточку, Нина напишет записку, - ответила Марина.

Нина написала несколько слов - те, которые предполагалось сказать по телефону, и Олег вышел.

- Как странно! Он, кажется, что-то понял! Я это почувствовала по его взгляду, - сказала Марина, садясь около Нины. - Он не задал ни одного вопроса по поводу твоей болезни, а эта фраза «что должен я сообщить» тоже заставляет призадуматься! Ася могла ему рассказать о твоей беременности, но он каким-то образом заподозрил именно намеренный аборт!

- Я заметила, что Олег очень проницателен, - задумчиво ответила Нина, - но он не таков, чтоб заводить сплетни и шептаться по поводу своих догадок, он будет молчать, меня беспокоит сейчас другое: Наталья Павловна прислала мне сто рублей, а ведь у них систематически не хватает денег: Олег работает один на четырех, и все-таки она прислала мне, а ведь Ася тоже в положении. О, как мне стыдно!

Они помолчали. Нина взглянула на подругу и увидела, что глаза ее наполнились слезами.

- Ну, перестань, перестань, Марина! Ведь для тебя не новость их любовь!

- Не новость, да. Но я подумала, она пошла на то, чего побоялась я! Он сравнивает сейчас нас и... воображаю, как еще выросли его любовь и уважение. А на меня он посмотрел недоброжелательно и, кажется, считает меня особой сомнительной нравственности, специалисткой по абортam... да как он смеет! Лучше мне вовсе не встречать его, чем выносить такой взгляд!

В этот же день Наталья Павловна, обеспокоенная состоянием Нины, приехала к ней. Чувство стыда и раскаяния переполнили душу молодой женщины, и она разрыдалась, припав к груди своей свекрови. Наталья Павловна приписала ее отчаяние разбитым надеждам и опять утешала ее, говоря, что время еще не ушло и все это можно поправить... она только вскользь попеняла за неосторожность. У Нины не хватало мужества признаться в своем поступке, и хорошо понимая, что как бы крадет любовь и уважение своей belle mege, она все-таки промолчала.

«Я искуплю потом все, все! Немножко повеселюсь одну только эту зиму, а летом опять поеду к Сергею и буду самой верной и смирной женой и самой самоотверженной матерью», - говорила она себе, стараясь успокоить свою совесть.

Писать любимому человеку, сочиняя фальшивые фразы, оказалось очень тяжело. Она просидела за этим письмом несколько вечеров подряд, и ей пришлось еще раз пожалеть о своем признании Наталье Павловне, благодаря которому она не смогла схоронить концы в воду. Одна ложь всегда влечет за собой другую: она все-таки написала и послала это насквозь фальшивое письмо. Хорошо, что бумага не краснеет! После того, как она опустила его в ящик, она с беспокойством смотрела на себя в зеркало: ей казалось, что эта ложь должна будет что-то изменить в ее лице; наложив едва уловимую печать на лоб и на глаза, подменить благородство облика. Изменений, доступных своему взгляду она не обнаружила, но все-таки потеряла уверенность в себе.

Встречаясь с Асей и Натальей Павловной, она невольно опускала глаза, но эти чистые души по-видимому не разгадали ничего, настолько чужды были им мотивы, руководившие Ниной. Это успокоило последнюю, и понемногу она приобрела прежнюю манеру держаться. В одном она осталась убеждена: Олег понял ее насквозь! Словами было трудно определить, в чем выражалось это, а между тем в чем-то все-таки выражалось! Как будто холоднее стал звук его голоса в обращении к ней; целуя ее руку, он не столько склонялся к ее руке, сколько подносил ее к своим губам; при ней он, по-видимому, особенно подчеркивал свое уважение к положению Аси и даже, как будто, старался устроить так, чтобы Ася меньше бывала у нее одна, словно бы не доверял свое сокровище. Делал все это он так тонко, что заметить могла одна Нина, так как нечистая совесть обостряла ее чутье. Там, где требовалась изысканная тонкость в понимании всех оттенков обращения, оба с полунамеков отлично понимали друг друга. Ей делалось иногда больно, а иногда досадно на него: слишком высокую мерку прилагал он к людям, и она, по-видимому, не подошла под эту мерку.

## Глава девятая

У Мики были свои трудности, которые тоже нарастали crescendo [79]: отношения его с сестрой все-таки не налаживались; ни о какой задушевности не могло быть и речи, вопрос все еще состоял в том, чтобы прекратить ежедневные стычки и дерзости. Нина решительно не хотела ценить тех героических усилий, которые он затрачивал на то, чтобы усовершенствовать свое поведение в домашнем быту, где его злила каждая мелочь. Он пытался сдерживать себя и грубил гораздо реже, он начал сам стелить свою постель, складывал салфетку в кольцо, бегал за хлебом, не заставлял себя просить об этом по три раза, а довольствуясь одним или двумя напоминаниями; случалось, приносил по собственной инициативе дрова и блестяще наладил дровозаготовки, договорившись с Петей пилить вместе по средам для Нины, а по пятницам для его матери. Но Нина, по мнению Мики, вовсе не была склонна ценить этой огромной работы над собой, как вообще никогда не относилась серьезно ни к одному из его начинаний и все подводила под рубрику «глупости» или «мальчишество». Вот у Пети все наладилось и конечно потому, что во главе всего стояла Ольга Никитична, которая умела вносить идейность и подчинять без произвола, на что решительно не была способна Нина.

Школьные дела так же грозили осложнениями: и у него, и у Пети не прекращались столкновения с такими организациями, как комсомольское бюро, совет отряда, клуб

безбожников и прочие уродливые наросты на школьном коллективе. В массе школьников оба были скорее любимы: Мика имел репутацию хорошего товарища, был ловок в драках и к тому же был признанным поэтом – ему очень легко давались стихи и он воспевал в них все выдающиеся события их классной жизни; одно из его стихотворений: «Напоминал табун копытный наш первобытный коллектив и очень часто в перерыв взрывался бомбой динамитной», – облетело даже параллельные классы и повторялось в коридорах и залах. Петя был популярен всего больше как прекрасный математик, который на всех контрольных безотказно рассылал шпаргалки направо и налево, а это тоже кое-что значило. Оба друга были в числе нескольких лучших учеников, и только это охраняло их от нападков школьных организаций и классной воспитательницы Анастасии Филипповны. Эта последняя, еще молодая женщина всецело находилась во власти комсомольской морали, смотрела на события школьной жизни глазами роно и райкомов и терпеть не могла обоих мальчиков за то, что они позволяли себе некоторые специфические отклонения от желательной линии поведения и не подходили под тип советского школьника, созданный гением роно. Опальный отец одного и титулованная сестра другого узаконивали эту ненависть и убеждали Анастасию Филипповну в правильности ее воспитательского чутья. Умственное убожество и манеры этой особы всякий раз приводили в ужас Нину, которая невольно проводила параллель между ней и своими классными дамами – бывшими смолянками с шифром.

– Швея или парикмахерша, если не хуже, – вот что такое эта Анастасия Филипповна! – говорила Нина всякий раз после очередного визита в школу. Чего можно ждать от подрастающего поколения, если воспитание его вверено подобным особам?

С образом воспитательницы в памяти бедной Нины неразрывно соединялся синий английский костюм, лорнет и безупречный французский выговор. Что касается мальчиков, то, не давая себе труда сами быть *disturged*, они отлично замечали отсутствие этого свойства в окружающих, глаз был натренирован с детства на собственных домашних, они могли считать предрассудком хороший тон, но тем не менее всякий оттенок вульгарности резал им слух и глаз. Некоторые жесты и словечки Анастасии Филипповны, как например «пока» вместо «до свиданья», они заносили в свою память как обвинительный акт. К тому же недостатки Анастасии Филипповны не ограничивались этим: достойная дочь воспитавшего ее режима не брезгала прибегать к замочной скважине для незаметного наблюдения за классом. В отсутствии рвения ее никак нельзя было упрекнуть! Мику привычка эта особенно бесила, и он разразился по этому поводу четверостишием:

Порой ораторствует публично  
Тошнее немощи зубной,  
Но все ж у скважины дверной  
Она еще анекдотичней.

По-видимому, эти строчки как-то дошли до Анастасии Филипповны, и неприязнь ее к Мике усилилась.

В ноябре месяце в классе разыгрался довольно крупный скандал, и, как всегда, Мика и Петя оказались в самом центре события. У школьников вошло в моду постоянно сжимать в кулаке кусок черной резины с целью развить мышцу кисти, они уверяли друг друга, что так всегда делают боксеры; резина эта хранилась среди прочего хлама в незапертом никогда складе на месте купола прежней гимназической церкви. Весь класс бегал резать себе куски для этих спортивных упражнений. Учитель физкультуры, встречавший мальчиков за этим занятием в куполе, даже хвалил их за рвение и все до поры до времени обстояло благополучно. Но Петя Валуев родился под несчастливой звездой: в тот день и час, когда за резиной забежал он, в купол сунула свой длинный нос Анастасия Филипповна. Петя тотчас был извлечен из кладовой и с позором доставлен в класс. Стоя около мальчика и продолжая держать его за рукав как трофей, Анастасия Филипповна объявила во всеуслышание, что подобный поступок граничит с

воровством и не пройдет безнаказанно: он будет занесен в характеристику Пете и заклеит его позором. Весь класс замер перед такой угрозой. Первым нашелся по обыкновению Мика, который тотчас же понял, что Петя никогда не решится сам разъяснить дело, ибо кличка предателя еще хуже, чем кличка вора.

- Я тоже резал резину, вот она! - закричал Мика, вскакивая, и оглянулся на класс, приглашая к тому же товарищей.

- Я тоже резал! И я! Мы все! Резина была брошена со всяким хламом! Физкультурник говорил нам, что делал из нее поплавки директору! Товарищи, полундра! Наш директор-то, оказывается, вор!

Услышав все эти выкрики, Анастасия Филипповна поняла, чтохватила через край и пахнет крупным скандалом. Она выпустила рукав Пети и занялась водворением порядка. Дело о резине было замято.

В ноябре праздновался день рождения Нины: против ее ожидания, Мика согласился выйти к праздничному столу и был очень оживлен; он даже читал свои стихи про школьную жизнь, среди которых наибольший успех имела «Ода великому математику».

В среде диковинных явлений  
Пятиэтажных уравнений  
И неделящихся дробей  
С корнями высших степеней  
Он позволял себе интимность:  
Он математикою жил,  
Он всей душой ее любил,  
Но без надежды на взаимность!  
Координатные системы  
В себя впитавши целиком,  
Он рвался в область теоремы,  
К созвездьям лемм и аксиом!  
Он без особого труда  
Уже кончал писать тогда,  
Когда другие начинали,  
И по конвейеру он слал  
Ответы тем, кто погибал,  
И предвкушал сюрприз в журнале.  
На всех контрольных осаждали  
Его голодные рои,  
Которые решений ждали,  
Чтоб после выдать за свои.  
Спасенный радостно икал  
И Петьке с чувством лапу жал.

Ася и Леля умирали со смеху, даже Олег и Нина улыбались, и все единодушно признали за Микой поэтический дар. Ободренный успехом, Мика понес новую рукопись в класс. Он читал ее на большой перемене, стоя, как всегда в таких случаях, на парте посередине класса, когда кто-то крикнул ему: «Анастасия Филипповна у двери!»

Услышав это, Мика тотчас перескочил на новую эпиграмму в честь этой достойной дамы и с чувством отчеканил:

Шлифована по-пролетарски,  
А первобытна, как зулус,  
И не хранит отравы барской

Отточенный в детдоме вкус!

Анастасия Филипповна была воспитанницей детского дома и страшно возмутилась этими строчками. Мика был вытребован к директору, но находчивого мальчика трудно было поставить в тупик.

- Я всегда рос в убеждении, что деликатность и такт необходимые качества культурного человека и упреки за происхождение крайне невеликодушны, - ответил он, - но Анастасия Филипповна вместе с пионервожатой дали мне хороший урок в противоположном, и я этим уроком воспользовался.

Директор попросил объяснения.

- Они неуважительно говорили перед целым классом об отце одного из моих товарищей. Я согласен извиниться перед Анастасией Филипповной, если она подаст мне пример и в свою очередь извинится перед Петькой Валуевым.

Директор, выслушав, сказал: «Я расследую, в чем тут дело». Но комсомольское бюро цыкнуло на него, разъяснив, что дело касается человека, обвиненного по пятьдесят восьмой, и он поспешил предать забвению описанный инцидент, а Мика остался под угрозой занесения в характеристику «издевки над пролетарским происхождением», что ни мало не сломило его буйного духа.

Приближалось Рождество; за несколько дней до праздника отец Варлаам созвал братство на исповедь в квартире на Конной. Сговорились собраться сначала у ранней обедни на Творожковском подворье. Мике всякий раз попадало за ранние обедни: от Нины, потому что он опаздывает из-за них в школу, от Надежды Спиридоновны за то, что, уходя, топает по коридору и заводит будильник, который трезвонит на всю квартиру. Без будильника, однако, Мика неизменно опаздывал. Петя и Мери считали Мику почти мучеником, потерпевшим гонения за веру, а он считал их дом христианской общиной в миниатюре - и по этим пунктам каждый из них втайне завидовал другому, а иногда рисовался своим положением перед другим. Мика опоздал и в это утро и, стоя в последних рядах, отыскивал глазами голову Пети, которую узнал по «петуху» на затылке, приводившему всегда в отчаяние его Друга. Рядом с ним виднелась черная коса Мери. Он стал осторожно пробираться к ним.

- Мы уже за тебя беспокоились: все нет и нет! - шепнул ему Петя, когда они оказались рядом.

- Едва успел; вчера вечером опять бурю выдержал - без этого у нас не обходится! - тоже шепотом отозвался «мученик».

- На духовном пути очень часто «враги человеку домашние его», - шепнула Мери. - Не бойся, тебе это зачтется.

Когда обедня кончилась, остановились в притворе; посторонний наблюдатель мог подивиться, сколько молодежи столпилось в притворе, причем многие оказывались между собой знакомы; бросалась глаза материальная нужда: ни одного модного или нового пальто, молодые люди - в рабочих ватниках, хотя многие из них в детстве щеголяли в мундирчиках лицеистов и правоведа. Разговоров почти никаких: настолько уже выучились осторожности! Немой смотр друг другу! Мика стоял с Валуевыми, решено было, что он обедает в них, после чего вместе пойдут на Конную; ночует у них же, чтобы вместе прочесть «правило» и подняться к ранней. Ольга Никитична обещала сама договориться по телефону с Ниной, это были дни каникул, и школа не связывала их. Отчего дома все житейские мелочи были невыносимо скучны, а в доме друга они носили характер дружной мобилизации для совместного противодействия жизненным невзгодам и не раздражали? Беспорядок, оставленный торопливым вставаньем в единственной комнате, куда была теперь забита семья Валуевых, не послужил поводом к ссорам.

- Вот что дети, времени у нас мало: Мери, одевай передник и бери сейчас же тряпку и щетку, а потом придешь помочь мне в кухне; Петя, беги прежде всего за керосином, а потом возьмешь кошелку и пойдешь за хлебом и картошкой; Мика, тебя я попрошу затопить печку и приладить в крест елку.

- Эту елочку, - похватил Петя, - мы с мамой купили вчера у Владимирской церкви. Милиционер увидел и тотчас за нами, а мы словно воры улепетывали. Я и не подозревал, что мамочка так быстро бежит.

- При советской власти всему выучишься, - сказала Ольга Никитична, берясь за керосинку. - Завтра, в Сочельник, приходи, Мика, к нам.

- Да, да! - воскликнула Мери, надевая передник. - Мы зажжем елку и будем петь «Дева днесь...» и «Weihnachten [80]», а ужин будет постный, с кутьей, все по уставу.

- Нинка моя совсем обасурманилась, - заявил весьма непочтительно Мика. - Я такие гонения претерпеваю, что и не описать! Она все боится, чтобы не узнали о церкви в школе. Сама она совершенно равнодушна ко всему, что касается веры. Я понимаю отрицание, но равнодушия не понимаю! Уж верить, так верить!

- Убежденных людей всегда мало, - сказала Валуева, - большинство и раньше было равнодушно к родной Церкви. И в этом я усматриваю огромную вину русской интеллигенции. Никто не образумился, пока не грянул гром! Я благословляю очистительную бурю, которую принесли с собой большевики. Они злобны, коварны, мстительны, но их преследования заставили нас проснуться. Если бы мы не были виновны перед Господом, неужели бы Он допустил существование этих бесчисленных лагерей и тюрем, куда запрятывают ни в чем не повинных людей? Сколько душ очищается теперь страданием! Русь представляет прекрасную картину духовному взору.

Мика опустил топор и, не спуская глаз, смотрел на женщину, говорившую эти слова. Ее сверкающий взгляд, худое лицо и преждевременно поседевшие волосы опять напомнили ему христианских мучениц.

«Вот истинное величие духа! - думал он. - Я ненавижу безразличную терпимость и примиренчество! Ее слова суровы, но какую надо иметь веру, чтобы говорить так, особенно имея там... в когтях... близкого человека».

В квартире на Конной собралась довольно длинная очередь, так как отец Варлаам говорил очень долго с каждым. Исповедь шла в трапезной; ожидавшие женщины и девушки прошли в комнаты к братчицам, молодые люди ожидали в коридоре. Петя и Мика стояли рядом. Еще год назад мальчики поклялись друг другу в полной откровенности, которая казалась им необходимой для роста дружбы. С тех пор у них вошло в обычай показывать друг другу шпаргалки с перечисленными для памяти основными тезисами исповеди. Шпаргалка Мики начиналась словами: «Нина, сны, готов на подвиг, а на мелочи ленив»; взглянув на шпаргалку Пети, он увидел, что первые три пункта у него были точно те же, только вместо «Нина» у него стояло «Мери», это было более или менее ясно для обоих. Но дальше у Мики в списке значилось: «галстук, она, масло, гвардия» - тут уж ничего нельзя было понять, и Петя попросил объяснения.

- Дела мои, старина, плохи! Никак не ожидал, что приключится этакая штука! Как бы объяснить... видишь ли... одним словом - влюбился и притом колоссально! Как сказать отцу Варлааму - ума не приложу. Видел я ее всего два раза только: на вокзале и у нас на рождении Нины, она приходила к нам со своим мужем; совсем еще молоденькая, с косами, ресницы чуть не до ноздрей, тоненькая, как тростинка, головка как-то особенно красиво на шейке поворачивается, и с какой точки не посмотришь - носик, губки и реснички - прелесть, чудо! Улыбнется - все лицо освещается, как будто месяц вышел. Я только посмотрел и погиб. Весь интеллект разом смылся с моего лица, дураком каким-то стоял первые пять минут, сказали бы мне: «Поцелуй и умри!» - сейчас бы согласился! Перед такими чувствами идейности во мне оказывается ни на грош! Моральный банкрот! Тревога, знаешь, напала: вот какие девушки бывают, а я такую не найду: пока буду молиться, всех расхватают. Петька, говори: что мне будет за это от отца Варлаама?

- Трудно вперед сказать... положение серьезно... - пробормотал сконфуженно Петя, словно врач на консилиуме. - На поклон, наверно, поставит... А это что? - и Петя ткнул пальцем в «гвардию».

- Военная доблесть опять покоя не дает: нет-нет да и воображаю себя николаевским офицером: эполеты, шпоры, аксельбанты - все пригнано, все блестит, выправка самая изящная, не то что у этих «красных командиров» с их мордами лавочников! Танцую мазурку в зале у Дашковых, девушки - все на меня поглядывают. Или - война, первым кидаюсь в бой и умираю с Георгием под стенами Константинополя - мечтой нашего царизма... А к тебе этакое не подступает?

Петя с понимающим видом кивнул:

- Видишь, помечено: эполеты. А это что? - и он ткнул в рубрику «масло».

- Да понимаешь ли, сейчас Филипповка, ну и воздерживался я незаметно от масла. А Нинка заподозрила и проследила; накидывается, как кошка: «Я на последние деньги покупаю не для того, чтобы в ведро выбрасывать!» И пошла... пошла... Наорали мы друг на друга колоссально; уступил в конце концов.

- А это? - и Петя ткнул в «галстук».

- Из-за нее. Когда ждали на рождение гостей, я попросил Нину завязать мне галстук, а она сделала мне бант, как двенадцатилетнему; я же был уже зол, перед этим завернул в парикмахерскую постричься и побриться, а мерзавец парикмахер ответил: «Постричь, с моим даже удовольствием, но что же мне брить-то?» Издевательства эти одно к одному меня взбесили, бант переполнил чашу: опять скандал, даже Аннушка прибежала. Исповедь потрясающая, а впрочем, у человека с бурной душой иной и быть не может. А у тебя что?

Петя в свою очередь представил полный отчет. Прождали около двух часов, когда пришла очередь Мики. Петя, дожидаясь поодаль, видел, как его товарищ горячо и долго излагал свои потрясающие переживания. Молодой монах, высокий, худой и бледный, выслушивал молча, с серьезным лицом; потом он сам начал говорить и говорил тоже долго; а вслед за этим произошло нечто, пожалуй, еще не записанное в летописях братства: отец Варлаам, вместо того, чтобы поднять руку с епитрахилью, только кивнул, отпуская Мику, и непрощенный растерянный мальчик с опущенной головой сконфуженно пересек комнату и скрылся в коридоре. Петя в изумлении проводил его взглядом. «Земная любовь, наверно!» - подумал он и не пошевелился, пока его не подтолкнули сзади, напоминая, что теперь его очередь. От беспокойства за друга он скомкал свою исповедь, перезабыв половину, и бросился искать Мику. Он нашел его в кухне у черной двери в позе Наполеона.

- За что он тебя? За что?

- А вот не угадаешь!

- «Она», наверно!

- Нет. За нее несколько не попало: сказал «естественно» и обещал, что дальше хуже будет; не она, а масло! Да, да - масло. «Мне нужна дисциплина, говорит, Церковь запрещает! Я вправе требовать от членов братства исполнения устава. Я предупреждал, и нарушивших мой запрет к Причастию не допущу. В трудные дни нам нужны только верные и сильные. Вы придете ко мне на Страстной». Сейчас я уже думаю, что он прав, но в братстве ведь станут считать меня преступником! Катя Помылева уже шарахнулась от меня: наверно, вообразила, что у меня на совести, по крайней мере, убийство и изнасилование!

Мика с важностью произнес последние слова.

- Как он суров! - повторял пораженный Петя. «Римлянка» была очень тактична: она ни слова не сказала о случившемся; Мери, подходя, бросила на Мику быстрый любопытный взгляд, который несколько польстил ему. Совершили все согласно ранее намеченной программе: Мика остался ночевать и был уложен на кофре у двери, молитвы читали вместе. Утром Мика подошел к Ольге Никитичне и прямо спросил:

- Может быть, мне лучше не ходить к обедне, если я уж такой преступник?

Она ответила спокойно и, как всегда, убежденно:

- Никто о тебе этого не думает. Отец Варлаам строг, гораздо строже отца Гурия; он хотел тебя испытать и смирить. Он очень многих подвергает епитимье. Если ты придешь в церковь помолиться вместе с нами и поздравить нас с приобщением, ты явишь выдержку и послушание, которые иноками так высоко ставятся.

Мика поколебался, но пошел. Он очень считался с мнением Римлянки, притом взгляд Мери убедил его, что он заинтересовал своей особой юную и притом как раз женскую часть братства, и сам того не замечая, за обедней он порисовался своим мрачным и разочарованным видом. Мика был небольшого роста, несколько коренаст, что порядком его расстраивало. «Повезло же Олегу и с лицом, и с фигурой, а я вот майся всю жизнь коротышкой, к тому же и не дворянской формы и глаза лягушачьи!» Удивительно было то, что глаза его поразительно напоминали глаза Нины, но в то время, как у той по всеобщему признанию глаза были чарующе поэтичны и словно тушью тронуты, у него они напрашивались на сходство с глазами лягушки, так как были несколько на выкате, с тяжелыми складками на нижних веках.

В первый день школьных занятий Петя почему-то в класс не явился. Голова Мики все время поворачивалась на дверь, так что шея у него заболела, а Пети все-таки не было. Прямо из школы Мика помчался к другу. На звонок открыла соседка; когда же он постучался в комнату, высунулась голова Пети, и что-то в нем тотчас показалось Мике не так: у горла не было белого воротничка, глаза подпухли и покраснели, петух на затылке совсем распушило в комнате все было вверх дном.

- Эй, старина, что случилось? - спросил, входя, Мика.

- Несчастье у нас - мама не вернулась.

- Как не вернулась? Откуда? - и пораженный Мика сел на кофр у двери.

- Ее в гепеу вызывали: прошло уже больше суток, а ее все нет. Они возьмут маму в лагерь, как папу. Считай меня трусом считай маленьким - мне все равно! Я без мамы жить не могу! Мама всегда была с нами, каждую минуту, во всем. В доме без нее все сразу перевернулось. Ты этого не понимаешь, потому что у тебя мамы никогда не было!

- Нет, я понимаю! Ты напрасно... я понимаю... как же это произошло?

- Повестка пришла еще третьего дня, но мама нам не говорила. Вчера только утром, когда мы уже встали и выпили чай, он вдруг говорит, что получила вызов и сейчас должна выходить. Успокаивала нас, все повторяла: «Ничего, дети! Бог милостив! И к двум часам я, наверно, уже буду дома». Потом передала Мери: квитанции из комиссионного магазина, они все уже оказались переписаны на имя Мери: мамочка накануне ходила для этого в магазин. Ну, а потом уложила в маленький саквояж перемену белья, мыло, полотенце, наши фотокарточки и икону Скорбящей, свою любимую. Мери сунула ей туда еще булочку. После этого мама нас перекрестила и сказала: «Христос с вами! Только не ссорьтесь - и все будет хорошо». Мы хотели бежать за нею, чтобы подождать ее у подъезда Большого дома, но мама не позволила: «Лучше пойдите в церковь». Мы только до ворот ее проводили; у ворот мама еще раз поцеловала нас и опять сказала: «Христос с вами, мои маленькие!» - и больше не оглядывалась, - и Петя всхлипнул.

- Ну, а потом?

- А потом мы побежали в церковь, а когда возвратились, нам было очень страшно открывать дверь: пришла или не пришла? Мери вошла первая и говорит: «Никого! Но ведь двух часов еще нет. Зажги керосинку и поставь чай, а я сбегаю купить хлеб. Мамочка вернется и мы будем вместе пить чай». Я все сделал, Мери прибежала с хлебом, а мамы все нет. Тогда мы вышли на площадку лестницы и стали смотреть вниз, в пролет, часа два, наверно. Мери вдруг стала дрожать как в ознобе. Я не знал до сих пор, как это страшно - ждать. Я уговорил Мери вернуться в комнату и закрыл пледом и пальто, и мы просидели рядом на ее кровати еще часа два; уже зажгли свет, а мамы все не было; только поздно вечером мы сели пить чай; тут как раз нагрянули «они»: стали все перерывать, как тогда, когда брали папу; а нас с Мери посадил на кофр и не велели двигаться... Накануне мы в «чепуху» играли; они увидели брошенные записки, а в одной из них было: «Сталин и Мери в кухне среди ночи строили друг другу рожи». Они показывали это один другому. Часа три возились; когда уходили, один сказал Мери: «Ну, ну, не унывай, девчонка, не пропадешь!» Посочувствовал как будто! Мы всю ночь не спали, у меня голова болит.

- А где же Мери?

- Она пошла к тете рассказать ей, что у нас случилось.

- Я дождусь с тобой Мери; ты, старина, держись, будь мужчиной. Давай-ка перекусим, у меня бутерброды остались. Возьми, нельзя терять силы.

Скоро пришла Мери. Мика тотчас поднялся с места из бессознательного уважения к ее горю, благородство манер было в крови и при его разболтанности все-таки сказалось.

- Ну, рассказывай, Мери!

- Нечего рассказывать - я больше к тете не пойду! Они слишком не ласковы: когда я рассказала ей и дяде о случившемся, он стал уверять, что мама была слишком неосторожна и сама во всем виновата и что будто бы мама их подвела, потому что теперь и на них ляжет тень. Он даже сказал, чтобы я не вздумала бегать к ним каждый день и не воображала, что они пойдут вместо меня к прокурору. А тетя спросила только есть ли у нас деньги: я сказала, что мама оставила 25 рублей и что у нас сданы вещи в комиссионный. Она сказала: «Это разумно!» - и больше ничего! Даже не поцеловала меня ни разу. Я никак не могла думать, что меня примут так!

- Больше ты к ним не пойдешь! - воскликнул горячо Петя. - Сядь, сядь, ты устала! Давай я тебе налью чаю.

- Возьми бутерброд, - сказал Мика, - и давайте обсудим, как быть; я во всех хлопотах вам буду помогать, а в школу тебе надо завтра же выйти, старина, а то начнутся неприятности.

Но Петя отрицательно замотал головой:

- Носу не покажу! Комсомольское бюро теперь совсем заест меня. Я нашу школу ненавижу, я поступлю лучше на службу. Надо же кому-нибудь зарабатывать деньги.

- А я никогда не соглашусь на это! - запальчиво крикнула Мери. - Мама запретила нам ссориться, но как же не сердиться за такие вещи! Мама и папа вернутся же когда-нибудь, и вдруг окажется, что Петя не кончил школу... Какой это будет удар, особенно папе! До весны мы отлично просуществоем вещами: у нас сданы полубуфет, журнальный столик и бронзовый рыцарь с копьем - должны же будут все это купить! А весной я окончу школу и устроюсь работать сама. Я - старшая, а Петя должен учиться. Может быть, мамочку скоро освободят, а Петя, пропустив четверть, погубит целый год школы. Скажи ему, Мика, что я права!

Мика принял сторону Мери, но у Пети были свои доводы:

- Какой же я мужчина, если допущу, чтобы сестра работала, а сам буду сидеть на ее шее? Папа первый меня осудит. Ты, Мери, женщина, и в вопросах чести не понимаешь ничего! Молчи поэтому! Теперь, когда мы вдвоем, ты под моей охраной; я отлично знаю, что я должен делать, и не позволю себе указывать.

К согласному решению так и не пришли. Мика ушел огорченный и взволнованный невыясненностью положения. Казалось бы, Нина могла понять его тревоги, тем более, что симпатизировала семье Валуевых, но верный своей привычке, Мика не сделал попытки к откровенному разговору и ничего не сообщил ей - полудетские скороспелые выводы и рассуждения не были разделены ни одним умудренным житейским опытом умом.

## Глава десятая

Кресло Натальи Павловны было проникнуто чувством собственного достоинства, очевидно сознавая, что происхождение его восходит к эпохе ампира и что особа, которой оно принадлежит, заслуживает исключительного уважения. Никто из домашних никогда в него не садился: даже покойная Диана не смела ставить на него лапы, а молодая Лада была слишком тактична, чтобы нарушать традицию и мять бархатную подушку и вышитый шерстями герб Бологовских с башнями и скрещенными мечами. К обеденному столу это кресло тоже не пододвигалось; за обедом Наталья Павловна сидела настолько прямо, что Леля и Ася серьезно обсуждали, может ли еще кто-нибудь во всем городе сидеть так, как сидит бабушка? В кресло Наталья Павловна садилась обычно уже после обеда с мемуарами или вязаньем: она постоянно распускала и заново перевязывала семейные шерстяные вещи, выходившие из строя. Это была

та добровольная обязанность по дому, которую она взяла на себя в дополнение к обязанностям кассира и главного диспетчера, которые приличествовали только ей. Мадам прибирала, ходила по магазинам и изощрялась на кухне, стараясь разнообразить нехитрые блюда; молодая новобрачная была «девушкой на побегушках», посудомойкой и помощницей на кухне, причем мадам она величала «руководящим поваром», а себя «сподручным» или «блюдолизом». Олег взял на себя заготовку дров, топку печей и возню с пылесосом. Пылесос этот служил предметом постоянного смеха у молодой пары. Асю особенно забавлял тот ужас, который питала перед богатырскими вздохами этого чудовища молодая Лада: стоило лишь взяться за пылесос, и она тотчас забивалась под диван. Возней с пылесосом занимались обычно по воскресным утрам: в будни Олег возвращался со службы только к семи часам, и все старались сохранить вечер свободным от хозяйственных дел. Старшие дамы в эти часы садились часто за рукоделие. Пробуя приохотить и Асю, мадам скроила однажды из остатков рваной наволочки крошечную распашонку и вручила будущей мамаше. Но Ася органически не была способна высидеть за иглой дольше десяти минут. Несчастному «дофину» грозила бы опасность замерзнуть в первый же день существования, если бы заготовка приданого была вверена одной только заботливой мамаше.

- Ничего не выходит! Бесталанная я! Распашонка моя не подвигается и уже завалилась: надо ее сначала выстирать. Завтра я по-настоящему примусь за дела, а сегодня я вам лучше Шопена поиграю, - заявляла она.

Мечтой ее было приохотить Олега к четырехручной игре. Если вследствие недостатка средств они не могли регулярно посещать филармонию, необходимо было наладить домашнее музицирование, как было заведено при Сергее Петровиче. Она отыскала старую толстую папку с симфониями Гайдна и притащила к роялю упиравшегося мужа. Олег с сомнением посмотрел на первые строчки.

- Боюсь, что мне не сыграть этого, Ася!

- Вот глупости! Отлично сыграешь, коль скоро знаешь ноты. Твоя партия нетрудная, я буду считать вслух, темп возьмешь мед; ленный. Начинаем.

Первые шесть тактов прошли благополучно, на седьмом Аса взвизгнула:

- Си-бекар! Разве возможен бемоль в такой фразе? Неужели ты не слышишь?

- Мы, убогие, абсолютным слухом не обладаем. Слышу, что неверно, но почему я знаю, что именно!

- Сначала! - скомандовала она.

- Так точно. Слушаюсь.

Начали снова, но на том же седьмом такте Ася опять завизжала не хуже поросенка, которого режут:

- Ре-диез, ре-диез, ре-диез!

Олег испуганно снял руки.

- Я с диезами и бекарами, по-видимому, не в ладах. Лучше нам бросить, Ася.

- Ни за что! - был категорическим ответ. - Сыграй вот эти такты сначала и один. Так. Хорошо... Ведь вот можешь же! Начинаем.

- Ей Богу, мне страшно! Мысль, что впереди седьмой такт меня заранее парализует. Это грозное укрепление мне не под силу.

- Глупости. Начинаем. Хорошо, очень хорошо. Не замедляй. Опять неверно! - и она вскочила, сверкая глазами.

- Не могу! Клянусь, не могу, моя синеокая! Аккорд со случайными знаками для меня хуже, чем штурм укрепленного пункта. При одном приближении к нему я покрываюсь холодным потом. Пощади.

Смерив его уничтожающим взглядом, Ася перевернула несколько страниц.

- Попробуем вот это, если ты так боишься аккордов, здесь у тебя только мелодия. Не предполагала я, что ты способен теряться! Начинаем. Считаю на три.

Сыграли десять, двадцать, тридцать тактов - все благополучно!

- Слава Богу! - думал Олег. Однако понемногу в него начало закрадываться сомнение: благополучно ли? Гармония получалась подозрительная... Он вопросительно взглянул на жену и встретил взгляд разгневанной Дианы.

- Кажется, я путаюсь? - пробормотал он нерешительно.

- В самом деле? А я все жду, когда ты, наконец, услышишь? Уж полстраницы, как мы идем врозь. Считай, на котором такте ты остановился!

Голос ее звучал неумолимо.

- На сороковом. А у тебя серок первый? Ну вот - разошлись мы только на один такт!

- На один! Да неужели же ты не понимаешь, что это уже все равно - на один или на два! Сначала! - в голосе была та же неумолимость.

Опять начали кое-как.

- Отчего у тебя пальцы, точно макароны: путаются-путаются, а звука никакого. Нельзя так вести мелодию. Вот я пересажу тебя в бас - тебе же хуже будет!

- Ласточка моя, я ей Богу не виноват - и рад бы, да не выходит! Притом ты меня так терроризируешь, что я от одного страха запутываюсь. С того дня, как я играл в четыре руки еще с покойной мамой, я не прикасался к роялю. Ведь это целая вечность, а в лагере я был на самой грубой работе - чего же удивительного, что у меня пальцы не гнутся.

Упоминание хотя бы самое беглое о минувших бедствиях Олега всегда имело на Асю магическое действие, наполняя тотчас же теплом ее сердце.

- Бедный, милый, любимый! Какая же я злая! Прости свою Кису! - и она бросалась к нему на шею.

- Я и не подозревал, что моя жена способна так сверкать глазами! Маленькая Жанна Д'арк или амазонка! - говорил он, обнимая ее.

Ася смеялась, а потом просительным голосом говорила:

- Попробуем еще раз. Я теперь буду доброй.

Тем не менее, четырехручие не налаживалось. Тогда Ася ухватилась за другой план: еще года три тому назад она и Леля под руководством Сергея Петровича разучили целый ряд народных русских песен. Красота и благородство старинных протяжных напевов, исполняемых асарелла [81], настолько увлекли Асю и Сергея Петровича, что они готовы были каждый свободный вечер проводить за пением; дело обычно тормозила Леля, которая не всегда оказывалась под руками и не всегда имела желание петь. Однако она считалась с желаниями Сергея Петровича, и ансамбль процветал. После ссылки Сергея Петровича Асе первое время очень не хватало пения. Теперь они задумали воскресить его. Она несколько раз слышала, как Олег, трудясь над пылесосом или согревая себе воду для бритья, втихомолку мурлыкал старые офицерские песни, и заключила, что голос и слух у него достаточно хороши для участия в ансамбле. Трудность заключалась в том, что ей самой теперь предстояло занять должность Сергея Петровича. И в самом деле: начавшиеся спевки протекали так же бурно, как неудавшееся четырехручие, так как фальшивая нота оказывалась единственным, но безошибочным средством вызвать на раздражение Асю.

- Начинаем! - говорила она, усаживаясь под люстрой посередине бывшей гостиной, и, не справляясь с камертоном, который держала только как символ власти, задавала тон.

- Подожди, подожди! - тотчас напускалась Леля, - Видишь, я еще не высморкалась и не уселась. Всегда не вовремя!

Ася пережидала несколько минут и задавала снова.

- Стой! - тотчас раздавалось восклицание Олега. - Слишком высоко! Мне за тобой не вытянуть, возьми по крайней мере на два тона ниже.

Ася задавала в третий раз. Голоса были недурны у всех троих, особенно у Лели, и при удачном исполнении Наталья Павловна и мадам требовали bis. При разучивании, однако, неизбежно подымался шум.

- Ми чистое, Леля, ми чистое! - кричала Ася. - Ты детонируешь!

- Шумишь попусту! Я понятия не имею, в какой тональности мы поем, и название ноты мне

ничем поможет. Вот Сергей Петрович показывал мне голосом, и с ним я была, как за каменной стеной.

Лицо Аси принимало обиженное выражение.

- Я стараюсь, как могу, а вы оба безухие: ты, Олег, тоже не дотягиваешь верхнюю ноту, и получается насквозь фальшиво.

- А ты не завывай, когда задаешь тон. Я и так давлюсь на верхнем соль. Я не умею петь фальцетом.

- Я не завываю! Всегда-то я у вас виновата! Ну, постарайтесь! Ну, милые, ну, дорогие! Постарайтесь!

- Ася, если ты будешь так волноваться на этих спевках, я запрещу тебе эти занятия! - раздавался голос Натальи Павловны.

Для Олега эти вечера в домашнем кругу и постоянное соприкосновение с целомудренной душой, лишенной самого тонкого налета пошлости, были целительным бальзамом. «Я готов был проклясть свою жизнь, а между тем, если бы не было этих мук в недавнем прошлом, я, может быть, вовсе не познакомился бы с ней. В прежнем обществе я легко мог еще юношей влюбиться в одну из многих очаровательных девушек и не узнал бы лучшей из лучших. Я готов благословить и раны, и лагерь, а вот большевиков благословить все-таки не могу - они враги моей Родины и палачи моей семьи».

У Аси были свои мысли по поводу ее отношений с Олегом, но она доверяла их только Леле.

- Знаешь, мне иногда очень стыдно за мое счастье... Ты удивляешься? Я не знаю, как это объяснить... Когда я вижу вокруг себя столько печальных лиц: бабушку, твою маму, Нину Александровну и еще многих, мне делается как-то совестно за свой сияющий вид и за свое слишком большое счастье. Почему только я?

- Но твоя бабушка и моя мама были счастливы в свое время. На мой взгляд для полного счастья тебе не хватает еще многого, - возразила Леля.

- Смотря по тому, в какой плоскости, Леля! Жизнь идет теперь с такими чудовищными искажениями и ненормальностями, что безоблачным счастье, конечно, быть не может. Я бы хотела вернуть дядю Сережу и еще многих, многих; я бы хотела, чтобы мне не приходилось постоянно опасаться за Олега, он часто говорит: «Твой муж ненадежен!» - и всегда ждет вызова «туда»; я бы хотела, чтобы Олег не вынужден был работать так долго, он взял уроки после службы и очень устает... Конечно, я многое бы хотела изменить, но это касается внешней жизни, а я имела ввиду наши отношения: в плоскости отношений я бы не могла быть счастлива больше, чем теперь, а я в ведь очень требовательная: если бы я хоть раз услышала, что муж говорит со мной небрежно, ворчливо или с упреком, мне стало бы невыносимо обидно, и я бы этого уже никогда не забыла. Но я вижу, что его взгляд становится лучистым, когда обращается на меня, - вот мое счастье.

Леля задумчиво помешала в камине, около которого они сидели.

- Интересно, каков-то будет «мой»? Он должен быть немного в другом роде. Мне мужчины из «бывших» не нравятся. Они все какие-то пришибленные, с постными лицами. Шура - невинный теленок и маменькин сынок; твой Олег - мужчина, конечно, настоящий, но он слишком серьезен и чересчур уж пропитан хорошим тоном. Валентин Платонович интересней, но рискнуть, шикнуть, завертеть остерегается - опять хороший тон; в дворянской семье с девушкой мужчина должен держаться уже известным образом, а мне все это приелось до тошноты.

- Валентин Платонович ухаживает за тобой, - сказала Ася.

- В последнее время даже очень энергично. И я вижу, что маме страшно хочется, чтобы он сделал мне предложение. Знаешь, что в глазах мамы главным образом говорит за него? Не то вовсе, что он зарабатывает прилично! Он красиво, по-офицерски кланяется и подходит к ее ручке; в обществе он сыплет остротами, он - свой, прежний, он - паж, это все определяет! Меня считают наивной и никому в голову не приходит, сколько я понимаю молча, про себя. Я всю мамину дипломатию насквозь вижу: она все время расхваливает Валентина Платоновича и

пускает в ход даже такие козыри, как то, что он дружен с Олегом и что его жалует своим расположением Наталья Павловна. Мама, по-видимому, смертельно боится, как бы я не отказала ему. А мне иногда досадно на Фроловского: в нем есть что-то наперцованное, а он облачается в рыцарские доспехи, которые мне вовсе не нужны. С ним можно было бы очень весело провести вечер, если бы он захотел совсем немножко изменить тон – ну, пусть бы нежданно-негаданно поцеловал меня или умчал на крышу «Европейской» гостиницы... хоть какую-нибудь экстравагантность!... Я думаю, я окажусь в будущем темпераментной женщиной: когда-нибудь меня прорвет, вот как весной плотину, и уж, конечно, я буду очень капризной женой...

– Глупости, Леля. Ты всегда что-нибудь выдумываешь, чтобы доказать, что ты нехорошая, и никто все равно этому не поверит. А что ты ответишь Валентину Платоновичу, если он в самом деле сделает тебе предложение?

– А вот еще не знаю. Я думаю, я отвечу «да»: он мне все-таки нравится и когда, наконец, станет смелым, я уверена, что он... что мы подойдем друг к другу. Знаешь, я уже давно поняла все о мужчинах и женщинах. Я сама удивляюсь, как это вышло; из книг, самых дозволенных, из обрывков разговоров я все уяснила себе еще в 16 лет. Теперь мне кажется, что все это я всегда знала и никогда не была наивной. Кстати, о «крыше». Знаешь, что случилось в последнее воскресенье? Соседка, Ревекка, взяла меня с собой в гости к своей сестре; был там их знакомый – инженер будто бы, теперь ведь все именуют себя «инженерами». По типу – армянин, и очень недурен, а может быть, и еврей – не поручусь. Сначала я ничего не заметила, а когда сели пить чай, вижу – ухаживает: комплименты мне говорит, угощает, забавляет анекдотами, самыми пикантными, у нас таких не рассказывают; я все время боялась покраснеть. Ну, а когда собралась уходить, он вышел тоже. В двух шагах стоянка такси; он подходит к машине, распахивает дверцы и говорит: «Прошу вас! Если желаете – прямо на крышу «Европейской» гостиницы!» Я остолбенела от неожиданности и... знаешь... отвернулась и ушла, не оборачиваясь. Я все-таки хочу для себя чего-то лучшего, чем случайные объятия... постороннего.

Ася испуганно схватила ее руку:

– Неужели он в самом деле имел дурные цели, приглашая тебя? Я думала это только в романах!

– Не сомневаюсь! – усмехнулась Леля. – Я хорошо знаю мужчин. Ты скажешь, что мне неоткуда их знать, если я знакома только с двумя-тремя из нашего избранного общества, а все-таки я их знаю, я тебе говорю: я все поняла достаточно, чтобы уже ничему не удивляться и не строить себе иллюзий. Скажу тебе по секрету: я однажды уже побывала в «Европейской», только это было менее рискованно и эксцентрично, так как это было днем и не на крыше, а в зале; притом я была с Ревеккой и ее мужем. Ревекка очень бережно ко мне относится: мама напрасно косится на это знакомство. Конечно, это совсем другой круг – это новая, советская интеллигенция, выходцы из низов, евреи, два-три армянина, есть и русские. Это все дельцы, у них есть деньги, они гораздо увереннее и веселее. Говорят, гепеу начинает коситься на тех ответственных работников, у которых завелись большие деньги. Ходит даже анекдот, что с «крыши» видны Соловки. Но эти не унывают: как только приехали в ресторан, тотчас каждой даме – воздушный шарик, цветы, конфеты, блюда, какие пожелаем... Деньги так и летели... Между столиков танцевали фокстрот, и я танцевала тоже. Я имею там успех: это своего рода экзотика для них – русская аристократочка. Ты вот там никогда не побываешь!

– Почему же? Олег не откажет, если я попрошу. И шарик, и цветы купит. А только пойти в филармонию для нас удовольствие большее, чем ужин в ресторане, а ведь надо истратить кучу денег...

– Вот об этом я и говорю: ты, как жена своего мужа, будешь с ним вместе решать, как лучше истратить ваши общие деньги; а когда их бросает чужой мужчина с тем, чтобы провести с тобой вечер, в этом есть особое наслаждение, пикантное и острое, и оно наполняет тебя желанием очаровать этого человека, который сам, очевидно, желает того же... Во всем этом есть что-то пряное, одурманивающее, чему не место с человеком, которого ты уже изучила, с

которым встречаешься в ежедневной жизни. Может быть, в моих новых знакомых есть привкус дурного тона, мама потому и воюет, но это ново для меня и любопытно при нашей однообразной жизни.

И прибавила, грея перед камином руки:

- А я вчера весь вечер боялась, как бы тебе не попало!

- Я и сама боялась! Помнишь даму, которой Олег помог получить тело мужа? Бабушка и Олег сказали, что дальнейшие посещения ни к чему, а я все-таки забежала к ней потихоньку вчера, в сочельник. Она обласкала меня и усадила пить чай; я сижу, как на иголках - знаю, что вы меня ждете и что я опаздываю к тому моменту, когда бабушка велит зажечь елку; встать же и уйти - значит оставить человека в рождественский вечер одного... А тут еще котенок, которого наша Хрычко собралась усыпить: она уже запрятала его в кошелку, всхлипывая и причитая, и сама уже повязалась платком, а я, убегая, выкрала кота из кошелки под самым ее носом, сунула в муфту и улепетнула, как вор. Я надеялась упросить эту даму взять малыша к себе; к счастью она согласилась и все устроилось наилучшим образом и для нее, и для кота.

- Так! - протянула Леля. - Хрычиха ваша искала своего смертника по всем углам и ругалась, а я сразу сообразила, что тут не без твоего участия. Я помню: в детстве, если ты находила свою куклу на полу, ты уверяла, что она обиделась, озябла и плачет, и бросалась ее целовать.

- Что кукла! Я, бывало, карандаши жалела: вот наточит нам мадам новые цветные карандашники, и если ты или Вася скажете, что один наточен хуже, я непременно возьму самый плохой, чтобы он не обижался и не плакал. Я уж никому об этом не рассказывала - сама понимала, что чересчур глупо, - она усмехнулась, но Леля оставалась серьезна.

- Твой Олег говорил раз, что ты, наверно, благодаря твоему тонкому слуху, иногда слышишь тайные мысли! Но я не думаю, чтобы ты в самом деле могла слышать тайные мысли, ни карандашные, ни кошачьи, ни человеческие; уж скорей я это сумею. Вот вчера я встретила Нину Александровну с незнакомым мне моряком и тотчас почувствовала, что ей досадно на эту встречу.

- Глупости какие! Ну почему «досадно»?

- А если этот элегантный моряк ухаживает за Ниной Александровной и она не хочет, чтобы в вашей семье знали это?

- Нина Александровна сумеет, поверь, прекратить всякие попытки в этом роде, и скрывать ей нечего.

- Ты так уверена?

Вошел Олег.

- Пожалуйте обе в гостиную - к нам пришел Валентин Платонович.

Обе сестры метнулись к зеркалу: Леля бросилась пудрить носик (что можно было сделать только потихоньку от старших дам), Ася окинула беспокойным взглядом свою талию; пока беременность не изменяла ее фигуру, она уверяла своих домашних, что и дальше будет так же:

- Вот увидите: никто даже не заподозрит; а потому «вдруг» узнают, что у меня беби - вот удивятся-то!

Наталья Павловна и мадам с сомнением качали головами, выслушивая такие прогнозы, а Олег неизменно начинал уверять, что как бы ни было дальше - она всегда останется одинаково очаровательна.

За последние две недели положение несколько изменилось, и Ася призналась сама себе, что ее хвастливые уверения были весьма опрометчивы... Выходя теперь к гостю, она чувствовала себя несколько смущенной... «Во всем виновата узкая юбка. Жаль, я не переоделась!» - думала она. Глаза Валентина Платоновича не задержались на ней, к счастью, и полсекунды, когда он пошел к ним навстречу со словами:

- Привет очаровательному Леасю!

Он явился прямо из кино поделиться с друзьями впечатлением. Перед началом фильма демонстрировался журнал, долженствующий обработать соответственным образом мнение трудящихся по поводу предстоящей паспортизации, а в сущности это было попросту

натравливание одних социальных группировок на другие. Провинциальная контора по выдаче паспортов; счастливые работницы одна за другой прячут за пазуху драгоценный документ – путевку в лучшую жизнь! Но вот появляется бывшая владелица мелочной лавочки, глаза ее беспокойно бегают, и весь вид самый жалкий и растерянный... В паспорте ей, разумеется, отказывают, и все присутствующие удовлетворенно улыбаются, уверенные, что отныне классовый враг обезврежен и ничто уже не мешает их счастью... Другая сцена – митинг на заводе; классовый враг, желая получить паспорт, заявляет о себе: «Эти мозоли я нажил, стоя у станка!» Но сознательная молодежь его разоблачает, доказывая, что в недавнем прошлом... и т.п. и т.п.

– Одним словом, приятно провел время и теперь преисполнен самых радужных надежд на будущее! – говорил Валентин Платонович, играя с пуделем, который прыгнул к нему на колени, как только он уселся в качалку в самой элегантной старорежимной позе.

Ася смотрела, как Фроловский зажимает пуделю нос и треплет длинные шелковые уши, и почему-то припомнила слова старой крестьянки, в избе которой проводила однажды лето; крестьянка эта сказала:

– У вас – у бар – животное и завсегда первее человека.

«В словах этих есть доля правды, – думала сейчас Ася, – станет разве Валентин Платонович ласкать крестьянского мальчика так, как ласкает пуделя. А бабушка? Я до конца моих дней сохраню в памяти бабушкину руку, унизанную перстнями и лежащую на голове Дианы, но нельзя себе вообразить бабушку, ласкающей Павлика и его – прильнувшим к ее груди!»

Тотчас после ужина Валентин Платонович странно коротко и серьезно сказал Олегу:

– На два слова, конфиденциально.

И оба вышли в бывшую диванную с разрешения мадам, которая превратила эту комнату в свою спальню.

– В чем дело? – спросил Олег.

– Я прежде всего прошу тебя, чтобы этот разговор остался между нами. Обещай, что не скажешь даже жене. Три дня тому назад я получил приглашение в гепеу.

– Ах, вот что! Продолжай, пожалуйста.

– Там мне преподнесли: «Нам хорошо известно, что вы окончили Пажеский в тысяча девятьсот пятнадцатом году». Я поклонился: «Имел несчастье», – говорю. «Скажите, встречаетесь ли вы с прежними товарищами?» – «Нет, говорю. Очень занят, нигде не бываю». А они мне: «Стереотипная фраза, которую мы знаем наизусть! Перечислите нам ваших однокашников». Я стал называть им мертвецов, перечислил старательно всех, о которых точно знаю, что погибли; мне уже ясно стало, что выведывают о ком-то из нашего выпуска. Набралось фамилий 15-20. «Так, говорят, а Дашкова отчего не назвали?» Я уже хотел ответить «убит в Крыму», но показалась мне неуверенность в их вопросе – знаю ведь я их манеру говорить о не установленном факте, как о вполне достоверном, чтобы вернее заставить проговориться. Почуял, знаешь, что и здесь не без того. Попробую, думаю, сбить со следа, рискну. «Дашков, отвечаю, не нашего выпуска – лет на пять старше, Дмитрий Андреевич, капитан, убит в боях за полуостров». «Точно ли убит?» – спрашивают. «Слышал от очевидцев», – отвечаю. И вдруг они мне преподносят: «А к кому вы ходите на улицу Герцена? Какие у вас там товарищи?» – «Помилуйте, говорю, товарищей там у меня нет: там старуха и внучка прехорошенькая, с которыми я знаком с детства. Регулярно бываю у них раз или два в месяц». «И с мужем внучки знакомы?» – спрашивают. «Познакомились на их свадьбе, – отвечаю, – простоват немножко, «а ля мужик», однако парень симпатичный!»

Олег усмехнулся.

– Ну, так ты, положим, не сказал! Что же дальше?

– Взяли расписку, что разговор останется в тайне, и отпустили. Я хотел прийти на другой же день, да побоялся, что такая поспешность покажется подозрительной, могли следить... решил прийти будто бы с воскресным визитом к Наталье Павловне.

– Спасибо тебе, Валентин, ты оказываешься хорошим другом.

- Это со мной случается только в гепеу. Учти - ты у них на подозрении.

- Я знаю, что я у них на подозрении, - ответил Олег. - Не так давно я сам пытался их уверить, что Дашков существовал только один - Дмитрий. Твое показание вполне согласуется с моим, что чрезвычайно для меня ценно. Один верный человек говорил мне, что архив Пажеского уничтожен и списков пажей нет. Маленькая отсрочка! Только бы тебя не притянули при случае за ложное показание.

- Все, что называется, под Богом ходим. Загадывать заранее не стоит. Я тоже слышал, что архив уничтожен одним из наших доброжелателей. Не будь этого, многих бы из нас давно выловили. А на меня был донос бывшего лакея моего покойного отца. Теперь весьма сомнительно, что репрессия может миновать меня. А я как раз было вознамерился взять пример с тебя и сделать прыжок в добродетельную жизнь, к величайшей радости тамап, которая жаждет стать бабушкой.

- Твоя мать знает про донос?

- Знает и переволновалась так, что с сердцем плохо было. Но у меня правило: никогда не из чего не делать трагедии. Ну, времечко! На виселицу бы этих гепеушников всех до одного, а этот смердящий пролетариат, вроде ваших Хрычко и моего Викентия, отлупить бы казацкой нагаечкой. Прощай, дружище!

Они пожали друг другу руки. За чертами нахмуренного мужского лица внезапно промелькнуло лицо кадетика, а за ним - классы корпуса и детские шалости...

В соседней комнате стояла Леля и перебирала крошечные распашонки и чепчики, разложенные на рояле. Фроловский вытянулся перед девушкой:

- Милая Еленочка Львовна! Я глубоко сожалею, что в настоящее время установилась такая скверная погода! Наш величайший Третьяковский сказал:

Северные ветры дуют,  
гулять я не пойду!

- К сожалению, и я должен сказать то же самое, и чем вы очаровательней, тем мне досадней, что барометр стоит так низко. Разрешите откланяться.

Девушка с изумлением подняла на него глаза: в этот раз она ничего не поняла.

## **Глава одиннадцатая**

### **ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ**

2 февраля. Моя тоска подымается все выше и выше, как вечерние облака: я опять овладела собой - для себя ничего не жду, никому не завидую. Я замечала, что когда долго не вижу его - успокаиваюсь; но иметь известие о нем мне необходимо, так как тревога за него вносит в меня смятение; что же касается встреч - они меня неизменно выводят из равновесия.

3 февраля. Ко мне приехала из деревни прежняя бабушкина горничная. Она появилась у нас в квартире, когда я была на работе, и поджидала меня, сидя на кухне на своем тюке. Когда я вошла, она бросилась ко мне с восклицанием «Барышня, миленькая вы моя!» - и к ужасу моему стала целовать мне руки. Это сделано было от полноты души, уж никак не по привычке, так как жест этот не культивировался в нашем доме, но мои кумушки, свидетельницы этой сцены, уж почесали себе по этому поводу язычки. Даша эта провела у меня сутки, даже переспала на диване; жаловалась на жизнь, уверяла, что сельсовет разоряет, и будто бы каждую семью, в которой корова и лошадь, считают уже кулацкой. «Мы всегда тем держались, барышня, что жили единым гнездом и отродясь никто из мужиков у нас не пьянствовал. Тятя содержит нас в строгости: и я, и мои братья, и золовки перед ним в струнку ходим; он нас не делил, а всякая работа у нас завсегда спорилась - вот и причина, что живем хорошо; за что же нас в кулаки? Этак выходит, что только пьяницам да лентяям теперь жить? Тятка говорит, что коли зачнут его в колхоз загонять насильственно, он сейчас переколет и корову, и телушку, и гусей, а

ежели погонят из дома – своей рукой перерубит и яблони, и ульи, а смородиновые кусты кипятком зальет, чтобы сельсоветам ничего не досталось. Вот уж дожили мы, барышня, до безвременья, прогневили видно Господа!» – и все время вытирала слезы!

4 февраля. Известие о «нем», и неблагоприятное: опять плеврит. Вчера еще я видела в рентгене Лелю, и она уверяла меня, что все благополучно; ну как замалчивать такое известие? Глупая эта Леля! Сообщила сама Ася: прибежала ко мне утром улыбающаяся, розовая от мороза, прехорошенькая в своем собольке, и заявила: «У меня к вам просьба: у моего Олега плеврит, доктор велел сделать банки, а я не умею! Не придете ли помочь? Вы так редко у нас бываете, и мы страшно рады будем случаю провести с вами вечерок». Я, конечно, сказала, что приду, и попросила рассказать о нем подробнее; к счастью, плеврит не гнойный и  $t^{\circ}$  не выше  $38^{\circ}$ . Ася торопилась домой и не хотела снимать пальто, говоря что madame поручила ей снести в кооператив молочные бутылки и выручить за сдачу их 10 рублей, пустые бутылки были у нее с собой в сетке; я спросила, не тяжела ли ей такая ноша, она ответила «нисколько» и улыбнулась самой сияющей улыбкой. Когда я закрыла за нею дверь, я слышала, как она напевала, сбегая вниз. Беспечность ее не знает предела. Она не хочет видеть ни нужды, ни опасности, ни болезни, ни своего положения – бывают же такие люди! Я не без злорадства оглядывала ее, но пока изменений в ее наружности не обнаружила. Кстати, я спросила: лежит ли он? Она ответила, что с ним не сладить и что, несмотря на запрещение, он все время бродит по комнатам. Не к чести тех, кто находится рядом! У меня бы этого не было. Итак, я его увижу сегодня вечером!

5 февраля. Была у них; досаду на многое: он явно не пользуется той заботой, которая необходима, да и материальные дела их, по-видимому, плохи. Если бы он не женился, он бы уже обзавелся всем необходимым, а теперь ему приходится содержать целую семью. Любопытная деталь: ужин был самый простой – картофель с солеными огурцами, а перед Асей француженка поставила котлетку и сливочное масло, которое, по-видимому, подается ей одной. Посередине комнаты у них стоит ящик, в который собирают посылку в Сибирь для сына Натальи Павловны. Когда после чая я вошла в его комнату попрощаться, я застала сцену, которая меня возмутила: она сидела на краю его кровати, а он обчищал мандарин и клал ей в рот по дольке; мандарин этот принесла я и как раз сказала, что для больного... Вижу по всему, что о себе он меньше всего думает; ходит все еще в старой шинели, отсюда и плеврит; а еще шутил по этому поводу: спросил меня и Лелю, какого литературного героя он нам напоминает; Ася смеялась – очевидно, уже знала, в чем тут секрет; я не решалась ничего сказать, а Леля сказала: Вронского! «Нет, Елена Львовна, куда там! Всего-навсего Акакия Акакиевича: у нас с ним одна цель – положить куницу на воротник». Ничего для моей души я от этого визита не вынесла; он влюблен, а она считает себя очаровательной и не допускает, по-видимому, чтобы тот студень, который у нее внутри при четырехмесячной беременности, мог уменьшить всеобщее обожание. Напротив, она, кажется, предполагает, что это должно еще усилить любовь к ней. Я бы на ее месте столь уверена не была.

6 февраля. «...Осколки игрою счастья обиженных родов!» Вчера Наталья Павловна была встревожена новым известием о ссылках; у нее есть общие знакомые с дочерью Римского-Корсакова: это пожилая дама – вдова с двумя дочерьми; одна из них выслана на этих днях по этапу в Сибирь, а старой даме в свою очередь вручена повестка. А прогос [82], Наталья Павловна, которая, кажется, знает весь прежний петербургский свет, рассказала и о семье фон Мекк: дочь фон Мекк Милочка просит милостыню на паперти в Самаре или в Саратове... Оперы Чайковского и Римского-Корсакова идут во всех театрах и приносят огромные доходы, а потомки и друзья... У меня уже больше нет слов!

7 февраля. Вся душа кровью исходит! Сегодня я была у Юлии Ивановны; разговорились, по обыкновению, и она сообщила мне случай, рассказанный ее соседкой по комнате; это студентка, которая ездила на зимние каникулы к родным; на одной из железнодорожных станций она вышла за кипятком и после вскочила в ближайший вагон, т. к. поезд уже трогался, а ее вагон был еще далеко. Тотчас же она в изумлении остановилась: вагон был весь

до отказа набит крестьянскими детьми, которые лежали и сидели на лавках и на мешках. Пробираясь между ними, она спросила девочку: кто она? Та подняла льняную головку и ответила: «Мы кулацкие дети». «Куда же вас везут?» – «Не знаю, куда», – и головка снова поникла. Студентка сделала еще несколько шагов и наткнулась на мальчика лет восьми, который лежал на полу, свернувшись на мешке. Ей показалось, что он болен; она наклонилась к нему и спросила: «Что с тобой, малыш?» Он поднял глазки, синие, как васильки, и сказал: «Знобит малость». «Куда же ты едешь?» Он ответил: «У тятки были две коровушки и яблочный сад; за такое дело увезли его и мамку, а потом пришли за мной». Студентка эта, по видимому, не лишена гражданских чувств: она говорит, что замерла посередине вагона, озирая это множество детей, оторванных от родителей, пока некто обличенный в форму гепеу не приблизился к ней, запрашивая, кто она и что здесь делает. Он попросил ее немедленно удалиться. Эта картина... Она ужасна! Это такая страшная правда! Отчаяние начинает хватать за горло. Отрывают от земли, гонят нашу крестьянскую старую Русь! Мучаются маленькие дети... И все молчат. И даже такие герои, как он, вынуждены бездействовать... Боже мой, Боже мой! Завтра я опять пойду к нему, и я буду не я, если не заговорю с ним на эту тему. Я не хочу, чтобы в нем зарастала любовь к Родине и закрывались раны души. Может быть, это жестокость с моей стороны, но я хочу, чтобы его всегда сжигал тот глухой огонь, который палит меня, – пусть каждую минуту своей жизни он пламенеет ненавистью. К нему можно применить слова: вы – соль земли! если соль перестанет быть соленой... и т. д. Он не должен слиться с бескостной, бесхребетной массой – нет, нет! Я не хочу этого, я не допущу.

8 февраля. Иногда мне приходит в голову странная мысль: копаясь в собственной душе, я прихожу к убеждению, что, не случись в России революции, я в мирной обстановке царского времени могла бы сделаться революционеркой (разумеется, не большевичкой). Все господа положения, все уверенные в собственной безопасности мне противны, а в каждом почившем на лаврах мне чудится мещанское самодовольство. Я всегда на стороне борющихся, подвергающих себя опасности, или преследуемых и гибнущих... Удержать меня от революционной деятельности в прежнее время могла бы лишь насыщенная опасностью необыкновенная по положению ситуация в жизни страны, что-либо героическое, куда бы я могла бросить все силы (как это и случилось в 1919 году). Идея религиозная меня не увлекает; я религиозна только в уме. Я сочувствую гонимой Церкви, но гражданские чувства во мне сильнее религиозных. В настоящей действительности все мои симпатии на стороне зажатой в пролетарский кулак интеллигенции, а этот самодовольный, разнузданный, раздувшийся от власти пролетариат невероятно противен. Сытые властью! Уж если нельзя без них – предпочитаю их видеть утонченными аристократами, но не выскочками. Нерусский тиран, спрятавшийся за кремлевские стены! Заявляет публично, что в нашей стране нет других партий, кроме коммунистической... Уж признался бы лучше, что он их раздавил, а держится только террором, какой и не снился нашей монархии!

9 февраля. Была у него, но поговорить не удалось: он был занят переводом с английского каких-то торговых бумаг. Бумаги эти привез его начальник по службе – еврей, который приехал на собственной машине; он был очень любезен, поднес Олегу пакет замечательных яблок для скорейшего выздоровления и тут же попросил не отказаться сделать перевод очень важного текста. Я выразила по этому поводу возмущение, говоря, что если б была в эту минуту в комнате, непременно сказала бы «товарищу Рабиновичу», что затруднять такими просьбами больного невеликодушно. Олег оторвался на минуту от бумаг и ответил на это: «У меня не такое положение на службе, чтобы я мог артачиться». Но мы: француженка, Ася и я – продолжали, однако, перекидываться фразами все по этому же поводу; тогда он снова поднял голову и сказал несколько сухо: «Прошу тебя, Ася, не отрывай меня: за этими бумагами пришлют курьера завтра утром».

10 февраля. Русь, моя Русь погибает! Мы не смеем назвать ее имени, мы не смеем называть себя русскими! Наши герои словно проклятию преданы: попробуйте-ка в официальном месте упомянуть об Александре Невском или князе Пожарском, о Суворове или Кутузове! Я уже не

говоря о героях последней войны. Русская старина, сохраненная нам нашими предками, отдается теперь на расхищение. У моей Руси скоро не останется старой потомственной интеллигенции – последняя пропадает в лагерях и глухих поселках! У нее отнимают религию: церкви и монастыри почти все закрыты, а теософские кружки и библиотеки разгромлены. Теперь гибнет старый патриархальный крестьянский класс, а с ним запустевают поля. Моя Русь погибает! О, зачем я не мужчина, я что-нибудь бы сделала: я с радостью пожертвовала бы жизнью, если б это могло; спасти мою Родину! Я не могу молиться – я вся сухая, замкнутая<sup>1</sup> и горькая, как рябина. Очень редко находит на меня восторженная; волна и отогревает сердце, тогда я обращаюсь к Высшим с порывом, идущим от самого дна, – так было после встречи с ним в филармонии, но так бывает очень редко. Русь погибает... Прекрасный Лик – тот, который мерещится моему внутреннему взору, – туманит скорбь. Моя Русь... Я точно слышу ее стон. Прошел час и я опять хватаюсь за перо. Мои мысли мне не дают покоя. «Река времени в своем теченье» все топит, видоизменяет, примиряет... Острота момента пройдет, новые формы понемногу отшлифуются, история даст свою оценку, а вот нам довелось биться в судорогах на рубеже эпох... Мучительный жребий!

11 февраля. Разговор состоялся, один из тех, ради которых стоит жить, после которого я вся как безумная. Я вся дрожу, готова бредить. Да разве может эта девочка любить так, как люблю я? Ну да Бог с ней – не до нее сейчас! Запишу разговор, хотя и страшно писать, запишу и унесу в дрова мое сокровище, частицу души. Мы провели вдвоем целый вечер, вот как это вышло: на мой звонок открыл он сам, накинув на плечи китель. Я тотчас; напустилась: почему он не в постели и подходит к дверям? Выяснилось, что вся семья ушла в Капеллу слушать Нину Александровну, которая солирует в концерте. Я тотчас почувствовала лихорадочный трепет – если заговорить, то сегодня! И вот, окончив возню с банками, я, упаковывая их, рассказала о том, что было в поезде! У него заходили скулы на лице.

– Да, – сказал он, – сняли с мест, сдвинули нашу черноземную силу, нашу патриархальную Русь – те лучшие хозяйства; и хутора, которые насаждал Столыпин, в которых Царское правительство думало найти опору. Насадить этот класс снова будете не так легко: оторванная от родных очагов молодежь не захочет возвращаться к земле. Пролетаризация крестьянства и перенаселение городов и так уже идут полным ходом, а насильственная коллективизация разорит деревню дотла. Правительство слишком неосторожно подтачивает благосостояние страны. Как бы не пришлось ему пожалеть об этом! То, что мы с вами любим, Елизавета Георгиевна, – русская здоровая крестьянская среда – с ней... покончено!

Мы помолчали, а потом он заговорил опять:

– Диктатура пролетариата! Здесь есть нечто омерзительное! Пролетариат – наиболее испорченная и нездоровая часть населения, в которой моральные устои обычно раскачаны, которая отрешилась от патриархального уклада, но еще не приобщилась к культуре. И вот этой как раз части населения дать хлебнуть власти, дать наибольшие права, натравить ее на другие классы, разнуздать – это такой страшный опыт, который может навсегда погубить нацию. А тут еще узбеки и казахи, которых в таком изобилии вербуют в палачи и которыми наводнены органы гепеу. А тут еще евреи – эти маркитанты марксизма, которые ненавидят христианскую религию и русское дворянство... Россия больна смертельно, и неизвестно, излечится ли она когда-нибудь!

Он заметил, наверное, что мои глаза полны слез, и пожал мне руку, а я прошептала: «Неужели же ничего, совсем ничего нельзя сделать»

– Милая девушка, что? Должны пройти многие годы, пока вскрыется этот нарыв, и созреют силы к борьбе. Но и тогда неизвестно, можно ли будет сделать что-нибудь без толчка извне. Поймите, что сейчас опереться не на кого, никакая конспирация немислима: двум-трем человекам невозможно собираться так, чтобы это не стало тотчас известно. Не зря ведется эта преступная кампания по ликвидации собственных квартир и превращению их в коммунальные: ведь это так облегчает шпионаж! Советская власть не брезгует никакими методами, я убедился в этом еще в семнадцатом году. Вы слышали об июльском наступлении во время

двоевластия? Знаете вы, почему оно «захлебнулось», как они выражаются? Я был одним из участников этих боев – я знаю! Временное правительство выкинуло лозунг: «Война до победного конца», – и мы могли победить, могли! Была полная договоренность с Антантой, было подвезено неисчислимое количество боевых снарядов; неправда, что их не было: за годы Двинской обороны мы их собрали, и союзники нам помогли в этом; у нас были силы, а Германия уже изнемогала. Оставалось сделать так мало! Какие-нибудь два месяца напряженной борьбы, и мы бы погнали, как гнали при Суворове, а после гнали французов. Но этот большевистский лозунг «Долой войну» губил все! Они понимали, что если Россия победит, она выйдет окрепшей, а им надо было развалить, погубить ее! Ну что ж! Они это сделали: открыли фронт, призывая к братанию – последствия известны! Я никогда не забуду июльское наступление: в то же время, как многие части уже ушли в атаку, другие части не двинулись – восстание, подстроенное большевистской агиткой! Худший вид предательства: своих товарищей по битвам, своих русских, которые уже ушли, уже бьются, предать своих! Я командовал тогда «ротой смерти»; мы прорвали проволочные заграждения противника и овладели целым рядом укрепленных пунктов, мы зашли очень далеко, и вот... мы одни! Мы вызываем подкрепления, чтобы двинуться дальше, мы посылаем связных – тишина! Никто не идет к нам на помощь, никого, никакого ответа! Не выходят даже санитарные отряды. Мы преданы, брошены. Мы понять не можем, в чем дело! Я на своем участке имел такой успех, что не мог поверить приказанию отступить, когда оно, наконец, было получено, я затребовал, письменное распоряжение Брусилова и до вечера удерживал позиции, пока ординарец генерала не доставил требуемый приказ. Немцы сто раз успели бы нас окружить и раздавить, но они оставались инертны, оглушенные нашим ударом. Елизавета Георгиевна, мы уходили назад по трупам наших товарищей, мимо проволочных заграждений, на которых бессильно повисли наши раненые, – и никто не пришел к ним на помощь! Наша отвага была поругана, осмеяна! Вскоре мы поравнялись с местом, где слег почти весь женский батальон; вид этих растерзанных женских тел был так ужасен и непривычен! Я в ужасе отворачивался, все ускорял шаг. Это походило на бегство! Я всего ожидал, но не этого; я ожидал победы – большой, решающей, и она уже шла к нам в руки, она начиналась... Большевики сорвали ее! С того дня они мои смертельные враги! С тех пор пошло, и чем дальше, тем хуже. Советская пропаганда все больше и больше расшатывала дисциплину; такая мелочь, как отмена отдачи чести, окончательно ее подточила, участились неповиновение и расправы над офицерами, в нас уже переставали видеть начальников. Мысль, что мы теряем время, что мы даем немцам возможность собраться с силами и оправиться, меня изводила. Я пробовал на свой страх и риск делать разведки, иногда самые отчаянные: мы проникали иногда на несколько километров за линию фронта и никого не встречали, кроме русских, таких же добровольных разведчиков, как и я. Немцев не было, их укрепления пустовали! И вот в такое время большевики призывали к братанию и открывали фронт! Достижения такой войны сводились на нет! На этой мысли можно было с ума сойти! Скоро мне стало известно, что большевистские ячейки одной из распропагандированных рот приговорили меня к смерти за то будто бы, что я активно влияю на окружающих, побуждая их к продолжению войны, и олицетворяю будто бы собой доблесть царского офицера. Да, да, Елизавета Георгиевна, уже тогда приговорили: состоялся заговор; несколько преданных мне солдат меня предупредили. Я не очень поверил этому сначала и, однажды, чуть было не попался по неосторожности в их руки: я сам вошел в их логовище – блиндаж, где собрались солдаты этой роты; двое из них быстро загородили мне выход, я это заметил; я тотчас встал в угол и выхватил шашку и револьвер. Они переглядывались, но медлили: они знали, что я недешево продам свою жизнь и первый, кто осмелится подойти, упадет мертвым. Гнусность не содействует храбрости! Тем временем денщик мой поспешил мне на выручку с несколькими верными солдатами. В этот же день меня вызвали к генералу: он сказал, что уже приготовил приказ отчислить меня в отпуск, и прибавил: «Уезжайте как можно скорее: мне совершенно точно известно, что вы приговорены Советами. Представляете ли вы себе, как легко убить офицера? Ночью ли во время объезда, или у передовой цепи... На

шалую немецкую пулю можно свалить все! Я говорю по-отечески, желая спасти вам жизнь. Сделать вам здесь все равно ничего не дадут: теперь не нужны такие офицеры, как вы! На днях, вероятно, начнется демобилизация в массовом порядке». И он протянул мне руку... Теперь не нужны такие офицеры, как я! Хотел бы я знать, какие нужны?

Он остановился и прибавил более спокойно:

- Это было за месяц до захвата Зимнего.

Я хотела расспросить еще о многом, но вернулась француженка; она с обычной живостью стала рассказывать, что Нина Александровна имела огромный успех, и ей была преподнесена чудесная корзина цветов. Ася и Наталья Павловна пошли с концерта к ней. Наш разговор был окончен! Когда я уходила, у него оказалось 38° с десятками: очевидно, он слишком волновался. Это моя вина, но я не хочу, чтобы минувшее покрывалось пеплом, не хочу!

12 февраля. «Теперь не нужны такие офицеры, как я!» Сегодня весь день я повторяла эту фразу. Сколько в ней горечи! Он с молоком всосал доблесть, она запечатлелась с детства в каждом его движении он ее блестяще обнаружил на фронте 18-летним юношей и вот приговорен к смерти за то, что верен Родине, за то, что не жалел сил для ее славы, для ее будущего... Я плачу.

13 февраля. «Теперь не нужны такие офицеры, как я!» Эта фраза как невидимым ключом раскрыла мне сердце, и я опять молилась вот с тем порывом, о котором писала на днях: молилась за Россию, а потом за него - чтоб черная месть не коснулась его и он стал бы Пожарским наших дней! После таких молитв странно идти на работу и принимать участие в ежедневном распорядке... Я живу двойной жизнью.

14 февраля. Была опять у них с банками и попала в переполох: прибежала неизвестная мне Агаша (по типу прежняя прислуга) и стала взволнованно повторять: «Молодого барина гонят в Караганду, а барыне Татьяне Ивановне плохо с сердцем, и не придумаю, что теперь у нас будет!» Все очень взволновались, Ася стояла бледная, как полотно; Наталья Павловна подошла к ней и, целуя ее! в лоб, сказала:

- Не волнуйся, крошка. Сколько мне известно, Валентин Платонович ожидал этого со дня на день. Я сейчас же иду к Татьяне Ивановне.

В эту минуту из спальни вышел Олег и прямо направился! в переднюю. «Я пройду с Натальей Павловной к Валентину», - сказал он, беря фуражку. Мы все стали его уговаривать, объясняя, как рискованно выходить с t°, да еще после банок; Ася повисла на его шее; он мягко, но настойчиво отстранил ее и сказал: «Не трать зря слов - Валентин мой товарищ», - и вышел все-таки. Ася, всхлипывая, повторяла: «Как жаль Татьяну Ивановну: у нее два сына погибли, один Валентин Платонович остался. Как жаль!» Я спросила, с кем останется эта дама. «С ней Агаша, прежняя няня, и две внучки этой Агаши», - сказала Ася, а мадам прибавила: «Madam Frolovsky a une bon coeur mais ces deux fillettes, dont elle a elevee et mignardee, sont impertinentes et ignorees [83]» Она попросила меня остаться с ними и выпить чаю, чтобы помочь ей развлечь Асю, и несколько раз повторяла, успокаивая ее: «Allons, ma petite! Courage! [84]». Мы сидели за чаем втроем, и над всем была разлита тревога. Мадам вытащила старую детскую игру «тише едешь - дальше будешь» и засадила нас играть; она с азартом бросала кости и при неудачах восклицала: «Sainte Genevieve! Sainte Catherine! Ayez pitie' de moi! [85]». В конце концов, ей все-таки удалось рассмешить Асю. Я так и ушла, не дождавшись ни Натальи Павловны, ни Олега. Уже в передней, прощаясь со мной, Ася очень мягко сказала мне:

- Знаете ли, я никогда не говорю с Олегом про военные годы: это для него как острое ножа!

Просьба самая деликатная, и я поняла, что он передал ей наш разговор. В этом пункте, однако, я не намерена следовать ее предначертаниям, хотя голосок и был очень трогателен. Стоя в передней, она зябко куталась в шарфик, накинутый поверх худеньких плеч; несмотря на это, я все-таки заметила изменения в ее фигурке. Мне было жаль, что она так расстроена и печальна, и вместе с тем я с новой силой почувствовала, что, касаясь ее, все становится редким и дорогим украшением: даже беременность, через которую проходит каждая баба. Она талантлива, она хороша и обожаема, она под угрозой, и теперь эта ворвавшаяся так рано в ее

жизнь мужская страсть, и будущее материнство, и мученический венок, который уже плетется где-то для нее, – все проливает на нее трогательный и прекрасный отблеск! Наверное, поэтому я неожиданно для себя опять чувствую себя под ее обаянием, а еще толковала про студень. Очевидно, я не из тех женщин, которые желают извести соперницу, а уж я, кажется, умею ненавидеть!

## Глава двенадцатая

Старый дворник Егор Власович, выходя из своей комнаты с очками на носу, часто говаривал, что на их кухне осуществляется древнее пророчество, начертанное в Библии и гласившее, что придет время, когда за грехи людей около одного очага окажутся несколько хозяек. И в самом деле: 5 столов и 5 мусорных ведер выстроились в этой кухне, представляя собой 5 хозяйственных единиц. Среди них стол бывшей княгини выделялся обычно множеством немытой посуды, в то время как столы Аннушки, Надежды Спиридоновны и Катюши, казалось, соперничали до блеска чистыми клеенками. Стол Вячеслава отличался странной пустотой: на нем красовался только примус. Но каким бы видом ни отличались столы, в целом о чистоте этой кухни, предугаданной пророком, заботилась одна лишь Аннушка. В это утро она только что кончила мыть пол и разложила чистые половики, как, словно нарочно, начались звонки и хождения. Сначала саженными шагами проследовал в свою конуру Вячеслав, за ним проскочил Мика с ранцем; а потом – Катюша, сопровождаемая вихрастым парнем. Тут уж Аннушка не выдержала и наорала на обоих: заследили весь пол! Коли так небрежно относятся к чужой работе, пусть другой раз Катюша сама моет! Нечего ей барыней прикидываться! Вот Нина Александровна и Надежда Спиридоновна – те барыни настоящие; для них и потрудиться можно, они и за благодарностью не пойдут, а эта, какие на себя тряпки не нацепляй, все равно хамло, хамлом и останется!

«Ну, ну, ну! Довольно! – проворчал на нее муж. – Подавай лучше щи: есть хочу». Но едва супружеская чета уселась за стол тут в кухне, как раздался звонок: на пороге показалась школьница и спросила Мику. Аннушка критически окинула ее взглядом: лет шестнадцать, пальто потертое, и она из него давно выросла, плюшевый берет подлысел, озябшие покрасневшие руки без перчаток вцепились в потрепанный и старый, но кожаный портфельчик; в лице и во взгляде сейчас видно что-то «господское» (хотя вернее было бы сказать – просто интеллигентное). Увидев в кухне сырой пол, девочка поспешила сказать:

– Я не наслежу, вы не беспокойтесь! Я сниму башмаки и пройду в одних чулочках, – она как бы заранее извинялась, и этим обескуражила Аннушку.

Когда она вышла, держа в руках туфли, дворник сказал:

– Никак к нашему Мике барышни начинают бегать?

Но проникательная Аннушка с сомнением покачала головой:

– Такая не за глупостями: сразу видать – умница! Поди, дело, какое-нибудь.

Дело было важнее, чем могла думать Аннушка.

– Мика, мне с тобой надо очень серьезно поговорить. Видишь ли, Петя каждое утро уходит будто бы в школу, но в школе он не бывает. У вас порука, и ты не захочешь его выдать, я однако, очень хорошо знаю, что дело обстоит именно так. По вечерам он не готовит уроков, а когда на днях утром я мыла пол, то нашла его ранец за кофром: он его от меня спрятал. Я не знаю, что делает он в эти школьные часы. Право, гораздо умнее было бы, если бы ты рассказал мне все! Мне очень трудно без мамы, Мика. Вчера я простояла; к прокурору вместо школы, но приемные часы кончились раньше, чем пришла моя очередь, я только время даром потеряла. В комиссионный магазин побежала, а там все еще ничего не продано! В квартире соседка-старуха кричит, что наша очередь делать коммунальную уборку, а мне нанять не на что. Я вымыла сама и кухню, и коридор, старалась, как умею, и все-таки она накричала, будто я; по углам грязь оставила. Для занятий у меня не остается времени, я шла первой, а теперь

съехала. Деньги у нас совсем кончились. Пришлось бежать к тете... Не думай, что я просила о помощи: я заняла и обещала отдать, как только продадутся вещи. Тетя вынесла 15 рублей, но ведь это на несколько только дней, а что же будет дальше? Притом надо передачу в тюрьму собрать, ведь мамочка голодная, наверно, - и девочка печально смолкла.

Мика стал поспешно рыться в ящике.

- Передачу твоей маме сделаю я: у меня есть 20 рублей, мои собственные. Я завтра же куплю, что надо: сахар, чай, сухари, колбасу... впрочем сейчас великий пост... лучше сыр. Я куплю и отнесу, чтобы тебе не тратить время.

- Спасибо, Мика. Но где же все-таки бывает Петя?

- Я завтра же уговорю его, Мери, рассказать тебе все. Ничего плохого он не делает... Он поступил работать. Двадцатого он принесет тебе первую получку, - признался, наконец, после долгих уговоров Мика.

- Мика, его надо уговорить вернуться в школу. Лучше мы будем есть один только хлеб. Я очень горячая, и боюсь, что поссорюсь с ним, если начну говорить сама. Уговори его, а теперь я пойду, - и Мери встала.

- Подожди, позавтракаем вместе: мне вот тут оставлены две котлеты и брюква. Ничего ведь, что с одной тарелки? Вот это тебе, а это мне, а здесь вот пройдет демаркационная линия.

Взялись за вилки. Глаза Мери остановились на исписанных листках, в поэтическом беспорядке разбросанных на Микином столе.

- Что это у тебя? Стихи новые?

- Да, комические. Хочешь, прочту наброски? Называется «Юноша и родословная»:

Пра-пра-прадедушки, вы эполетами  
Вовсе нас сгоните с белого свету!  
Пра-пра-прабабушки, вы в шелках кутались,  
Чтобы пра-правнуки ваши запутались!  
Папы и дяди, вы за биографию  
Нелестной давно снабжены эпитафией!  
Кузены и братья  
Властью советской  
Житие волокут  
В монастыре Соловецком.  
Нахмутив свой лоб, теперь я, словно Гамлет,  
Жду, что фортуна мне нынче проямлит:  
Быть ли мне в вузе или не быть  
И как мне вернее праотцев скрыть?!

Юный вития остановился:

- А вот тут у меня почему-то затерло.

- Очень хорошо, Мика, остроумно. Ты талантливый, а я вот ничем особенно не одарена, хотя ко всему способная. Но посредственностью я не стану: у меня есть идея, которая меня поведет. Это очень много значит.

- Мери, скажи, как это у тебя получилось, что ты не стала безбожницей? Переживала ли ты, как я, мучительную пустоту или с самого детства... Пример мамы...

Она минуту молчала.

- Видишь ли, Мика, для меня христианская вера с самого начала повернулась с лучшей своей стороны. Моя мама... она все-таки удивительная... Она никогда не навязывала нам своей веры, не читала нам богословских лекций, не принуждала ни к посту, ни к молитве, но сама всегда бывала несокрушима в своих позициях. Она любила говорить: «Христианин - это воин: мы постоянно боремся со злом в окружающей нас жизни и в собственной душе». Ты понимаешь, что таким образом все будничное и мелкое разом ступшеывалось, отходило на задний план, и

ежедневная жизнь превращалась в арену борьбы и подвига. Эта мысль меня навсегда заморозила. В десять лет я бывала часто строптивой, я кричала: «Не хочу» или «Не буду». Папа возмущался и говорил: «Знай, что в воскресенье ты не пойдешь в театр» или «Садись за свои тетради и десять раз перепиши ту французскую диктовку, в которой у тебя были ошибки». Но мама чаще беседовала со мной вечером, благословляя на сон. Она с грустью произносила: «Сегодня ты опять внесла порчу в свою бессмертную душу. А я за тебя в ответе перед Богом, пока ты маленькая. Мне это грустно и сегодня я буду за тебя молиться ночью». А то так: сядем мы все за обеденный стол, начинается обычное: «Мери, поставь солонку, Петя, завяжи салфетку». Папа скажет: «А! Щи со свининой! Это славно!» Петя зааплодирует. А я загляну в тарелку к маме – у нее постный овощной суп, и она съедает его для всех незаметно. Несколько раз я заставляла ее молящейся, а когда уводили папу, она сказала: «Господь с тобой! Здесь или уже там, но мы с тобой еще встретимся».

Голос Мери прозвучал несколько плаксиво, и она полезла в портфель, наверно, за носовым платком.

- Мама в братстве уже давно. Она рассказывала мне о крестном ходе, который состоялся в 22-ом году. Верующие шли лавиной, весь Невский запрудили хоругви и братские косынки; 2000 одних косынок! Этот крестный ход показал силу церкви. Наше правительство испугалось этой силы. Вот тогда усугубили террор и задавили всякую инициативу церковных ячеек. Если бы не это, церкви может быть досталась бы руководящая роль и у нас образовалась бы христианская демократическая партия огромной силы! Понимаешь ли: не ведомственное Православие, как при императорах, а подлинно-церковная организация.

Мике все это показалось опять настолько ново и серьезно, что пораженный раскрывшимися перед ним перспективами, он замер в глубокой задумчивости, не выпуская из рук вилки.

Когда покончили с завтраком, вышли в коридор и столкнулись с Катюшей, которая уже проводила двадцатиминутного визитера. «Elle est de nouveau perdu!» [86] – патетически восклицала в таких случаях Нина. Заинтересованная визитом Мери, Катюша вертелась теперь в коридоре с целью бросить любопытный взгляд и сделать свои заключения. Мери остановилась было, но в Мике неожиданно проснулся дореволюционный джентльмен: он быстро перехватил руку Мери и оттащил ее в сторону:

- Все не к чему тебе с такой знакомиться!

- Да почему же? – проговорила в изумлении Мери.

- Не понимаешь, так и понимать незачем. Дай мне руку, не то споткнешься: в коридоре темно, у нас свет экономят, видишь ли! Шпионаж друг за другом учинили. Наш рабфаковец обещал мне намылить голову, если я не буду за собой тушить. Пусть попробует! Еще посмотрим, кто кому намылит. Ну, вот и выбрались! Завтра я к тебе приду. До свидания.

Аннушка, дворник и Катюша с любопытством наблюдали их.

«Вот дураки! Что-нибудь уже вообразили! А ведь мы монахи – и она, и я!»

- Все обстоит очень печально, Мика! – сказала она ему на другой день. – Прокурор держал руку на звонке, говоря со мной. Он ничего не пожелал объяснить, он сказал только четыре слова: «Следствие еще не закончено», – и нажал кнопку звонка, а я стояла в очереди к нему четыре раза! С тетей у меня тоже неприятность, она мне в этот раз сказала: «Выслушивать тебя мне некогда. Завтра у меня званый обед по случаю моего рождения, приходи – угощу; только, пожалуйста, без Пети: у него последний раз были совсем грязные руки, к тому же у него безобразная манера управляться с ножом и вилкой – мне будет за него совестно». Мне так обидно стало, Мика! Я ответила, что лучше не приду вовсе, но так как я была совсем без денег, мне все-таки пришлось попросить их, и тогда тетя сказала: «Я знала, что это теперь начнется!» Тут у меня что-то подкатило к горлу: «Мама, конечно, не говорила так, когда вы жили. У нас на средства моего папы!» – воскликнула я и пулей вылетела на лестницу. Я слышала, как тетя крикнула: «Грубьянка!» – и захлопнула за мной дверь.

Мика сжал кулаки.

- Жаба, дрянь – ваша тетка! Не лучше нашей Спиридоновны! У вас горе, а она со своим

старорежимным этикетом – вилку не так Держит!... Какая чепуха!

– Нет, Мика, это не чепуха, но, видишь ли, Петя не хулиган, ему достаточно деликатно напомнить: за столом следи за тем, как держишь вилку. А тетя говорит так, как если бы Петя был захудалый родственник, дрянцо, которое стыдно показать. При папе она никогда не посмела бы так говорить. При первой же неудаче вокруг человека меняется все! Папа мой хорошо знал латынь, он часто повторял одну цитату; я ее запомнила: «*Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nabila, solus eris*». Знаешь, что это значит? – и она перевела своими словами латинский текст: – Пока все благополучно – и друзей много. Ушло благополучие – и нет никого вокруг.

– Мери, это неправда! Не смей так думать! Вот ты увидишь: мою верность вам обоим, увидишь!

– Мика схватил запачканные чернилами пальцы девочки и крепко сжал их. – Не смей сомневаться! А братство? Разве оно не опора, не помощь? Вместо того, чтобы таскаться с мелкими просьбами к бессердечной тетке не лучше ли обратиться в братство?

– Сестра Мария любит маму и позаботилась бы о нас, но она сейчас в больнице на операции, а остальные...

– Что остальные?

– Катя Помылева и Женя Кононова меня не любят.

– Ах, Мери! Ты по-женски недальновидна и нелогична! Тут непричем личные счета и антипатии; тут прежде всего – идейная платформа. Помылева и Кононова должны смотреть выше мелких обид, даже если они имели место. Все должны объединиться и поддержать вас. Мать ваша такая удивительно идейная, ради нее должны! Я поговорю сам, если тебе неудобно. На время только, чтобы дать тебе кончить... А где же Петя?

– Он сегодня работает во вторую смену, а утром был дома» и сварил эту кашу. У нас ним теперь мир: недавно я услышала ночью, как он плачет. Я подошла к нему и тоже заплакала; у нас состоялся ночной совет, только переубедить Петю мне не удалось, а работа попалась неподходящая: сподручным по прокладке газовых труб, все время с рабочими на воздухе. Это было бы ничего но надо носить тяжести, а кроме того он очень зябнет: из зимнего пальто он вырос и одевает папину старую кожаную куртку. Мой Петя хороший. Только мне очень трудно с ним.

«Я не могу понять откуда это сопротивление – пассивное, глухое и упорное! – думал Мика, выходя из общежития на Конной. – В третий раз я все с тем же, а толку никакого».

Сначала, когда он заговорил на эту щекотливую тему с двумя-тремя молодыми людьми, встретившись с ними у обедни, дело как будто сразу пошло на лад. Двое тотчас вынули – один 25, другой 15 рублей, третий извинился, говоря, что при себе у него нет, но что он с радостью примет участие, и все трое посоветовали прежде всего поговорить в квартире на Конной, так как только там мероприятие это может стать достоянием всего братства и принять организованный и регулярный характер; встречи остальных слишком случайны. Мика согласился и в ближайший же вечер побежал на Конную. Но вот тут заколодило!

– Не знаю уж как это... захочет ли кто-нибудь? Нам надо еще сделать передачу отцу Варлааму в тюрьму.

– Уверен, что захотят, сообщите только.

– Удобно ли? Почему непременно им?

– Да ведь они без отца и без матери. Они вернут потом. Им продержаться до лета: летом Мери устроится работать.

– Всем трудно, не им одним, а эта Мери и в братстве-то без года неделя. А как придет, так прежде всего нос в книгу и нет чтобы Добротолюбие или Лествицу – сейчас светскую книжку откопает. Я видела, как она Анатоля Франса читала.

– Мери недавно в братстве, зато мать одна из самых первых и уважаемых членов, ради нее можно бы.

– Мы всем помочь не можем. Среди нас нет зажиточных; все еле-еле перебиваемся; все время для кого-то что-то делай – измучились! Мне вот калоши не на что купить, а тут опять помогай

кому-то. Нам всегда больше всех достается: как не хватит на передачу или на посылку с общего сбора, так сейчас из своих докладываем; когда отцу Гурию или отцу Варлааму, тогда уже волей-неволей выручишь, а тут надо подумавши.

И в этом они были правы: они действительно помогали многим, и сами действительно перебивались со дня на день. Мери просила Мику не производить больше нажима.

- Мне будет неудобно туда ходить и встречаться с ними. Пожалуйста, не надо, - говорила она. Когда Мика пытался докопаться до самых корней неприязни, которую явно питали к Мери две из братчиц в общежитии, дело упиралось в нечто неосязаемое: Мери вообразила, что лучше всех канонаршит, Мери гордится своими родителями, Мери позволила одному из молодых людей подать себе пальто и улыбаясь сказала «merci» - вот так монахиня! Более серьезных обвинений он не доискался, и у него составилось впечатление, что в их боевом штабе далеко не все имели сердце, горящее как факел - затхлая мещанская паутина притаилась и здесь, в самом центре их организации: серая масса, недоброжелательная и инертная все-таки составляла фон. Открытие это больно уязвило Мику. «Я еще слишком молодой член братства, выступать с обличениями сейчас - неудобно; но пройдет время и я поведу с этим беспощадную борьбу!» - говорил себе мальчик.

Дома Нина решительно не могла понять, откуда у Мики взялся такой гигантский аппетит: еще недавно его заставить нельзя было взять с собой в школу один бутерброд, а теперь, выходя утром; к столу, он резал бесчисленные куски хлеба и старательно намазывал их плавленным сыром, а после набивал ими портфель. Нина! один раз не выдержала и спросила:

- Куда тебе такое количество бутербродов?

Он ответил обиженно:

- Вот ты всегда так: то почему не ем, то вдруг зачем так много!

- Да я очень рада, кушай на здоровье! - поспешно сказала удивленная Нина.

В одно утро Мери открыла Мике дверь с заплаканными глазами.

- Что ты! Что с тобой?

- С Петей опять воюю. Я говорила, что он простудится в этой куртке, - так и вышло: вчера он ушел совсем больным, а сегодня; у него уже тридцать девять! Вот что наделала эта работа!

Мика вошел в знакомую комнату, еще недавно такую уютную. Как изменился постепенно весь ее вид!... На столе уже не было скатерти, в вазе - цветов, перед божницей не теплилась лампада, миниатюрные фотографии были покрыты слоем пыли - комнате, как и детям, не хватало заботливой руки. Петя лежал одетый на постели матери, кутаясь в плед, и находился в самом раздраженном состоянии духа.

- Оставьте меня в покое! Я хочу только маму! Эта лампа невыносимо режет мне глаза; мамочка давно бы догадалась закрыть ее чем-нибудь. Отстань, Мика, я не буду есть. Мне ничего не нужно. Я хочу, чтоб вернулась мама!

- Петя, ты говоришь, как маленький мальчик! Я тоже этого хочу, но если это невозможно?

- Если это невозможно, тогда мне никого и ничего не надо, не приставай ко мне, пожалуйста!

- А ты не смей так со мной разговаривать, гадкий мальчишка! Мне не лучше, чем тебе, - воскликнула, всхлипывая, Мери. - Вот он весь день так! Что мне с ним делать? - и она нерешительно прибавила: - Может быть, все-таки дать знать тете?

Петя тотчас сел на постели:

- Я запущу в нее вот этим канделябром, если она только подойдет ко мне. Замолчите, пожалуйста! От вашей трескотни мне стучит в голову! Мамочка двигалась бы неслышно, а вы стучите и скрипите сапогами, словно гвозди в голову заколачиваете.

Мика и Мери растерянно переглядывались.

- Помогите мне, Мика, перевезти на салазках в магазин старой книги папиного Брокгауза: мы с Петей на ночном совете решили его продать, - отозвалась шепотом Мери, - нам надо отдать долг тете. Надеюсь, папа не рассердится на нас за эти книги.

- Деньги ей пошли по почте, сама не ходи! - крикнул неугомонный Петя. - Пусть она поймет, что мы не хотим ее видеть.

На следующий день Нина просила Мику съездить в Лугу, отправить оттуда посылку Сергею Петровичу. Олег, который обещал ей сделать это, лежал с плевритом. Тиски дошли уже до того, что продуктовые посылки, которые в огромном количестве устремлялись из Ленинграда в голодающую провинцию, отправлять разрешалось лишь из мест, расположенных не ближе, чем за сто верст от крупных центров. Мика не мог отказаться от поездки, понимая, что это слишком противоречило бы заповеди любви. На это дело ушел весь день, так как дорога туда и обратно занимала 8 часов, уроки пришлось делать поздно вечером. На следующий день прямо из школы он помчался к друзьям.

«Строго говоря, мне следовало бы немедленно засесть за Киселева ввиду предстоящей контрольной: теорема – истина, требующая шпаргалки, а между тем без Петьки в классе органически не хватает рукописной подпольной литературы. Ну, да как-нибудь обойдется!» – думал он.

Мери встретила его известием, что Петя бредит.

– Я уже два дня не была в школе и сижу рядом; ночью он все время звал маму, а теперь решает алгебраические задачи, толкует про бином Ньютона, а меня толкает, швыряет в меня подушки... Я не знаю что делать...

Мика подошел к товарищу:

– Старик, ну как ты? Давай лапу! Копытный табун шлет привет. Вот, бери яблоко. Петька, да ты слышишь меня? Ну, что с тобой? Ты меня разве не узнаешь?

И Мика почувствовал, как что-то тревожное проползло по его сердцу. Он обернулся на Мери: она смотрела на брата полными слез глазами, погрызывая кончик носового платка.

– Надо бы доктора, Мери.

– Доктор был, я бегала вчера за тем старичком, который лечил нас, когда мы были маленькими. Он нашел у Пети воспаление легких. Вот здесь записан телефон больницы, куда он велел звонить, чтобы приехали за Петей. Но мама всегда была против больниц, и я не решилась отправить Петю. Когда я болела воспалением легких, мама поила меня теплым молоком; я купила вчера Пете молока на последний рубль, а он толкнул меня и все пролил.

Сердце Мики сжималось все больней и больней.

– Мне кажется, Мери, воспаление легких опасно. Помнишь у Тургенева, Инсаров чуть не умер от этой болезни. Твоя мать была против больницы, когда могла дома создать лучшие условия, а теперь... он ведь у нас лежит без помощи уже 5-ый день. Давай, я позвоню по телефону; так будет лучше, Мери...

Она, совсем растерянная, молча протянула ему листок блокнота.

Через час «скорая помощь» увезла мальчика. На следующий день в справочном бюро больницы Мика и Мери прочитали: «Состояние тяжелое, t 40° с десятичными. Без сознания. Ночью ожидается кризис».

Слово «кризис» было знакомо по литературным романам и показалось страшным. Мика почувствовал опять тот же тревожный и острый укол в сердце, но он отмахнулся от этого чувства.

«Поправится! Петька не из тех, с кем может случиться этакая штука. Это с героями романов только бывает, у нас с ним впереди еще всего много!»

Однако на другой день тотчас после школы помчался в больницу. Пересекая бегом больничный двор, он увидел около решетки больничного сада знакомую фигурку в куцем пальто и плюшевом берете; она стояла, припав головой к решетке, в черной косе не было обычной ленты.

– Что? Мери, говори, что?

Девочка взглянула на него полными слез глазами и снова спрятала лицо в воротник.

– Мери, говори же!

– Мне сказали... сказали... мой Петя умер.

Мика похолодел. Пети нет? А как же дружба? А клятвы друг другу все делать вместе? А их великое служение идее? Все рушилось! Он остается один. Да разве возможно все задуманное

совершить одному! Это был его друг - первый, единственный, ему он доверял каждую мысль, они уже срослись, сроднились. Такого друга у него уже никогда не будет. Умер... холодом веет от этой мысли. Мерзавец прокурор все это наделал: он виноват, он разрушил эту семью, разыскивая свою контрреволюцию. Петя умер! Казалось, что это никак не может быть, а вот случилось... Петя жил только 15 лет, пришло горе, которое оказалось ему не под силу, и вот - конец! Страшно. Непереносимо... Убийственно. Туман застилал ему глаза, и все словно бы поплыло перед ним... и вдруг до него откуда-то, точно издалека донесся шепот девочки:

- Я знала, что ты его по-настоящему любил! Не плачь, Мика! Милый!

- Я не плачу! - поспешно сказал он и быстро провел рукой по глазам.

Головка в берете припала к его плечу.

- Мика, я видела его. Меня провели в покойницкую: он совсем холодный и лицо неподвижное. Я взяла его руку - она ледяная. А я-то еще сердилась на него, когда он меня отталкивал, а ведь он не понимал - он бредил. Почему я всегда такая злая! Сколько раз мама говорила мне, что каждое злое слово будет потом стоять укором. Как я теперь пойду домой, когда там никого нет? Куда мне деваться?

Тут только почувствовал он силу ее горя, которое было не меньше его собственного, а может быть еще безотраднее, так как наслаивалось на все предшествующие катастрофы одну за другой. Надо ей помочь, ведь это его сестра, он мужчина, джентльмен, а она одна, совсем одна! Он взял ее под руку, чего до сих пор никогда не делал.

- Пойдем. Надо тебе успокоиться. Я провожу тебя.

- Мика, что я скажу маме, когда она вернется? Она войдет в комнату и спросит: где Петя? Что же я скажу? А папа? Он так любил его! Знаешь, когда Пете было семь лет, он смотрел раз, как папа играет в шахматы с приятелем, и вдруг сказал: «А ты, папа, сжульничал». Взрослые засмеялись, а наш Петя в одну минуту восстановил на доске положение, при котором была допущена ошибка, и доказал, что папа сделал неправильный ход конем. Помню, в каком восторге был папа! Он посадил Петю на плечо и повторял: будущий Чигорин! А как папа гордился его математическими способностями! Что же будет теперь с папой?

- Я твоего отца мало знаю, но Ольга Никитична настоящая, убежденная христианка - она найдет себе утешение в мыслях о загробной жизни, - и, говоря это, он подумал: отчего же он и Мери не почувствовали того же, но выговаривать слова утешения оказалось ему банальным. Медленно в печальных разговорах прошли они рука об руку на Конную улицу сообщить известие и договориться, чтобы Братский хор спел заупокойную обедню, а потом пришли к ней, в пустую нетопленную комнату. Мике совестно было признаться, что он проголодался, но девочка сама сказала:

- Я поставлю чайник; надо немного подкрепиться, а то сил не будет: скоро восемь, а я с утра ничего не ела.

Мика вытащил обычную армию бутербродов, но Мери с чайником в руке заглянула в коридор с порога комнаты и потом обернулась на него.

- Ты почему не идешь, Мери?

Она молчала.

- Ты словно чего-то боишься? - продолжал он.

- Знаешь ли, у меня появился враг, - сказала она шепотом.

- Как враг? Кто такой?

- Рыжий слесарь, который занял по ордеру папин кабинет год назад. Раньше он никакого внимания на нас не обращал, а теперь, если только встретит меня в коридоре, обязательно дернет за косу или толкнет, один раз ущипнул очень больно. А вчера, когда я мыла руки в ванной, он подкрался и пригнул мне голову к крану, так, что у меня вся коса промокла.

- Вот нахал! Ты бы его одернула построже.

- Я пробовала. Он только хохочет, да и хохочет-то не по-человечески, а словно ржет. На него слова совсем не действуют. Я теперь боюсь с ним встречаться.

Мика озадаченно смотрел на девочку.

- Пойдем вместе. Пусть он только попробует при мне, - сказал он очень воинственно. Но рыжий парень не появился.

Через час, прощаясь с Мери, Мика увидел, что губы ее дрожат, а глаза полны слез.

- Как мне грустно и жутко оставаться совсем одной! - прошептала она, вздрагивая.

И внезапно совсем новая, острая, как нож, мысль прорезала сознание Мики, когда он услышал это слово «одной».

- Твоя дверь запирается? - спросил он.

- Мы вешаем замок, когда уходим. Ты же много раз его видел.

- Нет, я не об этом. Можешь ли ты запереться изнутри?

- Нет. Вот был крючок, но он давно сломан.

- А кто еще у вас в квартире, кроме тебя и слесаря?

- Злючка-старуха, но она по ночам постоянно дежурит в магазине: она сторож. Ее дверь сейчас на замке.

- Я завтра же прибью задвижку к твоей двери, - пообещал Мика, - как жаль, что мы не подумали об этом раньше, а сейчас все магазины уже закрыты, - и, сам удивляясь, что приходится касаться вещей, которые оставались до сих пор совсем в отдалении, словно по другую сторону жизни, он прибавил: - Мери... видишь ли... я думаю, что тебе следует очень остерегаться этого парня.

Она вспыхнула.

- Если бы он хотел романа со мной, он бы лез обниматься, а он всякий раз только больно мне делает.

- А это, по всей вероятности, особая грубая манера.

Она помолчала, по-видимому, что-то поняла.

- За меня заступиться некому. Как раз теперь со мной никого нет - ни отца, ни матери, ни брата, - сказала она.

Опять он почувствовал что-то совсем новое - очень большую и вместе с тем чисто мужскую жалость к ее слабости и беззащитности.

- Мери, ну, хочешь, я останусь с тобой на эту ночь? Я ведь при твоей маме часто оставался. Я - на кофре у дверей, раздеваться не буду. Хочешь?

- Мика, милый! Спасибо. Конечно, хочу! Можно на Петинной постели, а не на кофре. Бедный Петя ведь в покойницкой на столе. Мы заведем будильник, чтобы ты не опоздал в школу. Какой ты благородный, Мика!

Измученные за день они легли рано.

Вскоре после того, как они потушили свет, Мика услышал тихие крадущиеся шаги в смежной передней; он знал, что выключатель расположен у самой двери, и, выскочив из комнаты, тотчас включил свет; перед ним стоял высокий рыжий парень, немного старше его самого.

- Вы, гражданин, что здесь делаете? - сурово спросил Мика.

Парень с минуту потаращил на него глаза, а затем ответил:

- А калоши свои ищю: побоялся, чтоб не затерялись.

- Странно, что вам среди ночи калоши вдруг понадобились! - самым воинственным тоном продолжал Мика.

- Извиняюсь, товарищ! У меня и в мыслях не было помешать тебе али другому кому; человек я, вишь ли, самый мирный. Откуда мне было знать, что место уже, вишь, занято, - и парень ретировался в коридор.

- Что там такое? - крикнула Мери из-за буфета.

- Ничего. Спи, - и Мика улегся снова.

«Что он такое сморозил: не хотел мешать... место занято? Дурак я тоже. Понял, словно жираф, с получасовым опозданием. Надо ведь было заступиться за ее честь! А впрочем, было бы перед кем! - думал он, дивясь, что опять попадает в новую струю чувств и мыслей.

Только утром, когда уже рассвело, он сообразил, что дома его напрасно прождали и наверно беспокоятся. Он окликнул Мери и объяснил ей, что должен уйти немедленно, не дожидаясь

чаю; она в безопасности, так как «враг» отбыл на работу – он слышал, как тот проходил и хлопнул дверью. По улице Мика мчался бегом, избегая по лестнице, он услышал, как с площадки третьего этажа голос Аннушки кому-то крикнул:

– Бегом мчится кто-то, поди он и есть!

«Плохо дело!» – подумал Мика. Но оказалось хуже, чем он предполагал. Посередине кухни напротив двери сидела на табуретке Нина, с характерным для нее выражением трагической муки в лице, усугублявшемся распущенными волосами и черными кругами под глазами; тут же стояли Надежда Спиридоновна, Аннушка и Олег; уж Олега-то он никак не ожидал и тотчас догадался, что его вызвала Нина; до какой же степени стало быть дошла ее тревога!

– Невыносимый мальчишка! Ты всегда меня изводишь! Я уже думала – ты под трамваем! – закричала тотчас же Нина.

– Я был в управлении милицией и в приемных покоях трех больниц. Как ты смел не дать нам знать, где находишься? – сурово прикрикнул Олег.

Мика только что хотел им ответить; «У меня несчастье, я потерял моего друга», но в эту минуту Надежда Спиридоновна подскочила к нему и, покрутив пальцем перед самым его лицом, зашипела:

– И что из тебя только выйдет, если ты с этих лет уже невесть где ночуешь! Это что еще за шутки!

Аннушка подхватила, всплескивая руками:

– Ах ты бессовестный! Поглядите-ка, добрые люди – целехонек! А мы то его по покойничким искали! Где шатался-то, говори!

– Где я шатался? – повторил Мика, и перед глазами его промелькнуло испуганное личико Мери, когда она говорила: «И ни отца, ни матери, ни брата».

«Неужели я плохо поступил, охраняя ее? Куприн описывает, как офицер погиб на дуэли ради того, чтобы не показать медальон с портретом девушки и не скомпрометировать этим ее. И я не должен набросить тень на имя Мери».

– Где я шатался? – повторил он. – Я ночевал в канаве, я был пьян. Вот вам – довольны вы? – и с торжеством посмотрел на них. Но Олега и Нину не так легко было провести.

– Тебе мало того, что я провела бессонную ночь и Олега; больного с постели подняла, ты еще надо мной издеваешься! – закричала опять Нина.

– Ахти, грех какой! Вот изводительство! – повторяла, словно заведенная машина, Аннушка.

Присутствие Аннушки возмущало Мику, задевая в нем сословную жилку.

– А вы-то, Анна Тимофеевна зачем здесь и по какому праву допрашиваете меня? Вы кто мне – мать, тетка, бабушка? – спросил он.

– Скажите на милость! Да ты еще под стол ходил, как я с тобой уже нянчилась, кашей тебя со своих рук кормила, – обиженно закричала эта добрая душа.

Олег все время пристально наблюдал Мику.

– Нина если вы разрешите, я поговорю с ним один на один, по-мужски, без истерик, которые ничему не помогут. Иди! – и он показал Мике головой на дверь. Мика молча вышел, стараясь сохранить достоинство. Олег подошел к делу совсем с другой стороны.

– Поговорим по-мужски. – повторил он, закрывая дверь, и этих слов оказалось довольно, чтобы завладеть вниманием мальчика. – Я, разумеется, понимаю почему ты молчишь: затронута, очевидно, честь какой-нибудь девушки. Приятно убедиться, что в тебе находят отклик прежние, благородные традиции! Расскажи мне коротко, в чем дело, а я со своей стороны даю тебе слово, что не передам Нине нашего разговора без твоего разрешения. Я в праве рассчитывать на твое доверие: еще недавно я тебе – тогда 14-летнему юнцу – доверил то, что скрывал от окружающих – мое происхождение и мою деятельность. Итак – доверие за доверие! Такая постановка дела привела к желаемым результатам; вслед за этим, не касаясь фактической стороны дела, Олег успокоил Нину, уверив ее, что все обстоит благополучно: Мика не потерял невинности и показал себя прекрасным, благородным мальчиком. Он убедил также Мику рассказать Нине о смерти своего товарища. Буря улеглась при его содействии.

Через два дня хоронили Петю.

Когда Мика явился в школу с катастрофическим известием, Анастасия Филипповна сначала проявила самое горячее участие, она задумала организовать проводы на кладбище всем классом, выделила несколько мальчиков для произнесения надгробного слова, привлекла к этому учителя математики и произвела денежный сбор на венок; но когда она узнала, что гроб перенесен вместо актового зала школы в церковь и уже назначено церковное отпевание, она отказалась от всякого участия в похоронах. Некоторые мальчики пришли в одиночку по собственной инициативе. Но Братский хор собрался в полном составе, и юноши на руках перенесли гроб от Церкви к могиле.

Последние минуты у гроба друга были для Мики самыми тяжелыми из всего, что ему пришлось пережить до сих пор.

- Где он? Что от него теперь осталось? Какой он сейчас? А вдруг не осталось ничего кроме этой холодной оболочки? - думал он, пристально всматриваясь в неподвижное лицо мальчика, обложенное цветами. Ему пришлось собирать все силы, чтобы сохранить самообладание, тем более, что он с досадой ловил на себе любопытные взгляды одноклассников, особенно в ту минуту, когда ему пришлось взять под руку Мери, чтобы отвести ее от гроба, после того, как она, прощаясь, приникла к телу брата. Мика не был до конца уверен, что остались сухими его глаза, тем более, что всхлипывания Мери и пение «надгробное рыдание творяще» звучали слишком большой скорбью.

Когда после похорон Мика простался с Мери, она уже овладела собой и сказала почти спокойно:

- Я теперь буду жить на Конной. Сестра Мария вернулась из больницы и прислала мне записку, что возьмет меня в свою комнату, пока не вернется мама. Навещай меня, Мика. Я только теперь поняла, чем я тебе обязана. Не знаю, что было бы со мной в эти дни без тебя!

Эти слова он несколько раз приводил себе на память. Они связались в его воображении с нежным запахом нарцисса, который он вынул на память из гроба Пети. От этих слов и от минут около тела друга остался незабываемый след в молодой душе.

## Глава тринадцатая

Нине начал сниться ребенок, девочка: будто бы она малютку пеленает, убаюкивает колыбельной, будто бы держит на коленях, и на обеих - и на ней, и на дочке - надеты большие голубые баи ты, как на английской открытке, которой она недавно любовалась. Вслед за этим она увидела дочку у себя в постели: ручки были в перетяжках, а головка чудно пахла свежей малиной, как пахло, бывало, темечко ее новорожденного сынка. Она вдыхала во сне милый, знакомый, младенческий запах; потом, любовным материнским жестом обмотав стерильной марлей палец, она сунула его в рот ребенку и нащупала первый зубок, теплая радость толкнулась ей в сердце, и этот именно толчок разбудил ее - она проснулась, чтобы увидеть в своей кровати пустоту! И горько задумалась. «Уже конец марта. Остались бы только три месяца, а я все разрушила! Погналась за миражом, никаких особенных радостей не получила, а отказалась от самых драгоценных!»

Ей уже давно стало ясно, что никакой исключительной любви этот человек не питал к ней: заурядное мужское влечение, которое, не сопровождаясь ни дружбой, ни привязанностью, уже начинало бледнеть. Сравнивая двух мужчин, она опять убеждалась в превосходстве первого: хотя Сергей Петрович не сразу узаконил отношения с ней, однако, не считал необходимым их утаивать; сам старался взять на себя хоть часть забот и придавал очень большое значение их душевному единению и творческому содружеству. В новом романе не было ни заботы, ни общих интересов; музыкальность в этом человеке оказалась самая рядовая, незначительная. Он был вдовец и, имея взрослого, уже женатого сына, с которым жил в одной квартире, прилагал все возможные усилия к тому, чтобы сохранить эту связь в тайне. Нина, разумеется, хотела того же для себя, но его заботы по этому поводу ее оскорбляли. Встретаться им было

негде; редкость и краткость этих встреч придавала им особый характер, и в этом Нине чудилось тоже нечто оскорбительное. Она не могла отделаться от мысли, что, обманывая мужа, ведет себя как недостойная жена, и это отравляло ей страстные минуты. Не столько страх, что новый роман выплывет наружу, сколько недовольство собой и боль от собственного морального падения угнетали ее. «Пора оборвать и больше я уже никогда не буду спотыкаться. Скорей оборвать!» – твердила она себе.

В отдельные минуты в ней выросло желание повиниться перед мужем, чтобы иметь возможность при встрече смотреть ему в глаза. Но она убеждала себя, что это – опасный шаг; к тому же не следует наносить душевной раны человеку и без того достаточно несчастному, довольно, если она разорвет и сама даст себе слово, что более не повторит ошибки. Так будет вернее!

Повторные сны с ребенком окончательно лишили ее душевного равновесия. «Без ребенка я свихнусь! Эту тоску не заглушить ничем! Надо действовать решительно: откажу сегодня и сегодня же поговорю с Натальей Павловной, есть ли возможность поехать летом к Сергею. Таким образом разом выпутаюсь из этой паутины».

Решение оказалось твердо. Они должны были в этот день встретиться в кафе «Квисисана»; желая во что бы то ни стало избежать личного объяснения, которое могло бы ее поколебать, она заранее приготовила письмо и придумала отдать его при прощании, ничем не подчеркивая его значимости. В письме стояло:

«Сегодня мы виделись в последний раз. Я пошла на связь с вами, так как чувствовала себя слишком одинокой и покинутой. Я хотела забыться. Теперь вижу, что сознание вины перед мужем сделало меня еще несчастнее. Не оправдывайтесь, потому что я ни в чем не виню вас, а только себя. Не отвечайте мне, не вспоминайте меня. Пусть будет так, как будто никогда ничего не было. Желаю вам счастья. Нина Бологовская».

Запечатывая этот конверт, она думала: «Я не создана для разврата. Счастливой я могу быть только в семье. Если бы злой рок не преследовал сначала Димитрия, а после Сергея, я была бы верной женой и матерью нескольких детей. Я провела эту зиму гнусно; зато теперь, вкусив порока, я навсегда отвращаюсь от него. Дай только Бог, чтобы это осталось лишь на моей совести и не стало известно... Леля Нелидова встретила нас недавно... Эта девочка, которую все считают невинным ангелочком, так что о будущем ребенке Аси при ней говорится, как о принесенном аистом... на самом деле она вовсе не так наивна! Она может догадаться скорей прочих. Надо же мне было на нее натолкнуться!»

В кухне Нину ждал новый сюрприз: наливая ей в тарелку щедрой рукой борщ, Аннушка проворчала:

– Непутевая! Попался тебе хороший человек, так и сиди тихо. Не к лицу тебе глупости затевать. С Маринки своей, что ли, пример берешь? Берегись, у свекрови твоей, поди, глаз вострый.

Можно было, пожалуй, и оборвать старуху, сказать: не ваше дело! или: не вам меня учить! Но Нине тотчас припомнилась постоянная материнская заботливость этой женщины, знавшей ее ребенком, и она промолчала, несколько растерянная. Через минуту руки ее, ставя на стол уже пустую тарелку, вдруг сами потянулись к старухе и обняли ее, а потом и щека как-то сама собой прижалась к другой, морщинистой, щеке.

– Не беспокойтесь, Аннушка! Глупостей никаких не будет! – но в шепоте этом было что-то виноватое.

– Не будет, так и ладно. А губы зачем красишь? Выпачкала поди меня. При барине старом ни в жисть этого не водилось.

– Теперь это модно, Аннушка. Я к тому же артистка. Ведь кормить-то меня и Мику все-таки некому.

При встрече в кафе она держала себя с обычным своим великосветским тактом – жена цезаря, которая выше подозрений! Сказала, что назначенная на вечер встреча срывается вследствие непредвиденного концерта, и, уже выпархивая из такси, сунула в окно машины письмо, а сама

скорей вбежала в подъезд... Свершилось! Взволнованно бегая взад и вперед по комнате, она воображала себе, как он читает строчку за строчкой... Щеки ее горели. «Теперь он поймет, какую глубоко порядочную женщину удалось ему заполучить, и как недолго было это счастье!» Вечером, припав к груди Натальи Павловны, точно маленькая послушная девочка, она робко спросила, есть ли возможность устроить ее поездку в Сибирь на очередной отпуск. В этих словах было так много трогательной преданности, что красивая старческая рука стала любовно гладить черные волосы «русалки».

- Я думаю об этом же, Ниночка. У меня уже мало ценных вещей, но я лучше откажу в чем-нибудь себе и Асе и устрою вам эту поездку.

Очевидно, был приговорен столик с инкрустацией или бронзовая лань, а может быть, кулон с рубином. Ася до сих пор, еще на правах девушки, носила бирюзу, и остатки бабушкиных драгоценностей, покоившихся в бархатных футлярах, не тревожили ее воображение.

Вечером в постели Нина перечитывала письма Сергея Петровича и полностью включилась в прежнее чувство. «Теперь это уже навсегда, и ныне, и присно, и во веки веков», - говорила она себе. В последнем письме был набросан карандашом романс, и она с болью в сердце спохватилась, что даже не попробовала это на рояле... «Когда возвращаюсь в Клюквенку из мучительных походов в тайгу, сажусь у печурки, смотрю в огонь и вспоминаю тебя...» «Ты сейчас далеко-далеко, между нами леса и снега... До тебя мне дойти не легко, а до смерти - четыре шага!»

«Четыре шага! Этот поэтический оборот очень удачен! Действительно четыре шага, как тогда Родиону. Напишу Сереже и сообщу теперь же, что приеду летом». И вместо того, чтобы заснуть, она села за письмо - то, которое не могло родиться в течение всей зимы и которое должно было наполнить теплом сердце человека, смотревшего в огонь в заметенной сугробами хижине.

Это было вечером 20-го марта, а 21-го, возвращаясь из Капеллы, она вошла в кухню, где Аннушка, одержимая манией чистоты, опять скребла пол. Добрая женщина обернулась к ней и сказала:

- Письмо к тебе. Руки-то у меня мокрые, возьми сама со стола. Человек из Сибири приехал, заходил передать. От муженька, поди!

- Конечно от Сергея! От кого же еще! - радостно воскликнула Нина, и, схватив конверт, присела на окно. Ей тотчас же бросилось в глаза, что конверт был надписан незнакомой рукой. «Как жаль, что не от Сергея! От кого же еще?» - и быстро вскрыла конверт. Выпало два листка, написанные двумя различными почерками. Она торопливо схватилась за один...

«Глубокоуважаемая и прекрасная Нина Александровна!»

Она остановилась. Что за изысканное обращение? Кто это пишет так? И, перевернув страницу, взглянула на подпись: «Ваш покорный слуга Яков Семенович Горфункель». А! Это тот чудак-антропософ, еврей из Клюквенки! Уж не заболел ли Сергей? Сердце тревожно стало отбивать дробь, а дрожащие руки опять перевернули страницу. «Глубокоуважаемая и прекрасная Нина Александровна! Не сочтите дерзостью, что я взял на себя обязанность написать вам. Оно не печально - то событие, о котором я пишу, - я бы хотел, чтобы вы могли постичь всю его радостную сторону: ваш муж - этот благороднейший, умнейший, талантливейший человек - жив, светел и радостен, но продолжает свой путь уже под особой защитой, окруженный особой помощью. Высшие Силы сочли нужным охранить его от всяких неосторожных, грубых прикосновений и оградить от земной суеты, чтобы он мог безболезненно восходить к Свету, где выправятся и расцветут когда-нибудь и наши скорбные, смятые жизнью души и где когда-нибудь вы встретитесь с ним лицом к лицу».

Нина опустила руку с письмом. «Что такое? Не понимаю... мне показалось что-то страшное... Не может быть! Прочту еще раз... не может быть!»

«Я знаю, чувствую, вижу, какую болью наполнилось сейчас ваше сердце, глубокоуважаемая Нина Александровна, я чувствую сейчас за вас. Если бы и вы могли посмотреть на случившееся моими глазами! Что такое смерть перед вечностью?»

- Ах! - отчаянно вскрикнула Нина и выронила письмо.

Аннушка повернулась к ней.

- Господь с тобой, матушка Нина Александровна, чего это ты?

- Аннушка, Аннушка! - воскликнула Нина, хватаясь за голову.

- Матерь Пресвятая! Да что ж это сталося? - и, вытирая о подол руки, Аннушка подошла к Нине, но та, схватившись руками за раму окна, припала к ней головой, повторяя:

- Боже, Боже, Боже!

В эту минуту на пороге входной двери показался Мика.

- Что с Ниной? - испуганно воскликнул он.

- Да вот, видишь ты, только взялась за письмо, да начавши читать, как вскрикнет, да как застонет, - озабоченно зашептала Аннушка.

Нина и в самом деле стонала: не кричала, не плакала, а стонала, по-прежнему припав к раме окна. С полным сознанием своего неоспоримого права Мика бросился к письму и схватил его. «Глубокоуважаемая и прекрасная!» - так вот как пишут его сестре - не все, стало быть, смотрят на нее, как он, сверху вниз! Прочитав до того места, где Нина выронила письмо, он тоже оставил его.

- Нина, Нина, успокойся! Нина, дорогая! - воскликнул он, бросаясь к сестре и обнимая ее. - Аннушка, помогите, успокойте! Несчастье с Сергеем Петровичем!

На пороге показалась привлеченная их голосами Катюша.

- Нина, пойдем в комнаты. Встань, Ниночка! Посмотри на меня, перестань! - и вдруг со страшным раздражением он накинулся на Катюшу: - Ты что стоишь и смотришь? Любопытно стало? Да что же ты можешь понять в горе благородной женщины? Нечего тебе и делать здесь, около моей сестры!

Катюша, не ожидавшая такого смерча, быстро юркнула к себе. Аннушка и Мика, оторвав Нину от окна, повели ее в комнату, где уложили на диване. Она отстраняла воду и все так же стонала. Мика вернулся в кухню, чтобы собрать страницы, их следовало так или иначе дочитать. Те, которые он начал... что-то особенное показалось ему в каждой строчке - светлая уверенность в потусторонней жизни, необычайность, с которой говорилось о надземном, приоткрывающиеся необозримые дали. «Я узнаю, кто он, а письмо это надо сохранить и показать Мери», - думал Мика.

Нина внезапно села на диване.

- Смерть... да - смерть! Что же могло случиться? - говорила Нина. - Ведь он был здоров. Или все те же четыре шага? Аннушка, Мика, четыре шага стоят жизни... Да где же это мы живем? Они смотрели на нее, думая, что она сама не понимает, что говорит и перешептывались между собой.

Мика бросился к телефону, но Нина внезапно, словно тень, появилась около него и схватила за руку.

- Кому ты звонишь? Бога ради, не Бологовским! Там старуха с больным сердцем и молодая в ожидании. Им нельзя так вдруг сообщать такие вещи!

- Я хотел только вызвать Марину Сергеевну!

- Марину? Да, да! Позови Марину. И Олега позови, позвони ему на службу, только, Бога ради, не на дом, - и снова упала на диван. «Как ни была безрассудна эта женщина, она даже в минуты острейшего горя умела думать о других», - что-то вроде этой мысли мелькнуло в голове мальчика одновременно с мыслью, что жизнь все больше и больше вовлекает его в свое русло, приближая все вокруг к соотношениям и сложностям.

Когда через полчаса Марина подбежала к дивану, на котором металась Нина, та села и, не обращая внимания на присутствие Аннушки, стала восклицать:

- Вот наказание! Вот расплата! За измену, за аборт, за безверие! Получила возмездие! Теперь - всю жизнь одна! Ни мужа, ни ребенка! Так и должно было быть, так и надо такой дряни, как я! Он не успел получить моего письма! Слишком поздно! Какое страшное слово «поздно»!

Марина обнимала ее, стараясь успокоить, повторяя, что во время своей поездки она уже

достаточно доказала свою любовь. Письмо Якова Семеновича дочитали. Последовательность событий выяснилась во всей своей безотрадности: во время одного из очередных походов в тайгу ни Сергей Петрович, ни его напарник-уголовник не вернулись на место сбора. Ссылные были уверены, что они заблудились, начальство заподозрило побег. После долгих упорных поисков, уже на другой день, с собаками, нашли только тело Сергея Петровича, уголовного не нашли вовсе. Яков Семенович сообщал все факты, но художница описывала целый ряд подробностей, которые проливали свет на последние дни Бологовского. По ее словам младший комендант еще с той сцены в лесу (когда был убит Родион) затаил злобу против Сергея Петровича и постоянно чинил ему какие только мог неприятности. Последнее время он гонял его в тайгу с каждой партией и назначил ему в напарники убийцу-рецидивиста, с которым никто не мог поладить. «Он несколько раз жаловался мне, что этот человек невыносим ему и своим присутствием отравляет последнюю радость – созерцание зимней красоты, - писала Лидия Викторовна. – Несколько раз он напрасно просил командировать к нему Якова Семеновича или доктора. Когда стало известно, что Сергей Петрович не вернулся к месту сбора, никто из нас, ссылных, особенно из числа интеллигенции, ни одной минуты не допускал, чтобы такой человек, как Сергей Петрович, решился на такой опрометчивый шаг, как побег, имея родных и жену, на которых это, разумеется, тотчас бы было вымещено. Мы были с самого начала абсолютно уверены, что он заблудился. Я всю ночь не спала, прислушиваясь к вою метели. На утро мы с ужасом наблюдали, как конные гепеу выводили своих больших овчарок, снаряжаясь на розыски. Эти собаки приучены перекусывать людям сухожилия ног, чтобы преследуемый человек не мог больше сделать ни шагу. Я вспоминала «Хижину дяди Тома» – скажите, чем наши колонии лучше плантаций, если на русских, как на негров, выпускают натренированных овчарок? Это неслыханно! Весь день мы провели в ожидании известий и, перебегая друг к другу, переговаривались шепотом. С наступлением сумерек я только что вышла из мазанки, чтобы добежать до Якова Семеновича, так как от тревоги места себе не находила, как послышался звук кавалерийского рожка и лай собак. Все повыскакивали из своих домов и увидели, как отряд гепеу проследовал в здание комендатуры, они пронесли кого-то на носилках; но когда мы попробовали подойти ближе, на нас закричали, грозя арестом каждому, кто посмеет приблизиться. Сначала мы так и не узнали ничего; нам помогли наши дети: несколько мальчиков, якобы наперегонки носились взад-вперед на лыжах по нашей единственной, известной вам улице и высмотрели, как закрытые рогожей носилки перенесли в подвал, к которому приставили часового. Туда могли положить только мертвого! Я не могла оставаться больше в неизвестности, и когда наступила окончательно ночь, я подговорила несколько друзей, и мы с фонарем под полой прокрались к погребу. Сунув часовому на водку, мы уговорили его впустить нас на несколько минут. Пришлось убедиться в горькой истине. У него оказалась разбита голова, узнать было почти невозможно, но по волосам, по свитеру и руке с обручальным кольцом мы узнали Сергея Петровича. Что именно произошло – осталось неизвестно. Доктор, который был с нами, уверял нас, что так свернуть на сторону весь череп мог или медведь, или богатырский удар камнем, во всяком случае, не собаки. Быть может, у него возникла ссора с уголовником? Но куда же девался сам уголовник? Это осталось непонятным, но разве легче стало бы, если бы мы, положим, узнали, что произошло? Мы потеряли человека, который был душой нашего круга, который объединял нас, он никогда не терял хорошего, бодрого расположения духа и умел привносить содержание в каждую беседу. Своими разговорами об искусстве и философии он не давал нам тупеть и опускаться. Когда я вернулась домой, безумно плакала на печке моя старшая дочка; я всю ночь не могла ее успокоить. Ей только 13 лет, но она уже поняла, что она потеряла с этой смертью; он всегда старался скрасить дни этого несчастного ребенка и содействовал развитию в этой дыре, где она лишена слишком многих культурных воздействий. Приходя к нам по вечерам, он тренировал ее по-французски и читал ей наизусть целые акты из «Бориса», «Фауста» и «Syrano de Bergerack», заменяя собой целую библиотеку. Он постоянно шутил с ней и ободрял ее. У него была органическая потребность приносить кому-то пользу, передавать

неистощимое богатство своей внутренней жизни. Я не могу себе представить сейчас нашего существования без него – оно потеряет последние краски! Минут, когда мы стояли над его телом я не забуду. Сейчас они уже аккумулируются в творческие планы и когда-нибудь претворятся в картину «Гибель ссыльного». Я запечатаю на ней неподвижное тело с лицом аристократа, эти восковые красивые руки и наши скорбные фигуры в верблюжьей шерсти и сибирских ватниках – своеобразные святые жены у Креста и Яша в роли Иосифа Аримафейского. Я бережно вынашиваю свои творческие замыслы, я – как беременная! Но боюсь, что им никогда не суждено будет перейти на полотно и что я так и умру на своем гороховом поле у закопченной печи вместе с моими девочками, забытая всеми, так и не знающая, за что я пострадала».

Далее она сообщала, что в следующую ночь тело было уже увезено неизвестно куда. Все было сделано шито-крыто, очевидно со специальной целью избежать каких-либо нежелательных инцидентов. Подвал оказался открыт и пуст! На ту же ночь ссыльные, собравшись в мазанке на окраине, отпели «Со святыми упокой», «вечную память», причем почти все плакали.

Марина читала это письмо вслух и сама все время вытирала слезы. Мика, слушавший из угла, в который забился, видимо, тоже был потрясен. Едва они успели закончить, как в комнату быстро вошел Олег, явившийся прямо из порта.

– Что случилось? – спросил он еще в дверях.

После того, как все была рассказано и прочитаны письма, Нина, всматриваясь в его печально-озабоченное лицо, спросила:

– Считаете вы возможным сообщить такое известие Асе и Наталье Павловне?

Он задумался.

– Нет, – проговорил он через несколько минут, подымая голову, – нет, это сейчас невозможно!

– А что же делать? – спросила Марина. – Нине будет слишком тяжело притворяться. Не знаю, в праве ли вы требовать от нее такой жертвы. А если даже она пойдет на нее ради вас, что вы скажете Наталье Павловне и жене, когда не будет писем месяц, два, три? Чем объясните это молчание?

– В конце концов, конечно, сказать придется, – ответил он. – Асе я скажу, как только она поправится после родов, а там она сама решит, как поступить с Натальей Павловной. Она – самый близкий Наталье Павловне человек и будет сделано так, как захочет она.

– Так значит, Нина одна должна вынести на своих плечах всю тяжесть этого известия? Вы поставите ее в такое положение, что ей даже поплакать будет не с кем, – и нота раздражения прозвучала в голосе Марины.

Он с холодной неприязнью быстро скользнул по ней глазами.

– Пусть Нина сама выскажет мне решение – готова ли она помочь мне побереечь некоторое время мою жену. Нина, сколько я мог заметить, сама очень привязана и к Асе, и к Наталье Павловне. Что вы мне скажете, Нина?

Он поднес к губам ее руку и потом, продолжая держать ее в своей, приник к ее кисти, ожидая своего приговора. Несколько минут они молчали.

– Я сделаю все, что вы хотите, – покорно прошептала Нина, – Да, эти люди стали родными мне. Между ними составилась уговор написать от лица Сергея Петровича два или три письма, в которых он сообщит, будто бы повредил себе руку и диктует это письмо соседке; так письма, естественно, будут короче и более общего характера. Олег и Нина составят вместе несколько таких писем; дату можно всегда поставить недели на две назад и опустить письмо за городом, доверчивые души не станут разглядывать почтовых штемпелей; сложнее будет, если они опять примутся собирать посылку, но и тут выход из положения найти нетрудно:

– Отправлять посылку придется, конечно, мне, – сказал Олег. – Не Асе же тащиться за город с тяжелым ящиком. Я принесу ее вам, Нина, и просижу у вас день – вот и все.

Этот план как единственно возможный был принят, и тут же составлено первое письмо, которое Марина вызвалась переписать, чтобы почерк не показался знакомым. Она обещала точно так же переписывать и последующие письма.

Через несколько дней Нина собралась с духом и пошла к Наталье Павловне, после того, как Олег позвонил со службы, что старая дама удивляется ее продолжительному отсутствию. Зная тонкость и безошибочность чутья Аси, Олег удалил ее под каким-то предлогом на этот вечер к Леле, строго наказав дожидаться, пока он придет за ней, а сам остался на всякий случай с дамами. Сначала все шло благополучно, но за чаем, когда Наталья Павловна стала читать вслух полученное письмо, атмосфера слишком накалилась.

- Досадно, что он не сообщил подробностей: чем повредил себе руку и в каком именно месте, - говорила Наталья Павловна, - я боюсь, чтобы это не помешало ему играть на скрипке, особенно если повреждено сухожилие. Как вы думаете, Ниночка?

Нина крепилась из последних сил и все-таки расплакалась.

- Это нервы! Я очень истосковалась... Не дождусь, когда поеду... - шептала она... - Вы слишком трогаете своим отношением, Наталья Павловна!

- Вы - мои дети. Какое же другое отношение может у меня быть? - возразила Наталья Павловна.

- Кажется, не выдержу! - сказала Нина Олегу, когда он вышел ее проводить. - Хорошо, что через две недели Капелла уезжает в турне на Поволжье. Вчера это выяснилось. К тому времени, когда мы вернемся, Ася уже будет матерью, и вы должны обещать мне, что сообщите обоим все без меня...

И потом, прощаясь с ним около своего подъезда, она сказала:

- Мы друзья, не правда ли? Мы с вами знаем грехи друг друга и прощаем их. Не все так чисты, как ваша Ася. Мне и вам так досталось в жизни, что... Бог, если Он есть, смилостивится над нами и не осудит нас. Мы - друзья?

Он с прежней манерой склонился к ее руке:

- Да, Нина, и всегда ими останемся.

Письмо «чудака из Клюквенки» не принесло плодов, или вернее, принесло их не там, куда было адресовано: его читал и перечитывал Мика. «Вот истинное отношение к смерти! Здесь даны такие штрихи потустороннего существования, такое сияние бессмертия и широта мысли, каких я еще не встречал никогда! Это писал большой христианин! Я его найду, я буду с ним говорить! Он раздвигает облака, показывая солнце!»

## Глава четырнадцатая

Леся всегда избегала конфиденциальных разговоров, в задушевный тон она переходила только с Асей; никто из окружающих ее не мог с точностью определить в какой мере она потрясена оборвавшимся романом. Она ни разу не плакала и даже не высказала сожаления по поводу ссылки Валентина Платоновича; напротив, сама обрывала мать: «Довольно уже! Сетованиями нашими мы все равно не поможем» или «Переделать ничего нельзя, так и не стоит! говорить об этом!» Тем не менее, старшие дамы соглашались между собой, что она, несомненно, грустит, похудела и побледнела; они старались ласкать ее и развлекать, как могли.

Сознавая, что потеря эта для нее не является роковой или незаменимой, Леся и в самом деле не могла тем не менее отделаться от мыслей о Валентине Платоновиче. Он казался ей интересней всех остальных. Уже пробуждающийся женский инстинкт подсказывал ей, что этот человек ближе других подходит к тому идеалу мужчины, который был создан ее воображением: изящному до изысканности и дерзкому до грубости в отношениях интимных; давно ожидаемая репрессия настигла раньше, чем отношения успели стать таковыми благодаря тем несколько старомодным приемам ухаживания, с которыми Валентин Платонович подходил к ней, очевидно из уважения к своему кругу... И она пока не могла себе представить никого другого на этом месте. Щемящая и досадная боль не осуществившихся ожиданий! еще не зажила. Разговоры старших о Фроловском были ей теперь неприятны отчасти потому, что расшевеливали эту боль, отчасти и потому, что вели к постоянным пререканиям с Зинаидой! Глебовной: в Ленинграде осталась шестидесятилетняя больная мать

Валентина Платоновича, которая жила на распродажу вещей и из последних средств посылала сыну посылки в Караганду. Зинаида Глебовна постоянно навещала приятельницу, но тщетно посылала к ней Лелю:

- Не поеду, - всякий раз взволнованно напускалась на мать Леля. - Вовсе ни к чему! Только себя в ложное положение belle fille [87] поставлю! Помочь мы ничем не можем, а общества старух с меня и так довольно. Тебе доставляет удовольствие плакать с ней вместе, а мне никакого!

Зинаиду Глебовну огорчали пререкания с дочерью и ее дерзкий тон, и она постоянно жаловалась Наталье Павловне:

- У Лелички завелось слово «подумаешь», которое может довести до отчаяния! - говорила она.

- Но это слово... помилуйте, дорогая, это слово... вне своего прямого значения и вне определенного контекста ничего не значит! - возражала ее собеседница.

- О, нет, Наталья Павловна, нет! Вы ошибаетесь: оно очень много значит, когда произносится отдельно с восклицательным знаком. Тут и «как бы не так», и «вот еще», и даже «не воображай, пожалуйста!» - целый комплекс слов самых оскорбительных для родительских ушей. Прокофьев Сергей Сергеич рассказывал, что это слово первое, которое принесли из советской школы его мальчики. Как же так «оно ничего не значит»!

- Вы слишком уступчивы, моя дорогая! Вот Ася хорошо знает, что если бы она попробовала заговорить со мной подобным образом, она тотчас бы подверглась домашнему аресту без книг и рояля, - возразила Наталья Павловна.

Зинаида Глебовна только вздохнула: подвергнуть домашнему аресту Лелю было не так просто!

На Пасху Леля уступила, наконец, желанию матери. Опасаясь, как бы дочь не передумала, Зинаида Глебовна стала выпроваживать ее немедленно и несколько даже заискивающе лепетала:

- Ну, иди, иди, дорогая. А я тем временем все твои блузочки выглажу и печенье твое любимое испеку. Передай от меня привет Татьяне Ивановне и расспроси про Валентина Платоновича. В самом деле, ведь неудобно ни разу не появиться.

Двери на звонок Лели отворила молодая особа с надменной мордочкой, накрашенными губками и копной перманента на голове.

«Тоня или Дарочка!» - подумала Леля. Эти два имени постоянно упоминались в нескончаемых оживленных пересудах между Зинаидой Глебовной, Натальей Павловной и мадам, тревожившихся за судьбу Татьяны Ивановны Фроловской, которая по их мнению отличалась излишней кротостью и полным неумением постоять за себя. Тоня и Дарочка были внучки нянюшки Агаши, вынянчившей всех детей в семье Фроловских и проживавшей по старой памяти в квартире своих бывших господ. Татьяна Ивановна разрешила Агаше выписать к себе из деревни этих внучек и долгое время баловала обеих девочек, отдавая им сохранившиеся детские игрушки, а позднее собственные старые платья; она занималась с обеими французским языком и другими школьными предметами, так как окончание семилетки давалось девочкам с большим трудом. Все это принималось сначала с благодарностью, но понемногу картина стала изменяться: девочки начали роптать, что юбки и блузки слишком старомодны, а мыть по приказу бабушки для бывшей барыни полы и посуду слишком скучно; они стали держаться несколько строптиво. В это как раз время у Фроловских отняли еще одну из комнат, и Татьяна Ивановна была вынуждена переселить Агашу и двух девушек в собственную спальню. Сделано это было против желания сына, который находил ненужной филантропией возню матери с двумя уже взрослыми девушками, наглевшими с каждым днем. Присутствие Валентина Платоновича их, правда, немного сдерживало, и при нем они держались несколько даже подобострастно, но как только Валентин Платонович выехал, обе окончательно переменили тон. Скоро дошло до того, что они начали самостоятельно продавать вещи Фроловских, и когда Татьяна Ивановна обнаруживала исчезновение то медной кастрюли, то постели французской школы и пыталась слабо протестовать, в ответ она получала: «Обойдешься и так!» или «Не вам одной жить, мы тоже люди!»

Одиночество, а может быть болезнь и несчастья надломил силы Татьяны Ивановны и, жалуясь поочередно всем своим друзьям на обиды, чинимые девчонками, она избегала тем не менее открытых объяснений. В своей комнате она занимала теперь уже совсем небольшой уголок, отделенный ширмой; там стояла кровать и маленький изящный столик, заставленный миниатюрными фотографиями, вазочками и безделушками, которые она надеялась таким образом спасти от покушений со стороны девчонок. Разлюбить безделушки было не так легко: они говорили о прошлом, напоминали прежний будуар с его изысканным убранством и изяществом ее собственных пальчиков, переставлявших белого слона с поднятым хоботом, венецианскую вазочку или маленького Будду с загадочной улыбкой; фарфоровое яичко с букетиком фиалок напоминало христосование и пасхальные подарки, а гараховский флакон, еще хранивший запах дорогих духов, говорил о том же незабываемом времени... И тут же фотографии, с которых смотрят дорогие лица – лица погибших в боях с немцами, в боях с большевиками и в советских чрезвычайках. Некоторые дамы боятся выставлять портреты с погонами, кирасами и георгиевскими крестами, но храбрых дам больше...

– Вот теперь моя «жилплощадь». Я собрала сюда всех моих, чтобы не чувствовать себя одинокой. Вот тут мои мальчики: это старший, Коля, убит под Кенигсбергом, а это Андрей, его ты, наверно, помнишь, ему случалось бывать у Зинаиды Глебовны. Он погиб от тифа в восемнадцатом году, в армии, мой бедный мальчик. А вот и Валентин, мой младшенький. Вот здесь он снят вместе с тобой, помнишь, ты изображала однажды Красную Шапочку на детском вечере, а Валентин был в костюме Волка; вы танцевали вместе, и ты еще не дотягивалась ручкой до его плеча. А вот и вся наша семья на веранде в имении мужа; веранда, помню, была вся увита плющом и хмелем.

К удивлению Лели, Татьяна Ивановна говорила все это совершенно спокойно, как будто всматриваясь в далекую картину, и только когда она стала рассказывать о письмах из Караганды, слезы неудержимо полились из усталых глаз.

– Я знаю, что он мне не пишет правды; я читаю между строк! Он замечательный сын, Леличка, всегда боится меня встревожить и огорчить, и мужем бы, наверно, был самым преданным и нежным, только прикидывается циником. Я ведь уже надеялась, что вы мне станете дочкой и оба будете у меня под крылышком тут, в соседней комнате... Как бы я вас любила!

Она обняла и прижала к себе девушку.

«Благодарю покорно! Разве ее любовь мне здесь нужна? С меня и маминой более, чем довольно. Она видно уже забыла, чего хочется в молодости. Я потому и не хотела идти сюда, что предвидела, как обернется разговор. Ну, что я должна отвечать ей?» – думала Леля, не смея освободиться из объятий старой дамы. Татьяна Ивановна приписывала застенчивости ее молчание и нежно гладила ее волосы.

– Ивановна! – перебил их развязный звонкий голос. – Ты куда свои кораллы засунула? Я на рояль положила, одеть хотела, а ты уж и споровила!

Леля быстро выпрямилась, пораженная: такого тона она все-таки не могла ожидать.

– Это что еще такое? Наглость какая! – воскликнула она.

– Тише, тише, милая! Не надо, – испуганно зашептала Фроловская. – Потом поговорим. Войди сюда, Дарочка. Видишь, у меня гостя. Ожерелье я прибрала, потому что на рояле ему, согласишься, не место. Возьми, если хочешь надеть.

Вошедшая девушка – не та, которая открывала двери – недоверчиво покосилась на Лелю, по-видимому не ожидая увидеть ее, и зажав таки ожерелье в хищной ладони, тотчас скрылась.

– Как вы можете терпеть такой тон? – снова возмутилась Леля.

– Что делать, дорогая! – зашептала Татьяна Ивановна. – Ведь я не имею права их выселить, если у них нет жилплощади, а добром они не уедут. Жить же вместе и ссориться уж очень тяжело! Конечно, они меня стеснили, мне даже пасьянс теперь негде разложить, приходится класть карты на подушку. Но я мирюсь, одной тоже было бы трудно: лифт стоит, а подняться в третий этаж я не в силах из-за моего миокардита. Они же покупают все, что я попрошу. Вот и сегодня Дарочка принесла и молоко, и булку. Нет, Тоня и Дарочка девушки неплохие, а только

невоспитанные: культуру видят в шелковых платьях, с бабушкой же грубы. Добрейшая моя Агаша ради них с утра до ночи гнет спину: в домработницы к моему знакомому академику поступила, чтобы заработать девочкам на кино и тряпки, а они на нее кричат хуже, чем на меня; стыдиться ее начали, если при Агаше придут их подружки или кавалеры, они прячут ее ко мне за ширму. Вот это мне в них симпатично всего менее.

Она приподнялась и вынула бархатный футляр.

- Вот, дорогая, фамильный жемчуг; еще мой, девичий. Он был у нас приготовлен тебе как свадебный подарок. Возьми его. Кто знает, может быть, Валентин еще вернется, не возражай мне, девочка моя. Я не требую у тебя обещаний, я понимаю, как мало надежды... Но я уже плоха и не хочу, чтобы этот жемчуг попал в руки пролетариата. Он и уцелел-то только потому, что я повторяю и в кухне, и в коридоре, будто это простые бусы, не стоят и пяти рублей. Пусть он украсит твою шейку.

Но Леля замотала головой.

- Я не вправе принять такую вещь... Вы ее продать можете... Вам так теперь трудно!

- Нет, милая! Я этого не сделаю. Жемчуг этот заветный. Надень, я застегну на тебе замочек. Если бы ты только знала, как я грущу, но ты этого не поймешь в свои двадцать лет.

Как только Татьяна Ивановна усадила Лелю пить чай, с трудом разместив китайские чашки и чайничек на крошечном отрезке стола, послышался звонок, и в комнате появилась хорошо знакомая фигура Шуры Краснокутского с его круглыми, добрыми, черными глазами. Следом за ним, не дожидаясь приглашения, тотчас юркнула Дарочка. Быстрый завистливый взгляд, брошенный ею в сторону Лели, убедил последнюю, что в ее положении есть свои преимущества, которых она обычно не замечала: Дарочка могла завидовать ее прирожденному изяществу, ее положению всеобщей любимицы, а может быть и тому, что она сидит, как равная в объятиях этой дамы, напоминающей портреты Рокотова. Возможно, что зоркие глаза уже заметили жемчуг на шее Лели, и этого оказалось довольно, чтобы заподозрить, что Леля не замедлит явиться разрывать сундуки, которые останутся после Татьяны Ивановны... «Я удивительно умею улавливать дурные чувства, у меня на них нюх!» - сказала себе Леля. Этот же нюх позволил ей заметить женское кокетство, пущенное полным ходом при первом появлении Шуры. Дарочка ради него мобилизовала все свои чары, и наилучшей из них, по-видимому, считала ежеминутный звонкий хохот, не понимая всей банальности этого приема. «Дрянь! Выскочка! Ишь, куда метит! Я тебя еще срежу!» - подумала Леля и, подымаясь, чтобы уходить, самым невинным голоском спросила:

- Как здоровье вашей бабушки, Дарочка? К кому она нанялась? Помните, Шура, нянюшку Агашу? Такая добрая и милая старушка, вторая Арина Родионовна, - и покосилась на Дарочку, наслаждаясь плодами своего ехидства. С этой же тайной мыслью она позволила Татьяне Ивановне обнять себя и, прощаясь, сама повисла на ее шее. Но как только она и Шура вышли на лестницу, улыбка слетела с ее лица.

- Шура, что же это такое?

- Да, Леля, картина самая печальная, а изменить ничего нельзя. Татьяна Ивановна имела право их вписать, а выписать права не имеет: одна из очередных нелепостей нашей жизни! Я часто бываю здесь: отношу на почту корреспонденцию Татьяны Ивановны и хожу по комиссионным с ее квитанциями, а потому я в курсе всего, что здесь происходит. Я очень боюсь, что эти девицы приведут сюда кавалеров; если одна выскочит замуж, чего доброго, и муж въедет сюда же. Кроме того, они Татьяну Ивановну систематически обкрадывают, а она по непостижимому добродушию или безразличию допускает это и только просит ничего не сообщать Валентину и даже старой Агаше, чтобы не огорчать их. Легко может случиться, что, когда Валентину разрешат вернуться (если разрешат!), въехать ему уже будет некуда! Татьяна Ивановна долго не протянет, а девочки вместе с другими жильцами запрудят квартиру и завладеют понемногу всем добром. Эта картина очень характерная для нашей жизни и очень безотрадная.

Девушка молчала.

- Валентин сейчас в очень тяжелом положении... - начал опять Шура, но Леля его перебила:

- Не говорите, Шура! Я не хочу слушать. С меня в самом деле довольно трагедий! - а про себя она подумала: «Надеяться на Валентина Платоновича мне уже нечего. Эту эпопею в моей жизни давно пора забыть!»

- Барышня моя, ангел Божий! - услышала она внезапно на повороте лестницы: старая Агаша, закутанная в платок, перехватила ее руки и начала покрывать их поцелуями. - Радость-то нам какая выпала! Спасибо, вспомнили мою барыню! Плоха она больно стала! Чему и дивиться, последнего сына отняли. Я, почитай, кажинный вечер забегаю к Спасо-Преображенью записочку в алтарь за нее подать, да пока все нет и нет ей облегчения. Навещали бы вы ее, невеста наша желанная!

- Спасибо, Агаша, за ласковые слова, но я невестой не была, - холодно проговорила Леля, освобождая свои руки из морщинистых пальцев старухи, - если вы так преданы Татьяне Ивановне, обуздайте лучше своих внучек: они с Татьяной Ивановной непозволительно грубы и присваивают ее вещи, - и быстро сбежала вниз. Шура, отличавшийся тактичностью, тотчас заговорил на постороннюю тему, и все-таки Леле показалось, что он не одобряет той легкости, с которой она разрушила укрепления, воздвигнутые Татьяной Ивановной, дабы утаить от преданной женщины поведение девушек. «Лучше было, может быть, мне не вмешиваться? А впрочем... не все ли равно? Ведь я сюда не приду больше!»

- Передайте Ксении Всеволодовне мой совет быть осторожнее, - сказал Шура, - биография ее супруга становится известна слишком многим, вчера ее повторяли за именинным столом у Дидерихс. Все это, конечно, люди самые достойные, но ведь не все одинаково осторожны! - эти слова Шуры докатились до внимания Лели.

- Благодарю вас, Шура! Я передам, - а в мыслях ее пронеслось: «Печется о благополучии соперника! Не мужчина, а теленок!»

- Как теперь ваше служебное положение, Шура?

- У меня маленькая неудача, которая очень огорчает маму. Мне только что посчастливилось устроиться на заводе «Большевик» переводчиком по приемке оборудования. И вот дня три тому назад я захватил простуду; ночью температура поднялась до тридцати девяти, мама с утра вызвала врача, а сама тем временем потчевала меня аспирином и чаем с малиной; тут, как на беду, к нам заходит отец Христофор - протоиерей Творожковского подворья. Мама его очень уважает. И надо же, что в ту как раз минуту, когда мама поила его чаем - ни раньше, ни позже - шасть ко мне квартирный врач, еврейка; быстрым подозрительным взглядом окинула служителя культа, маму в пеньюаре, меня, распростертого на диване и портрет генерала в орденах над диваном, и с самым непримиримым видом сунула мне градусник. У меня же от маминых забот температура уже спустилась до тридцати шести. И вот достопочтенная леди заявляет: «Бюллетеня я вам не дам! Нет, нет, гражданин, пора кончить с этим!» Что подразумевалось под «этим» она уточнить не сочла нужным, очевидно воображаемые ухищрения классово-чуждого элемента, - так или иначе я уволен за прогул.

Леля ахнула и остановилась.

- Да как же врач мог не принять во внимание, что при гриппе такое явление...

- Не захотел принять во внимание, Леля! Это все та же, обычная в наши дни травля интеллигенции. Как-нибудь переживем. Бывает хуже!

«И будет!» - прогремел, щетинясь, грузовик, пронесившийся мимо, и повторил за ним заводской гудок.

Глаза Шуры, которые Ася называла «по-собачьи преданными», смотрели уныло.

## Глава пятнадцатая

«Полагаю, что Клюквенское гепеу все-таки сочтет себя обязанным прислать семье официальное извещение о гибели ссыльного, - думал Олег, заглядывая то и дело в почтовый ящик. - Могут прислать жене, а могут и матери! Наконец, может написать от себя еще кто-

либо из ссыльных». Пересиливая отвращение, он все-таки обратился к Хрычко:

- Если вы обнаружите в почтовом ящике какие-либо письма к моей жене или теще, не вручайте им лично, а передайте сначала мне. Должно прийти извещение о смерти сына Натальи Павловны. Я не хочу сообщать об этом теперь. Очень прошу посчитаться с моей просьбой. Будьте уверены, что, если бы вы обратились ко мне с подобной же, я бы ее исполнил.

Хрычко в этот раз был трезв и добродушно пробурчал:

- Ладно, не передавать - так не передавать! Нам-то что? Мы зла никому не желаем. За зверей нас напрасно почитаете. Слышишь, Клаша: письма, какие будут, только вот им передавать, а старухе и молодой - ни под каким видом.

Олег ушел несколько успокоенный. Через несколько дней он решил посвятить в случившееся Зинаиду Глебовну, чтобы получить в ее лице союзницу. Отчаяние, с которым она приняла это известие, навело его на подозрение: не было ли в свое время романа между ней и Бологовским; он не стал, однако, задерживаться на этой мысли, ни мало не будучи любопытным. Зинаида Глебовна согласилась с ним, что необходимо повременить с сообщением; Леле, а также мадам решено было тоже не сообщать, чтобы не вынуждать их к притворству, котором они вряд ли были искусны. Со службы Олег по нескольку раз в день звонил домой.

- Ласточка моя, ну как ты? Все благополучно дома? Не выходи без меня на улицу: сегодня скользко. Я провожу тебя в музыкальную школу и к Леле, если захочешь, только дождись меня.

В одно утро Хрычко с равнодушной и угрюмой миной вручил ему приглашение на Шпалерную, которое принял под расписку в его отсутствие. Стиснув зубы смотрел Олег на эту повестку. Принимая во внимание вполне реальную возможность не выйти оттуда, следовало сделать множество распоряжений и предупредить домашних, но он не сделал ни того, ни другого. «Если бы за это время поступили те или иные чрезвычайные сведения относительно меня, были бы непременно произведены обыск и арест, а это приглашение по всей вероятности только очередное напоминание, слежка, чтобы, помучив меня, незаметно подразведать: авось, да проговорится в чем-нибудь. Мне, как Казаринову, ежеминутно грозят осложнения такие, как увольнение и высылка за черту города, но сколько бы он своим следовательским нюхом не чуял во мне гвардейца Дашкова, на это все-таки нужны доказательства, а их пока нет».

А сердце все же колотилось как «овечий хвост», по его собственному выражению, когда он приближался к мрачному зданию.

Наг исправно погонял его опять по его биографии, по-видимому, рассчитывая, что Олег в чем-нибудь сойдет и сможет быть уличен в противоречии, чего, однако же, не случилось, и после спросил как бы вскользь по поводу одного очень незначительного события из жизни Валентина Платоновича. Мобилизовав все свое внимание, чтобы овладеть западней, которую он почуял, Олег, едва услышав это имя, ответил с небрежным видом:

- Я еще не был знаком с Валентином Платоновичем в тот период. Мы познакомились на моей свадьбе.

- А вы разве не вместе учились? - полюбопытствовал с самым невинным видом Наг, как бы апропос.

- Не имею чести знать, какое учебное заведение окончил Валентин Платонович, - отпарировал Олег.

- Не имеете чести? А скажите, если вы так недавно знакомы, отчего вы явились вечером, накануне его отъезда, к нему на квартиру?

Олег опять моментально нашелся.

- Мать его - старая приятельница моей тещи, и мне пришлось проводить ее к Фроловским по просьбе жены. У Натальи Павловны большое сердце, и мы не выпускаем ее на улицу без провожатых.

Глаза у Нага блеснули, точно он сказал: «Ну и молодец! Ловко выворачиваешься! Но это до поры до времени, друг! Я тебя все-таки накрою!»

Они помолчали.

- Надеетесь скоро быть отцом?

Олег молчал.

- Что же вы не отвечаете?

- Что я должен вам отвечать?

- Не переменяли ли своего решения по вопросу о сотрудничестве с нами? Уверенность в своем положении и лишний заработок могли бы вам пригодиться теперь.

- Совершенно верно. Тем не менее, решение я не переменял.

- Так. Я подожду еще немного. Дайте ваш пропуск, подпишу. До скорого свидания! - и опять отпустил его.

«До скорого свидания! По-видимому визиты эти станут постоянным украшением моей жизни! - думал Олег, выходя на улицу. - Валентин оказал мне незаменимую услугу! Каково, однако, наблюдение: я был у него всего раз и это уже известно! По поводу Аси сигнализировала, очевидно, Катюша, которая всегда суется в кухню, как только услышит наши голоса. Прошлый раз она ее с любопытством оглядывала».

Олег рассказал о своей прогулке в гепеу только Нине, которую навещал почти каждый день.

- Совершенно ясно, что следователь не располагает достаточными данными, чтобы уличить вас. Если бы хоть одна улика - вы бы оттуда не вышли. Возможно, что в конце концов он бросит это дело, убедившись в его безуспешности.

- Нет, Нина, не бросит: он им увлекся, как спортом. Это не только профессионал - он в своем роде артист. Я, разумеется, буду в щупальцах этого подвального чудовища; вопрос только в том - когда?

- Это убийственно - жить с такими мыслями, Олег. А теперь, когда в перспективе ребенок...

- Не говорите об этом, Нина! Я, конечно, совершил преступление, когда женился на Асе... Вот Валентин, мой товарищ, нашел же в себе силы отказаться от Лели, - и тут же, подумал: «Леля не сказала ему: «Я не боюсь безнадежного пути!»

А между тем Ася в последнее время начала немного капризничать: потеряв подвижность и легкость она стала странно чувствительна к обиде и «сворачивалась» еще легче, чем раньше, хотя в общем уроки, которыми дорожила; а вслед за этим пропустила свой собственный урок музыки. В этот же день за вечерним чаем она бросила на стол листок бумаги и, проговорив: «Это вам всем от белой Кисы», - убежала. Олег прочел это послание вслух: «Приходится белой Кисе писать, потому что знаю, что заплачу, если начну говорить. Я не хочу больше ходить в музыкальную школу и играть на экзаменах, пока я в таком виде. И на первомайском концерте играть тоже не хочу. Пусть Олег поговорит с Юлией Ивановной, только поскорей, чтобы я знала мою судьбу. Никто из вас о Белой Кисе не подумал, а могли бы кажется догадаться, как неудобно вылезать на эстраду с такой фигурой. Бабушка даже упрекнула за пропуск - вот вы какие! Я бы непременно поняла, случись такая вещь с кем-нибудь из вас».

Все трое любовно улыбались.

- С кем же из нас может случиться такая вещь? Уж не со мной ли? - сказала француженка.

- Избаловали вы ее! - строго сказала Олегу Наталья Павловна. - У меня она никогда не смела капризничать.

- Когда же и побаловать то, как не теперь? - ответил он. - В такое время каждая женщина имеет право на внимание.

- И все-таки эти капризы некстати! - ответила Наталья Павловна. - Она должна была держать переходные экзамены на старший курс, она и так отстала в технике!

В этот вечер Олег спросил Асю, когда они остались вдвоем:

- Ну скажи, моя драгоценная, как бы хотела ты провести оставшиеся два месяца? Я сделаю, как ты захочешь.

Она ответила, припав головой к его плечу:

- Я бы хотела в лес и в поле! Теперь весна: поют зяблики и жаворонки, цветут анемоны. Я так давно не видела весну в деревне! Но разве это возможно?

В течение всего следующего дня Олег несколько раз возвращался к мысли, как трудно в

условиях большевистского режима исполнить самое невинное и скромное желание обожаемого существа!

В этот день после работы он зашел на несколько минут к Нине, которая уже готовилась к отъезду в турне. И она сказала ему:

- Моя тетушка тоже снимается с места: она едет к своей бывшей горничной, у которой проводит каждое лето. Вот бы вам отправить туда же Асю! Деревня стоит на песчаной горе среди бора, место сухое, здоровое; и всего в четырех часах езды от Ленинграда. Светелка, соседняя с той, в которой будет жить тетя, свободна, и тетя просила меня подыскать спокойных жильцов.

Олег ухватился за эту мысль. Комната стоила недорого, место было глухое, и вместе с тем все соответствовало желаниям Аси; к тому же там ей не угрожало никакое неожиданное известие. Тем не менее выростал ряд трудностей: Олег не мог получить в это время отпуск, а вместе с тем считал невыносимым отправить Асю одну; на Наталью Павловну надежды не было никакой: он слышал много раз от Аси, что в прошлые годы, когда Сергей Петрович каждое лето снимал комнатку в деревенской избе, чтобы вывести на воздух Асю, Наталья Павловна отправляла ее с Нелидовыми и с француженкой, а сама неизменно оставалась в городе. «Мне слишком тяжело видеть все то, что в воспоминаниях моих связывается с Березовкой. Я останусь здесь», - говорила она своим домашним. Переубедить ее никто не был властен, Олег это знал. В настоящее время она настолько уже подалась здоровьем, что оставлять ее на городской квартире одну, без француженки, казалось ему столь же невозможным, как оставить одну Асю. Он остановился на мысли уговорить Зинаиду Глебовну выехать в деревню с Лелей и Асей - и в этот же день помчался к ней. Леля, проработав уже год в качестве бесплатной стажерки и не имея пока официального места, могла с любого дня устроить себе летний перерыв. Она была очень худа и бледна; Зинаида Глебовна, обожавшая дочь, боялась вредного влияния рентгеновских лучей на ее здоровье и обрадовалась возможности отправить ее на воздух. Она пожелала взять на себя половину расходов по даче несмотря на горячие возражения Олега, но предупредила его, что на субботу и воскресенье принуждена будет возвращаться в Ленинград, чтобы продавать цветы, которые будет заготавливать в деревне в свободное от хозяйства время. Олег согласился на это условие, так как рассчитывал приезжать сам каждую субботу к вечеру и оставаться на воскресенье. Ася, узнав эти планы, сначала просияла от радости, потом расстроилась известием, что Олег будет только наезжать раз в неделю, но выехать все-таки согласилась. В один из ближайших дней состоялось «великое переселение народов». Место оказалось в самом деле чудесное, лесистое и глухое, бывший великокняжеский заповедник. Добираться было несколько сложно: около двух часов езды по Октябрьской железной дороге и еще столько же на рабочей кукушке, которая плелась по одноколейке в сторону.

Проводив всю компанию и вернувшись в тот же вечер обратно, Олег почувствовал себя во власти всевозможных тревог и опасений: за ужином Наталья Павловна и француженка напрасно уверяли его, что нет никаких причин для беспокойства и что Зинаида Глебовна очень заботлива - Олег был уверен, что ничей присмотр не может быть таким неусыпным и нежным, как его собственный, и что тысячи неведомых опасностей подстерегают Асю и в деревне, и в лесу, и в поле: она может споткнуться о сучок и упасть, она может испугаться коровы, она может подойти слишком близко к лошади... мало ли что может случиться. Когда он вошел в пустую спальню, тоска охватила его еще с новой силой.

«Все это верно, что деревенский воздух и прогулки помогут ей запастись здоровьем перед родами и кормлением, но еще неизвестно, долго ли нам доведется жить вместе... Жаль каждого дня, каждой ночи, проведенной без нее! - думал он, воображая себе ее голос, улыбку и ласку, не столько женскую, сколько детскую...

В первую же субботу он помчался к Асе с тяжелым рюкзаком за спиной, как и подобало «дачному мужу». Пока все обстояло благополучно: она встретила его на маленьком полустанке сияющая; он заметил, что кожа ее приняла золотистый оттенок, щеки порозовели - ради этого стоило поскуцать неделю! Выяснилось, что Зинаида Глебовна не только сама уехала с

утренним поездом, но увезла с собой и Лелю, очевидно считая слишком неудобным ночевать всем в одной комнате. Олег тут же решил убедить ее не делать этого больше, так как он всегда может переночевать на сеновале и ни за что не позволит гонять взад и вперед Лелю из-за своей особы. Ася рассказала, что Зинаида Глебовна чрезвычайно внимательна: весь день возится с хозяйством, даже воду носит сама, ни в чем не позволяет себе помогать, и все время гонит ее и Лелю на воздух, в лес.

- Мне с тетей Зиной очень уютно, - говорила Ася. - И было бы совсем хорошо, если бы они не ссорились по каждому незначительному поводу; тетя Зина скажет: «Леля, сейчас сыро, надень жакетик!» - а Леля сейчас же отвечает: «Вот еще! Стану я кутаться!» Если тетя Зина скажет: «Я очень боюсь, что фининспектор все-таки обложит меня налогом!» - Леля отвечает: «Ты своими вечными страхами непременно хочешь испортить нам настроение?» Тетя Зина иногда вовсе не отвечает, точно не слышит, а иногда начинает плакать. Мне делается ее страшно жаль, один раз я тоже разревелась. Вот поди-ка попробуй ответить так бабушке! Я пробовала уговаривать Лелю быть мягче, но она говорит: «Ты не знаешь, до чего мама несносна своими вечными опасениями и заботами». Ну что мне делать, чтобы помочь им жить мирно?

Вечер и следующий день прошли чудесно: гуляли вдвоем по лесу, собирали сморчки и ветреницу, пекли вместе картошку и пили молоко; Ася лежала в гамаке на солнышке. Олег только вечером спохватился, что привез с собой для перевода целую кипу бумаг; после ужина пришлось усесться за перевод, Ася вертелась около.

- Пойдем погуляем еще немножко! Белая ночь такая особенная, фантастичная! Здесь есть место, под горой у речки, где в кустах черемухи поет соловей. Пойдем послушаем?

- Не могу, моя Киса, не проси! Эти бумаги должны быть готовы к утру. К тому же сейчас стало сыро и холодно.

- Я одену пальто. Ну, пойдем, ну, пожалуйста!

- Я уже сказал, что не могу. Возьми лучше рукоделье. Мои носки все дырявые. Прошлый раз после ванны я не знал, что одеть. Пока я не был женат, Аннушка мне охотно штопала, а теперь мне неудобно ее просить.

С пристыженным и как будто потухшим личиком Ася взялась за работу, но не просидела и четверти часа.

- Олег, милый...

- Что, моя драгоценная?

- Я выйду одна, можно? Я только до речки, послушаю и вернусь. Мне так хочется!

- Хорошо: на десять минут отпущу. Осторожно, пожалуйста!

Она накинула пальто и выскользнула, а он углубился в перевод.

Окончив страницу, он взглянул на часы. «Уже полчаса, как ее нет. Я знал, что не вернется вовремя».

Он перевел еще страницу - ее по-прежнему не было. Уже встревоженный, он выбежал на крыльцо. «Не пошла ли она в хлев? Она любит смотреть, как доят корову». Но в хлеву ее не было. «Может быть, кормит хлебом овец?» Но и у овечьего загона ее не оказалось.

Майский вечер был очень холодный, и когда Олег посмотрел на заросли молодых берез и черемух, спускавшихся к речке, они оказались подернуты белым туманом; серебристый серп месяца, неясно вырисовываясь на светлом небе, стоял как раз над ними. Белые стволы берез и зацветающие кисти черемух напоминали картины Нестерова смутностью своих очертаний и бледностью красок. Соловей щелкнул было и перестал - озяб, наверно.

«Да где же она бродит, непоседа! Еще простудится!» - и он побежал под гору в холодок этих кустов.

- Ася! - крикнул он, углубляясь все дальше и дальше в чащу. Наконец в ответ долетело ее «ау» и лай пуделя, а скоро и сам пудель подкатился к его ногам шерстяным комком.

- Ася! Да где же ты? Выходи ко мне! Я - на тропинке! - кричал он.

- Иди сюда сам, а я не могу! - зазвенел голосок.

- Что-нибудь случилось? - воскликнул он и бросился в кусты на ее голос.

Она стояла, прислонясь к березе, в несколько странной позе – на одной ноге.

– Я попала в капкан; вот посмотри: мне защемило ногу. Не бойся, я не упала, я успела схватиться за этот ствол. Уже около часа я стою на одной ноге, даже озябла.

– Капкан? Что за странность? Почему ты не закричала?

– Я боялась тебя взволновать и решила лучше выждать, пока ты сам прибежишь...

Он на коленях старался высвободить ее ножку, орудуя перочинным ножом.

– Готово! Какая глубокая царапина! Бедная лапка. Моя жена в капкане, точно лисичка или горноста! Вот и отпускаяй тебя одну! и он стал растирать ее онемевшую стопу.

Она сделала два-три шага, встряхнулась и вдруг звонко расхохоталась.

Но Олег рассвирепел:

– Тебе все шутки и смех! Я берегу тебя, как зеницу ока, стерегу, хожу следом, отпустил на десять минут, а она в капкан попала! Не нашла ничего лучше сделать! Что у тебя, глаз нет? Сколько раз тебе говорил, что ты должна смотреть себе под ноги!

Крах, дзинь! Олег пошатнулся и схватился за дерево:

– Что такое? Не понимаю!

Ася снова так же звонко расхохоталась:

– Так тебе и надо! Что же вы не смотрите себе под ноги, милый супруг? Нет глаз у вас, господин Злюка?

Раздосадованный Олег напрасно дергал ногу.

– Что тут смешного? Не понимаю! Ты, кажется, рада, что мои единственные приличные брюки порваны? Больше не ходи сюда в рощу – это может плохо кончиться. Последние брюки!... Не понимаю, чему ты смеешься!

Пришлось потрудиться теперь над собственным освобождением после чего оба, прихрамывая, вернулись, наконец, обратно. Пудель бежал за ними и поднимал заднюю ногу, прихрамывая, очевидно, из солидарности. Ася не соглашалась стричь «под льва» свою Ладу, и она походила на огромный комок белой шерсти; только три точки – нос и два глаза – чернели среди белых шелковых завитков.

## Глава шестнадцатая

Надежда Спиридоновна еще с юности вынесла любовь к природе, которая у бывших помещиков продержалась в большинстве случаев до последнего дня их жизни. Каждую весну старую деву начинало властно тянуть в лес и в поля. Ей хотелось ходить по молодой траве, собирать землянику среди папоротников и пней, поглядеть на пасущихся коров и овец, вдохнуть запах скошенного сена, а всего больше – поискать грибочков. Последнее было ее страстью. Как ни тяжело подыматься с места на старости лет, укладываться и тащиться в деревню, где приходилось ютиться без всяких удобств в деревенской светелке, она не могла устоять перед этой приманкой. Надежда Спиридоновна пользовалась большой привязанностью и уважением бывшей своей горничной Нюши, которая провела с ней всю молодость, ездила с ней за границу и до сих пор величала ее «барышней». Каждую весну в середине апреля Нюша эта появлялась на городской квартире Надежды Спиридоновны с докладом:

– Ждем вас, барышня! Крышу брат перекрыл заново; ступеньки к вашему крылечку поправил; пса того негодного, что обидел вашего котика, мы со двора согнали. Корова у нас отелившись. Клюква и моченые яблоки вам заготовлены. Колодезь мы вычистили. Пожалуйста – рады будем! В этот раз обычное сообщение усугублялось новым – чрезвычайным:

– Брат пристроил сбоку вторую светелочку, которую мы охочи тоже сдать.

Сообщение это весьма не понравилось Надежде Спиридоновне: она считала пребывание в этом доме своей монополией. Когда же Нина успокоила ее известием, что нашла ей спокойных соседей, и объяснила, кого именно, Надежда Спиридоновна со страхом воскликнула:

– Жену Олега Андреевича? Ниночка, да ведь она, кажется... кажется...

– Да, тетя, Ася в положении. А почему это вас беспокоит? Оберегать ее будет пожилая дама,

тетка ее по матери. А уж что касается деликатности и кротости – в Асе всего этого больше, чем нужно.

Старая дева промолчала, но осталась чем-то очень недовольна.

Когда же она узнала, что Ася и Леля уже в деревне, она взволновалась еще больше: ей представилось, что теперь интересы ее уже обязательно будут ущемлены. Она металась по комнате, повторяя:

– Зачем они переехали первыми? Мне там заготовлена клюква, а утреннее молоко с покон веку считается моим.

– Успокойтесь, тетя: никто на ваши права не посягает. Это все очень деликатные люди, – опять урезонивала ее Нина.

Надежда Спиридоновна приехала пятнадцатого мая вечером, когда Ася и Леля, утомленные прогулкой, уже крепко спали. Проснувшись поутру, она услышала странное повизгивание, которое сразу показалось ей очень подозрительным. Она отогнула край занавески. Лужайка, которая приходилась под ее окнами, весной всегда была усыпана желтенькими одуванчиками и мать-и-мачехой; Надежда Спиридоновна страстно любила эту лужайку и запрещала ее косить. И вот на этой лужайке, расположившись, как у себя дома, сидели на бревнышке Леля и Ася, греясь на весеннем солнце, а рядом с ними вертелся белоснежный пудель с черным, словно клеенчатым носом.

– Собака! – шептала Надежда Спиридоновна, и глаза ее от ужаса стали совсем круглые. – Собака на моей лужайке, на территории моего Тимура! Она перемнет все мои одуванчики, а бедному Тимочке теперь некуда будет выскочить! Какие, однако, нахалки эти девчонки! А фигура у молодой Дашковой так обезображена, что смотреть совестно. Вот удовольствие – выходить замуж.

Надежда Спиридоновна отличалась необычайной аккуратностью в туалете, но вместе с тем обладала пристрастием к старым вещам, которые бесчисленное число раз чинила и перечинивала. Для деревни у нее была серия особых туалетов, которая каждый год приезжала с ней и считалась у нее своеобразным «хорошим тоном». Она надела темно-синий сарафан, а сверху серую «хламиду» – так она называла холстиновый казакин, который затягивала на талии ремешком. Надежда Спиридоновна была маленькая и очень худая – вся высохшая, как корка. К ремешку она привесила берестовый плетеный бурачок, с которым еще в юности привыкла ходить за земляникой; ягоды еще не цвели, но Надежда Спиридоновна в лес без корзины никогда не ходила; в руки она взяла большую крючковатую палку – другой неизменный спутник. Мысль, что она сейчас увидит любимые привычные места, которые напоминали ей родные Черемухи, наполняла теплом ее душу: что-то мягкое и сердечное светилось в ее глазах, пока она привязывала бурачок и вооружалась палкой. «Пройду на «хохол», посмотрю, нет ли сморчков. Лишь бы «они» не вздумали надоедать мне разговорами и увязываться за мною в лес», – думала она, закрывая на замок свою дверь. А между тем не далее как в это утро Зинаида Глебовна как раз говорила:

– Девочки, вчера приехала тетушка Нины Александровны, она стара и одинока, будьте с ней поприветливей.

И вот, как только Надежда Спиридоновна вышла на залитый солнцем дворик, Леля, Ася и пудель тотчас окружили ее.

Очаровать, смутить, вообще как-либо сбить со своих позиций Надежду Спиридоновну было нелегко, тем более что она позволяла себе пренебрегать светским обхождением, правила которого были ей очень хорошо известны; причем позволяла только себе, строго порицая в других.

– Букет? Зачем это! Цветы я люблю собирать сама. Я уж, наверно, лучше вас знаю места, где растут *pulsatilla*. [88] Гулять в компании я не люблю, я хожу всегда молча. Уберите сейчас же собаку: она обидит моего кота.

И отпугнула таким образом девочек в одну минуту. Но когда к ней приблизилась с милой светской улыбкой Зинаида Глебовна, седеющие волосы и усталое лицо этой последней

несколько умилили воинственный пыл Надежды Спиридоновны, и она волей-неволей в течение нескольких минут отдавала дань ненужному с ее точки зрения разговору.

- Места здесь красивые, но какая же это «дача»? - говорила Зинаида Глебовна. - По нашим прежним понятиям, «дача» - загородная вилла: красивый дом, балкон с маркизами, дикий виноград и цветник... А это - просто комната в избе, стена в стену с овчарней; она годится только для таких разоренных и загнанных «бывших» как мы. Кроме того, здесь ничего нельзя достать: ни творога, ни сметаны, ни яиц, ни свежей рыбы - ничего из того, что прежде водилось в деревне в такой изобилии, что крестьяне не знали, кому сбывать... Это только при большевиках может так быть, чтобы в деревне не было ничего. Олег Андреевич и я притащили немного снеди на собственной спине, а иначе мы бы здесь голодали - ничего, кроме молока!...

- Кстати, утренний удой получаю всегда я. Так уж заведено, - сказала Надежда Спиридоновна.

- Пожалуйста! Мне все равно! Я буду брать вечернее, - поспешно сказала несколько удивленная Зинаида Глебовна.

Увидев свою Нюшу, появившуюся у калитки, Надежда Спиридоновна кивнула Зинаиде Глебовне и направилась к ней; несколько минут они о чем-то шушукались, после чего Надежда Спиридоновна вошла в бор, начинавшийся сразу за калиткой.

Тотчас после этого к Зинаиде Глебовне подошла Нюша и заговорила скрипучим голосом с фальшивой улыбкой:

- Хотела я предупредить... Тая лужаечка, что под окнами моей барышни... Они ее почитают все равно как своей собственностью... так уж вы окажите уважение: не велите ходить вашим барышням, и на завалинку чтоб не садились... Собаку тоже пущать не велено. Не хотелось бы нам неприятностей.

Вследствие таких сюрпризов, когда Надежда Спиридоновна через некоторое время снова показалась у калитки, никто уже не бросился к ней навстречу. Леля шепнула Асе: «Идет!» - и поспешно придержала за ошейник пуделя.

Показалось ли Надежде Спиридоновне, что она была слишком резка утром, или ей захотелось похвастать своими трофеями, но она замедлила шаг и сказала:

- Я убила только что двух гадюк: одна спала на солнце, а вторая выползла из-под моих ног и едва не ушла в кусты. Здесь, на «хохолке», их много, имейте ввиду. Я каждую весну убиваю несколько штук. Всего на своем веку я вот этою палкой убила сорок восемь змей, я им веду счет.

Две пары глаз с удивлением поднялись на воинственную леди.

- Она напоминает старую Карабас. Может быть она злая фея? - шепнула Ася, когда Надежда Спиридоновна отошла.

- Скорее уж ведьма! - возразила Леля.

Вечером, когда они ужинали при свечке, Зинаида Глебовна сказала, раскладывая на тарелки печеный картофель:

- Сейчас рассмешу вас, девочки: сегодня старушка, наша хозяйка, та, что почти не слезает с печи, жаловалась мне на свою Нюшу, которая здесь вершит всеми делами, будто бы Нюша и ее старая барышня - ведьмы, будто бы за обеими водятся странности...

- Вот видишь! Я тебе говорила! Я первая заметила! - закричали друг другу Леля и Ася.

- Старуха уверяет, - продолжала Зинаида Глебовна, - что лет десять тому назад Нюша вздумала вешаться на чердаке и, когда вбегала туда по лестнице, услышала, как кто-то зазывает ее сверху страшным голосом: «А поди-ка, поди-ка». Нюша испугалась и не пошла, однако с той именно поры прочно связалась с нечистым: умеет взглядом заквасить молоко, заговаривает кур, питает пристрастие к черным кошкам и петухам, а в церковь ее не заманить даже к заутрене...

- А на помеле ездит? - деловито спросила Леля, обчищая картошку.

- Пока об этом мне не доложено, - засмеялась Зинаида Глебовна.

Воображение у «Леася» разыгралось настолько, что Зинаида Глебовна пожалела о том, что порассказала: когда после ужина понадобилось пройти к рукомойнику, висевшему на

крылечке, обнаружилось, что Ася боится пройти через темные сенцы, где за бочкой воды притаился черный кот. Зинаиде Глебовне пришлось конвоировать ее, держа свечу; едва они успели выйти, как их с визгом догнала Леля, уверяя, что как только она осталась одна, глаза у кота загорелись, словно уголья. Зинаида Глебовна выговаривала Леле, что она едва не толкнула Асю и что следует быть выдержанней и осторожнее. Казалось бы, советский колхоз и ведьмы – две вещи несовместимые, а вот – изволите ли видеть! «Есть много, друг Горацио, тайн!»

С этого дня перешептывание по поводу двух ведьм и наблюдение за обеими стало любимым занятием «Леася». Обе девочки увлеклись этим, как крокетом или волейболом.

– Я сегодня видела, как одна ведьма сунула другой пяток яиц; нам не дает, а для подружки наколдовала, – говорила Леля.

– А утром, когда я вышла за околицу, Надежда Спиридоновна собирала там траву. Наверно, колдовскую. Может быть, разрыв-траву? – сообщала Ася.

– Походка у нее самая ведьминская! – восклицала с видом знатока Леля, – Семенит быстро-быстро – и вдруг остановится и припадет на свою клюку, да озирается вокруг своими страшными глазами.

– Да бросьте вы, девочки! Собирала Надежда Спиридоновна всего-навсего щавель себе для супа! – урезонивала их Зинаида Глебовна, которая тщетно старалась понять, почему она со своими любимицами попала в такую немилость у Надежды Спиридоновны и Нюши. Можно было подумать, что Надежда Спиридоновна платит какими-то другими более ценными деньгами, ибо для нее находились и яйца, и клюква, а однажды даже мисочка творогу, которая весьма секретно была препровождена в комнату Надежды Спиридоновны. Воду ей тоже приносили на дом, а Зинаида Глебовна ходила к колодцу сама и кроме молока и картошки ничего не могла получить в этой счастливой Аркадии, так что к концу недели они стали подголаживать и с нетерпением ждали Олега с очередной поклажей.

Утром в субботу Зинаида Глебовна уехала в этот раз одна. Ася и Леля весь день провели вместе и вместе же пошли на полустанок встречать Олега. Радость от поездки на дачу для Олега в этот раз была несколько неполная; но он всячески старался не дать почувствовать этого Леле. Ночевать ему пришлось на сеновале, причем Ася оказалась настолько щепетильна, что, устраивая ему постель на сене, не пожелала задержаться ни на одну минуту и не позволила закрыть дверей. Она по-видимому считала, что целомудрие ее подруги заслуживает самого большого уважения и осторожности, и он почтительно покорился. Утром в воскресенье гулять пошли все втроем. В предыдущее воскресенье они целовались в лесу несчетное число раз; теперь нельзя было проделать того же, и он только украдкой пожимал пальчики Аси. Раз, воспользовавшись минутой, когда они оказались в стороне, он привлек, было, ее к себе для поцелуя, но она строго сдвинула бровки и подняла пальчик.

И Наталья Павловна, и французенка, рассматривавшие ссылку Валентина Платоновича как роковую неудачу, много раз высказывали при Олеге беспокойство по поводу судьбы Лели; это не могло не возбуждать в Олеге участия, но вместе с тем Леля еще не завоевала у него особой симпатии как человек. Он соглашался, что она мила и воспитана, какой и подобало быть внучке сенатора; но не замечал в ней ни обаяния, ни сердечности; она была безусловно не глупа, но казалась ему несколько скрытной, в ней не было и следа той лучистой искренности, которая составляла одну из прелестей Аси. Приглядываясь к Леле, он несколько раз говорил себе, что она как будто таится внутренне, как будто остается иногда при особом мнении, которое не находит нужным высказывать, и что она совсем не такой наивный ребенок, каким считают ее все окружающие и в первую очередь мать.

В это утро, перетянув себе кожаным ремешком талию, она бегала, кружилась и прыгала, как коза. Олег еще никогда не видел ее такой оживленной. Она точно намеренно, для сравнения с Асей, подчеркивала свою легкость. «Зачем это ей понадобилось? – думал Олег, – Для кого это? Если для меня, то выстрел не попадет в цель».

Но Леля вовсе не ставила себе целью покорить Олега; кокетство ее явилось лишь от сознания,

что она может превзойти Асю в грации и в резвости. Сложилось так, что на заре юности первые поклонники, появившиеся на их горизонте – и Шура, и Олег – оба предпочли Асю, а Валентин Платонович первое время держался выжидательной политики – Леля этого не забыла. Она не сомневалась, что, если бы с ней рядом не было постоянно ее кузины, она, разумеется, покорила бы всех троих. Стоило ей оказаться без Аси, и она тотчас же попадала в центр мужского внимания. Никто из окружающих ее не подозревал, что она отдавала себе в этом совершенно ясный отчет. Теперь Ася не знает, куда ей деть живот, и настолько смущена своим видом, что прячется от всех знакомых; недавно она не захотела выйти к Шуре Краснокутскому... И Леля не устояла перед искушением покрасоваться и один раз кольнуть ту, которая, сама того не подозревая, уязвила ее самолюбие. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы проявить вульгарность или развязность – все было мило, по-девичьи; дурного – ничего, кроме невнимания к положению подруги, а ведь она, казалось, любила Асю!

«Бестактность по отношению к такому близкому человеку уже бессердечие!» – думал Олег, провожая Лелю недружелюбным взглядом. Особенно разительна ему показалась сцена около ручейка, пересекшего им дорогу; берега его были глинистые, размытые и скользкие, ложбина усеяна валунами, Леля, смеясь и напевая, резво перескочила по камням на другую сторону и, грациозно вырисовываясь на возвышенном берегу, крикнула:

– Я вас жду! Что же вы так долго?

Ася остановилась, безнадежно оглядывая ложбину, и лицо ее показалось Олегу опечаленным... «Она жалеет сейчас, что вышла за меня и попала в это положение!» – подумал он и с досадой крикнул Леле:

– А вы не слишком хороший товарищ, Леля, если покидаете своих спутников перед первым же препятствием!

Она засмеялась.

– Ну, какое же это препятствие! Да если хотите, я вернусь. Скок-поскок, молодой дроздок!

Глядя на сестру, Ася припомнила почему-то фразу, с которой часто обращался к Леле Сергей Петрович, более проникательный, чем дамы: «Чужих сливок не лизать», – и в первый раз догадалась, что может означать этот шифр. Кокетство сестры ее не уязвило; она только становилась все грустней и грустней. Прогулка втроем решительно не удалась.

## Глава семнадцатая

В последних числах июня в Оттовской клинике санитарка, бегавшая в часы передач с записочками от молодых матерей к мужьям, в числе других принесла следующие два письма:

«8 часов утра. Олег, милый, у тебя сын! Это тебе от белой Кисы за твою такую большую рыцарскую любовь. Ты рад? Очень ты беспокоился? Теперь все уже позади, совсем ничего не болит; я чувствую только сильную разбитость и слабость, то задремлю, то очнусь и все время думаю, что у меня сын. Я его еще не разглядела; когда он наконец вынырнул на Божий свет, я только мельком увидела что-то маленькое, розовое и грязненькое; врач похлопал его по спинке, и он запищал. Это было рано утром; через большие окна лились солнечные лучи, из больничного сада я услышала щебет птиц. Вся палата наполнилась торжеством. Бог посылает мне слишком много светлых минут и мне опять совестно за мое счастье! Врач и сестра были такие добрые, ласковые; врач наклонился ко мне и сказал: «Поздравляю с сыном». Меня почти тотчас перенесли в палату, положили на спину и запретили садиться. Он лежит отдельно от меня в детской; в 12 часов обещали, что принесут покормить. Вот тогда уж я его разгляжу. Меня беспокоит сейчас только одно: будешь ли ты по-прежнему брать меня на колени, называть Кисанькой, сажать на плечо и носить по комнате? А вдруг ты решишь, что если я уже мама, значит я – большая, и станешь со мной деловым и строгим? Это было бы ужасно для Белой Кисы! Тогда она уйдет в печную трубу и станет серой. Попроси бабушку напеть тебе фразу из корсаковского «Салтана»: «Я свое сдержала слово...» – она удивительно хороша! Прости, что пишу каракули – лежа писать неудобно.

12 часов 40 минут. Милые бабушка, мадам и Олег, приносили мне только что кормить моего сынка, сказали: прекрасный экземпляр! Как вам понравится это выражение? Я, однако, вовсе не нахожу его прекрасным: личико красненькое, ротик беззубый, глазки темно-синие, черничные, но они как-то заплыли, говорят, что это от отечности, которая скоро пройдет; носик крошечный и сначала показался мне курносый, но после я разглядела, что в профиль носуля совсем приличный. Локонов нет – так, пух какой-то! Чепчики мадам, пожалуй что, нам и пригодятся. Да, красотой не блестим! Он довольно пристально меня разглядывал, и не спал как большинство других. Ведь и в самом деле интересно увидеть ту, которая вызвала вас к жизни! Потом мой вид показался ему слишком скучным, он стал зевать, потом чихнул, а потом задремал. Я вспомнила, как однажды вот так же у меня на руках заснул маленький зайчонок, который жил у нас с Лелей. Потом он! стал кочевряжиться: извивался и увякал. Няня из палаты ушла, и мне стало казаться, что он сейчас сломается и умрет. Я сама чутья не заплакала и с облегчением вздохнула, когда няня пришла и унесла его. А теперь уже снова хочется посмотреть. Надо сознаться, что при всем совершенно очевидном уме и способностях, он все-таки больше похож на лягушонка или крысенка, чем на человечка. Впрочем, есть небольшая надежда, что он похорошеет, ведь да сих пор он был в ужасных условиях: было темно и тесно и, как я это поняла только здесь, лежал он, оказывается, вверх ногами! Бедный мой детка! Хорошо, что я этого не знала! Расскажите о нем Леле и тете Зине и не забудьте послать телеграмму дяде Сереже. Я хочу назвать моего сына Святославом, вместе с отчеством это будет звучать как имена старорусских князей.

4 часа. Вот и настал час передач: мне принесли от вас чудесную корзину цветов и ваши письма. Запечатываю свое. Ася».

Писем было четыре; она распечатала первым письмо от мужа.

«Моя ненаглядная светлая девочка, моя арфа Эолова! Вот ты и мать! Как счастлив я, что все страшное уже позади и что ты и малютка живы. Мы всю ночь не ложились. В 7 часов утра я уже был в больнице, но швейцар не пустил меня дальше вестибюля, сколько я ни пытался его задобрить. Я вернулся домой ни с чем, и мы бросились звонить в справочное больницы: там никто не отвечал. Я опять побежал сам, и в этот раз швейцар, сияя улыбкой, мне заявил: «Поздравляю с сыном!» Ему сообщил это, уходя с дежурства, врач, чтобы он мог передать, если будут справляться о Казариновой. Тут же я узнал, что посещения строго запрещены и что с 4 до 6 -передача пакетов и писем. Я помчался домой. Вбегаю – у нас Зинаида Глебовна и Леля. Все так обрадовались; бабушка меня обнимала. Зинаида Глебовна и мадам плакали. В справочном, которое наконец открылось, подтвердили, что родился сын, и сообщили, что твое самочувствие хорошее. Милая девочка! Ты одна миришь меня с жизнью. Мне до сих пор не верится, что скоро я увижу сына и буду держать его на руках – вот будет ликование души! Но твоих радостей – всего, что познаешь ты – мне не постигнуть; я не достоин: нет той чистоты и того милосердия! И я полюбил тебя еще больше! Ясочка моя, хорошо ли тебе в больнице? Обстоятельства жизни мешают мне окружить тебя теми удобствами и благами, на которые ты имеешь законные права. Ты, конечно, была бы дома, в самых лучших условиях, если бы... Обнимаю тебя. Твой Олег».

Второе письмо было от Натальи Павловны. «Голубка моя! Поздравляю тебя. Рада, что мальчик. Мы очень беспокоились и теперь от счастья ходим с мокрыми глазами. Я вспоминаю себя в твои годы и рождение моих мальчиков. Кто бы тогда мог думать, какая трагическая судьба предстоит обоим. Мадам в восторге; она просит передать тебе поздравление и бежит сейчас на кухню делать твое любимое печенье «milles feuilles [89]» чтобы послать тебе в больницу. Лежи спокойно, береги себя. Крещу тебя и младенца. А я-то теперь прабабушка».

Третье письмо было такое же ласковое:

«Бесценная моя крошка! Я все время плачу. Если бы жива была твоя мама, как бы радовалась она вместе с нами. На даче будем вместе нянчить твоего сынка. Я уже люблю его! Дал бы только Бог и моей Леле такого же мужа, как твой, и такие же радости. Целую новую маленькую маму. Твоя тетя Зина».

И, наконец, четвертое:

«Милая Ася! Поздравляю с чудным синеглазым крошкой. Все вокруг меня сейчас словно помешанные: плачут, смеются, обнимаются... я сама начинаю понимать, что произошло что-то очень значительное. Мы приехали вчера вечером и сегодня как можно раньше забежали узнать о тебе. И вот попали как раз вовремя: твой Олег прибежал при нас такой сияющий, запыхавшийся. Если бы ты видела, в какую ажитацию пришла ваша мадам: она бегала по комнате и махала руками, повторяя: «Дофин! Дофин!» Как будто родился и в самом деле наследник престола. Мама старается, чтобы до моих ушей не докатились подробности, и на мои вопросы – сколько это продолжалось и с чего началось, и что такое «разрывы» и «воды» – никто не отвечает. Но ты мне расскажешь все самым подробным образом, не правда ли? Все запрещенное меня всегда особенно интересует. Я, конечно, вчера успела поспорить с мамой: она непременно желала, чтобы я осталась на даче. Благодарю покорно! Сидеть одной с двумя ведьмами! К тому же последнее время стала бесноваться та черная кошка, которая живет у хозяев: она кувыркается, хватается за голову и орет истошным голосом. Ведь как давно живет уже у нас Васька, и всегда такой спокойный и благонамеренный, а в эту словно бы вселился нечистый дух. Мама, хоть и уверяет, что «ничего страшного», однако сама не может объяснить, что это такое. Подозреваю, что это тоже ведьма, только прикинувшаяся кошкой. Я, разумеется, настояла на своем и приехала, по крайней мере о тебе узнала. Дорогая Ася, будь всегда счастлива! Если я кого-нибудь на свете люблю, то это тебя. Твоя Леля».

Ася прочитала эти письма, взялась опять за первое и перечитала все по второму разу; потом положила их к себе под подушку, вздохнула, улыбнулась и погрузилась в счастливую дремоту. Через два дня от нее летело следующее послание:

«Милые, родные! У моего мальчика понемногу открываются глазки, а ушки и лобик белеют. Когда его приносят ко мне, он всякий раз меня прежде всего осматривает. Мордашка страшно выразительная! Мне ужасно хочется, чтобы он вам понравился; только не вздумайте уверять меня в этом нарочно, я все равно пойму! Я вас предупреждаю, что когда он плачет, он делается весь красненький, морщится, гримасничает и становится похож на уродливого гномика, но в спокойные минуты у него чудное личико. Впрочем, когда вы увидите, как он сосет кулачок, вздыхает и потягивается, вы его непременно полюбите – невозможно его не полюбить! Вчера вечером у меня начала тяжелеть и гореть грудь и поднялась  $t^{\circ}$  – это появилось, наконец, молоко, но когда я ткнула в ротик малышу грудь, он вместо того, чтобы присосаться и сладко причмокнуть, тотчас ее потерял и опять стал искать губками. У меня очень маленький сосок, который ему трудно удержать, и если бы вы видели его усилия: он и морщится и вздыхает, укоризненно косится при этом на меня своими черничными глазами и ужасно забавно хмурится. А когда дело наладится, его личико делается спокойным и улыбающимся. Кроме того, он премоило воркует, ни один из младенцев в палате не воркует так! Я никак не ожидала, что у трехдневного младенца может быть такая гамма выражений лица и звуков голоса! А какая у него нежная кожа, даже от поцелуя на ней остается розовый след! Только бы он был счастлив в жизни – вот уже сейчас его огорчают сосочки, а дальше могут быть огорчения гораздо более серьезные... У меня совсем немножко уже теперь болит за него сердце!»

Еще через два дня она писала:

«Дорогие бабушка, Олег и мадам! Вчера я совершила государственное преступление: я распеленала моего младенца, чтобы увидеть его тельце. Боже мой, какое у него все крошечное и милое! Ножки, конечно, вверх; ручки прижаты к грудке, а как только я их освободила, кулачки полезли в ротик; на пальчиках даже все ноготки готовы. Но едва лишь я углубилась в созерцание, меня накрыли с поличным няня и сестра; я стала оправдываться, уверяя, что он увякал, и я побоялась, не мокренький ли он? Но сестрица ответила очень строго: «Не рассказывайте нам басни. Вы уже давно подговаривались, можно ли или нельзя распеленывать и почему нельзя? А как мы справимся с работой, если так начнут делать все?» Первые дни я от усталости почти все время спала, а сейчас мы все поправляемся и много болтаем о наших

младенцах. Вчера одной уже разрешили встать. Муж ее оказался догадливый и начал окликать ее под окном палаты, хотя мы в третьем этаже. Как только она выглянула, он давай махать ей корытом, которое купил, чтобы мыть ребенка. Я воображаю удивление прохожих, когда они смотрели на человека, который, стоя посередине улицы, закинул вверх голову и, блаженно улыбаясь, машет таким неуклюжим и странным предметом! Нахохотались мы! Напрасно Олег беспокоится, что я не окружена роскошью и профессорами: мне, право же, здесь очень хорошо и весело! Еще два дня и буду дома».

Олег никак не мог ожидать, что поссорится с Асей в день ее возвращения с младенцем. В это утро он накупил цветущих веток Жасмина и шиповника, и украсил ими всю комнату и коляску младенца. Отпросившись со службы в два часа, он приехал за женой на такси; она спустилась к нему в вестибюль, сопровождаемая санитаркой, которая несла ребенка, и показалась ему еще милее, чем раньше: глаза светились торжеством, а две огромные косы, перекинувшиеся на грудь, придавали ей вид шестнадцатилетней девушки. Минута, когда он бросился к ней через ступеньку, показалась ему одной из лучших в жизни! И все-таки они поссорились!

Когда, переступив порог спальни, Ася положила ребенка на постель и со словами: «Вот, посмотри!» – принялась его распеленывать, пользуясь наконец своим материнским правом, Олег сказал:

– А повертись-ка, сынку! Давай на кулачки!

И это почему-то рассердило Асю:

– Фу, какой ты нехороший! Он такой крошечный, такой трогательный! Я думала, ты станешь целовать его и баюкать, а ты – «на кулачки»! Что тут общего с Тарасом и его противными сыновьями? Не покажу тебе. Мой. Прикоснуться не дам.

Олег так и не понял, что показалось ей обидного в его восклицании, и откуда взялась такая раздражительность. Желая поскорее кончить ссору, он просил прощения, но она заупрямилась, и равновесие восстановилось только к вечеру.

Радость следующих дней ему омрачило письмо Нины, которая после поздравления с сыном сообщала, что, закончив серию концертов, поехала с Волги к Марине на Селигер.

«15-го июля туда приезжает на свой отпуск Моисей Гершелевич, а я возвращаюсь в Ленинград, – писала Нина, – напоминаю Вам ваше обещание сообщить Наталье Павловне известие о Сергее прежде моего возвращения, чтобы мне не пришлось опять притворяться или сопереживать первые, самые острые минуты отчаяния. Я уже так устала от слез и горя».

Откладывать далее было невыносимо.

На четвертый день по возвращении Аси выдался подходящий для разговора час: Наталья Павловна спустилась к графине Коковцовой поиграть в винт, а мадам с «дофином» на руках вышла на воздух посидеть в ближайшем сквере. Они остались одни, но едва только он успел выговорить ее имя, Ася быстро повернулась и спросила:

– Что? Случилось что-нибудь? – и в голосе ее Олег ясно различил трепет тревоги. Пришлось договаривать!

Виденья прошлого! Как они много значат! Вот грязная теплушка, набитая страшными чужими людьми, а дядя Сережа греет на груди под армяком ее ножки, хотя сам уже с ног валится от сыпняка; вот они сидят рядом в бабушкиной гостиной около нетопленного камина, от мрамора которого как будто распространяется дополнительный холод и пробирается в рукава и за ворот, но дядя Сережа читает ей Пушкина или Байрона, расшевеливает ее мозг, будит воображение, согревает душевно! По вечерам, возвращаясь с «халтурных» концертов, которые часто кончались угощением полуголодных артистов на заводе, он никогда не забывает принести ей пирожное или конфетку... Еще и теперь, пробегая мимо его кабинета, занятого чужими, она всякий раз словно ждет, что он выглянет из двери и окликнет ее, а вбегая в столовую, словно видит дымок его сигары... за роялем слышит его интерпретацию данной вещи... Всю музыку, всю литературу она узнала от него. Одной из заветных идей Сергея Петровича была идея о «Третьем глазе», который должен выработать себе человек. Третий глаз раскрывает суть явлений, помогает угадывать то, что скрывается за видимой оболочкой

вещей! Душевное родство, установившееся у дяди с племянницей, приводило Сергея Петровича к мысли, что третий глаз есть в зачатке и у Аси, но, обнаруживая в себе минутами интуитивное прозрение, она отлично сознавала, что только дядя Сережа развил его в ней! Условия жизни были так трудны и требовалось так много и самоотвержения, и стойкости духа, чтобы, вытягивая на себе целую семью, не опускаться, а возноситься до самого тонкого постижения окружающего, до тех неуловимых открытий, которые трудно облечь в слова, но для которых в самом деле нужен «третий глаз». Людей с «третьим глазом» так мало, так мало! Носик «размокропогодился» (по их семейному выражению), а носового платка при себе не оказалось – сколько раз ей за это попадало от бабушки! Как всегда пришлось лепетать, обращаясь к мужу: «Дай мне твой платок». У него он всегда в кармане и всегда белоснежный: он сам себе стирает под краном носовые платки, а мадам гладит их и приговаривает, что кандидат на русский престол должен быть окружен заботой самой неусыпной и что Сандрильена плохая жена! Но, обладая третьим глазом, часто очень трудно помнить о множестве мелочей – это, увы, понимал только дядя Сережа!

В передней без звонка хлопнула дверь. Она вскочила и схватилась за голову:

– Бабушка! Не сейчас... только не сейчас! Скажи, что у меня голова болит, и я легла. Я не могу показаться сейчас бабушке.

Три дня подряд длилась эта агония: Ася собиралась с духом и не могла решиться заговорить.

– С Богом, дорогая! – шептал ей Олег перед дверьми бабушкиной комнаты.

– Courage! [90] – повторяла свое любимое напутственное слово француженка, которой все уже было известно. Ася входила и садилась на край бабушкиной кровати, но заговорить не решалась.

– Подожду! Бабушка сказала, что сегодня у нее хуже сердце. Завтра скажу, – говорила она Олегу и мадам.

– Подожду. Сегодня бабушка мне показалась такая усталая и бледная. Завтра, – говорила она на другой день.

Не любовь и рождение ребенка опустили занавес над беззаботностью юности, – это сделала потеря, первая в ее сознательной жизни. Свинцовая тяжесть непоправимого пришла одновременно с первыми материнскими тревогами, когда надо было подстергать и понимать плач, ауканье и барахтанье маленького существа, вставать к нему ночью, пеленать, кормить и замирать от тревоги: все ли идет как надо? Почему кричит? Почему хуже сосал? Почему плохо спал сегодня? И смех ее затих в эти дни; тревожная морщинка залегла между бровей, а взгляд стал испуганный и печальный. К тому же донимала усталость: сказывалась ли в этом послеродовая слабость, или кормление, или необходимость вставать по ночам, но за несколько дней Ася потеряла цветущий вид. Она всегда была худенькой, но теперь стали исчезать румянец, округлость щек, блеск глаз...

«Ее во чтобы то ни стало нужно вывести снова в деревню, когда мы начнем гулять в этих лесах, румянец, сон, аппетит и бодрость вернутся к ней сами собой, – думал Олег, тревожно приглядываясь к жене. – Зинаида Глебовна и Леля ждут, но как же уехать теперь?»

Через несколько дней во время обеда Наталья Павловна вдруг положила вилку и нож и, обращаясь ко всем сразу, сказала:

– Отчего мне все время кажется, что вы от меня что-то скрываете? Уж не получили ли вы каких-либо тревожных известий от Сергея?

Все замерли, и это молчание яснее слов говорило: что-то произошло!

– Может быть, его перебросили в концентрационный лагерь или с рукой что-нибудь? Пожалуйста, не скрывайте ничего!

Ася выскочила из-за стола и бросилась комочком в кресло, как будто хотела спрятаться. Француженка поднесла руку ко лбу и прошептала: «Oh, mon Dieu! [91]» Наталья Павловна медленно обвела всех глазами и поднялась с места.

– Вы мне сейчас же скажете все! Я категорически требую! – властно прозвучал ее голос.

- Дядя Сережа... он... они его... он... он... - лепетала Ася.

- Погиб, - тихо и раздельно dokonчил за нее Олег.

Наталья Павловна не упала, даже не пошатнулась. Она осталась стоять так же прямо, как стояла. У нее изменилось лишь выражение лица, на которое вместо тревоги легла глубокая скорбь, особенно в поднявшихся кверху глазах. Несколько минут она простояла в оцепенении, потом спросила почти спокойно:

- Что случилось?

- Не вернулся из тайги, - шепнула Ася.

- Заблудился, - сказал Олег.

- Его искали?

- Нашли уже мертвым. Тело не отдали. Место погребения неизвестно.

И опять наступило молчание. Олег подал ей стул; она села; они остались стоять около ее стула в почтительной неподвижности. Может быть, она думала сейчас о том, что в отрочестве и юности любила его меньше старшего сына только потому, что он музыку предпочел гвардейским эполетам, а между тем как раз ему выпало на долю ценою постоянных жертв беречь ее старость; может быть, она вспомнила его рождение...

- Не плачь, детка! - сказала она, наконец, услышав тихое всхлипывание Аси. Красивая тонкая рука погладила волосы внучки. - Успокойся, побереги себя, твое волнение отзовется на молоке, а стало быть, и на малютке, - и спросила: - Когда это случилось?

- Восемнадцатого февраля, мы узнали в апреле.

- Так давно! А эти письма?

Олег объяснил происхождение писем.

- Нина знает?

- Знает.

- Так вот почему она почти перестала у нас бывать! Ей тяжело было притворяться... бедное дитя! А я уже начала опасаться... - и она снова погрузилась в задумчивость.

- Нина служила отпевание? - спросила она через несколько минут, подымая голову. Ася вопросительно взглянула на мужа.

- Нет, - виновато проговорил он.

- Да как же так! Прошло уже три месяца... Олег Андреевич, неужели и на вас с Ниной повлияло советское безбожие?

- Виноват, за последнее время и в самом деле отвык от церковных обрядов. Я до сих пор не отслужил панихиды по матери: сначала госпиталь, потом лагерь...

- Очень жаль, - сухо сказала Наталья Павловна. - Вы человек определенного круга и с вашим воспитанием этого не должны были бы допускать. Что касается меня, я в ближайшие же дни закажу заочное отпевание.

Она встала и пошла в свою комнату. Ася нерешительно двинулась вслед.

- Не иди за мной, - сказала ей с порога Наталья Павловна.

В течение последующих дней Наталья Павловна поражала всех своей выдержкой; она заказала заупокойную обедню и отпевание и разослала приглашения своим ближайшим друзьям; во время пения «Со святыми упокой», когда Ася и обе Нелидовны плакали, она стояла как изваяние, в черном крепе, который не снимала еще со смерти мужа.

Олег и Нина несколько раз высказывали друг другу мысль, что религиозность Натальи Павловны носит несколько внешний, обрядовый характер, непохожий на безотчетные, смутно-поэтические, но глубоко искренние порывы Аси; даже Леля заявляла не раз: «У Натальи Павловны вера государственная, регламентированная, которая держит в страхе Божиим нас, меньшую братию». Тем не менее, вера эта, по-видимому, оказалась могучим источником самообладания и утешения.

Вечером этого же дня, когда все сидели за вечерним чаем, Наталья Павловна сказала:

- Теперь я буду настаивать, чтобы Ася с ребенком завтра же ехала в деревню. Дача стоит пустая, Леля без Аси уезжать не хочет, а мы все не так богаты, чтобы бросить деньги на ветер.

Я остаюсь с Терезой Леоновной, на днях возвращается Нина, да и Олег Андреевич пока еще здесь. Нет причин сидеть в городе.

Ася попробовала слабо сопротивляться, но потерпела фиаско и на другой же день послушно уехала. Она самой себе не решалась признаться, до какой степени ей хотелось обегать с Лелей и с мужем эти леса, поляны и просеки теперь, когда она могла не остерегаться быстрых движений и всевозможных запретов окружающих.

В первое же утро, как только она вывезла сына в колясочке на знакомый дворик, и взглянула на лес как *chevre de monsieur Segain* [92], прикидывая в уме, можно ли попросить тетю Зину приглядеть за Славчиком, как уже услышала ее голос: «Беги гулять, Ася. Я присмотрю за Славчиком. Только к кормлению не опоздай!» И «Леась», забрав корзинки, умчался.

В первую субботу Олег нашел Асю еще несколько грустной и бледной, и личико ее тревожно вытянулось, когда она спрашивала о бабушке; в следующий раз она выглядела лучше; а в третью субботу, бросившись ему на шею на пустом полустанке, она радостно лепетала:

- Здесь так чудесно! Славчик все время на воздухе. Знаешь, у него появляются на ручках перетяжки, это потому, что у меня теперь молока больше. У нас пошли грибы после дождичков. Мы их находим десятками. Маленькие боровички похожи на Славчика - такие же забавные и очаровательные. Знаешь, вчера Славчик в первый раз улыбнулся!

Грибная эпопея скоро развернулась во всем блеске, и Олег, как только получил в последних числах августа отпуск, принял в ней самое горячее участие. Грибы лезли из-под каждого листика, из-под каждого пенька. Их довольные и хитрые рожицы взвинчивали до экстаза. На сыроежки и березовики уже никто не обращал внимания: охотились только за белыми и за груздями. Последние гнездились преимущественно в отдаленной березовой роще, под опавшими листьями, тогда как белые грибы облюбовали бор. Это были очаровательные боровички с темными шапочками и толстыми корешками, жившие семьями по десять - пятнадцать штук. В поход за ними выступали с самого утра независимо от погоды. Случалось, небо было затянуто тучами и сеял мелкий и частый холодный дождь, осень в этом году была далеко не так хороша, как предыдущая; но ничто не могло остановить отважных грибоворов. Ася надевала старую шерстяную кацавейку и русские сапоги, Олег - тоже старую кожаную куртку Сергея Петровича и солдатские сапоги, Леля - перешитый из дедовского камергерского мундира, весь перештопанный *trois sage* [93] и войлочные туфли, сшитые Зинаидой Глебовной; обе девочки повязывались по-бабьему платками, и все выступали чуть свет из дому, вооруженные корзинами и перочинными ножами. В лесу начиналась оживленная переключка:

- Я уже нашла парочку! Чудные - крупные и совсем чистые! - вопила в азарте Леля.

- А что же я-то? Опять ничего! Хожу, хожу, и все без толку! - отзывалась Ася с нотой отчаяния в голосе. - Олег! ау! Почему ты не откликаешься? Нашел что-нибудь?

- Для начала - четыре! Я решил, что не уйду, пока на моем счету не будет ста штук как вчера. Штурмуйте этих бездельников! - откликался бывший кавалергард.

Возвращались усталые и страшно голодные. Зинаида Глебовна, на которую оставались и дом, и младенец, встречала с обедом и вытаскивала ухватом из русской печи горшок с кашей и топленое молоко словно заправская крестьянка, хозяйка избы. После обеда Ася и Леля садились чистить грибы, а Олег уходил снова в лес собирать валежник. Потом топили русскую печь и сушили в ней грибы. В промежутках между подбрасыванием дров и выниманием грибов в полутемной кухоньке около печи затягивали песни или рассказывали страшные истории; Зинаида Глебовна тем временем пекла в этой же печи картошку к ужину. Ужинать садились, как только поспевало вечернее молоко. В этой жизни было своеобразное очарование; суровая простота быта и беготня по лесам закаляли здоровье и успокаивали нервы. Олег замечал, что, отдаваясь этому нехитрому укладу, стал лучше спать и лучше есть, и ужасы действительности опять отошли дальше и почти не напоминали о себе. Ася была так мила в платочке с горошинками и в больших сапогах! В ней было столько душевного здоровья и детской беспричинной радости, которая может быть только у человека с кристально-чистой совестью! Когда она прикладывала к груди ребенка и, улыбаясь ему, называла его «агунюшкой» и

«птенчиком», а затем, опуская ресницы, смотрела на него сверху вниз, он находил в ней еще одно, новое, очень тонкое очарование, которого не было прежде. «Моя Ася – драгоценный бриллиант со множеством граней, и каждая из них играет особенным неповторимым и неподдельным блеском, – думал он. – Если судьба мне отмерит еще некоторое время счастья, я открою в Асе еще новые грани, сияющие всеми цветами радуги». Может быть, эта жизнь казалась ему прекрасной потому, что была насыщена любовью к ней и к маленькому существу, а это вместе с добротой Зинаиды Глебовны создавало особую атмосферу взаимной самой бережной нежности. Может быть, эта жизнь казалась прекрасной еще потому, что она не могла быть продолжительной. Никто из этих обнищавших аристократов не захотел бы надолго отказаться от книг, от музыки, от комфорта; но выхваченные на время в этот медвежий уголок, они упивались впечатлениями деревенской и лесной жизни со всею впечатлительностью утонченных натур. Может быть и сознание своей обреченности усиливало остроту короткого блаженства, но, так или иначе, Олег и Ася опять переживали всю яркость своего счастья. Олег чувствовал себя в неоплатном долгу перед Зинаидой Глебовной: она взяла на себя львиную долю забот, чтобы скрасить им лето; без нее невозможна была бы эта беготня по лесам; доброта ее, казалось, не знала предела. Даже ночью, когда Славчик начинал пищать, и Ася тихонько выскальзывала из под одеяла, Зинаида Глебовна тотчас подымала голову: «Ложись; я перепеленаю, ты устала от прогулки», – говорила она. Олег с трудом отвоевал у нее обязанность ходить за водой к колодцу и растапливать печь. Подымалась утром Зинаида Глебовна всегда первая, и, когда просыпались остальные, завтрак оказывался уже готов; вопроса о том, успела ли отдохнуть она, как будто не существовало: осведомлялся об этом один Олег. Каждый вечер, когда на полу в единственной комнатухе раскладывались матрацы, Ася, приготавливая рядом с Лелей свою постель, считала неудобным убежать к Олегу на сеновал, и почти каждый вечер тетя Зина находила тот или иной предлог, чтобы отослать ее к мужу: «Ася, снеси Олегу Андреевичу плащ, сегодня ночь холодная, он озябнет в сарае», или «Ася, сбегай, пожалуйста, к мужу, узнай сколько времени – у меня часы остановились!» – говорила она.

Ценить свои заботы и свой такт Зинаида Глебовна вовсе не была склонна: она их не замечала! Олег попытался однажды убедить ее не переутомляться до такой степени и побережь себя, но она отвечала: «Наталья Павловна постоянно твердит мне то же самое, но я, пока я в силах, предпочитаю все делать сама, чтобы моя девочка не уставала и не портила своих ручек. Мне всегда жаль загружать домашней работой и ее, и Асю: у них и так мало радостей».

Отхватить хоть час отдыха или удовольствия для себя самой Зинаида Глебовна по-видимому считала ненужным и лишним... А между тем Ася по впечатлениям детства и по рассказам старших помнила, как любила танцевать, играть в теннис и кататься верхом ее тетя Зина и какой она была нарядной и резвой хохотушкой. Теперь Зинаида Глебовна, казалось, уже раз навсегда махнула рукой на свою жизнь: отчаянная борьба за существование поглощала все ее силы; она уже не имела возможности думать о себе, боялась думать – боялась ощутить всю глубину своей надорванности и усталости. Из последних сил вертелась она в мясорубке своих забот, поглощенная только тем, чтобы скрасить жизнь дочери. Были ли она умна? Однажды разговор зашел о февральской революции, и Зинаида Глебовна проговорила с меланхолической улыбкой:

– Я так расстроилась тогда при мысли, что никогда больше не увижу скачек и парфорсных охот и что пришел конец нашим веселым вечерам у его высочества. Помню, я несколько дней проплакала в моем будуаре, а мой фокс Жужу понимал, что я переживаю какое-то горе, и целыми часами просиживал около меня.

Олег невольно подумал, что так мог говорить только очень ограниченный человек. Нечто похожее по-видимому промелькнуло и в белокурой головке Лели, она сказала: «А ты не подумала, мудрая мамочка, что конец пришел и самому его высочеству и вместе с ним твоему мужу?»

Надежда Спиридоновна продолжала держаться особняком и даже в грибные походы

отправлялась одна. Этому делу, к всеобщему удивлению, она отдавалась с не меньшей страстностью, чем они сами, и даже с профессиональной пунктуальностью. Несколько раз случалось, что, приготавливаясь к походу, все видели в серой дымке морозящего дождя фигуру старой девы в допотопной тальме, с бурачком и знаменитой палкой: она выходила за частокол и скрывалась между соснами всегда прежде них. Несколько раз они имели с ней «вооруженное столкновение», по выражению Олега, причем «атаковала» всякий раз Надежда Спиридоновна, а они лишь отбивались весьма нерешительно. Так, однажды они завернули в небольшой соснячок, один из участков огромного бора, раскинувшегося на много верст. Соснячок оказался очень плодовитым, и за полчаса они собрали втроем сто двадцать маленьких чистых боровичков. Они только что расположились отдохнуть на сломанном дереве и съесть по куску хлеба, как увидели фигуру Надежды Спиридоновны, которая появилась из-за песчаной горы и затрусилась к ним.

- Вы здесь зачем? - не слишком дружелюбно спросила она, окидывая взглядом молодежь.

- За боровиками, - глазом не сморгнув, ответила Леля и показала коробок.

Надежда Спиридоновна вдруг вспыхнула:

- Это мое место! Я здесь собираю уже в течение семи лет! Это известно всем, а вы могли бы пойти и подальше!

- Мы не знали, что вы помещица! Нас вот уже давно повыгоняли с наших угодий. Может быть, и весь этот бор ваш? - спросила Леля.

Но Олег поспешил перебить ее, не желая обострять отношений:

- Если мы неожиданно попали в положение браконьеров, то разрешите нам, Надежда Спиридоновна, исправить нашу вину и с величайшей готовностью преподнести вам наш сбор, - сказал он.

Но старая дева, вместо того чтобы смягчиться, неожиданно пришла в ярость.

- Зачем это мне? Я люблю сама находить грибы, а когда они сорваны, они мне неинтересны! Берите их, но больше сюда не ходите, если хоть немного уважаете старших.

- Так точно. Больше ходить не будем, - и Олег увел «Леась».

Пройдя шагов двадцать, все трое остановились, взглянули друг на друга и неудержимо расхохотались.

Вечера становились все темней и темней. Надежда Спиридоновна заранее запасалась хорошими свечами, и в комнате у нее было светло, в то время как ее соседи толкались в темноте, как кроты, и переносили за собой из кухни в комнату маленький огарок, воткнутый в бутылку. Олег отправился за свечами в далекий поход на ближайшую станцию, но в советской лавчонке не оказалось ничего, кроме водки и консервированных компотов, а ехать в город значило истратить лишнюю сумму, в то время как денег систематически не хватало. Так и остались в потемках еще на несколько дней. Надежду Спиридоновну это, по-видимому, не беспокоило: она ни разу не пригласила их к своему столу и предпочитала коротать вечера одна за раскладыванием пасьянса.

В последнюю неделю своего пребывания на даче Надежда Спиридоновна простудилась: у нее сделался «прострел», и она слегла с острыми болями в пояснице. Пришлось выручать неприветливую соседку: Олег носил ей воду и топил печь, Зинаида Глебовна стряпала, а Леля посылалась в качестве горничной (так как Леля была свободней Аси).

Возвращаясь после того, как устроила Надежде Спиридоновне грелку или перемыла посуду, Леля всякий раз жаловалась матери на «ведьминские» причуды:

- Я такой невыносимой старухи еще не видела: аккуратна до скуки, у нее в ходу всегда восемь полотенец и все развешаны по гвоздикам, и спутать не приведи Бог! Охает, скрипит, а глаза рысьи - сейчас приметит! «Это надо вытирать наружно-кастрюльным, а вы взяли внутри-кастрюльное, миленькая моя!» Клеенку на столе нельзя просто вытереть, а сперва тряпочкой номер один, а потом тряпочкой номер два, а тряпочек тоже восемь! Видели вы что-нибудь подобное? Злая: всякий раз спросит, сколько боровиков мы нашли, а я нарочно прибавлю, чтоб

подразнить. Проскрипит: «Я, случалось, находила еще больше», – а саму так и передернет от зависти.

Оценила Надежда Спиридоновна хоть под конец людей, с которыми прожила стена в стену все лето – неизвестно. Накануне отъезда она наконец пригласила всех к себе на чашку чая и довольно мило побеседовала о характерах различных грибов и способах солений, но и тут показала зубы: не разрешила впустить пуделя, который весь этот час поскулил около ее порога. Уезжая, она милостиво поцеловала «Леась» в лоб и пригласила обеих к себе на свои именины.

Глубокую обиду в тайниках своего сердца затаила против Надежды Спиридоновны как раз самая незлобивая из ее соседок – Ася: Надежда Спиридоновна ни разу за все время не умилилась на ее ребенка и даже не пожелала на него взглянуть! Проходя через дворик мимо колясочки, где под белым тюлем спал ангельским сном маленький Славчик, она всегда смотрела в сторону и ускоряла шаг, как будто вид этого очаровательного существа мог вызвать у нее тошноту. Ася легко простила обиду себе, но обида этому крошечному созданию легла, как царапина, на тончайшую ткань ее души.

## Глава восемнадцатая

– Явилась! Вот послушай-ка, что я намерен сообщить: коли единый раз еще найду свое письмо вскрытым – получишь на орехи. Поняла? – Этими словами Вячеслав приветствовал Катюшу, вернувшуюся со службы.

– Взбесился ты, что ли? Лается без толку! – равнодушно огрызнулась та, присаживаясь на табурет.

– Нет, не без толку! Сделаю, как сказал. Ишь как разохотилась! Уже второй конверт вскрытым вынимаю из ящика.

– Ну, а я тут при чем? Иди и объясняйся на почте: коли наша цензура ленится запечатывать, там и раздавай на орехи, я тут при чем?

– Не ври. Аннушка сама раз видела, как ты держала конверт над паром. Наша цензура справится без твоей помощи, и нечего тебе в чужие дела нос совать.

– Много видела твоя Аннушка! Врет она. А тебе как комсомольцу не к лицу такие разговоры. Товарищ Сталин то и дело напоминает, что каждый советский гражданин, а тем более комсомолец, должен по мере сил помогать органам гепеу. А ты сам не помогаешь и другим мешаешь. У нас в квартире есть за кем последить, сам знаешь, какой тут круг!

– Любопытничаешь ты больше, чем следишь. За мной, что ли, тебе поручили приглядывать? Я такой же комсомолец, как и ты.

– Больно уж несознательный комсомолец!

– Да уж посознательней тебя. Губки красит, пейсики завивает, то с одним пошла, то с другим. Кабы тот же Казаринов твоими ужимками прельстился, был бы хахалем, а не классовым врагом. Где ж тут сознательность?

– Плевать мне на твоего Казаринова. Я про него и думать забыла.

– Да я к примеру.

– Лучше бы за собой последил. Снюхался с классовыми врагами...

– Ты смотри – словами не швыряйся! – и в голосе Вячеслава прозвучала угрожающая нота. – С кем я снюхался? Найди на мне хоть пятнышко! Утром – работа, вечером – учеба, да комсомольские собрания. Даже в кино забежать часа не выберу. Мне деньги в карман не лезут, как тебе. Знаю ведь, что зарабатываешь на доносах. На твоей службе кассиршей при банях много не получишь. Небось в крепдешинах бы не щеголяла и сладкие булочки не уплетала. Эх, не все пока ладно у нас в системе! Донос... За него не должно полагаться награды, платные осведомители никуда не годятся! Коли я вижу, что человек опасен, я сигнализирую и делаю это потому, что так мне велит гражданский долг, а для себя от этого ничего не жду. Ну, а за деньги чего не наплетут! Кому крепдешинчик купить охота, кому велосипед, кому девушке

подарок, – ну и наговариваете с три короба. Со временем обязательно подыму этот вопрос в райкоме.

– Как же! Послушают тебя! Гляди, чтоб самому рот не заткнули! Недолго!

– А это уж не твоя беда! – и, круто повернувшись, Вячеслав вышел из кухни.

Он пережевывал хлеб с колбасой, уткнувшись носом в книгу, когда кто-то стукнул в дверь.

– Да-да! – сказал он, продолжая жевать и даже не оборачиваясь.

На пороге показалась Катюша.

– Ладно, я не злая, надо мальчишке-комсомольцу пособить: иди, сторожи в коридоре, я твоей девушке сейчас дверь открыла, прошла к Нине Александровне.

Он недовольно сдвинул брови.

– Какая такая «моя» девушка? На что намекаешь?

– Будто не понимаешь? Что у меня – глаз нет, или уж я вовсе дура? Не видела я, что ли, как прошлый раз ты в коридоре дежурил, чтобы только поглядеть, как пройдет мимо. Ступай, говорю, сидит у Нины Александровны, – и дверь закрылась.

Он не шевельнулся и снова уткнул нос в книгу, однако через несколько минут отложил ее в сторону. Смущенная и как будто виноватая улыбка скользнула по его губам; он подошел к велосипеду и вывел его в коридор, с плоскогубцами в руках стал возиться с гайками по самой середине коридора. Дверь из комнаты Нины вскоре открылась, и на пороге показались хозяйка и гостя.

– Спасибо, Леля, милая, что навестили меня. Жаль, Ася не пришла вместе с вами, ну, да ей теперь некогда. Как Славчик?

– Славчик – чудный бутуз. Я его буду крестить, – ответила Леля.

Когда девушка надела старенькое пальто и шляпу из потертого бархата, имевшую на ней элегантный вид, Нина сказала:

– Вячеслав, вы хороший мальчик, всегда рады всех выручить, проводите до трамвая нашу Лелю. Я не хочу отпускать ее одну. Можете?

– Могу, коли требуется, – неуклюже ответил юноша, – вот только ватник одену.

Через несколько минут они вышли на лестницу и некоторое время шли молча. «Вот бы знать, как это в ихнем кругу принято – можно ли брать ее под руку или не годится? И как обращаться к ней? А впрочем, чего это я? Неужто буду под их тон подлаживаться? Привык попросту, так и буду. Отфыркнется – ейное дело». И взял девушку под локоть.

– Пошли, товарищ Леля! После рабочего дня прогуляться приятно. Погода сегодня больно хороша. Вон как подморозило. Может, пройдемся прежде на Невский, а после я вас провожу?

Девушка взглянула на него с удивлением. «Господи! Он совсем примитивный: с первого разу по имени и под руку, да еще на Невский! И зачем это Нина Александровна навязала мне его в спутники!» – и на всякий случай слегка отодвинулась.

– Я не пойду на Невский, я тороплюсь домой.

– Это вам, небось, мамаша внушила, что по Невскому гулять вечером неприлично? А вы мамашу поменьше слушайте: то было прежде, а нынче все наши комсомольцы со своими девушками по Невскому прогуливаются, а дамочек дурного поведения там и в заводе нет. Не бойтесь, товарищ Леля, пошли.

– Нет, спасибо. Пойдемте к трамваю. А впрочем, я отлично могу добежать и одна, – и Леля остановилась, как будто хотела распротиться.

– Ну вот, ровно бы и испугались! Не хотите – не надо. Я не принуждаю. Айда к трамваю, Леля.

– Меня зовут Елена Львовна.

– Вам все по старинке охота? Ну, Елена Львовна так Елена Львовна. Вы учитесь или служите, Елена Львовна?

– Я работаю стажеркой в больнице, в рентгеновском кабинете.

– Медработник, стало быть. Вот и я скоро медработником заделаюсь. Я с рабфака пошел в фельдшерский техникум. Мы с вами сослуживцы, значит. У нас на нашем курсе на днях постановочка будет, а после – кино «Катюша – бумажный ранет». Хотите, достану вам билетик,

Елена Львовна? Уж как я рад буду провести с вами вечерок. Ребята у нас хорошие, уважительные. Каждый будет со своею девушкой. Пришли бы?

- Благодарю вас. Я одна нигде не бываю. Я хожу только с Асей и Олегом Андреевичем, да иногда с моей соседкой.

- Мамаша не велит? Эх, Елена Львовна! Этак можно и всю жизнь просидеть около маминой юбки. Вы все думаете, коли не ваш круг, стало быть, что-нибудь дурно, а ведь это не так.

- Я как раз этого не думаю, но... - она замялась.

- Неохота, что ли? А может быть, я больно уж не нравлюсь? Ваше дело!

Леле стало неловко и жаль его. В тоне его было что-то сердечное и простодушное. Во всяком случае, на нахала он совсем не походил, но слишком уж был весь серый, сермяжный. Желая показать, что она не дуется и не сторонится, она спросила:

- А вы на каком же отделении в техникуме?

- У нас еще пока не было разделения, а вот с января начнется специализация. Должно быть, возьму хирургию, - ответил он.

- Наверно, очень тяжело одновременно и учиться, и служить? - опять сказала Леля, видя, что он умолк.

- Я привык.

Подошел трамвай и умчал Лелю.

На следующий день за вечерним чаем у Натальи Павловны она, смеясь, стала рассказывать о новом знакомстве.

- Посмотрели бы вы на его угловатость! Он ко мне обращался «товарищ Леля».

Все засмеялись, кроме Олега, который сказал:

- Я этого юношу беру под защиту. Он не заслуживает насмешек! Хотите, я сообщу о нем нечто такое, что разом возбудит уважение у всех zdeприсутствующих?

Все повернулись к нему, заинтересованные.

- Пятнадцати лет он пошел добровольцем в красную армию и участвовал во взятии Перекопа, где получил ранение в руку... - начал Олег.

- Ну, это еще не говорит в его пользу: распропагандирован был, как весьма многие, - сухо прервала Наталья Павловна.

- Допустим. Слушайте дальше. Он натолкнулся однажды на мой заряженный револьвер и разрядил его, чтобы предотвратить возможное несчастье; через несколько часов после этого, во время ночного обыска, он не счел нужным заявить агентам гепеу о наличии у меня оружия. Далее: ему было известно из очень верного источника, от меня самого, кто я по происхождению, но, вызванный в гепеу, он отвечал на все вопросы по поводу меня, что ему неизвестно ничего больше того, что стоит в моих документах. Он даже не нашел нужным сообщить о своем великодушии мне. Я об этом узнал другим путем.

- Очевидно, он вам симпатизирует, но ради чего вы были так откровенны с ним? - сказала Наталья Павловна.

- Я нашел, что так будет вернее, и, как видите, не ошибся.

- И все-таки не следовало! Этому сорту людей доверять нельзя. Мало ли какой может быть на него нажим.

- Какой бы ни был нажим, этот человек не предатель, - твердо ответил Олег, - за всей его серостью есть настоящая идейность, а это теперь так редко!

- Мало, что он не предатель, - он, по-видимому, благороден исключительно! - подхватила Ася.

- Нельзя ли зазвать его к нам, приручить и пригреть?

- Это уже крайность, которая ни к чему, - строго одернула ее Наталья Павловна, - я в моем доме партийцев принимать не намерена.

«Так: напоминание мне, что здесь не я хозяин», - сказал себе Олег. Рука Аси тотчас нашла под столом его руку. «Не огорчайся, милый!» - как будто сказала она.

- Что бы то ни было, - опять начала Леля, - а я, хоть и не особенная сторонница бонтона, скажу, что в этом Вячеславе он доведен уже до такого минимума, что возможность

заинтересоваться для меня совершенно исключена.

- Разумеется, детка! Иначе и быть не может: ведь это человек не нашего круга, - тотчас вмешалась Зинаида Глебовна, - ведь он -аи простой!

Но Олег в этот вечер не мог уgomониться: он и тут внес свою поправку.

- Я далек от намерения сосватать вам Вячеслава, Леля, но я хочу только сказать: я уверен, что девушка, которая свяжет с ним когда-нибудь свою судьбу, будет счастливее очень многих и сможет заслуженно гордиться им - это человек долга!

Ответом ему было только неуловимое движение гордой головки, которая слегка вскинулась, как голова породистой своенравной лошадки.

У Лели была густая белокурая коса, которая в последнее время вызывала ее постоянную досаду.

- Все ходят стриженными, только мы с тобой, Ася, с этими допотопными косами. Когда я хочу быть одетой *tres a la mode* [94] и на это нет денег, тут возразить нечего - нельзя и нельзя! Но отрезать косу, подкрасить губки или сделать короче юбку нам ничто помешать не может. А мама и Наталья Павловна и тут наперекор: «Все советские девчонки так ходят! Вы ни в чем не должны походить на них!» - вот что мы слышим с утра до вечера. Это довольно-таки глупо - валить в одно и моду, и политику. В своем отрицании современности старшие, право же, доходят до нелепостей! - говорила она Асе. - Пусть посмотрят французские *revue de la mode* [95].

Ася занимала промежуточную позицию в этом вопросе.

- Мне жаль было бы обстричь косы, потому что Олег любит их. Крашенные губы он, как и бабушка, считает дурным тоном; что же касается платья, мне бы очень хотелось иметь черное бархатное со шлейфом. Английские блузки так надоели! - повторяла она всегда со вздохом.

В одно утро Леля ускользнула тайком в парикмахерскую и отстригла себе косу. Около часа мать и дочь кричали потом друг на друга и обе плакали. Наконец Зинаида Глебовна сложила оружие, признавшись, что Леля и стриженной очень мила. Теперь ее беспокоило только, как посмотрит на случившееся Наталья Павловна, с мнением которой она очень считалась, тем более, что Наталья Павловна относилась к Леле с такой же нежностью, как к родной внучке.

Вечером, у Бологовских, Зинаида Глебовна не впустила тотчас к Наталье Павловне своего «Стригунчика» - как она стала теперь называть дочь. Лелю показали Наталье Павловне сначала издали, с порога, после того, как предупредили о случившемся. Наталья Павловна бросила на девушку взгляд разгневанной матроны, как если бы Леля вступила в незаконную связь и призналась в беременности. Некоторое время она разглядывала в лорнет изящную головку, потом изрекла:

- Терпеть не могу стриженные затылки. Подойди ближе.

Леля сделала несколько шагов, все еще не смея приблизиться. Наталья Павловна продолжала лорнировать.

- Не так уж плохо, челка несколько скрадывает. Стиль, однако, нарушен. Подойди ближе. Мило. А все-таки жаль косы. Ну, поцелуй меня, дурочка, и впредь не смей ничего предпринимать без разрешения старших. А ты, Ася, не вздумай брать пример, тебе стрижка не пойдет, слышишь?

Таким образом «новшество» получило признание.

За этим боевым днем у Лели очень скоро последовал другой, уже на иной линии фронта. В одно утро в белом халатике и косыночке, кокетливо прикрывая локоны, она, стоя в коридоре больницы, стучала в дверь операционной.

- Елизавета Георгиевна, вы одна? Можно к вам?

- Одна, - ответила, отворяя, Елочка.

- Елизавета Георгиевна, я к вам по делу. Вы знаете мое материальное положение: цветы дают слишком мало; к тому же силы у мамы иссякают. Мне до крайности необходимо получить работу. Бумажка, которую мне дали здесь... Главный врач не захотел подписать ее! Он заявил, что я не могу считаться официальной стажеркой, если я не была и не могла быть проведена в

приказе. Рентгенолог, правда, сжалился и написал от себя, за свой страх, что я проработала у него в кабинете бесплатно полтора года и «основательно изучила технику снимков на аппарате Трансвертер» и... только! Притом без подписи главного врача он не мог поставить печати, он только подписал! И вот на бирже опять отказывают! Они говорят, что эта бумажонка ничто! Они говорят, что у меня нет специального образования и что я не член союза...

Голос Лели задрожал и она остановилась. Елочка пожала ее руку.

- В этом заколдованном кругу - без работы не принимают в союз, а без союза на работу - мечетесь не вы первая, Леля. Все это я уже знаю. Успокойтесь. Садитесь и рассказывайте дальше.

- Биржа отказалась принять меня на учет, - продолжала Леля, проглотив подступившие к горлу слезы. - Рентгентехников у них нет, они не отрицают это, а меня не берут. С отчаяния я отважилась подать в местком нашей больницы просьбу провести меня в союз. Заявление приняли, и вот сегодня оно будет разбираться на общем собрании. Елизавета Георгиевна, придите, пожалуйста, на собрание. Скажите за меня слово. Сотрудники кабинета тоже обещали быть и поддержать мою кандидатуру. Если я теперь не проскочу - все, дороги опять закрыты, - голос снова замер в ее груди.

Елочка обещала быть.

«Боже ты мой, какие рожи! Ни одного интеллигентного лица!» - подумала она, входя в зал и озирая состав месткома, рассаживающийся по местам. И невольно она припомнила травлю Владимира Ивановича! Она обернулась на Лелю: та робко усаживалась около доктора Берты Рафаиловны, старой сотрудницы кабинета, еврейки. Эта последняя, добродушно улыбаясь, шепнула ей что-то в ухо, и, по-видимому, ободряя, погладила белокурые локоны. Врач-рентгенолог, заведующий кабинетом, не явился: очевидно, не захотел вмешиваться в это дело, предвидя неприятности.

Сначала разбирали заявление о принятии в союз молодого электромонтера. Его заставили кратко изложить свою биографию, после чего с очень серьезными и строгими лицами запросили, не имеется ли коровы или лошади у его отца-крестьянина; были, по-видимому, весьма удовлетворены, что таковых не имеется, задали еще два-три вопроса и очень быстро вынесли благоприятное решение.

- Теперь, товарищи, у нас на очереди заявление гражданки Нелидовой с просьбой о принятии ее в союз. Выйдите сюда, гражданка Нелидова. Вас не все знают, пусть поглядят, какая вы такая есть. Нелидова работает у нас, товарищи, с марта двадцать девятого года, в качестве бесплатной ученицы-стажерки, допущенной к учебе в рентгеновском кабинете. Штатной должности помимо этого никакой не занимает. Так вот, товарищи, давайте обсудим, как нам отнестись к этому заявлению и следует ли давать ему ход. Расскажите о себе, товарищ Нелидова.

Леля робко приблизилась к столу.

- Товарищи! Я могу сказать о себе очень мало: ведь мне только двадцать лет. Я до сих пор еще нигде не работала. Живу в настоящее время с матерью, отца уже давно нет в живых. Мы с мамой находимся в самом тяжелом материальном положении. Я очень прошу принять меня в члены союза, чтобы облегчить мне возможность поступить на работу. Больше мне сказать нечего. О том, как я здесь работала, пусть скажут другие - те, кто это видели и знают.

Несколько минут длилось молчание, которое показалось враждебным и Елочке, и Леле.

- Что-то слишком коротко, товарищ Нелидова. Вы не осветили целый ряд весьма существенных подробностей. Например, ваше социальное происхождение. Чем занимались до Октябрьской революции ваши родители?

Елочка и Леля невольно встретились глазами.

- Моя мама... она ничем не занималась... она была всегда дома... а отца я потеряла, когда мне было всего одиннадцать лет.

- Чем занимался ваш отец? Вы не отвливайте, гражданочка! Может, лавочка имелась или мастерская? Мы все равно узнаем.

Леля вспыхнула.

- Я не увиливаю. Никаких лавочек. Дворянин, военный.

- Так. Ну, теперь ясно. Где погиб?

- Убит в Севастополе в двадцать первом году, - слово «расстрелян» так и не сошло с губ Лели.

В президиуме переговаривались:

- Ясно. Я и сам сразу увидел, что тут есть чего-то - то ли лавочка, то ли погоны! Кто еще хочет спросить? Товарищ Мазутин? Просим.

- Слышали мы сторонкой, гражданочка, что ваш дед дослужился до крупных чинов. Не уточните ли вы этот пункт?

- Мой дед, отец матери, был сенатор первоприсутствующий, а другой дед - полковник, улан ее величества.

- А что такое «первоприсутствующий»?

- Не знаю, товарищи. Я была тогда девочка. Я сказала это для того, чтобы вы опять не подумали, что я что-нибудь утаиваю, а что это означает, я не знаю.

- Так. У кого еще вопросы, товарищи?

Спросили по поводу Лелиной работы. Старая докторша в нескольких словах дала блестящую оценку:

- Товарищ Нелидова отличается удивительной понятливостью и быстротой в работе. У нее все горит в руках. За короткое время она научилась производить совершенно блестящие снимки. При этом очень тактична в обращении с больными, а двигается бесшумно. Это безусловно ценный работник. Заведующий кабинетом очень доволен ею, - старушка явно желала выручить девушку.

Снова наступило подозрительно-враждебное молчание.

- Разрешите мне, товарищи, сказать еще несколько слов? - проговорила, замирая от волнения, Леля.

- Говорите, товарищ.

- Я хочу сказать... я была еще девочка при прежнем режиме. Я не успела попользоваться никакими льготами и благами. Отец... дед... я почти их не помню. А нужды и горя я видела очень много. Моя мать... мама такая добрая и кроткая. Она мухи не обидит... Ее нельзя, нельзя отнести к врагам народа... - голос Лели вдруг задрожал, - извините, товарищи, я волнуюсь, но это потому... Если вы сейчас откажете мне в моей просьбе, вы меня все равно, что утопите. Мое положение безвыходное.

- Все понятно, товарищ. Собственно, и говорить-то не о чем, - голос председателя звучал все так же сухо. - Кто еще желает слова?

Елочка только хотела сказать «я», как увидела, что поднялась фигура ненавистного завхоза с его плоской физиономией.

- Товарищи, разрешите мне!

Леля с детским страхом следила за ним широко раскрытыми глазами. Так кролик смотрит на гремучую змею. Елочка, стиснув зубы, уставилась в пол.

- Товарищи! Я, так сказать, ошарашен тою наглостью, с которой предатели продолжают свою работу. Ведь это все тот же клубок, который мы недавно распутывали. Мы полагали, что, удалив Муромцева и его ставленицу, покончили с ними одним ударом, а вот, оказывается, и не покончили. Кто, скажите на милость, этот рентгенолог? Бывший офицер, друг и приятель Муромцева, и эту вот самую гражданочку Нелидову принял по его просьбе: как же не вытащить внучку сенатора; а вот небось когда его попросили взять к себе в ученицы нашу выдвиженку-санитарку, нашел предлог отказать. Товарищи, мы должны сейчас выявить всю нашу пролетарскую бдительность.

И опять плелась и плелась паутина. Впечатление создавалось такое, как будто все достижения революции окажутся в опасности, если союз примет в число своих членов Лелю.

Елочка, слушая, пришла к заключению, что после того, как прозвучала фамилия ее дяди, выступить ей - значило только еще ухудшить положение. И она, и докторша поняли еще и

другое: рентгенолог оказывался под ударом... Старая еврейка наклонилась к Леле и шепнула:  
- Немедленно берите обратно свое заявление.

Расходились молча; одни – гордые своей классовою сознательностью, другие – с угрюмым видом людей, потерявших зря два часа времени, третьи – подавленные и глухо возмущенные разыгравшейся на их глазах безобразной травлей молодого существа.

Леля исчезла в одну минуту. Боясь скомпрометировать тех, кто ей сочувствовал, она даже не простилась с ними и мчалась почти бегом по темной улице, как мчится раненное животное в свою нору. Около двух лет усилий пропали даром, но сквозь всю горечь неудачи просачивалось еще чувство, до боли сильное, завладевшее теперь всем ее существом. Странная вещь! Говоря перед собранием о матери, именно в ту минуту, когда она произнесла «мама такая добрая и кроткая», она почувствовала, как внезапно, словно от укола шприцем, влилась в ее сердце болезненная нежность: усталое лицо Зинаиды Глебовны, ее худые щеки, покорный взгляд и всегда выбивающиеся из прически, преждевременно поседевшие, мягкие волосы – все это вдруг почувствовалось таким необычайно родным и дорогим! И дошло до маленького гордого сердца. «Бедная мамочка! Как-то примет она эту новую неудачу! Никогда никакой радости на ее долю, а тут еще я – такая всегда капризная, дерзкая!» И вдруг на нее нашел страх: а что если умрет вот сейчас, без нее мама? Умрет прежде, чем она прибежит и бросится ей на шею, чтобы сказать, как дороги ей эти морщинки, улыбка и волосы, сказать, что все злое и дерзкое бунтует только на поверхности, как пена в шампанском, что мать дорога ей, бесконечно дорога! Вчера мама была такая бледная и жаловалась на перебои в сердце. Она даже сказала: «У меня, наверно, то же, что у Натальи Павловны». Господи, будь милостив! Сохрани мне подольше маму!

И, крестясь, она взбегала через ступеньку по грязной лестнице, ругая голодных кошек, разлетающихся по сторонам.

Зинаида Глебовна, усталым, механическим движением крутившая неизменные цветы в маленькой, почти пустой комнате, вскочила при виде вбегавшей дочери.

- Ну что, моя девочка? Что? Приняли? Говори скорее!

Леля вместо ответа бросилась матери на шею и разрыдалась.

- Что с тобой, мой Стригунчик? Неужели опять отказ? Да что ж они хотят – чтобы мы с голоду умерли?

Леля, всхлипывая, стала рассказывать.

- «... папа и дедушка!» – безнадежно повторила за дочерью Зинаида Глебовна и присела на табурет, бессильно уронив руки.

- Мамочка! Не расстраивайся, родная! Я ведь тебя люблю, так люблю! Я знаю, что я дерзкая и бываю очень часто черствой. Это находит откуда-то на меня. Но ты мне дорога, очень, очень дорога! Если с тобой что-нибудь случится, я повешусь на этом крюке. Да да, так и будет! Меня и неудача эта огорчила больше всего потому, что я предвидела твое отчаяние.

Зинаида Глебовна стала гладить волосы дочери худыми шершавыми руками.

- Знаю, знаю, Стригунчик! Ты у меня хорошая! – Потом она задумалась. Казалось бы, в эту минуту она должна была начать изыскивать новые способы и варианты этой отчаянной игры в кошки-мышки, но ее мысль направилась совсем в другое русло.

- Ты еще помнишь дедушку? – спросила она с грустной улыбкой.

- Да, мама. Помню, как он приезжал к нам иногда прямо из дворца, в мундире. Я должна была делать реверанс. Помню, как дедушка баловал и меня, и Асю. Помню, как в Киеве во время бомбардировок он нарочно садился к окну, чтобы подать нам пример бесстрашия. И смерть помню в этом страшном поезде, и как машинист-коммунист нарочно выбрасывает горячее, чтобы предать нас большевикам. Все помню. Дедушку положили на деревянную дверь, снятую с петель, и понесли на ней. Кто-то сказал: «Вот так мы погребаем последнего сенатора!» Помню могилу на этой маленькой станции в степи. Я в тот день потеряла своего плюшевого котика в сапогах и плакала сразу и о нем, и о дедушке.

Они помолчали.

- Там, под Симферополем, - проговорила, поднося руку ко лбу, Зинаида Глебовна, - море крестов, море... Там погребена вся русская слава. Лучше и нам было лечь там, чем остаться одним в этом враждебном круговороте.

- Ах, мама! Ты говоришь чистейший вздор! Ну к чему эти патетические фразы? - тотчас с раздражением обрушилась Леля и тут же остановилась, больно оцарапанная собственным тоном. Но Зинаида Глебовна уже слишком привыкла к нему; она счастлива была перепавшей ей лаской, но, по-видимому, даже не допускала, что Леля вовсе отстанет от этого тона...

- Ну, не буду, мой Стригунчик, не буду! Ты еще так молода. Я знаю, что тебе жить хочется. Что бы нам с тобой придумать? К кому обратиться? Я слышала, что академик Карпинский выручает очень многих из нашего круга, Горький тоже.

Но Леля упрямо тряхнула кудрями.

- Ну, нет! К Карпинскому мы пойдем, если нас из города погонят, а работу я должна получить сама. Я пойду по больницам с этой бумагой, я еще раз пойду на биржу... Я не сдамся так скоро! У меня работа будет, увидишь.

Вынутое из сумочки маленькое зеркало, которое она называла «моя валерьянка», отразило окруженное пышными локонами свежее личико, и тотчас новый строй мыслей завладел ей: зачем она бьется? Из-за чего хлопочет? Мечтает о службе как о рае небесном! С таким лицом пропадать мелкой служащей районных поликлиник? Женский инстинкт не однажды уверенно говорил ей, что этого не будет: избавитель рано или поздно явится. Странно, что к Асе он явился прежде, чем к ней, а ведь многие находят, что она красивее и, во всяком случае, интересней кузины. Надо продержаться еще совсем немного и все устроится. Она вспомнила сцену в рентгеновском кабинете: она оказалась одна с заведующим отделением, врачом-рентгенологом, фронтовым другом хирурга Муромцева. В кабинете рентгенолог этот был окружен ореолом почтения как маститый, заслуженный работник. Ей предстояло делать ответственный снимок. Несколько минут она промедлила и услышала оклик врача: «Готово все?» Она ответила на это с жалобной интонацией: «Буки не подымается», - и надула губки. Хотела бы она знать: если бы другая девушка на ее месте - ну, например, Елочка - позволила себе подобный ответ старшему в работе товарищу в деловой обстановке медицинского кабинета, какой бы получила она разнос! Но пожилой рентгенолог, подтаивавший от ее чар, тотчас с готовностью поднялся и, сам улыбаясь над собственной слабостью, перенес ее тяжелую деталь. И таких случаев было много! Она могла произносить самые неделовые и неподходящие к обстановке фразы с очаровательным детским видом и знала отлично, что ей ничего за это не будет и не только рентгенолог, даже его ассистентка, старая еврейка восхищалась ею как куклой или цветком, ласкала ее и выдвигала, и открыто притом высказывалась, что такую прелестную девушку могла породить только дворянская среда. С такой наружностью вовсе не требуется быть деловой женщиной!

«Я не должна расстраиваться и терзаться страхами, тогда я стану незаметно для себя всегда серьезной и озабоченной. Стоит только потерять беспечность и будешь выглядеть скучной и старой... Мама, дай поужинать своему Стригунчику и не будем говорить больше об этих грустных вещах!»

## Глава девятнадцатая

Ребенок стал центром, вокруг которого вращалась вся жизнь в семье. Славчик бывал особенно мил, когда просыпался. Это желали видеть все, и это надо было объявить во всеуслышание:

- Бабушка! Мадам! Олег! Славчик просыпается! - вопила Ася, стоя у детской кровати. Олег, уже собиравшийся уходить, бросался из передней обратно в спальню и спешно ловил и целовал розовую пяточку сына. Мадам вбежала из столовой в переднике, Наталья Павловна торопливо подымалась с постели и облачалась в старомодный капот, чтобы не пропустить захватывающую картину пробуждения и утреннего туалета ребенка. Славчик потягивался, закидывая ручки за голову и выпрямляя ножки; вот он приподымает животик, чтобы встать

«мостиком», при этом весь сияет: этот плутишка отлично сознает, какую радость он доставляет окружающим своими гимнастическими упражнениями. Для Натальи Павловны пододвигали к кровати ребенка стул, и она часто подолгу просиживала в глубокой задумчивости, созерцая крошечное личико правнука. Вспоминала ли она своих сыновей, искала ли сходство с родными чертами, старалась ли проникнуть в будущее ребенка – никто не был посвящен в ее думы. Личико ребенка было захватывающей книгой, над страницами которой задумывались поочередно все; оно было изменчиво как облачко: вот слегка нахмурился лобик с пушинками, обозначающими будущие брови... не рассердился ли Агунюшка? Вот широко улыбнулся беззубый ротик, похожий на ротик рыбы, и вдруг просияло все маленькое личико, а глаза с голубоватыми белками засветились такой безыскусственной и светлой радостью, что лица окружающих людей не могут не расплыться в ответную улыбку. Улыбка так же неожиданно пропала, и углы ротика опустились; трогательная, беспомощная, растерянная гримаска и жалобное «увя» или «ля»; плач становится громче, и в нем слышатся ноты отчаяния: ребенок уже ни на что не надеется и махнул рукой на всю свою жизнь.

- Что с моим Агунюшкой? Он мокренький? Или хочет на ручки к маме?

- Ася, ты опять качаешь его? Ты избалуешь ребенка. Положи сейчас же.

- Нет, бабушка, не избалую. Я лучше всех знаю, что ему надо: он хочет, чтобы мама спела ему про котика-кота. Бабушка, смотри, смотри, он улыбается!

Вечером начинались пререкания с Лелей.

- Дай его теперь мне, Ася. Ты забываешь, что я крестная. Посмотрите, как ему идет нагрудник, который я принесла. Моя мама велела передать, что придет сегодня к ванночке, и, пожалуйста, Ася, уступи маме его вытереть и одеть. Ты знаешь, как мама это любит.

Перед камином протянута веревка и на ней – неизменные пеленки, распашонки и чепчики; на рояле – погремушки. Шуман, Шопен и Шуберт забыты: Ася играет только колыбельные, подбирая «гуленьки» и «кота». Дождалась, что ее вызвали в педчасть техникума и предупредили, что она в обязательном порядке должна сдать полугодовые экзамены. По этому поводу Леля злорадствовала совершенно открыто: «Ну вот, теперь он будет мой! Теперь уж, хочешь не хочешь, а купать его и нянчить буду я!» – и Асе пришлось волей-неволей поделиться с юной крестной некоторыми из своих обязанностей.

Вскоре после Рождества, вечером, Ася задержалась в музыкальной школе дольше обыкновенного, репетируя в зале «Лунную сонату», которую ей предстояло играть на концерте. Олегу пришлось прождать ее в вестибюле школы, возвращались они бегом, тревожась, что Славчик изголодался. В передней их встретила Леля, а из спальни в ту же минуту донесся нетерпеливый голодный крик ребенка. Скинув пальто и расстегивая блузку, Ася бросилась в спальню; Олег повесил пальто жены и, обернувшись на Лелю, увидел, что она стоит с опущенной головой, опираясь о стол.

- Олег Андреевич, мне необходимо переговорить с вами без свидетелей. Пожалуйста, после чая проводите меня домой, – как-то необычайно серьезно произнесла она.

- К вашим услугам, – проговорил он и быстро скользнул по ней взглядом. «Что это? Женское признание? Непохоже! Слишком непохоже, невероятно! Ведь она – девушка, ведь она – сестра Аси... Нет, здесь что-то другое...»

За чайным столом он незаметно наблюдал за ней. Она была очень серьезна, допила уже начатую чашку и поднялась, прощаясь. Он тотчас поднялся тоже.

- Я провожу вас, Леля, если вы разрешите. Там на углу стояла группа хулиганов. Одной вам идти рискованно.

- Благодарю, – проговорила она, подставляя лобик Наталье Павловне для поцелуя.

Они вышли на лестницу; задумчиво трогая перила, она спускалась с опущенной головой, не начиная разговора. Он шел за ней в настороженном ожидании. Внезапно пробудившийся от ее трепетных и загадочных слов мужской инстинкт беспокойно нашептывал ему: какова она в интимные минуты? Как будто она уже была его добычей! Но в ту минуту, когда они уже выходили из подъезда, снег, увлажнивший его лоб, напомнил о чистоте Аси, и со дня его Души

поднялся могучий протест: Ася и никто больше – она одна! «Изменить хотя бы в мыслях моей царевне-Лебедь уже преступление; при том ведь эта девушка безмерно дорога людям, которых я глубоко уважаю. Экое я скверное животное! А впрочем решено: в случае признания отвечаю отказом».

Леля остановилась на панели и, оглядываясь по сторонам, сказала:

– Возьмите меня, пожалуйста, под руку: я буду говорить очень тихо. Олег Андреевич, я провела сегодня все утро у следователя на Шпалерной.

Тотчас холодное прикосновение змеи к своим рукам, шее, сердцу почудилось ему. А она продолжала:

– Я до сих пор не могу прийти в себя. Я точно побывала в аду. И самое ужасное, что завтра к одиннадцати утра я снова пойду... должна идти... туда же... Я никому ничего не сказала; мама так издергана, а я все эти охи и ахи и панику не выношу. Мы бы непременно поссорились, поэтому я промолчала, а между тем ведь я могу оттуда не вернуться!

– Вы правильно сделали, Леля, что сообщили мне. Говорите дальше.

– Дело в том, что они... странно, как они решились на это... они осмелились... они... – она умолкла.

– Они предлагали вам стать осведомительницей, не так ли, Елена Львовна?

– А как вы догадались?

– Немного знаком с их методами! – усмехнулся он.

– Разговор был мучительный для меня, но, в сущности, мы толкли воду в ступе, – продолжала Леля. – Начал с того, что ему, мол, обо мне все известно, чтобы я не пробовала увильнуть. Сказал: «Мы знаем даже, что вы играли в кошки-мышки с младшим сыном великого князя, «высочество» преподнес вам коробку на ваши именины в Мраморном дворце, где полагалась квартира вашему отцу». Очевидно, наши соседи, не евреи, а Прасковья с мужем, мельком что-то слышали и сообщили. Я ответила, что кроме моего происхождения, которое действительно всем известно, за мной нет ничего, что я могла бы затаивать.

– Молодец, Елена Львовна! Хорошо ответили. Что ж дальше

– А дальше... дальше он начал подъезжать, я не сразу поняла... «Мне вас жаль... вы так молоды и нуждаетесь... я хочу вам помочь и предложить очень легкую работу, которая великолепно оплачивается... Никто не будет знать, что вы отныне наш агент. Обязанности ваши будут самые легкие, а вместе с тем вы не будете иметь нужды ни в чем, не будете дрожать за завтрашний день», – ну, и все в таком же роде... Я не решилась быть очень резкой и ответила, что не могу взяться за такое дело, потому что нигде не бываю и никого не вижу. Он сказал: «Вы будете бывать». Я сказала, что не умею притворяться. Тогда он сказал: «Мы вас проинструктируем, укажем вам несколько приемов, это вовсе не трудно».

– За кем же предлагали следить? Называли какие-нибудь фамилии? – спросил Олег.

– Персонально указали покамест только на Нину Александровну; когда я сказала, что нигде не бываю, он меня поправил: «Вы бываете ежедневно в доме у Бологовской».

– Чем же закончился разговор?

– Опять стал повторять, что ему жаль меня, и предложил подумать. Я ответила, что думать тут не над чем, так как стать агентом я не могу. Тогда он сказал: «Мне жаль вас, вы становитесь на опасный путь, мы можем вас запрячь очень далеко, мы можем разлучить вас с матерью. А впрочем, я надеюсь, что вы еще одумаетесь. Вы девушка умная и не захотите стать врагом самой себе. Завтра вы подойдете ко мне еще разок, я спущу вам пропуск к одиннадцати часам». Олег Андреевич, если бы вы могли представить, как мне страшно! – и она содрогнулась.

Олег почувствовал, как глубокое сострадание сжало его сердце.

– Не отчаивайтесь, Елена Львовна! Должен вам сказать, что такие угрозы не всегда приводятся в исполнение. Это просто их система – запугивать человека. Я был в таком положении и, однако же, несмотря на мой категорический отказ, до сих пор цел. Держитесь. Позволить затянуть себя в это болото – было бы моральной пыткой для такого человека, как вы. Это хуже

ссылки и лагеря. Могу вас уверить. Не давайте им подметить в себе колебание или страх. В таких случаях, чем категоричнее ваш отказ – тем лучше. Знаю тоже по опыту.

– А что если он меня арестует? Мама с ума сойдет, если я вдруг исчезну!

– Могу обещать вам, Елена Львовна, что завтра же прямо со службы заеду к вам и, в случае несчастья, как только смогу поддержу Зинаиду Глебовну. И не я один: вы знаете, как мы все любим и уважаем вашу маму.

– Заключение... холодно, темно, страшно... а вдруг меня будут бить? А вдруг меня...

– Елена Львовна, почти наверно, вас не задержат. Ведь вам не предъявлено обвинения, пусть вздорного, а все-таки обвинения... Это вербовка агента и только. Они пронюхали о вашем безвыходном положении и решили сыграть на этом. Я хотел вам сказать еще вот что: не исключено, что вас начнут спрашивать обо мне...

– Я тоже так думала и, однако же...

– Это еще ничего не значит: может быть, они не хотят вас отпугнуть на первых порах, а может быть опасаются, чтоб вы не предупредили... кого не следует... Елена Львовна, условимтесь: в случае, если вас обо мне начнут спрашивать...

– Я знаю, что надо говорить... – перебила Леля. – Ася мне рассказывала официальную версию вашей биографии.

– Елена Львовна, не повторяйте ее! Вы запутаетесь. Вас легко могут сбить. Говорите лучше, что ничего обо мне не знаете: о себе, мол, рассказывать не любит. Знаю, что был у белых и отбыл семь с половиной лет лагеря. Ну, прибавьте еще при случае, что я, по всему видно, не аристократ. Эти слова в устах девушки вашего круга будут много для меня значить.

– Конечно, конечно, я так скажу; свысока брошу им. При этой мысли о том, что предстоит завтра, мне жить не хочется!

– Мужайтесь, мужайтесь, Елена Львовна!

Странно, что даже на этот сумрачный угрюмый дом могли падать золотые лучи зимнего солнца, посылаемого равно на праведных и неправедных! Солнце на этом жилище темноты, прибежище страшных рептилий! Она стояла и смотрела на этот дом. «Мама говорила, что в институте они читали, бывало, перед экзаменом молитву на умягчение злых сердец: «Помяни, Господи, царя Давида всю кротость его», – но я не умею молиться! Нет во мне ни восторга, ни вдохновения, как в Асе. Всегда пустота в сердце и всегда эта мысль, что окружающие считаю меня лучше, чем я есть на самом деле. А ведь я еще ничего, совсем ничего плохого не сделала! Отчего же мне кажется, что кончу я как-то очень трагично или преступно? Как часто, просыпаясь, я говорю себе: «Этого еще нет; ничего нет! Я еще чистая; я еще могу смотреть всем в глаза», – и тут же мысль: «Еще нет, но будет! И от этого не уйдешь!» Может быть, теперь начало этого страшного конца? Что, если я выйду из этого здания завербованным агентом, предателем? Мама не заметила, что когда я целовала ее, уходя, я чуть не плакала. Господи, будь ко мне милостив! Помяни не царя Давида, а мою маму и кротость ее!»

И подошла к дверям...

– Ну, что же? Сколько вы еще будете думать? Уже битых три часа мы с вами толкуем и все не можем столковаться. Отвечайте: согласны?

– Я уже вам ответила: предательницей я быть не могу!

– Как вы любите громкие, ничего не значащие слова, которых потом сами же пугаетесь. К чему наклеивать ярлыки! Каждую вещь можно рассмотреть с разных сторон. Возьмем пример: должно произойти нападение на мирный дом, где дети, женщины; вам случайно это становится известно – ведь вы сочтете же своим долгом сигнализировать милиции? Или другой пример: во время империалистической войны в России орудовали немецкие шпионы, в Германии – русские, обе стороны своих считали героями, чужих – подлецами. Что вы на это скажете?

– Это... это совсем другое! Это... за Родину!

– А у нас – за рабоче-крестьянское государство, первое и единственное в мире. Какая же разница?

– Большая, очень большая разница. Нет, не могу.

- Заладили одно и то же. Ну, не можете, так сидите здесь еще три часа, еще подумайте.
  - Я больше не могу оставаться здесь, не могу. Я пришла к вам в одиннадцать, а сейчас четыре. Меня ждет мать, она будет беспокоиться, она не знает, где я.
  - Вы что, смеетесь, гражданка? Какое нам дело до какой-то матери? Для нас существуют лишь интересы государства. Сидите. Часа через три я приду, если успею. А то так завтра.
  - Что вы? Как завтра? Разве можно не вернуться домой на ночь? Я не могу, уверяю вас, не могу! Отпустите меня поскорей, пожалуйста.
  - Вы что же, не понимаете, где находитесь, гражданка? Тут ваши «пожалуйста» и «мамаша беспокоится» не помогут. Подпишите согласие сотрудничать – тогда будем говорить как добрые друзья, а не желаете – пеняйте на себя. Я рад помочь вам и вашей матери, вы сами этому препятствуете.
  - Но вы предлагаете мне подлость, я не могу пойти на это.
  - Скажите, какая самоуверенность! Говорит, словно полноправная гражданка! Как будто мы не знаем, что вы за птичка: перепелочка недострелянная; ну, да ничего, дострелим! Видите эту бумагу? Это приказ о вашем аресте. Мне начальник давно велит вас задержать, но я вас жалею за молодость, все жду, что одумаетесь. Ну, а нет – дам ход приказу. Сколько мне еще с вами валандаться? Запрячу вас, куда Макар телят не гонял: огепеу может все! Штрафной концлагерь! Под конвоем копать землю! Ходить будете под номером! Руки назад! А мать вашу в другой такой же! Поняли, наконец? Согласны теперь?
  - Не знаю... не знаю... Боже мой, какая я несчастная!
  - От вас зависит. Можете даже очень счастливой стать. Вы молодая, интересная, оденетесь, с нашими ребятами на вечера ходить будете, на курорт поедете, службу получите, – он сладко улыбнулся.
  - От вашей службы горько станет. Лучше повеситься, чем работать с вами.
  - Я вас сюда не зову. Будете работать по специальности. Я вам уже присмотрел место рентгенотехника.
  - Место рентгенотехника? Да как же? Меня ведь на биржу не берут.
  - Коли я говорю, значит будет место. Никакой биржи нам не надо. Завтра же получите направление. Валяйте, подписывайте! Чего вы боитесь? Я вам самые легкие, безвредные обязательства подберу. Вынуждать показания у вас никто не собирается. Клеветать на людей вас не заставят. Вы можете десять раз прийти с известием, что ни за кем ничего не заметили. Нет так нет – только и всего. По рукам, что ли?
- Она молчала.
- Есть такое? Согласны? Опять молчите? Решайте, черт возьми! В лагерь или на работу? Ну?
- Она закрыла лицо руками.
- Устраивайте на работу, согласна. С тем только, чтоб без вымогательства. И еще условие: за близкими я следить отказываюсь, предупреждаю. А впрочем, за ними заметить нечего. Я на работе только буду следить и, если что замечу, сама приду и скажу, вы меня не вызывайте.
  - Ладно, ладно, договоримся. Вы увидите сами, как с нами хорошо работать, надо только начать. Еще как довольны будете! Вам конспиративную кличку придумать следует. Нужно что-то изящное, экзотическое... Гвоздика, или тубероза, или олеандра. Лучше всего гвоздика. Так вы и подписывать свои сообщения будете. До свидания, товарищ Гвоздика... чуть не сказал мадемуазель Гвоздика. И помните: никому ни слова, если не желаете попасть в лагерь.

Зинаида Глебовна уже больше полутора часов стояла на лестнице и, увидев, наконец, дочь, бросилась ей навстречу с тревожными восклицаниями.

- Оставь, мама, не спрашивай, потом объясню. Я очень устала.

Она вошла в комнату и бросилась в постель. Зинаида Глебовна на несколько минут постояла над ней.

- Девочка моя, скажи мне только... – робко начала она.

- Ах, мама, не спрашивай! Ну, один раз в жизни не спрашивай! Накрой меня, мне

холодно.

Зинаида Глебовна укутала ее пледом и присела на край постели на кованом сундуке.

- У тебя не болит ли головка, Стригунчик?

- Да, да, болит, очень болит. Не разговаривай со мной, мама, не расспрашивай.

- Дорогая моя! Как могу я не расспрашивать? Ты вернулась измученная, на тебе лица нет; тебя не было шесть часов, и ты хочешь, чтобы я тебя не расспрашивала? Не сердись на свою маму... Скажи мне только, где ты была? Может быть, что-нибудь случилось? Может быть, тебя... мужчина...

Леля приподнялась.

- Ах, да! В самом деле! Ты могла предположить, могла испугаться! Я безжалостна к тебе, как всегда. Ничего такого, мама, не случилось, я - цела. А только... видишь ли... опять неудача: я ходила условиться в одну больницу... надеялась... прождала заведующего... и ничего не вышло. И вот от всего этого у меня голова разболелась.

Зинаида Глебовна перекрестилась.

- Ну, слава Богу, слава Богу, Стригунчик, что только это! Спи. А я пойду простирну твою блузку.

Она вышла было, но через несколько минут снова приоткрыла дверь.

- Что ты, мама?

- Еще не спишь, Стригунчик? Пришел Олег Андреевич: я сказала ему, что у тебя болит головка, но он просил все-таки передать тебе, что пришел.

Леля несколько минут молчала.

- Попроси его войти, мама, и оставь нас. Нам надо обсудить один план, это - сюрприз... попроси, мама.

Она села на кровати, поджав ножки и зябко кутаясь в плед. Лихорадочно блестящие глаза опустились, встретив его взгляд, и это показалось ему недобрим знаком.

- Олег Андреевич, я высидела у следователя шесть часов. Я держалась, сколько я могла. Я не хочу лукавить с вами: в конце концов, я не устояла. Он пригрозил мне штрафным концлагерем и разлукой с мамой. Я слишком была запугана и... согласилась сообщать... не о своих, о чужих, конечно. Согласилась только на словах, разумеется, я не погублю ни одного человека. Я хочу вас просить никому не говорить об этом и самому не смотреть на меня как на шпионку. Неужели мне надо доказывать, что я скорее умру, чем перескажу хотя бы одно слово Аси, вашей или Натальи Павловны! Надеюсь, вы во мне не сомневаетесь?

Он смотрел на нее, кусая губы.

- Олег Андреевич, вы презираете меня теперь?

- Нет, нет, Елена Львовна! У них в лапах устоять нелегко. Я только бесконечно вас жалею. Вы сейчас попали в очень трудное положение.

- А может быть, не так уж страшно? Я согласилась работать на очень определенных условиях: следить я буду только на службе...

- Как на службе?

- Ах, да! Я еще не сказала: он обещал мне место рентгенотехника, у меня будет работа в больнице, настоящая честная служба, только дают ее мне с условием, что я буду... буду сообщать. Но, поскольку мне обещано не вымогать показаний, я могу отвечать, что ни за кем ничего не заметила. А как-нибудь однажды, чтоб отвязаться, выберу кого-нибудь из их же среды, махрового партийца или гепеушника, и на него наплету - на такого, которому ничего за это не будет. Другого выхода у меня не было!

- Елена Львовна, вы все еще не поняли, с кем вы будете теперь иметь дело: для них не существует условий, вам снова и снова будут грозить все тем же концлагерем. Вы показали свою слабость, и теперь вас в покое уже не оставят, я ведь вас предупреждал! Они, конечно, будут требовать показаний о всех тех людях, с которыми вы встречаетесь. Из вас, как клешнями, будут вытягивать эти показания. Вас будут проверять, вам будут подкидывать разговоры... Знаете поговорку: «Коготок увяз - и всей птичке пропасть»?

- Птичке? Он тоже назвал меня птичкой, недострелянной перепелкой. «Дострелим», - сказал он.
- Бедное вы дитя! - произнес Олег с глубокой мягкостью в голосе и взял ее руку.
- Олег Андреевич, ведь вы верите, не правда ли, верите, что никогда ни вас, ни Асю... что я неспособна на это... верите? Вы не будете остерегаться меня? Если я это замечу, я... я...
- Он никогда не слышал таких нот в ее голосе, таких усталых, безнадежных, безрадостных... Все лицо ее как будто осунулось.
- Я верю в чистоту ваших намерений, Леля. Верю, что вы всей душой постараетесь этого избежать, но... Чем дальше, тем будет труднее! Остерегаться вас я, конечно, не буду. Вам уже известно обо мне все. Что же теперь мог бы я скрывать? Леля, я не за себя боюсь: вы должны помнить, что на мою жизнь опираются четыре других.
- Зинаида Глебовна, которая вошла в комнату, положила конец этому разговору. Они простились.
- Стригунчик, ты с утра не ела, принести тебе супцу?
- Нет, мама, спасибо. Я устала, я так устала! Я, кажется, буду больна. Ночь такая длинная, длинная... Дай мне заснуть.

## Глава двадцатая

- Товарищ Казаринов, у меня к вам дельце. Не войдете ли ко мне на минуту? - Вячеслав окликнул Олега, выходявшего из комнаты Нины.
- Молодые люди сели друг против друга и с минуту молча наблюдали один другого с чувством все той же симпатии, которая возрастала с каждой встречей, наперекор всем классовым установкам.
- Какое же дело? Располагайте мной, Вячеслав. Я перед вами в долгу. За что? Уж это знаю я. И, видя, что юноша мнетя, Олег прибавил:
- Я не болтлив. Никому ничего не передам. И сам не имею привычки задавать вопросы.
- Вячеслав сконфуженно пробормотал:
- Бегает сюда с вашей женкой подружка...
- И снова умолк, теребя свою всегда всклокоченную шевелюру.
- Совершенно верно, Леля Нелидова. Она и моя Ася - двоюродные сестры.
- Стало быть, и она из господ? Так я и подумал. Эх, жаль! Девушка очень уж располагающая, стройненькая, что твоя осинка, и кудерявая, и бойкости этой чрезмерной нет, вот как теперь у многих...
- Хотите, я познакомлю вас? - спросил Олег.
- Не то что познакомить... Мы с ней уже ровно бы и знакомы... А устройте вы мне, Казаринов, случай куда-нибудь с ней пойти... да поговорить... Выручите по-товарищески...
- С удовольствием, Вячеслав. Только для начала пойдем все вместе. На этих же днях я что-нибудь организую, как будто бы случайно. Можете положиться на меня. Незаметно и слово за вас замолвлю, а дальше уж от вас будет зависеть...
- И он тут же подумал, что попытка кончится, конечно, неудачей: девушка не захочет заглянуть поглубже и за сермяжными манерами не разглядит благородства этой молодой души. Сословные предрассудки, которым он первый платил дань, показались ему на этот раз мелки и ошибочны. Этот метр годился все-таки не для всех! Его самого удивила эта мысль.
- А кто родители ейные? - угрюмо спросил Вячеслав, размышлявший, по-видимому, над тем же.
- Отец - адъютант высокой особы, дед - гвардейский полковник, другой дед - сенатор. Теперь бедствуют, разумеется, и она, и мать, - прибавил Олег не без умысла.
- А что же такое?
- Олег изложил коротко злключения Лели, которую на другой же день после несчастного собрания отчислили вовсе, даже от стажерства.

- Да как же так получилось у них в месткоме? Уж не сводились ли какие личные счеты? Это ведь перегиб явный, - сказал Вячеслав.

- Перегиб! - жестко усмехнулся Олег. - Хорошее это у вас, у партийцев, словечко! Удобное! Им можно объяснить все: разорение хутора, истребление семьи, сровненную с землей Иверскую, затравленных ученых - таких, как Платонов и Тарле. Жаль, что у Царского правительства не было в запасе такого словечка, - за счет перегиба ведь можно было бы отнести и «кровоавое воскресенье» и Ленский расстрел! Перегиб - и все тут! Как вы полагаете, а?

Вячеслав был слегка озадачен и не нашелся, что сказать.

- Я все время разыскивал одну знакомую семью и только недавно напал на след, - желчно продолжал Олег. - Глава семьи - преступник, не заслуживающий снисхождения, ибо он - редактор «Нового времени» и преподаватель великих князей, с ним не поцеремонились - расстрелян! Но вот семья... Старший сын - семеновский офицер, мой ровесник - расстрелян! Дочь провела год в заключении и в настоящее время выслана в Сибирь; младший сын от страха репрессий отрекся от родителей, «отмежевался», как принято это называть в коммунистической морали; а мать... ну, а мать после всего, что на нее обрушилось, бросилась из окошка полгода тому назад... разбилась намертво. Как вам кажется, не было ли здесь «перегиба»? Вымещать на семьях! Да это водилось только во времена Иоанна Грозного! Революционеры из «Народной воли» и даже сами большевики, работая в подполье, никогда не опасались за родителей и детей. Отец Ленина до дня революции оставался на государственной службе и был уважаем вроде. А декабристы? Вы, конечно, слышали о декабрьском восстании: полки на площади столицы, Каховский стреляет в самого императора... Пять человек повешено. А нутка, если б такое восстание разразилось теперь? За никому не известное, недоказанное вредительство расстреливают пачками, что же было бы, если б события достигли размеров декабрьского бунта? Я со стороны матери потомок декабриста, и вот та репрессия, которую я с детства привык считать жестокой, кажется мне пустяшной, не стоящей внимания после всего, что мне пришлось видеть за последние годы. Концентрационные лагеря для жен ответственных работников - слышали вы что-нибудь подобное в царской России? Ни одна из жен декабристов не была репрессирована. Я не удивлюсь, когда объявят военным преступником меня, и если в один прекрасный день военный трибунал вынесет смертный приговор князю Дашкову - активному белогвардейцу - я найду его вполне заслуженным. Но, когда меня травят как Казаринова, который отбыл семь с половиной лет лагеря за то только, что не выдал товарища, и когда я знаю, что в случае расправы со мной будут всячески преследовать и мучить до последнего вздоха мою жену и моего ребенка, - я не могу не думать, что ваш коммунизм -кровоавое пятно в истории России. И вы уверяете при этом, что указываете путь к прогрессу и счастью, вы?!

И он остановился.

- Очень здорово вы говорите, Казаринов. Слова у вас так и льются. И все-то во вред нашему строю! Опасный вы человек, как пораскинешь разумом! Террор не по вкусу вам? Лес рубят - щепки летят, товарищ Казаринов, а рубить-то его надо. Не устрой мы красного террора - не устоять Советской власти. Капиталисты и помещики всех стран рады нам наступить на горло, а внутри нашего Союза врагов и вредителей - не пересчитать! Вы, поди, лучше меня их знаете. Кому неохота от своих привилегий отказываться - мы тому как бельмо на глазу. Моего прадеда помещик в карты проиграл. Меня небось не проиграют. Я учусь, работаю, никому кланяться не обязан. Трудные бытовые условия? Ну, что ж! Мы этого не боимся, пусть трудные! Сейчас переломный период: трудности возникают из-за крестьянского саботажа. Идея колхозных хозяйств - одна из величайших идей в мире! Вот победит колхозный строй, и увидите, как расцветет наш Союз! А сейчас - период становления. Деревня ропщет потому, что не понимают люди сложности момента, не видят дальше своего носа. А спросите-ка их: хотят ли они возвращенья царского режима? Пусть им вернут белые булки, возы муки, капусты и гороха и ведра яблок, даже приусадебные участки втрое больше теперешних, - и все равно не захотят. - Ну, это еще неизвестно! Посулите им, что у них будет свои собственные поля, и захотят. Во

время гражданской войны крестьянская масса присоединилась к вам после лозунга «Земля – крестьянам!» Это решило вашу победу, а теперь вы у них эту землю отнимаете под совхозы и колхозы.

– Нет, не отнимаем. Мы проводим переустройство деревни, ломаем старые формы. Борьба за ликвидацию мелких собственников рушит уклад жизни, сложившийся веками, но мы, коммунисты, трудностей не боимся. Будущее – за нами. Вот переустроим деревню – легче будет; закончим первую пятилетку, а потом вторую – еще легче! Наши лозунги привлекают внимание. Будь наша программа нежизненна, мы бы не победили! Ведь наша молодая республика устояла едва ли не против всей Европы. Мы вышли победителями из гражданской войны, а потом из разрухи. Теперь вот ГЭС и Беломорканал построили, а сколько еще построим! За деревню взялись... Когда я про это думаю, я словно слышу, как земля дышит. Во мне этак растет, да, растет желание трудиться! Я знаю, что со мной миллионы других вот так же... Эх, говорить-то я не умею!

– Умеете, Вячеслав, потому что говорите искренно! Только я вот что-то не верю, что с вашим сердцем бьются в унисон миллионы других сердец. Если бы много было таких, как вы – искренно и бескорыстно преданных идее – не было бы всей этой мерзости, которая мутит мне сердце. Я понимаю, что в самом принципе аристократизма есть нечто возмутительное, несправедливое в самом корне: небольшая часть общества оттачивает, утончает и облагораживает свои чувства и свой мозг в то время, как вся масса поглощена борьбой за существование. Но ведь положение, при котором возможно было это различие, уже отмирало, дворянство разорялось, оно уже потеряло свои привилегии. Еще две-три либеральные реформы – и с этим порядком было бы навсегда покончено. А те реки крови, в которых вы пожелали утопить людей вместо того, чтобы разумно использовать их, привели только к тому, что вы истребили интеллигенцию, во всяком случае, потомственную, наиболее рафинированную. Попробуйте обойтись без нее! У вас уже теперь не хватает «кадров», а чем дальше, тем будет хуже. Вам грозит полный застой мысли. Культура воспитывается поколениями, вы разрушили то, что создавалось веками!

Вячеслав взглянул на него загоревшимся взглядом.

– Как вы метко про аристократизм сказали! Я именно это думал, только определить не мог. Да, да! Само благородство возмутительно и ненавистно как растение паразитическое!

Олег нахмурился:

– Рад, что помог вам уяснить вашу мысль, Вячеслав. Но мы, по-видимому, не убедим друг друга. Заключение наши как раз обратные. Вячеслав, послушайте! Ни я, ни другие, подобные мне, «бывшие» никогда не были и не будем «вредителями». Мы можем быть врагами в бою, мы можем влиять идейно, но на службе, там, где нам доверяют, где нам за нашу работу платят деньги – мы работаем не за страх, а за совесть. Вредительские процессы, за очень редким исключением, – клевета с целью найти оправдание своим неудачам. Лично я ни одного вредителя не встречал и не знаю. Ну, а теперь мне пора.

Он встал и взял фуражку. Изящество этого жеста и этих тонких узких рук бросилось в глаза Вячеславу.

– Вон руки-то у вас и по сию пору еще холеные. Труд-то, видать, не больно вам знаком, – сказал он жестче, чем, может быть, хотел.

Олег быстро и зорко скользнул по нему взглядом.

– Семь с половиной лет тяжелых каторжных работ, да и теперь дома я всегда сам заготавливаю дрова для печек. Если руки кажутся холеными, то потому только, что я с детства приучен заботиться, чтобы они имели приличный вид. Это может сделать каждый, я полагаю.

В коридоре они натолкнулись на Аннушку, которая, стучась к Нине, говорила:

– Выдь к ней, Лександровна. Не знаю, кто такая. Спрашивает тебя, али Мику.

Молодые люди вышли в кухню. Там, на подоконнике, на фоне серой глухой стены противоположного дома сидела незнакомая женщина лет сорока. В первую минуту Олег принял ее за дворничиху или сторожиху, так как она была в сером ватнике и в платке; но ему

бросились в глаза благородство ее лица и позы и то достоинство, с которым она кивнула Аннушке в ответ на ее слова: «Нина Александровна сейчас выйдут». Почему же она в ватнике, почему так бескровно, иссиние бледна, а вместо прически на грудь перекинута черная коса? Странен был этот облик...

Олег и Вячеслав уже подходили к двери, когда вошедшая за ними Нина воскликнула: «Ольга Никитична!» – и в восклицании ее было столько смятения, что Олега разом охватила уверенность: здесь в этой кухоньке, где разыгрывалось уже столько трагических сцен, разыграется неминуемо еще одна!

Женщина порывисто поднялась навстречу Нине.

– Извините, что я позволила себе прийти к вам, хотя я только сегодня оттуда. Я хочу узнать о детях. Меня выпустили на один день. С вечерним поездом я должна уезжать в Караганду, а моя комната на замке. Бога ради, где Мери и Петя? Неужели высланы?

– Нет, нет! Мери здесь. Мика ее видит. Она в каком-то общежитии. Мика скоро придет и скажет вам адрес, – мямлила Нина.

– А сын? А Петя? Что с моим Петей? – и вдруг схватилась за виски прозрачными руками.

На лестнице, уже спустившись на несколько ступенек, Олег пытливым взглядом обернулся на Вячеслава, закрывавшего за ним дверь:

– Ну, что вы думаете об этой сцене? Не кажется ли вам, что здесь опять «перегибчик»? – едва не сорвалось с его губ, но он вовремя остановился. *Pas trop du zele* [96]. Какая-то доля классового антогонизма в нем явно просвечивала сегодня. Разговор начался так дружески, а кончился...

Дома он нашел всех в радостном оживлении: только что прибежала Леля с известием, что получила службу. Выслушивая радостные поздравления Натальи Павловны и мадам, Олег оставался «при особом мнении». Длинные светлые лучи, заструившиеся из глаз Аси, почти тотчас сменились выражением тревоги, встретив тень в карих глазах подруги.

– Ты еще не совсем поправилась, Леля? – тревожно спросила Ася.

– Нет, я здорова.

– Отчего же ты не радуешься?

– Я радуюсь.

– Нет, Леля. Я вижу, что нет. Тетя Зина то же самое скажет.

– Не забывай, что я неделю с температурой лежала. Я очень ослабела. И потом, меня все-таки волнует, что больница тюремная. Решетка, пропуска... При уходе с работы нас в любой день могут подвергнуть обыску, а в канцелярии с меня, как с вновь поступившей, взяли подписку, что никаких сведений о здоровье и других изустных поручений я от больных принимать не буду. Еще предупредили, что больные часто просят взять от них письмо и опустить в почтовый ящик, и что этого делать нельзя.

Олег, взявший газету, оторвался на минуту от чтения и сказал:

– Имейте в виду, Елена Львовна, что вас непременно будут проверять. Увидите, в один из первых же дней вас кто-нибудь попросит опустить письмо. Не соглашайтесь – это будет провокатор.

– Провокатор? Среди заключенных?

– Ну, разумеется! Чему вы удивляетесь? За сокращение срока или дополнительную порцию к обеду очень многие охотно берут на себя такую обязанность, в тюрьме ведь не только политические, а добрая треть уголовного элемента.

Она растерянно и со страхом взглянула на него.

Славчика уже начали отучать от груди, так как у Аси стало пропадать молоко. Старшие отгоняли ее от кровати ребенка, чтобы вид матери не напоминал младенцу о ее груди. Слушая жалобный писк своего малыша, выплевывавшего рожок, Ася несколько раз сама начинала плакать. «Теперь он разлюбит меня и забудет. Рвется цепочка, которая протянулась с тех дней, когда он был еще у меня внутри», – повторяла она. Понемногу, однако, все наладилось, и этот вечер был ознаменован тем, что Славчик сам протянул ручонки в перетяжках к рожку,

который принесла для него мадам. Все восхищенно ахнули, уверяя друг друга, что такого умного ребенка еще не видали.

- Как мило опушилась его головка! Он напоминает птенчика, - сказала мужу Ася.

- Херувимчик у подножия Мадонны, - ответил Олег.

- Амур, амур! - повторяла в восторге француженка.

Леля тоже смотрела на Славчика. «Будет ли у меня такой? Только бы мне благополучно выпутаться из этой истории и не потерять уважения всех, кто меня любит!» Случайно подняв глаза, она встретилась взглядом с Олегом. И опять почему-то опустились ее глаза. «А все-таки он смотрит с укором! Есть только два человека, которые не разлюбят меня, даже если я дойду до того, что начну выдавать из страха. Это мама и Ася! Их любовь никогда не изменится!» - и она с новым чувством нежности взглянула на свою кузину, которая, созерцая присосавшегося к рожку ребенка и оберегая его протянутыми вперед руками, забыла, казалось, все окружающее.

О том человеке, которому она впервые внушила чувство любви, Леля не думала. Он не шел в счет. Ей не интересна была старая военная среда, обычаи и вкусы которой ей приелись, но сермяжные простачки были еще во много раз скучнее. Через несколько дней после того, как Лелю зачислили в штат, Олег позвал ее и Асю в порт на устраиваемый там по какому-то случаю вечер. В зале к ним подошел приглашенный Олегом Вячеслав. Рыжий вигоневый свитер до ушей и накинутый поверх измятый пиджачок напомнили Леле «товарища Васильева».

- Вот удивительно то, - сказала она Асе, когда их никто не мог слышать, - твой муж одет, пожалуй, несколько не лучше, но весь облик его настолько иной, что эта плебейская одежка на нем незаметна. Что значит осанка! А впрочем, белая крахмальная полоска у горла, которую носит твой Олег по офицерской привычке, тоже кое-что значит в общем виде.

Когда по окончании вечера вышли из здания, Олег взял под руку жену и предоставил Лелю заботам Вячеслава.

- Ну, как идет работа, товарищ Леля? - дружески спросил этот последний, забирая девушку под руку. - Слышал я, место получили? Спервоначально трудновато вам, поди? Ну, да ничего, приобвыкнете. Поспевааете справляться или затирает?

Леля стала рассказывать ему особенности своей работы.

- Врач-то хорош с вами? Не зазнается? - спросил Вячеслав. - Гляжу, много еще в этих самых врачах старой закваски, все еще они себя господами считают, любят над средним персоналом покуражиться. Вы им спуску-то не давайте, чуть что - в местком.

- На врача не жалуюсь, трудности не в том, - сказала Леля, - я аппаратуру плохо знаю. Ведь я работала до сих пор с аппаратом только одной системы и могу встать в тупик даже перед перегоревшей пробкой.

Их связывал теперь уже целый ряд интересов профессионального порядка, и очевидно вследствие этого разговор шел гораздо непринужденней, чем прежде. Прощаясь, Леля улыбнулась ему приветливей, чем сама могла предполагать.

Через несколько дней были именины Нины, которые праздновались очень скромно в кругу семьи. Когда все уже сидели за ужином, и Нина включила электрический чайник, неожиданно произошло короткое замыкание. Олег вышел в кухню, чтобы переменить пробки, и увидел там Вячеслава, который сказал ему:

- Давайте-ка сюда нашу Елену Львовну, Казаринов. Я покажу ей, как пробки переменять. Ей урок хороший будет.

И при колеблющемся свете сальной свечи Олег разглядел сконфуженную улыбку юноши. Он вызвал из-за стола Лелю и предоставил Вячеславу принести ей табурет и взгромоздиться с ней рядом.

- А ну, влезайте-ка, товарищ рентгенотехник, мы вам сейчас будем квалификацию повышать, - сказал при этом Вячеслав.

Олег заметил, что он был первый раз в галстук, который завязал очень безобразно, но, по-

видимому, со специальной целью понравиться Леле.

Вернувшись к чайному столу, Олег хотел было попросить Нину пригласить и Вячеслава, но присутствие Натальи Павловны удержало его. Это были две величины несовместимые. «Бедный мальчик, кажется, окончательно потерял голову, – подумал Олег. – Как жаль, что его подстерегает неудача».

А неудача действительно подстерегала.

Зинаида Глебовна и Леля не сомневались, что если бы жизнь была «нормальная», и Леля выезжала на балы в прежнем петербургском «свете», она бы уже получила штук десять предложений и давно была бы замужем. Но в этой новой обстановке знакомства их были слишком немногочисленны, а постоянные репрессии вырывали и тех немногих кандидатов, которые имелись, как это и случилось с Валентином Платоновичем.

С друзьями соседки Ревекки Леля виделась редко; притом эта евреечка, не желая ссориться с Зинаидой Глебовной, зорко оберегала Лелю и никогда не оставляла *tete a tete* со своими друзьями. Знакомства эти терялись, расстраивались, так как встречи были отрывочны и редки; в последний год Ревекка вовсе прекратила свои выезды в этот еврейско-армянский деловой «свет», так как людьми, которые позволяют себе роскошь тратить деньги по ресторанам, заинтересовалось гешеу, и, напуганные арестами в своей среде, веселые дельцы стали остерегаться кутить. Всего-то на долю Леле перепало два-три выезда. В этой среде ее аристократизм возбуждал любопытство как оригинальное украшение; пошловатое ухаживание забавляло ее, но она оказалась достаточно умна, чтобы посмотреть на это сверху вниз, и несколько раз думала, что большую и честную привязанность мало вероятно встретить в этом кругу, даже если бы встречи возобновились. Таким образом, конкурентов у Вячеслава не оказалось к моменту, когда состоялось объяснение.

– Вот что я хотел вам сказать, Леля... в прошлый раз еще думал сказать, да прособирался... не так оно просто! Но, потому как я не трус и прятаться не привык, лучше скажу теперь все: ни одна девушка мне еще никогда так не нравилась. Вы у меня все сердце обеими руками взяли. Я ведь отлично вижу, что мы с вами разного круга, знаю, что во мне этого вашего дворянского воспитания нет. А только вы не думайте, что это самое что ни на есть важное: теперь с одними дворянскими хватками далеко не уйдешь. Вот я смотрю, вы как челночок, с цепи сорвавшийся: несет вас куда попало, того и гляди прибьет к чужому берегу. А я человек с установкой, меня не сбить, я иду с жизнью в ногу, у меня хватка есть, а это теперь всего нужнее. Коли бы мы с вами столкнулись теперь жить вместе, так равно, как вы мне, так и я вам во многом бы пригодился. Уж как бы я вас берег и любил, мою кукушечку ненаглядную! Никому бы не дал в обиду, а тем временем и сам бы у вас кое-чему понаучился. И так бы складно у нас все было! Мы вон с Олегом Андреевичем почти приятелями соделались. Нина Александровна тоже со мной хороша. Я так думаю, что никто из ваших сродственников особенно и против-то не был, кроме, может, вашей мамыши да старой генеральши в черной вуали... ух, злющая! Ну, да ведь не им жить, а вам. Со мной вы сможете быть счастливой, оттого, что очень я вас полюбил и всеми бы силами во всем для вас старался! Мне верить можно.

Девушка молчала, взволнованная и несколько смущенная. Это было первое в ее жизни предложение. Задушевные ноты в голосе Вячеслава коснулись ее сердца. Смутно промелькнула мысль, что эта любовь может стать для нее выходом из создавшейся безнадежности: ему возможно рассказать беду, в которой она запуталась и получить настоящую помощь. Может быть, он увезет ее куда-нибудь от «них», или пригрозит «им», или придумает другой способ защиты. Она чувствовала в нем силу характера и помнила, как аттестовал его Олег, а он вряд ли был способен идеализировать пролетария. Одно только «но»... одно: выдвигенец, рабочий, серый, слишком серый... Во всех деталях личной жизни он будет слишком примитивен и прост. Как она будет показываться с ним рядом? Ведь ей постоянно придется стыдиться собственного мужа. Изысканность Олега будет еще больше подчеркивать неловкость ее спутника. Ася, Нина и Олег, конечно, будут всячески сглаживать

ради нее все возможные конфликты и острые углы, но старшие? Ее мать и Наталья Павловна? Они ждут для нее второго Олега – какой будет удар ее матери, если она приведет рабочего. А сам этот рабочий? Она уловила ноты пренебрежения и досады, с которыми он упомянул о старших дамах. Уже теперь! А что же будет дальше? «Я постоянно бываю с мамой дерзка, но мне кажется, я бы не вынесла, если бы другой кто-нибудь посмел при мне заговорить с мамой тем тоном, который я разрешаю себе. В глубине души я преклоняюсь перед выдержкой и кротостью мамы. Они ведь друг друга не поймут и не оценят. Это слишком ясно. Будь я влюблена, я при моем характере с этим, конечно же, не посчиталась бы, но ведь я не влюблена ни капельки! Если я способна все взвешивать, значит не влюблена! Ради чего же решаться на такой эксперимент? Что это сулит мне кроме новых трудностей? Венчаться в церкви он не захочет, потащит в загс, да приведет своих товарищей, которые напьются так, что придется просить Олега выставить их поскорей. Вот что будет!» – она подняла глаза и встретила взгляд, полный любви. Сколько замирающей тревоги, сколько восхищения и нежности было в этом взгляде!

– Кукушечка моя! – повторил он голосом, полным ласки, и руки его потянулись к девушке. В кудрявой головке снова мелькнула мысль: «Эта любовь – настоящая, которая может больше и не встретиться на моем пути. Он готов отдать за меня жизнь, а я взвешиваю, достаточно ли он изящен?» – и ей самой было больно выговаривать слова отказа:

– Спасибо вам, Вячеслав. Я очень тронута. Мне жаль вас огорчать, но... я вас не люблю, не обижайтесь на меня.

Работа в рентгеновском кабинете больницы понемногу налаживалась. Скоро Леля вошла во все ее детали, и сосущая, мучительная тревога, сопутствовавшая ей каждое утро по дороге на службу, стала понемногу затихать.

Обещанной провокации пока не было. Зато в одно утро в кабинет на носилках принесли больную женщину в тяжелом состоянии. Лицо ее, почти восковое, показалось Леле очень интеллигентным. Она быстро взглянула в правый верхний угол «истории болезни», где ставилась статья, и увидела роковую цифру – 58.

Помогая ставить за экран больную, которая от слабости шаталась, Леля незаметно быстро пожала ей руку. Через несколько минут рентгенолога отозвали из кабинета к главному врачу, а санитарка, посланная за результатами анализов, еще не вернулась. Леля осталась на минуту одна с больной.

– Сестрица! – заговорила та, озираясь. – Я вижу, вы интеллигентный человек и сердце у вас еще не очерствело. Пожалейте меня, дорогая: у меня во время обыска отобрали и, очевидно, уничтожили мои стихи, за них и приклеили мне пятьдесят восьмую. Я кое-что восстановила по памяти уже здесь, в больнице. Возьмите из-под подушки тетрадь – я все жду случая, с собой таскаю. Тяжело умирать, зная, что все погибнет. Сберегите до лучших дней!

Сколько ни говорила себе Леля, что следует быть осторожней, этот разбитый голос и это лицо настолько ее взволновали, что она тотчас схватила тетрадку и, юркнув в проявительскую, спрятала ее в ящик со светочувствительными пленками. Ящик этот был исключительно в ее ведении: открывать его можно было только в темноте, ориентируясь в нем ощупью, санитарка не имела права его касаться, врач сюда не заглядывал. Ей удалось потом благополучно вынести тетрадь на груди под джемпером; мысли о провокации она не допускала, но возможность случайной проверки заставляла тревожно замирать сердце. Дома и у Натальи Павловны она, разумеется, рассказала все. Наградой за перенесенный страх было для нее то, что Олег пожал ей руку, говоря:

– Я знал, что вам будет тяжело в этой обстановке. Будьте очень осторожны, Елена Львовна.

Слова эти растопили тот тонкий ледок, который установился было между ними, тем не менее, веселость и живость к ней не возвращались. «Мне как-то не уютно стало жить, – думала она. – В детстве, помню, меня часто спрашивали, почему я печальна, почему не смеюсь? А ведь у меня были все условия для счастья. Наверно, я уже тогда предчувствовала все, что пришло

теперь. Я всегда знала, что Ася счастлива будет, а я - никогда! Мне страшно, мне все время страшно!»

## Глава двадцать первая

«От юности моя мнози борят мя страсти. Но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!» - пели в маленькой церкви бывшего монашеского подворья, где не было уже ни одного монаха. Мика стоял в конце храма в полутемном углу около колонны. «Как я люблю это песнопение! Оно как будто для моей грешной души. Кажется, открыты глаза на многие тайны и задачи жизни необъятны, а я бьюсь, как в сетях! Чего мне не хватает? Хочется скорее начать большую настоящую работу, которая вела бы к подвигу, а тут эти ежедневные будничные обязанности и эта школа, которая мне опротивела. Если бы не был закрыт богословский институт - вот куда я бы с радостью бросился по окончании среднего! Я бы учился день и ночь, чтобы вооружиться на борьбу с атеизмом. Там и атмосфера была такая, какую я ищу - вся пропитанная высоким напряжением. Но... «мерзость запустения на месте святом»! Скоро, кажется, совсем не останется ни храмов, ни священников, и все равно им Церковь не одолеть и веру не вытравить. Мученичество только очищает ее! Как я благодарен теперь отцу Варлааму за его суровость: она оказалась для меня хорошим уроком. Все наиболее сильные и пламенеющие духом исчезают один за другим; экстаз перебирается за колючую проволоку, куда скоро попаду и я. Но прежде хочется что-нибудь сделать, чтобы оставить после себя яркий пламенеющий след, как оставили отец Гурий и отец Варлаам. А как начать? Накалить, наэлектризовать, спаять еще теснее братство? Но я один из самых младших... Кто станет меня слушать? - «Он еще школьник», «Знаете ли, он еще десятиклассник»... Эта кличка опротивела, а время идет, братство тем временем медленно разваливается.

Тонкий девичий голос зазвенел речитативом, придерживаясь одной ноты: «Глас шестый. Подобен: о, преславная чудесе...»

Хор подхватил печальный протяжный напев.

«Это Мери! Хорошо она канонаршит. Вот у Мери жизнь идет, минуя будни, ближе к подвигу. Давно мы не разговаривали... подойду к ней».

Как только всенощная стала подходить к концу, он начал, пробираясь вперед.

- Испола эти дэспота! - «Стало быть владыка Гавриил опять здесь», - и едва он это подумал, как увидел в самом темном углу маленькую сухощавую фигуру инок. Это был высланный из Одессы в Ленинградскую область епископ, который под воскресенье приезжал потихоньку в храм, так как в области уже не оставалось церквей. Одному Богу было известно, где и на что живет этот неизвестный мученик. Огеу настрого запретило ему служить, но братский хор всякий раз из своеобразного церковного этикета пел «испола эти дэспота», как только замечали в углу храма худощавую фигуру старика в черной монашеской скуфье.

Мика нашел Мери на полутемном клиросе. Она складывала ноты и часослов. Когда они вышли вместе на паперть, ветер, вздувший лужи среди талого снега в церковном саду, закружил косынкой Мери.

- Хочешь пройтись пешком, поговорим? - спросил Мика, подхватывая конец косынки.

- Хочу, только мне опоздать нельзя: я подаю ужин и читаю в трапезной, - ответила она.

- Счастливая ты, Мери! У тебя нет домашних будней, твои хозяйственные заботы - послушание, как в монастыре, никто тебя не торопит, не журит, не отвлекает от духовного плана; ты в самом центре церковной жизни. А я иногда чувствую себя совсем в потемках! Нина уперлась как бык: «Среднее ты должен кончить, я это вправе требовать и требую!» Да я и сам рад бы учиться, но разве это прежний аттестат зрелости? Бумажонка об окончании школы теперь самая гнусная, она ничего не значит. Половина нашего класса - безграмотны, и если бы я сам не захотел чему-то выучиться, я был бы таким же. В вуз все равно я не попаду: распря с комсомолом помимо дворянства. И тем не менее, ради этой бумажонки убивается такая масса времени. А церкви так нужны люди, столько настоящего, большого дела! Никто так не

содействует погрязанию в быту как домашние!

- Будней у каждого довольно, Мика! Это так кажется со стороны при беглом взгляде, что там, где нас нет, и этих будней нет. Уверяю тебя, что они за каждым плетутся в разном виде. В собственной жизни, наверно, только ретроспективно можно разглядеть огненную полосу. Я тоже загружена будничными делами и гораздо больше, чем это было бы дома. Я попала в очень трудное положение, Мика. У нас в общежитии все служат, кроме меня, и по моей карточке, как лишенка, я не получаю ни сахара, ни масла. Сестра Мария поручила мне все хозяйство и ставит дело так, что я такой же полноправный член общины, как и все, раз я достойно несую свои обязанности по дому. Средства считаются общими, и все-таки я всегда остро чувствую, что не имею своей копейки. Я ни о чем не смею сказать: вот подошвы у меня совсем дырявые, перчаток нет, маме нужно послать хоть сколько-нибудь... мама без работы и живет в углу... но разве я посмею заикнуться об этом? Такая мелочь, как шпильки себе в волосы и кусочек мыла в баню, - ведь и это надо купить, а мне не на что. Если бы ты знал, как я стараюсь быть полезной: я выстаиваю огромные очереди за картошкой и за керосином, я режу овощи, мою котлы и посуду, я почти не выхожу из кухни. Иногда я начинаю думать, что скоро забуду все, чему выучилась, и отупею. Кончить школу и попасть в прислуги! Это недостойные мысли, я знаю. Мика, пойми, я не ропщу: мне дана возможность существовать, меня никто не обижает, меня учат только хорошему - а если бы не братство, то без отца, без матери, без работы можно и вовсе пропасть. Я не ропщу, но мне очень тяжело. Я часто просыпаюсь утром с чувством тоски за то, какой мне предстоит день. С мамой я на богослужение шла как на праздник, а теперь я уже устала от служб, часто и с тоской жду их окончания. И ноги, и голос - все устало. Мне тяжело подыматься к ранней. Вот Катя и Женя могут сказать: «Я сегодня останусь дома», - а я не смею - надо читать, надо петь, значит - иду. На днях, утром, мне очень нездоровилось, я охрипла. Я проснулась с мыслью: если б моя мамочка была со мной, она подошла бы и дала мне выпить теплого молока, - голос Мери оборвался.

- Не плачь, Мери! Но ты же обычно такая мужественная! - пробормотал кое-как Мика.

- Я знаю, что это - слабость, но я ведь только с тобой могу говорить. Знаешь, я не очень высокого мнения о наших общежитских сестрах. Есть в них что-то мещанское: убожество мысли, мелкие счеты, преувеличенный интерес к еде... А я с моим характером всегда готова вспылить, если мне что-нибудь не нравится. Сестра Мария одна сдерживает нас всех своим благородством и примером.

- Мери, расскажи мне о ней.

- Она окончила Смольный, бывшая придворная дама. Монашество она приняла еще молодой, после гибели мужа на «Петропавловске». Теперь у нее водянка и она долго не протянет, хотя ей только пятьдесят. Без нее я здесь не останусь ни одного дня, я уже решила. Здесь тотчас все развалится, распри начнутся...

- Ну, это еще неизвестно, что будет. Не допустим, чтобы развалилось. А к Ольге Никитичне ты уехать не хочешь?

- А наша жилплощадь? Ведь мы тогда навсегда потеряем ее. Пока я здесь прописана, еще есть какая-то надежда, что мама и папа вернуться сюда. А если я уеду - кончено! Комнату по теперешним порядкам у нас отберут, и тогда всю жизнь скитаться по чужим углам. Мама ни за что не хочет, чтоб так случилось. На меня уже раз соседка донесла, что я не живу и не отапливаю. Удалось кое-как замаять, но мне необходимо появляться на нашей квартире хотя бы два раза в неделю. В тот день, когда мамочку выпустили, у нее было только двенадцать часов на сборы; пока она нашла меня, еще меньше осталось. К тому же она только что узнала про Петю и была в очень тяжелом душевном состоянии. Когда мы пришли с ней на нашу квартиру, мы не могли говорить о делах, а проплакали почти до вечера. Собиралась мама наспех за двадцать минут. Она спрашивала меня, почему я оказалась на Конной, и я должна была рассказать о слесаре и как ты предостерег меня. Мама очень жалела, что сама не может тебя поблагодарить, а меня заставила дать ей слово, что я останусь у сестры Марии, пока ее и папы

нет. Но из-за этого доноса приходится бегать домой. Стараюсь делать это днем, топлю печь и шумлю побольше, чтобы старуха слышала, а убегаю потихоньку – пусть думает, что я спать легла. И все-таки все время боюсь нового доноса. Я совсем запутываюсь в своих трудностях.

Они уже стояли на лестнице, и, говоря это, она нажимала кнопку звонка. Сестра Мария усадила Мику ужинать: общая трапеза в строгом молчании, при чтении житий святых, постные блюда и своеобразная обстановка всегда привлекали воображение Мики. Читала Мери, и читала стоя; он несколько раз вспоминал, что она устала, с тревогой смотрел на сосредоточенное лицо, освещенное маленькой свечечкой, прилепленной к аналою. После всех, в уже опустевшей трапезной, села есть она сама и указала ему на табурет около себя.

– Я тебе не успела рассказать еще о папе, – начала она. – В последнее время он получил разрешение выходить за зону оцепления – это нужно по роду его работы. Ему выдали пропуск на право свободного хождения, ну, а там, в поселке за зоной, живет одна наша знакомая, которая была в том же лагере и кончила срок. Деваться ей некуда, и она осталась пока там. Папа иногда заходит к ней между работой. Она поит его чаем и дает читать газеты. Об этом по почте, конечно, нельзя было писать, но эта дама приезжала сюда и пришла ко мне с письмом от папы. Хорошо, что тогда только что проданся буфет и я могла отдать ей всю выручку, чтобы она покупала папе что-нибудь из еды и витаминов. У папочки цинга. Мы сговорились, что я к ней приеду, чтобы потихоньку повидать папу, но...

Мери остановилась, и щеки ее порозовели.

– У тебя денег нет? Так ведь? Надо раздобыть. Я тебе помогу. Надо опять снести что-нибудь в комиссионный. Я тоже могу продать мои книги или коньки, я не мальчик, чтобы забавляться. А вот эти десять рублей пусть будут тебе на мелочи.

– Мика, нет, нет! Я не возьму. Это нельзя.

– Если ты не возьмешь – мы не друзья и больше я никогда не приду к тебе. Ты отлично знаешь, как я глубоко уважаю твою мать, вообще – вашу семью... Мы с тобой встретились на пути к Христу... мы – будущие иноки... между нами не должно быть... этикета.

– Я не знаю, буду ли я инокиней, Мика. У меня это еще не решено. Жаль, что мы с тобой не можем стать студентами богословского института – вот где мыгодились бы! А иночество... Я люблю монастыри: тихие кельи, птицы, «стоны-звоны-перезвоны, стоны-звоны, вздохи, сны... стены вымазаны белым, мать-игуменья велела...» Люблю уставное пение, старые книги с застежками, монашескую одежду, поклоны... А быть инокиней в миру... это уже совсем не то. Никакой поэзии.

– Окружающая обстановка тут ни при чем – дело в идеалах подвижничества и в готовности человека. А лес вокруг или шумный город, не все ли равно. В десятом веке – лес и звери, в двадцатом – враждебные люди и шумный город. В наше время еще интересней, потому что опасней.

– Ты думаешь?

– Убежден.

– А ты уже решил принять иночество?

– В принципе – да. Но обетов еще не давал. Знаешь, мне отрадно думать, что меня не отягчает никакая собственность: какой ненужный груз – поместье, земли! А вот невозможность полезной деятельности угнетает. Меня всегда привлекало литературное поприще поэта или корреспондента, но в наших условиях эта деятельность слишком обесцвечивается: я не желаю испекать по стандарту статьи, которые в качестве пустой породы наполняют две трети наших газет или писать хвалебные оды Сталину. Если же я начну говорить то, что назревает в моем мозгу, мне попросту зажмут рот. На моих литературных способностях следует поставить крест. А между тем это единственный вид деятельности, который меня привлекает среди задач, не связанных с задачами Церкви, – и Мика жестом непризнанного поэта отвел себе со лба волосы.

– Да, Мика: почти все дороги перед нами закрыты. А слышал ты, что мощи Александра Невского увезены из лавры по приказу правительства и будут выставлены, говорят, напоказ в Эрмитаже? У нас все были очень потрясены этим: сестра Мария даже плакала, и по всему

храму шепот пробежал, когда это стало известно в церкви, за всеобщей.

Он нахмурился.

- Никакое кощунство не властно над святыней! Поруганные иконы засияют еще большим светом, а преследуемые люди очистятся в горниле страданий. Не огорчайся, Мери, ни за мать, ни за отца, ни за нашу святыню, - и он положил свою руку на руку девушки. - Смотри, какая у тебя рука маленькая по сравнению с моей, мизинец совсем крошечный.

- Не смотри, пожалуйста, на мои руки. Это они черные от картофельной и морковной шелухи. Это не отмывается.

- Пустяки. Ты похожа на монахиню в этой косынке. Может быть, нам с тобой уже не придется носить такую одежду. Это не значит, однако, что мы с тобой не будем настоящими иноками.

Вошли Катя и Женя и своим появлением прервали перешептывание инока с инокиней. Мика выпустил руку, на которой разглядывал темные полосы от морковной шелухи и размеры мизинца, и встал, прощаясь.

Через несколько дней он снова звонил в квартиру на Конной.

- Я за тобой. Ты готова? Вот тебе 50 рублей с продажи моих коньков, а это тебе присылает Нина полакомиться в поезде. Где твой чемодан?

- Я не беру чемодана: сестра Мария говорит, что в таком месте это сразу обратит внимание гешеу, поймут, что приезжая. А вот с такими сетками ходят везде. Гешеу не должно знать, что у папы нелегальное свидание.

- Конечно нельзя допустить, чтобы тебя выследили. Знаешь, возьми с собой жбанчик из под керосина: я помню кто-то рассказывал, что это лучший способ иметь на улице вид местной жительницы. Иди скорей за благословением к сестре Марии, и едем.

Прощаясь в поезде, Мери сказала:

- Я очень волнуюсь, Мика. Боюсь осложнений с гешеу и свидания с папой тоже боюсь: мне придется ему сообщить про Петю. В письме через ту даму я написала, что мама выслана, а про Петю не решилась, пробовала и рвала!

- Ну-ну, не твуй! - внушительно сказал Мика, но не решился потрепать ее по плечу, как потрепал бы Петю.

- Мика, ты мой самый лучший друг! Дал бы Бог и мне когда-нибудь выручить тебя. Молись, чтобы все обошлось благополучно.

Он мямлял в руках шапку.

- Я так и сделаю. Обещаю: записочку в алтарь подам. А ты тоже помолись за меня грешного.

Рядом у окна вагона стоял высокий незнакомый человек, по типу артист, немного подвыпивший. Привлеченный несколькими необычными словами, которыми юноша прощался с девушкой, он, не долго думая, брякнул:

- «Мои грехи в твоих святых молитвах, Офелия, о, нимфа, помяни!»

Мика и Мери, красные как раки, отпрянули друг от друга. Мика, нахлобучив шапку, выскочил из вагона; однако через несколько минут, набравшись храбрости, он снова подошел к окну, но сконфуженная Офелия не появилась за стеклом.

Дома тем временем разговор шел о нем:

- Как я рада тебя видеть! Садись, Марина, я сегодня одна, выпей со мной чаю, - говорила Нина подружке.

Марина скинула с плеч отливавшую серебром чернубурку и села.

- А Мика где же? Опять в церкви? Всеобщая должна бы уже кончиться.

- На этот раз не в церкви. Провожает на вокзале барышню, - и Нина улыбнулась.

- Да что ты! Ну, значит, начинается! Расскажи, Нина, мне интересно!

- Да, собственно говоря, ничего еще не «начинается». Он по-прежнему воображает себя монахом, и пока незаметно, чтобы изменился в этом отношении.

- А что же означают эти проводы?

- А это очень трагическая история, - и Нина рассказала о семье Валугевых. - Мика очень хлопотал, продавал свои коньки и книги, чтобы помочь ей уехать, - закончила она.

- Наверно, влюблен! Стал бы он хлопотать, если бы был равнодушен. Хорошенькая?

- Умное, интеллигентное личико; чтобы особенно красива - не сказала бы. Предосудительного между ними во всяком случае нет ничего. Она тоже монахиня, - и Нина засмеялась.

- А как теперь твои отношения с Микой?

- По пустякам мы часто сцепляемся, и он дерзит по своей привычке, но ведет себя во многих отношениях замечательно. Церковная среда безусловно внесла свое положительное влияние. Этой современной разболтанности, которая уже начинала в нем замечаться, теперь не осталось и следа. Никогда рубля не попросит себе на удовольствие, даже в кино не бывает, безропотно ходит в старой куртке, неприхотлив в еде, не курит, сам прибирает свою постель и свою комнату. Стычки наши все больше по вопросу о школе, которую он возненавидел и не хочет кончать. Я его отчасти понимаю: педагоги очень мало интеллигентные, их даже сравнить нельзя с теми, какие бывали у нас. Преподавание ведется бездарно, дисциплины никакой. А на вуз надежды нет. У Мики позади несколько поколений с высшим образованием, ему так легко все дается, и что же? Идти на завод, чтобы стать токарем или фрезеровщиком? От этой мысли; меня отчаяние берет. Ведь у меня теперь кроме него никого нет, целый день о нем мысли.

Но Марина думала уже не о Мике, одна нота в словах Нины всецело завладела ее вниманием.

- Нина, ты не должна жить в такой пустоте, без романа. Тебе непременно надо опять увлечься, иначе ты затоскуешь. Уже прошел год, довольно траура, - сказала Марина.

- Нет, Марина, романов у меня больше не будет. Да и что значит «надо увлечься»? Это хорошо, когда приходит стихийно, подымается из глубины нашего существа, а искусственно насаженное - уже не то... Я очень тяжело пережила эту вторую потерю и свою вину. Теперь все во мне словно выхолощено. Душа сказала veto.

- А ты не внушай себе. Еще рано доживать века, как старухе - в тридцать пять лет! Попробуй встряхнуться. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком.

- Нет, дорогая, не хочу. В этот раз не выйдет. Не будем даже говорить. Рассказывай лучше о себе. Как здоровье Моисея Гершелевича?

Лицо Марины стало серьезно.

- Я очень боюсь, Нина, что у него рак. За этот месяц он потерял в весе пять килограммов. А теперь лечащий врач послал его на консультацию в онкологический. Завтра его будет осматривать сам Петров, и тогда все решится. Он страшно мнителен, как и все евреи, и теперь места себе не находит.

- Боже мой, какой ужас! Только бы не это! Бедный Моисей Гершелевич! - воскликнула Нина.

- Скажи: бедная Марина! Если бы ты могла вообразить, как он меня изводит! Он стал ревнив и раздражителен до чудовищных размеров. Все не так, я во всем виновата, что бы я ни состряпала - ему все не по вкусу. Доктор велел есть фрукты, а ведь их достать теперь нелегко. Я по всему городу гоняюсь и всякий раз виновата, если не найду таких груш, как он хочет. Он стал теперь уставать, по вечерам выходить не хочет - сиди с ним! Сейчас уходила к тебе со скандалом. Недавно приревновал меня к сослуживцу, который поцеловал мне руку. Даже в кино одну не пускает.

- Марина, это так понятно! Он старше тебя, а ты красива, всегда везде пользовалась успехом. Понятно, что он неспокоен, особенно сейчас, когда ему тяжело равняться на тебя, притом он, конечно, видит твою равнодушие. Ему теперь многое можно извинить. Угроза рака! Ведь это пережить нелегко! Ты должна быть поласковой к нему это время.

- Ах, брось, пожалуйста! Ты всегда заступаешься. Сколько он попил моей крови - знаю я одна. То же самое и теперь: не хочет понять... каждый вечер ко мне в постель... А я не могу, пойми, Нина, не могу... он мне физически стал противен. Я молода, здорова... раковый не может не возбудить отвращения. Подумать не могу, что мне предстоит уход. Не смотри на меня с укором, лучше поставь себя на мое место и пойми.

- Нет, Марина, не понимаю! Когда погиб мой Дмитрий, как я тосковала, что не была рядом, не могла облегчить, ухаживать... Я бы все сделала. Я даже вообразить себе не могу брезгливости в этом случае.

- Сравнила! Дмитрий - молодой офицер, красавец, в которого ты была влюблена до потери сознания, а этот!

- Какая уж тут красота - перед смертью! Неужели ты не можешь из такта или сострадания побороть, скрыть свое отвращение? От смерти не уйдешь, придет и твой час!

- У тебя всегда виновата я. Будь уверена, что, если б болел Олег, мое отношение было бы другое.

- Не знаю. Пожалуй, что не уверена. Вот Ася - в ее отношении я не сомневаюсь.

- Расскажи лучше про их ребенка, каков он?

- Ах, душонок! Ему сейчас десятый месяц, уже ходить пробует; здоровенький, розовый, ручки в перетяжках, реснички длинные, загнутые. Очаровательно хохочет, ко всем идет на руки, даже меня знает.

- Воображаю, как обожает его Олег!

- Его все обожают, бабушка - и та глаз не сводит, а она особенной чувствительностью не отличается.

Марина взглянула на свои изящные часики.

- Ну, я с тобой прощаюсь: пора готовить фруктовые соки, а то опять будет сцена. Посмотри, как эти соки разъели мне пальцы.

- Потерпи. Это твоя обязанность. Мало разве Моисей Гершелевич баловал тебя? - сказала Нина сухо.

Уже в дверях, накидывая чернобурку, Марина вдруг сказала:

- Коли, не дай Бог, рак - это конец! А я тогда опять в безвыходном положении, без ничего... - она взглянула на Нину и, не найдя себе сочувствия в ее лице, которое оставалось строгим, нерешительно продолжала: - Вот уже пять лет мы с Моисеем коротаем вместе, худо ли, хорошо ли... Он познакомился со мной еще при маме, во время нэпа, у наших соседей по новой коммунальной квартире, кажется, на шестой год после благословенной революции. Я раз стирала большую стирку, а был дивный майский вечер, светлый, золотой! Я стою босая над лоханью и думаю: это мне вместо прогулки верхом с офицером и лицеистами! Вот тут-то и подоспел Моисей Гершелевич. Он приехал за мной на автомобиле, приглашая кататься, и вытащил прямо из прачечной! Я - с отчаяния, понимаешь, с отчаяния! В прежнее бы время ему, разумеется, не видать меня как своих ушей. Но, клянусь тебе, изменять ему у меня тогда и в мыслях не было. Это пришло после... Разве я могла предугадать?

- После... «парк огромный Царского Села, где тебе тревога путь пересекла»! - процитировала Нина любимую поэтессу.

## **Глава двадцать вторая**

### **ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ**

23 июня 31 г. Обычное состояние грусти и настороженности, работы много.

24 июня. Наша музыкальная школа реорганизуется: она превращается в техникум, программа повышается, вводятся зачетные книжки и прочие формальности. В связи с этим учащиеся, не удовлетворяющие по способностям новым требованиям, исключаются, и я в том числе. Фамилия Аси висит в списке переведенных на старший курс, очевидно, через год будет оканчивать. А мне и в самом деле давно пора поставить крест на моих занятиях музыкой.

25 июня. С тех пор, как Лелю Нелидову изгнали из больницы, я не знаю, что делается у Олега и Аси и все ли благополучно. Часто ходить стесняюсь, и радости мне от этого немного, а вместе с тем постоянно беспокоюсь. Когда в последний раз я была у них, Ася собиралась с ребенком в деревню, опять в те же Хвошни. А сейчас уже около месяца не имею сведений.

26 июня. Вчера я встретила на улице одну знакомую, которая возвращается в среде писателей, и

узнала от нее, что поэт Мандельштам выслан и живет на окраине Воронежа в деревенской избе, в углу с тараканами, почти впроголодь. Ходят слухи, что Сталин сказал о нем: «Убрать, но не уничтожать». Какой цинизм: о поэте, как о насекомом! И до того дошло уже раболепство перед восточным тираном, что даже те, которые шепчутся об этом, упирают на то, что товарищ Сталин все-таки сказал «не уничтожать», отыскивая признаки гуманности! Николаю Первому ставят в вину, что он не сумел предотвратить дуэли Пушкина и что удалил поэта в Михайловское, но в своем поместье Пушкин скакал верхом, играл на бильярде, рылся в своей библиотеке и принимал друзей. С Мандельштамом похуже, но это как будто никого не возмущает. Есенин и Цветаева кончили самоубийством, Гумилев расстрелян за контрреволюцию, Блок, смертельно тоскуя, больным вырывается из пинских болот и умирает, Мандельштам голодает в ссылке – вот судьба лучших, наиболее талантливых и замечательных поэтов под опекой советской власти. Вот как бережет она русскую славу! В литературных кругах о Мандельштаме говорят: «Со своей волчицей голодной выходит на дорогу волк», – подразумевая его и его верную Надю. Я не Могу слышать такие вещи и оставаться равнодушной!

27 июня. Сегодня ко мне зашла та студентка, которая живет в квартире у Юлии Ивановны и которая рассказала про поезд, полный детей. Я тогда же звала ее навещать меня: мне понравились в ней задатки гражданских чувств, искренних, не показных – не тех, что разливаются в трескучих и стандартных фразах на наших! собраниях. Разговор с ней и на этот раз вышел очень интересен. Студентка эта, Люба, училась в институте истории искусств, который не так давно закрыли, заявив в газетах, что он представляет собой вредный рассадник формалистической школы и что с кафедр его льется «зеленый идеализм», а студенческая среда в большинстве своем состоит из «бывшей аристократической молодежи», которая, «сбавив свой гонор», хлынула в этот институт, как в единственное место, где несколько ослаблен классовый подход при приеме. Произошло это потому, что институт вечерний, находится на самоснабжении и стипендий не предоставляет. Люба показывала мне газету, поэтому некоторые выражения я привела буквально. В постановлении о закрытии было объявлено, что пролетарская часть студенчества будет переведена на соответствующий курс университета; Люба училась на третьем и была одной из самых успевающих студенток, много времени отдавала пресловутой «общественной работе», а по происхождению она дочь крестьянина. Казалось бы, удовлетворяет всем требованиям и может не страшиться за себя. И однако же Люба эта была исключена из списков переведенных в университет! Какое же объяснение этому она получила? Когда она явилась в комиссию за разъяснением, ее спросили: «К какой школе вы принадлежите: к марксистской или формалистической?» Предательский вопрос! Но она сумела избежать прямого ответа: «Я студентка и еще не считаю свое мировоззрение сложившимся, я слишком поверхностно знакома с обеими школами. Дайте мне возможность закончить образование, и тогда я дам вам ответ». На это некто Крупчицкий ей заявил: «Мы уже заранее можем предполагать, каков будет этот ответ. Ходят слухи, товарищ, что вы пренебрегаете марксистскими методами и на всех лестницах и в коридорах ругаете марксизм». – «Вы обвиняете меня на основании слухов?» – «Некоторые слухи держатся очень упорно, товарищ, и их подтверждает ваш матрикул». – «Это каким же образом?» – «Вы слишком усердно сдаете ваши зачеты, товарищ! Это лучше всяких слухов показывает нам весь интерес ваш к формалистической школе, к которой принадлежат все ваши профессора». – «Как? Вы ставите мне в вину мою академическую успеваемость?» – «Не то что в вину ставим, но она служит нам прочным подтверждением вот этих самых слухов. Знайте, товарищ, что мы охотней переведем студента, сдавшего вполтину меньше, чем вы, но удовлетворяющего нас по своей идеологии». Разговор этот Люба записала со свойственной ей, по-видимому» гражданской сознательностью. Нетерпимость и узость господствующей партийной среды проступают весьма убедительно! Далее она рассказала, что из дворянской русской молодежи не перевели ни одного человека, только несколько евреек, одну армянку и студентов из пролетариата, которые в большинстве слабо успевают. Среди оставшихся за бортом – внучка

композитора Римского-Корсакова, в вину ей тоже наставлено «происхождение». (О, Боже!) А все ее хлопоты в Москве – Чистые Пруды, 6 – оставлены без внимания. О несчастьях этой семьи я слышу уже не в первый раз – одна из бесчисленных позорных страниц советской действительности!

29 июня. Сегодня видела Асю, она приехала в город на один день и забежала ко мне пригласить меня провести у нее в Хвошнях мой отпуск, который начнется через два дня. Говорит, что целый день одна с ребенком, Олег приезжает только по субботам – он теперь в роли чеховского дачного мужа. Леля Нелидова наконец получила службу и за все время приезжала только один раз. Принять или не принять приглашение? С Асей приятно, в ней совсем нет пошлости и деликатна она исключительно. Места для прогулок там, кажется, замечательные, – это бывший великокняжеский заповедник, и Ася уверяет, что лоси подходят к самой деревне. Когда я спросила Асю, куда я буду деваться по субботам, она стала уверять, что Олег ночует всегда на сеновале. Поеду, пожалуй... только бы ребенок не надоедал, детский плач – ужасная скука, а умиление и восхищение родителей еще скучнее!

30 июня. Вчера в нашей больнице разыгрался любопытный инцидент. Есть у нас одна старая сестра милосердия, по образованию она фельдшерица, притом бывшая революционерка, подпольщица, сидела в царских тюрьмах и, однако же, ярая противница советского строя. Я слышала раз, как она заявила во всеуслышание: «Мы ведь теперь не в царской России, где могли свободно переезжать из города в город, теперь мы, как рабы, прикреплены к нескольким метрам нашей жилплощади». Другой раз я слышала, как она говорила одному из тех наспех испеченных дрянных врачешек, которых не выносил Дядя Владимир Иванович: «Вы вот советский врач, а по латыни двух слов грамотно написать не можете, я – фельдшерица царского времени – вас поправляю». В настоящее время сестра эта лежит с переломом голени. Она одинока, и позаботиться о ней некому. Несколько человек из нашего персонала сговорились купить для нее и снести ей на дом масла, яиц и сахару; я взяла на себя сбор денег и пошла с подписным листом. И что же? Когда в коридоре я столкнулась с прекрасным предместкомом, он позволил себе вырвать у меня лист. «Что? Сборы, пожертвования без ведома месткома! Да как вы смеете! Это контрреволюцией пахнет: вы этак что угодно повернуть можете! Запомните: мероприятия такого типа могут исходить только от месткома! Мне безразлично для кого – для кого бы ни было! К тому же товарищ Гилецкая настолько вызывающе держится, что не может считаться советским человеком. Прекратить немедленно!» Мне кажется, что комментарии к этой сцене излишни. Кстати, недавно товарищ Кадыр на операции забыл и зашил в ране хирургический инструмент; последствие – острейшие боли, нагноение и – повторная операция; мне сообщила это сама операционная сестра мужского отделения.

1 июля. Первый день отпуска! Собираюсь к Асе. Кроме одежды и книг приходится тащить с собой крупу и сахар, в деревне ничего нет. Ребенку купила целлулоидного попугая, Асе везу в подарок шарфик. Отдохнуть в тишине очень хочется. Гулять, очевидно, буду одна, Ася из-за своего бутуза далеко ходить не может, но я сидеть пришитой к дому не собираюсь. Когда меняется мое местопребывание, мне всегда кажется, что начинается новый этап жизни. Интересно, чем будет ознаменован предстоящий?

Вечер. Только что забежала ко мне Леля Нелидова. Я до сих пор еще настолько равнодушна и к ней, и к Асе, что у меня даже сердце заколотилось... Эта институтская способность к обожанию мешает мне держаться естественно и спокойно и только вредит мне в глазах их обеих. Пришла она, разумеется, не ради моих прекрасных глаз: она узнала, что завтра я уезжаю в Хвошни, и принесла пирожки, которые испекла Асе Зинаида Глебовна, безделушку для Славчика и летний сатиновый костюмчик, в котором и ручки, и ножки ребенка остаются голыми. Подарки эти очень трогательны, так как Нелидовы в крайней нужде. Я даже почувствовала себя неловко со своим попугаем. Леля несколько раз повторила: «Поцелуйте от меня малыша, скажите, что от крестной мамы, я боюсь, что он уже забыл меня». Неужели она так привязана к ребенку? Что это, закон что ли, умиляться на детей? А я вот не могу

умиляться! Меня маленькие дети раздражают. Леля очень была хороша со своими стриженными кудрями, но показалась мне утомленной и похудевшей. Я даже спросила ее, не больна ли она, но ответ был короткий и несколько небрежный, а в сущности малоудовлетворительный: «Немного не в порядке легкие, ну, да это скучная тема!» А вот выбрать-то тему для разговора как раз нелегко при том обилии вопросов, которые внушает мне мое постоянное любопытство к личности Лели и при той влюбленности, которая усиливает мою природную застенчивость. Я все-таки спросила ее, словно мимоходом, помнит ли она прежнюю жизнь? Она ответила: «Папу, нашу квартиру и мои игры с Асей помню очень хорошо. Помню детские праздники в залитых светом залах, конфеты, игрушки, нарядных военных и дам. Помню ландо, в котором меня возили кататься и мою гувернантку. Знаете, у меня была одно время страшно суровая мисс. Я все размышляла, чем бы мне ей отомстить за притеснения, которые она мне чинила, и разработала, наконец, очень тонкий план: мама подарила однажды мисс свою бархатную ротонду, подбитую соболем; она была demode [97], но мисс ее обожала. И вот в одно утро, когда мне было велено вытереть самой пол, который я залила чернилами, я взяла из передней эту ротонду и старательно выскребла ей весь угол классной комнаты. Мисс позеленела, когда это увидела. Такая шутка, разумеется, мне не прошла даром: я целый день просидела взаперти в классной комнате и все-таки не созналась, что сожалею о своем поступке». Я немного подивилась такой изобретательности и затем очень неудачно спросила, была ли она знакома с сыновьями Константина Константиновича, у которого был адъютантом ее отец. Один из этих юношей (которого я, разумеется, никогда не видала), был всеобщим героем в 14-ом году: он понесся в атаку на немцев во главе отряда и получил смертельное ранение. Я до сих пор помню сообщение газет по этому поводу и фразу о том, что великий князь возложил Георгия на умирающего сына. Леля, однако, на этот раз не пожелала делиться со мной воспоминаниями, с коротким: «Я ведь тогда была очень мала», – она тотчас поднялась уходить. Она не слишком доверчива и я теперь очень досаую на свой неуместный вопрос.

4 июля. Уже третий день я в деревне. Место в самом деле красивое: лес и река. У Аси чистенькая светелочка с двумя окнами, а в соседней светелке – тетушка Нины Александровны, старорежимная, весьма сварливого нрава; Ася, кажется, ее боится. Крестьянская семья не слишком симпатичная, патриархального духа я не заметила. Я довольно много гуляю одна. Надо отдать справедливость Асе: она не навязывает своего ребенка и не докучает мне восторгами. В первый день моего пребывания она, видя, что я собираюсь гулять, сказала было: «Возьмите и Славчика. Ты пойдешь топи-топи с тетей?» Но мое лицо, очевидно, не выразило по этому поводу особой радости, как и лицо Славчика, – она тотчас изменила план действий и теперь постоянно останавливает ребенка: «Славчик, отойди, не мешай Елизавете Георгиевне. Славчик, нельзя так громко кричать, Елизавета Георгиевна читает».

Она так же мила теперь в роли молодой матери, как была мила девушкой, так же резва и легка, та же искренность. Редко, очень редко мелькнет в ней выражение озабоченности или тревоги, мелькнет, как облако, и снова она вся солнечная. Ребенка своего обожает, по-видимому, самым банальным образом и не тяготится тысячами скучнейших обязанностей: накормить с ложечки, посадить на горшочек, переменить штанишки, и прочими прелестями, которые, казалось, должны быть в тягость артистической натуре. Я спросила ее: «И так весь день? И не надоедает?» Она ответила: «Ведь я же его люблю! Сколько он мне приносит радостей: то новый зубок, то новое слово... каждый день новый лепесток на этом чудесном цветке. С ним не может быть скучно!» – «А музыка?», – спросила я. Она ответила: «Музыка никуда от меня не уйдет, она во мне. В технике я сейчас, конечно, вперед не двигаюсь, но ведь эстрадной пианисткой не собираюсь быть, – и прибавила, улыбаясь: – Внутри у каждого есть камертон, прислушиваясь к которому, знаешь, что делать». Есть в Асе оттенки, мне не совсем понятные, которые в первую минуту меня разочаровывают, чтобы вслед за этим способствовать еще новому очарованию. Вчера я слышал как она, убаюкивая ребенка, тонким, высоким голосом пела:

Долетают редко вести  
К нашему крыльцу.  
Подарили белый крестик  
Твоему отцу.

Я спросила, чей текст. Она ответила, что Ахматовой, и прибавила: «Белый крестик – Георгиевский крест. Я думаю об Олеге когда пою». Я тоже подумала!

5 июля. Вчера вечер был очень хорош, и мы с Асей долго си дели на воздухе. Ребенок уже спал. Я читала Анатоля Франса, она тоже что-то читала. Когда я спросила, что, – показала 140-ю кантату Баха. Я выразила удивление, что она читает ноты, как книгу. Она ответила: «Я мысленно слышу то, что пробегаю глазами. Это совсем не так уж трудно». Потом она стала рассказывать мне о гибели Бологовского и при этом сказала: «С дядей Сережей связано все мое детство. Так разговаривать, как с ним, я даже с Олегом не могу, меня всегда захватывал полет его мысли». Мне стало обидно за Олега, который так умен и интеллигентен, и я сказала: «Разве у Олега Андреевича нет такого полета?» Она ответила: «Олег очень пронизателен и тонок в своих суждениях, но бывает иногда слишком конкретен. Вот и у вас это есть. Такой широты интересов и всесторонней одаренности, как у дяди Сережи, я больше не видела ни в ком. В разговорах со старшими я часто чувствую себя незрелой и наивной и боюсь говорить, а с дядей Сережей меня связывало удивительное взаимопонимание и родство вкусов». Ну, если я и Олег слишком «конкретны», то она зато вовсе не способна к анализу, она не только сама не произносит никаких тирад и логических построений, но, по-видимому, даже не желает понимать их! В рассуждения и возмущения она тоже не вдается и, если услышит о чем-нибудь дурном, только огорчается. Вчера она сказала при мне, что соскучилась без церковных служб; я спросила: «Неужели вы признаете наше мертвое православие – сухую догматику и продажных священников?» Она ответила: «В догматике я не разбираюсь. Я верю в свет и в торжество света, в котором мы все оживем когда-нибудь! В храме за богослужением на меня льется этот свет. Что могу я думать там, где чувствую всю душу?»

6 июля. Сегодня утром я собралась в лес, но у околицы нагнала Асю с тазом, полным белья, другой рукой она ухватила неизменного малыша. Она сказала, чтобы я придерживалась в лесу проселочной дороги, так как лес глухой и можно заблудиться. «А мы со Славчиком идем на речку полоскать белье», – прибавила она. Я спросила: «Неужели вы сами стираете?» Она ответила: «Бога ради ни слова при Олеге! Мы с ним ссоримся: он велит мне нанимать на стирку, а я всякий раз трачу эти деньги на молоко или яйца. Немножко постирать ведь совсем не трудно, а на питание не хватает». По-видимому, ей не слишком легко живется и начинаются уже те жертвы, которые так мало ценятся в семейной жизни и которых гораздо больше, чем того, что называется счастьем! Теперь мне жаль уже не его, а ее. Гуляла я долго и не решалась свернуть ни на одну из заманчивых тропинок. Ася обещала, что в воскресенье мы все вместе пойдем гулять подальше, так как Олег ориентируется великолепно. Кстати, я заметила за Асей следующее: она никогда не наступает на сорванные брошенные цветы, а наклоняется и подымает их, даже когда несет ребенка, что нелегко. Я спросила, зачем она это делает. Ответом было: «Мне всегда кажется, что они живые и им больно. Но даже, если они боли не чувствуют, они все-таки не должны умирать под ногами: ведь они символ всего прекрасного!»

Я замечаю, что пишу здесь только об Асе – вот насколько она еще сохранила надо мной свое обаяние! Хозяйка она, надо признаться, безалаберная, и в некоторых отношениях мне трудно с ней поладить при моей хирургической аккуратности. В личной гигиене она вытрезнена великолепно: каждое утро с головы до ног моется холодной водой, а вечером горячей; то же проделывает и с ребенком; белье свое и детское меняет безостановочно, но оно растет как гора в углу за печкой! Грязную посуду тоже не моет тотчас, а отставляет в сторону и сегодня сама сказала, указывая на груды закопченных кастрюль: «Надо разделаться с этими баррикадами, в субботу приезжает Олег, а он терпеть не может вида грязной посуды». Кроме того у нее всегда

что-то пригорает, а про молоко она заранее говорит: «Оно у меня, конечно, убежит!» Руки моет ежеминутно, а с собакой почти целуется. В лесу никогда конфетной бумажки не бросит, уверяя, что это оскверняет вид зеленой чащи, а паутины над кроватью ребенка способна не заметить! Непродуманность и легкомыслие видны на каждом шагу.

7 июля. Сегодня, проснувшись утром и отдернув занавеску, я увидела на нашем дворике, залитом солнцем, Асю, которая горько плакала, припав к кольям забора. Я испугалась, вообразив, что получено то или иное трагическое известие из Ленинграда. К счастью, тревога моя оказалась напрасной: дело заключалось в собаке, которая ютилась на нашем дворе и которую Ася подкармливала; хозяева-крестьяне ее убили. Рассказывая, Ася рыдала: «Она была такая маленькая, жалкая, милая! Как только меня увидит, тотчас переворачивается на спинку, а лапки вверх, чтобы я пощекотала ей брюшко. Они ее обижали, не кормили, а теперь вот убили багром за то только, что она своровала у них соленую треску. А она была всегда голодная! Бедная, бедная собачка!» И в самом деле, жаль собаку. А грубость этих крестьян довольно омерзительна. Сегодня вечером приезжает Олег!

9 июля. Приезжал и уже уехал; я провела с ним полтора дня! Я не пошла встречать его на станцию: Ася, собираясь туда, передела свой любимый сарафан, переплела косы, собрала огромный букет ромашек и бутуза своего тоже передела, чтобы тащить с собой на станцию. Видя такие приготовления, я решила не портить им встречу своим присутствием, ушла на опушку леса и, стараясь подавить свое волнение, ходила там взад и вперед. Когда, наконец, собравшись с духом, я направилась к дому, то столкнулась с ним еще у околицы: он шел с ведром к колодцу, а ребенок сидел у него на плечах; Ася бежала сзади, и глаза у нее светились, как звезды. Я почувствовала себя совсем лишней! Вечер, однако, прошел хорошо и непринужденно: мы долго сидели в садике, и я не испытывала отчужденности. Утром была неприятная минута: я случайно услышала их разговор в сених, где Ася стояла у керосинки. Он вошел и сказал: «Скорей целуй, пока мы одни». Наступила тишина, потом сказала она: «Довольно, пусти, видишь, кофей из-за тебя убежал». Зазвенела посуда, а потом сказал опять он: «Знаешь, думал сегодня утром о Елизавете Георгиевне, она, безусловно, очень умна и исполнена удивительного благородства, но несколько суха. Обратила ты внимание, как она держится с ребенком?» Ася ответила: «Елочка детей не любит – вот и все!» Он сказал: «Она способна, может быть, на героизм, но если жизнь сложится так, что подвиг пройдет мимо, она засохнет, как колос на корню. И будет второй Надеждой Спиридоновной. К этому все данные!» Я отошла, чтобы не слушать далее...

Я – суха! Да, это, конечно, так. Моя неприязнь к ребенку никого не обманула. Они привыкли к восхищению и восторгам и, конечно, сразу заметили мою сдержанность. Ну и пусть! Не обязательный же это закон – умиляться на детей. Я – суха! Но разве же я всегда была такой? Разве моя вина, что я еще совсем юной встретила человека, после которого уже ни на кого не могла обратить свои взоры? Разве моя вина, что этот человек не полюбил меня, и что я не стала, как Ася, молодой счастливой матерью? Впрочем, она недолго такой будет: если у нее каждый год будет по ребенку, увидим, что от нее останется через пять лет. Я – суха. Спасибо за меткое определение! Я ему это блестяще доказала, когда он лежал простреленный, не в силах пошевелиться. Суха!

10 июля. Вчера я расстроилась и недорассказала, ведь вечером я оказалась свидетельницей их ссоры. Я вошла, когда он говорил: «Где же все-таки халатик? Отвечай». Она, спотыкаясь на каждом слове, лепетала: «Мне он не нужен, пойми... Я его редко надевала... Мне гораздо больше доставит удовольствия дать Славчику яичко утром». «А, понимаю! Отдала за десяток яиц». «Ничего не за десяток, а за два десятка!» – «Так! И это, несмотря на мою просьбу! Елизавета Георгиевна, как вам это нравится: она отдала свой чудесный халат, подарок персидского хана ее отцу, за два десятка яиц и еще отпирается, лгать выучилась. Ася, неужели же тебе не стыдно лгать?» Я сказала, чтобы только сказать что-нибудь: «Ложь всегда безобразна». Она взглянула исподлобья на меня, потом на него, но не рассердилась, не вспыхнула, даже не стала оправдываться, она только потерлась головой о его плечо, и он в ту

же минуту размяк, улыбнулся и любовно провел рукой по ее волосам: «Бяка, ты была так очаровательна в этом халатике», – сказал он. Я вспомнила поговорку: «Милые бранятся – только тешатся».

11 июля. Подвига не будет – уже был! Все героическое в нашей Жизни уже кончилось, и у него, и у меня. Стать сестрой милосердия в таких трудных условиях и в такие страшные дни, как тогда; мне с моей нетронутостью в мои 19 лет неотлучно находиться около растерзанных мужчин, видеть потоки крови, ничем ни разу не обнаружить ни усталости, ни робости, ни стыда – это, конечно, подвиг. Я знаю, что в потенциале был еще и другой подвиг: я бы пришла в ту рыбацкую хибарку, где он скрывался, если бы знала, где он находится; ничего не могло бы меня остановить! И что же? После таких трагических и больших минут, которые подошли ко мне в юности не получить больше ни одной подобной за всю мою жизнь? Стареть и сохнуть от бессильной злобы на советскую власть, на него, на нее, и... только! Позволить незаметно для себя трясине повседневности себя засосать, превратится в отживающее, злое заплесневелое существо, никому не нужное и бесполезное? Не принимаю я такого жребия, не желаю его, отвергаю! Если подвиг не подойдет ко мне – я подойду к подвигу, я его найду – и для себя и для Олега. Найду, даю себе слово. Я все глаза прогляжу и высмотрю ту щелочку, через которую прорвусь к новым большим задачам. Пусть лично счастья не будет, а героизм будет. Обида против них обоих клокочет во мне, а вместе с тем я вижу, что общение с ними имеет без их ведома своеобразное могучее воздействие на меня: всякий раз оно электризует мне всю душу!

12 июля. Бесконечные думы и одинокие прогулки по меже среди ржи. Хочется быть одной.

13 июля. Приехала Леля Нелидова. Я вошла в светелку, когда она подбрасывала Славчика, а тот смеялся залихватным звонким смехом, потом она сказала ребенку: «Пусть твоя мама разбирает вещи и стряпает обед, а мы с тобой пойдем погулять», – и унесла карапуза, который охотно пошел к ней на руки. Утром она опять сказала «А кто хочет на ручки? Я погуляю с ним, Ася, пока ты прибираешься», – мне во второй раз стало как-то неловко за себя. У Лели бюллетень, так как к ней привязалась температура, которая очень всех беспокоит. Она приехала на три дня, пользуясь освобождением от службы. Как всегда, очень мило одета, хоть и в простом ситце, выстиранном и выглаженном руками Зинаиды Глебовны. Она избалована гораздо больше Аси, несмотря на нужду, из которой они ни как не могут вырваться. Я всматриваюсь в отношения Лели и Аси и прихожу к заключению, что их связывает очень большая привязанность и давняя привычка друг к другу, но большой задушевности в настоящее время между ними нет. Сегодня я вышла на двор в ту минуту, когда Ася чистила песком котелок, а Леля застегивала Славчику штанишки. Ася говорила: «Я слышала, Леля, как ты плакала сегодня ночью». Та ответила: «До сих пор ты никогда не была любопытной». Днем Ася принудила Лелю лечь отдохнуть одновременно со Славчиком, а сама тем временем готовила обед у хозяев в русской печи. Я вызвалась ей помочь. Когда мы чистили картошку, Ася сказала: «Меня беспокоит Леля: у нее есть какое-то горе, о котором она не хочет говорить! Я это ясно вижу!» Я ответила: «Может быть какой-нибудь роман?» Ася сказала: «Чего я только не передумала! Валентин Платонович как раз перед ссылкой ухаживал за ней, не тоскует ли она по нем? Бабушка и тетя Зина сколько раз пытались ее выпрашивать, но она не хочет говорить ни слова». Меня заинтересовало, что Леля умеет молчать – качество, которым обладают очень немногие, среди них «первый есмь аз».

14 июля. Сегодня Леля и Ася дали мне почитать рукописную тетрадь со стихами. Фамилия автора мне ничего не сказала, притом, это, вероятно, псевдоним. Меня поразило в этой тетради вот что: перед одним из стихотворений стояла пометка «в крымских подвалах». Там были следующие строки:

На стене темничной пляшет предо мной  
Тенью грозной и гигантской часовой.  
Чуть мерцает в подземелье огонек,  
Мое тело онемело от досок...

Всего подряд не помню. Другое стихотворение мне настолько понравилось, что я попросила разрешения его переписать: оно очень верно отражало мое состояние. Вот это стихотворение:

Рождена на враждебной планете  
И в чужие пришла времена!  
Моя жизнь, как яблонь в расцвете,  
Ранним морозом сражена.  
И со мною так много помятых,  
Обессиленных цветов полегло,  
И от жизни ушло без возврата  
Обреченное в тайне число.  
Мы - чужие, изгнанники, нищие!  
Вера, долг, романтизм, идеал -  
Все, что было нам жизнью и пищей,  
Этот мир развенчал и изгнал.  
Все, что радостью прежде нам было,  
Стало острою болью для нас.  
Мы как будто стоим над могилой  
И не можем свести с нее глаз!  
И не смеем жить радостью новой -  
Рок на все наложил свой запрет.  
Пусть бы этот жеребий суровый  
Вспомнил после великий поэт.  
Я, как белая лебедь в балете,  
Неизбежно погибнуть должна.  
Рождена на враждебной планете  
И в чужие пришла времена.

Кто автор? Написано от лица женщины... Ни Ася, ни Леля не могли написать так: слишком несерьезны обе. Кто же эта поэтесса, вырвавшаяся из крымских подвалов? Передавая мне тетрадь, девочки не пожелали сделать разъяснений, и я не решаюсь расспрашивать. Сегодня - суббота: для меня и для Аси, очевидно, тоже, день этот имеет особое значение. Минуты сгорают, улетаая к вечернему поезду.

15 июля. Что бы это могло быть... странно! Здесь столько узких переходов, заворотов и клетушек, что я постоянно, совершенно непреднамеренно, слышу чужие разговоры. В эту субботу я снова слышала один, всего из двух-трех слов, но он посеял во мне тревогу. Было так: Олег уже приехал, Ася разогревала ему обед, а он пошел с ведром к колодцу; я вышла в сени и увидела, как он, проходя, быстро подошел к Леле, которая черпала там воду из бочки, и озабоченно спросил: «Благополучно?» Она ответила, тоже шепотом: «Потом расскажу, очень тяжело». Что все это может значить? Что может быть между ним и Лелей такого, что является их общей тайной от меня и от Аси? По-видимому, то горе Лели, которое так беспокоит Асю, Олегу хорошо известно! Я не хочу даже предположить, что он изменяет Асе. Это было бы чересчур безобразно со стороны обоих, но что другое может тут крыться? У Аси глаза такие ясные, такие счастливые, так светятся, вся она такая доверчивая, открытая... Заниматься собой ей, правда, некогда: она удовлетворяется ситцевым сарафанчиком, а волосы по-прежнему в косах, но особого, ей только свойственного обаяния в ней так много, что ни один изысканный туалет ничего не может прибавить к ее прелести! Одни ресницы чего стоят! Если Олег изменяет ей, он - подлец, пошляк, он достоин презренья, он... Разочароваться в нем для меня было бы еще больнее, чем отказаться от счастья с ним. Я всю ночь не спала. Сейчас собираемся на прогулку в лес; пишу, пока Ася заканчивает хозяйственные дела, но, в сущности, мне не до прогулки. Что могло послужить основанием к перешептыванью? Как

позволить себе это? Знаю одно: если он не благороден, то благородства вообще нет на свете, а эту дрянную Лелю я с радостью бы отхлопала по щекам и вытолкала из дома.

16 июля. Ну и денек был вчера! Состоялась прогулка наша, но с приключениями, а вечер дома принес тоже целый ряд переживаний и кое-что разъяснил. Расскажу по порядку. В первую минуту, когда мы только выходили, я была очень разочарована тем, что он держал за ручонку сына. Ну какая же это далекая прогулка с годовалым пупсом! Они все тотчас заметили мое неудовольствие и наперерыв стали уверять, что ребенок не помешает, так как будет на плече Олега и что в лесу он не плачет, и вообще никогда не плачет, и прочие глупости. Пришлось из вежливости сделать вид, что поверила. Впрочем, с кем же, в самом деле, они могли оставить его? Старая тетка к ребенку не подойдет! Пошли, очень скоро свернули с проселочной дороги и стали продираться узкой тропочкой среди зарослей и бурелома. После нескольких поворотов, которые наш гид делал очень уверенно, мы вышли к речке, которую покинули около деревни. Я была поражена дикостью и красотой места: мы шли низким берегом, с одной стороны была речка, с другой – густые темно-зеленые вязы и липы, в тени которых было почти темно, цветущие кусты шиповника, переплетавшиеся с дикой смородиной, задевали нас своими колючками. Противоположный берег реки был очень высокий, обрывистый; белые пласты подымались крутыми уступами; темные, сумрачные ели громоздились наверху; вид был очень величественный. Я даже не подозревала, что в Ленинградской области могут быть такие виды. В одном месте, на той стороне, ели вдруг пошли сухие, все в белых космах, и Ася, указывая на них, заявила, что теперь не хватает только избушки на курьих ножках и Бабы-Яги в ступе. В этом месте берег стал еще круче. Вскоре Олег остановился около упавшей осины, перекинувшейся через речку наподобие моста, и спросил: хватит ли у нас храбрости перейти по дереву на ту сторону? Когда мы перебирались поочередно, с его помощью, Ася и Леля визжали, а я перешла очень храбро. Он сказал: «Елизавета Георгиевна, конечно, оказывается на высоте!» – и поцеловал мою руку. Пустая галантность, а у меня сердце забилося! В удобном месте мы вскарабкались на кручу и опять углубились в чащу по незнакомым даже ему, чуть видимым тропкам; он делал при поворотах зарубины перочинным ножом на коре деревьев. Возможность заблудиться придавала особую прелесть и остроту всему путешествию. В одном месте Олег сказал, указывая на разодранный пень: «Здесь поработал медведь». Другой раз он сказал: «А вот следы лося». Спустя некоторое время мы вдруг вышли на открытую лужайку, такую красивую, солнечную, изумрудную! И тут, пока Ася кормила Славчика, для которого взяла с собой молоко и булку, Леля обнаружила в зарослях иван-чая землянику. И она, и Ася тотчас набросились на ягоды, уверяя, что совершенно необходимо собрать корзиночку для Славчика. Скучные эти матери! Я села на пень, а Олег сказал: «А мы со Славчиком поищем грибов, земляника – дело женское». Я больше часа сидела одна, комары совсем заели меня, когда, наконец, я услышала его голос: «Елизавета Георгиевна, поправьте, пожалуйста, на ребенке панамку». Я оглянулась: он стоял в двух шагах от меня, а Славчик спал сладким сном у него на руках. Я перехватила полный нежности взгляд, с которым он смотрел на сына. Это может быть очень трогательно, но, с моей точки зрения, мужчине вовсе не идет: ребенок на руках лишает его мужественного вида. Олег сказал, что уже давно пора идти к дому, и мы стали аукаться. Через некоторое время из кустов появилась Леля с коробком ягод, Ася не откликнулась, и тут все пошло вверх дном! Мы вопили и кричали все трое до хрипоты, Олег несколько раз углублялся в чащу и снова возвращался, спрашивая: «Пришла?» Леля плакала, уверяя, что Ася совершенно не умеет ориентироваться, и будто бы ночью ее непременно съедят волки. Наконец после двух часов крику и поисков Олег заявил, что выведет нас обратно к речке и переведет по осине, откуда мы сможем возвратиться без него, так как дальше дорога пойдет вдоль речки, а потом начнутся места, известные Леле с прошлого лета; сам же вернется разыскивать Асю. Оставалось поступить только так. Прелесть прогулки, разумеется, была испорчена страхом за Асю и необходимостью возиться со Славчиком, которого Леля самоотверженно тащила на руках. Когда уже на закате мы вернулись в деревню, она его тотчас очень ловко накормила, раздела и укачала, а я как раз опасалась этого момента. Сами мы

ужинать не садились и от беспокойства не находили себе места. Уже выползла луна, когда под окном вдруг аукнулась Ася, и они вбежали, к счастью, вдвоем. Ася начала было оживленно рассказывать, что ее вывел навстречу Олегу пудель, зачуйвший хозяина; но Олег был очень раздражен и с ожесточением перебил ее: «Знаешь ведь, что способна запутаться в трех соснах, так не смей отдаляться. У меня уже довольно было потерь – больше не хочу, поняла?» Она молча и робко подымала и снова опускала свои великолепные ресницы, глядя исподлобья со свойственным ей выражением обиженного ребенка... Ужинать мы сели уже при свечах. После ужина Олег тотчас ушел на сеновал, говоря, что для сна ему остается только 4 часа, так как вставать надо на рассвете. Оставшись одни мы стали, было, стелить наши кровати, и вдруг заметили, что наша Ася плачет. Леля сказала: «Знаешь, отправляйся-ка ты к нему на сеновал и помирись хорошенько, а то он уедет, а ты завтра весь день скулить будешь», – и вытолкала подругу в сени. Ася убежала и пропала. Очень это невнимательно было по отношению к нам, так как мы медлили ложиться, чтобы открыть ей дверь. Вид ее слез взволновал меня: я уже вообразила, что она о чем-то догадывается. Леля все-таки легла и через несколько минут сонным голосом пробормотала что-то о том, чтобы я тоже ложилась, а двери оставила открытыми, так как о ворах в этой деревне еще никто никогда не слышал. Ей все трын-трава! Продолжая ходить из угла в угол, я несколько резко ответила: «До чего же бессердечны бывают часто люди!» Леля очень спокойно и даже безучастно и вяло спросила: «Любопытно, в чем же это вы усмотрели мое бессердечие?» Но меня точно кто подхлестывал и вся во власти тревоги, донимавшей меня весь день, я брякнула: «В наше время ни в ком нет ни привязанности, ни благородства!» – Леля вдруг села и глаза ее так жестко и вызывающе, злобно как-то приковались ко мне. «Можете считать меня бессердечной, если желаете. Это меня несколько не трогает, а может быть это и верно. Но вот по поводу благородства! Я не знаю еще за собой ни одного недостойного поступка! Если же вы опасаетесь дружбы со мной, я могу ее очень охотно прекратить», – отчеканила она. Минута была острая. С моего сердца снялась огромная тяжесть, и вместе с тем я почувствовала, что виновата перед Лелей: если бы мы были мужчинами, ей оставалось немедленно вызвать меня на дуэль. Я сочла своим долгом произнести: «Извините меня, Леля, я сказала, не подумав», – и протянула ей руку. Она ответила после некоторой паузы: «Я вас извиняю, потому что вы кое-что сделали для меня однажды в жизни!» Но руки не дала, а ушла с головой под одеяло. Мне странно показалось, что она употребила слово «опасаетесь»: почему бы я могла ее опасаться? Странно также, что она не потребовала объяснения тому, что могло послужить поводом моего неожиданного выпада. Прошло еще минут десять, Ася не возвращалась. Мне становилось все досадней и досадней, кроме того меня тревожило, как теперь сложатся мои отношения с Лелей. Желая вызвать ее на разговор, я опять сказала: «Возмутительно, что Ася застряла! Что за бесконечные объяснения ночью, ведь Олегу Андреевичу вставать на заре». Сказала, не подумав. Леля высунула голову и ответила: «Вот сейчас и видно, что вы старая дева. Я младше вас лет на десять и все-таки понимаю, что могло задержать ее», – и тотчас опять спряталась. Намек ее я, разумеется, поняла, как и то, что своим намеренно невежливым ответом она пожелала, в свою очередь, меня подкусить. Оса ужалила, но я это заслужила и промолчала. Отношения наши от этого, конечно, не улучшились, зато от подозрений моих не осталось и следа. Через несколько минут прибежала Ася; глаза ее светились в темноте, как светляки, и она с самым сияющим и невинным видом объявила нам, что они помирились, совсем примирились и даже прошлись на опушку при звездах – теперь она счастлива! Ну и слава Богу, если так. Больше я Олега здесь не увижу, так как уезжаю в Ленинград через три дня. Оса уезжает сегодня вечером. Отношения с ней натянутые – досадно и неприятно.

17 июля. И все-таки, почему же «на десять лет», если ей 21, а мне 30! Я глубоко уверена, что, если б мне довелось просить извинения у Аси, она тотчас бы бросилась мне на шею, а эта... И все-таки в Леле есть элементы «похоже»: не могу не вернуться к моему старому припеву, я никак не могу затушить свой интерес к ней.

19 июля. Завтра я уезжаю. Три недели в деревне освежили и укрепили меня. Тишина, лес,

воздух, птицы – всем этим я насладилась вдосталь. Ни шум, ни суета, ни тревоги сюда не доходили. Волновало меня только внутреннее, мое собственное: здесь я видела человека, который для меня является источником переживаний и дум, поэтому быть в состоянии покоя и неподвижности я не могла. За это время я пришла к трем выводам. Первый: он все так же дорог мне! Я все так же безнадежно, глупо, по-институтски влюблена. Я ловлю его слова и жесты, выражение лица и звук голоса для того, чтобы потом без конца приводить их себе на память. Даже когда пропала Ася, и мы все трое вопили на поляне раз пятьдесят ее имя, я, несмотря на самое искреннее беспокойство, с жадным любопытством всматривалась украдкой, как вор, в его озабоченное лицо, изучая выражение тревоги. Помню еще минуту: во время прогулки он стал в задумчивости, как бы про себя цитировать пушкинское: «Что ты ржешь, мой конь ретивый»... Ася тотчас же догнала его и сказала: «Опять, опять! Ты ведь знаешь, что я не могу этого слышать!» Он умолк, а я поняла, что с этим стихотворением у них что-то связано: идея обреченности – слишком болезненная для них тема; вероятно поэтому ее так волнует это стихотворение, а ему невольно приходит на ум, по-видимому не в первый раз. Печальный пароль! И вот даже такого пустяка достаточно, чтобы пробудить новый влюбленный импульс в моем упрямом сердце.

Второй мой вывод тот, что я все-таки и несмотря ни на что очень люблю Асю. Она удивительно милое, нежное и совершенное создание. Я ни разу не заметила в ней никакой шероховатости, досады или раздражения. Она как будто распространяет вокруг себя невидимые лучи, которые затопляют симпатией к ней. Она была удивительно внимательна ко мне: в одно утро, когда я проснулась с головной болью, она тотчас заметила мое состояние и принесла мне в постель кофе; другой раз, увидев, что солнечное пятно падает мне на книгу, она сейчас же завесила окошко. Она не подпускала меня к плите, повторяя, что я приехала отдыхать, хотя сама в течение дня очень часто не успевала присесть даже на полчаса. Она вся соткана из тепла и света. В вину ей можно поставить только недостаток серьезности и, пожалуй, излишнюю ранимость, если так можно выразиться. Она слишком впечатлительна!

И вот мой вывод, уже касательно моей собственной персоны. Сами того не замечая, Олег и Ася указали мне на мой очень значительный недостаток; есть латинская поговорка: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо; так вот, есть нечто, мне чуждое, среди общечеловеческого – супружеская ласка, материнская ухватка, любовь к детям... Ведь вот у Лели Нелидовой тоже нет своего младенца, а как, однако, просто и легко справлялась она с младенцем Аси! Во всех младенческих атрибутах, ну там чепчиках, башмачках, игрушках, она разбиралась, будто вырастила семерых! Я боялась прикоснуться к Славчику, чтобы не сломать или не уронить его, а она об этом не думала: играть с ним, баюкать его доставляло ей удовольствие, ребенок шел к ней на руки, а при взгляде на меня он всякий раз ежился или начинал реветь так, как будто страдал мучительными коликами в желудке. Асю всякий раз это смущало, и мне в свою очередь делалось неудобно. Очевидно, природа обошла меня, и здесь и какая-то женственная прокладка во мне отсутствует. Не знаю, можно ли переделать себя в этом пункте, полагаю нельзя. И есть еще одна веха, которой я хочу отметить мой путь: я должна опять обрести свой подвиг, найти текущую задачу, или я стану высохшей мумией в гробнице фараона, – в моей замкнутости уже возникла доля эгоцентризма! Этим последним выводом пусть будет ознаменован только что минувший этап моей жизни. Почему знать? Может быть, я ради этого и попала в Хвошни. Так или иначе – вывод сделан.

## **Глава двадцать третья**

Хрычко больше чем полгода пребывал в заключении. Жена его несколько раз плакала в кухне, уверяя, что муж невиновен, что его спровоцировали на выпивку и драку с милиционером товарищи, а вот в ответе остался он один, и семье нечем жить. Мадам, взволнованная этими жалобами, прожужжавшими ей в кухне все уши, упростила Наталью Павловну предоставить Клавдии возможность зарабатывать у них в качестве уборщицы. Наталья Павловна с

некоторым неудовольствием все-таки согласилась. Она даже рекомендовала Клавдию для домашних услуг мадам Краснокутской; рекомендация эта сопровождалась, однако, секретным дополнением: за честность женщины не ручаемся, советуем не оставлять ее в комнатах одну. Появился Хрычко в квартире неожиданно: он вошел в кухню, когда там не было никого, кроме Олега, откомандированного Асей присмотреть за кипятившимся молоком. Хрычко вошел и угрюмо опустился на табурет. Он не поздоровался с Олегом, и тот в свою очередь тотчас воздержался от кивка.

«Где же прекрасная супруга? Отчего она не организует встречу? Не худо бы человеку предложить после заключения хоть стакан горячего чаю!» – промелькнуло у него в мыслях.

Стуча когтями, вбежала Лада и тотчас завертелась у ног соседа, через минуту ее передние лапы легли к нему на грудь. Олег хотел было одернуть собаку, зная, что Хрычко несколько раз прохаживался по поводу цацканья интеллигентов с животными, но, к немалому своему удивлению, увидел руку на голове собаки.

– Лада, хорошая собака, Ладушка умница! – пробурчал ласковый басок.

В кухню вбежала Ася.

– Павел Панкратьевич? Вернулись! Какая радость для Клавдии Васильевны! А она сейчас при поденной работе, и Павлик с ней. Дверь на ключе, но это ничего: я вам тем временем разогрею макароны и чаю заварю крепкого, ведь вы позволите?

Олег повернулся и быстро вышел.

– Ты что? Ты уже рассердился? – виновато спросила она через несколько минут, вернувшись в комнату. Глаза смотрели вопросительно и виновато.

– Пересаливаешь опять, – коротко, но выразительно отчеканил он.

– Олег, ведь ты в тюрьме был. И все-таки не ты, а собака первая...

– Постой, – перебил он, – неужели же я, по-твоему, должен был лезть к нему с соболезнованиями? Уволь! Не способен.

– Не обязательно слова. Ну, предложил бы чаю или хоть пожал руку, – она наклонилась и стала любовно тереть шелковые уши собаки.

В этот вечер Надежда Спиридоновна праздновала свои именины. Молодым Дашковым предстояло идти с визитом. Наталья Павловна ограничилась письмом и вместо именинного вечера собиралась ко всеношней в храм Преображения, где у нее было свое давнее местечко, тщательно оберегаемое от посторонних – мадам Краснокутской, мадам Коковцовой и прочих аристократических приятельниц, составивших в приходе нечто вроде маленькой касты и завладевших одной из скамеек.

Ася в этот вечер была не в духе.

– Не хочется идти. Там всегда скука. Заставят меня играть, а сами будут разговаривать под музыку. Я Надежду Спиридоновну не люблю, лучше пойду с бабушкой в церковь. Мне так теперь редко удается туда вырваться. По воскресеньям все словно нарочно подкидывают мне разные дела... – ворчала она.

– Нет уж, пойдем. Мне без тебя появляться вдвоем с твоим мужем неудобно, а я по некоторым соображениям непременно хочу быть, – вмешалась Леля, вертевшаяся перед зеркалом с тайным намерением подпудрить носик, как только выйдут старшие. – Собирайся, а я в воскресенье покараулю за тебя Славчика, если это уж такое счастье – попасть к обедне.

– А ты зачем говоришь с насмешкой? – прицепилась Ася. – Я люблю Херувимскую, что же тут смешного? Леля, подумай одну минуту, какие тайны совершаются за обедней, а мы предпочитаем им наши мелкие пустые дела!

Взгляд ее стал серьезен, и нота одушевления послышалась в голосе.

– Не теперь же обсуждать эти тайны, каковы бы они не были. Одевайся, ведь мы тебя ждем, – торопила Леля. Лицо Аси снова омрачилось.

– Надеть мне нечего! Белое платье уже вышло из моды, оно слишком короткое. Я в нем буду смешна! А блузки опротивели!

Тем не менее, английская блузка с черной бархаткой вместо галстучка все-таки была надета, а

волосы вместо кос собраны в греческий узел, и все дальнейшие возражения отложены в сторону после того, как Леля прошептала на ухо какие-то свои соображения. Олег, занятый бритьем, нимало не любопытствовал, что это были за соображения, тем не менее, расслышал имя Вячеслава. Очевидно, восхищенный взгляд влюбленного мужчины сообщает электрочары и обостряет жизнерадостность, даже если этот мужчина забракован, и особенно в случае, если другие поклонники на данном этапе отсутствуют. Может быть, Леля высказала именно эту мысль, припоминая перегоревшие пробки на рождении Нины почти год назад?

Небольшое общество собралось под оранжевым абажуром вокруг старинного круглого стола с львиными лапами на шарах. Прежний, давно знакомый Надежде Спиридоновне круг, свой – интеллигентный. Чаепитие ничем особенным не ознаменовалось, электрический чайник вел себя вполне корректно (не в пример своему собрату из соседней комнаты). Ася играла, и ее действительно не слушал никто, кроме Олега, которого Шопен в исполнении Аси гипнотизировал настолько, что он пропускал мимо ушей обращаемые к нему фразы и рассыпался в извинениях после того, как его призывали к порядку.

Когда гости уже расходились и прощались в кухне у двери – парадный ход оставался заколоченным с восемнадцатого года – одна из приятельниц Надежды Спиридоновны начала объяснять, как; проехать к ней на новую квартиру. Она вынуждена была устроить обмен жилплощади: вселенное к ней по ордеру пролетарское семейство не давало покоя.

– Из собственной квартиры пришлось бы бежать! Уж до того доходило, дорогая Nadine, что уборную кота устроили нарочно у самой моей двери, а на мои кресла, выставленные в коридор, бросали обрезки колбасы и хвостики селедки... Душа болела! – говорила она, закутывая теплой шалью свою бедную седую голову. – Приезжайте на новоселье, дорогая. Комната у меня теперь самая маленькая, но милая. Пересесть на шестнадцатый номер трамвая вам придется около Охтинского моста. Знаете вы Охтинский мост?

– Тот – с безобразными высокими перилами? Знаю, конечно! Ужасная безвкусица! Петербург бы ничего не потерял, если бы это го моста не было, – сказала Надежда Спиридоновна.

Другая гостя, уже седая профессорша, надевая себе ботинки у мусорного ведра, воскликнула:

– Ну что ж мой «гнилой интеллигент» опять там замешкался? – и прибавила, обращаясь к Асе:

– Подите скажите ему, милочка, что я уже одета и жду.

Все знали, что «гнилым интеллигентом» мадам Лопухина называет своего мужа, профессора. Этот последний как раз показался в дверях рядом с Лелей.

– Еще немножко терпения, маленькая фея! Как только наши милые коммунисты взлетят, наконец, на воздух, я свезу вас кататься на автомобиле, а после, с разрешения Зинаиды Глебовны, угощу в ресторане осетринкой и кофе с вашими любимыми взбитыми сливками.

– Профессор, как видите, не теряет даром времени, – сказал с улыбкой Олег, подавая пальто профессорше.

– Вижу, вижу! – добродушно засмеялась та. – Бери-ка лучше свою трость, мой милый, выходим: автомобиль нас пока что не ожидает.

Надежда Спиридоновна сдвинула брови:

– Дорогая моя, не следует злоупотреблять газетными терминами; пролетариат всегда может услышать, а уважение к нам и без того подорвано.

Олег и Нина засмеялись.

– А я все-таки не побоялась оказать приют владыке, – сказала еще одна гостя, немолодая богомольная девица. – Владыка остановился в комнате моего брата, который как раз был в командировке. Не знаю уж, сойдет ли это для меня безнаказанно. Соседи, конечно, не могли не видеть владыку. Удивительный человек владыка! Он был совершенно невероятно утомлен и все-таки всю ночь простоял на молитве: было уже пять утра, а я еще видела свет в щелку двери! – и прибавила, понизив голос: – Душка, что не говорите!

Надежда Спиридоновна и тут не воздержалась от нравоучения:

– Напрасно вы это делаете, милая! Неприятности могут быть не только вам, но и вашему брату. Что знают соседи, то знает гепеу – неужели вы еще не усвоили эту простую истину?

Учитывайте внутриквартирную ситуацию, как это делаю я!

Олег уже держал Асю под руку, собираясь выходить и перекидываясь последними словами с Ниной, Леля стояла возле них и, дожидаясь конца их разговора, оглянулась на дверь, которая – она это знала – вела в комнату Вячеслава.

«Досадно, если он так и не выйдет и не увидит меня в новой шляпке!» – думала она. Но дверь оставалась закрыта, зато в соседней с ней видна была щелка, которая становилась все шире и шире, и наконец оттуда вынырнула завитая и кругленькая, как булочка, девица, которая подошла к своему примусу и стала разжигать его, хотя был уже первый час ночи. От нее так и разило дешевыми духами. «Кто она? Помнится, раз она открыла мне на звонок, но Нина Александровна не сочла нужным нас познакомить», – думала Леля. А девица приблизилась и, ткнув пальцем на дверь Вячеслава, очень фамильярно заговорила:

– Загрустил парень! Последнее время не повезло ему! Сначала одна хорошенькая девчонка натянула ему нос, а теперь, видите ли, идет чистка партии, предстоит отчитываться да перетряхивать свои делишки перед партийным собранием. Хоть кому взгрустнется!

Леля смутилась было, но сочла своим долгом заступиться:

– Вячеславу это не страшно; он фронтовик и коммунист, вряд ли найдется что-нибудь, что можно было бы поставить ему в строку, – сказала она.

– Прицепиться всегда можно! – возразила с уверенностью девица. – Разве у нас людей ценят? Мало, что ли, пересажали бывших Фронтовиков? Кого в уклонисты, кого в троцкисты, а кому так моральное разложение припишут. По себе небось знаете, как безжалостны. Я сильно возмущившись была, как узнала про расправу с вами.

Леля вздохнула:

– Да, со мной поступили несправедливо.

– А с кем они справедливы? – спросила девица.

Олег вдруг обернулся и окинул говорившую странным недоброжелательным взглядом.

– Ася, Елена Львовна, идемте! Что за разговоры у двери! – решительно сказал он.

Леля кивнула девице и пошла к выходу.

– Зачем вы разговариваете с этой особой? Отвратительная личность, которая не заслуживает никакого доверия! – сказал Олег, едва лишь они вышли на лестницу.

– Она сама заговорила; что касается меня, я не произнесла и двух слов, – возразила Леля.

Почтовый ящик у входной двери стал в последнее время для Лели предметом, возбуждающим самые неприятные ощущения, она обливалась холодным потом всякий раз, когда в нем белело что-то, и спешила удостовериться, что письмо адресовано не ей. Боясь, чтобы приглашение на Шпалерную не попало в руки Зинаиды Глебовны, она бегала к ящику по несколько раз в день. Однако до поры до времени все обстояло благополучно.

С тех пор, как в январе месяце она согласилась на сотрудничество, ее вызывали только два раза: первый раз беседа носила самый миролюбивый характер, следователь встретил ее как добрый знакомый, улыбнулся, сказал несколько комплиментов, спрашивал, как нравится ей новая служба, и только мимоходом полюбопытствовал, не имеет ли она каких-либо чрезвычайных сообщений, не заметила ли чего-нибудь? Она ответила отрицательно, и он не настаивал. Этот визит ее несколько успокоил. Второе приглашения последовало среди лета и, напротив, очень ее взволновало: ей было сделано внушение, что нельзя всегда отделяться неимением сведений, что сведения нужно раздобывать. Она вращается среди лип весьма оппозиционно настроенных – трудно поверить, чтобы эти полгода она ни разу не слышала ни одного компрометирующего или подозрительного высказывания. Она возразила, что уже предупреждала следственные органы о своей полной неспособности к подобного рода деятельности и попросила снять с нее обязательства именно теперь, пока она еще не попользовалась никакими наградами. Следователь, усмехнувшись недоброй усмешкой, напомнил ей, что никто иной, как он устроил ее на службу вместо того, чтобы сослать; теперь он делает ей предупреждение: еще некоторое время он согласен ждать, но пусть она запомнит, что гешеу вправе требовать, чтобы она на деле доказала свою готовность работать на пользу

социалистического государства, если не хочет попасть в число классовых врагов. Она ушла с чувством, что заключила кабальную сделку, из которой не сумеет выкарабкаться. Однако, ее опять не тревожили в течение двух с половиной месяцев. И вот теперь, спустя три или четыре дня после именин Надежды Спиридоновны, она вытащила новое приглашение. Входя в кабинет следователя, она вся похолодела, – так были натянуты нервы. Следователь приветствовал ее как знакомую и подал ей стул. Она заставила себя улыбнуться и села. «Господи помилуй!» – шептала она про себя, нащупывая рукой крестильный крестик: она не носила его теперь на шее, так как золотая цепочка была продана в одну из безвыходных минут, а носить серебряную или медную она находила слишком демократичным. Крест висел обычно у нее на кровати, но, собираясь на Шпалерную, она каждый раз брала его с собой в сумочку.

– Как ваше здоровье, товарищ Гвоздика? – спросил следователь.

– Благодарю, не очень хорошо: у меня температура часто подымается и сильная слабость.

– Ай-ай-ай, как нехорошо! Вам рано хворать. Я дам вам направление в нашу поликлинику, там к вам отнесутся с полным вниманием. А мамаша как?

– Благодарю, мама здорова.

– На работе все благополучно?

– Да, благодарю, я, кажется, хорошо справляюсь.

– Желаете что-нибудь сообщить нам?

Она чувствовала, что дрожит. «Вот оно, начинается!» – думала она.

– Нет, сообщить ничего не имею. Опять ничего! Я бы и рада была, но мне как-то совсем не везет с этим делом. Очевидно, я себя уже зарекомендовала, как вполне советская женщина, и при мне никто ничего себе не позволяет, ничего! – говорила она, спотыкаясь под пристальным, холодным взглядом.

– Так ли, Елена Львовна? Неужели я должен поверить, что ваша мамаша или старая генеральша Бологовская остерегаются при вас высказываться?

– Нет, нет! Конечно, нет, но... я за родными не буду... к тому же мама и Наталья Павловна политикой не интересуются... Мама Целый хлопочет по хозяйству, стряпает, стирает и перешивает наши тряпки, а когда мы у Натальи Павловны, старшие садятся играть в винт с графиней Коковцовой, и тут уже не до разговоров. Притом мне скучно сидеть с ними...

– А что же делаете вы?

– Обычно вожусь с ребенком моей кухни. Приходится ее выручать, иначе она не успевает играть на рояле, а ведь она учится в музыкальном техникуме.

– Вы имеете в виду молодую Дашкову – Ксению? – спросил следователь.

Но Леля была настороже и не попала в ловушку.

– Дашкову? Я не знаю никакой Дашковой! Моя кухня – урожденная Бологовская, по мужу – Казаринова, – сказала она немного поспешно.

– Ах, простите! Я спутался несколько в родстве. Впрочем, как же так вы не знаете Дашкову? Одну-то во всяком случае знаете – Нину Александровну.

– Нина Александровна уже два года Бологовская.

– Так, так, товарищ Гвоздика, вы правы! Вы совершенно правы! – повторял следователь, пристально всматриваясь в девушку.

– Кстати, о Нине Александровне: вы были у нее на днях в день именин ее тетки?

– Была... – ответила удивленно Леля. «Отчего он весь извивается перед тем, как задать вопрос?» – думала она при этом.

– Скажите, а там, на именинах, в течение всего вечера вы же не слышали никаких предосудительных разговоров: порицания правительства, анекдотов, насмешек над Советской властью?

– Ничего.

– Вы совершенно в этом уверены?

– Совершенно уверена. Ни одного слова. В нашем кругу такие разговоры не приняты.

– Так-таки ничего?

- Ничего.

- Позвольте вам не поверить! Я уже имею некоторые сведения от людей, которые исполняют свои обязанности честнее, чем вы. Мне, например, известен во всех подробностях ваш разговор с гражданкой Екатериной Фоминичной Бычковой. Она очень резко отзывалась о происходящей повсеместно партийной чистке, а также возмущалась тем, как обошлись с вами год назад. Вы согласились с ней! «Со мной поступили несправедливо», вот ваши подлинные слова. Казаринов прервал ваш разговор. Разве неправда?

Леля, растерянная и сбита с толку, испуганно смотрела своего мучителя. «Откуда ему известно? Кроме этой самой Екатерины Фоминичны все были свои. Кто же мог на меня донести?» думала она, мысленно перебирая всех присутствующих.

- Что вы на это скажете, Елена Львовна? - нажимал следователь.

- Такой разговор в самом деле был, я о нем забыла, потому что он шел не за именинным столом, а в кухне, при выходе. Я эту Екатерину Фоминичну совсем не знаю и очень удивилась, когда она со мной заговорила на такую тему...

- А отчего же вы не захотели мне сообщить? Ведь я навел на вас! Если вы покрываете незнакомых, мне уже ясно, что тем более вы умолчите о своих.

- Я совсем не собиралась покрывать, этот разговор у меня просто из памяти вылетел. Но я не отрицаю: он был, в самом деле был, только говорила одна Екатерина Фоминична.

- После того, как я вас уличил, дешево стоят ваши показания, Елена Львовна! Собственно говоря, этого умалчивания уже довольно, чтобы применить к вам статью пятьдесят восьмую, параграф двенадцать. И следовало бы это сделать. Как я могу теперь вам верить, скажите на милость? Вот вы только что заявили мне, что фамилия вашей кузины Казаринова, а не Дашкова. Могу ли я быть уверен, что вы ее не покрываете? А ну, довольно комедий! Извольте-ка говорить правду, или засажу! Отвечайте!

- Что отвечать? - дрожащими губами прошептала Леля.

- Кто этот Казаринов, супруг вашей кузины? Гвардеец он? Как его подлинная фамилия? Или тоже из памяти вылетела?

«Надо держаться!» - сказала сама себе Леля.

- Я всегда слышала только Казаринов, никакой другой фамилии я не знаю, - отвечала она.

- Не лгите! Я очень хорошо вижу, что вы лжете. Я долго вам мировил - хватит. Выкладывайте мне фамилию, или я сейчас арестую вас. Домой не вернетесь.

Леля закрыла рукой глаза. Она мысленно видела перед собой Славчика, накануне вечером она была у Аси и как только вошла, малыш затопал к ней, повторяя: «Ле-ля! Ле-ля!» Она схватила его на руки, и он прижался бархатной щечкой к ее щеке. А после чаю она прокралась тихонько в спальню и подошла к кроватке: он уже спал, длинные загнутые ресницы доходили почти до наздрюшек, а щечки стали розовые, как грудка снегиря; она поцеловала осторожно маленькие ручки в перетяжках. Ася тоже стояла тут и созерцала спящего сына...

- Ну? Говорите! Я жду. Фамилия?

- Я другой фамилии не знаю.

- Врете, знаете.

- Нет, не знаю. Я знакома с ним всего три года. Если он что-нибудь о себе скрывает - откуда мне знать? В поверенные такой человек молодую девушку не выберет, сами понимаете.

- Так. А Дашкова, Нина Александровна, никогда не говорила вам о нем ничего?

- Ничего.

- Родственник он ее?

- Сколько мне известно, нет.

- С каких пор они знакомы? Что их связывает?

- Не знаю. Он, кажется, был у белых вместе с ее мужем, ординарец или денщик... Он не аристократ. Дашков не такой был бы - по-французски говорит плохо, кланяется и того хуже... Это мне подметить нетрудно.

- И вы ни разу ни от кого не слышали никакой другой фамилии?

- Ни разу.

Следователь встал и начал ходить по комнате.

- Ну, смотрите, Нелидова! Я этого Казаринова выведу на чистую воду, и если подтвердится, что он Дашков, вы мне за это ответите. Предупреждаю. А теперь благоволите объяснить вот что: мне сообщено, что тридцатого сентября хозяйка квартиры, ну именинница, Надежда Спиридоновна, делала намеки, упоминала, что намерена взорвать Охтинский мост. Можете ли вы подтвердить такое обвинение? Слышали ли это?

- Мост? Надежда Спиридоновна? Что за чепуха! Кто это мог наплести? Ведь ей за семьдесят! Чем взорвать? Как? Каким образом?

- Вам все шутки, Нелидова. Может быть, старуха и не запаслась взрывчаткой, почти наверное - нет, но такие слова, как «лучше бы этого моста не было», уже кое-что доказывают. Наш комиссариат полагает, что в таких случаях удалить вовремя человека благоразумней, чем расстреливать виновного после того, как он выполнит свое злое дело, которое повлечет за собой к тому же не одну человечески жертву. Мне важно установить сейчас одно: слышали ли вы слова «лучше бы этого моста не было». Они были произнесены при вас, уже установлено. Служебная этика запрещает называть имена, ведь вы же не захотели бы, чтобы я называл ваше! Итак, готовы вы подтвердить, и притом письменно, что слышали эти слова? Если нет, вы меня окончательно убедите в пособничестве классовым врагам и применяю к вам статью 58-ую, 12 параграф. Мне совершенно точно известно, что эти слова были произнесены при вас. Итак?...

«Все уже было установлено, и если бы я продолжала отрицать, я ничего бы не изменила этим, только себя погубила. Для Олега и Аси так вышло тоже лучше: следователь убедился, что я не все огульно отрицаю, и отрицание мое через это приобретает значение. А разве может быть для меня выбор между Асей и Надеждой Спиридоновной?» - повторяла себе Леля, стараясь усыпить свою совесть. Она предупредила Олега, что его подлинная фамилия уже спрягается и передала ему разговор, умолчав только о том, что подтвердила обвинение против Надежды Спиридоновны. Во время разговора с Олегом для нее выяснилась подробность, которая расширила и вместе с тем омрачила ее горизонт: Катюша безусловно сама известила о разговоре в кухне; мало того, разговор этот был по всей вероятности специальным заданием с целью проверить Лелю и вернее зажать в кулаке. Олег был в этом абсолютно уверен и убеждал Лелю не тревожиться за судьбу пухленькой девицы: она опасный провокатор.

- Вы должны быть сугубо осторожны теперь, Леля. Немедленно прекращайте разговоры, когда их заводят чужие, - и спросил: - а каков собой этот следователь?

- Невысокий, белобрысый, а глаза злые-злые, пристальные.

- Он извивается и ерзает на месте, прежде чем задать вопрос? - опять спросил Олег.

- Да, он иногда раскачивается, как змея на хвосте. Но самое ужасное - его глаза: у него необычайно расширяются зрачки. В этом что-то хищное и страшное! Как вышло, что мы попали к одному и тому же?

- Это не случайно, Леля, это хитрый ход, которым он готовит мат целой группе лиц. Не говорите пока ничего Асе, пусть будет счастлива еще хоть месяц или два.

- Олег Андреевич, а я? Что же будет со мной? Я ведь совсем не успела быть счастливой! - надтреснутый звук ее голоса и наивность вопроса укололи сердце Олега. - Вы говорите: месяц или два - это звучит как «мэне, тэкел, фарес» в Библии. Почему вы отмерили срок? Я и впредь буду говорить то же самое. Не сомневайтесь во мне, - и голос Лели опять дрогнул.

Он взял ее маленькую руку и, отогнув перчатку, поцеловал сгиб кисти, отступив от этикета, в котором был тонкий знаток.

- Спасибо за меня и за Асю, но если даже у вас хватит мужества и хитрости втирать следствию очки еще в течение некоторого времени, это не значит, что они не найдут иного способа накрыть меня или попросту приклеить мне новое обвинение, чтобы упрятать в надежное место. Дай только Бог, чтобы это коснулось одного меня.

Они разговаривали, прогуливаясь вдоль решетки Летнего сада, и, когда простились, Леля медленно пошла вдоль Лебяжьей канавки. В последнее время было много тяжелых впечатлений. Несколько Дней назад скончалась Татьяна Ивановна Фроловская. Слабая надежда, что Валентин Платонович сумеет хоть на пару дней вырваться на похороны матери, не осуществилась: он не приехал и только обменялся телеграммами со своим другом Шурой, который великодушно взял на себя все хлопоты по погребению. Она не пошла ни на панихиду, ни на похороны, и мать в этот раз не принуждала ее. Пожалуй, даже лучше, что Валентин Платонович не приехал: от него ей ждать нечего! В отставке уже двое, но что толку, если дни идут за днями, а счастья нет? Погруженная в эти печальные мысли, она неожиданного увидела себя на Гангутской перед домом Фроловских, куда ее машинально вынесли ноги. Охваченная внезапно чувством необъяснимой вины перед одинокой женщиной, которая с такой нежностью обнимала ее, она остановилась перед подъездом.

Сейчас там хозяйничают эти подлые девчонки: фотографии, конечно, выброшены в мусор, а за дорогие вещи идут ссоры и брань. Едва она это подумала, как увидела на скамеечке у подъезда старую Агашу – опять в той же кацавейке и сером платке. На сей раз старушка не бросилась к ней, а только закивала с полными слез глазами. Леля приблизилась сама.

– Здравствуйте, Агаша! Ну как, оставил жэк за вами комнату Татьяны Ивановны? – спросила она.

– Комнату отписали за девочками, а мне никакой комнаты не нужно, барышня. Я в Караганду собираюсь. Работу я потеряла и внучкам моим теперь в тягость, а Валентин Платонович письмо прислал. Пишет: «Няня Агаша, я совсем одинок теперь». Может, я и пригожусь ему малость. Здесь-то мне делать уже нечего, дурочкой я стала: сижу этак да плачу, все барышню мою вспоминаю да сынишек ейных – кадетики маленькие с пуговичками начищенными, с погончиками и в башлычках, – вот они передо мной, ровно как живые. Я особенно Андриюшу любила, который молодым офицером от тифа помер...

Леля молча стояла перед старухой, не зная, что говорить... Поехать, что ли, и ей? Написать ему: «Я знаю, что ты любил меня. Я не боюсь бедствий. Бери меня». Этой добровольной ссылкой она прекратит домогательства следователя, а человек, к которому она поедет, любит ее, и, конечно, только из гордости и великодушия он не объяснился с ней, уезжая. Он оценит эту жертву, он ее стоит. Поехать?

«Нет, не могу! Караганда! Кибитка! Нет, не могу – не выдержу!»

Сырая мгла окутывала улицы; зажгли фонари, и свет их тускло желтел сквозь изморозь. Вокруг бесконечно сновали прохожие, и каждый казался придавленным своим неразделенным горем...

«Ночь как ночь, и улица пустынна... Так всегда! Для кого же ты была невинна и горда?»

«Для кого?»

## Глава двадцать четвертая

Последствия поклепа очень скоро сказались: Надежда Спиридоновна получила приглашение «в три буквы» (как выражались обычно Олег и Нина), а вернулась оттуда только через три дня, на лбу ее был странный багровый подтек, губы были плотно сжаты, веки покраснели, а в волосах исчезли последние темные нити. Аннушка так и ахнула, взглянув на свою старую барышню. Надежда Спиридоновна не стала, однако, ни сетовать, ни охать, а молча, с достоинством прошла к себе. Как только вернулась из Капеллы Нина, она потребовала ее в свою комнату: Надежда Спиридоновна была уверена, что донос сфабрикован ее домашними врагами – Микой и Вячеславом, и напрасно Нина клялась и божилась, что ни тот, ни другой не способны на такое дело и что тут, безусловно, приложила руку Катюша. Это было ясно всем, кроме самой потерпевшей.

Оказалось, что Надежда Спиридоновна не лишена гражданского мужества, она отказалась подписать обвинение и отрицала вину даже когда ей пригрозили ссылкой и несколько раз хлестнули смоченным в воде бичом.

- Странные творятся вещи, Ниночка, следовательно мне очень прозрачно намекал, что мне выгодней признаться в намерении взорвать... это сооружение... чем отрицать свою вину.

Слова «Охтинский мост» Надежда Спиридоновна не отважилась произносить, как будто именно выговаривание этих слов и принесло ей беду.

Надежда Спиридоновна пожелала вызвать Ньюшу, которая должна была ей помочь подготовиться к отъезду, так как теперь следовало ждать со дня на день повестки с предписанием в двадцать четыре часа покинуть Ленинград. И решение не замедлило: ссылка в Костромскую область в трехдневный срок. Ехать предоставлялось не этапом. Для Надежды Спиридоновны самой большой трагедией было бросить квартиру и вещи: комната должна была отойти в распоряжение РЖУ, и, таким образом, pied-a-terre [98] в Петербурге Надежда Спиридоновна теряла уже безвозвратно. Остающиеся вещи приходилось поэтому рассовывать по родным и знакомым. Надежда Спиридоновна тщательно укладывала, запирала и переписывала свое добро. Явившаяся Ньюша была допущена к этой процедуре и с вызывающим видом наперсницы перебежала из комнаты в кухню. В ее манере держаться с Ниной появилась нота ничем не оправданного пренебрежения.

- Барышня велели мне к ихнему кофорочку замочек повесить и перенести в вашу комнату, освободите уголок. Также и пальтецо ихнее велено в ваш шкаф перевесить, пока им не заблагорассудится приказать вам переслать по адресу, - говорила она.

Раз Нина вошла к тетке в комнату, когда обе женщины разглядывали мужское пальто с бобровым воротником; Надежда Спиридоновна сказала:

- Вот пальто твоего отца, Ninon, раздумываю, как лучше поступить с ним: в комиссионный магазин отнести или на сохранение в ломбард отдать? Как ты посоветуешь?

Нина почувствовала, как вспыхнули щеки. «Невеликодушная! Сколько раз я при ней выражала тревогу, что Мика слишком легко одет и не на что скототить ему если не зимнее пальто, то хоть теплую куртку, но она ни разу не предложила для мальчика вещь, принадлежащую, по сути дела, ему!»

Тем не менее Нина не пожелала унизиться до мелких переговоров, которых панически боялась всю жизнь. Она отделалась небрежным:

- Делайте, как вам удобней, тетя!

Но когда Ньюша выразила на кухне во всеуслышание опасение за свой узел, Нину прорвало:

- Объясните, тетя, вашей Дульсине, что я не пожелала воспользоваться ничем из вещей моего отца, на которые имею неоспоримые права. А потому не могу заинтересоваться тряпками, которые вы сочли нужным ей подарить! - воскликнула она и убежала, чувствуя слезы старых обид в горле.

У Надежды Спиридоновны было много беспокойства по поводу кота Тимура, которого она пожелала обязательно взять с собой. После долгих переговоров с Ньюшей, причем на консультацию дважды вызывалась Нина, именитому животному была заготовлена глубокая корзина, дно которой выстлали мягким, а в крышке проделали несколько отверстий для доступа свежего воздуха.

Олег, разумеется, вызвался доставить на вокзал Надежду Спиридоновну со всеми ее картонками и чемоданами. Так уже повелось, что в услугах, где требовались мужская энергия и находчивость, обращались именно к Олегу, считая, что в качестве безупречного джентльмена он не отказывает. Все казалось иногда, что здоровье ее мужа заслуживало более бережного отношения, но она знала, что говорить с ним на эту тему бесполезно, и молчала, даже когда ей случалось поплакивать втихомолку от досады.

Надежда Спиридоновна имела очень тесный круг знакомых и, в силу особенностей своего характера, большой симпатии не завоевывала; однако расправа, учиненная над семидесятилетней старухой, была так жестока, а обвинение столь нелепо, что вызвало волну глухого протеста в рассеянных остатках дворянского Петербурга: на вокзал откуда-то повыпозли древние старухи в черных соломенных шляпках с вуалетками и в старомодных тальмах. Графиня Кокцовца успокаивала их уверениями, что немедленно же сообщит обо всем

происходящем «в Пагиж бгату». Полина Павловна Римская-Корсакова впопыхах явилась на вокзал с лицом, опять испачканным сажей, так как «буржуйка», оставшаяся в ее гостиной еще с дней гражданской войны, неисправимо коптила. Придерживая плащ жестом, которым в прежние дни она держала шлейф, дама эта, одетая почти в лохмотья, жаловалась, что подала было просьбу в Совнарком, чтобы установили ей как бывшей фрейлине пенсию, но многочисленные племянники и племянницы пришли в ужас от ее смелости и умолили взять обратно заявление, которым она будто бы могла подвести их. Жена бывшего камергера Моляс, грассируя, рассказывала, что начала хлопотать за мужа, томившегося в Соловках, и намерена сообщить в Кремль о заслугах его матери Александры Николаевны Моляс – первой исполнительницы целого ряда романсов и партий из опер Мусоргского и Римского-Корсакова. Все, выслушивавшие эти планы, единогласно нашли, что такое заявление несколько напоминает гениальный трюк Полины Павловны, так напугавшей трусливую родню.

Позже всех появился на вокзале старый гвардейский полковник Дидерихс, высокий, худой, с длинной шеей и глазами затравленного зверя. Олег при виде его совершенно невольно выпрямился и потянул было руку к козырьку фуражки, старый лев прикоснулся к своей и уже хотел сказать «вольно», но оба инстинктивно оглянулись по сторонам... Генеральская дочка Анна Петровна блаженно улыбнулась при виде жестов, тревоживших когда-то ее сердце и нынче изъятых из обращения... Она даже приложила к глазам платочек, вынутый из бисерного ридикюля.

«Экспонаты времени империи в будущем музее русского дворянского быта!» – думал юный Мика, распахивая по полкам багаж тетки и оглядывая эти призраки прошлого.

Надежда Спиридоновна выдержала характер: она не плакала, жала руки, благодарила, кивала, обещала писать и до последней минуты стояла у окна, сверкая неукротимыми глазами. Неизвестно, что почувствовала она, когда опустился занавес над трагедией, в которой она блестяще исполнила первую роль, и поезд помчал ее и «Тимочку» в неизвестные дали, которые Нина, прощаясь, окрестила «лесами из «Жизни за царя». Одна Леля не захотела проводить Надежду Спиридоновну, сколько ее ни уговаривали мать и Наталья Павловна. Когда Олег, слышавший эти уговоры, бросил на нее быстрый взгляд, она опустила глаза, и это навело его на некоторые мысли...

Через несколько дней к Наталье Павловне явился с визитом полковник Дидерихс, периодически навещавший старую генеральшу. Как только они остались вдвоем за чашкой чая, он сказал:

– Не хотел вас волновать, Наталья Павловна, но долгом своим считаю вас предостеречь: в доме вашем появился кто-то, имеющий связь с гепеу. Меня на днях вызывали в это учреждение и повторили мне там слово в слово разговор, который мы с вами вели в мой прошлый визит к вам, вплоть до анекдотов, которые я позволил себе вам рассказать. Как это могло случиться?

Наталья Павловна была поражена:

– Не знаю, что думать! Боже мой! Меня посещает такой проверенный тесный круг друзей... А впрочем, в то воскресенье как раз не было гостей, мы были в своей семье... Вы сами понимаете, что я не могу заподозрить Асю или моего зятя... Мадам? Это милейшие, преданнейшее существо... Я за нее ручаюсь, как за самую себя! Кто же?

– В тот раз еще была маленькая Нелидова, – сказал, припоминая, Дидерихс.

– Леля? Леля была, но ведь эта девочка выросла на моих глазах, она и Ася – это одно и то же.

– Да, да, я понимаю, я хорошо помню ее отца и деда... и все-таки я советую вам, Наталья Павловна, порасспросить обеих девочек. Конечно, они не являются сами осведомительницами – никто этого о них не может думать, но нет ли подруг, которым они проболтались? Молодость легкомысленна, а в наше время пустяк может иметь роковые последствия. Там завелась некто Гвоздика, которая, говорят, строчит доносы. Я беспокоюсь прежде всего о вас.

Старый гвардеец почтительно поцеловал руку Наталье Павловне.

Она обещала переговорить с юным поколением. Вызванная тут же Ася, не спуская с бабушки испуганно расширившихся глаз, уверяла, что никому никогда не повторяет разговоров, подруг

у нее нет – бабушке это известно, только Леля и Елочка, но даже Елочку она не видела уже больше месяца... Так на кого же думать? Наталья Павловна обещала расспросить и Лелю, которая вечером, наверно, прибежит по обыкновению. Старый полковник удалился, оставив в тревоге и бабушку, и внучку.

Когда вернулся со службы Олег, Ася стала ему рассказывать странную историю.

– Ты ведь знаешь, милый, как я не люблю анекдотов! Я даже никогда не запоминаю их. Остроты и шутки я понимаю всегда часом позже, чем все вокруг меня, а то так и вовсе не дойдет. Ну разве похоже, чтобы я стала рассказывать анекдоты, да еще чужим людям? В музыкальной школе я тихенькая, как мышка, я ни с кем не говорю, кроме как на узкомызыкальные темы, я всегда тороплюсь к Славчику и мне даже времени нет болтать.

Олег хмурил брови, выслушивая этот лепет. «Пригрозили! Запугивают девчонку, а она, щадя нас, подводит окружающих! Нас завели в тупик», – думал он и вспомнил вдруг, как дрогнул голос Лели, когда она сказала: «Не сомневайтесь во мне!» Презрение опять уступило в нем место состраданию. «До чего же подл режим, который пускает в ход подобные средства, да еще в массовом порядке!» – думал он, сумрачно шагая по комнате в то время, как Ася бегала сзади, доказывая совершенно очевидные вещи.

Он взялся было за газету, но она потянула его за руку:

– Пойдем к Славчику, он сейчас будет ужинать. Есть что-то необычайно милое и успокоительное в звуке, с которым ребенок потягивает молоко из кружки.

Олег почувствовал внезапный прилив раздражения.

– Уж не вздумала ли ты предлагать мне эрзац валериановых капель?

Услышав эту интонацию и увидев суровый взгляд мужа, Ася тотчас выскользнула из комнаты.

Ответные выпады были не в ее характере.

В последнее время Олег уже несколько раз ловил себя в чувстве досады на жену; здесь, конечно, играла свою роль обострявшая нервы обстановка, но было еще нечто и в тайниках своего «я», он уже докапывался до причины. «Весталка, не знающая страсти! Вся светится лаской, но стоит ей заметить во мне самый слабый оттенок страсти – конечно: испуганный взгляд, растерянное молчание, вид жертвы! В этом есть своеобразное очарование: я как будто ночь за ночью провожу с девушкой; тем не менее эта невозмутимая ясность приедается! Самый влюбленный муж затоскует, не получая никогда страстного отклика. Полное отсутствие темперамента! Вот ее кузина – та совсем в другом роде!» Леля все более и более заинтересовывала его как женский тип. «Экзотический цветок! Целомудренная вакханка! Она невинна только в силу воспитания и семейных традиций. Я слишком люблю и ценю Асю, чтобы изменять ей, и слишком уважаю всю семью в целом, чтобы внести грязь и раздоры. Я, разумеется, не позволю себе ни одной попытки прикоснуться к запретному плоду, но эта еще дремлющая страстность, которая просвечивает, как просвечивают иногда через тюль женские ручки, не может не волновать! Мы, мужчины, должны себя держать на узде с самого начала, если желаем сохранить верность: останавливаться на полпути мы уже не умеем», – думал он.

Леля не появилась ни в этот день, ни на следующий. Наталья Павловна забеспокоилась и уже около одиннадцати вечера послала к Нелидовым Олега и Асю.

Отворила Зинаида Глебовна и тут же, в передней, стала рассказывать, что Стригунчик больна и пришлось уложить ее в постельку; все эти дни она была очень печальная и неизвестно почему несколько раз плакала, а вчера на службе ей сделали просвечивание легких и обнаружили, что обе верхушки завуалированы, этим и объясняется температура, которая к ней привязалась еще с весны, вялость и убитый вид. Вот к чему приводит неполноценное питание, постоянное промачивание ног из-за отсутствия хорошей обуви и утомление на работе... В этом возрасте туберкулез в какой-нибудь месяц может принять скоротечную форму... Стригунчик в опасности! Необходимы усиленное питание и воздух, а зарплаты не хватает на ежедневную жизнь, и до сих пор они не могут приобрести необходимые теплые вещи, а тут еще осень своими дождями... Зинаида Глебовна не плакала, говоря все это, но глубоко сдерживаемая тревога чувствовалась в ее голосе и в тоскливом, беспокойном взгляде. Однако, как только она

вошла к дочери, и голос, и лицо ее тотчас изменились.

- Стригунчик, тебя пришли навестить Ася и Олег Андреев! Сейчас мы все вместе чайку выпьем здесь, около тебя. Садитесь, Олег Андреевич.

Он сел на старое кресло в их единственной комнате и бросил быстрый воровской взгляд на девушку, закрытую старым шотландским пледом, и на ее локоны, рассыпавшиеся по подушке. Ася вызвалась сбежать в булочную, а Зинаида Глебовна вышла в кухню заваривать чай... Надо было воспользоваться минутой...

- Опять вызывал? - спросил он тотчас.

- Опять!

- Леля! Если причина во мне, я заявлю на себя, чтобы ваша пытка кончилась. Я не хочу, чтобы вас трепали из-за меня.

- Нет, нет! Не делайте этого, Олег Андреевич! Я вам доверилась, и вы не смеете вмешиваться без моего разрешения. Мне только хуже будет: он привлечет меня за ложное показание! - она даже села на постели, щеки ее порозовели. Она была очень хороша в эту минуту.

- Глупости, Леля! Вы отлично могли не знать о моем происхождении. Я сам заявлю следователю, что скрывал свое имя даже от родственников.

- Нет, нет! Не смейте, Олег Андреевич. Я не позволю. Мне виднее! Кто вам сказал, что дело в вас? Не в вас вовсе! Он хочет через меня шпионить за целым кругом лиц, он меня спрашивал про нашего знакомого полковника и про Нину Александровну. Он меня в покое все равно не оставит, да еще догадается, что я проговорила о своих визитах к нему, а ведь у меня подписка. Никто мне теперь помочь не может, никто! Я больна только от этого.

- Не фантазируйте, Леля: у вас затронуты легкие, их необходимо и вполне возможно теперь же подлечить, а вот как вас из его лап выцарапать?... Эта задача потруднее.

- Уже невозможно! Он меня как паук муху в свою паутину засасывает. Теперь до конца моих дней так будет! Я кое-что была принуждена наговорить ему. Он был доволен и обещал сигнализировать парторгу нашего учреждения, чтобы тот устроил мне бесплатную путевку на юг, в санаторий. Было бы, конечно, хорошо для моего здоровья, но не знаю уж, будет ли мне теперь где-нибудь весело... Эта Катька мне очень напортила. Статья пятьдесят восьмая, параграф двенадцатый! Что это значит, Олег Андреевич?...

Путевка очень скоро была получена. Ася упростила бабушку не волновать Лелю и Зинаиду Глебовну расспросами о странной осведомленности гепеу, Олег присоединился к ее ходатайству, опасаясь, что вскрыется слишком много тяжелого для обеих дам. Разговор решено было отложить до возвращения Лели. Зинаида Глебовна была счастлива возможностью поправить здоровье дочери и умилялась отзывчивости служебной администрации. Вместе с тем она очень опасалась впервые выпускать Лелю из-под своего крыла. Она не могла вспомнить случая, чтобы в дореволюционное время девушку отпускали куда-нибудь одну без сопровождения семьи или гувернантки. Робко, с виноватым видом шептала она дочери свои наставления:

- Стригунчик, послушай меня: там, конечно, будут мужчины... среди них теперь много очень дурных... Держись от них подальше, родная! Не ходи с ними гулять... Они тебе могут причинить очень большое зло. Ты этого еще не понимаешь.

- Ах, мама! Ты говоришь, как говорили Красной Шапочке «берегись волка»! Я не маленькая, мама. Мне все-таки не четырнадцать лет,- возражала дочь.

Общими усилиями перечинили Леле белье, сшили ей одно новое платье, а другое отобрали для нее у Аси и собрали ее как могли в дорогу.

Прощаясь на вокзале, «весталка» и «вакханка» обнимали друг друга: Олег видел, как сблизились носики и губы двух лиц, столько похожих по очертаниям и столь различных по выражению. Ася говорила:

- Улыбнись же, Леля! Ты увидишь море, скалы, кипарисы... Ты будешь собирать ракушки, лежать в кресле у моря... А сколько ты расскажешь нам, когда приедешь! Я уверена, что как только ты вдохнешь всей грудью солнечного теплого воздуха, у тебя внутри все заживет. Ты

только дыши поглубже и не беспокойся ни о чем.

Леся печально вздохнула.

- Я не умею так отдаваться чувству радости, как ты. Так пошло с детства, вспомни: ты всегда кружилась около меня и тревожилась, что я недостаточно счастлива и весела. Мы с тобой, Ася, совсем разные, и того, что может случиться со мной, с тобой никогда не будет.

- Чего не будет, Леся? Что ты хочешь сказать?

- Ничего. Я пошутила. Береги без меня мою маму лучше, чем это умею делать я.

В квартире на Моховой отъезд Надежды Спиридоновны тоже вызвал соответствующую реакцию. Катюшу стали преследовать неудачи: кастрюли у нее ежедневно подгорали, кот повадился пачкать у самой двери, аппетитные булочки, положенные на стол под салфетку, оказывались под столом, кипятившееся белье пригорало в новом котле. На все претензии, обращенные к Аннушке, она получала самые различные реплики.

- Глядеть надоть! Поставишь и бросишь.

Или:

- Чего пристала! Я тебе не домработница!

В одно утро пол перед Катюшиными дверьми оказался весь вымощен котлетами, которые она готовила накануне, и притом не одними только котлетами... Объяснения, визги и угрозы не могли пробудить тот лед равнодушия, с которым ее выслушивал дворник и Аннушка. Доведенная до слез, она бросилась стучать к Нине и, когда та появилась на пороге, излила ей свое негодование. Бывшая княгиня окинула ее пренебрежительным взглядом:

- Я полагаю, даже вам ясно, что подобная проделка не в моем стиле, - надменно бросила она и отвернулась.

Выскочивший на стук Мика, которому Катюша тоже сочла возможным изложить свои претензии, разразился хохотом, упав на стул. Не удалось добиться ни слова.

Пользуясь высоким покровительством, Катюша очень быстро и легко устроила обмен комнаты. Очевидно предполагалось, что ей, как провокатору уже разоблаченному, делать в этой квартире больше нечего. В то утро, когда она стала выносить свои тюки и корзины, все обитатели, словно по уговору, собрались в кухне, но никто не обращал на нее ни малейшего внимания: Аннушка и дворник невозмутимо пили чай, держа блюдечки на растопыренных пальцах и потягивая через сахар, Мика с ожесточением ташил плоскогубцами гвоздь, а Нина, стоя в задумчивости около примуса, смотрела поверх Катюшиной головы куда-то в окно... Пробурчав что-то себе под нос, девица стукнула с размаха в дверь Вячеслава.

- Чего нужно? - спросил Коноплянников, появляясь на пороге.

- Я к тебе по комсомольской линии: пособи вещи переташить, видишь, уроды эти бастуют, словно английские горняки.

- Пожала, что посеяла. Ладно, дотащу до трамвая, а там - управляйся сама, - и Вячеслав забрал чемоданы.

- Еще мало им перцу задали! Все бы разорить гнездо это контрреволюционное! - буркнула Катюша, забирая в свою очередь корзины.

- Но, но, но! Помалкивай! Не то накостыляю! - откликнулся дворник.

Катюша проворно подскочила к двери, но у порога обернулась и еще раз оглядела всех.

- Не жисть, а жестянка! - и с этим глубоко философским определением существующего порядка Екатерина Томовна захлопнула дверь, навсегда покинув квартиру на Моховой 13.

## Глава двадцать пятая

Ася по-прежнему считала себя счастливой и мысленно извинялась за свое счастье перед теми, кто окружал ее. А между тем в последнее время все больше и больше тревог просачивалось в ее жизнь. Взгляд мужа, даже устремляясь на нее, уже не всегда был лучистым, и безошибочное чутье говорило ей, что он озабочен, слишком озабочен, озабочен настолько, что

ее улыбка и взгляд оказываются часто бессильны рассеять его тревоги и установить в его лице то тихое сияние, которое она наблюдала в первые месяцы их любви. Он бывал иногда несколько раздражителен; это вполне можно было извинить, а все-таки это было грустно и чего-то как будто становилось жаль... Зато в те особенные минуты, когда восторженная нежность возвращалась к нему под обаянием задушевного разговора или удачно исполненного Шопена (которого он особенно любил), она чувствовала себя счастливой вдвойне и уверяла себя, что рыцарская любовь ее мужа неизменна и только удручающе-тяжелая обстановка делает его таким грустным и нервным. Это следует не замечать – не прощать, а просто не замечать, покрывая любовью... ведь это так просто – улыбнуться или приластиться в ответ на неожиданную суровость и все тотчас нейтрализуется! Способов нейтрализации у нее было в запасе великое множество, и действовали они безотказно. Кроме того у нее было теперь собственное маленькое существо, которое радовало и согревало сердце – свой ребенок; он уже говорил «мама, папа, баба, зай, иди, дай» и еще несколько слов, он хорошо бегал, топая тугими крепкими ножками, ей он улыбался как-то особенно радостно и широко – не так, как другим; было общепризнано, что всякое горе этого маленького человечка на ее груди тотчас затихает, и это наполняло ее счастьем.

Она была счастлива и за роялем – дома и в музыкальной школе. Юлия Ивановна готова была просиживать за занятиями с ней часы и подлинно артистический обмен музыкальными мыслями со старой пианисткой, ученицей Рубинштейна, доставлял Асе все больше и больше наслаждения. Раз в месяц на просмотре у маэстро, куда Юлия Ивановна водила ее всякий раз сама, наслаждение это достигало апогея, образуя тройственное содружество. Атмосфера музыкальной школы ей тоже нравилась. Стоило только переступить порог школы – и слышавшиеся из-за всех дверей звуки роялей и скрипок вызвали в ней уже знакомый трепет, как далекий прилив, который должен был окунуть ее в море музыки. Она любила сыгровки и репетиции с их повторениями и наставлениями педагогов, ей доставляло радость обязательное хоровое пение, увлекали занятия гармонией и толки о деталях исполнения между молодыми пианистами и оркестрантами, которые выползали из классов, напоминая усатых тараканов своими смычками. Немного менее симпатичными казались ей будущие певцы и певицы: они слишком уж носились с собственными голосами и слишком мало уделяли внимания музыке как таковой. Однако всегда можно было держаться от них несколько в стороне. Дома никто не хотел понять, чем была для нее музыкальная школа. Бабушка смотрела несколько свысока на контингент учащихся, хотя ни разу не побывала в школе; пожалуй тоже делал и муж, который заявлял а priori [99], что у нее в одном мизинце больше таланта, чем у всех остальных учащихся вместе... Как можно высказывать подобное суждение о людях, которых не видел и не слышал, и заранее унижать? Пусть это только школа, а все-таки одаренной и искренне увлеченной музыкой молодежи туда заносит очень много попутными и враждебными ветрами, как занесло и ее. Она уже давно начала замечать, что вокруг ее исполнения концентрируется особый интерес. На концертах ее почти всегда выпускали последней, завершающей программу, и к этому моменту зало наполнялось и педагогами, и учениками, и чувствовался ажиотаж. Она часто слышала ученический шепот: «Это вот та – талантливая!» или «За эту Казаринову педагоги копыя ломают, директор хотел перевести ее в свой класс, так Юлия Ивановна ему чуть глаза не выцарапала», и еще: «Говорят, могла бы большой пианисткой сделаться, да вот в консерваторию не принимают», – и прочее в этом роде.

И часто становилось больно: не принимают и не примут! Но она утешала себя мыслью, что музыка и талант при ней останутся – отнять это не властен никто! Пусть она будет числиться всего лишь при музыкальной школе, маэстро и Юлия Ивановна дадут ей возможность усовершенствоваться, находясь по-прежнему в этих стенах. Разве в этикетках дело? «Не сделаюсь концертной пианисткой, сделаюсь аккомпаниаторшей, мне нравится играть в дуэтах и трио, а для себя и для друзей буду играть, что захочу и сколько захочу... Бывают и в музыке свои непризнанные неудачники, которые иногда стоят гораздо больше, чем те, чьи имена пишут на афишах крупными буквами. Успех, слава – сколько великие артисты тяготились

ими!»

Самолюбивые мечты, казалось ей, следует отгонять, чтобы они не присасывались к сознанию: они зря будоражат и мешают жить подлинно музыкальными проникновениями. Она так и делала.

В музыкальной школе в некоторых отношениях было легче, чем дома, где за последнее время выкристаллизовалась напряженно-нервная атмосфера и где против воли тревоги начинали завладевать на подобие гипноза. Иногда ей казалось даже, что от нее что-то скрывают, но она тут же себя опровергала: с какой стати? Она теперь не в положении, она здорова! Уж если бы скрывали что-нибудь, то скрывали бы от бабушки и непременно с ее помощью. Что же касалось Лели, которая внушала наибольшую тревогу своим грустными видом и температурой, то как раз Леля никогда не имела от нее тайн: именно ей и только ей она всегда поверяла свои невзгоды. Не стала бы таиться и теперь. Счастье обходит Лелю – вот в чем сложность момента! Эта мысль настолько расстраивала Асю, что несколько раз она пробовала вступить в договор с Высшими Силами и просила то Божью Матерь, то Иисуса Христа взять от нее кусочек счастья и передать сестре, если возможно! «Господи, если мне суждено быть счастливой целые 25 лет, возьми половину – ту, вторую – для Лели: я не хочу быть счастлива одна! Пусть я лучше умру через 15 лет – это еще не скоро, но пусть у Лели тоже будет светлое большое счастье. Сделай так, Господи!»

Но на эту молитву пока не было ответа.

Она получила от сестры два письма.

«Дорогая Ася, – писала Леля в первом письме. – Уже две недели, как я здесь, но здоровье пока не лучше. Санаторий у самого моря, и в палатах слышен шум прибоя, но у меня такая потеря сил, что я почти не выхожу за калитку, а все больше сижу в кресле около самого дома. Первые дни мне вовсе было запрещено вставать. Один раз санитарка, подавая мне в постель утренний завтрак, сказала: «Поправишься небось. У нас чахотку эту самую хорошо лечат». Оказывается, тbc и чахотка – то же самое, а я и не подозревала! Это меня испугало сначала, а теперь я к этой мысли привыкла. Очень много думаю, и в частности о тебе и о себе. Твой кузен был во многом прав, когда говорил, что воспитать молодое существо так, как воспитали нас, – значит погубить. Сейчас, когда я уже на ногах и выхожу в общую столовую и на пляж, я вижу много молодежи, все держатся совсем иначе, чем мы с тобой. Многие тоже не обеспечены, тоже плохо одеты, но все веселы и полны жизни, они чувствуют себя дома, среди своих, а мы... Изящества в манерах и в разговоре у них, конечно, никакого; очень бойки и распушены, но им весело! Один молодой человек начал со мной знакомство с того, что спросил: «Каким спортом занимается твой мальчик?» Он меня ошеломил так, что несколько минут я весьма глупо на него пялилась, зато потом ответила очень дальновидно? «Боксом». Как тебе хорошо известно, боксера этого на моем горизонте не существует. Другой молодой человек спросил меня: «Почему ты одета?» Очевидно подразумевалось, почему у меня закрыты плечи и лопатки, так как модные «татьянки» теперь очень низко срезаны. Мужчины в саду и на пляже лежат только в опоясках, первое время мне неудобно делалось. Между собой все на «ты». Палаты по ночам пустуют до 3 часов утра, и все это – вообрази – считается в порядке вещей. Уж не рассказывай маме, чтоб не смущать ее невинность. Вчера я получила еще одну реплику, которая своею дерзостью превосходит все: посторонний отдыхающий в общем разговоре в столовой заявил мне: «Не поверю, что вы остаетесь ночью на своей постели!» В прежнем обществе за такой фразой последовала бы дуэль! А здесь она вовсе не считается оскорбительной. Это опрокидывает понятия, в которых мы воспитаны, например, неприкосновенность девушки, при которой не должно произноситься ни одно смелое слово и недоступность которой нельзя безнаказанно взять под сомнение. Но вот ирония судьбы: пропадать-то по ночам мне не с кем! Я, может быть, и нравлюсь, но мне самой еще никто не понравился, я еще не могу перемешаться и перезнакомиться. Оказывается, я еще вовсе не так испорчена, как думала. По секрету скажу тебе, что мне все-таки очень хочется любви и счастья, прежде чем я умру от этой самой чахотки или... сгину где-то очень далеко... Еще несколько лет, и я превращусь в

такую же злую старую деву, как твоя любимая Елизавета Георгиевна, которую я, кстати сказать, терпеть не могу. Ну, да поживем – увидим! Я вспоминаю здесь всех вас гораздо чаще, чем могла предполагать. Я тебя ведь очень люблю, дорогая Ася, и недавно у меня был случай убедиться, что это не пустые слова. Твоя Леля».

«Дорогая Мимозочка! – писала она во втором письме. – Мне здесь осталось всего неделя – скоро увидимся! Здоровье мое сейчас гораздо лучше. Я начала гулять и научилась распевать залихватские песни. Но уединенных ночных прогулок по-прежнему избегаю, настолько еще сильна во мне старая мамина закваска. Не могу сказать, чтобы в здешнем, так называемом новом обществе меня заинтересовал кто-нибудь, нет! Но я немножко акклиматизировалась и попривыкла: не так уж страшно и даже довольно весело! Здесь посвежело и на высоких горах уже выпал снег, но среди дня еще очень тепло и можно бегать в одном платье. Вчера приехала новая партия, и утром за столиком у меня оказался новый сосед, интереснее прочих – и собой, и разговором. Он вызвался поучить меня игре в волейбол. Бегу сейчас на площадку. Целую тебя и твоего чудного пупса, напомни ему о крестной маме. Леля».

Когда поезд, пыхтя, приблизился к перрону и сестры увидели друг друга через окно вагона в сумраке зимнего утра, обе почувствовали себя на несколько минут счастливыми, так же беззаботно и цельно, как это бывало в детстве.

– Стригунчик, родная моя! Девочка ненаглядная! Поправилась, похорошела, загорела! Ну, слава Богу! – твердила Зинаида Глебовна с полными слез глазами, обнимая дочь.

С вокзала поехали прямо к Наталье Павловне, где всю компанию ждали к утреннему кофе, у мадам уже было приготовлено удивительное печенье. Славчик был мил необыкновенно, он не забыл свою крестную, называл ее «тетя Леля» и ухватился маленькой лапкой за ее платье. Она посадила его к себе на колени и стала зацеловывать загривок и шейку по принятому ею обыкновению.

– Ты не бойся, Ася, у меня закрытая форма, я не бациллярная, – вдруг сказала она, что-то припомнив. Ася возмутилась до глубины души, доказывая, что у нее и в мыслях не было.

Мать и француженка не забыли осведомиться, приобрела ли Леля поклонников на волейбольной площадке и в салоне. Леля невольно улыбнулась, вспомнив грубоватых вихрастых парней с потными руками – типики эти никак не могли быть сопоставлены с силуэтами, рисовавшимися ее матери, которая невольно припоминала своих партнеров по теннису и верховой езде. И Леля предпочла не вдаваться в подробности, чтобы не разочаровывать мать.

Как остро чувствовалось что-то исконно родное, свое в этих людях, в их манере говорить, в их настроенности, в их привычках! Ни бесцеремонности, всегда так задевавшей ее, ни этого странного фырканья, которое так сбивает с толку, ни внезапных обид с надутым молчанием, которое принято в пролетарской среде... Безусловная, естественная корректность, которая уже вошла в плоть и кровь, имеет такую огромную прелесть! Только в такой атмосфере чувствуешь себя застрахованной от всяких неосторожных прикосновений. Она в первый раз произвела переоценку ценностей; и теперь наслаждалась, как рыба, попавшая с песчаного берега в родную стихию. Понадобилось шесть недель провести в чужой среде, чтобы оценить эту!

Но где-то в глубине сердца уже шевелился страх: узнал ли «он», что она вернулась? Неужели узнал и снова вызовет? Страх этот примешивал чувство горечи к каждому светлому впечатлению.

«Какая я была счастливая, пока не было в моей жизни этого! Но я тогда недооценивала своего счастья!» – думала девушка, пробуя замечательное «milles feuilles» и мешая ложечкой кофе в севрской чашке.

Когда кончили пить кофе и перемыли посуду, Ася увела Лелю в свою спальню, чтобы поболтать вдвоем. Тут только Леля рассказала самую интересную и сенсационную новость: у нее появился поклонник!

– Ходил за мной следом: куда я, туда и он! Глаз не спускал! Гуляли, в волейбол играли, в салоне сидели вместе, фокусы на картах мне показывал, смешил меня...

- И в любви уже признался? - спросила Ася.

- Намеки делал, а при прощании просил разрешения продлить знакомство и записал мой адрес. Он приехал за десять дней до моего отъезда и в Ленинград вернется только к Новому году. Я... знаешь, Ася, он мне понравился! Я вся сейчас точно из электричества - это со мной в первый раз! При прощании он мне сказал, что еще ни одна девушка на него не производила такого впечатления и что во мне удивительно пленительное сочетание скромности и эксцентричности, грусти и жадности к жизни. Это подмечено тонко, не правда ли?

- А кто он, Леля?

- Фамилия его Корсунский, а зовут Геннадий Викторович, он полурусский-полуармянин, отец его - крупный политработник, только об этом ты пока не говори ни маме, ни Наталье Павловне. Санаторий этот для работников гепеу, но он не агент большого дома - он имеет какое-то отношение к искусству, мы только вскользь коснулись этой темы, и я не совсем поняла... Конечно, Геннадий этот - не нашего круга, но применить к нему мамино любимое «du простой» все-таки нельзя: если в нем мало черточек и ухваток типично дворянских, то и плебейского мало. Взгляды его, конечно, совсем другие, чем, например, у Олега, но мне нравится в нем кипение жизни, что-то победительное, жизнерадостное. Я не люблю мужчин, которые в миноре, надломленного достаточно во мне самой.

Ася взглянула на нее, следуя течению собственных мыслей.

- Я так хочу, чтобы и ты была счастлива, Леля! - сказала Ася, и обе одновременно припомнили, как в детстве отказывались вместе от сладкого, если у одной из двух болел живот.

- Счастье не ко всем так приходит, как пришло к тебе, Ася. Такого у меня не будет, а кусочек счастья, может быть, перехвачу и я. Не порти только себе то, что у тебя есть, беспокойством за меня. Расскажи как твоя музыка?

- Играла на зачете мазурку Шопена, но неудачно.

- Глупости! Не поверю. Ты всегда собой недовольна, сколько бы не получала похвал и пятерок.

- Пианист сам себе самый строгий и верный судья. Уж поверь мне, Леля. Завтра иду к профессору на обычный просмотр моих успехов. Буду играть опять Шопена и органную фугу Баха, от которой я без ума. Уже заранее волнуюсь. У него каждое замечание открывает новые красоты в произведении. Знаешь, он надеется, что все-таки наступит момент, когда он сумеет протащить меня в консерваторию в свой класс.

Радостный щебет внезапно прервала печальная нота:

- Полковник Дидерихс заключен в лагерь. Его жена сама сообщила это бабушке в воскресенье у обедни.

Удар по больному месту! Последствие визитов в кабинет № 13!

Скрыть от Аси душевное волнение было делом почти безнадежным!

- Я не ожидала, что так взволную тебя, Леля! Прости. Ты там, у моря, отвыкла от наших печальных новостей. Я тоже стараюсь не думать. Знаешь, я, как страус, не смотрю на опасность, чтобы она меня не увидела.

Эта политика страуса не соответствовала привычкам Олега и Натальи Павловны. В семье никто кроме Аси не разделял ее. Наталья Павловна не могла забыть разговора с полковником и пожелала во что бы то ни стало выпытать у Лели не проболталась ли она кому-нибудь, кто мог явиться передаточной инстанцией. Это необходимо было установить, чтобы предостеречь девочку на будущее.

На другой день после возвращения Лели, Наталья Павловна позвала ее в свою комнату и задала вопрос совершенно прямо, воспользовавшись случаем, что ни Аси, ни мадам дома не было. Она была уверена, что получит ответ вроде ответа Аси или в худшем случае признание в неосторожности при разговоре с соседями. Не получая ответа вовсе, она оглянулась на девушку и увидела полные слез глаза и дрожавшие губы... Тайна, по-видимому, была более удручающего свойства!

- Говори мне сейчас же все, - сказала Наталья Павловна с тем самообладанием, которое ей не изменяло никогда.

Леля прижалась лицом к коленям Натальи Павловны, и худенькие плечи ее начали вздрагивать.

- Говори, дитя, - повторила Наталья Павловна.

- Олег Андреевич знает все. Пусть он расскажет, - едва смогла пролепетать между жалобными всхлипываниями Леля.

Наталья Павловна тотчас кликнула Олега, который был оставлен на этот час в качестве няньки при своем сыне и штудировал газету, сидя около детской кровати. Олег объяснил все дело без комментариев, но в заключение прибавил:

- Позволю себе заметить, что не могу считать Елену Львовну слишком виновной: устоять в такой обстановке нелегко! Прошу вас извинить ей вполне понятный в молодой девушке недостаток героизма. Елена Львовна как только могла старалась выгородить и меня, и Асю.

Наталья Павловна молчала, видимо глубоко пораженная.

- Перестань плакать, крошка! Я не собираюсь тебя упрекать. Ты попала в когти тигров, - сказала она наконец и провела рукой по кудрям девушки. - Выйди и успокойся. Мать твоя ничего не должна знать.

Когда Леля послушно и безмолвно вышла, Наталья Павловна в полуоборот головы взглянула на своего зятя, слегка закусив губы и полузакрыв веки, и этот немой взгляд вместе с бескровной бледностью лучше слов объяснили ему ее ужас.

- Олег Андреевич, что же это? Мы не на краю бездны - мы уже летим в нее. Как спасти этого ребенка? - спросила она.

- Ее надо спасать одновременно и от предательства, и от репрессии, и я пока не вижу способа, - сказал Олег. - Заявить на себя? Но моя явка ничем Елену Львовну, по-видимому, не выручит. Этот подлец выбрал ее своим орудием против целого ряда лиц: Надежда Спиридоновна, Дидерихс, Нина Александровна, а может быть и другие, о которых мы не знаем.

- Олег Андреевич, такая явка - не выход. Она поставит нас всех, в том числе и Лелю, в положение самое катастрофическое. Об этом даже думать не смейте.

Изящным жестом она поднесла к виску худую руку с двумя перстнями.

- Вы - глубоко верующая, Наталья Павловна. Вы знаете, где искать утешение и поддержку, и в этом я могу вам позавидовать, - сказал Олег, желаю ободрить старую даму.

Она ответила не сразу:

- Бог в последнее время суров ко мне. Мои молитвы не доходят. Я, очевидно, большая грешница.

И жестом отпустила его, точно аудиенцию заканчивала.

На другой день незадолго до обеда Славчик, заливаясь звонким смехом бегал по бывшей гостиной, а молодая мать ловила его, повторяя:

- Гуси-лебеди домой, серый волк под горой!

Мадам заглянула в гостиную и расплылась в умиленной улыбке. Наталья Павловна только рукой махнула. Олег, возвращаясь со службы, еще в передней услышал смех жены и ребенка. Как только он вошел в гостиную, оба устремились к нему навстречу. В обычае было подхватить на руки сынишку, поднять его вверх на протянутых руках, а потом поцеловать в мягкую шейку и поставить на пол; после этого точно так же поступить с женой, которая стояла обычно рядом, ожидая очереди. Но он ее не поднял в этот раз, и шаловливый блеск тотчас потух в ее глазах, которые сразу напомнили ему глаза испуганной газели.

- Что с тобой, милый? Случилось что-нибудь?

- Ася, меня уволили сегодня. Я ожидал, что это будет. Я держался только благодаря Рабиновичу, который желал иметь около себя толкового человека. А эти дураки уже давно подкапывались под меня; ну и докопались, как только представился благоприятный момент: Рабинович отсутствует уже третий месяц, всем известно, что он безнадежен. На его месте уже сидит другой, который лебезит перед партийной верхушкой: нашел нужным спихнуть меня по знаку дирижерской палочки. Газеты науськивают... Каждый день та или иная статья по поводу «белогвардейского охвостья». Ты понимаешь серьезность положения, Ася?

- Пустяки, милый! Может быть, все к лучшему: ты найдешь другую работу, где будешь меньше уставать – я ведь отлично вижу, что ты не досыпаешь и переутомляешься. Я пока наберу уроков, а вещей, которые можно продать, у нас еще целая куча – все эти бронзовые статуэтки и фарфоровые вазы нам вовсе не нужны, пожалуйста, не беспокойся!

- Я именно таких слов ждал, зная твое сердце, Ася! Но рассуждаешь ты еще совсем по-детски. Я уволен как политически неблагонадежный – это ведь волчий паспорт. Я помню, как трудно было устроиться на это место, а теперь будет еще труднее. Притом теперь выселяют из города в массовом порядке всех неблагонадежных. Меня могут пристегнуть к этому числу тем легче, если я в такой момент не буду состоять на государственной службе: тотчас отнесут к нетрудовому элементу.

- У тебя, Олег, брови почти срослись над переносицей. Славчик, посмотри, какая у папы морщинка! Влезай к папе на колени и давай сюда ручку – надо скорей ее разглядить. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк!

Когда Наталья Павловна узнала о новом осложнении, она тотчас потребовала Олега к себе, так как пожелала узнать, в какой связи по его мнению событие это стояло с визитами Лели к следователю. Олег был убежден, что связи нет.

- Поверьте, Наталья Павловна, увольнение с работы и возможная высылка за черту города направлены против меня как против Казаринова: я, так сказать, один из легиона тех, которые в общем порядке подлежат этим гуманным мероприятиям. Это резвятся местные власти – жакты и райкомы, руководствуясь общими инструкциями свыше. По отношению к князю Дашкову мероприятия исходили бы непосредственно от гепеу и носили бы не сколько иной характер.

Он не нашел нужным договаривать, какой именно – все и так было понятно.

В эту ночь Олег почти не спал: он ясно видел, что попал в положение человека, у которого выбивают из под ног почву. Угроза высылки за черту города становилась слишком реальна, возможность содержать семью ставилась под сомнение, при одной мысли об этом желчь и злоба душили его.

- Не нужно мне ни титула, ни состояния. Я готов жить своим трудом. Но эта вечная угроза, вечная травля хоть кого изведут! – думал он. – Ася еще настолько дитя, что не отдает себе отчета в нашем положении.

Он обернулся, чтобы полюбоваться ресницами, опущенными на нежные щеки, и увидел, что она осторожно приподымается и встает, неслышно ступая босыми ногами; вот она оглянулась на него, как будто желая удостовериться, что он за ней не наблюдает. Он в тот же момент закрыл глаза. Она прокралась к зеркальному шкафу и пролезла за его стенку в угол, который он прикрывал собой.

Прошло минут пять... десять... Она не подавала и признака жизни. «Что за диво! Что она делает там? Она простудится в одной рубашке, босиком...» – думал он и, потеряв терпение, окликнул ее по имени.

Она тотчас выскочила с самым растерянным и виноватым видом, словно застигнутая на месте преступления.

- Что ты там делаешь, Ася?

Она молчала.

- Ответь, пожалуйста. – сказал он строго.

- Зачем тебе это знать? Ничего плохого, ты понимаешь сам. Взгляни за шкаф – там никого нет.

Он усмехнулся.

- В этом я не сомневаюсь! Я не так глуп. Раньше свет перевернется, чем ты спрячешь в своей спальне мужчину. Тем не менее, знать я все-таки желаю.

Она потупилась.

- Молилась.

И закрыла лицо руками.

Секунда тишины, и его мысль уже потянулась к веревке, оставшейся в кармане. Но Ася отдернула ладони и быстрым шепотом стала объяснять:

- Среди дня у меня нет возможности. Я почти не остаюсь в комнате одна. Только, если я проснусь на рассвете, я могу иногда...

- Ты словно оправдываешься, Ася! А разве я тебя виню? Прости меня за мою нескромность.

И он поцеловал озябшую ручку.

Ася присела на край кровати.

- А ты почему не спишь, милый? Неужели уже семь часов? Подожди встать. Сегодня тебе торопиться некуда. Я принесу тебе в постель кофе. Я хочу, чтобы ты отдохнул.

- Что ты, голубка! Разве я позволю себе так благодушествовать? Кофе в постель! В моей жизни это было только однажды, когда я приехал к маме с фронта... Сегодня я с утра еду в порт за расчетом, а потом на поиски нового места. В манеже сейчас руководит верховой ездой Оболенский, он обещал попытаться устроить меня. Надежды мало, но я хочу испробовать каждый самый небольшой шанс. Нельзя допустить, чтобы в жакт поступило сведение, что я безработный. Они могут...

Она закрыла ему рот рукой, а потом припала к его груди.

- Мама! - зазвенел детский голос, и невольно они отпрянули друг от друга.

Проснувшийся Славчик встал в своей кровати, держась обеими ручонками за решетку. Щечки его со сна разгорелись, а большие карие глаза с выражением светлой и наивной радости смотрели на отца и мать из под растрепанных кудряшек.

- Проснулся, мой птенчик, снегирь мой! - воскликнула Ася и, выскочив босыми ногами из кровати, бросилась к ребенку и перетащила его на свою кровать, словно кошка котенка. Началась общая возня и смех. Часы с амурчиками и веночками пробили восемь. Олег спохватился.

- С вами тут чего доброго о всех делах забудешь! Довольно! Чур, первый занимаю ванную.

В столовой абажур, низко спущенный над затканной скатертью, серебряный кофейник, дорогой фарфор и старая дама с обликом маркизы напоминали дворянскую усадьбу прошлого века и, казалось, призраки ссылки и нужды не властны разрушить этого очарования! Олег снова и снова удивлялся мужеству Натальи Павловны, которая ни единым словом не выражала тревоги по поводу его сокращения; тема эта мелькнула только издали, когда тотчас после чаю Ася сказала бабушке:

- Я бегу в музыкальную школу: там в классе ансамбля можно достать иногда заработок за аккомпанемент виолончелистам и скрипачам.

В обычное время ребенок по утрам оставался на попечении: Аси, так как француженка уходила за покупками, а Наталью Павловну оберегали от возни со Славчиком; именно то, что Ася так решительно подкидывала ребенка бабушке, указывало на необычность положения.

Подавая жене пальто, Олег увидел у нее судок, прикрытый крышкой и бумажный промасленный пакет.

- Что ты это с собой тащишь? - спросил он с удивлением.

- Мне надо забежать сначала на чердак, - таинственно ответила она. - Видел ты серую кошечку, которая ютилась у нас на лестнице? Она в последнее время ходила беременная, а потом пропала. Я едва разыскала ее на чердаке. У нее теперь котята, а ее никто не кормит. Надо ей снести подкрепление, - и одевая берет, прибавила: - мне передавали, что молодой Хрычко ловит и вешает кошек на нашем дворе. Надо ему объяснить, что нельзя делать такие вещи.

- С Эдуардом лучше не связываться: словами тут не поможешь, - сказала Олег.

Ася нахмурилась.

- Но нельзя же оставаться безразличными к таким вещам! Кому-то вмешаться надо: слишком жалко животных. Я поговорю тогда со старшим Хрычко, он совсем незлой: он ласкает и нашу Ладу, и кошку курсанта, я это давно заметила. Если бы он не пил, то был бы совсем хороший человек.

- Еще бы! - усмехнулся Олег. - С Хрычко я лучше поговорю сам, а этот пакет оставь, перчатки перепачкаешь.

- Нет, нет! Надо отнести теперь же: кисанька совсем обессилела, худая, как скелет! - и она выскочила на лестницу. Он удержал ее за локоть:

- Бегать по чердакам ты находишь время, а гулять с сыном не успеваешь и рубашки мне опять не накрахмалила.

- Попроси мадам: она тебе не откажет, и сделает гораздо лучше, чем я. Забежать на чердак - пять минут времени, а это может спасти жизнь животному. Нельзя ставить на одну плоскость вопрос щегольства и вопрос жизни! - и умчалась.

Он взялся в свою очередь за пальто, чувствуя прилив уже знакомой досады. «Нельзя воспринимать окружающее сквозь призму одного только сострадания!» - Но тут же сказал себе: «А впрочем я счастьем своим обязан, по-видимому, не столько своей наружностью, сколько именно ее состраданию. Не лестно, но факт».

Спускаясь с лестницы, он уже представлял себе корпуса незнакомых заводов и холодные проходные, по которым ему опять суждено скитаться, за проходными - серые и скучные канцелярии и папки анкет с опостылевшими вопросами вроде: «Чем занимались родители вашей жены до Октябрьской революции?» или: «Ваша должность и звание в Белой армии?» Все это надо заполнять и вручать неприветливому, уже заранее оцетинившемуся служащему за канцелярским столом - жалкому прислужнику отдела кадров - сторожевого пса при грозном оцепеу. Все это, очевидно, неизбежные атрибуты пролетарской диктатуры и созданы они как будто со специальной целью добить в человеке последние остатки жизнерадостности и энергии.

## Глава двадцать шестая

Нина и Марина подымались по лестнице в квартиру на Моховой. Щеки им нащипал мороз, отчего обе казались моложе и свежее, но глаза были заплаканы и у той, и у другой.

- Сейчас согреемся горячим чаем, ноги у меня совсем застыли, - сказала Нина, открывая ключом дверь. И как только они вошли в комнату, Нина усадила Марину на диване и заботливо прикрыла ее пледом. - Отдыхай, пока я накрою на стол и заварю чай. Жаль, что у меня нетоплено, но я решительно не успеваю возиться с печкой. Я тебя сегодня не отпущу, ночевать будешь у меня: я ведь знаю, что такое возвращаться с кладбища в опустевший дом.

Через четверть часа она придвинула к дивану маленький стол и стала наливать чай.

- Не представляю себе теперь моей жизни! - уныло сказала Марина, намазывая хлеб.

- Не отчаивайся, дорогая! Первые дни всегда кажется, что нет выхода и неизбежна катастрофа, а потом понемногу силы откуда-то берутся, и снова цепляешься за жизнь. Неужели не сумеешь себя прокормить? Фамилия теперь тебе не мешает: это на наших дворянских именах проклятие, а ты уже не Драгомирова, а Рабинович, поступишь опять в регистратуру или в канцелярию... Кроме того, у тебя вещей много, можно «загнать» часы или чернобурку.

- Я боюсь, что многие вещи мне не отдадут.

- Кто не отдаст? Как так?!

- Его сестры. Если бы ты знала, что за особы эти жидовочки, особенно младшая, Сара. Пока Моисей Гершелевич был жив, обе перед ним на задних лапках танцевали. Да и как не танцевать? На курорт всегда за его счет ездили, ребенок у старшей за счет Моисея Гершелевича в пионерлагерь отправлялся и английскому языку учился - все почему-то Моисей обязан был им устраивать! Воображаю, как обе злились, когда видели, сколько его денег уходит на мои наряды! Однако волей-неволей молчали; ну а в последнее время обнаглели до такой степени, что я при одной мысли о встрече с ними домой возвращаться не хочу.

- С тобой живет, кажется, только младшая?

- Вот в младшей-то и все зло! Сарочка просто фурия: старая дева, безобразная, рыжая, в веснушках, завидует моей наружностью и туалетам, сама одеваться не умеет: в вещах видит только деньги, а вкуса никакого. «Этот мех - валюта! Эти перчатки, по крайней мере,

сторублевые!» - только, бывало, от нее и слышу!

- Пусть говорит, что хочет, но ведь не воровка же она, чтобы присвоить твою собственность! То, что дарил тебе муж - твоё неоспоримо.

- Воровка не воровка, а интересы мои ущемить сумеет. Ты не представляешь себе её наглости! На днях в моем присутствии говорит с сестрой по телефону и заявляет ей: «Моя русь присмирела, морду держит вниз». Это обо мне!

- Что?! - воскликнула Нина и ударила по столу. - И ты не дала ей по физиономии? Ты стерпела?

- Ты знаешь, я трусиха, и потом... у постели умирающего!...

- Вот это правда. Но какая, однако, наглость!

- Вот теперь видишь, а мне с ней жить придется! Пока Моисей был жив, она не смела подкусывать, ну а теперь вознаградит себя за все годы.

- Тебе надо изолироваться от нее, хозяйничай отдельно, а дверь в её комнату заколоты.

- Нина, какую дверь, в какую комнату? Она требует себе ту большую, в которой жили мы с Моисеем, а меня предполагает выселить в соседнюю, в проходную. Я тебе говорю: она мне житья не даст.

- Пстой, пстой, почему? На каком основании? И разве большая комната не имеет отдельного выхода?

- Не имеет, а права на эту комнату у Сарочки есть. Тут все напортила практичность еврейская: когда два года тому назад Сарочка эта свалилась к нам на голову из своего Бердичева, Моисей оформил большую комнату на её имя, так как ставка её была ниже и выходило выгодней с оплатой, ну а платил, конечно, сам, - и жили мы себе спокойно в большой комнате; ну а теперь она кричит на меня: «Пусть переезжает в проходную, большая комната принадлежит по закону мне!» Придется ютиться кое-как, а Сара будет ходить мимо в любую минуту.

- Да что ты! Печально. Пожалуй, и в самом деле ничего нельзя сделать.

- Конечно, ничего. А как она меня третировала в последние дни жизни Моисея! Она заметила, что я с больным теряюсь и не умею... Проходит, бывало, мимо и бросает мне: «Загляни хоть на минутку к супругу, верная жена!»

- Тебе, Марина, не надо было уступать ей свои обязанности: теперь у них негодование против тебя отчасти справедливое, ты им сама против себя оружие в руки дала.

- Поверь, что если б я просиживала напролет все ночи, было бы несколько не лучше! И разве мало мне досталось забот за эти месяцы? Я тебе, кажется, еще не рассказывала: ведь накануне его смерти, в пятницу, я осталась с ним одна на весь вечер. Врач еще заранее предупредил, что Моисей, может быть, и суток не проживет, а Сарочка все-таки ушла и оставила меня одну. Я сидела в соседней комнате, вдруг он начал стонать, и в эту как раз минуту зашевелилась гардина у двери в переднюю. Отчего-то я вообразила, что это Смерть вошла и вот проходит мимо меня к нему... Я вся похолодела, забралась с ногами на диван и дрожу: как нарочно я одна, в квартире пусто, зажжена только тусклая лампочка, а я боюсь встать, чтобы включить люстру. Он окликает: «Марина, ты здесь? Подойди!» А я молчу, боюсь выдать свое присутствие, шевельнуться боюсь... «Она тут, она меня заденет», - думаю, и, кажется, волосы шевелятся на голове. Так просидела я час или больше... только когда Сарочка зазвенела ключом в передней, я решилась вскочить и бросилась ей навстречу; как только другой, живой человек оказался рядом, сразу стало не так страшно. Я знаю, я виновата, что не подошла, не упрекай - я сама знаю, и это уже не поправить! - Она вытерла глаза. - Теперь они затевают семейный суд, - продолжала она после минуты молчания, - соберется вся их родня, и старый дядюшка, новый Соломон, явится разбирать, кому какую комнату и какие вещи. Вот еще удовольствие - являться в качестве подсудимой на еврейский кагал!

- Не отказывайся, Марина! Являться ты, конечно, не обязана, но этим ты проявишь уважение к их семье. Почем знать? Может быть, этот «Соломон» рассудит по справедливости. Мне кажется, что вещами тебя не обидят: они не такие люди... вся беда в комнате!

- Нина, тебе не кажется иногда, что все это только тяжелый-тяжелый сон, что в одно утро ты

проснешься и увидишь снова счастливую радостную жизнь вокруг себя, своих родителей живыми, анфилады комнат вместо этих грязных коммунальных углов и все чему пришел конец в восемнадцатом году?

- Я спую тебе один романс, - сказала, вставая, Нина, - это Римского-Корсакова.

Она подошла к роялю, зябко кутаясь в старый вязаный шарф, и, не подымая запыленной крыши и не открывая нот, взяла несколько аккордов и запела:

О, если б ты могла хоть на единый миг  
Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды!  
О, если бы я твой увидеть мог бы лик,  
Каким я знал его в счастливейшие годы!

И вдруг остановилась и, не снимая рук с клавишей, приникла к роялю головой:

- О, если бы и я могла хоть во сне, на минуту, перенестись в нашу гостиную в Черемухах... окна в сад, свечи на рояле, соловьиное пение, Дмитрий и наш влюбленный шепот... Ну, не плачь, Марина, не плачь! Не ты одна... у всех горе. Если тебе в самом деле станет невыносимо с твоей Сарочкой - забирай вещи и переселяйся ко мне. Мы обе одиноки - станем жить как две сестры, друг о друге заботиться...

Они бросились друг другу в объятия.

- Приедешь? Ну вот и хорошо!

Послышался стук в дверь и голос Аннушки:

- Лександровна! Выдь на кухню, тебя дворник ожидает! Не муж, не-е! Другой, Гриша. Бумага у него до тебя какая-то.

Нина насторожилась:

- Что такое? Какая бумага? Вот подумай только, Марина: я так издергана, что от слов «дворник» и «бумага» пугаюсь, сама не зная чего! Извини, я на минутку, - и она убежала.

Марина прилегла на диванную подушку и зябко натянула на себя плед. В ушах ее еще раздавались унылые речитативы кантора, поразившие непривычное воображение. «Как странно: мужчины у гроба в шапках, и никто не подходит прощаться и поцеловать чело усопшего! Мне не хватало «со святыми упокой» и «вечная память». Хотелось перекреститься, но я не посмела... Я ничего никогда не посмею. Одна я заплакала, когда закрывали гроб!»

От усталости она словно погрузилась в небытие. Из дремоты ее вывело прикосновение руки.

- Что с тобой, Нина? На тебе лица нет! - воскликнула она и села.

- Прочти, - сказала Нина и протянула ей бумагу.

- А что такое? «Предписывается не далее как в трехдневный срок покинуть...» Что?! «...покинуть Ленинград... не ближе как...» Что такое? Господи! - и Марина схватилась за голову. - Стоверстная полоса! Опять твой титул припомнили!

Обе умолкли. Нина тяжело опустилась на стул.

- Ну вот и кончено! Теперь пропали и комната, и Капелла, и мои выступления! Буду мыкаться в Малой Вишере или в Луге и петь по клубам за гроши Дунаевского! А Мика? Его придется оставить одного. А святая Елизавета Листа? Я должна была петь эту партию! О, недаром, недаром я так переживала арию в изгнании! Марина, я - без музыки! С искусством кончено. Сейчас я только вижу, как я была еще богата, и вот - теряю все!

- Безумие! Бред какой-то! - восклицала Марина. - Беги сейчас же в Капеллу, пусть похлопочет. Такого сопрано, как у тебя, нет! Партия разучена, увидишь, они заступятся!

- Заступится Капелла? О, нет. Ты плохо знаешь, Марина, наши административные порядки: пальцем не шевельнут, разговаривать даже не станут! Опальная - ну так убирайся! Бывали уже примеры, с Сергеем тоже так было.

- А местком?

- Местком уже давно потерял то значение, которое имел в двадцатые годы, считается, что теперь администрация своя, советская, и потому политика месткома не может войти в

противоречие с политикой администрации. Одна лавочка!... Я не буду петь; святую Елизавету! У Нины не нашлось и десятой доли той практической мудрости, которую проявила в подобные же минуты Надежда Спиридоновна: на следующий день она с утра побежала к Наталье Павловне, где, согретая сочувствием всей семьи, провела весь день и, разумеется, была оставлена к обеду. На прощанье она пела всему обществу арии из «Святой Елизаветы» и домой вернулась только к вечеру, сопровождаемая Асей, которая прибежала помочь ей в укладке и разборе вещей; но дома Нину ждали две артистки из Капеллы, которые, узнав о несчастье, пожелали выразить сочувствие, и дело кончилось опять музыкой и чаепитием. Только на следующий день с утра Нина побежала за расчетом; задержалась она долго и вернулась уже во второй половине дня, очень расстроенная. Марина, не дожидаясь ее возвращения и предвидя, что та ничего не успеет, самостоятельно начала складывать вещи подруги. Добрые гении Нины – дворник и Аннушка – тоже явились на выручку, и кое-что удалось наладить только благодаря им. Комната Нины, в 32 метра, была вся заставлена вещами: частично ее собственными, частично теткинскими, она была ровно в два раза больше Микиной; важно было сохранить именно эту комнату. Дворник обещал попытаться устроить в жакте, чтобы лицевой счет Мике перевели на эту площадь. С такой целью Мику спешно переселяли в комнату Нины. Олег, который явился предложить свои услуги, был мобилизован в помощь Мике по передвижению тяжелой мебели. Комната скоро оказалась настолько перегружена, что получила вид мебельного или комиссионного магазина: Мике предстояло передвигаться в ней, как в девственной чаще, и бросаться в свою постель прямо с комода. Вторая комната отходила немедленно в распоряжение РЖУ. Тысячи препятствий и самых нелепых запрещений лишали возможность передать эту комнату Марине, которая могла бы сохранить вещи и позаботиться о Мике. Марина сама сознавала эту невозможность и, страшно расстроенная всем происшедшим, заливалась слезами, укладывая вещи. Аннушка, никогда не терявшая головы, с утра замесила тесто и теперь пекла ватрушки, чтобы снабдить ими Нину на дорогу, и гладила ей белье. Это был всеобщий аврал перед бурей на океанском корабле. В самый разгар этой суматохи явился с работы Вячеслав и едва не наскочил на огромный шкаф в середине коридора.

- Чего это здесь происходит? Никак, въезжает кто-то? – спросил он, оглядываясь.

Ответы посыпались на него со всех сторон:

- Безобразия творятся, вот что! – крикнул Мика.

- Перегибчик опять! – ответил Олег.

- Да все твои коммунисты окаянные! – крикнула Аннушка и прибавила, энергично работая утюгом: – Чтоб им передохнуть, безбожникам! И как это терпит их Господь?

Вячеслав попросил более толкового ответа.

- Выгоняют меня на сто верст за черту города, – ответила Нина. – За что? Вы сами, Вячеслав, отлично понимаете, что опасна я быть не могу. Очевидно, опять моих мужей припомнили, по всей вероятности, я до конца моих дней за них в ответе буду.

- А как же ваше пение? Ведь вы же на государственной службе! – пробормотал юноша, соболезнующе глядя на нее.

- С работы в два счета сняли, рта не дали раскрыть: у нас недолго! – ответила Нина.

Он так же озадаченно посмотрел на нее и предложил свои услуги по передвижке мебели.

Утром, прежде чем уйти на работу, Вячеслав постучал к Нине, которая уже в вуали и шляпке ходила по своей разоренной комнате, ожидая Олега, обещавшего проводить ее на вокзал.

- Нина Александровна, я ухожу, хотел попрощаться с вами. Вы не унывайте... С вашим голосом вы везде... – и замялся, не зная, что сказать.

Но Нина всегда была к Вячеславу расположена и ответила очень тепло:

- Спасибо, Вячеслав, милый! Я знаю, что вы меня искренно жалеете. Надеюсь, что не пропаду. Я в свою очередь желаю вам всего самого лучшего: удачи и счастья и в работе, и в личной жизни, – и со своей приветливой открытой манерой протянула руку, которую юный пролетарий довольно неуклюже пожал.

В это время вошел Олег.

- А я вот работаю и не могу проводить Нину Александровну. У вас выходной сегодня? - спросил юноша, пожимая протянутую ему руку.

- Могу вам доложить, что со службы я уволен, и притом как политически неблагонадежный - с волчьим паспортом.

Вячеслав с изумлением на него взглянул:

- Да ведь вы, кажется, очень нужны были! Как же так могло случиться?

- А такова уж политика в нашем государстве: человек «с прошлым» необходимо выкидывать за борт. Сострадание несовместимо с классовый борьбой - так ведь?

Юноша угрюмо молчал.

- Однако сейчас не до разговоров, - продолжал Олег, - где ваши чемоданы, Нина?

- Прощайте, Аннушка! - сказала задрожавшим голосом Нина, подходя к старой дворничихе, и приподняла вуаль.

- Господь с тобой, Нинушка! Дай я перекрещу-то тебя моя касатушка! Махотной ведь я тебя знала, Нинушка, доченька моя ненаглядная, я в те дни еще в горничных у твоей матушки жила.

Нина уронила голову на плечо старушке.

- Спасибо вам, Аннушка, за любовь, за заботу! Мне не пересчитать всех тех пирожков и булочек, которые вы совали мне и Мике, всех тех чашек чая, которые вы приносили, когда я возвращалась с концертов усталая и некому было обо мне позаботиться. А эти вязанки дров, которые вы мне подкидывали! Я все помню, все знаю. И вы, Егор Власович, без вас я бы совсем пропала!

- Полно, барыня моя, полно! Чего это вы припоминать вздумали! - говорил дворник, теребя в руках шапку.

Вячеслав остановился у двери, наблюдая эту сцену.

- Ах, болезная моя! - всхлипывая и вытирая глаза передником, продолжала Аннушка. - Не на радость ты вышла за князя своего! Не зря в утро свадьбы в спальне твоей покойной матушки треснуло большое зеркало! Я тогда же сказала: к беде! Не будет ей счастья, нашей пташке-певунье, хоть и богат, и знатен, и молод князь, а счастья не будет, нет. Так вот и вышло: через год ушел к белым, а молодую жену одну в положении оставил. Очень возмущался тогда наш барин! А теперь вот уже 12 лет, как князь в могиле, а ты все, родимая, за него терпишь!

Олег болезненно хмурился, слушая эти причитания.

- Анна Тимофеевна, к чему вспоминать? Вы только расстраиваете Нину Александровну. Дмитрий Андреевич не виноват, что революция изломала жизни. Едемте, или мы опоздаем, - и он взялся было за чемоданы, но дворник стал отнимать их у него:

- Не допущу, ваше сиятельство, не допущу! Не годится! Я сам... Какая там грыжа! Уже давно зажила моя грыжа, и не может быть такого дела, чтобы я не посадил Нину Александровну в поезд, - и все-таки завладел чемоданами.

Мика забрал остальные, а Олег взял под руку Нину. Опустив вуаль на лицо, чтоб скрыть заплаканные и дрожавшие губы, она стала спускаться, оглядываясь на Аннушку, которая стояла на площадке, утираясь косынкой.

Лужский поезд уходил в девять утра, тем не менее на платформе ожидала большая группа провожающих. Мика ехал с Ниной, чтобы помочь с вещами и поисками жилья. Окончив весной школу, он устроился чернорабочим на завод и теперь успокаивал Нину, что сможет кое-как обеспечить себя. У него были, по-видимому, свои планы, которыми он ни с кем не желал делиться. Аннушка пообещала готовить и стирать на Мику, и с этой стороны Нина могла быть спокойна.

- Я буду приезжать, видеться мы, конечно, будем, - твердила Нина, - но мое пение, мое пение!...

Она тоже не плакала, только закусывала губы и хмурилась. Плакала одна Марина. Глаза Аси с сочувствием устремлялись на ее траурную вуаль, а Нина все время успокаивала ее, как

ребенка.

- Только и была у меня радость, что приехать с тобой поболтать, - шептала Марина, - кроме тебя у меня никого нет. Сознание, что твоя комната пуста, будет мне невыносимо. Потеря за потерей.

- Ну, полно, дорогая, - урезонивала Нина, - ведь я уезжаю не в Казахстан и не в Сибирь. Знаешь, блестящая идея: в Луге я, наверно, легко найду комнату. Плюнь ты на свою Сару и на проходную клетушку и переезжай ко мне. Я была бы так счастлива. Хочешь?

«Как бы не так!» - подумал Олег, слышавший эти слова, и бросил на Марину зоркий взгляд.

- В Лугу? - голос Марины упал. - Да ведь я тогда по советским порядкам потеряю ленинградскую прописку и навсегда останусь в этой дыре! Нет, я лучше буду приезжать к тебе почаще!

Свисток поезда прервал разговор. В туманном сером рассвете декабрьского утра в одну минуту скрылся из глаз провожающих Уходивший поезд. Кто будет следующий? «Не я ли, Господи!»

## Глава двадцать седьмая

Материальное положение в семье Натальи Павловны стало очень затруднительно. Каждую неделю приходилось относить что-либо из вещей в комиссионный магазин, несмотря на то, что старались жить как можно экономней; каждое утро Наталья Павловна и мадам совещались, каким образом свести к минимуму расходы дня, но жизнь выставляла свои требования, обойти которые было невозможно. Вести хозяйство было тем труднее, что в этой семье из четырех человек двое - Наталья Павловна и Олег - были «лишенцами» и вследствие этого не получали продуктовых карточек, обреченные законным образом на голодовку. Распределение по карточкам никакой роли внутри семьи, разумеется, не играло и служило только поводом к нескончаемым издевкам над правительством, которое не могло покончить с системой нищенских пайков и полуголодным режимом. Продуктов не хватало, а чтобы докупать у спекулянтов, не хватало денег. Олег раздобыл несколько уроков и лекции в пожарной части, но этого было слишком недостаточно. Положение безработного его тяготило и возмущало, а необходимость с утра оставаться дома и присутствовать при утренней черновой работе по дому казалась ему в высшей степени досадной и скучной. Вид еще не прибранных комнат, халатики и передники на домашних, восклицания и вопросы, с которыми обращались друг к другу женщины: «Ася, вымела ты гостиную?!» или «У Славчика опять нет запасных штанов, надо за стирку приниматься!» - все это вызывало в нем приливы досады и глухого раздражения. «Эта сторона жизни не для мужчин, - думалось ему, - мужчина даже на первобытной ступени развития всегда был занят вне своего очага - на охоте, на войне, на пастбищах. Когда возвращаешься со службы домой, где тебя ждут с уже накрытым к обеду столом, чувствуешь себя главой семьи, заслуживающим уважения. В часы отдыха с удовольствием поиграешь с ребенком, поможешь жене, но начинать день с бесцельного шатания по дому - значит потерять понемногу уважение к самому себе!»

Ася, по-видимому, угадывала его томление и в свою очередь болезненно переживала это новое осложнение, огорчавшее ее больше, чем отсутствие заработка. Она то и дело подходила к мужу и, заглядывая ему в глаза, говорила: «В гостиной уже прибрано, милый. Можешь сесть там читать». Или: «В спальне уже освежено, тебе там никто не помешает, а записки Талейрана, которые ты начал читать, на столике у окна». Он целовал ее в лоб, но досада не проходила. Не желая оставаться праздным он предлагал и свои услуги, но наиболее охотно исполнял поручения вне дома и скоро взял себе за правило гулять со Славчиком как раз в первые утренние часы, наиболее невыносимые, когда он решительно чувствовал себя лишним в этом женском царстве.

В одно февральское утро он подымался с сыном по лестнице, возвращаясь с прогулки, когда кто-то окликнул его снизу, и он увидел Вячеслава, нагонявшего его через ступеньку.

- Я к вам, Казаринов. Аннушка сказала мне ваш адрес. Это сынок ваш? У, какой хороший

бутуз! Похож, разбойник, на своего папу, - и Вячеслав протянул ребенку палец, который Славчик тотчас ухватил, причем весело и заливчато рассмеялся.

- Этому ребенку, может быть, лучше было вовсе не родиться на свет! - сказал Олег, в свою очередь не спускавший глаз с сына. - Представляете вы себе, Вячеслав, его будущее и те нескончаемые анкеты и репрессии, которым он будет подвергаться за своих родителей?

- Погодите, погодите, товарищ Казаринов! Не торопитесь с прогнозами! К тому времени, как этот ваш бутуз кончит школу, мы, может быть, уже покончим с классовой борьбой и сможем позволить себе роскошь не опасаться своих врагов, а может быть, их у нас уже не будет! Я к вам, товарищ, не войду. Я хочу только предложить вам место в приемном покое больницы, где сам работаю. Ставка небольшая, а все годится на первый случай. Я так полагаю, что на анкету у нас смотреть не будут: должность не ответственная, это вам не порт! А люди нужны: носилки таскать некому. Ближайшим начальством вашим буду всего только я. По рукам, что ли? - и он назвал адрес, уже знакомый Олегу.

Благодаря Вячеслава, Олег спросил: знает ли он медсестру Муромцеву? Но Вячеслав работал еще недавно и не успел перезнакомиться с персоналом больницы.

- Я все эти пять лет, пока учился сначала на рабфаке, а после на фельдшера, проработал на заводе, Казаринов. Теперь мне в больнице как-то еще не по себе. На заводе у нас уже слаженный коллектив был, ребята подобрались веселые, дружные, а здесь все друг на друга волками смотрят, общественная работа не ладится, кружков никаких. Дождаться я не мог того времени, когда начну работать по специальности, а теперь вот ровно бы жаль завода, - сказал он.

На следующее утро Олег появился в больнице, причем сразу же был удостоен почтительного поклона швейцара. Анкета и в самом деле на сей раз не помешала, и он был зачислен в штат.

В первый же день службы, укладывая на носилки кого-то из больных, Олег услышал обрывающийся голос:

- Товарищ санитар, как ваша фамилия?

Моментажно насторожившись, он повернулся и встретил странно-растерянный взгляд женщины, которая сидела на краю кровати; некрасивое лицо ничего не говорило ему.

- Казаринов, - ответил он и не устоял, чтобы не спросить намеренно придерживаясь советского жаргона: - а к чему бы, гражданочка, вам это узнать понадобилось?

Та поднесла руку ко лбу:

- Казаринов? Стало быть, я ошиблась... Извините: я приняла вас за человека, который... Вы не бывали ли в Феодосии во время гражданской войны?

«Вот оно что! Опять из Феодосийского госпиталя кто-то... - подумал он. - Буду избегать по возможности эту палату!» - и ответил

- Нет, не бывал, - а потом обращаясь к своему напарнику прибавил:

- Ну, тронулись, пошли!

В этот день в больнице должно было состояться общее собрание, которому предшествовал редко наблюдаемый ажиотаж: Олег слышал, как в санпропускнике одна из санитарок повествовала другой:

- Старый дохтур сказал, вишь, бес в ее и взаправду вселился, потому как и бесы, и Христос, Царь Небесный, есте, и это только жиды уверяют, что ни Господа нашего, ни бесов в заводе нет. Это, вишь старый; ну, а молодой - тот на дыбы: это-де контра! Ни бесов, ни Богу нетути, ты, такой-сякой, видать, из прежних господ, и я тебя на собрании на чистую воду выведу!

Позднее, проходя с носилками через коридор, Олег услышал, как один молодой врач сказал другому:

- Сегодня на собрании старого невропатолога за отсталую идеологию крыть будем.

Вслед за этим фельдшер в санпропускнике сказал Вячеславу:

- Уж уконтропупят сегодня нашего старика!

Но Вячеслав, к которому Олег обратился за разъяснениями, знал только начало истории: «на нервном» появилась в женской палате истеричка, которая убедила себя, что ее атакует

нечистая сила, требуя от нее кощунственного акта; недавно, ночью, больная эта перепугала всю палату и дежурный персонал, уверяя, что увидела в уборной безобразное существо, похожее на лягушку и немного на обезьяну. При этом женщина тряслась и плакала, так что пришлось вызвать дежурного врача, который с трудом водворил порядок.

Кого и за что собирались «крыть», Вячеслав не знал, но можно было предполагать, что столкновение двух невропатологов имеет отношение к этой больной.

- Придем на собрание, узнаем, - закончил Вячеслав.

Но на собрание они опоздали, задержались в приемном покое, и пришли, когда на трибуне уже ораторствовал один из врачей, как оказалось, молодой невропатолог:

- Мы имеем налицо выраженную истерию, почвой для которой являются религиозные представления, в данном случае представления о нечистой силе и одержимости. Какие же объяснения представил мой уважаемый коллега досужим бредням этой истерички? Я могу процитировать его слова, за точность которых ручаюсь: «Народное представление об одержимости вовсе не так нелепо и не лишено под собой почвы: чужая, темная воля подавляет в этих случаях человеческую, а тело человека используется одержителем как орудие для своего проявления». И еще: «До тех пор, пока психиатрия и невропатология не примут несколько истин оккультного порядка, они не смогут успешно бороться с такими явлениями, как мании, навязчивые идеи, галлюцинации, идиосинкразии...» Товарищи, да ведь это уже отдает теософией! Но когда я указал на этот факт моему уважаемому коллеге, он ответил: «Я говорил с вами, как с другом и с коллегой, и надеюсь, что разговор этот останется между нами». Но я не придерживаюсь ни отживших понятий, ни отжившей морали, в наше время сознание каждого должно быть подчинено контролю общества; кто умеет убеждать, пусть умеет отвечать и за свои слова! Я лично отмежевываюсь...

«Совсем плохо!» - подумал Олег, всматриваясь в головы присутствующих и стараясь решить, которая принадлежит человеку, позволившему себе высказать свою задушевную мысль.

На трибуну тем временем поднялся помощник директора по научной части еврей Залкинсон, который не ожидал, не мог предположить, не мог думать... и теперь потрясен, поражен и не допустит... Потом начали высказываться коллеги-врачи, причем каждый в свою очередь спешил отмежеваться от товарища и доказать, что не имеет с ними ничего общего. Наконец в первых рядах поднялась фигура в белом халате, с длинной бородой и высоким лбом; старик попросил слова и, поднявшись на трибуну, сказал:

- Я признаю жизнь человека одновременно на нескольких планах: физическое тело, по моему глубокому убеждению, есть только проекция на один план. Душу признаю и в Бога верю, и без Его святой воли волос с моей головы не упадет!

Но его уже перебили:

- Мракобес! Церковник! - раздались усердные выкрики с мест.

Молодой электромонтер попросил слова и крикнул:

- Человеку, отравленному религиозными предрассудками, не место в рядах советских ученых! Кто вам позволил, гражданин профессор, с этой высокопоставленной трибуны так выражаться? Олег обернулся на Вячеслава:

- Ну, с этой «высокопоставленной» трибуны ни одного слова в защиту, разумеется, не прозвучит! - шепнул он.

- Ошибаетесь! - отрезал Вячеслав. - Товарищ председатель, разрешите теперь мне! - и начал продираться вперед.

- Товарищи! - и что-то молодое, бодрое, смелое зазвенело в этом голосе. - Чем, скажите, мы сейчас заняты? Ведь мы топим человека! Все словно сговорились спихнуть в воду одного старого, да еще заслуженного работника! Религия, конечно, дело отжившее, дело вредное. Религия усыпляет разум трудящихся и ослабляет их волю к борьбе с гнетом эксплуататоров. Товарищ Ленин и Сталин правильно учат вести борьбу с религиозными предрассудками. Однако же это еще не значит, что каждый верующий человек - наш враг! Верующих еще у нас сотни тысяч! наших советских граждан! И мы должны им помочь освободиться от старых

предрассудков, а не топить их за это. Товарищи, давайте разберемся: враг тот, кто с нами воюет, а этот человек работал с нами; враг тот, кто вредит исподтишка – ползет, прячется и ударяет в спину, а этот человек говорил прямо, сам высказал свои мысли в дружеской беседе; коли мы его взашей вытолкаем, мы только сраму наберемся! Всякий о нас скажет: у, предатели! Все они, коммунисты, такие! О нас и так уже довольно дурного говорят, и очень уж разрослась у нас эта нездоровая атмосфера доноса. Неожиданно это, товарищи, дело! Партия учитывает удельный вес человека, и тому, кто большую пользу приносит, можно извинить другой раз то, чего нельзя извинить мне. А людей, которые не боятся говорить прямо, надо всегда ценить – такие-то нам и нужны! Вы вот не любите нас, товарищ профессор, а мы еще с вами друзьями заделаемся, мы вас еще перевоспитаем по-своему.

В президиуме перешептывались, и наконец председательствующий сухо окликнул:

– Время истекло: закругляйся, Коноплянников!

Вячеслав оглянулся на красный стол и угрюмые лица людей, сидевших за ним.

– Сейчас закругляюсь. Да здравствует революция на всем Земном шару! – оборвал он и сошел с трибуны.

Когда собрание кончилось, Олег и Вячеслав вышли вместе. Оба одновременно глубоко вздохнули: морозный воздух был, конечно, очень приятен после душного зала, но этот вздох как будто затаил в себе еще нечто.

– До чего же исподличались люди за эти пятнадцать лет! – сказал Олег, закуривая. – В прежнее время предательство считалось позором, и решиться публично на предательство – значило быть выброшенным за борт в любом прежнем обществе: в военном ли, учебном ли, в студенческом ли, в рабочем ли – все равно! Я знаю случай, когда студента, заподозренного в сношении с Третьим отделением, открыто бойкотировали все: никто на всем курсе не подавал ему руки. Помещики никогда не принимали у себя жандармских офицеров. Когда шел процесс над декабристами, было широко известно, что целый ряд лиц, из самых аристократических кругов, осведомлен о существовании союза, и, однако же, никто не репрессировал их. Известен разговор Николая Первого с молодым Раевским. Император спросил: «И вы не сочли долгом сообщить мне?!» А тот ответил: «Такой поступок не вяжется с честью офицера, ваше величество!» И Николай пожал ему руку со словами: «Вы правы!» В те дни сочли бы подлостью то, что вы называете «отмежеванием». Я вспоминаю историю в Пажеском корпусе при Александре Втором. Мне она хорошо известна, в нее был замешан мой отец: группа кадетов была уличена в неповиновении и шалости, за которую грозило исключение. В заговоре была вся рота, иначе говоря, класс; пойманы несколько человек, которые, разумеется, отказались выдать товарищей. Дело, однако, не в этом, интересна реакция начальства: прибегли к авторитету императора, который ответил: «Мои будущие офицеры иначе держать себя не могут – предателей вы из них не сделаете! Немедленно выпустить из карцера!» Вот как говорили императоры – а ваш вождь призывает к массовым доносам и утверждает высслеживание как доблесть! Картина, которую мы наблюдали сейчас в зале, возможна только при вашей системе власти, Вячеслав.

– Коли вы все это говорите, Казаринов, чтобы повернуть меня в другое русло, так не надейтесь по-пустому: болезни и недостатки наши я и сам отлично знаю, но делу нашей партии не изменю, так как наше дело все-таки правое.

– Я никуда не собираюсь вас тащить, мой юный друг. Мне слишком опротивело идейное насилие, чтобы я вздумал применять его сам. Но всегда молчать не могу: у меня в груди все клокочет!

– Мне жаль вас, Казаринов, человек вы хороший и субъективно честный, а вот не видите, что ровно в бездну катитесь!

Олег бросил на него быстрый пронизательный взгляд:

– Я в этой бездне, конечно, буду, но я делаю все, чтобы это случилось как можно позднее; а вот вы, Вячеслав, легко можете оказаться собственным могильщиком: в эту бездну вы тоже скатитесь, я убежден!

Вячеслав сдвинул на затылок свою фуражку и, провожая внимательным взглядом промчавшийся грузовик, спросил:

- А что, та девчонка, кузина вашей - вышла она уже замуж?

- Нет, Вячеслав. Еще не вышла. Это теперь не так легко.

- Конечно, нелегко! Господ офицеров бывших не так уж много осталось: спились с тоски, которые не засажены... а другие новыми Азефами соделались; один вот тут в комиссионном магазине оценщиком служит, цены накручивает не хуже спекулянта, а сам весь - как петух. Чем не жених? - и, кивнув Олегу, он свернул в переулок.

Из темноты просунулась к ногам Олега морда бульдога с выпяченной губой и круглыми, навывкате, глазами... «Совсем таким был мой Али-Баба и так же сопел, натягивал цепочку». Вспомнился отцовский лихач, набережная Невы и Али-Баба под медвежьей полостью. Породистые собаки стали так редки, что поневоле ассоциируются с минувшим... Недавно на улице незнакомая дама расплакалась при виде пуделя Аси... Удивляться нечему: для нее пудель, очевидно, тоже связывался с воспоминаниями о собственной семье, собственных квартирах и мирных, милых радостях... Невыносимо мрачен советский Петербург, бишь - Ленинград!

Еще из передней он услышал печальную певучую мелодию, переплетавшуюся с подголосками в левой руке, и увидел с порога склонившийся над роялем ясный лоб.

Он приблизился и поцеловал голубые жилки на виске.

- Славчик гулял сегодня?

Она кивнула, продолжая наигрывать.

- Что ты исполняешь? Мне это как будто незнакомо.

- Мое сочинение, - ответила она, все еще не снимая рук с клавишей.

- Так и есть! Я как раз подумал, что мелодия эта своей прозрачностью напоминает мне твой лоб. Я хочу выслушать с начала.

- Нет, нет! Еще не готово. После когда-нибудь, - она захлопнула крышку и встала.

Он привлек ее к себе.

- Я сегодня столько наслушался отвратительных разглагольствований. Хочу забыть. Сыграй мне свой прелюд... или, может быть, это ноктюрн?

- В смысле формы это, скорее всего, фантазия, - ответила она, но все еще неохотно, точно желая отделаться. - Я очень много вложила в это души, но до сих пор не могу закончить и устранить две-три шероховатости... А задумано было давно... - и тут в голосе ее зазвенели душевные ноты. - Помню, дядя Сережа повез меня раз на август месяц в тихую деревеньку под Лугу. И вот раз осенним вечером, когда дядя Сережа был где-то на рыбалке, я шла одна в полях, собрала букет, растрепанный, пестрый, были там иван-чай, медуница, осенние ромашки... уже свежело и темнело... пусто-пусто было в поле и тихо, туман засеребрился, и холодком повеяло. Я шла позже, которая вся заросла запоздалой анютиной глазкой, я озябла и заторопилась домой... И вот издалека, из церкви, которая чуть видна была на краю леса, донесся церковный благовест. Был канун Успенья, шла всенощная. Почему-то я вздрогнула и букет уронила, рассыпала... Мне что-то особенное показалось в этом звоне, что-то грустное и вместе с тем торжественное и странно родное... Звон все разрастался, гудел и переносил меня в прошлое - в те стародавние времена, когда чище, проще было у нас на Руси, когда в лесных чащах воздвигались одинокие кельи и монастыри, такие, как Сергиевская обитель, где печалился за свою Родину Сергей Радонежский и приносил свои великие молитвы на коленях в чаще. Знаешь, ведь медведи ложились к его ногам и, говорят, молились с ним. Перед Куликовой битвой Дмитрий Донской провел туда глухими тропами свою рать и склонил свои знамена к ногам святителя. В этом звоне со мной как будто заговорила душа России, он был как стон родной земли, а последняя яркая полоска заката - как кровь... Мне и плакать хотелось, и молиться! У России так много было горя, и оно все не залечивалось, не проходило... Я помню: на небе и в поле темнеет, а я стою и стою. Может быть, я была под впечатлением корсаковского «Китежа» и потому могла так перечувствовать именно звон, но долго потом я

оставалась под впечатлением этой минуты... Теперь колокольный звон уже запрещен повсеместно.

Они помолчали.

- Знаешь, - и руки ее потянулись к нему. - Я никогда не сделалась бы эмигранткой! Наша Русь и в самые горькие години остается величественной и святой, и грешно, мне кажется, покидать ее ради собственной безопасности.

Брови Олега сдвинулись, словно от боли.

- Стон родной земли... Это ты хорошо сказала! Смотри же, не откладывай работы над своей импровизацией, чтобы я успел ее услышать.

Взгляд, полный тревоги, нежности и страха, мелькнул ему из-под ее ресниц, и он тотчас подумал, что не следовало произносить этих слов, которые вырвались почти невольно.

- Играла ты своему профессору эту вещь? - спросил он, желая дать разговору другое направление.

- Мой профессор запрещает мне сочинять, - грустно ответила она. - Не хочет, чтобы я отвлекалась от исполнительства.

«Это показывает, насколько она талантлива!» - подумал Олег и вспомнил недавнюю встречу с Юлией Ивановной на пороге музыкальной школы. Юлия Ивановна сказала, указывая на Асю:

- Эта девочка занимается ребенком, мужем, собакой, импровизациями, но только не уроками. Нам, русским, к несчастью свойственно не беречь наши таланты.

В этих словах ему тогда же почудился упрек, а между тем сама Ася никого не требовала внимания к своему дарованию и ни разу не пожаловалась, что в семье недостаточно ценят ее, и что он и его ребенок отрывают ее от музыки... Была ли то скромность или недооценка?

Мысли его странно прикрепились к брошенным ею образам: весь этот день он не мог оторваться от мыслей о горе России и, поймав жену за рукав, спросил:

- Что же ты считаешь горем России, скажи?

- Ах, ты опять о том же! Самые большие, я думаю, татарщина и крепостничество, а вот теперь - большевизм. Но ведь ты лучше меня знаешь историю. Пусти! Славчик плачет! - и убежала.

«В крепостничестве повинен прежде всего дворянский класс! Горе России лежит на совести моих предков, - подумал он, выпуская ее руку. - Колокольный звон Аси говорит о третьем горе - большевизм, именно большевизм, а не революция. Большевизм - время расплаты. Не послужит ли искуплением приближающееся ко мне возмездие?»

Около часа ночи Олег, уже собираясь заснуть, протянул руку к выключателю, и в эту минуту глухой стук грузовика привлек его внимание.

- Машина... около нашего подъезда... в такой поздний час... I Что это может быть? - проговорил он, прислушиваясь.

Ася села на постели. Минуты две они не шевелились.

- Уехал. Все. Спи, дорогая, - сказал Олег, оглядываясь на жену.

Она не ответила улыбкой.

- Я знаю, о чем ты подумал. Я все знаю, - содрогнувшись, прошептала она.

## **Глава двадцать восьмая**

В это декабрьское утро все женщины в квартире проснулись не в духе.

«Боже мой, Боже мой! В моем портмоне только пять рублей, а получка у Олега Андреевича еще нескоро и, наверно, будет ничтожная... О, милое пролетарское государство! Довольны, хамы? Не ценили того, что имели, пожелали господами стать, получайте теперь: карточки, очереди, фининспекторов и коммунальные квартиры. Мне такое существование и постоянные угрозы становятся не под силу, а тут еще Ася в последнее время осмеливается возражать... Зараза, страшная моральная зараза... она носится в воздухе!» - думала самая старшая, надевая утренний капот.

В это же время француженка, стоя у закипавшего чайника, говорила сама себе:

- Что за медлительный народ! Mon Dieu! Уже пятнадцатый год, а все нет реставрации! Лишь бы хватило у нас сил вытянуть! Oh, le pauvre m-ieur Prince! [100]

«Только бы ничего не случилось... Я все время беспокойна! - думала самая младшая. - Олег так мрачен, а с бабушкой стало очень трудно теперь; я во всем виновата: и что голубей кормлю, и что вещи разбрасываю, и что из дому ухажу будто бы надолго... Я забежала к Преображению на одну минуточку по дороге с урока и весь обратный путь бежала бегом, а все-таки осталась виноватой! Что значит, казалось бы, наша мелкая озабоченность и эти хлопоты с обедом и приборкой перед тайной заклания Сына Божьего в алтаре, а мы устроили свою жизнь так, что не можем найти время остановить мысль на великом! Вот и для рояля тоже не остается времени... Мой мальчугаша не дает заниматься своей маме! У, бяка! Целый день суета с тобой!» - и невольно просияла улыбкой, глядя, как этот бяка со спутанными кудряшками скачет в своей кровати.

В кухне на подоконнике стояла Клавдия Хрычко, и, высунувшись через форточку в синеватую морозную мглу, еще окутывавшую двор, кричала сыну, которого поспешила выпроводить на прогулку:

- Павлютка-а! Гляди: около дворницкой белье с веревок снимали, а наволоку уронили - подыми да принеси. Скорей, не то кто другой подберет! Экой неповоротливый!

Уже спрыгнув с подоконника, она увидела Асю, которая вошла с подносом посуды.

- Дивитесь небось меня, Ксения Всеволодовна? Нехватки ведь у нас, нужда... воровать я бы в жисть не стала, а поднять... почему не поднять?

- Зачем вы, Клавдия Васильевна, выпустили на прогулку вашего Павлика? - спросила вместо ответа Ася. - Ведь он простужен, к нему бы надо вызвать детского врача!

- А вы уж заметили? Больной он, точно. Я ужю сахарцу жженого с молоком выпить ему дам. Жалостливая вы, Ксения Всеволодовна. Изю всей вашей семьи одна вы такая. Муж ваш и бабка и мадама ваша волками на нас глядят, нешто я не вижу? Я вам от нашего пирожка ломтик отрезала, вот, берите, вы, я знаю, не побрезгуете. Кушайте на здоровье, - она присела на табуретку. - Извелась я, Ксения Всеволодовна! Едуард мой окаянный грубит, бродяжничает, учебу вовсе бросил, со школы приходят, требуют, чтоб явился в классы, грозят, что выгонят за хулиганство: переросток, говорят. А где я его возьму, когда он котору ночь дома не ночует? С мужем тоже беда: я у него отобрала да под матрац запрятала пятьдесят рублей из евонной зарплаты, дрова хотела купить, оттого что ордеру срок, а он выкрал вечер, как я в баню ходила, да пьяным воротился. Одолжите на дрова, Ксения Всеволодовна, не то пропадать ордеру. Я не забыла, что уж задолжала вам, не опасайтесь: я ужю верну все.

Но ответ был не тот, на который она надеялась.

- Извините... у меня нет: бабушка не очень любит, когда я распоряжаюсь деньгами... Завтра, если я получу за урок, тогда... сколько смогу... с тем только, чтоб опять никто не знал. А к вашему Павлику я сейчас по телефону доктора вызову.

Ася убежала, перекинув через плечо полотенце, вышитое еще старыми владимирскими кружевницами. Другая жилица, жена военного курсанта (которого все величали за глаза «красным курсантом»), приблизилась к своему примусу; сознавая превосходство своего супруга над прочими мужчинами в этой квартире, она держалась заносчиво.

- Вечно клянчите! Охота унижаться перед этими господами! Они вас в грош не ставят! Девчонка эта дура, умеет только ресницами хлопать. С такими, как вы и она, не построишь коммунизм. Вот погодите: покажут вам при паспортизации!

Олег работал теперь посменно, он только вернулся с ночного дежурства и строил Славчику дом из кубиков.

«И все-таки я счастливая по сравнению хотя бы с этой! Клавдией Васильевной, которая одна несет на себе все тяжести! и заботы! Мои мальчишки - большой и маленький - такие милые и родные!» - думала Ася, вернувшись в комнату и любовно созерцая мужа и сына.

Нервы, однако, были уже так напряжены, что раздавшийся звонок заставил ее вздрогнуть. Олег вышел отворить, а она осталась около ребенка, тревожно прислушиваясь.

«Я всегда боюсь этих длинных повелительных звонков! Это кто-то из официального мира, наши друзья звонят иначе... Только бы не повестка о выселении нас, как «элемент». Будь милостив, Господи!»

Маленькие пальчики сжались в крестное знамение.

Олег вернулся, имея очень раздраженный вид.

- Что? Что? - воскликнула она, бросаясь к нему.

- Очередная мерзость! Открываю - незнакомая женщина, которая рекомендует: медсестра из вендиспансера: почему не является на лечение Эдуард Хрычко? Этот шестнадцатилетний бродяга с именем английского лорда - сифилитик! Ты понимаешь ли, что это значит? Мальчишка лишен всякого чувства порядочности: он способен выпить в кухне из чужой кружки и поставить ее к чистой посуде - я это сам наблюдал однажды. Вот удовольствие - жить с подобными типами!

Молодая женщина, растерянно глядя на мужа, пролепетала:

- Но мне кажется дело вовсе не в нас... Хрычко все в одной комнате... у них ребенок... Что будет с ними?

Олег перебил ее.

- Меня очень мало интересует Хрычко. Я думаю о своей семье. Пойду объясняться передать все-таки надо. Любопытно, что вопрос о врачебной тайне, по-видимому, вовсе отмечается в советской медицине! Ну, да в наших условиях это, пожалуй, правильно.

Она выбежала за ним и настигла в коридоре.

- Олег! Я боюсь, подыметесь шум... я так боюсь и не люблю шума... говори как можно мягче...

Говорить с главой семьи было, однако, не так просто. Когда Олег обратился с вопросом: «Товарищ Хрычко, известно ли вам, что ваш сын - венерический больной?» - тот только хмыкнул, и никак нельзя было понять, служило это выражением отрицания, утверждения, негодования или удивления. Олег начал было излагать свои претензии, но Хрычко перебил:

- А вам-то что до того? Мы ведь в ваши дела не мешаемся! Вечер я в жактовской конторе стоял, так слышал, упоминали там, что райсовет включил и вас в списки намеченных на выгонку, а вы еще хозяев из себя изображаете!

«Мадам» Хрычко тотчас подскочила на помощь к мужу:

- Уж так-таки и больной? Да откуда же вам известно-то? Больно на выдумки горазды! Уж не у доктора ли встретились? Не трогал бы вашу посуду? А он и не трогает! На что она ему?

Олег питал непреодолимое отвращение к бабьему крику и истерическим возгласам и, не желая продолжать в таком тоне разговор, тотчас предложил перенести его на вечер, когда соберутся все жильцы. Он рассчитывал в этот раз на авторитетную поддержку красного курсанта. Принцип «разделяй и властвуй» мог иногда оказаться весьма полезным в коммунальной квартире.

Ася стояла лицом к шкафу и не повернулась, когда он вошел; это показалось ему подозрительным. «Наверно, услышала о списке из райсовета», - подумал он и повернул ее к себе с вопросительным взглядом.

- Сейчас такой хороший снежок! Я поведу гулять Славчика а ты ляг: ведь ты всю ночь не спал, - голос прозвучал несколько жалобно, но взгляд его она выдержала спокойно.

Одевали Славчика вместе: стоя на одном колене перед стулом, на котором сидел ребенок, Олег натягивал ему шерстяные рейтузы и крошечные валенки; Ася - такие же крошечные варежки, привязанные к тесемке, и шерстяной с расчесом капорчик. Розовые щечки и темные глазки ребенка казались такими милыми, что все время хотелось целовать это существо; мало что целовать - смять, прижать к груди. Славчику все время грозила опасность быть задушенным.

- Я сам снесу его, он становится тяжелым! - и, схватив ребенка на руки, Олег сбежал с лестницы и поставил Славчика на снег, после чего тотчас убежал, так как был без пальто. Ася взяла сына за ручку и направилась к скверу. Два милиционера поравнялись с ней. Тревожно, как затравленный зверек, она обернулась на них.

«Входят в наш подъезд... А вдруг к нам?»

Она схватила ребенка на руки и повернула обратно. Славчик был в самом деле уже тяжелым, и она добежала только до второго этажа, когда в третьем послышался звук отворяемой двери.

«Кажется наша!» – подумала она, прибавляя шаг.

Да, это была их дверь! Милиционеры уже выходили, а ее муж стоял на пороге!

- Что? – уже во второй раз в это утро спросила она, останавливаясь и тяжело дыша.

- То, чего мы ждали, – и он показал повестку.

Она спустила с рук ребенка.

- Куда?

- За сто верст.

- Тебя или нас всех?

- К счастью, только меня.

Она молчала.

- Ася, это еще не катастрофа... Не расстраивайся, дорогая! Это только очень большая неприятность. Я опять лишаясь работы – вот главное осложнение. Раздевайся, сейчас спокойно обсудим.

Она послушно разделась и раздела ребенка.

- Я боюсь только разлуки! Ничего другого я не боюсь. Я уверена, что мы еще очень хорошо будем жить... – прошептала она дрожащим голосом.

- Совершенно верно, дорогая: из каждого положения есть выход и мы его найдем. Ты у меня храбрая, мужественная девочка.

Семейный совет был очень серьезен на этот раз: и Олег, и Наталья Павловна, и мадам категорически настаивали, что Асе с ребенком уезжать в Лугу невыносимо. На это было несколько слишком серьезных оснований: Асе оставалось всего полгода до окончания музыкальной школы, иметь хотя бы этот диплом (за невозможностью получить консерваторский) значило уже очень много: диплом этот давал Асе право работать преподавательницей в детских школах и аккомпанировать. Далее, если Ася вздумает ехать с мужем, она немедленно потеряет комнату, а следовательно, и возможность вернуться, и окажется территориально отрезанной от Наталии Павловны. Кроме того, в Луге (согласно сведениям из письма Нины) свободных жактовских комнат нет, устроиться по-семейному невозможно, кроме как за очень большие деньги у частных владельцев дач. Денег этих не было – стало быть, деваться с ребенком некуда, и рояль вывезти тоже некуда. И, наконец, у Аси имеется небольшой заработок в виде аккомпанементов и уроков; бросать его теперь, когда Олег снова без работы, было рискованно.

Оставалось пока ехать одному Олегу, снять угол и попытаться раздобыть работу, а сюда наезжать в выходные дни.

- К счастью, дело к весне, – говорил Олег, – если я найду в Луге работу, я сниму там комнату в частном доме, а ты на лето приедешь ко мне со Славчиком. Осенью видно будет, жизнь сама подскажет, как поступить.

Это был день непрерывных неожиданностей: из передней вдруг послышался визг Клавдии и звуки, напоминающие рычание собаки: старший Хрычко волочил за шиворот упирающегося Эдуарда, награждая его ударами кулака.

- Папка! Ты убьешь его! – отчаянно голосила Клавдия. – Помогите, добрые люди! Он искалечит парня! Экие бесчувственные тут все! Хоть умри на их глазах – не вступятся!

Вступаться и в самом деле никто не пожелал.

Через час явившийся по вызову Аси детский врач диагностировал у маленького Павлика корь.

Семье Хрычко в этот день не везло так же, как и семье Дашковых!

Кори никто особенно не боялся, но заполучить ее Славчику означало, что Ася будет связана по рукам и ногам, а это было теперь особенно некстати. К концу дня Славчик уже начал чихать, и у него покраснели глазки: очевидно, оба ребенка захватили заразу одновременно.

- Никуда не поеду, пока не опустится температура, – заявил Олег, обнаруживая на термометре тридцать девять градусов, пусть хоть силой тащат!

В этот злополучный день они умудрились поссориться, может быть потому, что нервы у обоих были слишком напряжены. Олег вошел в комнату, когда Ася цедила через ситечко клюквенный морс в белую эмалированную кружку, из которой обычно пила Славчика; наполнив ее, она отцедила столько же в другую кружку.

- А кому предназначается вторая порция? - спросил шутя, уверенный, что она ответит «тебе», и уже готовый сказать «отказываюсь в пользу белой Кисы», но она только нахмурилась. Он хорошо знал эту морщинку на белоснежном лбу: она появлялась очень редко и именно потому он привык относиться с уважением к этой морщинке, выражавшей несогласие; идти в этом случае наперекор значило идти на ссору, после которой он в качестве виновного все равно шел с повинной, так как в этих редких случаях Ася не уступала: затрагивалась ее очень большая внутренняя уверенность в правоте своего поступка, и только в этих случаях в ней появлялось упорство вместо обычной мягкости.

- Ты, кажется, забыл, что в квартире не один больной ребенок, а двое? - и в интонации ее прозвучал вызов.

- А! Понимаю! Опять на сцену маленький выродок с черепом отсталой расы. Таких черепов никто еще никогда не видел у русских детей, - сказал он с оттенком досады.

Морщинка между двух тонких бровок стала еще явственней.

- Я помню, как-то раз в деревне женщина-крестьянка меня упрекнула за мою жалость к собаке; она сказала: «У вас, у бар, животное завсегда перее человека». Я напрасно ее убеждала, что собака чувствует как человек холод, голод и обиду. Теперь придется убеждать моего мужа, что ребенок чувствует лишения независимо от формы своего черепа.

- Нет, ты сама мне лучше объясни, - возразил он, задетый за живое, - почему считаешь своей обязанностью заботиться о мальчике, у которого есть родители? Ты хорошо знаешь, что я не скуп и никогда не жалею денег, чтобы побаловать тебя и Славчика; если бы я зарабатывал достаточно, я не стал бы вмешиваться в эти мелочи, как не вмешивался до сих пор, но в последнее время мы сами питаемся неполноценно, отец этого ребенка через день хлыщет водку, а я вот за три года ни разу не купил себе пол-литра портвейна, я коробку папирос растягиваю на неделю, чтоб сэкономить на себе. А ты ущемляешь моего сына ради ребенка этого хама. Если непременно желаешь заниматься филантропией, выбери ребенка, у которого родители репрессированы, или ты нарочно раздражить меня хочешь?

- Ни заниматься филантропией, ни дразнить тебя я вовсе не собираюсь. Мне доставляет радость видеть, как сияет ребячье личико - довольно этого тебе? Вчера ты ходил из угла в угол и повторял: «Я не виноват, что я - сын генерала и князя!» Но и этот ребенок не виноват, что его отец пьет. Двух мнений тут быть не может.

Гармония в отношениях не восстанавливалась до позднего вечера.

Собираясь ложиться, Олег сказал:

- Если из-за этого уродца я лишюсь любви и ласки моей белой Кисы, я еще менее способен буду питать к нему добрые чувства. Неужели я так эгоистичен и скуп, что меня следует наказывать в течение вот уже десяти часов, и неужели мальчик стоит того, чтобы ради него раскачивать наши отношения?

Румянец досады залил ее щеки.

- Опять, опять! Ни скупым, ни эгоистичным я тебя не считаю, а только безмерно гордым!

- Ах, вот как! Ну, тебе виднее. Завтра или послезавтра твой гордый муж уедет, может под конвоем, в эту уже заранее мне ненавистную Лугу, а ты, ко всем такая добрая, с ним так сурова.

Ася повернулась к нему от зеркала, перед которым расчесывала косы, и, откладывая гребенку, сказала:

- Я знаю, что для меня и для Славчика ты дашь содрать с себя заживо кожу, но я хочу, чтобы твое сердце немножко... ну, совсем немножко... распространилось!

- Не выйдет, Ася! Принимай меня таким, какой есть. Если бы ранее излилось на мою душу твое солнечное тепло, я, может быть, был бы мягче, но эти десять лет меня ожесточили, я сам

знаю! Христианина в полном значении этого слова ты из меня не сделаешь. Мои мечты не идут дальше этой жизни – я хочу борьбы, хочу деятельности большой, всепоглощающей, на пользу моей Родине, я ненавижу ее врагов, моя вынужденная пассивность меня угнетает! – и он стал ходить из угла в угол.

Пронзительный звонок раздался в эту минуту и заставил их обменяться тревожными взглядами. Олег побежал отворять в полной уверенности, что звонит милиция, чтобы проверить, убрался ли он из города. Оказалось, однако, что визит милиции относится к Эдуарду, который замешан в шайку подростков, пойманных в краже. Перепуганная чета Хрычко клялась и божилась, что мальчик уже с неделю не показывается. Олег не пожелал опровергать этих показаний.

– Я ничего не знаю, – ответил он на вопрос милиционера.

По-видимому, Эдуард действительно дома не ночевал, так как милиция, заглянув в «пролетарскую» комнату, удалилась ни с чем.

Утром Олег отправился за расчетом в больницу, а возвращаясь, столкнулся с управдомом, который приходил осведомляться, уехал ли он, и сделал ему соответствующее внушение. Тем не менее, день прошел благополучно; только вечером, едва кончили пить чай, раздался опять один из тех звонков, которые вселяли тревогу во всю квартиру, и в передней опять выросла фигура милиционера. Клавдия, отворявшая дверь, не без язвительности крикнула Олегу:

– Нынче не за Едькой, а за вами!

Положение становилось невыносимым! У милиционера было добродушное лицо, напоминавшее Олегу лица солдат.

– Вы что ж это, гражданин Казаринов, не повинуетесь приказу и нас бегать заставляете? Я не хотел на квартиру соваться, осведомился в жакте: здесь еще, говорят. Я ведь понимаю, что ехать неохота, хоть до кого доведись! Ну, да ведь если приказ вышел – все равно ехать заставят: не добром, так под конвоем, да еще штраф в сто рублей заплатите. Так уж лучше езжайте теперь. Лужский поезд через час, и мне от начальства велено вас на него проводить. Давайте, собирайтесь!

– Есть, товарищ! Придется! Я противиться приказу не собирался: сынишка у меня заболел, так я хотел оттянуть денька два. Дождаться выздоровления. С вами, товарищ, я вижу, можно договориться: оставьте вы меня самого уехать; можете спокойно отрапортовать, что проводили, я не подведу; даю слово, что отбуду с этим поездом, а уж под конвоем меня не ведите! – и, взглянув еще раз на честное солдатское лицо, не устоял перед соблазном прибавить: – Всю войну провоевал, а вот теперь из города убирайся, словно я вор или хулиган.

На простом лице появилось выражение сочувствия.

– Что говорить! Времена нынче тяжелые! А вы на каком фронте воевали-то?

– Под Двинском.

– А я в Галиции. Ладно, я вам поверю, отбудете, значит, беспременно? До свиданьяца! – и милиционер вышел.

Олег закурил, постоял в передней и, притушив папиросу, пошел в спальню.

Ася стояла у кровати, рядом на стуле восседал плюшевый мишка, свет от лампы был затемнен, но он все-таки увидел, что глаза у его жены полны слез.

– Ну что? – спросил он шепотом.

– Бредит немножко и водит головкой. А недавно открывал глазки и на горшочек просился. У другого бы давно были простынки мокрые, а наш такой умница. Вынимала из кровати – прижался ко мне так мило и показался мне очень горяченьким.

– Не плачь, любимая! Корь – болезнь уж совсем не страшная, а он у нас крепенький. Дней через пять уже будет скакать в кровати. Увидишь.

– Я не о нем плачу! Опять милиция?

– Да, Ася. Под конвоем уже доставлять хотели. Я выговорил, чтобы самому уехать, но с ближайшим же поездом. У меня десять минут времени.

– Как? Сейчас? На ночь!

- Ну, перестань, девочка моя! Не надо, это еще не горе.
- Как же не горе? Я проснусь ночью, а твоя постель пуста! Я буду думать, что ты где-то на вокзале, на деревянной скамье... что тебе холодно... В твоей жизни уже довольно было лишений: окопы, лагерь. И вот опять! Я понимаю, что бабушку сейчас нельзя оставить, но мне легче было бы с тобой поехать, чем отпускать одного... у меня сердце рвется пополам!
- Ну не надо, не надо, родная! Все понемногу устроится. К лишениям я привык. Самое главное, чтоб вас не тронули! Я хочу, чтобы у малышки было счастливое детство, а для этого нужно, чтобы сохранилось твое гнездо. Собери мне в рюкзак все самое необходимое, а я тем временем прощусь с Натальей Павловной и Терезой Леоновной.
- В передней у двери она торопливо закинула ему по карманам бутерброды и сахар.
- В Луге, говорят, ничего нет, магазины пусты! Ну, прощай... приезжай поскорее. Не простудись, смотри. Я ведь знаю: ты о себе не будешь заботиться. Ты взял слишком мало денег...
- Достаточно, достаточно. Я постараюсь скоро приехать на денек. Но ты ни в каком случае не вздумай сама уезжать, ты меня все равно не найдешь; не оставляй малышку... береги его и себя. Ну, я бегу. Господь с тобой, дорогая! - и бегом пустился по лестнице.

## Глава двадцать девятая

Луга и Малая Вишера тридцатых-сороковых годов, за исключением лет Великой Отечественной войны, представляли собой убежище высылаемых за черту Ленинграда. Там ютились все ленинградцы, получавшие «минус» или «стоверстную», как политические, так и уголовные. Происходило это потому, что оба городка были ближайшими из расположенных после ста километров и связанных с центром прямым железнодорожным сообщением. Вследствие этого Луга была переполнена, и так называемых «жактовских» комнат не хватало. Нарасхват были комнаты мелких дачных собственников, которых еще не коснулось «раскулачивание» и которые, несмотря на огромные налоги, все-таки находили выгодным сдавать внаймы свои комнаты; в ряде случаев брали плату только за прописку, так как очень многие репрессированные, как раз из «бывших», втайне проживали у своих родных в Ленинграде, и только необходимость быть где-то прописанными заставляла их заключать кабальные сделки с хозяевами дач. Так поступали, разумеется, только те, кто не связан был службой. В Ленинграде на работу принимали лишь с ленинградской пропиской или с пропиской самого ближайшего пригорода и те стоверстники, которые вынуждены были работать, волей-неволей и жить должны были в указанной полосе. Для Олега здесь вопроса не существовало: служба была ему необходима, а следовательно жить предстояло отныне в Луге; возможность кататься туда и обратно была тоже под сомнением вследствие дороговизны тарифа - положение создавалось нерадостное.

Переспав на вокзале ночь, он отправился на поиски жилья. В центре городка, разумеется, не нашлось ничего, и он перенес свои поиски на дачные окраины. Воскресала уже знакомая ситуация: пока не прописан - не берут на работу, а места, где бы можно было поселиться, не находилось. За день Олег измучился бесплодно ходьбой и на ночь вернулся на тот же вокзал. На следующее утро опять начались те же поиски; встреченный им рабочий, с которым он случайно разговорился, сказал ему, что лесопильный завод набирает молодых мужчин, но для этого надо иметь прописку и жилье. Прозябший, усталый, голодный и злой, он продолжал свои скитания; наконец он попал в Заречную слободу, на самую крайнюю улицу, которая граничила с густым хвойным лесом. «Хорошо было бы обосноваться в этом районе, по крайней мере буду разнообразить время прогулками по лесу, не то здесь от тоски с ума сойти можно», - думал он, переходя с вопросами от дома к дому. Наконец в одном, самом некрасивом и ветхом, старуха, напоминая ведьму своим крючковатым носом и недобрыми хищными глазами, заявила ему, что угол и прописка у нее найдутся. В сущности, это оказался не угол, а сундук, на котором можно было лечь, - старуха сдавала этот сундук как нары и предупредила при этом, что

комната уже заселена по углам. Боясь упустить работу, Олег согласился на сундук и вручил старухе деньги за ближайшие полмесяца.

«Потом подыщу себе что-нибудь получше, если устроюсь на работу», – подумал он и уселся на опушке леса на обледенелый пень, чтобы позавтракать хлебом с брынзой. На него внимательно смотрели глаза – печальные, темные, большие глаза собаки; голодная тоска и глубокая скорбь брошенного больного существа отражалась в них. Это был красивый породистый сеттер, по-видимому, бездомный, рыжая шелковая шерсть висела грязными спутанными кочьями, длинные висячие уши давно никто не расчесывал, бока ввалились.

– Ах ты, бедняга! Да ты, я вижу, тоже бедствующий аристократ! Ну, поди сюда, бери, – и Олег протянул кусок хлеба. Собака подошла, хромя, и взяла хлеб, деликатно не коснувшись руки человека.

– Мы с тобой, как видно, товарищи по несчастью, ты кто же – маркиз или князь? Теперь существа, которые созданы культурой тридцати поколений – лишние! Нужна грамотная, осмысленная и толковая серая масса, и чтоб на фоне ее никаких фигур, подобных моей и твоей, со всей их изысканностью. Понял? Вячеслав сказал же: «Благородство их ненавистно, как растение паразитическое!»

Сеттер в печальной задумчивости внимательно смотрел на него. Олег выложил перед ним остатки своего завтрака.

– Извини, что без скатерти и не на севрском фарфоре. Теперь пойдем, побродим по лесу, а то ведь тоска, сам знаешь!

Увоенным с юности охотничьим жестом он ударил себя по колену, и тотчас что-то сверкнуло в печальных глазах собаки.

Уже в сумерках они подошли к неприглядному дому на опушке.

– Вот и наше палаццо! Не знаю, впустят ли тебя. Придется, пожалуй, весьма не товарищески тебя бросить. Ночевать на морозе очень уж не хочется.

Старуха и в самом деле не разрешила войти с собакой, и Олег вошел один, сопровождаемый долгим взглядом, в котором ему почудился немой укор.

Он все-таки не ожидал такой картины: комната оказалась вся до отказа забита народом, лежали прямо на деревянном полу, сидели на подоконниках, играя в карты, ругались, курили, кто-то опрокидывал «маленькую» прямо в горло и удовлетворенно кричал, кто-то наяривал на баяне. Уголовники! – мир засаленных полосатых гимнастеров, голубых маек и старых кожанок, парни «что надо» и полуспившиеся мужики, – половина по всей вероятности, вовсе нигде не прописанных. Сундук оказался занят; правда, в ответ на протест Олега старуха тотчас явилась навести порядок и согнала с него одну из подозрительных личностей. Подложив под голову свой рюкзак и закрывшись пальто, Олег устроился кое-как на абонированном участке. Унылые напевы баяниста: «Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя», – наводили тоску.

«На дне! – подумал он. – В эту ночь останусь здесь, а завтра придется поискать нового прибежища. Если эти харканья, плевки и песни не прекратятся, я не засну вовсе».

Однако, как только пробило одиннадцать, на электростанции выключили свет, и вся публика волей-неволей стала устраиваться спать. Позажигали два-три сальных огарка, от которых по грязному потолку заходили гигантские тени, но вскоре затушили и их.

– Гони, гони – и без нее живого места нет! – услышал вдруг Олег чей-то возглас.

– Пошла, пошла, рыжая бестия! – подходил другой.

Олег приподнялся:

– Что там, товарищи?

– Собака проскочила. Я ее давеча у двери видел – подкарауливала!

И в воздухе свистнул чей-то кнут. Олег чиркнул зажигалкой, глаза его и сеттера встретились.

– Товарищи, не бейте, это мой сеттер, пустите его ко мне.

– К тебе? В уме ты? Здесь и людям-то места нет. К себе на сундук бери, коли так.

– Разумеется, возьму к себе.

Олег хлопнул ладонью по сундуку, сеттер легким прыжком оказался около него и стал устраиваться, задевая Олега обледенелыми лапами и дыша ему в лицо.

- Ложись, ложись, мой бедный маркиз. Переспим вместе. Ты меня пожелал иметь своим хозяином? Неудачный выбор! Я такой же бездомный, как и ты, - шептал Олег, почесывая собаке за ушами. Холодный нос коснулся его уха. Скорбь этой собаки казалось родной и понятной, эта рыжая голова с мягкими шелковыми ушами выглядела благородней окружающих человеческих лиц, обнять и прижать к себе собаку показалось естественным, и оба затихли в объятиях друг друга.

«Моя синеокая царевна на своей белоснежной постели и этот чудный ребенок рядом - как они далеки от меня! Как будто снова вернулись годы бедствий, а два с половиной года жизни с Асей миновали, как сон!»

На следующий день документы Олега поступили на прописку, а сам он с утра отправился разыскивать лесопильный завод, где ему предложили наведаться через несколько дней. Позвонив с вокзала домой, он узнал от Натальи Павловны, что ребенку лучше и Ася решила отлучиться на уроки. Наталья Павловна сообщила также, что получила письмо от Нины, которая устроилась в доме литфонда; Олег тотчас пожелал разыскать этот литфонд, но напрасно стучал в калитку: в доме не было ни души. Только на третий день в ответ на его стук наконец открылась дверь, и он увидел, как Нина спешит к калитке, увязая в сугробах заметенного снегом сада. Валенки и платок, хоть и не вязались с ее образом, несколько однако не стирали характерно интеллигентских особенностей ее наружности.

- Как ни переряжайтесь - все равно губернаторша или генеральша! - сказал он, целуя ей руку.

- Посмотрите мою резиденцию: я одна в пяти комнатах, - ответила она, смеясь. - Это дом отдыха для писателей, он в зимнее время закрыт. Меня устроила сюда военчасть: я пела у них в клубе и договорилась вести частным образом кружок художественной самодеятельности с женами комсостава и хоровое пение с их детьми. Командиры и их жены рады были заполучить меня, и, узнав, что мне негде жить, заведующий клубом - командир с тремя шпалами сам ходил к коменданту литфонда и просил его разрешить мне тут пожить, а прописку мне устроили в соседнем доме у сторожихи. Здесь было бы очень хорошо, если бы не лютая стужа в комнатах; я хозяйничаю на керосинке и отапливаюсь только ею же, а ведь дом нежилой, стены сырые. У меня зуб на зуб не попадает, я все время в валенках и в пальто.

Нина оказалась в обществе Марины, которая приехала, как только выяснилось точное местопребывание Нины. Обе сидели за чаем в литфондовской гостиной и тотчас пригласили Олега к столу.

- Я тебе еще месяц назад сказала, что кончится именно так! - говорила, продолжая прерванный разговор, Марина. - Я не умею защищаться: меня может обидеть кролик, а не то что целый кагал.

- А что, в самом деле судил-рядил тот Соломон? - спросила Нина.

- Он. Только, несмотря на самые веские основания прозываться именно так, имя его оказалось Яков Маркович. Огромная голова, маленькие кривые ножки, борода как у Карла Маркса, а глаза - лисьи, облачен в допотопный лапсердак. В середине допроса что-то ему в наших ответах не понравилось - вдруг как двинет от себя стол, а один из уважаемых членов рода сидел на шаткой скамеечке и, когда стол ушел у него из-под локтей, грохнулся на пол. Сарочка как взвизгнет... Разве воспитанная женщина позволит себе закричать? А они все затараторили, завизжали, загалдели.

- Какие же вопросы задавал этот Яков Маркович? - спросила Нина.

- Прирожденный крючкотворец! Пожелал выяснить, кто ухаживал, а мне по части бойкости в ответах - где уж с Сарочкой равняться! Я мямлю, а она тараторит по-своему; я не понимала, так и возражать не могла. Ну, присудил ей большую комнату, а мне проходную маленькую на том будто бы основании, что она дежурила у постели по ночам... в действительности, конечно, потому, что единоплеменница! Я могу оспаривать через суд, да не хочу: в успехе я вовсе не уверена, а с ними в этом случае рассорюсь окончательно.

- А вещи? - спросила Нина.

- Вещи все мне отдали. Сарочка заявила было претензию на мою чернобурку, но Соломон решительным жестом осадил ее. Она поревела, но покорилась. Кстати, это Соломон заявил, что «нажмет» на зава какой-то поликлиники, очевидно, тоже еврея, чтобы меня приняли туда работать кастеляншей. Все бы ничего, если б не комната!

Олег слушал, отделиваясь сочувственно-безразличными репликами. Разговор затянулся так же, как чаепитие, которое разнообразилось привезенной Мариной кулинарией собственного изготовления. Олег, которого общество Марины несколько тяготило, вызвался принести дров из лесу, чтобы Нина могла протопить, и ушел, сопровождаемый верным Маркизом. Когда он вернулся с вязанкой за спиной, было уже совсем темно, и Марина поднялась, чтобы поспеть к вечернему поезду. Поправляя креп на шляпке, она осведомилась, не опасно ли идти одной; Олег почувствовал, что ожидал подобного вопроса, апеллирующего к нему как к безупречному джентльмену, он не мог изменить этой марке и тотчас предложил свои услуги доставить Марину на вокзал, уныло предчувствуя, что разговор тем или иным путем непременно нырнет в прошлое. Очень скоро они подошли к огромной луже талого снега, образованной снеготопилкой, и Марина беспомощно остановилась. Он протянул ей руку, говоря: «Прыгайте!» - и на минуту она оказалась в его объятиях. Почувствовав, как быстро разомкнулись его руки, она не решилась продлить сладкую минуту, но голос ее дрогнул, когда она сказала:

- Вы вправе считать меня эгоистической и ничтожной женщиной, Олег Андреевич, если вы иногда вспоминаете... те дни... то, наверно, с упреком.

Секунду он помедлил с ответом.

- С огромной благодарностью! - сказал он вслед за этим очень проникновенно.

- Как? - и она остановилась. Сердце ее заколотилось, охваченное отдаленной надеждой, точно теплым ветром повеяло на нее.

- Очень просто: вы лучше меня поняли, что счастливы мы быть не можем, что нам не по пути, благодаря вашей проницательности я оказался еще свободен в тот благословенный день, когда снова встретил девушку, которая стала моей женой. Благодаря пережитой с вами... тяжелой минуте... я смог вполне оценить ее героическую решимость стать матерью. Повторяю: я чрезвычайно благодарен вам. Не могу не видеть, что сам я вел себя, как двадцатилетний мальчик.

Она закусила губы, слушая эту исповедь: холодное дуновение разом остановило трепет, поднявшийся в ее груди.

- Вы можете переночевать в одной из этих комнат, - сказала ему Нина, когда он вернулся с тайной надеждой услышать именно эти слова.

- Здесь отдохнете, наверно, лучше, чем на своем сундуке, и мне не так страшно будет, а то я дрожу при каждом шорохе: вокруг так пусто, а Луга полна бандитов, которых выселяют из Ленинграда, как и нас с вами.

Чувствуя, что глаза его слипаются после трех бессонных ночей, Олег решил воспользоваться предложением Нины и начал устроиваться на ночь в гостиной. Мимо садовой ограды по пустому обледенелому шоссе промелькнула женская фигура, прямая как стрелка, с рюкзаком за спиной, она попала на минуту в полосу света, падавшего из окна, и Олег увидел, как, перескочив с легкостью козы через канаву, она скрылась в темноте. Движением этим она напомнила ему Асю, и тоскливое ощущение словно невидимой рукой тотчас притронулось к его сердцу. Нелепая мысль: ее никогда бы не отпустили на ночь в незнакомый город. Кто-то из сосланных, наверно; на коренную лужскую обитательницу непохожа: покрой пальто нездешний и без валенок, в одних башмачках!

Почти тотчас Нина его окликнула:

- Олег, войдите, если не легли: кто-то стучит, мне страшно!...

Он вернулся в ее комнату, из которой был выход на крыльцо, в эту минуту выключили освещение.

- Не открывайте, спросите сначала! Здесь полно уголовников! - шептала Нина, следуя за ним со свечкой. Но он быстро распахнул дверь, охваченный страстной уверенностью, от которой затрепетала каждая жилка.

- Дорогая, дорогая, любимая! Ты здесь! А ведь мне уже стало казаться, что я больше тебя не увижу, что ты так же внезапно исчезнешь из моей жизни, как появилась в ней! - схватив жену на руки, он перенес ее в комнаты и, упав на колени, прижался головой к ее ногам, обнимая их.

- Какой тебе неудачный достался муж! Он ничем тебя не может обеспечить, и ты еще вынуждена таскаться за ним по этим медвежьим окраинам! - глубокая горечь прозвучала в его восклицании.

- Такой достался, которого я люблю! - ответила она, лохматя его волосы. - Я очень забеспокоилась и загрустила! Ведь уже четыре дня. Бабушка и мадам, увидев, что я подрываю втихомолку, сжалились надо мной и отпустили к Нине. А что это за собака? - и коснулась рукой Маркиза, который очень тактично помахивал хвостом, как будто выжидая, пока его представят.

Нина в первую минуту несколько растерялась, встревоженная мыслью, как бы у Аси не возникло несправедливых подозрений по поводу ее отношений с Олегом, который оказался у нее в такой поздний час, причем оба были уже полураздеты; но эта чистая душа органически была неспособна приписывать кому бы то ни было дурные чувства.

- Я была уверена, что найду тебя у Нины, - говорила Ася, - мы предполагали, что я дойду засветло, бабушка припомнила, что прежде в Лугу ходил экспресс, но этот поезд тащился целых четыре часа, а после я еще два часа скиталась по городу в поисках литфонда. Я вам привезла целый рюкзак провизии: у бабушки купили, наконец, кофейный сервиз. Ну, а теперь поите же меня чаем!

Ему показалось, что с ее появлением лучистое тепло заполнило холодный графарет этих комнат.

«Я все еще выигрываю у жизни прекрасные минуты, - думал он, слушая, как Ася наигрывает своего любимого Шуберта на разбитом пианино в пустом салоне. - Когда-нибудь я страшно проиграю, и этот проигрыш будет означать смерть... Пусть даже так! Чудесные верхи, до которых мы иногда долетаем, я предпочитаю безопасному, но бесцветному благополучию!»

Он хранил в своей душе запас слов и мыслей, скопившихся за дни разлуки, но лишь когда они устроились наконец на ночь на одном из огромных диванов литфонда и уже лежали, любясь разукрашенными морозом окнами, в которые ярко светила полная луна, он заговорил о том, что его переполняло.

- Я не могу забыть твоих слов о «горе России», дорогая! У меня с собой томик Блока, и я зачитывался «Куликовым полем». В этой вещи есть тонкости, которые могут понять очень немногие. Для этого надо быть русским и любить Россию и, наконец, быть человеком с развитым воображением. Мы с тобой более или менее этим требованиям удовлетворяем. Я не претендую на особую эрудицию или особую мудрость, быть может, от меня ускользнут тысячи тонкостей во всяком другом произведении, но это написано как будто для меня! В нем для меня оживают значения, которые недосказаны, но будят целые гаммы настроений, целый строй мыслей! Они не конкретны, но могучи и идут одно за другим вереницами... «О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь!» или: «Я - не первый воин, не последний, долго будет Родина больна». Я здесь понимаю нечто такое, что не сумею передать словами... Эти таинственные пароли - все в моей душе! Нерукотворный лик в щите у воина - для меня твой лик, это ты касаешься моей души, когда нужны благословение или утешение. Твой прелюд со звоном подготовил почву для более глубокого восприятия блоковских строк, это ты заронила в меня мысль о прошлых страданиях России, и я как будто почувствовал себя ответственным за них! Россия больна от горя! И ты, конечно, поверишь, что я готов был бы с радостью умереть, если бы смерть моя могла принести исцеление Родине. Это не фраза с моей стороны: мне с юности казалось убогим, жалким, недостойным трястись над собой, цепляться за собственное существование. На фронте я не жалел себя: хотелось подняться над инстинктом

самосохранения, мне доставляло спортивный интерес тренировать себя в этом отношении. У меня была репутация храбреца – два Георгия и Владимир с мечами, кажется, заслуженные. Я за храбрость даже был представлен к золотому оружию. Но к чему это привело? Война с немцами? Ее конец был извращен, поруган и опоганен большевиками. Бои с красной армией привели к поражениям и мукам, которым нет конца... А как были счастливы в Куликовской битве русские витязи, наши предки! Не существовало сомнений – все было ясно, все светло! А теперь правый путь потерян: «...не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой». С какой тоской я иногда думаю, что умру прежде, чем придет битва за освобождение, умру в подвале или на тюремном дворе... Мне иногда снится этот двор. В последнюю минуту не будет светлой уверенности, что Родина восстала, спасена, расцветает... Вот в чем моя трагедия, Ася. Не в этих бытовых трудностях и даже не в опасении быть узанным – в судьбе России и в невозможности ей помочь! Ты понимаешь меня, дорогая? Когда придет... час расплаты... помяни «...за раннею обедней мила друга, верная жена!»

Она слушала молча, не спуская с него печального и серьезного взгляда; не стала возражать, не сказала: «Ты не погибнешь», не сказала: «Если ты умрешь, и я умру», – только взяла его руку и поцеловала.

– Помяну, – тихо шепнула она.

...Завод отказался принять Олега, ссылаясь на то, что не получил обещанных ему дополнительных штатов. Через несколько дней, однако, Олегу посчастливилось устроиться чернорабочим по починке мостов и шоссежных дорог. Зарплата была очень невелика, но он был уже и этим доволен. В первый же канун своего выходного дня он поехал домой, чтобы пробыть там ночь, день и следующую ночь и уехать на рассвете. Обстановка в квартире не благоприятствовала нелегальным наездам: в первый же вечер был опять налет милиции, продолжавшей охотиться за Эдуардом. Олег не вышел на звонок, и милиция почти тотчас удалась, но жена красного курсанта заявила в кухне: «Жизнь в этой квартире становится невыносимой из-за проживающих нелегально двух лиц». Это могло относиться помимо Эдуарда только к Олегу. Клавдия, слышавшая эту реплику, тотчас набросилась на язвительную особу:

– Змея подколотная! Устроилась как нельзя лучше и жалит! Не все такие довольные и сытые как ты. От звонков просыпается, подумает! А когда мой муж с «ночной» придет и спать ляжет, ты его, что ли, не будишь своими патефонами? В жакт заявишь? А я вот заявлю, только не в жакт, а твоему мужу, что как только он в командировку отбыл, к тебе тотчас командир с двумя шпалами зачастил...

Ася и мадам поспешили уйти из кухни, чтобы не солидаризироваться с такими угрозами. Неизвестно на что рассчитывали Хрычко, покрывая сына: развязка должна была наступить так или иначе. Эдуарду, еще не достигшему 18-летнего возраста, грозить могла только исправительная колония. Этим, очевидно, и объяснялась та нерасторопность, с которой на него охотилась милиция. Очень скоро его все-таки забрали. Это произошло утром: Ася стояла в передней перед зеркалом, надевая берет, когда раздался звонок; она открыла, уверенная, что звонит молочница; милиция вошла и прямо направилась к знакомой уже двери. Ася замерла, зная, что Эдуард в комнате; рабочий был на заводе, Клавдия – в бане. Через минуту милиционеры вышли, а между ними юный бандит в развязанной ушанке и старой куртке; как всегда он угрюмо смотрел в пол.

Сердце Аси не выдержало:

– Как? Уже уводите? А мать? Подождите, чтобы простилась! – растерянно пролепетала она.

– Закройте за нами, гражданочка! – было лаконичным ответом.

Клавдия, узнав, что сына взяли, сначала сказала: «А ну его! Замучил он нас! Может, в колонии одумается». Однако несколько раз среди дня принималась плакать. Через две недели предприимчивый Эдуард ускользнул из колонии, и нелегальные появления на квартире и звонки дворников и милиции начались сначала. В связи с этим Олегу приходилось быть особенно осторожным, тем более что следовало опасаться жены курсанта. Олег старался не

показываться ей на глаза, особенно с наступлением вечера.

- Выдры этой нет в коридоре? Могу я выйти в ванную? -спрашивал он.

- Подожди, я пройду посмотрю, свободна ли дорога, - отвечала Ася.

Славчик, однако, постоянно выдавал присутствие Олега звонкими восклицаниями «папа». Выдра зажала в кулак все женское население квартиры и, появляясь в кухне, держала в постоянном страхе и Асю, и мадам, и Клавдию. Добродушная круглая физиономия последней казалась теперь симпатичной по сравнению с надменно сжатыми губами и вздернутым носом накрашенной дамы новой формации.

- В ванной пол забрызган: ваш муж, наверное, под душем мылся, - говорила она Асе, и та, не смея возразить, бросалась с тряпкой в ванную, хоть и знала исключительную аккуратность Олега.

- В передней опять натоптано: ваш сын, как пройдет, так наставит, - говорила она Клавдии, и та в свою очередь хваталась за тряпку, даже если Эдуард не появлялся.

Несколько раз Олег доказывал себе, что ехать не следует, чтобы не нарваться на неприятность. Милиция брала штраф в пятьдесят рублей за незаконное пребывание в квартире в ночное время и столько же с человека, предоставлявшего убежище, - сто рублей могли весьма ощутимо подорвать их месячный бюджет, но когда Олег мысленно клал на весы эту сумму и радость видеть семью, последняя перетягивала.

- Авось обойдется! - говорил он себе и мчался на вокзал, охваченный радостным ожиданием. Дворянская непрактичность, которая внушала взгляд на деньги как на нечто, не заслуживающее большого внимания, приходила на помощь: с деньгами обойдется! Неужели из-за денег лишаться свидания с семьей? Наталья Павловна и Ася первые доказывали ему несостоятельность такого положения! Вот если бы наказанием было заключение - тогда другое дело! До тех пор, пока имели дело с милицией, положение было еще терпимо и последствия не столь трагичны.

В одно утро, покидая дом, Олег столкнулся в передней с Эдуардом. Было только пять утра, Олег торопился на поезд, и Ася в одном халатике совала ему по карманам бутерброды и сахар, когда Клавдия осторожно выглянула в переднюю: «Не порадуешься вовсе на такую-то жисть!» - сочувственно пробормотала она и бесшумно открыла входную дверь, чтобы выпустить Эдуарда, а затем, не закрывая ее, посторонилась, чтобы пропустить торопившегося Олега: «Ну, счастливо!» - опять пробормотала она, и это напутствие относилось, казалось, к обоим. Внизу лестницы, Олег обогнал мальчишку, который пошел следом за ним. Не желая лишний раз показываться дворникам на глаза, Олег облюбовал себе лазейку через соседний двор и теперь быстро проскользнул в закоулок к невысокой каменной стене, отделявшей их двор от соседнего. С ловкостью гимнаста он подтянулся на руках и сел на хребет стены. Эдуард стоял внизу и с завистью смотрел на него, так как был слишком мал ростом, чтобы подняться таким же образом. Олегу вдруг стало жаль мальчишку: ему в первый раз бросились в глаза бледность, худоба и рваное пальто этого подростка.

- Ну, становись на тот камень да давай руку, я подтяну тебя, - сказал он. Но когда соскочил, с отвращением обтер руки снегом и ушел, не оборачиваясь. «Хорош у меня товарищ по несчастью! Нечего сказать!» - подумал он.

В Луге одиночество Олега разделяли только Нина и Маркиз. В первый же раз, когда Олег, возвращаясь в Лугу, вышел из вагона, он увидел собачью морду с длинными висячими ушами: собака: безнадежным взглядом озидала поезд и, может быть, уже несколько часов торчала здесь, около облупившейся грязной стены, вся, продрогшая и голодная. Неизвестно, сколько еще часов готова она была простоять тут. Близорукие глаза сеттера еще не разглядели хозяина, который увидел его, еще вися на подножке.

- Маркиз! - крикнул Олег; тот дрогнул, бросился вперед и прыгнул ему на грудь.

В следующий раз Олег, уезжая, просил свою хозяйку кормить без него Маркиза и оставил ей на это трехрублевку, но далеко не был уверен, что деньги истрачены по назначению.

Преданность собаки согревала Олегу сердце и скрашивала одинокие прогулки по лесам. Этим

прогулкам он отдавал все свободное время, делая иногда по пятнадцать-двадцать верст за день в любую погоду, лишь бы не сидеть в комнате у старухи. Выходя из поезда, Олег всякий раз тревожно искал глазами мохнатого друга, боясь, чтобы тот не затерялся. Это упорно «не распространявшееся» сердце было очень постоянно в своих немногих привязанностях, и Маркиз, по-видимому, был таким же!

К Нине Олег заходил раза два в неделю – провести с нею вечер и принести ей дров из лесу. Она пела ему его любимые романсы, поила его чаем, и в печальных разговорах они засиживались иногда до утра. Жизнь опять налаживалась тем или иным способом. Иногда Олегу казалось, что он снова попал во власть неблагоприятного течения, а иногда ему удавалось убедить себя, что благодаря этой высылке он вышел из поля зрения Нага, который забудет наконец о нем. Приближавшаяся весна сулила ему радость заполучить к себе семью. Окрестности Луги славятся прекрасными хвойными лесами, и блуждая там по сугробам, он уже воображал, как понравятся эти леса Асе и как они будут гулять здесь со Славчиком, если... Без этого «если» не обходилось ни одно предположение, ни одна мечта.

## Глава тридцатая

Величественная фигура швейцара уже несколько дней не красовалась около лифта больницы; посланная администрацией санитарка принесла известие, что Арефий Михайлович заболел; одновременно поползли слухи, что у него большие неприятности и арестована старуха-жена.

Едва лишь слух этот коснулся ушей Елочка, тотчас она побежала к старику и нашла его в одиночестве в неприбранной комнате на кровати. Старый богатырь поведал Елочке свое несчастье: зять его работал «на плотях» и, возвращаясь из очередных рейсов, всегда выпивал «маленькую»; в этот раз он хватил через край, распетушился, побил где-то стекла и попал в милицию; супруга Арефия Михайловича понесла зятю передачу, которую дежурный милиционер не пожелал принять; слово за слово, завязалась перебранка; милиционер толкнул почтенную швейцариху, которая упала в лужу и испортила новый салоп; тут она раскричалась: «Ах ты, слюнявый пентюх! Зазнались, заелись вы тут! Расплодила вас, паразитов, советская власть, будь она проклята! Которые люди честно работают, смотришь, гроши получают, а вы вон как заелись! Рожи-то салом заплыли!» Кричала, а там, недолго думая, схватила со стены портрет Сталина и запустила им в милиционера. Подскочили товарищи и, остановив разбушевавшуюся старушку, заявили, что не спустят оскорбления; совместными усилиями пустили в ход весь блат, которым только располагали, и старушка очень скоро была присуждена к трем месяцам заключения за хулиганство.

Арефий Михайлович в свою очередь возмутился: ходил в районный суд и к юристам и добился пересмотра дела, но во вторичной инстанции обратили внимание на ту сторону, которая до сих пор оставалась в тени, а именно на разбитый портрет вождя и друга народов и на непозволительные выкрики по адресу советской власти. Несчастливая швейцариха получила неожиданно-негаданно пятьдесят восьмую статью и пять лет лагеря.

– Сам, своими руками погубил старуху, Елизавета Георгиевна, сам! Ну, отсидела бы три месяца – и вся недолга, а у меня, вишь ты, ретивое закипело, дохлопотался! Теперь ей оттоль и не выйти: стара ведь она у меня!

На другой день Елочка стояла на площадке лестницы в больнице и рассказывала всю историю санитарке Пелагее Петровне, когда мимо проходил новый фельдшер приемного покоя, партиец, и спросил, останавливаясь:

– Вы были у Арефия Михайловича? Ну, как он?

Елочка тотчас же приняла надменный вид и злобно отчеканила:

– Плохо: жену засадили по пятьдесят восьмой, а у старика был сердечный приступ, лежит один, ухаживать некому, плачет.

Лицо фельдшера приняло озабоченное выражение:

– Надо что-нибудь для него сделать! Наш коллектив должен товарища поддержать, ну, хоть

снести ему продуктов на дом или выделить человека прибраться ему комнату... Давайте организуем хоть мы с вами.

Елочка с удивлением вскинула на молодого человека глаза: партийцы обычно шарахались в сторону, как только издали мелькнет призрак пятьдесят восьмой статьи, а этот!

- Организовать отказываюсь! Я раз попробовала, но предместком устроил мне скандал. Я, конечно, к Арефию Михайловичу пойду, но сама по себе. Организуйте вы, - и отошла все с тем надменным видом.

Вслед за этим небольшой грипп уложил ее в постель; в первый же день, когда она вышла на воздух, чтобы отметить бюллетень в поликлинике, и уже шла домой, вниманием ее завладел Преображенский собор, с которым она поравнялась. «Ставить свечи, прикладываться к иконам - все это я уже оставила, все это уже не для меня, но постоять в этой торжественной тишине, сосредоточившись на своих думах, и обратиться с мольбой к Высшей Милосердию иногда хочется!» - сказала она себе, переступая порог храма, и вспомнила институтскую церковь и детские отчаянные молитвы за спасение России.

- Мир вам! - послышался голос из алтаря, и невольно склонилась голова Елочки как прежде, когда, бывало, словно рожь от ветра, склонялись ряды золотистых и темных головок...

День был будний, и в соборе никого не было, кроме обычных завсегдатаев - древних старушек, ковьялявших от иконы к иконе и целовавшихся при встрече, как будто все они были между собой знакомы.

Ни тишина, ни торжественность не водворялись в сердце Елочки. Она была расстроена письмом, которое получила в это утро из Свердловска от самой молодой из своих теток - единственной, оставшейся в Союзе. Письмо это принесло неожиданное открытие.

«На днях уезжаю к мужу, который в Комсомольске на партийной работе. Город растет со сказочной быстротой. Мне хочется и самой включиться в работу. Что, если тебе сделать то же? Приезжай к нам! Медсестра найдет везде заработок. Когда ты воочию увидишь коллективный созидательный труд, ты, может быть, на многое взглянешь иначе. Вспомни, что отец твой отдал жизнь народу, а мать работала как простая сельская учительница. Наша семья всегда была передовой. Теперь весь народ устремился к будущему, неужели же мы будем плестись в хвосте?»

Письмо это возмутило Елочку.

«Партиец в нашей семье - какой позор! Мне подрядиться в Комсомольск на работу?! А что же я здесь делаю, хотела бы я знать! Разве я не работаю? Разве я не нужна? Коллективный созидательный труд! Да ведь там добрая половина - лагерники. Как раз недавно по делу «золотой молодежи» всех направили в Комсомольск, и молодых моряков, которые подняли бокалы за Андреевский флаг, - туда же. Революционеры и земские деятели болели за недостатки монархического режима, они добивались гражданских свобод, а мы теперь разве граждане? Мы - государственные рабы! Вера рехнулась!».

Зазвучало «Отче наш», Елочка продвинулась еще немного вперед и вдруг увидела знакомую головку на вытянутой шейке, бархатный потертый берет gris perle [101] и две длинные каштановые косы; порт-мюзик и картошка в сетке говорили о том, что обладательница их забежала сюда тоже по пути, на минуту, но глаза с голубыми тенями под ними смотрели прямо в алтарь, и все выражение этого лица показалось Елочке настолько отрешенным, что она воздержалась от желания сделать шаг к Асе и тронуть ее за плечо. Прошло, однако, лишь несколько мгновений. Ася быстро поднялась с колен, метнула беспокойный взгляд на часы в углу собора и немного поспешно приблизилась к аналою посередине церкви, где лежала икона праздника (как ее называют обычно). В руках у Аси оказались две чудесные розы, которые она бережно положила к иконе, потом она перекрестилась и быстрой рысцой направилась к выходу. Елочка настигла ее уже у самой двери, они заговорили шепотом, но, отвечая на вопросы Елочки о здоровье ребенка, положении Олега в Луге, Ася как-то странно-тревожно поводила глазами вокруг и внезапно прервала сама себя:

- Я хотела вас попросить не говорить бабушке, что вы меня встретили здесь, и о розах тоже...

- Хорошо, я не скажу, да вряд ли и увижу Наталью Павловну в ближайшее время. Что, однако, может она иметь против? Ведь она сама верующая? - спросила удивленная Елочка.

- Видите ли, мне часто попадает, что я слишком надолго отлучаюсь из дому. Я уверяю, что задерживаюсь в музыкальной школе, а сама по пути все-таки заворачиваю сюда. Мне таким великим кажется то, что совершается в алтаре! Жертва Сына Божьего за весь человеческий мир! Скорбь Божества! Хочется хоть на минуту преклонить колени, а дома очень много дела, Славчика ведь ни на минуту нельзя оставить без присмотра, стирка, очереди... мы вся измотались! Я здесь нелегально, - и она виновато улыбнулась.

- Не скажу. Будьте спокойны, - повторила Елочка.

- И еще... раз мы уже встретились... не одолжите ли вы мне: пять рублей тоже по секрету? - с той же виноватой, но очаровательной улыбкой заговорила снова Ася. - Олег хорошо мастерит и приладил мне полочку за окном, я кормлю голубей, они меня уже; знают... А теперь нам не хватает и крупы, и хлеба, и бабушка запрещает: она говорит, что я меры не знаю, а мои птицы голодны и стучат мне в окно клювом! Я непременно должна иметь свой собственный секретный запас, а денег нет. Бабушка ввела строжайшую отчетность. Через несколько дней я получу урок, о котором еще никто не знает, и тогда я отдам вам. Кроме того я должна получить за мой браслет: я его продала, а бабушке сказала, что потеряла.

Елочка нахмурилась.

- Неразумно, Ася! Вы создаете себе дополнительные трудности, к тому же... Это так некрасиво - лгать домашним!

- Что делать! Ведь я люблю... Разве лучше ссориться? Олег и бабушка так настойчивы оба.

Когда она убежала, Елочка, глядя ей вслед и укоряя ее мысленно, чувствовала, что как и всегда попала под ее обаяние: на этот раз все чары, казалось, затаились в ласковой и виноватой улыбке побледневшего личика. Припоминая слова Аси о том, что сегодня у Олега выходной день, но они не увидятся, так как поездки друг к другу стоят дорого и они уговорились поэкономить на этот раз, Елочка внезапно приняла решение съездить к изгнаннику самой, пользуясь свободным днем. Ей представилась уже прогулка в лесу и один из тех разговоров, которые так заряжали ее внутренне. Спешно вернувшись домой, она собрала в сетку кое-какой провизии и помчалась на вокзал. Фетровая шляпка с птичьим крылышком и маленькая муфта, болтавшаяся на старомодной цепочке из черных деревянных четок, придавали ей несколько архаичный оттенок, неотделимый от нее. В Луге, выходя из поезда, она увидела Олега на перроне; изящество его осанки, даже в верблюжьем свитере и высоких сапогах, бросалось в глаза тотчас. Присутствие его на перроне показало Елочке, что он кого-то ждал: может быть, все-таки надеялся, что Ася нарушит договор? «Сейчас увидит меня и разочаруется!» - мелькнуло в ее мыслях. Он, однако, ничем не обнаружил своего разочарования.

- Очень, очень тронут! Судьба еще продолжает отмерять мне приятные часы, - сказал он, предлагая ей руку.

Проходя городом, Елочка несколько раз замечала людей с интеллигентными лицами, занятых перетаскиванием бревен и отбиванием льда на тротуарах. Раз она обратила внимание на пожилую даму очень респектабельного вида, которая ковыряла ломом посередине улицы, тщетно стараясь скалывать лед. Другой раз дорогу им пересекла ассенизационная повозка; погоняя клячу, тащившую элегантно экипаж, возница напевал арию из «Сильвы», и Елочка готова была побиться об заклад, что распознала в нем опытным взглядом бывшего офицера. Все это производило далеко нерадостное впечатление... Улицы маленького городка выглядели уже по-весеннему: мартовское яркое солнце, талый снег, капель, чирикающие воробьи... Тем не менее, Елочке стало почему-то холодно и неудобно: то ли от непривычного свежего загородного воздуха, то ли от самолюбивых опасений... Выяснилось, что идти им, в сущности, некуда:

- На мой сундук я приглашать не рискую, - сказал он.

Вся надежда была только на разговор, которому не так легко было завязаться. Перекидываясь

фразами о трудностях жизни и о положении Аси, они вышли к мосту через речку Лугу и тут неожиданно столкнулись лицом к лицу с фельдшером больницы.

- А я как раз вас-то и разыскиваю, - сказал он Олегу. Елочка, не ожидавшая подобных отношений, была несколько шокирована. Из разговора выяснилось, что Вячеслав приехал еще с утренним поездом по делу, покончив с которым, решил навестить Олега. Вячеслав не пожелал рассказать, в чем заключалось дело, а заключалось оно в следующем: накануне этого дня, оставшись дома один, он вышел отворить на звонок и увидел перед собой двух мальчиков, по-видимому, братьев - оба черноглазые, шустрые, старшему лет десять.

- Пустите нас! Пустите, спрячьте! Скорей, скорей! - и оба вбежали в кухню, причем старший предусмотрительно потянул за собой дверь.

- Что вы боитесь, малыши? От кого вас прятать? - спросил Вячеслав, стоя посередине кухни.

- Гепеу! Гепеу! Нумерной круглосуточный! Спасите, спрячьте! - повторяли оба.

- Да говорите вы толком, в чем дело! - прикрикнул Вячеслав.

Тогда старший мальчик, твердо глядя ему в глаза, ответил:

- Мы из квартиры на втором этаже. Гепеу хочет увезти нас и запрятать в нумерной детдом, а мы не хотим туда. За нами обещала приехать тетя. Спрячьте нас.

- А ваши родители?

- Мама недавно умерла, а папа - настоятель собора. Борька не реви, дай рассказать. Папа говорил, что если его возьмут, мы должны ехать к тете. Вчера его взяли, а нам сказали, что придут за нами, и вот пришли, а мы убежали через черный ход. Товари рабочий, не выдавайте нас, позвольте переночевать, а завтра с утр мы уедем - тетя в Луге.

Сумрачная тень легла на лицо Вячеслава.

- Есть у вас ее адрес? - спросил он.

- Да, вот здесь, пришит к крестнику, - и старший мальчик расстегнул ворот курточки.

- Покажи бумагу. Кто это писал?

- Наш папа.

Пронзительный звонок раздался в эту минуту; мальчик взвизгнули и, схватившись за руки, бросились в коридор. Вячеслав за ними.

- Да остановитесь вы, бутузы! Вот идите сюда, сидите тихо: не выдам вас.

Он втолкнул обоих в свою комнату и пошел в кухню, к входной двери.

На пороге вырос милиционер с винтовкой!

- Извиняюсь, товарищ! К вам не забежали два мальчика? Велено доставить по назначению, а я уже битых полчаса гоняюсь за ними, взопрел весь и одышка взяла.

- Нет, никого не видел. Все было тихо, - и Вячеслав закрыл дверь.

- Они ушли, - сказал он, возвращаясь к детям. - Но еще неизвестно, лучше ли это: в детском доме вас будут кормить, поить, одевать и учить. А что сможет вам дать тетка? Еще неизвестно, захочет ли она вас принять!

- Захочет, она обещала. Папа говорил: если мы будем при ней, нас не будут забирать. А в детский дом мы не хотим: та слуги антихриста нас будут учить безбожию, там мы потеряемся, и папа после нас не найдет. Так было в семье у папиного прихожанина.

Вячеслав нахмурился.

- Слушайте, малышки: я отвезу вас завтра в Лугу, но если мы тетки вашей не найдем, или она не примет вас - я сам сдам вас людям, которые приходили только что. Поймите, что это делается ради вашей же пользы. Ну, а на сегодня оставайтесь у меня. Давайте чай пить, а глаза вытереть!

На следующее утро с первым же поездом Вячеслав повез мальчиков в Лугу. Тетка была обнаружена точно по тому адресу, который был написан рукой протоиерея. Это оказалась худая смуглая женщина, несколько чахоточного типа, тоже с черными большими глазами, не слишком интеллигентная.

- Ах ты, Господи! Микола Милостивый! Ну, идите, идите сюда! Возьму. Как же не взять-то, возьму, перед Богом обещала! Ведь это мой крестник, - и худая рука из-под серого платка

любовно легла на голову младшего мальчика.

Домишко был ветхий, деревянный, комната темная, заваленная тряпьем... У Вячеслава сжалось сердце.

- На что содержать буду? Бог поможет. Я вот портняжничаю малость, голодать не дам. Пусть Господь вас благословит, что позаботились о детях, - и опять она провела рукой по голове мальчика. - Войдите чайком согреться. Чем богаты, тем и рады, - прибавила, обращаясь к Вячеславу.

- Идемте, идемте! - и старший мальчик потащил Вячеслава за рукав. - Вы, наверное, прихожанин нашей церкви?

Вячеслав усмехнулся.

- Мне в вашей церкви делать нечего! Я - коммунист, партиец.

Изумление и оттенок страха мелькнул в глазах у троих. Он повернулся и пошел от них, шагая через лужи.

Старший мальчик его догнал и повис у него на шее:

- Тетя Маня велела сказать: приезжайте нас навестить. Приезжайте и скажите ваше имя: мы за вас будем молиться.

Вячеслав пристально посмотрел в глаза ребенку:

- Мне молитв ваших не нужно! Ты вот не думай о партийцах как о злодеях и доносчиках - это гораздо важнее, понял? - и, спустив мальчика с рук, вышел из сада.

Разыскивая Олега, он не мог отвязаться от мысли, что вовлекается все глубже и глубже в чуждую ему и враждебную в классовом отношении среду. Какая-то червоточина завелась в последнее время в его мыслях... Олег и Нина, на его глазах снятые с работы и оторванные от семьи, та женщина на окне, в кухне, старик-швейцар, убитый горем, и теперь эти перепуганные дети неотступно сопутствовали его думам. Все это были классовые враги, уже апробированные, клейменные, но он не мог не видеть их человеческой красоты! За фигурой попа - худшего из классовых врагов - выросстал отец, который дрожащей рукой вешал ладанку на шею маленького сына. А кто такая эта «тетя Маня»? Богомольная фанатичка, разумеется, тоже ненавистница существующего строя, и притом портниха, кустарь-одиночка, прячущаяся, конечно, от всевидящих глаз фининспектора... Но сколько любви! Какая готовность к жертве, граничащей с подвигом! У этих людей были свои незабываемые обиды, и трудно становилось осудить их за враждебное отношение. «И все-таки откуда это море недоверия и презрения к нам? - думал он. - Какое огромное внимание уделяем; мы вопросу детского воспитания, какие колоссальные средства затрачиваем на детдома, школы и ясли - и вот какой панический страх, а репутация коммуниста переплетается с репутацией предателя, чуть ли не палача! Да что же это?!»

И только что решил, что лучше не разыскивать Олега, который своими разговорами еще больше раскачает его незыблемое, казалось, кредо, как тут же натолкнулся на Олега и Елочку. Волей-неволей пришлось заговорить и присоединить и свою фигуру к разочарованному трио, причем сеттер обнюхивал встречного весьма недружелюбно (очевидно тотчас заподозрил «чуждый пролетарский элемент»).

Олег предложил своим гостям отправиться к Нине, которая тоскует в одиночестве, а кстати может попотчевать гостей горячим и крепким чаем: ведь она располагает целой дачей и таким сокровищем, как керосинка. Нина и в самом деле встретила гостей очень радушно. У нее уже сидела одна гостья - седая старушка, тоже из высланных, с которой они уже занимались чаепитием, и, таким образом, мечта Олега о горячем тотчас осуществилась. Зато обнаружилось, что старушка обладает жалом еще более ядовитым, чем у Олега, и притом удивительным бесстрашием; нежданно-негаданно она огорошила Нину следующей тирадой:

- Что это вы меня подталкиваете, моя милая? К осторожности, что ли, призываете? Так я, позвольте вам сказать, ничего и никогда не боюсь!... Вы уж не партиец ли, милый юноша? Ага, так! Я тотчас догадалась! - и пошла, и поехала щелкать по больным местам: - Что вы нам тут чепуху всякую в голову вбиваете, будто бы Сталин - любимый ученик Ленина? Заладили и в

речах, и в печати! Всем старым революционерам отлично известно, что Ленин не доверял Сталину и говорил о нем: «Он властолюбив и мстителен», «Не допускайте его встать во главе!» Я была знакома с Крупской и слышала эти слова от нее самой.

И не успел еще Вячеслав переварить упоминание о Крупской, которое подействовало на него, как удар ножа, как старушка перешла в новую атаку:

- Эх, не сумела ваша партия воспитать молодежь! Я вспоминаю наше племя! Сколько было в нас самой бескорыстной и беззаветной готовности жертвовать собой за народ! Мне довелось работать на эпидемии чумы. Царское правительство не гнало насильно, под угрозы лишения работы, как это делается теперь. Публиковали официальные приглашения на строго добровольных началах, и, однако, от добровольцев отбою не было, гнали обратно, и никто не хотел уходить, - это вам говорит очевидец! А какие смелые пламенные речи лились, бывало, на наших собраниях и студенческих сходках! Мы не цеплялись за выгодные места и не повторяли как попугаи газетных лозунгов!

Последняя тирада, может быть, не была так убедительно аргументирована, как первая, но зато согласовалась с собственными наблюдениями Вячеслава. До сих пор выводы из них были еще неясны ему, но теперь он почувствовал, что нечто в этом роде, пожалуй, замечал и сам и болезненно всякий раз уязвлялся. Ему делалось все больше и больше не по себе. На его счастье, попали к Нине они только около пяти, а в семь надо было уже выходить к вечернему поезду, неприятные разговоры поэтому не слишком затянулись.

В вагоне осаждали все те же мысли: медсестра на противоположной скамейке тоже не являла особого довольства жизнью, и он готов был биться об заклад, что она ярая контра. Об этом, казалось, кричала даже ее забавная муфточка на черных четках, а еще больше - ее надменное молчание.

Только на следующее утро, собираясь на работу, он несколько встряхнулся, сказав себе, что кое-что тут, несомненно, выдумки классовых врагов, а кое-что - перегибы у власти на местах; есть и сознательное вредительство пробравшихся в управленческий аппарат троцкистов и бухаринцев. Не зря партия проводит эту чистку в своих рядах и в аппарате. Слово «чистка» его успокоило. В самом деле: если бы Советы и великий Сталин находили все в должном порядке, они не выбросили бы лозунг о чистке, а коли он выброшен, стало быть, там, наверху, тоже видят ошибки, с которыми уже повели борьбу решительно, по-большевистски! Все сделалось опять ясно, встало на свои места.

«Отпуск мне записан в мае. Надо будет съездить в родную деревню, посмотреть, как там идет жизнь, каково переустройство. Прежде я, бывало, всякое лето навевывался, а теперь пятый год глаз не кажу. Навещу дядьев да теток, подышу деревенским воздухом, как раз на посевную кампанию попаду, да своими глазами посмотрю как нарождаются колхозы. Тогда, небось, тени от сомнений не останутся и сил прибудет, иной раз надо и самого себя почистить. Если такое дело!»

Он словно бы накидывал градусную сетку на водоворот своих мыслей, чтобы безошибочно определить местонахождение болезнетворного очага и безжалостно выскоблить и выскрести всякую контру в самом себе. «Слабым и сомневающимся - между нами не место! Мы все должны быть одного покроя: крепкие, стальные, монолитные! Положим, нелегированные, но это нам не нужно!» Непоколебимая целостность его мыслей была восстановлена.

«Слуги антихриста! Как бы не так! А славный мальчик этот черноглазый, да ведь испортит его эта тетя Маня нелепым воспитанием, а я мог бы сделать из него честного гражданина!»

## **Глава тридцать первая**

Для Лели наступило время, когда она вся превратилась в настороженное ожидание: придет или не придет к ней, наконец, ее; счастье, наступит ли час ее победы. В санатории ее словно ядом опоили: ей дали попробовать свои силы на поприще женского соревнования в успехе; мужчины были грубее и примитивней, чем ей хотелось бы, зато в них были более обнажены их

инстинкты и ясно сквозило мужское хищничество, которое ей нравилось. Игра с мужским темпераментом привлекала Лелю. Рыцарство размагниченных представителей уходящего класса давно стало казаться бесцветным и бледным. В этот год все впечатления в области флирта свелись только к санаторским, где Леле удалось попробовать себя более длительно, изо дня в день и притом освободившись от всякого присмотра. Это было очень захватывающе, потому что вокруг был молодежь, веселая и праздная, все интересы которой сконцентрировались на романах. Сначала Леле казалось странным позволять схватывать себя за локти и плечи, выслушивать намеки и убегать от поцелуев, но эта игра увлекала все больше и больше. Интерес подогревался еще тем, что она безусловно имела успех, и притом прослыла такой, которая «не дается». Женская половина отдыхающих завидовала как ее изяществу, так и этой репутации, – она это чувствовала. Всеобщий интерес как будто даже сконцентрировался на том, достанется она кому-нибудь или так и не достанется? Это открыто обсуждалось за обеденными столиками и доставляло ей огромное удовольствие. Некоторые девчонки ее открыто возненавидели, и это тоже содействовало росту ее успеха. Через весь этот довольно грубый флирт у Лели еще проходила чистая девственная нитка: страх перед неизведанной еще близостью с мужчиной, нежелание достаться слишком легко и надежда на что-то лучшее, что еще подойдет к ней может быть... Тем не менее, она отдавала себе совершенно ясный отчет, что раздражать мужчин доставляло ей все большее и большее наслаждение.

Когда появился Геня – «гвоздь сезона», который занял среди мужчин примерно то же положение, что она среди женщин, – вопрос заострился на том именно, одержит ли теперь над ней победу Геня, если не сумели другие. Все как будто отступили, давая ему место, но тут-то именно (может быть, потому, что этот человек заинтересовал ее больше остальных) в ней упорней заговорили привитые воспитанием навыки, и она почувствовала себя не в состоянии отдаться шутя. Он был интеллигентнее других, и ей захотелось заставить его понять, что она не такая, как все, и требует особо бережного отношения и внимания исключительного. Повидимому, он это понял, если, признав себя побежденным, пожелал перенести знакомство в Ленинград. И вот теперь он не шел! Пролетел уже весь январь, а он не появлялся! Может быть уже забыл о ней? И она увидела себя вновь перед пустотой... Опять довольствоваться обществом матери, Натальи Павловны и Аси с Олегом? Опять этот сухой постный режим, а впереди – перспектива превращения в сухую и злую старую деву? Ей было всего двадцать два года, а она думала о себе так, как будто ей было тридцать! Отчасти это происходило оттого, что Ася на ее глазах вышла замуж и этим словно поставила ее в положение перестарка. Окружающие считали ее почти девочкой, и только сама она уже готова была махнуть на себя рукой, замирая от страха, что на ее долю не выпадет радостей. Эта мысль делала ее раздражительной, она опять стала до колкости суха с матерью и потеряла вкус ко всем уютным милым минутам домашней жизни; глядя в зеркало на свое хорошенькое личико, со страхом думала, что ей уже недолго быть такой и она упускает время... А что делать, чтобы не опустить? Где найти поклонников, да еще именно таких, как хочется? Угрожающий бег времени открылся ей, чтобы мучить ее постоянными опасениями о потере драгоценных минут и невозможности ничего изменить. В ней стала появляться зависть к Асе, которая так легко и быстро нашла свое счастье в то время, когда еще нисколько не томилась по любви; зависть, несмотря на то, что Олег никогда не пленял ее воображение.

И вот в одно утро, когда, сжавшись комочком, она сидела на своей постели, раздумывая над неудачами своей жизни, в ее дверь постучали, и соседка вызвала ее в переднюю, говоря:

– К вам пришли.

Она выглянула, и внезапно, словно горячее вино пробежало по всем ее жилам, согревая кровь: перед ней стоял Геня, цветущий, веселый, в кожаной куртке и меховой круглой шапке. Щеки его были ярко-розовые, а черные глаза сверкали, как уголья.

– Узнаете меня, Леночка? Явился с вашего разрешения, если припоминаете. Думал заявиться к вам тотчас по приезде, но меня в командировку угнали. Могу я войти?

– Да, да! Пожалуйста, Геня! – воскликнула она, чувствуя, как горячая жизненная струя

захлестывает ее через край.

Зинаида Глебовна вошла, когда разговор только завязался. |

- Мама, позволь тебе представить: Геннадий Викторович Корсунский - один из отдохавших вместе со мной.

Геня поднялся, не спеша, и, кланяясь, не поцеловал руку ее - матери. Это слегка покорило Лелю, но она тотчас подумала: «Нельзя требовать от него старорежимной изысканности, он по своему достаточно вежлив, и этого должно быть довольно».

При Зинаиде Глебовне, однако, разговор начал увядать, и Леля смертельно испугалась, что Геня сбежит от скуки... Но у него, по-видимому, были другие планы:

- А что если мы с вами, Леночка, предпримем сейчас небольшую экскурсию по кино, а? Мой пропуск со мной, погода отличная, собирайтесь-ка поживее.

- Стригунчик, как же так? Ведь тебе к 3 часам на работу, тебе надо обедать через час, - забормотала было Зинаида Глебовна в ту минуту, как Геня подавал Леле пальто.

- Ничего, об этом не беспокойтесь: накормим где-нибудь вашу Леночку, голодной не оставим и на работу тоже доставим без опоздания, - успокоил покровительственно Геня и притронулся к шляпе, прощаясь.

В темноте кинозала, сидя рядом с Геней плечо к плечу, Леля почувствовала вдруг, как его рука пробирается к ней в рукав. Это уже вовсе не предусматривалось хорошим тоном, но вырваться она не решилась, боясь чрезмерной сухостью отпугнуть его. Надо было чем-то пожертвовать в угоду этому человеку!

- Я соскучился по вас, - шепнул он, привлекая ее к себе.

- И я, - ответила она еле слышно.

- Леночка-Леночка, милая девочка! - и он продолжал гладить ее руку.

Из кино поехали в кафе Квисисана, где Леля пила кофе со взбитыми сливками и ела пирожное, потом на такси она была доставлена на работу... Как изменилось все за этот день! С ее груди разом снялась тяжело давившая доска, исчезло ощущение уходящих без радости дней! Ее наконец оценили, ею любуется красивый веселый юноша с черными южными глазами, он готов баловать ее, он в нее влюблен! Это сразу сделало ее и веселой, и доброй... Вечером, у Аси, которая была опечалена отъездом Олега, она с такой готовностью помогала Асе и мадам в их хозяйственных делах, она так весело играла с ребенком, время от времени заглядывая вглубь своего сознания, чтобы вынуть оттуда радостную уверенность: «Счастье будет и у меня!»

На следующий день у ворот больницы Лелю ждала машина: Геня повез ее опять в кино, а оттуда в ресторан ужинать. Но когда они выходили из ресторана, он, беря ее под руку, вдруг сказал ей на ухо:

- Ну а теперь поедemте ко мне. Согласны, Леночка?

Она остановилась, точно ее хлестнули бичом: в ее мыслях отношения интимные обязательно принимали законную форму - и опять она оказалась невинной, чем то, что приближалось в действительности.

- К вам? Нет, Геня, я не поеду, - и она вырвала у него руку.

- Почему же, Леночка? Мне казалось, мы друг друга любим. Разве нет?

Она молчала.

- Леночка, надо брать от жизни все, что может нас сделать счастливыми. Вы ведь отлично видите, что я от вас без ума.

Фраза эта приятно щекотала ей слух, но она все-таки молчала.

- Вы меня не любите, Леночка? - попытался он.

- Геня, я к вам не поеду. А сказать «люблю» для меня не так просто.

Они стояли выжидательно, глядя друг на друга, пауза была очень напряженная.

- Леночка, вы... еще не любили? Вы... простите... девушка?

Ей осталось только спрятать запылавшие щеки в старый куний воротник. «А все-таки он безмерно дерзок!» - мелькнуло в ее мыслях. Геня хмурился, что-то взвешивая.

- Леночка-Леночка, милая девочка! Да вы у нас Лисонька Патрикеевна! Уж по всему вижу, что

придется мне около вас повертеться. Ну да ладно, поехали к вам.

Она облегченно и радостно вздохнула и в награду разрешила ему целовать себя в темноте машины. «Теперь он понял, что со мной нельзя шутить, и теперь, если заговорит о любви, то это будет уже предложение! Какой он все-таки милый!» – думала она, закрывая глаза под его поцелуями.

Последующая неделя была вся полна встреч и веселого оживления. Геня, по-видимому, не стеснялся в средствах: кино, театры, такси, конфеты, ужины в ресторане сыпались на Лелю, как из рога изобилия. Она так привыкла видеть вокруг себя нужду и озабоченность, что ей даже странно было наблюдать ту беспечность, с которой он тратил деньги.

В один вечер, сидя рядом с Геней перед началом спектакля в партере Александринского театра, с коробкой конфет на коленях, Леля обводила глазами ряды кресел и внезапно вздрогнула: на нее пристально смотрели холодные и злые зеленовато-серые глаза, взгляд которых неизменно внушал ей ужас. Сердце ее тотчас забило дробь. «Он здесь! Зачем он здесь? Впрочем, как так зачем? Пришел, как и мы, слушать пьесу. Господи, куда бы мне только уйти от этого взгляда?» Она постаралась принять равнодушный вид и предложила Гене выйти в фойе. Но звонок заставил их почти тотчас вернуться в зрительный зал.

- Вы знакомы с этим товарищем, Леночка? – спросил Геня, едва они успели усесться.

- С кем? – спросила она, хотя уже заранее была уверена в ответе.

- Вот с тем, что стоит у прохода в пятом ряду. Взгляните, как он смотрит на нас.

Леля, однако, обернуться не захотела.

- Я его не знаю, – шепотом сказала она.

- А мне его лицо как будто знакомо, – сказал Геня. – Но я не могу вспомнить, где я видел его. Кажется, он раздумывает над тем же, если так изучает меня и вас. Может быть я его встречал на службе...

- Геня, скажите, где вы служите? Я у вас давно хотела спросить.

- В цензурном комитете. Поэтому-то у меня пропуска во все театры.

- Как? Вы – цензор, Геня?

- Это вам не нравится, Леночка?

- Цензура так уродует произведения. Всякий цензор мне сейчас же напоминает Бенкендорфа, – смущенно пробормотала Леля.

- И тем не менее ваш самый преданный слуга и друг – новый Бенкендорф! – засмеялся Геня. – В нашей работе есть очень большие преимущества, Леночка: мы в курсе всех новинок кино, театра, литературы. И вхожи повсюду. Цензор видит все первым. Вот погодите, будем вместе ходить на просмотры фильмов и пьес, так вы сами войдете во вкус моей работы. Конечно, приходится иногда перечеркивать, руководствуясь инструкциями... Цензор – человек подначальный, как и всякий другой... С этим уж ничего не поделаешь! Сколько могу, стараюсь быть мягче, даже попадает иногда! – и он добродушно засмеялся.

В антракте Геня ушел в курительную комнату, покинув Лелю в коридоре бенуара. Она подошла к одному из больших стенных зеркал взглянуть, хорошо ли лежат ее кудри, и вдруг увидела позади себя отражение все того же холодного злого лица, которое проплыло мимо. Видны были только голова и шея, и это заостряло впечатление. Леля опять вздрогнула, но не обернулась. Только когда отражение исчезло, она взглянула ему вслед и увидела, что он входит в курительную за Геней. Одновременно ноздрей ее коснулся запах, который напомнил минуты в кабинете № 13: духи, которыми душился следователь, и примешивающийся к ним запах, напоминающий серу. «Он весь – как нечистый дух! – сказала она себе. – «Элладой» он хочет заглушить свой естественный запах, чтобы не выдать свое родство с нечистым. Ах, как испортила мне вечер эта встреча!»

Геня только что докурил папиросу и хотел выйти, когда услышал позади себя голос:

- Товарищ Корсунский, привет! – к нему подходил человек, о котором он говорил с Лелей.

- Простите, товарищ! Я не узнаю вас, – сказал Геня. – Лицо ваше мне как будто знакомо, напомните, где мы встречались?

- Встречались не один, а два или три раза: в клубе гепеу и на партсобраниях, посвященных вопросам цензуры; даже поспорили один раз по вопросу о переиздании «Золотого теленка».
- Совершенно верно! Да, да! Вы высказывались против, и ваше мнение оказалось мнением большинства. Но фамилию вашу я все-таки не припоминаю!
- Ефимов, следователь политчасти. Товарищ Корсунский, вы мне очень нужны. Я вас попрошу завтра же утречком зайти в наше учреждение, кабинет номер 13. Если вы заняты в это время могу прислать официальный вызов с курьером...
- Нет, нет, зачем? Я сам могу отлично освободиться. А в чем дело, товарищ? Я как-то не пойму!
- Не здесь же обсуждать! Согласитесь, товарищ, что не место. Итак, я вас жду. Попрошу держать в секрете: вашей спутнице ни полслова!
- Нет, нет, разумеется! Только я все-таки не понимаю... - начал опять озадаченный юноша, но его собеседник уже повернул к нему спину.

Леле показалось, что Геня был чем-то озабочен, когда вернулся к ней: он несколько раз хмурился и уже не шутил. Прощаясь около ее подъезда, он сказал, что не может быть у нее на следующее утро, хотя они только что условились, что поедут вместе завтракать. Расспрашивать его она не решилась, не считая себя достаточно близкой для этого, но ей стало беспокойно. Всю ночь она раздумывала над впечатлениями этого вечера, чувствуя, как тяжело и тоскливо замирает ее сердце. Тут было несколько моментов: во-первых, цензура, да еще советская! Леля знала, как издевались над ней все ее близкие и до каких нелепостей она доходит! Второе: следователь видел ее с молодым человеком: «Теперь он может взять под обстрел мои отношения с Геней и начнет допрашивать о нем...» - думала Леля. И третье: отчего Геня так изменился к концу вечера, так коротко и сухо простился? Ему, словно было не до нее! Может быть, обиделся за «Бенкендорфа»? «Надо быть вечером особенно с ним приветливой, чтобы загладит мою резкость. Милый Геня, я огорчила его!»

Следующий день тянулся убийственно медленно. Вернувшись с работы, весь вечер вся наэлектризованная, она ждала его, но он не шел! Несколько раз она шла к дверям и смотрела на лестницу в замочную скважину - все напрасно! Тревожные мысли стали осаждать ее: неужели все гибнет и счастье уходит - счастье, которого она так долго ждала? И все из-за одной неудачной фразы! Да пропади вся эта политика и вся эта семейная вражда к новым установкам! Ну, цензор так цензор! Ведь цензор - не следователь! Может быть, Геня пошел в цензуру только затем, чтобы иметь дело с искусством, а не с канцеляриями и новостройками. Важно одно - он ее любит! Только бы пришел, она чем-нибудь докажет ему свою любовь, она найдет способ повернуть к себе его сердце, она не уступит так легко свое счастье!

Ночь тянулась тоже мучительно медленно, запомнились часы, которые отбивали удар за ударом, отсчитывая такты ее мучительным думам. Эта ночь кончилась, наконец, но легче не стало. Она чувствовала, что и мать тревожно наблюдает ее, и необходимость притворяться раздражала ее настолько, что она с трудом удерживалась от резкого слова. Она боялась подумать, что будет, если он не придет: боялась пустоты предстоящего вечера и дум новой бессонной ночи. Время шло, а его все не было; в два часа предстояло обедать и тотчас уходить на работу. Она снова нырнула в темную щелку между входными дверями и стала смотреть в замочную скважину. Откуда тянулась ей в лицо струя холодного воздуха. Картина та же, что вечером: скованная холодная тишина лестничных клеток, нарушаемая стуком дверей. Она уже приноровилась разбираться в этих стуках: вот захлопывается чья-то дверь и слышны шаги вниз - кто-то вышел, этот звук ее не интересует; вот он повторяется снова. А вот звук более отдаленный и подающий надежду - звук захлопываемой лестничной входной двери внизу и после него шаги вверх по лестнице - все внимание ее мобилизуется, если бы она была собачкой, она наострила бы уши, так чутко она прислушивается, и сердце опять отбивает дробь. Уже устало тревожиться ее сердце, хоть она и очень молода - устало все-таки! Слишком много терзаний! Вот и сейчас: услышанные шаги во втором этаже стихли, и кто-то открывает ключом дверь... и снова тишина, строгая, равнодушная и такая же холодная, как струйка воздуха, которая тянется через щелку ей в лицо. Опять стук двери, два разговаривающих

голоса и шаги вниз – не то! А вот и шаги наверх, слышавшиеся вдруг очень близко (они были сначала заглушены голосами), но это не его шаги – это шаги тяжелые, медленные, сопровождаемые усиленным дыханием: это идет кто-то, страдающий одышкой, кто-то старый. Шаги останавливаются и опять тишина. Слышно, как бьют часы, уже половина второго. Совсем скоро мать позовет обедать, а потом на работу... Господи, Господи, он не придет! За что Бог наказывает ее, за что? «Знаю: брата я не ненавидела и сестры не предала», – эти строчки Ахматовой как раз к ней! За что же ее наказывать, за что? Она опять нагибается к щелке и вдруг слышит удар захлопывающейся лестничной двери и шаги наверх – шаги быстрые, молодые... кто-то взбегаёт через ступеньку, ближе... ближе. Похоже на него, но страшно верить: а вдруг шаги опять остановятся, не дойдя? Но шаги не останавливаются, и вот она уже видит в щелку очертание фигуры в кожаной куртке... Ой, Господи, он! Какое счастье! Она только хочет покинуть свой наблюдательный пункт, как замечает, что Геня, не дойдя до двери, остановился и, опираясь о перила, словно в раздумьи... Минута, другая, третья... Геня не идет звонить – почему? Он точно раздумывает: войти или не войти? Открыть ему сейчас – значит выдать себя, отойти – риск: ведь он колеблется, а вдруг уйдет?!

– Стригунчик, обедать! – раздаётся так хорошо знакомый, ненужный и досадный оклик матери. Не отвечая, она снова нагибается к щелке: Геня все также стоит. Будь что будет! И она распахивает дверь.

– Геня, вы? Здравствуйте! Отчего вы не идёте, а стоите здесь?

Он подошел и взял ее за руку:

– Здравствуйте, Леночка. Я как раз хотел позвонить, а вы – тут как тут!

Они входят в комнату, и каждый ловит на другом внимательный и как будто настороженный взгляд.

– Геня, вы не оскорбились ли, что я вас сравнила с Бенкендорфом? Я упрекала себя за эту фразу.

– Нет, нет, Леночка, что вы! Вчера утром я оказался занят, а вечером голова разболелась – только и всего, – ответил он, но ей почему-то показалось, что головная боль – только предлог, прикрывающий подлинную причину. Однако допрашивать опять не решилась.

Геня лихо доставил ее в такси на работу и все продолжение пути кормил ее шоколадными конфетами, доставая их из коробки и поднося к ее губкам в промежутках между поцелуями. Для разговоров, таким образом, времени не оставалось. Решено было, что к 8 вечера он заедет за ней в больницу, и они проведут вечер вместе.

В этот вечер впервые был затронут вопрос о ее происхождении.

– Кто этот старый человек в таком странном одеянии, Леночка? – спросил Геня, указывая на одну из фотографий в комнате Нелидовых.

– Дедушка, он был сенатор. Это камергерский мундир.

– Ого! – сказал Геня. – У вас, наверно, бывают неприятности вследствие этого, Леночка?

– Да, Геня, от вас я скрывать не хочу: мы с мамой очень много бедствовали, иначе я не работала бы в тюремной больнице. Вы советский человек, Геня, и тем не менее, наверно, согласитесь, что преследовать меня за моих предков – несправедливо, так как я ведь тут ни в чем не виновата.

– Да, разумеется. Перегиб палки, и таких перегибов у нас много. У вас, кроме матери, есть еще родные, Леночка?

– Нет, родных нет.

– Как? Никого? – почему-то удивился он.

– Только двоюродная сестра, – сказала Леля.

– Ах, вот как! Она живет одна, или...?

– Нет, в семье, с бабушкой и с мужем... Бабушка ее относится ко мне как к родной внучке, хотя с ней как раз мы не в родстве: она приходится моей Асе бабушкой по отцу, а не по материнской линии.

– Эта бабушка тоже, наверно, аристократка?

- Бологовская, вдова свитского генерала.

Выслушивая эти спокойные и простые ответы, он несколько раз бросал на нее быстрый и как будто удивленный взгляд.

- Ваша мамаша, наверно, ко мне не очень благоволит: я человек другого круга.

- У нас нет теперь нашего круга, Геня: nous sommes declasses [102], как сказали бы французы. Притом... знаете, Геня, теперь аристократическому кругу приписывают много таких недостатков, которых не было на самом деле: зазнайство в нашей среде считалось дурным тоном, присущим выскочкам. В детстве за нами очень строго следили, чтобы мы были вежливы и приветливы со всеми окружающими, с прислугой. Когда я теперь наблюдаю надменные мины, с которыми молодые врачи проходят мимо младшего персонала, я невольно думаю: вот бы им поучиться вежливости у мамы или у Натальи Павловны.

- Да, да, возможно, - бормотал он несколько озадаченно, пристально всматриваясь в нее и вертя свою шляпу. - Так вы полагаете, что Зинаида Глебовна... - и оборвал фразу. Леля мысленно докончила ее за него: «не была бы против нашего брака», - румянец залил ее щеки и, понимая, что ответ ее должен быть в высшей степени тактичен и ничуть не изобличать ее догадок, она сказала:

- Моя мама кротка и добра и готова любить всех, кто добр со мной, - и замерла в ожидании следующих слов. Но он сказал совсем другое:

- А ваша кухня вышла за человека вашего круга или из новой среды?

По всей вероятности, он спрашивал это, желая точнее уяснить себе, как будет принят сам, почему бы иначе он задал такой вопрос. Она взглянула ему в лицо, собираясь ответить с той же искренностью, но встретила взгляд, в котором сверкнуло слишком обнаженное, жадное любопытство, и это ее остановило. Минуту она молчала и опять призвала на помощь весь свой такт.

- Он не аристократ, но человек интеллигентный, как и вы. Ее он безумно любит, и это то главное, что нам в нем дорого.

- А как его фамилия?

Леле казалось, что кто-то, неосяземо касаясь ее уха, шепчет ей: «осторожней!»

- Казаринов, - ответила она после минуты нового молчания.

Почему-то и он молчал несколько минут, а вслед за тем, не продолжая этого разговора, - разговора, который касался обнаженных проводов высокого напряжения, - вдруг сказал:

- А не махнуть ли нам в кино, Леночка?

- С удовольствием, Геня.

Но она не следила за кинокомедией, над которой потешался он, она думала над тем, что заставило ее солгать ему и каковы могут быть последствия этой лжи? Вспоминая, как странно блеснули его глаза, она говорила себе: «Я просто становлюсь мнительна в этом пункте. Однако ж обязывать чужого человека хранить семейные тайны - несколько опрометчиво! Я правильно сделала, что не сказала; я все расскажу, и про следователя, и про Олега, когда стану невестой - не раньше, не позже», - и успокоилась на этом решении.

Когда придет эта минута? Он что-то должен сделать с ней, чего она еще не испытала. То именно, из-за чего люди разбивают друг другу жизни, разоряются, стреляются, лишь бы получить «это» от того, кто вдруг начинает притягивать к себе как магнит! Она это ждет. Ее маленькое тело еще настолько невинно, что она не представляет себе ни одного из ощущений, которыми, наверно, сопровождается страстный аккорд. Но она - вся ожидание! Если «это» не подойдет к ней теперь же - она зачахнет.

Отчего это так? Отчего Ася была и осталась до странности равнодушна к этой стороне жизни? И Олег, называя жену то Снегурочкой, то Мимозой, то святой Цецилией, сам подсказывает эту мысль. Для Аси с самого начала центр лежал в чем-то ином, а в ее томит непонятное тяготение к этой минуте. В чем тут дело? Или уже сказывается разница темперамента?

В один из вечеров она вернулась домой, сопровождаемая Геней, несколько раньше, чем предполагала. Зинаиды Глебовны не оказалось дома - обычно она очень добросовестно

караулила и к великой досаде Гени.

- Никого? - спросил он, озираясь, и глаза его вдруг блеснули

- Геня, Геня, не надо! Геня, что вы делаете, не смейте! Я не позволю! Геня, я не хочу! - сколько бы она не замирала в ожидании этих минут, разрешить их ему теперь она сочла бы падением.

- Геня, вы обязаны повиноваться! Прочь - слышите? - и, набравшись сил, оторвала его от себя, он ей показался тяжелы и мягким, как куль муки.

- Это же нахальство, наконец! - воскликнула она возмущенно.

Он разозлился:

- Вы что же, всегда, что ли, будете кормить меня одними надеждами? Я не импотент, чтобы довольствоваться вашей дружбой.

Леля вспыхнула:

- Вы обязаны быть деликатным в разговорах со мной! Вы не смеее касаться... касаться... некоторых вещей... Это грубо. Я однажды уже просила вас держать себя корректно.

- Вы хотите непременно в загс прогуляться или, может быть, в церковь меня потащите?

Леля гордо вскинула голову.

- Я своей руки никому не навязываю. Вы можете уйти вовсе, Геня, и это, кажется, самое лучшее, что вам теперь остается сделать.

- Самое лучшее! Целый месяц вертелся около вас, баловал, веселил, и вдруг - скатертью дорожка, катись, голубчик!

- Похоже на то, что вы намерены предъявить мне счет? - надменно сказала Леля. «Прогоню», - подумала она и только что хотела произнести несколько очень решительных фраз, которые бы окончательно разделили их, как вдруг он бросился на нее и повалил на сундук. Однако же это было не насилие - он не сдвинул и не зажал ее, а только ласкался, терся, как кот.

- Леночка-Леночка, милая девочка! Не гоните меня. Ну, зачем мы куражимся, друг друга задираем... Ведь все это вздор, а вот что настоящее! Ну, приголубьте меня хоть одну минуточку. Ведь это самая большая радость жизни. Ведь я же на самом деле влюблен! Ведь не слепая же вы, чтобы не видеть этого!

Дверь отворилась и быстро вошла Зинаида Глебовна. Оба вскочили. Она все-таки не опоздала со своим материнским наблюдением, маленькая, худенькая, почти в лохмотьях, она с величавым достоинством остановилась в дверях и молчала в ожидании объяснения, что, казалось, достаточно капли такта, чтобы понять, что недопустимо игнорировать ее появление. Но для этого юноши вмешательство матери было лишь досадным и ненужным осложнением.

- До свидания, - только и сказал Геня, обходя Зинаиду Глебовну, чтобы пройти в переднюю, и взялся за пальто, но уже у самого порога остановился.

- Вам будет от нее головоломка, Леночка? - конфиденциально осведомился он и, прежде чем Леля собралась ответить, прибавил: - Видно, и в самом деле без экскурсии в загс нам не обойтись. Пока, - и вышел.

Вот она и получила предложение в новом вкусе: без коленопреклонений, без клятв в верности, без объяснений с матерью! В теории рыцарство казалось скучным, а вот на практике получалось, что без налета романтики выходит чересчур грубо, и притом она не застрахована ни от обиды, ни от оскорбления! «Не обойтись без экскурсии в загс», - как расценивать эту фразу: считать ее предложением или не считать? Ведь он даже не спросил ее согласия, даже не сказал, что желает этого сам... Она стояла несколько ошеломленная.

- Стригунчик, что значит эта сцена? Ответь, пожалуйста.

- Ах, мама! Я знаю все, что ты скажешь. Ну да, мы целуемся! Что делать, если он воспитан в совсем других понятиях. Ты ведь видела же: я его отталкивала.

- Но ты позволяешь ему больше, чем можно позволить жениху. Делал он тебе предложение? Ответь.

- Завтра я тебе скажу все точнее, мама: видишь ли, мы еще не договорились до конца. А ты не

будешь против?

Зинаида Глебовна привлекла к себе дочь.

- Я хочу только твоего счастья, дитя мое драгоценное! Человек этот, конечно, совсем другой формации, чем мы, но в какой-то мере интеллигентный. Если ты его любишь, я препятствовать не буду, хотя уже теперь вижу, что ни уважения, ни внимания мне от него не дожждаться, с тобой же он чрезмерно смел... Стригунчик, будь осторожна]

Леля вдруг обхватила шею матери.

- Мама, мамочка! Несчастливые мы с тобой!

- Стригунчик, девочка моя, неужели он так тебе нравится?

- Нравится, мама. Иногда я, досадуя на него, злюсь и в то же время знаю, что без него мне станет очень пусто и скучно. Да, мама: я хочу, чтобы он стал моим женихом; я уверена, что будет очень много шероховатостей, но пустоту моей жизни я больше выносить не могу.

Утром, в этот раз несколько раньше обычного, появился Геня в коричневых полуботинках и нарядном галстуке, с двумя свертками под мышкой.

- Вот вам в подарок туфельки, Леночка, я заметил, что с обувью у вас не совсем благополучно. А вот здесь - перчатки. Я уж выбирал самые лучшие. Померьте, не велики ли? У вас лапки, скажу вам, как у мышонка.

Леля смотрела ему в лицо, и в глазах ее был вопрос.

- Эти подарки... Не знаю, Геня, по какому праву вы делаете их?

- Да разве мы не жених и невеста, Леночка?

- А вы разве спрашивали меня, Геня, желаю ли я быть вашей женой?

- Так вы непременно соблюсти форму хотите? Ну, говорите, Леночка, желаете ли... А я было думал, что все уже решено, коли я на загс согласен. Да ведь не откажете же!

- Не откажу... - смущенно прошептала Леля и покраснела.

- Как жениху - поцелуй, и едемте завтракать в «Европейскую». Вспрыснем наше жениховство бутылкой шампанского.

- Подождите, Геня! Вы неисправимы! Надо ведь маме сказать... Возьмем с собой и мамочку.

- А вдвоем разве не веселее, Леночка? Матери - тяжелая артиллерия. Вы сама уж ей лучше скажите... потом, вечером. Объясните, что комната у меня есть, и зарабатываю я достаточно. Служить вам не придется, пока будем в браке. Поехали.

- Для моей матери ваше материальное положение не играет роли, Геня, - сказала Леля гордо.

- Ну, и хорошо, если так, Леночка! Примеряйте подарки, и - едемте!

Его добродушие и веселость, казалось, разбивали все укрепления, но перевести его в серьезный тон никак не удавалось, и опять ей чего-то не хватало: не хватало бережности и нежности, ну, хоть двух-трех слов о том, что без нее для него нет счастья в жизни и что так, как он любит ее, он еще никого не любил! Фраза «пока будем в браке» звучала странно - как будто впереди уже мерещился конец. Она раздумывала над этим, пока он изучал меню, и радость, что она ускользнула от подстерегающей ее пустоты, перемешивалась с болью разочарования.

«Это все ничего! - утешала она сама себя. - Минуты счастья у меня будут и сынок будет - чудный, черноглазенький! Все ничего, только бы не пустота». Она взглянула на Геню - он уже сделал заказ и в эту минуту задумался, оперев на руку нахмуренный лоб. Ей бросилась в глаза озабоченность его лица... Чем мог быть обеспокоен в такой день этот эпикуреец в советском вкусе? И она спросила:

- Геня, о чем вы задумались?

Он встrepенулся.

- Отчего это, Леночка, так часто какая-нибудь, прямо скажем, пакость портит нам счастливые минуты? Завелся же такой порядок в нашей жизни!

- У вас неприятности, Геня?

- Прицепилась одна с некоторых пор. Ну, да ничего - выкручусь! Вот несут наш заказ: ваши любимые взбитые сливки, Леночка.

- Эта неприятность имеет какое-то отношение к нашей свадьбе, Геня?

- Нет, нет! Ни малейшего. С чего вы вообразили? Служебное.

У нее на языке вертелось: «Я всегда рада буду разделить каждое ваше огорчение, Геня. Вы можете найти во мне друга!» Но она не решилась это сказать, чтобы не показаться навязчивой или любопытной.

- Когда же мы пойдем к вашей кухне, Леночка? Надо ведь познакомиться с будущей родней, - сказал вдруг Геня.

Леля удивилась: Геня готов делать родственные визиты, Геня, который двух слов не захотел сказать с ее матерью!

- Рада буду повести вас в этот дом, Геня, там родные мне люди.

- Так почему же вы оттягиваете этот визит, Леночка?

- Что вы, Геня! У меня и в мыслях этого нет! Но поймите, что вести вас к Наталье Павловне прежде, чем вы стали моим официальным женихом, я не могла: представить вас, говоря «это мой мальчик», как принято теперь - невысказано в этом доме.

- Ах, да: ведь там сиятельнейшие аристократки! - сказал он.

Леля молчала.

- А впрочем, муж вашей кухни, если я правильно понял, такой же выходец из низов, как и я: мой отец в молодости был типографским рабочим, он старый партиец, подпольщик; с тех пор он, правда, успел окончить высшую партийную школу и теперь на руководящей партийной работе в Киеве. А кто родители этого Казаринова?

«Почему Олег его особенно интересует? - думала Леля, чувствуя опять странное нежелание говорить на эту тему. - А ведь надо будет сказать, не откладывая; продолжать скрывать теперь невысказано: рано или поздно ему все равно все станет известно и тогда моя скрытность может оскорбить его и поссорить нас». И сказала:

- Сегодня же вечером я забегу к Наталье Павловне и спрошу ее, когда ей удобно будет нас принять.

Он удовлетворенно кивнул и начал рассказывать сцену из «Золотого тельца», ту, где Бендер и Балаганов выдают себя за сыновей лейтенанта Шмидта. Это произведение он почитал в душе шедевром мировой литературы, хоть и не решался признаться в этом, опасаясь обвинений в дурном вкусе со стороны Лели и в недостаточной лояльности со стороны товарищей. В этот день на работе Лелю не оставляло ощущение перемены - новой пламенной жизненной переполненности, приближавшейся к ней на смену прежнему прозябанию. Но сквозь все эти ощущения, и наперекор им, в сознании ее несколько раз назойливо проплывало воспоминание о Вячеславе и его предложении, в котором под самой простой формой заключалось отношение по существу рыцарское: раньше, чем искать наслаждений, хотя бы самых беглых, таких, как пожатия рук, юноша этот заговорил с ней, обещая оберегать ее и заботиться о ней, а представитель советской золотой молодежи имел в центре прежде всего себя самого! Она не могла не видеть этого! Несколько раз мысли ее возвращались к странному факту: страшный человек вот уже два месяца не вызывал ее, несмотря на то, что встреча в театре, казалось бы, должна была о ней напомнить... Может быть он сжалился, увидев ее с юношей, и решил оставить в покое? Но нет: жалость не вязалась с этим холодным, жестоким взглядом. «Вернее всего он просто потерял надежду добыть через меня нужные ему сведения; я, по-видимому, избрала правильный путь: разоблачая по мелочам, прикрывать то, что нельзя выдать. Полковника Дидерихса взяли, конечно, не за тот анекдот, о котором я вынуждена была сообщить: его жена сама говорила Наталье Павловне, все дело в том, что он - измайловец. Надежда Спиридоновна... Вот тут доля моей вины есть, но этой ценой я, может быть, спасла Асю».

Странно, что сердце ее было все время как-то беспокойно и точно замирало в предчувствии недоброго. «Я слишком издергана и стала мнительна. Вот и все!» - говорила она себе, стараясь успокоиться, однако это не удавалось. Белый обволакивающий туман не спускался окутать ее своей волшебной дымкой, - той дымкой, в которой блуждала Ася в такие же решающие дни

своей жизни.

## Глава тридцать вторая

В один из своих выходных дней, явившись домой, Олег попал прямо на скандал, разыгравшийся в благородном семействе: мадам выходила на прогулку со Славчиком и белой Ладой, и пока она учила ребенка гнать метелочкой ручейки, подскочил откуда ни возьмись крупный боксер и завертелся вокруг прелестной пуделицы и сгибло, пропало собачье целомудрие! Пуделица только что была просватана за премированного пуделя, визит которого ожидался на днях, и вот вместо законного брака неожиданный мезальянс! Мадам только ахнула, увидев, до чего дошло! Испуганная пуделица, отличающаяся моральными задатками Лукреции, с жалобным визгом помчалась домой, а за ней мадам, запыхавшаяся и тащившая за ручку Славчика. В ту минуту, когда Олег появился в передней, мадам с жаром повествовала о случившемся Асе и Клавдии, высунувшей свой любопытный нос; всеми забытый Славчик с раскрасневшимися щеками, еще в шубке и капорчике стоял посередине передней. Ася стала вытаскивать забившуюся под стол пуделицу, повторяя: «Ничего, не горюй, моя любимая! Мы тебя будем любить по-прежнему, а щенят твоих воспитаем. Не бойся!»

- Oh, mon Dieu! - восклицала француженка, - Viola, donc, un etourdi! [103] - а сама смеялась, в тайне восхищенная смелостью и ловкостью этого etourdi.

- Ну, щенки эти по всей вероятности будут таковы, что пристроить их не будет возможности: пудель и боксер не пара - топить придется! - ввернул Олег.

Ася мгновенно выпрямилась, как струнка, и Олег увидел знакомый взгляд разгневанной Дианы.

- Что?! Топить детей моей Лады?! Топить живые пушистые комочки, которые дрожат и плачут? Замолчи, или я тебя возненавижу!

Олег сдвинул свои густые брови.

- Я уже не в первый раз от тебя это слышу; признаюсь, не люблю повторений! Сентиментальным я делаться не намерен тебе в угоду.

Она взглянула на него долгим пристальным взглядом и сказала уже гораздо мягче, но очень серьезно:

- Я хочу, чтобы ты понял: когда мне кого-нибудь жаль, мен точно острием задевают. Недавно у меня заболел в первый раз зуб и, знаешь, боль обнаженного в зубе нерва напомнила мне чувств жалости - та же мучительная острота.

Черные грустные глаза собаки бросили на нее понимающий и ласковый взгляд из под стола: пудель ее безусловно понял.

Олег заявил, что намерен в этот приезд серьезно поработать напильником и сверлом, чтобы произвести намеченную операцию над «леди» - так назывался манекен, торчавший в углу диванной. Олегу пришла блестящая мысль выпилить в этой «леди» дупло и начинить ее тем компрометирующим материалом, который становилось все опаснее и опаснее держать дома. Это были кресты и ордена, визитные карточки и приглашительные билеты к «его» или «ее» превосходительству, а также метрики и фотографии, на которых перемешивались Преображенские, Семеновские и кавалергардские имена и мундиры. Наталья Павловна, несмотря на все уговоры, не желала предать все это огню. «После моей смерти вы можете сжечь все, и пусть это будет тризна по вашей бабушке, но пока я жива - я не разрешаю. Гепеу все равно отлично известно, кто я», - говорила она.

У Аси была своя «опасная» драгоценность: подаренная ей Ниной, уцелевшая в альбомах фотокарточка Олега мальчиком в форме пажика; на карточке этой имелась надпись: «Олег в день поступления в Пажеский корпус». Ася очень любила эту фотографию и держала ее некоторое время в своей комнате на камине, пока Олег не убедил ее, что это слишком рискованно, так как они никогда не могут быть застрахованы от вторжения гепеу. С полгода затем карточка эта пролежала засунутой за картину, и, наконец, было решено передать ее вместе с другими

реликвиями на сохранение «леди». Конспирация была настолько оригинальна, что догадка, казалось, могла возникнуть, только если бы агентам гешеу пришла неожиданная фантазия перевернуть несчастную «леди» вниз головой и увидеть при этом следы хирургического вмешательства, а это было маловероятно.

Сразу после завтрака Олег заперся в диванной, вооружившись инструментами, рядом на ломберном столе уже был нагроможден весь тот багаж, который должен был заполнить внутренность манекена, кое-что было добавлено Ниной, посвященной в замыслы Олега.

В этот день, когда все общество собралось к обеду, Наталья Павловна сказала:

- Сообщу вам приятную новость, я ее приберегла к тому моменту, когда мы соберемся все вместе: Леля выходит замуж и сегодня вечером будет у нас со своим женихом.

Мадам рассыпалась радостными восклицаниями, Ася лукаво улыбнулась, говоря: «Я это знаю!»; Олег задал несколько конкретных вопросов. Однако Наталья Павловна никаких подробностей касательно личности жениха сообщить не могла: Леля забежала только на минуту, сияющая, попросила разрешения явиться и так же быстро убежала. Строго говоря, Наталья Павловна уже имела основания относиться с предубеждением к Лелиному жениху: за несколько дней перед тем Зинаида Глебовна со слезами говорила ей, что Стригунчик явно благоволит к новому поклоннику и дело клонится к браку, а между тем юноша из партийной среды и воспитан очень поверхностно. Но поскольку сведения эти сообщены были под секретом, Наталья Павловна никогда не позволила бы себе пролить на них свет. В течение всего обеда разговор вертелся вокруг замечательного события. Уходя работать в диванную, Олег сказал:

- Я, разумеется, предпочел бы увидеть в этой роли Валентина. Помни, Ася, будь осторожна в разговорах, а сюда входить не приглашай.

Молодая пара явилась в девять часов, сопровождаемая Зинаидой Глебовной. Леля в своем единственном более или менее нарядном платье и новых туфлях показалась всем очень хорошенькой и оживленной, с порозовевшими щечками. Геня, подвергнутый предварительной обработке со стороны Лели, снизошел до того, что, здороваясь, поцеловал руку Наталье Павловне. Таким образом, первые минуты прошли вполне благополучно.

- Поздравляю тебя, крошка! Рада твоему счастью! - говорила Наталья Павловна со своей неподражаемой величавой осанкой *grande dame*, целуя Лелю в лоб. - Садитесь, рассказывайте, когда свадьба?

Желая благополучно миновать вопрос о церковном венчании, Леля поспешила прошептать, что дата еще не установлена.

- Где вы служите? - спросила Наталья Павловна Геню, и тот, нимало не смущаясь, выложил ей свой цензурный комитет. Наталья Павловна выронила лорнет, и он повис на цепочке из горного хрусталя. Леля завертелась на стуле, но Олег спас положение тем, что перенес разговор на театральный репертуар, и Леля уцепилась за него, как за якорь спасения. Ася предложила выступить с пением. В репертуаре был романс Гретри, который исполняла Леля, и Ася хотела предоставить сестре возможность показать свой голос.

Леля в самом деле хорошо спела в этот вечер - слова отвечали ее настроению.

Il me dit: je vous aime.

Et je sens malgré moi,

Je sens mon coeur, qui bat,

Qui bat, ji n'en sais pas pourquoi! [104]

Наталья Павловна и Зинаида Глебовна смотрели на нее с дивана.

- Наши девочки такие талантливые и тонкие! Они как тепличные цветы! Эта грубая жизнь сомнет их, - шептала, вытирая глаза, Зинаида Глебовна.

- Не споете ли вы теперь Дунаевского? - спросил в эту минуту Геня.

- Хам, хам! Что ему среди нас делать? Обратили ли вы внимание на его манеру обращения со

мной? Я не выношу эту манеру.

Наталья Павловна соглашалась величественным и печальным кивком головы. Геня внимательнейшим образом рассматривал интерьер комнаты.

В этот день была продана и уже вынесена из гостиной большая хрустальная люстра, опускавшаяся из плодового букета, вылепленного на потолке. Это существенно изменило вид гостиной, и все-таки комната со своим красным деревом и фарфоровыми свечами в бронзе имела еще очень изысканный облик, а дамы на старинном диване дополняли картину. Юноше казалось, что он смотрит на сцену, где разыгрывается спектакль из стародавней помещичьей жизни: «Старуха на диване ей-же-ей напоминает то ли гончаровскую «бабушку», то ли помещицу из «Рудина». Эх куда угораздило меня затесаться. А впрочем, я ничего против них не имею. Ася эта прехорошенькая, не хуже Леночки, хотя Леночка моя пикантней. Казаринов – персона весьма подозрительная, однако, я и с ним готов бы жить в мире. Чем он мне, спрашивается, мешает? Ходили бы на вечеринки и в кино всей четверкой, а там и на брудершафт, смотришь, выпили... Помешались у нас в Большом доме на контрреволюции, а я теперь выкручивайся».

В это время Ася говорила Леле:

- Я искала тебе цветов, но магазины пусты. Я мечтала тебе поднести букет пурпурной гвоздики.

- Что? Гвоздики? Почему именно гвоздики? – воскликнула Леля.

- Невестам не подносят пурпурных цветов, а только белые, – внесла внушительную поправку Наталья Павловна.

- Но почему же гвоздики? – не успокаивалась Леля.

- Да ведь ты же всегда их любила! Что с тобой, Леля? На что ты обиделась?

- А теперь я эти цветы ненавижу! Запомни!

Стол был уже сервирован, когда мадам обнаружила отсутствие чая в серебряной массивной чайнице и стала звать к молодежи, чтобы кто-нибудь пощадил ее старые кости и сбежал в магазин. Олег с готовностью поднялся и вышел, забрав с собой пуделицу. Леля начала ловить Славчика, который с радостным визгом бегал по гостиной; увертываясь, ребенок выскочил в диванную, Леля за ним. Геня, тяготившийся чопорными фразами Натальи Павловны, сорвался с кресла и бесцеремонно последовал за невестой.

- Что это у вас? – спросила удивленная Леля и остановилась перед перевернутым манекеном, окруженным опилками. (Случайно ее еще не успели посвятить в тайну.)

- Похоже, что вы, товарищи, конспирацией тут занимаетесь? – добродушно засмеялся Геня.

- Из-за бабушки, – с ноткой жалобы в голосе ответила Ася, – бабушка не хочет расставаться с семейным архивом. Она ничего не скрывает: и в гепеу, и в райсовете отлично знают, что она вдова генерал-адъютанта, однако же могут сказать: зачем мы бережем такие вещи? Вот мы и порешили лучше спрятать.

- Ух, какая девочка чудная, и бант огромный – сейчас улетит, как бабочка! – сказал Геня, беря в руки одну из карточек. – Это уж не вы ли? – прибавил он, обращаясь к Асе.

- Да, я на коленях у папы, – ответила та. Геня взял другую карточку, где была сфотографирована Наталья Павловна в боярском летнике и кокошнике.

- Какая странная одежда! – сказал он.

- Придворная форма, – пояснила Леля.

- Бабушка была фрейлина, – сказала Ася.

Он с любопытством взглянул на ту и на другую и взял еще одну карточку.

- А это, кажется, ваш муж? – спросил он уже с новой интонацией.

Ася, застигнутая врасплох, растерянно молчала.

- Как похож Славчик на эту карточку Олега: совсем такие же глаза, – сказала Леля.

Геня перевернул карточку и прочел надпись.

- Паж, – сказал он и начал перебирать остальные.

- Пойдемте в гостиную к бабушке, – нерешительно сказала Ася.

- А кто эти двое в подвенечном уборе? - со странным упорством продолжал Геня.

- Знакомая дама со своим женихом, - ответила Ася.

- Кавалергард, - сказала Леля, предупреждая вопрос Гени и глядя через его плечо.

- Он поразительно похож лицом на вашего мужа... отец или брат? - спросил опять Геня у Аси.

- Брат, - промямлила та, находя слишком неудобным промолчать во второй раз.

Ни Ася, ни Леля не подозревали, что на этой карточке тоже имеется надпись, но Геня перевернул, и все увидели: «На память о дне нашей свадьбы. Нина и Дмитрий Дашковы».

Геня перевел глаза на Лелю, и она вдруг вспыхнула и отвела свои, как будто в чем-то уличенная.

- Неудобно, что старшие одни в гостиной, - сказала Ася, беспокоившаяся больше всего о том, чтобы Наталья Павловна не сочла невежей Геню и чтобы Олег не рассердился, увидев его перед манекеном.

- Ну, пошли, пошли. Уважимте старуху, - добродушно откликнулся Геня.

За чаем разговор то и дело приближался то к одной, то к другой пропасти, которые удавалось благополучно миновать только благодаря стараниям Лели и Олега, с удивительной находчивостью приходившего на помощь. Радость и оживление Лели потухли с той минуты, как Геня бросил на нее свой взгляд, узнав подлинную фамилию Олега. Ей почудился упрек в этом взгляде, и теперь не терпелось внести ясность в их отношения. Она не могла дожидаться конца беседы за чайным столом и вздохнула свободно, только когда все вышли в переднюю. Наталья Павловна произнесла несколько приятных фраз; мать, разумеется, сказала, что если они хотят пройтись пешком, пусть вдвоем, а она сядет в трамвай. И вот они идут рука об руку.

- А ваша кухня очень мила: прехорошенькая и так просто себя держит, - сказал Геня.

- Боже мой! Да как же иначе-то можно себя держать? Так принято, так мы приучены с детства, - возразила Леля.

Они помолчали.

- Геня, - тихо сказала она, и маленькая рука протянулась к нему, - не оскорбились ли вы? Я не собиралась хитрить с вами: я дала себе слово, что доверю вам нашу семейную тайну, чтобы вы знали, с какими людьми имеете дело. Но вчера я об этом забыла, а сегодня... не собралась с духом... Верьте, что ни я, ни Ася никогда не усомнимся в вашей порядочности.

Но он не повернулся к ней и не взял ее руку, глаза его не засветились ей навстречу, когда, прибавляя шаг и словно убегая от нее, он ответил:

- Я на доверие ваше не претендовал и не претендую, но такого пассажа, признаюсь, не ожидал. Можно было предполагать, что все это только нелепое, ни на чем не основанное подозрение...

Леля в изумлении остановилась.

- Как «предполагать»? Как «подозрение»? Да вы разве уже слышали об этом? Кто мог вам говорить?

- Никто ничего не говорил. Я сам сделал некоторые выводы... Бросимте этот разговор, Леночка.

Наступило молчание.

- Отчего у меня вдруг так заныло сердце! - Леля вновь остановилась, и слезы зазвенели в ее голосе.

- О чем вы, Леночка? Бросьте расстраиваться? Какое нам дело до этих людей? У нас своя жизнь, - он опять взял ее под руку. - Послушайте-ка, Леночка, накануне первого мая у нас в клубе вечер - торжественная часть, ужин, вино, танцы. Все будут с девушками, и я хотел привести свою, кудрявую и хорошенькую. Поедет она со мной? Леночка-Леночка, милая девочка, ваша кухня хорошенькая, очень хорошенькая, но «изюминка»-то в вас, а не в ней. Слышали вы такое выражение - «изюминка»?

Леля прижалась к его руке.

- Геня, вы меня в самом деле любите?

- Вот так вопрос! Кабы вы мне не нравились, стал бы я вас приглашать? Я часа бы на вас не

потратил! После дома отдыха я еще ни на одну девушку, кроме как на вас, не смотрю, да вот толку-то пока никакого.

- Как никакого толку, если я ваша невеста! Разве этого мало?

- Вы знаете, чего я хочу.

- Почему же непременно теперь? Зачем ускорять события и напрасно терзать меня?

- Улита едет, когда-то будет?

- Да почему же, Геня, почему? Свадьбу можно сделать очень скоро, на церковном венчании я не настаиваю, хоть мне и очень грустно отказаться от него. Ничего не мешает нам стать мужем и женой.

Наступила минутная пауза.

- В ближайшие дни я не смогу к вам заскочить: у меня срочная командировка, а тридцатого вечером заеду, чтобы вместе отправиться на вечеринку. Идет?

- Буду ждать, - ответила Леля и не решилась опять повернуть разговор на душевную тему, хоть и чувствовала, что не удовлетворена объяснением и какая-то стенка воздвигается между ними.

Тридцатого Геня появился у Лели в шесть часов вечера.

- Вы? - спросила она, выбегая к нему еще в домашней штопанной блузке, - я не ждала вас так рано. Я еще не готова. Мама гладит мне платье.

Он поймал ее за руку и увлек в угол.

- На вечер еще рано... я приехал вас попросить... заехать сначала ко мне... Я не ловелас и не обманщик! Я не стану лживо уверять, что вы уйдете такой же... какой пришли. И все-таки я прошу! В конце концов, я тоже могу обидеться на недостаток доверия то в одном, то в другом... Или вы сейчас поедете ко мне, или пусть все между нами кончено! Вот - как хотите.

- Но почему же так, Геня? Не понимаю ничего!

- Не надо расспросов, Леночка! Боюсь потерять вас - довольно вам? По-видимому, ваши родные вам дороже меня!

- Мои родные тут ни при чем, а отказывать вам я не собираюсь. Объяснитесь яснее.

- Не стану. Мне не объяснения нужны. Вот я увижу теперь вашу любовь! Ну, как?

- Вы так жестко и сухо со мной говорите!

- А вы смотрите не на тон, а на содержание слов!

- А как же... как же потом?

- А потом пойдем в загс - в день, который наметили, если вы ничего не измените, - он сделал ударение на слове «вы». Она пытливо всматривалась в него, чувствуя, что он чего-то не договаривает. И опять ее охватила уверенность, что она перед несчастьем, которое ее подстерегает, стоит у двери совсем близко, стоит и стучит...

- Пусть это будет между нами теперь или не будет вовсе, - повторил Геня, глядя мимо нее.

Что-то трепыхалось в ее груди, как будто туда залетела и билась там испуганная птица. Она закрыла лицо руками.

- Ну, как? Едете или не едете? - приставал он.

Потребовать клятву, что он ее не бросит, показалось ей слишком банально, как-то унижительно. Да и что могла значить клятва для такого человека?

Она помедлила еще минуту.

- Я согласна, Геня... я поеду... Я верю вам... запомните это... Он крепко сжал ее руку.

- Тогда бегите одеваться, а маме вашей скажите, что вечеринка начинается в шесть. Бегите, я подожду.

Когда Леля была готова, Зинаида Глебовна, наблюдавшая за переодеванием, приблизилась поправить на дочери оборку, а потом перекрестила ее со словами:

- Ну, Христос с тобой, моя детка. Повеселись, потанцуй, а я не лягу - буду тебя дожидать.

Пришлось сделать очень большое усилие, чтобы не заплакать и не броситься матери на шею.

«Если бы мама только знала!»

...Свершилось! Она уже не девушка! Минута, к которой постоянно тяготело ее воображение, пришла и ушла, и никакого огня, который, казалось ей, должен был ее зажечь и сжечь, она не ощутила – только страх и боль. Ее лучшая драгоценность потеряна – печать невинности стерта, и это совершилось так быстро и просто, и все с самого начала не так, как у Аси. Венчальное платье с длинным шлейфом, белые-белые цветы, свечи и торжественные песнопения – без них все приняло оттенок падения, которое смутно предчувствовала и которого боялась. Почему он не захотел дожидаться хотя бы загса? Непонятный каприз омрачил ей неповторимые минуты и поставил ее в зависимость... А тут еще репродуктор выкрикивает: «Будь, красотка, осторожней и не сразу верь». А Геня не понимает всего, чем полна ее душа... и неуместность мефистофельского хохота! Помогая ей одеваться, он шутит, торопит на вечеринку, и совершенно очевидно, что он... не в первый раз! Самого слабого оттенка смущения, растерянности или робости не промелькнуло в нем, хотя он только тремя годами старше ее. В горле у нее стоит комок и только усилием воли она подавляет желание расплакаться.

В переполненном шумном зале стало еще тяжелее. Вот когда довелось сдавать экзамен пройденной в детстве школе воспитания. В десять лет оно было уже прервано, но пример окружающих старших делал свое дело: она созревала, как помидор, и в этот трудный этап своей жизни уже полностью владела собой и уясняла себе значение каждой интонации, каждого взгляда.

Как часто в воображении она рисовала себе балы: много-много огней, цветы, бриллианты, серпантин, испуганные завывания джаза, «шумит ночной Марсель», дамы в эксцентричных туалетах и красивые, смелые мужчины – весь этот угар своими вакхическими нотами шевелил в ней глубоко скрытый темперамент, приглушенный аристократизмом манер. Те балы, о которых вспоминала мать, ее не привлекали; этикет высшего круга казался ей скучным, замораживающим. Присутствие высокопоставленных особ, эти дамы с шифром, эти матери, наблюдающие в лорнеты за своей молодежью, постоянная настороженность, чтобы не сделать «faux pas» [105], вся эта официальность – должны были, казалось ей, наводить тоску и лишать сладкого яда эти вальсы и pas de cart'ue [106], несмотря на всю изысканность среды и обстановки.

Но здесь, в этой зале, не было ни эксцентричности, ни этикета, а только распушенность; здесь слишком остро не хватало изящества. Мужчины уже слишком мало были похожи на салонных львов, скорее на деревенских парней от сохи. Исключительно не distinguas [107] женщины – расфуфыренные и развязные жирные еврейки из nouveaux riches [108] и пролетарские девицы, державшие носки вместе и пятки в стороны, а толстые руки сжаты в кулачки. Короткие юбки открывали неуклюжие колени, губы у всех были ярко размалеваны, безвкусица в одежде, убожество манер, визгливый беззастенчивый хохот, запах пота и дешевых духов, красные бутоньерки и обилие партзначков – все это действовало удручающе. Это было уже совсем не то, чего бы ей хотелось! И в такую минуту воспринималось особенно болезненно.

Замечал или не замечал Геня все это убожество? Он, правда, шепнул ей:

– Моя Леночка лучше всех.

А в общем, был весел и чувствовал себя, по-видимому, в родной стихии. Веселостью своей он в какой-то мере выказывал безразличие к тому, что произошло час назад между ними, и это оскорбляло ее в самых тонких чувствах.

Пришлось встать, когда пили тост за товарища Сталина.

С опущенными глазами, стараясь ничем не выразить кипевшего в ней негодования, она выпила за изверга, а Геня в каком-то глупом восторге еще повторял слова тоста!

Он опрокидывал рюмку за рюмкой и подливал ей, требуя, чтобы она выпила непременно до дна, и это было досадно и скучно. Видя, что он становится все развязнее и развязнее, она пыталась удерживать его:

– Геня, не пейте больше! Геня, довольно! – и обрадовалась, когда начались танцы.

Однако после нескольких фокстротов он потащил ее в буфет, где опять спросил портвейна. Усаживая ее, он как будто случайно коснулся ее груди, а наливая ей вино, почти обнял ее.

- Геня, ведите себя прилично, или я тотчас уеду домой, - сказала она, окидывая его недружелюбным взглядом. - Помните золотое правило: джентльмен может пить, но не может быть пьян.

Геня, разумеется, стал уверять, что он не пьян, совсем не пьян.

Не было вальса с веселыми выкриками «Les dames au milieu!» [109], «A une colonne!» [110] и «Valse generate!» [111]. Эти команды были ей знакомы еще по детским балам. Не было танго, которое ей не пришлось танцевать еще ни разу в жизни, только тустеп и фокстрот, которые танцевали, безобразно прижимаясь друг к другу и покачиваясь из стороны в сторону.

- Ты чего это, Геня, не знакомишь нас со своей девушкой? Себе приберегаешь? Пошли теперь со мной, гражданочка. Я этак в обнимку, - услышала она вдруг заплетающийся голос и, обернувшись, увидела пьяную красную физиономию и распахнутую на волосатой груди рубашку.

- Благодарю. Я с незнакомыми не танцую, - сдерживая негодование, ответила Леля и уцепилась за Геню.

- Что вы, Леночка, мы тут все знакомы! Это наш завхоз, отличный парень. Пройдитесь с ним, а я сбегаю в буфет вам за шоколадкой.

- Нет, Геня. Я вас прошу проводить меня домой. Я очень устала, меня ждет мама, а вы можете снова вернуться и танцевать хоть до утра, - и так как завхоз уже ретировался, прибавила: - Я не желаю танцевать с подобным типом: он едва на ногах держится, разве вы не видите? Нет, Геня: вы сначала проводите меня, а потом пройдете в буфет.

Он повиновался ее повелительному тону, но как только они оказались в такси, он, словно изголодавшись по ней, схватил ее в объятия, ощупывая жадными руками ее маленькие груди, которые ей не приходилось стягивать бюстгалтером, так они были миниатюрны.

- Геня, Геня, nous ne sommes pas seules!! [112] - прошептала она, забывая, что он не понимает по-французски, и отстраняя его; но он сжал ее еще сильнее.

- Вы только не вздумайте прогонять меня! Я еще не успел на вас порадоваться, посмаковать. Обещайте, что ваша любовь у меня останется, что бы ни случилось, - бормотал он заплетающимся языком.

- Геня, перестаньте! Мы не одни. Потом поговорим.

- Нет, теперь, а то я ночь не буду спать. Вчера, Леночка... вчера... у меня был неприятный день... Мне это тяжело, честное ленинское! Уж этот мне Шерлок Холмс - человек со стальными глазами! Ему охота по службе выдвинуться, а я тут при чем?

Сердце Лели внезапно похолодело.

- Что? Что? Человек со стальными глазами? - пролепетала она.

- А вы обещайте, что не разлюбите! - продолжал бормотать Геня. - Ну да может быть она не узнает... Я вас спрашиваю: где тут моя вина? Я сам пострадавший: помешали моему счастью с девушкой... Я вас спрашиваю...

- Геня! Геня! Кто помешал? О ком вы говорите? О ком? - в ужасе восклицала Леля: страшная мысль занеслась над ней. Но он, свернувшись клубком, соскользнул словно куль муки к ее ногам.

Шофер в эту как раз минуту затормозил перед домом Лели.

- Ну, девушка, кавалер ваш, видать, совсем растаял, размокропогодился! Как нам теперь быть с ним? В отрезвиловку, что ли, доставить?

Но Леля, вся заледенев от страшного подозрения, не понимала, о чем он говорит.

- Господи, Господи! Что же это! - повторяла она, хватаясь за голову.

- Да ничего, протрезвится! А вот кто мне теперь платить будет? Есть ли у вас деньги, девушка? Сообразив, наконец, о чем говорит шофер, Леля стала растерянно шарить у себя в сумочке и в карманах, где, к счастью, неожиданно отыскала то, что было нужно. Протянув деньги шоферу, она попросила доставить Геню по его адресу, а сама бросилась к подъезду, словно убегая от погони.

- Человек со стальными глазами... Боже мой! Один только и есть такой человек. Один.

Предательство!

## Глава тридцать третья

Накануне первого мая, сразу после работы – утренняя смена кончалась в три часа – Олег помчался на вокзал, в восторге от мысли, что может провести дома двое с половиной суток. Пришлось забрать с собой Маркиза, которого слишком жалко было оставлять в голоде и одиночестве.

В Ленинграде, выскочив вместе с собакой на ходу из трамвая, он забежал в гастроном на углу купить Асе и Славчику по пирожному. «Вот обрадуются мои птенчики! Скорей бы увидеть их лица! Уж пушу же я пух из моей перепелки!» И едва он это подумал, как тут же в магазине увидел ее: она стояла спиной к одному из прилавков, а в руках у нее были довольно безобразные бумажные розы. Она тоже увидела его и быстрым движением тотчас же спрятала цветы за спину. Это было достаточно красноречиво, чтобы понять, в чем дело.

– Отдай розы! – сказал он, поспешно приблизившись и стискивая ее руку. – Без возражений. На нас уже поворачиваются! Выходим.

В луче яркого весеннего солнца, брызнувшего на них при выходе из магазина, глаза ее испуганно и растерянно поднялись на него.

– Так вот оно что! Ты продаешь цветы! Да неужели уже дошло до этого? Ты, стало быть, от меня скрываешь свои затруднения? О, какой в этом упрек мне! Зачем ты присылаешь в Лугу то булку, то масло? Они мне вовсе не нужны. Мне во сто раз приятней сидеть на одном хлебе, чем видеть потом мою жену торгующей на улице, – и он швырнул в лужу бумажный букет.

Глубокая обида отразилась в ее лице.

– Как ты смел? Мадам просидела над этими розами весь вечер, а тетя Зина потратила два дня, чтобы ее выучить! На что ты негодуешь? Разве я сделала что-нибудь плохое? Ведь продает же цветы тетя Зина уже десять лет!

– Очень жаль, что твоей тете Зине приходится это делать. Лелю она, однако, с цветами не посылает. Молодой женщине стоять у стенки в магазине или на улице – в этом есть что-то недопустимое, невозможное для такой мимозы, как ты. Первый попавшийся мужчина пристанет к тебе с гнусными предложениями.

– Во все нет! Это все твои предрассудки старорежимные!

– Пусть так! Довольно того, что я не желаю и не позволяю. Отныне я в Луге ем один хлеб, но ты больше с цветами не выйдешь. Бьюсь об заклад, что Наталья Павловна не знает об этих проделках: это вы с мадам вдвоем обмозговали!

Она молчала.

– Ася, пойми и то, что любой милиционер, накрыв тебя с цветами, имеет право по советским порядкам схватить тебя за шиворот, приволочь в отделение и запереть, а потом в 24 часа выслать.

– Меня и в моей комнате могут точно также схватить и выслать! – жалобная нота прозвенела в ее голосе. – Что же делать, если не хватает того, что ты приносишь и что могу заработать уроками я? Ведь и хлеб, и булку, и сахар приходится докупать по коммерческой цене около булочных с рук у тех, кто захочет продать! Я никогда не жалуюсь, но откуда же взять деньги?

– Ася, не плачь на улице! Дома поговорим.

Но она все-таки продолжала, прицепляясь к его руке:

– Ты еще не все знаешь! У нас новая беда: вчера бабушку вызвали в часть и взяли у нее подписку о невыезде. Это ведь почти всегда означает ссылку!

Олег остановился.

– Подписка о невыезде? Да, это означает, что о ней решается дело. Я давно этого опасался! Но какая жесткость! Человеку скоро семьдесят! Как это приняла Наталья Павловна?

– Наружно бабушка спокойна. Говорит: придется уехать – уеду. А мадам очень расстраивается; она говорит, что не отпустит бабушку одну и уедет с ней.

- Героическая женщина ваша мадам! Славчик здоров?

- Здоров. Ты так спокойно разговариваешь, точно тебе все равно и до бабушки, и до того, что мы скоро окажемся врозь.

- Господь с тобой, Ася! Ну откуда ты это взяла?

- Так спокойно говоришь, как о чем-то обыкновенном! А я сегодня целый день плачу, - всхлипывала она.

- Чего же ты от меня хочешь? Чтобы я тоже плакал и ломал руки? Этого не дождешься! Я не плакал, когда узнал о гибели собственной матери, хотя мне тогда было столько же лет, сколько теперь тебе. А впрочем, если бы это могло нам помочь, я, может быть, и заплакал бы вместе с тобой, но ведь слезами не поможешь. Ася, пойми: если что нужно теперь, то только мужество!

- Все мужество да мужество! Всю жизнь я только это и слышу! Еще дядя Сережа говорил: будь мужественным оловянным солдатиком. А я вот устала от этого мужества!

- Устала? Бери пример с Натальи Павловны: ты в 22 год устала, а ей - 70, она потеряла всех детей одного за другим, а вот как держится перед новой угрозой. Наталья Павловна - истинная аристократка, а тебя кем прикажешь считать? Неужели я должен отнести мою Кису к разряду «гнилой интеллигенции»? - он говорил это, открывая ключом дверь.

- Папа! - зазвенел тотчас на всю квартиру детский голос. Славчик выбежал из гостиной и, подхваченный Олегом, прижался бархатной щечкой к его щеке.

Стол уже был накрыт к обеду, как всегда белоснежной скатертью со всеми необходимыми принадлежностями вплоть до салфеток в кольцах и трех тарелок у каждого прибора: опускаться решительно не желали в этом доме. Приложившись к ручкам Натальи Павловны и французенки и обменявшись с ними несколькими словами по поводу новых угроз и тех мер, которые следовало принять, Олег пошел в ванную, предвкушая удовольствие встать под душ, но опять неожиданно для себя натолкнулся там на Асю: она сидела на краю ванны с печально склоненной головкой и распущенной косой.

- Что ты здесь делаешь, дорогая? Ты точно сестрица Аленушка, окликающая братца Иванушку... Идеальное издание Аленушкиного лица. Ася, да ты опять плачешь! Уж не больна ли ты?

- Нет, нет... не больна, а только... только... я очень боюсь за бабушку. Я не смогу быть больше мужественной, я вдруг увидела наше бессилие: удар - выпрямимся, залижем раны, снова удар... опять из последних сил наладим жизнь, и снова... Когда же конец? У меня такое чувство, что наше гнездо разоряют. А ты стал слишком суров в последнее время, ты, может быть, разлюбил меня?

- Что ты! Что ты, родная! Никогда еще я не любил тебя так, как теперь! Но бывают минуты, когда с человеком, который падает духом, следует заговорить решительно и даже строго - только и всего! Прости, если я тебя обидел, моя чудная девочка. Ну, улыбнись же! - но она закрывала лицо руками, и он увидел, что сквозь тонкие пальчики текут слезы. Кто-то толкнул Олега - это пудель протискивался к своей хозяйке, большие черные глаза собаки тревожно и соболезнующе устремились на Асю, но та не изменяла положения.

- Теперь горе даже то, что могло бы быть счастьем, теперь все горе, все. Мне жалко нас всех, мне жалко самое себя... - шептала она сквозь слезы.

- Да что же все-таки случилось, Ася? Какое еще осложнение или горе? Посмотри, я около тебя на коленях, не мучай меня и свою верную Ладу, скажи нам, - она молчала, глядя в пол; нахмурившись, он молча всматривался в нее... - Кажется, я догадываюсь... Ася, беременность, может быть? - и взял ее руку.

Она кинула на него быстрый пугливый взгляд из-под ресниц и снова их опустила, на щеках остановились две крупные слезинки.

- Я угадал. Но разве это уж такое горе? Сейчас, конечно, очень трудный момент, я понимаю... И все-таки: неужели мы с тобой будем считать это несчастьем? Слезы... а слезы какие-то соленые, горькие... я проглотил вместе с поцелуем. Ага, улыбнулась! Твоя улыбка как радуга после дождя. Ася, послушай: а что если там девочка, дочка?

Она, все еще всхлипывая, прижалась к его груди.

- Так ты рад! А я ведь не решалась тебе сказать, я еще никому не говорила. Помнишь, когда ты так резко... о щенятах? Я уже тогда о себе знала, но побоялась заговорить, я подумала, что ты пошлешь меня в больницу на этот страшный *fausse-couche*.

- Да что ты, девочка моя, никогда в жизни! Разве я такой изверг? Разве я не люблю детей? С каких пор ты стала меня бояться, Ася? И почему ты так виновато смотришь? Ты - моя святая, не знающая соблазнов! Это я во всем осложняю твою жизнь и вместе с тем так мало могу быть полезен теперь своей семье. Мысль, что ты вынуждена бегать по урокам и плохо питаться мне покою не дает... и все-таки не будем унывать, Ася, пусть, наперекор всему, новый ребенок будет счастьем для нас!

Наталья Павловна уже больше четверти часа сидела за столом перед супницей, поджидая молодую пару, и это было нарушением; неписаного семейного этикета. Лицо старой дамы еще осунулось, и мраморный профиль заострился под короной серебряных волос, но олимпийское спокойствие не изменяло ей. Француженка, оставшаяся несмотря на свои 50 лет непоседой, сгорала от нетерпения и любопытства и, наконец, нашла предлог выскочить из-за стола и произвести розыски; вернувшись, она таинственным шепотом доложила, что молодые заперлись в ванной, где по всей вероятности целуются... Но старая дама со своим строгим целомудрием не выносила намеков и полунамеков на что-либо интимное...

- Нет, Тереза Львовна, Олег слишком хорошо воспитан, чтобы целоваться с Асей по углам, когда он знает, что я его жду! - безапелляционно заявила она и перехватила своей рукой крошечную лапку Славчика, который барабанил ложкой по столу, сидя на высоком креслице. Вошел Олег, еще с мокрыми волосами, и сел, извиняясь за опоздание; француженка опять вскочила и в одну минуту оказалась в спальне, где нашла Асю перед зеркалом. Мадам тотчас заметила ее покрасневшие веки.

- Et bien, ma petite Sandrillione? [113] - дипломатически окликнула она.

Ася начала рассказывать о брошенном в грязь букете, но нервы ее настолько развинтились, что тут же расплакалась. Против ожидания, мадам пришла в восхищение.

- Он не мог иначе реагировать, крошка! Нечем расстраиваться! Я бы, напротив, сочла себя оскорбленной в том именно случае, если б мой муж разрешал мне такие вещи! Каждый благородный человек должен был возмутиться! Это будет наш маленький секрет - только и всего! - твердила она по-французски, целуя свою любимицу.

После обеда Олег засел за письма Пешковой и Карпинскому, которые он составлял от лица Натальи Павловны, с просьбой заступиться перед органами политуправления за семидесятилетнюю больную вдову; Наталья Павловна должна была их переписать собственной рукой. Желая поднять присутствие духа у окружающих, Олег разработал план действий на случай, если повестка все-таки придет: Наталья Павловна поедет сначала с мадам, Ася останется кончать учебу и распродавать вещи и приедет позднее, обменяв ленинградские комнаты на комнаты в том городе, где будет Наталья Павловна.

- У меня только «минус»: к Луге я не прикреплен и надеюсь, что мы сможем поселиться все вместе, - говорил он, великолепно сознавая всю шаткость этих позиций. Тем не менее, ему все-таки удалось несколько восстановить равновесие, и он с радостью заметил, что Ася приободрилась.

Часов около восьми вечера Олег, сидя на диване рядом с женой, доказывал ей, что великолепно может без всякого ущерба для собственного здоровья еще и еще ограничить расходы на собственную персону в Луге.

- Ни в коем случае не присылай мне больше таких роскошей, как сыр и ветчину и лучший сорт чаю, - говорил он.

Ася подняла головку:

- Я этого не посылала: у тебя воображение разыгрывается.

- Как нее не посылала? А помнишь, через Елизавету Георгиевну, когда она навещала меня в Луге?

- Через Елочку я не передавала ничего!

Они с удивлением переглянулись.

- Елочка, стало быть, захотела нам помочь! - сказал Ася.- Это так на нее похоже: подсунуть незаметно от чужого имени. Ты видишь теперь, что напрасно называл ее сухой. Как жаль, что у нее нет своей семьи, своего счастья! - и, положив голову на плечо мужа, продолжала, понизив голос: - Знаешь, она ведь любила в юности, еще когда была сестрой милосердия в Крыму. Это был раненый офицер, он погиб от репрессии красных, а она не из тех, чтобы забыть и полюбить другого, она до сих пор полна им одним и плачет каждый раз, когда заговорят о нем; он подарил ей раз духи «Пармскую фиалку», и она до сих пор бережет как самую большую драгоценность этот флакон и ту косынку, которую он залил, пытаюсь ее надуть.

Олег вдруг взял ее руку:

- Не рассказывай. Не будем касаться чужих тайн, - он быстро встал. - Пойду выкурю папиросу.

- Он никогда не курил в комнатах, а всегда выходил в кухню или в переднюю.

Итак, она любила его! Любила и, кажется, любит, эта замкнутая молчаливая девушка! Сколько выдержки, сколько такта! За что она меня полюбила? Я был достаточно безобразен, лежа пластом, весь в бинтах. Хорош герой романа! Жалела, вероятно! А жалость в чистой женской душе, по-видимому, большое творческое начало - семена, приносящие прекрасные цветы!

Перед ним вереницами закружились образы... Вот она - юная, девятнадцатилетняя, в переднике с красным крестом, в длинной сестринской косынке. Он вспомнил ее застенчивую заботливость, тихий голос, осторожные руки, гордую головку... Но эта крымская трагедия, на фоне которой выступала она и ее незамеченная, нецененная любовь, была залита кровью... Воспоминания были так болезненны, что лучше было их не касаться агония белогвардейского движения, за которой тянулся призрак расстрела на тюремном дворе...

Он нахмурился и, отбросив папиросу, вернулся в спальню.

Ася стояла на подоконнике, заглядывая в форточку.

- Дождь моросит, тихий, теплый, весенний. Теперь все зазеленеет, - сказала она ему с улыбкой, как будто дождь этот обещал благодатную перемену не цветам и листьям, а измученным людям. - Тучка проходящая... вот уже радуга! Если бы на этом причудливом облаке с янтарным оттенком вдруг показался Светлый Дух, но не грозный Архангел с трубой, призывающий на Суд - я не хочу возмездия, - другой, весь исполненный любви! И пусть бы его увидели одинаков и праведные и неправедные, и верующие, и атеисты; может быть, тогда люди бы покаялись и кануло в вечность все зло... Как ты думаешь?

Но он думал совсем о другом и сказал:

- Не хочешь ли пройтись со мной к Елизавете Георгиевне Мы, право же, слишком мало внимательны к ней. Принесем е хоть букет цветов.

Ася соскочила с окна и с готовностью схватилась за шляпку. Тонкий профиль ее лица под широкими полями соломенной шляпки всегда напоминал ему лучшие портреты эпохи ампир, но модуляции этого лица при всей их искренности, были иногда так неуловимы и тонки, что не поддавались расшифровке, сколько бы он не вглядывался в поднявшиеся на него глаза...

На улицах пахло распускающимися тополями, душисты липкие ветки которых продавали на каждом углу, запах их навсегда связался в памяти обоих с этим незабываемым последним счастливым вечером.

К одиннадцати они уже вернулись домой, но Ася настолько устала, что отказалась от чая, желая скорее лечь. Олег поднял ее с дивана и на руках перенес на постель.

- Когда ты с нами, я ничего не боюсь, я опять счастлива! - лепетала она, опускаясь на подушку. - Только бы не разлучаться с тобой и со Славчиком.

- А дочка? О дочке-то ты и забыла? Смотри, чтобы непременно была дочь. Славчик похож на меня, а твои тончайшие черты остались неповторенными. Я хотел бы назвать дочку Софьей в памяти моей матери. Будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант - так одевали когда-то мою сестренку.

Она блаженно улыбалась:

- Спасибо, милый! - и глубокая нежность зазвенела в ее голосе. - Я виновата, я сама вижу, что стала слишком легко расстраиваться. Не знаю, что со мной теперь: я везде вижу только боль и горе! Вот голуби прилетают клевать пшено, которое я сыплю им на карниз; среди них есть один с выцарапанным глазом, он такой несчастный! А окружающие здоровые птицы его толкают и щиплют вместо того, чтобы пожалеть. Голуби могут быть так жестоки - как это грустно! Мне все время грустно теперь! - и он устало закрыла глаза.

Он сидел около нее и гладил ее руку и перламутровые пальчики, не решаясь тревожить ее поцелуями: она казалось ему такой утомленной и бледной... Куда девались розы на этих щеках? Лоб был совсем прозрачный, на висках сквозили голубые жилки... Изо дня в день капельными гомеопатическими дозами разъедающая тревога западала в эту недавно еще детски-жизнерадостную душу!

- Святая Цецилия, - сказал он, - если даже существует вечная жизнь, мы с тобой и тогда не встретимся: я - нераскаянный грешник, а ты...

Ася открыла глаза.

- Молчи! Не смей так говорить. Ты придешь туда же, где буду я, иначе я счастлива не буду. Почему-то я уверена, что умирая, услышу колокольный звон и увижу белые тени, которые поют «Осанна» и «Свят, Свят, Свят!»! Мне иногда уже мерещится... Наверное, очень большая дерзость думать так!

И опять закрыла глаза...

«Это мерещится тебе, - подумал он, - а мне только узкоглазый киргиз, который метится в мое сердце», - и опять взглянул на нее: «Засыпает моя весталочка. Ей до сих пор непонятны те желания, которые треплют меня грешного. Не буду спугивать ее сон. Она, конечно, считает меня лучше, чем я есть. Конечно, воображает, что до нее я не знал женщин и был целомудрен до 30 лет... А что, если б она узнала, что по моему приказу расстреляно 8 человек? Она готова плакать над котенком и птицей... Разлюбила бы она меня? Нет, не разлюбила бы, огорчилась только... Рассказать? Покаяться? Зарыдать у ее ног?»

Это желание уже несколько раз подымалось со дна его души.

Он чувствовал, что нежность к Асе в нем разрастается до чудовищных размеров. Может быть это происходило потому, что в первый раз он со всей ясностью увидел то душевное напряжение, в котором она пребывала за эти три года союза с ним. Жалела обычно она его - так уже повелось, хотя он никогда не взывал к ее жалости; жалела за прошлое и как бы уже заранее за будущее. Сострадание ко всему живому было ей органически свойственно; сама же она всегда была оживленной, щебечущей, улыбающейся и казалась счастливой; ее усталость и ее растерянность только в этот вечер вдруг обнаружили, и сострадание к ней с небывалой силой вошло к нему в грудь как новый аспект - такой же полноправный, как мужская страсть и рыцарские благоговение и преданность. Сострадание это отчасти было подготовлено мыслями о «горе России» а отчасти событием, разыгравшимся в Луге накануне этого дня. Олег задумал извлечь пользу из своих ежедневных скитаний по лужским лесам и привезти с собой к обеду дичь, пользуясь дружескими услугами Маркиза. Лесник, мимо избушки которого он час проходил, одолжил ему ружье, и он отправился на охоту. У Маркиза были свои планы, и очень скоро он выгнал на поляну зайца.

«Давно не стрелял... Эх, маху дам!» - подумал Олег, прицеливаясь. Но заяц бежал странно медленно и почти не увертывался. Выстрел Олега повалил его. Приблизившись, Олег увидел издыхающую зайчиху, около которой копошились с жалобным писком только что родившиеся крошечные зайчатки, мелькали их длинные ушки и еле заметные хвостики. Олег невольно остановился; Маркиз остановился тоже и взглянул на хозяина значительным понимающим взглядом. «Что мы с тобой наделали! Ну, и изверги же мы после этого!» - сказал, казалось, взгляд собаки. Умирающая мать оперлась о лапку и стала облизывать ближайшего детеныша. Олег отвернулся и пошел прочь.

«Вот почему она так тихо бежала, бедная! У нее уже начинались роды, а мы ее так немилосердно загоняли!» - он вспомнил Асю беременной и тот беспомощный взгляд, который

она бросила на разлившийся ручей; вспомнил ее письма о новорожденном сыне и слишком маленьких сосочках... потом вспомнил свою рану – ему тоже довелось убегать от опасности в те как раз минуты, когда было мучительно каждое движение! Денщик помогал ему встать, повторяя: «Пропали, коли не дойдем». И он с отчаянным усилием подымался, делал, шатаясь, несколько шагов и снова опускался на землю...

Бывают минуты, когда живое существо, пораженное болью или слабостью, зависит полностью от великодушия и внимания окружающих. Кто хоть раз оказался в таком положении – болезнь ли, рана ли, беременность ли, – тот не может забыть отношения к себе. В такие минуты равнодушие, небрежность или любопытство не легче жестокости. Он такую минуту пережил, но не научился милосердию!

Зайчата эти переплетались теперь в его мыслях с будущими щенятами Лады, которых он заранее осудил на смерть, и этим так опечалил свою молодую жену!...

Вечер этот принес целый ряд открытий: обострившаяся, угрожающая трудность положения, усталость Аси, новый ребенок, любовь Елочки...

Пробило час, потом два – он не мог уснуть под давлением этих болезненных впечатлений и лежал на спине, заложив руки за голову и напряженно глядя в темноту... Внезапно из передней донесся пронзительный резкий звук, который он мог бы сравнить только с трубой Архангела в Судный День! Уж не стоял ли в самом деле на том оранжевом облаке невидимый для них Архангел?

Тот только, кто жил под эгидой Сталина, – тот только понимает, что такое звонок среди ночи. От одного ожидания его устают, замучиваются и раньше времени гибнут человеческие сердца! Такой звонок – вестник несчастья, разлуки, крушения всех надежд... Такой звонок... Счастлив тот, кто его никогда не слышал и не ожидал из ночи в ночь.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Глава первая

*Тихими, тяжелыми шагами*

*В дом вступает Командор...*

*А. Блок.*

Торопливо одеваясь, он говорил себе, что это, по всей вероятности, милиция, высчитав, что он и Эдуард явятся на праздники к родным, решила сделать налет и оштрафовать нарушителей.

Кто-то стукнул два раза в дверь, и он услышал голос Натальи Павловны:

– Олег! Встаньте, пожалуйста! Звонят, – и когда он появился на пороге уже одетый, она прибавила: – Кто это может быть? Мне страшно!

– Не волнуйтесь, Наталья Павловна! У меня есть основания полагать, что это милиция.

– Дай Бог! Ася встает?

– Нет, я не хочу ее будить, может быть из-за пустяков; она очень устала, – и он поспешно вышел в переднюю, откуда неслись повторные настойчивые звонки.

На его вопрос «Кто там?» ответом было: «Откройте, дворник!» Один он или не один? Не один! Пятеро в нашивках и с револьверными кобурами выросли позади бородатой фигуры в старом ватнике.

– Вот гражданин Казаринов, – сказал дворник.

– Руки вверх! – закричали те и навели свои револьверы. – Бывший князь Олег Дашков, вы арестованы.

Вот она – эта минута! Она все-таки пришла! Уплывают и жизнь и счастье! Ему послышался легкий вскрик: Наталья Павловна, стоя на пороге гостиной, схватилась за косяк двери, как будто боясь упасть... Он рванулся было ее поддержать, но был тотчас же схвачен за плечи.

– Стоять на месте! – рявкнул один. – Оружие есть? Отвечайте! – и бесцеремонные руки стали

ощупывать его.

- Оружия у меня нет.

- Вот ордер на обыск и арест - смотрите. Ведите в свою комнату, а вы, товарищ дворник, подымайте соседей: нам нужен свидетель при обыске.

Там, в спальне, Ася, проснувшись от шума в передней, стояла в халатике, растерянно оглядываясь, и при виде мужа под револьвером застыла на месте с широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Ни кровинки не осталось в этом лице. Мадам выскочила из диванной с шумными французскими восклицаниями и тоже остолбенела. Мерцание белой ночи, заливавшее комнату, вытеснил электрический свет, включенный властной рукой. Всех заставили сесть поодаль друг от друга.

- Начнем с этого угла, - сказал старший и указал на зеркальный шкаф. Среди гепеушников оказалась женщина, она подошла к Асе и стала ее обшаривать. Послушно стоя с поднятыми руками, Ася не спускала с мужа все тех же остановившихся глаз.

- Товарищ начальник! Я не зря шарила. Записка у этой ехидны! - сказала старуха.

- А ну читай, что там, - откликнулся старший, наблюдая, как двое других перерывают шкаф.

- Читай, я очки позабыла, - женщина передала записку самому молодому из агентов; тот стал читать, спотыкаясь: «Сегодня на рассвете, моя Мимоза, я долго любовался выражением покоя на твоём лице. Милана твоя очаровательно выглядывала из-под кружев...»

Ася вспыхнула, Олег поднес руку ко лбу; Наталья Павловна и французенка сидели с отсутствующими лицами.

- Читай, чего остановился? - подзуживала женщина, но юноша пробормотал:

- Товарищ начальник, дело тут, видать, молодое... на контрреволюцию больно не похоже... читать-то некстати будет.

- Брось, - было ответом. Записка упала к ногам Аси, и та ее тотчас подхватила.

- Что, взяла? Уличили небось! Не заводи в другой раз шашней, - прошипела опять Мегера над ухом Аси. Большие испуганные глаза с наивным изумлением обернулись на говорившую. Та приблизилась к Наталье Павловне и начала обшаривать теперь ее, крючковатыми растопыренными пальцами, что-то злобно бормоча себе под нос, как будто то строгое достоинство, с которым подчинилась Наталья Павловна, задевало ее лично.

- Куда, куда, княгиня сиятельнейшая? Изволь-ка на месте посидеть! - крикнула она вдруг Асе, которая встала и сделала несколько нерешительных шагов по направлению к двери. Никогда не слышавшая этого титула в приложении к себе, Ася не обернулась. Это дало Олегу новую мысль.

- Моя жена не знала, что я живу под чужим именем, - сказал он, - вы видели, товарищи, она даже не обернулась ни на «сиятельство», ни на «княгиню». Не откажитесь подтвердить следствию, я сошлюсь на вас.

Ася озадаченно смотрела на мужа.

- Ася, я не Казаринов, я скрывал свое имя, - продолжал Олег; она все так же молчала.

- Вроде как бы и вправду не знала... - сказал один.

- С трудом верится, - возразил старший. - Неужто вы, гражданка, отважитесь уверять, что не знали, за кого выходили? Будто бы уж никогда не слышали, кто он на самом деле?

Гепеушники с любопытством посмотрели на Асю. С полсекунды стояла тишина.

- Знала все, - тихо сказала она, махнув рукой, и губы ее задрожали.

- То-то же. Ну да ладно: нам в это дело мешаться нечего. Сядьте и сидите, а вы, гражданин Дашков, не разводите тут плешей. У следователя еще успеете наговориться: там вас живо разговорят.

«У Нага, - подумал Олег. - Ну, от меня он немного услышит, какие бы не пускал в ход способы».

Двое агентов перешли в комнату Натальи Павловны, остальные продолжали начатый обыск, двигаясь из угла к середине комнаты. Строгость, с которой обыск начался, была несколько ослаблена: Олега уже не держали под дулом, может быть, из-за недостатка людей. Мегера

приблизилась к кроватке Славчика, который спал непробудным сном с ярко разгоревшимися щечками.

- Возьмите кто-нибудь ребенка, я кровать перетряхну, - сказала она.

Олег, который оказался ближе всех, поспешно подошел. «В последний раз возьму, обниму, стисну!» - подумал он, отгибая одеяльце и поднимая теплый комочек. Спутанная головка с розовыми щечками упала к нему на грудь, ребенок что-то прошептал, не открывая глаз. Олег отвел рукой темную прядку с его лба и поцеловал кудрявую головку, пока женщина с профессиональным азартом перетряхивала простынки и одеяльце. Темные глаза ребенка открылись:

- Па-па...

- Мальчик мой! - ответил Олег и сжал обеими руками маленькое тельце.

Славчик посмотрел на гепеушников:

- Дяди! Зачем дяди?

В эту минуту женщина вытряхнула из-под подушки плюшевого зайца и отшвырнула его.

- Зая у па, - и ручка ребенка протянулась к игрушке.

- Ничего, зайка не ушибся, зайка у нас никогда не плачет, - сказал Олег и прибавил на ухо ребенку: - Покажи, как ты умеешь обнимать папу.

Крошечные ручки в перетяжках обхватили его шею, а губки прижались к щеке.

- Oh, mon Dieu! - простионала со своего места француженка.

- Дай мне его, - проговорила Ася и протянула руки к ребенку. И что-то надтреснутое, странное и болезненное прозвучало в ее голосе, что Олег разом уяснил ход ее мыслей: она боялась, что ее тоже арестуют, и, понимая, что он прощается в эту минуту с сыном, протягивала к ребенку руки с той же мыслью, не смея двинуться.

- Сидеть на месте! - предостерегающе крикнул на Олега старший гепеушник. Ася уронила протянутые руки. Где будет спать следующей ночью этот ребенок? Может быть, в детском доме? Никогда больше любовь семьи, может быть, не согреет его!

Один из младших сотрудников вошел, спрашивая, как быть со шкафами и стеллажами книг в гостиной и в библиотеке:

- Коли кажинную перетряхивать, мы до следующего вечера отсюда не выберемся, - сказал он.

- Трясите на выбор одну из трех, - сказал старший и велел идти на помощь им старухе, трудившейся теперь над постелями Олега и Аси. Сам же он все время переходил из комнаты в комнату со строгим и важным видом. Хрычко - свидетель без толку толкался вслед за агентами, переминался с ноги на ногу, теребил свой пояс и угрюмо молчал. Ни злорадства, ни ехидства в нем не замечалось и тени - скорее плохо скрываемое сочувствие. Только во время чтения несчастной записки он позволил себе улыбнуться весьма недвусмысленно.

Через некоторое время из соседней комнаты опять вышел агент и сказал:

- Мы обнаружили «леди». Сами, что ли, будете ее раскулачивать? - он необыкновенно твердо выговаривал первый слог слова «леди».

- Что? Леди? Леди! - воскликнула в изумлении Ася.

Теперь дело было уже не в документах, которыми был начинен несчастный манекен... Каким образом секрет этот, так тщательно от всех скрываемый, мог стать известен гепеу? Не сюда ли уходили корнями несчастья этой ночи?

Олег сурово сдвинул брови.

- Ты проговорила кому-нибудь? - спросил он жену.

- Нет! Нет! - воскликнула она с отчаянием. - Только Леля и Нина! Никто больше не знал! Никто!

- Et ce jeune home? Ce Gennadi? Il a, done, vu [114] - сказала француженка.

- Геннадий Викторович? Ах, да! Он видел, случайно, я не виновата... случайно! Неужели же он! Неужели? - Она схватилась за голову.

- Ася, спокойней, Ася! - сказал Олег.

- Семенов, ты что смотришь? Это что за разговоры! - сказал, входя, старший агент молодому.

Ася приникла головой к спинке стула.

«Последние считанные часы в этом доме, последние! – думал Олег. – Что будет с ребенком? Что будет с Асей?»

Около девяти утра обыск гостиной, спальни и библиотеки был, наконец, закончен.

– Ну, теперь сюда, и будем закругляться, – сказал старший агент, подходя к диванной. Француженка вскочила как ужаленная и загородила вход.

– Ордер на обыск? – спросила она.

– Мы предъявляли ордер еще пять часов тому назад. Вы что, с неба, что ли, свалились?

– Вы предъявляли ордер на комнаты Казариновых и Бологовской, а это моя комната. Я – иностранка.

– Иностранка? Латышка, что ли? Или эстонка?

Такие вопросы неизменно вызывали бурю патриотического негодования со стороны мадам.

– Я – латышка?! Я – француженка, парижанка! Вы ответите за все ваши грубости! – и недолго думая ударила по лицу старшего агента.

– Хватайте эту ведьму! – крикнул тот.

Но Тереза Леоновна уже вошла в раж.

– Только попробуйте! Только прикоснитесь! Вы будете иметь дело с консулом! Сейчас звоню к консулу, сейчас!

– Звоните!

Madame подбежала к телефону и схватила трубку, но едва лишь она назвала требуемый номер, как рука агента легла на ее руку.

– Гражданка, успокойтесь. Никто на вашу безопасность не посягает. Оскорбляете пока только вы. Я настоятельно прошу вас удалиться в свою комнату. Вопрос по поводу вас мы выясним в ближайшие же дни, – и, обращаясь к своему подчиненному, прибавил: – Принести французской гражданке воды.

Мадам оттолкнула воду и с самым воинственным видом прошла в свою комнату и встала перед раскрытой дверью.

– Гражданка, пройдите к себе и закройте дверь.

– Я уже у себя, на свободной территории, и никто не имеет права мною здесь командовать, – возразила Тереза Леоновна. Она была великолепна.

Славчик, проснувшийся снова от шума голосов, потянулся, заворковал и сел на кровати; но когда он опять увидел «чужих дядей», вдруг нахмурился и затаил жалобную ноту. Один из агентов кивнул Асе в ответ на ее вопросительный взгляд, она подошла к ребенку.

– Агунюшка, мальчик мой! Сейчас мама оденет тебя, а потом согреет тебе молочко. Где наш лифчикек? – Голос вдруг оборвался, и она уткнулась лицом в мягкую шейку ребенка, который топтал по кровати голыми ножками.

«Это, право, становилось выше человеческих сил, очевидно выдержка моя, в самом деле, железная, если ее хватает даже на это», – думал Олег, глядя на жену и сына.

– Так, – неожиданно громко сказал старший агент. – Ну-с!

Все вздрогнули, сейчас должно было решиться все! Судьба Олега не оставляла сомнений, но вот Ася – уведут или не уведут?

– Гражданин Дашков, приготовьтесь следовать за нами.

У него вырвался вздох облегчения – он один, слава Богу!

Агент повернулся к Асе.

– Можете собрать в дорогу вашего мужа.

Глядя в ее испуганные огромные глаза, Олег сказал, стараясь как можно спокойнее:

– Дай мне, пожалуйста, шерстяной свитер, два полотенца и перемену белья.

Она подошла к нему, она стала надевать на него свитер, наверно, для того чтобы продлить последние минуты. Застегивавшие ему ворот пальчики двигались все медленней и медленней, потом совсем остановились, и она прижалась лбом к его груди. Он поцеловал ручку, лежавшую на его плече.

- Спасибо тебе, дорогая, за любовь, за счастье. Будь мужественна. Тебе предстоит непосильные трудности, моя бедная девочка! Тебя, наверно, вышлют, постарайся всеми силами выхлопотать разрешение, чтобы уехать с Натальей Павловной и с Нелидовыми - репрессия, наверно, коснется и их. Я верю, что ты сумеешь вырастить наших детей. Я хочу, чтобы они знали судьбу своего отца и обоих дедов, чтобы не было этого безразличия, которого я не выношу, чтобы в дальнейшем... ты поняла меня? Ну, поцелуй меня в последний раз.

Она подняла свое личико навстречу ему. Боже мой, как она изменилась за одну ночь! Сколько безнадежности и скорби было в этих глазах с застывшими невылитыми слезами! В их глубине затаился вопрос - тот, который слишком страшно было выговаривать вслух! Он понял этот немой вопрос:

- Ты не жди меня назад. Путь был безнадежен, ты это знала с самого начала. Ну, вот он и кончился. Перекрести меня.

Опять раздался резкий, сухой голос:

- Гражданка, отойдите, довольно шептаться! Арестованный, берите ваши вещи. Отправляемся. Наталья Павловна и мадам тоже были тут; Наталья Павловна перекрестила его, мадам опять что-то кричала агентам. Сопровождаемый конвоем, он вышел на лестницу и стал спускаться, намеренно замедляя шаг. «Она легкая и быстрая как козочка - она увернется и выбежит: я еще увижу ее!»

У подъезда стоял «черный ворон». Он обернулся в последнюю минуту: да, она здесь - стоит на приступке подъезда и смотрит на него, закусив губы. Вот теперь в самом деле это лицо мученицы, а у ног ее - белый шерстяной клубок с тремя черными точками - нос и два черных глаза с тем же замирающим, полным тревоги и мольбы взглядом, что и у нее.

- Олег, прощай! Я буду мужественна, буду! Не бойся за сына! - зазвенел надтреснутый голос. Грубые руки втолкнули его в машину, дверь захлопнулась. Это кончился тот отрывок счастья, который был отмерен для них! Слишком рано кончился. Горе России, как темное облако, заволочло и их.

Помяни за раннюю обедней мила друга, верная жена!

Ася стояла и смотрела вслед «черному ворону».

- Гражданка, давайте-ка возвращайтесь. Выходить из квартиры запрещается! - повторял кто-то около нее. Не могли оставить хоть на минуту в покое! Куда она убежит, когда дома остался оторвавшийся от нее маленький теплый комочек? Она начала медленно подниматься, держась за перила; войдя в гостиную, опустилась на первый попавшийся стул. Наталья Павловна подошла к ней и привлекла на свою грудь ее голову.

- Дитя мое, ты ради ребенка должна взять себя в руки, - сказала она.

Эти слова «взять себя в руки» Ася с детских лет постоянно слышала от бабушки. Человек, произносивший их, сам настолько владел собой, что имел полное право требовать того же от других. Ася почувствовала, что ожидала именно этих слов, но они ничем не могли помочь ей сейчас: она слишком опустошена и разбита, ничто не доходит... Оставьте ее!

Вошел агент - опять тот самый... Он сказал:

- Там гражданочка какая-то прибежала, молоденькая. Только на нас взглянула да и повалилась замертво. Может, вы опознаете, да разрешите сюда внести?

Ася вскочила.

- Леля! Она, значит, все знает! Бедная Леля! - и бросилась в переднюю.

## Глава вторая

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

2 мая 1932 г. Это то, чего я страшилась всего больше в течение последних трех лет! Теперь для меня потерян последний смысл жизни. Лучше мне было умереть, чем пережить то, что я переживаю! Три года назад, раненная в самое сердце, я оплакивала надежды на собственное счастье; мне стоило очень больших усилий не пасть духом, трансформироваться и удержаться

в жизни. Сейчас к моему отчаянию уже не примешивается никаких личных чувств: погибает человек, который был способен на подвиг, который жаждал борьбы и выжидал минуту, чтобы броситься противнику на горло. Он – Пожарский в потенциале, и вот он погибнет в их застенках! Он погибнет, а эта ничтожная масса, эти жалкие политические кастраты – воспитанники коммунистической партии, в которых нет ни чести, ни благородства, ни величия, эти распропагандированные морды, наводняющие нашу действительность, останутся жить? Я вижу впереди полную гибель России – моральное разложение, оскудение... Я вижу ее конец, как черную бездну, кишашую жалкими выродками вместо людей! Мне страшно смотреть в эту бездну! Моя вера в великую миссию «последних могикиан», которые призваны возглавить великую грядущую борьбу, терпит поражение: таких людей не остается! Единицы, которые еще скрываются, – обречены! Россия не будет спасена или спасется совсем другим путем, а для меня смерть моей мечты – моя моральная смерть! Я – убита.

Ася, конечно, попадет в мученицы – таков уже ее поэтический жребий. Это ее горе, а мое – никому не известно! Я в стороне, как всегда. А между тем силу моего горя даже измерить невозможно... Конец.

3 мая. Что удерживает меня от самоистребления? Мне хочется до конца искренне ответить себе на это. Прежде всего, еще живет слабая, правда, надежда иметь о нем известие – проштемпелеванное, сто раз проверенное письмо или свидание с Асей... Еще принимают передачи – значит, еще можно что-то для него сделать. Второе: мне жаль Асю! Я стараюсь помочь ей, чем только могу, и это спасает меня от протрации. Мелькает мысль о преступности самоубийства; и православие и теософия одинаково порицают его. Пресечь курс духовного роста и свести к нулю все очистительные испытания настоящего существования – такая возможность удерживает. Допускаю, что за всем этим прячется и звериный, естественный страх смерти. Я его не замечаю, но я не настолько самоуверенна, чтобы исключить вовсе его роль. Вот так и бьюсь изо дня в день, но долго такое состояние тянуться не может.

4 мая. Вспоминаю его слова, сказанные в последнюю встречу – он словно простился со мной! Я никого не ждала в этот вечер; сначала читала, потом грустила, сидя у окна. Вечер был так прекрасен, что не хотелось ни прибираться, ни шить. Слышу звонок – открываю: чета Дашковых! У него на руках карапуз, который начинает немного походить на своего отца (хотя существо это, прямо скажем, несносное!); она – с букетом ветрениц и фиалок, прехорошенькая в своей соломенной шляпке с большими полями. Были они недолго, и разговор был самый общий – ребенок все время отвлекал внимание; одна только минута была значительна и наполняет меня сознанием удивительных тайн, скрытых за внешней, фактической стороной жизни! Ребенок заявил – «пипи», и Ася вывела его за ручку, а мы остались на минуту вдвоем. И вот он сказал: «Елизавета Георгиевна, у меня давно нарастает в душе желание выразить вам то глубокое уважение, которое я питаю к вам еще с первой печальной встречи в дни нашей юности. Вы настоящая русская женщина – такая, каких описывал Некрасов. Нравственная красота вашего образа всякий раз заново поражает меня», – и он поцеловал мне руку. Поразительно, что это как раз те слова, которыми в моих мечтах оканчивались наши воображаемые встречи. Не хватает трех ничем не заменимых слов – «я вас люблю!», но все остальное – вплоть до ссылки на Некрасова – точно списано со страниц моего дневника. Он точно прочитал тайком и высказал... Разве не удивительно? Что побудило его вдруг заговорить? Предчувствие, что более мы не увидимся? Ведь не эти же пустяки – ветчина и масло, которые я ему подсунула будто бы от Аси? Визит их состоялся 30-го вечером, а на другое утро... Боже мой! У меня заранее было решено уехать первого мая в Царское Село, в парк, чтобы не видеть парада, гулянья, пьянства и прочих прелестей «пролетарского праздника». Но дело в том, что еще вечером я обнаружила сумочку, которую Ася забыла у меня на пианино; там могли быть ключи и деньги... И вот на другое утро по дороге на вокзал я забежала к ним, чтобы вернуть ридикюль. На мой звонок открыл гепеушник с винтовкой. Очевидно, я очень изменилась в лице, потому что тотчас услышала: «Не пугайтесь,

гражданочка, не пугайтесь. Входите и, пожалуйста, нам ваши документки». Хорошо, что всегда ношу их с собой! Я стала открывать мой портфель, но руки мои так дрожали, что я не тотчас смогла это сделать. Ведь я могла предполагать себя арестованной! Это были только две-три минуты, но, Боже мой, сколько я успела передумать! Ужасней всего была мысль, что текущая тетрадь дневника не спрятана и находится в ящике письменного стола, а там упоминается фамилия Олега! Вторая, не менее убийственная мысль была, что он, по всей вероятности, уже арестован – почему бы иначе гепеу засело в этой квартире? И третья мысль – какова будет теперь моя собственная судьба? В моем дневнике есть фразы, которые мне не простятся... Я слышала, как стучит собственное сердце! Через минуту они сказали: «Пожалуйста-ка теперь нам ваш портфельчик». К счастью, в портфеле ничего не было, кроме завтрака и книги для чтения в поезде; а в сумочке у Аси – зеркальца, надушенного платка и засушенной розы. Все это мне тотчас вернули со словами: «Так, гражданка! Аресту мы вас не подвергаем, но отпустить из квартиры в течение нескольких часов не можем. Пройдите во внутренние комнаты и посидите. К телефону и к наружной двери не подходить». С этого момента я успокоилась за себя, тем более что увидела бабу-чухонку, по всей вероятности молочницу, которая сидела тут же с кувшинами – стало быть, я задержана была в общем порядке: это была засада – хотели кого-то выловить или кого-то поджидали и механически задерживали всех проходящих, чтобы о засаде не стало известно. Но, успокоившись за себя, я еще сильнее заволновалась за Олега и Асю, тем более что навстречу мне никто не выходил. Вступив в гостиную, я увидела Наталью Павловну и мадам; француженка пошла мне навстречу со словами: «Oh, ma chere, quel malheur! Monsieur le prince est arrete! [115]»

Помню: я оперлась о стол и видела, как дрожат мои руки! Наталья Павловна с обычной спокойной корректностью выразила мне сожаление по поводу того, что я попала в засаду, и двумя-тремя словами объяснила происшедшее, говоря, что при обыске ничего не обнаружили и что пришли уже с готовым ордером на арест, так как им стала известна подлинная фамилия Олега.

– Каким же образом это могло случиться? Чей-нибудь донос? – спросила я.

Наталья Павловна ответила: «Не знаю», но ответила после минутного молчания, как будто не пожелала сказать правду. Это оставило во мне неприятный осадок, даже промелькнула мысль – уж не подозревают ли они меня!

Наталья Павловна сидела на диване около Лели Нелидовой, которая лежала с закрытыми глазами, всхлипывая, как ребенок.

– Ну, успокойся, детка, успокойся! – как-то необыкновенно мягко и ласково повторяла Наталья Павловна. Даже странно было видеть эту нежность – естественнее, казалось бы, утешать Асю и никого другого. Я нарочно тут же спросила – где Ася? Мне ответили, что у себя со Славчиком и что боялись, как бы не подвергли аресту и ее, но, к счастью, этого не случилось. Я села около самой двери, не желая никому навязывать своего общества и чувствуя, что вся дрожу от нервного напряжения. Гепеушников теперь присутствовало только двое, и они оставались в передней. Наталья Павловна и француженка были очень бледны и осунулись за одну ночь. Леля вдруг села и, поправляя волосы, стала отрывисто говорить: «Мама... беспокоится... ждет. Домой... к маме!» – и снова разрыдалась, припав к плечу Натальи Павловны.

– Ну, перестань, перестань, дорогая, выпей воды! – повторяла Наталья Павловна и гладила ее волосы, а мадам держала рюмку с валерьянкой. Это все показалось мне чрезвычайно странно – что за претензия быть в центре внимания, когда в семье такое горе! Заставлять утешать себя людей, которых несчастье коснулось гораздо ближе, – невоспитанность, которой я не ожидала от Лели Нелидовой. Я ведь молчу! Это горе меня касается, во всяком случае, ближе, чем ее. К чему все эти рыдания?

Вошла Ася. Она мне показалась почти восковой. Мы пожали друг другу руки молча. Зазвонил телефон, к которому подошел гепеушник; нам слышно было, как он говорил кому-то: «Кого вам, гражданочка? Кого? Елену Нелидову? Да, да, здесь есть такая. Подойти к телефону не может. Ничего не случилось, не беспокойтесь, гражданочка. К телефону не подойдет. Сколько

же мне повторять-то?» Все переглянулись.

- Сейчас прибежит Зинаида Глебовна, - сказала озабоченно Наталья Павловна.

И действительно, через полчаса она была здесь же, испуганная непонятными словами, и, разумеется, была тотчас задержана. Наталья Павловна увела ее к себе в библиотеку и долго говорила с ней наедине, потом обе опять сидели около Лели, которая все так же или лежала молча, или начинала плакать так, что ее отпаивали водой, но не говорила по-прежнему ни слова. Ася держалась очень сдержанно и молчаливо; мне хотелось узнать у нее несколько подробностей, но видя ее подавленность, я не решилась расспрашивать. Славчик прибежал с какой-то игрушкой и стал было дергать Лелю, повторяя: «Тетя Леля, смотри - зая!» - но его заставили отойти. Было уже 3 часа, когда madame вскипятила чайник и пригласила всех за стол, чтобы немножко подбодриться чашкой крепкого чая. Лелю, однако, не удалось заставить сесть: она попросту не отвечала, как в столбняке; Ася принесла кашку и стала кормить Славчика, но сама не ела, уверяя, что у нее в горле комок и глотать она не может. Я решилась выпить чашку, потому что все время дрожала, как в ознобе. В эту минуту опять послышался звонок и чей-то испуганный возглас, а в ответ на него все то же: «Не пугайтесь, гражданка, не пугайтесь, заходите!» Женский голос произнес еще несколько слов, и Наталья Павловна сказала:

- Это Нина! Ах, Боже мой! - и взялась рукой за лоб.

- Какая княгиня Дашкова? Почему Дашкова? Я - Бологовская! - послышался уже около самых дверей взволнованный голос Нины Александровны.

- Ну, стало быть, урожденная Дашкова.

- Нет, нет! Я урожденная Огарева. Неправда!

- Постой, постой, товарищ Иванов: она княгиня по первому мужу; а вы не рыпайтесь зря, гражданочка. Из-за чего спорите? Неужели же мы не разберемся? Нам о вас все доподлинно известно - Нина Александровна Огарева-Дашкова-Бологовская, так? Так! Ну и не из-за чего волноваться! А ты, Иванов, не лезь. Товарищ начальник не с тебя, а с меня порядок спрашивать будет. Пойдите в эту дверь, гражданочка, и сядьте там.

На пороге показалась Нина Александровна и, увидев Наталью Павловну, бросилась ей на шею. Они заговорили полусшепотом, Нина Александровна плакала. Жизнь абсолютно была выбита из колеи - чувство было такое, что к обычной действительности с ее повседневным укладом мы уже не вернемся вовсе. Прошло еще с полчаса... Вдруг вошел агент, по-видимому старший (который, как мне сказали, распоряжался во время обыска, а потом уходил). Он сказал:

- Кто здесь Нина Александровна Бологовская, бывшая княгиня Дашкова?

- Я, - проговорила княгиня, бледнея.

- Приготовьтесь следовать за нами.

Мы все так и ахнули. Первой нашлась Наталья Павловна, она подошла к княгине и обняла ее:

- Успокойтесь, Ниночка, не дрожите так, дитя мое! Мадам, будьте так добры, дайте Нине Александровне мой чемодан и мешочек с ржаными сухарями, которые у меня приготовлены на всякий случай. А ты, Ася, вынь из моего шкафа перемену белья и два полотенца. У меня только сорок рублей, а деньги обязательно надо иметь при себе... Зинаида Глебовна, дорогая, не найдется ли у вас сколько-нибудь?

Нелидова вынула пятнадцать рублей; княгиня, вся дрожа, поднялась, поцеловала руку Наталье Павловне, потом приникла на минуту к ее груди.

- Господь с вами, дитя мое, - сказала Наталья Павловна.

Потом княгиня повернулась к Асе, взяла ее за виски, молча, долгим взглядом посмотрела на нее, поцеловала и пошла к выходу. Со мной она не простилась. У порога она обернулась и сказала:

- Брат... Мика... Дайте ему знать, - и вышла между двумя агентами.

Очень скоро после этого тот же человек вошел и сказал, что засада снята и мы можем расходиться. Уходя, я незаметно положила тридцать рублей на самоварный столик в надежде, что сочтут своими в этом переполохе. Дома ждали пустота и отчаяние.

5 мая. Сегодня была у них и видела Лелю Нелидову. Она страшно осунувшаяся и бледная - не лучше Аси, но держится теперь вполне прилично. Конечно, снимает сливки (в смысле отношения к себе). Впрочем, я отлично понимаю, что ревную Асю к Леле и Лелю к Асе, а потому, конечно, несправедлива. Они все ждут репрессий. Чудовищно страшно чувствовать себя накануне приговора, высылки, разлуки, разоренья... Звонки пугают всех - ждут то вызова к следователю, то повестки с предписанием немедленно выехать, Наталья Павловна торопит с распродажей вещей, Ася бегаёт на Шпалерную, тщетно стараясь попасть к прокурору... и это все вместе взятое создает крайне удручающую атмосферу. Все почему-то уверены, что опасность грозит в первую очередь Леле Нелидовой. Я слышала, как ее мать говорила: «Я совершенно перестала спать, мне все время чудится, что идут за Лелей». А вчера Наталья Павловна сказала:

- Почему не идет Леля? Уж не случилось ли чего-нибудь? Господи, спаси нас и помилуй! Мать с ума сойдет, если возьмут девочку!

Я или чего-то не улавливаю, или от меня что-то скрывают: аристократическая каста всегда тяготеет к замкнутости, а я чужая! И вот даже то, что я между ними одна не обреченная, уже отъединяет меня от них, и, наверное, именно потому в обреченности мне чудятся элементы «похоже». Я жизни себе не представляю без Олега, без Аси и ее семьи. Они и не подозревают, что я приношу к ним в дом полностью все мое сердце! Без них - абсолютное одиночество, и любовь моя никому не будет нужна... Вот так и случается, что человек переносит любовь на животное, а еще смеются над старыми девами и одинокими стариками, которые привязываются к собакам, кошкам и лошадям. Смешного тут, впрочем, ничего нет.

6 мая. Мне кажется, Леля Нелидова не любит меня. Неужели она так злопамятна, что не может забыть случайного, минутного недоразумения? В искренности и сердечности она значительно уступает Асе; меня очаровывает в ней только «похоже» и отблеск чего-то кровно Асиного. Это показывает, насколько я еще легко попадаю под обаяние формы!

Француженку сегодня вызывали в консульство: у нее неприятности по поводу ее поведения во время ареста Олега - говорят, она бранила во всеуслышание советскую власть и, кажется, съездила по физиономии старшему гедеушнику. Арестовать ее, конечно, не могут, а вот принудить выехать за пределы СССР отлично могут, и Наталья Павловна очень этого опасается.

7 мая. Что делает он в заточении, что думает, что чувствует? Томится ли за свою Родину, или его мысли все только о семье? Вспомнил ли меня хоть один раз? «Почти наверное расстрел, - это мне сказала Наталья Павловна и прибавила: - Асе я не говорю, но она и сама, мне кажется, это понимает».

Расстрел... Выведут, завяжут глаза и... такого человека больше не будет! Пролетариат расправится с аристократом! Впрочем, нет, вздор говорю! Вот когда жгли их майорат и убивали его мать - это была пролетарская месть, а сейчас это идет не с низов, не стихийно, это режется Сталин; ему не нужны люди, он хочет стада баранов, которых «железным посохом» погонит к «неизведанным безднам». Древних имен он боится не только как знамени, вокруг которого может сплотиться оппозиция, - он знает, что это головы, в которых мозги отточены из поколения в поколение, которые отлично разбираются во всем происходящем и не пойдут слепо. Надо уничтожить все головы, которые мыслят - всю интеллигенцию, ну, этим он и занят. Допросы... Я все знаю. Зять Юлии Ивановны вышел недавно оттуда с отбитой почкой - следователь на допросе! Сначала это были темные слухи, которые ползли, передаваясь шепотом: «Знаете ли, ему отбили почку...»; «Знаете ли, у него переломлены пальцы...» Теперь истязания в тюрьмах перестали быть тайной; об этом знают все! Вчера вечером от беспокойства и тоски я дошла до иступления: я металась по комнате, свет белой ночи за окном изводил, нагоняя невыносимую тоску... Потом я как-то вся застыла. Я не могу позволить себе истерику, как Леля: около меня никто не сядет на диване и некому отпаивать меня водой.

8 мая. Гром опять грянул! Наталья Павловна получила повестку о высылке в Самарканд в трехдневный срок. Чтобы оттянуть время, заявили, что по состоянию здоровья она ехать не

может, и теперь ждут врача от гепеу. С Аси и Нелидовых взяли подписку о невыезде, это значит – жди репрессии. Ася страшно волнуется, как она уедет, оставив Олега в тюрьме; однако лица, присоединенные к обвинению только по родству, высылаются обычно после приговора над обвиняемым. Во всяком случае, и я, и Леля клялись и божились ей, что будем носить передачи и к прокурору пойдем, на это Ася ответила Леле: «Ты сама под ударом». Почему? Они все недостаточно практичны и много теряют драгоценного времени: надо было давно рассовать по комиссионным магазинам мебель и вещи, а они до сих пор еще ничего не сделали; Ася машет рукой и отвечает: «Все равно», – а на что она будет жить? Сегодня у них весь день какие-то споры, чего никогда не бывало: Наталья Павловна, обычно такая выдержанная, даже возвысила голос и почти кричала на Асю: «Сейчас же за рояль! Через две недели выпускные экзамены, а ты не прикасаешься к клавишам! Ты обязана закончить, или ты пропадешь! Подумай о ребенке!» И потом сказала, обращаясь ко мне: «Это все последствия ее глупости: когда была беременна, из кокетства не пожелала играть на экзамене и задержалась на целый год, а вот теперь может сорвать себе окончание!»

Ася со своею кротостью не возражала ни слова и послушно села к роялю, но, не начиная играть, только прикинула лбом к крышке. Я обняла ее, а она сказала: «Не могу играть, не могу!» – и осталась сидеть в том же положении.

Второй предмет недоразумений – собаки: белый пудель – Лада ждет щенят, а тут еще Олег привез из Луги породистого старого сеттера, который пристал к нему на улице. Наталья Павловна, которая, оказывается, несколько практичней остальных, уверяет, что собак необходимо подарить или продать, так как содержать их не на что, а таскать с собой по ссылкам невыносимо, но Ася ни за что не соглашается, я даже не ожидала от нее такого упорства. Сеттер, по-видимому, успел очень привязаться к Олегу и целыми часами воет около входной двери, что производит очень тяжелое впечатление.

10 мая. Сегодня опять разговоры о собаках. Ася твердит свое: «Олег так любит его». Я посмотрела на сеттера с длинными шелковыми ушами и тоскующим взглядом, и меня вдруг охватила нежность к этому псу. Я сказала, что готова его взять, и уже вообразила, как буду его любить и беречь, но к великому моему изумлению Ася ответила: «Нет, не могу, не расстанусь!» Как раз в эту минуту маленький Славчик ласкался к ней, и мне пришла в голову совсем новая мысль: у нее ведь остается ребенок – ребенок от любимого человека, ребенок, который уже теперь походит на него, а у меня никого, ничего! Я хватаюсь за собаку, которую он любил, чтобы плакать, когда она будет выть, и даже в этом получаю отказ! Мне стало очень горько, и досада на Асю сегодня весь день преследует меня.

11 мая. Эта мадам – симпатичная, добрая, энергичная, живая, но у нее есть склонность к игривости, которая ее не покидает даже в самые трудные минуты. Вчера Ася рано легла, так как очень устала, простояв в тюремной очереди 6 часов; а мадам и Наталья Павловна оставались в гостиной; мадам вертела цветы. Я подошла к ним проститься, и в эту минуту как раз до нас донеслись заглушённые рыдания Аси из спальни. Они переглянулись, и француженка сказала:

- La pauvre petite... Elle est si jeune encore! [116]

Зачем такое сопоставление слов? Причем возраст? Было вложено что-то специфическое, какой-то намек... Ей, мол, объятий и поцелуев в этой спальне не хватает... Наталье Павловне, по-видимому, тоже что-то не понравилось в словах француженки: она нахмурилась и встала, говоря: «Пойду успокоить».

12 мая. Мадам уезжает завтра. У них полное отчаяние. Ася, которая до сих пор держалась очень мужественно, в этот раз разрыдалась с таким отчаянием, точно она теряет мать. Мадам, всегда очень экспансивная, ревела, как белуга, обхватив шею Аси. Вещи никто не продает, а ведь каждую минуту можно ждать конфискации. Я опять говорила, но до них не доходит. Сегодня Наталья Павловна подозвала меня к себе и говорит: «Дайте мне вас поцеловать за все ваши заботы, моя милая, добрая. Спасибо, что вы нас не оставляете». Эти слова согрели мое сердце, а то я уже начинала думать, не лишняя ли я у них. Я предлагала делать Наталье

Павловне инъекции, укрепляющие сердечную мышцу, но она отказалась, говоря: «Сейчас мне чем хуже, тем лучше». Гепеушный врач отложил срок высылки на неделю.

13 мая. Не верю, что больше никогда не увижу его, не верю! В моей душе как огнем выжжен след от его гордого облика. Этот след останется, а самого человека не будет? Что-то с самого начала в корне сложилось не так... В цепи наших отношений не хватает какого-то очень важного звена... Пустое место! Сжечь огнем и пройти мимо! Ведь если выжжен след... должно это было повлечь еще иные изменения в моей жизни... Странно, что теперь, когда Олег уже как бы канул в вечность, во мне опять накипает возмущение. Эти белые ночи я возненавидела! Они и раньше были моими врагами, так как дразнили обещаньями, а сейчас они меня тиранят. Огнем выжжен след, а человека нет! Что лучше или вернее – что хуже: иметь и потерять, или не иметь вовсе, или, как я, не имея иметь и все-таки потерять? Когда я одна, тоска переполняет меня через край. Как ни странно, у Бологовских мне легче. Обстановка там самая удручающая и тревожная, но там я не одна, я иногда полезна, а главное – там все полно Олегом. Бывает обидно и больно, и все-таки только там мое место – около дорогих ему людей.

## Глава третья

Ася бегом возвращалась со Шпалерной. Она ушла из дома в шесть утра, когда все еще спали, и теперь сквозь всю глубину ее горя пробивались тревоги и заботы предстоящего дня! «Завтрак не готов, Славчик, наверное, очень проголодался... Он не мыт, не гулял... Бабушка тоже не обслужена, в комнатах не прибрано... Как я буду обходиться без помощи мадам теперь, когда пропадаю на Шпалерной в бесконечных очередях!»

Потерять француженку казалось ей в некоторых отношениях тяжелее предстоящей разлуки с бабушкой. Отношения с мадам уходили корнями к самым первым воспоминаниям. Ее забота всегда окружала Асю со всех сторон, с ней было проще, теплее, ее всегда можно было упрямить, с ней можно было покапризничать, она знала все ее вкусы и слабости, например, знала о ее неприязни к молочной пенке, которую мадам тщательно вылавливала потихоньку от бабушки из Асиной чашки. Только мадам умела варить ей яичко именно в мешочек, без жидкого белка; мадам до сих пор ее причесывала, к мадам можно было выбежать полураздетой и сказать: «Застегните мне пуговку на лифчике!» или крикнуть из ванной: «Потрите мне спину!» Наталья Павловна, вся *grude* [117] и *distinguee* [118] вносила в отношения строгость и легкую натянутость. Она всегда вызывала у Аси очень большое уважение, но также и то, что называется «страх Божий». Целая вереница запретов и требований, многие из которых никогда не произносились, но предполагались сами собой, определяла отношения; ежеминутно приходилось считаться с желаниями и привычками Натальи Павловны; нельзя было вообразить себя повиснувшей на бабушкиной шее или распорядившейся бабушкиным временем; возражать или просить о чем-нибудь – Боже сохрани! Плакать – ни в каком случае! Простоты в отношениях с Натальей Павловной не было и не могло быть.

Отворяя теперь ключом дверь, Ася думала: «Кажется, *madame* выбежит и спросит: “*Est-tu bien fatigued ma petite?*” [119] и побежит разогревать кофе! Милая, дорогая, родная *madame*! Она относилась ко мне, как к дочери, – кто же теперь будет любить и беречь ее на старости лет? Во Франции у нее уже никого нет. Как она горько плакала, обнимая своего "дофина!"»

В передней было пусто, и никто не встретил Асю, кроме собак. «Где мой хозяин?» – спросили глаза сеттера, беременная Лада лизнула ей руку. Ася любовно погладила обе толкавшие ее морды и вошла в гостиную: Наталья Павловна в печальной задумчивости сидела одна за обеденным столом.

– Я уже начала беспокоиться за тебя, детка. Мой руки и садись, ты, наверное, устала и проголодалась, – сказала она.

– А где Славчик, бабушка? – спросила Ася, целуя руку Наталье Павловне.

– Прибегала Леля и увела его гулять на Неву. Леля сегодня работает с трех часов.

Ася устало опустилась на стул.

- Бедная Леля! - тихо сказала она.
  - У тебя приняли передачу? - спросила Наталья Павловна.
  - Нет, бабушка; мы простояли два часа сначала на улице, а потом столько же в здании, потом вышел агент и сказал, что сегодня он будет принимать только для уголовников. Завтра придется идти снова.
  - Завтракай, детка: здесь горячая картошка, а я пожарю тебе гренокки к чаю. Славчик очень хорошо покушал и, когда одевался, был умницей. Штанишки его я выстирала и повесила в кухне.
  - Бабушка, ведь тебе нельзя утомляться, а ты все утро хлопотала.
  - Все эти «нельзя» хороши, пока можно! - и, произнеся этот афоризм, Наталья Павловна ушла в кухню.
- Раздался звонок; Ася побежала в переднюю, ожидая увидеть Лелю со Славчиком, и невольно подалась назад, увидев перед собой Геню. Сердце у нее забилось со страшной быстротой; не приглашая его войти, она остановилась в дверях.
- Привет, Ксения Всеволодовна! Придется побеспокоить вас, - сказал он, приподнимая шляпу,
  - я, видите ли, никак не могу добиться встречи с Леночкой. Я два раза был у нее на квартире, но меня всякий раз уверяют, что Леночки нет дома, и что она будто бы не желает меня видеть, а между тем завтра день, который был у нас назначен для прогулки в загс. Я очень опасаюсь интриг со стороны одной особы: может быть, Леночке не передают, что я наведываюсь, и стараются уверить ее, что я смылся? Удивляюсь бесцеремонности, с которой старшие вмешиваются в дела молодежи! Не откажите передать Леночке эту записку, если увидите ее сегодня, а может быть, найдете времечко и сбегаете к ней, а?
- Сердце все так же стучало у Аси, что-то подымалось и застилало глаза, даже ноги вдруг ослабели. Она сделала над собой усилие и сказала:
- Я думаю, вам лучше узнать правду, Геннадий Викторович: тетя Зина передает вам только то, что ей поручает Леля. Вам лучше не искать больше встреч с Лелей. Извините, - и захлопнула дверь.
  - Что с тобой? - спросила Наталья Павловна, когда Ася вернулась к столу. Ася передала ей разговор, Наталья Павловна выпрямилась и глаза ее сверкнули тем огоньком, который хорошо знали ее домашние: сколько раз Сергей Петрович рассказывал Асе, как он и ее отец боялись в детстве этого огня. Стоя со сковородником в руках и глядя на Асю уничтожающим взглядом, Наталья Павловна сказала:
  - Жаль, что ты не позвала меня, я бы сказала короче: вон, предатель не переступит порог моего дома! Ты проявила недостаток благородной гордости, я не узнаю в тебе Бологовскую!
  - Бабушка, мне за него было неудобно: подумай, чтобы он почувствовал, если бы понял, что мне все известно? Я старалась говорить как будто ничего не знаю. К тому же надо было объяснить, что следует оставить в покое Лелю... Только бы он не встретил ее сейчас!
  - Излишняя кротость! - сказала Наталья Павловна. - Как мельчают люди! Садись и завтракай.
  - Бабушка, не сердись на меня! Разве кротость может быть излишней?
  - Даже очень часто, - отрезала Наталья Павловна и прибавила: - Какая, однако, безмерная наглость со стороны этого субъекта!
- Славчик и Леля не замедлили явиться. Смех и щебет ребенка странно звучали в строгой тишине этих комнат и могли вызвать только улыбку - никто уже не смеялся ему в ответ.
- Ну, пошли ручки мыть! Славчик, беги к маме, - и Ася присела на корточки и раскрыла для объятия руки, но когда обхватила подбежавшего малыша, не стала его тормозить, как делала раньше, хотя он именно в ожидании этого залился звонким смехом...
  - Душечка, маленький, бедный мой! - прошептала она, целуя мягкую шейку.
  - Звонок! - сказала, настораживаясь, Леля. - Не агенты ли? Ложитесь скорее, Наталья Павловна!
  - On me chase! [\[120\]](#) - проговорила старая дама, торопливо подымаясь с кресла и запахивая на себе черную шаль дрожащими руками.

- Нет, нет, бабушка, это не за тобой! Это, наверное, Елочка - она обещала прийти к двенадцати, - поспешно сказала Ася.

- Классная дама эта твоя Елочка. Прежде про таких говорили: «проглотила аршин». И зачем ходит в скомпрометированный дом? Нам от ее визитов не легче, а себе она хуже делает, - и, говоря это, Леля побежала к входной двери.

- Как? Вы? Сюда? В этот дом? Да как вы смеете! Вон! Вон, не то я брошусь на вас и задушу как дикая кошка! Предатель, подлец, вон!

Наталья Павловна и Ася бросились в переднюю на эти исступленные возгласы, обе соседки не замедлили высунуть носы.

- Видали ли вы что-либо подобное, видали? Пудами не вымерить того горя, которое он нам принес, и он является со мной объясняться! Подлый, гнусный! - в бессильном бешенстве кричала Леля, стоя посередине передней.

- Успокойся, успокойся! - воскликнула, бросаясь к ней, испуганная Ася.

- Helene, Helene, pas devant les gens! [121] - воскликнула Наталья Павловна, выразительно сжимая ей руку.

На пороге двери, которая все еще оставалась открытой, показалась Елочка.

- Что случилось? Не повестка ли? Кто это вышел от вас? Гепеушник?

- Да, да! Гепеушник! Гоните его, гоните! - кричала Леля, выскочив на лестницу и перевесившись через перила.

Елочка в изумлении озиралась.

- Никакая не повестка, дались вам эти повестки! Поскандалила малость с молодым человеком - и у благородных, видать, случается! - буркнул ей в ответ Хрычко.

- Пойдемте в комнаты, - сказала, пожимая ей руку, Ася.

- Пожалуйста, не думайте, что я опять буду плакать, как плакала тогда. Не надо мне валерьянки. Я теперь уже не плачу! Вот спросите маму, совсем не плачу! - говорила Леля, отстраняя воду.

- Мне жаль, что ни одна из вас обеих не нашла правильного тона с этим человеком, - сказала, опускаясь в кресло, Наталья Павловна. - Мы, очевидно, что-то упустили в вашем воспитании! - и характерное для последних дней выражение глубокой озабоченной скорби легло на ее мраморные черты.

Елочка, не посвященная в тайны этого разговора, почувствовала необходимость направить его в другое русло.

- Наталья Павловна, я принесла вам деньги, - сказала она, - я отнесла в комиссионный магазин те вазы, о которых мы с вами говорили. И, представьте себе, их тут же, при мне, купили! Ими очень заинтересовался элегантный иностранец, который оказался английским послом. Вот девятьсот рублей и квитанция.

- Благодарю вас, благодарю! - сказала Наталья Павловна. - Английский посол? Очень грустно, очень!

- Почему же грустно? - переспросила удивленная Елочка.

- Эти вазы - уникам; они были нашим русским богатством! Если бы их купил Русский музей, я бы не сокрушалась! Но наши драгоценности выкачиваются за границу, и мне больно за мою Родину и за то, что я невольно содействую этому.

- Бабушка, ну зачем думать о таких вещах! - воскликнула Ася. - Не все ли равно? Помнишь наши луврские вазы? Их тоже, может быть, обливала слезами французская маркиза, а ты ведь любовалась же ими?

Но Наталья Павловна не удостоила Асю ответом и повернулась к Елочке.

- Вот, вы видите - ни у нее, ни у Лели нет вовсе ни патриотических, ни гражданских чувств! Никакого душевного величия! Это все - кончилось! - с горечью сказала она.

Всегда замкнутая и сдержанная Елочка бросилась на колени к креслу Натальи Павловны и прижалась губами к ее руке.

- Какая вы замечательная, стойкая духом, идейная! Таких, как вы, больше не остается! -

воскликнула она.

Наталья Павловна погладила волосы девушки.

- Спасибо на добром слове! Мои дни уже на исходе, и тем отрадней наблюдать родные мне чувства в молодом существе. Мне случалось уже ловить их в вас.

Леля и Ася, виновато прижавшись друг к другу, растерянно смотрели на Наталью Павловну и Елочку, и они подумали одно и то же: в их молодой жизни было слишком много личного горя, чтобы испытывать высокую патриотическую скорбь!

Спустя час, собираясь уходить на работу, Леля заглянула в ванную, где Ася полоскала детское белье. Ася стояла, прислонившись к стене, с руками около лба.

- Что с тобой? - спросила Леля. - Тебе как будто дурно?

- Да... Устала очень, и замучила тошнота...

- Тошнота? Ты, может быть, в положении?

Ася прижала палец к губам и оглянулась.

- Молчи: я бабушке еще не говорила. Не хочу ее тревожить. Если ей придется уехать - пусть лучше не знает!

Леля опустилась на табурет.

- Ася, да что же это! За что на нас сыпятся все несчастья сразу! Надо скорее force couche - нельзя оставить. Кажется, делают только до трех месяцев... Сколько у тебя?

- Два. Только ты про аборт мне не говори: я это делать все равно не буду.

- Не будешь? В уме ли ты! Накануне ссылки и полного разорения... без мужа... Аська, ты бредишь просто!

- Ты, Леля, сначала выслушай: это будет дочка Сонечка... У нас уже все решено. Леля, ты помнишь: у тебя был нарыв на пальце и я водила тебя к хирургу? Там стояло ведро с ватой и кровью... Я не могу себе представить, что мой ребенок будет растерзан по жилкам и выброшен в такое ведро... Это убийство! Не убеждай меня ни в чем, если не хочешь со мной поссориться.

- Нет, буду убеждать! Это слишком серьезно, и времени терять нельзя. Надо в больницу, немедленно в больницу, а то поздно будет! Я не допущу тебя совершить такую страшную ошибку.

В эту минуту у двери остановилась Елочка.

- Елизавета Георгиевна, помогите мне убедить Асю, устройте ее в больницу: у нее беременность, а она не принимает мер! Ведь она же пропадет с двумя детьми! Елизавета Георгиевна, помогите нам.

- Замолчи Леля! Не распоряжайся за меня! Я хочу второго ребенка, понимаешь, хочу! - перебила Ася.

- Довольно тебе и Славчика, и с одним тяжело! Уж я ли не люблю детей! Но ведь надо же считаться с трагичностью положения. Если будет второй - Славчику будет хуже; для Славчика, Ася, для Славчика!

Елочка молча смотрела на обеих.

- Елизавета Георгиевна, что же вы ничего не говорите? Нельзя же допустить... Мы и так погибаем! Не сегодня завтра она поедет в ссылку... хорошо, если с Натальей Павловной или с нами, а может быть, совсем одна... Надо скорей принять меры, скорей! - В интонации девушки звучало отчаяние.

- Мне кажется... - начала Елочка, пропуская слова, как сквозь заржавленную мельницу, - мне кажется, Леля права: я завтра уже устрою вас, Ася, к нам на койку, надо в самом деле торопиться...

- Не трудитесь, я не пойду! Сонечка мне горя не прибавит, не в ней мое несчастье! Я обсуждений больше не хочу... кончено! - и желая, очевидно, переменить разговор, Ася прибавила: - Будешь сейчас выходить, Леля, захвати с собой маленький пакет, который в кухне на окне: там немного рыбы для голодной кошечки - она сидит на лестнице, на окне на втором этаже, рыженькая, с рваным ушком, я ее подкармливаю.

- Изволь, я это сделаю, но сначала поговорю по поводу тебя с Натальей Павловной, - ответила

Леля и вышла.

- Напрасно она это делает: у бабушки итак тревог довольно, - сказала после нескольких минут молчания Ася.

Вечером, когда Ася подошла к постели Натальи Павловны с чашкой чая - Наталья Павловна устала и рано легла, - старая дама сказала:

- Сядь ко мне на кровать, поговорим. Леля мне сказала. Вполне понимаю твоё отвращение к аборту - в наше время мы о нём не слышали! Но в наше время не было и этих чудовищных трудностей. Твоё положение в самом деле катастрофично.

Ася поставила чашку и несколько минут молчала.

- Я ничего не могу изменить, бабушка, пойми хоть ты: Олег отнесся с такой любовью... он хочет дочку - Сонечку, мы с ним уже говорили о ней. Я уже люблю её. Аборт - убийство! Разве возможно это сделать?

- Когда Олег Андреевич говорил о будущей дочери, он был ещё с тобой, а теперь ты одна - это в корне меняет положение. Надежды, что вы увидите почти, нет: тебе предстоит одной растить двух детей.

- Почти нет, бабушка. А может быть, он все-таки вернется и спросит: где моя Соня? Нет, бабушка, я не могу! И собаку выгнать тоже не могу! Не толкай меня на это, бабушка!

Наталья Павловна взяла её руку, но медлила с ответом, чувствуя, что спазма сжимает ей горло.

- Ты меня знаешь, Ася, - сказала она, наконец с усилием. - Я требовательна и деспотична в ежедневной жизни. Я люблю, чтобы считались с моими привычками, но в больших вопросах я не вмешиваюсь - ты вольна поступать, как сама находишь нужным. Никто из нас не может решить за тебя - даже твой муж! Я знаю Олега Андреевича: он никогда не осудил бы тебя ни в том, ни в другом случае. И ещё скажу: если решаешь сохранить беременность, побереги себя. Посмотри, как ты худа и прозрачна.

- Бабушка, я не верю... не верю, что приговорят к... - слово «расстрел» застряло в горле Аси, - к лагерю без права переписки, - продолжала она минуту спустя, проглотив слезы. - Бог помилует моего Олега. Может быть, нас сошлют всех вместе! Сибирская тайга, маленькая хижина в сугробах - ничего не страшно! Я представляю себе, как я топлю русскую печь, а ты сидишь рядом в кресле и рассказываешь по-французски сказки Сонечке, а Олег пошел вместе со Славчиком за дровами... Мы все вместе! Мне только это нужно. Вот говорят, что я талантлива - это очень большое заблуждение! Я очень ограниченное существо, но только все вокруг словно бы сговорились этого не замечать! Мне только любимые люди необходимы для счастья. Бабушка, как я отпущу тебя совсем одну? Ты и мадам меня вырастили, а я вот теперь ничем не могу помочь ни тебе, ни ей.

- Что делать, дитя. Твоей вины тут нет. Не будем говорить о том, чего мы изменить не можем. Главное теперь - сохранить присутствие духа. Опустим шторы и иди спать.

Ася подошла к большому венецианскому окну и невольно задумалась, глядя на бледное небо белой ночи. «Огонь пришел Я низвести на землю, и как Я желал, чтобы он возгорелся! Крещением должен Я креститься, и как Я томлюсь, пока сие совершится!» Вот это «томлюсь», вырвавшееся из сокровенных глубин Великого совершенного Духа, звучит так по-человечески и этим особенно трогает меня. Я сама томлюсь теперь, все время томлюсь в ожидании приговора. Господи, будь милостив! Сохрани жизнь моему Олегу, верни мне его - не ради меня, ради детей!»

По примеру прежних лет она по несколько раз среди дня пряталась то за буфет, то за шкаф, где никто не мог её видеть, и сосредоточившись с закрытыми глазами, вкладывала на минуту всю целостность мысли и полноту чувства в жалобную короткую просьбу... Но у неё складывалось понемногу впечатление, что молитва её уже не возносится в небо, а тут же опускается - падает к ногам. Стала ли она более земной и озабоченной, а может быть, душевно-загрубевшей, или горе её было безнадежней, чем прежние, но светлой уверенности, что она услышана, - не было, как и ощущения полета ввысь. Одним из привычных молитвенных ощущений с детства

стало сияние яркого и теплого света сквозь сомкнутые веки; правда, открывая глаза, она всякий раз обнаруживала, что на нее падает солнечный луч или ярко светит в лицо электрическая лампа; и тем не менее, свет и тепло воспринимались в особом плане – как пролитые свыше. Теперь под веками было темно, а открывая их, она всякий раз видела лишь серые облака. Весна стояла солнечная, яркая, до боли ликующая, и однако же молитва неизменно попадала в серое облако, неизвестно откуда появлявшееся, чтобы встретить ее взгляд. И делалось страшно: отчего не прилетает, как раньше, светлый дух под видом солнечного луча? Отчего ее предали на растерзание печалям?

На следующий день к Бологовским явился агент с билетом дальнего следования для Натальи Павловны, а почти по пятам за ним – управдом с известием, что комнаты Натальи Павловны и мадам будут в ближайшие же дни заселены по ордерам и должны быть освобождены немедленно. Ася, поглощенная сборами Натальи Павловны, покорно выслушала сообщение, чувствуя, что не может вникнуть в суть дела, и снова бросилась к чемоданам.

В этот же вечер она вместе с Нелидовыми провожала бабушку. Местом ссылки был назначен Самарканд.

Наталья Павловна вышла из квартиры вся в черном, с опущенной креповой вуалью, держась необыкновенно прямо и величественно кивая направо и налево старым жильцам дома, собравшимся у подъезда. Спокойствие не изменило ей даже на перроне.

– Бог даст, еще увидимся! – говорила она Зинаиде Глебовне. – Как только получите предписание уехать, тотчас же подавайте просьбу назначить вам Самарканд. Вместе мы не пропадем нигде. Если доведется увидеть Олега или Нину, скажите им, что я все время думаю о них и молюсь за них, как за своих детей. Поддержите Асю: что бы ни случилось, она должна сдать выпускные экзамены.

Только в самую последнюю минуту, когда к ее груди припала головка внучки, у нее чуть дрогнули губы и увлажнились глаза:

– Христос с тобой, дитя мое! Не падай духом!

## Глава четвертая

Когда поезд скрылся из глаз, Леля повернулась, чтобы обнять Асю, но взгляд ее упал на мать, которая прислонясь к фонарному столбу и закрыв лицо платком, беззвучно плакала. Выдержка Зинаиды Глебовны до сих пор была неистощима: корректность, ровность и покорная улыбка ни разу не изменили ей.

– Вычеркнем этого Геннадия вовсе из нашей жизни, Стригунчик. Он не достоин тебя, не выходи к нему. Я передам от твоего лица все, что ты захочешь. Ты стала нам теперь еще дороже, Стригунчик. Наталья Павловна так ценит твою благородную решимость немедленно разорвать с этим типом. Только бы нам не расставаться, и мы залечим твою горе, родная! Мы еще не такого найдем, – говорила она, и ни одна истерическая нота ни разу не прозвучала в ее разговорах с дочерью. А между тем все существо Зинаиды Глебовны содрогалось от ужаса: приговор, висевший над Олегом и грозивший его жизни, и неизбежная расправа с дочерью и племянницей лишали ее последнего спокойствия: она не могла ни есть, ни спать и только в разговорах с Натальей Павловной позволяла себе немного поплакать и облегчить душу. Дочь неизменно ее обрывала: для Лели Зинаида Глебовна являлась тем сосудом, в который всегда можно было излить и раздражение, и досаду; даже кротость материнской интонации раздражала уже поиздергавшиеся нервы Лели; слова, которые накануне вызывали умиленную нежность, на другой день могли заставить ее вскочить и ударить рукой по столу.

– Отстань, пожалуйста, со своими причитаниями! Во все я не «бедная»! Ни к чему эти карамзинские эпитеты! – кричала она.

– Молчу, Стригунчик, молчу, – покорно откликнулась мать.

Зинаида Глебовна сама бы себе не решилась признаться, что боится своего Стригунчика. В лице Натальи Павловны она лишалась единственного друга, старшего и уважаемого.

Увидев теперь мать в слезах, Леля тотчас бросилась к ней.

- Мама, мама! Что с тобой! Успокойся.

Ася в свою очередь повисла на шее Зинаиды Глебовны.

- Ничего, девочки; не обращайтесь внимания; взгрустнулось немного. Ведь мы с Натальей Павловной так сблизились за последние годы. Ну да что делать! Иди сейчас со Славчиком к нам, Ася; поужинаем вместе и переночуешь с нами, а утром при солнечном свете не так грустно будет войти в свои комнаты.

- Спасибо, тетя Зина, с удовольствием бы, но не могу: собаки одни - нельзя оставить их взаперти до утра. Тетя Зина, дорогая, ты очень усталая сегодня. Ляг, пожалуйста, как только вернешься. А за меня не беспокойтесь: мне очень много дела по дому и грустить будет некогда, - и она печально улыбнулась.

Когда она отворяла ключом свою дверь, в почтовом ящике что-то белелось.

«Письмо! Опять что-нибудь страшное!» - думала она, распечатывая конверт дрожащими пальчиками.

«Товарищ Казаринова, уведомляю вас, что в силу занятости не могу более уделять времени прослушиванию вас у себя на дому», - и великолепный профессорский росчерк.

Ася несколько минут простояла неподвижно.

«Да, это так: он меня сторонится, как и многие... с некоторых пор! Сколько из знакомых перестало нас навещать, а некоторые даже шарахаются в сторону при встрече на улице... боятся, чтобы им не поставили в вину близость с нами. Я могу извинить тех, которые избегают посещать нас в качестве друзей, но бросать преподавание, так небрежно написать... «товарищ» вместо «Ася»... Он трусит! А я то еще воображала, что он всецело предан искусству и ценит мой талант... Эта седая голова казалась мне вместилищем самых высоких музыкальных мыслей... Одно из двух: или таланта у меня нет, или искусство ему не дорого. Ах, все равно! Не буду расстраиваться, это нельзя теперь. Основной педагог - Юлия Ивановна, а она меня в самом деле любит и не бросит.

Черный клеенчатый нос оказался тут как тут, чтобы напомнить: «Уж я то во всяком случае тебя никогда не брошу!»

В комнате опять хозяйничала белая ночь, затопляя волшебным светом беспорядочно разбросанные вещи, один вид которых, казалось, кричал о катастрофе. Эта ночь пересела с неба и заполнила комнату; в свете ее было столько же безнадежности, сколько было счастья в те три весны... проведенные с Олегом!

На следующее утро еще до девяти, едва Ася усадила Славчика на высокий стульчик пить молоко, раздался звонок и на пороге появился Мика. Он догадался извиниться за раннее посещение и, не входя в комнаты, отрапортовал, что добился, наконец, аудиенции у прокурора. Аудиенция эта длилась две минуты; рука прокурора лежала на звонке; прокурор не предлагал посетителю сесть и удостоил Мику лишь несколькими словами. Нина обвиняется по статье пятьдесят восьмой, параграфы одиннадцатый и двенадцатый; когда же Мика осведомился по поводу Олега, прокурор резко перебил его, говоря, что дает ответы только самым близким родственникам, и нажал кнопку звонка, которым вызывался следующий посетитель.

- Эдакая подлая морда! С наслаждением бы шею ему свернул! - закончил юный монах свой доклад и, метнув на Асю быстрый взгляд, опустил глаза.

Два с половиной года тому назад он каялся на исповеди в страсти к ней; скоро после этого он увидел ее беременной, когда явился к Бологовским с каким-то поручением от Нины. Его эстетическое чувство было оскорблено ее изменившейся фигурой, и он сказал себе, что мужская страсть отвратительна, потому что уродует такие совершенные создания, а его собственная страсть, как легкая птичка, выпорхнула из шестнадцатилетнего сердца. Теперь эта же самая Ася стояла перед ним стройная, как козочка, в темном платье, перетянутом ремешком; тяжелый узел каштановых волос сползал ей на плечи мимо маленького уха, лоб был почти прозрачной белизны, а глаза смотрели печально и очень серьезно - они показались ему темнее и глубже, чем раньше, траурным покрывалом ложились на них ресницы; отпечаток

чего-то лучшего, совершенного почудился Мике в ее лице. «Так выглядела, наверное, святая мученица Агния, когда палачи привели ее в Колизей и волосы окутали ее с ног до головы!» – подумал он; понятие высшего женского благородства еще не входило в его мысли, понятие святости было роднее и ближе. «Как бы мне не влюбиться опять, а то ведь тоска прикинется, и начинай сначала! Уйду-ка подобра да поздорову. Господи, спаси меня от искушения!» Он уже повернулся к двери, но Ася сказала:

- Не можете ли вы, Мика, помочь мне передвинуть мебель? У меня отнимают две комнаты.

- Приду, приду сегодня же вечером, и товарища приведу – Вячеслава, соседа, он как раз сегодня из отпуска должен возвратиться. Вдвоем мы вам в полчаса все устроим, – и Мика умчался.

«Как хороша! Работницы на заводе и наши школьные девчонки все дрянь по сравнению с ней: противная у них бойкость. Мери... Мери умная, милая, серьезная, но этой как будто ничто земное не касается!»

Ася между тем вернулась к ребенку. Что делать с малышом? Надо бежать к прокурору и в комиссионный магазин, надо переделать тысячу дел, а ребенка оставить не на кого. Отвести к тете Зине? Она помочь не откажется, но она такая усталая... однако другого выхода нет.

- Кушай поживей, Славчик, и поедем к тете Зине – поиграешь с ней в кубички и в мишек. Кончай скорей: кашка сладенькая, ложечка маленькая! Ну, полетели, на головку сели!

Опять раздался звонок; привычная мысль: только бы не повестка о высылке, и сердце опять стучало, пока бежала в переднюю. За дверьми стояла еврейка Ревекка, соседка Лели, вывозившая ее в советский «свет», – тридцатилетняя, цветущая, рыжие пейсики мягкими кольцами выбиваются из-под модной шапочки, надетой набекрень, покрашенные губки приятно улыбаются. Олег окрестил ее *mademoiselle Renaissance*.

- Здравствуйте, Ася. Я с поручением от нашей Лелечки, – она всегда была фамиллярна и не слишком церемонна. – Благодарю, сяду на минуточку. Какая красивая у вас комната, Ася, и сколько дорогих вещиц... дедовские, наверное? Я к вам вот по какому случаю: Зинаида Глебовна у нас заболела, ночью «скорую помощь» вызывать пришлось – удушье! Лучше, уже лучше, не беспокойтесь. Сделали укол и тотчас остановили припадок. Однако велели лежать. Леличка наша страшно расстроилась, недостаточно ведь она бережет мать, все мы это знаем, люди свои. Вчера опять поскандалила вечером, нам за перегородкой слышно, а как та начала задыхаться – Леля наша совсем обезумела: ворвалась к нам и за голову хватается. Уж мы с мужем ее урезонивали, чтобы хоть ради больной поспокойнее держалась. Просила передать вам, чтобы пришли поухаживать: ей сегодня на работу к десяти часам, а Зинаиде Глебовне велено лежать без движения. Придете? Ну вот и отлично. А что, Асенька, вы не знаете ли: как у нее с этим молодым человеком – Геннадием? Ходил, ходил, да вдруг перестал, а она невеселая что-то... Не придется, что ли, свадьбу-то праздновать? Очень мне нравится ваша комната, Ася, если будете что продавать из этих ваз или канделябр – скажите мне: я куплю за хорошую цену, муж теперь получает достаточно. Ну, мне пора – в Пассаж хочу забежать, занавески купить тюлевые. Всего! – и Ревекка, еще раз окинув внимательным взглядом комнату, ушла.

Потерять тетю Зину? Нет, этого не будет! За что так наказывать ее и Лелю, и отчего такую огромную цену получает человек тогда именно, когда он обречен и навсегда от вас уходит? Зинаиду Глебовну никогда никто не видел окруженной вниманием, которого так много требовала к себе Наталья Павловна. Тетя Зина и сейчас словно бы извинялась за причиненное беспокойство:

Собрав Славчика, Ася отправилась к Нелидовым. Зинаида Глебовна лежала с виноватым видом: – Ты мое золото! Вот пришлось побеспокоить нашу девочку! Допрыгалась я! Укатали, наконец, Сивку крутые горки! Слыхано ли – в сорок шесть лет стенокардия! Доктор сказал: если отлежусь, еще могу поправиться. Зря это я про Сивку. Прости свою глупую тетю Зину. Устала ведь я, Ася... С семнадцатого года ни одного дня покоя. Славчик, подойди ближе – сейчас посмотрел совсем как Олег Андреевич... Ну вот я и сама плачу. Бедные мои девочки,

маленькие, родные, страшная это вещь – диктатура пролетариата.

– Мама, лежи смирно и не говори много, волноваться тебе вредно. Доктор совсем запретил маме двигаться, а мама то сядет, то повернется; я выйду в кухню, мама начинает цветы вертеть; я – в булочную, возвращаюсь, а мама в постели картошку чистит, чтобы мне завтрак поспел, – и Леля закусила дрожащие губы.

– Ася, слушай: вот здесь пузырек с лекарством, это – нитроглицерин; если начнет сжимать грудь, дашь лизнуть пробку; если же лучше не станет – вызывай скорую. Они сделают укол. Телефон в соседнем подъезде. Ну, я бегу, – и она пошла к двери.

– Стригунчик! Стригунчик! Подойди ко мне, девочка! – окликнула дочь Зинаида Глебовна. Лилия приблизилась, глядя в пол.

– Что, мама?

– Поцелуй меня, родная, и не беспокойся: мы с Асей отлично проведем время. Я себя сейчас хорошо чувствую. Наклонись ко мне.

– Не целуй меня, мама, а то я разревусь. Мне не до нежностей. Лежи спокойно – вот что всего нужнее. Ася, проводи меня.

И проходя мимо Славчика, она поцеловала пушистое темечко. Ася вышла следом за ней на лестницу: карие глаза сестры смотрели слишком серьезно.

– Ты хочешь мне что-нибудь сказать?

– Да. Вот приглашение в Большой дом, видишь этот бланк? Со службы прямо туда, в пасть к боа-констриктору. Знает один Бог, вернусь ли. Убийственно, что именно сегодня; доктор сказал мне потихоньку, что второй приступ мама не перенесет. Все против нас! Не целуй меня – я злая, колючая, меня теперь раздражает каждая мелочь. Если я не вернусь, ты скажешь маме, что я ее люблю безумно и не пережила бы ее потерю. Пусть она мне простит все мои дерзости. Ты и мама – вот два дорогих мне человека. – Холодные пальцы схватили руку Аси. – Я помню все сейчас – наши игры в белых нарядных детских, а после мазанку в Крыму... и Сергея Петровича, и потом двух мужчин: твоего Олега, и этого мерзавца Геннадия. Ты полюбила человека, я – ничтожество, но ты меня не винишь, я знаю, знаю. Ну, выпусти меня и беги, а то моя мама заподозрит и начнет беспокоиться. Деньги, все какие есть, я оставила на столе под прес-папье. До свидания... или нет – прощай.

Ася вернулась в комнату, где на старой походной кровати, на штопаной наволочке с вышитой белым по белому дворянской короной покоилось милое усталое лицо, обрамленное седеющими, тонкими, как паутина, волосами.

– Ася, о чем вы говорили на лестнице? Не получила ли Стригунчик приглашения к следователю? Бога ради, не скрывай ничего.

– Лежи, лежи, не садись, тетя Зина! Леля говорила, что беспокоится за тебя, и винила себя за раздражительность. Вот и все.

– Милая девочка! Ведь я и сама знаю, что это все у нее от нервов. Так понятно после всего, что она пережила. Смотри, у Славчика чулочек разорвался, дай мне иголку, я зашью.

Заглянула мадемуазель Ренессанс и предложила, что возьмет с собой ребенка, так как шла в Летний сад; Ася замялась было, но Зинаида Глебовна шепнула ей: не бойся, Ревекка Исаковна очень заботлива.

Ребенок послушно ушел с чужой тетей. И в комнате наступила тишина.

– Ася, сядь ко мне на постель, дорогая.

– Ты не спишь, тетя Зина?

– Нет. Я все эти годы вертелась как белка в колесе. Некогда и думать было, а вот теперь осаждают то мысли, то воспоминания. Ася, если я теперь умру... Не перебивай, милая, дай сказать! Если я теперь умру, обещаю тебе, что никогда не оставишь мою Лелю. Ведь у нее кроме тебя никого. В этой истории с твоим мужем она виновата без вины. Кто же мог знать, что этот Геннадий такой мерзавец! Леля ему не проговорила: вы обе были одинаково неосторожны с фотографиями.

– Да, тетя Зина, да – я знаю. Леля так выгораживала Олега у следователя, мне даже в голову не

приходит винить Лелю.

- Ну, спасибо, милая, спасибо. Я - так, на всякий случай. Леличке очень дорого стоила эта история. Ты все-таки была счастлива, Ася, а это очень много значит - первая счастливая любовь всегда оставляет в женщине чарующий след, как ни сложилась бы дальше ее жизнь. Под венцом мы все любовались вами: по возрасту, по наружности, по воспитанию вы были идеальной парой. Твоя первая брачная ночь, наверное, навсегда останется для тебя чудесным воспоминанием, а моя Леличка... Не знаю, говорила ли она тебе... Подлый, подлый! Еще посмел ее успокаивать - сказал: «Не бойтесь последствий, я был осторожен в ласке...», еще воображал, что мы потом его предложение примем.

- Тетя Зина, ты волнуешься, а тебе это вредно. Ляг, тетя Зина.

Но Зинаида Глебовна не могла успокоиться.

- У тебя ребенок, Ася, очаровательный бутуз, который всегда будет твоим утешением, а моя Леля... Неизвестно еще, будет ли у нее семья. С самого начала именно у тебя был выбор - Олег и Шура, прекрасные молодые люди!

- Лели ни тот ни другой не нравился!

- Ну как не нравился! Олег - очень интересный мужчина. Понравился бы, если б стал ухаживать. А чужой муж для моей Лелички - неприкосновенность, она глаз не подымет на мужа сестры. Ах, как ужасно, что выслали тогда Валентина Платоновича! Все бы могло быть иначе!

Часы шли. Славчик вернулся с прогулки со сладким ротиком и новым мячиком, и Ася уложила довольного мальчугана спать на фамильный нелидовский сундук. Зинаида Глебовна не засыпала и все что-то говорила.

- Все воспоминания! То отец перед глазами совсем как живой, то муж, то сестра! И это море крестов под Симферополем! Помнишь ты нашу мазанку, Ася? Надо было спускаться по глиняным ступенькам, окна - вровень с землей. Ты спала на одной наре с Лелей. Каждую ночь навевалось ЧК. Кого они искали - не знаю: никого из мужчин с нами уже не было. Потом пришел выпущенный из ям Серж - бедный Серж! Помню, у него была любимая трость, в которую был заключен трехгранный штык. Чекисты не догадались и не отобрали во время обысков. Я сберегла ему эту тросточку и, помню, все хромала, для вида, чтобы не возбуждать подозрений. Серж так обрадовался, что она нашлась, - он перецеловал мне за нее все пальчики, он был тогда ко мне очень внимателен, бедный Серж. А впереди еще было так много - почти пятнадцать лет мук! Только теперь виднеется конец, но тут мысли о вас, и опять нет покою. Ася, если я теперь умру, не тратьтесь вы обе на мои похороны: ведь это вам рублей триста, а то и больше будет стоить! Наше положение сейчас такое тяжелое! Отдайте меня в морг, а помолитесь дома... Обещай, Ася.

- Нет, тетя Зина, ни Леля, ни я не согласимся на это - все будет сделано как надо. Только не думай о смерти - ты полежишь и поправишься. Попробуй теперь заснуть.

- Что ты! Какой тут сон! Я все о вас думаю: на кого я вас обеих оставлю, да еще без средств, да еще накануне высылки! Хоть бы вас не разлучили... Боже, Боже!

В три часа у Лели заканчивался укороченный рентгеновский служебный день. К этому времени Ася по желанию Зинаиды Глебовны сварила картошку и накрыла на стол. Слушая, как тетя Зина рассказывает Славчику сказку про Красную Шапочку и Серого Волка, она тревожно наблюдала за часовой стрелкой, чувствуя, что начинает дрожать.

- Леличка что-то запаздывает, - проговорила вдруг Зинаида Глебовна.

Ася нервно передернулась от этих слов.

- Странно, что Стригунчика все еще нет, - сказала Зинаида Глебовна еще через полчаса. - Она никуда не собиралась заходить и знает, что я ее жду.

Ася выбежала в темную прихожую и, спрятавшись между пальто у вешалки, закрыла глаза: «Боже, пожалей нас, спаси! Мы погибаем!» Потом открыла дверь на лестницу и прислушалась - тишина! Боа-констриктор засосал, задушил, не выпустил. Все страшней и страшней! Когда вводили мужа, у Аси еще оставались бабушка, мадам, тетя Зина и Леля, теперь она стояла

перед страшной пустотой!

«Я всегда любила Иисуса Христа. Он мне казался таким милосердным, светлым, особенным! От Его образа льется лучистое тепло, потоки любви. Когда мне было пять лет, я видела Его однажды во сне и до сих пор не забуду: было зелено, солнечно, тепло-тепло... Он стоял в поле на холме, а рядом с Ним маленький кудрявый барашек. Этот барашек, наверное, была я сама. За богослужением в храме я всегда, бывало, жду, когда прозвучит Его имя – в одном только слове «Христос» уже что-то благодатное! Что же значит диктатура, чья бы она ни была, перед Его любовью? За что же так немилосердно карает он и меня, и Лелю? Небо как будто затворилось!»

– Ася, Ася, – послышался слабый, разбитый голос, – поди сюда, скажи мне: в чем дело? Она не на службе, она у следователя? Не лги мне!

Ася припала к рукам Зинаиды Глебовны.

Бьет четыре, бьет пять, бьет шесть часов... Асе давно надо быть дома: собаки тоскуют и воют, в пять должна прийти покупательница на бабушкин трельяж, в шесть – мальчики передвигать мебель... Пропадай все!

– Посмотри еще раз на лестнице, Ася!

– Я только что выходила – пусто!

– Посмотри еще раз, деточка, пожалуйста!

– Опять никого!

– Стригунчик в тюрьме! Стригунчик! А я-то ее не перекрестила, не простилась с ней! Ася, ты помнишь картину «Княжна Тараканова»? Ее изведут, ее изнасилуют, ее – мою девочку, моего ребенка! Это выше моих сил! Этого я не переживу! Конечно – я ее больше не увижу!

У Аси льются слезы, она целует худые руки и умоляет успокоиться; одновременно что-то бормочет Славчику:

– Мишка сел, Мишка пошел гулять... да, милый, да... Вот построй Мишке дом: сюда положи кирпичик и сюда... Тетя Зиночка, не волнуйся так... Может быть, еще вернется!

Но вот уже вечер, Славчик уже спит, а Стригунчика нет. Белая ночь раскинулась над городом со своим загадочным белым светом: окно раскрыто, и со стороны Летнего сада льется запах цветущих лип, но Зинаида Глебовна жалуется на духоту и боль в груди.

Испуганная ее тяжелым, свистящим дыханием, Ася хватается за нитроглицерин.

– Ну – все! – проговорила в эту минуту Зинаида Глебовна и откинулась на подушку.

– Что ты, что ты, тетя Зиночка! Нет, нет, не все! Вот лизни пробку – сразу лучше станет, – обрывающимся голосом лепечет Ася.

– Стригунчик, Стригунчик, – едва шепчет Зинаида Глебовна.

Ася бросается в сотый раз на лестницу – лестница пуста. Она бежит обратно и, увидев, что Зинаида Глебовна схватилась за грудь и ловит воздух посиневшими губами, бросается стучать к соседке.

– Ревекка Исааковна! Умоляю – выйдите! Я бегу вниз вызывать «скорую».

Ревекка выходит, запахивая на ходу халат, идет к постели. Ася стремглав мчится вниз.

– Кажется, уже не дышит, – говорит ей Ревекка, когда она прибежала обратно.

Схваченная Асей рука была холодна и неподвижна. Осталась только оболочка тети Зины – кроткая душа отлетела.

## Глава пятая

Предъявив главному врачу больницы повестку с вызовом в Большой дом и, разумеется, тотчас получив разрешение отлучиться во всевышние органы, Леля вернулась в рентгеновский кабинет. Угрюмая и молчаливая, она машинально выслушивала болтовню молоденькой, курносой и быстроглазой санитарки, которая застегивала на ней сестринский белый халат. Достаточно было бросить взгляд на это осунувшееся бледное личико с покрасневшими веками и плотно сжатыми губами, чтобы понять, что над этой головкой только что разразилось очень

большое горе. Изыщные ручки ее бессильно повисли.

- Больных много? - перебила она болтовню санитарки.

- Со стационара - пятка, плечо и череп, да двенадцать - на просвечивание грудной клетки, а из Большого дома - двое на просвечивание кишок; опять тот же конвойный привел, ждут за дверьми.

- Какой «тот же», Поля?

- А тот, которому я приглянулась в прошлый раз - помните, смеялись мы? Я уже к нему выскакивала: коли, говорю, кишок просвечивание - это значит, барием кормить, да смотреть по три раза, засидитесь тут. А он смеется: сколько потребуется, столько и просидим, говорит, время-то казенное!

Леля устало вздохнула.

- Начать придется с них. Достаньте барий, Поля, я приготовлю смесь. Опять чего-нибудь наглотались?

- Гвоздей, говорит, наглотались, ну и народец! - усмехнулась санитарка.

- Это не с радости делают, Поля! Где сопроводительные бланки? Дайте мне, я занесу в журнал. А рентгеноскопию легких придется перенести на завтра - сегодня я работаю только до двенадцати, санкция начальства уже имеется.

Поля протянула ей бланки со штампом Большого дома, Леля бросила на них равнодушный взгляд, но внезапно вздрогнула: Дашков Олег? Что такое? Почудилось или в самом деле он? Пятьдесят восьмая! Кто ж другой? Боже мой! Я его сейчас увижу!

Она оперлась дрожащей рукой на стол.

- Эй, Елена Львовна, никак дурно вам? - окликнула Поля, доставая порошки из аптечного шкафчика.

- Не дурно, нет, с чего вы взяли! - с усилием ответила Леля.

«Я его сейчас увижу! Необходимо сообщить ему об Асе. Я должна это сделать, я перед ним страшно виновата! Если заметят - скандал подымут, засадят. Надо осторожно, очень осторожно! Хоть бы мне успокоиться немного... Олег проглотил гвозди».

Она побежала к двери. Вот конвой, а вот и заключенные! Все сидели на деревянной скамье у входа в кабинет со стороны лестницы.

Когда она выбежала, один Олег поднялся, остальные остались как были. Он встал, но ни одна черта в его лице не дрогнула - была ли это все та же свойственная ему во всем выдержка или он догадывался, что увидит ее, и приготовился заранее? Глаза их встретились на одну секунду и тотчас, как по команде, разошлись. Но ей выдержки все-таки не хватало: губы ее задрожали так, что она их прикусила, и не могла начать говорить - боялась, что голос сорвется и выдаст ее. Конвойный - рослый, хамоватый парень - заговорил первый:

- Опять к вам меня прислали, товарищ рентгенотехник, с двумя вот молодчиками. Велено просвечивание кишок сделать. Я бланки сдал вашей санитарочке. Ежели возможно, так начинайте уж с нас, чтобы задержать недолго: «черный ворон» ведь дожидается.

Леля тщательно старалась овладеть собой и все еще не решалась заговорить. Она перевела глаза на второго заключенного: по типу уголовник, грубые черты, взлохмаченная голова с низким лбом; он припал к спине скамейки, держась руками за живот, и тихо подвывал, как больное животное.

- Этому плохо, кажется? - сдавленным голосом проговорила, наконец, Леля.

- Народ ведь такой отчаянный, товарищ! Никак за ими не уследишь: и градусники и гвозди - все глотают! А потом отвечай за их. На лестницу сейчас еле поднялись - этот вот совсем валится.

Леля взглянула на бланк.

- Это - Дашков? - умышленно спросила она, указывая на уголовника.

- Дашков - это я, - сказал Олег. - Я ничего не глотал, у меня повреждена рука.

Леля только тут увидела, что он держал правую руку в левой и она была замотана тряпкой.

- Что с рукой? - спросила она, глядя мимо него и стараясь принять официальный тон, хотя

продолжала дрожать.

- Сломаны пальцы, - ответил он, и в этот раз у него тоже как будто пресекался голос.

Санитарка, вышедшая вслед за Лелей, заахала:

- Матушка-голубушка! На какие только выдумки они не горазды! Слыхано ли, пальцы себе ломают!

- Я не ломал, мне их сломали! - сказал Олег.

Конвойный стукнул винтовкой:

- Не разговаривать! Отвечать на вопросы только!

Леля поняла - Олег сказал эти слова, чтобы дать ей понять о форме допроса, которому был подвергнут. Белая пелена задернула ей глаза... «Мне, кажется, и в самом деле дурно!» - промелькнуло в ее голове. Призвав на помощь всю свою волю, она опять взялась за бланки и нашла наконец в себе силы прочитать и разобраться в написанном.

- Дашков назначен на снимок правой кисти, а на просвечивание кишок - один Никифоров, - сказала она уже более спокойно.

- Точно ли, товарищ? Насчет гвоздей, помнится, о двоих говорили? - возразил конвойный.

- Совершенно точно, если я говорю. Ведите обоих в кабинет, - и Леля пошла, не оборачиваясь.

Поля приблизилась к стонавшему уголовнику и взяла его под руку.

- Ну, идем. Подымайся, идем! Чего уж тут! Любишь кататься, люби и саночки возить!

Тот поднялся, шатаясь. Они вошли первыми, за ними Олег, за Олегом конвойные.

- Подождите за дверьми, - сказала Леля, останавливая последних.

- Нет уж, разрешите и нам, товарищ. У обоих молодчиков по целой катушке, видать, «вышка» ждет, будущие смертники. Боязно с глаз спустить, - возразил тот же парень.

Леля содрогнулась и быстро взглянула на Олега: он не изменился в лице - или для него это не было новостью, или он не придавал значения разговору конвоя, а может быть, не вслушался в своеобразный жаргон.

- В нашем кабинете окна решетчатые, а ключ от второго выхода в надежном месте, я отвечаю за свои слова. Останетесь за дверьми, - настаивала Леля. Но конвойный не отходил.

- Нет, товарищ! Конечно, извиняюсь, но не отойду. Наказывали глаз не спускать. Народ уж больно отчаянный. Разрешите войти хоть одному мне. Я у самой двери сяду, не помешаю. Ведь я на службе, товарищ.

Леля не решилась более настаивать. Конвойный вошел и опустился у двери на табурет; заключенных провели к топчану в глубину комнаты. Леля мучительно искала выхода.

«Придется довериться санитарке или я ничего не сделаю, а тогда я - последняя дрянь: семья Аси столько со мной носилась, а я принесла им только зло».

Она окликнула санитарку и нырнула в темную проясительную. Поля пошла за ней; они остановились друг против друга при свете красных фонарей.

- Поля, я вас попрошу об одном одолжении. В свою очередь обещаю выручить вас или услужить вам, чем только смогу. То, о чем я попрошу, очень важно для меня, Поля.

- Да что вы этак волнуетесь, Елена Львовна? Вы, может, без денег - так я одолжу с радостью.

- Нет, нет, Поля, совсем не то. Обещайте только о нашем разговоре никому не сообщать.

- Ладно, промолчу. Да что надо-то?

Леля медлила.

- Чего бы это такого могло приключиться с вами? Может, встречу с кем из врачей наладить нужно от мамы под секретом и комнаты нет? Так моя жилплощадь, хоть и мала, а все годится: пожалуйста, когда хотите, Елена Львовна.

- О, нет, о нет, Поля, совсем не то. Могу ли я вам довериться? Поля, видели вы этих двух заключенных? Один из них, тот, который моложе, - муж моей сестры.

Поля насторожилась, и улыбка сбежала с ее лица.

- Он по пятьдесят восьмой. Он не преступник, Поля. Царский офицер - только за это. У него семья, ребенок...

Она задыхалась, Поля молчала.

- Я хочу только... Я ничего плохого не сделаю... Два-три слова ему о жене и ребенке. Я никого не подведу. Помогите мне!

- Елена Львовна, дело-то ведь такое... Сами знаете... Если вы ему письмо сунуть желаете, так ведь его обыщут при возвращении в камеру: найдут - загорится сыр-бор. Тогда не сдобровать нам.

- Я знаю: письмо нельзя. Нет, нельзя! Несколько слов только... У него сломаны пальцы, по рентгеновским правилам снимать надо каждый палец в отдельности. Отвлеките тем временем внимание конвойного. Вы ему понравились - поговорите с ним, выманите покурить... У нас еще полчаса до прихода врача. Поля, умоляю вас!

- Ладно, поспособлю, хоть и не дело! Да уж больно вас жаль. То-то я гляжу: совсем вы извелись за последнее время. Ну, а болтать я и сама не захочу - не враг же я сама себе!

- Это можно сделать, только пока я буду укладывать его пальцы, - продолжала Леля, - человек он в высшей степени выдержанный и осторожный... Он ничем не обнаружит... Мы обменяемся только несколькими словами... Включите вентилятор, чтоб заглушить.

- Понимаю, понимаю - устроим. Не плачьте только. Заряжайте кассету. Я пошла.

Леля зарядила кассету, приготовили барий и вышла к больным. Уголовник лежал на кушетке и стонал, Олег сидел с опущенной головой, заложив руки в рукава тюремного серого халата. Минут десять провозились над уголовником, заставляя его есть бариевую смесь, которая к моменту прихода врача должна была перейти в кишечник. Он ел, упираясь и отплевываясь, потом опрокинулся навзничь на топчане.

- Теперь ваша очередь, - обратилась Леля к Олегу официальным тоном. Он с готовностью встал. Поля быстро направилась к конвойному и села около него.

- Глядишь, и покалякать с хорошеньким мальчиком минуточка выпала, - засмеялась она, и разговор их живо встал на рельсы.

- Сядьте, а руку протяните сюда, - громко скомандовала Леля, а сама быстро оглядела кабинет, оценивая положение. Он впился в нее жадным ожидающим взглядом, и она поняла, что он угадал ее маневр. Она взяла его искалеченную руку и положила ее на кассету.

- Ася пока на свободе, здорова; ее только раз вызывали: взяли подписку о невыезде и отпустили; надеемся, что теперь уже не арестуют. Удалось продать гостиную мебель, так что деньги пока есть. Я каждый день там бываю. Наталью Павловну выслали в Самарканд, писем пока с места не имеем; с нас тоже взяли подписку о невыезде, ждем решения; будем хлопотать, чтобы всем вместе. Мама очень больна, Нина Александровна арестована тогда же, когда вы; мадам выслана во Францию.

Он смотрел вперед, на конвойного, сохраняя бесстрастное выражение лица. Леля вновь удивилась его выдержке.

- Ася в положении?

- Да. Переносит хорошо, как и со Славчиком. Ее заставили переменить удостоверение личности и выдали новое, на Дашкову. Славчику выписали новую метрику.

Он вдруг поднес руку к лицу и закрыл глаза. Леля испуганно смолкла; он опустил руку, и лицо его было непроницаемо по-прежнему.

- Несчастный ребенок! С этой фамилией они не дадут ему жизни, - сказал он. - Что с Зинаидой Глебовной?

- У мамы был очень страшный приступ стенокардии; повлияло все, что случилось. Подождите минутку: я сделаю снимок, чтобы не возбуждать подозрений, - и она отбежала к столику управления. - Больной, спокойно: я снимаю! - прозвучал через минуту тонкий голосок. Парочка у двери флиртовала по-прежнему.

- Я перед вами виновата... очень виновата... Простите, если можете! - шепнула она, и голос ее оборвался.

- Я не вижу вины с вашей стороны.

- Я ввела в дом провокатора... Как же нет вины?

- Спокойней, Леля! Вы слишком волнуетесь, и это видно по вашему лицу. Не вините себя: я

уже давно был под ударом... Меня выслеживали, и я это знал. Надеюсь, с Асей вы друзья по-прежнему?

- У Аси золотое сердце, а я, как только поняла, какую роль сыграл этот человек, тотчас закрыла перед ним дверь.

- В этом я был уверен, - сказал Олег.

- Больной! - жестко и повелительно крикнула вдруг Леля, - не двигайте руку! Сколько раз я буду укладывать ваши пальцы?

Олег понял ее игру.

- Вы делаете мне больно, сестра, - ответил он в тон ей. Конвойный стукнул прикладом, очевидно, для поддержания дисциплины, и снова отдался захватывающему разговору.

- Леля, скажите Асе, чтобы непременно обратилась в консультацию по охране материнства и младенчества; эти учреждения имеют некоторые права, гепеу, конечно, всеильно, но попытаться следует. Меня отсюда живым, разумеется, не выпустят; к опасности я привык, и за последние минуты пусть Ася особенно меня не жалеет. А о пытках не говорите ей теперь - потом, позднее... с тем чтобы она могла когда-нибудь рассказать детям... Они должны узнать все.

- Неужели пытаются?

- Спокойней Леля. Допрашивают сутками... Следователи меняются, а допрашиваемый остается... Не позволяют ни отойти, ни сесть, пока не упадешь замертво. Очень в ходу пытка бессоницей; в «Шанхае» бьют бичами по плечам и ломают пальцы... Говорят, есть шкафы, где задыхаются, но сам я не видел их.

- Больной, спокойно, снимаю. - Она опять отошла к столику управления, потом вернулась.

- А что, Славчик еще вспоминает меня? - спросил Олег, и только тут голос его дрогнул, и что-то блеснуло в глубине глаз. У Лели тотчас же полились ручьем слезы.

- У меня такой насморк, Поля, такой насморк... - она выхватила платок.

В эту минуту быстрым деловым шагом, бойко и молодецкато вошел в кабинет врач - молодой, самоуверенный, с партийным значком.

- Здравствуйте, Елена Львовна! Здравствуйте, Поля! Ну, как? Больных много? Желудки или легкие?

Поля живо отпрянула от конвойного, Леля убежала в проявительскую. Врач облачился с помощью Поли в белый халат, после чего уголовного тотчас поставили за экран; очень скоро удалось обнаружить гвоздь. Один из конвойных объяснялся после этого по телефону с начальством, требуя инструкций; Леля писала под диктовку врача заключения по поводу гвоздя и сломанных пальцев (врач диагностировал по мокрому снимку).

Ее не было в кабинете, когда конвойные уводили своих подопечных; выйдя из проявительской, она стремглав выскочила вслед за ними и увидела Олега уже на повороте лестницы: глаза их встретились в долгом взгляде... «В последний раз!» - сказала себе Леля.

- Интересный мужчина этот пятьдесят восьмой! Как вы находите, Елена Львовна, а? Вы так на него посматривали, - сказал рентгенолог, когда она вернулась к экрану. Леля дрожала, но принудила себя улыбнуться.

Было уже около двенадцати. Информировав врача, что имеет разрешение уйти, она сняла халат, взяла свой маленький саквояжик и спустилась в гардероб, потом на улицу.

«Последний час свободы! Необходимо теперь же сообщить Асе про Олега. Забегу на почту. Надо осторожно, иносказательно, чтоб перлюстратор не заподозрил...»

В результате долгого обдумывания получилось следующее послание: «Милая Ася! Пишу тебе перед тем, как уйти к нему. Видела на службе Олега. Он пока здоров и просил передать тебе, чтобы ты непременно обратилась в охрану материнства и младенчества. Я, наверное, уеду на курорт. Расстаемся надолго. Постарайся не потерять меня из виду. Мамочку, родную, бесценную, и тебя, мою кроткую, дорогую, люблю больше самой себя. Будь маме без меня дочкой. Твоя злая, виноватая, но безмерно любящая Леля».

Она два раза перечла это письмо.

«Можно подумать, что улепетываю с любовником! Ну да мама и Ася поймут, а мне только это нужно, – и запечатала конверт. – Пора. Опаздываю. О, тоска! А тут еще это солнце и эти цветы – шиповник на каждом углу! Я знала, я всегда знала, что не буду счастлива. Будь ты проклят, мерзавец Геннадий. Никогда не прощу».

Прямо перед ней высился белый Преображенский собор – собор гвардии, где столько раз выстаивали службу ее отец и дед и где венчалась ее мать двадцать четыре года тому назад. Она постояла в нерешительности и потом переступила порог храма. Милый-милый, давно знакомый запах свеч и ладана, полусвет, огоньки и печальные родные напевы... Все это напоминало ей детство; смутное волнение овладело душой. Обедня кончилась, кого-то отпевали.

«Когда я теперь увижу храм? Может быть, никогда! Я грешница без грехов: каяться мне не в чем, а душа не возносится и падает все ниже и ниже. Я плохо кончу. Избави мя от сети, юже составиша ми... Как странно: эти слова как будто для меня! Недостреленная перепелка попалась в сеть и уже не избавит никто и ничто! Тени прошлого губят меня. Спасибо тебе, Господи, что Ты дал мне так мало радости, спасибо, что в 23 года у меня впереди только тюрьма и лагерь. Услыши меня хоть раз в жизни: спаси от пасти боа-констриктора. Но Ты ведь не сделаешь! О чем же мне с Тобой говорить? Сохрани мне хоть мою маму... а впрочем, Ты и этого не сделаешь... Тоска!»

Стальные, холодные, серые глаза боа-констриктора остановились на ней, когда она переступила порог кабинета.

– Садитесь, товарищ Гвоздика, садитесь! Потолкуем. Ну, что ж – вы уличены. Вы не только не осведомляли меня, нарушив наше соглашение. Вы сознательно сбивали и запутывали следственные органы, вы прикрывали врага. Прямая контрреволюция! Вы сами оказываетесь активным врагом, скрывающимся под маской хорошенькой, кокетливой девушки. Ваша порция свинца вас дожидается! Можете быть спокойны!

Леля молчала.

– Ну-с, как же мне с вами быть, Елена Львовна? А?

– Вы можете, конечно, издеваться, сколько захотите, а я повторяю то, что говорила: я не знала, что Казаринов фамилия вымышленная.

– Что? Ты все еще лжешь, мерзавка, отродье белогвардейское! Не знала! Она не знала! «Я давно хотела вам доверить нашу семейную тайну» – это чьи же слова, по-твоему?

– Ах, вот что, вот что! Он сообщил даже такие подробности? Какой услужливый этот Геннадий. Ну, тогда в самом деле мне уже нечем защищаться. Да, я знала, кто Казаринов по происхождению, но ведь не все такие подлецы, как комсомолец Корсунский! Мне была дорога семья сестры. Олег Андреевич контрреволюционер в прошлом – он честно работал в порту...

Внезапно сильным ударом ноги он вышиб из-под нее табурет, и она упала на пол.

– Молчать! Не разводите тут плешей или я тебя сгною в лагере!

Леля встала с пола и подняла уроненную сумочку.

– Вы не смеете толкаться и говорить мне «ты», – сказала она. Интонация обиженного ребенка слышалась в ее голосе.

– Что?! Я не смею? Да я могу на расстрел послать, если захочу! Вы арестованы, гражданка. Садитесь на тот стул, туда, говорю, подальше; подайте вашу сумочку.

Порывшись в сумочке и вынув оттуда документы, он отложил их в сторону и взялся за телефон.

– Алло! Вот мне надо девушку оформить. Подошлите в тринадцатый кабинет ордер на арест.

Леля дрожала, хоть и старалась всеми силами сохранить спокойствие. Следователь повесил трубку и прошелся по комнате.

– А что, Дашкова молодая – Ксения, – знала она прошлое мужа? – спросил он.

– Из показаний Геньки вам уже все достаточно известно, – огрызнулась Леля.

– Пренеприятная личность эта ваша Ксения! Я видел ее, когда брал подписку о невыезде, и мне настолько неприятно было иметь с ней дело, что у меня даже начались непроизвольные сокращения мышц в скулах, как от кислого яблока. И что вы ее жалеете? Себя из-за нее запутали.

«Бес, которого корчит от ладана», – подумала Леля.

Вошел один из сотрудников с какими-то бумагами, и начались мытарства. Помощник следователя повел Лелю по бесконечным коридорам; спускались, подымались, снова спускались. Главное здание оцепеу – шедевр советской архитектуры – соединяется с тюрьмой коридором с окнами; коридор этот получил прозвище – «мост вздохов». Через него, не выходя на улицу, заключенных проводят в здание тюрьмы и обратно на допросы. Леля не раз слышала про этот «мост вздохов» и, узнав по описанию, поняла, куда попала. Теперь переходы пошли длинные, коридоры темные, стены сырые с тусклыми лампочками, двери железные, сквозные, похожие на ворота.

«Бьют в «Шанхае»... что такое «шанхай»? А что если меня ведут туда?» – и сердце замирало.

Наконец вошли в комнату, которая была поделена на секторы; в каждом секторе стоял топчан. Здесь ей разрешили сесть и заставили заполнить анкету, а также измерили ее рост и записали приметы: фигура худощавая, аккуратная, волосы кудрявые, стриженные; красивая блондинка, родинка на щеке, маленькие руки. Тут же сфотографировали, посадив на особый стул с прибором, который обуславливал позу; взяли также отпечатки пальцев. Потом опять бесконечными коридорами повели к доктору. Пока доктор выслушивал ее сердце, она смотрела на странное сооружение, похожее на хирургический стол или зубо врачебное кресло, – для чего оно? Может быть, это орудие пытки? Это и в самом деле оказалось орудием пытки, но пытки моральной: врач приказал лечь на это кресло и подверг ее гинекологическому осмотру.

В соседнем секторе следователь опять звонил кому-то, говоря: «Приготовьте камеру», – и опять пошли бесконечными коридорами. После бессонной ночи и всех мук этого дня Леля чувствовала такую усталость, что всякая восприимчивость притупилась понемногу, и она думала уже только о том, чтобы заснуть скорее, пусть в камере, но заснуть!

Прошли еще через одну железную дверь и оказались в очень большой удлиненной комнате; она имела совершенно особый построй: по правую сторону были окна, по левую шел длинный ряд узких камер-одиночек, расположенных в два этажа. На каждой дверце – «глазок» на уровне человеческого лица, пониже – окошечко, через которое подают еду; подымавшаяся в верхний ряд камер железная лестница была затянута проволокой; во всю длину комнаты был расстелен красный бобриковый ковер.

Подошла конвойная женщина и приняла Лелю под свою ответственность.

– Идите тише, уже был отбой – второй час ночи, – сказала она Леле.

Оказалось, что в допросах, процедурах и бесконечных переходах прошел и кончился день. Вошли в одиночку: прямо – окно, высокое, скошенное; слева – привинченная к стене металлическая откидная койка; справа – тоже откидной металлический столик и сиденье, лицом к окну; полочка с алюминиевой миской и кружкой; под окном – унитаз и раковина.

– Отдайте мне пояс с застежками для чулок и ложитесь немедленно спать, головы одеялом не закрывать, – скомандовала женщина и, получив требуемое, захлопнула дверь одиночки.

Юная узница еще раз растерянно оглядела свое убежище, потом откинула койку, свернула вместо подушки неуютное серое байковое одеяло и легла на жесткий матрац, закрывшись пальто.

«Мост вздохов», «шанхай», сломанные пальцы... а мама, наверное, уже умерла!» – и в ту же минуту заснула, как в бездну провалилась.

## Глава шестая

Аннушка сказала ему сначала так:

– Дела у нас тут без тебя такие пошли, что ум за разум заходит! Садись, шей налью, пока горячие.

Но в тарелке у Вячеслава щи остыли от высыпавшихся на него как из решета новостей.

– Как? И Нина Александровна тоже! Да по какой же статье ее обвиняют? Эх, Анна Тимофеевна! Посылать проклятья по адресу власти, конечно, очень легко, однако же надо вникнуть: Олег

Андреевич жил под чужим именем и скрывал прошлое... Это карается каждой властью. Уж не думаете ли вы, что в Англии или во Франции за это поглядят по головке? Что же касается Нины Александровны – ее могут обвинять в пособничестве. У прокурора Мика был? Прокурор разговаривать не желает? Уж извините – не поверю!

Аннушка всплеснула руками:

– Да неужели я лгать буду? Вот хоть мужа моего спроси. Эти окаянные и старика-то моего вовсе замучили: что ни день, то являйся к ним да выкладывай всю подноготную. Намедни арестом пригрозили: ты-де такой-сякой, ложными показаниями нас с толку сбил...

Дверь, которая вела в комнату Аннушки, раскрылась, и на пороге показался, опираясь на палку, дворник. Вячеславу бросились в глаза его провалившиеся скулы, заострившийся нос и поседевшие виски.

– Застрекотала, сорока! – крикнул он жене, стуча палкой. – Мало тебе, что ли, бед? Сама за решетку захотела?

Вячеслав выпрямился.

– Вы, Егор Власович, меня знаете: разве я зарекомендовал себя хоть раз как передатчик? – спросил он.

– Ты партиец и безбожник – вот что я знаю! – сердито крикнул дворник.

Вячеслав пошел к себе, но на пороге остановился.

– Мика дома? – спросил он.

Аннушка объяснила, что Мика еще на рассвете ушел в тюремную очередь, а оттуда – на завод. Выходить на работу Вячеславу предстояло только на следующий день; он заперся у себя караулить возвращение Мики и занялся составлением прошения в Кремль, которое подавал от лица своего дяди – середняка, несправедливо, по его мнению, обвиненного в кулачестве, – одно из наиболее тягостных впечатлений, вынесенных им из поездки в деревню.

Только в конце дня он услышал в кухне «трубу иерихонскую», как называла, бывало, Нина зычный голос брата.

– Давайте, давайте, Аннушка, голоден так, что нипочем гиппопотама съем. – Мика, по-видимому, не терял бодрости.

Отложив бумаги, Вячеслав поспешила в кухню, где «юный Огарев» трудился над своей порцией щей за покрытым аккуратной клеенкой столом – форпостом Аннушки.

– Здорово, Мика! Ешь, ешь, поговорить еще успеем, – и Вячеслав пожал ему руку.

– Разговоры наши будут невеселые, друже, так как дела у нас пошли прескверно, однако на аппетите моем это, как видишь, не отражается, – продолжая уплетать щи, откликнулся Мика. Спустя полчаса в разговоре один на один Мика рассказал Вячеславу про свою двухминутную аудиенцию у прокурора (аудиенцию, которой пришлось добиваться в течение трех недель). Антисоветская настроенность, антисоветская пропаганда, пассивное пособничество и прикрывательство – все это тучей собралось над головой Нины – статья 58, параграфы 10, 11 и 12-й.

– Ты бы посмотрел да послушал, что там делается, – говорил Мика. – Передачу принимают от ограниченного числа лиц, а стоят несметные толпы. Приходится приходить к пяти утра, чтоб быть в числе первой сотни. Построиться очередью у тюремных ворот не всегда удается – милиция разгоняет. Ну, прячемся тогда по соседним воротам и подъездам, а как двери откроются, мчимся сломя голову! Тут уж ноги выручают. Но если тебе и посчастливилось занять одно из первых мест, ты все-таки не гарантирован, что передачу у тебя примут – высунется вдруг хамская морда и заявит: сегодня, дескать, принимаем только для уголовных! Вот и убирайся ни с чем. Стояла раз со мной рядом дама – баронесса Остен-Сакен у нее засадили и мужа и сына; мужа за то, что с английским королем играл в карты, когда в качестве флигель-адъютанта сопровождал Николая в Лондон; сына за что – не знаю; сына расстреляли, а старый барон, узнав об этом, в тюрьме повесился! Рывкнули они ей это из своего окошечка... Упала; я подымал.

– А то пристала раз ко мне там – в очереди – крохотная старушка, деревенская – с котомкой, в

валенках; просила указать ей прокуратуру, да пока я переводил ее через улицу, объясняла, что хлопчет за сына. Выразилась она совершенно необыкновенным образом: «Вот сколько у нас по колхозу наборов в тюрьмы было, а мы с Миколкой все держались, а теперешним набором прихватили и моего Миколку», – вот тебе голос народа! «Набор в тюрьмы» – слышал ты что-нибудь подобное?

Вячеслав встряхнул своими всегда всклокоченными волосами, словно конь гривой, очевидно, для освежения своих умственных способностей, и сказал:

– Мика, ты не преувеличиваешь? Не пугаешь?

– Я, что ли, баба-сплетница? Позволь заметить, что мне в настоящее время не до шуток.

– Извини: сорвалось с языка... – Вячеслав сжал себе виски обеими руками. – Откуда такое искривление генеральной линии партии?

– Такие, милый мой, искривления у Николая не водились! Дзержинский ли, Менжинский ли, Ягода ли, Медведь ли – все одно и то же искривление. Воображаю, какие еще впереди!

– Тебе легко возмущаться, Мика! Эта власть тебе чужая. Твои деды и прадеды – помещики, сестра – титулованная. А для меня это все свое, кровное! Я в шестнадцать лет взял винтовку: бои, окопы, бессонные ночи, ранения – я через все прошел! Не жаль было ни сил, ни здоровья, ни времени... Верил, что строим счастливую жизнь, что навсегда покончим с произволом, неравенством, нищетой. Мне мерещились ясли, заводы, родильные дома, мирное строительство, сытые дети, и вот теперь – эти опустевшие деревни, ропот, разделение... и этот террор...

– Да – террор! Теперь, через пятнадцать лет после революции, когда нет ни войны, ни сопротивления...

– Врешь, сопротивление есть! Пассивное, но упорное и злое, которое ползет из каждой щели. Взгляни на себя, на Олега Андреевича – разве вы нам друзья? Разве вы нам поможете? Злорадство и ненависть прут у вас из всех пор! Вы радуетесь каждой нашей неудаче!

– Не смешивай меня и Олега, друже! Дашковы – военная аристократия, а наша семья глубоко штатская, либеральная. Отец отказался в свое время от сана камергера; дед организовал в имени бесплатную больницу и школу. Я не цепляюсь за прошлое, как Олег, – я четырнадцатого года рождения и не помню прежнюю жизнь. Я всегда был глубоко равнодушен к тому, что пропали поместье и земли. Собственность я ненавижу! Сословных предрассудков во мне вовсе нет. Я тоже ищу новой жизни, новых форм. С вами идти мне помешала только ваша нетерпимость и узость, ваша мстительность и коварство! Был момент – я так искал знамени, которому бы мог служить! Вот вы и показали мне ваш террор, еще не превзойденный в истории. Сами выковали из меня врага, понял? Еще пожалеете, когда доведется сводить счета, – самоуверенно закончил юноша и, увидев нахмурившееся лицо товарища, прибавил более миролюбиво: – Кстати, просьба к тебе.

– Валяй, говори! Для Нины Александровны готов очередь выстоять.

– Нет, я не о себе. Асе Дашковой помочь надо: комнату у нее отбирают. Бабушка и французенка, видишь ли, высланы, муж сидит – значит, отдавай лишнюю площадь. Просила мебель передвинуть.

Вячеслав нахмурился:

– В этот дом я не хожу, да уж ради Олега Андреевича куда ни шло! – и он взялся за шапку.

– Идем, значит, а Олегу-то оттуда головы не вынести!

На эту реплику Вячеслав ответил молчанием. «Занесла же меня нелегкая в их среду! – думал он, угрюмо шагая с Микой. – Жил бы в рабочем общежитии с ребятами – все было бы ясно и просто; радовался бы достижениям и трудовым вахтам, бодро смотрел вперед, и не было бы этих сомнений и неприятностей. Может, и семьей бы уже обзавелся! Бросить мне, что ли, здесь все да махнуть куда-нибудь на стройку? На север или в Комсомольск? Там, где потрудней, где людей не хватает, там я на месте буду, а здесь все не ладится у меня и тоска прикинулась». Он вспомнил Лелю и свою отвергнутую любовь и стиснул челюсти. «Она права, что отказала, мы с ней не пара. Давно пора забыть. Мало, что ли, кругом девушек, своих в доску, не

белоручек, без фасона, без зазнайства, а взять за себя такую, как Нелидова – неприятностей и огорчений не оберешься. Заноситься да снисходить будет. От собственной жены презрение сносить – дело самое последнее!»

А на улице громкоговоритель распевал во весь голос слова ходовой песни:

Но когда в кружок ты вышла  
И глазами повела,  
Я подумал: это вишня  
Между елок расцвела.

«Только бы мне не встретиться с ней сейчас, а ну как она там – у Дашковой?»

Однако молодые люди напрасно прождали сначала на лестнице, а потом у подъезда. Аси не было.

Только на следующий день, когда Мика, на этот раз один, забежал на разведку прямо с завода, он узнал о новом несчастье у Аси.

Часов в девять вечера он постучал к Вячеславу:

– Можешь сейчас пройти со мной передвинуть мебель у Дашковой? Я договорился – она дома; вчера недоразумение вышло не по ее вине – несчастье опять у них.

– А что такое? – равнодушно спросил Вячеслав, беря шапку.

– Кузина ее арестована, Нелидова Леля.

– Что? Нелидова?! – Шапка выпала из рук Вячеслава. – Говори, что знаешь по этому делу?

– Ничего еще не знаю. Вот придем – расспрошу.

– Экий нерасторопный! Пошли. Опять зашагали в том же направлении.

– Слышал ты когда-нибудь про дело Ветровой? – спросил Мика.

– Нет. Что за дело такое?

– Это было еще в царское время. Один из старых друзей нашей семьи при мне Нине рассказывал. Студентка одна, политическая, Ветрова, изнасилована была тюремным сторожем. Оказалась Лукрецией: взяла керосиновую коптилку и зажгла на себе одежду. Сгорела заживо! Скандал вышел. Каким образом стало известно – не знаю, а только весь университет загудел как пчелиный улей. Демонстрация: панихида на площади перед Казанским собором, море молодежи, пламенные речи... Ну, полиция, конечно, тут как тут! – загнали в манеж, посажали многих. Допрашивали, однако, очень мягко и приговоры были самые мягкие: правительство было, по-видимому, смущено. Тот, который рассказывал, получил полгода ссылки и после тотчас же восстановился в университете. Дело, однако, не в этом. Я думаю сейчас вот о чем: случись такое теперь – а конечно, и случается – протеста в обществе ведь не будет! О пытках ведь знают – и не протестуют! Страх сковал! Гепеу не полиция – поймают одного студента, а изведут целую семью и десяток товарищей нипочем на тот свет отправят. Вот и не протестуют! Общество выродилось. У тебя мозги вывихнуты партучебой, а все-таки пойми: безмолвие в университете и на заводах свидетельствует против вас.

Вячеслав вдруг повернулся к нему с гневно сверкнувшими глазами:

– Молчи! Таких дел, как насилие в наших тюрьмах, не бывает!

– Ой ли! А пыток тоже не бывает? А «морилки» нет?

– Молчи и о пытках!

– Да чего злишься-то! Или стыдно за свой социалистический режим? Не надо было лезть в партию! Ты забыть не можешь, что девяносто лет назад твоего прадеда помещик в карты проиграл, а у меня вот родной отец убит вашими коммунистами, которые пришли отнимать имение. Мне тогда года четыре было, но я помню, как он упал. Я до сих пор иногда вижу это во сне и просыпаюсь в холодном поту. Теперь заточили как преступницу мою сестру, а меня не принимают в университет. Мои обиды свежее твоих, а ты еще удивляешься нашей ненависти!

Вячеслав остановился:

– Мика, я не хочу ссориться с тобой теперь! Замолчи, прошу тебя!

Он узнал подробности: Ася при нем рассказывала Мике о неоднократных вызовах и вымогательствах следователя, умолчав из чувства такта о Гене. Мика вызвался помочь с похоронами Зинаиды Глебовны, обещал привести друзей, которые безвозмездно отпоют заупокойную и на руках перенесут гроб. Вячеслав в свою очередь смущенно пробормотал:

- Я тоже мог бы пригодиться! Вам одной не справиться со всеми хлопотами и очередями. Давайте я соберу и отнесу передачу Елене Львовне и к прокурору пробьюсь. Идет?

- Спасибо, - подавленным шепотом отозвалась Ася.

Но после, на лестнице, Мика ему сказал:

- Прежде всего надо ее найти, а для этого тоже выстоять очереди в тюремных справочных бюро. Я тебе дам адреса тюрем; но ты не надейся, что прокурор тебе ответит - не станет даже разговаривать: заявит, что имеет дело только с ближайшими родственниками, как мне по поводу Олега.

- А я его заставлю ответить! Пусть попробует отвертеться! Мне не так легко зажать рот, а если скажет, что я чужой, я ему заявлю, что я фактический муж - коротко и ясно!

Мика бросил на Вячеслава несколько озадаченный взгляд, но не решился продолжать разговор на такую деликатную тему. Пошли молча.

«Кукушечка! Деревцо вишневое! Попалась, бедная! Олег хороший человек - понятно, что выдать не захотела! Сама-то она вся пугливая, слабенькая, нежная, а вот устояла ведь, дала отпор! Стало быть, есть у нее внутренняя сила, и товарищ она, видать, хороший... Экие подлости в огепеу делаются: схватили девушку - полуробенка, да как с ножом к горлу: выдай или засажу! Запугивают, тянут показания... Да это святейшей инквизиции впору! Известно ли там - наверху? Набрали в штаты всякой дряни и дали волю! Надо сигнализировать! Эту историю нельзя оставлять! Все эти Дашковы, Бологовские, Огаревы трусят, их в самом деле происхождение сковывает; ну, а я - свой, я всю революцию провоял, я у станка семь лет, меня-то выслушают! Следователь Ефимов... Уж будет он стоять перед революционным трибуналом! Надо не только в Москву писать - надо привлечь райком и заручиться поддержкой председателя; до самого Сталина дойду, а кукушечку вызволю!»

Она теперь одна, замученная, жалкая! Антипатичных ему дам около нее уже нет, одна только эта молодая, кроткая Дашкова. Если он выручит свою кукушечку, она отогреется на его груди. Никто не встанет уже между ними! Он вообразил, как приходит за ней, и вот ее выводят из тюремных ворот: она с узелком, в платочке и сером ватнике, бледная худая... Увидев его, она бросается на шею своему спасителю. Обнять ее, прижать к груди, погладить эти шелковистые кудри... даже голова у него закружилась! Отчего женское лицо приобретает иногда такую власть, причем от этого не застрахован даже человек сдержанный, серьезный, преданный идее... В этой девушке не было ничего, что он привык ценить, оставаясь объективным, - что же приковало к ней его сердце? Тоска подымалась со дна его души. С тоской он бы сладил, не стал бы няньчиться с собственной душой, но подкрадывавшееся разочарование в деле, которому он отдал все молодые силы, подтачивало, вносило дезорганизацию в его внутреннюю жизнь. Бездна и усталость в интонации Аси, ее рука, уроненная на голову малыша, цеплявшегося за ее платье, врезались в его память. Под спокойствием, привитым строгостью воспитания, угадывалось отчаяние этой молодой женщины.

«Да неужели действительно вышлют и ее и ребенка? Разве так слаба Советская власть, что женщины уже опасны стали? С женщинами воюем! Лагеря для женщин! Олег Андреевич прав: императоры не трогали жен декабристов и семьи народников... Уж не чувствовали они себя уверенней на своем посту, чем мы, большевики, на своем? Или в самом деле были великодушнее и добрее? Эх, неладно что-то у нас в аппарате!»

Бездеятельность и пассивная скорбь не были свойственны его натуре.

«Завтра же пойду сначала к прокурору, а потом в райком! - говорил он себе. - Следователь Ефимов... Посмотрим, кто кого!»

## Глава седьмая

На тюремных окнах ворковали голуби; воркование это иногда напоминало жалобный стон и усиливало тоску. Было так тихо, что слышно, как надзирательница, завтракая у окна, разбивала крутое яйцо. Иногда, становясь ногами на унитаз, Леля дотягивалась головой до окна и видела кусочек неба. В шесть утра надзирательница, проходя, стучала ей в дверь и говорила: «Подъем», надо было в ту же минуту вскакивать и стелить койку, которую уже не позволялось откидывать в течение дня; потом надзирательница говорила: «Хлеб и сахар», а еще через несколько минут: «Кипяток». Все это ставилось на доску перед окошечком. В середине дня полагался обед – щи из хряпы и каша; вечером – опять кипяток с хлебом.

На цементном полу была протоптана дорожка сотнями узников, которые бороздили его, шагая из угла в угол; и она ходила, как они. Надзирательница изводила, постоянно заглядывая в «глазок»; то и дело слышался ее хриловатый оклик: «Не закрывать головы полотенцем!» или: «Вы что там руку себе ковыряете? Смотрите у меня!» или: «Почему не едите? Есть надо: я за вас отвечаю!» Позволялось получать книги из тюремной библиотеки, но тоска, страх и отчаяние, душившие ее, не давали ей возможности углубиться в читаемое. Допросы – вот была ее мука! Чего еще хотел от нее следователь? Она была уже уличена, Олег – обвинен полностью, Нина – давно призналась, что покрывала Олега, и, по-видимому, под пыткой подписалась, что вела и поощряла их контрреволюционные разговоры; Леля сама видела подписанное Ниной показание. Казалось бы, не оставалось уже ничего, что можно было еще выудить, а допросы все-таки продолжались! Нервы были мучительно напряжены: вот-вот войдет конвой, чтобы вести ее в кабинет № 13; она не была застрахована от этого даже ночью. Очень часто следователь вызывал ее именно в ночные или вечерние часы, запугивая ее воображение. Она уже хорошо знала те нескончаемые коридоры, по которым ее вели и где гудели грубые выкрики и отборные ругательства, доносившиеся из кабинетов, мимо которых ее проводили, – в эти часы там допрашивали заключенных, а с ними церемонились еще меньше, чем с вызываемыми по повесткам. Далее начиналось обычное: «Садитесь. Ну, что – вспомнили что-нибудь?» – а вслед за тем угрозы и издевки. Он любил выражение «рассказывайся до пупа», которое казалось особенно оскорбительным Леле. Допрос затягивался иногда до утра; следователь как будто забывал, что человек испытывает естественную необходимость остаться одному хоть на несколько минут. Это было утонченной пыткой, имевшей, по-видимому, целью поиздеваться над ее стыдливостью и воспитанием. Как бы ни было, она всякий раз держала себя в должных границах, преодолевая свои мучения.

Потребность во сне была второй пыткой: была неделя, когда он вызывал ее каждую ночь, а между тем в течение дня раскрывать койку строго-настрого запрещалось; старая ведьма была тут как тут: «Захлопните койку! Никаких возражений! Порядок один для всех!» Чтобы обмануть ее бдительность и хоть немного забыться дремотой, Леля брала книгу и, делая вид, что читает, дремала, облокотясь на руку. Но стоило ей выпустить из рук книгу или уронить на грудь голову, раздавался окрик: «Не спать! Днем спать запрещается!» Пытка бессонницей! Кажется, она применялась к Каракозову? Но ведь Каракозов стрелял в Императора, а что же сделала она? Молилась ли за нее Ася в уголке за буфетом или шкафом, как в детстве? Где Ася? Жива ли мама? Сюда не доходит ни зова, ни отклика!

Один допрос был особенно мучителен: в этот раз ее допрашивали двое – следователь и его помощник; сесть не позволили, и она выстояла пятнадцать часов на одном месте, в то время как мужчины несколько раз сменяли друг друга и, по-видимому, даже успевали вздремнуть в одном из пустых кабинетов. Было часов шесть утра, в окнах начинался рассвет, когда они сошлись опять вдвоем и, приблизившись к ней оба с угрожающим видом, заложив руки в карманы кожаных курток, стали плевать ей в лицо, произнося неприличные ругательства; по-видимому, целью ставилось добить ее морально, потом один из кожаных рукавов взял телефонную трубку.

– Доставить немедленно в кабинет номер тринадцать... – и она услышала фамилию слишком

хорошо знакомую! Она замерла, глядя на дверь. Опять встретились их глаза в пристальном и быстром взгляде... Он осунулся за это время, и еще заострились красивые черты; Леля заметила серебрянные нити в пряди его волос – той, которая падала на шрам от раны.

«Здесь нет зеркала, и я не вижу себя; наверное, поседела и я!» – подумала она.

– Ну, вы друг друга очень хорошо знаете! Не правда ли? – спросил следователь.

– Мне очень прискорбно видеть вас здесь, Елена Львовна, – сказал Олег, вполне владея своей интонацией. – Я все время повторяю, что подлинная моя фамилия была вам неизвестна; к несчастью, мне не верят. Дело все в том, что я не Казаринов...

Но Леля замахала руками.

– Не надо, Олег, не надо! Я давно создалась... Спасибо. Не надо. Не вредите себе.

– Убедился, мерзавец? – вмешался следователь.

Но Олег пропустил эту реплику мимо ушей.

– Меня пытаются уверить, – спокойно продолжал он, – будто бы вы, Елена Львовна, показали, что я состоял в контрреволюционной организации и открыто признавался в этом вам и Наталье Павловне. Разве вы утверждали это?

– Нет! нет! Я все время повторяла, что этого быть не могло и что я никогда не слышала об этом! – поспешно воскликнула Леля.

– Я был уверен, что это провокация, – все с той же интонацией продолжал Олег. – Но если и впредь у вас будут вынуждать какие-либо показания против меня – соглашайтесь со всеми: теперь мне уже все равно, а ваша участь... – Он не договорил: следователь сделал движение, готовясь ударить его по лицу, и Олег моментально с необыкновенной ловкостью перехватил его руку, а другой схватил табурет. – Не позволю! Допрашивайте, сколько хотите, а бить не смейте! Не позволю!

Два револьвера мгновенно оставили на него свои дула.

– Не испугаете! – усмехнулся Олег. – Я все ваши штучки знаю! Я, может быть, и хотел бы, чтоб вы меня застрелили, да не посмеете!

Леля в ужасе закрыла лицо рукавами серого тюремного халата.

«Выстрелят! Сейчас выстрелят!» – думала она вся дрожа.

– Конвой! – железным голосом проговорил в телефонную трубку следователь и прибавил, наверно, обращаясь опять к Олегу: – В «шанхай» и в карцер опять захотел?

Послышались тяжелые шаги конвоя, который был, по-видимому, наготове, поблизости.

– В карцер его! Хлеб и вода; синий свет; койку не откидывать вовсе! – отчеканил ледяной голос.

Леля открыла лицо, провожая глазами Олега.

– А ну-ка пойдем со мной! – зашипел следователь почти над ухом Лели. Обычно ее уводил обратно в камеру конвой, но в этот раз он не вызывал конвоя – они повели ее сами.

«Только бы не изнасиловали! только бы не «шанхай!» – думала она и следовала за ними, исподлобья с детским страхом взглядывая на них и то и дело нагибаясь, чтобы подтянуть большие, грубые, белесые чулки, – а они опять спускались, ведь чулочный пояс был отобран.

Камера внизу, в подвале: полутьма, стол, два стула, настольная лампа, коммутатор. Она еще не бывала здесь. Следователь, крикнул кому-то: «Пожалуйста!» И вошел человек – широкоплечий, с тупым, свирепым лицом; следователь сказал ему: «Вот всыпьте сколько потребуется», – взял газету и сел; человек схватил длинный хлыст и опустил его в воду... Леля с ужасом следила за ним глазами... Он размахнулся и изо всех сил хлестнул ее по худеньким плечикам и нежной груди! Кричать? Да ведь никто не придет на крик – он никого не удивит и не испугает!

Только когда Леля лежала уже на полу, следователь наконец сказал:

– Ну, как будто бы и довольно! – и махнул рукой страшному человеку, чтобы тот вышел, а сам зажег настольную лампу. – Вот обвинительный акт; здесь зафиксированы собственные твои признания в том, что ты покрывала классового врага. Даю четверть часа на ознакомление, и чтобы все было подписано, или я сгною тебя в лагере. К столу! Быстро!

Изнемогая от страха, боли и усталости, Леля послушно подписала. Шатаясь и держась за стены, она приплелась обратно в камеру и легла на свою койку, но окрик надзирательницы

тотчас же вывел ее из забытья. Она не шевельнулась и только, зябко передернув плечами, поправила на себе пальто, которым закрывалась, как будто желая спрятаться. Женщина окликнула второй раз, после чего вбежала в камеру:

- Встанешь ли ты, наконец?

Леля повела на нее глазами, под которыми лежали черные тени, и не шевельнулась.

- Ну, что ж ты, оглохла, что ли? - крикнула та.

- Не могу, не встану.

- Как не встанешь? Не финтить тут! За неповиновение - карцер! Послушайся лучше добром.

- Нет, все равно не встану... Не могу! - и Леля опять уронила голову. Начинался озноб; зубы стучали, ухо ныло - от ударов или от простуды, она сама не знала. Надзирательница постояла над ней и вышла. Часа через два дверь открылась, и Леля увидела незнакомую женщину в белом халате. У нее было необыкновенно длинное лицо и тяжелая нижняя челюсть, во всем облике ее было что-то лошадиное. Леля не знала, что женщина эта, исполнявшая обязанности врача, уже давно получила между заключенными кличку «Лошадь».

- На что вы жалуетесь? - спросила Лошадь.

Леля села на койке.

- Избита. Грудь и плечи. Ухо тоже болит.

- Покажите. - Голос звучал официально: ни удивления, ни сострадания. Дело, по-видимому, было привычное. Леля обнажила лилово-синие подтеки.

- Свинцовые примочки и «solux», - сказала Лошадь, поворачиваясь к двери.

- У меня нет сил встать, - промолвила Леля.

- Больным разрешается лежать, - сказала, уходя, Лошадь.

«Solux» и свинцовые примочки остались пустым звуком; надзирательница, однако, не тревожила.

К вечеру боль в ухе и виске стала невыносима; не находя себе места, Леля то садилась, то ложилась и наконец стала стонать. Надзирательница - другая, ночная - заглянула в «глазок».

- Чего это ты? Шум производить запрещается! Тихо сиди.

- Не могу. Ухо болит. Терпения больше нет. Вызовите еще раз врача. Плохо мне, - бормотала, мотая головой, Леля.

- Врач будет только утром, а пока, хошь не хошь, терпи. Горячей воды могу дать, грелку сделай.

Но намоченный платок тотчас остывал, и Леля попросила бутылку.

- Это уж ты оставь. Бутылку ты, может, разобьешь да стекла есть станешь, а я отвечай, - было ответом.

Только в середине следующего дня пришла вызванная Лошадь. Вырываясь из забытья, Леля с трудом повернула голову и не отвечала на вопросы.

- Перестарались - без больницы не обойтись, - услышала она слова Лошади, обращенные к надзирательнице.

А потом наступило беспмятство.

Приходя на короткое время в себя и оглядывая серые стены палаты и белые халаты персонала, Леля несколько раздумала: «Больница... может быть, это наша - имени Гааза? Если увижу кого-нибудь из знакомых сестер, попрошу, чтобы узнали, жива ли мамочка. В такой просьбе не откажут... шепнут незаметно. Все-таки люди - не звери».

Скоро, однако, выяснилось, что она лежит в Крестах, и рядом нет никого, кто бы исполнил эту просьбу. У нее оказался мастоидит, и она проболела около месяца. Еще недавно болеть было в своем роде удовольствием: мама всегда рядом, кружится у кровати Стригунчика, как птица над гнездом, приносит в постель «чаек» и «бульончик»; Ася забегают каждый день навещать, верещит, сидя на краю постели; всеобщее внимание и нежность еще усиливаются - само желание окружающих побаловать уже создает особо нежную, сердечную атмосферу. Букетик анемонов от Аси, коробочка мармеладу от Натальи Павловны, сладкая булочка, купленная мамой на последний рубль, - уже огромная радость при их скудных недостатках.

Все это получило в ее глазах огромную цену теперь, когда уже навсегда ушло! Здесь – равнодушные лица, холодное молчание, быстрые подозрительные взгляды и сковывающий страх перед самым ближайшим будущим. Лежи и молчи, когда ухо и голову сверлит мучительная боль. Нельзя лишний раз подозвать, окликнуть; если и жалеют, все равно не обнаружат жалости – боятся, дали подписку; она ведь хорошо все это знает.

Едва лишь упала температура, как тотчас ее перебросили обратно в камеру. Опять одиночка, не та, но такая же: так же принесли ей хлеб и кипяток, так же швырнули тряпку для уборки, днем те же щи и каша... На второй день забряцал засов; звук этот вызвал жуткие ассоциации; отпрянув к стене, она впиалась глазами в ничего не выражающее лицо конвойного. Ее повели, но при этом повернули в другой конец коридора, и переходы пошли сразу же незнакомые. Через несколько минут, стоя между двумя конвойными, в незнакомой комнате, она услышала:

– Согласно постановлению тройки огепеу... – и потом пошли какие-то номера и параграфы, и все время мелькали слова «контрреволюция» и «враг народа». Что бы это могло быть? Приговор? Но ведь суда еще не было! И вдруг она услышала слово «приговаривается». В ней все дрогнуло и мучительно насторожилось. Между этим словом и следующим прошло не более полсекунды, но в голове успели промелькнуть мысли одна тревожней другой: «Только бы ссылка с мамой и Асей! Господи, помоги! Сделай, чтобы не лагерь!»

И вдруг она услышала слово, которое было четко и злобно отчеканено, буквы «р» особенно раскатистые, как будто выговаривание этого слова доставляло особенное удовольствие тому, кто читал: «К высшей мере наказания через расстрел».

– Расстрел?! Как?! Расстрелять меня? Меня расстрелять? Да ведь я ничего не сделала! Я... Я... – она задыхнулась. Оказалось почему-то, что она уже сидит, и конвойный держит около ее губ кружку с водой.

– Выпейте, гражданка.

– Расстрелять меня? Но ведь я...

Тут подошел «он», и расширенные зрачки кобры, которые преследовали ее в недавнем бреду, взглянули на нее. Она моментально затихла и сжалась. Сейчас он скажет: «Ведите ее на расстрел немедленно». Но он сказал совсем другое:

– Вы имеете право в течение ближайших нескольких дней подать в Москву просьбу о помиловании, и расстрел, возможно, будет заменен концлагерем.

Леля не сразу поняла, он повторил и прибавил:

– Будете подавать или не будете?

– Да, да, конечно, буду! Непременно! А меня не расстреляют тем временем?

– Приговор приводится в исполнение через определенный срок, в течение которого тот или иной ответ обязательно будет получен, – опять отчеканил он и отошел, скрипя сапогами.

Дрожащей рукой подписала Леля бумагу, которая, по ее мнению, составлена была далеко не убедительно. Она непременно хотела, чтобы были помещены разъяснения, такие как: «Мне только 22 года, и я очень хочу жить», и еще: «Я никогда ничего плохого не делала». Но составляющий бумагу юрист категорически их забраковал. Прошение получилось слишком официальное и сухое, по мнению Лели, но она не посмела настаивать, замирая от опасения, что они скомкают бумагу и скажут: «Если вы будете капризничать, мы вовсе не пошлем прошение».

Страшно возбужденная, с сухими глазами, закусив губы, металась она весь день по своей камере: «А вдруг меня расстреляют, прежде чем ответ получится? А вдруг откажут в помиловании? Что будет с мамой, если она узнает?! Олег... если меня, то уж его-то тем более... Ася! Славчик! Как же они? Сегодня маму и Асю, наверно, выселяют как ближайших родственников тех, кто к высшей! Куда же они поедут?»

Едва лишь дали отбой, она забралась на койку, и тут ею внезапно завладел новый строй мыслей.

«Смерть... она совсем близко... Почем знать – может быть, в эту же ночь. Есть ли что-нибудь по ту сторону жизни или ничего нет? Лицом к лицу перед неизвестностью! Меня учили верить, и

я верила, но почему я так мало думала о будущей жизни? Иисус Христос учил всех любить, в Евангелии столько чудесных слов об этом; в церкви читают и поют о подвигах духа, о молитве, о вере, о Причастии... а я словно мимо проходила! Ведь знала же, что умру когда-нибудь... Я никому не делала зла, но и добра почти никому. Я всегда думала в первую очередь о себе. Мама, папа, бабушка и дедушка, прислуга, а позднее и Ася, и мадам, и Сергей Петрович – все существовали, казалось, для того только, чтобы мне веселее и легче было жить! С мамой я постоянно была дерзка. Правда, всю до копейки зарплату отдавала в ее распоряжение, всегда спрашивала позволения уйти в гости или в театр, но при всем том все-таки я маму третировала; если даже я маму целовала – точно одолжение делала! Почему же, однако, никто – ни один человек не сказал мне ни разу: ты мало любишь людей, даже родных тебе, ты не следуешь заветам Христа! А между тем сколько тысяч раз мне повторяли наставления, как владеть ножом и вилкой! Меня задаривали игрушками в дни Рождества и Пасхи и приглашали ко мне детей, разодетых, как куклы, но никто ни разу мне не шепнул: "Сбереги святость этого дня!" А потом, когда жизнь переменялась и пришли испытания, меня все жалели, но тут никто не напоминал о любви и терпении, о кротости. А с другой стороны, кто жил лучше меня? Из всех нас по-настоящему добры только мама и Ася. А впрочем... как увязать с христианской любовью мамино «ди простой» и ту пренебрежительную гримаску, с которой она отзывается о каждом, кто не насчитывает за собой хотя бы четырех поколений? Чего же мы себе приготовили, какой ответ дадим? Приблизиться к ангелам и святым я недостойна... Кого же я увижу, когда меня пробьет пуля? Темноту? Жутких, разлагающихся, уродливых существ, которые окружают и будут мучить? Геенну огненную? Тогда уж лучше совсем ничего! Страшно, страшно!»

Она лежала лицом к стене, схватившись за виски обеими руками, и ужас заполнял без остатка все ее существо.

«Я, кажется, даже молитвы забыла! Только "Отче наш" и "Верую" помню, – и уже хотела прочесть их, как услышала бряцание затвора. – За мной», – и села, чувствуя, что холодный пот выступает у нее на лбу.

– Собирай вещи и выходи, – услышала она оклик конвойного и дежурной надзирательницы. Она вскочила.

– Нет, нет! Я не пойду. У меня послана просьба о помиловании. Следовательно мне сам обещал, что меня не расстреляют, пока не придет ответ. Не пойду. Нет, нет!

– Экая бестолковая! Сказано ведь – с вещами выходить, а нешто на расстрел с вещами ведут? На том свете не нужно твое барахло. В другую камеру тебя переводят, только всего и есть, – усмехнулся конвойный.

Леля вздохнула несколько свободней.

– В другую камеру? Правда? Вы, может быть, нарочно говорите?

– Станем мы еще выдумывать! – сказала надзирательница. – После приговора в одиночках не держат, таков уж порядок. В общую пойдешь, к смертникам.

– Что?! К смертникам? Не пойду. Нет, нет! Оттуда не возвращаются! Бумага о помиловании придет сюда, и если меня не будет...

– Чего городишь? Пойдешь, коли велят. Сейчас собирай тряпки. Не затеряется твоя бумага.

Леля в отчаянии уцепилась за койку, но грубая рука схватила ее за плечи.

– Слушаться! Некогда нам тут с тобой хороводиться! Ну! – В голосе уже послышалась угрожающая нота.

– Вся дрожа и всхлипывая, она стала собираться: накинула пальто, повязалась шарфом и вышла в темный, холодный коридор.

– Господи! Помогите, защитите! Простите, что я так дерзка была тогда... в храме! Простите мне всю мою жизнь, – шептали дрожащие губы. – Хоть бы увидеть Олега или Нину Александровну: я возьму их за руки... не так страшно, как совсем одной. Пожалейте и не осудите меня, Господи!

Она уже покорилась и затихла, только изредка судорожно вздрагивала. Долго шли холодными, темными коридорами; в одном из них наконец остановились; опять забряцал затвор – камера

смертников... Обреченные, такие же, как она!

## Глава восьмая

*Не живой он пел, а умирающий,  
Оттого он пел в предсмертный час,  
Что пред смертью - вечной, примиряющей -  
Видел правду в первый раз!  
К.Бальмонт*

Олег отказался подписать обвинительный акт, несмотря на щедро применяемые «методы воздействия», и это усугубило тяжесть обвинения. После того как приговор о расстреле был зачитан, его перевели в камеру смертников. Подать просьбу о помиловании он не захотел, не надеясь на успех и считая это напрасным унижением; притом смертный приговор мог быть заменен в лучшем случае пятнадцатью годами лагеря, а это казалось ему страшнее расстрела. Смертники имели одну льготу: им не возбранялось лежать с утра до вечера на откинутой койке; для того, кто был измучен допросами и карцерным режимом, это было наслаждением - последним, которое еще оставалось в ожидании развязки. Увидев откиннутые койки и угрюмые фигуры, распростертые на них, Олег тотчас откинул свою и тоже улегся.

Выкрашенная серой масляной краской стена около его койки была испещрена надписями, сделанными карандашом; он прочел некоторые: «Долой Сталина!», «Умираю ни в чем неповинным», «Оставь надежду навсегда, сюда вошедший!» Последняя фраза уже давно занимала его воображение и теперь прозвучала, как тема рока - стук судьбы - в симфонии Бетховена.

«То неизбежное, что я всегда ждал, приблизилось. Ася сумела однажды отодвинуть своей любовью этот тяготевший надо мной рок, но не в ее власти было вовсе отстранить его. О, моя Ася! Ты хотела меня осчастливить, согреть, утешить! Ради меня ты не побоялась «безнадежного пути». Зачем ты это сделала! Мне во сто раз легче было умереть тогда - я был одинок и несчастлив и за мной не тянулись другие жизни... а теперь! Зачем ты это сделала! Ведь я предупреждал тебя, что я обречен. Ты была со мной счастлива. Да, моя бедная, дорогая, любимая, я знаю: ты была счастлива! Твой смех, твою улыбку, твой щебет - память о них я унесу с собой в могилу! Но ведь за эти три неполных года ты заплатишься целой жизнью: ты будешь биться с двумя моими детьми в глухом, далеком углу, в ссылке, отмеченная, как проклятьем, знаменитой княжеской фамилией и белогвардейским прошлым мужа! Это пойдет и за моими детьми! Славчик! Эти ручки в перетяжках, эти карие глазки, такие наивные, светлые! Маленький наследник древнего имени! У него не будет ни уютной кровати, ни игрушек, ни книг, ни белой булки, ни яблока, ни талантливых педагогов! В деревне, в избе, на лежанке... Хорошо, если среди русских, а то так загонят к киргизам или якутам... узкоглазые, грязные, твердолобые, тупоголовые уроды, которых я ненавижу! Культура нашей семьи шла до меня по восходящей линии, теперь она резко упадет вниз. Я радовался, что у Натальи Павловны сохранились библиотека и рояль, и что ребенок сможет приобщиться к культуре прошлого - с конфискацией и ссылкой все пойдет прахом! Сознание Славчика будет формироваться в омерзительной сельской семилетке, где ему на каждом уроке будут внушать на якутском языке, что отец его - враг народа и мерзавец... Он возненавидит мою память и свое имя и не захочет прийти даже ко мне на могилу... а впрочем, я забыл - ведь у меня не будет могилы!»

Мысли его были прерваны бряцанием затвора; принесли нарезанный порциями хлеб и кипяток в чайнике, который поставили на стол посередине камеры. Сумрачные фигуры зашевелились, разбирая и наполняя металлические кружки при тусклом свете маленькой лампы под потолком.

- Ну, сегодня уж я в последний раз чайком греюсь; сегодня в ночь уж непременно придут за

мною. Я уж всех тут пересидел. И тебя, паря, поди, прихватят, засиделся и ты, – сказал молодой вихрастый уголовник, обращаясь к товарищу – самому юному в камере.

– Отстань, – огрызнулся тот, передергиваясь. Олегу бросился в глаза его пришибленный вид. Но вихрастый парень не захотел отстать:

– А ты повеселей немножко: нюни-то не разводи. Бога, что ли боишься? Небось не засудит, оттого что ничего-то там, по ту сторону, нет – пар вон, и вся недолга.

– Попридержи язык, не всем твои шутки по сердцу! Лучше бы молитву прочел, чем глумиться тут, – прикрикнул кто-то басом из угла.

– А что мне молитва? С такой катушкой, как у меня, к чертям разве, и там, почитай, не примут, – засмеялся принужденным смехом приговоренный.

«Бандит, наверно», – подумал Олег.

– Молчи, говорю, – повторил тот же бас, и снова стало тихо.

– Не видать и не видать нашей Матушки Узорешительницы: стало, Господь наложил запрет ей прийти в нашу камеру, заказал путь! Ох, ох-ох, грехи наши тяжкие! Не придтись ей, никак не придтись! – заохал вдруг маленький старичишко, ставя на стол кружку.

– Кого вы ждете? Разве дают свидания осужденным на высшую? – спросил, настораживаясь Олег.

– Каки таки свидания? С ней, со Смертью-матушкой разве что свидание нам заготовлено! – опять заохал старик.

– Так кого же вы ждете в таком случае? – опять спросил Олег.

– Вас только что перевели сюда, а мы все его рассказы уже наизусть знаем, – заговорил человек интеллигентного вида, еще молодой, но с профессорской бородкой, – он святую Анастасию Узорешительницу, видите ли, поджидает, но высокая гостья заставляет себя слишком долго ждать.

– Анастасию Узорешительницу? – переспросил с удивлением Олег.

– Да, ни больше, ни меньше! Рассказывает длинную историю, как эта высокая особа, специальностью которой стало утешение заключенных, забрела раз, оставаясь невидимой конвоем, к таким же смертникам, как мы с вами. Кого-то она ободрила обещанием помилования, а на нескромный вопрос ответила, что этот человек с ней увидится в одном из московских переулков. Когда же сей счастливцев, получивший и в самом деле помилование, пошел вскоре после этого в Москву, и именно в тот переулок, он вошел в маленькую церковь, мимо которой проходил, и увидел икону святой Анастасии, в которой будто бы признал неизвестную женщину, приходившую к нему в камеру. Обслуживавшая церковь монашка, которой он рассказал случившееся, разъяснила ему при этом, что такие случаи уже бывали, и она наблюдала много благодарных клиентов. Как вам нравится такое повествование?

– Я счастлив был бы, если б мог этому поверить, и не вижу здесь ничего, над чем можно было посмеяться! – ответил Олег. – Это все очень трогательно.

– Вы по пятьдесят восьмой, очевидно? – спросил интеллигент, приглядываясь к нему.

– Точно так. Очевидно, и вы?

– И я. Приклеили мне контрреволюцию за то только, что позволил себе несколько неосторожно высказаться по поводу черепов отсталых рас, а именно отметить некоторое различие в их строении с черепами русских. Обвинили в злостном расизме, – и ученый усмехнулся. – А вы?

– Я – гвардейский офицер в прошлом. Гепеу стала известна моя подлинная фамилия.

– Какая же именно? – спросил интеллигент, снимая очки.

Олег назвал себя, и они обменялись рукопожатиями.

– У вас семья? – спросил ученый.

– Жена и ребенок, – и, не желая затягивать разговор, Олег поклонился и ушел на свою койку.

Через несколько минут дали отбой, и установилась тишина; только старичок шептал на коленях молитву.

«Безумием было, скрываясь под чужим именем, иметь семью! – думал Олег. – Ася так

непрактична и неприспособленна, так доверчива... Борьба за существование ей не под силу. Она погибнет и дети... Дети погибнут тоже. А Нина? А Леля - эта девочка, которую следователь выбрал своей жертвой! Неужели и их к расстрелу? Смерть... Дантовский ад и призрак моего детства - Наг, обвивающий мне шею». Он вспомнил картину, которая была создана под впечатлением его фантазии, - княгиня Дашкова рассказывала однажды знакомой ей художнице, каким рисуется ад в воображении ее сынишки, и та изобразила на полотне кудрявого ребенка, который огромными испуганными глазами смотрит на призрака зла - страшные рептилии, кишачие в темной пещере. Головка ребенка была окружена нимбом, который говорил о его незапятнанности.

«Таким я и был тогда, но с тех пор было столько горя и боли, крови и зла. Теперь я могу надеяться только на милосердие; как в той заветной молитве: яко разбойник исповедую... Подлости я за собой никакой не знаю, за тех, кого я люблю, я жизнь отдам, но тех, кто вне моей орбиты, я любить не умею. Ася права: я слишком горд!»

И он вспомнил слова своей жены: «Я хочу, чтобы сердце твое распространилось».

Она тогда расчесывала волосы, и точеное, как у камеи, лицо было окружено их мягкими душистыми волнами... Откуда взяла она эти слова? «Ася! Вот она всех жалела! И меня, и собак, и этого уродливого ребенка, и даже цветы... Она никогда не жаловалась, не упрекала... качество, редкое в женщине! Если она огорчалась, то только "сворачивалась", как мимоза. Было что-то детское в той ласке, с которой она прижималась ко мне: трется, как котенок, о мое плечо и ерошит мне волосы... Один раз, впрочем, она меня упрекнула, да, упрекнула!» При этом воспоминании густой румянец стыда залил его лицо... Это было за два дня до рождения Славчика! Прежде подвижная, тонкая, резвая девочка изнемогала под тяжестью десятифунтового ребенка; жизнерадостность начала ей изменять; она, видимо, истосковалась ожиданием и огромным животом - ни сесть, ни лечь, ни наклониться... В этот вечер, когда они ложились в своей спальне, она прибегла к обычной уловке... О, он хорошо знал эти уловки - ляжет, бывало, и закроет глаза: делает вид, что заснула... Она это часто проделывала, но в этот раз он не пожелал уступить: ему досадным показалось это постоянное желание избежать страстных ласк. Даже странно было, что это - такое юное, и влюбленное, и ласковое - существо оставалось таким бесстрастным! Он насильно повернул ее к себе... Она молчала, но после, когда он опять уложил ее, закрыл, перекрестил и, целуя в лоб, сказал «спокойной ночи», она вдруг проговорила с жалобой в голосе:

- Сегодня уж ты мог бы оставить меня в покое, - и обиженно уткнулась в подушку.

«Сколько надо было иметь эгоизма и чувственности, чтобы заслужить такой упрек! Да, мы - мужья - бываем слишком часто и грубы, и безжалостны. А вот теперь на нее одну ляжет вся тяжесть семейной жизни: она останется одна с двумя младенцами... с двумя! Смерть, да - смерть, теперь, когда я так нужен и семье, и Родине, когда... наконец счастлив... смерть!

Чей-то голос сказал:

- Ну вот и накликали - идут!

А другой подхватил:

- И впрямь идут. Ну, братцы, крышка!

Олег приподнялся на локте, прислушиваясь: из коридора доносились голоса и бряцание затворов.

- Не к нам,- сказал кто-то. Но как раз в эту минуту стали отворять камеру. Олег сел на койке, чувствуя, как тревожно отбивает дробь его сердце.

Надзиратель и конвойные остановились в дверях.

- Выходи, кого назову: Иванов, Федоренко, Эрбштейн, Муравин.

Заключенные один за другим подымались с коек. Последняя фамилия принадлежала молодому ученому.

Олег схватил его за руку и крепко пожал.

- Спасибо, - проговорил тот.

- Прощайте, товарищи! - срывающимся голосом крикнул уже с порога уголовник - тот,

который был всех моложе.

- Того же и вам желаем! - бравируя, развязно выкрикнул его вихрастый товарищ и взмахнул шапкой.

Дверь за партией затворилась.

«Маленькая отсрочка! - подумал, опускаясь на койку, Олег. - Отчего так колотится сердце? Кажется, трусом я никогда не был! И зачем они медлят? Только затягивают агонию. Еще ночь или несколько ночей до тех пор, пока в одну из них...»

В тот день, скитаясь из угла в угол по камере, он прочел одну из надписей, не замеченную им прежде: «Корабль уплывал к весне».

«Весна - это возрождение, весна - это жизнь! - подумал он. - Фраза эта звучит как обетование. Эту надпись сделал кто-то, кто надеялся сам и хотел утешить других». Весна - это было одно из многих нежных наименований, придуманных им для Аси, и словно бы светлый, невидимый, но действенный флюид проник в камеру и вошел в соприкосновение с его сознанием.

Через час или два, когда все хлебали суп, седой старичишко, тщетно поджидавший Анастасию Узорешительницу, вдруг забормотал:

- Сегодня, должно, придут меня ослобонить. Вы вот все только потешаться над стариком умеете, а кабы вы побольше веровали, может, она и вошла бы к нам - Матушка Анастасия; теперича только у двери малость постояла, а и то в камере стало ровно поблагодатней; я вот, убогий, учуял в сердце своем. Неужели вовсе никто того не приметил?

«Кажется, я заметил что-то!» - подумал Олег, но промолчал, несколько озадаченный.

Один из «пятьдесят восьмых» сказал:

- Вот и сладь тут с верующими: на все свое объяснение подыщут - не надула, мол, а не учуяли по причине вашей же толстокожести - накось, выкусите!

- Смейся, милый человек, смейся, а только меня ослобонят сегодня, - настаивал старик. - Вот помяни мое слово: она, матушка, на то и приходила, чтобы утешительное слово сказать.

Олег пристально взглянул на старика.

- За что приговорен? - спросил он, изменяя своей привычке не задавать вопросов.

- Монашек мы, Страстного монастыря. Обитель нашу вовсе порешили, а меня на поселение упекли да на отметку взяли. Спервоначалу на север: едва Богу душу не отдал - гоняли нас безо всякой жалости, скользили мы по наледям, руки да ноги ломали, и голода и холода натерпелись - курочку мою черную я на руках тащил; благослови ее, Господи! Одна-то она жалела меня, убогого; кажинный день по яичку мне несла, силы мои поддерживала; да после, как в Узбекистан нас перебросили, еще пуще ожесточились наши гонители: отобрали и мою курочку. В песках горше, чем в сугробах: народ пошел злой, горбоносый, христианской веры вовсе ни в ком не встретишь; тоска забрала - сбежал, и с тех пор не сидится нам, бродяжничаем. Раз случилось в одном селе мне перед сходкой против колхоза ратовать, оттого что родом я псковский крестьянин; ну, а как изловили, одно к одному все и засчитали; злостный вредитель, заявили мне. Тем только утешаюсь, что хоть и краешком, а все за веру Господню претерпеваю!

«Santa simlicissima!» [122] - подумал Олег. - Странно: есть неясная мне связь между его словми о благодати и фразой, которую я прочел. Но если бы у двери в самом деле стоял кто-то нездешний, то во всяком случае не Анастасия Узорешительница! Может ли быть, чтобы этот серый монашек уловил светлое приближение, предназначенное для меня, а я в моей мятежности не почувствовал?

Гордая душа все еще себя и свои чувства ставила выше окружающих.

День, однако, не принес ничего нового. Дали отбой.

В камере смертников никто не засыпал тотчас после отбоя: настороженное ожидание отгоняло сон, и лишь после того как проходили те первые часы, в течение которых всего чаще являлись за приговоренными, или когда конвой уже удалялся, сон смыкал усталые веки измученных людей.

Лежа на койке, Олег внимательно вслушивался в тишину, царившую в коридоре. Прошло около

часа, и вот гулкие тяжелые шаги, еще отдаленные, коснулись его слуха.

«Идут», – подумал он.

– Идут, – проговорил кто-то, и головы начали подыматься.

– Принесла нелегкая, – отозвался кто-то из уголовников.

Шаги неумолчно приближались, и вот слышались обычные переговоры с надзирателями и бряцание затворов.

«В этот раз не минуют», – подумал Олег, все так же вслушиваясь.

Тронули затвор, и в бряцании его прозвучала та же неумолимость.

Послышалась команда:

– Семенов, Илья!

За стариком! С невольным участием и симпатией Олег повернулся к нему, забыв на минуту о себе.

– Никак, меня? Экая оказия, Господи Батюшка! Как же так оно получилось? – забормотал он крестясь.

– Вот тебе и Анастасия Узорешительница! – крикнул один из уголовников.

Олег только что хотел осадить того, кто позволил себе этот выкрик, но как раз услышал:

– Дашков, Олег!

Легкий озноб прошел по его спине.

– Я, – откликнулся он и встал. – Ну, старик, пойдем! Кто-то в самом деле стоял у двери в ту ночь, только слов мы с тобой не поняли.

Больше никого не вызвали. Из коридора вывели в другой коридор, а потом на лестницу, где уже стояла готовая партия и вооруженная охрана. При выходе на тюремный двор свежий, живительный воздух коснулся лица. В груди – словно туго натянутая пружина. Он думал – тут же поставят в ряд, но увидел три «черных ворона»; их погрузили. Опять отсрочка – куда-то повезут. Это, кажется, делается в Разливе...

Натянутая пружина несколько ослабела, и снова закружились мысли о семье: «Ася придет справиться... ведь брякнут ей без подготовки. Сейчас уже седьмой месяц – не случились бы преждевременные роды!»

Кто-то рядом с ним сказал:

– Товарищи, а что если нас на вокзал – и в лагеря?

– Ну да! На вокзал! Как же! Приказа о помиловании не зачитали, вещей забрать не велели... С такого паровоза прямое сообщение на тот свет.

Один старый мужчина вдруг зашатался и взялся за голову. Олег поддержал его.

– Спасибо, – сказал тот, – вы, очевидно, по пятьдесят восьмой?

– Да, – коротко ответил Олег.

– Я тоже. Я подумал сейчас о жене: она совершенно одинока, ей шестьдесят лет и у нее порок сердца. А у вас есть семья?

– Да. Моей жене только двадцать два года, и она остается с двумя младенцами, – и Олег умолк, чувствуя, что ему зажимает горло. «Бедная моя девочка! С ней нет никого, кто бы помог ей перенести этот удар, – подумал он. – Как ограничен человек – всей силой моей любви я не могу победить расстояние, увидеть и поддержать ее!»

Кто-то сказал:

– Нет, брат, это не вокзал! Лисий Нос или Разлив – вот это что!

– Ай, изверги! Ай, мерзавцы! Ни в какой контрреволюции я-таки не повинен! Она и не снилась мне! Обвинение за уши притянута! – тоскливо воскликнул вдруг с явно еврейским акцентом худой человек в очках и схватился обеими руками за голову.

– А я ведь в прошлом эсер, – заговорил другой приговоренный, – сколько раз при царе в ссылках был. Вот уже не думал не гадал, что заслужу такую благодарность, – этот голос звучал спокойно, несмотря на глубокую горечь, которая в нем слышалась.

– Господи, помилуй меня, грешного! – шептал монашек около Олега, – начинать, что ли, канон на исход души?

Дрогнули, когда машина внезапно затормозила.

- Эй, сволочи, выходи! Стройся по пять штук в ряд. Руки в заднее положение, - и вооруженные охранники толпой обступили их.

Подошли еще две машины; слышно было - плакали женщины, одна вскрикнула, и Олегу показалось, что он узнает голос Нины.

Он огляделся: пустое низкое место, высокая стена, увенчанная колючей проволокой, и открытые ворота - там тот двор, который ему столько раз снился!

«Ну, теперь остается всего лишь несколько минут... Я перед великой переменой. Вместе с телом отпадут все привычные условия существования и многое, что казалось значительно и дорого... Все, но не любовь к Асе! Любовь останется! Конечно, она связана с телом и бьется в каждой жилке мужского организма, но она прорастает и глубже, и если физическая оболочка сейчас отпадет - любовь останется! Сейчас - за две или три минуты до смерти - ему это совершенно ясно, и это именно ощущение несет в себе предчувствие бессмертия.

Ему завязывали глаза; он стал было освобождать рукой защемленную прядь волос, но тут же усмехнулся: что значила боль натянутого волоса, когда сейчас засадят в грудь целую горсть свинца?

- Не надо! - сказал он, срывая повязку.

- Долой узурпатора революции! - крикнул эсер.

Восклицание это оторвало мысли Олега от личного.

«Я любил свою Родину! Она была для меня не географическим только понятием, но целым комплексом самых сложных определений. Всю свою деятельность я еще юношей хотел увязать с преданностью России; ни разу в этом случае я не руководился вопросом собственной выгоды. Я не могу не видеть, что в моей преданности Родине было много самоотвержения, и тем не менее я не знаю... Не знаю, принес ли я ей хоть какую-либо пользу... О, сколько боли в этой мысли! Горе моей страны не получает исцеления!» - и крикнул:

- Да сгинут тираны цека и да расцветет Россия!

Ночное небо было над его головой - высокое, далекое, звездное! Свет звезд просился в душу. Ненависть и обида, еще недавно клокотавшие в его груди, стихли; презрение, гордость и вся узкая классовость, замкнувшая все лучшее, что было в нем, - все это ощущалось теперь как нечто второстепенное, поверхностное, наносное перед тем, что концентрировалось в груди - там билась любовь, перераставшая рамки тела, и заливало всю душу настороженное и трепетное ожидание предстоящего. Новая насыщенная жизненность охватила его, а тело в мучительном напряжении ждало удара.

Было два светлых образа в его жизни - две привязанности; все лучшее в нем связывалось с ними - в детстве и юности - мать, позднее - Ася. Над ними - именно в этой самой высокой точке души - реял, казалось, призрак России.

- Господи, спаси мою душу! Яко разбойник исповедую. Мама, родная, дорогая, если ты жива, - ты меня видишь и слышишь! Приди же и встреть своего сына...

Толчок в грудь. Земное кончено. В том теле, которое упало, уже нет души. Жизнь или смерть? Свет или темнота?

## Глава девятая

- Надо их пропустить без очереди; они маленькие и измучаются, - сказала Ася.

Несколько человек согласились с ней, и двух черноглазых мальчиков пропустили вперед. Очередь безнадежным кольцом извивалась в тесном и душном помещении. Ася прислонилась к стене и, озираясь, пыталась вычислить, которая она по счету. Славчик в этот раз остался дома совсем один! Она оставила ему молоко с булкой и игрушки; спички и острые предметы тщательно запрятала, и, тем не менее, тревога за малыша сосала материнское сердце. Стоскуется и заплачет! Молоко, наверно, разлил и булку будет жевать всухомятку; штанишки, конечно, мокрые; не потянул бы за хвост сеттера, не ушибся бы как-нибудь, бедный мой

птенчик! Конца не видно моим мукам, дело все не решается, страшно подумать, что будет... а тут еще от мадам писем не было... Она опять стала считать: «Кажется, я теперь пятидесятая... еще часа полтора. И что это мне сегодня Говен все время припоминается?»

Призрак литературного героя – любимого героя ее юности, над судьбой которого она плакала в четырнадцать лет, первый пленивший ее мысли мужской образ, – с утра в этот день навязчиво сопровождал ее: траурный марш, шеренги войск, барабаны, затянутые в черное, эшафот; и он – молодой, красивый, героический, этот аристократ, отдавший жизнь своему народу, – приближается к гильотине, гениальному созданию революции, порожденному необходимостью быстрее и ловчее рубить головы всем тем, кто *si devant*... Теперь гильотины нет, теперь иначе, но от этого не легче!

– Да, я вот за этой дамой. Да, очень долго! Ну, конечно, пятьдесят восьмая! У вас тоже? Смотрите, этот старик еле стоит – его бы надо усадить или пропустить без очереди.

То перекидывались словами, то понуро смолкали и передвигались все ближе к окошку, и по мере приближения сосущее беспокойство делалось все острее и мучительней и концентрировалось только на том, что скажут из этого окна и примут ли передачу.

Когда впереди осталось только три человека, волнение Аси достигло предела – она чувствовала, что вся дрожит и что руки ее холодеют, а в ногах появилась странная слабость...

«Сейчас могут объявить мне приговор... Страшно! Боже мой, как страшно! Что если... если двадцать пять лет лагеря без права переписки – ведь это почти как смерть! Олега замучают, а мы со Славчиком будем совсем одни в целом мире. Страшно, а я так мало молилась эти дни...»

Она взглянула еще раз на очередь и малодушно шепнула даме, стоявшей позади нее:

– Подходите сначала вы, – а сама закрыла ладонями лицо: «Господи! Иисус Христос! Милосердный, светлый, милый! Пощади меня и Олега! Ну, пусть ссылка или хоть пять лет лагеря – сделай так! Тогда еще можно надеяться на встречу, я буду его ждать. Иисус Христос, если непременно нужно одному из нашей семьи погибнуть – возьми меня, лучше меня! Я – бестолковая, не сумею ни заработать, ни воспитать сына, ничего не сумею! Мальчику отец нужнее. Мой Олег любит земную жизнь, он хочет борьбы, деятельности... Господи, я мало молюсь, но зато у меня сейчас вся, вся душа в молитве! Пощади Олега! Только бы не... Пощади нас!»

Испуганно, как заяц, взглянула она на окошечко, через которое уже разговаривала пропущенная ею дама, и растерянно оглянулась назад.

– Подходите, – шепнула она пожилому мужчине, стоявшему за ней.

Но тот пристально и печально взглянул на нее, указал ей головой на окошко и слегка подтолкнул вперед под локти. Дыхание у Аси захватило.

– Дашков, Олег Андреевич, – дрожащим голосом, запинаясь, выговорила она и, поставив свою корзину на доску перед окном, припала к ней головой.

«Ты будешь милосердным, будешь!» – твердила она про себя.

– Нет такого, – отчеканил через минуту трескучий голос.

Она дрогнула и выпрямилась:

– Как нет?! Он был здесь, был, я знаю!

– Нет такого, говорю вам, гражданка! В списках тех, на кого принимаем передачу, не числится. Следующий подходи.

Ася уцепилась за окошко:

– Скажите, пожалуйста, скажите, что же это может быть – отчего его нет? К кому мне идти?

– Гражданка, не задерживайте! Я вам уже ответил, а хороводиться с вами у меня времени нет. Может, переведен, а может, в лазарете или приговорен. Не числится. Следующий!

Но Ася не отходила, цепляясь рукой за окно. Мужчина, стоявший за ней, твердо и решительно сказал:

– Эта гражданка выстояла в очереди пять часов. Мы все, здесь стоящие, готовы подождать, пока вы справитесь по спискам. У вас должны быть перечислены и заключенные, и приговоренные. Вы обязаны справиться и ответить – вы работник советского учреждения.

Окошечко вдруг закрылось. Все стояли в полном молчании; странно было - в этом оцепенении чувствовалось предвестие чего-то грозного. Мужчина поддерживал Асю под локти. Одна из дам - последняя в хвосте - вдруг подошла и, беря Асю за руку, сказала:

- Мужайтесь, дитя мое. Опять открылось окошечко.

- Дашков Олег Андреевич приговорен к высшей мере социальной защиты; приговор приведен в исполнение. Следующий.

Секунда гробовой тишины.

- Приговорен? Приговорен! Высшая мера... Это что же такое - высшая мера?! - голос Аси оборвался.

Мужчина слегка отодвинул ее от окна:

- Поймите сами, что может называться «высшей мерой наказания», - тихо, внушительно и серьезно сказал он.

Глаза Аси открывались все шире и шире, немой ужас отразился в ее лице.

- Высшая, самая высшая... так это... это... - повторяла она побледневшими губами, - гильотина?! - и закрыла руками лицо.

- Следующий! - повторил голос из окна, и мужчина оставил Асю, чтобы в свою очередь навести справку.

- Теперь не гильотинируют и не вешают, - поправил какой-то юнец из очереди. - Высшая мера в нашем Союзе означает расстрел, - он, по-видимому, полагал, что такие слова могут служить утешением.

- Да молчите уж лучше! - замахала на него дама, обнимавшая Асю.

Ася вдруг затрепетала и, как будто освободиться от чужих рук, сделала несколько неверных шагов в сторону, прислонилась к стене.

- Несчастливая девочка! - тихо сказал кто-то в очереди.

- О ком она справлялась - о муже, об отце или о брате? - спросила одна из дам, вытирая глаза.

- О муже, кажется. Да она не в положении ли, посмотрите-ка, - сказала другая.

- Вам не дурно ли, молодая женщина? Не вызвать ли медицинскую сестру? - спросил один из мужчин, приближаясь к Асе.

- Нет, нет... Спасибо, не надо... Оставьте! - забормотала Ася и бросилась к выходу, как будто спасаясь от погони.

Сначала она стояла около каких-то ящиков, потом ее толкнули те, которые их грузили, - сказали, чтоб не мешала; потом - около серой глухой стены; потом попала, сама не зная как, к мосту канала и стояла, опираясь на чугунные перила.

Ушел совсем из ее жизни! Ушли все, кому она была дорога! Она и ее Славчик всеми покинуты, случайно забыты на этой земле, всем чужие! Ушел из жизни, а дома ждет маленькое, совсем маленькое существо, а внутри ее шевелится крошечными конечностями другое, которое он никогда, никогда не увидит! Да разве можно лишать жизни молодых - тех, у кого есть дети?! Чудовищная злоба советской власти! Ушел совсем! У него были густые красивые волосы - она любила их трепать и ерошить... Никогда уже больше не тронут ее пальцы этих волос! И голова никогда больше не прижмется к его плечу!

Какой отрадой было, прижимаясь к нему, сознавать, что между ней и действительностью стоит этот сильный и умный, бесконечно преданный ей человек! Он, правда, часто говорил: «Не надежен твой муж», - но она, рядом с ним, ничего не страшилась: в ссылку, в лагерь - всюду пошла бы за ним, уверенная в его защите и поддержке. Какие угодно испытания, лишь бы быть под его крылом! И вот теперь она одна лицом к лицу со всеми невзгодами! Бедный, милый, любимый, у него было так много горя, он так недолго был счастлив! Ему еще так хотелось деятельности - кипучей, полезной, захватывающей! Хотелось смерти за Родину на поле битвы, а смерть от рук палачей все-таки подошла, все-таки настигла! И поглотила, как бездна!

«Я перед ним виновата! Я часто упрекала его в недостатке кротости и доброты; я часто бывала недостаточно внимательна; я разрешала ему себя баловать, и так уж повелось, что все, что перепадет - билет ли в концерт, лишнее ли яблочко или пирожное - все всегда мне и ничего

ему. Раз, помню, я пожаловалась, что скучаю без танцев; он посмотрел на меня пристальным, долгим взглядом и сказал: ты хочешь танцевать, когда Россия во мгле! Ему больно было увидеть меня такой пустой и безыдейной!»

Ему было свойственно постоянное желание зацеловать и затрепать ее, завладеть ею, а ее страсть оставалась еще не пробужденной; желание его вызывало в ней только сострадание: в самом деле, как не жалеть человека, который, обладая таким умом и волей, так часто попадает во власть инстинкта! Она отдавалась только жертвенно и не умела этого скрыть! Это могло быть больно ему! Он вправе был ожидать страстных объятий – он был хорош собой, изящен, высок, строен... Но ее тело обладало устойчивым целомудрием, легким холодком Снегурочки, и та влюбленность, с которой она выходила замуж и отдалась, не растопила этого холодка, тонко сочетавшегося с теплотой ее души, теплотой интонации, теплотой взгляда... Он говорил: «Придет ли минута, когда весталочка моя сама захочет и попросит горячих ласк!» Но так и не дождался – она не попросила! Надо было притворяться, чтобы доставить ему эту радость, она не догадалась, а теперь уже ничего нельзя ни изменить, ни поправить! Он говорил ей иногда: «Другой когда-нибудь разбудит твою страсть!» Глупый! Этого не будет – она никогда не полюбит другого! Он – отец ее младенцев, от него она получила таинственное посвящение, превратившее ее из ребенка в женщину и мать; его одного можно было так глубоко уважать и жалеть одновременно! Неправда, что в жалости есть оттенок презрения – она всегда так восхищалась и гордилась его благородством и храбростью, его умом и осанкой, и вместе с тем так жалела за лагерь, за раны, за скорбь над Родиной, за то, что он побежден! Она часто клала голову к нему на грудь... Может быть, как раз это место пробила одна из пуль? Бедный, любимый, милый! Убит, упал, залит кровью, а ей даже не подойти, чтобы обнять и проститься, прочесть последнюю мысль в лице и обтереть кровь, благословить в неведомый путь! Она даже не будет знать, где его могила... А впрочем, она забыла: у него не будет могилы! Что он думал, что чувствовал, когда шел умирать и знал, что она останется одна с двумя младенцами? Ее не было рядом, чтобы припасть к его груди и сказать: «Я любила тебя! Я знаю: я часто бывала слишком сдержанна, но это, видишь ли, только потому, что из тысячи шелковых ниток моего кокона распутались еще не все! Я любила тебя так глубоко, так преданно любила!» Но путь с самого начала был безнадежным – вот он и кончился! Безнадежным станет теперь ее путь: с ним ушли из ее жизни вся романтика, все личное, дорогое, заветное: «Нет твоего сказочного принца, нет отца у твоего ребенка, нет на земле рыцаря без страха и упрека!»

Нежный звук, привычный ее уху, – жалобный плач ребенка, – вывел ее из забытья: около нее споткнулся и упал двухгодовалый малыш; она подняла мальчика, к которому уже спешила мать, и только тут вспомнила, что Славчик с утра один, и с ужасом увидела, что уже сумерки, а она в отдаленной части города. Она бросилась к трамвайной остановке и вскочила в первый же выгон, не отдавая себе отчета в том, что делает. Очевидно, в ее внешнем виде было что-то, что привлекло всеобщее внимание – ей тотчас освободили место и принудили ее сесть. От этого, однако, вышло хуже: обреченная на пассивность, она снова погрузилась в свои думы и вострепелась, только когда слух ее задело название трамвайной остановки – трамвай завез ее совсем не в ту сторону. Она метнулась к выходу и, увидев, как далеко попала, жалобно, по-детски заплакала, стоя посреди улицы. Прошло еще полчаса, прежде чем она, задыхаясь, вбежала в свой подъезд и тотчас услышала плач ребенка: на площадке третьего этажа в одной рубашечке, босиком, стоял маленький мальчик и громко плакал, захлебываясь и растирая кулачками глаза.

– Славчик, что с тобой? О чем ты, мой ребенок? Мальчик мой! Мама забыла, бросила! Ты озяб? Ты кушать хочешь? Отчего ты в одной рубашечке, отчего на лестнице? Ведь мама запретила тебе выходить! Пойдем, мама тебе молочко согреет, единственный мой, любимый мой! – шептала она, порывисто прижимая к себе ребенка.

Ее всегда красивую аккуратную комнату теперь трудно было узнать: беспорядочно составленная мебель, вынесенная из диванной, загромождала углы; разбросанные за день игрушки некому было подобрать, по полу везде расползались крошечные щенки Лады,

оставляя за собой маленькие лужицы. Опечаленными казались даже немые вещи: старинный, красного дерева туалет с изящными предметами гораховского стекла выглядел всех грустнее, может быть, потому, что отражал теперь лишь испуганное, побледневшее личико, без тени улыбки.

Согреть молоко и сварить кашу оказалось не так просто в том состоянии, в котором находилась Ася: поставив кастрюльку на плиту, она вернулась к себе и бросилась на диван, и тут ее поразило соображение: а вдруг попали ему в лицо? И, застонав от боли, она замотала головой и уткнулась лицом в диванную подушку. Славчик тянул ее за платье, потом опять начал плакать, - она не подымала головы.

Из полубеспамятства ее вывели крикливые голоса соседок:

- Идите, поглядите, чего в кухне наделали: горят у вас кастрюли-то, чаду полно! Безобразие одно от вас! Тоже уж - интеллигенция!

Ася бросилась к месту катастрофы и схватилась за тряпки, со страхом взглядывая на трех мегер, собравшихся там же. Новая - вселенная по ордеру в комнату Натальи Павловны - казалась ей самой опасной.

Мадам умела парировать удары и во время подобных столкновений даже решалась наступать, подбоченясь; Наталья Павловна своим молчаливым и властным достоинством прекращала в своем присутствии всякие выходки; Олега побаивались, и затрагивать его решались только мужчины, и то в редких случаях; но Ася была совершенно беззащитной перед грубыми выходками этих баб. Покончив с уборкой и накормив ребенка, она усталым машинальным движением стала стелить мальчику кровать. Славчик вертелся около.

- Хочу г'ибы и четы'ех котяточек.

- Славчик, мама не может рассказывать сегодня сказки. Мама так устала! Засни сам, а мама посидит рядом. Не капризничай, милый. Не мучай свою маму. - Она привлекла его к себе на колени и прижалась осунувшейся щекой к розовой щечке ребенка. - Милый, родной - ложись! Ну, так и быть: про гриб-боровик расскажу, а потом - спать. Ну, что ты, Маркиз? Нет твоего хозяина, понял? Ну, и уйди, оставь меня. А ты что хочешь, Лада? Вы словно сговорились меня мучить, - и она слегка отстранила собак, которые совали к ней морды, как будто обеспокоенные ее состоянием.

Через приоткрытую дверь донеслись звуки радио; мужской голос пел: «Темная ночь... ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком...» Олег мог так сказать ей, и судорога сжала ей горло, а голова опять упала на подушку рядом с головкой сына.

- Мама! Ну мама же! - и нота отчаяния прозвучала в голосе ребенка.

- Сейчас, милый, сейчас. Не плачь только! Давай подоткнем одеяльце. Ручки сюда - наверх. Ну, слушай: гриб-боровик, под кусточком сидючи, на все стороны гляючи... Боже мой, как тяжело!

Рассвет застал ее на маленьком диване: сжавшись комочком, она забылась на несколько минут, охваченная смертельной усталостью после попытки предыдущего дня и бессонной ночи. Возвращаясь снова во власть своего горя в синеватом прозрачном полусвете, установившемся в спальне, она вдруг отчетливо прочитала в своем сознании, точно внутренним умом услышала шепот: «Помяни за раннею обедней мила друга, светлая жена!» Он говорил это ей тогда, в Луге, а сейчас как раз начинается ранняя - надо бежать! И поспешно вскочила, цепляясь за мысль, что еще можно для него что-то сделать, быть ему полезной.

Надо сначала выйти в ванную и кухню, и это ее смущало: она слышала там шаги и голоса и боялась попасть в когти соседок.

- Пожаловала фефела наша! Вчера убирала, а лист в плите весь залитым водой оставила - не видали глазоньки, - сказала одна.

- Белье-то бы хоть снимала с веревок-то! Другим тоже нужно: не у тебя одной ребенок. Спеси пора бы поубавить. Подумаешь - княгиня выискалась! - сказала другая.

- Воображает, что больно хороша, а сама - тоща тощей! У нас на такую бы и не посмотрел никто, - сказала опять первая.

Ася снимала белье, тревожно озираясь на эти косые взгляды.

- Я, кажется, вам ничего не сделала! За что у вас такая злоба? - отважилась она выговорить и вышла, не дожидаясь ответа. Есть она не могла, хотя не ела уже сутки. Спешно одевая малыша, которого вынуждена была тащить с собой, она бормотала ему какие-то увещевания, ребенок не хотел подыматься и, засыпая, валился на бок; потом повлекла за ручку, боясь опоздать. Холодок раннего утра, пустота улиц, голубовато-розовое небо, а больше всего припомнившийся стих втягивали ее в струю задушевных представлений, связанных с «Куликовым полем», и ее охватила надежда, что в храме ей станет легче. Но этому не суждено было сбыться: ни лики святых, ни кафельный дым, ни любимое пение, ни таинственные возгласы не доходили в этот раз до ее души, может быть, потому, что Славчик не хотел стоять на месте - все время вертелся и дергал мать, не давая ей ни на минуту сосредоточиться, а усталость ее оказалась настолько велика, что она не простояла и часу: ей начало сжимать виски и застилать глаза и очнулась она уже на скамейке у церковного ящика. Незнакомые женщины, стоявшие около нее, объяснили ей, что она упала, и, подавая воду, советовали вернуться скорей домой.

- Я хотела отслужить заупокойную обедню или панихиду, - сказала Ася.

- Заупокойную обедню заказывают накануне, - наставительно сказала одна из женщин, - ну а панихиду можно и сегодня, только сначала батюшка обедню кончит, а потом крестины у нас заказные... Не долго ли будет ждать с ребенком?

А другая спросила:

- Вы с певчими, что ли, панихиду заказывать будете?

Ася только тут спохватилась, что ушла из дому без копейки денег. Женщины жалели ее и приглашали прийти на другой день, обещая, что сами договорятся со священником и хором; она согласилась из деликатности, но все эти деловые переговоры, а еще больше изводящий рев Славчика спугнули ее порыв; чувствуя, что тоска переполняет ее через край, она заторопилась выйти, волоча за руку всхлипывающего ребенка. Уходя, она бросила безнадежный взгляд под купол - она любила кафельный дым, который легкими облачками подымается вверх, а льющиеся ему навстречу солнечные лучи золотят его... Но в этот раз в куполе было безрадостно - он давил... опять серое облако!

«Как я буду жить с этой тоской? У меня, очевидно, повредились душевные крылья, способность к вознесению. Теперь все навсегда станет серым!» - думала она.

## Глава десятая

Елочка все последнее время была очень занята на работе, так как желая поддержать материально Асю, она набрала себе сверхштатных ночных дежурств, вследствие чего не могла проводить у Аси много времени и выручать ее в бесконечных очередях в прокуратуре; помощь ее для окружающих была незаметной.

- Так и всегда со мной: красота эшафотов и жертв идет мимо! Я не героиня и не мученица - я только труженица! - с горечью говорила она себе.

В это утро, вернувшись после одного из ночных внеочередных дежурств, она не стала ложиться, а выпила для бодрости крепкого чаю и побежала узнать последние новости. Приговор ожидался со дня на день. От квартиры Бологовских у нее был теперь ключ, принадлежавший ранее Наталье Павловне. Еще в передней она увидела, что дверь Асиной комнаты стоит распахнутая настежь; однако на ее оклик вышли одни собаки; в глаза сразу бросился небывалый беспорядок: незастеленные кровати, невытая посуда, разбросанные на полу игрушки, незатертые лужицы... Елочка подивилась беспечности, с которой Ася оставила двери незапертыми, чего никогда не разрешали делать ни Наталья Павловна, ни Олег, так как Клавдия Хрычко не отличалась высокой честностью и отсутствием любопытства. Елочка прошла в кухню, но Аси не было и там; Хрычиха, занятая мытьем кастрюль, объяснения дала самые сбивчивые:

- Вечор весь день пробегала. К ночи только вернулась. Видать, больно усталая... две свои кастрюли спалила. Наши на ее разорались, а я уж молчу: жалость меня взяла на ее гляючи...

Новая жилища, входя, услышала последнюю фразу и злобно бросила:

- Непутевая уж больно ваша княгиня новоявленная! Вечор ушла, а князенка своего без присмотра бросила: орал тут на общей площади; я и то урезонивала. А гордости небось не занимать стать! Таких, как она, у нас в Союзе уже пятнадцать лет выводят, да все не перевелись - живучи больно!

Елочке не трудно было угадать, что кухня стала ареной травли. Не имея привычки терять время зря, она занялась приборкой Асиной комнаты. Вытирая верх шкафа, она стояла на табурете, когда услышала шаги и голосок Славчика, и обернулась на вошедших. Ей тотчас показалось, что в Асе что-то переменялось: бескровная бледность лица, новый строгий склад губ, черная косыночка вместо обычного берета, даже эти уроненные руки, даже то, что войдя, она молча прислонилась к стене - все говорило о разразившейся катастрофе.

- Что? Что? - воскликнула Елочка, соскакивая с табурета. - Узнала что-нибудь?

Ася не сразу ответила.

- Кончено, - сказала она наконец, не изменяя положения.

- Что кончено? Следствие? Так значит - приговор?

- Да... приговор...

- Какой же?

- Сказали: высшая мера... сказали... - голос Аси пресекался.

Елочка опустила в кресло и закрыла лицо руками. В тишине, которая установилась, было что-то скованное, тяжелое, оцепенелое!

- Может быть, еще заменят... Иногда заменяют лагерем... - проговорила наконец Елочка, приподымая голову.

- Как же заменят, если... если приговор уже приведен в исполнение, - сказала Ася с усилием.

- Как? Уже в исполнение? Уже? - и все словно потемнело в глазах Елочки. Это «уже», которое не переделать и не вернуть, показалось самым страшным! Уже нет ее Пожарского, уже нет! А грядущая битва - воодушевление, знамена, колокольный звон? А его героическая кончина на новом Куликовом поле? Конец всему. Вечная память последнему русскому гвардейцу, вечная память неосуществившейся мечте. Она никогда не забудет ни его, ни мечты. Ее душа - могильный камень.

Она взглянула на Асю: та все так же стояла, только две слезы ползли теперь по прозрачным щекам... Ресницы были опущены на обведенные черной тенью глаза.

«Никто не любил его так, как я, - подумала Елочка, - но ведь она была с ним счастлива, а теперь это счастье ушло навсегда! Мне ее жаль, глубоко жаль!»

И она поднялась с кресла:

- Сядь, Ася, ты совсем измучена. Когда ты узнала?

- Вчера. Теперь уже никогда... теперь - все! - и Ася проглотила слезы.

- Сядь, дорогая! Сними пальто и глотни воды. Славчик, да отойди же, не лезь! - и Елочка с жестом досады оторвала мальчика от платья Аси.

- Он все время сегодня капризничает и не слушается. Измучил меня гадкий мальчик! - сказала Ася и, подойдя к кровати, бросилась на нее лицом вниз.

- Славчик, поди сюда, - строго сказала Елочка. - Отчего ты такой нехороший? Ты видишь, маме не до тебя.

И одновременно в ее сознании проносилось: «Я, кажется, не то говорю, что надо. Не умею я обходиться с детьми!» Она подняла ребенка и посадила на стул.

- Ну чего ты опять плачешь? Некогда тут с тобой возиться! Скажи, что ты хочешь?

- С папой кубики, - ответил ребенок.

Ася приподнялась на локте:

- Вот! Слышишь, слышишь! Олег любил играть с ним... Теперь этого уже не будет... Ничего не будет! Они все меня теперь мучают: и Славчик, и собаки... Этот сеттер... Я глаз его видеть не

могу... А Славчика я разлюбила, совсем, совсем разлюбила! - и снова опустила лицо вниз, но через минуту, приподняв голову, сказала: - Ах, да! Он голоден! Я ведь его сегодня не покормила.

Елочка растерянно обернулась на ребенка: трикотажный, шерстяной с расчесом костюмчик плотно охватывал детскую фигурку; на розовой щечке остановилась слеза, губки обиженно надулись, а карие глаза смотрели серьезно, грустно и укоризненно из-под загнутых ресниц.

Какой же в самом деле прелестный ребенок и до чего похож на Олега! Как она не замечала до сих пор! Маленький князь Дашков - все, что осталось от любимого ею человека... И в сердце Елочки что-то точно повернулось под натиском внезапной тоскливой и болезненной нежности к этому маленькому существу.

- Ну, поди сюда, Славчик, сядь ко мне на колени. Сейчас тетя Елочка тебя накормит. Да ты его совсем загоняла, Ася, оттого он и плачет.

Ребенок потерся головкой о ее плечо; никогда раньше он не делал этого... Или он что-то понял? Да ведь не мог же он понять, что горе трансформировалось еще раз в беззаветную привязанность в этом гордом сердце и что оно впервые выпустило нежные и тонкие побег материнства!

Раздался звонок, и обе собаки залились лаем, который почему-то больно ударял по нервам. Елочка выбежала открыть, проникаясь уже заранее чувствами цербера, и увидела перед собою Мику Огарева, которого встречала уже раза два у Бологовских. С юношей было что-то неладно: он стоял, прикусив губы, и был очень бледен, а веки его покраснели.

- Могу я видеть Ксению Всеволодовну? - спросил он, тормоша фуражку.

Елочка тотчас поняла, что ему уже известно что-то.

- Не знаю, захочет ли она выйти к вам... Она сейчас в очень тяжелом состоянии... - начала со своей несколько надменной манерой и с чувством собственности на Асю.

- Ей уже объявили? Что объявили ей? - поспешно спросил Мика.

- Приговор к расстрелу, и приговор этот уже приведен в исполнение.

Мика вдруг круто повернулся и побежал вниз по лестнице.

- Мика! Куда вы? Вернитесь! - крикнула Елочка, но тот не останавливался.

Тут только Елочка сообразила, что приговор этот мог и ему принести несчастье, так как у него под следствием сестра, о которой она не спросила. «Я опять была суха и даже не корректна!» - подумала она.

Узнав, что звонил Мика, Ася стремительно села.

- Как могла я забыть! Леля... Нина Александровна... Что если и их? Леля! Леля! О, это слишком, слишком!

Елочка молча стояла над ней.

- Ася, объясни мне вот что, - сказала она, наконец, - я до сих пор понять не могу, какое отношение имеет Леля к этому процессу? Вы как будто ожидали ее ареста... почему? Разве она не посторонняя Олегу?

Ася все еще сжимала руками голову.

- Как? Ты разве не знаешь? На Лелю был страшный нажим в гепеу. Ее систематически вызывали туда, в Большой дом, и требовали показаний по поводу личности Олега, а она его покрывала, утверждала, что пролетарий! Ну, вот и ответила за это. Как я могла не вспомнить о ней и вчера, и сегодня! Вся моя жизнь прошла с ней: знаешь, маленькими мы всегда играли вместе, ведь между нами только полгода разницы. Только я была резвая - всегда смеялась, пела, а Леля почему-то очень серьезная; я помню, что ее мама и папа беспокоились, почему она такая; наверно, уже тогда она предчувствовала свою судьбу! - и Ася снова опустила лицо на кровать лицом вниз.

Елочка угрюмо задумалась. Эта хорошенькая капризная девушка, постоянно занимавшая ее мысли, даже отсутствуя, как будто смеялась над ней и дразнила ее; она как будто говорила, высывая язык, как маленькая школьница: обошла, перехитрила! Леле без труда и даже против желания давалось все, что обходила Елочку. Если Ася стяжала главное - любовь Олега,

талант и женское очарование, то Леля, обладая тоже в полной мере женской грацией, украсила себя всем тем, чего еще хотелось для себя Елочке, подобрала все мелочи: привязанность Аси и Наталии Павловны, всеобщее обожание и, наконец, мученический венец и, как следствие, восторженное уважение Аси! Зависть и ревность опять всколыхнулись в Елочке. Леля принадлежала к аристократической касте по рождению, но борьба политических партий очень мало интересовала ее; прошлое Олега в ее глазах не имело прелести; если она его не выдавала, то только из семейной привязанности и врожденного благородства; идейности в ней не было вовсе; и вот к такой, как Леля, идет подвиг, а такую как она – Елочка – избегает! «Я столько раз приносила себя в жертву ему – не в воображении, нет: это было органическим состоянием, боевой готовностью всего моего существа, но жертва упорно меня обходила! В Крыму я так и не узнала, где искать Олега, а позднее, когда я спасала его от лап Злобина, это осталось никому неизвестным и было лишено опасности и всякого пафоса. Мне не дано было повторить этих показаний в гепеу, а видит Бог – я бы их повторила! Мученичество за него – мое органическое состояние, неужели же оно меньше того, что может быть названо мученичеством на деле? Зачтется ли оно? Станет ли неотъемлемым богатством возрастающей души, моим моральным багажом, звеном, соединяющим наши судьбы? Никто не даст мне сейчас ответа».

Она сидела, опустив голову, убитая этими мыслями. Детский голосок пролепетал:

– Мама, буоки дай, – это его ребенок говорит и дергает мать, которая безучастна ко всему!

Елочка спохватилась, что так и не накормила Славчика.

– Лежи, лежи, Ася. Я сварю ему кашку. Сейчас, Славчик, Елочка даст тебе кушать. А тебе, Ася, я приготовлю чай: тебе надо поддержать силы. – А про себя опять подумала: «Не мученица и не героиня, а только труженица».

Ася, однако, есть не стала, несмотря на все уговоры: она уверяла, что в горле у нее комок, который мешает глотать.

К двум часам Елочке пришлось уйти на работу. Это было тяжело: необходимое сосредоточие давалось огромным усилием и несколько раз изменяло; хотелось то разрыдаться, то броситься на стену в бессильной злости. Она подавляла все эти порывы. Вид забившегося в угол ребенка со слезой на щек сосал сердце тревогой, в которой были незнакомые ей оттенки.

– Что с вами сегодня, Елизавета Георгиевна? – спросил ее хирург, когда на операции она подала иглодержатель вместо педана. Выйдя уже вечером из здания больницы и чувствуя страшную усталость, она побежала тем не менее опять к Асе, одолеваемая беспокойством за происходящее там. По дороге получила хлеб и булку.

«По силе моего горя, я бы могла впасть в такую же протрацию, как Ася, – думала она. – Но я никогда не могу позволить себе такую роскошь! Необходимо хоть кому-то не терять головы, и эта неблагодарная роль всегда выпадает мне!» Она как будто досадовала на Асю и вместе с тем торопилась к ней.

Асю она нашла спящей; Славчик лежал рядом с ней на кровати Олега; ребенок сбился на самый край; по тому, как он лежал – не раздетый и готовый упасть, – Елочке стало ясно, что душевное равновесие еще не вернулось к Асе. Она не стала ее будить, надеясь, что сон хоть немного восстановит ее силы, и, загородив Славчика стулом и прикрыв заботливо пледом, выпила в полном одиночестве чай. Ася не оставила ей ни подушек, ни одеяла. Накрывшись пальто, Елочка пристроилась кое-как на диване, но нервы были слишком напряжены, и сон бежал усталых глаз. Что-то стучало ей в уши, она точно слушала заунывно-похоронный звон, а мысли все время возвращались к минуте казни. Пробило двенадцать, потом час... около двух, едва лишь она забылась, заглушенное рыдание ее разбудило. Она поспешно встала и при свете маленькой заслоненной лампы подошла к Асе, без слов, молча, она обняла ее и прижала к груди ее голову.

– Ты здесь? – тихо спросила Ася.

– Да, дорогая! Здесь, с тобой...

– Елочка, я сейчас подумала, какая я была дурная жена! Знаешь, я никогда не заботилась о его

белье; раз он сказал: «Я готов сколько угодно ходить в штопанных носках, но носить дырявые не желаю». Мадам это слышала и стала ему штопать сама, а я просиживала за роялем и умилялась на Славчика! А раз... знаешь, раз он сказал: «Отчего ты никогда не приготовишь к столу редьку?» Он ведь так редко высказывал желания, а это желание такое маленькое и скромное, а я не исполнила, я забыла!

- Ася, не мучай себя упреками, ты отдала ему жизнь, ты не побоялась ничего - даже фальшивой фамилии! Ты родила ему чудного мальчика! Он был тебе безмерно благодарен за все, он обожал тебя! Вашему счастью мешали только угрозы гепеу, но не в твоей власти было устранить их. Не упрекай себя!

На это Ася сказала:

- Ты только несколько дней видела человека, которого любила, и все-таки всю жизнь не могла забыть его, а я! Мне без моего Олега пусто, так пусто... Мне так холодно, страшно и неприятно и мне так жаль его... У него было так много горя, а счастлив он был так недолго... Если б ты могла понять эту острую мучительную жалость - она как нож, воткнутый в тело... Если б ты могла...

- Если б только я могла объяснить тебе, - тихо и с горечью перебила Елочка, - как может иногда быть дорог человек, который не дал ни одной минуты счастья, а только мучил, сам того не зная; и что такое любовь, которая ни на что не надеется, ничего не ищет для себя, которая видит, как человек уходит к другой, и все-таки желает ему счастья... если бы ты могла понять такую любовь, ты, может быть, прозрела бы и осознала тяжесть моей потери!

- Что?! - воскликнула Ася, и слезы ее разом высохли. - Что ты сказала? Ты сказала о нем и о себе! Так он, значит, тот раненый, которого считали убитым и которого ты... Зачем ты молчала? Зачем?! Ведь я тебя спрашивала! Я бы ни за что не встала между вами!

Елочка отняла руки, которыми закрыла было лицо.

- Подожди, выслушай сначала! - и в голосе ее неожиданно прозвучала спокойная властность. - Пойми: я хотела видеть его счастливым! К тому же я слишком горда, чтобы насильно тянуть его к себе, рассчитывая на благодарность. А если бы я сделала тебя поверенной своего чувства, это бы навсегда встало между нами. Это возможно только теперь, когда его нет. Пойми, и не надо тревожить все это словами.

И она отчетливо ощутила всю красоту одинокой вершины и все величие отречения. Ей было дано на минуту вознестись выше себя, чтобы бросить оттуда ретроспективный взгляд и произнести оценку случившегося.

Только через несколько минут Ася отозвалась шепотом:

- Помнишь наш первый душевный разговор у камина в гостиной? Я сказала тебе тогда: «Какая вы большая, глубокая, умная! А я - какая жалкая, ветренная, пустая!» Это же я говорю себе и сейчас. Твои слова дали мне понять очень многое!

И обе подумали: «Слышит ли нас он? Видит ли нас в эту минуту?» Но синий сумрак не открывал потустороннего.

На рассвете Асю вывело из забытья прикосновение руки, и когда она подняла голову, то увидела перед собой Елочку с чашкой какао и сухариками; Елочка была уже в пальто и шляпе.

- Не возражай ничего. При мне сейчас же съешь и выпей - я тороплюсь на работу. Славчика я одела и накормила, собак уже вывела. Ну, ешь же, - и она поставила чашку на столик у постели.

Ася бросилась ей на шею:

- Ты придешь ко мне сегодня же? Придешь? Ты не оставишь меня одну?

Уходя, Елочка подумала: «Вот когда, наконец, я становлюсь незаменимой и единственной! Дорогой ценой досталось мне это место, но теперь никто уже не займет его!» Она поняла также, что Ася несколько овладела собой и, по-видимому, именно их ночной разговор помог ей в этом.

## Глава одиннадцатая

У Мики в этот день было свидание с сестрой. За те «уступки», которых сумел добиться от Нины следователь, она получила это свидание не через решетку, а в углу общей комнаты у окна.

Волосы у Нины были обриты, голова перевязана, обтянутые скулы исхудалого лица, черные круги под глазами и тюремный халат изменили ее до неузнаваемости. Она казалась старше лет на двадцать. У Мики захватило дыхание, когда он увидел эту тень прежней Нины.

- Ну, прощай, Мика, - сказала она. - Мне дали семь лет лагеря. Не думаю, чтобы я смогла это вынести. Жизнь мне сохранена только за то, что я подписала бумагу, в которой говорится, будто бы Олег - активный враг советской власти и сам признавался мне, что состоит в контрреволюционной организации. Я, конечно, знаю, что его и без моих показаний все равно бы пристукнули, и все-таки мне тяжело! Уже вторую ночь я вижу во сне княгиню Софью Николаевну. Устоять перед их угрозами и побоями почти невозможно... Леля Нелидова тоже что-то подписала...

- Нина, так это правда, что бьют? Тебя били?

- Вот смотри: все зубы выбиты! Я так вымотана, так обессилена. Допросы без перерыва по двое суток, руки в синяках. Следователь уверяет, будто бы меня, как артистку, используют для концертов и самодеятельности, а тяжелые работы меня минуют... Я этому плохо верю, да и радость небольшая петь этим Скуратовым! Я хотела тебе сказать: теперь моя опека над тобой волей-неволей кончается; ты сам будешь вершить свою судьбу - смотри: будь осторожен, не попадись в их когти!

- Нина, разве ты сама на собственной судьбе не видишь, что всегда только страшится - участь слишком жалкая! Если бы ты не отошла от веры, у тебя, может быть, нашлись бы силы и противостоять, ты вся была бы одушевленной, крепче... А ты и теперь меня призываешь только к осторожности!

- Я согласна, Мика, что произвожу впечатление самое жалкое, но ты не обвиняй меня, Мика, все-таки не обвиняй!

- Я не обвиняю! Что ты, Нина. Били...

- И еще одна просьба: не говори Асе, что я подписала эту бумагу, а Егору Власовичу, Аннушке и Марине расскажи все начистоту. Вещи продавай, если будет трудно; распорядись всем, как хочешь. А за меня молись как за грешницу, если не разучился еще молиться! Перекрестить хочешь? Ну, перекрести. Дай поцелую эти лягушачьи глаза, такие мне родные. Я не плачу - ты видишь, у меня слез уже нет. Молчи. К нам подходят.

Выйдя из стен тюремного здания и сбега в низ по лестнице, он расстегнул ворот куртки, чтобы нащупать крест под рубашкой и сжать его.

- Господи, яви Свою помощь и силу! И это здесь, в России, в бывшем Петербурге, могут происходить такие вещи! Истязают женщину, чтобы вынудить у нее заведомо лживые показания! Да чего стоят тогда вся эта коммунистическая мораль и все эти обещанья счастливой жизни, которая нас будто бы ждет по окончании пятилетки? У меня в голове словно наковальня. Я, кажется, готов попать и отбросить все мои христианские настроения и планы на жизнь и ринуться в политическую борьбу. Нет, не всегда можно и следует прощать; таких мерзавцев, как этот следователь, прощать нельзя!

Ветер с моря дул в лицо вместе с мокрым снегом и свистел всю дорогу, пока он мчался на квартиру Аси.

«Смерть или лагерь... Господи, будь милостив, пронеси мимо наших уст хоть эту чашу!»

После суровой отповеди Елочки, ринувшись вниз, он остановился в подъезде, словно сведенный судорогой.

- Жди милосердия! Как же! Мы раньше переоколем все, чем дождемся ответа хоть на одну молитву! Жестоко, до неприличия жестоко, - произнес он почему-то вслух, скандируя слова. Он словно грозил кому-то.

Участь Нины казалась ему трагичней участи Олега. Нину ждало все самое худшее: укоры

совести, разбитое тело, непосильно тяжелые условия существования. Разве не легче просто умереть?! Нина так исхудала, что вся стала какая-то маленькая... Зашибленная, с перевязанной головой, она чем-то напоминала ему перевязанного Барбоску, у которого болят зубы: открытка, которая в детстве часто встречалась ему в старорежимных альбомах и вызывала в нем настолько сильную жалость к собачке, что он избегал смотреть на эту открытку, желая покончить с ненужной чувствительностью.

«Я тоже виноват и буду мучиться своей виной не меньше, чем она своей, теперь, когда уже ничем не могу помочь! Ей нелегкая досталась задача тащить и воспитывать меня с четырех лет, а я всегда только мучил ее непослушанием, издевками и всякими фокусами и штучками. Она так рано овдовела, а когда полюбила, я и тут затравил ее... Как мы все порочны и как глубоко несчастны, а я к тому же все еще не христианин – я не могу произнести: Господи, да будет воля Твоя! Я кощунствую! Да, это было кощунство – то, что я позволил себе в подъезде! Михаил Александрович, вы набор всевозможных пакостей! Можете о себе не обольщаться!» – и тут же попал в объятия милиционера.

– Гражданин, вы зачем переходите улицу в недозволенном месте? Платите штраф!

– Отстаньте! Денег у меня при себе нет. Хотите тащить в отделение – пожалуй, тащите. Мне все равно.

– Вы как мне отвечаете, гражданин? Как это так вам все равно?

– А так, что мою сестру в тюрьме пытали, а теперь отправляют в лагерь ни в чем не виноватую и больную. Ясно вам?

Милиционер махнул рукой:

– Проходите, гражданин, и в другой раз будьте внимательней. Мика проводил его несколько ошалелым взглядом. «Вот так штука! Дошло! Не ожидал, признаться!»

Его заранее раздражала та реакция, которая – он это знал – последует в кухне в ответ на катастрофические известия. «Они промолчать не сумеют! Сейчас же пристанут с расспросами и начнут ахать и охать, еще завоят чего доброго! Такт-то ведь за редким исключением достояние того как раз воспитания, против которого я всегда бунтовал, находя в нем то фальшь, то условности, то принуждение. Бунтовал, а когда, бывало, в ком-либо из окружающих этого самого такта не хватает, сейчас расчуаю и сам же первый злюсь. Я ж говорю – набор пакостей!»

Реакция и в самом деле оказалась именно та, которую он ожидал:

– Нинушка, дитятко ты мое! Краса ненаглядная! Изведут тебя окаянные лиходеи! Мало, что мужей твоих, сперва одного, а после и другого, ухлопали, теперича и саму порешат! Вовсе у их ни стыда ни совести! – голосила Аннушка, подперев рукой щеку. Приятельница – прачка – скорбно кивала головой, одновременно и сочувствуя, и одобряя способ причитания.

Дворник молчал, но по его морщинистому лицу медленно катились слезы, а сжимавшая костыль рука дрожала.

– Молчи, Анна! – выговорил он наконец глухо. – Касатку нашу теперь не вернуть, а у меня от причитанья твоего сердце заходит. Малость повремени. Подикось покличь Мику – договориться бы с ним, в какой день справить службы Божии.

– Как же! Олега-то Андреевича и отпеть и помянуть надобно! – и Аннушка засемила к двери:

– Мика! Выдь, родной! Муженек мой тебя спрашивает.

– Слушаю вас, Егор Власович! – рапортовал Мика, появляясь на пороге кухни.

– Поди сюды. Чего хоронишься-то? – медленно заговорил дворник и притянул молодого человека за рукав. – Мы в твоём горе тебе не чужие, сам знаешь. Оно бы отпеть следовало, да заочно земле предать Олега Андреевича, и молебен бы за здравие болящей и скорбящей рабы Божией Нины отслужить, не мешкая. Договорись с Дашковой, Ксенией, да Марину Сергеевну извести.

– Сделаю, я сам о том же думал, – кивнул Мика.

Аннушка перебила:

– Микушка, а что же девонька тая – подружка Асенькина, – которую по нашему же делу взяли,

что она? Неужто и ее к высшей? Ведь ей, почитай, не больше двадцати годочков?

- О Елене Львовне мне ничего не известно. Они осведомляют только по поводу самых близких. Вот Вячеслав вернется - спросим, - ответил Мика.

Когда Вячеслав вошел, то пересек кухню, не говоря ни слова; и так же молча взялся за скобку своей двери. Мика и дворник проводили его взглядами, и вопросы замерли у них на губах, но Аннушка не утерпела:

- Ну, чего узнал? Говори! Неужто на смерть?

Вячеслав помедлил, как будто с силами собирался, а потом, швыряя фуражку на кофорок Надежды Спиридоновны, ответил:

- Загубили девчонку!

Аннушка ахнула, дворник выпучил глаза, а Мика спросил:

- А просьба о помиловании?

- Подано, да ведь меньше десяти лет не дадут, коли присуждена к высшей, - и скрылся за дверью своей комнаты.

Все помолчали.

- Совсем, видать, извелся. Лица на ем нет. Почитай, невеста она ему, - сказала сострадательная Аннушка, но Мика не пожелал касаться таких деликатных тем; к тому же отношения Вячеслава и Лели были для него такой же загадкой, как и для остальных. После нескольких минут колебания он постучал в неприветливую дверь.

- Можно к тебе? Я хотел узнать, когда ответ из Москвы ожидается?

- Следователь сказал: дней через десять, - ответил Вячеслав.

- А свидания тебе не удалось добиться?

- Свидание дадут, если выйдет помилование, а пока остается только ждать. Притом я не знаю, с кем захочет она иметь свидание: дают только один раз с одним лицом - может быть, предпочтет Ксению Всеволодовну.

Но Мика и тут не задал вопроса. По-видимому, Вячеслав оценил эту деликатность - он взял руку Мики и крепко пожал.

- Ты, Мика, знаешь: я Нину Александровну и уважаю и люблю. Душевный она человек! И с Олегом Андреевичем мы, почитай что, друзьями были. Мне их судьба сердце переворачивает.

Мика молчал, боясь, чтобы голос не выдал его душевного волнения, которое он считал недостойным мужчины.

- А как твои дела по партийной линии? - только через несколько минут спросил он, задушив слезы и овладев собой.

- Скверно - вычистили! Я, по правде говоря, не ожидал. Все припомнили, одно к одному свели: и неудачную речь в защиту профессора, и заступничество за швейцара, и хлопоты за Нелидову, и поездку в Лугу с детьми. За это больше, чем за Нелидову взгрели. И откуда пронюхали? Предместком очень уж вредный; я швырнул ему в морду свой партбилет! Ну да я восстановлюсь. Я было на стройку в Комсомольск уже подрядился, да придется, видно, прежде в Москву ехать: добьюсь там пересмотра. В Москве рассудят по справедливости: за меня вся моя жизнь!

Но в интонации его были ноты подавленности.

- Ты надеешься еще найти справедливость? Смотри, как бы и тебе не приклеили пятьдесят восьмую с каким-нибудь из ее бесчисленных параграфов.

- Меня этим не запугаешь, а всем молчать тоже нельзя. Товарищ Ягода не на высоте и набрал себе в штаты недостойных лиц, а в первичных организациях у нас завелись шкурничество и бюрократизм. Это все толково изложить надо и вскрыть нарыв на теле нашей партии! Сейчас мне ничего на ум не идет, а вот как выйдет решение с Еленой Львовной, тотчас примусь за дела. - Вячеслав говорил как будто с трудом, через силу выговаривая.

- Я думаю - помилуют, - сказал Мика, не зная как лучше выразить сочувствие.

- Хочу так думать, но уверен быть не могу, - все с той же интонацией ответил Вячеслав.

Подошла Аннушка.

- Идите оба к столу, чаю выпейте. Шутка ли: с вечера не евши ни тот, ни другой. Нинушка, моя голубушка, уезжая в Лугу, наказывала: пригляди за моим Микой ненаглядным. Должен ты теперь меня слушать: я тебе вместо бабки.

Дворник уже держал блюдечко на пяти пальцах и поднес было к губам, да поставил обратно:

- Как живая она у меня перед глазами, - глухой голос старика дрогнул. - Да не такая, вишь, какой в последние годы была, а подросточком с косами. Помнишь, Аннушка, болел я в Черемухах легкими, и она сама кажинное утро «кофий по-венски» с барского стола мне приносила; войдет с подносом и встанет, а глазки так и светятся. Помнишь ты, как стали ее верховой езде учить - я за повод лошадь веду, а она мне: «Не отходи, Егор!» - да прямо в волосы мне, бывало, вцепится рученькой своей. Покойный барин изволили раз подарить ей ослика и кабриолетик; избиделся я: нетто это порядок, говорю, нельзя никак в конюшенную пустить этакую тварь! Лошадь - животное благородное и такого суседства не потерпит... - Но Аннушка перебила повествование мужа:

- Я в те дни мою Нинушку жаворонком звала: голосок у нее уже тогда звонкий был, да пела-то недолго - как убили Дмитрия Андреевича, так и вовсе примолкла, сердечная. Я ей: что же ты песни свои забыла, Нинушка? А она мне: пела-пела пташечка и затихла, знало сердце радости и забыло! А потом, как прикончили старого барина...

Мика вскочил:

- Я пойду, Анна Тимофеевна! Я слушать все это... Мне... Поброжу немного по улице... Так лучше будет.

На лестнице он столкнулся с Мариной, которая взбегала через ступеньку.

- Что? - спросила она, останавливаясь и тяжело дыша.

Он минуту помедлил, язык ему не повиновался.

- Поднимитесь к нам... Аннушка вам все скажет...

Она испуганно схватила его за руку. Не глядя ей в глаза, он вырвал руку и сбежал вниз.

Была только одна душа, с которой ему хотелось сегодня говорить; взаимопонимание между ними уже было достигнуто, и задушевность становилась потребностью. Едва он выбрался на улицу, ноги сами вынесли его на Конную.

- Что с тобой? - спросила Мери, едва лишь открыла ему дверь.

Сесть в ее маленькой комнате можно было только на кровать; пахло лампадным маслом, ладаном и немного сосновой веткой, которая была заткнута за икону Скоропослушницы. Она была в черном - старом школьном платье, уже заплатам, волосы гладко зачесаны в косу; она была не из тех, что прихорашиваются: губы ее еще не знали помады, она не душилась, не пудрилась. На столике у кровати рядом с творениями Ефрема Сирина лежал томик ее любимого Достоевского. Тут же просфора, вынутая за упокой брата. И казалось, возвышенная и серьезная атмосфера храма занесена сюда и отсвечивает даже в ее лице и взгляде. «Херувимские» кладут свою печать на лица!

Он стал рассказывать, заранее зная, что ее реакция будет такая именно, какая нужна ему, - иная, чем у всех тех, с кем он сталкивался сегодня утром.

- Я сейчас с тоски не знаю, куда мне деваться! Дома Аннушка причитает и плачет, хоть уши затыкай. Как преступницу - на семь лет каторги! В том виде, в каком она сейчас, ей этого не перенести, а ведь она заменяла мне мать - я это слишком поздно понял! - он вдруг приник лбом к рукам девушки... - Мери, я грешник, я сейчас кощунствовал омерзительно, безобразно! Когда я узнал, что ее пытали, меня такое разобрало отчаяние! Если бы ты только слышала, что я говорил в подъезде у Аси! Мне кажется сейчас, что борьба политическая принесла бы, может быть, больше плодов и больше удовлетворения, чем все наши бдения и работа над собой! Я способен повернуть на все сто восемьдесят градусов!

- Сохрани тебя Бог, Мика! Политические партии - омут! В них все строится на многоглаголении и обмане, на убийствах и мести! Слова-то у них у всех хороши - у наших коммунистов даже лучше, чем у других, а что на деле - вот мы теперь видим! Царствие Божие внутри нас, не забывай! - Она положила руку на его голову и смотрела на него серьезно и

озабоченно, как врач на больного. – Старайся быть благостным, Мика. Нам – христианам – дано великое счастье обновлять душу в Таинстве Причащения. Если ты раскаиваешься и сознаешь свою вину, кощунство твое с тебя снимется. А за Нину Александровну мы теперь должны молиться, не отчаянием нашим мы ей поможем. Почем знать? Может быть, великое испытание это послано ей, чтобы разбудить в ней веру и тягу к духовному. Знаешь, я сейчас все время около умирающей: меня приставили к сестре Марии, даже с клироса ради этого сняли. Сестра Мария ждет кончины, как перехода в иное существование, и уже забрасывает взгляд по ту сторону. Она недавно видела во сне, как будто к ней в грудь вошло Солнце... А вчера – я слышу – она тихо напевает ирмос: «Бога человекам невозможно видети...» Она переживает что-то высокое.

– Нина уже давно потеряла веру! – печально сказал Мика. И после минуты молчания воскликнул: – Как допускает европейский христианский мир такие гонения на русскую интеллигенцию и русскую Церковь? Вот Россия всегда приходила на помощь и грекам, и болгарам, и сербам, и Кипру, а когда гибнем мы, никто пальцем не шевельнет! Эта гордая холодная Англия только радуется, когда та или иная великая нация терпит катастрофу. Но Россия опять восстанет назло им всем! Ее еще в пятнадцатом веке сравнивали с фениксом, который возрождается из своего же пепла.

– Да, Мика, и спасет Россию Церковь! Не эти несчастные белогвардейцы, которым не на кого опереться и которых скоро пересажуют всех до последнего, не левые и не правые, а именно Церковь! Я чувствую, что выросла в Церковь органически: атмосфера храма, иконы, свечи, пение, церковная среда – все это со мной уже сроднилось. Это не значит, что я не вижу недостатков в церковной среде, но когда болеешь душой, преданность становится еще сильнее! Только в церковной среде в нашу жизнь может войти подвижничество. Как безмерно я благодарна маме, которая приоткрыла передо мной этот мир. В школьные годы мне случалось досадовать на маму за нескончаемость требований и запретов, теперь только я поняла, чем я ей обязана. Она не побоялась привить нам то, что преследуется как одиозное, а сама всегда так мужественно принимает удар за ударом!

– Я готов целовать подол ее платья! – воскликнул Мика пылко.

– Ты вот говоришь о политической борьбе, – опять начала Мери. – Древние христиане погребали одного за другим своих лучших последователей и пресвитеров, но за оружие брались только как воины в армии. Христианин при любой власти обязан быть самым лучшим гражданином. Ты помнишь, что ответил святой Севастьян императору Максимиану, когда тот заподозрил в нем тайного заговорщика? Когда я в пятнадцать лет читала о святом Севастьяне, я думала: вот идеал мужчины! Это был блестящий римский офицер, один из начальников дворцовой кордегардии, а умер как мученик.

– Святого Севастьяна ты не встретишь, Мери, будь уверена. Святой – один на несколько миллионов! – сказал Мика, почему-то задетый за живое ее словами.

– Конечно, не встречу, а если б встретила, он, наверно, нашел бы подругу более достойную, чем я. Конечно, не встречу, но я могу в другом увидеть те черты, которые мне так нравятся, пусть в зародыше, в потенциале. Я помогла бы ему усовершенствовать себя и свой христианский путь, а он помог бы мне, чтобы вместе приблизиться к идеалу. В этом виде мне кажется прекрасным христианский брак.

«Да, – подумал Мика, – мы уже взрослые теперь. Ее ждет замужняя жизнь, и, может быть, скоро. Любовь такой девушки – большая опора. Это тебе не Ксения Дашкова или Леля Нелидова – две куклы с очаровательными личиками и восковыми руками, но пустоголовые. Обе только на грешные мысли наводят. А Мери встанет рядом как равная, мыслящая и сильная! Кого полюбит она?»

– Знаешь, Мика, на днях меня вызывали в красный уголок, и там какой-то корреспондент имел со мной серьезную беседу.

– По поводу чего же?

– А вот зачем я, молодая девушка, окончившая десятилетку, пою на клиросе и гублю себя в

церковной среде. Перед вами, говорит, огромное поле деятельности. Мы дадим вам службу, а может быть, и путевку в вуз; порвите только с этими ханжами и мракобесами; напишите статейку в виде письма в «Комсомольскую правду», что вы порываете с Церковью, так как окончательно разочаровались в религии и ее последователях, и начните новую жизнь. Я, говорит, помогу вам составить статью и замолвлю за вас словечко в предстоящей паспортизации. Я, разумеется, отказалась. Я отлично понимаю, что компрометирую себя и зарабатываю себе понемногу лагерь, но уж таков мой путь: я только в Церкви вижу свои задачи и только от Церкви жду вселенского света!

Мика крепко сжал ее руку...

- И я. Не бойся, Мери, не бойся ничего! Жизнь, несмотря на все ужасы, преинтересная штука: разве не любопытно, что нам доведется сделать? Разве не весело бороться и умирать? Энергия опять накапливается во мне так, что в груди тесно! Подвижничество, сказала ты, а я говорю - мученичество! Слышишь, жизнь, мы не боимся твоих ударов, а напротив, заранее радуемся им! Из нынешних будущие - мы!

Лампадка одна горела и дрожащим отблеском освещала кроткий лик Казанской Богоматери; сидя на табурете около больной, Мери пристально всматривалась в ее лицо. «"Бога человекам невозможно видеть..." Вот эта улыбка, которая появляется иногда на ее губах... я бы хотела на всю жизнь запомнить улыбку человека, который уже видит потустороннее! Чем была бы сейчас моя жизнь без Церкви? Я разлучена с родителями... Дома у меня нет... Учиться я не могу... Я под угрозой лишения паспорта... Все мои задачи и все радости - только в Церкви! И любовь ждет меня тоже в Церкви, где ценят в человеке веру и волю, а не проходящую красоту. Как говорится в молитвах перед Причастием? "Божественное Тело и освещает мя, и питает; обожает ум, дух же питает странно!" Какая мистика, какие дали!»

Старая инокиня открыла глаза, и Мери встала, чтобы подать ей кружку киселя.

- Выпейте, это - клюквенный. Я сама готовила. Вы еще ничего не кушали сегодня.

- Спасибо, моя девочка. Будь добра, сбегай вечером на Творожковское подворье и попроси отца Христофора прийти ко мне завтра со Святыми Дарами. Я боюсь откладывать долее эту минуту.

- Слушаюсь, - ответила девушка, опять приподымаясь, и не прибавила общепринятых фраз - «вы поправитесь», «не надо думать о смерти».

- Бог еще милосерд ко мне, грешной, - продолжала монахиня, - есть целые области, в которых не осталось ни единого храма, люди живут и умирают без Причастия. Несчастные большевики: какую тяжелую ответственность взяли они на себя, что создали такое положение! Вот твоя мать прислала мне письмо, где пишет, как она стосковалась без церковных Таинств. Надо ей помочь: я попрошу отца Христофора переслать ей Дары. Она не раз у него исповедовалась, и ему известна ее духовная жизнь. Тут потребуется очень надежный и верный человек, который возьмется отвезти... Можно было бы это поручить тебе, только прежде закрой мне глаза: я уже привыкла видеть около своей постели тебя.

- Я и сама не захочу вас оставить в ваши последние часы, - сказала Мери, и глаза ее блеснули при мысли об ответственности и важности поручения, а в экзальтированной головке опять мелькнуло напрашивающееся сравнение с древними христианами. - Бедная мама! Никогда не слышать Божественной Литургии! Я бы, кажется, не вынесла, - прибавила она.

- Да, Мери. «Мерзость запустения на месте Святом». Что бы сказал Федор Михайлович Достоевский! Народ-Богоносец оказался громилой с черной душой. Ты мне напоминаешь твою мать, Мери: и лицом и целеустремленностью. Если ты навсегда останешься под сенью Церкви, ты духовно созреешь и узнаешь ту радость, о которой говорится в Евангелии: «И радости этой никто не отымет у вас». Тебе немного не хватает смирения и кротости, ты несколько горяча. Запомни это, переламайвай себя, а я, когда тебя вижу, наполняюсь отрадной уверенностью, что верующие не переведутся и что есть еще среди молодежи готовые идти за Господом путем отречения. Милосердный Господь посылает мне в твоем лице еще одно утешение. Жаль, что не доведется мне увидеть твоего пострига.

Щеки Мери порозовели.

- Вы знаете, сестра Мария, как я люблю монашество. Я мечтала о нем... Но я все-таки не могу вовсе не думать о земной любви, считать ее греховной. Я уже два раза признавалась на исповеди отцу Варлааму. Ведь любовь повышает способность к творчеству, любовь дает жизнь новым существам, любовь побуждает даже самого эгоистического человека жертвовать собой для любимой женщины, для детей... разве мало примеров? Я давно хотела вам рассказать... Я не хочу, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я есть... У меня... Я... Мне нравится один мальчик, тоже верующий - из братства. Мы с ним пока только друзья, но очень хорошо понимаем друг друга; если бы я его полюбила и прошла с ним за руку весь путь к вечной жизни и богопознанию через узкие врата, разве не прекрасен был бы такой союз и, может быть, мученичество вместе, как в древних церквах?

Но инокиня с сомнением покачала головой.

- Такие мечты - опасные ростки, Мери! У тебя они еще очень нежные и тонкие, но им не следует давать ход. Тебя Сам Господь призвал - не случайно ты к нам попала! Берегись соблазна. В основе брака лежит все-таки физическое тяготение, особенно сильна эта животная сторона в мужчинах. А монашество призывает к господству над телом, только когда человек победит в себе голос плоти, приходят духовное прозрение и молитвенный восторг, о котором пишут такие подвижники, как Иоанн Лествичник и Ефрем Сирийский. Ты пришла к нам еще не вкусив порока и должна благодарить Господа за милость к себе.

- Сестра Мария... Простите меня за дерзость, но... ведь вы же любили в молодости; мама говорила, что иночество вы приняли только после того, как муж ваш погиб на «Петропавловске». Почему же вы отговариваете меня, если сами...

Инокиня приподнялась, опираясь на локоть.

- Да, я любила, Машенька, и острую рану нанес мне этот человек! Никому кроме духовных руководителей я об этом не рассказывала... Все вокруг всегда были уверены, что в монастырь я пошла с горя. Тебе я расскажу, чтобы помочь тебе покончить с иллюзиями. Я вышла замуж очень молодой и подобно всем девушкам моего круга пребывала в блаженном неведении о пороках мужчин. Мой муж, морской офицер, увез меня во Владивосток, где стоял тогда «Петропавловск». Ни один город в мире, я думаю, не жил так весело и не безумствовал так, как этот порт, где собирались моряки со всего света. Наши офицеры - золотая молодежь царского времени, столбовые дворяне, получившие блестящее воспитание, - задавали тон и сорили деньгами, купая в шампанском дам полусвета... Кутежи приняты такие размеры, что издан был специальный приказ посылать в дальневосточные порты только женатых юношей. Я ни о чем, конечно, не подозревала... И вот однажды, когда я вернулась раньше времени домой с тенниса, я застала в комнатах кутеж с красотками... Одна из них... полуобнаженная... лежала на моем рояле. Я без оглядки убежала из дому и в тот же день умчалась в Петербург к матери. В тот именно день я потеряла любимого мужа. Спустя месяц началась война, и погиб от взрыва «Петропавловск». Но я переживала только боль за поражение как русская, как патриотка, а гибель мужа оказалась для меня выходом из создавшегося невыносимого положения: как вдова я могла снова выйти замуж или уйти в монастырь, который и прежде привлекал мои мысли, а если бы муж вернулся, меня водворили бы обратно в его дом; я же не могла даже вообразить себе близости с этим человеком после того, что видела... Теперь все это уже так далеко! Я без боли уже поминаю на молитвах имя мужа - все сгорело во мне, я все простила... Но что делалось когда-то в этой грешной душе! Мне трудно много говорить... К тому же через стену из соседней квартиры доносятся сатанинские фокстроты - наверно, патефон стоит у самой стены. Прочти мне о праведных у источников вод.

Мери послушно стала перелистывать Апокалипсис, но упрямая черточка залегла между ее бровей и около губ.

«Это только прежде, когда были богатство и роскошь, могли происходить такие вещи, - думала она. - А Мика не такой, как эти блестящие офицеры. Нельзя даже вообразить себе Мику с "красотками". Он слишком умен и серьезен. Он вырос после "очистительных бурь", и удовольствия не занимают большого места в его жизни. Я знаю, наверно знаю, что он еще

никогда не смотрел на женщину с нечистыми желаниями – ему еще никто никогда не понравился. Он полюбит меня, потому что у нас близость душ, которая все нарастает. Путей отречения много, очень много... Я отдам Церкви все мои силы, но счастье с Микой я оставлю себе».

## Глава двенадцатая

Дворник молился всех горячее; истово осеняя себя крестным знамением и с усилием преклоняя колени, он, казалось, не замечал слез, катившихся по его щекам, и тех взглядов, которые бросали на него присутствовавшие в храме.

– Помяни, Господи, раба Твоего Олега, убиенного! Помилуй, защити, охрани рабу Твою скорбящую и болящую Нину! – шептал он.

Отпевание служили в одном из соборов; целый ряд лиц, желающих присутствовать, не могли бы добраться до Киновии, которая была расположена в отдаленном районе на правом берегу Невы, и куда надо было добираться по перевозу. Были оповещены все родные и знакомые. Братство явилось полностью, и многие удивлялись присутствию такого большого числа молодежи, которая пела так слаженно и красиво, как хорошо обученный хор, а не случайное собрание молящихся.

Ася при первых звуках службы отошла в сторону и встала в уголке у иконы Серафима Саровского; изредка взглядывая на икону исподлобья полными слез глазами, она думала: «Ты меня всегда слышишь, но как раз самой большой моей молитвы ты не исполнил... Почему? Почему?»

Елочка, тотчас с решительным видом двинувшаяся за Асей, стояла сзади, как будто готовясь ее поддержать: Ася, однако, благополучно выстояла всю службу и плакала только совсем неслышно. Елочка не плакала вовсе и простояла с сухими глазами даже во время пения «Со святыми упокой». Она несколько раз неприязненно косилась на рыдавших Аннушку и Марину и даже передернула плечами, когда Марине пришлось подать воды.

«Это что еще за демонстрация чувств? Кто эта дама в трауре, которая делает себя первой персоной в горе? Уж, кажется, эти потери прежде всего наши», – ревниво думала она. Чувство собственности на Олега и Асю не оставляло ее даже здесь.

По окончании службы непредвиденно разыгрался инцидент: старый диакон, словно злобный индюк, напустился внезапно на Мику, не сжалившись ни над его юностью, ни над расстроенным лицом.

– Вы, юноша, подвести нас, что ли, пожелали своею панихидой? Просите возглашать за «убиенного», а сами собираете столько народу, молодежь, дамы все, как на подбор, свой хор приводите... Для чего вам все это понадобилось в такие тяжелые для Божьей Церкви дни? Да ведь нас потом обвинят, что мы панихиды в демонстрации сочувствия превращаем или что у нас тут недозволенные собрания «бывших». Нам и без того обвинение за обвинением бросают. Собравшиеся, обступив Мику, сначала молча выслушивали распетушившегося старика; потом пробежал шепот негодования... Но достойный ответ нашла только одна – самая юная, с черной косой:

– Отец диакон! Служителю Церкви не подобает быть таким малодушным в тяжелые для Божьей Церкви дни, – и, перекрестившись, прибавила: – Да простит Господь и вам, и мне.

Злобный старик встал на полном ходу.

В притворе подошла к Асе Марина и после нескольких слов с выражением сочувствия поманила к себе Славчика.

– Подойди ко мне. Покажись, ну, покажись, какой же ты? – она поцеловала его в щечку, потормошила и снова разрыдалась, обнимая малыша.

– Ну-ну-ну, – заворчала, подходя, Аннушка, – впредь думай больше! Не тем местом думаешь, каким надо!

Ася большими испуганными глазами на вытянувшемся личике проследила за Мариной.

- Эта дама, наверно, ребенка потеряла? - спросила она стоявшую около нее Краснокутскую, но та не могла ничего объяснить ей.

«Русская Андромаха! - думал молодой Краснокутский, не спуская глаз с Аси, державшей за ручку Славчика. - Через год я сделаю ей предложение. Полагаю, что в этот раз она оценит и примет!»

Мадам Краснокутская, по-видимому, думала то же самое и заботливо, уже заранее по-матерински, поправляла на Асе шарфик, говоря:

- Не простудитесь, моя прелесть.

Когда Ася и Елочка вернулись на квартиру Аси, первое, что им бросилось в глаза, была многострадальная офицерская шинель, которая, благодаря нераспорядительности Аси, все еще висела в передней.

- Древние были по-своему правы, когда сжигали вещи умерших! - печально сказала Елочка. Ася ничего не сказала, только углы ее губ дрогнули. Из комнат навстречу им уже ползла невидимым клубком пустота; собаки, по-видимому, почувствовали ее - не прыгали и не радовались, встречая хозяйку, а только тихо коснулись холодными носами рук Аси, слабо повизгивая. Обе подруги прошли в спальню, перешагивая через расползавшихся по комнате щенят. Ася устало опустилась в качалку.

- Кажется, в самом деле не следовало оставлять беременность. Я все-таки не учла размера бедствий! Это будет заморыш или уродец: уже седьмой месяц и все еще незаметно на посторонний взгляд. Со Славчиком было не так.

- Глупости, Ася! Ребенок будет самый нормальный, увидишь. Уродливые дети рождаются от алкоголя и венерических болезней; я работаю в больнице и знаю. Не внушай себе.

Но Ася шла дальше по тропинке безотрадных мыслей; до сих пор, переходя поочередно от безнадежности к надежде, она как будто не видела всей трудности собственного положения, теперь перед ее умственным взором разом возникли удручающие перспективы.

- Впереди - точно бездна! Как я уеду в незнакомое место одна, в положении, с ребенком на руках? На кого я потом буду оставлять детей? Работать необходимо, а кем работать? Диплома я не получу... Я не могу сдать выпускных экзаменов... Со мной уже несколько дней творится что-то странное: я забыла все разученные вещи, а ведь программа была уже готова. Сегодня я в сотый раз сказала себе, что должна взять себя в руки, и села за рояль, но я ничего не могу сыграть, ничего! По-видимому, я потеряла музыкальную память - от страха или от тревог - не знаю. Может быть, это со временем пройдет, но сейчас, сколько бы я себя ни принуждала - я сыграть не могу. А ведь я уж и так пропустила все сроки. Кроме музыки я ни на что не способна... На что же я буду содержать семью?

Елочка искренно возмутилась:

- Ты работать не будешь. Это невозможно с детьми. Работать буду я. Здесь ли, в ссылке ли, ты без моей поддержки не останешься.

Слезы опять наполнили уже наболевшие глаза Аси.

- Что ты! Что ты! Я не допущу! Ты и без того огромную жертву... Все счастье мне отдала... Неужели же я еще буду собирать с тебя мед, высасывать все соки?

Елочка ее перебила:

- Не будем обсуждать сейчас. В настоящее время на работу, тебя все равно не примут: и из-за анкеты, и из-за беременности... пусть сначала родится ребенок и выяснится, где вам придется жить... Тогда вместе решим остальное...

Наступило печальное молчание.

- Что мне пришло в голову, - встрепелась вдруг Елочка, - в таких случаях всегда конфискация... Каждую минуту могут явиться описать имущество. Надо спасти, что только возможно! Дай мне сегодня же что-нибудь из дорогих вещей - я отнесу к себе.

Ася обвела глазами комнату, потом встала и подошла к туалету.

- Вот, - и она протянула Елочке два бархатных футляра. - Здесь фамильная драгоценность Дашковых - фамильные серьги, а здесь - бабушкин жемчуг. Сохрани для Сонечки.

- Еще что?

- Ничего. Рояль... Рояль ты не унесешь! А предметы необходимого обихода не описывают. Мне больше ничего не дорого, - и она повернулась к окну: - Смотри, какая безнадежная серость за окном!

- Ах, Ася! Ты неисправима в своей беспечности! Ведь на продажу вещей ты сможешь жить. Вспомни, сколько раз вас выручали фарфор и бронза Натальи Павловны! Вот она отдавала себе ясный отчет в положении ваших дел; я уже кое-что попродавала, а кое-что к себе перенесла по ее желанию, а с тобой так трудно! Вот хотя бы твой соболь или эта картина - курица с цыплятами, - их тоже можно превратить в деньги.

Глаза Аси печально остановились на картине.

- Она стоит три тысячи, но что толку, если ее никто не покупает? Возьми ее себе; я ее тебе дарю; она мне дорога в память встречи с Олегом, и я не хочу, чтобы она попала в чужие руки, а с собой в ссылку я ведь ее не потащу, - и пошла к двери. - Я в кухню: надо согреть макароны Славчику и щеняток покормить - у Лады уже не хватает молока.

Оставшись одна, Елочка стала стягивать с ребенка свитер; в эту минуту раздался звонок; она побежала в переднюю и увидела своего сослуживца - невропатолога, которого без ведома Аси пригласила к ней ее освидетельствовать.

- Борис Петрович! - радостно воскликнула Елочка. - Как я благодарна вам, что вы пришли! У моей приятельницы после тяжелого потрясения наблюдаются тяжелые отклонения от нормы: она не ест - уверяет, что ей мешает комок в горле; почти не спит и жалуется на потерю памяти...

Врач приглаживал перед зеркалом волосы маленьким гребешком.

- Пока пациентки нет, не скажете ли вы мне: какого характера душевные переживания? - спросил он.

- Несколько дней тому назад расстрелян ее муж по обвинению в контрреволюции. Пока тянулся процесс, она успела уже известись, а теперь...

Врач нахмурился.

- Елизавета Георгиевна, я никак не мог ожидать, что, повинувшись вашему приглашению, попаду в скомпрометированную семью! Вы меня поставили в очень неудобное положение. Извините меня, - и он протянул руку к пальто.

Елочка стояла, как громом пораженная.

- Я привыкла думать, что врач и священник не отказывают ни при каких случаях, - отважилась возразить она.

- Все зависит от обстановки, - и, поклонившись, врач поспешно вышел.

«Что же это? Господи, что же это!» - думала она, стоя посередине передней, которая одна из всех комнат Натальи Павловны еще сохранила нетронутым прежний барский вид, благодаря уцелевшему гарнитуру с вешалкой, зеркалом и подзеркальным столиком.

Снова послышался звонок.

«Одумался! Совесть заговорила», - подумала Елочка и поспешно распахнула двери... Перед ней стояла старая дама с респектабельной осанкой и такой же респектабельной сединой; английский костюм, лайковые перчатки, белоснежное жабо - все было верхом *distingue* [123], хотя все уже ветхое.

- Юлия Ивановна! - воскликнула Елочка, бросаясь навстречу старушке.

- Здравствуйте, дитя мое! Я хотела бы увидеть Асю. Я с большим трудом выхлопотала ей новую отсрочку выпускных экзаменов. Необходимо, чтобы она теперь же явилась в техникум расписаться в приказе и немедленно приступила к занятиям, иначе...

- Юлия Ивановна! К сожалению, это невозможно! Ася заниматься не в состоянии: мы только что вернулись с панихиды по ее мужу, который расстрелян.

Старая учительница опустила на стул.

- Мне передали, что он арестован, но я не знала, что все обстоит так трагично. Бедная крошка! - сказал она с нежностью и после нескольких минут молчания прибавила: - В этой девочке

гибнет редкий талант! Мазурки Шопена и миниатюры Шуберта и Шумана она играла лучше законченных пианистов. Крупная форма ей меньше удавалась.

Она скорбно задумалась, Елочка в почтительном молчании стояла перед ней.

- Странная и хрупкая вещь - талант! - заговорила опять Юлия Ивановна, видимо, погруженная в свои мысли. - Всякий раз, когда мне в руки попадает высокоодаренный ученик, я уже заранее дрожу над ним, и непременно случится что-нибудь, что помешает мне вырастить из него большого музыканта. Способные и малоталантливые блестяще заканчивают консерваторию, а неповторимые... На старости лет это становится моей трагедией. Ася была последней моей надеждой!

## Глава тринадцатая

Танька Рыжая с копной завитых, во все стороны торчащих волос, с ярко размалеванными губами и ногтями, разгуливая по камере смертников, уверяла окружающих:

- Мне помилование выйдет в обязательном порядке. Даже не тревожусь! Права не имеют пристукнуть: мне еще восемнадцати нет! - и, показывая кукиш, прибавляла: - Накось, выкуси! Она убила кастетом банковскую кассиршу. Со страхом взглядывая на эту девицу, Леля напрасно старалась уловить что-нибудь похожее на угрызение совести - одна наглая беспечность бросалась в глаза. Тюремные окна выходили во двор, ограниченный другим зданием с окнами таких же камер. Таньку Рыжую можно было часто видеть у окна переглядывающейся с мужчинами. Теми или иными знаками она приглашала их наблюдать за своими телодвижениями, чтобы вместе увлечься одной и той же игрой; при этом она обнажалась, как находила нужным. Восемнадцатилетняя Шурочка ложилась лицом вниз, чтобы не видеть этого бесстыдства. Вина этой Шуры была столь же «велика» - работая на обувной фабрике и сдавая на конвейер очередную деталь, она начертала на ней: «Долой Сталина». Учинили следствие и заподозрили одного из рабочих; тогда эта восемнадцатилетняя сирота - воспитанница детского дома смело явилась в местком и заявила на себя, требуя, чтобы освободили ни в чем не повинного товарища по работе. Теперь Шурочка ждала решения своей участи в камере смертников.

Еще сидели три монашки; эти не подавали просьб о помиловании, не подписывались под протоколами - они не хотели вовсе иметь дела с «бесовской» властью. На допросе они не давали показаний, не сообщая даже своих имен; в камере не вступали в разговоры; забившись по углам, они в положенные часы тихо пели церковные службы и никакие выходки и сквернословия Таньки Рыжей, ни окрики надзирателей не останавливали на себе их внимания. Слушая знакомые с детства напевы «Господи воззвах» и «Свете тихий», Леля всякий раз чувствовала, что слезы подступают к ее горлу.

В одну из ночей пришли за соседкой Лели по койке - шансонеточной певицей, обвинявшейся в связях с эмигрантами в целях шпионажа. Широко раскрыв глаза, полные ужаса, следили Леля и Шурочка, как та медленно подымалась и застегивала на себе пальто дрожащими руками. Как раз на другое утро явился конвой за Лелей.

- Не бось, не бось! Прощение, поди, объявят. Вот помяни мое слово: коли днем, значит, благополучно, - ободряюще шептала ей Шурочка.

Подскочила и Танька Рыжая.

- Не нюнь, смотри! Наплюй им в рожу! - присоединила она и свое непрошеное напутствие...

В эту последнюю встречу он поиграл с ней на прощанье, как кошка с мышью.

- Ответ из Москвы получен, - сказал он, вертя конвертом, и смолк, всматриваясь в нее прищуренными глазами. - Москва пересмотрела ваше дело. Ну-с, пишут нам, чтобы мы... - и опять смолк, наслаждаясь видом своей жертвы.

Леля молчала, чувствуя, что дрожит от напряжения, и слыша стук собственного сердца.

- Итак, приговор о расстреле решено... - Новая пауза. Леля все так же не шевелилась. Что дальше? Оставить в силе или заменить? Две секунды его молчания показались ей вечностью, -

заменить десятью годами концлагеря. Всего наилучшего, мадемуазель Гвоздика, – и, словно прощаясь с ней, он с насмешливой галантностью вытянулся и щелкнул каблуками, как шпорами. В этом жесте промелькнуло что-то слишком знакомое... что-то старорежимное, напомнившее ей... Валентина Платоновича. «Что такое? Мне померещилось! Неужели же эта кобра в прошлом!...» Он как будто напоследок показал ей себя. Но где же утерялись все те понятия о кастовом благородстве и чувстве чести, которые в те дни внедрялись в сознание вместе с «Отче наш»?

На следующий день Лелю перебросили в Кресты вместе с группой других. Там камера была значительно менее благоустроена, чем в большом доме, и переполнена до отказа – лежали вплотную одна к другой на дощатых нарах и под нарами, кто какое место захватил, матрацев не было вовсе – подкладывали пальто и платки; камера кишела насекомыми. Одним из первых впечатлений Лели была огромная белая вошь, которая ползла по пестрому крепдешину молодой женщины, лежавшей на собственном пальто на полу посреди камеры. Леля едва нашла себе маленькое местечко под нарами, где сидеть можно было только с наклоненной головой. Оно находилось в непосредственной близости к загороженному углу с раковиной и уборной.

В этой камере тоже были монашки, такого же типа, держались также своим кружком и также не отвечали на вопросы следователей и конвойных. Соседками Лели оказались на сей раз две совсем простые старухи. Одну из них – уголовницу, сидевшую за кражу, окружающие прозвали Боцманом за грубый голос и привычку горланить и ругаться; по ночам она храпела на всю камеру. Другая – Зябличиха – была, напротив, очень молчаливая и степенная; она весь день вязала, распустив на нитки свое же трико и сделав себе крючок из зубной щетки. Зябличихе инкриминировалась контрреволюция: как-то раз в очереди за картошкой ее прорвало – она вдруг разговорилась, доказывая, что при царях жилось лучше: картошку и огурцы покупали только ведрами, и добра этого никто и не считал, а о хлебе и сахаре и разговору-то не водилось. Это гражданское выступление оказалось для Зябличихи первым и последним.

Градус общего настроения в этой камере был несколько менее удручающим – заговаривали друг с другом, читали и даже играли иногда в домино за большим столом, который стоял посреди камеры.

Лелю донимали апатия и усталость, пришедшие на смену нервному перенапряжению. Страшная кобра уже не вызовет ее – это служило единственным утешением в безотрадном настоящем и будущем. Ни говорить, ни думать не хотелось, а только спать. Почти все время она находилась в полудремоте. Одно, что занимало ее мысли, – свидание, на которое она имела теперь право. Кто придет к ней? В поданном заявлении она указывала на мать или Асю; она почти не надеялась, что мать жива; в передачах, которые она несколько раз получала, чувствовалась чужая рука – мама и Ася уж наверно сунули бы туда яблочек и ее любимые конфеты «Старт»; они очень хорошо знали, что карамели она не любит и мятные пряники тоже; вот и мыло не то, которое она употребляла обычно. Кто же делал эти передачи? Уж не Елочка ли? Так или иначе, это указывало, что с ее матерью случилось что-то, и слезы душили ее от этих мыслей.

И вот наступило утро, когда ее наконец вызвали на свидание. Проходя по коридорам, она чувствовала, что дрожит в лихорадочном ожидании. Все в ней разом словно оборвалось, когда она увидела через решетку худое и смуглое лицо Елочки.

– Я пришла вместо Аси. Ася в больнице: вчера у нее благополучно родилась дочка! – поспешно крикнула ей Елочка, в свою очередь взволнованная и предстоящим тяжелым разговором, и Лелиным лицом, показавшимся ей почти восковым.

– А мама? Моей мамы уже... уже нет? – Голос Лели оборвался.

Елочка тяжело вздохнула.

– Да, Леля. Зинаида Глебовна скончалась еще в день вашего ареста. Мне очень грустно сообщить вам это. Второй приступ оказался смертельным. Ася была неотлучно при ней.

Леля прижалась головой к решетке и молчала. Елочка корректно выждала минут пять и,

наконец, собралась с духом.

- Простите, Леля, что я прерываю ваше молчание! У нас только десять минут времени, а свидание разрешается только одно. Я знаю, что я вам чужая, но лучше я, чем никто. Что передать от вас Асе и какие вещи вам приготовить к отъезду? Постарайтесь собраться с мыслями.

Леля все так же молчала.

- Вы, может быть, хотите, чтобы я ушла? - спросила Елочка.

- Нет, нет, Елизавета Георгиевна. Я вам очень благодарна, а только я... - Она снова умолкла.

- Леля, у нас остается всего пять минут времени!

Леля подняла голову.

- Скажите об Асе. Оставляют ли ее в Ленинграде?

- Неизвестно. Подписка о невыезде еще не снята. Возможно, что оставили только до родов. В ближайшее время все должно выясниться, - сказала Елочка и покосилась на приближавшегося надзирателя, который ходил между решетками.

- Она очень, очень убита? - спросила Леля. Елочка молча кивнула.

- А выпускные экзамены она сдала?

- Нет, не смогла, - Елочка покосилась на надзирателя, который ходил между решетками.

- Скажите, чтобы она меня не забывала, не теряла из виду. Скажите, что я буду думать только о ней. У меня, кроме нее и Славчика, нет никого на свете! Не знаю, увидимся ли мы: десять лет лагеря я, наверно, не вынесу. И еще скажите... On m'a battu! [\[124\]](#)

Елочка вздрогнула и опять оглянулась налево и направо.

- Поцелуйте ее и Славчика. - продолжила Леля. - Скажите, что я буду думать только о них. У меня кроме них нет никого на свете! Не знаю увидимся ли мы: десять лет лагеря я, наверно, не вынесу.

Кудрявая головка снова припала к решетке. Потом она вдруг оторвала лицо.

- Спасибо вам за передачи, Елизавета Георгиевна!

- Я не делала вам передач. Их приносил Вячеслав Коноплянников. Он и к прокурору выстаивал очереди, и о приговоре справлялся.

Изумление отразилось на восковом личике «чайной розы»; потом слегка дрогнули губы и сощурились ресницы, как будто взгляд пытался проникнуть в неведомые глубины... И вдруг далекий отблеск радости, как неясная радуга, скользнул по скорбным глазам и губам.

«Как неравнодушны они все к мужской любви!» - подумала Елочка.

- Отчего же... отчего же он не пришел сам? - голос Лели задрожал.

- Я, разумеется, готова была предоставить ему эту обязанность, - голос Елочки прозвучал сухо, - он намеревался идти и уже приготовил вам для передачи замечательные сапожки - русские, высокие, из очень хорошей кожи, где-то сам заказывал... Вчера он должен был прийти окончательно договориться с Асей, которая тоже непременно хотела иметь с вами свидание. Но я напрасно прождала его весь вечер, а Ася попала в больницу на десять дней раньше, чем мы предполагали, и идти пришлось мне. Сапожки эти я вам принесла, а также ваше зимнее пальто и теплый оренбургский платок от Аси - все это было приготовлено уже неделю тому назад. Скажите: не нужно ли еще что-нибудь?

- Нет, ничего. Ничего не нужно! Вот только мамину фотокарточку перешлите. Я Асе напишу, если будет дозволено. Берегите ее, а она пусть побережет могилу мамочки. Все какие остались после мамочки вещи - ей. До свиданья, спасибо вам, Елизавета Георгиевна.

И, не дожидаясь сигнала, Леля отошла от решетки.

Сапожки в самом деле оказались удивительно хороши и как раз впору, но где же человек, приславший их? Отчего вдруг раздумал прийти? Не был уверен в том, как она его примет? Или Ася слишком настаивала на своих правах? Он продолжает любить и помнить, несмотря на то что отвергнут! Она знала случаи, когда близкие родственники сторонились репрессированных, опасаясь скомпрометировать себя, но он не сделал так! Тут-то - на самых опасных мелях - он и протянул руку помощи, как мог бы сделать жених!

«Лучше не думать! Для меня мужская любовь уже навсегда потеряна! Десять лет лагеря - я или умру там, или выйду старухой. Мне будет по годам 33, но от этих мук я стану уже седая, изнуренная, в морщинах! Лучше не думать».

Волосы ее отросли за это время и пышными локонами опускались на шею, - они будут седые, эти локоны! Кому она будет тогда нужна? Невыносимы эти мысли! Когда смерть подходила совсем близко, казалось, пусть все, что угодно, лишь бы сохранить жизнь; теперь, когда острый момент прошел, подымался вопрос: зачем жить, если не будет ни счастья, ни семьи, а лишь один изнурительный труд? Не лучше разве было погибнуть сразу?! Теперь она начала предчувствовать, что тоска по счастью замучает ее. Что-то острое, подымаясь на поверхность со дна души, вонзалось в каждую мысль, в каждое впечатление... У нее составилось убеждение, что невидимое острие, выходя из сердца, подымается вдоль позвоночника и пронзает мозг!

«У Аси ничего подобного не может быть, как бы глубоко она ни была несчастлива. Это - возмездие за мои постоянные капризы и эксцентрические тяготения, за недооценку близких. Именно сюда уходят корни этого страшного растения. Оно питалось тою скрытою порочностью, которую никто не замечал во мне, кроме меня самой, а теперь - отчаянием, которое меня душит. Его не выдернуть никакими усилиями, и оно будет отравлять меня день и ночь, как злокачественная опухоль своими токсинами. О, какая я несчастная!»

- Не прошло и недели, как вся камера была разбужена среди ночи командой:

- Все! Собирай вещи, выходи в коридор! Без разговоров! Быстро!

В коридоре на тумбе уже лежали кипы «тюремных дел», которые заводились на каждого. Тюремное начальство передавало заключенных этапному. Команды отличались бесцеремонностью, претендовавшей на лаконичность:

- Стройся! По четыре штуки! Руки в заднее положение! Живее, живее! А ну, поворачивайся!

Эффектней всего была посадка в «черный ворон», куда заключенных запикивали, уминая ногами, дабы вместить как можно больше. Леля встала в четверке с Зябличихой, Шурочкой и одной из монахинь и, как только началась высадка на отдаленных запасных путях, по-видимому Московского вокзала, поспешила построиться с теми же, чтобы избежать соседства с Танькой Рыжей и Боцманом, которые вызвали в ней отвращение. Однако после первой же переклички выяснилось, что уголовниц нет среди приготовленных к отправке - эта партия из двух тысяч человек состояла только из политических! Огромный железнодорожный состав в количестве 50-ти вагонов уже был наготове. К каждому вагону-теплушке была приложена широкая доска - сходни, по обе стороны которой стояли конвойные с собаками; это были овчарки, которые злобно скалились, хрипели и выкатывали глаза, натягивая цепь и пытаясь схватить заключенных, пропускаемых мимо них; пена капала с высунутых языков. Леля с детства привыкла умиляться на всех четвероногих - и собак, и телят, и овец, и кошек - и с ужасом смотрела теперь на этих озлобленных тварей. «Что бы сказала Ася! Таких даже она не решилась бы гладить и целовать в морду! Они, по-видимому, заразились от этих людей их сатанинской злобой!» - думала она, подбирая в руку платье, чтобы благополучно пробежать между двух морд.

В каждую теплушку было запикнуто по пятьдесят человек: лежали, плотно прижавшись друг к другу, на нарах и под ними на разостланной соломе. Посредине была бочка с водой, а рядом на полу дыра, предназначенная играть роль уборной. Двери были плотно закрыты на болты, которые в первый раз раздвинули только в середине следующего дня, когда принесли еду и произвели проверку. Способ, применяемый в последнем случае, тоже был образцом «вежливости»: заключенных сначала уминали в один угол, а потом перегоняли палкой в другой, пересчитывая поштучно, как скот. Еда выдавалась на сутки - полкило хлеба и соленая рыба; ничего горячего; очень скоро начались желудочные заболевания, которых Леля благополучно избегла, воздерживаясь вовсе от рыбы и довольствуясь только хлебом.

Поезд часто подолгу стоял, но всякий раз на очень отдаленных запасных путях. Леля часто припадала лицом к щели, которая приходилась поблизости от ее места, и видела мелькавшие мимо бесконечные леса да изредка огни станций, но поезд ни разу не остановился против хоть

одной из станционных построек. Среди заключенных заводились иногда долгие разговоры, которые стали возможными только благодаря отсутствию уголовного элемента. Все это в огромном большинстве была интеллигенция в высшей степени корректная по отношению друг к другу; было много весьма аристократических дам, державшихся очень мужественно и просто; много старых революционеров, обвинявшихся в том или ином «уклоне» или прямо в «терроре»; эти, как люди уже бывалые, старались сблизить между собой весь коллектив вагона и наладить в нем общественную жизнь со всеми традиционными мероприятиями. Были организованы вечера воспоминаний и рассказывания литературных произведений поочередно каждым присутствующим, а также пение и чтение стихов по памяти бывшими артистами и любителями-дилетантами. Леля петь не захотела и приняла участие только в декламации – она прочитала «Белое покрывало» и «Для берегов отчизны дальней». Произнесла последние слова пушкинского стихотворения «Но жду его; он за тобой...», она вспомнила сама, не зная почему, Вячеслава... «Он за мной, если мы встретимся!» – пронеслось в ее мыслях.

Вечера воспоминаний бывали иногда очень интересны, особенно у старых партиек, рассказывавших о подпольных организациях и царских тюрьмах; красной нитью проходило сравнение не в пользу советской власти:

– Если бы прежних революционеров осмелились вот так перегонять палками или травить собаками, как нас теперь, или хоть раз ударить, – такое событие тотчас бы переросло в грандиозный скандал с забастовками, самоубийствами и прокламациями и в тюрьме, и на воле; а теперь произвол носит узаконенный характер, и террор каждому замыкает уста, – сказала одна из эсерок.

– Этого бы не было, если бы был жив Владимир Ильич, – возразила старая большевичка.

Леля, которая привыкла считать Ленина самым страшным врагом, вроде людоеда из сказки, отважилась вступить в разговор и рассказала о неистовствах чекистов в Крыму. Это произвело впечатление, тем более что рассказывала девочка, почти ребенок, рассказывала дрожащим голосом, явно находясь под впечатлением лично пережитого.

– Вы меня глубоко огорчили, – ответила на это старая большевичка, а другая партийка прибавила:

– Я кое-что об этом слышала, но не была уверена в достоверности этих слухов. Говорили, что Дмитрий Ульянов посылал товарищу Дзержинскому телеграммы с требованием прекратить расстрелы и стихийные расправы с побежденными, но Владимир Ильич отменял его распоряжения. Надо все-таки учесть, что тогда шла борьба, и этой жестокости можно найти те или иные обоснования, а вот то, что делается теперь, не имеет уже никакого оправдания!

Для Лели в свою очередь было новостью, что в партии большевиков, представлявшейся ей сборищем всякого сброда, могли быть такие интеллигентные и симпатичные люди, и что в воспоминаниях их о Ленине последний, в противоположность Сталину, рисовался человеком глубоко идейным и скромным в личной жизни. Заподозрить правдивость этих рассказов она не могла, пришлось произвести некоторую переоценку ценностей.

Шурочку и Зябличиху не удалось ни разу вовлечь в общее собеседование: они чувствовали себя, по-видимому, неловко в этой интеллектуально развитой среде, хотя отношение к ним было удвоенно внимательным.

Эта дорога, как ни была мучительна в бытовом и санитарном отношении, в силу товарищеской спаянности и самого чуткого и предупредительного отношения друг к другу, пробудила в Леле надежду на дружескую помощь и моральную поддержку, но эта надежда рухнула еще в Свердловске.

До этого города добирались три недели, а при приближении долго стояли на запасных путях, затем после команды «выходи» двинулись пешим строем. Говорили, будто бы впереди ведут арестантов – мужчин, которые заполняли передние 35 вагонов этого же поезда. Никто, однако, точно ничего не знал и не мог проверить неизвестно откуда возникших слухов. На одной из городских площадей перед зданием модерн, освещенном огнями, наконец остановились. Это здание оказалось пересыльной тюрьмой. Ввели в одни ворота, потом в другие, потом оставили

стоять за высокой стеной, делившей двор на секторы. За соседним сектором слышались мужские голоса... завязалась тотчас оживленная переключка: называли имена, спрашивали о мужьях и женах. Вдруг один голос крикнул:

- Нет ли здесь Нелидовой Елены?

Леля едва не задохнулась от неожиданности.

- Здесь, здесь! Кто спрашивает? Кто? - но сама уже безошибочно знала - кто!

- Это я - Вячеслав. Кукушечка родненькая, так ты здесь же! Здорова ты, Аленушка?

- Вячеслав! Спасибо за сапожки, за все! Неужели увидимся? Почему вы... За что же вас-то?!

Но ответа она не получила: слышались ругань и угрозы надзирателей. Мужчины смолкли.

Около Лели мгновенно образовался кружок - сколько рук протянулись к ней!

- Кого вы встретили? Кто это? Жених? Брат? - спрашивали ее.

- Он любил меня, а я отказала! - отвечала она, вытирая слезы. Она даже не удивилась его «ты»

- он показался ей совсем родным сейчас! Какие большие сдвиги совершаются в глубинах сердца и какие переоценки в сознании, как только великое страдание входит в человеческую жизнь! Еще недавно хотелось счастья необычно яркого, особенного, и ни тот, ни другой, ни третий не удовлетворяли требованиям: один недостаточно интеллигентен, другой недостаточно эксцентричен, третий недостаточно изящен! А вот теперь каким блаженством показалась бы ссылка на вольное поселение с этим самым Вячеславом! Ведь он бы любил ее, оберегал, холил, делил с ней все трудности, а по ночам обнимал и нашептывал, что лучше ее нет девушки на свете и что за ее локоны отдаст жизнь! И опять все мысли ее и чувства попали на знакомое острие.

В Свердловске их дружному сплоченному коллективу был положен конец - всех разбросали по разным камерам, перемешав с уголовниками и бытовиками. Это было новым ударом для Лели.

Здание тюрьмы оказалось импозантно только снаружи - в камерах не было даже нар, лежать пришлось вповалку на деревянном полу. На следующий день Леля впервые познакомилась с баней (на Шпалерной ее, как сидевшую в одиночке, водили под душ, очевидно, с целью не нарушать изоляции). Порядки советской этапной бани были весьма странные: заключенным вменялось в обязанность сдавать свои вещи в дезинфекцию (так называемую прожарку) и, стоя обнаженными, передавать их с рук на руки мужчине - дежурному по бане; несколько других мужчин ходили взад и вперед по всей территории бани в качестве надсмотрщиков... Леле, которая не привыкла обнажаться даже при посторонних женщинах, было очень нелегко подчиниться порядку, который как будто целью своей ставил добить всякую щепетильность и стыдливость.

В пути были еще несколько дней; поезд шел теперь гораздо скорее и на запасных путях не стоял вовсе. Догадывались, что попали в Сибирь. Тысячи и тысячи километров от дому... а впрочем, у нее теперь нет дома! Наконец прозвучала команда: «Выходи с вещами! Стройся!»

Окруженные конвойными и собаками, двинулись в тайгу пешком строем по широкому тракту при позднем зимнем рассвете. Вокруг высились обледенелые ели и сугробы снега; новые сапожки очень выручали, нос прятался в оренбургский платок; шли по четыре в ряд.

С рук соседки выглянуло из-под шерстяных косынок младенческое личико, а потом вывернулась и крошечная ручка с перетяжкой. Леля несколько раз озиралась на эти сияющие глазки и растянувшийся до ушей ротик.

- Сколько ему? - спросила она и встретила взгляд молодой женщины, кутавшейся в старый офицерский башлык, такой же, в какой, бывало, куталась сама Леля.

- Полгодика ему, а второй на обозе едет - тому уже три.

- Вы по пятьдесят восьмой? - спросила Леля.

- По какой же еще? Сестра мужа вышла за английского посла, бывала с ним у нас... Вот и вся моя вина! - горько усмехнулась женщина. - Не знаю, что с детьми будет... Уверяли меня, что определят их в ясли при лагере и будто бы позволят мне их навещать, но... боюсь подумать, что впереди...

- А может быть, и в самом деле позволят? - сказала Леля. - Вот бы нянями устроиться туда и

вам и мне!

- Руки затекли, - шепнула молодая мать, перекладывая живой пакетик.

- Дайте его мне, вы устали. Он мне крестника моего напоминает, - и Леля приняла на руки этот маленький живой пакет. До сих пор она еще никогда не делала первой попыток к сближению и попала в струю теплой симпатии неожиданно для себя; симпатии, вызванной, может быть, только тем, что рядом женщина ее круга и ее лет.

- Агунюшка, маленький! Люли-люленьки, прилетели гуленьки! Молочка-то тебе хватает? А мой крестник вырастет без меня, и когда я вернусь (если вернусь!), я для него буду чужой, не нужной, лишней!... - и проглотила внезапные слезы. Рука молодой женщины сжала ее руку.

Шли, шли, шли... Усталость нарастала, и всякая восприимчивость понемногу притуплялась. По-видимому, был отдан приказ дойти прежде сумерек до места назначения - остановок не делали и торопили колонну.

Ежеминутно раздавались окрики конвоя:

- Не отставай, смотри! Равняйся, не то собак спущу! Кто там сел? Подымайся! Шутить не буду - живо овчаркой затравлю!

Бросалась в глаза фигура уже пожилой художницы на костылях - она упорно отставала, и грозные оклики не раз относились к ней! Молодая мать уже давно взяла обратно ребенка и, по-видимому, изнемогала от усталости, а Леля думала теперь уже только о том, чтобы самой не упасть в снег.

Внезапно один из конвойных приблизился и, не говоря ни слова, ловким ударом приклада выбил ребенка из объятий матери и отшвырнул ногой в канаву! Это не приснилось, не померещилось - это в самом деле было. Как могли они молча пойти дальше? Но они пошли после короткой сумятицы, когда на остановившийся ряд натолкнулись шедшие сзади... Угрожающие крики конвойных в одну минуту навели порядок. Снова пошли!

Решала вопрос: какую кашу дадут на остановке, но из-за этих мыслей назойливо проклевывалось: «В канаве... Ему холодно... Маленькие ручки синеют... Он не сразу умер: он замерзает... Может быть, ищет губками грудь... Если и Асе придется идти так... И тоже с двумя младенцами... тогда...»

Она отважилась наконец обернуться на свою соседку - та брела, спотыкаясь, с низко опущенной головой. Леля подхватила ее под руку.

- Не дойдет! - сказал кто-то из соседнего ряда. - Попросите начальника этапа посадить ее на сани. Он все время разъезжает верхом туда и обратно.

Леля выбралась на обочину под руку с новой подругой, которая припала головой к ее плечу. Бесконечная колонна растянулась версты на две и вьется по ледяной дороге; ссыльные еле волочат ноги, кто в шинели, кто в меховой шубе, кто в тулупе, а кто так просто в одеяле. Вот послышался злобный храп и повизгивание - с ними поравнялся отряд овчарок; человек, державший вожжи, обернулся на двух женщин:

- Чего стоите? Кто вам разрешил выйти из ряда?

- Мы ждем начальника этапа, - ответила Леля.

- Стоять у дороги не положено - я говорю! Какого еще тебе начальника? Пошла на место! Фьють!

- Вы - командующий собачьим отрядом, а я хочу говорить с командующим этапом, - ответила Леля, приглядываясь к верховому, маячившему во главе колонны.

- Я те покажу командующего собачьим отрядом! Отведаешь сейчас у меня! - и наклонился спустить собаку...

Леля в ужасе ринулась к своему месту. Две озлобленные морды с высунутыми языками, с оскаленными зубами уже отделились от стаи, вот они уже наступают...

Она не помнила, как попала на свое место, и кто удержал собак, которые могли разорвать ее; одна пасть успела схватить ее за голень, другая задела щиколотку... Она не чувствовала даже боли и только тряслась, как в ознобе.

- Этим людям позволено все! Поступить так на глазах всего этапа может лишь тот, кто заранее

уверен в полной безнаказанности, – произнес кто-то около нее. Молодой соседки уже не было рядом – положили ли ее на сани, приткнули ли в другое место или разорвали собаками, Леля не знала. Навязывалось в память что-то хорошо знакомое с детства... что-то страшное... «Хижина дяди Тома» – вот это что! Сто лет тому назад так обращались с неграми, а теперь – в двадцатом веке – после пролетарской революции – с русскими! А где-то в Швейцарии Литвинов произносит трескучие речи о недопустимой жестокости в обращении с туземцами в колониальных странах... О! С неграми нельзя, но я – русская... С русскими можно!

Голова опущена, а ноги еще шагают из последних сил. «Разницы между "могу" и "не могу" я теперь не знаю: мне казалось, что идти я больше не могу, но вот теперь я иду, иду с прокусанной ногой и пройду еще долго».

Шли до сумерек; уже темнело, когда, наконец, остановились в виду лагеря, и Леля впервые бросила взгляд на высокие, как стена, заборы, башни по углам и часовых на них. Горизонт замыкали леса.

«Эти ворота... Они точно вход в дантовский ад. Мне уже не суждено отсюда выйти!»

## Глава четырнадцатая

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

9 ноября. Ася все так же подавлена и молчалива; занимает ее только предстоящее свидание с Лелей. Вчера, когда вывозили конфискованную мебель, она оставалась почти безучастна, и только когда начали передвигать рояль, схватилась за голову, и глаза ее вдруг наполнились слезами. Я обняла ее и заставила отойти; при этом я сказала:

– Успокойся: у меня есть пианино – оно теперь твое.

Она на это возразила:

– Пианино – ящик, а у рояля – душа! Она бывает иногда очень оригинальна.

10 ноября. Бывшая прислуга Нины Александровны – Аннушка очень добрая женщина: всю эту неделю она по собственной инициативе приходит в мое отсутствие подежурить около Аси, чтобы не оставлять ее перед родами одну. После конфискации вещей полы оказались страшно затоптаны, она их натерла, а после перестирала все приданое для будущего младенца. Делает все очень быстро и ловко, только уж словоохотливая слишком – посудачить любит: об Олеге отзывается очень сердечно, но уж лучше молчала бы – я вижу, что Асе тяжело, когда это имя треплется в ненужной болтовне.

12 ноября. У Аси дочка! Уф, свершилось! И притом дней на десять – двенадцать раньше, чем мы предполагали. Слава Богу, что это уже позади, а то очень уж были напряжены нервы, я все время опасалась той или иной катастрофы. Сейчас звонила в справочное и узнала, что здоровье обеих особых опасений не внушает; Ася, однако, ослабела настолько, что ей сочли необходимым сделать переливание крови; девочка – доношенная и во всех отношениях нормальная, только очень маленькая – всего шесть фунтов. Не удивительно! Не могу не уважать тех чувств, которые руководили Асей, когда она отказывалась от аборта, и вместе с тем досадую: ребенок этот невероятно усложняет трудность положения, а радости никому не приносит. Роды начались, когда я была на работе; ловлю себя на том, что мне было немного любопытно понаблюдать, как это происходит, хотя бы в начале.

Я проектировала сама отвести Асю в Оттовскую, но эта обязанность досталась Аннушке. Славчика она взяла к себе на эти дни. Щенки Лады, к счастью, уже все пристроены.

13 ноября. Этот фельдшер Коноплянников... Неужели между ним и Лелей завязался роман? Леля, такая изящная, даже изысканная, с надменными манерами и тонкими причудами, могла заинтересоваться этим тупоумным партийцем-простаком, она с ее происхождением? Впрочем, такие мезальянсы теперь в моде, и некоторые усматривают в этом особый шик; в советской военной верхушке каждый норовит подцепить бывшую смоляночку... И все-таки я не могу соединить в своих мыслях Нелидову и Коноплянникова. Если в данном случае любовь только с его стороны, тогда он бестактен в высшей степени, требуя, чтобы на свидание

пропустили именно его! Ася колебалась, не зная, как поступить, – очевидно, она недостаточно в курсе дела. Судьба за Вячеслава – Ася попала в больницу раньше, чем предполагала, а он не является ни вчера, ни сегодня. Если в течение еще нескольких часов его не будет – на свидание завтра утром придется идти мне.

14 ноября. Дурак-фельдшер так и не явился – хлопотал, добивался и в последнюю минуту спасовал. К Леле иду я.

14 ноября, вечер. Не могу писать – ее лицо за решеткой... это лицо перед глазами! Острый овал, темные круги вокруг глаз, скорбные тени в ореоле золотых волос – с нее можно было бы писать Марию Антуанетту! Детство в кружевах и хлыст в 23 года! Следователь Ефимов!... Неужели он не будет обличен, опозорен, наказан? Если бы хоть один человек, вырвавшись из его лап, мог рассказать о нем во всеуслышание!... Следователь Ефимов – партиец, который бьет женщин и девушек и получает ордена!... Когда-нибудь в анналах страшного здания еще отыщут его имя, узнает когда-нибудь весь огромный мир, как насаждала коммунизм советская власть!

15 ноября. Не успеваю писать: работать приходится больше положенной нормы, а со службы мчусь прямо в больницу отнести что-нибудь питательное для Аси, которая, наконец, просит есть. Оттуда – к Аннушке, проведать Славчика; ему тоже тащу лакомство или игрушку. Он всегда бежит мне прямо в объятия и спрашивает: «Пынесла?» А вся рожица при этом сияет. Занятость моя отчасти спасительна – тоска заела бы мне сердце, а теперь нет возможности сосредоточиться на моем горе.

16 ноября. Я поражена! Сегодня в больнице я остановилась перед нашей стенгазетой, заинтересованная заглавьем статьи – «Разоблаченный враг». Читаю, и что же? Статья посвящается Вячеславу Коноплянникову: его вычистили из партии, оказывается, а потом «крыли» на очередном заседании. Жаль, я не знала! Я сказала бы что-нибудь в защиту, а то ведь у нас как начнут клеймить человека, так каждый кому не лень обливает его, словно из ведра помойного, прочие же трусливо молчат или поддакивают, чтобы не навлечь на себя подозрений в сочувствии или «двурушничестве», или еще в чем-либо... Насколько я могла понять, наша так называемая «общественность» ставит в вину Вячеславу: 1) заступничество за швейцара, 2) заступничество за нашего высокоуважаемого профессора-невропатолога, которого порицали за антимарксистскую идеологию. Ну, это еще более или менее понятно (хотя нетерпимость и узость руководящих кругов выступает со всей очевидностью!). Но далее идут обвинения уже совершенно возмутительные, так как они касаются частной жизни Конопляникова, событий, происходящих вне стен нашей клиники. Ему ставится в вину, будто бы он постоянно «якшается» с классово чуждым ему элементом – попами и аристократами; далее, будто бы он активно содействовал, чтобы чьи-то дети (не понимаю, чьи!) избегли оздоровительного влияния советского детдома и разлагались в «трясине предрассудков» (экая чепуха!); вслед за этим начинаются намеки на отношения с Лелей. Привожу текст: «Характерно, что даже предметом первой юношеской привязанности товарищ Коноплянников выбирает бывшую дворяночку, которая в раннем детстве играла в кошки-мышки с сыном ни более ни менее как самого великого князя Константина Константиновича! В дальнейшем девица эта, сбавив несколько свой гонор, появилась в нашем учреждении, пробиваясь в члены союза; но, однако, наша парторганизация проявила необходимую бдительность и сумела...» – и тому подобное. Право, это уж слишком!... Меня словно бичом хлестнули! Я тотчас побежала в санпропускник, чтобы вызвать Конопляникова и выразить ему свое возмущение, а кстати, прямо спросить, почему он не явился на свидание с Лелей. До сих пор я делала вид, что мне неизвестно вообще ничего, так как у Аси я лично с ним не встречалась и о любви его к Леле догадалась, когда у него с Асей начались переговоры по поводу визита в тюрьму. Итак, прибегаю в приемный покой, а там мне заявляют, что Вячеслав от должности отставлен, и вот уже неделя, как его нет. Теперь я перед задачей: как реагировать на эту историю? Разыскивать ли Вячеслава или не касаться вообще этого дела, поскольку меня лично с Вячеславом еще ничего не связывает? История с ним показывает, насколько опасно вращаться среди одиозных

лиц. По-видимому, дружба с Олегом (тоже весьма загадочная для меня!) не прошла для него даром. Мое собственное поведение легко может быть признано еще более вызывающим. Я не боюсь быть скомпрометированной, но самой лезть, что называется, на рожон теперь, когда Ася держится только мной, было бы безумием! Да! Ради Аси я должна стать немного осторожней. Я полностью поддерживаю Вячеслава, если подойдет такая минута, но сама приближать ее не буду.

17 ноября. В статье есть фраза: «Товарищ Коноплянников напрасно бил себя кулаком в грудь, повторяя: "Найдите на мне хоть пятнышко!" Мы эти пятнышки нашли в достаточном количестве». Бедный юноша! Он пытался, очевидно, оправдаться! Он, кажется, всю гражданскую войну провел на фронте, почти мальчиком, и вот благодарность! Омерзительна подобная травля – эти клеветнические пощечины, эти бесцеремонные прикосновения к самым тонким человеческим чувствам! Я точно обожжена! «Мы не потерпим в наших рядах...» Кого вы не потерпите, ну, говорите, великолепные подлецы, кого? Юношу, который влюбился в прелестную девушку, не дав себе труда справиться прежде в анкете, каково ее «социальное происхождение»? Юношу, который позволил себе стать другом человека, обвиненного по 58-й? Юношу, который позволил себе публично заступиться за старого ученого, которого вы травили? Его вы желаете выгнать из своих рядов? Ну, выгоняйте! Еще одним благородным человеком станет среди вас меньше, только и всего!

19 ноября. Час от часу не легче! Вячеслав-то, оказывается, арестован! Вот почему он не появляется на квартире у Аси. Мне стало это известно следующим образом: сегодня я оказалась одна на квартире у Аси, куда забежала, чтобы достать из нафталина и отнести к Аннущке зимнее пальто Славчика; раздался звонок, открываю: Мика Огарев, а с ним девушка его лет – черноглазая, с умным личиком; припоминаю, что видела ее на панихиде; представил он мне ее замечательно: «Мери». И больше ничего – ни отчества, ни фамилии, ни пояснительного слова – сестра, кузина, невеста! За спиной у обоих рюкзаки, оба в высоких сапогах. Мика заявляет: «Мы вот по какому случаю – меня высылают в Уфу, отсюда я прямо на вокзал и хотел попросить...» Тут последовали обычные просьбы высылаемых – квитанции в комиссионный магазин и прочее. Я обещала, что Ася все исполнит, а если уедет и сама, передоверит мне. Потом я спросила девушку, высылают ли также и ее. Она ответила: «Меня пока не высылают. Я еду сама: мне все равно не дадут паспорта, поэтому я решила лучше уехать к маме, чтобы не быть высланной в незнакомое место». А Мика пояснил: «У нее отец в лагере, а мать в ссылке под Оренбургом; там мы будем поблизости, а может быть, мне разрешат из окрестностей Уфы переехать под Оренбург к ее маме». «Я даже уверена, что разрешат!» – пылко воскликнула девушка. Вид у обоих был самый веселый, как будто они отправлялись на *partie de plaisir* [125]. Я спросила Мику, что он сделал с огромной библиотекой (о которой слышала от Олега и Аси); он ответил: «С книгами я не расстанусь – ни одной не продам! Сейчас стеллажи разместились в коридоре, но понемногу я их все перевезу туда, где буду находиться. Мы с тобой, Мери, все перечитаем в зимние вечера, когда в степях будет вить метель». И потом он прибавил: «Я не хотел затруднять Ксению Всеволодовну и все квитанции оформил на Вячеслава, нашего соседа, но он арестован, и мне пришлось все переделать». Подробностей Мика никаких не знал, кроме того, что Вячеслав хлопотал за Лелю и будто бы дружил с Олегом... Вслед за этим оба гостя поднялись уходить. Еще интересная деталь – девушка сказала: «Я везу маме Святые Дары; они у меня зашиты под лифчиком на груди. Мама очень стосковалась без Причастия, а там, где она находится, нет церкви». А Мика прибавил: «Это очень ответственная миссия. Мы затем и едем вместе, чтобы я мог охранять Мери в пути. Я не по этапу и довезу ее до самого места». По тому, как они переглядывались с улыбками, и с какой предупредительностью Мика снимал и опять надевал на девушку рюкзак, я заключила, что они влюблены друг в друга. Только влюбленные, и притом 19-летние, могут уезжать в ссылку с такими сияющими лицами. Предупредительность Мики вряд ли можно объяснить только тем, что у девушки на груди Святые Дары! Во всяком случае, все это вовсе не банально.

20 ноября. Бедный Вячеслав! Он останется перед лицом всеобщего полного равнодушия к собственной судьбе! Ни единый человек не явится к прокурору узнать, какой параграф угрожает ему, никто не принесет ему передачу... Пасую даже я! Бог видит, я поступаю так не из страха за себя: если меня теперь возьмут, погибнет последнее, что осталось от Олега: несчастная маленькая семья из двух младенцев и молодой матери, которая приспособлена к нашей действительности не больше чем лилии к сорокаградусному морозу. Судьба этой семьи не дает мне покоя!

22 ноября. А вдруг мои записки когда-нибудь станут известны обществу и подымутся голоса, обвиняющие меня в клевете на современное мне общество и советскую власть? Ну так пусть подымут архивы и заглянут в современные мне стенгазеты с их самокритикой, в протоколы общих собраний и в личные дела учрежденческих канцелярий – там найдутся такие вещи, которые страшны не менее, чем архивы гепеу, страшны не пытками и смертными приговорами, но нетерпимостью, травлями, кощунством, издевками. Пусть подымут эти великолепные архивы!

23 ноября. Сегодня я привезла из больницы Асю. Теперь только бы гепеу не тронуло! Ссылка Мики показывает, что дело Олега и Нины Александровны еще не затихло.

24 ноября. Эта новорожденная девочка... О, зачем она появилась на свет! Она до такой степени заморенная и жалкая, красненькая и сморщенная... Я понимаю, что в потенции здесь и красота, и аристократизм, и талант, и ресницы... Но сейчас, сейчас... сейчас это крошечный жалкий червячок! Я никогда не видела близко новорожденных, опыта у меня никакого нет, и все-таки мне кажется, что эта девочка немного недоношенная или неполноценная, она даже не увякает, а только мяучит, как еле живой котенок, а между тем сколько сил, здоровья и денег она потребует от нас обеих, и все это притом будет в ущерб Славчику! А впрочем – что говорить об этом, теперь уже ничего не поделаешь!

25 ноября. У девочки очень беспокойный нрав: мяуканье ее почти не прекращается. Сегодня она всю ночь нам не давала спать. Даже у груди она извивается, как червячок, и разводит крошечными кулачками. Странные эти матери – у Аси к ней положительно преувеличенная нежность! Она с рук ее не спускает, баюкает, целует, а между тем дела так много, что просиживать зря над кроваткой попросту безрассудно. Удивительное существо Ася – о ней всегда приходится заботиться тем, кто ее окружает. И это не вызывает с ее стороны протеста, она это считает естественным! А между тем эгоизма в ней нет ни капли, напротив, это жертва, полная любви. Кротка она, как овечка, даже там, где это вовсе неуместно. Ее нельзя даже вообразить себе раздраженной или резкой.

26 ноября. Девочка опять кричала всю ночь. Она не берет грудь, а отмахивается от нее и бьет по ней. Ася до того худа и утомлена, под глазами у нее такие черные тени, что мне иногда страшно за нее. Если с Лели можно писать Марию Антуанетту, то с Аси -Mater Dolorosa [\[126\]](#). Эти две девочки, которых я иногда сравнивала с редкими оранжерейными цветами, дали два мученических лика. Судьба их неизбежно должна была стать апофеозом счастья или трагедии. Жребий обывательниц или тружениц, конечно, ниже их.

27 ноября. Неистовства у груди продолжаются... Ох, уж намучаемся же мы с этим ребенком! Только бы выходить, иначе Ася... Я уже пять ночей не была дома!

28 ноября. Однако, что же это в самом деле? Ребенок погибнет, если так будет продолжаться! Решили снести ее в консультацию. У меня после этих бессонных ночей мучительно болит голова, от Аси осталась одна тень.

29 ноября. Ну вот – все объяснилось: грудь Аси пуста, несчастную крошку едва не уморили голодом. Контрольное взвешивание показало, что ребенок не высосал ни одной капли молока. Чего же удивительного? Неделю Ася не ела вовсе ничего, а потом только то, что я насильно запихивала ей в рот. Начали покупать женское молоко (при консультации). Дорого, но другого выхода нет.

30 ноября. Сегодня спешно крестим девочку. Восприемница – я. Откладывать боимся ввиду полной неизвестности самого ближайшего будущего.

1 декабря. Девочка уже спокойнее, уже лучше спит. Сегодня я перехватила грустную улыбку, с которой Ася смотрела, как Сонечка присосалась к рожку, сладко причмокивая.

2 декабря. Сегодня мы первый раз купали Сонечку, до сих пор воздерживались из-за пупочка. Когда мы ее распеленали, она очень забавно потягивалась, расправляя ручки и ножки, а в ванночке лежала спокойно, только таращила свои черничные глаза и посасывала конец простыни. Еще неделя, и она, пожалуй, станет похожа на нормального младенца.

Аннушка очень трогательна – каждый день приходит на час или два постирать пеленки.

3 декабря. Катастрофа! Ссылка! Теперь! Зимой! Для малютки это все равно, что смертный приговор! Вчера вечером принесли повестку. На сборы только сутки. Что делать? К кому бежать? Кого умолять? Ехать невозможно, невысказано, хотя бы из-за девочки, которая только что ухватилась за жизнь крошечными лапками... Я – неистовствую! Была минута – я от бешенства начала швырять вещи. Ася спокойней меня на этот раз. Она пробует меня утешать, говорит: «Успокойся! Ты ведь всегда такая благоразумная! Уедем – что ж делать! Видно, так суждено. Мне уже все равно сейчас, лишь бы дети были здоровы». А мне вот не все равно! Я знаю, что уезжать невысказано, невозможно! Я не могу их отпустить одних в неизвестность, а ехать с ними... Это то, о чем я думаю день и ночь, но... Это будет уже полная материальная катастрофа.

3 декабря, вечер. Я уже вижу свой жребий! Он мне уже давно мерещится, и я предвидела, что от него мне не уйти. Напрасно я себе говорила: я уеду с ними! Абсолютно ясно, что мне ехать – бессмысленно! Я – рабочая сила, здесь я могу заработать больше ставки: каждый оперируемый больной желает пригласить именно меня дежурить около своей постели в первую ночь, он уже знает мое имя от санитарок и предшествующих больных, я – популярна. А в новом месте приработка может и не найтись, притом еще неизвестно, будет ли больница в том месте, куда загонят Асю. Остаться всем без заработка – слишком страшная перспектива. Семья держится только мной, и я должна остаться, как часовой на своем посту. Проклятый, проклятый жребий! Мне во сто раз легче было бы уехать с ними. Темные глазки Славчика, похожие на глаза Олега; Ася с ее неистощимым, всегда новым очарованием; эта малютка, за жизнь которой я уже столько боролась; жизнь в семье... Ну, наконец, новая обстановка, новые места... А здесь? Здесь я, наверное, буду почти круглые сутки вертеться в больнице, а в награду видеть пустые стены моей комнаты! Так, но что делать! Что делать?

4 декабря, утро. Всю ночь мы проговорили с Асей – нового не придумали! Жребий мой неотвратим – я остаюсь.

4 декабря, вечер. Уехали! Ася протащила незаметно под скамью Ладку – мало ей двух детей, она еще собаку берет с собой. А та словно бы поняла: притаилась под скамьей и носу не высунула. Мне удалось достать несколько банок сгущенного молока, и я велела Асе разводить кипятком для Сонечки. Впрочем, в такой обстановке ее все равно не спасти. Неизвестно еще, когда я получу известие... Прощаясь, Ася целовала мне руки... Только вспомню – и снова плачу... Сеттер сидит около меня, положив голову мне на колени, в его глазах страшная тоска. Завить, что ли, с ним вместе?

## Глава пятнадцатая

Егор Власович и Аннушка остались одни в квартире на Моховой, которая уже была заселена новыми людьми, явившимися с ордерами, и лишь стеллажи с книгами вдоль обеих стен коридора еще напоминали о прежних владельцах.

Егор Власович угасал. Казалось, что разлука с Ниной его доконала.

– Анна, сходи к обедне, Христом Богом прошу. Вынь просфору за здоровье скорбящей рабы Божией Нины и путешествующего Михаила. Я чаю не хочу: после, как от просфоры вкусим, тогда и выпьем. Иди, а я полежу покамест. Ничего мне не нужно, – почти каждое утро говорил он и, поворачиваясь, вытягивал худую шею, чтобы увидеть с постели, не коптит ли лампадка. Киот его, в который собраны были теперь иконы со всех Огаревских комнат, выглядел очень

богатым и красивым, и это доставляло ему радость.

Он стал теперь болезненно раздражителен и постоянно придирался даже к жене, с которой прожил душа в душу тридцать пять лет.

- Ох, уж мне эти соседи новые! Прикрой дверь, Анна. Глаза б мои не глядели на этих девок стриженных и юбки ихние короткие. От одних голосов крикливых тошно делается. И завелась же этакая мразь в нашей квартире! - ворчал он.

- Никак ты вовсе из разума вышел, Власович? Сам-то ты барин, что ли? - возражала его мудрая половина.

- Я - крестьянин! Мои отец и дед землю пахали, российскую землю-матушку, а я - верный слуга моих господ и в баре не лезу, как эти: побросали свои дома и сохи и прут в города загребать в чужих очагах добычу. Захотелось легкого столичного житья, а того не понимают, что заселить барскую квартиру да нацепить городские тряпки - еще не довольно, чтобы стать господами. Рылом, голубчики, не вышли!

Аннушка укоризненно качала головой.

- Придумаешь тоже! Чегой-то злобный ты нонче стал, Власович. Погляди-кась на соседскую дочку Вальку - в десятом классе девчонка! Говорит: кончу - на инженера учиться пойду! Во главе цеха встану. Чем она хуже Микиной Мерички? Тебе бы только ругать новые порядки, а за худым и хорошее надо не просмотреть... При царях простому человеку ходу не давали - чего уж говорить-то! А теперь кажинный может в люди выйти, была бы только голова на плечах.

- Тоже уж: «не давали ходу». Адмирал Макаров вот из боцманов вышел.

- Так ведь это один на десять благородных, а теперича все под одно!

- А теперича одна серость! Благородство повывели начисто. Каждая баба норовит в дамы, а сама ходит, как корова, объевшаяся травой.

- Перемелется - мука будет, - не унималась Аннушка.

- Кака така мука? Не случись всей этой заварухи, жили бы мы и сейчас в Черемухах своим домом. Сына, поди, уж поженили бы; ты бы внучат нянчила, ну а я, само собой, - при лошадях. А дом бы у нас был - полная чаша! Ну, да на все Господня воля.

В этом вздохе заключалась вся идея, питавшая его думы и томившая ожиданьем дух. Как только жена уходила, он с усилием сползал с кровати на обрывок ковра и становился на колени.

Он перечислял живых и мертвых - мертвых было больше! - молился за убитого сына, за бывших господ, не забывая никогда имен Дмитрия и Олега, молился за Родину и за Церковь, а себе просил безболезненной, непостыдной, мирной кончины. Молитва за живых тянула за собой только два или три образа - жена, Нина, Мика и Надежда Спиридоновна; последняя тоже была дорога - профиль ее вырисовывался в его памяти то на фоне маркизы на господском балконе или цветных стекол столовой, то в пятнистой тени липовой аллеи в Черемуховском саду.

- Как-то она там управляется одна в деревне? Неужто к колодцу по осенней грязи сама топают? Ручки-то у ней крохотные, и подагра давно свела, небось, и ведра-то не вытащить... А все ж она хоть на свободе, моя Спиридоновна, а Нинушка, голубка, подневольная, каторжная! Умом мне эту мысль не охватить... Как бы не оскорбил ее кто из мужчин, не дай Господи, не обругал, не ударил... С ейным воспитанием етого и не перенести. Вся она как георгина прекрасная, наш садовник говаривал, а заступиться-то некому! Охрани, Господи, свое дитятко! Отпусти ей грех ее иудин и ее неверие. Поддай голубиное крылышко моей молитве, чтобы хоть малость повеяло лаской в ее душу исстрадавшуюся...

Входила Аннушка и при виде мужа на коленях водворяла его с добродушным ворчанием обратно в постель, а после тащила пыхтевший самовар. Она и супруг предпочитали его электрическому чайнику, отданному в их распоряжение Надеждой Спиридоновной и красовавшемуся на комодке наподобие вазы или статуэтки поверх вязаной скатерти.

Иногда навещала приятельница - прачка. Егор Власович любил ее посещения, так как это была набожная женщина, которая взяла на себя добровольную обязанность стирать церковную утварь - убрusy и полотенца, а потому бывала в курсе церковных дел и сообщала их,

перетолковывая на свой лад.

- А патриарх-то Тихон от сана, оказывается, не пожелал отступить, - говорила она, наливая себе чай на блюдце. - Прочел о том бумагу правительственную, а как подписи его потребовали, так настрочил внизу: прочел, дескать, остаюсь служителем Божий, патриарх Тихон. Келейный послушник и митрополит Крутицкий сами читали.

- Помоги, Господи, служителю Твоему в заточении. Слыхано ли, чтобы правители угрожали духовному лицу лишением сана! - и дворник осенял себя крестным знаменем.

Иногда рассказы прачки носили более пространный и таинственный характер:

- Монастырь-то, вишь, прикрыли, а братию - к высылке, кого куда. Двоим инокам Архангельск достался. Высадили их там из теплушек - идите, мол, куда глаза глядят; а куда идти-то? Ни единой души знакомой; за деньги и то не пускают: потому - живут тесно, а тут еще церковники, - как бы не нажить неприятностей! Гонят, отмахиваются. За большие деньги, может, и впустили бы, да откуда у ссыльного инока деньги? Промаялись день, на вокзале переночевали; следующий день топтались сызнова; вовсе измучились и к вечеру за город на шоссе вышли; думали, может, там что подыщут. Бело, пусто, ветер гуляет; смеркается уже, а приткнуться некуда - ложись да помирай. Уж и стучаться опасаются - натерпелись вдосталь издевок да отказов. Вдруг из одного домика хозяйка навстречу, да в пояс кланяется: «Пожалуйте, отцы родные! Чего ж вы этак позамешкались? Уж я жду, жду, все глазыньки проглядела! Пирогов вам напекла и матрацы набила!» Глядят на нее иноки - личность хоть и благообразная, однако ж вовсе незнакомая. «С чего ж ты нас, мать, поджидаешь? Написал тебе о нас кто, что ли?» - «Никто мне не писал ничего, а только в нынешнюю ночь Владычица мне приснилась: "Прийми моих скитальцев, говорит. Жаль мне их, прийми! Я тебя благословлю!" И еще в третий раз повторила: прийми! Входите, отцы мои, входите. Да благословите меня, грешную!» Во как!

Аннушка вытирала слезы, а дворник крестился, но и выслушивая эти трогательные рассказы, он не мог отделаться от мысли, что ни жена, ни прачка при всем их благочестии чего-то еще не понимают из постигнутого им и упускают некий очень важный момент...

- Не уразумеваете! Не в том суть, что инокам ночлег отыскался. За веру Божию и потерпеть можно, как мученики терпели; тут, вишь ты, устремление духовное и голос Владычный вещающий - вот в чем суть! Случалось мне читать в духовных книгах, что большое рвение и чистоту духа должен воспитать в себе человек, чтобы открылись у него очи или слух на духовное. Теперича об этом не говорят - потому что запрет наложен, а ранее сколько было в народе ищущих правды Божией! И великих молитвенников среди простых мирян. О монастырских-то и говорить нечего - ровно крепости духовные, наши обители высились. В детстве, я помню, для нас - ребят - не было большей радости, как зазвать в избу к своему тятю на ночевку странника да послушать его рассказы. Сядешь, слушаешь, а в душе ровно что нарастает. В шестнадцать лет я совсем уж было в монастырь собрался, да вот не судил Бог.

Прачка раскатисто расхохоталась.

- Аннушка, поди, помешала! Обет-то целомудрия и впрямь не просто дать, особливо как враг рода человеческого подмахнет тебе встречу с распригожей девушкой! Аннушка и в пятьдесят лет баба-ягодка, а в молодости, поди, и глаз не отведешь. Тут-то ты и споткнулся!

Аннушка заулыбалась, но дворник нахмурился.

- Я тебе о духовном, а ты о чем? Ох, и плоский же у вас - у баб - разум!... Опять же и то понять надо, что в духовной жизни ни работа, ни брак человеку не помеха - было бы устремление. Случалось мне в молодые годы по вечерам лошадей приводить и отводить в поле; и бывало в эти часы таковое в поле наваждение: обдаст тебя благостью, ровно паром в бане, - стоишь, как ошалелый, и только крестишься... Думаю, посылал это мне святитель Радонежский, оттого что я всякий раз, как уйду с уздечкой, вспомню обязательно, что и он в юности так же за лошадушками хаживал и призвание на иноческую жисть в поле получил. Он мне в те дни помогал угадывать, в какую сторону лошадь ушла, - ровно собака нюхом, я лошадушек находил. Садовник наш всегда дивился. Мы с ним дружили, хороший был парень. Он меня

цветочной науке обучал, да ведь убит – призвал Господь.

Часто он возвращался мыслью к прегрешению Нины, которое, по-видимому, его угнетало:

– Анна, сходила бы ты к Дашковой молодой: может, там ребеночек уже родился: пеленочки, что ли, постирай. Надо помочь и грех тем Нинушкин малость загладить. Поди, грех этот на ей камнем обвис, не дает вздохнуть. Сдается мне, сбавил бы ей Господь тяжести, коли бы мы с тобой потрудились.

Когда же Аннушка вернулась в один день с известием о ссылке Аси, старик расстроился до слез, и Аннушка пожалела, что не догадалась скрыть.

– Да как же оно так: с двумя младенцами неведомо куда?... Отродясь я таких дел не слыхивал. Нежная она, эта Дашкова, что твой цветочек. Вспомни ты, какое у ей личико. Лилия королевская, наш бы садовник сказал! Где ж такой королевне с нуждой и горем управиться? Сама посуди. На убой ее, значит! – горестно повторял он. Связывая эту ссылку с судьбой Олега, он, по-видимому, считал, что и она падет на совесть Нины, и это увеличивало его душевное смятение.

Ночью он томился. Он вспоминал опять Черемухи, господ и лошадей; мельтешила перед глазами знакомая тропа с крылечка людской избы к конюшне, вся в снегу тропа, в морозном синем рассвете... Сосульки повисли с низеньких крыш, снег похрустывает под ногами, и вот уже ловит его слух знакомое ржание – лошадушки зачужали, здороваются по своему!

– При господах лучше было. Пусть другие хватаются за эту новую жисть, за стройку эту, а мне не по сердцу. Все спешка, да шум, да суета; вахты эти да достижения... Время словно поубавилось – ни вздохнуть, ни призадуматься, ни побеседовать, как, бывало, мы с садовником... Ох, тоскливо!...

Хотелось вдохнуть чистого деревенского воздуха, а стены комнат точно давили. Только перед утром он забылся, а проснувшись, сказал:

– Покойников я нонече во сне видел. Не к добру это, Анна.

– Каких таких покойников, Власович?

– Барина старого Александра Спиридоновича: изволили по дорожке идти в чесунчовой своей толстовке с тросточкой; и борода ихняя, и рука с перстнем. А еще лошадушку господскую, любимицу мою Антигону: подошла, головушкой покачала, заржала и бегом! Ровно за собой подманивала.

– А ну тебя, Власович! Мелешь глупости.

– Не, Анна! Лошадь – она много знает. Мы вот с Олегом Андреевичем покойным о лошадях много беседовали, понимали один другого. Прежние люди не чета нынешним; вот хоть бы Олега Андреевича взять: весь насквозь барин, а держал себя просто: и поклонится первый, и побеседует; потому – воспитание! А эта паскудная Валька уже теперь зазнается: я образованная, мол, а ты – серость!

Новые соседи всегда были предлогом для стариковского ворчания.

Как всегда, он отослал жену к обедне, но когда она вернулась, ей показалось в муже то, что называют «переменной».

– Чего ты, Власович? Не худо тебе? Чайку, что ли, спроворить? – спросила она.

– Нет, не надо чаю. Ничего не надо... Слабость наша... Дай сказать... Молчи, Анна! Ты меня прости, коли в чем... И справь по мне службы Божии. А Нинушку, голубку, не оставь любовью... Помогите ей, чем сможете... и той – второй – помогите... Слышишь, Анна?

– Кому еще помочь-то, Власович? Не разберу, – прошептала Аннушка, наклоняясь к мужу и утираясь косынкой.

– Лилии – королевне...

И веки его навсегда закрылись.

## Глава шестнадцатая

Вернувшись домой с ночного дежурства, Елочка открыла дверь и была приятно поражена видом живого существа, которое тотчас поспешило ей навстречу.

- Маркиз, я и забыла о тебе! Ну, пойдём погуляем, бедный мой.

Накануне вечером она была свидетельницей сцены, которая теперь не выходила из головы: на праздничном обеде у Юлии Ивановны ее зять - еще недавно вступивший в семью молодой научный работник - встал со своего места с бокалом и провозгласил тост за товарища Сталина. Все поднялись в полном безмолвии, и последней поднялась сама хозяйка дома, Юлия Ивановна, - с застывшим выражением лица, с глазами, опущенными на скатерть. Здесь, в своей семье, у себя за столом, она не посмела опротестовать тост и вынуждена была проглотить пилюлю, преподнесенную новым, младшим родственником! Молчание, с которым был принят тост, уже набрасывало тень на собравшееся общество, а о том, чтобы встретить его возражениями, не могло быть и речи!...

Обида за достоинство Юлии Ивановны, вынужденной спасовать перед собственным зятем, отвлекала Елочку от уже привычного беспокойства за Асю, но и в этой обиде была все та же, хорошо ей знакомая горечь, постоянно озлоблявшая и внутренне высушивавшая ее.

Вернувшись после прогулки с собакой, она, не раздеваясь, бросилась на маленький диванчик, продолжая чувствовать сильную разбитость во всем теле. Ей показалось, что она только что успела забыться, когда будильник возвестил, что пора готовить завтрак и собираться в клинику. Ее знобило, она смирала температуру - тридцать восемь и три.

Позвонив по телефону на службу, а после в квартирную помощь, она легла на тот же диванчик. Тоска одной! Некому даже чаю принести и сбегать за булкой. Ася, конечно, позаботилась бы, а теперь - некому!... Тоска!

Через час стук в дверь опять разбудил ее. Анастасия Алексеевна приближалась неслышно, как пантера.

- Никак заболели, миленькая? Я заходила к вам на хирургию, сказали: не вышла, дала знать, что больна; я скорее сюда. Может, банки сделать, а может, компресс? А может, за лекарством сбегать или чайку согреть? Говорите: что надо? Да вы бы легли по-настоящему; давайте я вам кровать раскрою.

Елочка начала было возражать, но подчинилась.

Анастасия Алексеевна и в самом деле пригодилась: напоила больную чаем, открыла двери врачу, сбегала за прописанным лекарством, вывела снова сеттера и даже вызвалась на ночь остаться. К вечеру, однако, температура у Елочки не поднялась, а напротив, несколько уменьшилась.

- Вот так всегда! Даже поболеть, чтобы передохнуть, не удастся, - с досадой сказала она.

Анастасия Алексеевна запрещала ей вставать и очень охотно хозяйничала в кухне; на ужин она принесла кисель и печенье, собственноручно приготовленное. Со всеми приемами опытной сестры она перебинтовала Елочке горло и даже покормила ее с ложки.

- А я все хотела спросить вас, миленькая, - как-то заискивающе начала она, перемывая чашки, - этот бывший поручик Дашков, ведь он у вас в клинике санитаром работал или я опять путаю?

Елочка насторожилась было, как боевой конь, но тотчас же с горечью подумала, что замечать следы уже нет надобности, и коротко отрезала:

- Работал.

- Так, стало быть, он живым оказался? Уцелел тогда от расправы?

- Стало быть.

- Наверно, вы его и пристроили санитаром?

- Ошибаетесь, Анастасия Алексеевна! Как раз не я. Фельдшер приемного покоя Коноплянников его туда устроил.

- Вот оно что! Выходит, вы сначала и не знали, что он с вами работает?

- Сначала не знала, а вот вы то откуда все это знаете?

Елочка даже приподнялась на подушке.

- А я ведь у вас в клинике год назад на нервном лежала, забыли? Ну, а Дашков этот пришел раз к нам в палату с носилками; я его тотчас признала, даже окликнула; да только он не захотел быть узнанным, иначе назвался.

Елочка нахмурилась - ее внезапно поразила мысль: не здесь ли следует искать объяснения всему случившемуся? Много раз она задумывалась над тем, каким образом стала известна фамилия Олега.

- И вы, очевидно, рассказали это своему супругу? - спросила она с нотой брезгливости в голосе.

- Нет, Елизавета Георгиевна, как Бог свят, не рассказывала.

- Анастасия Алексеевна, вы лжете! Весной Дашков был арестован как раз по обвинению в том, что скрывается под чужим именем. О, вы, конечно, не доносили! Вы только мило поболтали с вашим супругом, и вот результат Дашков расстрелян два месяца тому назад!

Анастасия Алексеевна выронила полотенце и села.

- Да что вы говорите? Зачем вы меня пугаете? Господи, спаси нас и помилуй!

- Говорю то, что было! - Елочка закусилла дрожащие губы, но через минуту, не в силах справиться с душившим ее волнением, воскликнула: Уйдите от меня! Уйдите - слышите?!

- Елизавета Георгиевна, голубушка моя, не оставлю я вас больную, в постели. Не волнуйтесь так, ради Христа!

- Я не больна! Завтра я встану. Да хоть бы я в тифу опять лежала, ваших забот я не хочу!

- Елизавета Георгиевна, вот перед Богом говорю: я мужу про поручика ни слова не вымолвила! Довольно уж с меня этих вытянутых лиц и неслышных шагов... Чур меня! Ей-Богу, довольно!

- Нелепость какая! - с досадой воскликнула Елочка. - Дашков не явится вас душить - можете быть спокойны! Если бы дано ему было приблизиться к земле, он бы, во всяком случае, явился не к вам. Но мертвые уходят очень далеко - между нами и ними бездна!

- Вот и разволновались. Вы бы уснули лучше, миленькая. Я сейчас затемню свет, а сама - тут, на диванчике. Не отсылайте меня, солнышко мое! Непровинна я на этот раз. В квартире у нас сейчас уже все легли: После таких-то разговоров подыматься по темной лестнице, открывать ключом дверь в темную переднюю, идти до постели... Не понять вам, каково это - озиаться, нет ли кого за плечами... Я знаю, что будет день, когда глазам моим откроется кто-то очень страшный, и тут припомнится мне и выплюнутое Причастие, и другие дела... Пусть я дура в ваших глазах - я боюсь...

- У вас тяжелая истерия, поймите вы это, ведь вы медработник, сказала Елочка, а про себя подумала: "Мне во всем не везет: заболел я на несколько дней раньше, около меня была бы Ася, а не эта недотыкомка". Хорошо, оставайтесь. Дайте мне, пожалуйста, прополоскать горло, если уж так.

Анастасия Алексеевна посмотрела нерешительно на дверь, потом на Елочку:

- Полосканье-то у меня в кухне... Ах, батюшки мои! - Но вышла все-таки. Она боялась даже пройти по коридору.

Утром Елочка настояла, чтобы Анастасия Алексеевна шла домой, и почти вытолкала ее за дверь, уверяя, что здорова.

Через день она смогла выйти к врачу и была выписана на работу следующим днем. Выходя из поликлиники, она ощутила острый приступ тоски при мысли, что проведет одна весь предстоящий день... Мысли ее перебросились к Анастасии Алексеевне: "Я была с ней слишком резка. Она так заботливо хлопотала около меня, а я... Зайти, что ли, к ней? Тут недалеко... Пройдусь, снесу ей булки и колбасы и выпью с ней чаю. Она так всегда радуется мне!"

Еще подымаясь по лестнице, Елочка увидела, что дверь квартиры распахнута настежь. В передней стояли две соседки.

- Вот с полчаса, как увезли. Кричала, даже подралась с санитарями, ну, да тем не впервой - живо скрутили, - говорила одна другой. Обе повернулись к Елочке, когда та постучала в дверь Анастасия Алексеевны.

- Вам кого нужно? - спросили они, но в эту же минуту дверь открылась и Елочка увидела перед собой Злобина.

- Сестра Муромцева! Войдите, пожалуйста. Знаете ли, какое несчастье? Жену только что отправили в психиатрическую.

Елочка содрогнулась:

- Как?! Что же случилось?

- Войдите, пожалуйста. Прошу вас сесть. Сейчас я расскажу вам все как было.

Елочка села на край стула не раздеваясь.

- Говорите. Я слушаю, - подчеркнуто сухо сказала она.

- Видите ли, состояние Насти ухудшалось со дня на день. Вы уже слышали, что она страдала депрессивным психозом и навязчивыми идеями, доходившими до галлюцинаций. Сначала ей белые офицеры мерещились под впечатлением репрессий, имевших место в Феодосии.

"При вашем благосклонном участии!" - едва не выпалила Елочка.

- Позднее она начала меня уверять, что ее атакует нечистая сила, - продолжал он. - Ох, намаялся я с этой женщиной!... То она из собственной квартиры бежит, уверяя, что у нас на сундуке лиловый старик трясется, или лягушка, изволите ли видеть, под столом надувается. А то так на работе ей в ком-нибудь из больных мертвец почудится, и она при всем персонале за голову хватается, так что с работы ее отовсюду снимали. Однажды при моем товарище, враче, ворвалась в комнату - крестилась и молитву читала... Осрамила меня, можно сказать!

- Да, я все это знаю. Вы даже сочли нужным переехать от нее, вставила Елочка.

- Совершенно верно, но - хотел бы я знать - кто бы на моем месте ужился с такой женой? Во всяком случае, я не переставал заботиться о ней. Полагаю, она вам говорила?

- Да. Я это знаю. Что ж дальше? - все с той же сухостью нажимала Елочка.

- В последнее время состояние ее резко ухудшилось. Надумала она к Причастию идти после общей исповеди, как теперь входит в обычай. Но при приближении к Чаше начались у нее нервные подергивания, и священник - мерзавец! - в Причастии ей отказал, потребовал, чтобы явилась к нему на индивидуальную исповедь. Я еще притяну к ответу этого батю! На индивидуальную исповедь она пойти побоялась, и страшно всё это ее расстроило. А тут как назло еще новое неприятное впечатление: узнала она от кого-то, что расстрелян поручик Дашков. Вы его помните! Нельзя было, разумеется, сообщать ей таких вещей, да разве от "добрых знакомых" устережешь? Она поручика этого однажды видела - до сих пор не разберу, наяву или в галлюцинации, - и теперь перепугалась, что он явится сводить счеты. Упрекала меня, будто бы я с ее слов выдал поручика политуправлению и что он работал под чужой фамилией где-то санитаром. А между тем разговор об этом поручике у меня с женой уже года два не было, и я никогда не слыхивал ни о каком санитаре под чужой фамилией. Видно, и в голове у Насти действительные факты уже перемешивались с вымышленными. Панически стала бояться темноты и умоляла меня не оставлять ее одну по вечерам. Я несколько раз заходил после работы и на ночь оставался; играл с ней в карты, заводил патефон - все это, однако, помогало только в моем присутствии. А вчера начала буйствовать. Сидели мы, видите ли, с ней вчера за картами, а тут пришел мой приятель - следователь по политчасти, мы с ним уже года два не виделись. Он хотел провести со мной вечер и рассказать о деле, которое только что вел и которое будто бы будет мне интересно. Я, однако, просил его при жене о делах не говорить и усадил за карты; вскользь он только упомянул, что удалось ему выследить махрового белогвардейца. Ну-с, играем мирно в кинга, смеемся. Вдруг жена начинает дрожать. "Кто-то из нечистых поблизости, - говорит, - вот уже серой запахло, и на диване серый комок ворочается". Покосился я на диван - никого, разумеется; однако я уже сам не свой, сейчас, думаю, выкинет свой очередной номер. А она мне: "Отчего у твоего приятеля лицо меняется: то, гляжу, он, то незнакомый кто-то войдет в его лицо и снова выйдет... вон, гляди, тень за его креслом..." Я сквозь землю готов провалиться, начинаю извиняться. Приятель мой, как человек воспитанный, отвечает: "Ничего, ничего! Бывает... С больного человека что и спрашивать!" А жена вдруг как завизжит: "Нечистый здесь! Помогите! Он нечистого к нам в

гости привел! Вон руку с когтями протягивает! Караул!..." Приятель мой поднялся уходить, а я с помощью соседок удержал жену и вызвал "скорую помощь". Те приехали, но заявили, что увезут только в психиатрическую. Вот и соседи слышали. Как видите, вины моей здесь никакой нет.

Он словно хотел оправдаться. Елочка молчала, подавленная. "А вот я, пожалуй, что и виновата!" - подумала она и спросила:

- Может это пройти? Как вы полагаете?

- Полагаю - нет! Мне прошлый раз еще психиатры говорили, что эта форма заболевания очень упорная, лечению не поддается. На этом основании мне тогда уже был дан развод, и если я Настю не оставлял, то только по моей доброй воле. Я думаю, вы, Елизавета Георгиевна, согласитесь, что держать ее на свободе становилось опасно - она могла учинить что-нибудь над собой... или здесь, в квартире...

- Это верно, - и Елочка встала, чтобы уходить.

- Елизавета Георгиевна, быть может, мы с вами встретимся и проведем вечерок вместе? Может быть, в кино или в театр соберемся? Мы с вами оба теперь одиноки... Я ведь еще в крымском госпитале, бывало, на вас заглядывался, да ведь женатому не подступиться было к девушке при прежних-то понятиях... А теперь, если бы вы только захотели...

Елочка в изумлении остановилась на пороге.

- Доктор Злобин, вы уж не предложение ли мне делаете?

- Предложение.

Что-то заклокотало в груди Елочки и поднялось к ее горлу... Первое в ее жизни предложение - и от кого же!...

- Так вот что я вам отвечу, доктор Злобин: я одинока, и лучшие мои годы уже позади, но требования мои по отношению к человеку, который может стать моим мужем, от этого не снизились: я прежде всего должна очень глубоко его уважать - биография его должна быть безупречна, а ваша... Вы меня поняли! - и вышла не оборачиваясь.

## Глава семнадцатая

Горе этой собаки по силе равнялось человеческому. Стоя уже несколько поодаль от Аси, она кроткими темными глазами и глубокой обидой и скорбью смотрела исподлобья на свою хозяйку, поджав хвост.

На Асе она сконцентрировала всю полноту привязанности; в тесной замкнутости ее сознания, в вынужденном безмолвии - глаза, голос и руки хозяйки были постоянным источником радости. Ладу и ночью и днем грызла тревога, как бы ей не оказаться оторванной от Аси, привязанность к которой уходила корнями самым первым щенячьим воспоминаниям, когда крошечным шерстяным комочком она сосала палец Аси, обмотанный тряпкой, пропитанной молоком, и отогревалась в ее постели. Может быть, она считала Асю своей матерью - так или иначе, без Аси не было ни счастья, ни покоя собачьему сердцу! Вот ее хозяйка вышла... Лада не знает - куда... Если хозяйка берет с собой сеточку или корзину, значит, она скоро вернется и принесет с собой вкусные вещи, разбирая которые непременно что-нибудь сунет ей; но в этот раз она ушла без сеточки и без корзины - вернется ли, Бог весть! Лада встала с тьюфячка и идет в переднюю, чтобы лечь у двери; и постоянно случалось, что она начинала радостно визжать и царапать дверь за пять-десять минут до того, как Ася входила в подъезд, и для всех оставалось загадкой, что могло послужить для собаки сигналом приближения. По утрам Лада подходила здороваться и лизнуть руку. Если Ася оказывалась еще в постели, то часто, нарочно лежа неподвижно, она подглядывала сквозь опущенные ресницы и видела совсем близко, около своего лица, собачью морду, которая пристально всматривалась в ее лицо; не обнаружив пробуждения, собака осторожно отходила, стараясь не стучать когтями.

Вечер. В квартире уже почти все легли, а молодая хозяйка задержалась со стиркой детского белья; беспокойство прогоняет у собаки сон, и всякий раз, заканчивая около двенадцати

работу в кухне или в ванной, Ася видела собачью морду, которая тревожно-заботливо заглядывала к ней. Быть отделенной от хозяйки запертой дверью было всегда невыносимо для Лады, перед такой дверью она начинала подвывать совершенно особым образом, выделявая рулады на высоких нотах; Ася, смеясь, называла это "колоратурой", и Лада уже знала это слово. Если Ася запиралась в ванной, ее всегда выдавало присутствие у двери собаки. Способность к пониманию разговоров была у Лады необъяснимо развита. Несколько раз все становилось в тупик перед тонкостью ее реакций. Иногда она понимала самые длинные, запутанные фразы; так, однажды мадам сказала: "Возмутительно, что собака не выпила молока - теперь оно скиснет". Лада посмотрела на мадам долгим пытливым взглядом, поднялась и, подойдя к своей мисочке, вылакала молоко. Если вечером Ася говорила: "Возьми меня завтра с собой на лыжах, Олег", Лада садилась утром около Асиных лыж, и ее нельзя было заставить отойти. В семье даже вошло в обычай прибегать к французскому в тех случаях, когда нежелательно было волновать собаку. Один раз в жизни Лада попала на воровстве; она съела восемь котлет, оставленных в тарелке на столе. Операция была проведена мастерски: собака влезла на стул и уничтожила содержимое тарелки, не сдвинув ее с места. Мадам, подойдя к столу, с изумлением смотрела на опустевшую тарелку, и тут глаза ее встретились с глазами Лады - собака сама выдала себя: охваченная, очевидно, угрызениями совести, она бросилась к ногам мадам и, взяв в зубы подол ее платья, сидя на хвосте, засемила передними лапами, что у нее всегда служило выражением извинения. Никто не ударил Ладу, тем не менее она сумела сделать соответствующие выводы: больше она не крада, хоть бы мясо лежало под самым ее носом. Точно так же извинялась она, если ее щенята, расползаясь по комнатам, устраивали лужи на паркете - не менее серьезное нарушение собачьей морали! Лада понимала человеческие слезы: как только она видела Асю или Лелю плачущими, она ставила лапы им на колени и тянулась мордой к человеческому лицу.

В последнее время в жизнь Лады вошло много тревог: люди, окружающие ее хозяйку, стали исчезать один за другим; семья таяла... Это было тяжело, но пока Ася оставалась с ней, собака не теряла присутствия духа; она только еще настойчивей ходила по пятам за Асей и все с большей тревогой проводила часы ожидания.

На вокзале, при посадке на поезд, Лада тотчас угадала, что ее могут не пропустить; она сжалась в комочек, прижала уши и крадучись в одну минуту проскочила под лавку; она не подавала ни одного признака жизни, и все-таки ее обнаружили и теперь гонят эти люди с грубыми голосами; они вытащили ее за ошейник из-под лавки, выбросили ее из теплушки на рельсы и швырнули ей вслед камнем. Ее хозяйка в отчаянии хватается их за руки и плачет - ничто не помогает! Поезд уже пыхтит, сейчас он тронется, а страшные люди не пускают ее подойти к вагону и грозят палкой. Хозяйка стоит теперь на самом краю теплушки, держась руками за раздвинутые двери, и полными слез глазами смотрит на нее... Взгляды собаки и человека встречаются, и безошибочное понимание делает слова ненужными!...

"Не вини меня, что я тебя бросаю! Мне запрещаю - ты видишь сама! Я все так же тебя люблю и жалею; я знаю - ты без меня пропадешь, моя бедная, дорогая, хорошая! Больше мы с тобой не увидимся!"

"Я твоя верная Лада! Спасибо тебе за твою великую человеческую любовь. Спасибо за моих непородистых щенят, которых ты пожалела и выкормила. Без тебя для меня нет жизни. Прощай. Да будешь ты сохранена!"

Поезд двинулся. Асю пытались урезонивать:

- Ну, что вы! Что вы! Как можно так расстраиваться из-за собаки! Вы уже потеряли мужа и родителей и можете так плакать о животном!

- Эта собака любит меня, как человек. Она разлуку не перенесет. Добывать себе еду она не умеет! - в отчаянии повторяла Ася.

Поезд прибавил ходу. Маленькая станция и собака на пустом перроне остались позади...

Этот лагерь играл роль распределительного пересыльного пункта. После высадки на

маленькой глухой станции туда погнали лавиной весь этап, включая и тех, кто следовал на поселение, а не на лагерные работы. Постройки были все деревянные – и длинные бараки, и настилы вместо земли, и высокие заборы с башнями по углам, и дощатые уборные... ни одного деревца или кустика; помимо барачков и уродливо торчащих уборных – амбулатория и кухня; и никаких других строений. Выдавали суп и хлеб, за которыми каждый сам должен был являться со своей миской; на маленьких кирпичных печурках, выстроенных на воздухе, разрешалось кипятить воду, печь картошку и варить кашу тем, кто имел некоторый запас провизии. Всюду царила грязь; сыпали вонючий dust, и тем не менее темные бараки кишели вшами.

Ася целыми днями неподвижно сидела в отведенном ей уголке на нарах, закутавшись в ватник и плед, с поджатыми ногами, и качала Сонечку. Всякий раз, когда надо было встать и куда-либо идти, ей приходилось делать над собой очень большое усилие; пересечь барак и дойти по деревянному настилу до ближайшей печурки представлялось ей огромной трудностью, требующей затраты энергии, которой у нее не было. Притом она уверила себя, что только пока она баюкает и обнимает ребенка, смерть не властна подойти к нему, и это суеверное, насильно навязывающееся чувство ее преследовало. Ей было страшно выпустить из рук Сонечку, страшно даже молиться за нее – как бы не вышло наоборот!

Иногда со дна ее души вырастал, как вздох, молитвенный призыв: "Пожалей! Спаси!" – поднимался и угасал. Состояние скованной неподвижности в углу на нарах с прижатым к груди ребенком было сейчас наименее мучительно, и она при первой возможности погружалась в эту скованность.

Славчик, напротив, все время находился в движении и вертелся, как волчок, заглядывая во все закоулки барака; появление его везде встречало самое ласковое приветствие.

– Славочка, поди ко мне, милый! Посмотри, что у меня есть, – подзывала ребенка худенькая женщина в пенсне – научная работница, притянутая к делу киевских академиков

– А, вчерашний малыш! Ну, садись, садись, потолкуем, – приветствовал мальчика около печурки семидесятилетний улан Ее Величества – экс-красавец, военной выправкой несколько напоминавший Олега.

Асе постоянно случалось спрашивать у соседей:

– Вы не знаете, куда опять убежал мой малыш!

– Кажется, старик-волжанин его забрал, – отвечали ей

– Нет, нет, он у меня – пряничек ест, – откликнулась из своего угла бывшая генеральша Панова.

Молоко или кисель для Сонечки занимали умы всех женщин барака. Все банки со сгущенным или сухим молоком были предоставлены в распоряжение Аси; постоянно кто-то из дам совал деньги дежурному стрелку (как называли в лагере конвойных) с просьбой раздобыть молока для ребенка. Не имея весов, трудно было сказать, достаточно ли прибавляет в весе маленькое существо, но крошечное личико белело и округлялось.

Ася была молчалива. Несмотря на заботу, окружавшую ее со всех сторон, разговаривать с людьми и тем более рассказывать о своей судьбе казалось мукой.

Почему-то часто вспоминалось детство, а жизнь с Олегом отступила куда-то в прошлое...

Светлая солнечная детская белая кроватка, игрушки, заботливые лица, колыбельные песни, плюшевый мишка... Ей вспоминались утра в детской; просыпаясь рано и открывая глаза, она часто испытывала чувство блаженной и светлой легкости; тогда, в утренней тишине комнаты, ощущалась особенная прозрачность, на каждой вещи как будто лежал светлый покров, который в такие минуты был доступен ее восприятию – точно вдруг открывалось зрение на невидимое! Может быть, эта святость шла от белых гиацинтов, которые всегда в те годы стояли на окнах детской. Как она любила это состояние – лежит, бывало, и боится двинуться, чтобы не спугнуть его, и хочется, чтобы подольше не приходили будить. Теперь это навсегда ушло. В последний раз большую восторженную радость она ощутила после рождения Славчика.

Она слышала раз, как улан в разговоре с Пановой назвал ее сломанным цветком.

Лагерь весь деревянный.

– Все земляницы нет. Грачику и тому пройтись негде будет – червячка клюнуть, – говаривал

дядя Ваня – старый волжанин, который сидел за то, что назвал колхозный строй пагубным. Лагерь весь деревянный... тоска! Однажды Асе пришли на память вопли одной из жен в сказке о Синей Бороде: "Погляди с высокой башни – не крутится ли пыль в поле, не скачут ли мои братцы мне на помощь!" – "Нет, никого нет в поле! Только стадо баранов идет..."

Так и им – нет избавления, нет помощи! В груди – словно стержень из застывших слез...

Если бы мама или мадам могли себе вообразить, что их Асю и ее детей будут заедать вши и она будет чесать себе спину о грязные стены тюремного барака!... Говорят, детство вспоминает тот, кто умрет скоро!

Около печурок постоянно толклись люди, и там возникали слухи, достоверность которых никто не мог поверить. Так, скоро пронесся слух, что в лагере получены требования с ближайшихстроек: прислать на работу заключенных, имеющих те или иные ценные специальности, и особенно много будто бы требовалось инженеров, слесарей и врачей. Скоро после этого заключенных спрашивали, по какой специальности может работать каждый и каков его образовательный ценз. Ася слышала, как некоторые говорили, что высылка иногда хуже лагеря, который все-таки гарантирует похлебку, кусок хлеба, крышу над головой и товарищей, в то время как в ссылке человека просто выбрасывают за борт в самых неблагоприятных условиях. Лично она была другого мнения: в предстоящей ссылке теплилась надежда попасть в деревню, поближе к лесу, и тогда у детей будет молоко и воздух, а вокруг – зеленое царство; самая жестокая нужда казалась ей лучше лагерных бараков и труда под понуканье конвойных; их шаги, голоса и фигуры внушали ей ужас.

Через несколько дней большая партия заключенных – главным образом мужчин – была отправлена из лагеря на грузовиках; на следующий день еще одна уведена пешим строем. Говорили, что двигаются в направлении железнодорожной станции. Остались самые "никчемные", как шутя выражалась генеральша Панова, – не имеющие никаких ценных специальностей.

Через день или два на рассвете прозвучал клич:

– Собирайся на отправку, складывай вещи, не канителься!

В опустевших бараках зашевелились полубольные шаркающие старухи, взятые за происхождение или чиновных мужей и переговаривавшиеся между собой на безупречном французском языке.

– Торопитесь, бабки, торопитесь! Лагерь становится сейчас на дезинфекцию! Торопитесь, белогвардейские подстилки! – скалил зубы молодой конвойный, проходя между нар. – Упаковала, что ли, своих сосунков, красotka? Молока опять? Да я бы, может, и принес, но уж очень ты несговорчива – занятого человека битый час у ворот зря торчать заставила. Поклонись теперь Федьке – он добрей меня.

Ася с пылающими щеками молча пеленала Сонечку.

– Не волнуйтесь, деточка! Чего и ждать от такого хама. Лучше не отвечайте вовсе, – шепнула Панова, натягивая рейтузы на Славчика. – Доедем и без молока – везут недалеко. Игнатий Николаевич сам слышал, как шофер говорил, что запасного бензина ему не потребуется.

Высадили часа через два в небольшом городке.

Когда партия стояла около грузовиков на дворе перед длинным зданием местного гепеу, один из начальников, с нашивками, в папахе, вышел из здания на крыльцо и провозгласил:

– Ага! "Соэ"! Сколько тут этих "соэ"?

Произвели поименную переключку, сдали и приняли под расписку, – и грузовик с несколькими гепеушниками на нем запыхтел и повернул обратно.

– Товарищ начальник, разрешите задать вам один вопрос, – обратился тогда к человеку в папахе старый улан. – Что такое "соэ"?

Ответ был очень глубокомыслен и вразумителен:

– "Социально опасный элемент". Как же вы, гражданин, не знаете, что собой представляете?

– Никто не оповестил меня о перемене моего звания: в Соловках меня относили к "роэ", и это означало: "рота отрицательного элемента", – ответил улан.

- Молчать! - крикнул человек в папахе, уловив насмешку в звуке этого спокойного голоса. Мужчин отделили и увели в здание, а женщин после повторной переключки объявили свободными - с обязательством являться на перерегистрацию два раза в месяц. Ворота открылись, и женская часть "соз" оказалась посередине улицы под медленно падающими со свинцового неба снежинками.

Вещи великодушно разрешили оставить на пару суток в гепеу. Предполагалось, что за эти сутки ссыльные подыщут себе помещение.

- Vais que donc faire? Oh, mon Dieu! [127] - пролепетала бывшая смолянка, уже седая, прозванная между ссыльными Государыней за то, что она каждые пять минут углублялась в воспоминания, неизменно начинавшиеся словами: "Когда покойная Государыня Императрица приезжала к нам в институт..." Речь свою Государыня постоянно пересыпала французскими фразами, и это, в соединении с валенками и деревенским платком, производило весьма странное впечатление.

- Ничего, ничего! Никогда не надо отчаиваться! Хуже, чем было, не будет, - бормотала в ответ оптимистка Панова, считавшая своей обязанностью поддерживать бодрость в маленьком отряде, как это делал когда-то ее муж в своем.

- Гражданочка, а гражданочка! - закудаhtала в эту минуту крошечная старушка из местных жительниц, которая остановилась с двумя ведрами на коромысле против ворот гепеу, созерцая торжественный выход "соз". - Ты, что ли, гражданочка, крестьян мутишь? Видать, из господ, а мне сын-партиец сказывал, что бывшие господа на саботаж, мол, сегодня подбивают и отравляют наши колодцы...

- Я, я, как же! Во всех бедствиях виновата я, - ответила Панова, с трудом волоча больные распухшие ноги. - Софья Олеговна, агу! Самое страшное уже позади, - и, подхватив под живот худую, как скелет, кошку, перебежавшую ей дорогу, немедленно присоединила ее к "соз".

Все пространство вокруг наполнилось медленно падающим снежным пухом.

## Глава восемнадцатая

Надежда Спиридоновна наконец устроилась более или менее сносно: на деньги, высланные Микой за продажу гравюр, она поставила в своей горнице печурку, а на те, что получила за продажу каракулевого сака, вставила вторые рамы и запаслась дровами.

Приятным сюрпризом было, что Мика оказался таким щепетильным в денежных делах - он прислал ей точный отчет, подкрепленный квитанциями, чего никогда не делала Нина, имевшая способность всегда терять деловые бумаги. Тимочка был здоров и тоже очень доволен печкой; клопов и тараканов в этой избе не было (в противоположность предыдущей, из которой они бежали), мужчин тоже, к счастью, не было! Хозяйка попалась женщина тихая, честная и аккуратная; она мыла Надежде Спиридоновне пол по субботам и безотказно подавала ей утреннее молоко. Картошка и керосин у Надежды Спиридоновны были заготовлены на всю зиму; длинные нити хорошеньких боровичков, собственноручно собранных в ближайшем лесу, висели около печки рядом с такими же нитями луковиц; порядочная сумма денег осталась еще нетронутой. Таким образом, предстоящая зима Надежду Спиридоновну не слишком пугала, и она уже начала надеяться, что мытарства ее кончились... И вдруг - неожиданное осложнение!...

В этот злополучный день она вышла перекупить себе около булочной хлеба не раньше не позже, как за час до своего обеда; в Заречной слободе на перекрестке - там, где был сложен тес, - сидели на досках несколько женщин с котомками; одна из них, совсем еще юная, подняла в эту минуту голову...

«Какое одухотворенное лицо у этой девушки!... Кого она мне напоминает? - подумала Надежда Спиридоновна, оборачиваясь, чтобы взглянуть еще раз на этот прозрачный лоб, длинные темные ресницы и иссиня-серые глаза, которые как будто бросали тени на нежные веки. - Ах, Боже мой! Да ведь это молодая жена Олега Дашкова - поручика Его Величества лейб-гвардии

кавалергардского полка! Как она изменилась!...» Это лицо Надежда Спиридоновна всегда видела светящимся радостью и оживлением; изяществом линий головка Аси напоминала ей миниатюры эпохи ампир; теперь исхудалая и печальная, со строгим складом губ, в платочке, повязанном по-деревенски, она просилась скорее на картины Нестерова, а синеватый снег вокруг и бродившие у ее ног гуси составляли самое стилизованное окружение.

В первую минуту Надежда Спиридоновна обрадовалась встрече; ей представилось, что Ася приехала по поручению Нины передать ей еще денег, масла и сахару; поэтому, когда Ася бросилась к ней, она почти нежно обняла ее и поцеловала; тотчас, однако, выяснилось, что ситуация иная в корне: помощи ждут от нее, от Надежды Спиридоновны, и отказать немисливо – все эти женщины в самом безвыходном положении, и все ее круга: фамилии, французские фразы и упоминания о Государыне Императрице не оставляли сомнений! Если бы ее окружили деревенские женщины, она, не церемонясь, разогнала бы их, но светский такт несчастной генеральши, эти деликатнейшие уверения и извинения, эти «Entre nous soit dit» и «Vous avez raison, chere amie» [128] обезоружили старую деву. Она повела к себе завшивленных и голодных дам. Никогда еще в жизни человеколюбие Надежды Спиридоновны не поднималось до такого пика!

Но хватило этого человеколюбия только на одни сутки.

Уже на следующее утро, воспользовавшись минутой, когда Надежда Спиридоновна вышла в погреб с крынкой сметаны, старая генеральша подошла к Асе и, целуя ее в лоб, сказала:

– Нам придется теперь же покинуть дом вашей родственницы: мы, разумеется, ей в тягость. Вы сами отлично видите, что она даже не пытается это скрывать. Не вздумайте, пожалуйста, уходить с нами из каких-либо товарищеских чувств: ваше положение совсем другое.

В эту минуту вошла Надежда Спиридоновна.

– Chere amie [129], – обратилась к ней с улыбкой Панова, – мы вам чрезвычайно благодарны за ваше гостеприимство, но пора ведь и честь знать! Вашу милую Асю мы, разумеется, вам оставляем, а сами постараемся подыскать себе постоянное жилье.

Надежда Спиридоновна пробормотала из вежливости две-три фразы и поспешила проститься. «Почему именно Надежда Спиридоновна!» – с тоской подумала Ася. В самом деле, если была проявлена божественная милость, сказавшаяся в том, что, скитаясь без приюта в таком отдаленном и глухом углу, как этот никому неизвестный Галич, Ася неожиданно натолкнулась на родственницу, то в милости этой все-таки было что-то неполноценное, несколько неудавшееся, однобокое – какая-то гримаса! Насколько было бы Асе легче, если бы на месте Надежды Спиридоновны была любая другая из знакомых ей дам или хотя бы простая полуграмотная Аннушка.

Утро.

– Что это ваша Сонечка так плохо спит? Никогда, в самом деле, покоя нет из-за этого ребенка!

– Извините, пожалуйста, Надежда Спиридоновна. Она только раз пискнула: она мокренькая была! Я ее на руках закачала, лишь бы она скорей умолкла.

Надежда Спиридоновна спускает ноги с кровати, Ася кидается к ней.

– Ни к чему! Я отлично сама могу достать мои туфли: я ставлю их всегда на одно и то же место и нахожу ногами безошибочно.

Ася отскакивает от нее к Славчику.

– Осмотрите повнимательней белье ребенка: верно ли не осталось вшей? За воротником поищите. Ведь это самое большое бедствие, какое только можно вообразить.

– Нет, нет, Надежда Спиридоновна, ничего не осталось. Ведь я все белье намочила сначала в керосине, потом перестирала и каждую складку прогладила горячим утюгом. Ничего не осталось.

– К чему вы так кутаете ребенка? Что это за фуфайки? Мальчишку закалять следует. Как замечательно закаляли нас в Смольном: каждое утро до пояса обливали холодной водой. Точно так же и мальчиков в пажеском.

– Я вовсе не кутаю: муж запрещал мне это с первого же дня. Но Славчик все время

выскакивает в сени, он с насморком, а в сенях ниже нуля – там вода замерзает.

– Кстати, в сенях у вас сложена гора мокрых пеленок; скоро от детских пеленок деваться будет некуда.

– Я сегодня все выстираю. Я вчера не успела!

– Всегда одно и то же! Отчего я все успеваю?

Ася молчит.

– Накрывайте стол, а я пойду в сени мыться; мне семьдесят два, но я моюсь всегда ледяной водой и никаких простуд не боюсь.

Через десять минут, совершив свое героическое омовение, Надежда Спиридоновна возвращается в комнату.

– Так и есть! Стол, конечно, не накрыт! А вы ведь уже знаете, что я имею обыкновение садиться ровно в восемь. Я своих привычек менять не намерена.

– Извините, Сонечка опять запишала. Сейчас все будет готово!

Ася бросается к деревенскому погребу с посудой.

– Зачем вы этот хлеб на стол кладете? Спрячьте обратно – есть краюшка почерствее: подавать надо в порядке очереди. А кофе я заварю сама: вы не знаете, сколько ложек надо засыпать, чтобы было достаточно крепко. Смотрите, ваш Славчик схватил мой флакон. Ребенок должен знать, что чужие вещи он трогать не смеет, и воспитывать ребенка надо с самого начала. Запомните!

Дощатый кривой стол наконец накрыт заштопанной, но прекрасной затканной скатертью «из прежних»; около места Надежды Спиридоновны ее любимая севрская чашка и серебряный кофейник, а на нем «матрена», разодетая и вышитая ее собственными руками. Оттенок благодушия разливается по лицу Надежды Спиридоновны, когда она усаживается на свое хозяйское место, обозревая стол. Эта молоденькая Дашкова хоть и невыносима своей бестолковостью и вечно пищащими младенцами, но в отсутствии субординации ее никак нельзя упрекнуть: она пододвинула ей под ноги скамеечку, а за столом сидит выпрямившись, прижав локти и опустив глаза, как только что выпущенная институтка: видно по всему, что она прошла строгую школу воспитания и с детства приучена уважать старших.

– Налить вам кофею, Ася?

– Пожалуйста, Надежда Спиридоновна, – и Ася берется за сахарные щипчики.

– Вы сахар кладете в кофе? Какой ужас! Натуральный кофе – благороднейший напиток, но он должен быть крепкий и горький; вся его прелесть как раз в благородной горечи. Возьмите теперь ложку меда – это деревенский, настоящий; я ходила за десять километров в Цицевино. А масло закройте колпачком – пусть останется нам на завтра. Здесь масла достать нельзя – я сама сбиваю его из сметаны и подбавляю морковного сока. Человек должен все уметь делать. Истинное величие духа в том и состоит, чтобы никогда не опускаться и не изменять своим правилам. Бабушка ваша, кажется, отличается твердостью духа и, разумеется, благородством манер – вот берите пример с нее, а то теперь молодежь даже в лучших семьях разучилась себя держать. Нина и та в последнее время стала слишком непринужденна: при каждом готова на смех и на слезы, юбка короткая и всегда бегом, как девчонка. А ведь наш род очень древний.

Ася молчит.

– Очень древний, а со стороны матери еще древнее: генеалогическое древо наше корнями уходит в Рим – мы ведь от Сципионов.

Ася с робким изумлением поднимает на Надежду Спиридоновну глаза.

– А ваш род?

– Дашковы, кажется, от Рюрика, а Бологовские... не знаю, не помню... Знаю, что герб наш – олень и башня – вышит бисером у бабушки на подушке.

– Рюрик... Что такое Рюрик по сравнению со Сципионом!... – задумчиво отзывается Надежда Спиридоновна, подымая глаза к потолку.

После второй чашки кофе Надежда Спиридоновна любила что-нибудь вспомнить и рассказать...

- Первый раз за границу я ездила еще молодой девушкой, с отцом и братом. Мы провели месяц в Ницце – очаровательный город! В то лето там было много русских. Один гвардейский офицер сделал мне тогда предложение, но мой отец отказал ему в моей руке, поскольку офицер этот оказался игрок и уже спустил в Монако свою подмосковную. Позднее я ездила в Лозанну с братом и маленькой Ниночкой, а в Германии я была несчетное число раз в сопровождении одной только Ньюши. Тогда это было очень просто: сунешь дворнику пять рублей, и он на другой же день принесет себе заграничный паспорт. Видели вы Сикстинскую мадонну? Я, бывало, садилась на кресло напротив картины и подолгу не спускала глаз. Рафаэль гениально запечатлел на полотне младенческое очарование и тонкую прелесть материнства. – Но Ася и тут поглядывала на Надежду Спиридоновну с выражением обиженного ребенка, которое бывало ей свойственно. «Не любит она детей вовсе! Разве мой Славчик не очарователен? Когда спит, он как раз напоминает младенчика Иисуса у итальянских художников, а Надежда Спиридоновна никогда его не приголубит!» – думалось ей.

Она подымается:

- Мерси, Надежда Спиридоновна. Разрешите мне встать: время кормить Сонечку.

- Суэта всегда с вами какая-то: не поговоришь, не посидишь спокойно. Зачем вы сливочник этот схватили?

- Немножко молока... девочке...

- В этом сливочнике – утреннее: для меня и для Тимура. Возьмите вчерашнее вон из той кастрюли, оно еще вполне свежее. Надо вам сегодня же поискать комнату. Я уже с неделю твержу одно и то же.

- Я и сама очень хочу переехать. Я ведь понимаю, что вам беспокойно с моими детьми. Отделите меня, пожалуйста, хоть в хозяйстве. У меня нет лишних денег и запасов провизии. Мне было бы удобней самой покупать и стирать... а то я... мы все за ваш счет...

- Глупости: ни в каком случае я не хочу, чтобы моя комната походила на коммунальную кухню. Пока вы не выехали, вы – моя гостя. Только я вас прошу повнимательнее относиться к моим требованиям: вы вот брали совок мусор подобрать, а назад не поставили...

Даже ночью не было покою:

- Опять сморкаетесь? Что это вы за привычку взяли плакать по ночам? Думаете, я не слышу? Только задремлешь – и непременно помешаете или вы, или ваша Соня.

Жизнь сделалась понемногу невыносимой для Аси. Вид этой аккуратной комнаты в гвоздиках по стенам опостылел ей больше лагеря: там, на голых досках с вшами, она видела примеры мужества и великодушия; чужие люди отдавали Славчику последние куски сахара и сухари; весь барак затихал, когда ее жалобный голосок затягивал колыбельную; здесь – сухая враждебность и ни капли нежности; а нежность и любовь необходимы, как пища для ее души, без них она сжимается в комочек, не зря называл ее мимозой Олег, который всегда все видел и понимал. Здесь каждый разговор превращается в труху, а ветхие домишки и серые деревянные заборы за окном такие же скучные, как придирки и голос Надежды Спиридоновны. Тимур и тот казался отвратителен Асе: было что-то слишком самоуверенное в той важности, с которой он укладывался на свое излюбленное место на лежанке или брезгливо лакал свое утреннее молоко; фыркая на Славчика, он, казалось, сознавал превосходство своего положения; казалось, он наушничает на нее хозяйке и ведет скрытую игру, чтобы выгнать на улицу ее и детей. Однажды, оставшись с ним наедине и встретившись с его желтыми круглыми глазами, Ася не выдержала и сказала:

- Подлиза, интриган, любимчик! Никогда еще не встречала таких злых, сухих и мелочных, как ты и твоя хозяйка!

Кот смотрел на нее не мигая и как будто говорил: «А я передам кому следует!»

Раза два Асе удалось вырваться из дома и обегать соседние дворы в поисках комнатухи, но тщетно! В одном доме комната подвернулась было, но как только хозяйка узнала, что у нее два младенца, тотчас отказали. Времени на более обстоятельные поиски не хватало.

Еще недавно ей казалось, что вещи не имеют большой цены и терять страшно только людей...

Теперь она начала думать иначе: насколько легче было бы ей в своей собственной комнате, там, у себя, где ласка исходила от каждого предмета! Она могла бы свободно поплакать, спрятавшись в бабушкино кресло со знаменитой подушкой; помолиться все за тем же шкафом; утром взять детей к себе на две составленные рядом кровати и покувыркаться с ними; никто не посмел бы ее одернуть, сколько бы Сонечка ни плакала, а согревая молоко, она могла схватить любую кастрюльку! Там, в ее спальне, в кресле-качалке, остался сидеть, растопырив лапки и вытаращив глаза-пуговицы, ее старый любимый ею, плюшевый мишка с оторванным ухом – тот самый, которого она тащила когда-то, следуя за отрядом арестованных. Мадам, обладавшая большой фантазией, уверила ее когда-то, что игрушки иногда оживают, согреваемые духом человека, – они становятся «полуживыми»; мысль эта, брошенная в сознание девочки (очевидно, с целью продлить интерес к игрушкам), сделала то, что Ася в продолжение еще многих лет считала одушевленным своего мишку и до последнего времени не могла вполне разделаться с этой уверенностью... Она во что бы то ни стало хотела взять медведя с собой, уже воображая его на ручках Сонечки; но в минуту отъезда, в слезах выходя из квартиры, забыла – он так и остался, бедный, в качалке, а новые обитатели, может быть, выбросили его на помойку. Хоть бы маленький Павлик взял его себе. Как-то теперь Павлик? Он начал ходить в школу – учиться, наверное, плохо и получает оплеухи... Без нее никто его не пожалеет...

Спустя дней десять после водворения у Надежды Спиридоновны Ася получила денежный перевод от Елочки, которой сообщила свой временный адрес. С деньгами в руках она робко приблизилась к Надежде Спиридоновне.

– Я вам должна... Мы все время питались за ваш счет... Теперь я получила деньги и могу с благодарностью...

Старуха выпрямилась.

– Денег от вас я получать не желаю. Ася, я возражений не потерплю. Поберегите эти деньги на свое переселение. Как обстоит дело с комнатой? – и, выслушав информацию, прибавила: – Ну, разумеется! Быть в соседстве с детьми – маленькое удовольствие!

Ася вздохнула: с некоторых пор она постоянно чувствовала себя виноватой в том, что у нее есть дети! Тем не менее, то достоинство, с которым Надежда Спиридоновна отвергла все расчеты, произвело на Асю впечатление. Впрочем, все добрые чувства рассеялись в тот же вечер, когда в шкафу, который Надежда Спиридоновна держала обычно закрытым на ключ, мелькнул большой коробок, полный крупных, отборных яиц. «Она их от меня прячет: боится, что стану выпрашивать для детей», – подумала Ася и почувствовала, как вспыхнули ее щеки.

На следующий день Надежда Спиридоновна снова отпустила ее на поиски жилья. Пробираясь в валенках с сугроба на сугроб вдоль канав в фиолетовых сумерках, она удивлялась пустоте улиц – за глухими заборами, казалось, не было вовсе никакой жизни! «До чего мертво, бедно, пусто! – думала она, озираясь. – Собака вот там на помойке роется; худая, как скелет... Голодна, бедняжка, и хвост поджат, видно, запугана. А у меня ничего нет ей дать. Как мало еще любят у нас животных! Собака может околевать на глазах у людей, а сытые хозяйки будут бросать в помойное ведро остатки пищи, но не вынесут животному, не помянут, не пожалеют, а если собака приблизится сама, еще погонят от крыльца с надменной миной. Так и с Ладой моей, наверно. Сколько горя вокруг, сколько зла! Хоть бы не видеть! Человечество не должно было бы допускать безрадостного детства, смертных казней и бродячих умирающих с голода животных. Есть люди, которые отдают жизнь переустройству общества, а христиане – настоящие – отдают ее всем несчастным, а я вот хотела отдать себя музыке, но и этого не сумела.

Внезапно слуха ее коснулись звуки «Чиарины», доносившиеся из окон невысокого деревянного дома. Она остановилась, схватившись за колья калитки. Играл несомненно дилетант, но играл «с душой», незаученно, сначала «Карнавал», а потом – «Крейслериану».

Дом, ее родной дом, милые родные лица, милые родные комнаты, любовь, ласка, музыка – все, что уже не вернется никогда. Она не знала, сколько времени простояла тут! Музыка смолкла, а она все не двигалась, погруженная в горькие думы...

С деревянного крыльца на пустой заснеженный дворик вышел человек, тоже в валенках, в полушубке и ушанке, и подошел к калитке.

- Я, кажется, так хорошо играл нынче, что ундины повыползли из дебрей меня слушать! - сказал этот незнакомый человек и в лиловатых снежных сумерках короткого декабрьского дня пристально взглянул в ее печальное лицо.

- Извините... я заслушалась... я не ожидала, что здесь зазвучит Шуман, - смущенно пробормотала Ася.

- А я не ожидал, что в этой дыре найдутся квалифицированные слушатели. Рояль этот вывезен из дворянского особняка и стоит в пустой зале здешнего клуба; я выхлопотал у заведующего разрешение приходить играть на нем, что и вам советую сделать, если владеете инструментом.

- Он окинул ее взглядом: - «Пятьдесят восьмая», наверно?

Ася молча кивнула.

- Стало быть, товарищи по несчастью. Разрешите представиться: Кочергин Константин Александрович, врач. Заявили мне, будто бы моя жена связана с эсерским центром, и по этому случаю сижу в этой дыре, хотя ни одного эсера в глаза не видел. Ну, а жена запрятана еще дальше, и о ней уже пять лет не имею сведений. Ну, а вы, очевидно, за отца? Или за мужа?

Ася безнадежно махнула рукой и выбралась из сугроба на тропинку.

- Куда вы торопитесь? Давайте помузицируем вместе, отведем душу. У меня кое-какие ноты там сложены. Вы в четыре руки играете?

- Играю, но я не могу задерживаться - у меня дети.

- Дети?

- Да, двое.

- Да сколько же вам лет?

- Почти двадцать три года. Я побегу. С детьми моя grand-tante, она на меня рассердится.

- Кикимора, по всей видимости, эта гранд-тант. Постоите, подождите, ну, подождите же! Дайте ваш адрес. Вы, по-видимому, себе еще не представляете, какая дыра этот Галич: интеллигентный человек здесь находка! Кроме того, не забывайте, что я - врач и могу пригодиться при случае. Хотите, я пропишу рыбий жир и витамины вашим малышам? При себе рецептных бланков у меня сейчас нет, но если вы зайдете в поликлинику, где я работаю, я вам устрою это.

Сколько раз запрещали Асе вступать в разговоры с неизвестными мужчинами, которые тем или иным путем добиваются знакомства с ней, и все-таки она назвалась и записала адрес поликлиники. Неужели даже теперь в нужде и горе, одетые в валенки и полушубки, они обязаны соблюдать весь феодальный ритуал, необходимый для знакомства мужчины с женщиной? Ну а это продуманное, тонкое исполнение Шумана - разве не рекомендует человека? Разве не служит гарантией интеллигентности и воспитанности больше, чем неизвестная фамилия, которую бормочет кто-то третий, представляя нового знакомого, пока тот галантно расшаркивается?

Никто из домашних и друзей не смотрел на Асю как на взрослую: каждый желал взять ее под свою опеку и правом считал отчитывать - таковы уж были свойства ее натуры! Когда на следующее утро она попросила разрешения сбегать на полчаса к доктору, с которым познакомилась накануне, Надежда Спиридоновна так и подскочила:

- Как?! Вы с мужчинами знакомитесь? Я вас отпускаю поискать крова, а вы изволите флиртом заниматься, сударыня? Вздумаете, чего доброго, сюда неведомо кого приводить! Имейте в виду: я мужчине не разрешу перешагнуть порог моей комнаты! Если желаете заключать легкомысленные знакомства - вон из моего дома! - кричала она, корявый подагрический палец крутился около самого лица Аси.

Напрасно Ася старалась объяснить, что не помышляла о флирте: Надежда Спиридоновна успокоилась только после того, как вынудила у нее обещание не идти за рецептами. Видя, что Ася от обиды расплакалась, она сочла нужным ей пояснить.

- Испорченной я вас не считаю, можете не обижаться. Вы, очевидно, просто дурочка: вам не

шестнадцать лет, и вы могли бы уже понять, что ни один мужчина никогда ничего не делает для женщины без задних мыслей. Как же можно доверять таким существам?...

Кочергин напрасно в это утро метался от пациента к окну в маленьком кабинете местной поликлиники, интеллигентка с чертами камеи не появлялась на ледяной дорожке.

Тем не менее в гороскопе Надежды Спиридоновны было написано, что порог ее девственной кельи мужчина все-таки переступит.

Славчик начал «кукситься», по выражению любезной grand-tante, и на следующее утро оказался в жару. Ася испугалась, что ребенок схватил воспаление легких; Надежда Спиридоновна полагала, что это всего-навсего грипп, но грипп, как заболевание заразное, опасен для окружающих. Предосторожности ради Ася переместила Сонечку подальше - на лежанку, к великому негодованию Тимура, сердито горбившего спину.

Надежда Спиридоновна была очень недовольна случившимся.

- Этого еще не доставало! - повторяла она, прохаживаясь взад и вперед по комнате с озабоченным и хмурым видом. Ася исподлобья пугливо взглядывала на нее. Днем температура поднялась до тридцати девяти. Стряхнув градусник, Ася молча с решительным видом подошла к своему ватнику, висевшему у двери, влезла в валенки и повязалась платком.

- Куда? - сурово спросила ее Надежда Спиридоновна.

- За доктором, - сдержанно ответила Ася. Она уже приготовилась к буре, но Надежда Спиридоновна промолчала, очевидно, она учла, что в этот раз ей Асю не остановить, и, как женщина умная, решила, что не следует зря тратить свой порох.

Этот человек появился в избе у перепуганных женщин как добрый гений: надувшемуся и заплаканному Славчику он прежде всего устроил из пальцев «козу рогатую», потом пощекотал ему ладонь и, напевая «сороку-белобоку», забрал ребенка на руки и совершенно незаметно выслушал и выстукал маленькую грудь и спину. Запущенная в горло ложка вызвала горькую обиду со стороны Славчика, очевидно, пожалевшего о преждевременном доверии к чужому человеку, но новый доктор его легко успокоил рассказом про кота в сапогах, после чего Славчик снова пожелал вернуться к нему на колени.

Не спуская ребенка с рук, Кочергин давал свои наставления: по его мнению, у Славчика был бронхит, с которым надо было как можно скорей покончить, чтобы он не перешел в воспаление.

- Если есть банки, давайте! Я сейчас поставлю. Нет? Хорошо, я сейчас принесу свои и, кстати, в аптеку забегу за лекарствами и скипидаром. Вы сами чрезвычайно изнурены, Ксения Всеволодовна, я достану вам глюкозу, аптекарь меня знает. А вам, Надежда Спиридоновна, не нужно ли чего-нибудь? Кости болят? Спирта Лори у нас в аптеке, конечно, нет, но у меня дома была бутылка - я захвачу. Итак, отправляюсь, не тратя времени даром.

Вернулся он очень скоро и, продолжая забавлять Славчика сказками и прибаутками, поставил ему банки, после чего, освидетельствовав маленькую Сонечку, объяснил, в каких дозах следует ей давать витамины и рыбий жир. Надежда Спиридоновна была приятно поражена обходительностью и вниманием нового доктора, даже решилась показать ему пораненную лапу Тимура, которую Кочергин удивительно ловко промыл и перебинтовал, несмотря на фырканье «интригана».

Уже надев тулуп и стоя с ушанкой в руках у низенькой двери в сени, Кочергин говорил:

- Завтра после работы я забегу узнать, как дела, и сделаю опять банки. Микстуру я заказал и принесу с собой, да еще прихвачу вам ваты и марли для маленькой. Нет, нет - я с сыльных не беру денег: мы товарищи по несчастью, ни в коем случае!... Да, я с детьми умею: у меня тоже сынишка, но я его не видел уже три года - он в Ленинграде с моей тещей...

Ася выскользнула в сени и, появившись снова на пороге и в упор глядя на Надежду Спиридоновну, сказала:

- Чайник уже вскипел...

Надежда Спиридоновна поняла ее маневр.

- Останьтесь выпить с нами чаю, - выговорила она волей-неволей, но новый доктор

окончательно завоевал ее расположение тем, что отказался сесть за стол – он уверил, что ему до вечера надо сделать еще один визит. Прощаясь, поцеловал руки Надежде Спиридоновне и Асе.

Когда, проводив врача до крыльца, Ася вернулась в комнату, Надежда Спиридоновна торчала сухой палкой около колыбели Сонечки и низким, хриплым голосом, почти басом, напевала ей, картавя, французскую песенку:

Ainsi font, font, font  
Les petites marionnettes,  
Ainsi font, font, font,  
Les jolies petites fillettes.  
Ainsi font, font, font,  
Trois petits tours et puts s'en vont... [130]

Ребенок, пожалуй, мог испугаться такого силуэта и такого голоса, тем не менее эта неожиданная забота была очень трогательна. В этот вечер, укладываясь как всегда на полу на гладильнике, постланном поверх соломы, Ася прошептала, целуя свой крестик: «Господи, спасибо Тебе за доктора! Сохрани моих малюток!»

На следующий день Кочергин констатировал, что опасность воспаления легких миновала, но осторожность нужна еще очень большая. В этот день он появился на пороге комнаты Надежды Спиридоновны с огромными свертками в руках.

– Вот я принес немного провизии... Мне пациенты иногда суют, а я не хозяйничаю, и все это пропадает без пользы... Тут немного крупы, сахарного пуску и свиного сала, а вот тут яйца. Вашего мальчика после лагеря следует усиленно подпитать, чтобы помочь ему бороться с болезнью.

Ася подошла забрать свертки и обрывающимся голосом прошептала:

– Я вам так благодарна... Вы так добры... Не знаю, чем я смогу отплатить вам...

Но через несколько минут... Это впечатление было мимолетное, но болезненное... Славчик топал ножками на ее коленях, и она, обнимая сына, говорила:

– Ну вот, теперь мой зайчонок скоро поправится: мама будет давать мальчику-зайчику овсяную кашку и гоголь-моголь... -и прижимаясь щекой к горячей щечке ребенка, Ася подняла глаза на Кочергина, который стоял в двух шагах, приготавливая горчичник. Он смотрел в эту минуту на нее. И что-то было в этом взгляде. Что-то мужское и хищное... Кровь прилила к ее щекам, и сердце забилося... Она тотчас себя осудила: да неужели же мужчина никогда не может прийти на помощь женщине, не вызывая с ее стороны недостойных подозрений? Это Надежда Спиридоновна внушила мне! Он не такой! Он понимает, что такое больной ребенок... У него свой!

Яйца в коробке вызвали в ней самую сложную внутреннюю борьбу: Надежда Спиридоновна ушла купить хлеб и еще не видела их; у этой скупой и сухой старухи всего было довольно, и так хотелось сберечь их для Славчика! Кормить потихоньку казалось ей недостойным, немислимым! Лучшее начало возобладало, и когда Надежда Спиридоновна вернулась, она показала ей коробок со словами:

– Это будет вам и Славчику.

Но старуха ответила сухо:

– Заботьтесь о ребенке, у меня есть свои, – и с этого дня стала варить себе по парочке, каждый день пересчитывая остаток. Стоя над кастрюлей, в которой кипели яйца, она всякий раз читала по три раза «Отче наш», что у нее служило, по всей вероятности, меркой времени.

Это неудержимо раздражало Асю: разве для варки яиц дал эту молитву светлый милосердный Иисус Христос, образ Которого, если закрыть глаза, словно проплывает вдалеке?

Через несколько дней Асе пришлось выйти вместе с Кочергиным, чтобы зайти в аптеку, так

как сам Кочергин торопился от них прямо к пациенту. Едва лишь они вышли на темную улицу, как, овладев ее рукой, он сунул ей в варежку тридцатирублевку.

- Нет, Константин Александрович, ни за что! Возьмите обратно!

- Послушайте, я это делаю ради детей, - сказал он, останавливаясь, - я отлично вижу всю безвыходность вашего положения. Мне заплатили за визит; я обычно отказываюсь от оплаты, а в этот раз принял, имея в виду отдать вам. Здесь есть небольшой базарчик, сбегайте туда завтра утром: там продают мед, молоко, квашеную капусту, свинину. Все это питательные вещи. Вам и вашему Славчику необходимо под питаться - я это не шутя говорю.

- Я не шутя отказываюсь. У вас своя семья, а мне помогает одна добрая душа, мой друг.

Он перебил:

- Простите нескромный вопрос: этот друг - женщина или мужчина?

- Женщина. Они помолчали.

- Возьмите ваши деньги, Константин Александрович.

- Нет, не возьму! Станный народ женщины! Если бы я раскатился к вам в день ваших именин в Петербурге с корзиной роз или флаконом духов, вы приняли бы не колеблясь, хотя это стоило бы много дороже. Но когда я прошу принять деньги, чтобы накормить больного ребенка, вы оскорбляетесь!...

- Я не оскорбляюсь - я не хочу. Как я потом рассчитаюсь с вами?...

Он насвистел какой-то мотив и прибавил:

- Вот чего вы опасаетесь.

- Я не понимаю вас, - ответила Ася.

- Узнали фразу, которую я насвистел вам?

- Нет.

- Нет так нет. А может быть, и припомните...

Тридцатирублевка все-таки перешла в руку Аси.

- Должен вам признаться, - продолжал он, - что мне чрезвычайно нравится в вас полное отсутствие всякой рисовки своим горем и вся манера держаться! - и предложил встретиться вечером в зале клуба, чтобы поиграть в четыре руки, но она отказалась, остерегаясь длительного *tete a tete* и страшась убедиться, как одеревенели и ослабели ее пальцы.

Уже ночью, лежа без сна и напряженно прислушиваясь к дыханию детей, Ася вспомнила вдруг мотив, который насвистел ей Кочергин, - Римский-Корсаков, «Царская невеста», второй акт: «С тебя - с тебя немного: один лишь поцелуй!...» И опять женский инстинкт шепнул ей: «Осторожней!» - точно так же, как женщинам другой категории этот же инстинкт шепчет: «Поднажми!» или: «Здесь клюнет!»

Она теперь уже знала биографию этого человека. Ему около сорока; он не был аристократом и, узнав фамилию Аси, сказал: «Я не из этого числа». Однако он насчитывал за собой четыре поколения с высшим образованием. Диплом врача он получил весной 1914 года и сразу же попал на фронт молодым ординатором; во время гражданской войны продолжал работу в госпитале на территории красных; был арестован чекистами по обвинению в намерении перейти линию фронта; о последнем событии он рассказывал почему-то в комических красках:

- Прозябали мы в великолепной тюрьме, голодные и полуживые, без всякой надежды выбраться; каждый день кого-то из нас уносили в тифу. В одно утро заглянули к нам чекисты и вызвали нескольких человек на работы по очистке города; среди них - моего товарища, который лежал без сил в злейшей цинге; я вызвался отработать за него. Привели нас в солдатские кухни, велели мыть полы и воду носить, а повара попались ребята хорошие и накормили нас до отвала. На следующий день, как только чекисты сунули нос в камеру, все мы как один повскакали: «Меня возьмите, и меня, и меня!» Да только новой партии не посчастливилось: целый день уборные чистили, и маковой росинки во рту не было! Потом меня начали водить под конвоем в дом к одному крупному великолукскому партийцу, у которого жена лежала в тифу. Я набил себе руку на ранениях, а в терапии был тогда слаб - не уморить бы нечаянно, думаю, пропадет тогда моя головушка!... Поправилась она на мое счастье, и

партиец этот в благодарность похлопотал о пересмотре моего дела. Весной двадцать второго года меня за «отсутствием улик» выпустили наконец на Божий свет. Квартира моя за эти годы пропала, и мы с женой оказались в самом бедственном виде; я все лето босой по визитам ходил да собирал грибы на похлебку; осенью меня угнали на тиф, а жена в это время была в положении. Уезжая, я просил прежнего денщика, с которым мы вместе застряли в Великих Луках, позаботиться о моей жене. Когда я вернулся, моя Аня рассказывает, что Миколка наш снабжал ее бесперебойно, и с ним она была сытее, чем со мной. «Как это ты zorganizовал?» – спрашиваю. А он вытянул руки по швам и, тараща на меня глаза, отрапортовал: «Так что, ваше благородие, воровал-с!» Такими-то развлечениями баловала нас жизнь при советском режиме. В царское время мне за блестящий диплом полагалась заграничная командировка... вот тебе и командировка, вот тебе и карьера!... Тюрьма, голод, ссылка – всего перепробовал!

Ася уже знала, что политика не играла большой роли в жизни этой семьи – эсеркой была всего-навсего свояченица Кочергина. Это были такие же жертвы террора, как ее собственная семья. По мере того как она привыкала к Кочергину, он становился ей все симпатичнее. Дружеская простота его обращения, его забота и отеческая ласка к детям отогревали ее мало-помалу, точно он дышал теплом на замерзающие в снегу зеленые росточки, а его шуточно-оптимистический тон сообщал ей бодрость. Было только одно, что ее пугало в отношениях с ним, – страстный взгляд, который перехватила и не могла забыть. Этот взгляд вместе с мотивом из «Царской невесты» и «нескромным вопросом» внушал ей опасения. «Только бы не было этого! – говорила она себе. – Не хочу ни любви, ни объяснений, не хочу и не допущу!» Этот протест всего ее существа питался не только неостывшей памятью мужа, – сострадание к жене доктора, сострадание, которому она так легко отдавалась, запуская в ее сердце те острые иглы, о которых она толковала когда-то Олегу. «Я была в лагере только две недели, и то еле жива осталась; а его Аня томится уже несколько лет; быть оторванной от мужа и сына, уйти и оставить пятилетнего ребенка – это больше, чем можно вынести!» – думала она, вспоминая минуту во время ареста Олега, когда она взяла на руки Славчика с мыслью, что больше его не увидит. Она и слышала, и читала о женщинах, которые охотятся за чужими мужьями, но у такой несчастной, как эта Аня Кочергина, даже самая дурная женщина не решится отбивать мужа. Надо все, все сделать, чтобы он остался верен ей.

## Глава девятнадцатая

Рождество приближалось... В одно утро, когда Ася вышла во двор, она увидела деревенские сани-розвальни, убогую лошаденку со спутанной гривой и бородатого крестьянина, который ходил вокруг саней, похлопывая рукавицами; рядом вертелась кудлатая шавка. Выяснилось, что деревенский экипаж этот со всей свитой приехал за Надеждой Спиридоновной.

Укутываясь в платки и душегрейки для предстоящего путешествия, старая дева объяснила Асе, что некоторое время прожила в деревне в десяти верстах от города, где у нее сложились самые хорошие отношения с хозяевами. В город она переехала только ради того, чтобы быть ближе к аптеке, рынку и почте, а главное, вследствие необходимости являться два раза в месяц на отметку в комендатуру. Теперь она едет к прежней хозяйке погостить несколько дней.

– Я давно собиралась, так уж лучше поеду теперь. Не скрою, что дети мне очень досаждают. Я не могу больше выносить вашу вечную суетню и писк. Может быть, доктор поспособствует вам в поисках помещения? В конце концов, я вовсе не обязана оказывать постоянное гостеприимство.

Она заперла на ключ кофр и шкафчик и подошла поцеловать виновато опущенную голову Аси. Надежда Спиридоновна положительно умела ладить с крестьянами. Может быть, даже ее скопидомство было по сердцу мелкому собственнику-середняку.

В этот вечер Кочергин не торопился к пациентам и сам сказал:

– Я очень озяб и с радостью бы погрелся чаем, если вы захотите меня напоить.

Самовар, принесенный хозяйкой, уже кипел на столе, и Асе показалось, что было бы слишком

неблагодарно выгнать человека на мороз. Разговаривая с увлечением о музыке, он засиделся. По-видимому, в нем, несмотря на все несчастья, еще не вытравился прежний дух энтузиаста-интеллигента, жаждущего трудиться на благо народа, – он стал уверять Асю, что их общий долг – несколько оживить и встряхнуть здешних обывателей, а именно – организовать музыкальные вечера, на которых он и Ася могли бы знакомить местную публику с классическими и русскими произведениями. Заведующий клубом, конечно, пойдет им в этом навстречу... В другое время такой разговор, может быть, и заинтересовал бы Асю, но теперь, одолеваемая своими печалью и тревогами, она едва слушала Кочергина и, наконец, решила напомнить, что уже скоро двенадцать! После таких слов он тотчас поднялся, но, прощаясь с ней у порога, задержал ее руку в своей и сказал:

– Я заболел – меня фаланга ужалила! Уже три ночи я не сплю: прелестное женское лицо меня преследует.

Ася смотрела мимо него в темные сени и молчала, только чуть сдвинула пушистые, как у осы, брови. Он с минуту всматривался в это лицо, в котором не было и тени улыбки, молча поцеловал ее руку и перешагнул порог.

Итак, она не обманулась! Боже мой, как это неудачно, как досадно, какие вносит осложнения!... Придется оттолкнуть человека, который сделал ей так много добра, который был так великодушен и отзывчив! Может быть, придется вовсе разорвать с ним! А ведь она так одинока здесь... Страшно даже вообразить себя без его дружеской помощи. Она понимала, что в заботе Кочергина не было ни подкупа, ни обдуманного расчета... Его отношение к Славчику такое искреннее, отеческое – нельзя было заподозрить... Нет, он не расставлял ей силков – он сам попался неожиданно для себя, и теперь столкновение с ним, по-видимому, неизбежно! Если он заговорил с ней о своем чувстве, стало быть, не ставит себе задачей преодолеть его!

Она понимала, что ей предстоит одинокая и неравная борьба. В Надежде Спиридоновне, очевидно, не было ни капли материнского чутья, тепла или заботы, иначе бы она не оставила ее совсем одну как раз теперь... Надежда Спиридоновна умела только критиковать и поучать.

Следующий день был Сочельник. Поэзия этого праздника, который так культивировался в кругу русской интеллигенции, с детства сроднилась с душой Аси. Одна за другой припоминались ей детали, связанные с этим днем... С утра в залу не пускают – там стоит елка, которую зажгут вечером. Мама уехала за украшениями на кустарный базар. Мороз разрисовал все стекла на больших окнах, выходящих на Неву. В комнатах поэтому рано наступает таинственный полумрак – там, где не зажжены люстры. Во время прогулки в своей белой шубке и белом капорчике за ручку с мадам она видит в ярко освещенных витринах елки и зайчиков на снегу под ними – это обостряет ожидание. На Большой Конюшенной и на Ямской елки стоят длинными рядами, точно ты попала в густой лес.

Каким экстазом полна минута, когда двери зала наконец открываются и детям разрешают войти и увидеть волшебное дерево! Оно отражается в больших зеркалах, и кажется, что стоят вереницы елок. Она смотрит на вершину, где Вифлеемская звезда, но она знает, что внизу под зелеными ветками спрятаны подарки, и ей уже хочется залезть туда и вынуть их. Какие бывали игрушки! Теперь она уже никогда не видит таких! Однажды она получила избушку на курьих ножках и заводную бабу Ягу, которая ходила вокруг, потрясая клюкой! А эта чудная кукла Люба, у которой ресницы были, как у нее самой, которая говорила «мама», а одета была в меховое манто, муфточку и шапочку, совсем такие, как носила ее собственная мама! Как раз в тот Сочельник братишка Вася получил в подарок полное обмундирование семеновского офицера и к рождественскому ужину пошел в эполетах и с шашкой. Папа объяснил, что за ужином не принято сидеть вооруженным, и велел отцепить шашку. Ужин – постный: подают только рыбное и кутью, а потом пряники, пастилу и орехи, которые так весело щелкать. А ночью, прежде чем заснуть, она выползает из-под одеяла на ковер – осторожно, очень осторожно, чтобы никто не услышал, и читает молитву о волхвах и звезде. Ей хочется в темноте и тишине явственнее ощутить святость вечера. Жаль, что, сколько бы она ни смотрела вверх, она видит только темный потолок, а не те белые чарующие ангельские крылья,

которые наполняют все небо в эту ночь! Печальный вздох тонет в мыслях о завтрашнем дне; завтра – елка у бабушки, где всегда бывает большое собрание детей, елка, лотерея и волшебный фонарь, а дядя Сережа дирижирует детской кадрилию и игрой в «золотые ворота». Сколько прелестных детских лиц – знакомых и дорогих – мелькает в анфиладе освещенных комнат! Вот кузен Миша – кадетик, вот лицеистик Шура со своими круглыми черными глазами, вот Леля – она самая нарядная и хорошенькая со своими золотистыми кудрями; она танцует соло в костюме Красной Шапочки. На третий день опять елка, на этот раз в Мраморном дворце – у тети Зины.

И за всеми этими подарками, огнями, угощением и музыкой Асю чарует любовь и ласка, которые льются из всех глаз и наполняют собою все голоса... Ей не приходит в голову, что сияние детской талантливой души накладывает собственные блики на все окружающее и золотит все и всех вокруг себя. Даже теперь – в двадцать три года – это ей не пришло в голову!...

К вечеру душевная боль усилилась. Дети уснули; хозяйка дома – молодая степенная вдовушка Варвара Пантелеймоновна ушла из своей половины, расстелив повсюду чистые половики и заправив лампадки. В избе стояла полная тишина; только часы тикали. Ася села на покрытый пестрым половичком табурет под большими старинными часами, вывезенными Надеждой Спиридоновной, и слезы ее полились ручьями... Одна!... Погибли все, кого она любила, все!... Счастье, которое все детство ее манило обещаниями и шло к ней – огромное, светлое, лучистое, оказалось таким недолгим!... Семейный очаг разрушен. Теперь одна всю жизнь, никогда уже не будет ничего светлого, радостного! Одна с двумя малютками, всеми забытая, в глуши, в ссылке, в нищете!... Вот он «безнадежный путь», которому она так гордо бросила вызов! И все-таки я не жалею... Не жалею, что написала ему тогда. Если бы я этого не сделала, он покончил бы с собой, и не было бы нашего счастья и не было бы Славчика, или Славчик был бы совсем другой... Не было бы Славчика и Сонечки! Да разве можно это себе представить? Бедные малютки! У них никогда не будет праздника – глушь, вьюга, изба, деревянная скамейка, сальная свеча, черный хлеб – вот какой у них Сочельник! У них нет отца, нет бабушек и дедушек – некому их любить и баловать. «Мы здесь совсем одни. Константин Александрович... Он добрый, он умеет вносить бодрость и оживление, но он – чужой!...»

К мыслям ее о Кочергине примешивалась странная горечь – неужели непременно нужно было влюбиться? Неужели нельзя было, ну, хотя бы ради детей, остаться просто хорошими друзьями? А вот теперь холодное равнодушие, с которым она выслушала его признание, конечно, уязвило его – больше он не придет. Если бы хоть Лада была здесь и сунулась к ней черным скользким носом... а та деревенская кудластая шавка, задранный хвостик которой мелькал в снежной пыли, – чужая, она убежала... Одни, совсем одни!

Славчик проснулся и внезапно встал в постельке, глядя на мать круглыми, осовелыми со сна глазами. Она вскочила и порывисто прижала его к себе.

– Милый, милый! Мама тебя любит и за себя и за папу! Мама не даст тебе быть несчастливym! Славчик, знаешь, твой папа был большой, замечательный человек! Когда-нибудь я расскажу тебе, как он любил Родину!... – шептала она, не надеясь, что ребенок сможет понять ее, и целуя бархатную шейку, которая пахла скипидаром.

Богатырский удар в дверь заставил обоих вздрогнуть.

За дверьми, весь в снегу, стоял Кочергин.

– Я, как Дед Мороз, весь белый, с елкой в руках. Сейчас мы ее зажжем для Славчика. Вот и свечки – я их у одной богомольной пациентки выклянчил. Они нам послужат, коли елочных нет. Эти прянички мы развесим, а вот и подарок – лягушка заводная, она моему Мишутке принадлежала; я забрал, уезжая, и все таскаю в кармане... пусть теперь перейдет к вашему. Вытирайте теперь слезы и несите мне топор – я заделаю елку в крест, а вы тем временем ставьте самовар, если умеете... Пусть наперекор судьбе и у нас, и у ребенка будет счастливый вечер.

Славчик вытягивал шейку, выглядывая из постели, – ему уже был знаком этот голос.

Есть поступки, вознаградить за которые невозможно и которые женщина не сможет забыть, но всегда страшно оказаться благодарной мужчине!

Только бы не начал он опять говорить о своей любви, только бы у него хватило великодушия и такта оставить ее чувства в покое, понять, что сейчас она любить не может, что ее душа – сплошная рана! Она начинает немного опасаться этого человека: он не должен был говорить тех слов, которые сказал вчера, – из уважения к ее горю и к собственной жене. Самые тонкие и сложные тайники ее чувств недоступны никому, а именно там, очень глубоко, притаилась боль, вызванная кощунственным приближением: этот человек насильно вторгается в ее маленькую семью, чтобы занять не принадлежащее ему место... Прикосновение ее руки, поцелуй ее губ, ласка голоса принадлежат отцу ее детей, пусть его нет – все равно, ведь его дети здесь! Чего бы она только ни отдала, чтобы елочку эту принес Олег, – половина горя ушла бы из ее жизни! Она колет на коленях лучины и вытирает потихоньку слезы, которые бегут и бегут... Счастливой теперь она не может быть! Этот доктор все-таки не понимает всей глубины ее горя!

Но Славчик, несомненно, счастлив был в этот вечер. Он сидел на коленях у Кочергина, доверчиво глядя на него теми детскими ясными глазами, с которых как будто снята пленка, застилающая взгляд непосредственно самой души; потом он устал скакать и радоваться и заснул внезапно, стоя на коленях и уткнув мордашку в подушку, задком вверх. А матери предстояло расплачиваться за этот чудесный вечер!

– Нам с вами, Ксения Всеволодовна, итак уже довольно досталось от жизни, чтобы выдумывать несуществующие осложнения! Нас здесь никто не знает, общества здесь нет, и в положение Анны Карениной вы не попадете. Два человека встретились в очень тяжелых условиях, вместе им легче перенести эти трудности, стало быть, надо объединяться – вот как надо решать вопрос. Вы еще совсем юная: всю жизнь неутешной вдовой вы все равно не проживете... Вы так сейчас одиноки... Что вас удерживает? Вы отлично видите, что я самым искренним образом привязался и к вам, и к детям. Я не романтик и не люблю принимать трагические позы, но я корпел здесь один четыре года, у меня тоже радостей немного! Приголубьте приبلудного пса!

– У вас есть жена, Константин Александрович, – сказала Ася.

– Моя жена!... Жестоко то, что вы говорите! Множество раз я запрашивал о ней гепеу и всякий раз получаю только один ответ: «Если умрет – мы известим». Сколько же времени можно оплакивать разлуку? Я потерял надежду на встречу, а у вас и самой слабой надежды нет.

– Все равно – я не хочу!... У меня... да! У меня нет надежды, но ваша жена еще может вернуться; недопустимо, чтобы человек, вырвавшийся оттуда, – измученная, больная, усталая женщина – узнала, что ее не дождалась, что любят другую... Так нельзя вычеркивать даже любовь собаки или кошки! Никогда, никогда я не соглашусь содействовать этому. Я тогда потеряю уверенность, что никому не делала зла, потеряю покой... Это еще не все: я была очень, очень счастлива с мужем и не хочу ни с кем повторять того, что было с ним.

– Ксения Всеволодовна, ведь я бы, как отец, любил ваших детей!

– Я знаю. Вот этому я верю. Спасибо, Константин Александрович, но разве... разве вы не можете любить их без... тайных встреч со мной?

– Нет, мне слишком тяжело будет вас видеть. Если вы не согласитесь быть моей, я буду просить перевода в другой город.

– Ну, это решать можете только вы сами, – ответила Ася, – не трогайте меня, Константин Александрович, пустите.

Но он притянул ее к себе сильной рукой. Ася увернулась и бросилась к лежанке, на которой спал Славчик. «Около ребенка не посмеешь!» – сказал ее взгляд. Он действительно не посмел и только смотрел со своего места на нее и Славчика, не делая ни шагу вперед.

– Константин Александрович, спокойной ночи! Если желаете остаться нашим другом, приходите завтра, а теперь уже поздно – идите.

Он медлил.

– Ксения Всеволодовна, ведь это все только потому, что вы еще очень юная и многого не

понимаете. Например, вы еще не понимаете, что такое одиночество в этом городе, – и в его голосе прозвучало столько грусти, что на глазах у Аси навернулись слезы; тем не менее она осталась как была – обнимающей ножки сына.

«Ему нет еще трех лет, но это уже мой защитник!» – с нежностью думала она. Несколько минут прошло в молчании.

– Быть по-вашему, я ухожу, – и Кочергин покорно повернулся к двери.

Через минуту он крикнул из темных сеней:

– Как у вас тут щеколда открывается? Не разберу.

Ася выскочила в сени со свечой и, поставив ее на крышку бочки с водой, подошла к задвижке. В ту же минуту она была опрокинута на пачку соломы, сложенную в углу у двери: он подмял ее под себя и стал срывать с нее одежду. «Насилье!» – с быстротой молнии мелькнуло в ее мыслях. – «Не допущу, о нет! Этому не бывать!» Извиваясь под ним вьюном, она отчаянно брыкала его ногами и била кулаками в грудь и в лицо; потом перехватила его руку и впиалась зубами ему в палец и изо всех сил сжала челюсти. Он вскрикнул и выпустил ее. В ту же секунду она вскочила и бросилась в свою комнату, защелкнув перед его носом задвижку. В доме наступила тишина.

В Асе все клокотало от негодования. «Меня насиловать! Меня!»

До сих пор все знакомые ей мужчины относились к ней с рыцарским уважением. «Мимоза! Беатриче! Царевна Лебедь!» – ей достаточно было только закрыть глаза, чтобы Олег оставил ее засыпать спокойно. Ни Олег, ни Сергей Петрович не разрешали при ней ни одной сальной шутки, ни одного рискованного анекдота. Она вспомнила, как Шура, прощаясь с ней, сказал: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим!» Она вспомнила даже Валентина Платоновича в Москве на лестнице. Но этого доктора воспитали совсем другие круги и качали другие подводные течения! Интеллигентность в нем была вне сомнения, но изысканной корректности в нем не было и тени – она заметила это еще в первую встречу, когда он сказал «кикимора», не зная еще каковы ее отношения с теткой. «Сбегайте-ка на рынок», «поставьте самовар» – ни Олег, ни Сергей Петрович, ни Шура никогда не позволяли себе таких оборотов. Тем не менее, эта дружеская простота имела свою прелесть; кто мог знать, чем она окажется чревата!

«Меня насиловать, меня! Здесь, около моих детей! В Рождественский Сочельник! Прийти гостем! Принести елку и выманить хитростью! Подлый, подлый! Волк в овечьей шкуре! Не выйду пока не вернется хозяйка!»

Ноги и руки ее ныли, утомленные борьбой, щеки горели; она сознавала себя победительницей – чувство собственного достоинства все разгоралось.

В доме было по-прежнему тихо – ушел или притаился?

Вдруг она услышала нерешительный стук в дверь; через несколько минут он повторился более настойчиво. Она не отзывалась.

– Ксения Всеволодовна, в вашей комнате остался на комодке ключ от моей комнаты, – слышался его голос.

Ася взяла ключ и швырнула его в узкую щелку, после чего тотчас снова захлопнула дверь.

– Ксения Всеволодовна, Бога ради, впустите меня на минуту. Клянусь вам жизнью моего маленького сына, вам не угрожает ничего!

Ася распахнула дверь и, стоя на пороге с заложенными за спину руками, надменно взглянула на своего противника. Тот рухнул к ее ногам.

– Простите! Я обезумел! Это был бред! Поверьте, что я не довел бы до конца – я все-таки выпустил бы вас в последнюю минуту! Есть женщины, которые, желая близости, разыгрывают неприступность. Я подумал: не из таких ли и вы?

Ася, гордо вскинула голову и молчала – о таких женщинах она еще до сих пор никогда не слышала, а его уверения, что он бы ее сам выпустил, показались ей не убедительны.

– Но вы защищались как львица, моя Чиарина! Уважение мое к вам безмерно выросло! Умоляю простить, и пусть все будет по-прежнему, – и он обнял ее ноги.

- Я прощу вас. Но... Забыть такую вещь нелегко... Между друзьями должно быть доверие, а я теперь...

- Вы суровы! Ведь я прошу прощения; ведь я поклялся... Вы помните, чем? Что может быть дороже собственного ребенка?

Теплая волна толкнулась в сердце Аси.

- Да, вы правы - я не великодушна! Вот сейчас я в самом деле прощаю! Если вы жалеете меня и детей, - голос ее задрожал, - будьте нашим другом, но с тем, чтобы даже разговоров о любви не было. Или - уйдите вовсе! Это будет очень грустно и для меня, и для вас, а все-таки лучше, чем то, что предлагаете вы. И в том и в другом случае я всю жизнь с благодарностью буду вспоминать, что вы вылечили моего Славчика и устроили ему эту елку в этот печальный Сочельник.

Она протянула руку; Кочергин молча поднес ее к губам молча и встал. В ту минуту, когда он нахлобучивал свою ушанку на пороге, она увидела, что укушенный палец был замотан носовым платком, который весь промок от крови. «Он больше не придет!» - сказала она себе и почувствовала, как больно сжалось ее сердце, когда дверь за ним затворилась.

Ей показалось, что именно с этой минуты она стала большая, взрослая - ее юность и опека над ней старших кончились навсегда!

Утром пришлось упросить хозяйку дома покараулить детей, чтобы иметь возможность уйти на розыски; Надежду Спиридоновну можно было ждать со дня на день, а она все еще не подыскала себе помещения и без ужаса не могла вообразить, с каким лицом предстанет пред грозной теткой.

Ей покоя не давало одно впечатление: она увидела раз, как Славчик, забившись в угол, с робостью следит за Надеждой Спиридоновной, прохаживающейся по комнате. «Он не чувствует себя здесь дома, он уже переживает унижение, а ведь впечатления, которые ложатся на детскую душу, часто неизгладимы, Олег никогда бы не допустил, чтобы его сын вырос забитым и робким», - думала она и сказала себе, что не вернется домой до тех пор, пока не найдет себе помещения или не примет какого-либо решения с тем, чтобы покончить с создавшимся положением. В ежедневных будничных мелочах Ася была уступчива и могла показаться слабовольной; но в трудные поворотные минуты в ней подымалась своя внутренняя сила, толкавшая ее на собственные могучие решения, независимые от решений окружающих, так было, когда она писала в церкви письмо Олегу, когда прибегала к Елочке с роковым вопросом и после отказывалась от аборта, а теперь от близости с Кочергиным. В настоящую минуту, вспоминая взгляд своего ребенка, она говорила себе, что не будет больше зависеть от Надежды Спиридоновны. И внезапно ей пришла в голову смелая мысль:

«Я уеду в деревню, уеду теперь же на той же лошади и дровнях, которые привезут Надежду Спиридоновну. У крестьян легко можно будет подыскать светелку или летнюю половину и отопить, как сделала Надежда Спиридоновна. А здесь я все равно не найду ни жилья, ни службы; в канцелярию разве что возьмут делопроизводителем или счетоводом... Так уж во сто раз лучше в поле лен дергать или овец пасти, чем сидеть целый день за столом у засиженного мухами окна и щелкать на счетах... цифры, деловые бумаги - я их ненавижу! К тому же и детей оставлять не на кого! Да, да - уеду! Детям так нужны воздух и деревенское молоко, рядом будет лес, цветы, животные... Только это может мне дать утешение и оздоровительную силу... Здесь мне терять нечего!»

Пользуясь тем, что вырвалась из дому, она зашла к Пановой, которая однажды уже навещала ее и приглашала в свою резиденцию. Резиденцией этой оказался пустовавший дровяной сарай без окон, с продувными щелями. Старая генеральша целый день то собирала хворост, то топила времянку, которая, однако же, не могла нагреть помещения - за ночь стужа всякий раз устанавливалась заново, и вода в ведре покрывалась корочкой льда. Панова тотчас усадила Асю пить чай на опрокинутом деревянном ящике, заменявшем собой стол, и вытащила для гостя все, что было у нее в закромах - кружку квашеной капусты, несколько печеных картошек и буханку пшеничного хлеба, а единственное яйцо поручила отнести Славчику. Все

эти деликатесы она получила от председателя райисполкома, с дочерью которого занималась французским. Эта забота старой дамы лишней раз подчеркнула в глазах Аси черствость Надежды Спиридоновны. Предполагаемое переселение в деревню Панова не одобрила: она нашла этот план крайне легкомысленным, уверяя, что страшно держать детей так далеко от врачебной помощи и аптеки, кроме того, она советовала договориться предварительно с органами гепеу и, как препятствие к переселению, выставляла необходимость являться на отметку два раза в месяц и проходить немеренные крестьянские версты по сугробам и распутице. Все это было весьма справедливо, но не могло остановить Асю – большие трудности отдельных дней казались ей много привлекательней ежедневных грызущих неприятностей с Надеждой Спиридоновной, которой в силу своей деликатности и мягкости, а также зависимого положения, она противостоять не могла. Что же касается упоминания о гепеу, то возможность с этой стороны недоразумения испугала Асю, и она на другой же день побежала за разрешением. На ее счастье или несчастье, агент, с которым она разговаривала, ответил:

– Являться на перерегистрацию вы обязаны, и притом в точно указанный срок, а жить в пределах района вы можете где хотите. Обязываю лишь предъявить прописку, чтобы в случае неявки мы могли безотлагательно навести справку.

Надежда Спиридоновна появилась на следующее после этого утро и вполне одобрила план Аси, быть может, попросту желая отделаться от обременительной гостьи, которую слишком неудобно было выгнать со двора.

Ася уехала в тот же день, несмотря на горячие возражения Пановой, которая прибежала специально, чтобы попытаться отговорить молодую женщину от такого рискованного шага.

Кочергин не появлялся – как в бездну канул! Уезжая, Ася напрасно обводила глазами бедный дворик и заваленную сугробами пустую улицу, по которой ее волокла убогая Савраска.

## Глава двадцатая

Жилая зона и зона оцепления; обе окружены высоким двойным забором, опутаны колючей проволокой; вдоль всего забора – распаханная полоса; по углам – вышки с часовыми; у ворот в зоны – проходные с дежурным; внутри жилой зоны – мужские и женские бараки, столовая, кухня и больница; в зоне оцепления – мастерские; в обеих зонах – ни одного дерева: предусмотрено приказом, чтобы часовые с вышек могли беспрепятственно обозревать территорию лагеря.

Выход за зону – только под конвоем. Лагерь – не штрафной: внутри каждой зоны передвижение свободно, в бараках стражи нет, не возбраняется обмениваться фразами.

Подъем – в шесть утра; завтрак в столовой, переключка и развод на работы; в час – обед, в семь – ужин, в десять – отбой ко сну; между ужином и отбоем – свободное время; перед обедом и перед отбоем – повторные переключки. Барак – длинное деревянное здание с решетчатыми окнами и кирпичной печью; вагонная система нар верхних и нижних с узкими проходами; голые доски – ни матрацев, ни простыней; под головами – бушлаты и сапоги; барак кишмя кишит клопами и вшами; вещи заключенных частично тут же, частично в «каптерке». Дневальные метут пол и топят печи; барак переполнен до отказа – спят даже на досках, переложенных наподобие моста с одной верхней нары на другую; человек никогда не остается наедине с самим собой; тишины нет даже ночью – тот храпит, тот кашляет, тот охает, тот плачет или шепчется... Шаги и переключка патруля...

Заключенные в этом лагере различных категорий, с различными сроками; «пятьдесят восьмых» здесь называют «контриками», а уголовных – «урками»; были еще так называемые «бытовики», составляющие среднюю прослойку в обществе заключенных, – растратчики, прогульщики и прочие нарушители трудовой дисциплины.

Присутствие уголовного элемента делало существование невыносимым для интеллигенции, обвиненной по пятьдесят восьмой. Непозволительная и совершенно безнаказанная грубость конвоя наиболее болезненна была для них же, как для людей более щепетильных, нежели

уголовники.

Конвойных в лагере называют «стрелками» и «вохрами» (от слов «вооруженная охрана»). В огромном большинстве это были узкоглазые представители нацменьшинства. В лагере валили лес и делали «ружболванки», но весьма значительная часть заключенных, разумеется, была занята на обслуживании нужд лагеря – в столовой, в кухне, в больнице, при дорогах и транспорте.

Лелю в первое же утро на разводе определили в бригаду по обкатыванию льда на «лежневке» – так называли в лагере узкие дороги, проложенные к соседним лагерям и штрафным пунктам в различных кварталах этого же леса, а также к поселку, где было сосредоточено управление лагерями и жили вольнонаемные служащие. Леле такая работа оказалась не под силу – лом был слишком для нее тяжел и валился из рук; конвойные ее немилосердно понукали, угощая придирчивыми окликами:

– Будешь ты у меня шевелиться? А ну, поторопись немножко, придурка! У, барахло буржуйное! Возвращаясь в этот первый день в барак, она вытирала себе варежкой глаза при мысли, что завтра ее ожидает другой такой же день и что силы ее падают, а впереди 10 лет! К тому же у нее тотчас установились враждебные отношения с урками. Спустя несколько часов по прибытии в лагерь она сделалась свидетельницей следующей сцены: на одной из верхних коек барака сидела, болтая спущенными вниз голыми ногами и задевая ими головы проходящих, женщина – ярко размалеванная, с рыжими растрепанными волосами. Подошел огромный, грубо высеченный детина и, отпустив неприличное ругательство, стянул ее за голые ноги на пол и набросился с кулаками. Леля выскочила из барака с криком:

– На помощь! На помощь! Человека бьют!

Подоспели конвойные и выволокли дерущуюся пару. Тотчас со всех нар повскакали урки и окружили Лелю, называя «сволочью» и «придуркой».

– Он ее приревновал, а твое какое дело?! Ты чего вылезла? Зачем натравила?! – галдели они вокруг растерявшейся девушки.

Леля только тут узнала, что вход мужчинам в женский барак, а женщинам в мужской запрещен настрого, как и любовные свидания, и что выдать встречу мужчины с женщиной (даже если встреча эта протекала далеко не в любовных тонах) считается поступком настолько же предательским, как на свободе – донос в гепоу.

В этот же вечер несколько уроков разыграли в карты сапожки Лели – та, которая проиграла, должна была их украсть и вручить той, которая выиграла. Не обнаружив утром любимых сапожек, Леля пришла в ярость, которой после сама удивилась.

– Обворовать заключенного, своего же товарища по несчастью! Отнять у человека последнее! Подло, бессовестно! – в болезненном раздражении повторяла она около умывальников, где толпились все обитательницы барачков. Подошел стрелок с командой строиться и следовать в столовую, и, не давая себе труда взвесить последствия, Леля громко отчеканила:

– Товарищ стрелок, составьте акт: меня обворовали! Этого не должно быть между заключенными. Я протестую и требую, чтобы нашли виновного.

Рыжая урка – огромная татуированная девка в косынке, надетой как-то боком, – встала против Лели и показала ей два пальца, а потом провела ими по своей шее; одновременно сзади кто-то очень выразительно сжал Леле локоть. Она обернулась и увидела два озабоченных лица.

– Перестаньте, перестаньте! Замолчите! – быстро зашептали обе женщины. Леля растерянно смолкла; конвойный обернулся:

– Выходи, кого обворовали! Чего написать-то?

В ответ была тишина. Конвойный ослабилась:

– Раздумала баба жаловаться! Оно и впрямь – промолчать-то вернее будет! Эй, строиться! Пошли.

Уже немолодая дама с громкой двойной фамилией – жена морского офицера с царского крейсера «Аврора» – и другая, дочь лютеранского епископа, возглавлявшего все лютеранские церкви в России, – обе долго увещевали Лелю, стараясь объяснить ей положение вещей:

- Знаете ли вы, что значат два пальца? Угроза вас убить - убить, если вы будете продолжать обращаться к конвою. Раз навсегда запомните - натравливать на урок конвой немислимо! Они найдут способ отомстить. Приходится молча переносить все их штучки. Кстати, если присмотреться, урки не все отвратительны и бывают иногда хорошими товарищами, - говорила бывшая морская дама.

- Жизнь здесь ни в грош не ценится! - говорила Магда, дочь епископа, - я в лагере уже второй раз; в том - в первом - урки разыграли в карты голову начальника лагеря: проигравшая должна была его убить и убила. Никогда не угрожайте им и не подчеркивайте разницы между собой и ими.

Ложась в эту ночь спать и закрываясь с головой, Леля крестилась:

- Террор урок!... Этого еще не хватало! Как допускает гепеу? Или это один из способов добить морально интеллигенцию?

Ночью она проснулась от толчка и громкого шепота возле своего уха. Мгновенно покрывшись холодным потом, она села, испуганно озираясь. Она занимала верхнюю нару в углу и дорожила этим местом: там была щель между бревнами, из этой щели дуло, но зато и вливалась струя чистого воздуха; вплотную с ней было место молоденькой урки Подшиваловой; это была почти девочка, с хорошеньким смазливym личиком; она еще в средней школе спуталась со шпаной и стала наводчицей в воровской шайке. Леля увидела ее сейчас перешептывающейся с мужчиной, в котором узнала одного из конвойных - так называемого Алешку-стрелка; это был сын донского казака, высланного в эти края при расформировании Войска Донского. Многие контрики удивлялись, что Алешка был зачислен в штат, имея репрессированного отца. Леля едва только успела подумать, что делает Алешка здесь в такой поздний час, как увидела, что конвойный снимает шинель; вслед за этим он без дальнейших церемоний положил эту шинель на нее, слегка отодвинув ее при этом локтем, а сам навалился на Подшивалову, которая обхватила его обеими руками. Вся кровь прилила к щекам Лели.

- Вы как смеете? Что за бесстыдство! Вы здесь не одни! Я не желаю этого! - возмущенно воскликнула она.

Стрелок прищурился:

- Ишь, важная какая! Ну, а где ж бы это нам остаться вдвоем, скажи на милость, а?

С одной из нар поднялась страшная голова рыжей урки Лидки Майоркиной; при слабом свете тусклой лампы под потолком лицо ее с белесоватыми глазами казалось лицом Горгоны или страшного земноводного.

- Кто тут скандалит? Сахарная интеллигенция опять!... Святая, подумаешь, выискалась!... Сама-то. ты не баба, что ли? Подожди - проучим! Урки-бабы, раскурочим ее, чтобы не зазнавалась!

Леля, заломив руки, уткнулась в подушку в полном отчаянии. «О, зачем, зачем я подавала эту бумагу о смягчении своей участи! Лучше мне было умереть!»

На ее счастье, в это же утро, едва проиграли зорю, в барак вошли два рослых конвойных и направились прямо к Лидке Майоркиной.

- Складывай живо свои шмотки и одевайся. Приказано тебя переправить в другой лагерь. Транспорт уже дожидается.

Последовала новая безобразная сцена: урка визжала, плевалась и ругалась неприличными словами, а вслед за тем разделась догола, очевидно, в знак протеста; конвойные вызвали для подкрепления еще двух рослых стрелков и живо закатали в байковое одеяло и перевязали веревками татуированную красотку, после чего вынесли ее на руках из барака, несмотря на отчаянные визги и барахтанье.

- Чего ради так сопротивляться? Не все ли равно, который лагерь? - спросила Леля соседку.

- У нее любовник здесь, да и в штрафной, хоть до кого доведись, неохота! Ей за буйство уже давно грозили переводом в штрафной, - ответила та. Леля подошла к окну и увидела отъезжающие сани, в которых лежала спеленутая фигура, прикрытая рогожей, словно покойник, вздохнула несколько спокойней.

- Вам посчастливилось с переводом Майоркиной. Это вас Господь Бог хранит, - шепнула Леле около умывальников дочь епископа.

Сухощавая фигура и обнаженные виски напоминали Леле Елочку.

- Что такое «раскурочить»? - спросила Леля.

- Это их блатной жаргон... обокрасть, наверно... - ответила Магда.

- Вы слышали, что было ночью? - спросила опять Леля.

Изнуренное лицо этой немолодой уже девушки залил румянец.

- Не будем обсуждать наших меньших сестер и братьев. Они, может быть, не имели в своем детстве тех облагораживающих влияний, которые имели мы. Пусть сам Господь судит их судом праведным, - ответила Магда.

- Вы за происхождение? - спросила Леля.

- Уже второй раз, но у меня был такой прелестный папочка, что за него можно и потерпеть.

Леля с удивлением подняла на Магду глаза - такая постановка вопроса не приходила ей на ум. «Она, наверно, очень добра, но при этом скучна невыносимо!»

В это утро стрелок, приготовившийся сопровождать партию по скалыванию придорожного льда, сказал, указывая на Лелю:

- Товарищ начальник, эту я не возьму - ползет, как улитка! Вся партия из-за ее плетется. Ломом тоже еле шевелит; всю норму, поди, им сбивает. Беда с таким бараклом. Вот хоть бригадира спросите...

Бригадир, интеллигентный человек из числа «пятьдесят восьмых», в свою очередь прибавил:

- Вполне согласен с мнением стрелка. Мне кажется, что эта заключенная слишком слаба физически для такого вида работ. Бригада наша считалась ударной, и нам за это положено внеочередное письмо, а теперь мы можем сорвать нашу норму ударников.

Леля бросила на бригадира взгляд затравленного зверька, не понимая, что тот ведет дело к ее же пользе. Гепеушник толкнул ее в сторону врача, присутствовавшего на разводе в обязательном порядке:

- Ты! Медсантруд! Определи-ка трудоспособность!

Врач - тоже из заключенных - увел Лелю в свою щель, выслушал ее жалобы и, потыкав стетоскопом в ее грудь, объявил, что она годна только на «легкий» труд ввиду туберкулезного процесса и сильного невроза сердца.

С этого дня Лелю определили дежурить в землянке у котла и поддерживать разведенный под ним огонь. Несколько в стороне, в сарае, стояли бочки с горючим, и когда приезжали машины, Леля выдавала им бензин и горячую воду и записывала количество выданных литров. Леля очень сомневалась, чтобы пропитанный нефтью воздух был полезен для ее легких, но молчала, потому что работа в землянке требовала меньшей затраты сил и удавалось иногда подремать, уронив голову на счетоводную книгу, в промежутках между заездами шоферов; сна ей систематически не хватало. В час дня, заслышав призывной гудок, она шла с ложкой получить чашку «баланды», как называли в лагере суп, который привозили из жилой зоны для тех, кто работал в зоне оцепления; вечером питание происходило в общей столовой.

Скоро у Лели завелись приятельские отношения со стариком-пекарем из бытовиков. Он пришел к ней раз поклянчить керосинцу на растопку печи и повадился понемногу приходить с бутылкой каждый день, а Леле приносил ржаную краюху. Она прятала ее за пазуху и приберегала для свободных минут, а потом ела по маленьким кусочкам, смакуя, но никогда не выносила из землянки, опасаясь вопросов, откуда у нее такая драгоценность.

Перепадали куски ситного и от Алешки.

- Бери, недотрога! Молчи только! - сказал он раз.

Леля вспыхнула:

- Мне подкупа не надо! Я не доносчица: я за то и сижу, что отказывалась выдавать! - отрезала она.

- Разговорчики! Уж сейчас и закипело ретивое! Ешь, коли голодная, - ответил стрелок.

Некоторые из контриков находили, что Алешка был мягче остальных - пожалуй, Леля была

согласна с этим.

Подшивалова хвастливо заявляла соседкам:

- Работенка у меня нонече завелась совсем-таки блатная!...

Ее водили на переборку овощей, и всякий раз она притаскивала в кармане то брюкву, то морковь и всегда угощала Лелю. Вахтерам вменялось в обязанность обыскивать возвращающиеся с работ бригады, но вне присутствия командного состава гешеу процедура эта иногда сводилась к проформе, а Подшивалову, как любовницу своего же товарища, обыскивали еще небрежней, чем остальных.

«Я - плохой товарищ!» - думала Леля, принимая подачки Подшиваловой и вспоминая те, которые получала от пекаря... Но недоверие к уркам слишком прочно гнездились в ней! Эта самая Подшивалова там - в Ленинграде - выслеживала дам в дорогих мехах, а после звонила в квартиры и тихим голосом говорила: «Откройте, пожалуйста, я только хотела узнать...» А рядом с ней стояли громилы с топорами. Леля гнала от себя такие мысли. Оказаться во вражде со всем барачком, ни в ком не находить ни сочувствия, ни заботы - это было слишком страшно! Самые утонченные дамы - вроде княжны Трубецкой - держали себя с урками приветливо и просто, не подчеркивая классовых отличий. Другого выхода не было! Острота чувств притуплялась, даже беспокойство за близких понемногу исчезало, падая на дно души... Смертельная усталость покрывала все чувства, окутывая серой дымкой, как пеплом. В дырявых валенках и ватнике, уже списанном за негодностью с лагерного инвентаря, подпоясанная чулком, с запрятанными под платок кудрями, бледная до синевы, Леля не думала теперь ни о красоте, ни о личном счастье - было только одно постоянное желание: лечь и заснуть.

В одно февральское утро она колола лучинки на коленях около своего сарая, когда вдруг услышала громкий начальственный возглас:

- Ну, чего опять стряслось? К проволочному заграждению, что ль, бросилась?

Леля обернулась: в двух шагах от нее стоял один из старших начальников, оклик его относился к стрелку, который проходил мимо и нес на руках женщину в лагерном бушлате; руки ее безжизненно свисали вниз, длинная коса мела снег...

- Стрелять, что ль, пришлось? - снова запрсило начальство.

Вохр остановился.

- Не-е! Како там стрелять! Лес валили, надрубили дерево, прокричали по форме: отойди, поберегись! - а она стоит и ворон считает, ровно глухая... Зашибло, видать, насмерть... Может, и нарочно подвернулась, потому - несознательность.

- Сам ты зато больно уж сознателен! Ладно, разбирать не станем, почему и отчего, - спишем в расход, а тебе, брат, выговор в приказе влечем: за год уже пятый случай, что в твое дежурство беспорядок. Нечего стоять тут всем на поглядение - в мертвецкую! А врача все-таки вызови - пусть констатирует.

На вечерней переключке после того, как произнесли: «Кочергина Анна!» - ответа не последовало. Гешеушник повторил имя. Легкий шепот прошел по рядам, а потом один голос выговорил, словно через силу:

- Деревом на работе убило.

А один из стрелков подошел и что-то сказал шепотом. Движение руки - списали! Дочь епископа, стоя рядом с Лелей, вытерла глаза.

- Еще молодая: только тридцать два года, - шепнула она, - была без права переписки, очень по семье тосковала... Кому-то горе будет, если известят... а может быть, и не дадут себе труда посылать уведомление.

- А не самоубийство это? - спросила Леля.

- Нет, нет! Что вы! У нее ребенок, мать, муж. Она не пошла бы на такой грех. Даже в мыслях не надо ей этого приписывать, - торопливо заговорила Магда.

«Да неужели же самоубийство в таких условиях можно считать грехом?» - подумала Леля.

Вечером, едва только Леля улеглась на своих нарах, как услышала голос Магды:

- Спуститесь, Елена Львовна! Я прочту молитвы за погибшую. Собралось несколько человек. -

Леля свесила вниз голову:

- А урки? Они нас не выдадут?

Магда отрицательно покачала головой.

- Думаю, не выдадут. Во всяком случае, помолиться за ту, которая еще вчера была с нами, - наша прямая обязанность.

Утром имя Кочергиной уже не упоминалось на переключке, но Леле бросилось в глаза, что Магда чем-то чрезвычайно расстроена. Не может утешиться по Кочергиной? А может быть, неприятности по поводу чтения отходной? - подумала Леля и передернулась при мысли, что ее видели стоящей рядом с Магдой и крестившейся. А вдруг - штрафной лагерь или штрафной пункт? Во время развода не было возможности подойти и заговорить; работали и обедали в разных зонах; только за ужином, в столовой, Леле удалось подойти к Магде. Из расспросов выяснилось, что в каптерке, где работала Магда, пропало несколько чемоданов со всем содержимым.

- Это, конечно, урки! Их работа. Конвойные не осмелятся, - повторила в слезах Магда.

Мимо проходил в эту минуту заправила всех урок - красивый молодой человек, окончивший пять классов в общеобразовательной школе. В лагере его все называли Жора. Он приостановился, увидев Магду в слезах.

- Ты что тут мокроту разводишь?

Леля бросила на него недоброжелательный взгляд, а Магда сказала кротко:

- У меня несчастье, Жора! Я заведую каптеркой, а за эту ночь пропало несколько чемоданов. Подумай, в каком я положении! Пожалей меня, Жора, помоги мне!

Молодой человек задумался, мысленно что-то взвешивая; Магда судорожно сжала руку Лели.

- Попробую кое-что предпринять. Выжди немного, плакса, - и он отошел, напевая: «Восемь пуль ему вслед, шесть осталось в груди» - эта популярная в лагере песня посвящалась герою уголовного мира и оканчивалась словами: «Это Ленька Пантелеев, за него отомстят».

После окончания ужина, когда Леля и Магда выходили из столовой, Жора подошел к ним и конфиденциально сказал:

- Поищите в куче снега за дизентерийным баракком, и молчать у меня...

В лагере снег был не тем нетронутым чистым покровом, который так прекрасен в полях и садах, - здесь он был весь посеревший, загаженный, заплеванной, истоптанный, словно опороченный. После каждого нового снегопада через день или два он уже чернел заново.

Едва лишь девушки шагнули в сугроб, как тотчас наткнулись на что-то твердое.

- Здесь, здесь! - радостно воскликнула Магда.

Леля оглянулась на крылечко черного хода больницы, где стояли метла и лопата.

- Хорошо бы эту лопату. Я сейчас попрошу, - и быстро вбежала в сени, где не оказалось ни души; она постучала наугад в одну из дверей, которая тотчас отворилась.

- Аленушка?! Ты! - и мужские руки протянулись к ней; не успела она опомниться, как попала в объятия Вячеслава и разрыдалась на его груди.

- Родная моя! Ведь вот где встретились! А я не знал, что ты здесь. В Свердловске переформировали весь этап, и я думал, что уже навсегда потерялись твои следы! Изнуренная какая... Уж не больна ли? Я ведь тогда ходил к тебе в тюрьму... Так я жалел тебя, что сердце пополам рвалось. Очень я тебя полюбил, забыть не мог, хоть ты и прогнала меня, моя красавица гордая! Я уж свиданье выхлопотал, но тут-то меня и засадили - тоже контру мне приписали.

- Вячеслав... Так много несчастий... Моя мама умерла... Олег расстрелян. Ася в ссылке... И меня ведь тоже сначала к расстрелу... Я сидела в камере смертников, а теперь осуждена на десять лет!

- И я на десять. Не плачь, моя ненаглядная, не помогут слезы! Вот теперь встретились, хоть и украдкой, а будем видеться, поддержим друг друга... Может, и дотерпим вместе!

Она подняла на него глаза - изменился и он за те два с половиной года, что они не виделись: побледнел, похудел, потерял юношеский вид, но весь облик стал интеллигентней, несмотря на

тюремный бушлат, поверх которого был накинут белый медицинский халат. Тяжелые переживания, как резец художника, прошлись по этому лицу – придали ему осмысленность и завершенность, которые выделяли его теперь из массы серых безразличных лиц.

– Вячеслав, я очень часто вас вспоминала... Я совсем, совсем одинока... О, я теперь уже не гордая... Это все позади!

Его губы прильнули к ее губам.

– Я боюсь... Войдут, накроют... Крик подымут... – прошептала она, вырываясь.

– Светик мой, Алenuшка сказочная! Я ведь осведомлялся о тебе в женском бараке... но одна бытовичка уверила меня, что никакой Нелидовой нет. Здорова ли ты – уж больно прозрачная и худая!...

– Нездорова, сил нет, еле двигаюсь! Вот легла бы и не встала... Лихорадит меня, и тоска заела... Уж лучше б умереть.

– Глупости, Алена, умереть всегда успеем! Не вырывайся: одни ведь мы... Ты на какой работе?

– Выдаю шоферам горючее; я в зоне оцепления, в землянке, что за мастерскими. А вы... а ты?

– Ну, я фельдшером, разумеется! В инфекционное попал – к тифозным и дизентерийным. Надо нам придумать способ видеться. У нас госпиталь обслуживают только заключенные... Много хороших людей – помогут. Больные тяжелые у нас, Алена, очень тяжелые, а медикаментов почти нет, и питание негодное. Смертным случаям мы счет потеряли; по двенадцати часов работаем, измучились. Я, знаешь, сам дизентерией заразился: месяц пролежал, думал – не встану, кровавая была. Будь осторожна, дорогая! Смерть хозяйничает в лагере. Санитарное состояние никуда не годится! Строчим докладные записки, да никто внимания не обращает – точно речь о собаках, а не о людях! – он вдруг выпустил ее руку: – Идут!

Смерть хозяйничает в лагере!... Леле тотчас представилось, что в одном из грязных углов барака притаился страшный призрак и высматривает себе жертву.

Появился санитар.

– Ты куда, Славка, сыворотку подевал? – спросил Вячеслав.

Леля только тут вспомнила о Магде.

– Можно мне взять у вас лопату? – спросила она.

– Бери, девушка, только на место потом поставь.

Леля выскочила на крыльцо и тотчас попятилась: мимо нее по проложенной в снегу дорожке шли два важных гепеушника с нашивками и кобурами.

– Надо попросить у товарища Петрова штук пять попов в сторожевую роту на склады. Лучше попов никто у нас не окарауливает, – говорил один другому.

Магда тоже замерла в снегу по ту сторону дорожки.

Черная ворона села на серый снег...

## Глава двадцать первая

Она любима! Она опять получила толчок, на грани полного омертвления получила сильнейший импульс. Ее духовная конструкция была такова, что нуждалась в периодической зарядке. Пусть Ася находила духовный импульс сама в себе – ей нужен был толчок извне. Есть человек, который жаждет обладать ею и дрожит за каждый ее день – его страстный трепет сообщил ей. Этот человек предстал перед ней теперь уже совсем с иным лицом, став одиозным – он сравнялся с дворянином в ее глазах; трагедия его разочарования, казалось, стирала классовую печать, ожесточенное и скорбное негодование в его интонации как будто не оставляло места ограниченности его мировоззрения; лагерный бушлат казался ей неизмеримо интересней рабочей блузы; сын крестьянина, красноармеец и рабочий в прошлом, он прошел, как герой, свой путь и стал слишком крупной фигурой, чтобы наслоения этих социальных группировок могли быть на нем заметны. Мамины словечки «мезальянс» или «du» – простой на этот раз неприложимы и более ее не пугают. Происхождение еще не все определяет: вот Шура Краснокутский – сын камергера, а при всей своей воспитанности и наружности Париса

никогда не пользовался успехом ни у нее, ни у Аси: салонный собеседник прошлого века, в 25 все еще «маменькин сынок», боевая эпоха прошла мимо него, ему не снятся огонь, вода и медные трубы, через которые прошел вот этот человек, закаливший свою волю в бою еще 16-летним юношей. Божественный перст иногда сам составляет пары, подбирая влюбленных из разных сфер, но одной качественной марки. Даже богини спускались к смертным. В этой встрече что-то сверхобычное, что-то большое. На лагерных нарах, где кроме горя и смерти других и впечатлений-то не было, подошли любовь и страсть... В самой безнадежности этого романа было нечто исключительное, что, казалось, вопияло к небу о милосердии... Нежданная романтика пролилась на нее, как благодатный дождь. Что же будет? - спрашивала она себя. Любовные свидания, подобные свиданиям Алешки с Подшиваловой?... На это она не пойдет, а он слишком ее уважает, чтобы предложить ей это! А как иначе? Подшивалова рассказывала ей об одной паре в бригаде по переработке овощей: во время перекура парочка эта забиралась в огромный чан, в то время как все остальные садились на землю, прислонясь к нему спиной, и зубоскалили, окликая иногда любовников... А недавно в женском бараке вохры стащили с верхних нар ее приятеля, уже старого повара, и публично срамили, причем тотчас был отдан приказ перебросить его в соседний лагерь - 91-й квартал этого же леса. Почти со всеми парами кончалось именно так.

Или отказаться от встреч вовсе? Но впереди десять лет! Слишком мало вероятности, чтобы оба дожили до выхода из этого проклятого места. Если насильно затушить вспыхнувший огонек, не останется опять ничего - пропадай тогда жизнь!... Любовь, одна любовь привязывает человека к существованию даже в этих чудовищных условиях!

Она попросила у Подшиваловой обломок зеркала и взглянула на себя: еще красива! Углы губ несколько опустились, щеки впали, но черты сохранили свой изящный чекан, а глаза как будто тронуты тушью от утомления и бессонницы; челки нет, но непокорные пряди выбиваются на лоб из-под уродливой косынки; худая - кости ключиц выступают на впалой груди, но в этом своеобразная грация... Еще красива, хотя в красоте этой уже меньше девичьей свежести... Еще нет ни морщин, ни складок, однако в чем-то неуловимо сказывается пройденный мученический этап. Пожалуй, она стала даже интересней с этой печатью скорби в лице! Он сумеет оценить этот новый отпечаток, он не остановится ни перед чем, чтобы зацеловать свою сказочную Аленушку, он - смелый, предприимчивый, настоящий мужчина, как Олег, он что-нибудь придумает, он найдет выход!

И тем не менее день прошел, а они даже мельком не взглянули друг на друга, а ведь каждый их день словно у смерти отвоеван! С наступлением ночи ей делалось страшно в бараке; она озиралась на темные углы, точно и в самом деле ожидала увидеть скелет с косой.

Кто из нас заразный, кто обреченный? Может быть, я сама? Сегодня меня опять укусила вошь, возможно, тифозная... Неужели я умру прежде, чем... Я опять жду огня, который должен меня спалить, но в этот раз будет иначе, совсем иначе, чем было с проклятым Генькой. Не дай мне, Господи, умереть прежде любовного свидания! Я - как Горо, которая ждет Лизандра, но я думаю Понт переплыть было легче, чем обойти лагерные тиски.

Всю ночь она ворочалась на жестких нарах, томление переполняло грудь.

Утро для нее началось с неожиданной неприятности: ее сняли с привычной работы и перебросили в бригаду по повалке и трелевке на место вышедшей Кочергиной; в сарай с горючим назначалась Подшивалова. Леле не раз случалось говорить с Подшиваловой о преимуществах своей работы, и та, видимо, пустила в ход свой блат, чтобы заполучить это место. Врачебное заключение значило очень мало для тех, кто ведал распределением.

- Ну и подлая же ты, Женька! - сказала она Подшиваловой, передавая ей в конторе счетоводную книгу и ключи.

- А я-то и пальчиком не шевельнула - честное ленинское! Вот те Христос! - затараторила та, словно из лукошка посыпала. - Переборка овощей, вишь ты, кончилась; надо нас было рассовать по местам; ну, мой хахаль и постарался; обещал поднажать, чтобы устроить меня на хлеборезку, а вот, пожалуйста в сарай с горючим! Я еще намылю ему шею, коли он проворонил

лакомый кусочек, болван этакой! Не злись, Ленка: коли попаду на хлебрезку, стану тебе таскать кусочки.

Леля только рукой махнула и вышла из конторы.

Погнали далеко за зону строем в сопровождении стрелков. Мужчины валили и пилили лес, а женщины собирали сучья: надо было наколоть и нащипать определенное количество вязанок из дранки. Вохры – все тот же Алешка и узкоглазый мусульманин Косым – очень мало обращали внимания на женщин, но зорко стерегли мужчин. То и дело слышались их оклики:

– Куда, куда, господин хороший? Не отдаляйся! – вопил Алешка. – Шагай обратно! Сам не рад будешь, коли запалю в рожу! То-то же.

Мусульманин был не так многословен:

– Цэлюсь! – орал он с места в карьер.

Этот вохр сам отсидел в лагере за неудавшуюся родовую месть, а по окончании срока был зачислен в конвой; в отпуск он собирался ехать на Родину, чтобы снова мстить. Некоторые из контриков, в том числе Магда, пытались его отговаривать, напоминая, что он снова попадет в лагерь и уже на более долгий срок, но в ответ получали только: «Убью!»

При лагере была фотография, называемая на украинский лад «мордопысня»; мусульманин снялся в этой мордопысне голым, с двумя револьверами, и показывал эту карточку в каптерке, уверяя, что послал такую же своему врагу в качестве грозного напоминания.

Леле до сих пор не приходилось видеть этого стрелка, и теперь его свирепое гортанное «Цэлюсь!» заставляло ее каждый раз вздрагивать.

С работой и без понуканья приходилось торопиться, поскольку норма была очень жесткая – на лагерном жаргоне раздутая норма называется «туфта». От непривычки к физическому труду на воздухе и на ветру Леля измучилась не меньше, чем в свой первый день.

По окончании работы, выходя из столовой в уже жилой зоне, она увидела Вячеслава рядом с незнакомым юношей в очках; оба прохаживались по двору между кухней и столовой. Вячеслав еще никогда не появлялся здесь в эти так называемые свободные часы (между ужином и отбоем). В медицинской работе, при необходимости ночных дежурств, расписание, естественно, было свое, подведомственное врачам; этим же, вероятно, можно было объяснить и то, что до сих пор они не встречались. Во всяком случае, появление Вячеслава теперь на лагерном дворе показало Леле, что он ищет способа подать весточку. И в самом деле, через несколько минут юноша в очках приблизился к скамье, на которой она сидела около женского барака, и, прислонясь к стене и глядя вперед, а не на нее, очевидно с целью маскировки, тихо проговорил:

– Разрешите представиться: Ропшин, биолог; здесь работаю лаборантом; Вячеслав Дмитриевич просил передать вам записку. В целях конспирации он предпочел не подходить сам. Уроните, пожалуйста, платочек: я вам его подниму и одновременно передам письмо.

Леля сорвала с головы косынку, и через минуту записка оказалась в ее руке.

«Мы все очень любим и ценим Вячеслава Дмитриевича, – продолжал юноша. – Я и впредь рад буду содействовать вашим встречам. А сейчас мне лучше отойти. Мысленно целую вашу руку».

Более изысканной вежливости не могли бы проявить в таком щекотливом деле даже Олег или Шура, а уж они являлись образцами галантного кодекса! Леля не чувствовала себя шокированной вмешательством третьего лица, понимая необходимость предосторожности. Напротив – ободрилась при мысли, что вокруг их любви сомкнулся защитный круг тактичных, доброжелательных людей.

Вячеслав писал на рецептном бланке: «Аленушка! Завтра сразу после ужина подойди опять к черному крылечку инфекционного барака. Я буду там. Завтра дежурит врач, с которым мы друзья: он обещал уступить мне свой закоулок. Все из персонала, кто будут в этот час, в заговоре. Твой В.»

Дрожь пробежала по жилам Лели. Она сама не знала, была ли то дрожь страсти или робости. Страшно, чтобы не накрыли, страшно войти к заразным, страшно, чтобы как-нибудь не сорвалось!... Недавнее омертвление сменилось той горячей, настороженной жизненностью,

которую она уже испытала однажды. Личная жизнь ее воскресает, но будущее настолько безнадежно, что лучше не пытаться заглядывать; решиться можно только закрыв глаза, как это делает страус.

У нее была при себе маленькая иконка Божьей Матери, которая обычно висела у изголовья Зинаиды Глебовны; приготавливая к передаче теплые вещи, Ася зашила эту иконку за подкладку; Леля нащупала и в удобную минуту, подпорю подкладку, извлекла образок и старательно прятала его от любопытных глаз. До сих пор она еще ни разу не молилась и дорожила образком больше как воспоминанием о матери. В этот вечер, убедившись, что соседи заснули, она вытащила икону.

- Как читается этот тропарь, который любит Ася? Потщися, погибаем... Нет, не припомнить! Защити от чудовишной злобы, спаси от преследований, голода и заразы... Хоть раз в жизни пролей на меня божественное милосердие. Хоть один раз! Я почти не верю и все-таки прошу! Потускневший, потемневший лик был мертвенно неподвижен... Что это: кусочек ли безжизненной материи или обладающая благодатью и тайной силой реликвия?... Запечатлелась ли на ней частица материнской любви и бессмертна ли эта любовь?...

Мама! Мамочка! Видишь ли ты свою дочку здесь, на соломе, в тюремном бушлате, завшивленную, больную? Видишь ли ты, как я несчастна и одинока? Я не могу молиться святым, не умею! Ты скорее услышишь! Ты всегда была так кротка и терпелива со своей капризной, взбалмошной дочкой, ты всегда меня жалела за то, что мало выпало мне на долю счастья... Вымоли же мне сейчас хоть часочек радости, вымоли мужские поцелуи - я брежу ими уже столько лет, и все нет и нет любовного огня. Нельзя же просить о нем Бога, а тебя - можно! Мама Зиночка, моя кроткая мученица, моя бедная мама Зиночка! Так мало видела ты от меня заботы, так мало ласки... Никогда я не осведомлялась, сыта ли ты, хотя отлично видела, что лучшие куски ты отдаешь мне; никогда не спрашивала тебя, не слишком ли ты устала, когда ты стирала мое белье и мыла пол, а я болтала и гуляла с Асей. И все-таки я тебя любила! Часто, очень часто накапливалось во мне тоскливое желание припасть к тебе, покрыть поцелуями твои руки... Но что-то мешало: какая-то глупая сдержанность там как раз, где ее не нужно! Страх показаться сентиментальной или ребячливой. Прости за это!... Только когда тебя не стало, я поняла, во всей полноте, чем была для меня твоя любовь! Если ты жива - помоги, обереги, охрани. Призови себе на помощь Божью Матерь - может быть, тебя Божья Матерь услышит... Завтра... Завтра!

## Глава двадцать вторая

- Аксиньюшка, самовар на столе! Иди чайку выпить, - крикнула из сеней старая крестьянка в кацавейке и повойнике.

- Спасибо, Мелетина Ивановна! Сейчас Сонечку укачаю и прибегу, - отозвалась из светелки Ася и через несколько минут, перебежав холодные сени, нерешительно взялась за скобку двери. - Одни вы, Мелетина Ивановна?

- Одна, одна, не бось. Иди садись под образа. Я тебе налью чашечку. Заснули твои-то?

- Спят.

- Ну и слава Те, Господи! Сынок твой больно потешный, Всеволодна! Намедни, как ты к бригадиру вышла, все около меня вертелся - расскажи да расскажи ему про кота-воркота, а сам наперед уже кажинное слово знает, даром что трех лет нет. Нонече я ему расскажу ужю про козлика и семерых волков.

Ася задумчиво смотрела на струйку самоварного пара, поднимавшегося к низкому бревенчатому потолку.

- Он сказки любит, - тихо отозвалась она.

- Гляжу я на тебя, Всеволодна, и ажно сердце за тебя болит: никогда-то ты не улыбнешься, не засветишься. Оно конечно - вдоветь тяжело, особенно на первых порах, да с детьми; ну, да без горя кто живет, родимая? А твое-то горе, смотришь, еще поправимое -молода ты, да пригожа

лицом, еще не один присвадается: дети у тебя не пригульные - умный мужик в укор их тебе не поставит. Малость поуспокоишься и снова молодухой станешь. А коли будешь с утра до ночи печалиться, высохнешь раньше времени, что тростинка. Нельзя так, моя разлапушка. Лицо твое тоже дар Божий.

- Мелетина Ивановна, не утешайте меня. Спасибо, что жалеете, но... Я свое горе закрыла на ключ, и когда его касаются, мне еще больней делается.

- А поплакать-то, Аксиньюшка, другой раз лучше, чем в себе горе вынашивать. Немая скорбь, затаенная, всего, вишь, страшнее; сказывают, точит она человека, что червь.

- Не жаль. Пусть точит.

- Чего зря мелешь? Тебе такие речи не к лицу - у тебя дети. Парочка твоя больно уж хороша. Вечор Сонюшка глаза на меня таращит, что совеныш маленький. Не устоит, говорят, горе там, где слышен топот детских ножек. Ты в Бога-то веруешь?

- Верила... верю! - и как будто далекий солнечный блик скользнул перед ее глазами, когда она произносила эти слова.

- Ну так и не грехи. Великий грех - смерть призывать. Это тебя враг мутит. Я вот, вишь, всех похоронила, с нелюбимой невесткой осталась и в своей избе уже не хозяйка, а все живу. А для чего живу - в том Господня тайна: Он один знает, когда кому срок. Я тебя в церковь следующий раз с собой возьму. Только далекомко от нас теперь церковь. Надо бы лошадь у бригадира выпросить - безлошадные мы теперь. Я другой раз захожу на колхозную конюшню, да как покличу: Гнедой, Гнедой! - так он сейчас ко мне и дышит мне на руку. Захирел, бедный, запаршивел, что дитя беспризорное. Без дела да без ухода стоят они, наши лошади. Вот оно, горе горькое!

Они помолчали.

- Вот погоди, Всеволодна, придет весна, зазеленеют наши леса, запоют пташки, станем ходить с тобой по ягоды и по грибы. Сторона наша лесная, привольная, оно, конечно, места глухие: кто до городской жизни охоч, того здесь тоска возьмет, а только наши леса очинно хороши.

- А волков нет у вас?

- Как не быть волкам - есте! Зимой по деревенской улице другой раз проходят. Намедни еще я ночью на крыльцо вышла - показалось мне, что овцы в овчарне завозившись, - ан, гляжу, за плетнем два волка снег вынюхивают. Видала ты пса хромого, рыжего? Побывал у волка в лапах. А позапрошлой зимой девушку у нас заели. И всего-то пошла она в овин на краю поля; и фонарик при ей; да, видать, укараулили: гляжу это я в оконце, в поле-то темно, и только видать мне, как закрутился ейный фонарик - скользит ровно уж по земле, и прямехонько к лесу. Пока похватили топоры да выскочили, ее уж и загрызли. По следам было видать, что двое вцепились; одного она ослепила - как поволокли ее, видать, пальцами ему глаза проткнула; тут же его и выловили, а другой убежавши. Так и сгибла, пропала девушка. Ну, да это зимой, а летом уходят они подальше да поглуше - гулять без опаски можно.

- А по той дороге в Галич, куда мне на отметку ходить, нету их?

- А там нетути. Феклушка моя почем зря бегаает. Та дорога, видишь ли ты, проезжая: со всех наших деревень по ей к Галичу плетутся, другой раз и грузовик проедет. Потому и никто их там не видывал, ни с кем еще беды не бывало; не бойся, Всеволодна. А вот скоту нашему очинно от волков достается. Слыхала ты когда, Аксиньюшка, как скот от волка обороняется? Мне пастухи сказывали: коровы - те, как волка зачуют, сейчас в круг, рогами кнаружи, а телят в середину, и кажинная корова на рога волка принимает. Ну а лошади обратно - задними ногами кнаружи, а мордами внутрь, и встречают волка копытами, а жеребятки-то в ихнем кругу промеж морд запрятаны. А как волк от их копыт поумается, так выходит к ему на единоборство самый что ни на есть крепкий конь и его добивает. У скота, вишь, свой разум. Это человек по гордости своей только думает, что бессловесная тварь не смыслит. Погляди в глаза хоть нашей Бурене...

- Мелетина Ивановна, а как решено с Буреной? Неужели в самом деле будут колоть? Она у вас такая кротная, и глаза печальные... У моей собаки такие были.

- Ох, и не говори, Аксиньюшка! Корова и добрая и разумница, да только больная, и проку от ее уже давно никакого, а у нас в колхозе корова и всего-то одна. Приключись с ей болеть опосля теленочка. Я, знаешь, все подстерегала, как ей родить, потому как я при ей в коровниках. Да не устерегла: заснула, а как на зорьке подошла - теленок уже подле ей, и она начисто его вылизала и сиси ему уже дала. Мне б его и отобрать сейчас, да я на старости больно жалостлива стала: дай, думаю, оставлю на денек; пусть попоит молочком родное детище. Так день ото дня и откладывала, а как пришли за им из колхоза - сама и наплакалась: веришь ли, только вошли наши парни, тотчас смекнула она, что за им, - загородила свое детище, рога наострила, глаза выпучила; хоть и не подступайся! А опосля-то, как увели, - мычит, слышу, да так жалостно! Слезы по морде катятся, есть перестала... а там и хворь на ее напади. Председатель орет, что корова вовсе порченная и что только на мясо она и годна, потому она быка, вишь, не принимает. А мне ровно бы и жаль, коли зарубят Бурену, очинно она понятлива, хоть и с норовом: невестка сядет, бывало, доить, так и всякий раз впустую - не дается она ей, зажимает, вишь, молоко. Та и досадует и ругается. Один раз с прутом вошла: ну, говорит, Бурена, отхлестаю я тебя, коли будешь упрячиться. И положи тот прут возле ей, а Бурена как швырк его копытом. Ну а сяду я, да как начну приговаривать: дай молочка, родимая! Ну-ка, дай, моя хорошая! Так сейчас и надою ведро. Вот она, наша Бурена, какая, - и Мелетина Ивановна утерлась косынкой.

- Мелетина Ивановна, как вы думаете, что ответит мне председатель?

- А кто его знает, чего ответит. Повремени - узнаешь. Слышала я, сказывали, что колхозную почту тебе нельзя доверить, потому как ты на подозрении у них... Председателю из города о тебе передано.

- Ах, вот что! Вот что! Не доверяют! Ну, тогда пусть возьмут меня к коровам и овцам на скотный двор - я животных люблю. А то так на полевые работы...

- А мне сдается, Всеволодна, не рыпайся ты, сиди смирно. Не для чего тебе и вовсе лезть в колхоз; платят у нас копейки; мукой выдали - на месяц только хватило, а картофель так вовсе гнилой - скормила поросенку. Колхозными трудоднями никто у нас не кормится; да и много ли ты, родимая, трудодней выработаешь? Погляди-ка на свои рученьки - силы в их, видать, никакой; опять же и детей тебе оставлять не на кого. Пустое это дело! Вот кабы ты шить умела...

- Не умею, Мелетина Ивановна! Иголку терпеть не могу! Ничего не умею! Уж такая бесталанная уродилась.

- А кто тебе, Аксиньюшка, деньги высылает? Вечор, слышала я, получила ты пятьдесят рублей. Ася объяснила происхождение денег.

- Ну, и бери, пока дает. Брать от крестной на сиротку не зазорно. Аль не хватает?

- Не хватает. Мне бабушку поддержать надо: ей уже семьдесят, а она совсем одна в чужом месте, в Самарканде. Там у нее даже комнаты нет - угол на веранде. Там всю веранду заселили ссыльными, которым некуда деться. Сестра в лагере, в казарме, под конвоем... Она голодает... Ей бы надо посылку выслать. Лучше не рассказывать - у меня горе со всех сторон. Живого места в душе нет. - Ася встала. - Сейчас ваши вернутся. Я пойду к себе - ваша невестка меня не любит.

- Зависть у ей к тебе, Всеволодна! Уж такой она человек. Мне от ее тоже житья нет с тех пор, как я сына похоронила. Погоди, еще с любовником своим со двора меня сгонит.

Дети спали. Славчик разметал ручонки и лежал поперек постели. Загнутые ресницы и перетяжки делали его похожим на младенца Иисуса на «Мадонне» Литта. Сонечка лежала еще туго спеленутая. Сердце Аси всегда сжималось, когда она смотрела на свою дочку: Славчик видел так много любви и заботы в первые два года своей жизни, а это крошечное существо едва не осудили на уничтожение, она пришла как лишняя, как ненужная; ей не выпало даже радости и пососать материнскую грудь. И Асю постоянно грызла тревога, что девочка не вырастет здоровым, полноценным ребенком. «Мы будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант», - портрет этот, нарисованный отцом Сонечки,

неразрывно связывался с дорогими игрушками и красивыми большими комнатами, в которых порхает девочка-бабочка, а не с этой прокопченной избой, которая завалена до самых окон сугробами!

Постояв над спящими детьми, Ася подошла к оконцу и, заложив руки за голову, посмотрела на темный дворик, потом перевела взгляд на горку белья, отложенного для починки. «Я – дурная мать! Другая бы на моем месте, пока дети спят, глаз от рукоделья не подымала, а по ночам стирала, а я по ночам хоть и не сплю, а плачу, да все равно лежу: а днем мечусь без толку туда-сюда. Горе меня за шею душит! Что мне с ним делать? Куда от него деваться?» Она накинула платок и выбежала на занесенное снегом крыльцо. Деревенька из шести дворов расположилась в середине большого леса, который тянется до самого Галича. Старые русские места, где жил Иван Сусанин и где скрывался в своей вотчине Михаил Романов. Лес подступает к деревеньке со всех сторон; он весь теперь белый, весь неподвижный, и над ним ярко сияет звездное небо. Сретенские морозы в эту зиму были не хуже крещенских. «Как хороша та планета над лесом! Умершие – там, в этих звездных мирах. Видит ли Олег, как я терзаюсь? Нет у меня ни сил, ни энергии. Старая Панова одинокая, больная, живет в сарае и все-таки улыбается и поддерживает меня. А эта кроткая Мелетина Ивановна? Как стойко переносит она свои несчастья. А я – самая молодая – только бьюсь и тоскую!»

Молодой высокий парень в подпоясанном тулупе и ушанке набекрень, подходя к крыльцу, игриво протянул к ней руки: «Как дела, Аксиньюшка?»

Она поспешно сбежала с крыльца. «Противный! Из-за его улыбочек и невзлюбила меня невестка Мелетины Ивановны!» Неподалеку за плетнем чернело в снегу деревянное строение с соломенной крышей. Она взглянула на него раз, другой, и, выбежав за калитку по расчищенной умятой дорожке, открыла дверь. Ее обдало запахом навоза и дегтя; легкий шорох овечьих копыт вместе со звуком пережевываемой жевачки коснулся ее слуха. Овцы тотчас обступили ее, протягивая морды. «Пустите пройти к Буренушке, пустите, милые!» Она споткнулась в темноте на порожнюю бадью, задела головой старый хомут и наконец приблизилась к низкому деревянному стойлу. Корова перестала забирать сено и повернула голову.

– Я, Буренушка! Дай мне твое ушко, как Крошечке-Хаврошечке. Тяжело нам с тобой. Ты устала... Ты больше не хочешь... Ведь не машина же ты для деторождения, бедная моя. Родить... а потом отнимут... а тут еще копытца болят и никто-то тебя не пожалеет, я только!

Корова кротко и печально смотрела ей в лицо и дышала теплом на ее руку.

«Заколят! Войдут сюда с топором. Она поймет, шарахнется и замочит в предсмертной тоске... а я увижу пустое стойло. Убийство тут почти у меня на глазах! Нет, не могу! Свыше моих сил!» Утром она побежала к бригадиру, зажимая в руке полученные деньги.

– Да поймите вы, что корова яловая и быка не подпускает, – втолковывал ей бригадир. – Не стоит она сена, которое съест. А коли мы ее заколем, то в Галиче на базаре мяса рублей на двести продадим. Нашему колхозу деньги нужны: к весне идет, семена покупать надо, сенокосилку. Чего вы мешаетесь не в свое дело?

– Товарищ бригадир, а если я предложу вам часть этих денег, вы Буренушку не заколете?

– Чего-то не пойму я. Купить вы что ли корову желаете?

– Да.

– На что ж вам она? Возьмите вы в толк, что молока для своих детей вы с ее не надоите.

– Совсем разве не надою? Ни кружечки?

– Совсем. Чего же ради вам покупать такую корову? А я тоже не частник, чтобы вам обманом плохой товар подсовывать, – степенно возражал бригадир.

А сидевший с ним рядом бородатый крестьянин сказал:

– У тебя, Аксинья Всеволодовна, денег, видать, куры не клюют, али дура ты круглая. Не знаю, что о тебе и думать.

– Думайте как о дуре. Я и сама начинаю именно так думать – мне вашу Бурену жаль.

Крестьяне переглянулись.

- Опять же вы и не член колхоза: не положено вам тут скотину держать. Ни хлева, ни сена вам колхоз не предоставит, - опять сказал бригадир.

- Возьмите меня в свой колхоз; я вас об этом уже давно прошу. Я могу смотреть за овцами и доить коров. Я хочу иметь заработок.

- Не выйдет, Аксинья Всеволодовна: председателю о вас передано, чтобы не очень вам доверять, что жена злостного врага народа и что здесь находитесь под надзором. Да и навряд ли вы работать сможете - городская вы, господская, к нашему труду непривычная. Кому нужна такая работница. Не о чем и толковать.

- Как хотите. Я бы хорошо работала. Я люблю животных. Если вы согласитесь не колоть Бурену, я вас за нее постараюсь понемногу выплатить или отработать, а Мелетину Ивановну попрошу предоставить мне свой сарай. Всегда можно договориться при желании.

- Нечисто тут что-то... Как бы не досталось от председателя. Не выйдет.

Разговор с Мелетиной Ивановной был также неутешителен:

- Я теперича в своей избе не хозяйка. Сама ты, Всеволодовна, не видишь, что ли? Феклуша, что захочет, то и делает. Говори с ей.

- Но ведь изба, сарай и вся усадьба принадлежат вам, Мелетина Ивановна.

- Было время - были мои. Мой старик строил, кажиное бревнышко сам клал. А теперь времена другие: я даром, вишь, хлеб ем, меня надо по боку. Бригадир наш мужик уважительный - повстречал меня наемни за околицей и говорит: «Не бойсь, Мелетина Ивановна! Мы тебя со двора согнать не позволим, и не может быть такого дела при советских порядках, чтобы старого человека на улицу вытолкать. Наплюй ты на Феклушку и ейные угрозы. Погоди - мы еще взгреем ее по партийной линии». А я ему поклонилась в пояс и отвечаю: «Спасибо, что жалеешь меня, Тимофей Алексеевич, да только я к тебе за заступой не ходила и бумаг с жалобами председателю не писала, незачем ему и мешаться в мои семейные дела. Лучше пусть сто раз на меня наплюют, чем я на кого-нибудь. А со мной будет Господь захочет!» Ты, Всеволодовна, вот и ласковая, и жалостливая, да только больно уж неразумная. Что дитя малое. Нам с тобой при Феклуше лучше и вовсе разговоров не заводить: пусть и не знает, как мы с тобой спелись. Сама с ей объясняйся, родимая! Да только навряд ли что-то из того получится. Года этак два тому назад заведись у нас поросенок Труся, бегал он за мной, что собака. Уж как я Феклушу молила: «Не трожь ты, Господа ради, моего Труся!» Да где там - «Не блажи бабка! У тебя от старости и мозгов разжижение!» - вот и весь ейный ответ.

Доводы эти окончательно обескуражили Асю. Тревожные мысли особенную остроту приобретали ночью: в избе тихо, темно, чуть скребется под половицей мышь, в овчарне шуршат пугливые бараны, под крышей возятся голуби, а неотвязная тревога стучит, как молотком в виски, не давая заснуть...

«Ну что же мне делать? Как спасти Буренушку? Как прожить с детьми весь месяц до следующего денежного перевода? Пятьдесят рублей надо немедленно внести за комнату, чтобы не оказаться на улице».

Уже пропели петухи в пять после полуночи, когда в голове ее составилась наконец план, за который она ухватилась, как за единственно возможный: «Двадцать пятого числа я обязана явиться на отметку в город. Зайду к Надежде Спиридоновне и попрошу у нее займы сто рублей, с тем, чтобы отдать со следующего перевода. А пока буду просить колхозников снабжать меня молоком и картошкой в долг. Завтра - Сретение, стало быть, пятнадцатое, перебыюсь как-нибудь десять дней. Тем временем в Ленинграде продадутся наконец мои вещи, и Елочка пришлет, может быть, более значительную сумму... Тогда я расплачусь с долгами и попробую выслать посылку Леле. О Буренушке посоветуюсь с Пановой».

А за всеми этими житейскими соображениями в самой глубине ее сознания переливала всеми цветами радуги мысль, высказанная Мелетиной Ивановной: «Лучше пусть сто раз на меня наплюют, чем я на кого-нибудь!» Эта мысль казалась ей своеобразным синтезом смиренномудрия. «Как много душевной красоты в русских крестьянах! Бабушка так много молится, посещает церковь и крестит нас, но считает, однако же, возможным презирать такое

огромное количество людей вокруг себя. Бабушка, конечно, слишком умна и тактична, чтобы кичиться или важничать, и все-таки, достоинство, с которым она держится, как будто питается уверенностью, что она значит больше других, она – первая. Семейная родовая гордость эта даже возводится в доблесть. Я с детства росла в глубоком почитании нашего семейного круга и наших устоев. Я и теперь уверена, что воспитали меня очень разумно: та вежливость, уважение к старшим и выдержка, которые нам прививали в детстве, необходимы; я не могу не видеть, что те, которые не впитали в себя с детства этих понятий, – шероховаты и сами первые страдают от неумения себя держать. Но манеры определяют еще не все! Вера, молитва, стремление к совершенству – этого в нашем воспитании касались слишком поверхностно. Любовь к Родине культивировалась, но любовь к людям – не к родным, а к людям вообще – росла в душе у меня независимо от влияния домашних, часто наперекор им. А ведь были же интеллигентные и тоже родовитые семьи, где огромная, большая любовь к народу воспитывалась и поощрялась, где сыновья и дочери шли в земские врачи и учителя. Я недавно только узнала, что демократизм этот был даже в моде и считался чертой, характерной для русских помещиков. В нашей же семье мужчины блистали в гвардии, а женщины в свете... Совсем не все в нашей семье было лучше, чем у других!»

В глубине ее души жило смутное желание попасть в церковь – войти в полумрак под купол с его таинственной высью и шорохами, вдохнуть воздух, в котором, казалось ей, застыли вместе с запахом ладана невидимые кристаллы молитвы, найти где-нибудь в боковом приделе икону Скорбящей, перед которой всегда кто-то распростерт ниц, прикоснуться губами к Пречистому Лику, склонить колени, укрепить свечечку и заплакать... «Помяни... за раннюю обедней мила друга, верная жена!» Но она была лишена возможности даже помянуть своего друга – она не могла ни на минуту отлучиться от детей. К тому же церковь в соседнем селе была и теперь закрыта – все та же «мерзость запустения на месте святом». Оставалось только целовать свой крестик, засыпая. Кто знает, может быть, по ночам ее душу уносят из тела в заоблачные просторы – не туда, где «праведные сияют, яко светила», думалось ей, – в иные, менее совершенные круги, где блуждают такие, как Олег, призываемые к покаянию и самоочищению, и, может быть, там они встречаются и молятся, и так же вот горит свечечка, колеблемая веянием крыльев... Может быть!... Но просыпаясь, она не помнила ничего и чувствовала себя всегда покинутой и одинокой, и в этом именно – казалось ей – заключается ее очень большое несовершенство.

Яркий свет залил землю в утро Сретения Господня; он струился потоками. Увидев эти солнечные лучи, затоплявшие белые снега и темные сосны в белых опушках, Ася не утерпела и, оставив у колодца ведро, выскочила за калитку. Она запахнула на ходу ватник и платок и побежала к лесу, увязая в сугробах.

На минуту... хоть на минуту, пока дети спят. Солнце совсем мартовское, и как будто уже весной пахнуло! Клест... вот там клест на ветке шишку дерет... А снегири так и звенят! Вот потому-то я и хотела в деревню. Теперь скоро начнется капель, я увижу проталины, грачи пойдут по талому снегу... Весна, обновление! А человеческая душа, которая вся во власти горя, обновляется ли человеческая душа? Возможно это на земле? Или только там, после смерти?... Она закинула голову, глядя на вершины берез и сосен. Лучи еще были косые – утренние – и шли по макушкам; внизу – синие тени; вокруг – тишина и свет!...

– Сегодня Твой праздник, Господи. В этом свете чудится мне частица Твоего сияния – он особенный: озаренный, нездешний, легкий! Мне радостно смотреть! Серое облако стояло так долго, а сегодня вдруг свет. Спасибо Тебе, милый Иисус Христос, что Ты вспомнил обо мне в этот день и что Твои лучи нашли меня так далеко, в лесу, в этой избушке... Я уже ничего у Тебя не прошу, Господи, – да будет воля Твоя, а не моя! Прости, что я на Тебя роптала; я забыла, что одно чудо Ты все-таки совершил для меня – Сонечка осталась жива в этом страшном лагере наперекор всем опасениям! Эту молитву Ты исполнил – одну, но очень большую. Я только сейчас вдруг вспомнила, вдруг поняла. Один из всех пришел благодарить, и это был самарянин – читают на благодарственном молебне. Сегодня благодарю я.

Не хотелось опускать головы, не хотелось отрываться от затоплявшего света; это тепло в груди и в душе было слишком отрадно; так бывало иногда в детстве! В душе ее зашевелилось неясное, но дорогое воспоминание: ей было лет пять... Однажды утром она осталась одна в детской, и вдруг словно раздвинулись стены, и солнечный свет затопил комнату... Окна выходили на южную сторону, и солнце часто бывало здесь, но в этот раз оно было раньше и ярче обычного; за оконным стеклом забились голуби... Это тоже бывало не раз, но нынче они затрепетали... Солнечный свет делался все ярче и ярче... Она бросила кукол и встала, почувствовав на себе Чей-то взгляд. И вот голос, похожий на голос матери, сказал за ее спиной: «Не бойся, так бывает, когда смотрит Бог!» Она вся сжалась и благоговейно задрожала... Длилось минуту и ушло... Больше ничего не было! Странно только, что, когда на другой день она заговорила о случившемся с матерью, та не могла понять, о чем толкует девочка, и уверяла, что не заходила утром в детскую. Надевая перстни на пальцы, она рассеянно прибавила: «Фантазируешь или приснилось...» С тех пор ни разу не пробовала Ася касаться словами этой сокровенной минуты, и чем старше становилась, тем с большим благоговением думала о ней. Утренняя светлая легкость и радость на молитве, посещавшие ее иногда, напоминали ту минуту, но никогда не достигали такой силы... Голоса и сегодня не было, но излучения воспринимались такими же, что и в то незабываемое утро.

«Вот люди не верят в возможность общения с Высшими, а как это просто! Прилетит, прольется и улетит... - думала она, стоя по-прежнему с запрокинутой головой, как зачарованная. - Дух дышит, где захочет! О, это, конечно, не Бог, но Кто-то из Святых... Призвать эту минуту нельзя и удержать тоже; не от меня это зависит, как за роялем. За что мне даются такие дивные минуты? Идейной религиозной жизни во мне нет, никакого самоотвержения или подвига, напротив - мне все помогают, а я...»

Назад ее сознания тихо брели музыкальные мотивы...

«Что мне припоминается? "Китеж"? Да, это из "Китежа": голоса райских птиц и Феврония в светлом граде. О, за что же эта радость, чем я Богу угодила?!»

Клавир «Китежа» и фуги Баха лежали у Аси в чемодане, в избе под лавкой: собираясь в ссылку и спешно укладываясь, она и Елочка обсуждали и мысленно взвешивали каждую вещь, так как количество багажа было строго ограничено; тем не менее она все-таки сунула в чемодан потихоньку от Елочки несколько папок, отлично сознавая нелепость этого поступка, но чувствуя себя не в состоянии расстаться с откровениями на музыкальном языке.

Когда она возвращалась к дому, все так же увязая в сугробах, вокруг все выглядело уже несколько иным. Она не знала, что именно так будет: после минуты озарения на очень короткий срок зрение всегда приобретало особую зоркость и ясность - как будто снимались мутные очки. Снег и синие полосы на нем выглядели особенно девственными; голубь, ворковавший на крыше крылечка, говорил, по-видимому, о только что случившемся - он-то, конечно, все знал; на лице Мелетины Ивановны, встретившей ее в сенях, морщинки расположились так, что подчеркивали ее кротость, а чело ее было увенчано скорбной ясностью; в собственной маленькой горнице установилась особая прозрачность, образок старца Серафима у постели словно светился, а на личике спящей дочки почил выражение священной тишины, которое не всегда в одинаковой мере было доступно взгляду матери.

Когда она стала собирать на стол, то увидела, что и на белой скатерти, и на глиняной кринке с молоком, и на круглом деревенском хлебе лежит печать благодати, которая должна сообщить их трапезе нечто от древнехристианской «агапэ». Светлая минута принесла с собой умиротворение. «Из-за чего я волнуюсь? Чего страшусь? - думала она. - Ведь я не у дикарей, а среди русских крестьян. Разве здесь, в русской деревне, допустят, чтобы молодая женщина с двумя маленькими детьми умерла с голоду? Не допустят из христианского милосердия. Некрасов очень хорошо сказал: «Ты любишь несчастного, русский народ». Я и сама это сколько раз замечала. Ну а те, кто настроен по-новому, коммунисты, - не допустят из гражданской сознательности, из принципа. Проживу с помощью добрых людей, которых я встречала всегда и везде».

День этот весь прошел озаренный отблесками священной минуты, но не может человек сохранить их надолго... Подступающий голод разрушил все!

## Глава двадцать третья

Каждое утро, поднимаясь на заре вместе с Мелетиной Ивановной и умываясь ледяной водой из маленького рукомойника, висевшего на крыльце, Ася перебегала двор, пожимаясь от холода, и закладывала в ясли Бурене охапки сена. Потом, схватив глиняную кринку, шла на другой конец деревни за молоком к старому деду, который еще держал свою индивидуальную корову. Это были лучшие минуты в течение дня: на улочке не было еще ни души; подымавшееся солнце золотило верхушки леса; утренний заморозок щипал щеки; снегири звенели в придорожных вербах; по подмороженной дороге прыгали голуби и воробьи и возились около маленьких луж, вздувавшихся от ветра; чистота воздуха и уже по-весеннему светлого неба лилась ей в грудь. Она положила себе за правило читать по пути «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся!» и «Верую» – ведь это было единственное время дня, когда она могла сосредоточиться на своих мыслях, а ей хотелось сохранить в душе светлый след и поддержать себя в уверенности, что жизнь ее и детей в руках Божиих. Золотисто-розовый край неба ассоциировался у нее со словами: «Да придет Царствие Твое» – как будто лучи эти лились из тех обетованных мест, где оно уже наступило.

Старый дед наливал ей в кринку молока – в долг до двадцать пятого, и добавлял уже от себя пахты в отдельный горшочек. Когда она прибежала домой, Славчик, обычно уже проснувшийся, кувыркался в постели; маленькие ручки протягивались к ней; очарование детской ласки имело огромную власть над ее сердцем: она одевала сына с песенками и поцелуями, уверяя себя, что ребенок не должен видеть ее лицо всегда печальным и что радость ему необходима как солнце и воздух. Первая трапеза обычно проходила жизнерадостно – она чувствовала себя освеженной молитвой, а Мелетина Ивановна, которая растапливала с утра печь, великодушно предоставляла ей горячую воду для мытья детей и угощала ее красиво подрумяненным картофелем из деревенского чугуна. Славчик отличался хорошим аппетитом теперь, когда оказался на воздухе, – он выпивал чашку молока и съедал две или три картошки; отрадно было смотреть, с какой готовностью открывался этот маленький ротик! Остаток картофеля она приберегала ему на вечер, перемешивая его с пахтой, а сама довольствовалась куском хлеба и кипятком. Сонечке в рожок отливала двести граммов молока, и это при пятиразовом кормлении составляло за день литр. Днем Ася варила немного пшена, которое у нее было поделено на несколько ровных порций с расчетом, чтобы хватило до двадцать пятого, другой крупы не было. Обедали в два часа, и Славчик успевал до вечера снова проголодаться – тогда в этот открывающийся очаровательный ротик можно было положить только кусок, оставленный себе на вечер. Настроение падало по мере того, как иссякали запасы дневного рациона. К тому же Славчик находился в том возрасте, когда говорить с ребенком приходится непрерывно, не выпуская его ни на минуту из поля зрения, и ей было не под силу принуждать себя к улыбкам и песням в течение всего дня, преодолевая скорбные думы и тревоги и бросаясь от одного дела к другому.

– Славчик! Это нельзя трогать, положи на место. Играй в свои игрушки. Стой, стой, куда ты? Сядь, посиди немножко. Что ты опять взял в ручки? Запомни: в ротик нельзя брать ничего, кроме того, что дает мама. Ну, о чем ты опять? Гулять? Ты видишь, мама стирает. А почему штанишки мокрые? Фу, как стыдно!

Интонация ее становилась понемногу все более усталой и печальной. Когда наступал вечер и щебет Славчика наконец умолкал, она, уложив обоих младенцев и прибираясь потихоньку в избе, пела колыбельные совсем тихо, высоким тонким голоском; пела их одну за другой, хотя Славчик и Сонечка уже давно спали. Артистическое чувство искало себе выхода. Перебрав все любимые колыбельные, она обращалась к романсам, выбирая только самые грустные, – «Острою секирой ранена береза» Черепнина наиболее отвечал ее настроению.

Она спала теперь на гладильнике, посланном на полу, а закрывалась пледом и ватником. Невольно сравнивала она эту постель со своим прежним ложем на кровати красного дерева с полотняными простынями и кружевными наволочками. Бросаться в ту кровать было всегда радостью – перешептывание с Олегом, поцелуи, сладкая дремота... Забираться в эту постель было всегда немного холодно, и каждый раз легкий трепет брезгливости пробежал по ее телу от сознания, что постель не так чиста, как бы ей хотелось, что простыни отсыревают, а плед затаскан в лагере. Вылезать же было еще мучительней, потому что она никогда не успевала выспаться, подымаясь то к одному, то к другому ребенку, и чувствовала, что члены ее боятся ледяного прикосновения колодезной воды при предстоящем умывании – она с детства была приучена умываться по утрам с головы до ног, но теперь у не появилась повышенная зябкость, а к услугам уже не было белой ванны и душа. Каждую ночь осаждали тревожные мысли – они подымались тучей, стоило ей только положить голову на подушку, и, несмотря на всю свою усталость, она лежала без сна до первых петухов. Голод решительными шагами приближался к ее маленькой семье! Мечтой ее стало иметь мешок своего картофеля, но сколько она ни обходила крестьянские избы, никто не соглашался с ней поделиться: все уверяли, что расхотят последнее; может быть, так было и на самом деле, а может быть, опасались, что она не достанет денег и не сможет рассчитаться. Запустить руку в собственный мешок, испечь и съесть сколько захочешь и когда захочешь – начинало представляться ей верхом счастья! Даже казалось иногда, что грустные мысли станут уже бессильны, если сесть за хорошо накрытый стол. С тоскою думала она, что Славчик не получает высококалорийных питательных веществ. В этой разоренной колхозом деревне почти ничего нельзя было достать, но и то немногое, что было, она все равно не могла купить! Сметана водилась только в одной избе и была дорогой; яйца можно было купить только поштучно, и они тоже были дороги. Пойти в город раньше срока специально за деньгами? Но это удлинит следующий отрезок времени: от похода в город до получения перевода от Елочки, который мог прийти не раньше десятого числа следующего месяца, – вытащишь хвост, голова увязнет!... При наличии долгов за молоко ей не могло хватить на две недели той суммы, которую она предполагала занять. Поговорить и посоветоваться было не с кем – отношения с Мелетиной Ивановной как-то завяли... Ведь вот странность: Мелетина Ивановна сама рассказывала ей о корове и как будто жалела Бурену, но как только Ася попыталась прийти на выручку, она словно бы отшатнулась от нее. Она точно не поверила, что ради спасения животного можно пойти на жертвы; она начала смотреть на Асю с предубеждением, считая, по-видимому, что та притворялась, рассказывая о своих трудностях и что в действительности она располагает еще какими-то суммами. «Полно тебе, Аксинья, прибедняться-то! Прислали денег и еще пришлют: нужды ты не знала и не узнаешь, твое дело господское», – сказала она раз. Совать по утрам картофель она продолжала, то ли потому, что жалела детей, у которых такая неразумная мать, то ли потому, что не захотела подчеркнуть перемену в своем отношении, но Ася почувствовала, что потеряла ключ к душе этой женщины, и что между ними встало что-то классовое – ни задушевности, ни простоты уже нет. Очевидно, в мнении Мелетины Ивановны Ася больше бы выиграла, если бы, оплакивая вместе с ней Бурену, варила детям щи из коровьих ребер! Открытие это уязвило Асю.

В одно утро произошло как раз то, чего она опасалась: Мелетина Ивановна картофель не пекла, а сварила овсяную кашу и не поделилась с ней, может быть, потому, что дома была Феклуша. Асе при ее скудном рационе этого оказалось довольно, чтобы остаться совсем голодной. У нее не оказалось достаточно воли, чтобы придерживаться установленных ею же порций при варке пшена: в этот день и на следующий она сварила двойную дозу, и пшено кончилось. Отыскивая выход из создавшегося положения, она ухватилась за мысль переговорить с бригадиром: ей понравилась та степенная манера, с которой он держался в разговоре о корове, предупреждения его изобличали честность... Стоя посреди улицы и глядя на его избу, она тем не менее не решалась войти, когда вдруг увидела его приближающимся к своему дому с уздечкой в руке. Надо было воспользоваться моментом.

– Добрый день, Тимофей Алексеевич! – сказала она и по-крестьянски низко поклонилась,

полагая, что это будет уместней протянутой руки, с которой крестьяне никогда не знали, как им поступать. – Я вас хотела попросить... Очень трудно мне... Не можете ли вы уступить... продать... мешок картошки? Может, у вас в колхозе есть лишняя? Я рассчитаюсь, как только получу деньги. Если же нельзя мешок, хоть два или три кило... Я и крупе рада буду... Мне детей кормить нечем.

Даже дыхание зашло у нее в груди – таких усилий стоила ей эта маленькая речь. Бригадир молчал, оглядывая ее недоброжелательным взглядом.

– Диковинная ты, Аксинья Всеволодовна! За дурака ты меня, что ли, считаешь? Денег у ей нет! Да промеж нас ты самая что ни на есть богатая: ну, который из нас разом столько денег в кулаке зажмет? И не слушать бы мне тебя вовсе, да уж куда ни шло: завтра два наших мужика в город едут, езжай и ты с ними на дровнях. Нам надоть спосылать кого-нибудь из баб мясом поторговать, а как будто, смотришь, и некого. Мы завтра корову колем.

Ася содрогнулась. «Бурену!»

– Мы за эту работу тебе на мешок картошки денег выделим. Там же, на базаре, и закупишь, а мясо уже раскромсаем – самой рубать не придется.

Перед глазами Аси замелькали кровавые скользкие куски.

– Благодарю вас, но я на такую работу не годна. Я не сумею. Мне торговать на рынке!... – и невольно горделивым жестом вскинула хорошенькую головку, но тут же почувствовала, что слова эти отдают аристократизмом, а потому более чем неуместны.

Бригадир нахмурился.

– Вот, предлагаю заработать, так, небось, не хочешь, а колхозное добро на тебя разбазаривай, отдавай тебе посадочную картошку!... Не суй ты нос в наши колхозные дела и не попрошайничай тут, на колхозной улице. Экая вредная!

Ася отвернулась и побежала к дому, чувствуя себя так, как будто получила пощечину. Она бросилась в темный хлев и уткнулась лицом в шею коровы. Слезы ее душили. «Буренушка! Бедная моя! Я так хотела тебя спасти. Но мне самой жить не на что, ты видишь – я почти нищая и каждый может меня обидеть. Дай свое ухо Крошечке-хаврошечке: знаешь, никогда теперь я не буду есть мяса!» – и заглянула в кроткие темные глаза... «И печальна так и хороша темная звериная душа». Кто может заглянуть в звериную душу? Кто поймет, что светиться за этим грустным взглядом? Ну да и крестьянскую душу не легко понять – «ты любишь несчастного, русский народ!» Она и теперь продолжала верить этому и не могла отказать в уважении ни Мелетине Ивановне, ни бригадиру. Но после переговоров о корове никто уже не видел в ней пострадавшую – ее принимали за «капиталистку», личность подозрительную и опасную. Несчастные 50 рублей, так некстати зажатые в руке, загипнотизировали крестьянские головы.

«Со стороны моя жалость к корове производит впечатление, конечно, очень странное: меня могут счесть дурочкой, а между тем я отлично понимаю всю неуместность своего вмешательства... И однако же, что, ну что я могу поделать с моим состраданием, которое для меня всегда острее бритвы? Я была еще шестилетней девочкой, а слуги в имении уже говорили, если топили щенят или котят: «Надо, чтобы маленькая барышня не знала». И уже давно во мне живет уверенность, что это чувство войдет когда-нибудь в конфликт с разумом и приведет к катастрофе».

В этот день она отвечала ребенку невпопад, а отправляясь за молоком, не в силах была прочесть любимые молитвы; как опозоренная, боясь поднять голову, перебежала она через деревню, уверенная, что изо всех окон смотрят на нее и говорят: «Вот эта дурочка, эта побирушка, внучка царских сановников!» Созданные усилиями ее духа минуты созерцания были разрушены. Чувство голода становилось мучительно: Сонечка выпивала свое молоко, Славчик – остаток молока и пахту с хлебом, а на ее долю доставалось около фунта хлеба и кипятка. Она ловила себя по вечерам на голодных галлюцинациях, которые были так упорны, что она ощущала на своих губах вкус воображаемой пищи. Засыпая голодной, она часто чувствовала боль в животе – может быть, кишки слипались от пустоты. «Бабушка и Леля,

наверно, испытывают то же самое, – думала она. – Леля, конечно, всех больше изголодалась, а при нездоровых легких это очень опасно. Что делать, как помочь?» Она заметила, что и сама ослабела: походка ее сделалась несколько неверной и шаткой, голова кружилась. Раз она взглянула на себя в зеркало и увидела на своей худой и длинной шейке странное коричневатое пятно и такое же на щеке около уха... «Что это могло быть? А вдруг цинга? Или пеллагра?» Олег болел ею в лагере и рассказывал, что она, как и цинга, начинается от отсутствия витаминов. У нее было посажено несколько луковок в горшке на оконце – пригретые февральским солнцем, луковки уже дали зеленые побеги, и она подмешивала их в пахту для Славчика. Испуганная темными пятнами, она общипала несколько перьев и съела их сама, а потом постучала к Мелетине Ивановне, выждав, чтобы Феклушка вышла.

– Мелетина Ивановна, – сказала она, пересиливая гордость и нерешительно останавливаясь на пороге, – вы, кажется, за что-то на меня рассердились, а за что – я не знаю. Я так благодарна вам и за картофель, и за горячую воду. Без вас я бы пропала!... Мне очень трудно. Со мной нет никого, кто бы мог мне помочь, и приходится опять обращаться к вам – я ведь знаю, какая вы добрая!...

Голос ее задрожал. Старая крестьянка молча смотрела ей прямо в лицо, и почему-то казалось Асе, что все, что она говорит, получает у Мелетины Ивановны свою особую интерпретацию, неясную ей. Мелетина Ивановна не то чтобы не доверяла, но точно отыскивала в ее словах вторичный, скрытый смысл, кроме самого простого.

– Завтра я должна идти в город на переключку, – продолжала, проглотив слезы, Ася, – а за детьми присмотреть некому, и даже поесть им оставить нечего, кроме молока для Сонечки. Сама я очень изголодалась и ослабела... Если я не поем, я боюсь, что я не дойду. У меня в самом деле ничего нет! – и закрыла себе лицо от стыда и отчаяния.

Мелетина Ивановна не обняла ее и не прижала к груди, как сделала бы, наверное, Панова, Краснокутская и любая другая из знакомых ей дам, кроме разве Надежды Спиридоновны; но в ответе своем она оказалась на высоте, она сказала:

– Присмотрю небось: голодными у меня не останутся! И спать уложу и укачаю – это уж само собой! Экая неосмотрительная ты, Аксинья! Дивлюсь я все на тебя. На вот борща тарелочку; хлебушка я сейчас отрежу; а утром я тебе уже картофельных оладий подогрею – хорошие оладьи. Садись к столу.

Едва лишь Ася взялась за хлеб, как Славчик, бросив игрушки, завертелся около нее и протянул ручонки, говоря: «Дай». Это происходило каждый вечер! Иногда он карабкался к ней на колени и ловил ее руку... Съесть свой кусок сама при таких условиях Ася была не в состоянии, хоть и сознавала всю необходимость поддерживать собственные силы.

«Леля хоть может съесть сама то небольшое, что получает, а я спокойно не могу проглотить ни одного куска», – со вздохом подумала она. За последние две недели перетяжки опять пропали на бархатных ручках ее сынишки, и личико слегка вытянулось... Наблюдать эти изменения в детском лице и сознавать всю невозможность что-либо изменить – вот пытка!...

Поднялась Ася на рассвете, как только Мелетина Ивановна слезла с печи и вздула огонь, растворив печную заслонку. Спешно глотая оладьи, Ася не решалась заговорить с Мелетиной Ивановной о подробностях ухода за детьми, хотя множество указаний вертелось у нее на языке: легко можно предположить, что Мелетина Ивановна сунет в ротик Сонечке хлебный мякиш или покормит Славчика с чужой ложки... Но, боясь обидеть старую крестьянку, Ася все-таки промолчала. Дети еще не просыпались, когда она подошла к ним уже в ватнике, валенках и платке. Она перекрестила обоих, но не поцеловала, опасаясь разбудить.

В сенях было еще полутемно; Мелетина Ивановна стояла на пороге.

– С дороги-то не сбейся: день уже будет вьюжный – вона какая с утра пороша! – сказала она.

– Не собьюсь, я ведь уже ходила! – Ася взглянула через раскрытую дверь на крутившийся снег и еще раз обернулась на детей: ресницы ее сына еще не подымались, и выражение ангельского покоя лежало на лбу и побледневших щечках; загадочный комочек тоже был неподвижен.

– Не тревожься, уж сохраню. Люблю ведь детей-то!... Ступай с Богом, – сказала опять

Мелетина Ивановна.

Головка молодой патрицианки внезапно склонилась и губы припали к загрубевшим мозолистым рукам...

- Господь с тобой! С чего ты это? - проговорила Мелетина Ивановна и отняла руки.

## Глава двадцать четвертая

Надежда Спиридоновна в старом стеганном капоте стояла около своей распотрошенной кровати и, казалось, была чем-то расстроена.

- Ах, это вы! Не входите - вытрите сначала ноги в сенях и стряхнитесь, вы вся в снегу. Так. Теперь присядьте, только Тимура не раздавите.

Ася села на кончик стула, и больше из вежливости, чем из участия, спросила:

- Как живете?

Во взгляде, брошенном на нее из-под серых, поредевших, колечками вьющихся волос, Асе впервые показалось что-то растерянное и пришибленное вместо прежнего своенравного огонька.

- Как живу? Неприятность за неприятностью! Вы еще слишком молоды, моя дорогая, чтобы понять, что переживает старый человек, когда он всеми покинут в таких тяжелых условиях.

Ася вспомнила поговорку, которую часто употреблял Олег: «Tu l'a voulu George Dandin! [131]- а Надежда Спиридоновна продолжала:

- Хозяйка помещения, небезызвестная вам Варвара Пантелеймоновна, прескверную шутку со мной сыграла: такой прикидывалась тихой, богобоязненной и богомольной, и вдруг является ко мне в один прекрасный вечер, а сама тянет за руку какого-то типа в картузе и преподносит: «Я нашла себе мужчину, надоело уже вдоветь!» Как вам понравится этот откровенный цинизм? А я потому ведь и поселилась у нее, что здесь мужчин не водилось. Теперь, разумеется, вертится около своего предмета, а ко мне хоть бы глазком заглянула. Вчера я сама паутину снимала, а мне с моим склерозом нелегко лазить по табуреткам - упала и колено зашибла. Две ночи уже не сплю - все какой-то писк и шорох; собралась с силами, приподняла свой матрас, вы не поверите, милая, - мышь свила гнездо и вывела маленьких!... Едва только я увидела этих голых уродцев, тотчас «в Ригу съездила»...

Ася, снимавшая в эту минуту рюкзак, почувствовала, что ею завладевает судорожный смех.

- Помилуйте, а что же Тимур-то смотрит? - выговорила она, с трудом удерживаясь, чтобы не фыркнуть, и тотчас ей стало совестно за свою неуместную веселость: «Она стара и покинута, грешно мне над ней смеяться!»

- Тимур? - переспросила Надежда Спиридоновна. - Ах, милая, Тимур стар - мышцы могут ходить возле самого его носа, и он не шевельнется, он и в молодости брезговал ими. Ну-с, бросилась я к Варваре Пантелеймоновне, а там сидит, развалившись за столом, рослый хам и заявляет: «Моя жена вам не прислуга, сами извольте управляться, а не нравится - съезжайте, не заплачем». А разве мне легко переехать?

- Конечно, нелегко, а только... Каждому человеку ведь хочется счастья... - начала было Ася, но глаза ее остановились на недопитой чашке кофе, около которой лежали поджаренные ломтики хлеба и два яйца. Она знала, что на гостеприимство этого дома особенно нельзя рассчитывать, но после десятиверстного перехода ей так хотелось выпить горячего, что она заколебалась - не попросить ли совершенно прямо чашку кофею, чтобы поддержать силы? Надежда Спиридоновна перехватила, по-видимому, этот голодный взгляд, тотчас подошла и закрыла кофейник «матреной».

Румянец залил щеки Аси.

«Я решительно становлюсь жадной, - подумала она, - давно ли Олег называл меня эфирным созданием, а бабушка и мадам возмущались, что я так мало ем и насильно заставляли кончать свою порцию; с Лелей у нас даже завелось соревнование в воздушности, а теперь...»

Надежда Спиридоновна между тем вытащила лист почтовой бумаги.

- Вы, конечно, знакомы с Микой Огаревым? - спросила она. - Ну-с, так вот, сей юноша почтил меня любопытным посланием... Где мое пенсне? - Старуха порылась в ридикюле и откашлялась: - Вот, слушайте: «Глубокоуважаемая Надежда Спиридоновна, а если угодно - chere tante'uk! [132] До сих пор я самым добросовестным образом исполнял все Ваши поручения с того дня, как канула в бездну сестра. Но приходит наконец момент заговорить прямо: Ваше распоряжение распродать библиотеку моего отца исполнить отказываюсь по той очень простой причине, что считаю эту библиотеку неоспоримой, неотъемлемой собственностью. Неужели в Вашу легкомысленную головку никогда не приходила мысль, что в один прекрасный день Вы услышите от меня это заявление? Вы начнете возражать, что имеете на нее права, так как спасли ее от разгрома, когда во время гражданской войны перевезли вместе с другими вещами к себе из подлежащей заселению пустой, заколоченной квартиры отца, когда мы с Ниной пропадали в Черемухах. Не скажу, чтобы такое решение вопроса я находил великодушным, однако считался с ним, как и Нина: вспомните, что все десять лет, последующих за этим событием, Вы одна пользовались средствами с самовольной распродажи вещей; я не заговорил бы с Вами по этому поводу и теперь, если бы не последовало от Вас сигнала к распродаже библиотеки. В этом году я сам отправлял Вам денежные переводы и хорошо знаю, что в деньгах Вы в настоящее время не нуждаетесь; тем не менее я и впредь не отказываюсь пересылать Вам полностью все те суммы, которые еще будут получены из комиссионных магазинов за трюмо и отцовскую дубовую столовую. Но о библиотеке разговор кончен. На какие средства буду существовать сам, пока еще не знаю. Невеста моя полностью разделяет мою точку зрения и мои планы: книги эти призваны заменить нам университет, в то время как у Вас они покрывались пылью. Voila! Tout [133] Ваш худародный племянничек М. Огарев».

Мика, по-видимому, пожелал возобновить прерванные военные действия. Для Аси из этих строк тотчас выступили все те притеснения, которые должен был выносить Мика в квартире у этой тетки, а последняя не допускала, казалось, и мысли, что Ася опять на стороне юного поколения!

- Женится! Он женится! - восклицала Надежда Спиридоновна. - Хотела бы я знать, кто эта героиня, которая согласилась выйти за двадцатилетнего неуча и полностью разделяет его точку зрения!... По всей вероятности, безбожница, комсомолка. Я всегда говорила Нине, что братец ее плохо кончит.

Ася почувствовала необходимость заступиться:

- Я слышала, что Мика очень благородный и умный мальчик. Слово «неуч» вовсе к нему не подходит. У него великолепные способности, и не его вина, что в университет его не приняли, а погнали в глушь. Девушка, которая с ним уехала... Те, которые ее видели, говорят, что она очень интеллигентная и милая. Только порадоваться можно, что Мика теперь не один.

Но Надежда Спиридоновна не могла успокоиться:

- Хулиганское письмо! «Я не нуждаюсь в деньгах!» В чужом кармане считать легко, а каково мне в мои семьдесят лет таскаться самой к колодцу? Библиотеку мне оценили в восемнадцать тысяч! Ну, да как угодно, племянничек, судиться с вами я не желаю!...

Асе стало жаль старуху. «Вымою ей пол и сниму паутину. Время еще есть - в комендатуре принимают до трех», - подумала она, но в эту минуту Надежда Спиридоновна разразилась следующей тирадой:

- Вот заблагорассудится - и составлю завещание в пользу вашей Сонечки. У меня еще есть золотые фамильные часы и перстень с бриллиантом. Не пришлось бы вам раскаться в ваших дерзостях, милейший Михаил Александрович!

Ася почувствовала себя неловко.

- Надежда Спиридоновна, не берегите вещей и лучше не пишите завещание вовсе. Вам в самом деле трудно - продайте часы и перстень. Сонечка моя вам чужая, и мне было бы очень неудобно, если бы вы обошли Мику.

Лазить по табуретам с тряпкой и скрести пол было, конечно, делом нетрудным, но достаточно

утомительным теперь, когда силы были подорваны. Однако она относительно быстро закончила уборку, после чего все-таки получила чашку кофе с двумя ломтиками хлеба.

«Лучше бы и не пробовать – только еще больше есть захотелось! – со вздохом подумала она, надевая ватник и валенки. – Ну, теперь самое страшное! Господи, благослови!»

– И уже на пороге повернулась к Надежде Спиридоновне.

– Я хотела вас попросить... Не выручите ли вы меня небольшой суммой в долг. Я верну недели через три, как только получу перевод от Муромцевой, у которой мои квитанции от комиссионных магазинов.

Требуемую сумму язык ее отказывался выговорить.

Старуха вскинула на нее глаза.

– Вещи, милая моя, может быть, и не продадутся... Вы напрасно думаете, что это так легко и просто делается, – возразила она.

– О, я знаю, знаю, что совсем не просто, но Елочка Муромцева – вы ее видели в Хвошнях, – она принимает в нас очень большое участие – она ежемесячно высылает мне двести рублей; поэтому деньги у меня во всяком случае будут, – ответила Ася.

Надежда Спиридоновна помолчала.

– Вы видели, как пошатнулось теперь мое собственное материальное положение. Друзей, таких как у вас, у меня нет. Хорошо, я одолжу вам двадцать пять рублей – больше не могу; но впредь учитесь жить, не делая долгов. Я за свою жизнь рубля не заняла.

Она открыла ридикюль и протянула деньги.

– Благодарю, – прошептала Ася и вышла в сени. Там она постояла несколько минут в темноте, стараясь справиться с охватившим ее отчаянием: она понимала, что даже сто рублей не могли покрыть ее долгов в деревне и не оставляли ей ничего на жизнь, а эта в четыре раза меньшая сумма почти ничем не могла ей помочь. Обращаться больше не к кому! С опущенной головой, медленно, почти машинально, побрела она в комендатуру. Ссылных в Галиче было не так много, и около стола, где производилась отметка, она застала в этот час одну сударыню. Едва лишь они вышли на улицу, та заговорила, хватая руку Аси:

– Ах, милая, милая! Ну, что делать, скажите?... Эта... как она... классовая борьба... нас доведет до могилы! Я живу в чужих сенях под лестницей, заработка никакого. Погадала раз на картах одному красноармейцу, он доволен был, дал рубль; я – к другому, а тот наорал и потащил в райсовет; перемывали уж там мои косточки: как мол, смею разлагать армию, да еще отбросом аристократии обозвали... Кошмар, кошмар!... Недавно с нищими около булочной стояла, а вчера подобрала с земли на рынке три-четыре картошки, а в помойке нашла неополоснутую консервную банку; вышел недурной суп, но ведь не каждый день так повезет! Думала ли я, что буду в помойке рыться, когда встречала реверансами Государыню Императрицу в наших институтских залах!... Талия у меня тогда была пятьдесят пять сантиметров!

«Этой еще хуже, чем мне! – подумала Ася. – Денег все равно не хватит... Тремя рублями больше или меньше уже безразлично, а три рубля на одну – все таки помощь ощутимая». – Она протянула деньги, уже приготавливая в уме необходимые увещевания, так как была уверена, что услышит самые горячие возражения, но маленькая сухая ручка, поспешно высунувшаяся из под дырявого платка, выхватила бумажку еще прежде чем Ася успела договорить начатую фразу, а в глазах на минуту мелькнуло что-то хищное и тотчас сменилось прежней растерянностью. Былое изящество странно перемешивалось во всей этой фигуре с обветшалостью – чем-то одичалым. Ася невольно отдала дань уважения Надежде Спиридоновне: «Вот та, как бы не нуждалась, никогда не станет рыться в помойке и бегать по улице с картами. Ее не согнешь! А бабушка? Она умрет одна на своей постели, но уж наверно ничего ни от кого не попросит и до последнего дня будет держаться с тем же достоинством».

В кривобоком сарайчике было совсем темно, а в печурке не было огня. Старая генеральша лежала на ломаной кровати, закрываясь пледом и когда-то модной тальмой на клетчатой подкладке.

– Жду вас, жду! Входите, милая. Я была уверена, что загляните. Болею я: ноги так распухли,

что встать не могу. Растопите мне, пожалуйста, печурку – там, в углу, еще остался хворост, хочется выпить горячего. На окне на блюдечке две картошки – мне соседка принесла; это для вас, я ничего не хочу. Плохи мои дела, дорогая.

Усталые, озябшие и потрескавшиеся пальцы ломали сырые сучья, пачкаясь в мелком, седом, кудрявом мху. Было все время холодно и донимала усталость; холод со странной настойчивостью пробирался в рукава и под шею, а усталость отзывалась слабостью в ногах; огонь как нарочно не разгорался.

– Странное что-то происходит в последнее время со мной: самые ничего не значащие мелочи вдруг так расстраивают и раздражают, что хочется разрыдаться или даже зарычать от досады. Никогда этого раньше не бывало, – дрожащим голосом пробормотала Ася, наблюдая за маленьким огненным языком, который прицепился было к суку, но в борьбе с сыростью начал изнемогать.

– Это ваши издерганность и усталость сказываются. Держитесь, милая; стоит немного только себя распустить – и можно в самом деле в истерику удариться. Опять погасло?

– Погасло.

– Вот что мы сделаем: выдвиньте из-под кровати мой чемодан; так; теперь откройте; видите кипу бумаг? Это письма моего мужа из Ташкента: он был в то время моим женихом. Бросьте в огонь! Мне теперь уже ничего не жаль – я умру, а их выбросят на помойку... Так уж лучше сжечь. Бросайте, бросайте! Вы видите, в каком я состоянии, – кажется, я уже ничем не смогу быть вам полезной!...

– Екатерина Семеновна, тут, в Галиче, есть хороший доктор из высланных – Кочергин Константин Александрович. Он – великодушный человек и с ссыльных не берет денег. Вам бы надо с ним посоветоваться.

– Константин Александрович был: сердечная мышца у меня никуда не годится, а тут еще присоединился тромбофлебит. Чего же удивительного? Нам – русским женщинам – досталось так досталось! Для меня началось еще с Мазурских болот, а кончилось... отречением сына. На него я не обижаюсь – ему хотелось жить, работать, а тут – происхождение! Виновны те, которые толкнули его на это, которые поддерживают режим, при котором возможны такие вещи!... Вот я здесь лежу одна, и перед глазами у меня, как заснятая пленка, проходит вся моя жизнь. Мой отец – земский врач; гимназисткой еще я привыкла помогать ему на приемах во время летних каникул; нас так любили и уважали во всей округе, что, когда после революции чекисты явились арестовывать отца, крестьяне пошли на них с вилами. Молодой девушкой я работала в обществе «Марии Магдалины» – мы спасали продажных женщин: это была настоящая большая работа. С началом войны – я сестра милосердия на фронте... и я – враг народа, я! А в чем же моя вина? Муж – генерал? Но ведь он жертвовал за Родину жизнью, всегда на передовых, в боях... Ася, помните вы разговор братьев Карамазовых – Алеши и Ивана? Там проходит мысль: имеет ли человек моральное право построить великое здание, замучив ради этого одно существо? Большевики решаются строить великое здание коммунизма, замучивая ради этого тысячи и тысячи... Неизвестно, пойдет ли на благо здание, построенное на костях и крови. Русская интеллигенция гибнет. Пройдет время – все это перемелется, народится новая, на это уйдет примерно век. Эта новая интеллигенция будет уже иная; особенностей, которые отличали нашу – бескорыстие, широта мысли, беззаветная преданность идее, – этого уже не будет. В России революцию подготовила интеллигенция, и вот награда!

Ася подняла голову.

– Я только теперь поняла значение слов «Да будет воля Твоя» и «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», – сказала она, следуя течению собственных мыслей. Сидя на березовом обрубке, она то и дело помешивала дрова и не сводила печального взгляда со слабого пламени. Дома она тоже любила сидеть перед печкой, и тогда именно заводились у нее с Лелей самые искренние разговоры.

– Вы плачете, милая?

- Я вспомнила бабушку: может быть, она лежит, как вы, такая же одинокая, заброшенная. Сыновья погибли, внук отрекся, а внучка... - и через несколько минут она задумчиво пробормотала слова полузабытого стихотворения:

L'arge a brise le chaine,  
Qui seule etait mon soutien... [134]

Чайник все не закипал, дрова не столько горели, сколько тлели. Было уже около четырех, когда она подала наконец старой генеральше чай, а сейчас съела две картошки с чужого блюдечка.

- Мне пора уходить. Я хотела выйти в обратную дорогу в два часа, а сейчас уже четыре... Мне очень грустно вас оставлять, но до сумерек надо пройти десять верст, а в семь уже начнет темнеть.

Панова взяла ее руку:

- Простимся милая. Мы не увидимся, я это твердо знаю. Хотите, я расскажу вам сейчас одну странную историю? Она короткая и не задержит вас. Моя покойная мать когда-то у себя в имении (как видите, дела давно минувших дней) пошла из большого дома зачем-то во флигель - хорошенький был домик, весь тонул в сирени. В первой же комнате со спущенными жалюзи перед глазами у нее в полусвете закружилась и замелькала черная бабочка...

- Да, да, есть такие! Их называют траурницами, - перебила Ася.

- Сначала выслушайте, милый энтомолог, а название подыщем после. Мать никак не могла от нее отмахнуться, а потом вдруг потеряла из виду. Вернувшись, она при мне выражала удивление, откуда взялась бабочка в наглухо запертом помещении. В этот вечер скончалась моя бабушка. Тогда никто ничего не вообразил и не сопоставил. Спустя два года моя мать вновь, уже во сне, увидела такую же черную бабочку, которая так же кружилась перед ней. И в этот же день скоростижно скончался ее отец. Тогда только мы припомнили и сопоставили... И что же вы думаете?... Пять лет тому назад, за день до того, как я получила официальное извещение о гибели моего мужа в концентрационном лагере, я сама увидела такую же траурницу. Странно - не правда ли?... Наша семья никогда не отличалась ни нервозностью, ни мистицизмом. Моя мать была уравновешенная разумная женщина, отличная хозяйка, мать пятерых детей. Откуда этот семейный доморощенный мистицизм, это предзнаменование, привязавшееся к нам?

- Да, странно! Очевидно, оттуда посылают иногда предупреждение... - прошептала Ася.

- Для верующего человека остается сделать только такой вывод. Я не делаю никакого, я только рассказываю. Но история-то моя еще не кончена: сейчас, как раз перед вашим приходом, я задремала, и...

Рука Аси дрогнула в ее руке.

- Опять она?

- Она. Покружилась и пропала. Очевидно, конец. Я сейчас напишу вам на этом вот клочке адрес моего сына. Напишите ему, что его мать, умирая, любила его так же, как любила маленьким, прощать мне нечего - я все поняла; фотография его у меня здесь, под подушкой. А теперь дайте я вас перекрещу; я с первого же дня нашей встречи в вагоне почувствовала к вам симпатию. Дай-то Бог, чтобы вы благополучно выпутались из ваших трудностей. Поцелуйте меня и ступайте. Мне никого не надо. Я хочу быть одна в последние минуты, а вас ждут дети. Идите, идите - скоро начнет темнеть, сегодня пасмурно и вьюжно.

«Этот Кочергин не захотел понять, что должен выждать хотя бы год!» Вытирая глаза, Ася послушно вышла и, переступив порог, тотчас попала в мир белых снежинок, круживших в воздухе. Дойдя до ближайшего угла, она повернула в проулок, но проулок этот вел не на окраину, а к поликлинике.

Вот это окно; оно светится; он еще не ушел. Если она постучит, он сейчас же выбежит, поведет к себе, чтобы отогреть, утешить и накормить, проводит ее до деревни и, конечно, выручит

деньгами – сколько сможет, столько и даст. Как он обрадуется, что может помочь!... А потом он устроит так, чтобы перевести к себе детей, и своего маленького Мишутку сюда выпишет... Как бы я его любила!... И может быть, тогда холодная нищета отступит и станет легче, спокойней, уютней и Константину Александровичу и мне... Я не влюблена в него и уже никогда ни в кого не влюблюсь, но я знаю, что я привязалась бы к нему – он мне симпатичен, почти дорог... Но... Вокруг мело и мело; снежинки облепили ее лицо, снег падал, падал, падал... Свинцовое небо темнело.

«Но... ведь взять от человека все, что только он может дать, достойно лишь при условии принести свою любовь и свою жизнь. Константин Александрович дружбу отверг и предпочел отойти вовсе, чтобы не гореть на медленном огне. Шутить его чувствами нельзя. Если я сейчас постучу, я должна буду пойти на любовную связь – иначе не может быть! Любовь!... "Другой разбудит когда-нибудь твою страсть", – говорил Олег... А она? Она под конвоем, в бараке, как Леля. И вот она вернется и бросится к мужу и ребенку... Как я взгляну тогда ей в лицо и что я сделаю? Тогда уйти будет труднее, чем теперь. Нанести удар человеку, который потерял все, – значит добить человека. Добить...»

Снег падал, падал, падал...

Как ее жаль! Я теперь знаю, что такое горе. Мне ее жаль больше, чем себя. Жаль той непереносимой жалостью, которая ранит, как бритва.

Снег падал, падал, падал...

«Что медлю? Чего жду? Я не хочу добивать – значит, я должна уйти, и уйти надо теперь же, пока он не вышел и не увидел меня; теперь, пока не ослабела моя воля... Уйду».

И решительно повернула к окраине, к сугробам – в холод и темноту.

«Метет так, что залепляет... Ноги почему-то слабые... Устала, устала я... Олег из Соловков вот так же шел – безлюдными дорогами, в метель, в мороз. Это наш крестный путь. "Русская интеллигенция гибнет", – говорит Екатерина Семеновна. Пути Господни неисповедимы – так, значит, надо!... Придут другие времена, другая культура – вот и все... Какая это птица кричит? Ворон? Жутко от его голоса. Зимний путь... "Ворон, бедный, странный друг..." В лирике Шуберта есть что-то захватывающее. Гений умер с голоду на чердаке! Сегодня рано темнеет... Разумней было бы переночевать у Екатерины Семеновны, а выйти, как только рассветет. Повернуть обратно, пока не ушла далеко?... Но Славчик не захочет без меня ложиться, а Сонечку я вчера не купала: если еще на день отложить – начнутся опрелости... И ручки и ножки у нее такие крошечные, жалкие, слабые... Славчик в это время уже приподнимался, а она... Нет, надо прийти до ночи. Дорога торная – не собьюсь. Опять кричит ворон; здесь у него гнездо, наверное. На этот раз лес кажется мне мрачным и угрюмым. Устала я. Если бы дома меня ждали мама или мадам и, как в детстве, уложили в белую уютную кроватку, – я бы тогда могла заснуть спокойно, зная, что мама рядом; спокойно – без этой мучительной тревоги, которая не проходит даже во сне, а где-то в подсознании остается... Эти рыдания, которые меня сотрясают во сне и от которых я часто просыпаюсь... Они так утомляют и надрывают грудь!... Странно – откуда они берутся? Оттого, может быть, что в течение дня я принуждаю себя сдерживаться? Никогда не бывает теперь, чтобы я проснулась бодрой и освеженной – не проходит усталость; ноги и те с утра такие, как будто я прошла версты... И всегда страх – то за Сонечку, то за Лелю, то за бабушку».

«Метет так, что по сторонам дороги из-за снежной завесы ничего не видно, и я не знаю, прошла уже половину пути или нет... Примерно на половине стоит этот большой серый валун, точно хмурую думу думает. Кажется, его еще не было. Как бы Славчик не убежал к колодцу или за околицу; я забыла сказать, чтобы его не выпускали. Неудачная погода – очень уж замечает дорогу. Тяжело вытаскивать из сугробов ноги и снова проваливаться. Хоть бы унялся ветер, дыханье бы не перехватывало... Все еще нет камня... Надо идти быстрее – сумерки начинают сгущаться. Волков здесь нет – меня все уверяли. Феклушка постоянно ходит по этой дороге – бояться нечего. Как это у Блока: "Завела в очарованный круг, серебром своих вьюг замела..." Будущее беспросветно – дети вырастут заброшенными, я всю жизнь одна, всю жизнь

без музыки... "Баркарола" Шуберта... Как я мечтала ее исполнить!... А мое сочинение об ангельских крыльях?... Оно так и пропадет неоформленным. В голове все уже давно создалось: шорох в куполе, кадилый дым, воркование залетающих голубей, потом мотивы из литургии, чтобы передать таинственность совершающегося в алтаре... А потом восторженные возгласы светлых духов – таких как "ангел с кадилом" Врубеля... И опять таинственные шорохи, никому не зримая жизнь купола. В оркестре это бы звучало лучше, чем на рояле, но как сочинять без инструмента, без возможности сосредоточиться? Что же делается с гениями, которые не успели высказаться, а сами переполнены, как чаша? Ай! Падаю... Это я за корягу зацепилась... Теперь варежки мокрые, и за валенки набралось. Какая же я неловкая! Фу, холодно. Была бы со мной вместе Лада, мне не так одиноко было бы идти. Она и дорогу бы указала мне... Что такое? Или мне чудится... Кто это там за кустом? Как будто оттуда уже смотрят на меня глаза Лады? Собака... Да – собака! И глаза скорбные... Но это не Лада – большая собака, незнакомая, и уши острые, а у Лады висячие, мягкие. Волков здесь нет... Собачка, иди сюда, милая! Прижмись ко мне, пойдем вместе. Ты с хозяином или заблудилась? Ты голодна? Ты озябла? Что с тобой? Как она странно смотрит. Лязгает зубами... Ай! На помощь, на помощь! Волк! Пропал голос, хрипит, а звука нет. Я всегда думала, что в опасности не выкрикну! Как защититься? Проткнуть глаза? Перочинный нож в кармане... Нет, не могу. Слепить – жестоко... Не могу! Помогите, помогите! Опять нет голоса – шипенье только. Тянет, тянет за ватник прочь от дороги! В чаще я ведь запутаюсь и пропаду... Если укусит ногу, мне не встать: умру тут, в ельнике, у него в зубах!... А дети?... Попробую вырваться! Кусает!... Ай! Схватил ногу! Где же вы, все святые, все светлые? Спасите! Я никому зла не делала. Я всех любила! У меня маленькие дети! Пошлите мне помощь! Вот палка! Ударить по морде так, чтоб не убить? Решусь! Нельзя иначе! Вот тебе! На, на! Все-таки выпустил! Выпустил! Теперь бежать... Скорей, скорей... Бежать, а я увязаю... и ногу больно... Господи, помоги мне! Опять он за мной! Страшно! Что это? И он хромает? Подшиблен охотниками? Вперед, еще, еще вперед! Да, отстает – видно, в самом деле лапа больная! Сел на снег... Спасена! Господи, благодарю! Только надо уходить, скорей уходить, а то может подняться и опять за мной. Как раз посреди дороги сел... Сверну в лес и обогну это место. Не встретить бы другого... Нет, нет, Сам Бог пришел мне на помощь. Чаща. Трудно продираться... и сугробы, и ветки... Больно щиколотку... Течет вдоль ноги что-то теплое – кровь!... До крови укусил. Нельзя теряться и ослабевать. Олег как-то раз говорил, что человек, который измучен, садиться не должен, иначе он уже не встанет. Надо идти, пока есть силы передвигать ноги. Совсем стемнело, но это потому что я в чаще. Вернуться на дорогу? Нет! Отойду подальше – снова вцепится. Я ударила, нанесла боль... Но ведь он мог растерзать меня, если бы я помедлила еще минуту, у меня дети, мне нельзя умирать. Мучительно ноет вся голень... Кого позвать? Кто здесь услышит? Я все-таки сяду вот сюда, под дерево. Перевяжу хоть платком ногу и передохну. Полный валенок крови, и сердце все еще колотится, а руки трясутся. Так, наверное, чувствует себя животное, которое преследуют охотники, а люди из этого делают забаву... Чаща такая черная... За каждой веткой как будто стоит опасность... Конверт с адресом Елочки должен быть здесь, зашит в мешочке. Надо написать... Мало ли что случится... Правда, что вьюга все следы замечает... Несколько слов и вслепую нацарапать можно... Вот – готово... Теперь упакую и обратно на грудь, рядом с крестом. Кажется, мне не дойти будет – надо подыматься, а сил нету, и кровь все не унимается. Переждать метель здесь, под деревом, а утром при солнышке попытаться дойти? Утром все будет выглядеть иначе, возможно, я встречу дровни, и меня подвезут, а сейчас и метет, и темень, и ступать не могу... Обниму вот сосенку и буду думать опять о музыке и о вечности – тогда не так страшно... В Царстве Духа ничто не должно пропасть, ничто, ничто! Там расцветает каждая творческая мысль, каждая растоптанная былинка выправится, вздохнет свободно каждое замученное животное, вот и этот несчастный волк... И моя Лада. В преданности Лады была красота, которая пропасть не может, – канут в прошлое только ошибки и зло. В Ладе душа была – о, я знаю! Я совершенно безошибочно наблюдала в ней душу. Эта мысль о всеобщем воскресении мне с детства покою не дает, постоянно гвоздит мозг. Откуда

это пошло? Светлая заутреня? Евангелие? "Китеж"? Мне кажется, предчувствие вечности поселилось во мне прежде, нежели я могла стать доступна воздействию этих факторов. Когда мы были в Италии, и папа показал мне Леонардовскую «Тайную Вечерю», мне было только пять лет, но я помню, что я погрузилась в чувство благоговения, как в давно знакомую привычную сферу. С тех пор как я себя помню, я всегда знала, что буду вечно жить! Возрождение каждого духа в каждом отдельном существе – что может быть прекраснее этой идеи?! Умираешь... охватывает оцепенение, закрываются глаза... и вдруг – приток новой жизненной силы, словно от магического прикосновения или от капли воды живой, как в сказке. Я так ясно представляю себе эту минуту! Новая жизненность раскроется ярче, чем на земле, где человеческое существование часто придавлено и смято. Но вечность никак не должна исключить совершенствование и творчество – ужасно было бы застрять на одной точке. Это будет непрерывный рост Духа. Именно в способности к творчеству, мне кажется, сказывается в человеке образ и подобие Божие. Я буду слагать чудесные гимны неведомой мне пока гармонии, а Олег... "Там Михаил-Архистратиг его зачислит в рать свою". Мой милый, милый, замученный! Его найдут на тюремном дворе и "сорок смертных ран" не помешают ему встать. Китеж... "Се жених пришел"... Я чуть не задремала. В снегу теплее и не так бьет в лицо; мне хорошо в этой ямке, но если засну, я боюсь, заметет меня... и ногам холодно... О чем я плачу? Жаль мне себя вдруг стало... В будущей жизни мы все духи, а мне жаль моего земного, простого счастья – счастья с Олегом! Аси – девочки, невыносимой ветреницы с косичками, Аси – молодой любимой жены уже никогда не будет! Не сидеть мне больше у Олега на коленях, не прижиматься к его груди... Этого счастья было так мало, а я почему-то уверена была, что буду счастлива всю жизнь. Серебряные нити и светлые утра пророчествовали совсем не то, что пришло... Все вокруг теперь чужое, враждебное, трудное... Даже Елочка, которая так добра и великодушна, – чужая: ее я уже могу любить так, как любила, например, Лелю. Все эти мысли – моя ограниченность. Холодно ногам... Всей становится холодно... Цепенею. Встать и все-таки попытаться дойти? Нет, нет – нету сил. Старец Серафим, уйми вьюгу! Если возможно – уйми вьюгу!... "Завела в очарованный круг, серебром своих вьюг замела..." Смерть для каждого приходит в один назначенный день... Смерть... а за ней вечность. Вечность! Вот закрываются глаза и открываются снова. Я в ином, уже воздушном теле, в расширенном сознании, которое потеряла при рождении. Светлые тени, тихое сияние, золотые лучи... Облака, как на закате... Праведные поют: "Ненавидящих нас простим..." и "Светися, светися, новый Иерусалиме..."; благословляя, шепчут: "Святая святым..." Я узнаю дорогие лица, уже просветленные, благодатные – Олег, мама, дядя Сережа... А вот показывается вдаль весь окруженный сиянием маленький седой старичок в скуфейке, в лапотках, а за ним плетется медведь... Это старец Серафим Саровский – наконец я его вижу! Он сохранил даже ту одежду, в которой мы его чтили – сохранил из любви к нам. Он кладет мне на голову руку и говорит: "Радость моя, мир тебе!", как говорил всем приходящим к нему на земле. А сколько еще потребуется усилий и подвигов моего духа, чтобы вот также приблизится и Иисусу Христу! В голове мотивы из "Невидимого града". "Без свечей мы здесь и книги чтем, и греет нас, как солнышком"... А вокруг темно... совсем темно. Ни зги... Заметают. Господи, охрани детей! Снег... снег... Вечность... Где же райские цветы и райские птицы?»

## Глава двадцать пятая

Несколько уроков, лежа и сидя на нарах, затянули блатную песню:

Солнце всходит и заходит,  
А в тюрьме моей темно...

Голоса звучали стройно, а скрытая тоска и напева, и текста отсвечивала, казалось, в каждом из этих подкрашенных лиц.

- Чего зенки воротишь? Покажь рыльце! Сестренку мою, Вальку, ты мне напомнила, - сказал, обращаясь к Подшиваловой, молодой уголовник, пробиравшийся между нар.

- Где же теперь сестренка? - осведомилась та.

- Эх, не спрашивай! Вся-то наша жизнь - шатание бесприютное!...

- И взаправду так! Ну, а от меня держись лучше подальше: потому - занята. Не про вашего братца мое рыльце. Проваливай!

- А я и так проваливаю. Зря напутствуешь.

Подшивалова потянулась, закинула руки за голову и вздохнула. В эту минуту глаза ее остановилась на Леле, которая повязывалась косынкой перед обломком зеркала.

- К хахалю опять?

- Женя, я тебя уже несколько раз по-товарищески просила не заговаривать со мной на эту тему, - ответила та.

- Ну, ступай, ступай! Кажинный по-своему с ума сходит.

- Но Леля уже выскользнула из барака, не давая себе труда выслушать напутствие.

Тесное помещение дежурного врача; топчан, белый больничный шкафчик и стол. Свидания происходили обычно здесь, в те дни, когда среди дежурного персонала не было таких, в ком можно было заподозрить предателя. В распоряжении было всего полтора часа между ужином и вечерней переключкой; туго натянутые нервы каждую минуту ожидали тревожного сигнала в виде предостерегающего стука в дверь; тем не менее, иногда удавалось относительно спокойно побеседовать шепотом, лежа рядом на топчане. В этот день их никто не спугнул, и Леля устало закрыла глаза, пристроив головку на плечо Вячеслава.

- Верю, Аленушка, что измучилась ты, - говорил он, - работа под конвоем - дело нелегкое. В этом отношении мы в привилегированном положении. Наша работа особая, хоть и тяжелая. Надо попытаться устроить тебя к нам в палаты санитаркой. Мыть полы и подавать судно придется, зато не будешь под конвоем, и человеческое отношение к больным даст тебе удовлетворение. А физический труд, да еще под понукание, тебе, конечно, не под силу.

- Только не в инфекционное устраивай. По мне всякий раз судорога пробегает, когда надо переступить порог. Приходить к тебе я не перестану: минуты с тобой - моя единственная радость, но работать у заразных не хочу.

- Поговорю с врачами. А мы привыкли все - не боимся. Смерть - старая штука!

- Тише, милый! Есть вещи, о которых не следует даже упоминать... Скажи мне лучше, кто тот старик, с которым мы столкнулись в сенях - его облик несколько необычен?

- Этот человек... Я не знаю, что о нем думать! Это - заключенный епископ. В прошлом он - хирург, и здесь поставлен заведовать хирургическим отделением. Я в первые две недели после водворения в лагере работал в операционной и попал под его начальство - прежде чем приступить к операции произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!», крестит каждый подаваемый ему инструмент. Злился спервоначалу, а понемногу пригляделся - держится, вижу, с достоинством, оперирует, прямо скажем, блестяще; весь штат его уважает... В одно утро шасть к нам гепеушники: ты как смеешь, такой-сякой, религиозной пропагандой тут заниматься? А он им этак спокойно: без крестного знамения оперировать не стану; снимайте с работы вовсе, если угодно! Ну, схватили его и поволокли в штрафной. А тут как раз слегла с острым аппендицитом супруга одного из крупных начальников. Выяснилось, что операцию доверить желают только епископу Луке. Спешно тащат его назад. Подходит к операционному столу как ни в чем не бывало и опять крестит инструменты, а наши хозяева молча проглатывают пилюлю. Тут уж я радовался со всем штатом его возвращению. Друзья мы теперь. Я привык считать мерзавцами всех слугителей культа, но в этот раз мерка не подходит!

Леля провела рукой по его волосам.

- Милый, обвинить в контрреволюции тебя, тебя!...

- Эх, кабы дело заключалось во мне одном! А то сама ведь видишь... Вот Ропшин, мой новый

товарищ, обвинен за то только, что сказал где-то, будто бы стихи Гумилева предпочитает стихам нашего Маяковского. А то так работает у нас санитаркой девушка – ей и всего то шестнадцать, – они с несколькими другими школьниками в глухом сибирском городке составили самостоятельный кружок по изучению истории партии да совместно пришли к выводу, что генеральная линия партии допустила целый ряд непозволительных ошибок. Все приговорены к лагерю, прежде чем сделались выпускниками. Вот куда нас завела бдительность. Не поверил бы, если б услышал со стороны... Людей жаль, а дела еще больше! Это все нашим врагам на руку. Товарищ Сталин может погубить все наше дело! Знаешь, я не жалею, что попал сюда, – кое-что понял новое. Дай твое ушко: советской власти, по существу, уже нет, есть диктатура. Сталин должен быть устранен. Я не один так думаю. Только никому не повторяй моих слов, желанная! Я еще надеюсь кое-что сделать в будущем.

– Милый, ты теперь совсем иной! Когда ты так говоришь, ты кажешься мне таким же героем, каким Асе казался Олег.

– Зачем ты сравниваешь? Что может быть общего между царским гвардейцем и мной? Героического во мне, ей же Богу, ничего. Это мы оставляем для господ офицеров, романтиков. Я человек будней.

– А вот и неправда! Я лучше тебя знаю, какой ты. Мы с тобой могли бы быть очень счастливы...

– А разве мы не счастливы? Разве для счастья так уж необходимы безопасность, комната и кровать? Я, по крайней мере, счастлив. Подожди, мы с тобой еще и на воле проживем! У нас сынок когда-нибудь будет. Вот только здоровье твое меня тревожит. Вынимай градусник. Опять тридцать семь. Как бы, в самом деле, не было легочного процесса. А с ногой что? Покажи. Пятна эти цинготные; у меня обе голени в таких же пятнах. Я тебе сейчас дам всходы гороха: я размочил горсточку в консервной банке. Вот, жуй.

– Ну, зачем ты встал? Ложись, поболтаем еще. Хоть немножко отогреться в твоей ласке, хоть немного забыться!...

– Пора, девочка моя. Сейчас будет отбой. Я опасуюсь, как бы строгости еще не усилились после этой истории с побегом. Слышала?

– Да. Шептались у нас вчера, что сбежал один с большим сроком. Не знаю, преследовали его или нет. Разобрать трудно, что правда, что слухи.

– Аленушка, его уже поймали. И привезли сюда вчера вечером. Я сам видел: он прострелен и весь изгрызан собаками. Епископ Лука извлек сегодня пулю. Знаешь ты, кто этот человек? Один из организаторов комсомола. Я не стану восстанавливаться в партии, когда выйду отсюда, – истинному коммунисту в ней теперь не места. Ты плачешь, Аленушка?

– Я вспоминаю человека, которого вот так же искали с собаками. Он совсем по-отечески относился ко мне, но я ничего не ценила в те дни.

– Аленушка, послушай, что я придумал: послезавтра дежурить на разводе будет Михаила Романович – врач, с которым я работаю. Скажись больною; я ему объясню загодя твое состояние и попрошу устроить тебя в госпиталь. Все-таки отдохнешь хоть несколько дней. Ну, а теперь беги, пока не хватились.

Они поцеловались.

– Вот и все наше счастье! И всего-то час! – вздохнула Леля.

– Держись, моя Аленушка! Мужества терять никак нельзя. – Вячеслав выглянул в сени и на улицу. – Никого! Беги, любимая...

На следующее утро, строясь на работу, Леля говорила себе: «Завтра, Бог даст, отдохну! Прележать в кровати два или три дня – какое блаженство!»

Чья-то рука подтолкнула ее.

– Ступай, дэвушка, нэ задерживай.

Она обернулась и увидела у себя за плечами конвойного Косыма.

– Карош русский дэвушка! Очень карош русский дэвушка! – сказал он ухмыляясь.

Леля прибавила шагу.

В середине работы, перетаскивая дранку, она увидела руки конвойного, протянувшиеся

принять у нее тяжелую поклажу.

«Что за неожиданная предупредительность!» – подумала она, заметив, что он весь расплывается в глупой улыбке, глядя на нее в упор масляными, выпуклыми, похожими на чернослив глазами.

– Русский дэвушка такой гладкий!

Леля поспешно отвернулась. «Что за идиотские комплименты! Неужели начнет приставать? Пусть только эта обезьяна посмеет!»

Когда расходились после ужина, Подшивалова поманила ее к себе.

– Что тебе, Женя?

– Хочешь, новость скажу? Алешка мой сказывал, что конвойный Косым по тебе обмирает. – Леля невольно отшатнулась.

– Что за чепуха! Нашла о чем рассказывать! Любовь Косыма меня интересовать не может!

– Постой! Не так уж прытко! Я для твоей же пользы: ну, какой тебе от твоего хахаля интерес? Вечно ходи под страхом, что накроют, а пользы – ни крошки. Ну, а станешь с Косымом жить, сейчас поставят на блатное местечко, и хлеб будет тебе, и со стороны конвоя уважение. Сегодня они придут в барак вместе – он и мой Алексей.

– Для меня это невозможно, Женя! Можешь передать своему Алексею, что Косыму являться ко мне незачем.

– Не зазнавайся, Ленка! Больно уж ты горда! А Косым не такой человек, чтобы ему перечить: сейчас отплатит!

– Что?! Да какое право он имеет припугивать? Если я только вздумаю сообщить о его притязаниях начальству, нагорит ему, а не мне, – и, круто повернувшись, Леля отошла в сторону.

Свидания с Вячеславом у нее на этот день не намечалось – в эти часы как раз дежурила санитарка, которую подозревали как передатчицу. Тем не менее, решила сбежать в больницу и через верных людей вызвать Вячеслава хоть на минуту в сени.

В лице Вячеслава заходили все скулы.

– Аленушка, держись, дорогая! Если ты будешь категорична, ему останется только уйти. Прибегнуть к насилию он не посмеет, ну, а если бы попытался – ведь ты не в лесу: кричи, рвись, подымай скандал. Им настрого запрещено жить с лишенными свободы. Не бойся поднять шум – начальство, ох эти ненавистные гепеу, в этом случае будут за тебя. И я тебя защитит не могу; пойми и это! Если только в дело вмешаюсь я, нас как влюбленную пару моментально найдут способ разъединить: штрафной лагерь – и кончено! Все будет зависеть от тебя, моя кудрявая овечка.

Он говорил, держа в своих ее руки.

– Можешь быть спокоен: я ему не дам, но я боюсь его мести! – прошептала Леля, дрожа.

Барак она нашла в полном смятении: стояли кучками и шептались, конвойные разгоняли по нарам. Несколько минутами раньше срока был дан сигнал к отбою. Соседки не замедлили сообщить Леле, что только что погибла Феничка: тихая, кроткая бытовичка, которая работала сторожем у одного из складов. Стоя у дверей с железными замками, она плела обычно кружева и всегда казалась невозмутимо спокойной. Но в этот вечер она внезапно побросала спицы и кинулась к забору с колючей проволокой. Предостерегающие крики стрелков ее не остановили – сделала это только пуля. Поступок был настолько странным, что истолковываться мог только как самоубийство...

Магда сказала Леле:

– Да простит ей Бог: она сделала хуже и себе и нам! Две подряд попытки к бегству не пройдут нам даром...

Леля вспомнила, что Вячеслав сказал точно то же самое.

Быть может, конвою нагорело за историю с Феничкой, или решено было одновременно с заключенными подтянуть и стрелков, – так или иначе, ни Алешка, ни Косым не явились в барак вовсе. Леля напрасно просидела всю ночь на нарах с тревожно бьющимся сердцем.

Как только проиграли утреннюю зорю, тотчас стало заметно, что персоналу сделаны соответствующие внушения: интонации стрелков были особенно повелительны и команды категоричны; старшее начальство прогуливалось тут и там, наблюдая за происходящим; заключенные двигались безмолвно, как манекены; пройдя на свое место, Леля с вопросительным взглядом взглянула на врача, и тот одними губами успел шепнуть ей: «Не сегодня!»

Повели опять Алешка и Косым.

Леля старалась держаться подальше от Косыма, но тот улучил минутку и, приблизившись к ней, заговорил, картавя:

- Нэ бойся, дэвушка, Косыма; Косым тэбя полюбил. Будут тобэ и хлэб и дэнги, коли приголубишь Косыма!

Леля с безучастным лицом продолжала вязать дранку, хотя сердце колотилось как бешеное. Очевидно, Подшивалова еще не успела переговорить с Алешкой, и до Косыма еще не докатились слова отказа.

Тот выждал минуту и заговорил снова:

- Жди Косыма сэгодня ночью, джан. Косым придэт вмэстэ с Алэксээм.

Леля быстро выпрямилась и, собравшись с духом, отчеканила:

- Я подыму на ноги весь барак, если вы осмелитесь только это сделать! - Произнося эти слова, она не смотрела ему в лицо: ей страшно было увидеть злобу, с которой засверкают его глаза.

Когда бригада возвращалась в жилую зону, урка, разметавшая по дороге снег, крикнула:

- А без вас был великий шмон!

Что бы это могло значить?... Леля еще не подошла к столовой, как другая урка, пробегая мимо, сказала:

- Шмон, шмон, великий шмон!

У Магды опять были красные глаза.

- Обыск в бараке устраивали, - шепнула она Леле, усаживаясь на свое место после сигнала к ужину. - Пересматривали наши личные вещи, всю солому перетряхивали. У меня забрали папочкин молитвенник - последнее, что у меня осталось на память о нем. А у вас оставалось что-нибудь в бараке?

- Икона и шерстяной жакетик, - и, говоря это, Леля тут только вспомнила, что в кармане несчастного жакета - первая и единственная записка Вячеслава! Как только закончился ужин, она тотчас побежала на свои нары - ни иконы, ни жакета (хотя последний относился к числу дозволенных вещей). Какая злосчастная звезда руководила ею, когда она в это утро отложила жакет в сторону, говоря себе, что морозы уже уменьшились и достаточно тепло в одном ватнике! Она сидела на соломе, поджав ноги и раздумывая, каковы могут быть последствия и возможно ли сбежать к Вячеславу, который должен находиться в страшной тревоге, не будучи извещенным, как прошла ночь. «Бежать к нему опасно... Слишком опасно... Могут следить...»

Подшивалова прервала ее думы:

- Вот, бери, Ленка. Это твое. Я вовремя подхватила и припрятала. - Лицо глупой девочки осветилось улыбкой, рука протягивала образец.

- Спасибо тебе, Женя! Ты часто бываешь очень добра. Ты бы могла быть гораздо лучше, чем ты есть. А впрочем, это одинаково относится к нам всем, и ко мне самой в первую очередь, - ответила тронутая Леля.

- Ну, ты меня с собой и не равняй! Я еще с малолетства пропадая. Сколько раз мне мамочка моя говаривала: «Не водись ты со шпаной, Женечка! Не доведет тебя до добра твоя шпана. Пропадешь задаром. Я за тебя, говорит, вечор за всеобщей Божью Матерь, Женечка, умоляла!» А я только засвищу - да опять на улицу. Вот все и вышло, как моя мамочка запредчувствовала. Каково ей, сердечной, нонече? - Подшивалова всхлинула.

А записка? Боже мой, где же записка?! Леля напрасно перерывала солому и ползала по полу - поиски успехом не увенчались. Недопустимое легкомыслие - сохранять такой компрометирующий документ!...

За час до отбоя ее вызвали к начальству.

- Ты с кем это шашни заводишь, а? Кто это тебе свидание назначает? Нам беременных баб в лагере не нужно. Говори: к кому бегала?

Леля помолчала, обдумывая ответ.

- Я не могу быть в ответе за то, что еще хороша и мне не дают прохода ни заключенные, ни конвой. Я ни с кем не желаю иметь дела. Спросите соседей по нарам - они вам подтвердят. Из записки еще не следует, что свидание состоялось. Понятия не имею, кто этот «В», и узнать не пробовала.

- Ишь какую гордячку разыгрывает! Коли в самом деле не путалась - назови сейчас же имя. Ты воображаешь, дуреха, что мы не сумеем выяснить? Писал, разумеется, кто-то из медицинских. Допросим двух-трех санитарок и установим!. Ну, говори, или сейчас отдам приказ о переводе тебя в сорок первый квартал; тебе, наверно, уже известно, что это такое.

Леля похолодела. Штрафной... Там бьют, там морят голодом, там... Я никогда не выдавала, но они все равно узнают... слишком просто установить... а я... а мне... И не своим, чужим каким-то голосом выговорила:

- Фельдшер Вячеслав Коноплянников.

В бараке все провожали ее сочувственными взглядами, пока она шла на свою койку. Она не замечала ничего.

«Я его выдала! Я - предательница! Урки и те не выдали бы возлюбленного», - и в отчаянии бросилась на перерытые нары...

Вячеслав дежурил в палатах в этот вечер и, не находя себе места от тревоги, то и дело выбегал на черное крылечко больницы. «Ведь она знает, должна понять, что со мной делается! Неужели не прибежит шепнуть хоть слово?»

Сумерки сгущались, тени чернели, до отбоя оставалось только четверть часа; потом двери барачных закроются, и свидание отложится на сутки! Ему предстоит полная тревоги бессонная ночь, а потом новый день ожидания.

Она права: счастливыми быть в такой обстановке невозможно. Любовь здесь превращается в пытку. Необходимо хоть на минуту увидеться. Может быть, она на скамеечке возле женского барака? Он сбежал с крыльца, но едва сделал несколько поворотов, как в узком проходе между бараком и баней лоб в лоб столкнулся с Косымом.

- Ты что тут вертишься, мусульманская рожа? Кого высматриваешь? - забывая осторожность, заорал Вячеслав.

- У! Я тобэ нэ заключэнный, чтобы на мэнэ кричать! Уложу, как пса паршивого! - зашипел Косым.

- Подумаешь, какая птица! Вот что, мерзавец: даром тебе не пройдет, коли будешь приставать к заключенным девушкам. С головой начальству выдам, а то так сами расправимся. Я не барин, не белоручка! Всеу тут у вас понаучился - вот, гляди! - Вячеслав показал ему два пальца и провел ими по своей шее. - Так и знай. Понял?

- Пожаловалась! Живешь с нэю, что ли?

- Нет, не живу, но и тебе не дам! А выдашь меня начальству - я выдам тебя. Я твой разговор слышал!

Косым, блестя глазами, взялся за ружье и, слегка присев, приложился, щуря один глаз.

- Чего кривляешься? Не напугаешь! Права не имеешь спустить курок, мы не у проволочного заграждения.

Косым перестал целиться, но медленно, кошачьей крадущейся походкой пошел к нему, покачивая ружьем.

- Смотреть тошно! Заруби на носу: сунешься после отбоя в женский барак - не быть тебе живому!

Вячеслав повернулся и, обогнув здание, вышел на площадку с укутанным снегом - перед женским бараком не было ни души. «Приструнили, навели свои строгости» - думал он, озабоченно оглядываясь.

Шестнадцатилетняя санитарка, о которой он рассказал Леле, скользнула мимо него к дверям.

- Здорово, Муха! Ты с работы?

Она остановилась:

- Бегу к себе. Сейчас будет переключка и отбой. А к двенадцати придется возвращаться в больницу, в твой дизентерийный. Михаил Романович приказали прийти: ночью работать некому - ваша Поля свалилась, кровавая у нее.

- Муха, выручи. Ты мою Аленушку знаешь; вот тебе рецептный бланк и карандаш - шепни ей потихоньку, чтоб черкнула мне записку, и принеси в третью палату. Ладно?

Девушка пристально на него посмотрела.

- Для тебя сделаю, а только... будь, Славка, осторожен! Меня сейчас вызывали: о тебе спрашивали... Я-то не выдала, да ведь мной не ограничатся...

- Ага! Накрыл! Стой тэпэр! Товарищи, трэвога! Парочка! - завизжал, хватая девушку, Косым и потащил к фонарю упирающуюся Муху.

Перед Вячеславом, как из-под земли, вырос стрелок.

- Да в чем дело-то? - гаркнул Вячеслав. - Я, кажется, не в бараке, с девушкой мы не целовались, не валялись; стоять на площади как-будто не возбраняется, раз отбоя еще не было. С девушкой мы не целовались, не лежали. Чего орете?

Косым с неожиданным равнодушием выпустил свою добычу, и Муха скользнула в дверь барака. Вячеслав видел, как она закрылась...

«Следит. Придется на некоторое время прекратить свидания. Хорошо еще, если отделаемся только этим! Пожалуй, мне лучше было не заговаривать с ним, да с сердцем не всегда сладишь! Впрочем, коли допрашивали санитарок, значит что-то уже пронюхали... Как бы не было катастрофы!» - думал он.

Доставленная Мухой отчаянная покаянная записка Лели объяснила ему все случившееся. Он читал ее, стоя в белом халате около постели «пятьдесят восьмого», погибающего от тифа, в переполненной больными палате.

- Я не могу, не могу жить с этими большевиками, - бормотал интеллигент в бреду.

Вздохи и стоны неслись с каждой постели.

«Назвала мое имя? Ну и правильно! Что же ей, бедняжке, оставалось делать? Все равно докопались бы. Пахнет штрафным лагерем... Пусть уж лучше меня, только бы не ее... Она слишком слабенькая - не вынесет!»

И, сжав скулы, Вячеслав повернулся к постели умирающего:

- Давай сюда шприц, Муха. Пульс падает.

## Глава двадцать шестая

Алешка и в эту ночь не появился в бараке, и Подшивалова, вздыхая, говорила:

- Нет и нет моего сокола! Строгости, видно, и до их докатились. Все-то гаечки подвинтили.

День тянулся мучительно медленно; нового прибавилось только то, что Косым шепнул Леле во время трелевки:

- Ну, ты мэнэ еще припомнишь! Косым обиды нэ забывает.

После обеда и переключки Муха, озираясь, сунула ей рецептный бланк. Вячеслав писал: «Сегодня меня водили к допросу. Я не счел возможным отрицать, что писал тебе, но всячески уверял, что ты свиданий не пожелала и отношения между нами не завязались. Сознаться - значило бы подвести не только тебя, но и наших друзей. Как я и ожидал - объявили, что переведут в штрафной. Мое медицинское начальство пожелало подать рапорт, что я им необходим и в интересах госпитальной работы следует оставить меня на месте; я, однако, просил не подавать такого рапорта, так как опасаясь, чтобы жребий в этом случае не пал на тебя: одному из нас, по-видимому, перевода не миновать. Представляю себе твой страх и твое горе, моя овечка пуганная. Держись. Будем надеяться, что в штрафной попаду я и что по истечении небольшого срока Михаил Романович и епископ найдут способ вызволить меня

оттуда. Еще раз хочу сказать, что любил тебя и никогда ни одна девушка не покажется мне краше. Больно мне думать, что моя любовь принесла тебе только несчастье. Не забывай своего друга. Для тебя лучше не пытаться меня увидеть. Береги себя. Письмо это разорви немедленно».

«Безнадежно!» – сказала себе Леля, опуская руку с письмом. «Я ли, он ли – наше счастье кончено, а это было единственное, что поддерживало меня! Он старается не выказать отчаяния, чтобы не расстраивать меня, но, в сущности, в этом письме он навсегда со мной прощается. Мне не остается ничего кроме голода и изнурительного труда. Жить, не прижимаясь к его груди, пропадая в тоскливом одиночестве, терзая себя сознанием своего предательства, зачем жить?»

Подшивалова толкнула ее в бок:

- Гляди: почту принесли; сейчас раздавать будут. Первый раз за полгода! Авось и нам с тобой подкинут весточку.

Леля почти безучастно вскинула глаза: посреди барака стоял гепеушник с пачкой писем.

- Почта, Елена Львовна! – крикнула ей и Магда, может быть, желая ее ободрить.

«Писать может только Ася. Хоть бы у нее-то все было благополучно! Сжался, Скорбящая!» – исхудалая рука нашла и сжала маленький образок.

Глаза всех обитателей барака впились в равнодушного человека, выкликавшего фамилии. Свесив голову с нар, Леля в свою очередь с жадным ожиданием смотрела на пачку писем. Пока все нет и нет... Вот уже осталось только три конверта... Не будет ей ничего! Вот уже только один...

- Нелидова!

Она задрожала и сделала движение, чтобы вскочить, но письмо уже устремилось к ней через десятки протянувшихся рук. Нет, это не от Аси – почерк Натальи Павловны! Она торопливо разорвала конверт.

«Элен, бедное дитя мое! Я все еще жива, хотя со вчерашнего дня у меня затряслись голова и руки, что ты можешь видеть по моему почерку. Вчера меня поразило известие, самое страшное, какое я только могла себе вообразить после кончины Сергея. Знаю, что оно больно поразит и тебя. Но ты должна знать, чтобы молиться о упокоении. Ася погибла, когда шла через лес на отметку 25 февраля...»

- Что? Что? – громко воскликнула Леля, роняя письмо. – Да что же это, наконец, такое? Да сколько же можно валить на одного человека? Рехнулись вы там, на Небе, что ли?

Все повернулись на этот испуганный возглас... Сидя на нарах, Леля сжимала руками виски, глядя на раскиданные странички широко раскрытыми остановившимися глазами.

- Что с вами Елена Львовна?

- У вас несчастье, Елена Львовна?

- Ах, она болезная! Беда небось... – слышались голоса с разных сторон.

- Оставьте! Отойдите! Не трогайте меня! У меня из-под ног ушла вся почва! Я так Ее просила! Просила о единой милости! А Она... Она... Где же Твоя хваленая любовь, Мать всех скорбящих? Милосердия нет даже на Небе!

И в бешенстве швырнула икону на пол.

Магда бросилась к ней и обхватила ее обеими руками.

- Елена Львовна, остановитесь, опомнитесь!... Не кощунствуйте!... Вы после пожалеете. Дорогая моя, опомнитесь, скажите скорее: да будет воля Твоя! Перекреститесь!

Подшивалова наклонилась и подняла икону.

- Ошалела ты, что ли, Ленка? Ведь Она Пречистым Своим Ликом о пол ударилась!

Старая монахиня, которую за непригодностью уже перестали гонять на работы и которая целые дни просиживала в бараке, поджав посиневшие, отекавшие ноги, опустила их теперь с нар и приковыляла к Леле.

- Что делаешь, безумная? Господь, любя, посылает скорби. Не губи душу. Сатана ведь не дремлет. Что себе готовишь? Молись скорей.

Одна из молодых напустилась на старуху:

- Отойдите вы с вашими глупостями, святоша... Девушка в истерике, ей помочь надо, а вы запугиваете.

- Тише! Тише, не ссорьтесь! - перебила в слезах Магда, обнимая Лелю. - Да не зайдет солнце в гнев ее и вашем! Только любовью нашей мы можем ей сейчас помочь!

Другая молодая женщина из бригады по трелевке подошла к Леле с полными слез глазами и, сясь говорить спокойно, сказала:

- Я тоже получила очень горькое известие: мой муж пишет, что не хочет более ждать и нашел себе другую женщину. Мне, наверно, сейчас не легче, чем вам. Поддержим друг друга.

Но Леля повторяла только:

- Оставьте меня, оставьте! Мне никого не надо! Все зашаталось! Я в черную дыру проваливаюсь! - и вырывалась из удерживающих ее рук.

Наконец она устала кричать, устала биться и затихла. Магда положила ей на лоб мокрый платок и села рядом. Леля уже не обращала внимания; в бараке напрасно шикали друг на друга, указывая на нее, - она не спала, она впала в оцепенение, сломленная усталостью, как всегда после истерики.

Уже во второй раз в ее жизни огненными зигзагами внедрялась в ее сознание мысль, что она не умеет ценить того, чем обладает! Вчера еще она считала себя несчастной, имея любовь двух таких людей, как Вячеслав и Ася. Если возможно было думать о выходе из лагеря, о конце срока, то только с надеждой на любовь сестры, на ее неистощимую нежность и ласку. Теперь - черная дыра, она словно бы уже раскрывается перед ее глазами...

Перед самым рассветом она забылась в тяжелой дремоте, из которой ее вывели звуки рожка.

Первой ее мыслью было: «Жить не для чего. Чем тянуть эту лямку, лучше в самом деле кончить, как кончили Феничка и Кочергина». Чувство стыда змейкой проползло по ранам ее души - эти две женщины пришли к тому же роковому решению молча... Феничка - простая мещанка, не получившая никакого воспитания, только в самую последнюю минуту выдала свою боль - бросила спицы и побежала... Переживания свои она унесла с собой в могилу, она не неистовствовала перед глазами всего барака... «Я всегда знала, что плохо кончу, что придет катастрофа, перед которой я не устою и обнажу все свое внутреннее банкротство, свое безобразие. Вот это и случилось!»

Разбитая, с тяжелой головой, она через силу поднялась с койки и никому не смотрела в глаза, как автомат, проделывая ряд необходимых движений. Когда сели за стол, Магда с участием пожала ей руку, не решаясь заговорить. Но Леля неприязненно покосилась на девушку: «Сегодня вечером она не захочет молиться за меня, потому что Церковь ей это запрещает. Вот Ася - та помолилась бы! Надо кончать теперь же. Если перебросят в штрафной, там могут быть иные условия, в которых отрежут возможность... А что если объявят о переводе немедленно и возьмут под стражу, прежде чем я успею?» Однако этого не случилось. После переклички она встала в обычное построение по четыре человека в ряд, чтобы следовать на трелевку. «Если я теперь не сумею и струшу - я полное ничтожество!» - думала она.

Прочитали обычную формулировку с угрожающим финалом:

- Шаг вправо, шаг влево считаю побегом; стреляю без предупреждения.

Алешка и Косым - один впереди, другой сзади - повели бригаду к месту работы.

Вышли за зону. Уродливые казармы и колючая проволока остались позади. В лицо повеяло чистым полевым воздухом; вдаль зазеленела тайга; белые снега были залиты солнцем.

«Нельзя откладывать, нельзя... Надо теперь же, пока идем строем, пока открытое место... Небо по-весеннему светлое сегодня и голубое, голубое... Ну... Господи, благослови!»

Она стремительно вырвалась из строя и бросилась в сторону.

- Стой! - неистово завопил Алешка, а товарищи по бригаде подхватили каждый по-своему:

- Елена Львовна, остановитесь! Нелидова, вы себя губите!

И вдруг затихли... Все замерло... Должно быть, стрелки прицелились.

Она не оборачивалась и набавляла скорость, делая вид, что направляется к лесу, и

перепрыгивая через рытвины и канавы.

- Рехнулась ты, что ли, Аленка! - опять крикнул кто-то. Голос Алешки-стрелка, и голос этот по-человечески дрогнул.

«Так он еще не целится, этот дурак?... Что же он медлит?» И вот другой голос - гортанный и резкий - рассек воздух:

- Цэлюсь!

«А! Вот оно! Ну, теперь - смерть. Господи, помоги! Сделай так, чтобы разом, чтобы скорее!» - поднялось со дна ее души, как последняя молитва.

Она закрыла глаза, но не остановилась. Удар!

Молодой Ропшин вошел в дизентерийную палату и взял Вячеслава за локоть:

- Вячеслав, на правах друга... Ведь мы с тобой друзья? Вячеслав, я знаю, как ты всегда мужественен, но... там опять принесли носилки... Выйди в приемный покой.

Это был четвертый выстрел за месяц, четвертая смерть, помимо дизентерии и тифа, уносивших жертву за жертвой.

В этот же вечер в лагере вспыхнула забастовка.

В женском бараке ничего не было известно о готовящемся. За ужином внезапно один из мужчин поднялся и сказал в самодельный рупор:

- Друзья заключенные! Не работать, пищу не принимать! Требуем комиссию из Москвы для пересмотра нашего режима и смены начальства и конвоя. Чем солидарнее мы будем, тем быстрее добьемся уступок, и да не найдется между нами штрейкбрехеров.

Это говорил политический - бывший эсер, побывавший перед тем в Соловках, где в одну из забастовок сам отрубил себе в виде протеста палец.

Восстание было подхвачено дружно, хотя многие втихомолку досадовали и шептались по углам.

Говорили: «Это все затевают "с большими сроками", которым терять нечего». Говорили: «Им-то легко все поставить на карту, а нам? Вот как прибавят накануне выхода еще лет пять - каково-то будет?»

Тем не менее равнялись на товарищей и старались держаться, может быть, опасаясь расправы со стороны уголовников, которые в большинстве присоединились к бастующим.

Комиссия прибыла только через две недели, когда многие из заключенных, обессиленные голодом, уже не вставали со своих нар, а отдельные единицы сдались и начали работать.

Конвой и кое-кого из начальников сменили; санитарное состояние было несколько улучшено: в частности, приняты меры против цинги; но режим и питание в основном остались те же.

Эсер, возглавлявший восстание, был расстрелян, а наиболее активные участники переведены в штрафные пункты с прибавлением срока лагерных работ; среди них - бывший красный партизан, бывший коммунист Вячеслав Коноплянников.

Заключенные по 58-й говорили о нем: «Этого человека ничто не сломит. Если он выберется из лагеря живым, он будет в рядах тех, кто обновит партию».

Другие говорили: «Это человек, который нужен России. Если ему суждено отсюда выйти, он окажется среди тех, кто вернет нам Родину. Мы еще услышим о нем».

Урки говорили: «Парень что надо! Эх, жаль миленочка!...»

О хрупкой девушке с золотыми волосами ничего не говорили - ее забыли очень скоро, и только Магда в течение некоторого времени шептала в своих молитвах:

- Спаси, Господи, душу грешной рабы Твоей Елены. По великой Твоей милости прости ей незаконную связь с мужчиной и самоубийство.

Эпилог

ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

10 ноября 1937 года.

Я органически не досыпаю: каждое утро приходится подыматься в 7 часов. Пока приведу себя

в порядок, добужусь детей, присмотрю за их умыванием да застегну на них все пуговицы, пройдет, по крайней мере, час. Потом надо готовить утренний завтрак, а он у нас не обходится без историй – то молоко разольется, то один из детей язычок прикусит или обожжет, то приходится ставить в угол Славчика за непослушание, а чаще всего за то, что дразнит Соню; хлопочу, хлопочу, а сама даже поесть не успеваю. Сегодня, когда я расчесывала кудряшки Соне, Славчик завопил из кухни: «Тетя Елочка! Молоко пузится, через край ушло!» Бросаюсь в кухню, а Славчик уже мчится мне навстречу и, столкнувшись со мной, набивает шишку о дверь. В результате я опоздала на работу.

12 ноября. Думать некогда, грустить тоже некогда... Верчусь, как белка в колесе. Мысли все сконцентрированы на мелочах, как бы дети не простудились, как бы Славчик не ушибся, как бы Сонечка благополучно приняла рыбий жир. Дневник в загоне – писать можно только после того, как улягутся дети, но, во-первых, я каждый вечер неодолимо хочу спать, а кроме того, всегда остается множество незаконченных дел; всю жизнь я терпеть не могла домашние хлопоты, и вот попала в самую их гущу! Мне помогают Аннушка и та дама, смолянка Марина Сергеевна. Кто она Олегу? Помню, она пришла ко мне и сказала: «Дайте мне хоть один раз в жизни сделать хорошее дело», – и отрекомендовалась приятельницей Нины. Живет она неподалеку от нас, в проходной комнате, рядом с еврейской семьей, на которую очень жалуется. Живет только на то, что вяжет шерстяные вещи потихоньку от фининспектора и подбирая себе клиентуру из людей своего круга. И тем не менее отказывается брать с меня деньги, хотя каждое утро и гуляет с детьми, и тренирует их по-французски с девяти до двух.

15 ноября. Сонечка очаровательна, ресницы у нее до пол щеки, как у Аси, а кудряшки, подвязанные бархаткой, придают ей вид девочки с иллюстрации к «Ангелу любви». Из жалкого червячка вышла чудная бабочка, только здоровье у нее слабенькое – часто простужается. Сегодня утром она проснулась, прижалась ко мне спутанной головкой и шепчет: «Тетя Елочка, одень меня; мои медвежишки проснулись и куколочки проснулись, надо их покормить. Потом, когда я вырасту большая и вырастут мои ножки и мое платьице и мое пальтишко, тогда я...»

И обнимает меня обеими ручонками, а щечки со сна розовые. Она очень любит песенки – очевидно, унаследовала музыкальность Бологовских; всегда просит спеть ей, но мои таланты в этой области уже известны. Надо будет попросить хоть Марину Сергеевну сыграть ей на рояле детские песенки Цезаря Кюи. Славчик – тот распевает во весь голос; к моему вящему ужасу, он где-то подхватил советскую красноармейскую песенку «три танкиста, три веселых друга, боевой машины эскадрон» и горланит ее сегодня, что есть мочи. Очень уж воинственный – все с палками и с барабанами возится; знает наизусть «Бородино» и воображает себя генералом двенадцатого года. Вот сейчас вбежал в комнату и кричит Соне: «Багратион, что же ты?! Наполеон уже в кухне около самой Москвы, отчего же ты не командуешь?» А девочка растерянно таращит глаза, которые так напоминают глаза Аси, что судорога сжимает мне горло. Невыносимый беспорядок они всегда учиняют в комнате – я только и делаю, что прибираю и складываю игрушки.

17 ноября. Сегодня сослуживец мой Михаил Иванович, бывший военфельдшер, остановил меня в коридоре и, подмигивая, рассказал про вечеринку у своего товарища: на этой вечеринке партийцы подвыпили и ударились в воспоминания о добром старом времени вплоть до водосвятия на Неве с «Елицы во Христе креститесь» и великолепными басами диаконов. Кто-то предложил: «Давайте-ка, братцы, пропоем обедню». И пропели! Да еще всю до конца. А потом «Боже наш, слава Тебе» грянули!... Зато сегодня все хмурятся и не смотрят друг на друга... Дорого бы, наверно, дали, чтобы взять обратно нежные воспоминания, обнаружившие «преступное» нутро каждого!

18 ноября. Разгул террора. Сталин обезумел. Если бы те, которые мне были так дороги, не пострадали тогда, – они были бы схвачены теперь! А я и тут забыта! Я – дочь скромной сельской учительницы, я – исправная производственница, поглощенная заботами о детях, – призвана, по-видимому, безопасной за незаметностью... Мне хочется расхохотаться! Люди боятся ходить друг к другу в гости, вырывают и жгут альбомные карточки, письма и записки...

Многие не раздеваются на ночь в ожидании гепеу, а я... Я все еще смотрю на мой дневник и берегу его! Да - хочется расхохотаться!...

Когда говорят друг другу по телефону: «Она нездорова», понимай - арестована! Когда говорят «уезжает», понимай - в ссылку! Комиссионные магазины переполнены, летят за бесценок целые квартиры; за пятьдесят рублей можно купить красное дерево и несколько предметов дорогой утвари. Любовницы гепеушников появляются между отъезжающими и выторговывают себе чудесные вещи, которым цены сами не представляют. Сегодня на улице я была свидетельницей грустной сцены: в такси усаживалась дама с младенцем и согнутой подагрой старухой; провожающие грузили в автомобиль чемоданы, двое плакали... На мой вопрос ответили: «Ссылка!»

Очень некрасивую роль играют жакты, которые, желая заселить ту или иную комнату своими родственниками или лицами, вручившими им взятку, фабрикуют доносы, а так как доносы у нас не проверяются - результаты самые печальные! В соседней со мной квартире старому ученому уже с месяц назад вручили предписание немедленно выехать, но тот слег с инфарктом. И вот примерно раза два в неделю к ученому засылают милиционера за разъяснением: встал ли он и когда сможет выехать? Ученый и милиционер подружились; жена ученого поит милиционера чаем с грушевым вареньем; ученый лежит, добродушно созерцая мирную картину из жизни бесклассового общества, а милиционер объясняется в чувствах: «Я тебя, Иван Николаевич, завсегда помнить и уважать буду, потому - душевный ты человек! Пошли тебе, Господи, здоровьица и успеха на чужом месте!»

Этой ночью ученого увезли-таки, и сегодня с утра в квартиру переезжает семейство весьма подозрительное.

О Леле Нелидовой никаких известий! Не знаю даже, жива ли она. Уже три раза я запрашивала гепеу, но в ответ получаю только: «В случае смерти вы будете поставлены в известность». Так ли? Они и родственников-то почти никогда не извещают.

19 ноября. Да! Большевизм оказался не скоропреходящим, насильственно перенесенным на нашу почву и чужеродным, по существу, явлением. Не было бы в нем ничего органически нам свойственного, он бы не удержался. Приходится с этим согласиться! Если хоть одно зерно среди господствующих теперь идей и приложения их на практике находится в родстве с извечным Ликом и заброшено в нашу действительность свыше, тогда даже этот чудовищный большевизм принесет в будущем свои плоды, но... есть ли это зерно? Вся муть и вся порочность всплыли сейчас на поверхность, как пена в котле с грязным бельем. Прекрасный Лик исполнен скорби...

20 ноября. Получила письмо от Юлии Ивановны; она в деревне под Муромом, куда была выслана после убийства Кирова, когда в массовом порядке - целыми поездами - стали высылать людей с дворянскими фамилиями, даже неродовитыми. Кирова убил цвет партии, а может быть, и сам Сталин (о чем втихомолку говорят все), но в ответе почему-то оказалось русское дворянство! Цитирую письмо:

«Моя милая Елочка! Можете вы себе представить всю глубину моего одиночества на окраине глухого городка, без рояля и без учеников?

Я готова жить в прокопченной избе, спать на скамье с клопами и питаться пшенной кашей, но мой инструмент мне необходим как воздух. Вы знаете, каким ударом для меня было в свое время увольнение меня за фамилию из числа профессоров консерватории? Мне казалось, что в техникуме я не найду талантов! Судьба однажды уже отняла у меня любимого ученика: юноша, в котором я видела будущего Гофмана, погиб во время мировой войны. Но когда я получила Асю, я вновь обрела свое место во вселенной. Талант этой девушки примирил меня с жизнью. Я снова стала смотреть на действительность с ожиданием. Никто, кроме меня, не сумел оценить Асю: ни эта холодная аристократка-бабушка, ни влюбленный муж, ни консерваторская профессура, ни даже наш прославленный маэстро. Я не могу простить Дашкову брака с Асей. Он должен был понять, что она - талант, который следует поберечь, как редкую жемчужину. А он со своим майн-ридовским прошлым вторгся в ее жизнь, сделал ее матерью в 20 лет и вдовой

в 23, и вот уже нет моей жемчужинки! Видит ли она оттуда, что старая больная учительница не может ее забыть и грезит наяву игрой ее волшебных ручек! Не забуду никогда, как она исполняла один этюд Шопена и одну из его мазурок... Закрою глаза и слышу. Пришлите мне хоть ее фото, чтобы я могла взглянуть на это лицо, прежде чем сама отойду в вечность! Моя жизнь на закате, и пусть бы скорей догорал последний луч! Слишком много прекрасных воспоминаний, и слишком тяжела действительность! Как сладкий сон - путешествие с мужем по Европе, концерты лучших мастеров, Италия, Париж, а потом преподавание в консерватории в дни ее славы - Римский-Корсаков, Глазунов... все закатилось! Из моего окошка я могу наблюдать только баб в зипунах и слышать их крикливые голоса у колодца. Мрак окутывает меня со всех сторон. Не забывайте меня хоть вы и скажите мне "Вечная память". Ваша старая Юлия Ивановна».

Это письмо очень характерно и по-своему прекрасно, хотя глубоко субъективно, а потому несколько... однобоко. Сердце сжимается, когда читаешь... Что отвечать?

21 ноября. На могиле Аси, наверно, намело горы снега, и ни одна живая душа не повесит венка на бедный деревянный крест... К нему и тропинки, наверно, нет. В самом деле, кому из местных аборигенов придет в голову, какое исключительно одаренное и одухотворенное существо нашло себе упокоение в этой безвестной могиле? Никогда не забуду письмо, которое получила от доктора Кочергина и все это утро... Письмо было очень корректно и лаконично:

«Прошу извинить, что решаюсь беспокоить вас. Я - врач при больнице в городе Галиче; вчера - то есть 28-го февраля - мне пришлось констатировать смерть молодой женщины, найденной в лесу в нескольких верстах от города, искусанной волком и замерзшей. На груди ее я обнаружил письмо, адресованное к вам. Немедленно пересылаю его по вашему адресу. Почти уверен, что в письме идет речь о детях, которых мне довелось лечить. Если я не ошибся, имейте ввиду, что дети эти находятся в настоящее время в десяти верстах отсюда в деревеньке Цицевино у старой крестьянки Мелетины. Берусь доставить их вам, если вы пожелаете. Сигнализируйте немедленно». Далее следовали подпись и адрес.

Письмо Аси было еще короче: «Умираю. Дети твои», - написано карандашом. Заготовила ли она заранее это письмо или в лесу писала? Помню, у меня затряслись и руки, и ноги... Стою с письмом и не могу поверить совершившемуся. Потом бросилась на телеграф и тотчас известила Кочергина, чтобы он привозил малюток. С этого дня все изменилось в моей жизни: мелкая хлопотливая озабоченность и постоянная тревога заполнили мои дни и вытравили начисто все мысли из моей несчастной головы. Я это предвидела, но поступить иначе, разумеется, не могла.

22 ноября. Устаю, очень устаю. Старая я, что ли, стала? Как будто еще не стара - 36 лет, а между тем я постоянно хочу спать. Всего вернее, что я попросту переутомлена. Давно уже прошло то время, когда, возвращаясь из клиники, я в полном одиночестве спокойно пила чай, а после тотчас садилась за книгу или за дневник, а то так отправиться в оперу. А теперь... По дороге со службы бегу по магазинам и уже с полной сеткой мчусь домой, а дома меня уже ждут дети, которых приводит к этому часу Марина Сергеевна. И потом уже не присесть до ночи. Я должна быть очень благодарна Аннушке и Марине Сергеевне - без них я бы не справилась с двумя детьми и со службой. Аннушка раза два в неделю обязательно зайдет постирать на детей или вымыть пол, причем ни за что не возьмет ни рубля, да еще лакомств притащит - то горячих пирожков с капустой, то пышек на молоке, а уходя, забирает с собой в починку белье и чулочки. Она уверяет, что ей Сам Бог велит позаботиться о сиротках теперь, когда она осталась совсем одинока. Это я еще могу понять, но вот Марина Сергеевна... Ее отношение остается для меня загадкой! Она появилась у меня в тот самый день, когда доктор Кочергин привез детей. Попала в самый переполах - дети ревели посередине комнаты, а я ходила вокруг, не зная как подступиться. Она сразу бросилась их тискать и целовать, ахала, охала, пришивала на них пуговицы, а потом вызвалась постеречь их, пока я уйду на работу. На следующий день пришла снова и с тех пор приходит каждый день. Я сначала колебалась принимать ли мне ее услуги - не хотелось обязываться чужому человеку, но - выхода не было!

Службу бросить, конечно, было немыслимо, а дети связывали по рукам и ногам. Как говорится у Достоевского: «Идти было некуда, а ведь надо же каждому человеку куда-нибудь идти». Дети Марину Сергеевну любят, и, кажется, больше, чем меня, – мне ведь от каждой привязанности достаются рожки да ножки. Это уже всем известно.

25 ноября. Подвиг меня избегает! Воображению рисовались грозные события, решающие жизнь моей страны. И я среди тех, кто не жалеет собственной жизни, – в партизанском ли отряде, снова ли в госпитальной палате – это уже все равно!... Может быть, молчание под пытками в гепеу; может быть, отчаянно смелая разведка и смерть среди костров и бивуачных палаток... Жизнь принесла совсем другое – подвиг, как любовь, прошел мимо!...

26 ноября. Странные бывают минуты в жизни человека: иногда точно ответ внезапно получаешь на свои самые сокровенные мысли. И притом через случайные, казалось бы, внимания не стоящие слова постороннего человека. Кто посылает этот ответ? Сегодня Марина Сергеевна принесла красненький шерстяной свитер, который связала для Сонечки, и когда я выразила тревогу, что она тратит на детей слишком много времени безвозмездно, в то время как сама существует только на вязание шерстяных кофт и варежек, и притом потихоньку от соседней, она сказала: «Не беспокойтесь за меня: дети эти – единственное, что еще привязывает меня к жизни и что мне удалось сделать полезного и хорошего. Я свою жизнь построить не сумела и сделала несколько грубых ошибок, одну за другой. Например: я сделала аборт и до сих пор не прощаю себе этого. Славчик... он почти ровесник моего несуществующего ребенка – около года разницы...» Я не решилась ничего ни спросить, ни возразить на такую деликатную тему. Марина поднялась, чтобы уходить и, надевая перед зеркалом шляпку, сказала: «Хороша бы я была, если бы ваш подвиг не пробудил во мне ответного отклика». Я возразила: «Почему же подвиг?» – «Я ваш поступок иначе расценивать не могу», – ответила она и уже у двери прибавила: «Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе... но заботы и жертвы каждого дня ради чужих детей – это подвиг самый трудный и самый большой». Не знаю права ли она... Не думаю... Я во всяком случае хотела совсем иного... но видно давно уже надо сказать «аминь» на все, что грезилось в юности.

27 ноября. Ого! Донос на меня! К счастью, в местком на службе, а не прямо в Большой дом. Вызывали вчера за объяснением. Я не растерялась и сразу перешла в контратаку:

– Донос, очевидно, состряпан гражданкой Дергачевой, моей соседкой. Прошу учесть, что между нами произошла ссора по поводу недопустимой неаккуратности гражданки Дергачевой в кухне. Я – ответственная за чистоту, и позволила себе сделать гражданке Дергачевой замечание; она раскричалась и при всех угрожала мне. Допросите свидетелей.

Председатель месткома улыбнулся и сказал:

– Так-так, учтем. Не тревожьтесь, представьте письменное объяснение. В доносе упоминается, что вы плевали на советскую газету. Коли вы принесете справочку, что страдаете бронхитом с мокротой, мы подошьем ее к делу. Мы ведь знаем, что вы – ценный работник, и общественница, и гражданка хорошая: чужих детей на воспитание взяли. Нельзя же и ребятишкам снова сиротами остаться.

Бухгалтерша наша, сидевшая рядом – тоже член месткома, всхлипнула и сказала: «Надо бы и в самом деле допросить квартирантов, Никон Федорович!» – из этих слов мне стало ясно, что донос действительно исходит от милейшей соседки. Справку я, разумеется, представила, хотя бронхитом не страдаю, и предместком обещал поставить на этом деле крест. Он, по-видимому, значительно мягче, чем предыдущий (тот, который травил покойного дядю Владимира Ивановича и Лелю). Трудно поверить, что кончилось благополучно. Кто же кого охраняет – я детей или они меня? Пока я туда бежала, чего только не передумала, но дневник все-таки не уничтожила.

29 ноября. Мне самой судьбой положено изнывать от ревности: сегодня я видела, как Сонечка обняла Марину Сергеевну и прижалась щечкой к ее лицу; ко мне она так не ласкается. По-видимому, на моем лице отразились взволновавшие меня чувства, так как Марина Сергеевна сказала: «Эти малыши не способны еще понять все, что вы для них сделали. Им мил тот, кто их

забавляет. Но поверьте, что со временем они вас оценят». Я – по-своему резко – перебила: «Мне вовсе не нужно их благодарности!»

Марина Сергеевна рассказала, что получила недавно письмо от Нины Александровны, которая здорова и находится в условиях сравнительно неплохих: она постоянно выступает на вечерах самодеятельности и праздничных концертах лагерной сети. И всегда имеет большой успех. Начальник лагеря выхлопотал ей, как артистке, дополнительный паек; по его же приказу ее регулярно помещают на несколько дней в лазарет, чтобы поддержать ее силы и голос. Она не ожидала, что среди этих чудовищ могут находиться люди, которые ценят талант! В письме Нины Александровны есть интересная подробность: она и два других заключенных-музыканта, сыграваясь по вечерам, проделывают это обычно в маленьком пустующем сарайчике, чтобы не попадаться лишний раз на глаза конвою. Скоро они заметили, что едва лишь они возьмутся за инструменты, тотчас из-под стены выползает маленькая ящерица и присаживается в уголке слушать. Ящерица обладает музыкальностью! (и, по-видимому, большей, чем я) Нина Александровна уверяет, что это факт, много раз проверенный, и что они все трое очень хорошо запомнили и полюбили маленького слушателя. Если бы собака или кошка – еще бы можно понять, но пресмыкающееся!...

30 ноября. Разгромлен кружок писателей с такими именами, как Бенедикт-Лившиц; умер, после того, как был избит в тюрьме талантливый переводчик Выгодский. Этому человеку, казалось, всегда было холодно: он слегка сжимал плечи, кутаясь с теплые кашне, а стакан чаю брал всей ладонью, точно желал согреться; скромный, талантливый еврей (Юлия Ивановна к евреям благоволила). Может ли вместить ум всю чудовищность преступлений гепеу? Кричат о зверствах немцев, а сами делают то же самое! В этом году у нас впервые досталось и евреям. В первые годы после революции они были в чести – очевидно, в качестве угнетенного нацменьшинства (и жадно штурмовали командные высоты науки, искусства и управления, пользуясь удобным моментом оттеснить русских). В тридцатые годы почти каждый директор хоть сколь-нибудь крупного учреждения носил еврейскую фамилию; председательствовали на собраниях тоже евреи, а еврейские сынки и дочки заполняли вузы, так как русскую интеллигенцию губили анкеты, а пролетарская часть населения еще не успела подготовить кадры. Но самостоятельно мыслящие головы, особенно среди интеллигентов, пугают т. Сталина, кому бы они ни принадлежали, а может быть, героический грузин испугался сионских мудрецов и вообразил, что наше еврейство поддерживает связь с международными сионистами? Ведь ему везде мерещатся тайные организации, которых он панически боится. Так или иначе, но террор распространился и на евреев. Вчера на службе врач-еврей, который, видно, мне доверяет, как и многие (хотя я на доверие никому не напрашиваюсь), вздумал жаловаться на угнетение, причем сказал: «Это особенно неожиданно после того равноправия, которое проводилось в тридцатые годы». На это я очень выразительно отчеканила: «В тридцатые годы проводилась классовая борьба, и если евреев не запирали в концлагеря, это еще не означает, что эти лагеря были пусты». Удивительная способность у этой нации подымать «хай», как только дело дойдет до них, а как легко и безжалостно еврейские администраторы увольняли, косили и заменяли русских своими в эти самые тридцатые годы!...

1 декабря. У меня в голове мысль; она проскользнула сначала, как мышонок, но понемногу прочно угнездилась в моем черепе, ростки пускает. Мысль чудовищная, мучительная, но логически обоснованная, которая может принести обильные плоды, мысль-намерение.

4 декабря. Приезжала Мери Огарева – жена Мики. Я не сразу ее узнала, поскольку видела давно и притом только однажды. Двадцать четыре года; волосы гладко зачесаны, пробор ниточкой; черные, умные, живые глаза; продолговатое личико; темное платье с белым воротничком, никаких украшений. Просила у меня разрешения переночевать, ибо в Ленинграде у нее теперь никого вовсе нет. (В коммунальной квартире это не так просто при наличии правительственного распоряжения не предоставлять убежища ни на одни сутки никому, кроме лиц с командировочным удостоверением, которое должно быть предъявлено управдому.) Тем не менее я разрешила: уж слишком неудобно было ей отказать. Она к тому же

в положении, сколько я могла заметить. Приехала она по церковным делам - с поручением к митрополиту Ленинградскому (привезла ему иконы и письма). Тайная церковная почта. Смело! После завтрака тотчас исчезла по дипломатическим поручениям и явилась только к вечернему чаю. На другой день опять пропадала и вернулась за час до отъезда. Кроме пакетов, которые принесла от епископа, притащила с собой книги, из Микиной библиотеки, оставшиеся частью на сохранении у Аннушки. Багаж получится настолько тяжел, что я у же собралась провожать ее на вокзал, боясь, чтобы она себе не навредила, но тут как раз появилась неизвестная мне особа, присланная «Владыкой» (как они выражаются). И они ушли вместе. Очень неосторожно, а по отношению ко мне даже нетактично давать мой адрес чужому человеку. Я не спала после этой эскапады всю ночь, опасаясь, как бы их не выследили и не нагрянули ко мне. Обошлось, к счастью. Вот Мери эта, кажется, сумела превратить свою жизнь в подвиг нераздельного служения идее. Она знает, что делает. Наверно, она и Мику-то держит в руках. Хочу записать разговор, который имела с ней за вечерним чаем, когда уже заснули дети. Заговорили о современности, и она сказала:

- У нас сейчас преобладает сила разрушения и укрепился отрицательный нигилистический дух, так гениально предсказанный Достоевским. Но эти силы долго не могут царствовать. «Придет день - Господь повелит нечистому духу выйти из тела России». Нашей Восточной Церкви предстоит оживить и обновить христианство. Господь послал ей мученичество, чтобы очистить ее и приуготовить к великой миссии. Именно России суждено повернуть к свету ход мировой истории: насадить коммунизм на новой, христианской основе. Церковь и государство должны будут примириться и, не подчиняясь друг другу, вместе вывести за собой к свету другие народы, начиная с славянских, самых близких. Об этом ведь еще славянофилы говорили.

Я была приятно поражена силой убеждения и восторженной верой этой девушки и узнавала частицы собственных заветных мыслей. Мне была чужда лишь эта церковность. Я спросила:

- Да разве в церковной среде найдутся одинаково с вами мыслящие идейные люди?

Она отвечала:

- Великое множество! Надо только уметь видеть, пожелать найти. Иначе в самом деле просидишь в углу всю жизнь в полной уверенности, что вокруг одно лишь ничтожество! Мне вот везет: я только оглянусь - и вижу! Я - жена ссыльного; отец мой погиб в лагере; у меня нет ленинградского паспорта и ни одного метра собственной площади, но я ни за что бы не согласилась уехать из России. Где-нибудь в Америке я задохнусь в безыдейности. Прошлым летом мы с Микой предприняли очень трудное путешествие в Сибирь, на Обь; там в маленьком селении живет один высокообразованный и просветленный человек, ссыльный. Мы нашли его почти умирающим, но успели все-таки многое от него почерпнуть. Мика должен был скоро уехать, так как его отпуск кончался, но я осталась, чтобы помочь чем могу старому христианину при переходе в иной мир. Он дал мне много, очень много знаний по части эзотерического христианства. Он сам был счастлив получить учеников на смертном одре. Он говорил, что видит в этом милость Божию. Он об этом молился, тут то мы и пришли!

Замечательная девушка! Но что она хотела сказать словами «эзотерическое христианство», мне не совсем ясно.

Появились они в хижине, где умирал ссыльный, наверно, так же, как появилось однажды у меня - в высоких сапогах, с рюкзаками за спиной, держась за руки, и обменивались сияющими улыбками... Другие бы на их месте на курорт поехали... Оригинальная пара (без желания оригинальничать!).

6 декабря. Забытый всеми старик в заброшенной хижине молится, чтобы Бог послал ему учеников прежде, чем он отойдет в вечность... Ему прискорбно уносить с собой в могилу богатство своих мыслей. Он молится, а на пороге уже показывается юная пара - «два чела». Сегодня мое воображение во власти этих образов.

8 декабря. Затирает с деньгами. На сверхурочные дежурства не хватает времени, а в долг брать не в моих привычках...

Из каких средств отдавать? Ломбардов боюсь как огня... Остается экономить и экономить... У меня есть Сонечкины драгоценности – серьги Дашковых и перстень с бриллиантом от Надежды Спиридоновны, но я считаю себя не вправе их тронуть. Пианино продать нельзя: Сонечку уже скоро можно начинать учить. Остаток библиотеки – своей и Бологовских – берегу для Славчика. Там есть книги, которые не достать теперь ни за какие деньги, например: Владимир Соловьев, Гумилев, Гофман, Метерлинк, Гюисманс...

Возвращаюсь к тому, что говорила по поводу своей мысли, – она уже величиной с дерево, но может случиться, что я еще обрублю этому дереву ветви и вырву его с корнями.

22 декабря. Две недели провела в больнице имени Раухфуса у кровати Сонечки, она подхватила дифтерию, и так как врач не сумел распознать вовремя, прививка была сделана только на вторые сутки, вследствие чего явилась опасность для жизни; сейчас она, слава Богу, уже миновала. Надеюсь сегодня выспаться после стольких бессонных ночей. Голову так и клонит, глаза слипаются. Горячие щеки... полураскрытый ротик... потный лоб, к которому прилипли колечки волос... Сколько я видела больных и умирающих, но ребенок, выращенный собственными усилиями, такой маленький и очаровательный... Потерять такого ребенка... Какое счастье, что опасность уже позади!

23 декабря. Я на квартире одна. Сонечка еще в больнице, Славчик – у Марины Сергеевны. И чем дольше он там останется, тем безопаснее. Меня же по-прежнему ничто неймет, даже дифтерийная палочка.

Странно, однако, оказаться без детей... Пустота, тишина... Растут и роятся думы, как бывало прежде. Их, видно, плодит и питает именно эта тишина. Олег... В последнее время я думаю о нем гораздо реже... в силу занятости, наверно. Олег – герой моей юности, прошлых и грядущих – воображаемых – битв. Много изменилось с тех дней и в моей жизни, и в окружающей меня действительности. Я чувствую, что сознание мое неудержимо ширится и растет, точно мне впрыснули в мозг дрожжи. Мне кажется, это находится в связи с тем отрешением от эгоизма, к которому меня принудили обстоятельства. Много хочется сказать.

Я девочкой была, когда совершенно самостоятельно нащупала мыслями мистический лик России – великий дух нации в известном ее значении. В те дни представителем его на земле казался мне император, которого я воображала впереди полков на белом коне, на манер Скобелева. Трезвое наше семейство живо вытравило из меня институтские иллюзии, хотя патриотизм в целом подогревало. Позднее я связала идею Родины с белогвардейским движением; я и теперь преклоняюсь перед героизмом многих тысяч белых и офицерскими атаками, но мессианская идея, руководившая лучшими из них, уже умерла. Пролитая за эту идею кровь, может быть, послужит искупительной жертвой; она не получила свою награду здесь, но по ту сторону жизни, я верю, зачтется и будет принята на алтарь любви к Родине, как и кровь красноармейцев – таких, каким был, например, Вячеслав.

Большевизм... Процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно – вмешательством извне – притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне Лика, конечно, страшно искаженные. Диктатура пролетариата – омерзительная, роковая ошибка революции, осложнившая надолго пути России. А сейчас даже и этой диктатуры нет, а только диктатура Чудовища. Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю ризу. В случае войны я... с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но так я прочла в своей душе! Сейчас на арене нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошиблась в сроках великой битвы, я ошиблась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой Антанты! Россия спасет себя сама, изнутри. «Закат!» – говорит Юлия Ивановна. За закатом придет рассвет!

Будет долго Родина томима  
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,  
Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны!

Слезы сжимают мне горло. Наступит ли день, когда откроются двери тюрем и лагерей и будут возвращены все, кто безвинно принял страдание? Боюсь, что это будет еще не скоро, и те, о ком я думаю, не доживут до этой минуты, как не дожили Олег и Ася. Это будет началом «света с Востока». Тут мои чаяния сливаются с чаяниями Мери и Мики.

24 декабря. Сегодня мне снился огромный костер, котел над ним и Чудовище, которое помешивало в котле половником. Вокруг в молчании стояло множество народа. Светило только пламя костра; в котле что-то трещало, кипело и плавилось; я думала: он плавит наши жизни, но должно же быть тайное оправдание, та или иная сверхчеловеческая цель в этих гекатомбах жертв? И вдруг я увидела у котла Асю: она была вся прозрачная, в голубых тонах, со светлым лбом; Чудовище захохотало, схватило ее за косы и швырнуло в котел. Я проснулась в ужасе... но, раздумывая, пришла к мысли, что в этом сне есть связь с моей идеей об искупительных жертвах – жертвах всеожжения.

25 декабря. Перечитываю Гумилева и думаю об Олеге. Его образ неизменно вырастает за такими строчками:

...Тот ли это, или кто другой  
Променял веселую свободу  
На священный долгожданный бой.  
Знал он муки голода и жажды,  
Сон тревожный, бесконечный путь,  
Но святой Георгий тронул дважды  
Пулею не тронутую грудь.

В этих строчках дан образ человека, который весь захвачен любовью к Родине и ради нее не жалеет собственной жизни. Надо внедрить в Славчика ощущение личности отца через эти строчки. Я уже давно сказала себе, что буду говорить с ним в день, когда ему минет 18 лет. До этого дня я буду молчать – это я умею! Я не хочу разминивать больше мысли на мелкую монету прежде, чем они будут ему понятны все в целом. Я являюсь ближайшим другом его отца – это большая гиря на чаше моего влияния. Это должно помочь мне уберечь Славчика от растлевающего духа времени – безверия и шкурничества.

Моя мысль, разросшаяся в дерево, – сейчас подходящий момент высказать ее. Вот она: в будущем я должна передать Славчику этот дневник! Образ его отца запечатлен в нем почти на каждой странице: с момента первой встречи в госпитале до дня казни; я цитирую его слова, его мысли. Это портрет человека в страшный, переломный момент истории, когда ему довелось существовать и действовать. Читая, Славчик пройдет все этапы наших надежд, разочарований и мук и подойдет вплотную к идее очищения и обновления Родины.

Мудры Божественные пути! Я любила безнадежно, но любовь эта, очевидно, будила во мне творческие силы, а от любимого человека мне оставался только флакон духов... И творческие силы эти клокотали в моей груди бесплодно. Тогда дано было человеку этому как бы из мертвых воскреснуть на четыре только года, с тем, чтобы дотерзать мое сердце, но одновременно оставить мне два сокровища, неизмеримо более ценных, – двух младенцев! Теперь у меня есть кому передать мои мысли и силы, кому передать дело Олега. Славчик должен стать достойным этой идеи. Я не хочу готовить из него мстителя. Структура, которая разделяет общество на победителей и побежденных, мне противна. Слишком долго уже господствуют у нас идеи возмездия, в существе своем чуждые России и русским. Славчик подымет знамя отца с новой на нем надписью. Я воодушевлю его! В высших планах, по-

видимому, решено, что это могу сделать только я, а не Ася, коль скоро не Асе, а мне суждено вырастить ребенка. Сколько мук, прежде чем я могла осознать глубину своих задач!...

Передача дневника будет для меня новым распятием: любовь моя перестанет быть тайной для детей, но результаты могут быть слишком огромны, чтобы думать о себе в этом случае. Помог бы только Бог сохранить тетрадки и вырастить мальчика. Полагаю, однако, что теперь, после моего решения, уже не смогу писать этот дневник так же искренно, как писала его до сих пор вот уже двадцать лет, а потому я этот дневник заканчиваю.

О, Родина! Я жду твоего обновления! Когда догорит наконец костер, когда издохнет Чудовище и вскрыется давний гнойник на твоём теле и на воскресшую Русь прольется с неба «страшный свет», тогда я пойму, для чего были нужны такие жертвы.

А покамест... весь мир еще окутан для меня траурной вуалью.

[1] Так называли в то время шариковую ручку.

[2] Франция - личность (фр.).

[3] Пепиньерка - девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная при нем для педагогической практики.

[4] словечко (фр.)

[5] из бывших (фр.)

[6] накидка, манто (фр.)

[7] Смелее, дитя мое, смелее! Идите же. Ее превосходительство - Ваша бабушка - ждет нас (фр.)

[8] герой-любовник (фр.)

[9] ход (фр.)

[10] высший свет, богема (фр.)

[11] положение обязывает (фр.)

[12] высоких манер (фр.)

[13] неразлучными (фр.)

[14] Восхитительные фиалки (фр.)

[15] свояченица (фр.)

[16] Дама его сердца! (фр.)

[17] Сергей, ради Бога! (фр.)

[18] хорошему тону (фр.)

[19] Прекрасная Франция (фр.)

[20] милой деточкой (фр.)

[21] О, да! Эта дама из очень благородной семьи. Теперь она невеста нашего Сержа (фр.)

[22] деверь (фр.)

[23] навязчивая идея (фр.)

[24] девицы легкого поведения (фр.)

[25] Деклассированный (фр.)

[26] Плеврит, сердечный невроз, анемия, цинга (лат.).

[27] Вино откупорено, его надо выпить (фр.)

[28] Нужно сохранять хорошую мину при плохой игре (фр.).

[29] Позвольте мне самой поговорить с вашей бабушкой (фр.).

30 Боже мой! Почему же вы так жестоки, голубь мой? (фр.)

[31] Знатная дама (фр.)

[32] Пари, условия которого устанавливает выигравший; буквально от serendre a discretion: сдаться на милость победителя (фр.).

- [33] Сознанием ветреника (фр.)
- [34] Двоюродная бабушка (фр.).
- [35] Войдите (фр.)
- [36] Ее превосходительство (фр.)
- [37] Ну что, Элен? (фр.)
- [38] Свояченица (фр.)
- [39] Бывший (фр.).
- [40] Ах, так! (фр.).
- [41] из (фр.)
- [42] Боже мой! (фр.)
- [43] Это меня не интересует! (фр.)
- [44] Должно быть это очень благородный человек (фр.)
- [45] А этот князь хорош собой? (фр.)
- [46] Дамы, господа, занимайте свои места. (фр.)
- [47] Тысяча извинений! (фр.)
- [48] Моя бедная маленькая Сандрильена, она непременно должна стать княгиней, а потом, быть может, и дамой высшего света! (фр.)
- [49] На войне как на войне (фр.)
- [50] выше (фр.)
- [51] Святой, Святой, Благословенный! (лат.)
- [52] Господин князь такой изысканный! (фр.)
- [53] вечеринка (фр.)
- [54] Господин князь (фр.)
- [55] Но он гоним, мадемуазель! Надо же понимать! (фр.)
- [56] букет (фр.)
- [57] А в нашем третьем отделении времени зря не теряют (фр.)
- [58] моя милая (фр.)
- [59] А вот дочь полковника Бологовского, которого расстреляли в Крыму. Она очаровательна, эта сиротка! (фр.)
- [60] реставрация (фр.)
- [61] Да замолчите же, сударь! (фр.)
- [62] Ну что за сокровище, вы же видите, мсье? Просто сокровище! (фр.)
- [63] Утешении (фр.)
- [64] Недоступная женщина, недотрога (фр.)
- [65] Храни тебя Бог (фр.)
- [66] драгоценности (фр.)
- [67] туберкулеза (сокр. лат.)
- [68] изящно (фр.)
- [69] Она боится... О, маленькое сокровище! (фр.)
- [70] кстати (фр.)
- [71] Милые детки, они так любят друг друга! (фр.)
- [72] Это же пролетарий, пещерный человек! (фр.)
- [73] благородными (фр.)
- [74] Имею честь сообщить, что у нас есть возможность для быстрого оказания Вам помощи (фр.)
- [75] в три четверти (фр.)
- [76] под наездницу (фр.)

- [77] с глазу на глаз (фр.)
- [78] свекровью (фр.)
- [79] постепенно усиливаясь (итал.)
- [80] Рождество (нем.)
- [81] всеми вместе (итал.)
- [82] Кстати (фр.)
- [83] У мадам Фроловской доброе сердце, а эти две девчонки, которых она вырастила, неблагодарны и дерзки (фр.)
- [84] Ну, малышка! Смелей! (фр.)
- [85] Святая Женевьева! Святая Катрин! Сжальтесь надо мной! (фр.)
- [86] Она снова пала! (фр.)
- [87] невесты (фр.)
- [88] колокольчики (фр.)
- [89] слоеное; буквально - тысячи листиков (фр.)
- [90] смелее! (фр.)
- [91] О, Боже! (фр.)
- [92] козочка мсье Сегань (фр.)
- [93] обрезанный мундир; буквально - три четверти (фр.)
- [94] очень модно (фр.)
- [95] журналы мод (фр.)
- [96] Без лишнего рвения (фр.)
- [97] старомодна (фр.)
- [98] местожительство; буквально - временное пристанище (фр.)
- [99] Как само собой разумеющееся (фр.).
- [100] Боже мой!... О, бедный князь! (фр.)
- [101] жемчужно-серого цвета (фр.)
- [102] мы выбиты из него (фр.)
- [103] О, Боже мой!... Ну и шалопай! (фр.)
- [104] Он говорит мне: я вас люблю. А я чувствую вопреки моей воле, Я чувствую, как бьется мое сердце, А почему оно бьется - не знаю! (фр.)
- [105] бестактность (фр.)
- [106] падекатры (фр.)
- [107] изящные (фр.)
- [108] нуворишек (фр.)
- [109] Дамы в круг! (фр.)
- [110] В одну колонну (фр.)
- [111] Танцуют все! (фр.)
- [112] мы не одни!! (фр.)
- [113] Ну что, моя маленькая Сандрильена? (фр.)
- [114] А этот юноша? Этот Геннадий? Он же видел! (фр.)
- [115] О, моя дорогая, какое горе! Мсье князь арестован! (фр.)
- [116] Бедное дитя... Она еще так молода! (фр.)
- [117] недотрога (фр.)
- [118] изысканная (фр.)
- [119] Сильно устала, моя деточка? (фр.)
- [120] На меня охотятся! (фр.)
- [121] Елена, Елена, не в присутствии же посторонних! (фр.)

- [122] Святая простота (лат.).
- [123] изысканности (фр.)
- [124] Меня избивали! (фр.)
- [125] увеселительную прогулку (фр.)
- [126] Мать Скорбящую (лат.) – эпитет Богородицы в католических песнопениях.
- [127] Но что же делать? О, Боже мой! (фр.)
- [128] Между нами говоря (фр.). Вы правы, милый друг (фр.).
- [129] Милый друг (фр.)
- [130] Так пляшут, пляшут, пляшут Маленькие куколки. Так пляшут, пляшут, пляшут Хорошенькие девчушки. Так пляшут, пляшут, пляшут, Три круга отплясали – и ушли... (фр.).
- [131] Ты этого хотел, Жорж Данде! (фр.).
- [132] дорогая тетушка! (фр.)
- [133] Вот так! Весь (фр.)
- [134] Буря сломала тот дуб, Что один был защитником мне... (фр.).